



ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE

5

Mokslinių straipsnių rinkinys

Kaunas 2008

ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE Nr. 5

MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ TĘSTINIS LEIDINIS

Leidžia Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto
Užsienio kalbų katedra

THE PROCEEDING EDITION OF SCIENTIFIC ARTICLES

Published by Vilnius University
Kaunas Faculty of Humanites
Department of Foreign Language

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Издает кафедра иностранных языков
Каунасского гуманитарного факультета
Вильнюсского университета

Redakcijos adresas /Adress of the editorial:

Žurnalas „Žmogus kalbos erdvėje“

VU KHf

Muitinės g. 8

Kaunas LT-44280

Tel.: 8-37-42 24 77

El. paštas: valentina.naumova@vukhf.lt

Redagavo / Edited by:

Danutė Balšaitytė (rusų kalba / the Russian language / русский язык)

Anastasija Belovodskaja (rusų kalba / the Russian language / русский язык)

Algis Braun (anglų kalba / the English language / английский язык)

Daiva Deltuvienė (vokiečių kalba / the German language / немецкий язык)

Ala Diomidova (rusų kalba / the Russian language / русский язык)

Vilma Linkevičiūtė (anglų kalba / the English language / английский язык)

Oleg Perov (rusų kalba/ the Russian language / русский язык)

ISBN 978-9955-33-373-9

© Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2008

Recenzentai:

Prof. Heinz Miklas (Vienos universitetas, Austrija)
Prof. Jurij Kleiner (Sankt-Peterburgo universitetas, Rusija)
Prof. Irina Külmoja (Tartu universitetas, Estija)
Prof. Kazimež Liucinski (Šventojo kryžiaus akademija Kelce, Lenkija)
Prof. Olegas Poliakovas (Vilniaus universitetas, Lietuva)
Prof. Eleonora Lassan (Vilniaus universitetas, Lietuva)

PRATARMĖ

Prieš jus naujas periodinis mokslinių straipsnių rinkinys „Žmogus kalbos erdvėje“, kurio puslapiai skirti aktualių lingvistikos, literatūrologijos, didaktikos problemų aptarimui. Viena iš rinkinio užduočių – pristatyti šiuolaikinės filologijos tyrimų problematiką, supažindinti skaitytoją su naujausiomis jų tendencijomis Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje.

Rinkinyje pateikta tarptautinės mokslinės konferencijos „Žmogus kalbos erdvėje“, organizuotos Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų katedros 2008 metų gegužės 16-17 dienomis, rinktinė medžiaga.

PREFACE

This is the new periodical collection of scientific articles “Man in the space of language”, which contains considerations of topical problems in linguistics, literature and didactics. One of the objectives of the collection is to present the problems in the research of modern philology, to familiarize the reader with the latest trends in the research in Lithuania, Latvia, Russia, Byelorussia, Poland and Ukraine.

The collection contains the compilation of articles for the scientific conference “Man in the space of language” on 16-17 May 2008.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед Вами новый номер периодического сборника научных статей «Человек в пространстве языка», страницы которого предназначены для обсуждения актуальных проблем лингвистики, литературоведения, дидактики. Одна из задач сборника – представить панораму современной филологии и тем самым помочь читателю ознакомиться с новейшими исследованиями филологов Литвы, Латвии, России, Беларуси, Польши, Украины.

Традиционно в сборнике представлены избранные материалы международной научной конференции «Человек в пространстве языка», организованной кафедрой иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета 16-17 мая 2008 года.

TURINYS
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ

KALBA, DISKURSAS, KULTŪRA: PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
LANGUAGE, DISCOURSE, CULTURE: PROBLEMS AND DECISIONS
ЯЗЫК, ДИСКУРС, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Мария Алексеева (<i>Уральское отделение Российской Академии Наук, Россия</i>). Использование приема замены чужим аналогом при передаче реалий на иностранный язык.....	9
Gabija Bankauskaitė–Sereikienė (<i>Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva</i>). Savireklama avangardinėje tarpukario Lietuvos spaudoje.....	17
Екатерина Барина (<i>Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Россия</i>). Проблема перевода вербальных концептов в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» (на примере концепта <i>Tod</i>).....	25
Algis Braun (<i>Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Lithuania</i>). Sociolinguistic Survey of Lithuanian-Russian-English Trilinguals	31
Людмила Бондарева (<i>Российский государственный университет им. И. Канта, Россия</i>). Проблемы гендера в контексте ретроспективного дискурса	40
Silvio Brendler (<i>Linguence Hamburg, Deutschland</i>). Sprachliche Orientierung im Raum: zur Notwendigkeit der Ortsnamen.....	47
Laura Čubajevaitė (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). Daugiakalbystė Lietuvos miestuose: Kauno atvejis. Metodologiniai aspektai.....	54
Jūratė Čirūnaitė (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). Totorių moterų įvardijimas XVI-XVII a. LDK gyventojų surašymo dokumentuose	63
Daiva Dapkūnaitė (<i>Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuva</i>). Medicinos specialistų profesinis žargonas.....	69
Ольга Дорчук (<i>Ягеллонский университет Институт восточнославянской филологии, Польша</i>). «Куды ходил плуг, и соха, и коса, и серп...», то есть о названиях мер пахотной земли на русском севере XV-XVI вв.	75
Гражина Дурка (<i>Поморская Академия в Слупске, Польша</i>). Причастность к молодежным субкультурам как поиск идентичности	80
Genovaitė Dručūtė (<i>Vilniaus universitetas, Lietuva</i>). Kalbinės tapatybės apibrėžtys: frankofonijos atvejis.....	90
Мария Федурко (<i>Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, Украина</i>). Заимствованные элементы в системе современного украинского словообразования: этнолингвистический аспект.....	96
Галина Филь (<i>Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, Украина</i>). Семантика цвета в составе фразеологических единиц украинского языка: психолингвистический аспект.....	102
Ольга Горицкая (<i>Белорусский государственный университет, Беларусь</i>). Закономерности употребления избыточных личных местоимений в роли подлежащего (на материале русского языка).....	109
Regina Jocaitė (<i>Šiaulių University, Lithuania</i>). Cultural Discourse in the Context of Foreign Language Teaching / Learning.....	118
Елена Юхина (<i>Челябинский государственный педагогический университет, Россия</i>). Процессы семантической адаптации компьютерных терминов в русском языке (на материале английского и русского языков)	125
Ольга Юшкевич (<i>Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси, Беларусь</i>). К проблеме словообразовательной интерпретации слов с греческими и латинскими компонентами в современном белорусском языке	134

Лариса Каминская (<i>Санкт-Петербургский государственный университет, Россия</i>). О некоторых албано-румынских соответствиях (фонологический уровень) ..	142
Надежда Карлик (<i>Государственная полярная академия, Россия</i>). Светский дискурс и современные аспекты его интерпретации.....	147
Виктория Кузина (<i>Рижская академия педагогики и управления образованием, Латвия</i>). Лингвостатическое исследование игрового материала (грамматический аспект).....	153
Veslav Kuranovič (<i>Vilnius Gedimino technikos universitetas, Lietuva</i>). Bendravimo mokslas kaip amžinos išminties dvasios šaltinis.....	158
Гражина Лисовска (<i>Институт нефилологии Поморской академии в Слупске, Польша</i>). Активные процессы в современном публицистическом дискурсе: снижение речевого стандарта.....	164
Vilma Linkevičiūtė (<i>Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Lithuania</i>). Ruth Wodak 's Discourse – Historical Method Analysis in Newspaper Articles.....	171
Милана Михалевич (<i>Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Беларусь</i>). Нумеральный ономаσιологический признак в структуре английских и русских композитных предметных наименований.....	179
Татьяна Мозжухина (<i>Российский государственный социальный университет, Россия</i>). Языки культуры: антропологическая ретроспектива.....	186
Сергей Мухин (<i>Московский государственный институт международных отношений МИД России, Россия</i>). Языковые факторы продуктивности фразеологического калькирования (на материале английского языка).....	193
Alvida Neverdauskaitė (<i>Universität Vilnius Geisteswissenschaftliche Fakultät in Kaunas</i>). Jugendsprache. Besonderheiten und Verbreitung.....	199
Надежда Обвинцева (<i>Челябинский государственный педагогический университет, Россия</i>). Парадигматические связи глаголов отношения в русском и английском языках на примере нейтрализации синонимов микрополя убеждения	205
Наталья Патеичук (<i>Минский государственный лингвистический университет, Беларусь</i>). Семантический инвариант: его структурные и содержательные свойства (на материале конкретных имен существительных современного немецкого языка).....	212
Ярина Пузыренко (<i>Национальный аграрный университет, Украина</i>). Маскулинизация как фактор влияния на агентивно-профессиональную номинацию женщин.....	219
Владислав Просцевичус (<i>Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, Украина</i>). Человек звучащий.....	226
Эва Пыртэк, Моника Рухала (<i>Высшая государственная профессиональная школа в Новом Сонче, Польша</i>). О категории времени в соматических фразеологизмах русского и польского языков.....	232
Лариса Рева (<i>Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского</i>). История народа – история языка, история письменности (на примере древней украинской литературы).....	238
Виктория Рыгованова (<i>Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, Украина</i>). Языковая личность в аспекте современных лингвистических теорий.....	243
Ieva Rudzinska (<i>Latvian Academy of Sport Education, Latvia</i>). Basic Characteristics of Quality System for ESP Courses in Higher Education Institutions.....	248
Jūratė Ruzaitė (<i>Vytautas Magnus University, Lithuania</i>). Relating Cognitive Linguistics and Sociolinguistics.....	260
Sigita Stankevičienė (<i>Universität Vilnius Geisteswissenschaftliche Fakultät in Kaunas, </i>). Ausdrucksformen Direktiver Sprechakte im Aufgabenspektrum der Chemie: Eine	

Kontrastive Analyse.....	270
Solveiga Sušinskienė (<i>Šiauliai University, Lithuania</i>). Nominalizations as Explicit/Implicit Cohesion Devices in English Political Texts.....	277
Liisa Tainio (<i>Helsinki University, Finland</i>); Aurelija Novelskaite (<i>Institute for Social Research, Lithuania</i>). Wo/Men's Language in Wo/Men's World: Masculine VS. Feminine Self-References in the Interviews with Lithuanian Female Scientists.....	285
Olesia Tatarovskaja (<i>Lvov national university, Ukraine</i>). Negative Polarity Idioms in Modern English.....	297
Дарья Тер-Минасова (<i>Московский государственный институт международных отношений МИД России, Россия</i>). Имидж монархии сквозь призму идиоматики – связь языка и культуры.....	304
Анна Васильева (<i>Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Беларусь</i>). Критерии оценки вербальной информации с точки зрения ее достоверности/недостоверности.....	311
Dovilė Vengalienė (<i>Vilnius University, Lithuania</i>). Blending in Ironic References to Lithuania in News Headlines.....	319
LITERATŪROS TEORIJA, ISTORIJA IR METODOLOGIJA	
THE THEORY OF THE LITERATURE, HISTORY AND METHODOLOGY	
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ	
Ольга Андреевских (<i>Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Россия</i>). Образ художника в литературной биографии В. Вулф «Роджер Фрай»: к проблеме жанра.....	326
Аркадий Чевтаев (<i>Государственная полярная академия, Россия</i>). След И. Бродского в «Рождественской поэме» Светланы Кековой.....	335
Наталия Даиновича (<i>Даугавпилсский университет, Латвия</i>). «Жила на Рейне фея...» по поводу 2-ой редакции баллады К. Брентано.....	344
Петр Ганцаж (<i>Институт нефилологии Поморской академии в Слупске, Польша</i>). Парадоксы свободы в повести В. Гроссмана «Все течет».....	351
Izolda Genienė (<i>Vilnius Pedagogical University, Lithuania</i>). Intertextuality: the Traditional and Postmodernist Views.....	357
Агнешка Голебиовска-Сухорска (<i>Университет Казимира Великого в Быдгоще, Польша</i>). Народная сказка как прецедентный феномен в современном анекдоте.....	363
Виктор Хрулев (<i>Башкирский государственный университет, Россия</i>). Поэтика сновидений в прозе Леонида Леонова (от «Барсуков» к «Пирамиде»).....	373
Татьяна Киевицкая (<i>Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси, Беларусь</i>). Философия матери в прозе К. Чорного.....	380
Иван Кутняк (<i>Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, Украина</i>). Доминанты украинской мировоззренческой ментальности в философском наследии Григория Сковороды.....	387
Inga Litvinavičienė (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). M. Prustas. Praeities fenomenologija.....	394
Галина Нефагина (<i>Поморская академия в Слупске, Польша</i>). Опера как литературный жанр романа Л. Гиршовича «Вий», вокальный цикл Ф. Шуберта на слова Н. Гоголя».....	400
Elina Naujokaitienė (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). Archetipinis modernizmo poetas Charles Baudelaire ir postkolonializmas.....	408
Янина Петрашкевич (<i>Варшавский университет, Польша</i>). Религиозно – философское осмысление мира и человека в романе Андрея Белого «Петербург».....	416
Олег Перов (<i>Вильнюсский университет, Литва</i>). Особенности стиля В. Розанова: литературная провокация или новая философия.....	429
Оксана Почапская (<i>Каменец-Подольский национальный университет, Украина</i>).	

Особенности восприятия человека и его роли в обществе украинской сатирической публицистикой 1917-1921 гг.	429
Татьяна Пудова (<i>Академия Поморская в Слупске, Польша</i>). Гоголевский дискурс в прозе Олега Постнова.....	436
Jūratė Radavičiūtė (<i>Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Lithuania</i>). The Mimic Men of Salman Rushdie's <i>Midnight's Children</i>	443
Ольга Скачкова (<i>Международная высшая школа практической психологии, Латвия</i>). В. Набоков – комментатор и соавтор А. Пушкина («Бледное Пламя» и «Евгений Онегин»).....	449
Valentina Talerko (<i>Universitāte Daugavpils, Lettland</i>). Das Weltbild Früher Novellen Von Th. Storm.....	456
Беата Трояновска (<i>Университет Казимира Великого в Быдгоше, Польша</i>). Культурные модели дороги в рассказе Николая Лескова «Пугало».....	463
Юлия Шевчук (<i>Башкирский государственный университет, Россия</i>). Образ Гамлета в поэзии «серебряного века» (А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева).....	470
Зейнеп Зафер (<i>Университет “Гази”, Турция</i>). Виктор Пелевин в Турции.....	478
Ingrida Eglė Žindžiuvienė (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). Late Postmodernism in American Fiction.....	486

DIDAKTIKOS TYRIMAI

INVESTIGATIONS INTO DIDACTICS

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инна Бойкене, Надежда Шевелева (<i>Шяуляйский университет, Литва</i>). К вопросу об использовании страноведческого материала В обучении иностранному (русскому) языку.....	495
Зоя Лукашеня (<i>Барановичский государственный университет, Беларусь</i>). Развитие когнитивных способностей студентов средствами тезауруса в режиме совместно-распределенной деятельности.....	501
Юрий Машошин, Сигита Силарая (<i>Академия полиции Латвии, Латвия</i>). Отработка профессионального внимания как составная часть преподавания юридических дисциплин.....	508
Egidijus Mažintas (<i>Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva</i>). Vaikas kalbos erdvėje: moksleivių globalinio repertuarinio lavinimo dramaturgija.....	519
Jelena Kipure (<i>Universitāt Daugavpils, Lettland</i>) Die Entwicklung der Sprachkompetenz Von Deutschstudierenden Aus der Textdidaktischen Perspektive	526
Asija Kovtun (<i>Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva</i>). Mykolas Banevičius – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas: “užmirštas siužetas”.....	534
Татьяна Потемкина (<i>Центр общего среднего образования ФГУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки России, Россия</i>) профессионализация речевого поведения учителя.....	541
Dina Strong (<i>University of Latvia, Latvia</i>). Erasmus Students' Language Learning Experiences Through the Prism of SLA Theories.....	547

KALBA, DISKURSAS, KULTŪRA: PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
LANGUAGE, DISCOURSE, CULTURE: PROBLEMS AND DECISIONS
ЯЗЫК, ДИСКУРС, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Мария Алексеева

Уральское отделение Российской академии наук

ул. Первомайская 91, Екатеринбург, Россия

e-mail: maria.alekseyeva@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ЗАМЕНЫ ЧУЖИМ АНАЛОГОМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕАЛИЙ НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Практика перевода художественных текстов подтверждает сложность передачи национальной специфики и обнаруживает необходимость более детального изучения этого явления. Мастерство переводчика заключается не только в умении выявить единицы перевода с национально-культурным компонентом значения, но и понимании того, что и как следует сохранить в переводе.

В данной статье обосновывается причина обращения исследователей к проблеме передачи реалий на иностранный язык. Определяется место приема замены чужим аналогом в классификации приемов передачи реалий, раскрывается сущность этой переводческой операции, преимущества и недостатки его применения при переводе художественных текстов. Выявляется специфика использования этого приема при передаче различных видов русских реалий в немецких переводах романов Ф. М. Достоевского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реалии, переводческие приемы, прием замены чужим аналогом, художественный перевод, адекватность перевода.

Обращение к вопросу перевода реалий в рамках научной конференции «Человек в пространстве языка» неслучайно. Реалии являются актуальным объектом исследования целого ряда смежных лингвистических дисциплин: переводоведения, сопоставительной лингвистики, лингвострановедения, лингвокультурологии, этнопсихолингвистики, теории межкультурной коммуникации. Исследователи по-разному понимают этот языковой и культурный феномен. Неодинаково трактуется и объем понятия реалия. Однако несомненным остается признание значимости этого слоя лексики в создании языковой картины мира, отражении исторического опыта определенного народа, его менталитета, культурных традиций, что обуславливает столь пристальное внимание российских и зарубежных лингвистов к проблематике национально-специфичной лексики. В связи с этим представляется необходимым уточнить как сам термин, так и объем понятия.

В переводоведении для обозначения уникального национально-специфичного объекта или явления в 40-х гг. XX века появился термин «реалия», а для названия соответствующего уникального объекта и явления термин «реалия-слово» (Федоров 1941, с. 26). Во второй половине XX века в работах по теории и практике перевода термином «реалия» называли и сам денотат, и слово, его обозначающее. Этот период характеризуется многочисленными попытками подобрать наиболее точный термин для лексических единиц, называющих реалии: «экзотизмы» или «экзотическая лексика» (Супрун 1958), «локализмы», «этнографизмы» (Финкель 1962), «варваризмы» (Реформатский 1967), «культуронимы» (Кабакчи 1998), «ксенизмы» (Кусова 2001). В начале XXI века растет интерес к проблемам языка и культуры, что приводит к появлению большого количества теоретических и практических разработок, диссертаций, посвященных данной тематике, а также лингвострановедческих и лингвокультурологических словарей. В рамках Воронежской школы перевода складывается развернутая теория реалии (Кретов А., Фененко Н.). В связи с

терминологической неоднозначностью термина «реалия», обозначающего и явление внеязыковой действительности (предмет), и его культурный эквивалент (концепт), и средство номинации этого концепта в языке (лексема), отечественные ученые предлагают ввести новые термины: R-реалии от фр. *réalité*, C-реалии от фр. *culturel* и L-реалии от фр. *lexème* (Фененко 2006, с. 4). Таким образом, в современном переводе данный термин сохраняется и используется в качестве родового. Хотя теория реалии проделала долгий путь в своем становлении, до сих пор некоторые вопросы остаются дискуссионными.

В частности, исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о том, что составляет объем понятия реалии. Несомненным является тот факт, что в состав реалий входят слова, называющие специфические явления природы, эндемики, блюда, напитки, одежду, обувь, жилище и его части, транспортные средства, меры, денежные единицы, учреждения, органы власти, государственные и общественные организации одного народа. Можно отметить такие характеризующие признаки реалий:

- а) национально-культурная маркированность;
- б) уникальность, специфичность для одной страны, ее культуры;
- в) принадлежность к апеллятивной лексике, к нарицательным существительным.

Таким образом, в качестве реалий при переводе текстов с одного языка на другой рассматриваются нарицательные имена существительные, именующие уникальные национально-специфичные предметы и явления.

Следует отметить, что существует и широкое понимание данного языкового и культурного феномена. Некоторые ученые-лингвисты к числу реалий помимо апеллятивной лексики относят ономастические реалии: топонимы, антропонимы, названия произведений литературы и искусства; исторические факты и события в жизни страны, а также реалии афористического уровня: цитаты, крылатые слова и выражения. Такое понимание реалий находит отражение в новых лингвистических направлениях: лингвострановедении, лингвокультурологии, этнопсихолингвистике и теории межкультурной коммуникации. Данный подход позволяет охватить разные виды реалий и может обеспечить полное отражение разнообразного материала в толковых словарях общего типа.

Более узкого подхода придерживаются в работах, освещающих вопросы, связанные с техникой передачи реалий на иностранный язык: переводческими приемами и их комбинациями, продуктивностью их применения, факторами, влияющими на выбор того или иного приема передачи реалии (см. например, Bödeker 1991, Florin 1993, Солнцев 1999, Markstein 1999, Steuer 2004, Алексеева 2007). В рамках такого подхода имена собственные не включаются в круг реалий, а выделяются как самостоятельный разряд лексики. Это обусловлено тем, что именам собственным присущи свои признаки и приемы перевода. Данный подход позволяет выявить и изучить весь спектр приемов передачи данного слоя лексики в различных видах и типах перевода и для разных пар языков, а также представить материал в переводных учебных и диахронических словарях.

Выбор того или иного определения данного языкового и культурного феномена полностью зависит от целей проводимого исследования. Признавая целесообразность каждого из указанных подходов к пониманию реалии, наиболее актуальным для переводческих исследований считаем последний. Такой подход дает ответ на значимый для переводоведения вопрос о единицах перевода, а также обеспечивает достоверность результатов исследований по технике перевода. Поскольку в данной работе реалии рассматриваются в русле теории перевода, автор статьи придерживается более узкого подхода.

Являясь предметами материальной и духовной культуры, реалии отражают образ жизни и образ мышления конкретного общества и не имеют аналогов в другой культуре, соответственно отсутствуют и лексические единицы их обозначающие. Если в оригинале они являются незаметными, то в тексте перевода всегда выделяются, поскольку являются

яркими выразителями национального своеобразия другой культуры, что существенно увеличивает их стилистическую нагрузку. Поэтому перевод реалий на другой язык становится достаточно сложной задачей, которая включает передачу понятийного содержания этих лексических единиц и выравнивание их функционально-стилистических характеристик для достижения равноценного воздействия оригинального и переводного текста на читателя.

В данной статье передача реалий рассматривается на материале художественных переводов русской классической литературы на немецкий язык. Художественный перевод понимается как один из видов переводческой деятельности, основная задача которого заключается в создании на языке перевода аналогичного произведения, способного оказывать то же художественно-эстетическое воздействие, что и текст перевода (Комиссаров 1990, с. 34). С момента создания переводное произведение становится неотъемлемой частью другой культуры. В этом аспекте художественный перевод представляет собой своего рода канал взаимодействия языков и культур.

Основной проблемой при передаче реалий на иностранный язык является отсутствие эквивалента такого же уровня в языке перевода. По своей природе уникальные национально-специфичные лексические единицы не могут иметь соответствий в других языках вследствие отсутствия соответствующих предметов и понятий. Следовательно, переводчику приходится находить решения, исходя из контекста с помощью ряда переводческих приемов.

Интересным представляется изучение особенностей передачи различных видов реалий на конкретном языковом материале. Материалом исследования послужили лексические единицы, отобранные на основе указанных выше характеризующих признаков из пяти основных романов Ф. М. Достоевского: «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» и варианты их перевода в двадцати разновременных переводах этих произведений на немецкий язык:

Романы	Немецкие переводы			
	1	2	3	4
	до 50-х гг. XX в.	50 — 60-е гг. XX в.	70 — 80-е гг. XX в.	с 90-х гг. и начало XXI в.
1. «Игрок»	Э. Разин, 1910 Х. Рёль, 1921	А. Лютер, 1963	В. Кройтцигер, 1971	Э. Маркштайн, 1992
2. «Идиот»	Х. Рёль, 1923	А. Лютер, 1964	Х. Хербот, 1986	С. Гайер, 1996
3. «Бесы»	Э. Разин, 1906 Х. Рёль, 1921	М. Кегель, 1961	—	С. Гайер, 1998
4. «Братья Карамазовы»	Э. Разин, 1906	Х. Руофф, 1958 Р. Хоффман, 1958	—	С. Гайер, 2003
5. «Преступление и наказание»	Х. Рёль, 1912	Р. Хоффман, 1960	М. и Р. Бройер, 1984	С. Гайер, 1994

В качестве материала выбраны произведения Ф. М. Достоевского, поскольку он является одним из самых переводимых русских классиков в Германии, что дает обширный материал для сопоставления вариантов перевода самих текстов, различных лексических и синтаксических явлений, для анализа приемов их передачи и наиболее удачных переводческих решений.

При систематизации лексических единиц в романах писателя использовалась наиболее полно и четко разработанная, на наш взгляд, классификация реалий, представленная в работе С. Влахова и С. Флорина (Влахов, Флорин 1986), а также система лексико-семантических классов слов, описанная в Русском семантическом словаре под общей ред. Ак. Шведовой Н. 2002. Все единицы разделены на три основные группы, характеризующие особенности географических условий, этнографии и общественно-политического уклада России XIX в.: географические, этнографические и общественно-политические реалии. Эти группы в свою очередь разбиты на подгруппы с целью

выявления особенностей применения переводческих приемов и их комбинаций для реалий из различных групп. В результате сложилась следующая классификация русских реалий в произведениях писателя:

1. Географические реалии.
2. Этнографические реалии.
 - 2.1. Бытовые реалии.
 - 2.1.1. Кулинарные реалии.
 - 2.1.2. Реалии, называющие предметы одежды, обуви и головные уборы.
 - 2.1.3. Реалии, называющие жилые постройки, их части, предметы мебели и домашнего обихода.
 - 2.1.4. Реалии транспорта.
 - 2.2. Трудовые реалии.
 - 2.3. Реалии культуры и искусства.
 - 2.4. Реалии-меры.
 - 2.5. Реалии-деньги.
3. Общественно-политические реалии.
 - 3.1. Административно-территориальные реалии.
 - 3.2. Реалии государственного устройства.
 - 3.3. Военные реалии.

Рассмотрим продуктивность одного и того же переводческого приема: приема замены чужим аналогом при передаче русских реалий различных видов. Для этого определим его место в классификации приемов передачи реалий и раскроем сущность этой переводческой операции.

В зависимости от способа передачи формы и содержания, а также сохранения либо стирания национального и исторического колорита реалий различают четыре группы приемов передачи реалий (Алексеева 2007):

1. Приемы механической передачи.
2. Приемы создания нового слова.
3. Разъясняющие приемы.
4. Уподобляющие приемы.

Прием замены чужим аналогом относится к уподобляющим приемам. В данную группу входят различного рода замены:

1. Замена своим аналогом.
2. Замена чужим аналогом.
3. Родовидовые замены:
 - 3.1. Замена гиперонимом.
 - 3.2. Замена гипонимом.
4. Замена контекстуальным аналогом.

Прием замены чужим аналогом предполагает передачу реалии языка источника другим словом, обозначающим нечто близкое, или даже давно освоенной реалией другой культуры, другого языка, не языка оригинала и перевода. Один предмет или явление, не знакомое читателю перевода, заменяется другим, более знакомым. Таким образом, в немецком тексте появляются лексические единицы, лишенные русского колорита, но эксплицирующие значение русской реалии. Часто чужой аналог удобен в целях экономии языковых средств для создания у читателя определенных качественных представлений. Например, русскую реалию *пельмени* при переводе на английский язык заменяют более знакомым итальянским словом *ravioli*.

Как показывает исследование, прием замены чужим аналогом применяется и немецкими переводчиками романов Ф. М. Достоевского. Анализ немецких переводов показывает, что этот прием характеризуется достаточно низкой продуктивностью по сравнению с другими переводческими приемами и используется при передаче только нескольких видов русских реалий. Из-за ограниченного объема статьи невозможно

проиллюстрировать все выявленные изменения. Однако представляется интересным изложить процентные соотношения частотности использования этого переводческого приема по сравнению с другими при передаче различных видов русских реалий:

Реалии государственного устройства 2%

Административно-территориальные реалии 4%

Кулинарные реалии 5%

Реалии, называющие людей по роду труда 6%

Реалии, называющие предметы одежды, обуви и головные уборы 7%

Военные реалии 12%

Реалии культуры и искусства 15%

Проиллюстрируем выявленные особенности использования приема замены чужим аналогом примерами из параллельных переводов романов писателя на немецкий язык и проследим, каким образом в условиях конкретного контекста использование этого приема влияет на качество перевода реалий разных видов.

2.1.1. Кулинарные реалии.

— ...Затем *котлеты из красной рыбы*, мороженое и *компот* и, наконец, *киселек* вроде бланманже (4, с. 88).

— ...darauf *Koteletts aus rotem Fisch*, Gefrorenes und *Kompott*, und zum Schluß noch *eine süße Speise* in der Art eines Sahnegelées (4.1, с. 139).

— ...ferner *Koteletts aus Knorpelfisch*, Gefrorenes und *Kompott* und zum Schluß *Fruchtpudding* in der Art eines Blanc-manger (4.2, с. 119).

— ...dann *Klößchen aus Störfleisch*, anschließend Gefrorenes, *Kompott* und *Creme*, eine Art Blanc mange (4.3, с. 139).

Слово *котлета* имеет французские корни, но, войдя в русский язык, оно изменило свое значение. В русском языке *котлетой* называют зажаренную лепешку из мясного, рыбного или овощного фарша. С. Гайер использует для перевода названия этого блюда близкий немецкий аналог: *Klößchen aus Störfleisch* (припущенные или паровые клецки из осетрины). Если в оригинале речь идет о паровых котлетах, то аналог подобран достаточно точно. Данную реалию также передают с помощью немецкого аналога *Frikadellen*, когда имеют в виду жареные мясные котлеты. Э. Разин, Х. Руофф и Р. Хоффман используют прием замены чужим аналогом, подставляя освоенную французскую реалию *Koteletts*, которая, согласно словарю иностранных слов немецкого языка, означает то же, что в русском языке называют *отбивной*. Такие лексические единицы разных языков, сходные по звучанию, но расходящиеся по значению, в переводоведении принято называть ложными друзьями переводчика (Латышев 2001, с. 164) Так, сохраняя форму русской лексической единицы, переводчики неверно передают содержание, вызывая у читателей перевода другие ассоциации, и в результате не достигается такой же эффект, как в оригинале. Поэтому перевод С. Гайер считаем адекватным, а два другие – нет.

Сходная ситуация возникает при передаче русской реалии *компот*. Все переводчики заменяют реалию компот французской – *Kompott*, которая означает следующее: отварные фрукты как гарнир к какому-либо блюду или десерт. Здесь снова происходит стирание русской реалии и, кроме того, вызывается ложное представление у немецкого читателя о соответствующем русском напитке. Поэтому перевод названия данного напитка является неадекватным. Реалия *кисель* переводится на немецкий разными приемами: с использованием более широкого родового понятия – гиперонима *süße Speise* (сладкое блюдо) либо с помощью приема замены чужим аналогом: *Fruchtpudding* (фруктовый пудинг) или *Creme* (крем). В немецком языке не существует ничего похожего на этот напиток, поэтому переводчики прибегают к заменам названиями различных десертов или обобщенному переводу, что нельзя считать адекватным переводом названия данного блюда.

2.3. Реалии культуры и искусства.

— Раздается разгульная песня, брякает *бубен*, в припевах свист (5, с. 64).

-
- Ein Gassenhauer ertönt; ein *Tambourin* rasselt; der Refrain wird gepfiffen (5.1, с. 94).
 - Nun erklingt ein ausgelassenes Lied; eine *Schellentrommel* klappert; beim Kehrreim hört man es pfeifen (5.2, с. 76).
 - Es erklingt ein ausgelassenes Lied, eine *Schellentrommel* wird geschlagen, beim Kehrreim gepfiffen (5.3, с. 76)
 - Man hört ein wüstes Lied, das Rasseln einer *Schellentrommel* beim Kehrreim ein schriller Pfiff (5.4, с. 80).

Три переводчика заменяют название русского музыкального инструмента *бубен* немецким словом, именуя сходный музыкальный инструмент, – *Schellentrommel*, а один переводчик — словом французского происхождения *Tambourin* (тамбурин). Оба приема передачи — замена своим и замена чужим аналогом – помогают добиться нужного эффекта, так как предметы, которыми обозначаются слова, выполняют сходные функции и хорошо знакомы немецкому читателю. Это позволяет сделать вывод об адекватности перевода.

Прием замены чужим аналогом достаточно часто используется при передаче названий русских игр, например:

- Отчаянный охотник до *ералаша* (3, с. 600).
- Er spielt mit Vorliebe *Jeralasch* (3.1, с. 922).
- Er ist ein leidenschaftlicher *Whistfreund* (3.2, с. 867).
- Ein passionierter *Whistfreund* (3.3, с. 756).
- Begeisterter *Whist-Spieler* (3.4, с. 870).

В данном примере только Э. Разин транскрибирует название старинной русской карточной игры: *ералаш* – *Jeralasch*. Из контекста ясно, что речь идет о какой-то азартной игре: er spielt – он играет в В примечаниях после текста Э. Разин поясняет данную реалию:

**Jeralasch: Eine Art Whistspiel; wörtlich bedeutet Jeralasch soviel wie Unsinn, Wirrwarr, Durcheinander* – * Ералаш: разновидность игры вист; дословно ералаш означает бессмыслица, путаница, неразбериха. Другие переводчики предпочитают заменить ее давно освоенным в немецком языке словом, называющим похожую на ералаш известную английскую карточную игру вист: *ералаш* – *Whist*. В данном случае коммуникативное задание будет выполнено, так как такой вариант перевода создаст приблизительное понимание (вид карточной игры), но стирается национальный колорит и не передается форма реалии. Самый ранний перевод является, на наш взгляд, наиболее удачным, поскольку сохраняются все компоненты значения русской реалии, форма и колорит. Поэтому этот вариант перевода считаем наиболее адекватным.

3.3. Военные реалии.

- Отец мой был, впрочем, армии *подпоручик*, из юнкеров (2, с. 32).
- Mein Vater war übrigens *Leutnant bei der Linie*, vorher Fähnrich (2.1, с. 11).
- Mein Vater war übrigens *Unterleutnant der Linie* und hatte die Militärschule absolviert (2.2, с. 12).
- ...Mein Vater allerdings hatte eine Junkerschule besucht und diente als *Leutnant in der Armee* (2.3, с. 11).
- Mein Vater allerdings war bei der Armee, *Second-Lieutenant*, nach der Offiziersschule. (2.4, с. 13).

Русская реалия-историзм *подпоручик* называет младший офицерский чин в царской армии. В ранних переводах романа «Идиот» русская реалия *подпоручик* передается с помощью приема замены своим аналогом, а в современном переводе С. Гайер заменяет ее более понятным немецкому читателю английским словом: *Second-Lieutenant* (младший офицерский чин в британской армии). Так, в немецком переводе появляется лексическая единица, лишенная русского колорита, но эксплицирующая значение русской реалии. Последний перевод является неадекватным, поскольку в немецком языке существуют похожий по функции эквивалент. Использование чужого слова приводит не только к

полной потере формы и стиранию национального и исторического колорита русской реалии, но и к появлению у немецких читателей неверных представлений о российской действительности XIX века.

Итак, прием замены чужим аналогом продолжает составлять значительную долю переводческих решений при передаче русских реалий в немецких переводах романов Ф. М. Достоевского. Достаточно высокая частотность применения этого приема объясняется краткостью и кажущейся понятностью перевода для всех носителей немецкого языка, однако это может привести к недопустимой национально-культурной ассимиляции и снижению адекватности перевода.

Если рассматривать общие изменения техники перевода русских реалий на немецкий язык в диахронии, можно проследить тенденцию к уменьшению продуктивности применения этого приема в работах современных переводчиков. Его использование представляется целесообразным в тех случаях, когда русские реалии обладают большой глубиной денотативной безэквивалентности вследствие отсутствия в немецкой культуре даже сходного родового понятия. Вероятно, преодолеть такого рода безэквивалентность возможно только путем дополнительных пояснений в постраничных сносках или в комментариях после текста.

Литература

АЛЕКСЕЕВА, М. Л., 2007. Перевод реалий и реалии перевода: особенности передачи русских реалий в разновременных немецких переводах романов Ф. М. Достоевского. *Монография*. Екатеринбург: ГОУ ВПО Урал. гос. пед. ун-т.

АЛЕКСЕЕВА, М. Л., 2007. Русские реалии в разновременных немецких переводах романов Ф. М. Достоевского. *Словарь-справочник*. Екатеринбург: УРПУ.

ЛАТЫШЕВ, Л. К., 2001. *Технология перевода*. Москва: НВИ Тезаурус.

КАБАКЧИ, В. В., 1998. *Основы англоязычной межкультурной коммуникации*. Санкт-Петербург: РГПУ.

КАБАКЧИ, В. В., 2001. *Практика англоязычной межкультурной коммуникации*. Санкт-Петербург: Союз.

КОМИССАРОВ, В. Н., 1990. *Теория перевода*. Москва: Высшая школа.

КУСОВА, Р. И., 2001. О ксенизмах. *Асимметрические связи в языке / СОГУ*. Владикавказ, с. 28.

РЕФОРМАТСКИЙ, А. А., 1967. *Введение в языкознание*. Москва: Просвещение.

СОЛНЦЕВ, Е. М., 1999. Анализ требований к переводу названий реалий и моделирование процесса перевода. *Общественные науки : вопросы теории и практики*. Москва, с. 121-130.

СУПРУН, А. Е., 1958. Экзотическая лексика. *Филологические науки*, № 2, с. 50-54.

ФЕДОРОВ, А. В., 1941. *О художественном переводе*. Ленинград: Гослитиздат.

ФЕНЕНКО, Н. А., 2006. Французские реалии в контексте теории языка. *Автореф. дис. ... канд. филол. наук*; ВГУ, Воронеж.

ФЕНЕНКО, Н. А.; КРЕТОВ, А. А., 1999. Перевод как канал взаимодействия культур и языков. *Социокультурные проблемы перевода*. Вып. 3, ВГУ, Воронеж, с. 86.

ФИНКЕЛЬ, А. М., 1962. Об автопереводе. *Теория и критика перевода*. Ленинград: Наука.

BÖDEKER, B., 1991. Terms of Material Culture in Jack London's *The Call of the Wild* and its German Translation. *Interculturality and the Historical Study of the Literary Translation*. Berlin : Erich Schmidt, s. 64-70.

FLORIN, S., 1993. Realia in Translation. *Translation as Social Aktion. Russian and Bulgarian Perspectives*. London: Routledge, p. 122-128.

MARKSTEIN, E., 1999. Realia. *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg., s. 288-291.

STEUER, P. R., 2004. ...ein zu weites Feld? Zur Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans «Ein weites Feld von Günter Grass». Stockholm: Univ. Stockholm.

Maria Alekseyeva

Russian Academy of Sciences Ural Branch

USING ANALOGUE FROM A THIRD LANGUAGE AS REALIA TRANSLATION METHOD

Summary

Practice in translation of fiction proves the difficulty to convey national particularities (realia), and reveals the need for a more detailed study of the phenomenon. Craftsmanship of the translator consists not only of his ability to identify the translation units containing the component of nationally and culturally colored meaning, but also of the understanding of what and how should be retained in the translation.

This article justifies the reason that the researchers address the issue of translation of the realia into foreign languages. It shows the place of the method of replacement of realia by an equivalent from a third language in the classification of the methods of translation of realia; it reveals the essence of this translation technique, advantages and disadvantages of its application when translating fiction. Specificity of application of this translation method to translation of various types of the Russian realia is shown on the material of twenty parallel translations of Dostoyevsky's novels into German.

KEY WORDS: realia, translation techniques, the method of replacement of realia by an equivalent from a third language, translation of fiction, adequacy of translation.

Gabija Bankauskaitė–Sereikienė*Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas**Muitinės g. 8, Kaunas LT-44280, Lietuva**e-mail: smilgavejyje@gmail.com***SAVIREKLAMA AVANGARDINĖJE TARPUKARIO LIETUVOS SPAUDOJE**

Straipsnyje analizuojami XX a. 3-iojo dešimtmečio lietuviško avangardo leidiniai „Keturi vėjai“ (1922, 1924–1928) ir „Trečias frontas“ (1930–1931). Aptariami bendrieji reklamų, spausdinamų šiuose leidiniuose, bruožai. Analizuojamos šių leidinių estetinių programų sąsajos su spaudinių savireklama – verbaline bei vizualine.

Gana specifiški leidiniai reklamos aspektu iš kitų tarpukario spaudinių neišsiskyrė, priimdavo ir spausdindavo įvairių rūšių reklamą. Leidėjai neieškojo itin kūrybingų sprendimų, tačiau buvo orientuoti pirmiausia į išsilavinusius skaitytojus. Žurnalai itin daug vietos skyrė knygų, kultūros žurnalų, laikraščių reklamai. „Trečias frontas“ buvo itin aktyvus reklamuodamas save – pirmiausia savo estetinėmis programomis, laikydamasis pasirinktos aktyvios savireklamos strategijos, ieškodamas savos skaitytojų auditorijos, siekdamas glaudesnės komunikacijos su skaitytoju. Abiejų žurnalų prisistatymas yra daugiau kaligrafinis nei ženklinis.

Ir trečiafrontininkų, ir keturvėjininkų aktyvios, kūrybingos pastangos visuomenės buvo įvertintos nevienareikšmiškai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: estetinė programa, reklama, savireklama, tarpukario Lietuva, avangardiniai leidiniai.

Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvos kultūrinis gyvenimas buvo itin aktyvus. Atgavus nepriklausomybę, augant ekonomikai, ir kultūrinis bei meninis gyvenimas ėmė sparčiai vystytis. Gausių kultūros, tapybos, teatro, spaudos, pramoginių įvykių kontekste nelengva buvo išsiskirti. Tuomet viena iš viešo ir akivaizdaus pasirodymo galimybių, kaip ir šiandien, buvo reklama. Kultūros sferoje reklama buvo suvokta ne tik kaip verslas, kuris parduoda įvaizdį, koncepciją ar produktą, bet ir kaip kultūrinis pranešimas, apeliuojantis į naujo tipo komunikacijos kūrimą.

Paskelbus Nepriklausomybę, Lietuvoje pradėjo formuotis vakarietiško tipo reklama. To meto skelbimų forma ir turinys mažai skyrėsi nuo tuometinės Amerikos ir Vakarų Europos šalių reklamos. Tarpukario kultūrai, menui bei literatūrai skirta spauda taip pat naudojo reklamą, siekdama save įvaizdinti bei parduoti, taip pat ir pati spausdino ją, norėdama pritraukti įvairių sluoksnių skaitytojus. Vizualioji tarpukario reklama, kaip ir šiandieninė, rėmėsi metaforinio bei metoniminio vaizdavimo išgalėmis, o tekstas dažniausiai atlikdavo aiškinamąjį, informacinį vaidmenį. Apeliuodama į skaitytoją semantiškai turtingais įvaizdžiais, reklama yra ir masinės komunikacijos, ir kultūros proceso aktyvi dalis. Kaip teigia Johnas Fiske, „komunikacija yra svarbiausia mūsų kultūros egzistavimui — be jos bet kokia kultūra turėtų žūti“ (Fiske 1998, p. 16).

Šiame straipsnyje tiriama viena reklamos rūšis – spaudos savireklama. Tiriamasis objektas yra XX a. 3-iojo dešimtmečio lietuviškos avangardinės spaudos („Keturių vėjų pranašas“, „Keturi vėjai“ ir „Trečias frontas“) savireklama šiuose leidiniuose bei jos koreliacija su leidinių estetinėmis programomis, aptariami ir bendrieji reklamų, spausdinamų šiuose leidiniuose, bruožai.

1922 metų pavasarį pasirodė vienkartinis leidinys — septynių puslapių „Keturių vėjų pranašas“, kuris žymėjo jaunų, avangardistiškai nusiteikusių kūrėjų, organizuotos modernistų grupuotės estetinės programos metmenis. 1924 metų sausį pasirodė pirmasis apie 60 puslapių „Keturių vėjų“ numeris. Jį redagavo ir futuristiniais eskizais puošė Petras Tarulis, bendradarbiavo visi grupės branduolį sudarę rašytojai: redaktorius ir iniciatorius Kazys Binkis, Butkų Juzė, Salys Šemerys (Stasys Šmerauskas), Juozas Tysliava, Teofilis Tilvytis, Juozas

Žlabys–Žengė, Antanas Rimydis, Alfonsas Šimėnas, Petras Janeliūnas. Žurnalas buvo leidžiamas iki 1928 m., iš viso išėjo keturi numeriai.

1930 m. sausio mėnesį pasirodė pirmasis „Trečio fronto“ numeris. Žymiausi trečiafrontininkai: Bronys Raila, Petras Cvirka, Kostas Korsakas, Pranas Morkūnas, Butkų Juzė, Vytautas Montvila, Salomėja Nėris. Buvo išleisti tik penki numeriai, šeštasis ir septintasis buvo konfiskuoti. Žurnale buvo spausdinami grožinės prozos ir poezijos kūriniai, vertimai, literatūros ir meno kritikos straipsniai. Apie tarpukario literatūrinį gyvenimą, šiuos leidinius bei jų reikšmę lietuviškajam avangardizmui rašyta tikrai pakankamai daug ir išsamiai. Tačiau jų reklamos diskursas netyrinėtas.

Žurnalų reklamos puslapių apžvalga

Abiejuose leidiniuose gausiausiai reklamuojami laikraščiai ir žurnalai, knygos, leidyklos, spaustuvės ir knygynai. Daug lėšų savo reklamai skiria bankai, draudimo bendrovės. Nemažai vietos suteikiama avalynės ir drabužių siuvimo, viešbučių ir restoranų, maisto produktų ir higienos priemonių reklamai. Rečiau reklamuojami foto salonai, skalbyklos, transporto priemonės ir buitiniai prietaisai.

Pažvelgus į bendruosius reklamos puslapius pirmajame „Keturių vėjų“ numeryje, galima teigti, kad jų dizainas skiriasi nuo vėlesniųjų. Iš pradžių reklamos buvo vizualiai patrauklesnės. Skirtingi rėmeliai patraukia dėmesį, reklaminiai puslapiai nėra sausakimši mažų reklaminių plotelių. Kiekviename puslapyje talpinamos 5–8 reklamos — adresatui paprasčiau išsirinkti prekę ar paslaugą, nes mažesnė konkurencija.



1 pav. „Keturių vėjų“ reklaminiai puslapiai

Reklaminių skelbimų dizaino galimybės apribotos juodos–baltos spalvinės gamos. Tačiau jie patraukia vartotojo akį. Rėmeliai atskiria vienus reklaminius skelbimus nuo kitų, puošia reklamas. Dažniausiai kiekviena reklama puošiasi skirtingais rėmeliais, kurie padeda vartotojui koncentruoti dėmesį į vieną reklamą, nes atskiria skirtingus informacijos šaltinius. Rėmų dizainas dažniausiai susietas su teksto šriftu, pvz., „Švyturio“ reklamos raidžių šriftas aptakus, apvalus ir rėmelis atkartoja tą pačią koncepciją. Viešbučio „Rytas“ šriftas ir rėmelis kampuoti. Šiek tiek naudojama iliustracijų (informacijos pranešimui arba kaip fonas), kurios padeda atkreipti vartotojo dėmesį. Reklaminio teksto ir iliustracijos santykis gali būti įvairus. Labai retos nuotraukos. „Ryto“ viešbučio reklamoje matome viešbučio fotografiją, kuri labiau negu iliustracija padeda įtikinti vartotoją, kad reklamos tekstas nemeluoja. „Keturių vėjų“ reklamos išsiskiria šriftų įvairove. Ypač išsiskiria įmonių ar įstaigų pavadinimų šriftai. Originalus šriftas padeda greičiau įsiminti įmonės ar prekės pavadinimą.

Vėlesniuose numeriuose reklaminiai plotai mažėja, reklamų daugėja, jos tampa neišraiškingos, neoriginalios, niūrios, dingsta rėmeliai. Reklamų kokybė suprastėja. Tuo metu kuriasi vis daugiau įmonių, kurios nori reklamuotis, todėl žurnalo reklaminis plotas sumažėja — į tuos pačius reklaminius puslapius reikia sutalpinti dvigubai daugiau reklamų, tad natūralu, jog jų kokybė kenčia.

Pirmuosiuose „Trečio fronto“ numeriuose reklaminiams skelbimams skirta labai nedaug vietos: vos vienas, paskutinis žurnalo puslapis. Nuo trečio numerio žurnaluose reklamos atsiranda vis daugiau — jai skirti 2–3 paskutiniai puslapiai (taip pat ir savireklamai — dažniausiai pirmajame žurnalo puslapyje). Iš viso šiuose penkiuose „Trečio fronto“ numeriuose išspausdinti 46 reklaminiai skelbimai. Skirtingų produktų ar paslaugų reklamos tiesiog sutalpintos bendrai viename ar keliuose puslapiuose. Pirmuose žurnalo numeriuose visas šias reklamas skiria juodos arba raudonos linijos, vėlesniuose numeriuose skelbimai apipavidalinami rėmeliais. Įdomu tai, kad trečiame žurnalo numeryje reklamos atskiriamos vien geltonos spalvos linija.



2 pav. „Trečio fronto“ reklaminiai puslapiai

Reklamų rėmai gan paprasti, vienas nuo kito beveik nesiskiriantys, kiek įdomesni dienraščio „Lietuvos žinios“ ir knygos „Alma mater“ reklaminių skelbimų rėmeliai. „Trečio fronto“ savireklaminiis skelbimas nuo kitų reklamų atskirtas ryškiai raudonu ir gan plačiu pusiau rėmeliu. Tokie reklamos išskirtiniai bruožai, apipavidalinimo priemonės ne tik patraukia skaitytojų, potencialių prekės ar paslaugos vartotojų, dėmesį, bet ir padeda jiems lengviau pasirinkti pateiktą informaciją. Kaip jau minėta, visos reklamos išspausdintos viename puslapyje ir dėl to be rėmelių gan keblu atskirti vienos reklamos tekstą nuo kito reklaminių skelbimo teksto.

„Trečio fronto“ reklamos išsiskiria šriftais. Reklamuojamų objektų pavadinimai taip pat dažniausiai išskiriami tam tikru šriftu, pirmiausia tam, kad patrauktų skaitytojų dėmesį ir kad skaitytojams būtų lengviau įsiminti reklamuojamą prekę ar paslaugą, pvz., dienraštis „Lietuvos žinios“ reklamuojamas įmantriu, gerokai iš kitų reklamų išsiskiriančiu šriftu. Taip pat skirtingi šriftai padeda atskirti tame pačiame puslapyje sutalpintas vienas reklamas nuo kitų.

Dar vienas reklamos apipavidalinimo bruožas šiame žurnale yra vertikalūs arba horizontalūs brūkšniai (juostos, linijos). Šalia, apačioje arba virš reklamos teksto nupieštos kelios arba tiesiog viena juosta. Toks reklamos apipavidalinimo būdas taikytas skelbimuose, kurie neturi rėmelių. Tad keli brūkšniai ar kelios juostos šalia reklaminių teksto atlieka beveik tą pačią funkciją kaip ir įrėminimas: labiau išryškina reklamą ir patraukia skaitytojų dėmesį.

Keletas „Trečio fronto“ reklamų išsiskiria punktuacijos ženklų – šauktuku. Dažniausiai skelbimuose vaizduojamas šauktukas yra daug didesnis bei ryškesnis nei pats reklaminių tekstas (pvz., žurnalo „Kultūra“ reklama). Laikraščio „Darbo sveikata“ reklamoje yra pavaizduota pora šauktukų, kurie grafiškai skiriasi nuo kitose reklamose vaizduojamų šauktukų: šie daug gražesni, originalesni. Iš abiejų pusių esantys intonacijos ženklai tartum įrėmina šią reklamą. Šauktukas dedamas po ryškios skatinamosios ar ryškios emocinės reikšmės sakinio. Tad tokiu būdu skaitytojai, potencialūs vartotojai ne tik sudominami, bet ir netiesiogiai skatinami įsigyti reklamuojamą prekę ar paslaugą.

Iliustracijos ir fotografijos reklamose beveik nenaudojamos. Vieninteliame rūbų siuvimo bendrovės „Mada“ reklaminiame skelbime matome dviejų vyrų, vilkinčių kostiumus, nuotrauką. Iš visų reklaminių skelbimų vos viename randame iliustraciją: dviračio piešinys firmos „Naumann“ ir „Elite“ prekių reklamoje. Akivaizdu, kad tiek nuotrauka, tiek piešinys reklaminiame skelbime patraukia skaitytojų dėmesį labiau nei iki tol minėtos reklamų apipavidalinimo priemonės, todėl keista, jog jų „Trečio fronto“ reklamose randame vos keletą.

Apžvelgus visus reklaminius skelbimus, galima nusakyti ir žurnalo tikslią auditoriją. Dauguma skelbimų skirta išsilavinusiam žmogui, pavyzdžiui, knygos „Aušros poezija“ reklamoje štai taip nusakomas adresatas: „*mokytojui, studentui, moksleiviui ir kiekvienam šviesuoliui*“, kitoje reklamoje skelbiama, jog pas siuvėją Juliją Mečeržinską „*sau rūbus siūdinasi artistai, dailininkai, literatai ir visa meniškoji inteligentija*“. Vis dėlto reikia paminėti, kad galima rasti reklamų, skirtų ne vien miesto žmogui ar vadinamajai inteligentijai. Laikraštis „Žemaitis“ yra orientuotas į kaimo žmogų („*Nėra geresnio kaimo žmogui laikraščio*“), „Jaunųjų pasaulis“ reklamoje teigiama, kad reklamuojamas žurnalas „*bus naudingas ir įdomus kaimo jaunuoliui ir inteligentui*“. Be to, žurnalų „Jaunųjų pasaulis“ ir „Jaunimas“ reklamos rodo, kad jaunimas yra tikslinės auditorijos dalis.

Estetinės programos ir savireklamos koreliacija

„*Reklama – tai informavimo tipas, skirtas įtikinti vartotoją. Šio veiksmo rezultatas gali būti poveikis elgsenai (reklamuojamos prekės pirkimas), nuostatoms (jums patiko kokia nors prekė), kognityvinis poveikis (sužinote apie daiktą, jo savybes).*“ (Meškys 2007, p. 229). Abu leidiniai, siekdami šių tikslų, savo reklamos akcijas pradėjo dar nepasirodę. Kazys Binkis nuo 1922 m. organizavo Kaune jaunų kūrėjų sueigas, „paldienikus“. Vasario viduryje keturvėjininkų grupuotė suorganizavo aštuonių puslapių leidinį „Keturių Vėjų pranašas“, vadinamąjį „Keturių vėjų“ žurnalo priešnumerį. Jame manifestavo savo bendrą koncepciją susiburti jauniems į vieną meno kūrėjų armiją, dar nebandydami aiškiau apibrėžti naujojo meno esmės ir uždavinių. Bet jau pirmasis sakinytis, savotiška savireklama, trumpai pabrėžė pagrindinį motyvą ir jo funkcionaliuosius dėmenis – JAUNYSTĖS ĖJIMĄ Į GYVENIMĄ (viešą ir privačią sritį) ir kartu NAUJOJO MENO SKELBIMĄ: „*Mes jauni iškeltagalviai, nenuoramos ir vėjavaikiai einame į gyvenimą Naujojo meno vėliava nešini. Mes nudrėskėme nuo savo dvasios sumirkusį laiko baloj apdarą ir sviedėm jį tiems, kurie senatvėj šla. [...] Nustelbdami prekymečio užesį ir miegančių knarksną, mes mušame į skambaus žodžio būgną ir šaukiame visus, kurie jauni dvasioj, sudaryti vieną didelę Naujojo Meno kūrėjų armiją! [...] Mėno Betliejū gims naujų žmonių karta. Mėno dinamo mašina milijonais prožektorių nušvies mūsų sutemas.* „KETURIŲ VĖJŲ“ KURIJA“ (Keturių vėjų pranašas 1922, p. 1).

Manifeste parodijuojamas kunigų–rašytojų kultūros ir literatūros anachroniškumas, pašiepiamas simbolistų ir neoromantikų pasyvumas, siekiama sudrebinti miesčionišką dvasios snaudulį dinamiška ir šiurkščia avangardine Marinetti poetika. Dažniausiai reklama siekiama pirmiausia sukurti teigiamą teikėjo įvaizdį, o šiuo atveju visiškai nesiekiami išvengti negatyvių asociacijų. Grožinės literatūros kūriniuose taip pat ryškėjo naujos meninės pasaulėjautos bruožai: aktyvumas, dinamiškumas, akibroktas, karingas bei šūksmingas tonas smerkiant autoritetus, sarkastiškas šaipymasis iš valdžios, drąši Lietuvos gyvenimo negerovių kritika. Tai taip pat galima traktuoti kaip netiesioginę būsimo žurnalo reklamą.

Paradoksalu, bet avangardinė smūgiavimo, šokiravimo reklaminė strategija nebuvo išlaikyta tiesiogiai reklamuojant pirmąjį „Keturių vėjų“ žurnalą. Jis reklamuojamas gana nuosaikiai. Kokio pobūdžio bus žurnalas, neinformuojama, apipavidalinimas neišsiskiriantis. Vis dėlto „Keturių vėjų pranašą“ galima traktuoti kaip pavykusią būsimo žurnalo reklaminę akciją, kuri atskleidė būsimo žurnalo turinį, pagrindines idėjas ir sudomino pirkėją – jei patiko „Keturių vėjų pranašas“, patiks ir žurnalas „Keturi vėjai“.

Svarbiausios keturvėjininkų idėjos išvardytos žurnalo pirmajame numeryje, manifeste „Žengte marš!“, kurioje nuosekliai pratęsimas ir toliau plėtojamas avangardinio žodžio, minties ir veiksmo vienumos principas: „*Mes žodžio darbininkai, žodžiui pasiukavę kantrūs meisteriai pavieniui ir būriais iš žodžio minkštimo dirbame naujus daiktus [...] Dar priešininkai tai seneliai. [...] Jie žili. Autoritetingi. Turi savo pažiūras, kurias jau vėlu judinti. Tos pažiūros gerai, kad XIX, o dažnai esti XVIII amžiaus! [...] Gerbiamieji ponios ir ponai! / tegyvuoja radio telefonai! / Tegyvuoja žemės dirbtuvėj radio išleistuvai ir radio imtuvai! [...] Liaudies kūrinų primitingas paprastumas tai ir yra tas sveikas grūdas, iš kurio mes ugdysime ateitis meną*“ (Keturi vėjai 1924, Nr. 1, p. 1). Tai buvo sėkminga savireklama. Nors laikui bėgant „Keturi vėjai“ kito ir įvairėjo, tačiau jo linkmė iš esmės atitiko programinius postulatus. Siekta išlaisvinti, atgaivinti ir modernizuoti žodį, kurti „naują meną“, gyvą grožinę literatūrą, nesuvaržytą tradicijų, sudaužyti pasenusius šablonus ir išsekusias tradicijas, atsigręžti į XX amžiaus technišką civilizaciją, neužmiršti sąsajų su liaudies kūryba. Keturvėjininkai visomis priemonėmis, net literatūriniu teismu bandė atkreipti dėmesį į savo „naują meną“.

Pirmas žurnalo „Trečias frontas“ numeris buvo taip pat viesulingas, jaunatviškas, berniškas ir gana agresyvus, kaip ir „Keturių vėjų“: arogantiškas tonas, išdidi poza, paniekinantis žvilgsnis į to meto rašytojus ir jų kūrybą. Patys trečiafrontininkai neslėpė: pirmiausia norėjo išprovokuoti skandalą, kad atkreiptų į save didesnę dėmesį. Vartotojas turėjo išgirsti ir pamatyti reklamą: „*Jaunųjų rašytojų aktyvistų kolektyvas greitu laiku išleidžia žurnalą „Trečias frontas“, kuris bandys į mūsų literatūros gyvenimą įnešti daugiau gyvumo, ypač triukšmo*“ (Trečias frontas 1930, Nr. 1, p. 1). Taigi pasirinktas įdomus žurnalo kodas LITERATŪRA–TRIUKŠMAS. Literatūra įprastai asocijuojasi su kanonu, tradicija, geru tonu, aukštaisiais žanrais, kultūra, tačiau ne su triukšmu. Šiuo atveju vartotoją siekta sudominti netikėta struktūra, kuri būtų atsimenama būtent dėl ypatingumo. Drąsiais sušukimais peršama itin aktyvi komunikacija, atskleidžiama naujojo žurnalo ideologija, tematika ir požiūris į visuomenę. Jaučiamas arogantiškas tonas, išdidi poza, naujas požiūris į kultūrą ir rašytojų kūrybą, maištaujančio jaunų rašytojų kolektyvo siekimas drastiškomis priemonėmis atkreipti į save dėmesį: „*Pastaraisiais nepriklausomo gyvenimo metais mes, jaunieji prigyvenom ligi to, kad mum liko vienintelė alternatyva: arba pasikart ant daržinės kraigo, arba išleisti literatūros gazetą. Mes pasiryžom sunkesniai sprendimui, nes pasiėmėm sunkiausią iš visų pareigą: gyventi, būti rašytojais, būti visuomet ir visur aktingi. Palaužti merdėjimo plutai dvasios ir energijos mum pakaks.*“ (Trečias frontas 1930, Nr. 1, p. 2).

Manifeste skelbiamas aktyvizmo, aktyvaus rašytojo dalyvavimo gyvenime ir kūryboje principas, išryškėja autorių noras pasirodyti originaliais, moderniais, nepanašiais į kitus, šmaikštus žodis ar posakis jiems svarbiau negu tiksliai suformuluota mintis. Iš tokio tono galima suprasti, jog trečiafrontininkai atėjo į visuomenę laužyti standartų, paskatinti skaitytojus pažvelgti į literatūrą kitu kampu, įvykdyti LITERATŪROS—TRIUKŠMO—AKTYVUMO paradigmos. Ją turi realizuoti bernas. Jo paveikslas pateiktas manifeste „Mes pasiryžom“: „*Sveikas, gyvas, jaunas, kovojantis lietuviškas bernas, kuris pūslėtom rankom, barbariška bei gražia, maištingai galinga siela, pilna sveikos gyvybės, darbo energijos, tikro žmoniškumo, meilės ir kolektyvo jausmų – eina apsimovęs savo darbo klumpėm užkariauti savosios žemės, teisės ir laisvės.*“ (Trečias frontas, 1930, Nr. 1, p. 1). „Naujas“ žmogus ir „nauja“ visuomenė pagrįsti ekspresyvaus judesio, aktyvaus bendravimo, darbo bei kovos dominantėmis.

Autoriai savo programiniame manifeste išskiria du literatūros monopolius, kuriuos reikia įveikti naujuoju menu: „*pirmasis – visa romantika, visa klasika, visa reakcija, visa senovė [...] antrasis – futurizmas, susenęs „jaunumas“ – „Keturi vėjai*“.“ (Trečias frontas 1930, Nr. 1, p. 1). Vis dėlto trečiafrontininkai tolerantiškiau nei keturvėjininkai žvelgia į praeitį ir tradicijas: „*Mes nemanom ką nors griauti. Griovimo pareigas paliekam tiem, kurių tai iki šiol buvo specialybė. Tegu griaua, kol patys galutinai sugrius.*“ (Trečias frontas 1930, Nr. 1, p. 2). Drąsus šūkis savireklamos teksto pabaigoje tarsi ataidi iš jos pradžios ir savotiškai užbaigia savireklamos koncepciją tuo pačiu sandu – visa ko aktyvinimu: „*Mes – „Trečias frontas“ – išeinam gyventi ir dirbti. Mes – sveikinam ir kviečiam į darbą visus, kurie gyvi, kurie nori*

gyventi, kurie amžinai juda, siekia, kovoja!“

Reklama yra manipuliacinis komunikacijos aktas, pagrįstas įtaigos kūrimo mechanizmu. Šiuo atveju įtaigia kuriama išlaikant vieningą estetinės programos ir reklamavimosi mechanizmą – smūgiavimą, aktyvumą, dinamiką, parenkant atitinkamą leksiką ir stilių. Žurnalo rėksminga savireklama publikuojama kiekviename numeryje: tai esą „*vienintelis Lietuvoje aktingos literatūros ir kultūros leidinys*“. Įtaiga reklamos adresatui konstruojama tiek reklaminių teksto verbalumu, tiek vizualumu. Dėmesį bandoma atkreipti išryškinant teksto dalis ar svarbiausius žodžius, raudonais ar juodais rėmeliais, dideliu raudonu šauktuku, o kai kurie sakiniai parašyti gerokai išdidintomis raidėmis. Taip atsikratoma ilgiems tekstams būdingos monotonijos, suteikiama tekstui žaismingumo. Tokiose reklamose atsiranda spalviniai motyvai, panaudojami ryškiaspalviai rėmeliai atitinka rėksmingą reklamos turinio toną.

Savireklama „Trečiame fronte“ nesikartoja, su kiekvienu numeriu ji vis išsamesnė, kūrybiškesnė, globališkesnė, kaip ir estetinė programa – ilgainiui pradedama akcentuoti siekį apimti, parodyti, pamatyti, išgirsti ir pajusti naują programą nuo lietuviško kaimo glūdumos iki didžiųjų Vakarų Europos valstybių. Žurnalo savireklama galima laikyti ir informacinius tekstus apie leidinio puslapių skaičiaus ir kainos pasikeitimą. Svarbiausi teiginiai, tokie kaip „*labai pigi*“, „*duosime didelius nuošimčius*“, „*du egzemplioriai kaštuoja tik 2 litai*“ gerokai išryškinami storesniu šriftu ir didesnėmis raidėmis. Skaitytojai raginami paskubėti įsigyti dar likusių žurnalo numerių, pvz.: „*Kas atsiųs 5 litus, gaus visus ligi šiol išėjusius keturis numerius. Kas išsirašys bent penkis bet kurių Nr. egz. , tas gaus juos su 30% nuolaida. Skolon niekam nesiunčiama.*“ (Trečias frontas 1930, Nr. 5, p. 1). Trečiafrontininkai išmoningesni nei keturvėjininkai, skelbia savo prenumeratoriams ir skaitytojams reklamines akcijas, žada nuolaidų.

Savireklamai galima priskirti ir tekstus, kuriose pateikiama objektyvi informacija apie tai, kas bendradarbiauja „Trečiame fronte“ (žinomos pavardės turėjo pritraukti nemažą skaitytojų ratą), kokio pobūdžio kūrinių ar straipsnių pateikiama žurnale, išvardijamos šalys, kuriose žurnalas prenumeruojamas ir skaitomas, pranešama, jog reikalingi žurnalo platintojai. Tame pačiame tekste To paties savireklamos teksto apačioje pridedamas radikalus kreipimasis į skaitytojus: „*Jeį neskaitote „Trečio fronto“, jūs labai daug nustojate. Kam rūpi gyvenimo ir literatūros pažanga, tas be „Trečio fronto“ jokiu būdu negali apsieiti*“. Apeliuojama į skaitytojų rūpestį bei prašoma materialinės paramos: kad vieša informacija būtų įtaigi ir paveiki, ji, manipuluodama privačiais diskursais, su adresu kuria intymų ir aktyvų dialogą (priminimai nuolatiniai, bet įvairuojantys). Ryškių spalvų rėmeliai būdingi tokio pobūdžio savireklamai — trumpiems straipsniukams, kuriuose skaitytojai skatinami remti literatūros laikraštį, paaukojant pinigų fondui, skirtam „Trečiam frontui“ leisti.

Dalį savireklamos sudaro ir kelių puslapių straipsniai — pasvarstymai apie literatūrą, žodį, spaudos leidinius, tarp jų ir „Trečią frontą“. Pareiškiami kai kurių žymių žmonių nuomonė ir požiūris atitinkamais klausimais. Taip skaitytojui suteikiama galimybė ne tik sužinoti šališką kai kurių literatūrai nusipelnusių žmonių nuomonę, bet ir susidaryti nuomonę apie literatūrą plačiąja prasme ar reklamuojamą žurnalą pačiam. Šie savireklamos straipsniai parašyti smulkiu šriftu, išryškinamos tiktai straipsnio potėmės.

Savireklamoje artikuliuojami tokie ženklai ir kodai, kurie paveiktų adresato jausmus, išpildytų jo lūkesčius bei poreikius ir taip skatintų pirkti, įsigyti siūlomą prekę ar paslaugą kaip vertę, keičiančią asmeninį adresato gyvenimą. Kiekviename žurnalo numeryje yra skyrelis „Literatūros broliams“. Skaitytojai informuojami apie įvairius rašytojų kūrinius bei darbus. Skyriuje „Ką dirbam („Trečio fronto“ kronika)“ trumpai aptariamas Rašytojų Aktyvistų kolektyvas, jų nuveikti darbai, ketinimai, planai. Tai tarsi rekomendacija „Trečiam frontui“, kuriame rašo darbštūs, entuziastingi žmonės. Skaitytojai kviečiami rašyti, bendrauti, diskutuoti, aktyviai formuoti žurnalo „veidą“. Siekdama paveikti kiekvieną adresatą tiesiogiai ir asmeniškai, šiuo atveju savireklama „*sulieja privačių ir viešų diskursų ypatybes, bruožus, požymius*“ (Cook 2001, p. 220).

Vėlesniuose numeriuose trečiafrontininkai atsisakė stichinio maištingumo, berno kulto, avangardistinių formos eksperimentų ir pasuko link proletarinės literatūros, nuosaikesnė tapo ir savireklama. Tačiau iš esmės abiejų žurnalų kolektyvai buvo veidu atsisukę į jaunystę, maištą, aktyvumą, naują gyvenimą ir siekė šią koncepciją įgyvendinti visokeriopai. Ir vėjavaikio, ir berno kulto propagavimas šokiravo ramius, sočius ir gyvenimu patenkintus miesčionis, tai buvo abiejų kolektyvų tikslas, vadinas, ir žurnalų tikslinė auditorija panaši — išsilavinę, miesto žmonės, Lietuvos inteligentija, ypač jaunimas. Viešas ir masinis reklamos tekstas ir buvo skiriamas tikslinei auditorijai, jis artikuliuavo būtent tai auditorijai patrauklias, priimtinas ar norimas, geidžiamas vertes: drąsą, jaunystę, maištavimą, kitiškumą. Kita vertus, abiejų žurnalų reklamos asortimentas labai platus, orientuotas į daugumą visuomenės sluoksnių, ir ne tik Lietuvoje.

Trečiafrontininkų ir keturvėjininkų noras sujungti pažangumą su modernumu buvo gana sėkmingai realizuotas estetinėse programose. Tačiau, palyginus su šių dienų reklama, jų siūloma estetika, poetika ir stilistika labiau atsispindėjo verbalinėje plotmėje. Vizualinei savireklamai priskirtume žurnalų pirmuosius puslapius. Abiejų žurnalų pirmųjų numerių viršeliuose pasinaudota spalvomis bei linijomis, orientuotasi į paprastą ir kartu vizualiai aktyvų paveikslą, išryškinant pavadinimą. Keturvėjininkai žurnalo pirmąjį puslapį nuolat keitė, tačiau išlaikė pirminę stilistiką, puikiai suvokdami, kad pirma, kas krenta į akis paėmus leidinį, yra „veidas“.



3 pav. „Keturių vėjų“ pirmieji puslapiai

Grafinis šių puslapių sprendimas atitinka estetinėje koncepcijoje keltus tikslus. Siūlomas jaunatviškas ir veržlus, todėl „rėkiantis“ veiksmo dizainas, art deco ir futurizmo idėjų atspindžiai – sustiprinta linija ir dinamika. Pirmasis ir antrasis numeriai labiau spontaniški, iššaukiantys, o trečias ir ketvirtas – jau skaitytojams pažįstami, todėl dizainas kiek ramesnis, nors taip pat išlaikomas vyraujantis linijškumas.

„Trečio fronto“ pirmasis numeris orientuoja skaitytoją ne į kultūrą, literatūrą, bet labiau į tiksluosius mokslus, siūlomas konstruktyvistinis kodas. Spalvinė gama, linijos suderintos su apskritimu, kuris asocijuojasi su pasauliu, globalumu, dinamika, o apskritime – linijomis, šiek tiek chaotiškai, bet aktyviai išdėliotos žurnalo bendradarbių pavardės.



4 pav. „Trečio fronto“ pirmieji puslapiai

Kitų numerių pirmuosiuose puslapiuose pavardžių nebelieka, kadangi svarbesnis tampa turinys – kas perskaitė, susidomėjo, jau žino, perka ar prenumeruoja leidinį. Todėl čia jau kuriamas naujas kompozicijos principas. Sunkus pavadinimas atkreipia dėmesį, labiau pastebimas ir žurnalo numeris. Pasitelkiamos kontrastingesnės spalvos. Skaitytojas intriguojamas, kad atsiverstų leidinį ir skaitytų informaciją, tačiau bendroji dizaino stilistika išlaikoma.

Apibendrinimas

Vis dėlto negalima teigti, kad žurnalai nebuvo pastebėti. Galima apibendrinti, kad „Trečio fronto“ verbalioji savireklama aktyvesnė, konstruktyvesnė ir todėl paveikesnė nei „Keturių vėjų“. Skaitytojų sąmonę siekta suaktyvinti ne tik netikėtais minties elementais, bet ir pakankamai nuosekliu savireklamos darbu. Pirmąsias itin aktyvų ir dinamišką kultūrinės komunikacijos būdą, rašytojų kolektyvas labai pasitikėjo savimi, nesireklamavo kituose leidiniuose, ir kartu siekė intymesnės komunikacijos su skaitytoju. Nors abiejų žurnalų prisistatymas yra daugiau kaligrafinis nei ženklinis, tačiau vizualaus dizaino sprendimas efektyvesnis „Keturių vėjų“ viršeliuose.

Ir trečiafrontininkų, ir keturvėjininkų aktyvios, kūrybingos pastangos buvo įvertintos nevienareikšmiškai, o žurnalai — pamatyti tuometinėje kultūros, ypač literatūros, rinkoje, vertinami bei tyrinėjami ir šiandien.

Literatūra

- COOK, G., 2001. *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
FISKE, J., 1998. *Įvadas į komunikacijos studijas*. Vilnius: Baltos lankos.
Keturių vėjų pranašas, 1922. Kaunas.
Keturi vėjai, 1924-1928. Nr. 1-4. Kaunas.
MEŠKYS, K., 2007. Kultūra kaip žinia. *Įvadas į semiotiką*. Vilnius: UAB Ciklonas.
Trečias frontas, 1930-1931. Kaunas. Nr. 1—6.

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
Vilniaus University, Lithuania

SELF-ADVERTISEMENT IN THE AVANT-GARDE PUBLICATIONS OF INTERWAR LITHUANIA

Summary

The article aims at analysing philological advertisements in avant-garde publications of interwar Lithuania ‘Keturi vėjai’ ((1922), 1924—1928) and ‘Trečias frontas’ (1930—1931). The author discusses general features of the advertisements of the latter publications. In addition, the connection between aesthetic programs of publications and their verbal and visual self-advertisement are analysed.

It is stressed that the publications carried all the advertisements they received. The avant-garde ones did not seek for eminently creative solutions of advertising but they were reader-oriented, especially intelligent readers. Special attention was devoted to the promotion of books, cultural publications and journals. ‘Trečias frontas’ was very active in self-advertising — with its aesthetic program and dynamic strategies of self-promotion, seeking for their own audience and for contacts with their readers. Even though the society assessed the creative efforts of the contributors, the estimation was of a rather ambiguous nature. The publications became cognized and made influence on the market of literature and culture.

KEY WORDS: aesthetic program, advertisements, self-promotion, interwar Lithuania, avant-garde publications.

Екатерина Баринова

*Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова
ул. Ванеева 96-10, 603122 Нижний Новгород, Россия
e-mail: kbarinova@yandex.ru*

**ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ВЕРБАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ
В НОВЕЛЛЕ ТОМАСА МАННА «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ»
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «TOD»).**

В статье рассматриваются переводы концепта “Tod” на русский и английский языки и возникающие в них расхождения, являющиеся ментально, культурно и литературно обусловленными и позволяющие глубже понять не только саму новеллу, но и особенности языка и мировоззрения переводчиков. Анализ нескольких примеров, далеко не исчерпывающих весь ассоциативный ряд концепта “Tod”, позволяет выявить существенные расхождения в текстах оригинала и переводов, которые в большинстве случаев носят глубоко концептуальный характер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепт, концептосфера, ассоциативное поле концепта, ядро концепта, перевод, концепт “Tod” («смерть»), амбивалентность.

В последние десятилетия, особенно после начала публикации дневников Томаса Манна в 1975 году, возрождается интерес к личности и творчеству немецкого писателя.

Творчеству Томаса Манна посвящено огромное количество исследований, однако со временем приобретают актуальность все новые аспекты, недостаточно изученные как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении. Одним из таких аспектов является анализ переводов произведений Томаса Манна, в частности, анализ переводов художественных концептов.

Оригинальный немецкий текст любого произведения Томаса Манна предъявляет переводчику особые требования. Будучи мастером немецкой прозы, автор не только виртуозно использовал все грамматические ресурсы родного языка; он также ввел в повествование множество редких слов, создал парадоксальное соседство терминов, использовал очень длинные и сложные по структуре предложения. Тексты Томаса Манна изобилуют сквозными мотивами. Необычайно богато вербальное воображение автора. Во многих случаях буквальный перевод не имеет смысла, поэтому переводчик для передачи смысла вынужден прибегать к перефразированию.

В современную эпоху интеграции особую важность приобретает межкультурная коммуникация, важнейшим элементом которой является перевод. По сути, любая межкультурная коммуникация представляет перевод концептов одной культуры на языки других культур, и именно здесь возникают многочисленные проблемы.

В каждой национальной культуре можно найти явления, которые зачастую не могут быть в полной мере поняты, прочувствованы и оценены представителями других культур – в силу их содержательной, смысловой трудности, в силу различий между традицией автора и реципиента. Ситуация еще более осложняется, когда помимо дистанции национальной возникает дистанция временная, историческая. Даже глубоко изучив эпоху создания произведения, невозможно точно реконструировать все нюансы, которые то или иное явление приобретало в сознании современников и самого автора. И речь здесь идет не о каких-то экзотических проявлениях духа – национального или хронологически определенного, но о тех явлениях культуры, которые, на первый взгляд, открыты и отнюдь не производят впечатления таинственных.

Возможно, глубина и адекватность восприятия того или иного произведения представителями иных эпох и культур зависит от языка, на котором создано произведение искусства. Когда «строительным материалом» явления культуры оказывается слово, то

часто отдельные – и нередко очень важные – нюансы воспринимаемого ускользают от иноязычного читателя, даже владеющего языком оригинала.

Однако отсюда не следует, что знакомство с произведениями других национальных культур лишено смысла. Необходимо стремиться к максимальному пониманию других культур, к взаимопониманию между представителями различных наций, помня при этом об опасности так называемого квазипонимания, то есть мнимого понимания на фоне вербального согласия, но при расхождении на концептуальном уровне. Здесь особая ответственность лежит на переводчике, которому приходится доносить до читателя явления другой культуры, другой ментальности, другой концептосферы, которые не имеют абсолютных, а порой даже приблизительных аналогов в родной культуре.

В истории человечества нередко примеры, когда собственная картина мира, «свое» дополнялось положительными чертами «чужого» без опасности потерять собственный колорит, национальную идентичность.

Писатель живет в обществе, имеющем свою культурную память и обладающем культурным наследием, но не только. Изучение концептов в художественном произведении осложняется тем, что на национально-культурный аспект накладывается индивидуальная концептосфера самого автора, обусловленная его мировоззрением и жизненным опытом. Переводчик, работая с произведением, невольно привносит свою концептосферу, переводя текст с позиций своего опыта и представления об авторе и его эпохе, скорректированное, однако, эпохой и представлениями самого переводчика. Ю. Сорокин определяет художественный перевод как «не что иное, как маскировку зон несогласий, возникающих в результате столкновения двух самодостаточных креативных установок, стремящихся ассимилировать друг друга». По мнению исследователя, художественный перевод – «это спор двух личностей (автора оригинального текста и переводчика), заведомо несогласных на паритетные отношения, и, тем самым, спор текстов, использующих различную аргументацию» (Сорокин 2003, с. 46).

При переводе с одного языка на другой, в нашем случае – с немецкого на русский и английский, происходит взаимное наложение картин мира немецкого языка (языка оригинала) и языка перевода – русского или английского. Они одновременно взаимно проникают друг в друга и взаимно влияют друг на друга. Результатом их взаимодействия выступает вариант перевода, репрезентирующий своеобразие картины мира, изображенной в подлиннике, и в то же время хранящий элементы, присущие картине родного для переводчика языка.

Переводчику отводится роль посредника культур. Именно он переводит в своем сознании имя определенной реалии из одной социокультурной плоскости в другую, руководствуясь своей культурной памятью, неотделимой от культурной памяти его народа. При нескольких вариантах перевода одного произведения, выполненных в различные декады одного столетия, появляется возможность проследить, с одной стороны, как картина мира с характерным для данного отрезка времени составом национальной концептосферы влияет на переводчика при актуализации определенного концепта, и, с другой стороны, выявить фиксируемую в языке смену артефактов в процессе культурного и исторического развития нации.

Даже при возникновении переводческих лакун переводчики так или иначе решают встающие перед ними проблемы, и здесь большую роль играет закон, который Э. Сепир называет законом компенсации, дающим «простор художнику слова. Если художник (в нашем случае – переводчик) стеснен в одном направлении, то в другом направлении он может свободно развернуться» (Сэпир 1993, с. 202).

Таким образом, перед нами встает практически неразрешимая задача, так как полностью понять, каким наполнением обладает тот или иной концепт в сознании автора, и что привносит переводчик, являясь носителем иной культуры, практически невозможно. Однако представляется возможным интерпретировать текст, опираясь на исторический, биографический и, в не меньшей степени, культурологический материал.

Прежде чем приступить к анализу переводов концептов, представляется целесообразным раскрыть содержание термина «концепт», являющегося ключевым для настоящей статьи. Вслед за Ю. С. Степановым концепт понимается как «сгусток культуры в сознании человека, пучок понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово» (Степанов 2001, с. 40). Концепт является единицей сравнительно новой науки – концептологии. В отличие от культурно-исторической школы, где литература рассматривалась как иллюстрация общественной мысли, для современной концептологии литературный текст интересен с точки зрения выраженных в нем концептов.

С. А. Аскольдов предложил деление всех концептов на художественные и познавательные (Аскольдов 1997, с. 269). Если познавательные концепты максимально приближаются к понятию и характеризуются фиксированным, «неподвижным» значением, художественные концепты допускают множественные интерпретации, зависящие от угла зрения читателя и возникающие в процессе восприятия ассоциаций, которые неизбежно привносят в художественный концепт элемент субъективности и зыбкости. Именно при переводе художественных концептов и возникает огромное количество проблем, так как перед переводчиком стоит задача не просто перевести словарное значение слова, выражающего тот или иной концепт, но и попытаться передать, или хотя бы намекнуть на ассоциативное поле, возникающее в связи с этим концептом у носителей языка оригинала, учесть лингвистические и экстралингвистические факторы, воздействовавшие на автора, его мировоззрение. Таким образом, при переводе произведения на другой язык концепт претерпевает неизбежные трансформации, наполняется новыми смыслами, меняется ассоциативное поле концепта.

Переводы произведений Томаса Манна представляют в этой связи особый интерес. Будучи одним из самых «немецких» писателей, Т. Манн при этом обладал поразительной чуткостью к чужим культурам, с присущим ему любопытством пытался проникнуть в самую суть характера народов, являющихся их носителями.

Выбор русского и английских переводов в качестве основных для предпринятого анализа не случаен. На протяжении всего двадцатого столетия в этих странах не угасал взаимный интерес друг к другу, имели место многочисленные культурные, в частности, литературные влияния и заимствования, развивался сложный процесс взаимного сближения и отталкивания культур. На фоне моды на все русское, охватившей Европу первой половины века, позиция Томаса Манна занимает особое место. В его публицистике и художественных произведениях Россия предстает в ином свете, чем в творчестве таких его немецкоязычных современников, как С. Цвейг, Г. Гессе, Г. Манн, Ф. Кафка и других. Томас Манн никогда не идеализировал Россию, принимая ее во всей сложности и противоречивости.

В статье рассматриваются переводы новеллы на английский язык Хелен Лоуи-Портер (Н. Т. Lowe-Porter), Кеннета Берка (Kenneth Burke) и Дэвида Люка (David Luke), который является самым поздним из перечисленных работ. Существует еще несколько переводов новеллы «Смерть в Венеции» на английский, однако они представляются малодоступными и не известными широкому читателю. На русский язык новелла переведена Натальей Ман.

На особое положение концепта “Tod” в тексте новеллы указывает тот факт, что он вынесен в название произведения. Уже на первой странице главный герой оказывается рядом с Северным кладбищем (der Noerdliche Friedhof). С самого начала смерть соседствует с различными проявлениями жизни, статика соседствует с динамикой, теряя часть собственной неподвижности и завершенности.

В первом абзаце дневной сон – Schlummer – отступает перед “motus animi continuus” (беспрерывным движением души). Вместо покоя сна писатель (Густав Ашенбах) отправляется на прогулку. Покой кладбища, мимо которого проходит его путь, соседствует с жизнью. Непосредственно у кладбищенской стены находится остановка трамвая, который «прямоком доставит его [Ашенбаха] в город» (пер. Н. Ман) (Манн 1986,

с. 125). Это предложение, в котором само кладбище оказывается втянутым в круговорот жизни, в тексте оригинала заключает в себе почти весь маршрут Ашенбаха: “Beim Aumeister, wohin stillere und stillere Wege ihn gefuehrt, hatte Aschenbach eine kleine Weile den volkstuemlich belebten Wirtsgarten ueberblickt, an dessen Rand einige Droschken und Equipagen hielten, hatte von dort bei sinkender Sonne seinen Heimweg ausserhalb des Parks ueber die offene Flur genommen und erwartete, da er sich muede fuelle und ueber Foehring Gewitter drohte, am Noerdlichen Friedhof die Tram, die ihn in gerader Linie zur Stadt zuruekbringen sollte” (Mann 2003, s. 169). В русском переводе это предложение передается тремя, что несколько нарушает непрерывность движения, придает течению времени дискретность, которая отсутствует в оригинале. Русский синтаксис не позволил связать представленный ряд событий одним предложением. То же самое происходит в переводе Хелен Лоуи-Портер, где предложение, фактически, разбивается на четыре.

Уже в следующем абзаце возникает образ загробной жизни: “das jenseitige Leben” (Mann 2003, s. 170). Здесь наиболее наглядно проявляется амбивалентность жизни и смерти. Концепт «Tod» переходит в концепт “das jenseitige Leben”, стирается четкая граница между жизнью и смертью, они обретают тождественность, переключаясь на страницах новеллы в ассоциативном поле одного концепта. В оригинальном тексте загробная жизнь соотносится со следующим речением: “Das ewige Licht leuchte ihnen”¹ (Mann 2003, s. 170). В ассоциативное поле концепта “Tod” проникает “Licht” — «свет». Перед нами христианская концепция смерти, «смерть», как ее понимали, в частности, Толстой и Достоевский. Однако эта идея бессмертия, амбивалентности жизни и смерти у Томаса Манна рождается не только благодаря рецепции русской литературы. Концепт «смерть» в его неотделимости от концепта «бессмертие» является общеевропейским. О бессмертии рассуждал философ Геймстергейс, его идеи впитал Новалис, творчество которого было чрезвычайно востребовано на рубеже XIX-XX веков. В его творческом сознании «смерть» тоже ассоциируется с «высшей» жизнью, светом.

Х. Лоуи-Портер перевела концепт “das jenseitige Leben” как “future life” (будущая жизнь), сохранив единство и преемственность жизни и смерти, которая является ни чем иным, как иной формой жизни.

Образы смерти не раз возникают на пути Ашенбаха в Венецию. Кульминацией путешествия можно назвать встречу с необычным гондольером, в образе которого многие исследователи усматривают общие черты, роднящие его с мифологическим Хароном. Еще до встречи с мрачным гондольером читатель знакомится с описанием венецианской гондолы. На немецком это звучит следующим образом: “Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unveraendert ueberkommen und so eigentuemlich schwarz, wie sonst unter allen Dingen nur Saerge es sind, – ...es erinnert ...an den Tod selbst, an Bahre und duesteres Begaengnis und letzte, schweigsame Fahrt” (Mann 2003, s. 189). Последнее словосочетание приведенной цитаты представляет особый интерес с точки зрения переводов на русский и английский языки. В русском переводе Н. Манн “schweigsame Fahrt” передается как «последнее безмолвное странствие»². Лексема «странствие» содержит момент закономерности, логичности такого продолжения пути, когда странник закономерно переходит из одной жизни в жизнь другую. Смерть здесь опять же лишена статичности и безысходности, она лишь очередной этап этого пути. У Лоуи-Портер данный концепт переведен как “last soundless voyage”³.

Выбранный переводчицей галлицизм кажется здесь несколько неуместным. Перевод этого предложения К. Берком и Д. Люком во многом совпадает с вариантом Лоуи-Портер, однако, передавая последнее словосочетание, оба переводчика выбрали

¹ «Да светит им свет вечный» (Манн 1986, с. 125).

² «Удивительное суденышко, без малейших изменений перешедшее к нам из баснословных времен, и такое черное, каким из всех вещей на свете бывают только гробы, - оно напоминает нам...о смерти, о дрогах, заупокойной службе и последнем безмолвном странствии» (Манн 1986, с. 141).

³ “visions of death itself, the bier...and last soundless journey” (Mann 1979, p. 23).

один вариант – “the last silent journey”⁴. Хотя слово “journey” также не принадлежит к исконно-английской лексике, являясь образованным от французского *jour* – день⁵, англичанином XX века его «инородность» практически не ощущается. Еще в 18 веке Л. Стерн создает роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (“A Sentimental Journey through France and Italy”), превратив концепт “journey” в один из ключевых концептов английской культуры.

Как и «Fahrt» в тексте оригинала, английское “journey”, при всем богатстве рождающихся ассоциаций, является стилистически нейтральным, в то время как «voyage» имеет ярковыраженную экспрессивную окраску. В ассоциативное поле концепта «voyage» входят такие оттенки смысла, как путешествие для удовольствия, целью которого является отдых, новые впечатления, смена обстановки, что с трудом соотносится с концептом “death”, “Tod”, «смерть». Не стоит забывать, что “Fahrt” – это не только поездка, путешествие, но и “Himmelfahrt” – вознесение, Успение. Этот концепт не только тесно переплетается с концептом “Tod”, но и несет религиозный, христианский смысл. Однако на этом богатство смыслов концепта не исчерпывается. Из многочисленных идиоматических выражений с этим словом интересным представляется идиома “Fahrt ins Blaue”, что в словаре переводится как «поездка в никуда (без определенной цели)» (Большой немецко-русский словарь 2001, с. 300).

Однако, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, неуместность употребления в английском тексте лексемы “voyage”, она также привносит неожиданные оттенки. Основное значение слова “voyage” – плавание, морское путешествие. В тексте новеллы здесь возникает новый смысл, отсутствующий у Т. Манна. Именно по воде проходит значительная и наиболее памятная часть путешествия Ашенбаха, по воде везет его зловещий гондольер, через воду в Венецию приходит смертельная болезнь, на фоне безбрежной морской дали Ашенбах в последний раз созерцает предмет своей страсти. Зыбкая водная стихия в новелле оказывается непосредственно связанной с концептом “der Tod”, являясь влекущей, но одновременно таящей опасность, смерть. При этом вода – воплощение вечного движения, изменения, течения жизни. Так неожиданно неразрывное единство жизни и смерти находит воплощение в переводе Лоуи-Портер.

Здесь возникает параллель с именем главного героя, в состав которого входит корень “Bach”. Первая ассоциация, возникающая в связи с этим словом – музыкальная, что закономерно, принимая во внимание «музыкальность» прозы Манна и многочисленные ассоциации этого ряда, возникающие в других произведениях. Однако “Bach” — это не только имя великого композитора. В переводе с немецкого “der Bach” означает «ручей», а множественное число существительного входит в состав выражения “Baechе von Blut” — «реки крови» (Большой немецко-русский словарь 2001, с. 124). Таким образом, «текучесть», непостоянство, водная стихия и стихия смерти заложены в самом имени Ашенбаха.

Концепт “Tod” не только открывает новеллу, появляясь уже в ее названии, но и завершает ее, являясь последним словом, итогом. В оригинале в обоих случаях концепт находит одинаковое лексическое выражение – “Tod”⁶. В переводе Н. Ман эта цикличность сохранена. Переводчица прибегает к слову «смерть». Что касается перевода Х. Лоуи-Портер, то здесь этот нюанс утрачивается. Название новеллы (как и во всех английских переводах) звучит как “Death in Venice”, однако заканчивается произведение

⁴ “...it suggests death itself, the bier...and the last silent journey” (пер. К. Берка) (Mann 1972, p. 31).

⁵ “...evoking death itself, the bier...and the last silent journey” (пер. Д. Люка) (Mann 1996, p. 214).

⁶ Среди многочисленных значений слова до сих пор сохраняется значение «день пути», «расстояние, преодолеваемое за день», которое приобретает особое значение в контексте новеллы – расстояние от жизни до жизни загробной ничтожно, это всего лишь день пути.

⁶ Последнее предложение новеллы на немецком звучит следующим образом: “Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschuetterte Welt die Nachricht von seinem Tode” (Mann 2003, s. 249).

словом “decease”⁷. В отличие от нейтральных “Tod” и «смерть», обыденность и повседневность которых еще больше усугубляют трагизм события, английское “decease” несет оттенок книжности, торжественности и возвышенности, соответствуя, скорее, русскому «кончина».

Амбивалентность является ядром концепта “Tod” в рассматриваемой новелле, причем христианский элемент остается необычайно значимым и подчеркивается в многочисленных символах, относящихся к религии христианства. Переводчикам в основном удалось передать эту амбивалентность, однако в процессе перевода возникли неизбежные утраты, а также новые оттенки рассматриваемого концепта.

Анализ переводов показывает, как меняются акценты при преломлении произведений Т. Манна в творческом сознании переводчика. В ассоциативном поле концептов неизбежно отражается традиция и индивидуальность переводчика.

Литература

АСКОЛЬДОВ, С. А., 1997. Концепт и слово. Русская словесность. *От теории словесности к структуре текста. Антология.* Москва.

Большой немецко-русский словарь, 2001. Издание 8. Сост. К. Лейн, Д. Мальцева. Москва.

СОРОКИН, Ю. А., 2003. Переводоведение. *Статус переводчика и психогерменевтические процедуры.* Москва.

СТЕПАНОВ, Ю. С., 2001. Константы. *Словарь русской культуры.* Москва.

СЭПИР, Э., 1993. Язык и литература. *Избранные труды по языкознанию и культурологии.* Москва.

MANN, T., 2003. *Der Tod in Venedig. Thomas Mann. Erzählungen.* Frankfurt am Main.

MANN, T., 1972. *Death in Venice.* Translated by Kenneth Burke. New York.

MANN, T., 1996. *Death in Venice.* Translated by David Luke. London.

MANN, T., 1979. *Death in Venice.* Translated by H.T. Lowe-Porter. London

МАНН, Т., 1986. Смерть в Венеции. Перевод Н. Ман. *Манн, Томас. Новеллы. Лота в Веймаре.* Москва.

Ekaterina Barinova

Nizhny Novgorod Linguistic University named after N. A. Dobrolyubov, Russia

PROBLEM OF TRANSLATION OF VERBAL CONCEPTS IN *DEATH IN VENICE* BY THOMAS MANN (BY THE EXAMPLE OF CONCEPT *TOD*).

Summary

The article is dedicated to translations of the concept “Tod” into the Russian and the English languages and to the occurred discrepancies, which are mentally, culturally and literary determined and allow deeper penetration into the novel as well as into the language and vision peculiarities of the translator. The analysis of several examples, the list of which is far from exhaustive for the associative line of the concept “Tod”, allows for discovering significant discrepancies in the texts of the original and the translations. In the majority of cases the discrepancies are deeply conceptual.

KEY WORDS: concept, conceptual environment, associative field of the concept, concept core, translation, concept “Tod” (“death”), ambivalence.

⁷ «And before nightfall a shocked and respectful world received the news of his decease» (Mann 1979, p. 54).

Algis Braun

Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities

Muitinės g. 8, Kaunas 42230, Lietuva

e-mail: apb719@yahoo.com

SOCIOLINGUISTIC SURVEY OF LITHUANIAN-RUSSIAN-ENGLISH TRILINGUALS

Research into the language systems of trilinguals is a growing field. Language systems are dynamic, constantly reacting to changes in the speaker's cognitive, social, cultural, and biological systems. Moreover, changes in one linguistic sub-system (e.g., learning new vocabulary) unavoidably affect the other sub-systems. Trilingual university students, being taught subjects in three different languages, undergo constant changes in all three language sub-systems. Such changes undoubtedly affect their attitudes towards the languages they study, their patterns of language use, and their own identities as language speakers. As part of my research on cross-linguistic influence in trilingual students, I conducted a sociolinguistic survey which asked students about their backgrounds, histories and current trends of language use, and ethnocultural identities and stereotypes. It was found that students' very favorable opinions about the English language and its culture are rather theoretical and unrealistic. Attitudes towards the Russian language and culture are similarly favorable, as well as being grounded in first-hand experience. However, attitudes towards the Lithuanian language and its culture are surprisingly negative.

KEY WORDS: *language attitudes, language use, linguistic identification, Lithuania, cross-linguistic influence, trilingualism.*

This paper discusses a sociolinguistic survey of trilingual university students conducted in the autumn of 2007. The survey was intended to provide a general picture of the subjects of my doctoral research (Braun, in preparation). Specifically, I am interested in the cross-linguistic influence (CLI; cf. Cenoz, Hufeisen & Jessner, 2001; Kellerman & Sharwood Smith, 1986) that unavoidably manifests in the language systems of trilinguals such as these. In all, 51 first-, second-, and third-year students of the English and Russian Languages study program at Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities returned the questionnaire.

As the theme of this conference is "Man in the Space of Language," this paper begins by describing the Lithuanian language space within which the survey was conducted. This is followed by a discussion of some selected results of the survey¹, divided into three sections: demographic, language use, and cultural data. The questionnaire itself is reproduced in the appendix.

1. The Lithuanian linguaculture

According to the Lithuanian Department of Statistics (Statistics Lithuania, 2008), as of December 2005 the total population of Lithuania was 3.48 million, of which 2.46 million were multilingual². Of those, 1.38 million describe themselves as bilingual, 875,000 as trilingual, and 203,000 as speaking four or more languages. In other words, over 70% of the population claim command of at least one language besides their mother tongue. These languages include, in decreasing order, Russian, English, Lithuanian (for those whose native language is not Lithuanian), Polish, German, and French, among others. These statistics are summarized in Figure 1. Within Lithuania as a whole, Russians form only 6.31% of the population (Statistics Lithuania 2008). Slightly outnumbered by Poles (6.74%), they are the third largest ethnic group in the country, with Lithuanians forming the vast majority (83.45%).

¹ For reasons of space, not all of the results can be presented.

² In this paper I use the term *multilingual* to include all speakers of two or more languages.

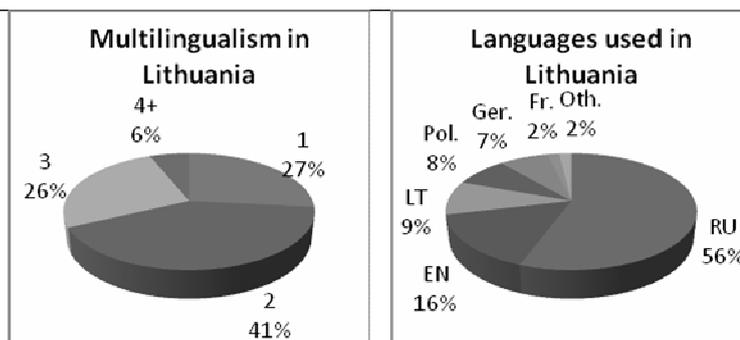


Figure 1. The Lithuanian language space. Source: Statistics Lithuania, 2008.

In Lithuania there is one official state language, Lithuanian. However, Russian is far and away the most common second language, spoken by more than two-thirds of the population (Statistics Lithuania 2008). Russian was the most important official (foreign) language for state business when Lithuania was a Soviet republic, but since regaining independence in 1990, Lithuanian has been the only officially recognized state language (Hogan-Brun & Ramonienė 2004; Lithuanian Constitution 1992). However, many newspapers and magazines are still published in Russian, the state radio station broadcasts a news program in Russian (Lithuanian Radio, 2008), and it was only in July 2007 that the state television channel stopped broadcasting a Russian-language news segment. In this diglossic situation³, however, Lithuanian is the prestige language. Attitudes towards Russian speakers speaking Russian vary, naturally, but range from indifference to open hostility. Indeed, in one recent sociolinguistic study I conducted⁴, one native Russian speaker was more favorably evaluated when she spoke Lithuanian even by Russian speakers of her own age and gender, suggesting that Russians themselves are aware of the prestige of Lithuanian. Confirmation for this suggestion comes from Hogan-Brun & Ramonienė (2005), who find that a significant minority (almost 7%) of those who describe themselves as “ethnic Lithuanians” (p. 429) do not, in fact, speak Lithuanian as a native language. The authors write that “it has become socially more prestigious to be Lithuanian than it had been in Soviet times” (ibid.)⁵.

Now that Lithuania has joined the European Union, English has become the most necessary foreign language for dealing with the EU. Not coincidentally, the Lithuanian-Russian-English trilingual is the most common type of multilingual in Lithuania: according to Statistics Lithuania (2008), of the 2.46 million multilinguals in Lithuania, over 2 million of them speak Russian, while almost 590,000 speak English. This type of multilingual has therefore been chosen as the focus of my research and of this survey.

2. The survey

The questions on the survey were designed to probe students’ personal backgrounds, histories and current trends of language use, and ethnocultural identities. As trilingual students in a diglossic environment that has been changing rapidly throughout their lives, these students’ language attitudes and cultural/linguistic identifications are likely to be mixed. I turn first to those questions focusing on a demographic description of the students.

2.1 Demographic data

³ Diglossia has existed in Lithuania for centuries. As described in Hogan-Brun & Ramonienė (2005) and Grumadienė (2005), Lithuanian has co-existed with Polish, Russian, and/or German since the early 1500s.

⁴ Julia Kubova, “Lithuanian and Russian Matched Guises: A Sociolinguistic Comparison of Listener Attitudes.” Bachelor’s thesis, June 2006.

⁵ One of my students has told me about her aunt, born in Lithuania to Russian parents, who legally changed her name from Tatyana (ethnically Russian) to Danutė (ethnically Lithuanian).

The students involved in this study are first-, second-, and third-year students of the Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities. They are studying in the English and Russian Languages study program, hereafter referred to as AnRK after its university code. In this program, the languages of instruction are not only English and Russian, but also Lithuanian.

As mentioned above, the ethnic distribution of the population in Lithuania is rather homogeneous, with over 83% describing themselves as ethnic Lithuanians, and roughly even numbers of Russians and Poles. These proportions are not maintained within the group of students I surveyed. According to the results of Question 10, which asked them to self-report their nationality, only 53% of the students are Lithuanian. Fully 31% are Russian, with Poles taking a distant third place (10%). The remaining 6% are Ukrainian and Armenian.

Similar results are to be found in regards to the students' native language (L1). 49% of the group speak Lithuanian as their native language, 35% speak Russian, 6% speak Polish, and the remaining 10% are bilingual from birth: four students speak both Russian and Lithuanian, and the other speaks Ukrainian and Bulgarian. Interestingly, of the four Lithuanian/Russian L1 speakers, three list their nationality as Lithuanian, and only one as Russian. It may be recalled that Hogan-Brun & Ramonienė (2005) also found a lack of congruence between nationality and native language.

Overall, the students are quite familiar with their three languages of instruction. 67% have been studying Lithuanian since the first grade in school, and all but one respondent began learning it in one of the primary school grades (1–4). English is most commonly introduced in the fourth grade (41%), but many schools begin English instruction earlier, such that even 78% of all respondents began to study English in one of the primary school grades, alongside Lithuanian. The story with Russian is slightly different because many students come to this study program from one of the Russian schools (schools where Russian is the primary language of instruction⁶). Thus, 31% began learning Russian in the first grade, while another 37% began learning it in the sixth grade. The remaining 32% are randomly distributed among grades 2, 5, 7, 9, 11, and even 12.

Taking the majority scores as a basis for describing the “average subject” of this study, they would lead to the following conclusions: such a student has been learning Lithuanian for at least 8 years, English for at least 8 years, and Russian for at least 6 years, and is a native speaker of either Lithuanian (49%), Russian (35%), or both (8%; total, 92%)⁷.

2.2 Language use data

Students were asked to name their “favorite” language, and to provide a reason for their choice. Leading the list of answers by a large margin is Russian, with 41% of the students giving it their vote. At some distance behind is English, with 29% of the vote. The remaining 30% of students are distributed among a variety of answers. They are: Russian and English (3 students), Polish (2), Italian (2), and, with one vote each, Spanish, Arabic, French, German/French, Hebrew, and Bulgarian. Significantly, only two students (4%) claim Lithuanian as their favorite language. The subordination of the Lithuanian language and culture to that of Russian and English is a general trend among AnRK students which will be discussed more in section 2.3.

As mentioned, many students also provided reasons for their choices. These reasons are collected in Table 1, where answers have been edited and grouped together. Many of the reasons given for preferring Russian are related to its culture, literature, and the richness of its vocabulary. This is in contrast to the reasons given for preferring English, which often focus on its status as a world language. For both languages, “easiness” is preferential⁸, though exactly

⁶ According to Hogan-Brun & Ramonienė (2004), there were 128 such schools in Lithuania in the 2000–2001 school year. In Kaunas, where this survey took place, at present there is only one Russian school remaining (Čubajevaitė, this volume).

⁷ There are, as yet, no native speakers of English in the study program.

⁸ Indeed, for Lithuanian as well; see Table 1.

how students define this quality is unclear. Similarly, many students prefer a language for being “beautiful” or “nice,” also rather vaguely defined adjectives. Two students prefer English because it is “popular.” Whether this means that it is spoken by many people in the world, or that it is a popular choice among school/university students, however, is unknown.

According to Kellerman (1983), one of the most significant factors affecting L1→L2 influence in a learner is the learner’s *perceived distance* (rather than the actual typological distance) between the two languages. In other words, if a learner perceives a language as very different from his own, he will be more likely to have difficulties learning it than one who perceives it as similar. Question 5 attempted to address this issue by asking students to decide which pair of languages (LT/RU, RU/EN, or LT/EN) were “the most similar.” The results were strongly in favor of similarity between Lithuanian and Russian, with 63% of the students choosing this pair. A small number of students (16%) felt that Lithuanian and English were most similar, while only 6% chose Russian and English. Three students didn’t respond. AnRK students, then, can on the whole be expected to do better learning Russian than English. Whether this theoretically defined tendency is reflected in real terms, e.g. course marks, has yet to be investigated. Moreover, it could be hypothesized that AnRK students should, on average, experience the most pronounced CLI when their L1 is Russian and they are speaking English, while Russian and Lithuanian native speakers should have less difficulty inhibiting CLI when speaking, respectively, Lithuanian and Russian.

The questions grouped together under number 6 in the questionnaire address the wider sociocultural background against which the students’ specialized instruction takes place. Regardless of the language of instruction in classrooms, the fact is that AnRK students spend vastly more time outside the classroom, immersed in the local environment. Thus, Question 6 examined students’ preferential use of language in various social (non-academic) situations. These questions were also designed to examine those situations where the use of language would be more productive, as opposed to receptive.

Table 1

Students’ reasons for “favorite” language status (number of students providing this reason).

Russian	it’s easier (7), it’s my native language (5), it’s beautiful (3), I like Russian culture (3), I can express myself (3), good literature (2), it’s a “rich” language (2), good vocabulary (2), I know it better (1), it’s interesting to learn (1), I like to speak it (1), I’m fond of its grammar, lexis and literature (1)
English	it sounds nice/beautiful (7), it’s easier (4), all the world knows it (2), it’s “popular” (2), I understand it (2), it’s interesting to learn (2), I like it (1), I love how you can express your thoughts (1), I know it better (1), you can use it everywhere (1)
Lithuanian	I speak it fluently and don’t look for words (1), I like everything related to Lithuania (1)
Other languages	<i>Polish:</i> it’s my native language (1), it’s funny (1) <i>Italian:</i> it sounds nice/beautiful (2), I like Italian culture (1) <i>Spanish:</i> I only listen to Spanish songs (1) <i>Arabic:</i> it’s hard to learn and very interesting (1) <i>Hebrew:</i> it’s similar to Russian (1) <i>German and French:</i> they sound sexy (1) <i>Bulgarian:</i> I like everything about it (1)

I assumed that the most common answer to these questions would be Lithuanian, because of the demographic data discussed above, except perhaps for question 6.4 (about the Internet), which would probably be English. The results are collected in Table 2. Here, the results are expressed as the total number of students who gave each answer, rather than in percentiles, as not every student answered every question⁹. As can be seen, my hypothesis in regards to these related questions was correct: Lithuanian is indeed the most common answer for every question except 6.4. In fact, the table slightly discredits Lithuanian’s prominence in these areas, as many of the answers grouped in the “Other” slots are of the “English and Lithuanian” or “all three”

⁹ For example, question 6.3, about jobs, was answered only by the 25 students who work.

variety, where Lithuanian is being used together with some other language. These results show that, no matter what these students' native language(s) may be, they are immersed, in a wide variety of situations, in a language space that is predominantly Lithuanian/Russian. The overwhelming presence of these two languages in the answers to these questions means that they are highly resonant (MacWhinney, 2005), and also that these students are nearly always in at least a bilingual language mode (Grosjean, 2001). It therefore stands to reason that English, for all of these students, should be the most difficult language to feel fluent in, as it is rarely used outside the classroom or the Internet.

Question 7 was also related to Question 6, in that it addresses the sociocultural issue, but its focus is more on personal pastimes and receptive uses of language: reading, listening to music, and watching films. In terms of students' proficiency in English, at least, the answers appear to be heartening: 31% read, 90% listen to music, and 61% watch films in English. However, I stress again that these are receptive skills. Most students listen to music while doing other things, such as cooking or preparing Russian grammar homework, so the overall benefit of this activity is likely to be quite small. In addition, several students have admitted to me that the only reading they do in English is what they are required to do for homework, and as their teacher, I know that many of them do such reading both sporadically and under less-than-ideal conditions. They are thus unlikely to recall or retain much of what they have read even the next morning, to say nothing of any long-term benefits.

The last question to be discussed in this section is Question 18, in which students were asked to label themselves as either mono-, bi-, tri-, or multilingual. As expected, a solid majority (71%) claim to be tri- or multilingual.

Table 2

Sociocultural language use

Q. No.	Summary	Responses	Q. No.	Summary	Responses
6	language used at home	Lithuanian 25 Russian 19 LT/RU 3 Polish 3 Other 1	6.4	language used on the Internet	English 18 Lithuanian 11 EN/LT 10 Russian 5 Other 7
6.1	language used with relatives	Lithuanian 22 Russian 17 LT/RU 7 Polish 3 Other 2	6.5	language used on summer holidays	Lithuanian 20 Russian 17 English 5 LT/RU 3 Other 5
6.2	language used with friends	Lithuanian 22 Russian 10 LT/RU 15 Other 4	6.6	language used when thinking	Lithuanian 27 Russian 17 Polish 3 Other 4
6.3	language used at work	Lithuanian 20 Russian 1 English 1 Other 3	6.7	language used when dreaming	Lithuanian 28 Russian 15 Polish 3 Other 3

I was somewhat surprised, however, to find that not only do fully 18% claim to be only bilingual, but 4% even label themselves monolingual. I don't know whether to interpret this last result as pessimism, modesty, or sarcasm on my students' part. The remaining 7% either did not answer, or claimed not to know: a fair answer, indeed, considering that linguists themselves have a difficult time agreeing on the definitions of these terms.

2.3 Cultural data

In this section, the results of those questions aimed at determining students' cultural preferences are discussed. Question 9, which asked students to self-evaluate their accents, was intended as a demographic or, perhaps, language use question. It has been included in this

section because of a tendency that appeared when I began to collate the answers. I had expected nearly every student to answer “yes” to the question about having an accent when speaking English. I teach them all several times a week, and I know from experience that no student in the program speaks English without an accent. In spite of this, a whole 20% of the group believe that their English is accent-free. Furthermore, of those who agreed to having an accent, a significant number qualified their answers with expressions such as, “I think so,” “I guess,” “a little,” and “sometimes.” For this reason I decided to include the discussion in this section.

AnRK students are, by education, trilingual speakers of English, Russian, and Lithuanian. Socioculturally, however, there is not a single native English speaker among them. Until becoming my students, many of them had never been taught by a native speaker of English. They simply have no idea whether their Lithuanian/Russian accents are heavy or light when speaking English. As for Russian and Lithuanian, it can be assumed that their experiences with these languages as “living” features of the environment makes them more accurate judges.

Table 3

Cultural stereotypes by language and polarity.

Lithuanian	<i>Positive:</i> friendly, funny <i>Neutral:</i> reserved <i>Negative:</i> cold, shy, boring, rude, unfriendly, closed, jealous, pessimistic
Russian	<i>Positive:</i> friendly, communicative, funny, generous, kind <i>Neutral:</i> (none) <i>Negative:</i> alcoholics
English-speaking	<i>Positive:</i> friendly, funny, communicative, happy, polite, helpful, smiling, well-mannered <i>Neutral:</i> emotional <i>Negative:</i> (none)

In Question 19, students were asked to write a few adjectives describing the “stereotypical style of interaction” of Lithuanians, Russians, and British/Americans, and then to choose one style which they felt was “closest” to them. The results were fascinating, and deserve a closer look. Many adjectives were only written by one or two students, but others appeared much more frequently. The most common adjective, used to describe all three nationalities, was “friendly.” It was used a total of 39 times. Overall, it was used to describe Russians 19 times, English speakers 13 times, and Lithuanians 7 times. Even with this most positive adjective, Lithuanians are still evaluated less favorably than Russians.

The adjectives the students wrote for each nationality were divided into three categories: positive, neutral, and negative. Table 3 compiles all of the adjectives in each category for each language in decreasing order, down to a frequency of 3. Adjectives listed by only one or two students have been excluded from this table¹⁰. One difference should be apparent almost immediately: Russians and English speakers are characterized by a variety of positive adjectives, whereas only two are used to describe Lithuanians. At the same time, Lithuanians are characterized by a wide range of negative adjectives, which are extremely infrequent when describing Russians and/or English speakers. This trend remains pronounced when we include all the one- and two-vote adjectives into the count, as well. For Lithuanians, 60% of all the adjectives used are negative, with another 10% neutral, leaving only 30% positive adjectives. For Russians, on the other hand, a full 72% of all adjectives are positive, with 9% neutral and only 19% negative. The results for English speakers are even more upbeat, with 81% positive adjectives, 7% neutral, and 12% negative. These numbers are shown for comparison as pie charts in Figure 2.

The results are even more interesting, however, if we reanalyze them based on the students’ native language. For the reanalysis, students were divided into two groups: L1 = Lithuanian, and L1 = Russian, Polish, or Other. As can be seen in Figure 3, column 1, both

¹⁰ I felt that while two students might arrive at the same adjective by chance, the odds that three or more students would do so were extremely small. Thus, these data represent actual stereotypes held by the students surveyed.

Lithuanians and Russians are extremely critical of Lithuanian culture. Lithuanians give

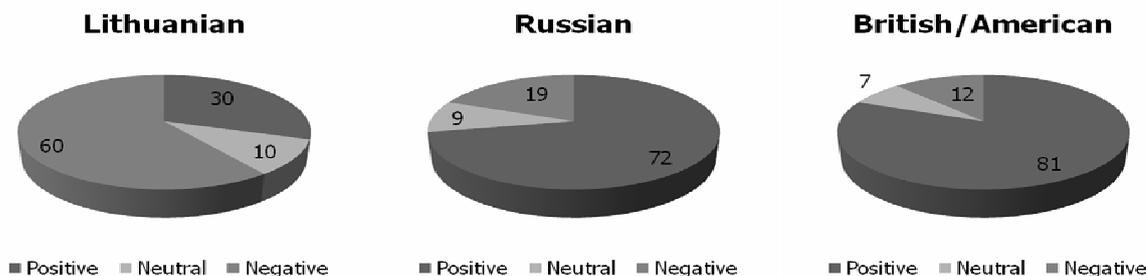


Figure 2. Cultural stereotypes held by AnRK stu

themselves 50% negative adjectives, while Russians give Lithuanians 74%. That a minority should be critical of the dominant ethnic group is by no means surprising. What is surprising is that the dominant group appears to agree with the minority. Now, looking at column 2, we can see that both Lithuanians and Russians are extremely positive about Russian culture. Lithuanians give Russians 69% positive adjectives, while Russians give themselves 76%. Column 3 shows the English-speaking results, which, as before, are almost the same as the Russian results, but even more positive.

Having written these adjectives, students were asked to decide which style—Lithuanian, Russian, or British/American—felt “closest” to them. Once again, the results are telling, even though only 62% of the group answered the question. Of those, 17 students identify with Russian culture, followed by 11 students who identify with British/American culture. Only 4 students out of the entire AnRK group feel as though Lithuanian culture is closest to them. And this, despite the fact that they use the Lithuanian language in nearly every social situation.

3. Conclusions

In a group such as this, cross-linguistic influence is unavoidable. As the results of this survey indicate, the greatest amount of CLI will be felt whenever these students attempt to speak or write in English. Not only is English the language with the greatest perceived distance from their L1, but it is also unavoidably underrepresented in the environment. What receptive exposure students get is generally either in the form of leisure activities such as listening to music, or homework assignments. Thus, the English linguaculture remains largely theoretical to these students, as witnessed by the lack of even one agreed-upon negative stereotype. Moreover,

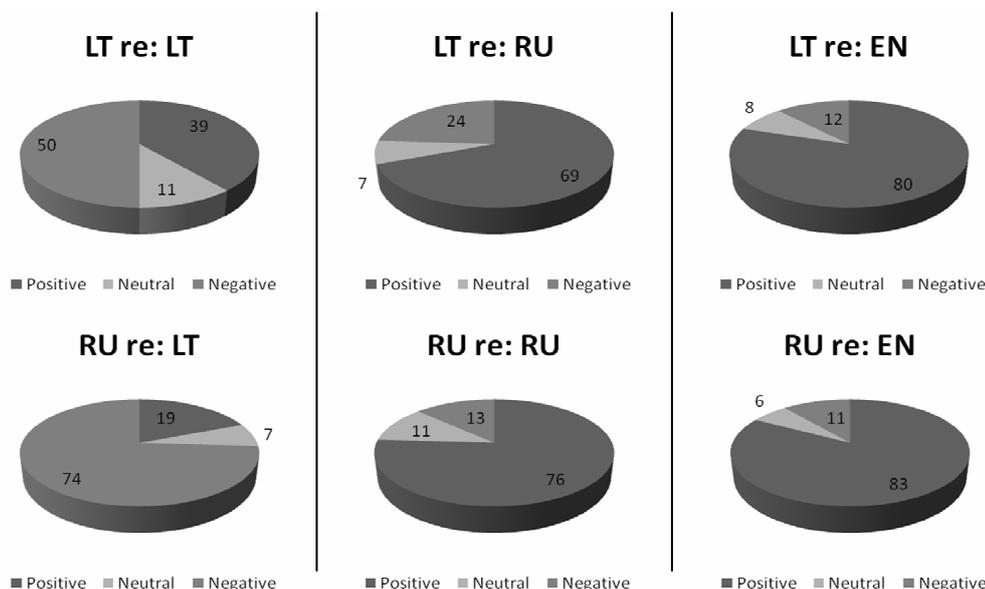


Figure 3. Cultural stereotypes (function of nationality).

the students' unfamiliarity can also be seen in their belief that they speak English with no accent.

Russian culture, on the other hand, is more familiar to them. Indeed, as can be seen at a glance in Figure 3, one could easily expect group dynamics based on nationality to develop. That such dynamics are not openly visible to date may be a result of the unusually positive evaluation of Russians in the group. It may further be assumed that Russians should feel more self-confident in the AnRK study program, and may even tend to do better in the long run as a result. However, both groups must make conscious efforts to increase their exposure to (especially productive uses of) English outside the classroom

References

- BRAUN, A. (in preparation). Language Interaction in Lithuanian-Russian-English Trilinguals: A Dynamic Systems Approach. Ph.D. dissertation.
- CENOZ, J., HUFEISEN, B. and JESSNER, U. (eds), 2001. Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters, Ltd.
- ČUBAJEVAITĖ, L., 2008. Diversity of Languages and Cultures in Lithuania: The Case of Kaunas City. Paper presented at the Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities conference Man in the Space of Language, May 15–16, 2008.
- GROSJEAN, F., 2001. The Bilingual's Language Modes. In J. L. NICOL (ed) *One Mind, Two Languages: Bilingual Language Processing*. Oxford: Blackwell, p. 1–22.
- GRUMADIENĖ, L., 2005. Language Policy and the Sociolinguistic Situation in Lithuania. *Mercator – Working Papers* 19. Barcelona: CIEMEN.
- HERDINA, P. and JESSNER, U., 2002. A Dynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics. Clevedon: Multilingual Matters, Ltd.
- HOGAN-BRUN, G. and RAMONIENĖ, M., 2004. Changing Levels of Bilingualism across the Baltic. *Bilingual Education and Bilingualism* 7(1), p. 62–77.
- HOGAN-BRUN, G. and RAMONIENĖ, M., 2005. Perspectives on Language Attitudes and Use in Lithuania's Multilingual Setting. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 26(5), p. 425–441.
- KELLERMAN, E., 1983. Now you see it, now you don't. In S. GASS and L. SELINKER (eds) *Language Transfer in Language Learning*. Rowley, MA: Newbury House, pp. 112–133.
- KELLERMAN, E. and SHARWOOD SMITH, M. (eds), 1986. Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press.
- Lithuanian Constitution (1992) <[http:// www.litlex.lt/Litlex/Eng/Frames/Laws/Documents/CONSTITU.HTM](http://www.litlex.lt/Litlex/Eng/Frames/Laws/Documents/CONSTITU.HTM)> Access date: 19 Mar. 2008.
- Lithuanian Radio (2008) Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, <<http://www.lrt.lt/schedule.php?c=1353>> Access date: 7 Aug. 2008.
- MacWhinney, B. (2005) A Unified Model of Language Acquisition. In J. F. Kroll and A. M. B. DE GROOT (eds) *Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches*. Oxford: Oxford University Press, pp. 49–67.
- Statistics Lithuania, 2008. Official Website of the Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania, <<http://www.stat.gov.lt/en/>> Access dates: 25 Feb. 2008, 19 Mar. 2008.

Appendix

1. What is your native language?
 - 1.1 In your opinion, can people have two (or more) native languages?
 - 1.2 What is your mother's native language?
 - 1.3 What is your father's native language?
2. List all the languages you can speak or write in:
3. Perhaps you know some words or phrases of other languages, but don't really speak them. List those languages, too:
4. Which of the languages you know is your favorite language, and why?
5. In your opinion, which pair of languages are the most similar:

Lithuanian & Russian	Russian & English	Lithuanian & English
----------------------	-------------------	----------------------
6. Which language do you use most often at home (where you live now)?
 - 6.1 Which language do you use most often with your relatives?
 - 6.2 Which language do you use most often with your friends?
 - 6.3 If you have a job, which language do you use most often at work?
 - 6.4 Which language do you use most often on the Internet?
 - 6.5 Which language did you use most often during the summer holidays?
 - 6.5.1 Did you use any other languages during that time? Which?
 - 6.6 Which language do you use most often when thinking?

- 6.7 Which language do you use when you dream?
 6.7.1 Have you ever dreamed in any other languages?
 6.7.2 If so, were they good or bad dreams?
 7. Which language do you prefer to read in?
 7.1 Which language do you prefer to listen to music in?
 7.2 Which language do you prefer to watch films or TV in?
 8. The funniest jokes are (choose one): Lithuanian Russian English
 9. Do you have an accent when you speak... Lithuanian? Russian? English?
 10. What is your nationality?
 11. How old are you?
 12. Which country were you born in?
 13. How long have you lived in Lithuania (in years)?
 14. In which school year did you begin to study Lithuanian?
 14.1 In which school year did you begin to study Russian?
 14.2 In which school year did you begin to study English?
 15. Which was your “best” language in school?
 16. Which is your “best” language now?
 17. Which translation direction(s) is/are easiest for you (choose up to three):
 LT→RU LT→EN RU→LT RU→EN EN→LT EN→RU
 18. Choose the adjective that best describes you: monolingual bilingual trilingual
 multilingual
 19. Write 2 or 3 adjectives that describe the stereotypical Lithuanian style of interaction:
 19.1 Write 2 or 3 adjectives that describe the stereotypical Russian style of interaction:
 19.2 Write 2 or 3 adjectives that describe the stereotypical British/American style of interaction:
 19.3 Bearing this in mind or in spite of this, which style feels closest to you?

Algis Braun

Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

SOCIOLINGVISTINĖ LIETUVIŲ-RUSŲ-ANGLŲ TRIKALBIŲ APKLAUSA

Santrauka

Trikalbių žmonių kalbų sistemų tyrimai yra sparčiai besivystanti sritis. Kalbų sistemos dinamiškai reaguoja į kalbančiojo kognityvinių, socialinių, kultūrinių ir biologinių sistemų pokyčius. Be to, pokyčiai vienoje lingvistinėje posistemėje (pvz., naujų žodžių mokymasis) neišvengiamai įtakoja kitas posistemas. Trikalbiai studentai, kuriems yra dėstoma trimis skirtingomis kalbomis, nuolat patiria visų trijų kalbų sistemų pokyčius. Šie pokyčiai veikia jų požiūrį į naudojamas kalbas, kalbų naudojimo ypatumus, bei jų pačių, kaip kalbos vartotojų, identitetą. Tyrinėdamas trikalbių studentų tarplingvistinę įtaką, kaip sudėtinę tyrimo dalį atlikau ir sociolingvistinę apklausą. Studentų buvo klausama apie jų kilmę, kalbinę biografiją, esamas ir buvusias kalbų naudojimo ypatybes, bei jų etnokultūrinę tapatybę ir stereotipus. Nustatyta, kad nors studentų nuomonės apie anglų kalbą ir jos kultūrą yra itin teigiamos, jos taip pat yra gana teoriškos ir neatitinkančios tikrovės. Studentų požiūris į rusų kalbą ir jos kultūrą taip pat teigiamas, be to, jis remiasi tiesiogine patirtimi. Tačiau nuomonės apie lietuvių kalbą ir jos kultūrą yra stebėtinai neigiamos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kalbinis nusistatymas, kalbų naudojimas, lingvistinis sutapatinimas, Lietuva, tarplinvistinė įtaka, trikalbystė.

Людмила Бондарева

Российский государственный университет им. И. Канта

ул. Чернышевского 56, Калининград, Россия

e-mail: bondareva.koenig@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРА В КОНТЕКСТЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИСКУРСА

В статье рассматриваются способы экспликации гендерно маркированного фактора «мужское» и «женское» в автобиографии как репрезентативном типе текста ретроспективного дискурса. Субстанциальные параметры женских автобиографий интерпретируются в русле теории «больших» (мужских) и «малых» (женских) автобиографий (Pascal 1989, Viebiusk 1998). Анализ эксплицитной и имплицитной форм манифестации «женского» фактора в тексте представлен на материале автобиографии немецкой писательницы Ф. Левальд “Meine Lebensgeschichte” (1861).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *гендерные исследования, ретроспективный дискурс, «большие» (мужские) и «малые» (женские) автобиографии, эксплицитная и имплицитная формы манифестации «женского» фактора в тексте.*

К числу наиболее активно разрабатываемых направлений в русле междисциплинарных научных исследований последних десятилетий относится гендерная проблематика как свидетельство интереса ученых и прежде всего лингвистов к отношениям человека и общества, которые опосредуются системой языка. В настоящее время под **гендером** понимается конвенциональный идеологический конструкт, в котором аккумулированы представления о том, что значит быть мужчиной и женщиной в данной культуре (Кирилина 1999, с. 27).

Как отмечает И. Б. Васильева, формирование гендерной идентичности человека является в значительной степени динамическим коммуникативным процессом, который означает, что создание индивидуумом своей гендерной персоны происходит постоянно в процессе его участия в коммуникации, в конкретных языковых практиках (Васильева 2006, с 4). В результате выявление гендерных стереотипов и установление гендерной асимметрии неизбежно предполагает изучение способов экспликации концептов «мужское» и «женское» как составляющих концепта культуры, именуемого «гендером» (Coppel 1993), в контексте дискурсивной парадигмы разных языков с учетом культурно, исторически и национально обусловленного компонентов.

Существуют исследования, посвященные, например, трактовке различий между мужским и женским юмором (Maltz / Borker 1982, Jenkins 1985, Tannen 1986, Mulkey 1988, Crawford 1992 и др.), изучению гендерных различий при использовании наречий – модификаторов в англоязычном компьютерном дискурсе (Васильева 2006), анализу проявления фактора гендера в американском журнальном дискурсе (Лалетина 2007) и т.д. Интересные результаты в данной сфере получены в последнее время, согласно Ю. В. Владимировой, в процессе использования автоматизированных методов классификации текстов для определения разницы в использовании языка мужчинами и женщинами. При этом точность в определении принадлежности текста достигла 70 - 80 % для текстов различных типов (электронная почта, романы, научные статьи) на фоне выявления существенных различий между данными типами текста в зависимости от их гендерной специфики (Владимирова 2007, с. 520-522).

На наш взгляд, достаточно богатным объектом изучения в данной сфере могут служить **тексты ретроспективного дискурса**, предполагающего ментально-когнитивную ретроспективную деятельность речевого субъекта, направленную на реконструкцию прошлого опыта. Характерно, что текстовая реализация ретроспективного дискурса (РД) в условиях реальной коммуникации осуществляется в двух основных формах:

- в виде **объективно обусловленного** типа РД, возникающего на основе реконструкции прошлого как составляющей общечеловеческой истории, т.е. в ходе использования потенциала коллективной / культурной памяти;
- в качестве **субъективно обусловленного** типа РД при условии восстановления событий прошлого, лично пережитых речевым субъектом, т. е. в результате активизации механизмов индивидуальной / автобиографической памяти.

Среди совокупности текстов последнего упомянутого типа РД ведущая роль, безусловно, принадлежит **автобиографическим текстам**, к числу конституирующих признаков которых относится идентичность субъекта речевой деятельности подлинному автору воспоминаний о собственной жизни. В силу данных обстоятельств речевой субъект автобиографического повествования, актуализирующий в себе качества и особенности реального субъекта творчества, оказывается неизбежно «отмеченным» в духовном и физическом плане «печатью» своего природного пола.

Сразу необходимо подчеркнуть, что формирование автобиографического дискурса изначально осуществлялось на основе традиции «великого белого мужчины» (Great White Man Tradition), что подразумевало доминирование в западном обществе культурных категорий «мужской, белый, христианский, гетеросексуальный» (подр. см.: Friedman 1998, p. 75). В результате все социальные, национальные, гендерные и пр. аспекты, выходящие за пределы данных категорий, подвергались в автобиографических текстах неизбежной интерпретации, т. е. специальному осмыслению и комментированию для того, чтобы эти тексты могли «вписаться» в релевантные параметры жанра.

Безусловно, традиционная ориентация автобиографии на мужское, «белое», западное «Я» объясняется не в последнюю очередь особой популярностью жанра в XVIII в., когда происходил процесс кристаллизации буржуазного самосознания, носившего явно выраженный маскулинизированный характер. Сложности, связанные с возникновением женских автобиографий, были обусловлены, таким образом, вполне объективными причинами: женщина практически лишалась возможности описать собственную жизнь в рамках жанра, имеющего своим концептуальным ядром историю развития и становления индивидуума, поскольку в русле характерного для того времени тезиса Л.Фихте после брака женщина просто прекращала быть индивидуумом. Симптоматично в этой связи и мнение современного немецкого писателя Б. Штрауса, который указывает, что воспоминание по своей сути не только представляло собой «технику мужской креативности», но и было также «привилегией мужского господства в семье» (Strauß 2000, s. 52).

Действительно, в истории мировой литературы трудно назвать хотя бы одну женскую автобиографию, соответствующую уровню признанных западноевропейских образцов данного жанра, таких, в частности, как «Исповедь» Блаженного Августина (397 г.), «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (1782 – 1787) или «Поэзия и правда» И. В. Гете (1811-1833).

В подобном контексте вполне закономерным представляется вопрос о том, в какой же все-таки мере автобиографическое творчество женщин вписывается в рамки классических традиций и существует ли вообще «женская» манера литературного самоизображения.

Характерно, что здесь мы обнаруживаем существование самых различных точек зрения. Так, К. Р. Гудман констатирует большое сходство мужских и женских автобиографий XIX в. (Goodmann 1999, s. 172), а вот М. Вагнер-Эгельхаф видит именно в данном факте не свидетельство нивелирования гендерных различий, а, скорее, подтверждение необходимости для женщин «мимикрировать» под мужские формы самоописания как единственно возможного пути вхождения в совокупный автобиографический дискурс. Далее М. Вагнер-Эгельхаф утверждает, что в свою очередь в период модернизма в мужских автосвидетельствах XX века отчетливо проступают признаки, характерные для женских или неевропейских автобиографий, поскольку главным в это время становится движение против классических жанровых традиций,

отклонение от линейной, логически завершенной модели повествования (Wagner-Egelhaaf 1999, s. 95).

В целом, доводы сторонников существования специфического женского автобиографического дискурса как следствия онтологической дифференциации полов сводятся к следующим утверждениям:

1. Для автобиографий (АБ) женщин, как и для остальных различного рода меньшинств, характерно осознание культурной *групповой идентичности* в отличие от индивидуалистической модели мужского самодостаточного автобиографического «Я» (Friedmann 1988).

2. В АБ женщин доминирует *сфера личного* в противовес общественному, являющемуся приоритетом мужского «Я» (Benstock 1988, Okely 1992, Kosta 1994 и др.).

3. Женское автобиографическое «Я», как правило, в очень высокой степени осознает свою *«дополнительность»* в отношении соответствующего мужского «Я», большей частью – друга или спутника жизни, который служит для женщины-автора воспоминаний объектом самоидентификации: в стимуляции к развитию партнера и в оказании ему всяческой поддержки женское «Я» может видеть истинный смысл собственной жизни (Mason 1980, Kosta 1994).

4. Следствием вышеупомянутого фактора является эксплицитная *диалогичность* женских АБ, где автор открыто обращается по ходу повествования к какому-либо конкретному адресату (мужу, подруге, ребенку и т. д.) (Rowbotham 1973, Chodorow 1978).

5. Для женских АБ характерно отсутствие цельности повествования в связи с тем, что жизнь большинства женщин обычно отмечена фрагментарностью, прерывистостью и непоследовательностью (E. Jellinek).

6. Специфический характер в АБ женщин носит *самоирония*, наиболее явно проявляющаяся как защитный механизм в тех фрагментах воспоминаний, где авторы описывают свой физический облик, своих матерей и собственную домашнюю жизнь. Однако этот стилистический прием никогда не встречается в пассажах, посвященных рассказу о личных интеллектуальных достижениях, например, в плане образования, что, в свою очередь, могут позволить себе многие мужчины-автобиографы (Siegel 1999).

7. Женские АБ отличаются непростым характером интерпретации *проблем тела и материнства*, а также акцентуацией *половой дифференциации* общества, что нетипично для мужских воспоминаний (Siegel 1999).

8. АБ женщин отличаются *повышенной субъективностью* по сравнению с мужскими АБ (Müller-Michaels 2002).

Наконец, релевантным в рамках гендерного подхода к исследуемому вопросу представляется противопоставление мужских и женских АБ как «больших» и «малых» АБ, идущее от Р. Паскаля (Pascal 1989) и развитое, в частности, Б. Бибайком. При этом речь идет всего лишь о недостаточной репрезентативности в количественном отношении текстов женских АБ в истории мировой литературы, о чем уже упоминалось выше. К субстанциальным параметрам таких «малых» АБ Б. Бибайк относит следующие факторы (подр. см.: Viebuysk 1998, s. 30-37):

1. *Интерпретация темы власти.*

В «больших» АБ данная тема не находит глубокого отражения, тогда как в «малых» АБ насилие анонимной, угнетающей личностью власти проявляется напрямую в неотвратимости цепи негативных событий, приобретающих судьбоносные черты в жизни автобиографических героинь. Женщина-повествователь вынуждена или философски акцептировать их, приспособившись к заданным условиям существования, или бунтовать против этих условий, стремясь к самореализации.

2. *Характер ретроспекции.*

В «больших» АБ «что», «как» и «почему» собственной жизни осмысливаются и описываются автором с позиции доминирующего настоящего. В «малых» АБ развивается особый вид ретроспекции, в котором прошлое в большей мере влияет на активность

повествующего женского «Я», воспринимающего свое настоящее прежде всего как следствие упомянутого насилия власти в лично пережитом.

3. Перспектива изображения.

В «малых» АБ индивидуальное повествование всегда является отражением перспективы угнетенных, т. е. жертв общества, что культурно-исторически связано с судьбой женщин на всех этапах человеческой цивилизации.

Наглядным примером подобной «малой» АБ могут служить воспоминания о собственной жизни известной немецкой писательницы XIX века Ф. Левальд, провозгласившей в качестве своего творческого кредо оптимистическое *memento vivere* и открыто выступившей в защиту права женщины на образование, профессиональную и общественную деятельность и личное счастье. Необычная судьба восточно-прусской «Жорж Санд», как ее называют современные критики, автора 26 романов, 43 новелл и 40 фельетонов, нашла свое наиболее яркое воплощение на страницах ее автобиографической трилогии “*Meine Lebensgeschichte*”, вышедшей в свет в Берлине в 1861 году.

Родилась Фанни Левальд (собственно – Фанни Матильда Августа Маркус) в 1811 г. в столице Восточной Пруссии – Кенигсберге (нынешнем Калининграде) в семье еврейского вино торговца Давида Маркуса и его жены Зиборы, урожденной Ассур (фамилию Левальд отец начинает носить вслед за братьями в процессе социальной ассимиляции лишь в 1831 г.). Поэтому вполне закономерно *проблема национально-культурной самоидентификации* писательницы занимает весьма важное место во всем ее творчестве.

В лучших традициях классической АБ умудренная жизнью повествовательница на первой же странице своих воспоминаний сообщает точную дату и место своего рождения, акцентируя внимание читателя на факте своей принадлежности к определенному национальному меньшинству:

“*Ich bin am 24. März des Jahres 1811 in Königsberg in Preußen geboren und stamme von väterlicher und mütterlicher Seite aus jüdischer Familie ab*” (Lewald 1998, s. 5).

Так начинается первый том трилогии, носящий название “*Im Vaterhause*” и посвященный описанию детства и юности Ф. Левальд, проведенных в стенах родительского дома. Характерно, что постоянная акцентуация национального аспекта в тексте воспоминаний сопровождается не менее постоянным процессом осмысления автором и другой грани своей «инакости», а именно собственной принадлежности к женскому полу. Именно поэтому в АБ Ф. Левальд оказываются запечатленными универсальные ролевые образцы, стереотипы и ролевые конфликты, характерные для взаимоотношений мужчин и женщин в Европе XIX в. Однако справедливости ради нужно сразу отметить, что субъективная оценка этих отношений писательницей в реальной жизни отличалась определенной амбивалентностью. С одной стороны, Ф. Левальд признавала целесообразность разумного доминирования мужского начала в семье и обществе как залога прочности и жизненной стабильности, а с другой – страстно отстаивала женское право на личное и профессиональное самоопределение.

На наш взгляд, в целом можно говорить о том, что **манифестация «женского» начала** осуществляется в тексте автобиографии Ф. Левальд в эксплицитной и имплицитной формах.

Говоря об **эксплицитной** форме, мы имеем в виду многочисленные рассуждения и комментарии писательницы в ходе всего повествования по поводу того, что, поскольку она – не мужчина, ей чрезвычайно трудно самореализоваться в социуме, определяющим параметром которого является мужественность. Уже в 9 лет, как вспоминает Ф. Левальд, в ее душе зарождается зависть к мальчикам и презрение ко всему женскому, что культивируется всеми окружающими. Даже господин Динтер, один из самых любимых учителей Фанни в частной школе Ульриха, где она с огромной радостью и старанием начинает учиться с 1817 г., выражает свое мнение по этому поводу следующим образом: “*...Dinter... klopfte mir auf den Kopf und sagte: “Nu! Dein Kopf hätt’ auch besser auf ‘nem*

Jungen gesessen!” – Dann aber fügte er freundlich hinzu: “Wenn du aber nur ‘n mal eine brave Frau wirst, so ist’s auch gut” (Lewald 1998, s. 87).

В свою очередь, подразумевая **имплицитную** сторону проявления гендерного аспекта, мы отмечаем особый способ подачи изображаемого в тексте автобиографии материала, который позволяет предположить, что автор воспоминаний – женщина, если, естественно, исходить при этом из традиционных, гендерно обусловленных поведенческих стереотипов.

В качестве одного из наглядных примеров «женской» интерпретации реконструируемой автобиографом окружающей прошлой действительности может служить *описание пространства* в доме родителей Левальд, содержащееся в начале 3 главы первой книги трилогии.

Писательница сразу подчеркивает особую яркость и четкость соответствующих детских воспоминаний: *“Es [das Haus – Л.Б.] steht mir mit allen seinen Einzelheiten vor Augen, als wäre ich gestern erst darin gewesen...”* (Lewald 1998, s. 30). Весь дом делится в ее изображении на ряд особых пространственных сфер: сферы прихожей, конторы, залы, жилых помещений. Итак, одним из важных локальных атрибутов автобиографического текстового пространства становится сфера прихожей, выполняющей роль своего рода «мостика» между внешним и домашним миром.

Наверху, на площадке над центральной лестницей, находятся застекленные выступы (Wolme), нависающие над улицей, из которых можно наблюдать городскую жизнь. Так за фасадом дома возникает «переходное» пространство, где дети привыкли играть летом и особенно зимой и одновременно наблюдать за событиями мира своего и чужого. Примечательно, что И. В. фон Гете в своей знаменитой автобиографии также описывает это пространство, называя его Geräms и подчеркивая, что данное помещение было предназначено прежде всего для пребывания в нем женщин, а дети, вступая здесь в визуальный контакт с соседями, становились, таким образом, пользуясь современной терминологией, участниками процесса социализации.

Напротив входной двери в доме Фанни находилась большая и темная контора (Comptoir) – «мужское царство», олицетворяющее мир торговли, сферу бизнеса.

Поскольку, как пишет Ф. Левальд, отец никогда в кругу близких не рассказывал о своей предпринимательской деятельности, благодаря именно такому расположению помещений дети, играя на площадке над лестницей, могли одновременно наблюдать сверху за деловой жизнью отца и получать первое представление о роли мужчины в семье.

Следующей важной пространственной константой бюргерского быта является так называемая «зала», почти музей, которая открывается преимущественно для гостей в дни торжественных приемов и праздников. Все члены семьи живут в задних комнатах, поэтому зала служит целям репрезентации публичного в приватной сфере. Это помещение со стенами василькового цвета, обставленное тяжелой мебелью кайзеровских времен, с изображением богини на плафоне (*“ich glaube eine Viktoria oder Fama,”* – пишет автор) служит в воспоминаниях Ф. Левальд воплощением женского начала, т. е. женского ролевого образца. Кульминацией всего описания представляется упоминание писательницей круглого столика из серого мрамора, который при нажатии потайной пружины открывал взору находящийся под благоухающей розами подушкой из розового шелка швейный аппарат матери. На дне этого аппарата лежала записка, содержащая цитату из гетевского «Тарквато Тассо» – отрывок из разговора главного героя с принцессой, в котором она восхваляет нравственную стойкость как главную женскую добродетель в противовес мужскому стремлению к свободе и переменам:

“Und wirst Du die Geschlechter beide fragen:

Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte” (цит. по: Lewald 1998, s. 33).

Таким образом, в рамках данного описания швейный аппарат становится своего рода индикатором женской самоидентификации и четкого распределения мужской и женской ролей в обществе.

Хотя маленькая Фанни абсолютно не понимала смысла цитаты, ее музыкальное звучание остается в памяти автобиографа навсегда связанным с ароматом роз и удивительным действием потайной пружины, что в целом воспринималось девочкой как единая великая мистерия и вызывало у нее ощущение подлинного счастья:

“Ich verstand von diesen Versen kein Sterbenswort, aber sie zu hören war mir ein großer Genuss, und sie hingen in meiner Phantasie so genau mit dem Rosenduft und mit der geheimen Feder, welche den Deckel des Tisches öffnete, zusammen, dass mir das Ganze wie ein einziges großes Mysterium däuchte, dem dann und wann durch die Vermittlung meiner Mutter nahen zu dürfen mir als ein wahres Glück erschien” (Lewald 1998, s. 33).

В свете тематизации в тексте автобиографии гендерного аспекта интересным представляется и воссоздание писательницей четвертой пространственной сферы отчего дома, а именно интерьера жилых помещений, где особую роль играют украшающие их стены картины и гравюры.

Самой большой любовью девочки пользуется изображение мадонны Ганнибала Каррачи, на котором мать держит на руках спящего младенца Христа. На полу у ее ног лежат несколько вишен и других фруктов, что, по мнению Фанни, необычайно усиливало красоту картины:

“Ein paar Kirschen und andere Früchte lagen auf dem Boden neben ihr ausgebreitet und erhöhten für meine Vorstellung die Schönheit des Bildes ungemein” (Lewald 1998, s. 31).

В подобном контексте можно было бы говорить и об определенной символичности упомянутой детали: как известно, вишни, вызывающие подсознательный восторг девочки, символизируют в творчестве многих поэтов и писателей любовь, полноту и радость бытия, к которым так стремилась Ф. Левальд, упорно борющаяся за свое женское счастье и в 40 лет все-таки обретшая его.

Следующим объектом повышенного внимания автобиографической героини служит английская гравюра, на которой можно видеть коленапреклоненную страдающую мать, ломающую в отчаянии руки над замерзшей в снегах Альп маленькой дочкой. Данный сюжет не требует специального комментария, а вот явным контрастом к этим «женским» картинам представляются две гравюры, объединенные «мужской» тематикой, но вызывающие не менее глубокий интерес у Фанни: речь идет об известной сцене из Ветхого завета – явлении ангела Абрахаму – и жертвоприношении патриархом сына Исаака. По сути мотив чудесного избавления Исаака Богом является проекцией глобальной идеи о спасении иудеев, а в социально-психологическом аспекте – иллюстрацией ролевых отношений «отец – сын». Примечательно, что через много лет у зрелой писательницы всемирно известный античный мотив жертвоприношения Ифигении вызывает однозначные устойчивые ассоциации с упомянутыми гравюрами из отцовского дома, что могло бы позволить предположить с точки зрения психоаналитики факт транспонирования в подсознании автора отношений «отец-сын» в плоскость отношений «отец – дочь».

Итак, если женщина осмысливается в целом в концептуальной картине мира Ф. Левальд прежде всего как всепрощающее и страдающее существо, то мужчины, напротив, трансформируются в представлениях девочки в существа могущественные и неземные. Автобиограф открыто заявляет на страницах своих воспоминаний, что тогда она не подозревала, кто был изображен на нескольких мужских портретах в средневековых костюмах в комнате отца (речь шла, как следует из комментария, о работах Тициана и в частности, о портрете Мореля, золотых дел мастера при дворе Генриха VIII). Однако это было для нее и неважно: в своих мечтаниях и фантазиях Фанни видела в них библейских героев, волшебников и рыцарей, что делало эти образы в ее глазах прекрасными и достойными восхищения.

Как очевидно, в тексте автобиографии Ф. Левальд находит свое адекватное воплощение процесс женской самоидентификации, который начинается у известной немецкой писательницы еще в раннем детстве в стенах отцовского дома, где весь уклад жизни был строго подчинен нормам и правилам, диктуемым мужчинам и женщинам их социальными ролями. Поэтому не случайно весь последующий период жизни вплоть до профессионального становления Ф. Левальд назовет «годами страданий»: “Leidensjahre” – такой заголовок носит второй том автобиографии, в котором можно усмотреть аллюзию на известный «мужской» роман И. В. Гете “Lehrjahre von Wilhelm Meister”.

В свою очередь обретение и утверждение своего подлинного женского и писательского «Я» осмысливается автобиографом как «освобождение» из плена социальных условностей и предрассудков (заключительный том воспоминаний называется “Befreiung und Wanderleben”), а в этом и заключается глубинный и истинный смысл каждого человеческого существования.

Литература

ВАСИЛЬЕВА, И. Б., 2006. *Гендерная специфика наречий-модификаторов в англоязычных специальных текстах (на материале пособий по информационным технологиям)*. Москва: АКД.

ВЛАДИМИРОВА, Ю. В., 2007. Конструирование гендера: стилистический анализ речи персонажей У. Шекспира. *Филология и культура*. Материалы VI Междунар. науч. конф. 17 – 19 октября 2007 г. Отв. ред. БОЛДЫРЕВ, Н. Н. Тамбов: изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, с. 520-522.

КИРИЛИНА, А. В., 1999. *Гендер: Лингвистические аспекты*. Москва: изд-во «Институт социологии РАН».

ВИБУЙСК, В., 1998. Die kleine Autobiographie? Zur Bedeutung von Macht und Gewalt für autobiographische Literatur von Frauen. *Das erdichtete Ich – eine echte Erfindung: Studien zu autobiographischer Literatur von Schriftstellerinnen*. Hrsg. von MÜLLER, H.M. Aarau; Frankfurt am Main; Salzburg: Sauerländer, s. 21 – 39.

FRIEDMANN, S. S., 1998. Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice. *Women, autobiography, theory: a reader*. Modison: The University of Wisconsin Press, p. 72-82.

GOODMAN, K. R., 1999. Weibliche Autobiographien. *Frauen Literatur Geschichte*. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler, s. 166-176.

LEWALD, F., 1998. Meine Lebensgeschichte. Erster Band. Im Vaterhause. Hrsg. von Ulrike Helmer. Königstein: Helmer.

STRAUB, B., 2000. Paare, Passanten. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

WAGNER-EGELHAAF, M., 2000. Autobiographie. Stuttgart. Weimar: Metzler.

Liudmila Bondareva

I. Kant State University of Kaliningrad, Russia

GENDER PROBLEMS IN THE CONTEXT OF RETROSPECTIVE DISCOURSE

Summary

The article deals with gender marked factors “male” and “female” in the autobiography as a representative text type of the retrospective discourse. Substantiation parameters of women’s autobiographies are interpreted on the basis of the theory of “big” (male) and “small” (female) autobiographies (Pascal 1989, Biebuyck 1998). The analysis of the explicit and implicit manifestation forms of the “female” factor in the text is presented in the autobiography of the German writer F. Lewald “Meine Lebensgeschichte” (1861).

KEY WORDS: gender issues, retrospective discourse, “big” (male) and “small” (female) autobiographies, explicit and implicit manifestation forms of the “female” factor in the text.

Silvio Brendler

Linguence Hamburg

Postfach 10 06 31 D-20004 Hamburg, Germany

e-mail: silviobrendler@linguence.de

SPRACHLICHE ORIENTIERUNG IM RAUM: ZUR NOTWENDIGKEIT DER ORTSNAMEN

Ausgehend von der These, daß zur Notwendigkeit der Ortsnamen auch deren Eigenschaft gehört, zur sprachlichen Orientierung im Raum ganz wesentlich beizutragen, wird an der Beschreibung der Welt durch die Menschen (Kosmographie, Geographie, Topographie) gezeigt, wie unter anderem der Beitrag der Ortsnamen zur sprachlichen Orientierung im Raum zum Ausdruck kommt. Es wird im Laufe der Erörterungen deutlich, daß die Menschen den Raum mit Hilfe der Ortsnamen strukturieren und daß Ortsnamengebung in einem beträchtlichen Maße als Raumgliederung aufzufassen ist.

SCHLÜSSELWÖRTER: Sprachwissenschaft, Linguistik, Namenforschung, Onomastik, Kosmographie, Geographie, Topographie, Ortsnamen, sprachliche Orientierung im Raum, sprachliche Strukturierung des Raums, sprachliche Raumgliederung.

Über die Notwendigkeit der Namen als besondere Wörter haben sowohl Philosophen als auch Sprachwissenschaftler immer wieder nachgedacht. Um nicht ins Detail gehen zu müssen, lasse ich den Grundtenor zu dieser Thematik jeweils von einem Vertreter der beiden Disziplinen zusammenfassen. Für die Philosophie stellt Johannes Brandl (Brandl 1987, S. 5) fest: „Die Notwendigkeit der Namen [...] ist die Notwendigkeit, unsere Sprache nicht nur allgemein, sondern auch an einzelnen Punkten mit der Realität zu verknüpfen.“ Als Vertreter der Sprachwissenschaft kommt Otmar Werner (Werner 1974, S. 181) zu dem Schluß, „daß in jeder Sprechergemeinschaft eine gewisse Mindestmenge von E[igen]N[amen] vorhanden sein muß, um in größerem Umfang über Abwesendes oder auch zeitlich Entferntes sprechen zu können.“ Was für die Namen allgemein gilt, trifft auch für die Ortsnamen im speziellen zu. Ich werde mich im folgenden jedoch mit einem anderen – mit den zitierten Notwendigkeitsaussagen zusammenhängenden – Aspekt der Notwendigkeit von Ortsnamen beschäftigen, und zwar mit deren Orientierungsfunktion für die Menschen. Zur Notwendigkeit der Ortsnamen gehört also auch deren Eigenschaft, zur sprachlichen Orientierung im Raum ganz wesentlich beizutragen – so meine These.

Kosmographie, Geographie und Topographie – im ursprünglichen Sinne als Weltbeschreibung, Erdbeschreibung und Ortsbeschreibung verstanden – können als Einstiegsprogramme angesehen werden für das, was hier gemeint ist, wenn von „sprachlicher Orientierung im Raum“ gesprochen wird. Ortsnamen spielen bei diesen, den uns umgebenden Raum beschreibenden Tätigkeiten eine herausragende Rolle. Der Mensch als Beobachter und Beschreiber und schließlich als Namengeber hat die Welt zunächst ausschließlich geozentrisch gesehen und benannt. Nicht nur die ihn direkt umgebenden Objekte im Raum wie Gewässer, Siedlungen und Verkehrswege (siehe hierzu übersichtlich und mit weiterführender Literatur Kapitel 12 bis 20 in Brendler/Brendler 2004), sondern auch für ihn (heutzutage außerdem nur mit Hilfe modernster Technologie) sichtbare Himmelskörper erhalten schon seit langem Namen (siehe hierzu übersichtlich und mit weiterführender Literatur Kunitzsch 2004) und werden in Katalogen und zum Teil auf Sternkarten verzeichnet (siehe Karte 1). Einige der Himmelskörpernamen sind allgemein bekannt, andere fristen ein Dasein in Verzeichnissen und sind bestenfalls gelegentlich von Belang in astronomischen Diskussionen und Veröffentlichungen. Zu den bekannten Himmelskörpernamen gehören Planetennamen wie *Jupiter*, *Mars* und *Venus* oder Sternbildnamen wie *Großer Bär*, *Großer Wagen*, *Kreuz des Südens* und *Orion* oder auch Kometennamen wie *Halley* (auch *Halleyscher Komet*). Unter den bekannten Sternnamen rankt der *Polarstern* ganz oben. Einen recht bekannten, obwohl nur einen kleinen Stern neben dem mittleren Deichselstern des Großen Wagens benennenden Sternnamen

stellt das *Reiterlein* (auch *Alkor* genannt) dar. Damit noch nicht genug, auch Objekte auf fernen Himmelskörpern werden durch den Menschen benannt, wie zum Beispiel die Marsionyme *Olympus Mons*, *Valles Marineres*, die Merkurionyme *Aristoxenus*, *Beethoven* oder die Venusonyme *Abigail* und *Danu Montes* demonstrieren.

Man braucht allerdings die Erde nicht unbedingt zu verlassen, um der sprachlichen Orientierung im Raum habhaft zu werden. Kartographische Erzeugnisse wie Globen und Atlanten zeichnen auf diversen Arten von Karten ein beeindruckendes Bild von der sprachlichen Eroberung des Raums, seiner sprachlichen Gliederung zum Zwecke der Orientierung. Können wir in entsprechenden Situationen (zum Beispiel vor einer Landkarte oder in einer Landschaft stehend) auch ohne Ortsnamen auskommen und beispielsweise Pronomen (zum Beispiel *er* in „Er [der Vulkan] ist beeindruckend.“, *dieser* in „Welchen Felsen meinst Du? – Diesen.“), Adverbien (zum Beispiel *dort* in „Wir wohnen dort [in der auf der Karte gezeigten Stadt].“, *hier* in „Sie waren hier [in der auf der Karte gezeigten Wüste].“) oder Appellative (zum Beispiel *Vulkan* in „Der Vulkan ist wieder ausgebrochen.“, *Stadt* in „Fahren wir in die Stadt.“) an deren Stelle in entsprechenden Phrasen beziehungsweise Konstruktionen verwenden, so können wir uns dennoch kaum vorstellen, auf Ortsnamen wie *Ätna*, *Loreley*, *Meißen* und *Sonorawüste* zu verzichten. Sie sind es, mit denen wir in bestimmten Situationen und Kontexten effektiv über die verschiedensten Objekte im Raum zu sprechen vermögen.

Ein Blick auf eine Karte unseres als *Erde* bekannten Planeten läßt zunächst die Kontinente mit Namen wie *Afrika*, *Eurasien* beziehungsweise *Asien* und *Europa* sowie die Meere mit Namen wie *Atlantischer Ozean*, *Mittelmeer* und *Ostsee* erkennen. Aber auch große auffällige Gebiete wie Wüsten namens *Gobi* und *Sahara* werden sichtbar, des weiteren Gebirge mit Namen wie *Alpen*, *Anden*, *Himalaja* und *Kaukasus* oder auch sehr große Flüsse wie die namens *Amazonas*, *Donau*, *Kongo*, *Nil* und *Volga*. Schauen wir nun auf eine politische Karte der Erde, so finden wir die über die Kontinente verteilten Länder beim Ländernamen genannt, wie etwa *Deutschland*, *Polen*, *Litauen*, *Rußland* oder *China*. Oder in politischen Karten einzelner Länder werden diesen untergeordnete Einheiten mit Namen aufgeführt, wie zum Beispiel *Sachsen*, *Brandenburg*, *Thüringen* oder *Mecklenburg-Vorpommern*. Einen entsprechenden Maßstab vorausgesetzt, geben dann topographische Karten die Namen der unzähligen geographischen Objekte an, denen die Menschen im Raum begegnen: die Namen von Siedlungen wie *Berlin*, *Dresden*, *Erfurt*, *Hamburg*, *Kaunas*, *London*, *Moskau* und *Prag*, Wäldern wie *Böhmerwald*, *Schwarzwald*, *Spreewald*, Flüssen wie *Elbe*, *Neiße* und Bächen wie *Mühlgraben*, *Pitsche*, Bergen wie *Dechantsberg*, *Knorrberg*, und Tälern wie *Hirschgrund*, *Neißetal*, Gletschern wie *Aletschgletscher*, *Pasterze*, *Schneeferner*, Seen wie *Bodensee*, *Knappensee* und so weiter. Man könnte meinen, daß dieses die Erde umspannende feinmaschige Netz von Ortsnamen, die uns die sprachliche Orientierung im Raum erleichtern, nach einem Plan angelegt wurde. Dem ist nicht ganz so. Vielmehr ist dieses Netz Stückwerk, das aber immerhin teilweise planmäßig gefertigt wurde und weiterhin wird.

Die Feinmaschigkeit des im Raum aufgespannten Ortsnamennetzes wird schon allein durch die beachtliche Zahl von Gewässernamen in relativ wasserreichen Gebieten der Erde deutlich. So beläuft sich die Zahl der mit einem (wenn zum Teil auch nur für die hydrographische Erfassung gedachten) Namen registrierten Gewässer allein in Niedersachsen auf weit mehr als 2 500 (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2007). Eine Auswahl niedersächsischer Gewässernamen, die der sprachlichen Orientierung des Menschen im Raum besonders förderlich sind, mag einen Einblick in diesen reichhaltigen Namenschatz vermitteln: *Heikeschloot*, *Hieve (Kleines Meer)*, *Kurzes Tief*, *Emder Stadtgraben*, *Arenborn*, *Dölme*, *Malliehagenbach*, *Knickbach*, *Lakenbach*, *Forsterbach*, *Spiekersiek*, *Wüllwösse*, *Eichelbach*, *Daspe*, *Deitlevser Bach*, *Gellerser Bach*, *Bredenbeeke*, *Coppenbrügger Bach*, *Brünnighäuser Mühlbach*, *Sedemünder Mühlbach*, *Hartbach*, *Oberdehmer Bach*, *Pötzer Bach*, *Lehmfluß*, *Weberbach*, *Bramkamper Bach*, *Schafdamgraben*, *Landriede*, *Wietinghäuser Graben*, *Flagge*, *Wiete*, *Beke*, *Rotte*, *Rebbe*, *Meine*, *Eterna*, *Mahmilch*, *Glene* und *Despe*.

Enger geknüpft wird das Ortsnamennetz unter anderem durch die Siedlungsnamen, von denen allein für das heutige Deutschland über 126 000 in *Müllers großem Ortsbuch* verzeichnet

sind (Müller/Opitz 2005). Zu diesen gehören so bekannte Städtenamen, wie zum Beispiel *Berlin*, *Hamburg*, *München*, *Köln*, *Frankfurt am Main*, *Stuttgart*, *Dortmund*, *Bremen*, *Hannover*, *Leipzig*, *Dresden*, *Nürnberg*, *Bonn*, *Karlsruhe*, *Aachen*, *Kiel*, *Magdeburg*, *Lübeck*, *Erfurt*, *Rostock*, *Mainz*, *Kassel*, *Saarbrücken*, *Osnabrück*, *Potsdam*, *Heidelberg*, *Ingolstadt*, *Göttingen*, *Jena*, oder auch weniger bekannte, wie zum Beispiel *Alpirsbach* (Baden-Württemberg), *Balve* (Nordrhein-Westfalen), *Burgdorf* (Niedersachsen), *Dahn* (Rheinland-Pfalz), *Dorfen* (Bayern), *Eggesin* (Mecklenburg-Vorpommern), *Elterlein* (Sachsen), *Fladungen* (Bayern), *Frechen* (Nordrhein-Westfalen), *Gaggenau* (Baden-Württemberg), *Haigerloch* (Baden-Württemberg), *Haltern am See* (Nordrhein-Westfalen), *Iphofen* (Bayern), *Jarmen* (Mecklenburg-Vorpommern), *Ketzin* (Brandenburg), *Krakow am See* (Mecklenburg-Vorpommern), *Laufen* (Bayern), *Loitz* (Mecklenburg-Vorpommern), *Mühlacker* (Baden-Württemberg), *Nagold* (Baden-Württemberg), *Oberriexingen* (Baden-Württemberg), *Penkun* (Mecklenburg-Vorpommern), *Pottenstein* (Bayern), *Radevormwald* (Nordrhein-Westfalen), *Runkel* (Hessen), *Schillingsfürst* (Bayern), *Tettmang* (Baden-Württemberg), *Tirschenreuth* (Bayern), *Uffenheim* (Bayern), *Vlotho* (Nordrhein-Westfalen), *Woldegk* (Mecklenburg-Vorpommern) und *Zehdenick* (Brandenburg). Unter den Siedlungsnamen bilden in Deutschland die Dorfnamen gegenüber den Städtenamen mit Abstand die wesentlich größere Gruppe mit Namen, wie zum Beispiel *Altendonop* (Nordrhein-Westfalen), *Ballwitz* (Mecklenburg-Vorpommern), *Banzkow* (Mecklenburg-Vorpommern), *Blitzenreute* (Baden-Württemberg), *Born* (Nordrhein-Westfalen), *Bunow* (Mecklenburg-Vorpommern), *Dippmansdorf* (Brandenburg), *Duvensee* (Schleswig-Holstein), *Eicherscheid* (Nordrhein-Westfalen), *Elleringhausen* (Nordrhein-Westfalen), *Eppelsheim* (Rheinland-Pfalz), *Erfweiler-Ehlingen* (Saarland), *Ernst* (Rheinland-Pfalz), *Groß Lengden* (Niedersachsen), *Gunderheim* (Rheinland-Pfalz), *Haßfelden* (Baden-Württemberg), *Jübar* (Sachsen-Anhalt), *Kessel* (Nordrhein-Westfalen), *Lanz* (Brandenburg), *Markt Nordheim* (Bayern), *Nebelschütz* (Sachsen), *Nußdorf am Inn* (Bayern), *Otersen* (Niedersachsen), *Päse* (Niedersachsen), *Pinnow* (Brandenburg), *Rantrum* (Schleswig-Holstein), *Sülzbach* (Baden-Württemberg), *Teicha* (Sachsen-Anhalt), *Ummendorf* (Sachsen-Anhalt), *Vestrup* (Niedersachsen) und *Winningen* (Rheinland-Pfalz).

Noch enger geknüpft wird das Netz von Ortsnamen durch die Flurnamen, von denen es wahrlich unzählige gibt, die jedoch in nicht wenigen Gebieten seit längerem zunehmend in Vergessenheit geraten. Gegen das völlige Vergessen hilft unter anderem das Sammeln von Flurnamen. Zum Beispiel sammelt Rudolf Post die Flurnamen von Gabsheim in Rheinland-Pfalz. Unter den bisher von ihm gesammelten Flurnamen finden sich unter anderem *An des Adams Apfelbaum*/mundartlich *Am Oorems Abbelbääm*, *Albanusgärten*, *In der Benn*/mundartlich *In de Benn*, *Dörrwiese*, *Großfeld*, *Hinter der Heck*/mundartlich *Hinne' de Heck*, *Auf der Hochgewann*/mundartlich *Uff de Hoochgewänn*, *Hinter der Kirche*/mundartlich *Hinner de Kä'sch*, *Kohlwiese*, *Langgewann*/mundartlich *In de Långgewänn*, *Am Monsenrech*/mundartlich *Am Moonseresch*, *In den zwanzig Morgen*/mundartlich *In de zwänsisch Mo'je*, *Mühlgarten*, *Die Oberweed*, *Ochsenacker*/mundartlich *Am Oggseagge'*, *Zu Pitz*/mundartlich *Se Pizz*, *Die Unterweed*, *Weihergarten*/mundartlich *Im Waihe'gååde* (Post 2006).

Karte 2 zeigt die Verteilung der Flurnamen von Gabsheim, die Post in seiner Befragung im Jahre 1987 aufgenommen hat. Dominant und somit auffällig sind in Gabsheim die Flurnamen, die auf eine andere Örtlichkeit verweisen, also die durch den Flurnamen benannte Stelle in Beziehung zu einer benachbarten stellen. Hier wird sprachliche Orientierung im Raum durch Bezug auf andere im Raum befindliche Objekte geschaffen. Man orientiert sich an Bekanntem. Flurnamen können jedoch, wie andere Namen auch, direkt das gemeinte Objekt benennen, wie neben einigen wenigen der oben genannten Gabsheimer Flurnamen einige Beispiele aus Südlohn in Nordrhein-Westfalen belegen: *Arfkamp*, *Armenwieske*, *Aulink*, *Bannjumm*, *Beerenbusch*, *Biitenschlatt*, *Bleeke*, *Blekk*, *Eekentelgen*, *Engellant*, *Finnschlatt*, *Fläarbree*, *Funderakker*, *Hälle*, *Hornstegge*, *Hoot*, *Kaolbree*, *Kattenkopp*, *Maargelskuule*, *Moodergotteskamp*, *Pinn*, *Rundeelken*, *Schmukkelplättken*, *Schwaanenakker*, *Unholt*, *Wäapelwech*, *Wellschlatt*, *Wüwer* und *Woartenwech* (Mietzner 1997).

Straßennamen verleihen dem Ortsnamennetz besonders in Siedlungen eine weitere Steigerung der Feinmaschigkeit. In Hamburg, der nach Berlin zweitgrößten Stadt Deutschlands, gibt es davon etwa 8 500. Straßen zwischen den Siedlungen sind heute hingegen zumeist systematisch alphanumerisch benannt, wie zum Beispiel *A1*, *B27* oder *E65*, wobei diese alphanumerischen Codes auf Karten oftmals sogar noch auf Nummern reduziert werden (siehe Karte 3).

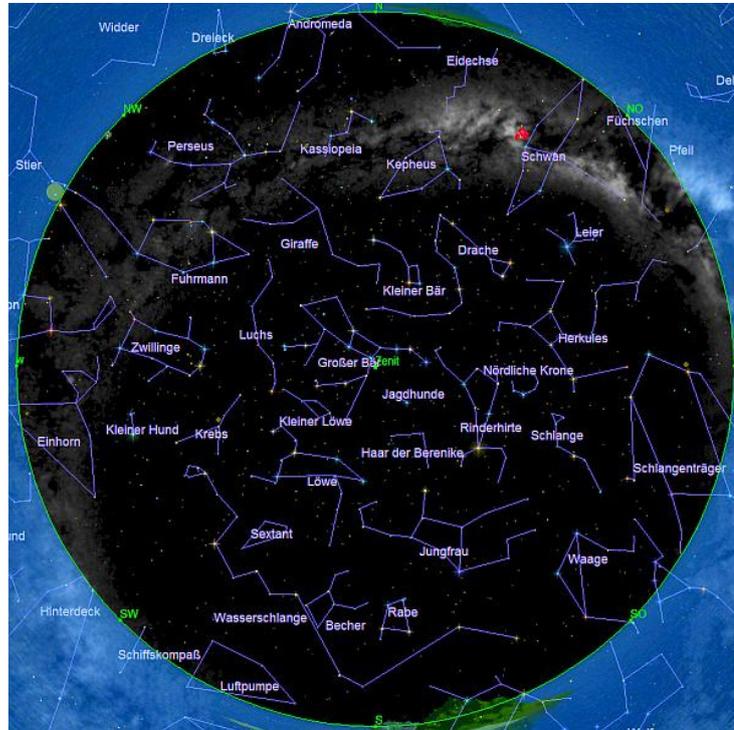
In Siedlungen wird die sprachliche Orientierung im Raum durch Straßennamen ganz unterschiedlich gefördert. Das kann zum Beispiel auch hier durch Bezug auf andere (zumindest zur Zeit der Namengebung) im Raum befindliche Objekte geschehen. Im Stadtteil Gnodstadt der unterfränkischen Stadt Marktbreit finden sich beispielsweise *Am Bad*, *Am Eiselberg*, *Am Frauenberg* und *Am Frauenbrunnen* oder auch *Badgasse* und *Schulgartenweg* (siehe Karte 4).

Andere Strategien, die sprachliche Orientierung im Raum durch Straßennamen zu leisten, bestehen einerseits darin, daß Hauptstraßen beziehungsweise übergeordnete Straßen als *Straße*, *Allee* und dergleichen, davon abgehende Straßen hingegen als *Wege* bezeichnet werden. So haben wir in Hamburg eine Hauptstraße namens *Sievekingsallee*. Die meisten der von dieser abgehenden oder zu dieser hinführenden Einbahnstraßen heißen zum Beispiel *Perthesweg*, *Mettlerkampsweg*, *Curtiusweg*, *Chapeaurougeweg* oder *Poelsweg*. Diese Straßennamen enthalten alle die Zunamen von Bürgern, die sich um die Wahrung Hamburger Interessen verdient gemacht haben (der herausragende Vertreter aus dieser Gruppe ist natürlich Karl Sieveking gewesen), womit wir bei einer anderen Strategie zur sprachlichen Orientierung im Raum durch Straßennamen angelangt sind, nämlich der Benennung von Straßen ganzer Stadtviertel nach bestimmten Themen, wie zum Beispiel nach Dichtern, Komponisten, Vögeln oder Blumen. So findet sich im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd die Benennung von Straßen nach Komponisten, wie zum Beispiel *Bachstraße*, *Beethovenstraße*, *Gluckstraße*, *Lortzingstraße*, *Marschnerstraße* und *Wagnerstraße* (die Straßennamen *Bachstraße* und *Wagnerstraße* haben in diesem Fall eine etwas kompliziertere Geschichte; dazu Beckershaus (Möller 1997, s. 35, 372). Schwarzenbek, einer vor den Toren Hamburgs gelegenen Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein Dorf war, merkt man unter anderem an den Straßennamen an, daß es in jüngerer Zeit ein außerordentlich schnelles Wachstum gegeben hat. Und zwar verrät die einst systematische, planmäßig bei der Erschließung von Wohngebieten vorgenommene Benennung der Straßen noch heute, wie schnell dieser Prozeß vor sich gegangen sein muß. An einer Stelle finden sich Straßennamen wie *Wikingerweg*, *Friesenstieg*, *Sorbenweg*, *Wendenstieg* und *Gotenweg*, an einer anderen Straßennamen wie *Thomas-Mann-Straße*, *Matthias-Claudius-Straße*, *Friedrich-Hebbel-Weg*, *Theodor-Storm-Weg* und *Klaus-Groth-Straße*, wiederum an einer anderen Straßennamen wie *Dinkelstieg*, *Emmerstieg*, *Maisstieg*, *Hirsestieg*, *Sesamstraße*, *Gerstenweg*, *Roggenweg*, *Haferweg* und *Weizenweg*, aber auch Straßennamen wie *Lindenweg*, *Buchenweg*, *Ulmenweg*, *Birkenweg*, *Erlenweg*, *Eichenweg*, *Rotdornweg*, *Ahornweg*, *Tannenweg*, *Lärchenweg*, *Weidenweg*, *Fliederweg* und *Kiefernweg*. Ein Komponistenviertel hat man unter anderem natürlich auch.

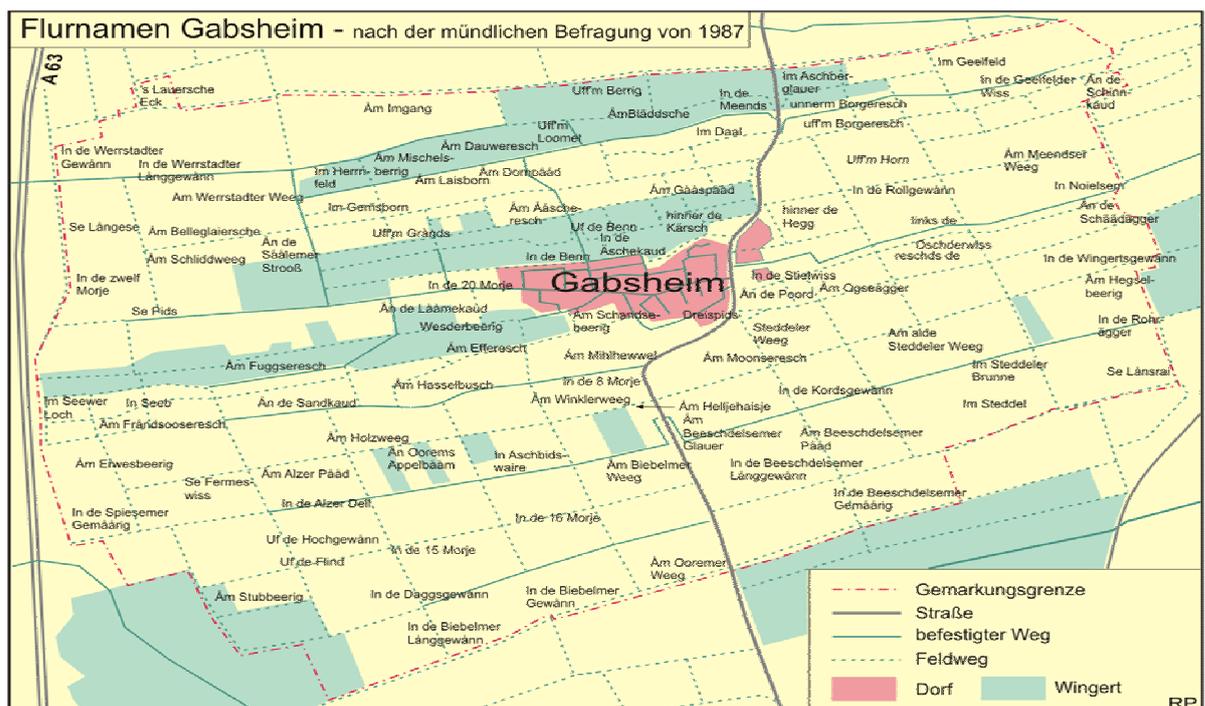
Sprachliche Orientierung im Raum erfolgt auch durch Differenzierung von Ortsnamen mit Zusätzen, wie zum Beispiel *Ober-* und *Nieder-* (*Oberdorf* und *Niederdorf* [beide bei Stollberg]), *Alt-* und *Neu-* (*Altkirchen* und *Neukirchen* [beide bei Schmölln]), *Groß-* und *Klein-* (*Großpösna* und *Kleinpösna* [beide bei Leipzig]) oder auch *Norder-* und *Süder-* (*Norderelbe* und *Süderelbe* [beide in Hamburg]). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „toponymischer Raumorganisation“ (Jochum-Godglück 1995, s. 597).

Wie deutlich geworden sein dürfte, strukturieren Ortsnamen den Raum beziehungsweise unser Abbild desselben. Sprachliche Orientierung im Raum mit Hilfe von Ortsnamen ist seit jeher mit Raumgliederung verbunden (siehe Bauer 1965 zum Spezialfall der Feldgliederung durch Flurnamen). Dieses Streben nach Raumgliederung entspricht zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlichen Bedürfnissen: Frühe Raumgliederung durch Ortsnamengebung diente zum Beispiel der Orientierung in der Landschaft. Moderne Bestrebungen nach Raumgliederung durch Ortsnamen leiten sich zum Beispiel aus dem bürokratischen Drang nach Registrierung aller Objekte oder aus der Schaffung von Adressen für Personenregistrator und Postzustellung

her. Dabei „liegt [es] im Wesen der [Orts-]Namengebung, daß zunächst nur das Wichtige und Auffallende benannt wird und daß andere Örtlichkeiten sekundär nach ihrer Lage zu jenem bezeichnet werden“ (Bach 1954, s. 499). Mit anderen Worten: „Der Benennungsprozeß richtet sich [...] nach den Anforderungen, die der fortschreitende Ausbau des [Orts-]Namenraums an den Namengeber stellt, und dieser Ausbau wiederum hängt völlig von den praktischen Interessen der Benutzer und Nutzer des jeweiligen Raumes ab“ (Bauer 1998, s. 194).



Karte 1: Sternkarte mit Sternbildnamen (Quelle: <http://www.ajoma.de/html/himmelsansicht-monat.html>).



Karte 2: Flurnamen von Gabsheim in Rheinland-Pfalz (Post 2003).



Karte 3: Straßenkarte von Mecklenburg-Vorpommern (Quelle: <http://www.tourus.de/mecklenburg-vorpommern/strassenkarte/karte-mv.htm>).



Karte 4: Straßenkarte von Marktbreit (Bayern), Stadtteil Gnodstadt (Quelle: http://www.marktbreit.de/strasse_mb_gn.htm).

Literatur

- BACH, A., 1954. Deutsche Namenkunde II: Die deutschen Ortsnamen 2: Die deutschen Ortsnamen in geschichtlicher, geographischer, soziologischer und psychologischer Betrachtung. Ortsnamenforschung im Dienste anderer Wissenschaften. Heidelberg: Winter.
- BAUER, G., 1965. Flurnamengebung als Feldgliederung: Ein kritischer Beitrag zur Methode der Flurnamenstatistik. In: *Schützeichel/Zender*, S. 245–263.
- BAUER, G., 1998. *Deutsche Namenkunde*. 2. Aufl. Berlin: Weidler (= Germanistische Lehrbuchsammlung 21).
- BECKERSHAUS, H.; MÖLLER, H. O., 1997. Die Hamburger Straßennamen: Woher sie kommen und was sie bedeuten. Hamburg: Kabel.
- BRANDL, J., 1987. Die Notwendigkeit der Namen: Über das Benennen von Einzeldingen und die Relevanz seiner historisch-kausalen Grundlagen für den Aufbau einer allgemeinen Theorie der Bedeutung. Graz: dbv-Verlag (= Dissertationen der Karl-Franzens-Universität Graz 73).
- BRENDLER, A.; BRENDLER, „S., (Hrsg.), 2004. Namenarten und ihre Erforschung: Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Hamburg: Baar (= Lehr- und Handbücher zur Onomastik 1).
- HEILMANN, L., (Hrsg.), 1974. Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists, Bologna–Florence, Aug. 28–Sept. 2, 1972. Bd. 2. Bologna: Società editrice il Mulino.
- JOCHUM-GODGLÜCK, Ch., 1995. Die orientierten Siedlungsnamen auf -heim, -hausen, -hofen und -dorf im frühdeutschen Sprachraum und ihr Verhältnis zur fränkischen Fiskalorganisation. Frankfurt am Main: Lang.
- KUNITZSCH, P., 2004. Namen von Himmelskörpern. In: *Brendler/Brendler*, S. 261–277.
- MIETZNER, E., 1997. Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn: Gesamtüberlieferung (1147–1989) und Namenerklärung. Vreden/Südlohn: Gemeinde Südlohn (= Westmünsterländische Flurnamen 14/Beiträge zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Südlohn 5).
- MÜLLER, F.; OPITZ, H., 2005. Müllers großes deutsches Ortsbuch: Bundesrepublik Deutschland: Vollständiges Gemeindelexikon: Enthält alle Städte und Gemeinden sowie nicht selbstständige Wohnplätze, die für Verkehr, Wirtschaft und Verwaltung von Bedeutung sind: 126 000 Ortsnamen. 29. überarb. und erw. Ausg. München Saur.
- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz. 2007. Hydrografische Karte Niedersachsen. (http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C8880094_N8879128_L20_D0_I598 [2. Mai 2008]).
- POST, R., 2003. Die Flurnamen von Gabsheim: 3. Flurplan mit den Flurnamen in mundartlicher Form. (http://omnibus.uni-freiburg.de/~post/gabsh_fn/ [2. Mai 2008]).
- POST, R., 2006. Die Flurnamen von Gabsheim: 2. Die Flurnamen in alphabetischer Reihenfolge (vorläufiger Stand September 2006). (http://omnibus.uni-freiburg.de/~post/gabsh_fn/ [2. Mai 2008]).
- SCHÜTZEICHEL, R.; ZENDER M., (Hrsg.), 1965. Namenforschung: Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31. Januar 1965. Heidelberg: Winter.
- WERNER, O., 1974. Appellativa – Nomina propria: Wie kann man mit einem begrenzten Vokabular über unbegrenzt viele Gegenstände sprechen? In: *Heilmann*, S. 171–187.

Silvio Brendler

Linguence Hamburg, Germany

LANGUAGE FOR ORIENTATION IN SPACE: ON THE NECESSITY OF PLACE-NAMES

Summary

In this paper we assume that the faculty to take part in language for orientation in space is one necessity of place-names. The role of place-names in the description of the world (cosmography, geography, topography) is then demonstrated and evaluated as proof of our assumption. Finally, it is shown that man structures space by means of place-names.

KEY WORDS: linguistics, name studies, onomastics, cosmography, geography, topography, place-names, language for orientation in space, language for structuring space.

Laura Čubajevaitė

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Adresas: K. Donelaičio g. 52-615, 44244 Kaunas, Lietuva

e-mail: l.cubajevaitei@hmf.vdu.lt

DAUGIAKALBYSTĖ LIETUVOS MIESTUOSE: KAUNO ATVEJIS. METODOLOGINIAI ASPEKTAI

Europos Sąjungos kalbų politika išryškina daugiakalbystės svarbą ir skatina jos plėtrą. Norint vykdyti ir palaikyti tokią politiką pirmiausia reikia ištirti gyventojų kalbų ar kalbų atmainų realų vartojimą įvairiose gyvenimo srityse, tiek viešojoje, tiek privačiojoje sferose.

Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis (2001), Lietuvoje gyvena 115 tautybių gyventojų. Lietuvos gyventojų surašymo metu gauti duomenys, kokią kalbą gyventojai laiko savo gimtąja kalba, tačiau visiškai nėra duomenų, kokios kalbos ar kalbų atmainos yra realiai vartojamos namų aplinkoje. Nuo 2001 (Lietuvos gyventojų surašymas) nebuvo jokių tyrimų realiai kalbinei situacijai Lietuvoje nustatyti. Straipsnyje pateikiami pirminiai vykdyto projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ tyrimo rezultatai. Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti, kokios kalbos vartojamos namuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurios iš jų dominuoja ir kokios yra vienos ar kitos kalbos pasirinkimo priežastys. Tyrimo duomenys surinkti atlikus 8–10 metų amžiaus moksleivių apklausą didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

Straipsnyje rašoma apie Kauno miesto, visada laikytu vienu labiausiai nacionalistiniu miestu, kuriame 88 procentai gyventojų teigia, kad jų gimtoji kalba yra lietuvių kalbinę situaciją. Kauno mieste yra tik viena mokykla, kurioje mokoma ne lietuvių kalba, palyginti su Klaipėda, kurioje yra 7 tokio tipo mokyklos, nors mieste gyvena daug mažiau gyventojų. Straipsnyje analizuojami Kauno miesto moksleivių atsakymai į klausimyno klausimus bei aptariamoms kalbinės situacijos Kauno mieste priežastys.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: *klausimynas, namų kalba, kalbų mokėjimas, kalbų pasirinkimas, kalbų dominavimas, tautinė tapatybė*

Europos Sąjungos kalbų politika pabrėžia daugiakalbystės svarbą ir skatina jos plėtrą (Commission of the European Communities 2005). Pagal 2003 metų Europos Konvenciją kiekvienoje ES šalyje turi būti toleruojama ir „gerbiama bet kokia religinė, kultūrinė ir kalbinė įvairovė“ (European Convention 2003, cituota iš Baldauf ir Kaplan 2006, p. 6). Norint vykdyti ir palaikyti tokią politiką pirmiausia reikia ištirti, kokios kalbos vartojamos Lietuvoje. Taip pat svarbus gyventojų kalbų ar kalbų atmainų realus vartojimas įvairiose gyvenimo srityse, tiek viešojoje, tiek privačiojoje sferose.

2001 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis (Lietuvos gyventojų 2001), Lietuvoje gyvena 115 tautybių gyventojų. Lietuvos gyventojų surašymo metu gauti duomenys, kokią kalbą gyventojai laiko savo gimtąja kalba, tačiau visiškai nėra duomenų, kokios kalbos ar kalbų atmainos yra realiai vartojamos namų aplinkoje. Dėl įvairių (ekonominių, politinių, technologinių ir kt.) priežasčių didėjanti gyventojų migracija turėjo įtakos ir kalbinei situacijai Lietuvoje (Maslauskaitė, Stankūnienė 2007). 2000 metais atliktas Lietuvos etninių mažumų adaptacijos tyrimas, jame keletas klausimų skirta kalbai (Kasatkina, Leončikas 2000). 2006 metais atliktas Pabėgėlių ir jų šeimų poreikių Lietuvos Respublikoje tyrimas, jame apklausti Kauno ir Klaipėdos miestų pabėgėliai ir šiek tiek dėmesio skirta problemoms, susijusioms su kalba (Kuzmickaitė 2006). 2004 metais buvo atlikta Vilniaus miesto gyventojų apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kokiomis kalbomis vilniečiai kalba privačiojoje ir viešojoje aplinkoje, kokiomis kalbomis žiūri televizijos programas, klausosi radijo laidas, koks jų požiūris į kalbas. 2006–2007 metais atliktas projekto „Kalba darbe“ tyrimas, kurio tikslas – „išsiaiškinti kalbų vartojimo Lietuvos privataus verslo aplinkoje padėtį ir nustatyti pagrindines tendencijas, ištirti verslo vadovų ir darbuotojų nuostatas dėl lietuvių kalbos vartojimo darbo santykių srityje“ (<http://archive.lidata.eu/webview>). Tačiau nuo 2001 metų Lietuvos gyventojų surašymo nebuvo

jokių išsamių tyrimų realiai kalbinei situacijai visoje Lietuvoje nustatyti. Kaip tai sėkmingai padaryti parodė užsienio kolegų, vykdžiusių „Daugiakalbių miestų projektą“ (angl. *Multilingual Cities Project*, toliau MCP), patirtis. Šį projektą organizavo Europos kultūros fondas (angl. *European Cultural Foundation*), o koordinavo Tilburgo universiteto mokslininkų grupė *Babylon*. Projekto vykdytojai buvo Nyderlandų ir kitų šalių projekte dalyvavusių institucijų mokslininkai. Minėto projekto metu buvo atliktos kiekybinės apklausos Gioteburge, Hamburge, Hagoje, Briuselyje, Lione ir Madride. Tikslinė projekto grupė – 6–11 metų amžiaus vaikai. Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kokia(os) kalba(os) vartojamos namuose ir mokykloje, kalbų mokėjimas, pasirinkimas, dominavimas, pirmenybė (Extra 2004).

Baltijos šalyse, remiantis šešiose Vakarų Europos šalyse vykusio projekto bei Baltijos Kalbų ir Integracijos Tinklų (the Baltic Language and Integration Network, koordinuojamas Gabrielle Hogan-Brun iš Bristolio universiteto) metodologija ir patirtimi, pradėtas vykdyti Baltijos daugiakalbių miestų projektas (Baltic Multilingual Cities Project):

- Estijoje 2006 metais, koordinatorius Mart Rannut, Talino universitetas (kai kurie tyrimo rezultatai pristatyti Soll M. 2006 straipsnyje);
- Lietuvoje 2007 metais, koordinatorius Meilutė Ramonienė, Vilniaus universitetas;
- Latvijoje ši veikla dar tik planuojama.

Lietuvoje 2007–2009 metais vykdomas projektas vadinasi „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“. Juo siekiama iširti didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) vartojamų kalbų ir tautinės tapatybės santykį, numatyti su kalba susijusio tautinio identiteto išsaugojimo perspektyvas. Projektas vyks dviem etapais: kiekybinis namų kalbos tyrimas, atliekant vaikų apklausą ir kokybinis ir kiekybinis kalbos tyrimas, vykdant suaugusiųjų apklausą. Pirmojo projekto etapo uždaviniai:

- iširti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų namie vartojamas kalbas;
- nustatyti dominuojančias ir kitas vartojamas kalbas ar kalbų atmainas;
- nustatyti jų pasirinkimą vartojimui ir gyvybingumą.

Metodologija

Tikslinė grupė: 8–10 metų amžiaus mokiniai. Šio amžiaus vaikai pasirinkti dėl kelių priežasčių: panašiai kaip ir daugiakalbių miesto kalbų projekte (MCP), siekta apklausti kuo jaunesnius kalbos vartotojus, kad galima būtų išsiaiškinti kalbų gyvybingumą. Kitaip nei MCP, Lietuvoje apklausti šiek tiek vyresni vaikai, jau gebantys skaityti ir rašyti, kad patys galėtų užpildyti anketas. Pasirinkti didžiausieji Lietuvos miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Specialiai sudarytas klausimynas, pagal tarptautinio miesto kalbų tyrimo projekto klausimyną ir bendrus principus. Klausimynas turėjo būti trumpas ir aiškus, todėl jį sudarė dvidešimt klausimų. Pirmojoje lentelėje matyti, kokios informacijos buvo klausama klausimyne.

1 lentelė

Namų kalbos tyrimo klausimynas

1 – 3	informacija apie mokinį (vardas, amžius, lytis)
4 – 6, 17	informacija apie mokyklą (miestas, pavadinimas, instrukcinė kalba, kokių kalbų mokoma)
7 – 9	gimimo vietos informacija (mokinys, tėvas, motina)
10	tautybė
11 – 12	kalba/kalbos namuose
13, 15	kalbų mokėjimas (suprantu/kalbu/skaitau/rašau)
14	kalbos pasirinkimas
16, 18	pirmenybė kalbai
19 – 20	specifiniai klausimai (ikimokyklinis ugdymas, TV)

Respondentams buvo garantuotas anonimiškumas, visi tyrimo duomenys pateikiami apdoroti ir apibendrinti, tačiau pirmieji septyni klausimai reikalingi, atsiradus neaiškumams ir norint patikslinti duomenis. Gimimo vietos ir tautybės informacijos klausiama siekiant sužinoti kalbinės ir tautinės tapatybės sąsajas. Kalba namuose ir šeimos rate ypač svarbi norint nustatyti kalbos gyvybingumą, kalbos pasirinkimą ir kalbines nuostatas, kurias kaip ir kalbos ideologiją vaikai įgyja šeimoje (Auer, Wei 2007). Specifiniai klausimai buvo įtraukti, norint išsiaiškinti ankstyvojo ir neformalaus kalbų ugdymo populiarumą ir įtaką Lietuvoje.

Kaunas

Šiame straipsnyje aptariami tik Kauno mieste vykusio tyrimo preliminarūs rezultatai, todėl tikslinga pirmiausia trumpai pateikti kai kuriuos faktus apie Kauno miestą. Nors pagal 1897 metų Rusijos imperijos gyventojų surašymą, kuriame „tautybė buvo nustatoma pagal vienintelį kriterijų – gimtąją kalbą“, Lietuvos miestuose demografinė struktūra atrodė taip: „42,1 procento gyventojų gimtąja kalba laikė žydų, 24 procentai - lenkų, 21,5 procento – vieną iš rytų slavų kalbų, 7,8 procentai – lietuvių kalbą“ (Aleksandravičius, Kulakauskas 1996, p. 232). Gaila, bet šioje knygoje neišskiriamas nei Vilnius, nei Kaunas. XX amžiuje taip pat minimas „lietuvių, lenkų, rusų, žydų, vokiečių kalbų koegzistavimas Kaune“, tačiau pastebimas „miestų lietuvių procesas“, kurį Kauno „mažumos priėmė ramiai“ (Janauskas 2003, p. 33-54). Vėliau tam tikros istorinės aplinkybės lėmė, kad Kauno mieste, palyginti su Vilniumi ir Klaipėda, gyvena daugiausia lietuvių tautybės gyventojų. 2008 m. sausio 1d. duomenimis Kaune gyvena 355 500 gyventojų (www.kaunas.lt). Pagal etninę sudėtį gyventojų pasiskirstymas toks (2001 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis):

- lietuvių 92,9 proc.;
- rusų 4,4 proc.;
- ukrainiečių 0,5 proc.;
- lenkų 0,4 proc.;
- baltarusių 0,3 proc.;
- žydų 0,1 proc.;
- romų 0,1 proc.;
- vokiečių 0,1 proc.;
- totorių 0,05 proc.;
- latvių 0,05 proc.;
- kitų tautybių 1,1 proc.

Šie skaičiai rodo, kad Kaunas yra palyginti homogeninis miestas. 88 procentai gyventojų, atsakydami į klausimyną pateiktą klausimą apie gimtąją kalbą, teigia, kad lietuvių yra jų gimtoji kalba. Kaune yra tik viena mokykla, kurioje mokoma ne lietuvių kalba (palyginti su septyniomis Klaipėdoje, kur gyvena 186 500 gyventojų, 2006 metų sausio mėn. 1d. duomenimis).

Kaune kitaip nei Vilniuje ar Klaipėdoje yra gerai integruota rusakalbių bendruomenė. Pažymėtina, kad po 1990-ųjų metų Kaune kaip ir visoje Lietuvoje šiek tiek sumažėjo rusakalbių gyventojų skaičius, o Kaune dėl ekonominių ir socialinių priežasčių atsirado ar padidėjo kitomis kalbomis kalbančių gyventojų (pvz., amerikiečių, kinų, kazachų ir t.t.). Didėjantis mobilumas, migracija ir tarptautinė ekonomika turi įtakos kalbinei situacijai visoje Europoje, taip pat ir Kauno mieste (Extra, Gorter 2001).

Deja, reali kalbinė situacija Kaune nėra fiksuota moksliniuose tyrimuose. Be to, projekto vykdytojams įdomu ir naudinga palyginti situaciją Kauno mieste su situacija kituose didžiuosiuose, kalbų atžvilgiu mišresniuose Lietuvos miestuose (Vilniuje ir Klaipėdoje).

Kiekybinis tyrimas Kaune

Atliekant kiekybinį tyrimą buvo lankomasi visose Kauno miesto švietimo įstaigose (vidurinėse mokyklose, pradinėse mokyklose, vaikų darželiuose), kur mokosi aštuonerių–dešimties metų moksleiviai.

Bendras (Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus duomenys) ir tyrime dalyvavusių švietimo institucijų skaičius

Oficialūs skaičiai	Tyrime dalyvavo
62 institucijos	60 institucijų
10 173 mokiniai	8 479 mokiniai

Lentelėje matyti, kad tyrime dalyvavo beveik visos Kauno miesto švietimo įstaigos ir tyrimo metu apklausta apie 85 procentai visų moksleivių. Reikėtų pažymėti, kad respondentų Kauno mieste apklausos vykdytos 2008 metų vasario- kovo mėnesiais, kai padidėjęs mokinių sergamumas, todėl neapklausta apie 15 procentų mokinių.

Namų kalbos tyrimo etapai ir rezultatai

Galutinis etapas – visi kiekybinės apklausos duomenys bus apdorojami kompiuterinių statistinių programų (SPSS) pagalba Tilburgo universitete, Nyderlanduose. Šiame straipsnyje pateikiami tik preliminarūs rezultatai, kurie gana reprezentatyviai atspindi bendrąsias kalbinės situacijos Kauno mieste tendencijas. Preliminariai analizei atsitiktine tvarka parinkta 1050 moksleivių.

Analizuojant išskiriamos trys amžiaus grupės:

- 8 metų amžiaus vaikai (imtis 350);
- 9 metų amžiaus vaikai (imtis 350);
- 10 metų amžiaus vaikai (imtis 350).

Kokybinė klausimyno atsakymų klaidų analizė

Kokybiškai apdorojant ir peržiūrint tyrimo metu surinktas anketas pastebėtos gana dažnos moksleivių klaidos atsakymuose apie gimimo vietą ir kalbą. Tai parodė, kaip įvairiai tokio amžiaus vaikai suvokia sąvokas:

- miestas vs šalis (konkretu vs bendra);
- kalba vs šalis.

Atsakymuose į klausimus apie moksleivių ir jų tėvų gimimo vietą, rasta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, gana dažnai pasitaikė, kad kai kurie moksleiviai, turėdami galimybę anketoje pasirinkti vieną iš klausimyne pateiktų šalių (pvz.: Lietuva, Rusija, Lenkija ir kt.) arba nurodyti kitą šalį, žymėjo „kita“ ir nurodė Lietuvos miestą ar regioną (pvz.: Šiauliai, Žemaitija). Galbūt interpretuojant tokį vaikų pasirinkimą galima taikyti prototipų teoriją. Pagal šią teoriją, vaikai įsisavindami reikšmę, pirmiau įsisavina esminius konceptus arba prototipus, o tik vėliau atpažįsta kategorijos narį (Geeraerts 1989, Rosch 1975, 1977, 1978, Labov 1972). Šiuo atveju vaikams sunku suvokti hierarchiją, kad Šiauliai ar Žemaitija yra Lietuvos dalis.

Kitos grupės vaikai, atsakydami į šį klausimą, nurodė dvi gimimo vietas šalis, pavyzdžiui, Lietuvą ir Rusiją. Dar kiti vaikai visai nenurodė savo ar savo tėvų gimimo vietas. Kai kurie jų aiškino interviuotojams, kad tėvai išsiskyrę, todėl vaikas nežino, kur gimęs jo tėtis ar mama. Kitas tokio pasirinkimo paaiškinimas būtų, kad vaikams ši sąvoka gana sudėtinga. Pastebėta, kad devynerių metų amžiaus vaikai „kūrybingiau“ atsako į klausimus apie gimimo vietą. Aštuonerių metų amžiaus vaikai dažniau nei devynmečiai ar dešimtmečiai vaikai nenurodo savo ar tėvų gimimo vietas.

Atsakydami į klausimą, kokios kalbos norėtų mokytis, moksleiviai turėjo galimybę rinktis iš klausimyne išvardintų kalbų arba įrašyti kitą. Kai kurie moksleiviai pasirinkę „kita“ įrašė neegzistuojančių arba sukurtų kalbų pavadinimų. Žemiau pateikiami klaidingų kalbų pavyzdžiai:

- egiptiečių;
- egiptų;
- arabų ir egiptiečių;
- brazilų;
- romėnų;
- meksikiečių;
- Atėnų;
- belgų;
- Britanijos;
- Australijos;
- Argentinos;
- Kinijos;
- Kaunas.

Pastebėta, kad devynerių metų amžiaus vaikai „kūrybingiau“ nei aštuonmečiai ar dešimtmečiai atsako į klausimus apie kalbas. Jie arba nežino, kokia kalba kalbama tam tikroje šalyje (pvz.: egiptų, egiptiečių, meksikiečių, belgų, Britanijos it kt.), arba „išranda“ neegzistuojančias kalbas (pvz.: Atėnų, Kaunas, romėnų).

Aptariant kokybinės klausimynų atsakymų analizės rezultatus, galima teigti, kad vaikams gana sunku suprasti tokias sąvokas kaip *šalis, tautybė, gimimo vieta*. Į klausimą „Kokia tavo tautybė?“ vaikams lengviau būdavo atsakyti interviuotojui perfrazavus klausimą ir paklausus – „Kas tu esi?“. Nors *kalbą* vaikai ir suvokia, jiems kyla sunkumų nurodyti kitų šalių kalbas bei realiai įvertinti savo kalbos mokėjimo lygmenį.

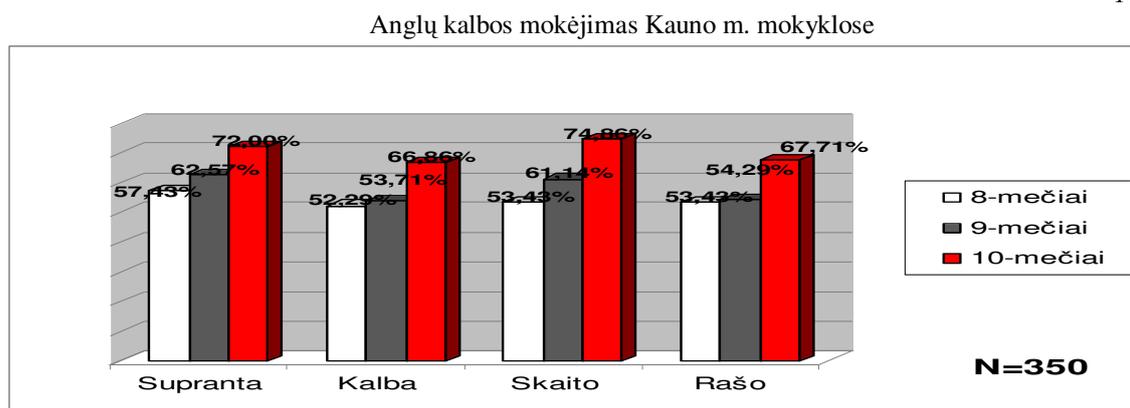
Kiekybinė analizė. Pirminiai rezultatai.

Šioje dalyje aptariami tik keli tyrimo klausimai, tai yra, kokia kalba/kalbos dažniausiai vartojamos namuose bendraujant su šeimos nariais, artimaisiais ir draugais bei kokiomis kitomis kalbomis moksleiviai geba kalbėti, ir pateikiami preliminarūs rezultatai.

Beveik visos Kauno miesto pradinio ir vidurinio ugdymo švietimo institucijos yra kultūriškai ir lingvistiškai homogeniškos. Taigi, dauguma (beveik 100%) apklaustųjų moksleivių teigė mokantys lietuvių kalbą ir esantys lietuviai.

Kita dominuojanti kalba, kaip rodo tyrimas, yra anglų. Pirmajame paveiksle pateikti moksleivių skaičiai (procentais), kurie atsakė, kad moka anglų kalbą.

1 paveikslas

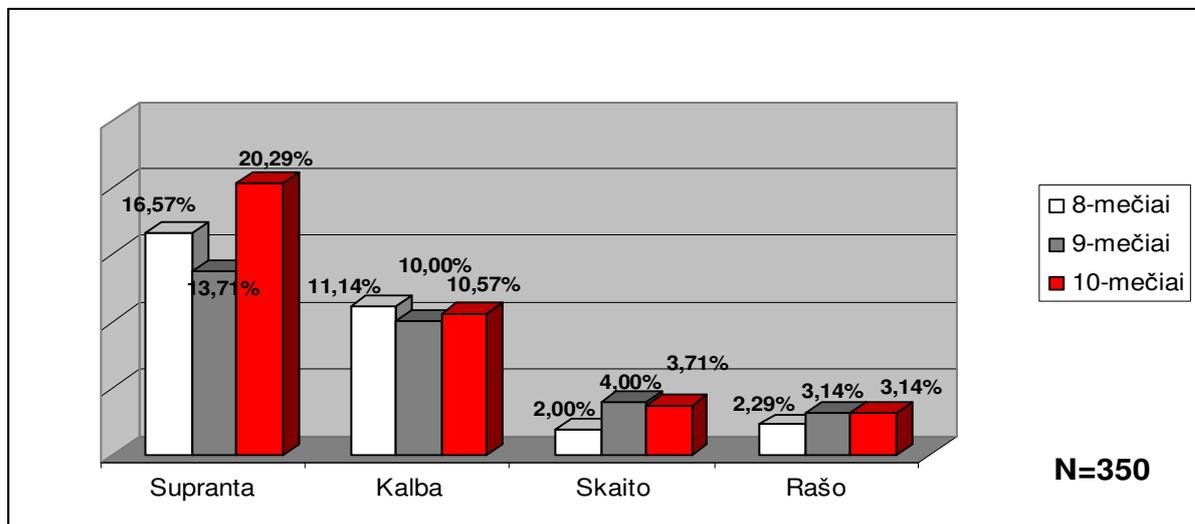


Pirmajame paveiksle matyti, kad palyginti didelis skaičius (daugiau kaip 50%) 8–10 metų moksleivių atsakė, kad supranta, kalba, skaito ir rašo anglų kalbą. Dešimties metų moksleiviai beveik 20 procentų lenkia aštuonmečius ir 10 procentų devynmečius moksleivius pagal visus nurodytus gebėjimus. Įdomu, kad nemažas skaičius vaikų klausimynuose nurodė, kad su geriausiais draugais bendrauja angliškai. Toks didelis vaikų mokančių bei žiūrinčių televizijos programas anglų kalba ir norinčių jos mokytis procentas parodo anglų kalbos populiarumą ir gyvybingumą.

Dar viena palyginti dažnai moksleivių atsakymuose figūruojanti kalba – rusų. Žinoma, respondentų teigiančių, kad moka rusų kalbą daug mažiau negu anglų kalbą mokančių, kaip matyti antrajame paveiksle.

2 paveikslas

Rusų kalbos mokėjimas Kauno m. mokyklose



Rusų kalbą teigia suprantantys vidutiniškai 16,7 procentų Kauno miesto moksleivių. Viena iš priežasčių, kodėl rusų kalba kalbančių moksleivių nėra daug, yra ta, kad rusų kalbos kaip užsienio kalbos ilgą laiką nebuvo mokoma Lietuvos mokyklose. Nemaža dalis moksleivių teigė šiek tiek suprantantys rusų kalbą. Tai gali būti dėlto, kad rusų kalba, pasak moksleivių, kalba tarpusavyje jų tėvai, kad vaikai jų nesuprastų. Be to, kai kurie vaikai teigė kalbantys rusų kalba su seneliais ar žiūrintys televizijos programas šia kalba. Taigi, rusų kalba kartais girdima namuose. Apklauskos metu kai kurie moksleiviai teigė norintys mokytis rusų kalbos. Tai rodo augantį šios kalbos poreikį ir gyvybingumą.

Kitų kalbų (rusų, latvių, romų, italų, baltarusių, armėnų, hebrajų, ukrainiečių, vokiečių, lenkų) moka abia nedidelis skaičius (vos 4 %) moksleivių. Trečiojoje lentelėje pateikiami kitų kalbų (išskyrus lietuvių ir anglų), kurias teigia mokantys (suprantantys, kalbantys, skaitantys, rašantys ir bendraujantys ta kalba su kuo nors iš artimųjų ar draugų), moksleivių skaičius.

3 lentelė

Kitų kalbų mokėjimas Kauno m. mokyklose

Kalbos	Mokinių skaičius	Priežastys
Latvių	1	latvių tautybė
Romų	3	romų tautybė
Italų	2	nenurodyta
Baltarusių	3	motina balatrusė, seneliai baltarusiai
Armėnų	1	motina gimusi Armėnijoje
Rusų	27	motina gimusi Ukrainoje, tėvas gimęs Armėnijoje, vienas iš tėvų gimęs Rusijoje, kalba su seneliais, pats mokinys gimęs Rusijoje, lankė rusų kalbos pamokas prieš mokyklą
Hebrajų	1	tėvas gimęs Izraelyje
Ukrainiečių	2	nenurodyta
Vokiečių	1	lankė vokiečių kalbos pamokas prieš mokyklą
Lenkų	1	viens iš tėvų gimęs Lenkijoje

Akivaizdu, kad moksleivių kalbančių kitomis kalbomis yra abia mažai. Iš 1050 šiai analizei atrinktų moksleivių vos vienas kitas teigia mokantis lentelėje išvardintas kalbas. Reikėtų paaiškinti, kodėl šioje lentelėje įtraukta ir rusų kalba. Sudarant šią lentelę, kitaip nei antrajame paveiksle, buvo skaičiuojami tik tie moksleiviai, kurie pažymėjo visus keturis gebėjimus (supratimą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą). Dažniausia priežastis, kodėl kalbama viena ar kita kalba yra tautybė ar giminystės ryšiai su tos kalbos atstovais; abia retai minimas ikimokyklinis ugdymas.

Daugiakalbystės sala Kauno mieste

Vienintelė mokykla, kurioje mokoma ne lietuvių, o rusų kalba Kauno mieste yra Aleksandro Puškino vidurinė mokykla. Šiuo metu (2008 metų Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus duomenimis) mokykloje mokosi 105 aštuonerių–dešimties metų amžiaus moksleiviai. Projekto tyrime dalyvavo 85 moksleiviai.

Kauno A.Puškino mokyklos 8–10 metų moksleivių pasiskirstymas pagal etninę sudėtį:

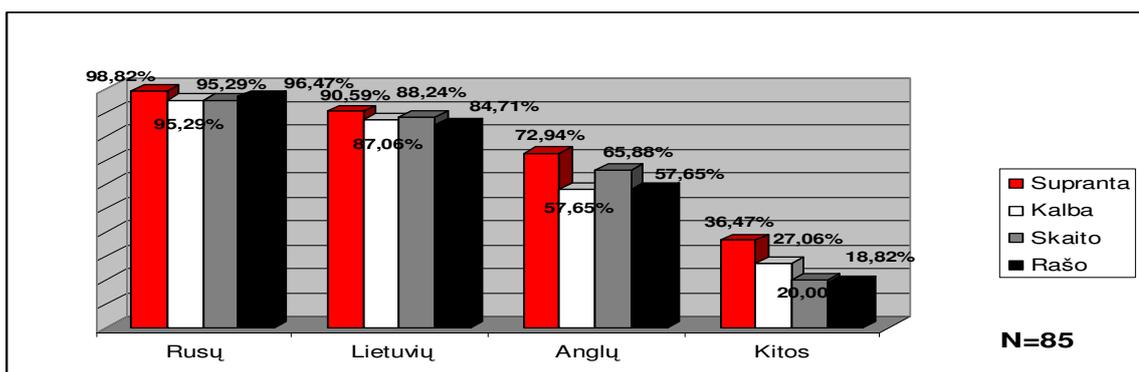
- rusų 39;
- lietuvių 15;
- čečėnų 6;
- ukrainiečių 3;
- armėnų 2;
- azerbaidžaniečių 1;
- lenkų 1;
- žydų 1;
- vokiečių 1.

6 mokiniai nurodė dvigubą tautybę (pavyzdžiui, lietuvis-rusas arba lietuvis-baltarusis), o 9 mokiniai nurodė jokios tautybės. Tai dar kartą parodo, kad šis klausimas kaip ir pati tautybės sąvoka vaikams yra gana sudėtingas, ypač vaikams iš mišrių šeimų.

Atsakydami į klausimą, kokios kalbos vartojamos namuose, A. Puškino vidurinės mokyklos moksleiviai nurodė rusų, lietuvių, anglų ir kitas kalbas. Trečiajame paveiksle matyti, koks skaičius procentais mokinių supranta, kalba, skaito ir rašo viena ar kita kalba.

3 paveikslas

Kalbų mokėjimas A. Puškino mokykloje



Panašus procentas moksleivių teigia mokantys tiek rusų, tiek lietuvių kalbas. Šiek tiek mažiau moksleivių teigia mokantys anglų kalbą. Trečiajame paveiksle „kitos“ – dažniausiai moksleivių gimtosios kalbos (armėnų, baltarusių, čečėnų, latvių, ispanų, vokiečių, hebrajų, t.t.). Taigi, galima teigti, kad šioje Kauno miesto mokykloje mokosi daugiakalbiai vaikai, laisvai kalbantys mažiausiai trimis kalbomis.

Išvados

Tyrimo Kauno mieste rezultatai patvirtino tyrimo pradžioje iškeltą hipotezę: Kaunas yra gana homogeniškas miestas. Dauguma Kauno miesto moksleivių teigia kalbantys lietuvių kalba ir esantys lietuviai. Galima būtų teigti, kad išsamesni ir statistiškai apdoroti šio tyrimo rezultatai bus vertingi ir įdomūs po kelerių ar keliolikos metų, kada kalbinė situacija Kauno mieste tikrai bus pasikeitus. Šie tyrimo rezultatai aktualūs švietimo institucijų atstovams ir kalbų mokymo politikams.

Literatūra

- ALEKSANDRAVIČIUS, E.; KULAKAUSKAS, A., 1996. Carų valdžioje. *XIX amžiaus Lietuva*. Vilnius: Baltos lankos.
- AUER, P. and WEI, L. (eds.), 2007. *Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- BALDAUF, R. B. and KAPLAN, B. (eds.), 2006. *Language Planning And Policy In Europe: The Czech Republic, The European Union and Northern Ireland*. Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A New Framework Strategy for Multilingualism. COM(2005)596 final. 2005. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/com596_en.pdf. Žiūrėta 2006 12 20.
- EXTRA, G. and GORTER, D. (eds.), 2001. *The Other Languages of Europe: Demographic, Sociolinguistic and Educational Perspectives*. Clevedon: Multilingual Matters.
- EXTRA, G., YAGMUR, K., 2004. *Urban Multilingualism In Europe: Immigrant Minority Languages At Home And School*. Clevedon: Multilingual Matters.
- GEERAERTS, D., 1989. Introduction: Prospects and problems of prototype theory. *Linguistics* 27, (4), p. 587-612.
- JANAUSKAS, P., 2003. Lietuviškasis lūžis. Kalbų varžybos Kauno savivaldybėje 1918-1928 metais. *Darbai ir Dienos* (34). Kaunas: VDU, p.33-54.
- MASLAUSKAITĖ, A.; STANKŪNIENĖ, V., 2007. Šeima abipus sienų. Lietuvos transnacionalinės šeimos genėzė, funkcijos, raidos perspektyvos. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija. Socialinių tyrimų institutas.
- KASATKINA, N.; LEONČIKAS, T., 2000. Lietuvos etninių grupių adaptacijos kontekstas ir eiga. Tyrimo modelis. Vilnius: Eugrimas.
- LABOV, W., 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- ROSCH, E., 1975. Cognitive reference points. *Cognitive Psychology* 7, p. 532-547.
- ROSCH, E., 1977. Classification of real-world objects: Origins and representations in cognition. In P.N. Johnson-Laird and P.C. Wason (eds.), *Thinking: Readings in Cognitive Science*, Cambridge University Press, p. 212-222.
- ROSCH, E., 1978. Principles of categorization. In Rosch, E. and Barbara B. Lloyd (eds.), B. Lloyd (eds.). *Cognition and Categorization*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, p. 28-49.
- SOLL, M., 2006. The Language of Instruction at Primary School, Ethnic Involvement and National Identity: the Estonian Example. *egioninės studijos* (2). Kaunas: VDU.

Šaltiniai

- KUZMICKAITĖ, D. Pabėgėlių ir jų šeimų poreikių Lietuvos Respublikoje tyrimo ataskaita. Kaunas: Socialinės ekonomikos institutas. 2006. http://209.85.135.104/search?q=cache:nJRV185wuqEJ:www.lygus.lt/pabegeliai/files/Pabegeliu%2520poreikiai_tyrimo%2520ataskaita%2520su%2520log.doc+Projektas+%22Kalba+darbe%22&hl=lt&ct=clnk&cd=15&gl=lt. Žiūrėta 2008 09 01.
- Lietuvos gyventojų surašymas 2001 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. www.stat.gov.lt. Žiūrėta 2008 05 08.
- Lietuvos HSM duomenų archyvas. <http://archive.lidata.eu/webview>. Žiūrėta 2008 08 31.
- Teritorija, gyventojų skaičius. <http://www.kaunas.lt/page/index/296>. Žiūrėta 2008 05 01.

Laura Čubajevaitė

Vytautas Magnus University

MULTILINGUALISM IN LITHUANIAN CITIES: THE CASE OF KAUNAS. METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary

The EU language policy promotes multilingualism. To maintain such a policy it is necessary to investigate the real usage of languages in different life spheres, both in formal and informal environments.

According to the data of the latest Census of Lithuanian residents (2001), there are 115 nationalities living in Lithuania. The registration data show which languages are considered to be native languages. However, it is not clear at all what languages are really used at home. There have not been any research to find out the real linguistic situation in Lithuania since 2001. The paper presents the preliminary results of the research carried out under the project "Language Use and Ethnic Identity in Lithuanian Cities", which aims at investigating languages used at home in the biggest Lithuanian cities to find out which languages are dominating, what other language varieties are used and what are the reasons for choosing one or the other language. The research data was selected by questioning 8-10 year-old pupils in major Lithuanian cities: Vilnius, Kaunas and Klaipėda.

The paper focuses on Kaunas, which has always been an outstanding nationalist city, where 88 per cent of residents claim that Lithuanian is their native tongue. The number of schools where the language of instruction is not Lithuanian has decreased to only 1 as compared to 7 in Klaipėda, the other major city in Lithuania. The paper dwells upon the research in Kaunas city and discusses the answers of Kaunas' schoolchildren. The preliminary results reflect the tendencies of the real linguistic situation in the city.

KEY WORDS: questionnaire, home language, language preference, language dominance, knowledge of languages, ethnic identity

Jūratė Čirūnaitė

Vytauto Didžiojo universitetas
S. Daukanto g. 10-27, Kaunas, Lietuva
e-mail: j.cirunaite@hmf.vdu.lt

TOTORIŲ MOTERŲ ĮVARDIJIMAS XVI–XVII A. LDK GYVENTOJŲ SURAŠYMO DOKUMENTUOSE

Straipsnyje tiriamas XVI–XVII a. Lietuvos totorių moterų vardynas. Medžiaga rinkta iš 1528 m., 1565 m. ir 1631 m. LDK kariuomenės surašymo dokumentų ir 1631 m. atliktos Lietuvos totorių valdų revizijos. Išrašyti 72 įvardijimai. Jie suskirstyti į 3 tipus pagal potencialių pavardžių buvimą arba ne įvardijime. Tipai suskirstyti į potipius, o šie – į įvardijimo būdus. Užrašyti 22 įvardijimo būdai. Toliau tiriama įvardijimo struktūra. Pagal įvardijimo ilgį įvardijimai suskirstyti į vienanarius, dvinarius, trinarius, keturnarius, penkianarius ir šešianarius įvardijimus. Aptariami asmenvardžius paaiškinantys bendriniai žodžiai (prievardžiai). Jie skirstomi į 4 leksines-semantines grupes: šeimyninės padėties ir giminystės, luomo, pareigybės, tautybės. Moterų potencialios pavardės paprastai sudaromos iš tėvo arba sutuoktinio asmenvardžių, tik vienos moters asmenvardis sudarytas iš jos sūnaus vardo. Vardas būdingas trečdaliui moterų užrašymų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: *asmenvardis, įvardijimas, prievardis.*

Lietuvos totorių vardynas jau senokai tiriamas. Pirmasis šio darbo ėmėsi istorikas Stanislovas Kričinskis. Savo monografijoje „Lietuvos totoriai“¹ jis vieną skyrių paskyrė Lietuvos totorių asmenvardžiams, jų kilmei (Kričinskis 1993). Visų Lietuvos totorių pavardes, dauguma kurių yra pasiekusios mūsų laikus, savo knygoje „Herbarz rodzin tatarskich w Polsce“² paskelbė Stanislovas Dziadulevičius (Dziadulewicz 1986). S. Dziadulevičiaus knygoje yra išspausdintas ir Jakubo Szykiewičiaus rytietiškų žodžių ir vardų žodynelis (Szykiewicz 1986). XVI amžiaus Lietuvos totorių vardyno lituanizmus tyrė Jūratė Čirūnaitė (Čirūnaitė 1999). Tiurkų kilmės rusų pavardes yra surinkęs ir ištyręs Nikolajus Baskakovas (Баскаков 1979).

Lietuvos totorių antroponimijos šaltinių yra nemaža. Šiame straipsnyje apsiribojama XVI amžiaus Lietuvos kariuomenės dokumentais – 1528 m., 1565 m. ir 1631 m. surašymais (Литовская Метрика) bei 1631 m. Lietuvos totorių valdų revizija (Borawski P.).

Kariuomenės dokumentuose užrašyti bajorai ir jiems artimi totoriai, vyrai ir moterys (paprastai našlės), tiekiantys raitelius su žirgais (1565 m. ir 1567 m. dokumentuose – ir ekipuotę) Lietuvos kariuomenei. XVI a. dokumentuose yra atskiri LDK didikų sąrašai, o smulkieji bajorai pateikti pagal teritorijas, pvz., Žemaitija, Voluinė, Palenkė, Trakų bei Vilniaus pavietas, Vitebskas, Polockas, Mstislavlis etc. Administracinis valstybės suskirstymas XVI a. keitėsi, ir tai atsispindi dokumentuose. Visuose kariuomenės dokumentuose, be didikų sąrašų ir teritorinių smulkiųjų bajorų sąrašų, yra ir atskiri totorių registrai, kuriuose totoriai pateikti pagal vėliavas. 1631 m. „Totorių valdų revizijoje“ ir totoriai, ir jų valdas įsigiję krikščionys surašyti kartu. Visuose dokumentuose smulkiųjų bajorų ir totorių abiejų lyčių atstovai pateikiami bendruose sąrašuose (moterys į dokumentus patenka tais atvejais, kai valdo ūkį, tai yra mirus vyrui arba tėvui yra našlės arba našlaitės). Tik XVI a. didikai – vyrai ir moterys – užrašyti skirtinguose registruose (yra atskiri LDK aukštuomenės moterų našlių sąrašai). Visų 1631 m. dokumentuose užrašytų asmenų (totorių ir krikščionių) abiejų lyčių atstovai pateikiami viename sąraše pagal vėliavas.

XVI a. dokumentai parašyti LDK kanceliarine slavų kalba, XVII a. – lenkų kalba. Iš šių šaltinių išrinkti Lietuvos totorių moterų įvardijimai yra suskirstyti į tipus, potipius ir įvardijimo būdus bei aprašyta įvardijimų struktūra.

¹ S. Kričinskio monografija „Tatarzy litewscy“ pirmą kartą buvo išleista Varšuvoje 1938 metais.

² S. Dziadulevičiaus knyga pirmą kartą išėjo Vilniuje 1929 metais.

Šiame straipsnyje tiriama ne asmenvardžio, o įvardijimo struktūra. Įvardijimas skiriamas į dvi dalis – asmenvardžius ir juos paaiškinančius bendrinius žodžius (prieveidžius). Moterų asmenvardžiai skirstomi į potencialias pavardes (jos sudarytos arba perkeltos iš vyro – sutuoktinio, tėvo ar kito artimo giminaičio – įvardijimo) ir vardus. Asmenvardžius paaiškinantys bendriniai žodžiai (prieveidžiai) skirstomi į 4 leksines-semantines grupes: luomo, pareigybės, tautybės ir šeimyninės padėties bei giminystės.

Totorių moterų 1528 m. dokumente buvo 14, 1567 m. dokumente – 5, 1631 m. dokumente – 53, 1565 m. dokumente jų visai neužrašyta.

ĮVARDIJIMO TIPAI

Moterų įvardijimų yra 72. Jie užrašyti 22 įvardijimo būdais. Be šių įvardijimų, yra vienas užrašymas, neturintis asmenvardžių: *Улановая вдова* (113)³.

ĮVARDIJIMAS BE POTENCIALIŲ PAVARDŽIŲ

Be potencialių pavardžių, vienu vardu, užrašytos 6 moterys. Tai 8,3% visų įvardijimų, 18,8% vienanarių įvardijimų, 100% įvardijimų be potencialių pavardžių. Be nuorodų užrašyta viena moteris: dat. sg. *Arazbiei* (R-116). Su našlystės nuoroda užrašytos penkios moterys: *Вдова Рожя* (1357) ‘našlė Rožė’; *Мушка, wdowa* (R-105); acc. sg. *Musina, wdowa* (R-108); acc. sg. *Jehanna, wdowa* (R-121); *Васица вдова* (119).

ĮVARDIJIMAS VIEN POTENCIALIOMIS PAVARDĖMIS

Vien potencialiomis pavardėmis užrašyti 49 įvardijimai. Tai 68,1% visų įvardijimų.

Įvardijimas viena potencialia pavarde. Viena potencialia pavarde užrašyti 26 įvardijimai. Tai 36,1% visų įvardijimų, 81,3% vienanarių įvardijimų, 53,1% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis.

1. Priesagos *-овая/-евая* vedinys. 21 užrašymas. Tai 29,2% visų įvardijimų, 65,6% vienanarių įvardijimų, 42,9% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Be asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių užrašyti 4 įvardijimai: acc. sg. *Safianową* (R-83) ‘Safiano žmoną (gal.)’; acc. sg. *Jakubową* (R-97); acc. sg. *Abrahamową* (R-108); acc. sg. *Bobaszową* (R-110). Su našlystės nuorodomis užrašyta 12 įvardijimų, pvz.: *Chasieniowa, wdowa* (R-116) ‘Chasienio našlė’; acc. sg. *Mikolajową, wdowa* (R-108); *Ены-хановая вдова* (1364) ‘Jeny-Chano našlė’; *Бомъшовая удова* (112); *Бердишова вдова* (114); *Качькиновая удова* (116); *Тазляковая удова* (116); *Муратовая удова* (117); *Идышова вдова* (117); *Морьдасова вдова* (117); *Легушковая вдова* (119). Viena moteris turi kunigaikštienės titulą: *Княгиня Тактамышова* (119) ‘kunigaikštienė Taktamyšo žmona’. Viena moteris užrašyta nurodant tautybę: *Чехова татарка* (1172) ‘totorė Čecho žmona’. Viena moteris yra ulono žmona: *Ачметсиова Уланова* (R-85) ‘Ulonas Achmeto žmona’. Viename įvardijime užrašytos dukterys: *Легушова дочки* (115) ‘Legušo dukterys’. Viename įvardijime užrašyta motina: *Матка Олишкова* (110) ‘Oliškos motina’.

2. Priesagos *-иная* vedinys. Du užrašymai. Tai 2,8% visų įvardijimų, 6,3% vienanarių įvardijimų, 4,1% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Abu įvardijimai užrašyti su našlystės nuoroda: *Сielimsзyna, wdowa* (R-97) ‘Sielimšos našlė’; *Объдулина вдова* (110) ‘Abdulos našlė’.

3. Vyriškojo patronimo genityvas. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 3,1% vienanarių įvardijimų, 2% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Įvardijimas turi našlystės nuorodą: *Szkierbicia wdowa* (R-116) ‘našlė Škierbos marti’.

³ Jeigu skliausteliuose po įvardijimo pavyzdžio pateikiamas tik skaičius, cituojama iš *Литовская Метрика*. Jeigu skliausteliuose po įvardijimo pavyzdžio prieš skaičių įrašyta raidė R, cituojama iš *Borawski P*.

4. Priesagos *-овая/-евая* vedinys iš vyriškojo patronimo. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 3,1% vienanarių įvardijimų, 2% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Įvardijimas užrašytas su našlystės nuoroda: acc. sg. *wdową Babikiewiczową* (R-83) ‘našlė Babiko marčią (gal.)’.

5. *-sk-* tipo priesagos vedinys. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 3,1% vienanarių įvardijimų, 2% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Įvardijimas užrašytas su luomo nuoroda: *carewiczowa Puńska* (R-110) ‘caraitienė (chanaitienė) Puniškė’.

Įvardijimas dviem potencialiomis pavardėmis. Dviem potencialiomis pavardėmis užrašyti 22 įvardijimai. Tai 30,6% visų įvardijimų, 68,8% dvinarių įvardijimų, 44,9% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis.

1. Priesagos *-овая/-евая* vedinys + priesagos *-овая/-евая* vedinys iš vyriškojo patronimo. 14 užrašymų. Tai 19,4% visų įvardijimų, 43,8% dvinarių įvardijimų, 28,6% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. 12 įvardijimų užrašyta be asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių: *Bogdanowa Fursowiczowa* (R-81) ‘Bogdano žmona, Furso marti’; *Alejowa Ajsiczowa* (R-84); *Abrahimowa Murtoziczowa* (R-87); *Isupowa Achmeciewiczowa* (R-94); *Asanowa Opazowiczowa* (R-94; R-127); *Asanowa Alejewiczowa* (R-82; R-86; R-100; R-102); *Machmecioowa Achmeciewiczowa* (R-94; R-127). Dvi moterys užrašytos su našlystės nuorodomis: *Chasieniowa Bogdanowiczowa, wdowa* (R-83) ‘našlė Chasieno žmona, Bogdano marti’; *Jusupowa Achmeciewiczowa, wdowa* (R-127).

2. Priesagos *-овая/-евая* vedinys + vyriškojo patronimo genityvas. Du užrašymai. Tai 2,8% visų įvardijimų, 6,3% dvinarių įvardijimų, 4,1% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Moterys užrašytos be asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių: *Szabanowa Mustaficzowa* (R-87) ‘Šabano žmona, Mustafos marti’; *Асановая Ивашковича* (1361) ‘Asano žmona, Ivaškos marti’.

3. Du priesagos *-овая/-евая* vediniai. Du užrašymai. Tai 2,8 % visų įvardijimų, 6,3 % dvinarių įvardijimų, 4,1 % įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Viena moteris yra šventiko žmona: *Smailowa Mes(z)czerowa, mollina* (R-86) ‘Smailo Meščero, mulos, žmona’. Viena moteris užrašyta su našlystės nuoroda: *Adamowa Korsakowa, wdowa* (R-129) ‘Adomo Korsako našlė’.

4. Priesagos *-овая/-евая* vedinys + *-sk-* tipo priesagos vedinys. Du užrašymai. Tai 2,8% visų įvardijimų, 6,3% dvinarių įvardijimų, 4,1% įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Vienas įvardijimas užrašytas be asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių: *Heliaszowa Łowczycka* (R-104) ‘Helijo Lovčickio žmona’. Vienas įvardijimas užrašytas su našlystės nuoroda: acc. sg. *Chalibekową (Kulakowską), wdową* (R-83) ‘Chalibeko Kulakovskio našlė (gal.)’.

5. Priesagos *-овая/-евая* vedinys + priesagos *-иная* vedinys. Vienas užrašymas. Tai 1,4 % visų įvardijimų, 3,1 % dvinarių įvardijimų, 2 % įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Įvardijimas užrašytas be jokių nuorodų: dat. sg. *Minkowej Szachucinej* (R-96) ‘Minkaus Šachučio žmonai (naud.)’.

6. Priesagos *-иная* vedinys + vyriškojo patronimo genityvas. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 3,1 % dvinarių įvardijimų, 2 % įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Moteris užrašyta su tautybės nuoroda: dat. sg. *Tatarce Murtozinej Obduliczowa* (R-97) ‘totorei Murtozos žmonai, Abdulos marčiai (naud.)’.

Įvardijimas trimis potencialiomis pavardėmis. Trimis potencialiomis pavardėmis – dviem priesagos *-овая/-евая* vediniais ir priesagos *-овая/-евая* vediniu iš vyriškojo patronimo – užrašyta viena moteris. Tai 1,4 % visų įvardijimų, 25 % trinarių įvardijimų, 2 % įvardijimų vien potencialiomis pavardėmis. Įvardijimas užrašytas su našlystės nuoroda: *Alejowa Osmanowiczowa Korsakowa, wdowa* (R-129) ‘našlė Alejaus Korsako žmona, Osmano marti’.

MIŠRUS ĮVARDIJIMAS

Mišriū įvardijimu užrašyta 17 moterų. Tai 23,6 % visų įvardijimų.

Įvardijimas vardu ir viena potencialia pavarde. Vardu ir viena potencialia pavarde užrašyta 10 įvardijimų. Tai 13,9 % visų įvardijimų, 31,3 % dvinarių įvardijimų, 58,8 % mišrių įvardijimų.

1. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys. 7 užrašymai. Tai 9,7 % visų įvardijimų, 21,9 % dvinarių įvardijimų, 41,2 % mišrių įvardijimų. 6 įvardijimai užrašyti be jokių nuorodų: dat. sg. *Chanie Salomonywnie* (R-129) ‘Chanai, Salomono dukteriai (naud.)’; dat. sg. *Arazbiei Siejciewnne* (R-128); dat. sg. *Guli Asanywnie* (R-121); *Sara Asanywna* (R-99); *Fatma Ischakywna* (R-84); *Umna Agiszywna* (R-132). Vienas įvardijimas užrašytas su našlystės nuoroda: *Channa Szakuływna, też wdowa* (R-105) ‘našlė Chana, Šakulo duktė’.

2. Vardas + priesagos *-овая/-евая* vedinys. Trys užrašymai. Tai 4,2 % visų įvardijimų, 9,4 % dvinarių įvardijimų, 17,6 % mišrių įvardijimų. Dvi moterys užrašytos be jokių nuorodų: *Chawa Odrachmanowa* (R-84) ‘Chava, Odrachmano žmona’; *Касымовая Яся* (1370). Viena moteris yra ulono žmona: dat. sg. *Jasi Machmeciowej Ułanowej* (R-97) ‘Jasei, Machmeto Ulono žmonai (naud.)’.

Įvardijimas vardu ir dviem potencialiomis pavardėmis. Vardu ir dviem potencialiomis pavardėmis užrašyti 3 įvardijimai. Tai 4,2 % visų įvardijimų, 75 % trinarių įvardijimų, 17,6 % mišrių įvardijimų.

1. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys + *-sk-* tipo priesagos vedinys. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 25 % trinarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Moteris užrašyta su tautybės ir luomo nuorodomis: *Tatarka Umna Agiszywna, przeszła carewiczowa Ostryńska* (R-133) ‘totorė Umna, Agišo duktė, buvusi caraitienė (chanaitienė) Ostryniškė’.

2. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys + vyriškojo patronimo genityvas. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 25 % trinarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Įvardijimas užrašytas be nuorodų: dat. sg. *Umnie Agiszywnie Malikbaszyca* (R-132) ‘Umnai, Agišo dukteriai, Malikbašos anūkei (naud.)’.

3. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys + priesagos *-овна/-евна* vedinys iš vyriškojo patronimo. Vienas užrašymas. Tai 1,4 % visų įvardijimų, 25 % trinarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Įvardijimas užrašytas be jokių nuorodų: gen. sg. *Chaliny Achmeciwywny Siunciukowiczywny* (R-125) ‘Chalinos, Achmeto dukters, Siunčiuko anūkės (kilm.)’.

Įvardijimas vardu ir trimis potencialiomis pavardėmis. Vardu ir trimis potencialiomis pavardėmis užrašyti trys įvardijimai. Tai 4,2 % visų įvardijimų, 100 % keturnarių įvardijimų, 17,6 % mišrių įvardijimų.

1. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys + vyriško vardo galūnės vedinys + priesagos *-овая/-евая* vedinys iš vyriškojo patronimo. Vienas užrašymas. Tai 1,4 % visų įvardijimų, 33,3 % keturnarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Moteris yra ulono ir vėliavininko žmona: *(Jasza Dzianajywna Ułanowa) Czcześnie Jakubowiczowa, chorążyna (tatarska)* (R-105) ‘Jaša, Dzianajaus duktė, totorių vėliavininko Ulono Ščensnos žmona, Jakubo marti’.

2. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys + vyriško vardo galūnės vedinys + priesagos *-овна/-евна* vedinys iš vyriškojo patronimo. Vienas užrašymas. Tai 1,4 % visų įvardijimų, 33,3 % keturnarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Moteris yra ulono ir vėliavininko žmona: *(Jasza Dzianajywna Ułanowa) Szczėsna Jakubowiczywna, chorążyna tatarska* (R-104) ‘Jaša, Dzianajaus duktė, Jakubo anūkė, totorių vėliavininko Ulono Ščensnos žmona’.

3. Vardas + du priesagos *-овая/-евая* vediniai + vyriško vardo galūnės vedinys. Vienas užrašymas. Tai 1,4% visų įvardijimų, 33,3 % keturnarių įvardijimų, 5,9 % mišrių įvardijimų. Moteris yra ulono ir vėliavininko žmona: *Jasza Dzianajczowa Ułanowa S(z)czcześnie Jakubowiczowa, chorążyna tatarska* (R-131) ‘Jaša, Jakubo marti, Dzianajaus Ulono Ščensnos, totorių vėliavininko, žmona’.

Įvardijimas vardu ir penkiomis potencialiomis pavardėmis. Vardu ir penkiomis potencialiomis pavardėmis – vardu, priesagos *-овна/-евна* vediniu, dviem priesagos *-овая/-евая* vediniais ir dviem priesagos *-овая/-евая* vediniais iš vyriškojo patronimo – užrašyta viena moteris. Tai 1,4% visų įvardijimų, 100% šešianarių įvardijimų, 5,9% mišrių įvardijimų. Moteris užrašyta be nuorodų: *Pacia Alejewna, przeszła Opazowa Asiejewiczowa a potem Jyzefowa*

Januszewiczowa (R-127) ‘Fatma (Pačia), Alejaus duktė, buvusi Opazo žmona, Asiejaus marti, paskiau Juzefo žmona, Janušo marti’.

POPULIARIAUSI ĮVARDIJIMO BŪDAI

1. Priesagos *-овая/-евая* vedinys – 29,2% (21).
2. Priesagos *-овая/-евая* vedinys + priesagos *-овая/-евая* vedinys iš vyriškojo patronimo – 19,4% (14).
3. Vardas + priesagos *-овна/-евна* vedinys – 9,7% (7).
4. Vardas – 8,3% (6).
5. Vardas + priesagos *-овая/-евая* vedinys – 4,2% (3).

ĮVARDIJIMO STRUKTŪRA

Moterų įvardijimus sudaro 126 asmenvardžiai. Iš jų 23 (18,3%) vardai, 103 (81,7%) potencialios pavardės.

Be asmenvardžių, į įvardijimus įeina ir asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių (prievardžių). Su prievardžiais užrašyta 40 įvardijimų (55,6% visų įvardijimų). Nuorodų būna po vieną–dvi įvardijime. Iš viso nuorodų yra 44.

Vyrauja šeimyninės padėties ir giminystės nuorodos. Jų yra 29 (65,9% visų nuorodų). 27 kartus užrašytos našlės (*widowa, Вдова*), po vieną kartą – dukterys (*дочки*) ir motina (*Матька*).

Yra 8 luomo nuorodos (18,2% visų nuorodų). 5 kartus užrašytos ulonų žmonos (*Уланова, Улановая*), du kartus – caraičių, arba chanaičių, žmonos (*carewiczowa*), vieną kartą – kunigaikštienė (*Княгиня*).

4 kartus užrašytos pareigybės nuorodos (9,1% visų nuorodų). Tris kartus užrašytos vėliavininkų žmonos (*chorążyna*), vieną kartą – dvasininko žmona (*mollina*).

Yra trys tautybės nuorodos (6,8% visų nuorodų). Užrašytos totorės (*татарка, Tatarka*).

Įvardijimo ilgis – 1–6 asmenvardžiai. Vyrauja vienanariai ir dvinariai įvardijimai – po 32 (44,4%). Trinarių yra 4 (5,6%), keturnarių – 3 (4,2%), šešianarių – 1 (1,4%).

Su vardu užrašyti 23 moterų įvardijimai (31,9% visų įvardijimų).

ASMENVARDIS IŠ GIMINIŲ VARDŲ

Vienos moters andronimas (priesagos *-овая/-евая* vedinys) *Олишъкова* yra sudarytas ne iš sutuoktinio, o iš sūnaus vardo: *Матька Олишъкова* (110) ‘Oliškos motina’.

IŠVADOS

1. Iš moterų įvardijimo tipų populiariausias yra įvardijimas vien potencialiomis pavardėmis (68,1% visų įvardijimų). Nemaža yra mišriuoju įvardijimu užrašytų moterų (23,6%). Nedaug yra paplitęs įvardijimas be potencialių pavardžių (8,3%).

2. Moterų įvardijimo ilgis – 1–6 asmenvardžiai. Vyrauja vienanariai ir dvinariai įvardijimai (po 44,4%), nedaug tėra trinarių (5,6%), keturnarių (4,2%) ir šešianarių (1,4%) įvardijimų.

3. Moterų įvardijimuose bendrinių žodžių, paaiškinančių asmenvardžius, turi 55,6% visų įvardijimų. Nuorodų būna 1–2 įvardijime.

4. Moterų įvardijimuose iš bendrinių žodžių, paaiškinančių asmenvardžius, vyrauja šeimyninės padėties ir giminystės nuorodos (65,9%). Nedaug yra luomo (18,2%), pareigybės (9,1%) ir tautybės (6,8%) nuorodų.

5. Su vardu užrašyta 31,9% moterų įvardijimų.

6. Vienas andronimas sudarytas iš motinos vardo⁴.

Šaltiniai

Литовская Метрика, 1915. Литовская Метрика, ч. III. Книги Публичныхъ Дель. Переписи войска Литовскаго, Пг.,

BORAWSKI P.; SIENKIEWICZ W.; WASILEWSKI T., 1991. Rewizja dybr Tatarskich 1631 r. Sumariusz i wypisy. *Acta Baltico-Slawica*, XX. Wrocław etc.

Literatūra

ČIRŪNAITĖ, J., 1999. *Baltiški LDK kariuomenės dokumentų antroponimai*. Darbai ir Dienos. Nr.10(19), p. 69–78.

DZIADULEWICZ, S., 1986. *Dziadulewicz S. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce*. Warszawa.

KRIČINSKIS, S., 1993. *Lietuvos totoriai*. Vilnius.

SZYNKIEWICZ, J., 1986. Tłumaczenia słów i nazw orjentalistycznych. *Dziadulewicz S. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce*. Warszawa.

БАСКАКОВ, Н., 1979. Русские фамилии тюркского происхождения. Москва.

Jūratė ČIRŪNAITĖ

Vytautas Magnus University, Lithuania

**NAMING OF TARTAR WOMEN IN THE DOCUMENTS OF THE CENTUS OF THE GRAND
DUCHY OF LITHUANIA IN 16th – 17th CENTURIES**

Summary

In women's namings the most popular is the type using only family names (68.1%) . There are also names recorded using a mixed type (23.6%) and rather infrequent is the type which does not use family names (8.3%). Women's names comprise 1–6 anthroponymies. One-member and two-member recordings prevail (44.4% each), three-member recordings comprise 5.6%, four-member 4.2%, and six-member namings (1.4%). Common words explaining anthroponomy in women's names occur in 55.6% of recordings. The namings include 1–2 common words. As a rule, common words occurring in women's anthroponomy refer to family status and kinship (65.9%). Rather scarce are the words related to their social status (18.2%), post (9.1%) and nationality (6.8%). 31.9% of women's anthroponymies recorded go together with the first name.

KEY WORDS: family names, patronymic, anthroponomy.

⁴ Autorė nuoširdžiai dėkoja istorikei habil. dr. Tamarai Bairašauskaitei už konsultacijas.

Daiva Dapkūnaitė

Lietuvos kūno kultūros akademija
 Sporto g. 6, 44221 Kaunas, Lietuva
 e-mail: daiviena@one.lt

MEDICINOS SPECIALISTŲ PROFESINIS ŽARGONAS

Profesionalizmai ir žargonizmai yra tie sluoksniai, kurie mažai nagrinėtini. Medicinos žinovų profesinė ir žargoninė leksika susideda tik iš jai būdingų terminų, įteisintų tarptautinių žodžių, bendrinės kalbos žodžių, lotynizmų, frazeologizmų, kitų kalbų žodžių, hibridinės leksikos, kuri medicinos specialistams suteikia kitokią žodžio konotaciją. Vienoje ar kitoje medicinos specialistų kalbos grupėje susidarę žodžiai, sakiniai įgauna simbolinę perkeltinę reikšmę ir yra nesuprantami kitų sričių specialistams: teisininkams, bankininkams, inžinieriams, ekonomistams. Medicinos specialistų profesinė žargoninė kalba yra labai specializuota pagal jų pasirinktą medicinos kryptį: odontologija, kardiologija, oftalmologija, visuomenės sveikata, endokrinologija ir t.t. Viena – daug išlaikoma savosios leksikos variantų, šnekamosios kalbos, kita – jų medicinos krypties terminai, kurie priklauso jau privačiai dalykinei kalbai. Medicinos žinovų profesinis žargonas neturi oficialiosios viešosios kalbos bruožų ir yra vienas iš kalbos klaidų šaltinių, kuris gyvuoja jų kasdienėje darbo kalboje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: profesionalizmai ir žargonizmai, medicinos žinovų profesinė ir žargoninė leksika, specialistų kalba.

Įvadas

Žargonas – tai ta kalbos sritis, kurioje susipina ir frazeologija, ir terminai. Profesinis žargonas atspindi medicinos specialistams būdingas kalbos subtilybes, yra socialiai atskirtos žmonių grupės kalba, turinti gyvosios kalbos bruožų.

Medicinos žinovų žargonizmų yra labai daug, tik jie ne visiems yra suprantami. Medicininis žargonizmus surinko Lietuvos kūno kultūros akademijos neakivaizdinio skyriaus sveikatos ugdymo (N SUG) ir dieninio skyriaus taikomosios fizinės veiklos (TVF), sveikatos fizinio aktyvumo (SFA) studentai. Kalbant apie profesinį medicinos žinovų žargoną tinkamiausias kalbininko A. Pupkio pateiktas apibrėžimas: žargonas – profesinės kalbos formos, kurių skiriamasis požymis yra aiškus antinormiškumas, tarnaujantis savo profesijos reikmėms tenkinti arba / ir siekiantis ją daryti nesuprantamą kitų profesijų žmonėms (Pupkis 1980, p. 60). Medicininiai žargonizmai vienas nuo kito skiriasi pagal medicinos kryptį, kalbamą darbo temą.

Privačios dalykinės kalbos atspalviai

Ženklas – išraiškos vienetas, turintis tam tikrą turinį (Hjemslev 1995, p. 164). Kurios nors kalbos žodžių visuma paprastai vadinama žodynu arba leksika. Tai greičiausiai kintanti kalbos sritis. Naujų žodžių atsiradimą [...] lemia gyvenimas (Kazlauskienė, Rimkutė, Bielskienė 2007, p. 57).

Profesiniame medicinos žinovų žargone derinami nesuderinami dalykai. Prie kabineto durų vien tik iškasenos (maribundai) – prie kabineto durų senyvo amžiaus ligoniai (5, 2). Į skyrių atvežtas dar vienas pimys – į skyrių atvežtas dar vienas ligonis (5, 2). Gipsą nuėmėm, bet kastilių jam dar reikės – gipsą nuėmėm, bet ramentų jam dar reikės (5, 2). Žaizda rimta kruviaškę sunku sustabdyti – žaizda rimta stiprią kraujo srovę, kraują sunku sustabdyti (5, 2). Kodėl šlangos negrižo iš sterilizacinės – kodėl žarnos neparneštos iš sterilizacinės (7, 1). Kai šefas išeis atostogų, ligoninei vadovaus gydpadas – kai šefas išeis atostogų, ligoninei vadovaus gydytojo padėjėjas (5, 2). Tas ligonis plaunamas – tam ligoniui lašeliniu būdu valomas kraujas (7, 1). Ligonis atlašintas – ligoniui sulašinta visa nustatyta dozė (9, 1). Vyr. gydytojo šiandien nebus darbe, kadangi jam laisva diena – vyriausiojo gydytojo šiandien nebus darbe, kadangi jam laisva diena (5, 2). Greitukė labai ilgai važiavo, nes mieste buvo kamštis – greitoji medicinos mašina labai ilgai važiavo, nes mieste buvo spūstis, grūstis (5, 2). Jums reikėtų padaryti ukolą nuo karščiavimo – jums reikėtų suleisti vaistus nuo karščiavimo (5, 2). Šiandien dantistas

priėmė penkiolika pacientų – šiandien dantų gydytojas, odontologas priėmė penkiolika pacientų (5, 2). Į priėmimo skyrių pateko žmogus su nugaros srityje padaryta žaizda – į priėmimo skyrių pateko žmogus su žaizda nugaroje (5, 2). Šiam ligoniui buvo pakeistas širdies klapanas – šiam ligoniui buvo pakeistas širdies vožtuvas (5, 2). Įdomu, ši daržovė gyvens – tai žmogus ilgą laiką gulintis komoje (5, 2). Galima teigti, kad minėtų žodžių reikšmė turi padidinamąjį arba neigiamą kalbos atspalvį. Yra žargonizmo, kurių perkeltinė reikšmė yra kita: lankytojas atėjo pas nosį – lankytojas atėjo pas ligonį, kuriam buvo operuota nosis (7, 1). Paimkit cukrų – nustatykite cukraus kiekį kraujyje (7, 1). Surinkti frazeologizmai – tai medikų žargonizmo pagrindas, įgaunantis hiperbolizuotą reikšmę: bėga nosis – serga sloga (12, 1), pučia pilvą – kaupiasi dujos žarnyne (13, 1), važiuoja stogas – kankina išsiblaškęs (13, 1), plėšia galvą – skauda galvą (13, 1), traukia koją – kojos mėšlungis (12,1), graužia skrandį – skauda skrandį (13, 1), bėga akys – ašaroja akys (13, 1), vynioja bintą – aptvarsto (13, 1), rauna gerklę – skauda gerklę (13, 1), plyšta ausis – skauda ausį (13, 1), tirpsta koja – sustingusi koja (12, 1), bėga skruzdės – dėl šalčio pašiurpusi oda (12, 1), išėjęs iš formos – nedarbingas, pervargęs asmuo (12, 1), graužia akis – peršti akis (12, 1), drasko galvą – niežti galvos odą (12, 1), išsisukti koją – pasitempti, išsinarinti koją (4, 1), ėda rėmuo – padidėjęs skrandžio rūgštingumas (4, 1), skrandis sustojo – sutriko skrandžio veikla (4, 1), atmušti kepenis, inkstus – stipriai sumušti, sužaloti (4, 1), širdis permuša – sutrikęs širdies ritmas, aritmija (4, 1), suka pirštą – piršte formuojasi pūlinys (4, 1), nušoko nuo proto – išprotėjo (4, 1), balti arkliai (ant baltų arklių užšoko) – baltoji karštinė (4, 1), galva plyšta – labai skauda galvą (4, 1). Dažnai medicinos specialistų žargoninė kalba yra neišbaigta, todėl turi neįprastos reikšmės, kurią padeda sukurti prielinksniai nuo, prie, į, ant, prieš: šiandien aš neinu į darbą, kadangi esu ant biuletenio – šiandien aš neinu į darbą, kadangi turiu nedarbingumo pažymą, lapelį (1, 1). Dažniausiai ligoniams skiriami į vidų vartojami preparatai – dažniausiai ligoniams skiriami geriamieji preparatai (10, 1). Kardiologas išrašė vaistų nuo širdies – kardiologas paskyrė vaistų širdies ligai gydyti (19, 1). Ligoniai neprisirašę prie poliklinikos turėtų atsivežti ir asmens dokumentus – ligoniai neužsiregistravę poliklinikoje turėtų atsivežti ir asmens dokumentus (19, 1). Aš nusipirkau prieš gripą – aš nusirkau vaistų nuo gripo (2, 1). Medicinos žinovų profesinėje žargoninėje kalboje yra daug sudurtinių žodžių, kurie suteikia konkretumo atspalvį: dietgydytojas sudarė puikią tinkamos mitybos programą – gydytojas dietologas sudarė puikią tinkamos mitybos programą (17, 1). Šiandien patologijos skyriuje budi vyrgydytojas – šiandien patologijos skyriuje budi vyriausiasis gydytojas (20, 2). Netoliese namų statomas medpunktas – netoliese namų statomas medicinos punktas (20, 2). Mūsų palatos medsesuo gerai atliko savo darbą – mūsų palatos medicinos sesuo gerai atliko savo darbą (20, 2). Odontologijos kabinete stovėjo elektrinė bormašinė – odontologijos kabinete stovėjo elektrinis gręžtuvas (20, 2). Medicinos darbuotojų privačioje dalykinėje kalboje daug bendrinės kalbos žodžių, turinčių kitokią reikšmę negu kitų specialistų leksikoje. Kartais jie turi antonimišką reikšmę: ligonį reikia išvesti iš narkozės – ligonį reikia pabudinti, pažadinti iš narkozės (15, 1). Hepatitas perėjo į cirozę – hepatitas virto ciroze (15, 1). Šiam ligoniui reikia nuimti skausmą – šiam ligoniui reikia sumažinti, pašalinti skausmą (15, 1). Kraujavimą gali duoti žaizda – kraujavimą gali sukelti žaizda (15, 1). Stilistinio padidinimo reikšmė matoma iš tokių žodžių *išsiliejimas, stipriai išreikštas*: kraujo išsiliejimas plaučiuose – plaučių kraujosruvos (15, 1). Matome stipriai išreikštą uždegimą – matome ūmų uždegimą (15, 1). Žodis *atstatyti* medicinos kalboje turi kitokią reikšmę ir paįvairina profesinį žargoną: sesuo buvo išvežta į ligoninę, nes jai reikėjo atstatyti širdies ritmą – sesuo išvežta į ligoninę, kad jai būtų sureguliuotas širdies ritmas (14, 1). Jis stiprus žmogus, greitai atsistatė po traumos – jis stiprus žmogus, greitai atsigavo po traumos (17, 1). Vitaminas C skatina audinių atsistatymą – vitaminas C skatina audinių atsinaujinimą (10, 1). Ligonio jėgos atsistatė – ligonio jėgos sugrižo (1, 1).

Žargonizmai, kuriuose gausu tarptautinių ligų pavadinimų

Medicinos specialistų žargoninėje kalboje daug tarptautinių ligų pavadinimų, kurių nesupranta kitų specialybių žmonės.

Kacheksija gresia nestiprinant organizmo vitaminais – išsekimas gresia nestiprinant organizmo vitaminais (3, 1). Kas penktam žmogui yra gingvitas – kas penktam žmogui yra dantenų uždegimas (3, 1). Dažnai abscesas iškyla peršalus ar užkrėtus žaizdą – dažnai votis iškyla peršalus ar užkrėtus žaizdą (3, 1). Šiais laikais tachikardija serga ir jaunesnio amžiaus žmonės – šiais laikais širdies ritmo padažnėjimu serga ir jaunesnio amžiaus žmonės (3, 1). Bendra žmogaus organizmo intoksikacija – bendras žmogaus organizmo apsinuodijimas toksinėmis medžiagomis (3, 1).

Specialiąją ir sutartinę reikšmę, turintys medicininiai žargonizmai

Kultūra – ne asmenybės gyvenimo sritis, bet visa apimanti funkcija. [...] bet yra tiek įvairių kultūrų, kiek ir veiklos rūšių (Munjė 1996, p. 237). Profesiniai žargonizmai – kaip savita, subkultūra.

Prašau užrašyti paciento kreives – prašau užrašyti paciento elektrokardiogramą (11, 1). Pažiūrėsim per televizorių, ką paciento pilvas rodo – atliksim pacientui echoskopiją (11, 1). Turėsite praryti šlangą su lempute – atliksim gastroskopiją (11, 1). Atvežė pacientą, kurį tuojau pavaišinsime elektra – atvežė pacientą, kurį gydysime elektrošoku, elektros šoku (11, 1). Uždėkite medalius ir prijunkite pacientą – uždėkite elektrodus ir stebėkite pacientą (11, 1). Prisitrauk špricą ir sukalk dozę – prisitrauk švirkštą ir suleisk vaistus (11, 1). Pamatuokite paciento centrą – pamatuokite paciento centrinį veninį spaudimą (11, 1). Uždėkite ūsus, kad lengviau būtų kvėpuoti – uždėkite deguonies nosinį kateterį, kad lengviau būtų kvėpuoti (11, 1). Jums įvyko PATE – jums yra plaučių arterinė tromboembolija (11, 1). Laksto gatvėmis pašėlęs donoras – laksto gatvėmis pašėlęs motociklininkas (11, 1). Operacinėje pacientei siurbliuoja pilvą – operacinėje pacientei nusiurbia pilvo riebalus (11, 1). Įveskite katerį ir prijunkite lašelką – įveskite kateterį ir prijunkite lašinio sistemą (11, 1). Stabdyti traukinį – stabdyti viduriavimą (8, 1). Išsėtinė sklerozė – dauginė sklerozė (8, 1).

Medicinos specialistų sudaryti nauji sutartiniai žodžiai: Jackas Taueris – vadinamas gydytojas, kuris dirba be pertraukos (6, 1). Palata – kamera (6, 1). Mini Me – medicinos studentas, kuris labai kopijuoja vyresnius savo kolegas, bet pasako nedaug (6, 1). Pastatyk paukščiukus – nustatyk automatinį švirkštą (21, 1). Einu į kaminą – nešu deginti atliekas (21, 1). Duok krokodilą – paduok žnyples (21, 1). Išduodam ant dalių – ligonio organus paliekame transplantacijai (21, 1). Pacientui reikia atlikti randomizuotus tyrimus – pacientui reikia atlikti įvairius tyrimus (18, 1). Šis preparatas pasižymi radioprotekciniu poveikiu – šis preparatas pasižymi apsauginiu poveikiu nuo ultravioletinių spindulių (18, 1). Sergant parazitėmis, skrepliuose randama parazitų kiaušinėlių ar lervų – sergant parazitų sukeltomis ligomis, skrepliuose yra kiaušinėlių ar lervų (18, 1).

Medicininiai žargonizmai, vartojami konkrečios medicinos krypties specialistų

Dantų gydytojų, dantų technikų vartojami profesiniai žargonizmai su žodžiais *virti, kepti*: kepti keraminius dantų protezus – pagaminti keraminius dantų protezus (21, 1). Virti dantų plokšteles – polimerizuoti dantų plokšteles (21, 1). Štiftai yra naudojami odontologijoje – kaiščiai yra naudojami odontologijoje (15, 1). Dantų protezinis dirba iki 14 valandos – dantų protezavimo kabinetas dirba iki 14 valandos (10, 1).

Akių gydytojų, optikos darbuotojų vartojami profesiniai žargonizmai turi ir lotynizmą, ir skolinių, ir tarptautinių žodžių: geras pidi – atstumas tarp vyzdžių centrų PD (pupilum distanc) atitinka esamo recepto duomenis (16, 1). Miegot su kontaktiniais lęšiais – neišsiimti glaustinių lęšių (16, 1). Lęšiai su aeru – lęšiai, turintys antirefleksinę dangą, nuimančią atspindžius (16, 1). Išdrožtas iš bazės – optinis lęšis gaminamas iš ruošinio – bazės (16, 1). Lęšiai su juvi – optiniai lęšiai, turintys dangą, apsaugančią nuo ultravioletinių spindulių (16, 1). Chameleonai – fotochrominiai lęšiai, keičiantys spalvą, tamsėjantys, šviesėjantys nuo ultravioletinių spindulių (16, 1). Pacientai įvardijami akių ligų tarptautiniais pavadinimais ir nesuprantami kitiems kalbos vartotojams: hypermetropas – žmogus, kuriam nustatyta hypermetropija, toliaregystė (16, 1). Presbiopas – žmogus, kuriam nustatyta senatvinė toliaregystė, presbiopija (16, 1). Emetropas –

žmogus, kuris nesiskundžia regėjimu, emetropija yra tinkamas matymas (16, 1). Astigmatikas – žmogus, turintis akies refrakcijos ydą – astigmatizmą (16, 1).

1 lentelė

Studentų surinkti medicinos specialistų profesiniai žargonizmai		
Eil. Nr	Skaičius	Procentas
1.	10	2,5
2.	10	2,5
3.	10	2,5
4.	11	2,7
5.	10	2,5
6.	10	2,5
7.	25	6,2
8.	24	5,9
9.	17	4,1
10.	25	6,2
11.	27	6,6
12.	26	6,4
13.	26	6,4
14.	25	6,2
15.	25	6,2
16.	25	6,2
17.	20	4,9
18.	26	6,4
19.	28	6,9
20.	25	6,2
Viso: 405		Viso: 100

2 lentelė

Dažniausiai vartojami medicinos specialistų profesinių žargonizmų žodžiai			
Eil. Nr.	Žodžiai	Skaičius	Procentas
1.	Šlangos	9	9,1
2.	Špricai	7	7,1
3.	Ukolas	6	6,1
4.	Biuletenis	5	5,1
5.	Cukrus	5	5,1
6.	Atsistatė (jėgos, žmogus)	5	5,1
7.	Atlašintas (ligonis	4	4,1
8.	Apendicitas	4	4,1
9.	Kontaktinės lizės	4	4,1
10.	Ligonis plaunamas	4	4,1
11.	Okulistas	3	3,1
12.	Dantistas	3	3,0
13.	Priešuždegiminiai	3	3,0
14.	Nosis	3	3,0
15.	Glandos	3	3,0
16.	Žgutas	3	3,0
17.	Iškasenos, maribundai	3	3,0
18.	Bintuoti	3	3,0
19.	Nukreipti, nukreipimas	2	2,0
20.	Pimys	2	2,0
21.	Daržovė	2	2,0
22.	Tapčanas	2	2,0
23.	Išsėtinė sklerozė	2	2,0
24.	Trauminis	2	2,0
25.	Krokodilas	2	2,0
26.	Dalys	2	2,0

27.	Dietgydytojas	2	2,0
28.	Gyvybės	2	2,0
29.	Vyrgydytojas	2	2,0

Išvados

Medicinos žinovų profesiniam žargonui būdingas antinormiškumas, kuriame yra ir privačios dalykinės medikų kalbos atspalvių (neigiamas emocinis, hiperbolizuotas, konkretumo atspalvis), frazeologizmų, specialiąją ir sutartinę reikšmę, turinčių medikų žargonizmų, tarptautinių ligų pavadinimų ir pagal juos sudarytų ligonių apibūdinimų, konkrečios medicinos krypties (odontologijos, oftalmologijos) vartojamų specialistų žargonizmų. Profesinis medicinos darbuotojų žargonas – socialinis reiškiny, kalbos fenomenas, savitame kalbokūros procese turintis daug riboto semantinio lauko žodžių. Kalbant apie šią žargonizmų grupę reikia išskirti tokius, kuriuose vartojamas žodis šlanga sudaro 9,1 procento, špricas – 7,1 procento, ukolas – 6,1 procento, cukrus, biuletenis, atsistatyti – 5,1 procento.

Medicinos žinovų profesinis žargonas, antinormiškumas, privati dalykinė kalba ir jos atspalviai, konkrečios medicinos krypties žargonizmai, žargoniškai vartojami ligų ir ligonių pavadinimai su tarptautiniais žodžiais, frazeologizmai, medicininiai žargonizmai, turintys sutartinę ir specialiąją žodžių reikšmę.

Šaltiniai:

1. L. Arbočienė NSUG 4
2. V. Ašmena NSUG 4
3. I. Bagdonaitė NSUG 4
4. V. Barkauskaitė TVF 3
5. D. Belopetrovič NSUG 4
6. R. Bikutė NSUG 4
7. B. Čepulkauskas TVF 3
8. D. Černauskienė NSUG 4
9. R. Jančauskaitė NSUG 4
10. L. Juškelytė NSUG 4
11. M. Kaminskas NSUG 4
12. S. Karpavičiūtė TVF 3
13. J. Kazakevičius TVF 3
14. K. Kovalenkoviėnė NSUG 4
15. E. Linkevičius NSUG 4
16. E. Marčiulionienė NSUG 4
17. R. Prosevičiūtė SFA 3
18. E. Rumeikienė NSUG 4
19. O. Rusickaitė SFA 3
20. D. Vengrytė NSUG 4
21. S. Zienienė NSUG 4

Literatūra:

- HJELMSLEV, L., 1995. *Kalba*. Vilnius.
 KAZLAUSKIENĖ, A.; RIMKUTĖ, E.; BIELINSKIENĖ, A., 2007. *Kalbos kultūra ir specialybės kalba*.
 Kaunas.
 MUNJĖ, E., 1996. *Personalizmas* Vilnius.
 PUPKIS, A., 1980. *Kalbos kultūros pagrindai* Vilnius.

Daiva Dapkūnaitė

Sportakademie Litauens

FACHAUSDRÜCKE IM BEREICH VON MEDIZIN
 Zusammenfassung

Zu Grunde der Berufssprache und des Slangs der Kenner der Medizin liegt die Anti-Norm. Die Berufssprache und das Kauderwelsch der Kenner der Medizin bestehen aus nur dieser Art des Wortschatzes typischen Termini, hybrider Lexik, die den medizinischen Fachwörtern eine andere Konnotation verleihen. Die Sprache der Medizinfachleute ist sehr spezialisiert nach der von ihnen gewählten Medizinrichtung: Kardiologie, Ophthalmologie, gesellschaftliche Gesundheit, Endokrinologie, Odontologie. Der Slang der Kenner der Medizin hat keine Merkmale der offiziellen öffentlichen Sprache und ist eine der Quellen der Sprachfehler, die in ihrer alltäglichen Arbeitssprache existieren. Einerseits werden die Varianten der eigenen Lexik beibehalten, andererseits werden auch die medizinischen Termini verwendet, die zur privaten Fachsprache gehören. Die am häufigsten vorkommenden Jargonismen sind: *šlanga* – 9,1 %, *špricas* – 7,1 %, *ukolas* – 6,1 %, *cukrus*, *biuletėnis*, *atsistatyti* – 5,1 %. Sie zeigen die wichtigsten Merkmale des untersuchten Slangs (konkrete Spezialisierung, internationale Benennungen der Krankheiten, Wörter der Standardsprache, Wörter, die den Körperbau des Menschen bezeichnen).

SCHLÜSSELWÖRTER: Berufssprache, Slang, Termini der Medizinrichtung, private Fachsprache, Arbeitssprache, Antinorm.

Ольга Дорчук

Ягеллонский университет Институт восточнославянской филологии

Аллея Мицкевича 9/11, 31-120 Краков, Польша

e-mail: olgadorczuk@wp.pl

«КУДЫ ХОДИЛ ПЛУГ, И СОХА, И КОСА, И СЕРП...», ТО ЕСТЬ О НАЗВАНИЯХ МЕР ПАХОТНОЙ ЗЕМЛИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ XV-XVI ВВ.

Метрология – это, с одной стороны, наука об измерениях, методах достижения их единых стандартов и требуемой точности. С другой стороны, метрология – это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю сложения системы мер, названия единиц измерения, соотношение друг с другом различных мер прошлого, а также единицы налогового обложения и денежного счета, т. е. занимающаяся различными единицами измерения в историческом развитии (Каменцева, Устюгов 1975, с. 2).

В настоящей статье особое внимание будет уделено одной из мер поверхности, сложившейся к XV–XVI вв. на севере Руси – сохе. Источником послужит сборник актов Соловецкого монастыря за годы 1479-1571 (Акты социально-экономической истории севера России конца XV-XVI в., Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., 1988), который содержит ценнейший актовый материал по истории крестьянских и монастырских промыслов, северных посадов, ремесла, торговли (акты купли-продажи), а также социальных отношений населения северных областей России XV–XVI вв. (большую часть представляют наследственные документы). Сборник включает 428 текстов грамот, в которых сохранились живые следы хозяйственного и социального народного быта русского крестьянства. Основную их часть составляют поземельные частные акты и именно они являются объектом нашего исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: соха, единицы измерения, налог, меры поверхности, Московское государство XV-XVI вв.

Анализ отобранного нами материала показывает, что выявленные единицы измерения можно классифицировать по следующим группам:

- нумизматические единицы (*гривна, рубль, деньга, полтина*);
- меры длины (*верста*);
- меры веса (*коробья, пуд*);
- меры поверхности (*лук, обжа, сажень, соха, выть, коробья, четверть / четь*);
- меры сыпучих тел (*бочка, пуз, коробья*).

Как правило, эти метрологические названия уже не используются в современном русском языке, а некоторые из них, т. е. *коробья* и *выть* имеют только областной, местный характер.

Оказывается, что единицы измерения занимают значительное место в древнерусских памятниках. Этот вопрос имеет уже свою традицию изучения. Эту тему затрагивали в своих работах многие исследователи. Здесь можно назвать такие фамилии, как С. Б. Веселовский, А. Б. Иванов, С. А. Нефёдов, Е. Каменцева, Л. Н. Седова, Н. Устюгов.

Задача нынешней статьи – попытка выяснить происхождение и значение названия *соха*. Так, первичное значение слова *соха* – это «простейшее орудие для пахоты», но в исследованных нами текстах оно выступает также в другом значении ‘единица податного обложения в Русском государстве в XIII-XVII вв., первоначально измерявшаяся количеством рабочей силы, затем (с конца XV в.) количеством и качеством обрабатываемой под пашню земли’ (Фасмер 1987).

В статье И. Михайловой подчёркивается, что первое достоверное сведение о сохе, как единице податного обложения, датируется уже 1448-1461 гг., «когда московский боярин Семён Яковлевич собирал дань в новоторжских волостях. Он брал *съ сохи по гривне по новои... а в соху два коня (...)* да *тшань кожевнической за соху; неводъ за соху; лавка за соху; плугъ за*

две сохи; кузнец за соху; четыре петци за соху; лодья за две сохи; урень за две сохи. А хто сидит на исполовыи, на томъ взятии за полслхи...» (Михайлова 2003).

О трудовом характере меры *соха* может также свидетельствовать ответ новгородцев на вопрос Ивана Грозного в 1478 году, о том, что такое соха? «*И они сказали: три обжа соха, а обжа – один человек на одной лошади орет, а кто на трех лошадях и сам третьей орет, ино то и соха*» (Каменцева, Устюгов 1975, с. 49).

Здесь уместно сказать о том, что в Московском государстве ещё в конце XV века стало складываться так называемое «сошное письмо», т. е. система описания и распределения земельных владений, предназначенная для упорядочения податного обложения.

Значит, «сошное письмо» предусматривало измерение земельных площадей, перевод полученных данных в условные податные единицы (сохи) и определение на этой основе размера прямых налогов. Техника «сошного письма» видоизменялась в соответствии с изменением самой сохи и с дополнительными заданиями, дававшимися писцам. Со временем она приобрела устойчивые формы, закрепленные в специальных «Книгах сошного письма».

Древнейшая опубликованная «Книга сошного письма» датируется 7137 годом (1629 г.) и является основным источником сведений о мерах земельных площадей. Возникновение этой книги связано с податной реформой середины XVII века. Если раньше слово «соха» выражало размер некоей площади непосредственно, то позже стало, прежде всего, податной единицей. Размеры подати были подвижными, в зависимости, во-первых, от того, кто этой землей владел, кто держал ее на определённых условиях или обрабатывал и, во-вторых, в зависимости от качества земли. Оказывается, владельцами могли быть: служилые люди, монахи и белое духовенство, а также население царских владений. Земля была поделена на: поместную, монастырскую и дворцовую, и «черносошную» – с учётом принадлежности, а также на «добрую», «среднюю» и «худую» – по качеству (Иванов 2001, с. 99-102).

Следовательно, на поместных землях в сохе считали 800 четвертей земли «добрый» (четверть – четвёртая доля, часть чего-нибудь), 1000 «средней» и 1200 «худой». Монастырские и дворцовые земли включали в соху либо 600 четей¹ «добрый» земли, либо 700 «средней», либо 800 «худой», а так называемые «чёрные земли» 500 «добрый», 600 «средней», 700 «худой» четвертей земли (Иванов 2001, с.103).

В. И. Даль в *Толковом словаре живого великорусского языка* приводит следующее объяснение слова *соха*:

1. «служила первым ралом, для вспашки земли»;
2. «мера земли, неровная, по качеству, по местности и в разные времена; от 600 до 1800 десятин, или 800 четвертей доброй земли, 1200 средней, 1800 худой (...»);
3. «Соха, стар. принимала и значенье небольшой общины, от 3 до 60 дворов, может быть по количеству земли, и служила единицею подати; по расчету сох взимались и повинности, даже ратники, с сохи по стольку-то, и повинности назывались: посошное, посоха (Даль 2002, с. 283-284)».

Анализ показывает, что в исследованном сборнике в большинстве примеров слово «соха» выступает именно в значении податного обложения. Удалось отметить несколько разновидностей определений слова *соха*: соха московская, живущая, большая и малая. В *Словаре русского языка XI-XVII вв.* кроме того, приводятся другие определения сохи, которые в исследованном материале не встретились, т.е. соха белая и чёрная, а также соха складная (*Словарь русского языка XI-XVII вв.*).

Отмеченные в памятниках примеры находят следующее объяснение:

◆ МОСКОВСКАЯ СОХА –

то же самое, что 10 новгородских сох; новгородская соха = 3 обжам (обжа - старинная земельная мера, а также площадь, какую может вспахать один человек одной лошадейю за день (Vasmer)), напр.:

¹ Четь, четверть – четвёртая часть (Ушаков)

(...) а имано в том в 60 в седмом году с каргополские земли з десяти сошек, а с московские сохи за двадцать горностаей по двадцати алтын з гривною(...);

◆ **ЖИВУЩАЯ СОХА** –

обрабатываемый и облагаемый налогом участок пахотной земли, напр.:

(...) с живущих с пятидесят сох (...) дани за белку и за горностаи триста рублей и восемь рублей и дватцать семь алтын и две деньги (...);

(...) з живущих с тритцати с пяти сох с третью (...);

◆ **БОЛЬШАЯ СОХА** –

участок пахотной земли, сложенный из нескольких, напр.:

(...) з дву сох болших (...) дани за белку и за горностаи триста рублей и восемь рублей и дватцать семь алтын и две деньги (...);

◆ **МАЛАЯ СОХА** –

участок пахотной земли, равный определённой части большой сохи, напр.:

Всего тяжлых дворов в Турьчасове на посаде восемьдесят три дворы, по книгам сошные пашни пять сошек малых (...);

(...) с дву сошек малых (...) дани за белку и за горностаи триста рублей и восемь рублей и дватцать семь алтын и две деньги (...).

На основе вышеприведённых примеров можно предполагать, что определение *соха малая* было заменено словом *сошка*, так как фиксируется оно в сборнике довольно часто (36 раз). Слово *сошка* могло выступать как вместе с определением *малая* (пять сошек малых [№ 242, 151], с дву сошек малых [№ 242, 150]), так и в качестве вполне синонимического эквивалента *малой сохи*, выступающего самостоятельно.

На Онеге ж во лостка Кутованга, в ней сошные пашни сошка и полчетверти обжи [№ 242, 152];

(...) сошного писма четыре сошки и две обжи и полторы четверти обжи [№ 242, 152].

Е. Каменцева и Н. Устюгов, в своей книге *Русская метрология*, употребляют словосочетание *малая соха*, *малая сошка*, *сошка* в значении тождественных понятий. Авторы пишут «(...) в Новгороде в XV-XVI вв. употреблялись фискальные единицы – обжа и сошка. Последняя иногда называлась малой сохой. Новгородская сошка, или малая соха, равнялась трем обжам».

Следует также отметить, что довольно часто в исследованных актах появляется фраза: «куды ходил плуг, и соха, и коса, и топор, и серп...». В *Словаре русского языка XI-XVII вв.* встречаем следующее объяснение данного выражения: «формула в деловых документах для обозначения границ пахотного угодья». В текстах грамот такая формула встречается несколько десятков раз (72 раза), напр.:

Се яз, Овдоким Иванов (...) продал есми учясток свой земли (...) четверть обжи земли без девятой доли² (...) куды ходил плуг, и соха, и коса, и топор (...) [№ 147, 93];

А продал есми ту деревню со всеми згодьи, куды ходил плуг, и соха, и коса, и топор, и серп, и с лешими ухозяя, и с водяными, и с речными, и с озерскими ловищи (...) [№ 331, 212];

² доля – часть чего-нибудь (Ушаков)

(...) *отделил в оброк Соловецкого монастыря (...) лук обжу, и с пожнями, и с рыбными ловлями, и с Лешею паиною, куда ходила коса, и топор, и соха, со всем угодьем по старине, чем владели Федко да Иванко [№ 171, 106].*

На основе отмеченных нами примеров можно констатировать, что меры поверхности (в том числе соха) могли делиться, как правило, на части по системе двух и трёх. Значит в основу подразделения положен коэффициент 2 или 3.

По системе двух, напр.:

* *с московских с трех сох с **полусохою** (3,5) [№ 364, 227];*

* *с **полполчетверти** сохи (1/16) [№ 364, 227].*

По системе трёх, напр.:

* *с **третцати** с пяти сох с **третью**³ (35 1/3) [№ 428, 255].*

Удалось также отметить смешанный тип деления, характеризующийся делением на части по системе как двух, так и трёх, и наличием названий других мер, напр.:

***полторы** обжи с **полутретью** обжи земли (1,5 + 1/6 = 1 2/3) [№ 403, 245],*

***полтрети** обжи с **полчетвертью** обжы (1/6 + 1/8 = 7/24) [№ 295, 194],*

***полтрети** обжи и **полчетверти** обжи (1/6 + 1/8 = 7/24) [№ 242, 154],*

*три **сошки** и **полтрети** обжи (3 1/6) [№ 242, 154],*

*три **сошки** с **полуобжею** (3 1/60) [№ 242, 155].*

Легко заметить, что соха состояла из некоего количества обжей. Как упоминалось раньше, московская соха равнялась 10 новгородским сохам, а соха новгородская состояла из трёх обжей.

Анализ показывает, что при счёте были использованы элементарные арифметические действия. Результатом арифметического сложения являются образования с союзами: **с**, **и** и **да**, напр.:

*с московских с трех сох с **полусохою** [№ 364, 227];*

*четыре **сошки** и **пол-3** четверти обжи [№ 242, 151];*

*сошка и **полчетверти** обжи [№ 242, 152];*

Комбинированный пример с употреблением трёх союзов:

*а с московских трех сох с **полусохою** да с **полполчетверти** сохи и с **полполчетверти** обжи [№ 364, 227].*

Отмечаются также примеры арифметического вычитания с союзом **без** (или глухой вариант **бес**):

*3 **сошки** **без** **полполтрети** обжи [№ 211, 127];*

*4 **сошки** и **полторы** **бес** четверти обжи [№ 242, 153];*

*(...) в ней сошка **бес** четверти обжи [№ 242, 154].*

В обобщении, можно сказать, что меры площади нужны были для определения размеров земельных участков. В Древней Руси в целях податного обложения часто были использованы условные единицы, характеризовавшие рабочую силу или сельскохозяйственный инвентарь, а также меры, в основе которых лежали трудовые

³ треть – одна из трёх равных частей, на которые делится что-нибудь (Ушаков)

возможности. Отсюда и наименование – соха. Слово соха, о чём уже упоминалось раньше, могло иметь три значения. Во-первых, означало примитивное земледельческое орудие для распаивания земли, во-вторых, условную меру земли, в-третьих, единицу налогообложения в Московском государстве XV-XVI вв. Соха приняла поземельный характер и стала чётко нормированной. Её размер резко зависел от качества земли («добрая», «средняя» и «худая») и социального статуса владельца (поместная, монастырская, дворцовая, черносошная).

Литература

- Акты социально-экономической истории севера России конца XV-XVI в., Акты Соловецкого монастыря 1479-1571 гг., 1988. Сост. И. З. Либерзон, Ленинград.
 ВЕСЕЛОВСКИЙ, С. Б., 1936. *Село и деревня в Северо-Восточной Руси*. Москва.
 ДАЛЬ, В. И., 2002. *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т.1-4, Москва.
 ИВАНОВ, А. Б., 2001. *Числом и мерою*. Москва.
 КАМЕНЦЕВА, Е.; УСТЮГОВ, Н., 1975. *Русская метрология*. Москва.
 МИХАЙЛОВА, И. От полюдья до сохи. *In: Родина*, № 4/2003.
 (http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1139&n=1)
 НЕФЁДОВ, С. А., 2005. *Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России*, Екатеринбург.
 ФАСМЕР, М., 1987. *Этимологический словарь русского языка*. Москва.
Словарь русского языка XI-XVII вв. 1975. Т.1-27.
Толковый словарь русского языка Ушакова (<http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov>).

Olga Dorczuk

Jagiellonian University Institute of East Slavonic Philology, Poland

“KUDY KHODIL PLUG, I SOKHA, I KOSA, I SERP...”, OR NAMES FOR FARMLAND MEASUREMENT UNITS IN NORTHERN RUSSIA OF 15TH AND 16TH CENTURIES

Summary

This paper is aimed at presenting a measurement unit called *sokha*, which emerged in 15th-16th centuries in the north of the Russian territory. The discussion is based on the historical documents (*gramotas*) from the Solovetsky Monastery for the years 1479-1571. These 428 documents, mainly commercial in nature, convey a vivid picture of the economic and social life of peasantry in the region.

The analysis revealed that the measurement units can be classified into different groups (e.g. numismatic units, units of length, weight, area, dry measures). The unit in question belongs to the units of area. It turns out, however, that the word *sokha* had three meanings: firstly, it denoted a simple farm tool for ploughing; secondly, it was a conventional unit for measuring farmland; thirdly, it denoted a unit of taxation in the Grand Duchy of Moscow in 15th and 16th c. At that time *sokha* acquired its farmland character and use; it was precisely regulated and its size depended on the quality of soil and the social status of the owner.

KEY WORDS: plough, units of measurements, the tax, measures of a surface, Moscow state 15th – 16th centuries

Гражина Дурка

Поморская Академия в Слупске

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Polska

e-mail: grazynadurka@o2.pl

ПРИЧАСТНОСТЬ К МОЛОДЕЖНЫМ СУБКУЛЬТУРАМ КАК ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ

Молодёжная субкультура понимается как состояние, угрожающее общественному порядку. Она отличается некоторым экстримизмом в сфере соблюдения определенных норм и ценностей. Субкультурные группы играют важную роль в жизни молодёжи, входящей в них. Молодёжь, которая не имеет поддержки в семье, которая ищет взаимопонимания в обществе, в школе – ищет возможности самореализации.

Формирование личности и поиск собственного самосознания происходит в неформальных группах, которые являются субкультурой. На основании проведенных среди 160 учеников средних школ исследований можно констатировать, что молодёжь обладает лишь общими знаниями о субкультурах. Причастность к ним в возрасте 10-12 лет не обозначает, что это сознательный выбор. Всё же вхождение в субкультуры даёт им чувство удовлетворения, безопасности, влияет на иное восприятия самого себя. Оно становится источником поддержки личности, помогает формировать чувство собственной ценности/

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *субкультура, самосознание, негативная самоидентификация, молодёжь, сознание, причастность, социализация*

Проблематика молодёжных субкультур как общественного явления, чрезвычайно важного в нашей жизни, не занимает должного места в научно-исследовательской литературе. В польской литературе в сфере гуманитарных наук ощутимым является недостаток научных разработок, которые включали бы интерпретации, тщательную характеристику и классификацию субкультурных движений и, что важнее, оценки их влияния на формирование самосознания молодых людей. Существующие разработки на тему субкультур как правило несистематические, вписываются в содержание других проблем, главным образом социологического характера. Очень редко встречаются разработки, авторы которых стараются систематизировать знания о субкультурах в свете педагогических или же психологических проблем.

Появление субкультур связано с субкультурными аспектами жизни молодого поколения, т.е., как утверждает М. Енджеевски (Енджеевски 1999, с. 9), с удлинённым периодом обучения и с существованием норм и ценностей, одобряемых в группах сверстников, но коренным образом противостоящих культурным ценностям старшего поколения.

Феномен молодёжных субкультур более десяти лет вызывает всеобщий интерес научных работников, представителей средств массовой информации, а также лиц, участвующих в процессах воспитания молодого поколения. Однако ввиду трудностей в получении существенной информации, а также из-за незнания причин явления, вокруг него создана атмосфера чего-то таинственного и сенсационного. Информация, которая появляется в печати или в телевизионных программах, чаще всего касается симптомов извращения в деятельности субкультур (например, сатанистов или футбольных фанатов-хулиганов).

Понятие «субкультура» в повседневном обиходе обозначает состояние, угрожающее общественному порядку, примитивное или как минимум своеобразное участие в культуре общества. Субкультуры отличаются от доминирующей культуры общества своеобразием в сфере некоторых ценностей и норм поведения. Если ценности и

стандарты субкультуры противоречат тем, которые характеризуют доминирующую культуру, можно говорить о субкультурах, направленных в сторону извращения.

Субкультура, это «относительно сплоченная общественная группа, остающаяся на втором плане тенденции доминирующих в данной системе общественных отношений, выражающая свое отличие путем отрицания или нарушения укрепленных и всеобщее одобряемых образцов культуры» (Пэнчак 1992, с. 4). Субкультуры формируются в небольших общественных группах на предпочитаемых ими способах и образцах поведения. Являются они выражением поведения молодежи, сигнализирующим об их потребностях, чаще всего в сфере моды и музыки.

Субкультурные группы имеют большое значение в жизни молодежи, которая к ним принадлежит. Культуру более низких слоев общества характеризует матриархальная модель семьи, где в семье преобладают женщины, в будничной жизни типично отсутствие отца, а, следовательно, отсутствие образца, необходимого для формирования роли мужчины в обществе. В данной ситуации молодежная группа приятелей становится замещающей воспитательной, педагогической средой и местом удовлетворения многих потребностей, которые не удовлетворил родной дом. Причастность к группе становится источником поддержки личности, помогает формировать чувство собственной ценности и основы самосознания (Пётровски 2003, с. 17-18).

Характерной чертой молодых людей является их повышенное стремление к самоутверждению. По словам Д. Элькина, это результат юношеского эгоцентризма, заключающегося в чрезмерном увлечении собственными мыслями при одновременном размышлении о том, что думают о нас другие (Пётровски 2003, с. 24). В период подрастания интенсивно развивается также воображение. Его проявления можно наблюдать, в частности, в виде экстравагантных идей, касающихся одежды, причёски или диеты молодых людей. С воображением связаны также юношеские мечты, которые имеют часто характер ухода от трудных ситуаций, конфликтов или компенсаций неудач в реальной жизни. Проявлением быстрого развития познавательных процессов является творчество подростков.

Оно может иметь очень дифференцированный характер: начиная от сочинения юношеских стихотворений и дневников, через создание текстов и музыки, вплоть до редактирования школьных стенгазет и фанзимов. Всякого рода проявление творчества следует из необходимости выражения чувств и формирующегося мировоззрения, а также желания отразить напряжение и психологические конфликты. Молодой человек, который получает возможность принимать решения и делать выбор, охвачен чувством свободного и ответственного существования. Всё же, это чувство требует приспособления своего поведения к определённому порядку. Ситуации, в которых происходит подчинение определённому поведению, принятие решения на всю жизнь, борьба с самим собой и с окружением, могут приводить к расстройствам, а это может способствовать формированию негативной самоидентификации.

Чрезвычайно важным общественно-психологическим процессом является постепенное обретение независимости и приобретение собственного, личного самосознания.

Само слово (идентичный) в этимологическом смысле обозначает «тот же (idem)», «одинаковый», «равный». Однако самосознание включает в себя также другой аспект – это своеобразие каждого человека, вытекающее из его собственной индивидуальности, из обладания неповторимой биографией, из вовлечения в специфические, хотя культурно определенные общественные роли. Следовательно, самосознание формируется путем отождествления с другими (уподобляет), а также путем дифференцирования и поиска собственного отличия. Это своеобразная дихотомия - с одной стороны, сходство, а с другой, –отличие, отдельность, непохожесть.

С точки зрения дефиниции, самосознание можно определить следующим образом:

1. «Самосознание это обладание субъектом видения собственного лица, а точнее видения того, что для самохарактеристики главное, наиболее характерное и специфическое» (Рыбчынска, Ольшак-Кжижановска 1999, с. 11).

2. «Самосознание вместе со свойственными ему связями с психологической действительностью является всегда самосознанием в рамках специфического мира, конструированного обществом, в свою очередь личность идентифицирует себя таким образом, как она идентифицируется другими, путем размещения её в общем мире» (там же).

Следовательно, о самосознании можно говорить, учитывая два аспекта:

- субъективный: переживание личностью своей неизменности, это восприятие собственного лица, каждой части тела, психики. Формируется он по ходу жизни, в тысячах различных событий и взаимодействий, совершаемых и реализованных задач;

- объективный: существование в оценках воспринимающих нас людей как одна и та же личность, это способ восприятия нас другими, это общественная оценка психологического аспекта самосознания – «кто ты есть?»

Самосознание определяется: или из перспективы личности, или в общественном масштабе.

Говоря о самосознании личности, подчеркивается тот факт, что оно является состоянием одного, выбранного и только этого лица. Воспринимается оно как составляющая знаний человека о себе самом. Это видение собственного «я», собственного лица, осознание себя, самохарактеристика, самопознание. Это осознание отличия, собственной автономии, но также собственной преемственности, того что «я всё время одно и то же лицо, независимо от физических изменений».

Субъективно определяя характеристику самосознания, можно говорить о «чувстве самосознания», которым является «сознание собственной преемственности, единения, пребывание таким же в изменяющемся все время мире. (Козельски 1981, с. 312)

Согласно М. Соколику, чувство самосознания — «это сознание собственного существования как личности, обладание собственным «я», ощущение, что я есть и кто я есть» (Соколик 1992, с. 10). Это убеждение о собственном существовании и о признаках, отделяющих «я» от «не я» (имя, век, пол). На чувство единичного существования накладывается несколько факторов:

- специфически выделенной, только себе соответствующей личности, составляющей одно целое. В физическом смысле это осознание границ собственного тела. Чувство отличия в психическом аспекте — это умение идентифицировать и отличать собственные эмоции и потребности от ощущений других лиц, взгляды и облики «свои» и «других»,

- чувство преемственности собственного «я» - это ощущение того, что несколько или более десяти лет назад, сегодня то же самое лицо, несмотря на течение времени и замеченные изменения,

- чувство внутренней сплоченности – это ощущение, что представляешь собой интегрированную, сплоченную индивидуальность, что имеется свой мир ценностей – внутренний и самостоятельно определенный,

- чувство обладания внутренним содержанием - это ощущение примет своего биологического строя, своей внутренней структуры, индивидуальности, ценности, мотивов, стремлений, мировоззрения.

Обобщая, можно отметить, что под самосознанием понимается, в частности, способность к самоопределению с помощью выбора из ценностей, предлагаемых обществом, и участие в этих ценностях, чувство самосознания касается обладания внутренним содержанием, ощущением границ между «я» и «другие».

Учитывая тематику данной работы, кажется целесообразным представление самосознания в аспекте его потери. «Явление возникновения негативной

самоидентификации является чувством обладания многими потенциально отрицательными или неполноценными приметами. Чувство самосознания будет утраченным, когда интеграция уступает место отчаянию и разочарованию, когда саморазвитие проигрывает борьбе с застоём, интимность переходит в одиночество, возникает чувство потерянности» (Соколик 1992).

Источником негативной самоидентификации является формирующееся в раннем детстве различие и противопоставление другу другу добра и зла. Негативная самоидентификация базируется на ранее формирующихся идентификациях, воспринимаемых как опасные и нежелательные, которые диаметрально противоположны ценностям, господствующим в процессе воспитания личности. Отрицательный образ самого себя, означающий дискомфорт и даже фрустрации, вызывает у молодого человека, который хочет справиться с этой проблемой, фальшивый образ самого себя. Когда действительное «я» непривлекательно, его место занимает «я» фальшивое, т. е. изображение того, каким я обязан быть.

Молодые люди, которые на своём жизненном пути не ставят экзистенциальных вопросов, все же испытывают давление со стороны окружения. При отсутствии одобрения, отсутствии связи с другими, одиночестве, отклонениях, которые вызываются разочарованием в общественных институтах типа семьи, они ищут возможности подтверждения „бытия кем-то”. Само существование необходимости самосознания приводит к тому, что личность добивается ответа на вопрос «кто я?». Отсутствие этого рода ответа ведёт к беспокойству и неуверенности - любой ответ, кажется, будет лучшим чем никакой. Причиной возникновения негативной самоидентификации как мотивированного возмездия, как правило, являются культурно-общественные условия.

Возможность формирования негативных образов своего облика может следовать из «приклеивания ярлыков» родителями, учителями, ровесниками. Механизм назначения обусловлен многими факторами, например, общественным происхождением, общественным статусом или численностью семьи. Социальное неравенство может вызывать появление негативного образа самого себя, заключающегося в безотчетном признании собственной неполноценности. Это явление встречается также в случаях, касающихся преступности несовершеннолетних – неизбежный рецидив заключается в том, что в период, когда формируется их самосознание, общество принуждает их к идентифицированию себя исключительно с преступниками, они лишены возможности самоидентификации другой, чем общественно негативная. Назначенные или же общественно исключенные в результате соглашаются на свой образ, согласно которому они хуже других. Другой причиной негативной самоидентификации является неадекватность банка ролей.

Развитие самосознания и формирование индивидуального жизненного пути требует решения многих появляющихся проблем. Молодой человек принимает важные жизненные решения, ему необходимо разрешить конфликт между зависимостью от родителей и усиленной потребностью собственной автономии, он переживает первое очарование другим полом и сферой эротики. Характерным свойством незрелой личности является также так называемая близкая мотивировка, или типичный для части молодёжи подход – жить «здесь и сейчас», дополняющийся неумением формировать жизненные планы и откладывать вознаграждения.

Субкультура связана с общественными действиями части молодёжи, направленными против основ мира, установленного взрослыми, мира, где зачастую правит насилие, коррупция, обман и эгоизм. В результате процесс социализации и воспитания молодых людей переносится в другие сферы общественной жизни: альтернативные молодежные движения или в субкультуры. Вызывается это явление также там, где молодёжь посвящает свое время и энергию функционированию в сообществах одного возраста различного характера: религиозных, экологических, пацифистских, группах общественно-бытового бунта, а иногда патологических.

В любом случае, со стороны молодежи это попытка поиска отличных от существующих жёстких, навязанных систем норм и ценностей, и таким образом это попытка поиска собственного самосознания. В пределах групп происходит процесс приобщения к общественной жизни: с одной стороны, это постепенное приобщение к определённой субкультуре, с другой же стороны, это процесс овладения общественной ролью, какую определяет коллектив данной группы. Молодёжь, участвующая в неформальных субкультурных общинах, исполняет также роль субъекта воспитания. На неё направлены определённые воздействия: воспитательные, дидактические, опекунические или связанные с системой перевоспитания антиобщественных элементов, устремленные на приспособление участвующей в субкультурах молодежи к определённым условиям общественной жизни, к определенным общественным ролям, личностным образцам, нормам и требуемому уровню знаний (Кавуля, Мархэль 1999, с. 11).

Робэрт Возняк (Возняк 1998, с. 314), известный социолог, произвел тщательное разделение молодежных движений, исходной точкой которого является поиск альтернативных решений, а также соответствующий уровень их аномии.

Типология альтернативных субкультур:

1. Группа, артикулирующая собственный мир ценностей посредством внешнего вида:

- хиппи,
- панки,
- поперсы,
- скинхеды,
- растоманы,
- неофашисты,
- готы.

2. Группа, артикулирующая собственный мир ценностей посредством деятельности в пользу других:

- движение оазис,
- Монар.

3. Группа, артикулирующая собственный мир ценностей посредством саморазвития личности:

- буддисты дзэн,
- кришноиты,
- йоги.

Типология субкультур, согласно уровню аномии:

1. Аномийные движения, несущие с собой бунт против существующей действительности:

- панки,
- рокеры,
- скины.

2. Созидательные движения, которые, кроме бунта, воплощают конкретные программы:

- мирные движения,
- движения экологические,
- йога.

Марек Енджэевски (Енджэевски 1999, с. 86-87), принимая критерием как деструктивный, так и конструктивный характер субкультур, систематизировал их следующим образом:

1. Альтернативное:

- субкультуры религиозно-терапевтическое,

- субкультуры экологически-пацифистские.
- 2. Бунта и бегства:
 - субкультуры общественно-морального бунта,
 - субкультуры бегства и изоляции.
- 3. Творческие

Вышеуказанная типология является выражением поисков реформаторски сориентированных учителей и воспитателей, а также классификацией движения и молодёжных подкультур.

Поэтому обоснованным является намерение исследовать, каково отношение молодёжи к молодёжным субкультурам. На основании исследований, проведенных в среде лицейской молодёжи в городе Слупске, мы пытались получить ответ на несколько детальных всесторонних вопросов.

1. Каков уровень знаний молодёжи о молодёжных субкультурах?
2. Каковы причины принадлежности молодёжи к субкультурам?
3. Влияют ли субкультуры на образ собственной личности?

Исследования проводились среди учеников средних школ в 2007 году с применением метода диагностического зондирования. Применялась техника анкетирования и специально для этого сконструированный опросный лист. Среди 33 вопросов, содержащихся в опросном листе анкеты, находились как открытые, так и полуоткрытые. В испытаниях приняли участие ученики в возрасте от 16 до 18 лет.

Результаты испытаний

Общий уровень знаний общества по вопросам субкультурных явлений недостаточный. Взрослые лица зачастую не отличают субкультуры от секты. К субкультурам часто принадлежат молодые люди. На основании исследований можно констатировать, что молодежь, подвергающаяся опросу, в 90% считает, что знает, что такое субкультура, всё же уже немного меньше, а именно 70% опрошиваемых лиц умели правильно представить определение понятия субкультуры. Среди учеников, подвергшихся опросу, больше всего известной была субкультура хип-хоперов (96%). В порядке следования опрошиваемая молодёжь назвала следующие группы:

- сатанисты (90%)
- футбольные фанаты-хулиганы (86%)
- хиппи (84%)
- металлисты (82%)
- панки (80%)
- скины (78%)

Опрошиваемая молодежь сумела также назвать другие субкультуры, которое не были перечислены в анкетном листе. Среди них перечислены по очереди:

- байкеры
- Общество Сознания Кришны
- спорткостюмщики
- турписты
- корпусники, шпанеры, анархисты, депешмод, техномонисты и другие (4%-

1%).

В группу субкультур, пользующихся наибольшей популярностью и известностью среди опрошиваемых лиц, вошли:

- хип-хоперы 60%
- металлисты 30%
- панки 10%

Само перечисление субкультур не обозначает ещё, что молодежь знает их идеологию. 70% подвергающихся опросу, не обладает знаниями об идеологии известных

им субкультур. Лица, которые считают, что знают главные принципы известных им субкультур, определяют семь, которые им знакомы. Это футбольные фанаты-хулиганы, хип-хоперы, скины, сатанисты, затем панки, металлисты. Описывая их идеологию, чаще всего обращали внимание на наружные атрибуты данной субкультуры, то, что отличает ее от других. В большинстве случаев называли одежду, причёску, стиль поведения, всё же по вопросам идеологии высказывались очень лаконично, в общих чертах.

По мнению учеников, подвергавшихся опросу, 60% считает, что в их школах существуют субкультурные группы, 10% — что их нет, а 30% ничего не знает по этому вопросу.

В школах, где проводились исследования, наиболее популярной и чаще всего упомянутой была субкультура хип-хоперов (считает так 45% опрошенных). Соответственно в порядке убывания популярности были названы субкультуры:

металлистов (35%)

футбольных фанатов-хулиганов (15%)

панков (13%).

Почему молодёжь хочет принадлежать к субкультурам? Из анализа установленных данных следует, что наиболее частой причиной присоединения к субкультурам может быть влияние ровесников. Такой ответ дало 80% опрошиваемых, неправильные семейные отношения – 60%, непонимание — 53%, отсутствие заинтересованности — 50%.

По мнению опрошиваемой молодёжи из группы тех, кто принадлежит к субкультурам, наибольшей популярностью пользуется субкультура хип-хопа. 50% принадлежит к этой субкультуре.

Из числа исследованной популяции была также выделена группа лиц, которая присоединилась к субкультурам. Наиболее существенным поводом их принадлежности было желание стать независимым. 90% исследуемых лиц считает, что свобода самый важный атрибут субкультуры.

Следовательно, как повод принадлежности перечислены желание быть оригинальным (35%), желание снискать расположение друзей (25%), желание отомстить близким (15%).

Манера держаться как независимая личность, как основная причина причастности к субкультуре, проявляется в основном в формах свободного времяпрепровождения в субкультуре. Свое свободное время проводят главным образом на междусобойчиках (50%), концертах (20%), курении марихуаны (10%). Другие формы свободного времяпрепровождения в субкультуре, это:

прослушивание музыки (11%)

употребление алкоголя (10%)

танцы (9%)

беседы и обмен взглядами (7%)

творчество музыкальных произведений (3%).

Основная польза причастности к субкультуре — это понимание, обретаемое у других, свобода, независимость, превосходство над другими (30%-10%)

Сознательность выбора причастности к субкультурам

Любопытным кажется получение ответа на вопрос: участвует ли молодёжь в субкультурах сознательно?

По философскому словарю сознание - это «обладание чувством собственного существования и собственных поступков». И другая трактовка – «быть сознательным — это действовать, зная о том, что я делаю, жить с сознанием существования» (Дидэр 2002).

На основании полученных результатов 50% всех респондентов считает причастность к субкультурам результатом их сознательного выбора. Остальные не имеют собственного мнения по этому вопросу. По мнению опрошенных, 30% молодёжи

участвует в субкультурах. Главным образом это хип-хоперы (30%). т. е. лица, которые сознательно делают выбор в отношении причастности.

В основном это молодёжь в возрасте 10-13 лет (30%). Сознательная причастность к субкультуре связана со знакомством с ее идеологией. Опрашиваемые представители субкультур в 60% считают, что знают программу своей субкультуры. Они умели перечислить главные постулаты и лозунги, провозглашаемые субкультурой.

Они поочередно перечислили:

- чистота нации (20%)
- лояльность по отношению к другим (15%)
- открытие себя всему миру, бунт против системы (10%).

Всё же их знания проявлялись на низком уровне, они не умели развить содержания лозунгов и постулатов, которые провозглашали.

Важным процессом в период созревания является постепенное обретение самостоятельности и получение собственного особого самосознания. Тенденциям обретения самостоятельности часто сопутствуют конфликты с родителями и близкими. Происходит ослабление эмоциональных связей, становится все более видным влияние группы ровесников. Молодые люди начинают критически смотреть на окружающую их общественную действительность, чувствуют себя непонятыми, часто одинокими. Не всегда могут свободно обмениваться своими взглядами и реализовать свои потребности. Это приводит к появлению чувства отчуждения или же отвержения обществом. Помощь оказывают им часто неформальные группы ровесников. Анализируя мнение молодежи, подвергшейся опросу, не все выразили свое положительное отношение к субкультурам. Только 40% опрошенных лиц считает явление субкультур положительным.

В качестве потребностей, удовлетворяемых субкультурами, опрашиваемые лица чаще всего перечисляли:

- апробирование (90%)
- понимание (85%)
- существование в группе (75%)
- важность, значимость (45%).

Среди лиц, причастных к субкультурам, - 70% опрошенных считает, что субкультуры помогают им в жизни, способствуют лучшему пониманию самого себя, а следовательно влияют на положительное восприятие собственной личности.

Причастность к субкультурам и их идеологии оказывает влияние на перемену существующих до сих пор обликов их членов. Такой ответ дало 50% опрашиваемых лиц. Участие в жизни субкультур не имеет ничего общего с такими понятиями, как откровенность, добросовестность, справедливость, бескорыстие и ответственность. Таково мнение больше чем половины респондентов (от 50% до 60%). Среди опрашиваемых лиц субкультуры чаще всего ассоциируются с насилием (65%).

Молодёжь не связывает своего будущего с причастностью к субкультурам. Лишь немногие считают, что субкультура поможет им сделать карьеру (25%) или же обзавестись семьёй (15%).

Обобщая результаты исследований, следует констатировать, что несмотря на большой объем общих знаний молодёжи насчёт субкультур, у них низкий уровень знаний о действительных целях и идеологии субкультур (17%).

Причиной причастности к субкультурам не было отождествление себя с их идеологией, потому что просто её не знали. К субкультурам присоединялась молодёжь в возрасте 10-12 лет вследствие того, что не имела полного понимания в проведении выбора. Всё же субкультура имеет очень большое влияние на восприятие самого себя.

Совершенно по-разному выглядит это у молодёжи, причастной субкультуре, и той, которая вне структуры субкультур. Из числа исследуемых респондентов 37% высказалось, что субкультуры — это положительное явление. Субкультура удовлетворяет

их потребности. Молодёжь, проживающая свой жизненный период бунта и низвержения авторитетов, ищет взаимопонимания вне родного дома и вне школы. Именно такое взаимопонимание, апробирование, бытие в группе, значительность, восхищение, безопасность предлагает им субкультура.

Социальная среда оказывает влияние на процесс социализации молодёжи. Отождествление с жизненно важными лицами проявляется в подражании им. Принадлежность к определенной группе становится источником поддержки для личности и помогает формировать чувство собственной ценности. Субкультуры являются пристанищем для тех, кто не умеет правильно функционировать в семейной или школьной среде.

Значительная часть молодежи причастна к субкультуре из-за моды в их общественной среде. Это относится прежде всего к хип-хоперам, происходящим из микрорайонов с блочной застройкой. Данная субкультура за последние годы значительно усилилась. Принадлежит к ней наибольшая группа опрашиваемой молодежи. Молодежь приходит в субкультурные группы несознательно (слишком молодая возрастная группа: 10-12 лет, а даже 8 лет).

Субкультуры с агрессивным оттенком сильно воздействуют на социализацию молодёжи, а следовательно, на формирование ее самосознания.

Функционирование субкультурных молодёжных групп становится предметом заинтересованности исследователей чаще всего тогда, когда результаты деятельности этих групп становятся обременительными для общества, или тогда, когда группа воспринимается как плохое орудие в процессе формирования личности и облика молодёжи. Проблема появляется тогда, когда соблюдение определенных норм, свойственных данной группе, ведет к возникновению агрессивного поведения. Необходимо увеличить усилия всего окружения, ответственного за правильное развитие и воспитание молодого человека, начиная от законодательных органов, включая среду семьи и дома, школы, а заканчивая терапевтическими центрами. Единичные действия не принесут ожидаемого результата. Ни на что не пригодятся профилактические программы, если молодой человек не будет иметь чувства безопасности, социальной принадлежности, ясной картины будущей жизни.

Литература

- ВОЗНЯК, Г., 1988. *Очерк социологии воспитания и общественного поведения*. Кошалин.
ДИДЭР, Й., 2000. *Философский словарь*. Катовице.
ЕНДЖЭВСКИ, М., 1999. Молодёжь и субкультуры. *Проблематика эдукации*. Варшава.
КАБУЛЯ, С.; МАХЭЛЬ, Х., 1999. *Молодёжное подкультуры в школьной и внешкольной среде*. Торунь.
КОЗЕЛЬСКИ, Е., 1981. *Психологическая теория самосознания*. Варшава.
ПЭНЧАК, М., 1992. *Малый словарь молодёжных субкультур*. Варшава.
ПЁТРОВСКИ, П., 2003. Молодёжное субкультуры. *Психологические аспекты*. Варшава.
РЫБЧЫНСКА, Д.; ОЛЬШАК-КЖИЖАНОВСКА, А., 1999. *Аксиология социальной работы*. Избранные вопросы. Катовице.
СОКОЛИК, М., 1992. *Психоанализ и я. Клиническая проблематика чувства тождества*. Варшава.

Grażyna Durka

Pomeranian University, Poland

AFFILIATION TO YOUNG PEOPLE' S SUBCULTURES AS SEARCHING FOR OWN IDENTITY

Summary

The young people's subculture is understood as a state threatening social order. Subcultures are characterised by certain separate features in the scope of respecting certain norms and values. Subculture groups play a vital role in the life of young people who belong to them. Young people whose families do not support them look for understanding in a society, they look for possibilities of self- realization at school.

Shaping the personality and searching for own identity take place in informal groups which are subcultures. On the basis of the research carried out among 160 schoolchildren of secondary schools it can be stated that the young people who were examined possess general knowledge about subcultures. Joining the subculture at the age of 10 - 12 years they did were not fully aware about the choice they made. However belonging to subcultures gives them the feeling of admiration, safety, influences the picture of perceiving themselves. Belonging to the group becomes a source of support for an individual and helps establish the sense of self-esteem.

KEY WORDS: subculture, identity, negative identity, young people, identity, affiliation, socializing

Genovaitė Dručkutė

Vilniaus universitetas

Universiteto g. 5, LT – 01513 Vilnius, Lietuva

e-mail: pranckatedra@flf.vu.lt

KALBINĖS TAPATYBĖS APIBRĖŽTYS: FRANKOFONIJOS ATVEJIS

Frankofonijos diskurse, kuris laikytinas postkolonijinių studijų atmaina, intensyviai keliami santykio su prancūzų kalba problema. Ryškinamos „savos“ ir „svetimos“ kalbos skirtys ir jų raiškos galimybės. Akcentuojamos traukos ir atstūmimo figūros, formuojančios sudėtingą individo tapatybę. Svarstomas kultūrų ir literatūrų dialogas. Teoriniai frankofonijos aspektai analizuojami šiuolaikinio rašytojo Abdourahmano A. Waberi kūryboje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: frankofonija, postkolonializmas, savas, svetimas, tapatybė, dialogas.

Prancūzų geografas Onésime'as Reclus (1837 – 1916), frankofonijos termino kūrėjas, ją apibrėžė kaip grupę teritorijų, kuriose kalbama prancūziškai. Kolonializmo epochoje, 1880 metais, sudarytas terminas šmėkštelėjo ir dingo, tačiau taip ir neišvirtinęs vartosenoje. Frankofonija buvo atgaivinta pirmaisiais XX a. dešimtmečiais kelių jaunų poetų ir rašytojų pastangomis,¹ matyt todėl suvokėjų sąmonėje išvirtino daugiausia kaip literatūros ir, plačiau imant, kultūros reiškiny, lemiantis savitas menines kokybes ir tapatybes. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjusi sparti dekolonizacija frankofonijai davė naują ir stiprų impulsą, tačiau ir vėl – kultūros, literatūros, kalbos studijų srityje. Frankofonijos literatūra, – o naujausiuose tyrinėjimuose vis labiau linkstama sakyti: frankofonijos literatūros, – yra tapatybės diskurso konstravimo ir raiškos vieta.

Kas yra frankofonija?

Šiuolaikinis iš Džibučio kilęs ir prancūziškai rašantis poetas, prozininkas Abdourahmanas A. Waberi (g. 1965 m.) yra pasakęs, kad jo ir kitų Afrikos šalių literatūra labai jauna, sutampanti su jos kūrėjų amžiumi.² Šie žodžiai patvirtina bene labiausiai matomą frankofonijos savybę – jos įvairovę. Pastarųjų metų frankofonijos diskurse vis labiau nusistovi dvi kryptys, kurioms būdingą retoriką toliau glaustai apibūdinsime.

Viena kryptis – Europos šalių, tokių kaip Šveicarija ar Belgija, frankofonija, joms prancūzų kalba yra gimtoji, atsiradusi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Prancūzijoje. Šių šalių literatūra turi ilgą ir turtingą tradiciją, yra integrali Europos literatūros dalis. Vis dėlto prancūzakalbių Belgijos ir Šveicarijos literatūrų santykis su Prancūzija ir jos literatūra nėra toks sklandus, kokio galima tikėtis: juk prancūzų kalba turėtų būti vienijantis, o ne skiriantis veiksnys. Tuo tarpu belgų ir šveicarų kritikai, patys rašytojai kalba apie nutolimą nuo centro, apie periferijos jauseną ir mentalitetą; jų diskurse centru laikoma, be abejo, Prancūzija ir jos literatūra. Tarp belgų ir šveicarų vyrauja įsitikinimas, kad jų praeities ir dabarties literatūros refleksija neįmanoma be nuolatinių nuorodų į prancūzų literatūrą – dėl daugeliu atvejų bendros istorijos ir bendros kalbos. Šis faktas paaiškintų, kodėl tik XX a. pabaigoje pradėtos leisti išsamios,

¹ Frankofonijos judėjimo pradininkai yra talentingas poetas, pirmasis Senegalos respublikos prezidentas Léopoldas Sédaras Senghoras (1906 – 2000) ir iš Martinikos ir Gvjanos salų kilęs Aimé Césaire'as (1913-2008) ir Léonas – Gontranas Damas (1912 – 1978). Būtent jie įteisino ir *négritude* (negriškumo) sąvoką kaip labiau tinkamą apibūdinti juodosios rasės rašytojų tapatybę.

² Paskaita Vilniaus universiteto prancūzų filologijos studentams 2004 m. spalio 25 dieną.

nacionalinę tapatybę atspindinčios literatūros istorijos (Šveicarijoje – tik 1996 metais, jau yra išleisti visi keturi puikiai parengti tomai). Pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje išėjusiose Šveicarijos istorijose jos literatūra daugiausia traktuojama kaip prancūzų literatūros subproduktas.

Taigi belgų ir šveicarų literatūros dilema: būti tarp „užsisklendimo kitoniškume“ (*l'exclusion dans l'altérité*) ir „tapatumo su dominuojančiu modeliu“ (*l'identification au modèle dominant*). Jų tapatybės paieškos yra nuolatinis svyravimas nuo „produktyvaus atotrūkio“ (*un décalage fécond*) prie prancūziško konformizmo, kai atsisakoma savitumo dėl pripažinimo Paryžiuje teikiamų pranašumų. Šiuo požiūriu belgų ir šveicarų rašytojai yra daugiau ar mažiau suskilę į dvi stovyklas: griežto ir paslankaus atskirumo. Pirmosios pozicijos šalininkai tiki nacionalinių, kultūrinių, literatūrinių savitumų egzistavimu ir yra linkę atsiriboti nuo prancūzų literatūros. Antrojo požiūrio reiškėjai, neneigdami savo nacionalumo, norėtų, kad būtų laikomi tiesiog rašytojais, ir prancūzų kalba jiems būtų ne uždarumo, o atvirumo – Europai, pasauliui – prielaida.

Klausimas „ar yra belgų, ar yra šveicarų literatūra?“ ilgą laiką buvo įdomus tik patiems tų šalių rašytojams. Ir teigiamas, ir neigiamas atsakymas visuomet suponuoja mažumos logiką, kuria pakraščio ar paribio situacija. Tačiau pastarųjų metų frankofonijos diskurse pabrėžiama, kad buvimas paribyje gali būti ne tik traumuojantis, bet ir produktyvus. Šveicarų literatūros tyrinėtojas Adrienas Pasquali atkreipia dėmesį į jo šalies kultūrinėje ir literatūrinėje aplinkoje vis labiau išivyraujantį manymą, jog literatūros egzistavimą patvirtina atskiri rašytojai ir kūriniai, turintys neginčijamą meninio reiškimo vertę (Pasquali 1995, p. 13). Siūloma ir gana radikali išeitis – pertraukti užburta ratą. Kas tai būtų? Tai vienašališkas belgų, šveicarų rašytojų veiksmas, atribojantis nuo mažumos logiką palaikančių institucijų – Prancūzijos ir Paryžiaus literatūrinio spaudimo (garsios leidyklos, plati rinka, literatūrinės premijos). Belgų ir šveicarų kūrėjai turi jaustis „normaliais“ rašytojais bei siekti, kad literatūrinio pripažinimo teisė iš Prancūzijos pereitų į frankofonijos lauką. Frankofonijos aktualumas, ypač literatūros ateities perspektyvoje, buvo aptartas 1992 m. Suomijoje surengtame seminare. Jame akcentuojama, kad frankofonija turi pakankamai galių sudaryti sąlygas įvairiai, laisvai, kūrybingai raiškai. Kiekviena literatūrinė bendruomenė joje turėtų atrasti sau tinkamą, palankią publiką, ir tada sąvokos „belgų literatūra“, „šveicarų literatūra“ nebebus diskriminacinės.

Kita kryptis – buvusių Prancūzijos kolonijų, tarp jų – ir Džibučio, kurių nepriklausomybė labai nesena, frankofonija. Teoriniuose ir kritiniuose straipsniuose keliama šiems šalims būdinga kalbos pasirinkimo problema ir analizuojamas rašytojų santykis su prancūzų kalba. Šis santykis sudėtingas ir nevienareikšmis. Viena vertus, prancūzų kalba turi kolonizatoriaus kalbos statusą: yra atneštinė, prievartinė, svetima kalba. Antra vertus, dekolonizacijos sąlygomis iškilusioms literatūroms prancūzų kalba sudarė galimybes pasklisti po pasaulį, tapti žinomomis. Nauja geopolitinė situacija paskatino skaitytojų dėmesį. Frankofonijos diskurse yra ryškunami šioje situacijoje slypintys prieštaravimai.

Pirmiausia, tai užsisklendimo vienoje tematikoje ir problematikoje pavojus. Naują „žinią“ Vakarų skaitytojams skelbiantys kūriniai neretai suvokiami kaip liudijimai, kaip dokumentai. Frankofonijos rašytojai jaučia pareigą atstovauti savo šalių praeičiai, tradicijoms, žodinei kultūrai. Jų kūryba – patirtos istorinės traumos fiksavimas. „Beveik visų Afrikos rašytojų kūrybos pagrindas – skaudi aukos patirtis“, – sako A. A. Waberi.³ Vis dėlto buvusių kolonijų jaunesnės kartos rašytojai vengia siauros tautinės apibrėžties. Jie nebeišsitenka vienos priklausomybės rėmuose ir savo kūryboje mezga dviejų tautų, dviejų kultūrų dialogą, tuo pačiu įsiliedami į bendrąsias literatūros raidos tendencijas.

³ Pokalbis su rašytoju: *Literatūra ir menas*. 2004.11.02.,2.

Kitas prieštaravimas – kalbinis. Frankofonijos rašytojai atsiduria kalbos pasirinkimo situacijoje: ar rašyti gimtąja kalba, dažnai neturinčia ne tik literatūros, bet ir rašto tradicijos, ar rašyti prancūziškai, šitokiu būdu visam pasauliui apreiškiant savo kitoniškumą, padarant jį matomą ir prieinamą. Prancūziškai kuriamas buvusių kolonijų diskursas rašytojams užtikrina kritinę distanciją savos ir svetimos kultūros, kuri nepažįsta jų tapatybės, ją iškreipia arba neigia, atžvilgiu. Interviu *Literatūrai ir menui* Waberi yra pasakęs:

„Yra nemaža afrikiečių rašytojų, rašančių kitomis kalbomis. (...) Jie tiek vienoje, tiek kitoje šalyje galėjo (turėjo) jaustis autsideriais, pašaliečiais. Dėl to ir kyla tas klausimas, kam atstovauji. Panaši visų egzodo rašytojų patirtis labai ryškiai atspindėta literatūroje. Taip pat ir Afrikos.“

Tarpkultūrinė situacija rašytojus ir poetus paverčia dviejų pasaulių tarpininkais, „žinios“ skelbėjais ir vienai, ir kitai pusei. Postkolonializmo teorija kaip tik ir akcentuoja dviejų kultūrų – dominuojančios ir nustelbtosios – santykį. Prancūzų kalbos vartojimas užtikrina tarpkultūrinį dialogą, vietinės ir svetimos kultūros abipusį poveikį. Tapatybės problema yra postkolonijinio diskurso centre. Frankofonijos rašytojų tapatybė pasižymi nestabilumu ir paslankumu. Ryškėja didesnis ar mažesnis prieštaravimas tarp atstovavimo pareigos ir saviraiškos poreikio. „Jaučiu poreikį atspindėti savo šalį kūryboje. Noriu, kad ji būtų reflektuojama. Be to, kartu tai būdas ir pačiam atsiskleisti,“ – sako Waberi (*Literatūra ir menas*). Teoriniame diskurse pabrėžiama mintis, kad literatūra yra, ko gero, palankiausia vieta steigti, išreikšti, įtvirtinti skirtumą.

Tapatybės raiška Waberi kūryboje

Remdamiesi Waberi kūryba, pažvelkime, kaip yra sprendžiama tapatybės problema.

Daugelio kūrinų – novelių, esė, eilėraščių – veikėjas yra klajoklis. Būdingas poezijos rinkinio pavadinimas: *Les nomades, mes frères, vont boire à la Grande Ourse (Mano broliai klajokliai eina semtis vandens iš Didžiųjų Grijūlo ratų)*. Nomado figūros charakteristika – tai nuolatinės gyvenimo vietos neturėjimas, nesibaigiančios klajonės, judėjimas, retkarčiais sugrįžtant į gimtuosius kraštus. Eilėraščiuose ši figūra apibūdinama kaip „*voyageur heureux*,“ („laimingas keleivis“), „*nomade enfant*“ („vaikas klajoklis“), „*enfants (...) dispersés, désormais, aux quatre coins du vaste monde*“ („vaikai, (...) seniai pasklidę po keturias pasaulio šalis“), „*jeune homme (...) désorienté*“ („jaunuolis, (...) praradęs kryptį“), kaip „*d'autres (...) se dépoussièrent, se lèvent et marchent droit, vers l'ouest, cap sur des mirages*“ („kiti (...) nusipurto dulkes, pakyla ir žengia pirmyn, į vakarus, miražų kryptimi“). Klajonių atmosferą, nomado būseną kuria gausi kelionės, vietos pakeitimo leksika ir įvardžiai.

Novelėje *Sumišęs garsas (Son-mêlé)* iš knygos *Šalis be šešėlio (Le Pays sans ombre)* sakoma:

„*Nous sommes des funambules sur le fil de l'Ailleurs, nos rêves s'orientent au lointain. Nous avons l'ouïe fine du lycaon. Et des mots magiques résonnent comme des antiennes dans nos oreilles : CANADA – ÉTATS – UNIS – AUSTRALIE – AMÉRIQUE – EUROPE – HOLLANDE – SUISSE – SCANDINAVIE – USA. Ces refrains, tout échos, nous tiennent en vie*“ (Waberi, 1994, p. 127).

(„Mes vaikštome To, Kas yra kitur, lynu, mūsų svajonės krypsta tolyn. Mūsų klausia aštri kaip vilko. Ir magiški žodžiai vienodai skamba ausyse: „KANADA – JUNG TINĖS – VALSTIJOS – AUSTRALIJA – AMERIKA – EUROPA – OLANDIJA – ŠVEICARIJA – SKANDINAVIJA – JAV. Šie priedainiai, tarsi aidas, palaiko mūsų gyvybę“).

Nomadiškumas yra poreikis, jo būseną suvokiama kaip normali, nekonfliktinė. Erdvės ir laiko nuotolis turi teigiamą konotaciją. Eilėraščio *Tremties eleksyras (L'éllixir de l'exil)* subjektas vyksta „į Kartaginą, kad geriau suprastų Džibutį“ („*C'est aller à Carthage pour mieux comprendre Djibouti*“). Tokiu būdu nomado figūra yra pilnutinai savo tapatybę išgyvenantis subjektas, nomadiškumas pasižymi kuriamąja jėga. Poetinis šios figūros portretas randamas trumpų eilėraščių proza cikle *8 veidai (8 visages)*:

„*Il ne paraît pas perdu dans le temps, il s'entête à nous sourire. Il est beau, il est noir et jeune. Il tient à croquer, à pleine bouche, igname de la vie*” (Waberi 2000, p. 56).

(„Jis neatrodo pasiklydęs laike, jis mums plačiai šypsosi. Jis gražus, jis stiprus, jis jaunas juodaodis. Jis pasiryžęs pilna burna kramtyti gyvybės augalą“.)

Anafora – įvardžio „jis“ pakartojimas – pabrėžia veržlumą, optimizmą. Išnašoje puslapio apačioje paaiškinama, kad „gyvybės augalas“ („*igname*“) yra tropinis daugiametis vijoklinis augalas, kurio miltingi šakniagumbiai Afrikoje yra naudojami maistui. Subjekto gimtines specifiką atspindinti detalė, kaip ir eilėraščių knygos pavadinime figūruojantys „Didieji Grįžulo ratai“ („*La Grande Ourse*“), tampa sugrįžimo, kartotės ir vienu iš tapatybės kūrimo simbolių.

Svarbu pažymėti, kad geografinės subjekto klajonės išreiškia tik dalį jo tapatybės. Ko gero, reikšmingesnės yra klajonės kalbinėmis, literatūrinėmis, kultūrinėmis erdvėmis. Nomado figūrai būdingas heterolingvizmas, kurį itin akcentuoja frankofonijos teorija ir praktika. Heterolingvizmas nurodo svetimų kalbų žodžių, posakių vartojimą literatūriniame tekste. Waberi subjektas yra apsuptas sudėtingos kalbinės aplinkos: be vietinių kalbų (arabų, afarų, somalių) vartojama prancūzų kalba, kurią paliko buvę kolonizatoriai. Jos mokomasi mokykloje, universitete. Prancūzų kalba atstovauja svetimai civilizacijai su jos literatūra, kultūra, gyvenimo būdu. Eilėraščių ir novelių subjektas ir rašo, ir mąsto prancūziškai. Gimtoji, t.y. „motinos“, kalba įgauna praradimo, prisiminimo, ilgesio konotacijas. Eilėraščio *Ouabaïne* subjektas pareiškia:

„*j'ouvre le dictionnaire
et je lis : „n. f. (1897; du somali ouabaïo).
Méd. L'un des glucosides cardiotonique (...).
Voilà la seule contribution détectable du
Somali au français*”) (Waberi 2000, p. 19).

(„Aš atverčiu žodyną
ir skaitau: „mot.g.(1897, iš somalių k. ouabaïo) –
Med. Gliukozidas kardiotonikas ...(...)
Tai vienintelis pastebėtas
somalių kalbos indėlis į prancūzų kalbą“.)

Akivaizdu, kad lyrinis subjektas vartė akademinį prancūzų kalbos žodyną. Žymus frankofonijos tyrinėtojas Dominique'as Woltonas teigia, kad akademinė prancūzų kalba pasižymi tam tikru konservatyvumu, sunkiai įsileidžia naujoves. Anot jo, turėtų būti priešingai: „atsiverti kitokiems būdams kalbėti prancūziškai. Priimti visokius būdus, visokius išradimus, visokius keistumus, kurie daro kalbą ne saugykla, bet utopija ir gyvybės erdvė“(Wolton 2006, p. 71). Ar čia esama kokio nors Waberi subjekto indėlio? Be abejo, taip. Viename trumpame eilėraštyje sakoma:

„*l'ouvre-œil (*) qui tait sa douleur*

*pousse plus loin comme le chacal
l'horizon à cueillir
l'ouvre-œil déroule d'un même élan
le parchemin du jour et les entrailles de la nuit*“ (Waberi 2000, p. 26).

(„atsimerkianti akis, kuri tyli savo skausmą,
nustumia tolyn tarsi šakalas
priartėjusį horizontą
atsimerkianti akis išvynioja vienu ypu
pergamentą dienos ir vidurius nakties ”.)
Žodžiai „atsimerkianti akis“ (*l'ouvre-œil*) paaiškinami puslapio apačioje:

P. S. cet ouvre-œil qui porte en filigrane sa racine souterraine dérobée à la langue somalie, ça pourrait être l'aube, sœur de l'horizon” (Waberi 2000, p. 28).

(„P. S. toji atsimerkianti akis slepia nematomą šaknį, nugvelbtą iš somalių kalbos, tai galėtų reikšti aušrą, horizonto seserį.”)

Taigi „atsimerkianti akis”, kurią skaitytojas suvokia kaip metaforą, iš tiesų yra somalių kalbos žodžio „aušra” pažodinis vertimas.

Waberi kūrybos subjekto geografinės, kalbinės klajonės sukuria paradoksalią situaciją, kai opozicija „savas – svetimas“ apverčiama aukštyn kojomis. Novelėje *Kasdienybės atrajotojai* (*Les Brouteurs du quotidien*) tarnaitė Mariama bara protagonistą – knygoje paskendusį paauglį:

„Toujours en train de lire. (...) Ton goût pour les ailleurs lointains te perdra avec le temps,“ – menaça Mariam qui semblait ne plus prêter attention à mes explications (Waberi 2002, p. 120).

(„Skaitai visą laiką. (...) Tas tolimų kraštų pomėgis vieną dieną tave pražudys,“ – pagrasino Mariama, kuri, atrodo, nebekreipė dėmesio į mano paaiškinimus“).

Novelės veikėjas konstatuoja, kad Mariamai jis yra „nesantis, žmogus – knygų graužikas“ (*pour Mariam je ne suis qu'un être absent, un homme – rongeur de livres*). Veikėjo aplinkos žmonės jo gaili arba vengia su juo bendrauti. Aplinka įkūnija pastovumą, ištikimybę tradicijoms, pasipriešinimą svetimai įtakai, kuri ateina per raštą, per knygas. Nuo savo aplinkos atitrūkusiam novelės protagonistui tikraisiais namais tampa kolonizatorių palikimas – atnešta literatūrinė ir kultūrinė aplinka.

Išvados

Waberi subjektas gyvena vaizduotės ir kūrybos gyvenimą, keliauja kartu su „žodžių karavanu“ (*„un caravane de mots”*). Kūryboje jis derina žodinę savo tautos tradiciją ir atneštinę, bet jam tapusią ne mažiau svarbia – rašto kultūrą. Patirta trauma neutralizuojama, ištirpinama kultūros ženkluose ir reiškiniuose. Waberi subjektas yra frankofonas, t.y. prancūziškai mąstantis, kalbantis, rašantis. Novelių ir eilėraščių subjektas savo ir visą pasaulį įvardija, įvaizdina svetimos kalbos, kuri jam tapo sava, žodžiais. Jis gyvena „amžinu Žodžio kartojimu“ (*„l'éternelle répétition du Mot”*), jo tikslas – sugauti „klajojančius žodžius“ (*„les mots errants”*), sulaikyti „eiles nomades“ (*„poèmes nomades”*). Waberi subjekto tapatybė skleidžiasi kalbos ir rašymo srityje, o jo gimtoji šalis – tai „baltas puslapis“ (*„prendre pour pays-à-soi la page blanche”*). Šis subjektas yra išsilavinęs, kultūringas, aktyvus literatūros ir kultūros procesų

dalyvis. Jis yra dialogo žmogus, ir jo kūrybos dėka skirtingos kultūros gali bendrauti, papildyti viena kitą, gyventi kartu.

Literatūra

- BENIAMINO, M., 1999. *La Francophonie littéraire*. Paris: l'Harmattan.
COMBE, D., 1995. *Poétiques francophones*. Paris: Hachette.
DEFAYS, J. M., 1992 La francophonie encore et toujours en question. *In: Bulletin francophone de Finlande*. Numéro 4. Spécial suisse. Université de Jyväskylä, Finlande.
Littératures postcoloniales et francophonie. 2001. Paris: Honoré Champion Éditeur.
MOURA, J., 2005. *Littératures francophones et théorie postcoloniale*. Paris: PUF.
PASQUALI, A., 1995. Territoires et lieux de parole. *In: Europe. Revue littéraire mensuelle. Littérature suisse*. Paris, mai 1995.
WABERI, A. A., 2002. *Le pays sans ombre*. Paris: Le Serpent à Plumes.
WABERI, A. A., 2000. Les nomades, mes frères, vont boire à la Grande Ourse. Sarreguemines, Éditions Pierron.
WOLTON, D., 2006. *Demain la Francophonie*. Paris: Flammarion.

Genovaitė Dručkutė

Vilnius University, Lithuania

THE BOUNDARIES OF LINGUISTIC IDENTITY: FRANCOPHONY, A CASE IN POINT

Summary

Francophone discourse raises the problem of language choice which is central for writers from former colonies. It considers the relationship between the French language and the mother tongue, and looks into the conflicts that are likely to occur in a choice situation. It also discusses the problems of identity and cultural dialogue, attention is given to the instability and flexibility typical of the identity of francophone writers. These complex problems are addressed in the oeuvre of contemporary Djibutian writer Abdourahman A. Waberi. In the centre of his short stories, essays, and poems, appears the figure of the Nomad who “lives” in the situation of continual geographical, cultural, and linguistic roaming. It is concluded that the identity of the figure of the Nomad fully reveals itself in the locale of language and writing, whereas creation is his true homeland.

KEY WORDS: francophone, colonialism, one's people, strangers, identity, dialogue.

Мария Федурко

*Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко
ул. Ивана Франко 24, 82100 Дрогобыч, Львовская обл., Украина
e-mail: fillgalja@rambler.ru*

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена проблеме обогащения (неологизации) словарного состава украинского языка путем включения в деривационные процессы заимствованных морфем – корневых и аффиксальных. На материале новообразований – узуальных и потенциальных – утверждается, что современная словообразовательная система активно использует возможности как устоявшихся в языке словообразовательных типов, так и тех, что пребывали на ее периферии. Это позволяет надлежащим образом представить и динамику мира, в котором обитает украинский этнос, и динамику его культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заимствованные корни, заимствованные аффиксальные морфемы, производящее и производное слово, тенденции национализации и интернационализации, процесс неологизации словаря, взаимосвязь языка и культуры, концепт, концептуальное сознание.

Достоянием лингвистики конца XX – начала XXI века следует признать обоснование связей и взаимозависимостей между развитием культуры народа и его языка. Сравнение конкретной национальной культуры и конкретного национального языка не только «...обнаруживает некий изоморфизм их структур в функциональном и внутрииерархическом плане» (Толстой 1995, с. 16), оно убеждает также в том, «что язык нации является сам по себе сжатым, алгебраическим выражением всей ее культуры» (Лихачев 1993, с. 7). Язык в богатстве своих форм и значений содержит ключи к тайнам мыслительного универсума определенной культуры, к познанию способа мышления народа, особенностей менталитета его носителей.

Поскольку мир, в котором живет человек как представитель определенной культуры, изменчив, таковой оказывается и система его знаний и представлений о мире, причем с тенденцией в сторону ее обогащения и расширения. Установлено, что развитие концептуального сознания этноса происходит различными способами: путем замены одних лексических концептов¹ другими, путем расширения существующих лексических концептов, путем создания новых и исчезновения старых (Комрагася 2003; Стишов 2003; Струганец 2002). Последнее оказывает существенное влияние на систему производных слов языка и на ее динамику. Аккумулируя определенные пласты языкового знания, новые производные единицы словаря служат «ключом» к интерпретации современных реалий и к пониманию специфики их восприятия представителями определенной лингвоэтнокультурной среды. В этой связи неопровержимым следует признать тезис украинской исследовательницы проблемы этнических особенностей языковых картин мира: «в любом языке словообразовательное маркирование распространяется лишь на биологически, социально или культурно релевантные для этноса феномены, что позволяет постулировать у словообразовательного акта мощную культурогенную функцию» (Голубовская 2002, с. 47).

¹ Концепт понимаем как единицу мышления и памяти, возникшую в результате длительного и сложного процесса и имеющую определенное языковое выражение; единицу, которой свойственны процессы спецификации, обобщения, абстрагирования и модификации; она сложноструктурирована, динамична, наполнена культурным содержанием и обладает множеством функций, прежде всего познавательной, а также ориентирования в мире и сохранения знаний о нем

Результаты сопоставительных студий (Комрагасја 2003, с. 47) явствуют, что в числе тенденций, определяющих развитие деривационных систем современных славянских (и не только славянских) языков, ведущая роль принадлежит двум противоборствующим тенденциям – национализации (автохтонизации) и интернационализации.

Сущность первой заключается:

- в отказе от словообразовательных синонимов и укреплении номинаций, образованных по исконным деривационным моделям;

- в возвращении в активный словарь определенных слоев лексики (в том числе и производной), связанной с традициями национальной самобытности, национальной духовной жизни.

Тенденция интернационализации проявляется:

- во включении интернационализмов (т.е. функционирующих минимум в 3 разноструктурных языках лексических единиц, близких по содержанию и выражению) в основной словарный состав и использовании их в качестве новых производящих, образующих целые словообразовательные ряды и гнезда;

- в активизации интернациональных аффиксов при образовании производных не только от основ с заимствованными корнями, но и с исходными;

- в функциональном превращении заимствованных элементов, приобретающих статус префиксов / префиксоидов или суффиксов / суффиксоидов;

- в возрастающей роли словосложения;

- в возникновении новых словообразовательных образцов.

Цель настоящего исследования – проследить, включаются ли и насколько активно используются заимствованные элементы в деривационных процессах современного украинского языка. Иначе говоря, мы попытаемся установить, как проявляет себя тенденция интернационализации в процессах неологизации современного украинского словаря. Источником фактологического материала послужили словари Анатолия Нелюбы и Сергея Нелюбы «Лексико-словотвірні інновації» (Харьков 2004; 2007), Д. В. Мазурек «Нове в українській лексиці» (Львов 2002), Г. М. Виняр и Л. Р. Шпачук «Словник новотворів української мови кінця ХХ століття» (Кривой Рог 2002, вып.2), Ж. В. Колоиз «Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів», Л. Ставицкой «Короткий словник жаргонної лексики української мови» (Киев 2003), а также примеры из картотеки автора. Анализ фактологического материала позволяет утверждать, что заимствованные лексемы, прежде всего лексемы-интернационализмы – это фактически единственный продуктивный способ пополнения количества непродуцированных слов в украинском (как, впрочем, и в любом другом) языке. Основная стилистическая характеристика этих единиц – принадлежность к книжной лексике, так как в подавляющем большинстве своем они составляют основу отдельных терминосистем национальной науки и национального языка. Включение таких лексических элементов в деривационные процедуры подтверждает их принадлежность к знаковым словам эпохи (Е. А. Земская), именуемым не только позитивные в общественном смысле явления (ср. бомж – бомжиха, бомженя, бомжатня, бомжизация, бомжувати). Оно свидетельствует также о высокой степени освоения таких заимствований системой украинского языка.

В кругу зафиксированных лексем представлены единицы разных частей речи (имена существительные, прилагательные, глаголы), но доминируют все же существительные. По формальному признаку они подразделяются на две группы: а) те, что внешне напоминают исконные единицы словаря, т.е. имеют основу на согласный (децима, карбункул, анги́на, міто́з; матч, раунд, рекорд; байт, комп'ютер, сканер; бартер, холдинг, моніторинг; піар; сульфід, сибарит, капрон); б) те, что внешне отличаются от исконных, т.е. имеют нетипичную, оканчивающуюся на гласный основу (кіно, відео, лобі, євро).

Среди производящих первой группы – одно- и многосложные слова; среди производящих второй группы – как правило, двух- и более сложные. Большинство из многосложных существительных «а)-группы» – это формально членимые («с мнимой членимостью») единицы, выделяющие в своем составе сегменты *op*, *ep*, *ip*, *im(um)*, *oz*, *on*, *id(ud)* и др. Их формальная членимость подтверждена такими словообразовательными парами, как *проект-ува-ти* – *проект-op*, *бокс* – *бокс-ep*, *Україна* – *україн-id* (термін – неологизм), *Кришна* – *кришнаj-it*, где сегменты *op*, *ep*, *id*, *im* – деривационные суффиксы.

Субстантивы «б)-группы» – это в основном двух- или трехсложные структуры: *лобі*, *євро*, *сопрано*. Формы с четырьмя-шестьюсложными основами (*Колорадо*, *імпресаріо*, *Макіавеллі*, *малаялі*, *апасіонато*, *серіозо*, *інкогніто*), как и с односложными (*бра*, *су*) в качестве производящих основ используются значительно реже. Преобладающее большинство из отмеченных слов – это формы с финальным *o*, характеризующиеся отнесенностью к разным лексико-семантическим разрядам, ср.: *лібрето*, *бельканто*, *соло*, *депо*, *кіно*, *інкасо*, *манко*, *ранчо*. Они заимствованы в основном из итальянского, испанского и французского языков. Характер конечной гласной фонемы задает язык-донор: см., к примеру: *ресконтро* ‘вспомогательная бухгалтерская книга’ (от итал. *riscontro* ‘встреча, проверка’); *регбі* ‘спортивная игра’ (от англ. *rugby*); *айс-ревю* ‘балет на льду’ (от англ. *ice revue*). Фонемы *le/*, *li/* менее частотны, хотя достаточно регулярны. Среди них отмечены единицы французского происхождения: *шосе*, *піке*, *муліне*, *протезе*, *досьє* и английского: *денді*, *рефері*, *віскі*.

В числе важных признаков анализируемых существительных обеих групп следует назвать еще гитаус – сочетание гласных фонем в составе заимствованных корней (основ): *нокаут*, *біота*, *неон*, *діаграма*, *алоє*, *неофіт*, *шлагбаум*.

Те из заимствованных слов, которые называют значимые для общественного сознания понятия, активно включаются в словообразовательные процессы, образуя парадигмы, ряды и гнезда. Это убедительно демонстрирует лексема *піар*, которая не так давно вошла в украинский язык, но стала активно употребляемой, и не только в книжных стилях речи: *піар* – *піарник*, *піарицик*; *піаристика*; *піарівський*, *піарний*; *піарити* – *попіарити*, *піаритися*; *піаризувати* – *піаризація*.

В большинстве же своем словообразовательные гнезда заимствованных существительных, и прежде всего с основой на гласный – это мини-структуры, которые на 1-ой ступени словообразования обычно насчитывают один-два деривата: *желе* – *желейний*, *желеподібний*; *депо* – *деповець*, *деповський*; *бюро* – *бюрко*. Если на 1-ой ступени гнезда представлены существительные мужского рода, обозначающие ‘лицо мужского пола по месту жительства или роду занятий’, ‘названия философских систем, направлений, течений’, а также прилагательные и глаголы, то в нем возможны производные второй и последующих ступеней: *інтерв'ю* – *інтерв'ювати* – *інтерв'ювання*; *інкасо* – *інкасувати* – *інкасатор*, *інкасація*, *інкасування*, *інкасований*; *лобі* – *лобізм* – *лобіст* – *лобістський*; *Малі* – *малієць* – *малійка*; *соло* – *сольний* – *сольник* ‘сольный альбом группы или отдельного исполнителя’.

Существительные второй группы, т.е с основой на гласный, более последовательно демонстрируют тенденцию к превращению в аффиксальные элементы (префиксы/префиксоиды, суффиксы/суффиксоиды), что также является важной приметой интернационализации словаря. Проиллюстрируем сказанное фрагментом из газетного интервью, в котором статус префиксоидов приобрели иноязычные лексемы *відео*, *кіно*:

Із 20 грудня до 24 січня у Львові проходить перший міжнародний фестиваль відеоарту «КіноЛевчик». Ініціатор фестивалю – Музей ідей. Ще в рамках кінофестивалю «КіноЛев» демонстрували роботи в жанрі відеоарту. Себто не звичайні ігрові чи документальні фільми, а асоціативне мистецтво, реалізоване засобами відеозображення. Цей мистецький напрям відомий у світі ще з 1960-х років. Але через

ряд причин, передусім ідеологічних, в Україні він не мав розвитку. Тому, власне, й виникла ідея, якщо можна так сказати, публічно легалізувати цей напрям у нас.

– Звідки чекаєте учасників і чи будуть якісь номінації у програмі?

– Є підстави сподіватися, що будуть українські учасники та гості з-за кордону. Саме нині триває робота над формуванням програми. А щодо номінацій, то вони будуть такі: експериментальні роботи, концептуальні, перформенс, музичне відео, відеопоезія, анімація (Тетяна Шевченко). – Газ. «Експрес». 2007 – 29.11– 6.12, с. 6.

Существенно, что превращение в словообразовательные аффиксы демонстрирует те лексические заимствования, которые находятся в фокусе общественного внимания, что подтверждает справедливость приведенного выше тезиса И. А. Голубовской. С их помощью активно образуются новые производные, причем в массовом порядке. К этому типу морфем следует отнести, кроме кино и видео, также брейк-, веб-, панк-, диско-, евро-, ретро-, шоу-, авто-, микро-, пресс-, радио-, теле-, -манія, -гейт, -арбайтер, -трон (брейк-данс, брейк-фестиваль; веб-сторінка, веб-стиль; панк-група, панк-культура, панк-мода, панк-музыка; диско-ансамбль, диско-бар, диско-група; евроінтеграція, євроремонт, євровікна, євротур, євротурист, європосада, європані, євробум; телеманія, україноманія, оцінкоманія, Барвінкоманія, Юхимгейт, майданарбайтер (телепрограмма «Вікна» от 25.09.2007), лохотрон и т. п). Ср. в тексте: А з тим, аби в сих історичних сутеринах, реанімованих євроремонт, запахло дурманним арматом, – який перебиває усі найгостріші аромати в світі, – запахло ... грошима... великими грішми! (Л. Різник); З дурнями яось вирішується само собою, можна провести ще один лохотрон (Газ. «Експрес», 2008 – 31.1 – 7.02, с. 5).

Наряду со словообразовательной активностью иноязычных корней активность проявляют также иноязычные аффиксы, прежде всего те, что использовались украинским словообразованием в продолжение всего XX столетия: суффиксы -ист/ -іст, -изм/ -ізм, -ант, -ад(а), -іад(а), -іан(а); префиксы экс-, анти-, де-, інтер-, квазі-, пост-, прото-, псевдо-, супер-. Например: актімель – актімеліст, олігарх – олігархізм, коаліція – коаліціант, спікер – спікеріада, бомба – бомбіст (А коли це не танки, а мляві постанови..., коли державний прапор з Верховної Ради полізе зривати не ворожий десантник, а міліціонер Печерського РУВС, скільки тоді знайдеться бомбістів і повстанців (ПіК, 5.03., с. 24); діалог – квазідіалог, комуніст – посткомуніст. В словообразовательных гнездах с вершиной-заимствованным словом взаимодействие с иноязычными аффиксами возможно не только на I ступени словообразования, ср.: табу – табувати – табуваний – детабуваний.

Основы заимствованных слов часто сочетаются не только с иноязычными, но и с исконными суффиксами (-ник, -івник, -чук, -ик, -ок, -ськ/-івськ-, -ува-, -и-: бюджет – бюджетник, офшор – офшорник, раллі – раллійник, лампаси – лампасник, периферія – периферійник, лідер – лідерчук, офіцер – офіцерик, клон – клончик, ордер – ордерок, опель – опельок, віза – візувати, моніторинг – моніторити) и префиксами (нід-, не-: диктатор – ніддиктатор, читабельний – нечитабельний), подобно тому как иноязычные аффиксальные элементы – с исконными субстантивными, адъективными и глагольными основами: Кучма – кучмізм, Кацаб – кацабізм, кучка – кучкіст, «Наша Україна» – нашіст, «Пора» – порист, вертеп – вертепіана, похнюплений – похнюпленізм, підписати – підписант, не підписати – непідписант (Я впевнений, що Віктор Ющенко говорив із «непідписантами», але чому вони займають таку позицію – мене це дивує. – «Експрес». 2007 – 29.11 – 6.12, с. 4); людина – постлюдина, витоки – протовитоки, країна – псевдокраїна, «Динамо» – суперДинамо, обкладинка – суперобкладинка.

Следует особо отметить, что активность префиксального способа словообразования в системе словопроизводства прилагательных и глаголов (казуїстичний – квазіказуїстичний, конструктивістський – деконструктивістський, совковий –

постсовковий, помаранчевий – постпомаранчевий, постбідняцький, атеїстичний – постатеїстичний, ахманівський – постахманівський, табувати – детабувати, інформувати – дезінформувати) – явлення устоявшеся и традиционное, а вот его активизация в системе десубстантивного словообразования – примечательная черта нового времени. В исследованном материале зафіксовано также явление повышения статуса аффиксальных морфем, когда они употребляются в функции самостоятельной лексической единицы – в разговорной (*супер – суперовий – суперово; поп-музика – попса – попсовик, опоніти*) или в поэтической речи (*Всіляким «ізмам» і всіляким «адам» ладен курити фіміамський ладан – Л. Костенко*).

Важной чертой современности стало широкое вовлечение женщины в разные сферы общественной жизни, что на уровне словообразования стимулирует возникновение имен существительных – наименований женщин по роду деятельности: *філолог – філологиня, лікар-епідеміолог – лікар- епідеміологиня, депутат – депутатка, ескулап – ескулапиха*.

Как следует из примеров, многие из дериватов, образованных путем симбиоза иноязычных аффиксов и исконных основ, очень часто получают сниженную стилистическую окраску. То же наблюдается вследствие присоединения стилистически маркированных суффиксов к иноязычным основам: *мерседес – мерсюга, Париж – парижня, папір – парпирня, меседж – месага, банальний – баналюк*, а также при образовании дериватов путём нульсуффиксации: *наркотик – наркота, неформальний – неформал, конструктивний – конструктив, шампанське – шампано, мерседес – мерс (А Петро, сердега, сіпнувся, як ужалений, та мало не відкримсав праве крило шикарного «мерса» із задимленими шибками; І далі не з тим, аби тут знову кретини-аристократи пили шампана, грали фербля чи тарока – Л.Різник)*, универбации: *Нобелівська премія – нобель, мобільний телефон – мобіла, концентраційний табір – концентрак (... за 75 років ... в радянських в'язницях і концентраках пересиділо майже 50 мільйонів українців... (газ. «Літературна Україна». – 1993. – № 19) или аббревіації: сюрреалізм – сюр*. В одних случаях это объясняется отношением общества к реалиям, названным производящими словами, в других – лексическим значением производящих основ, еще – значением аффиксальных морфем, а также способом словопроизводства.

Таким образом, активные в настоящий период развития украинского языка словообразовательные модели и образованные по этим моделям производные единицы словаря, с одной стороны, отражают, а с другой стороны, формируют коммуникативно значимые блоки смыслов, выступая важными координатами в языковой картине мира, реализуя деривационные потенции языка, национальные стереотипы номинации и коммуникативные потребности общества.

Литература

- ВІНЯР, Г. М.; ШПАЧУК, Л. Р., 2002. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття. Кривий Ріг.
- ГОЛУБОВСКАЯ, И. А., 2002. Этнические особенности языковых картин мира. Монография. Киев: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет».
- ЗЕМСКАЯ, Е. А., 1992. Словообразование как деятельность. Москва: Наука.
- ЗЕМСКАЯ, Е. А., 1996. Активные процессы современного словопроизводства. *Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995)*. Москва: Языки русской культуры, с. 90-141.
- КАРПІЛОВСЬКА, Євгенія, 2004. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 34, ч. I, с. 174-181.
- ЛИХАЧЕВ, С. Д., 1993. Концептосфера русского языка. Известия АН России. Сер. лит. и яз., т. 52, № 1, с. 2-9.
- МАЗУРИК, Д., 2002. Нове в українській лексиці. *Словник-довідник*. Львів.
- НЕЛЮБА, А., 2004. Лексико-словотвірні інновації. (1983 – 2003). Словник. Харків.
- НЕЛЮБА, А.; НЕЛЮБА, С., 2007. Лексико-словотвірні інновації. (2004 – 2006). *Словник*. Харків.
- СТАВИЦЬКА, Л., 2003. Короткий словник жаргонної лексики української мови. Киев.

СТИШОВ, О. А., 2003. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). Київ.

СТРУГАНЕЦЬ, Л., 2002. Динамічні процеси у лексико-семантичній системі української літературної мови ХХ століття. Тернопіль.

ТОЛСТОЙ, Н. И., 1995. Язык и культура. *Язык и народная культура*. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Москва: изд-во «Индрик», с. 15-26.

Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Słowotwórstwo. 2003. Nominacja. Opole.

Maria Fedurko

Drogobych University, Ukraine

**THE BORROWING ELEMENTS IN THE SYSTEM OF THE MODERN UKRAINIAN WORDFORMING:
THE ETHNOLINGVISTIC ASPECT**

Summary

The article is devoted to the problem of the enrichment (neologization) of Ukrainian lexicon including borrowing morphemes in derivational processes.

On the material of innovation the author states that the opportunities of both stable word formative types and those which were in periphery are used in a modern word forming system.

It gives the opportunity to show the development of a changeable world in which Ukrainian ethnos exist, its cultural development.

KEY WORDS: borrowing roots, borrowing morphemes, derivative word, tendencies of internationalization, process of neologization, relation between language and culture concept, conceptive consciousness.

Галина Филь

*Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко
ул. И. Франко 24, 82100 Дрогобыч, Львовская обл., Украина.
e-mail: fillgalja@rambler.ru*

СЕМАНТИКА ЦВЕТА В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье проанализирована группа фразеологических единиц украинского языка со структурным компонентом на обозначение цвета; отмечено, что фразеологические единицы с символами-колоративами отображают специфику мировосприятия украинского народа, его психический мир, образно-ситуативное мышление, которое возникает в результате аналитико-синтетического познания закономерностей бытия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колоративы, компонент для обозначения цвета, символика цвета, фразеологические единицы, цветообозначение, образно-смысловой центр, символы-колоративы, паремии, пословицы, поговорки.

В украинской национальной культуре, как и в других мировых культурах, цвет имеет сложный диапазон символических значений, которые, характеризуя систему ценностей на уровне составляющей эстетического идеала, чаще всего связаны с мировоззренческими представлениями этноса (Ходанич 2005, с. 10).

Феномен цвета интересовал человечество испокон веков. Люди старались объяснить это явление, определить его действие на мозг и психику. Попытки разработать теорию цвета относятся еще к часам Платона. Детально цвет как физическое явление описал И. Ньютон. Именно он выделил в спектре семь основных цветов. С 18 века берет свое начало психология цвета. Появление этого направления было связано с именем великого немецкого поэта И.-В. Гете и его научным трудом «К учению о цвете (хроматика)». В этом произведении автор ставит в соответствие определенным цветам характерные для них психологические состояния человека. Согласно классификации И.-В. Гете, все цвета можно разделить на «положительные» (желтый, красный, красно-желтый (оранжевый)), которые создают бодрое, живое, деятельное настроение, и «отрицательные» (синий, красно-синий и сине-красный), которые передают беспокойное, мягкое и тоскливое настроение (И.-В. Гете 1996, с. 31). Поэт писал, что цвет является символом самого человека, его мыслей с литературной и психологической точки зрения (Гете 1996, с. 31).

В психологии разработкой характеристик основных цветов занимался М. Люшер. Нас интересует восприятие цвета украинским народом и его психологическая трактовка.

Как известно, богатство цвета окружающего мира отображается в языке. Но не во всех языках, подчеркивает А. Порожнюк, существует одинаковое количество обозначений для цвета. Некоторые цвета спектра даже не всегда имеют отдельные названия. Так, например, в английском языке существует одна лексема (blue), которая обозначает синий и голубой цвет. А в языках африканских народов красный, оранжевый и желтый имеют только одно название. Иными словами, цвет связан с историей народа, его психикой, культурой, бытом, традициями (Порожнюк 2000, с. 28).

О. Крижанская все украинские названия цветов относительно их происхождения разделяет на две лексико-семантические группы: первичные и вторичные. К первичным она относит названия цветов, которые в современном языке не соотносятся ни с какими существительными-референтами и обозначают абстрактные цветовые качества. Их происхождение и связь с определенным конкретным названием раскрывается с помощью этимологического анализа (красный, черный, белый, зеленый и т.д.). Вторичными являются цветоназвания, которые передают конкретный цвет и образованы на основе

украинского языка исходя из цветового сходства с предметами и явлениями окружающего мира (Крижанская 2001, с. 22).

Входя в состав фразеологизмов, лексемы – наименования цвета в некоторых случаях теряют свое первичное значение (признак цвета) и приобретают совсем другие семантические оттенки. Слово (в данном случае название цвета), которое входит в свободное словосочетание, является самостоятельной лексической единицей, а слово-колоратив, входящее в состав фразеологизма, частично теряет свои предыдущие семантические характеристики. Фразеологический компонент, подчеркивает Ф. Медведев, «теряет самостоятельное значение и приобретает новое качество» (Медведев 1982, с. 31). Например, *ловити (білі) метелики (ірон., рідко)* – «забавляться, как ребенок», «тратить время на озорства, заниматься несерьезными делами»; *казка про білого бичка* – «о чем-либо надуманном, вымышленном, нереальном».

Предметом нашего исследования стала небольшая группа фразеологических единиц, содержащих в своей структуре компоненты для обозначения цвета. Материал для исследования выбран из фразеологического словаря украинского языка.

Н.Клименко, рассматривая отдельные вопросы, связанные с цветовой лексикой, обращает внимание на белый и черный цвета, сквозь призму которых определялось мировосприятие первобытного человека (Клименко 1991, с. 262). Поэтому фразеологические единицы украинского языка, в состав которых входят колоративы для обозначения «белого» и «черного» цветов, составляют наибольшую группу. Белый и черный цвет, по мнению психологов, являются первоосновой образования других цветов, поскольку «для возникновения цвета необходимы свет и мрак». Об отождествлении черного цвета с мраком А. Потеня писал: «Подобно тому, как мороз, приближаясь к огню, противостоит ему некоторым символическим значением, черный цвет, образуясь от огня, имеет значение беспорядка, ненависти, печали, смерти, которая является противоположным к переносным значениям света» (Потеня 1987, с. 314).

Общее значение белого цвета присуще как древним народам, так и нашим современникам. Белый – символ бытия, мира, жизни. Во фразеологизмах *білий, як молоко; до білого снігу* лексема *білий* имеет значение «имеющий цвет мела, молока, снега (противоположный черному)». Кроме этого значения из контекста фразеологических единиц мы выделяем еще дополнительные значения: «чистый, светлый» – *білий світ, до білого дня, серед білого дня (серед білої днини), на світ білий не дивився б, не бачити світа білого (за слізьми світа білого не бачити, світу білого не видно, треба з свічкою серед білого дня шукати; покидати білий світ (прощатися з білим світом); «седой (о цвете волос)» – доживати до білого волосу; «необычный, не похожий на других» – біла ворона (білий крук); «бледный (о болезненном состоянии человека – признак передается на основе сходства цвета кожи болезненного человека)» – білий як полотно; «неуклюже сделанный» – білими нитками шитий.*

Однако колоратив *білий*, символизирующий чистоту и невинность, красоту и любовь, во фразеологизме *біла кість (кістка)* передает отрицательную оценку (пренебр. о людях знатного, дворянского происхождения): *Ось і розбіглися всі по степу, і Оверко переміг. Його чорний шлик віявся по плечах. «Рубай, брати, білу кість!» (Ю.Яновський).* В том же значении употребляется колоратив «*блакитний (голубий)*» во фразеологизме *блакитна (голуба) кров: Чи блакитна кров проллється, як пробити пану груди? (Леся Українка); Чом не краля? Так і пре з неї голуба кров (М. Стельмах).*

В украинском языке достаточно большая группа фразеологических единиц содержит колоратив *чорний*, выражающий нечто отрицательное и символизирующий нечто плохое. Примерами могут служить высказывания: *чорне слово* – «ругательное выражение с упоминанием черта»; *чорне діло (справа)* – «коварные, грязные действия, вызывающие отвращение, осуждение»; *про (на) чорний день, про (на) чорну годину* – «на случай крайнего материального затруднения, впрок»; *чорна доля* – «тяжелая, трагическая жизнь у кого-нибудь»; *як чорний віл у [ярмі]* з сл. робити, працювати – «очень тяжело,

излишне»; **чорний кіт (кішка) пробігла** – «кто-нибудь был в ссоре с кем-то, между кем-нибудь возникло несогласие»; **чорний віл на ногу наступить (заст., жарт.)** – «кто-нибудь женился и испытал все неприятности, связанные с супружеской жизнью»; **чорна робота** – «физически тяжелый труд, который требует специальной подготовки или какого-то мастерства»; «неприятная, грязная работа»; **чорний час** – «тяжелое время, лихолетье». Среди фразеологических единиц нет выражений, указывающих на траур, но всюду чувствуется тьма и горе.

Фразеологические единицы из колоративом *черный* передают также качественные отрицательные характеристики людей: «сердитый, злой» (**аж у роті чорно**): *Та тебе всі знають у Закриниччі за скажену, у тебе в роті чорно* (Є. Гуцало); «грустный, хмурый, невеселый, неудовлетворенный» (**як чорна хмара (туча)**): *– Учора у них із князем Святославом була мова. Преосвященний із неї вийшов, мов чорна туча* (В. Шевчук); «обессиленный, усталый» (от переживаний, болезни, тяжелого труда) (**чорно перед очима**): *– Бог би тебе скарав, Саво! Мені з журби чорно перед очима, а ти ще приходиши і їси моє серце!* (М. Коцюбинський); «грустный, невеселый» (**як (мов, ніби) чорний віл на ногу наступив**): *– Чого ти, Дмитре, такий, наче тобі чорний віл на ногу наступив?* (Є. Гуцало); «коварный, бессердечный» (**чорна душа**): *– ... Я його [Безбородька] зневажаю за його обмежену чорну душу і разом з тим не можу дивитись, як той дурень добровільно пхає голову в ярмо* (І. Вільде).

Во фразеологизме **чорним по білому** в сочетании со словами «написано, записано» колоративы употребляются для обозначения выразительности, четкости, вразумительности: *Там [у «Положенні»] чорним по білому написано, що незалежно від полюбовної згоди поміщик може в усякий час вимагати від селян обміну необхідної йому землі, коли на ній виявляється джерело мінеральної води чи корисні копалини, в тому числі і торф* (М. Стельмах); а во фразеологизме **ані біле, ані чорне** – для обозначения невыразительности.

Для украинского народа, как и для некоторых других, любимыми были и остаются цвета красной гаммы. С точки зрения психологии красный обозначает желание, стремление получить результат, достичь успеха (Ащеулова 1998, с. 23). Многообразной является группа фразеологических единиц из колоративом *красный*. В одних фразеологизмах он ассоциируется с чем-то основным в реальной действительности: **червоний куток** – «помещение в доме общественного пользования, отведенное для культурно-просветительской работы»; «место в доме, где сохраняется оберег»; «главная святость дома – икона»; **проходити червоною ниткою** – «быть основным, ведущим в чем-либо, насквозь пронизывать что-то» или «быть красивым, эффектным»: **червона як ягода, червона як роза**. В других фразеологических единицах значение красного цвета связано с отрицательной аксиологичностью: **червоні вогні в очах (мигтять, блискотять)** – «кто-то плохо себя чувствует, чувствует приближение состояния головокружения»; **пускати червоного півня** – «поджигать что-либо, вызывать пожар с целью расплаты, мести»; **червоний як рак** – «багровый от стыда, злости».

Слова-названия для обозначения розового цвета, ассоциирующегося с мечтательностью, нереальностью, оптимизмом, положительными переживаниями, содержат фразеологические единицы **рожеві мрії** – «что-то желаемое, но, как правило, нереальное, неисполнимое»; **дивитися крізь рожеві окуляри (скельця, рожеву призму)** – «не замечать изъянов, недостатков у кого-нибудь или в чем-то, в ком-то видеть только положительное»; **у рожевих фарбах (рожевими фарбами), у рожевому світлі** (со словами *малювати, поставати*) – «лучше, чем есть в действительности».

Компонент для обозначения зеленого цвета входит в состав фразеологизмов **зелене, як барвінок; молодий та зелений** и имеет значение «неопытный, юный». Это связано с ассоциациями «зеленый плод – неспелый плод», которые и выражают семантику этих фразеологических единиц. С таким же значением, но с колоративом *желтый*, выступающим первым компонентом сложного слова, в украинском языке существует

фразеологическая единица *жовтороте (жовтодзьобе) пташеня*. Эта семантика – результат взаимодействия значений двух лексем, которые образуют прилагательные *жовтороте (жовтодзьобе)*. А. Потебня считает, что зеленый цвет роднится со светом и огнем и должен иметь те же значения, что и свет, но он обозначает только молодость, красоту и веселость. Вообще-то зеленый цвет – это символ весны, природы, триумф жизни, молодость и процветание. Зеленый напоминает нам о юности, надежде и радости (Потебня 1987, с. 310-311).

Желтый цвет содержит в себе, с точки зрения психологии, противоречие. С одной стороны, это цвет солнца и солнечных лучей, цвет весенних одуванчиков, надежды. Он воспринимается как светлый, яркий, возбуждающий, а поэтому и согревающий. Он выражает основную психологическую потребность – раскрыть надежду в душе. С другой стороны, желтый всегда считался цветом измены. Во фразеологизме *зздрість з жовтими очима; мов жовтки* колоратив *жовтий* обозначает «зависть». Это связано с физиологическими процессами в организме человека: когда он чувствует зависть, ревность, у него интенсивно выделяется желчь, и потому желтеет кожа и белки глаз (Груза 1998, с. 20-22).

Состояние гнева, злости выражается отадъективными глаголами для обозначения *жовтого* или *синего* цвета, которые входят в состав фразеологизмов *жовтіти від злості; синіти від злості*.

Отадъективные глаголы *зеленеет (позеленіло); желтеет (жовкне, пожовкло)* для обозначения *зеленого* и *желтого* цветов во фразеологических единицах *в очах зеленіє (позеленіло); в очах жовтіє (жовкне, пожовкло)* указывают на болезненное состояние человека, усталость, утрату способности нормально видеть: *У мене так мурав'ї й заходили поза спиною від тих Омелькових речей; аж дух у грудях сперло, в очах пожовтіло!* (П.Мирний); *Світ мені темний зробився: пожовкло, позеленіло в очах* (Г. Барвінок).

Синий цвет связан с психологической необходимостью в удовлетворении (Груза 1998, с. 20). Темно-синий вызывает полный покой. Ничто так не успокаивает и не охлаждает, как гамма сине-голубых оттенков. Синий – это цвет неба, это символ верности (небо не изменяет своего цвета), постоянства, преданности вечным ценностям. Как правило, он ассоциируется с мудростью, хотя возникает возле тьмы и этот факт определенным образом влияет на характеристику этого цвета, ср: *синя панчоха* – так пренебрежительно говорят о сухой, черствой женщине, которая потеряла привлекательность, целиком посвятила себя научным интересам, книгам; *бідний, аж синій* – «очень бедный»; *сині мундири* – «жандармы, которые в дореволюционной России носили мундиры синего цвета».

Чтобы передать окраску в разные, в основном яркие, цвета, употребляется лексема «рябой». Когда-то носителям этой окраски, пишет О.Кучерук, приписывали признаки сакральности (например, святостью наделялась рябая курица, что отражено в некоторых заговорах). Возможно, элементы народных верований отражены в словосочетании «ряба кобила», которое легло в основу фразеологической единицы *розказувати сон рябої кобили* и образно обогатили его общее переносное значение. Конечно, никто не может знать, что снится кобыле, тем более рябой, отсюда и значение устойчивого выражения «говорить неправду, выдумывать» (Кучерук 2006, с. 41).

Изменения в обществе, науке и технике дали импульс и для эволюции разных языковых уровней, особенно лексического и фразеологического. Первый, лексический, конечно, более динамичный, и его ускоренное развитие отражается и на фразеологическом. Актуальные для человеческого сознания лексемы стали смысловыми центрами новых фразеологических единиц, в структуру которых вошли колоративы: *горіти синім полум'ям; голубий екран; зелене світло; червоне світло, на червоне світло, запалити червоне світло перед ким, чим* (Ужченко; Авксентьев 1990, с. 97).

Как известно, в украинском языке имеются также стилистические фигуры, которые

закljučаются в замене названия предмета (явления) описанием его самых существенных признаков либо в указании на их характерные черты. К известным перифразам с названиями цветов *біле золото* (хлопок), *чорне золото* (нефть; уголь) добавилось менее известное – *сіре золото* (печень акулы). Эти высказывания обозначают вещества (Ужченко, Авксентьев 1990, с. 99-100).

Небольшая группа перифраз с колоративом *зелений* употребляется для обозначения явлений растительного мира: *зелений день* (однодневное мероприятие, посвященное озеленению чего-либо); *зелена аптека* (о дикорастущих лекарственных растениях); *зелені легені* (о растениях как важном факторе газообмена в атмосфере земли); *зелений цех* (о лесном хозяйстве страны); *зелена зупинка* (остановка) (однодневная остановка судов возле красивых мест для отдыха туристов); *зелене золото* (лес). Колоратив *зелений* в них символизирует жизнь, весну, возрождение, оживление природы, красоту, богатство растительного мира.

Анализ фразеологического материала свидетельствует, что определенной части выражений с символами-колоративами свойственна полисемия. Так, например, фразеологическая единица *давати зелену вулицю* употребляется в таких значениях: 1) «беспрепятственно пропускать что-либо (о железнодорожном транспорте)»: *І раптом старий німець здурів! На станції, яка давала ешелонові «зелену вулицю», він зупинив поїзд і заявив, що далі не поїде (П. Загребельний)*; 2) «создавать условия для быстрого продвижения по работе; службе кого-нибудь»: *От ми заберемо його [голову колгоспу] од вас, – сказав Сагайдак, – і повеземо його туди, де його ніхто не спинятиме, а ще й дорогу йому дадуть. Зелену вулицю (В. Кучер)*; 3) «создавать условия для беспрепятственного развития, распространения, использования чего-либо»: *Тепер інший час. Ізотопу [урану] скоро дадуть зелену вулицю (Н. Рибак)*. Эти значения возникли по ассоциациям, подсказанным железнодорожным транспортом, где свободный проезд определяется зеленым сигналом светофоров.

Фразеологизм *держати (тримати) в чорному тілі* имеет значение: 1) «притеснять, эксплуатировать кого-то»; 2) «сурово обращаться с кем-нибудь, лишать кого-то возможности обнаруживать свои способности». Колоратив *черный* придает этой фразеологической единице отрицательной оценки.

Символ-колоратив *белый* в полисемантическом фразеологизме *біла пляма* имеет значение 1) «неопознанный, неизученный, необжитый (о районе, крае)»; 2) «неисследованный, малоизученный (о вопросе)». В предложении *Майже до кінця ХІХ століття кряж [Овруцько-Словечанський] залишався білою плямою на карті України (З газети)* реализуется первое значение; а в предложении *Історики літератури розкрили частину білих плям у біографії письменника [Леся Мартовича]. Проте ще й досі їх лишається немало (З газети)* – второе.

Значение фразеологических единиц, в состав которых входят лексемы для обозначения цвета, становится более выразительным в пословицах: *У темряві все біле здається чорним*; *Пропає, як руда миш (Розтеклися, як руді миші)*; *Розказав Мирон рябої кобили сон*. Раскрывая смысл такого типа паремий, необходимо учитывать значение соответствующих компонентов – слов и фразеологизмов.

Тенденция языкового выбора лексики для обозначения цвета прослеживается и в крылатых выражениях, которые обогащают наш язык: *біла ворона* – «необычный человек и редкостное явление» (высказывание римского поэта Ювенала); *синій птах* – «сказочный символ неуловимого счастья» (по названию пьесы М. Метерлинка); *теорія, друже мій, сіра, та дерево життя зелене* (из трагедии Й.-В. Гете «Фауст»); *нащо мені чорні брови* – (из поэзии Т. Шевченко «Думка»). Как видим, использование цветовой лексики в приведенных устойчивых сочетаниях помогает образному выражению глубокой философии жизни (Кучерук 2006, с. 42).

Особого внимания заслуживают образы, созданные с помощью цветовой лексики во фразеологических единицах коммуникативного типа. Анализ соответственного

материала показывает, что в пословицах и поговорках используется относительно небольшой спектр цвета, но первенство принадлежит белому, черному и красному цветам.

В основе семантической оппозиции языкового моделирования картины мира сквозь призму «хорошее – плохое» используются в основном белый и черный цвет. Образное наполнение пословиц, употребляемых в переносном значении, создается на основе наблюдений за миром птиц и животных, привычки и повадки которых часто напоминают черты характера людей. Колоративы при этом помогают отобразить специфику души сквозь призму энергетики цвета (Кучерук 2006, с. 42).

В пословицах *На чорній землі білий хліб родить* (варианты: *Земля чорна, а хліб білий родить; Чорна нива білий хліб родить*), *У коваля руки чорні, а хліб білий* оппозиционные имена прилагательные «черный» (как символ плодородной земли, тяжелого труда) и «белый» (как выражение жизнеутверждающего начала) усиливают основную мысль выражений, которые передают жизненные истины, мудрость народа. Совсем по-другому, с отрицательным подтекстом, воспринимается название черного цвета в характеристике моральных изъянов человека (*«Руки білі, а сумління чорне»*). Таким образом, лексемы цветообозначения не только толкуют жизненные реалии, но и придают им символическое смысловое обрамление.

Критикуя человеческие изъяны, народ в поговорке *«Дурень червоному радий»* утверждает, что главное - это не внешний эффект, с чем ассоциируется красный цвет (*«Що червоне, то красне; що солодке, то добре»*), а внутреннее наполнение. Образное переосмысление красного цвета с желтым оттенком лежит в основе паремии *«Руді батьки – руді діти»*. Поскольку лексема *рудий* в сознании народа имеет отрицательный оттенок (пренебрежительное отношение к носителям этого цвета передается в выражениях *«рудий як собака»*, *«На, рудий, паски, щоб і ти святки знав»*), то лексическое значение этого названия соответственно конкретизирует мысль: какие родители, такие и дети.

Использование колоративов в составе украинских паремий объясняется особенностями логико-интуитивного мышления, миропонимания народа: *«Зелений виноград не солодкий, а молодий розум – не міцний»* (сопоставление зеленого цвета с молодостью).

Таким образом, на основе наблюдений за использованием лексем обозначения цвета в составе фразеологических единиц украинского языка, мы пришли к выводу, что группа фразеологизмов с цветоназваниями является, в количественном отношении, незначительной; символы-колоративы, становясь компонентом устойчивых выражений, приобретают новые значения, отображают специфику психики, образно-ситуативного мышления украинского народа, его мысли, которые возникают в результате аналитико-синтетического познания закономерностей бытия.

Литература

- АЩЕУЛОВА, К., 1998. Ты и твой цвет. *Детское творчество*. № 3, с. 22-23.
 ГЕТЕ, И.-В., 1996. К учению о цвете (хроматика). Москва: «Рефл-бук», с. 31.
 ГРУЗА, Н., 1998. Тайны цвета. *Наука и религия*. № 7, с. 20-22.
 КЛИМЕНКО, Н., 1991. Як народжується слово. *Науково-популярне видання*. Киев.
 КРИЖАНСЬКА, О., 2001. Яким буває червоне? (*Синонімічні кольороназви в українській мові*). Урок української. № 2, с. 22-24.
 КУЧЕРУК, О., 2006. Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах. Дивослово. № 12, с. 40-42.
 МЕДВЄДЄВ, Ф. П., 1982. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо? Харків.
 ПОРОЖНЮК, А., 2000. Червона барва в мовній палітрі. *Урок української*. № 1, с. 28-29.
 ПОТЕБНЯ, А. А., 1987. Слово и миф. Москва, с. 314
 УЖЧЕНКО, В. Д.; АВКСЕНТЬЄВ, Л. Г., 1990. Українська фразеологія. Харків.
Фразеологічний словник української мови. 1993. Укладачі БІЛОНОЖЕНКО, В.М.та інші. В 2-ох томах.,т. 1. Киев: Наукова думка.

Фразеологічний словник української мови. 1993. Укладачі.БІЛОНОЖЕНКО, В.М та інші. В 2-ох томах, т. 2. Київ: Наукова думка.

ХОДАНИЧ, А., 2005. Колір у системі етнічних цінностей українців. *Українська література в загальноосвітній школі.* № 4, с.10-13.

Halyna Fil'

Drogobych University, Ukraine

THE SEMANTICS OF COLOUR IN THE STRUCTURE OF THE UKRAINIAN PHRASEOLOGICAL UNITS: PSYCOLINGUISTIC ASPECT

Summary

The article deals with the group of the Ukrainian phraseological units with a structural component for colour definition; it is marked that phraseological units with symbols-coloratives reflect the conception of the world of the Ukrainian folk, its psyche, figurative-situational thinking, which appears as a result of the analytic-synthetic cognition of being.

KEY WORDS: coloratives, the component for colour definition, symbolics of colour, phraseological units, figurative-situational centre, symbols-coloratives, sayings, proverbs.

Ольга Горицкая

Белорусский государственный университет

ул. К. Маркса 31- 52, Минск, Беларусь

e-mail: goritskaya@gmail.com

ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В РОЛИ ПОДЛЕЖАЩЕГО (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)¹

Данная статья посвящена двойному маркированию лица в русских высказываниях с личным местоимением 1-го или 2-го л. в роли подлежащего и глагольным сказуемым в форме настоящего или будущего времени 1-го или 2-го л. Проанализированы факторы, определяющие наличие или отсутствие местоимения-подлежащего в таких высказываниях. Показано, что местоимения являются средством установления дискурсивных связей в тексте. Нулевое местоимение указывает на единство субъектного плана во фрагменте дискурса. Материально выраженное местоимение сигнализирует о смене субъектных планов, их противопоставлении или сопоставлении. Описываются прагматические функции личных местоимений в роли подлежащего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *личные местоимения, субъект, говорящий, слушающий, подлежащее, дискурсивные факторы, избыточность.*

1. Введение. В исследованиях по русской грамматике, например, в (Пешковский 1956), отмечается, что в русском языке нормой является двойное маркирование лица в предложениях со сказуемым в форме наст. и буд. вр. Например: (1) *Можно подумать, я навязываю свои услуги!* (А. Волос. Недвижимость). На первый взгляд, местоимение в таких случаях представляется избыточным и лишь дублирует грамматическую информацию, содержащуюся в окончании глагола. Поэтому А. А. Шахматов называл такие подлежащие «служебными» (Шахматов 2001, с. 163). Однако почему местоимение не опускается в результате действия тенденции к экономии речевых средств?

Мы исходим из предположения, что выбор нулевого или материально выраженного местоименного подлежащего в большинстве случаев является неслучайным и регулируется правилами различной природы: дискурсивными, синтаксическими, интонационными и – косвенно – внеязыковыми (социальными). Мы не ставим своей целью построение алгоритма, объясняющего порождение всех высказываний с нулевым или ненулевым местоимением-подлежащим. Более того, мы предполагаем, что построение такого алгоритма вряд ли возможно ввиду значительной вариативности этого фрагмента языковой системы: «Коммуникативная факультативность подлежащего создает определенную тенденцию рассматриваемых предложений к односоставности, контаминацию очевидной определенноличности действующего лица и отсутствия его обычного лексического выражения. <...> возможность замещения позиции подлежащего неодинакова в отдельных случаях и, следовательно, тенденция к односоставности проявляется по-разному» (Химик 1990, с. 90). Так, в одних высказываниях (1), (2) местоимение-подлежащее является обязательным компонентом синтаксической структуры, в других – нормой является его отсутствие (3), а в третьих – возможны оба варианта, причем в некоторых случаях один из них может являться более предпочтительным (4), а в некоторых случаях выбор кажется свободным (5). Приведем примеры из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»:

¹ Работа выполнена при поддержке гранта Белорусского фонда фундаментальных исследований по итогам конкурса «Наука-2008М».

(2) *Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно. – *<...>, а Ø трачу как-то бессмысленно.*

(3) *Лопухин. Я или зарыдаю, или Ø закричу, или в обморок Ø упаду. Ø Не могу! Вы меня замучили! (ВС) – *Я или зарыдаю, или я закричу, или я в обморок упаду. Я не могу!*

(4) *Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... – ??? Ø Сплю...*

(5) *А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? – А Ø знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет?*

Задачей данной работы является исследование «скрытой семантики» (Николаева 2004) и прагматических функций нулевых и материально выраженных местоимений-подлежащих. **Объектом анализа** является употребление местоименных подлежащих 1-го и 2-го л., обозначающих говорящего и слушающего, в высказываниях со сказуемым в форме наст. или буд. вр. Мы не анализировали обобщенно-личные предложения и предложения с глаголами в форме императива, поскольку в этих высказываниях нормой является отсутствие подлежащего и использование личных местоимений в них регулируется другими правилами.

Исследование было проведено следующим образом. В качестве текста для первичного анализа была взята пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» (далее – ВС), из нее были выписаны все конструкции, в которых наличие или отсутствие местоимения-подлежащего в форме 1-го или 2-го л. ед. ч. при сказуемом в форме наст. или буд. вр. представляется обязательным. Далее собранный материал был проверен на двух подкорпусах со снятой омонимией Национального корпуса русского языка (<http://ruscorpora.ru>) – подкорпусе живой русской речи и подкорпусе художественной литературы XX–XXI вв. В статье будут приводиться примеры из второго подкорпуса. В качестве дополнительного материала привлекались примеры из картотеки, собранной автором работы.

2. Русский язык на фоне других языков. В генеративной грамматике для описания типов языков был введен параметр *pro-drop*, указывающий на допустимость нулевого местоимения-подлежащего. На основании этого параметра языки делятся на две группы: *pro-drop* (например, русский или латынь) и *non-pro-drop* (например, английский). Основным условием, «легализующим» пропуск местоимения, является развитая система спряжения глагола. На славянском языковом материале параметр *pro-drop* рассматривается в книге С. Франкса (Franks 1995). Языки *pro-drop* бывают разных типов: в одних, как, например, в латыни, польском или болгарском, нормой является отсутствие избыточного местоимения, в других, как, например, в русском, местоимения могут присутствовать в структуре высказывания или опускаться.

Возникает закономерный вопрос: почему в русском языке, несмотря на развитую глагольную морфологию, местоименные подлежащие употребляются? «Явление это, по всей вероятности, стоит в связи с отсутствием глагола в таких сочетаниях, как *я дома, я добр <...>*, а также с отсутствием формы лица в нашем прошедшем времени (*я читал – ты читал – он читал*). Во всех этих сочетаниях личные слова необходимы, потому что иначе нельзя узнать лица. А из них они могли перебраться и в такие сочетания, где они не нужны» (Пешковский 1956, с. 187), см. также (Виноградов 2001, с. 374).

Надо отметить, что употребление избыточных местоимений в роли подлежащего – это довольно позднее явление в русском языке (Бабайцева 1968; Ефимова 2004; Kibrik 2004). В праславянском и древнерусском нормой было отсутствие местоимения-подлежащего, т.е. такое положение дел, которое сейчас наблюдается в грамматике южно- и западно-славянских языков. Затем в связи с исчезновением в русских формах прошедшего времени связки, в которой содержались показатели лица, местоименное подлежащее стало необходимым компонентом высказываний с такими глаголами.

3. Обзор работ, в которых описывается употребление местоимений в роли подлежащего. Правилам, регламентирующим наличие или отсутствие избыточного в грамматическом отношении местоимения, посвящено небольшое число научных работ. Эту проблему затрагивает В.В. Бабайцева в книге, посвященной односоставным предложениям: «Трудно уловить здесь особые логические или синтаксические соображения, объясняющие наличие местоимений подлежащих или их отсутствие. Главное различие между этими предложениями в их структуре: первые – двусоставные, вторые – односоставные» (Бабайцева 1968, с. 29). Исследовательница отметила случаи, когда употребление местоимения-подлежащего является обязательным: «при противопоставлении действий или деятелей» и «при подчеркивании деятеля»².

Так же фрагментарно закономерностей употребления местоимений-подлежащих касались авторы некоторых классических работ по русской грамматике (Виноградов 2001; Исаченко 1960; Пешковский 1956; Шахматов 2001) и стилистике (Розенталь 1998). Надо сказать, что в этих работах интересующее нас явление представлено в несколько «импрессионистическом» ключе. Так, А. М. Пешковскому принадлежит утверждение о том, что отсутствие личных местоимений придает речи «энергичность, быстроту и взволнованность» (Пешковский 1956, с. 184). Эта особенность изложения сохраняется и в современных работах, например: «Появление я <...> носит прагматический характер: это стремление, по мере возможности, сохранить и показать свое хладнокровие. Если бы я отсутствовало, сообщение бы носило поспешный характер, что-то вроде телеграфного стиля» (Фужерон & Брейар 2001, с. 56). В.В. Виноградов писал, что «сознательное, намеренное устранение местоимений выражает разнообразные экспрессивные оттенки» (Виноградов 2001, с. 375), однако заявленное разнообразие, к сожалению, ограничивается анализом одного примера. Таким образом, идея о том, что отсутствие или наличие местоимения-подлежащего связано с прагматикой, требует развития.

А. М. Пешковский, В. В. Виноградов и Д. Э. Розенталь обращали внимание на наличие связи между закономерностями употребления личных местоимений и стилистическими характеристиками текста. Так, например, В.В. Виноградов отмечал, что «в обычной разговорной речи и в повествовательном стиле простые формы 1-го и 2-го лица настоящего времени (без местоимений), по-видимому, преобладают или, во всяком случае, равноправны с формами, осложненными местоимением» (Виноградов 2001, с. 375), см. также (Исаченко 1960, с. 411). В книге Д.Э. Розенталя сказано: «Не опускается местоимение-подлежащее в деловом стиле, в официальной речи, также при отсутствии связи предложения с предшествующим контекстом» (Розенталь 1998, с. 165). Хотя на страницу ранее написано, что пропуск личного местоимения «иногда подчеркивает категоричность» (Розенталь 1998, с. 164) и приведены примеры из приказов и распоряжений, относящихся к официально-деловому стилю (*Приказываю...; Предлагаю...*).

Мы попытались проверить эти утверждения. В Национальном корпусе русского языка мы выбрали 4 подкорпуса со снятой омонимией: разговорная речь, художественная литература, публицистика, учебно-научные и производственно-технические тексты (официально-деловой стиль плохо представлен текстами со снятой омонимией, и количество глаголов 1-го и 2-го л. в них незначительно: всего 37 единиц, из них 1 имеет в препозиции местоимение, при том что количество личных форм в других подкорпусах не меньше 450). Мы подсчитали общее количество глаголов 1-го и 2-го л. ед. ч. наст. и буд. вр. и число глаголов, имеющих в пре- или постпозиции местоимение-подлежащее. Оказалось, что количество глаголов, употребленных с местоименным подлежащим, является наибольшим в текстах, обслуживающих разговорную речь (67%), и наименьшим

² Необходимо отметить, что в противительных конструкциях и при интонационном выделении местоимения употребляются и в тех языках, где они в норме отсутствуют, к примеру, в польском (Николаева 2004; Nilsson 1982 и др.). Таким образом, это описание закономерностей употребления личных местоимений не учитывает специфику русского языка.

в научных текстах (37%), в художественной литературе и публицистике число этих единиц примерно равно и составляет около 45%. Конечно, такие подсчеты являются грубыми и не учитывают, например, распределение местоимений-подлежащих в сложных предложениях и предложениях с однородными сказуемыми, где местоимения обычно опускаются, если речь идет об одном лице и др. Но, так или иначе, говорить о том, что в разговорном стиле местоимения обычно отсутствуют, вряд ли правомерно, см. также данные Л. Гренобль (Grenoble 2001, p. 8-9).

Особую значимость для нашего исследования представляют работы, в которых предлагаются функциональные объяснения феномена избыточных местоимений. Прежде всего, стоит отметить публикации, посвященные более широкой проблеме – употреблению русских нулевых и материально выраженных подлежащих при дейксисе и анафоре (Grenoble 2001; Nilsson 1982). Выбор референциальных средств при анафоре исследуется в А. А. Кибриком (Кибрик 1997; Kibrik 1996; Kibrik 2004 и др.). Несмотря на то что употребление личных местоимений 1-го и 2-го л. регулируется другими факторами, работы А. А. Кибрика оказались полезными для нашего исследования, поскольку предложенный исследователем способ описания многофакторных процессов представляется многообещающим.

В последнее время стали появляться исследования, посвященные непосредственно интересующей нас грамматической особенности русского языка (Фужерон & Брейяр 2001; Фужерон & Брейяр 2004). Интерес зарубежных русистов к этой проблеме отчасти связан с тем, что при изучении русского языка употребление местоимений-подлежащих (авторы исследуют только местоимение *я*) «причиняет немало неприятностей» иностранцам, «зачастую они ставят его там, где не надо, а там, где надо, его нет» (Фужерон & Брейяр 2004, с. 147). Как и Л. Гренобль, И. Фужерон и Ж. Брейяр описывают употребление местоименных подлежащих как результат действия дискурсивных факторов. Этот подход будет принят и в настоящей статье.

И, наконец, следует отметить исследование Т. М. Николаевой (Николаева 2004), представляющее собой синтез исторического и функционального объяснения закономерностей употребления местоименных подлежащих. На основе анализа существующих этимологий слова *я* Т. М. Николаева приходит к выводу о том, что «высказывание с *я* при глаголе как бы “помнит” первоначальную давнюю функцию *я* быть интродуктивным компонентом, вводящим новое, не присоединяющееся к предыдущему и – благодаря этому – часто ему противопоставленное высказывание» (Николаева 2004, с. 176). Это предположение выглядит интересным, однако верифицировать его сложно. Кроме того, употребление других местоимений, в частности *ты* или *мы*, по всей видимости, регулируется действием тех же факторов, но подтверждаются ли закономерности их функционирования данными этимологии?

4. Дискурсивные факторы, регулирующие употребление местоимений в роли подлежащего. Гипотеза, составляющая основу настоящего исследования, выглядит следующим образом. Наличие в высказывании местоимения-подлежащего в форме 1-го или 2-го л. сигнализирует о введении в дискурс нового субъектного плана, о его активации (6), или о противопоставлении или смене субъектных планов, уже представленных в дискурсе (7). В ряде случаев употребление местоимения-подлежащего указывает на введение новой темы изложения в границах одного субъектного плана (8). Соответственно, отсутствие местоимения указывает на единство субъектного плана (9).

(6) *Лопахин. Время, говорю, идет.*

Гаев. А здесь пачулями пахнет

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама (BC).

(7) *Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя (BC).*

(8) *Видит бог, я люблю родину, Ø люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, Ø все плакала (BC).*

(9) Аня. **Ты**, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? <...> Мама, приезжай...
Любовь Андреевна. *Ø Приеду, мое золото* (BC).

Наша гипотеза представляет собой развитие идей Л. Гренобль, И. Фужерон и Ж. Брейяра. Л. Гренобль для описания употребления местоименных подлежащих использовала понятие связности (connectivity): чем теснее связь фрагмента дискурса с предыдущим, тем более вероятны нулевые местоимения (Grenoble 2001, p. 12). По словам И. Фужерон и Ж. Брейяра, употребление местоимения – это «марка разрыва с предыдущим» (Фужерон & Брейяр 2004, с. 155). Надо сказать, что дискурсивные правила, перечисленные выше, не являются такими же жесткими, как, к примеру, грамматические правила. Наличие двух субъектных планов во фрагменте дискурса делает появление местоимения более вероятным, но не обязательным. Модифицирующее воздействие может оказывать интонация, порядок слов, наличие служебных слов и др. К тому же высказывания с глаголом в форме 1-го или 2-го л. индикатива являются очень вариативными, что значительно затрудняет описание закономерностей дистрибуции нулевых и ненулевых подлежащих. В отличие от стилистики, которая лишь фиксирует некоторые закономерности распределения языковых единиц и иногда описывает прагматический эффект от их использования, принятый нами подход стремится объяснить наблюдаемые нами факты.

Вернемся к проблеме функционирования местоимений в разговорной речи. Почему создается впечатление, что в разговорной речи они часто отсутствуют? Дело, по всей видимости, в том, что в неформальных диалогах темы разговора обычно «вертятся» вокруг его участников, и поэтому единство субъектного плана часто сохраняется на протяжении нескольких реплик. Субъектные планы участников коммуникации характеризуются высокой степенью активации в сознании говорящего и слушающего. Поэтому в речевом этикете закрепилось большое количество шаблонных высказываний, которые часто употребляются без местоимения-подлежащего: *Как Ø поживаешь?* и т.п. И именно в неформальной коммуникации наиболее отчетливо видны прагматические функции высказываний с нулевыми или материально выраженными местоимениями-подлежащими. Интересно, что в разговорной речи местоимения, стоящие в начале предложения, могут опускаться и в тех языках, где их употребление является обязательным по причине отсутствия маркеров лица у глагола (например, в английском). Условием функционирования таких высказываний является возможность извлечения информации о референте из контекста или коммуникативной ситуации. Аналогичное явление – русские конструкции с опущенным подлежащим при глаголе в форме пр. вр. типа (10) *Пришел, увидел, победил*. Для обозначения этого явления используется термин *topic-drop* (de Roo 2002), т.е. опущенный топик (тема).

Употребление личных местоимений в роли подлежащего связано с коммуникативными характеристиками высказывания, в частности с его актуальным членением. Как правило, личные местоимения являются темой высказывания. Интонационное выделение личных местоимений связано с такими коммуникативными значениями, как контраст (выделение объекта из числа потенциальных участников события) и – иногда – эмфаза (участие объекта в ситуации, в которой он не должен был участвовать, и выражение говорящим сильных чувств в связи с нарушением нормы жизни в этой ситуации)³ (Янко 2001). У. Чейф писал: «В некоторых языках, где роль данного передается главным образом через глагольное согласование, функция независимых местоимений сводится в основном к передаче фокуса контраста» (Чейф 1982, с. 291). Местоимения сочетаются с частицами и другими служебными словами, служащими для указания на фокус контраста, см. (Янко 2001, с. 50, 53-61), а также (Горицкая 2007):

³ Существуют и другие понимания эмфазы, например: «выделение важной в смысловом отношении части высказывания (группы слов, слова или части слова), обеспечивающее экспрессивность речи» (Гридин 1990, с. 592). Мы употребляем термины *эмфаза* и *контраст* в значениях, описанных в работе Т.Е. Янко (Янко 2001).

(11) *Нет, Георгий Николаевич, тут спрашиваю только я* (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);

(12) *Тревога почему-то отступила, и я подумал, что бессмысленно жаловаться на то, будто живешь не своей жизнью: значит, своей, если именно ты ею живешь* (А. Волос. Недвижимость).

3. Синтаксические конструкции с нулевыми или материально выраженными местоимениями-подлежащими. Рассмотрим некоторые структурные типы высказываний с ненулевым и нулевым местоимением-подлежащим. Обязательным является употребление местоимения при наличии эксплицитного противопоставления двух или более субъектных планов, маркированного союзами *а, но* и др., см. (2). С большой вероятностью можно встретить местоимения-подлежащие в высказываниях с обращением и глаголом в форме 1-го л., см. (9), а также в некоторых высказываниях, где есть другие личные местоимения в качестве актантов при глаголе-сказуемом, см. (Фужерон & Брейяр 2001; Фужерон & Брейяр 2004). В этих случаях два субъектных плана эксплицитно представлены в границах одного высказывания.

Присутствие личных местоимений обязательно и в восклицательных конструкциях различных типов: (13) *Что ты/*Ø хочешь этим сказать?*; (14) *Что ты/*Ø выдумываешь!*; (15) *Как же ты/*Ø можешь?*; (16) *Как я/*Ø ее понимаю!* и др. Эти высказывания выражают эмоциональное и/или оценочное отношение говорящего к какому-либо лицу или ситуации, значение многих из них подразумевает эмфазу (в понимании Т.Е. Янко, представленном выше).

Наиболее простым и однозначным примером отсутствия местоимения-подлежащего в высказывании являются предложения с однородными сказуемыми: подлежащее необходимо только при первом сказуемом. В целом единство субъектного плана может сохраняться на протяжении фрагмента дискурса, большего, чем одно высказывание. В таком случае местоимение также обычно отсутствует, см. (3) и (9).

4. Прагматические функции местоимений-подлежащих. В работе И. Фужерон и Ж. Брейяра было отмечено, что к числу условий наличия или отсутствия местоимения-подлежащего относятся не только лингвистические, но и психологические, «определяемые коммуникативными намерениями говорящего, его взаимоотношениями с адресатом и др.» (Фужерон & Брейяр 2001, с. 53).

Примером того, что наличие местоимения-подлежащего может быть «связано с выражением отношений с собеседником» (Фужерон & Брейяр 2004, с. 151), являются высказывания со значением несогласия или аргументации:

(17) *Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!*
Шарлотта. Не надо. Я спать желаю (BC).

Если в реплике-реакции не осуществляется смена субъектных планов и речь идет о том же субъекте, то местоимение-подлежащее может отсутствовать, см. (8). Присутствие подлежащего сигнализирует о наличии в семантике высказывания или дискурсивной единицы большего объема каких-то прагматических смыслов. В примере (16) употребление местоимения связано с аргументацией – указанием на причину отказа.

Внимания заслуживают синтаксические единицы, содержание которых «по умолчанию» ориентировано на говорящего или слушающего, – конструкции с предикатами пропозициональной установки (*утверждаю, полагаю, думаю, отрицаю*) и модальными операторами (вводными конструкциями).

И. Фужерон и Ж. Брейяр отметили, что «отсутствие *я* является правилом в формулировках социального этикета, когда говорящий является лишь исполнителем возложенной на него роли, своего рода рупором» (Фужерон & Брейяр 2004, с. 159). Имеются в виду высказывания типа (18) *Ø Объявляю вас мужем и женой. – Я объявляю вас мужем и женой.* Однако *я* часто отсутствует и в высказываниях с предикатами пропозициональной установки, где субъект говорит от «себя лично»:

(19) *Гаев. <...> Честью моей, чем хочешь, Ø **клянусь**, имение не будет продано! (Возбужденно.) Счастьем моим Ø **клянусь**! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим Ø **клянусь**!* (BC)

Французские исследователи отметили, что отсутствие подлежащего в таких высказываниях связано с «невозможностью противоречия» (Фужерон & Брейар 2001, с. 53). Соответственно, одна из основных прагматических функций материально-выраженного местоимения-подлежащего – акцентирование своей позиции при несогласии с позицией собеседника или другого лица.

Кроме того, отсутствие местоимения-подлежащего может иметь социальные функции. Оно может быть связано с принятой в определенных социокультурных ситуациях (например, в речи политиков или ученых) манерой не акцентировать внимание на своем «я», т. е. избегать «яканья» или «эготизма» (Успенский 2007, с. 27, 80). Подобный эффект вызывается заменой *я* на *мы*, личных конструкций – безличными, а также предпочтением высказываний без местоимений-подлежащих.

Отсутствие местоимений является частотным во вводных конструкциях типа *видишь (ли), понимаешь (ли)* и т. п., которые употребляются «с целью сосредоточить внимание собеседника на предмете разговора, придать доверительность сообщению» (Словарь структурных слов 1997, с. 129), т. е. приближаются по своей функции к служебным дискурсивным словам, имеющих лишь косвенное отношение к субъектным планам участников коммуникации. Наличие местоимения, как правило, означает «буквальное», а не «дискурсивное» употребление языковой единицы. Ср.:

(20) *Он говорит: «Ø **Понимаешь**, я с тобой решил посоветоваться потому что ты опытная. <...>»* (А. Геласимов. Чужая бабушка)

(21) – ***Ты понимаешь**, о чём я хочу с тобой поговорить? – закончила она свой рассказ.* (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света).

5. Выводы. Таким образом, утверждение о том, что наличие местоимения-подлежащего при сказуемом является нормой для русского языка, представляется сильным обобщением. В некоторых высказываниях наличие или отсутствие местоименного подлежащего обязательно, в других более или менее вероятно, в третьих – выбор представляется более или менее свободным.

Выбор нулевого или материально выраженного местоимения-подлежащего при глаголе в форме 1-го и 2-го л. наст. и буд. вр. является сложным многофакторным процессом. Функционирование личных местоимений в роли подлежащего регулируется действием дискурсивных факторов и связано с указанием на единство субъектного плана (отсутствие подлежащего) или смену субъектных планов, их противопоставление или сопоставление (наличие подлежащего). Правила дискурсивного порядка могут взаимодействовать с другими языковыми явлениями. Так, например, дискурсивные факторы могут находить подкрепление на синтаксическом уровне, и тогда вероятность наличия или отсутствия местоимения является значительной. Употребление местоимений связано с актуальным членением высказывания и такими коммуникативными значениями, как контраст и эмфаза. Имеют значение порядок слов и просодические характеристики высказывания. В ряде случаев изъятие местоименного подлежащего из высказывания возможно лишь при условии постановки паузы на месте личного местоимения. Однако влияние интонации на употребление местоимений-подлежащих нуждается в дополнительном изучении. Правила, регулирующие употребление личных местоимений, не всегда лежат на поверхности и не являются жесткими, что значительно усложняет изучение данного феномена. Тем более важной и перспективной является работа в этом направлении.

Речевая избыточность всегда функционально нагружена. На примере высказываний с личными местоимениями в роли подлежащего мы видим, что наличие местоимения-подлежащего является избыточным лишь при формальном подходе. В

реальной коммуникативной практике нулевые и материально выраженные местоимения-подлежащие используются для связи фрагментов дискурса, обладают спектром прагматических функций и связаны с социальными явлениями.

Литература

- БАБАЙЩЕВА, В. В., 1968. *Одноставные предложения в современном русском языке*. Москва: Просвещение.
- ГОРИЦКАЯ, О. С., 2007. К вопросу о речевой избыточности высказываний с личным местоимением в роли подлежащего (на материале конструкции *лично я*). *Русский язык и литература*. № 12, с. 59–64.
- ЕФИМОВА, В. С., 2004. Местоимение первого лица в старославянском языке – свидетельства евангельских текстов. *Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей*, / Отв. ред.. НИКОЛАЕВА, Т. М., Москва: Языки славянской культуры, с. 179–188.
- ВИНОГРАДОВ, В. В., 2001. *Русский язык* (Грамматическое учение о слове). Под ред. ЗОЛОТОВОЙ, Г.А., Москва: Русский язык.
- ГРИДИН, В. Н., 1990. Эмфаза. *Лингвистический энциклопедический словарь*, / Под ред. ЯРЦЕВОЙ, В. Н., Москва: Советская Энциклопедия, с. 592.
- ИСАЧЕНКО, А. В., 1960. *Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким*: в 2-х ч. Ч. вторая. Морфология. Братислава: изд-во Словацкой академии наук.
- КИБРИК, А. А., 1997. Моделирование многофакторного процесса: выбор референциального средства в русском дискурсе, *Вестник МГУ. Серия 9. Филология*. № 4, с. 94–105.
- НИКОЛАЕВА, Т. М., 2004. Функции русского «я» в индоевропейской перспективе. *Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей*. Отв. ред. НИКОЛАЕВА, Т.М., Москва: Языки славянской культуры, с. 167–178.
- ПЕШКОВСКИЙ, А. М., 1956. *Русский синтаксис в научном освещении*. Москва: Госучпедгиз.
- РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э., 1998. *Практическая стилистика русского языка*. Москва: АСТ-ЛТД.
- Словарь структурных слов русского языка*. 1997. Под ред.. МОРКОВКИНА, В.В. Москва:Лазурь.
- УСПЕНСКИЙ, Б. А., 2007. *Ego Loquens: язык и коммуникационное пространство*. Москва: Российский государственный гуманитарный университет.
- ФУЖЕРОН, И.; БРЕЙЯР, Ж., 2001. Когда я нужно. *Известия АН. Серия литературы и языка*. Т. 60, № 4, с. 53–57.
- ФУЖЕРОН, И.; БРЕЙЯР, Ж., 2004. Местоимение «я» и построение дискурсивных связей в современном русском языке. *Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей*. Отв. ред. НИКОЛАЕВА, Т. М., Москва: Языки славянской культуры, с. 147–166.
- ХИМИК, В. В., 1990. *Категория субъективности и ее выражение в русском языке*. Ленинград: изд-во Ленинградского ун-та.
- ЧЕЙФ, У., 1982. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения. // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XI, Москва: Прогресс, с. 277–316.
- ШАХМАТОВ, А. А., 2001. *Синтаксис русского языка*. Москва: Эдиториал УРСС.
- ЯНКО, Т. Е., 2001. *Коммуникативные стратегии русской речи*. Москва: Языки славянской культуры, 384 с.
- FRANKS, S., 1995. *Parameters of Slavic morphosyntax*. New York: Oxford University Press, 409 p.
- GRENOBLE, L.A., 2001. Conceptual reference points, pronouns and conversational structure in Russian [Электронный ресурс]. *The Slavic and East European Language Resource Center*. Issue 1 (Spring). Режим доступа: <http://seelrc.org/glossos>. Дата доступа: 08.05.2008.
- KIBRIK, A. A., 1996. Anaphora in Russian narrative discourse: A cognitive calculative account. *Studies in anaphora*. ed. by V. Fox. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, p. 255-304.
- KIBRIK, A.A., 2004. Zero anaphora vs. zero person marking in Slavic: a chicken/egg dilemma? [Электронный ресурс] *.5th discourse anaphora and anaphor resolution colloquium: proceedings*. Ed. by A. Branco [et al.]. Lisbon: Edicoes Colibri, p. 87–90.
- NILSSON, B., 1982. Personal pronouns in Russian and Polish: a study of their communicative function and placement in sentence. *Transl. from the Swedish by Ch. Rougle*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
- ROODE, E., 2002. Pronoun omission in Dutch and German agrammatic speech. *Pronouns – grammar and representation*. ed. by H. J. Simon; H. Wiese. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, p. 253–284.

Olga Goritskaya

Belarusian State University

REGULARITIES IN THE USE OF REDUNDANT PERSONAL PRONOUNS IN SUBJECT POSITION (THE CASE OF RUSSIAN)

Summary

The article is devoted to double person marking in the Russian utterances with 1st or 2nd person pronoun in subject position and verbal predicate in 1st or 2nd person present or future tense forms. The factors that determine the use of zero or non-zero pronouns in these utterances have been analyzed. We have revealed that pronouns establish discourse connections. Zero pronoun indicates that the discourse sample is about one person. Non-zero pronoun signals that there are some subject lines in the discourse sample. Pragmatic functions of personal pronouns in subject position have been outlined.

KEY WORDS: personal pronouns, subject, speaker, hearer, subject, discourse factors, redundancy.

Regina Jocaite

Šiaulių University

Višinskio g. 38, 76285 Šiauliai, Lietuva

e-mail: rjocaite@one.lt

CULTURAL DISCOURSE IN THE CONTEXT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING / LEARNING

The challenges of intercultural living are becoming the reality of our working and domestic life. Rapid changes in contemporary Europe, numerous contacts among cultures and the presence of otherness in our daily lives have changed our attitude towards cultural diversity and multiculturalism. It is commonly acknowledged that encountering otherness people have to demonstrate not only their linguistic competence but also awareness of their own culture and the cultures of others, of their similarities and differences, how to relate to them and respect diversity and the others' identity. Thus the processes of migration and general internationalisation have conditioned new practices in and approaches towards the educational practice of teaching / learning a foreign language focusing not only on the development of specific language skills (reading, listening, writing, speaking) in the target language but also on the development of the awareness and understanding of the target culture.

KEY WORDS: *intercultural competence, awareness, identity, diversity, ethnicity, heritage*

Introduction

Learning to speak another language is a complex process associated with communicative and social dimensions. Being a monolingual means seeing the world through the limited dimension of a single language. A language is not only a means of communicating information, it expresses the world vision of those who speak it, their imagination and their ways of using knowledge, it is also a means of establishing and maintaining relationships (UNESCO 2001). In order to live and function in our multicultural environment effectively and meaningfully people need to develop not only linguistic competence but also acquire the knowledge and awareness of culture in general, of their own culture and the culture of others, moreover, they need to learn new attitudes and skills. An interculturally competent person, while interacting with people from foreign cultures, understands their specific concepts, thinking, feeling and acting. Intercultural competence refers to an ability to understand and interact effectively with people of different cultures, relate language and culture and relate the target culture to one's own culture (<http://encyclopedia.thefreedictionary.com>).

Theoretical insights

One of the prerequisites for approaching foreign language teaching as the development of intercultural competence is the objectives specified in the foreign language course description:

- To enable them to establish new personal and professional relationships through the foreign language;
- To expose students to the culture, civilisation and unique values of the target country;
- To help them develop a complex notion of Lithuanian culture by comparing to the target culture;
- To develop an appreciation of the people and the culture of other countries.

The development of intercultural competence is also emphasized in *The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*, which states that in order to participate in a variety of social and cultural contexts the knowledge of the

society and culture of the community, in which the language is spoken, is necessary (CEFFL 2001).

Culture is a broad concept. The UNESCO describes culture as follows: 'the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society; it encompasses art, literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs' (UNESCO 2001).

According to Martin et al., cultural (intercultural) competence is comprised of four components:

- Awareness of one's own cultural worldview;
- Knowledge of different cultural practices and worldviews;
- Positive attitude towards cultural differences;
- Skills and practices of cultural competence (Martin, Vaughn 2007, p. 31-36).

Kramersch (1998) defines intercultural competence as a combination of attitudes, knowledge, skills and sub-skills, awareness and self-awareness:

- **Attitudes** are the bases of intercultural competence: openness to and interest in other people's values, behaviours and beliefs, willingness to admit diversity;
- **Knowledge** of differences in things and practices, an ability to see them in a positive light rather than as differences;
- **Skills of interpreting and relating**: an ability to recognise differences, understand, explain and relate them to one's own reality;
- **Skills of discovery and interaction**: knowledge how to acquire new knowledge from other people and an ability to use knowledge, attitudes and skills in interactions;
- **Skills of comparison**: an ability to analyse, compare and evaluate other behaviours, beliefs and meanings by contrasting them to one's own, emphatic and analytical understanding of the similarities and divergences of one's own culture and of other cultures;
- **Self-awareness**: critical awareness of oneself and one's values as well as those of other people;
- **Cultural awareness**: awareness of cultural variety, an ability to depart from ethnocentricity.

In sum, intercultural competence includes knowledge (insight into and awareness of the native culture and the target culture), positive attitudes towards the foreign culture and culturally appropriate behaviour (Kramersch 1998)

Thus a foreign language teacher should recognise the following aims of a foreign language course:

- To provide learners with linguistic and intercultural competence and prepare them for interactions with people of other cultures;
- To enable learners to understand and accept people from other cultures as individuals with other perspectives, values and behaviours;
- To help them see that interactions are an enriching experience (Byram et al. 2002).

Although over the past twenty years it has been widely accepted that foreign language teaching cannot be separated from the teaching of culture and thus fostering the development of intercultural competence, literature review allows making a conclusion that teachers' practices and approaches to culture teaching vary: from transmission of facts when some information about the people, products and customs of the target culture is provided, to the *4-F* approach focusing on folk dances, festivals, fairs and food, to the *Tour Guide* approach focusing on historical sites, major cities, etc., to the *By-the-Way* approach when the teacher shares bits of travel information. Recent shift to culture teaching / learning as one of the *5 Cs*: Communication, Cultures, Comparisons, Connections, Communities, has been noticed (The Internet TESL journal).

Valette (1986) points out that there are two major components of culture in the language classroom: one is the anthropological or sociological culture: values, attitudes, customs and daily activities of people, their ways of thinking, etc. The other component of culture is the history of civilization, traditionally understood as geography, history and the achievements in the sciences and the arts (Valette 1986). Thus a foreign language learner should not only become aware of the intentions, expectations and behaviour of a native speaker and learn how to express his own intentions in the foreign language but also get acquainted with cultural differences, different values, worldviews and behaviours preserving one's own identity.

Taking into consideration the above mentioned aspects, cultural connections and relationships it is evident that learning a foreign language should go beyond the emphasis on language skills (reading, listening, writing, speaking), grammar or lexical structures. The cultural dimension, broadly and sensitively addressed at tertiary level, can give university students opportunities of acquiring skills essential for personal and professional development and prepare them for successful intercultural social encounters in the globalising world.

Research aim

In order to get an insight into the present day situation of foreign language teaching / learning at tertiary level, a survey was carried out in 2007 at Šiauliai University. A questionnaire consisting of three blocks of questions was designed. This paper focuses on the part dealing with the following aspects of the culture dimension in EFT:

- Teachers' attitudes towards practices of including the culture component (the native and the target culture) in the course;
- Students' experiences in real life interactions in English in general and in relation to culture issues;
- Self-assessment of their own performance in English in general and in relation to the culture dimension;
- Students' attitudes to the culture component in the course and its perceived value for the development of their linguistic skills in the target language.

Research methods: literature analysis, analysis of the content of EFT courses, survey analysis.

Research sample: 15 teachers of English and 120 students, 34 male and 72 female, randomly selected from a population of 1247 doing a course of EFT at Šiauliai University.

Results

Presently Šiauliai University students have an opportunity to study English, French, German or Russian as a foreign language (Figure 1). The dominance of English is indisputable.

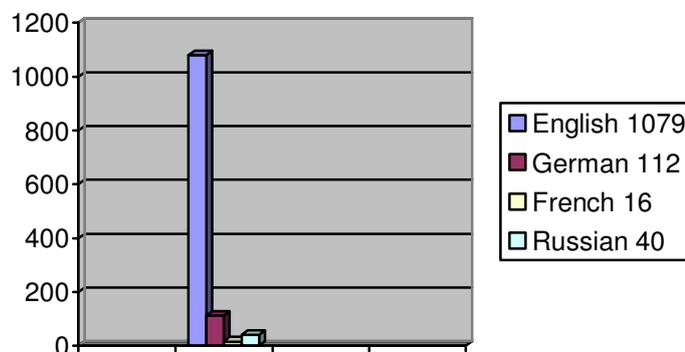


Fig. 1. Students in FL courses by languages (N=1247)

In response to an open-ended question on the benefits of / constraints on the inclusion of cultural issues into EFL, the respondents teachers acknowledged that teaching English cannot be limited to the studies of a language system; discourses of the home and target culture are engaging and improve the students' communicative and linguistic skills as they use the language. They commented that culture cannot be learned or acquired in a few lessons about celebrations, traditions or costumes of the country where the language is spoken and that they do not exploit cultural issues to the full. They also noted that cultural issues are most present if the language is taught as a second language (EST) in a multilingual, multicultural setting or by immigrants. In our case English is taught in a monocultural setting to monolingual learners who do not have a cultural focus in their studies. In their opinion, although most course books have pages or culture corners which encourage students to learn about the target culture, make comparisons, share cross-cultural experience, etc. while practising language skills they focus on ESL rather than on EFL learners. They had doubts whether authentic material from magazines, newspapers and other realia available through the Internet gives the students (and themselves) personal experience in the target culture. According to them, the issue of culture integration into a foreign language course is a particularly stressful experience for non-native speaking teachers: they lack confidence to be guides or mediators of something that is not really a part of them; experience fear of losing face; are uncertain about particular culture components to be included into the course; they lack cultural sensitivity, etc. They also claimed that they need guidelines and methods how to develop the connections and relationships between the home and the target culture in classroom practices.

Another question focused on the students' experiences in social encounters. 75% of the surveyed recalled face-to-face, 89% Internet / email interactions (chatting on the computer), 45% watched television (listened to music), 5% read books, newspapers or magazines (Figure 2).

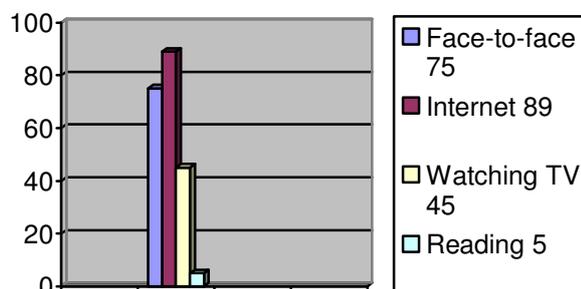


Fig. 2. Respondents' contacts with English in percentage (N=120)

Rating these contacts as pleasant / neutral / unpleasant, 89% of the respondents felt they were neutral / unpleasant rather than pleasant and described them using such words as: *stressful, awkward, embarrassing, nervous, scared, miserable, lost, dumb, unsuccessful*. It should be noted that the respondents were of intermediate – upper intermediate level. Worth attention are comments on the reasons of perceived failure in the discourse: lack of lexis, lack of the cultural information on the home country's culture (traditions, customs, food, celebrations, cultural heritage, current political, social and economic issues), psychological constraint and fear to be misunderstood. Listening to others' talk caused less anxiety.

Responses on the value of the EFL course as perceived by the learners' showed their general positive attitude towards the subject, awareness of its benefits and a strong desire to communicate with people from other cultures (Figure 3).

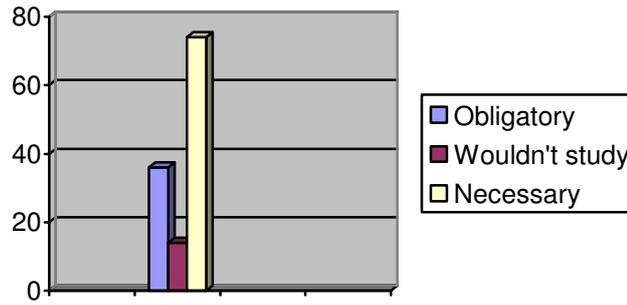


Fig. 3. Perceived need of EFL course in percentage (N=120)

The respondents answers to the question *What are your assumptions related to the cultural dimension in EFL?* included the following comments: *a part of general education, a part of university curriculum, develops an ability to communicate, builds confidence, is engaging, exposes to the target culture, raises national awareness, fosters interest in and openness to other cultures, important for establishing and maintaining relations with people, helps to see differences and commonalities, broadens mind, indispensable in social / personal encounters, etc.* Only 12 respondents had no opinion on the issue.

The respondents' notion of culture was very broad; they mentioned customs and traditions (68%), literature (65%), history (60%), cultural heritage (53%), the Lithuanian language (52%), historical events (regaining of Independence) (49%), folk songs and dances (40%), food (30%), behaviour norms (25%) (Figure 4).

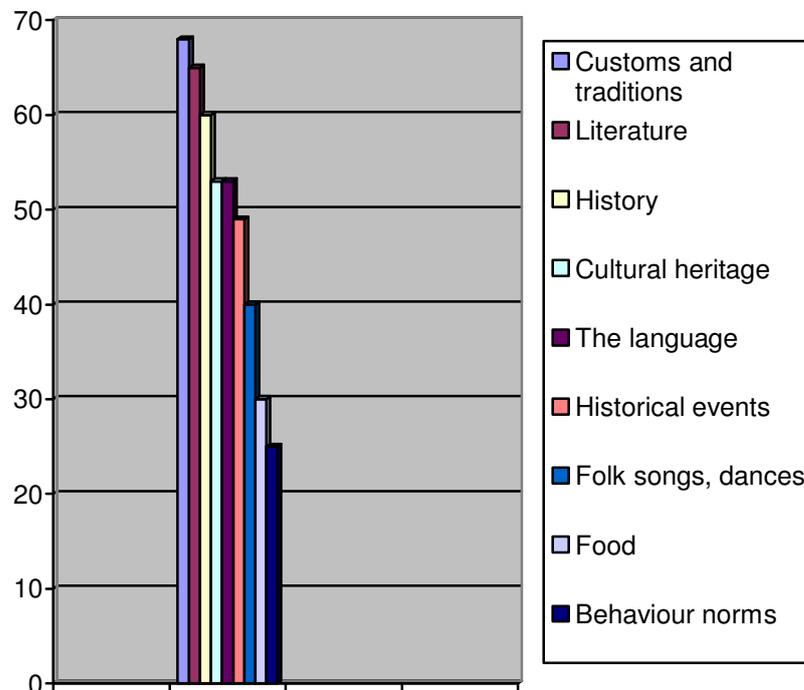


Fig. 4. The concept of culture in the learners' perception in percentage (N=120)

Conclusions

The implication is that:

- An EFL course covering all aspects of the target culture is difficult to be designed. It is the teacher's responsibility to decide how much of the cultural content and what cultural components are to be included in EFL, how not to leave out what is important or not to give stereotypical images. His / her main concern should be not how much information about the country and its culture to include but how to engage learners in exploration, observation, reflection, reaction, interpretation, negotiation, sharing and discussing in the target language through task-and-content based activities. The teacher should only offer insights into a variety of topics from life-styles, pop-culture, sub-cultures, survival, stereotypes, to globalisation, self-awareness and migration.

- The teacher has to be creative, sensitive and knowledgeable in the methods of integrating cultural aspects in language teaching. Reading a magazine article, making a presentation, writing a report can serve as a starting point. The learning process is effective and meaningful when students are given a chance to react to and reflect on any element of the target culture and then compare it with the corresponding element of their own culture in task-and-content oriented activities.

- Learners should build confidence in and awareness of their own culture through exposure to another. By exploring their own culture they can acquire the vocabulary with which to describe traditions, customs, rituals, forms of greeting, cultural signs, identity symbols, values, expectations, behaviour familiar to them and be able to compare with the target culture. Once students know how to talk about their culture, how to explain themselves in the way others do and how to make themselves understood by others they will feel confident while discussing the traditions, values and expectations of others and dealing with cultural differences.

- Teachers and learners have to understand the concept of intercultural competence as it is defined in the work program *Education and Training 2010*:

To have basic knowledge of major national and European cultural works and be able to relate one's own culture to that of others;

To be open to Europe's cultural and linguistic diversity;

To retain identity combined with respect for diversity;

To show willingness to overcome stereotypes.

References

BYRAM, M.; GRIBKOV, B.; STARKEY, H., 2002. *Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching*. Council of Europe, Strasbourg. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_dimintercult_En.pdf (accessed 2008.02.20).

Education and Training 2010, 2004. European Commission. <http://ec.europa.eu/education/policies/2010.doc> (accessed 2008.02.20).

KRAMSCH, C. L., 1998. *Language and Culture*. Oxford: OUP.

Languages, 2001. Conflict or Coexistence? UNESCO <http://unesdoc.unesco.org> (accessed 2008.02.20).

MARTIN, M., V.; AUGHN, B., 2007. Strategic Diversity & Inclusion. San Francisco, CA: DTUI Publications Division, p. 31-36. <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> (accessed 2008.02.20).

The Internet TESL journal <http://iteslj.org/Articles> (accessed 2008.02.20)

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (2001). Cambridge University Press. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Sources/Framework_En.pdf (accessed 2008.02.20)

VALETTE, R. M., 1986. *The Culture Test*. In Valde J. M. *Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching*, New York: Cambridge University Press

Regina Jocaitė

Šiaulių universitetas, Lietuva

KULTŪRINIS DISKURSAS UŽSIENIO KALBOS MOKYMO/SI KONTEKSTE

Santrauka

Dabartinėmis sąlygomis gebėjimas efektyviai bendrauti užsienio kalba yra svarbi vertybė. Straipsnyje nagrinėjama tarpkultūrinės kompetencijos sąvoka, jos sudėtinės dalys ir kultūrinio diskurso įtraukimo į EFL kursą pragmatiniai tikslai. Tyrimas parodė, kad tiek dėstytojai, tiek studentai suvokia kultūrinio diskurso reikšmę praktiniuose užsienio kalbų užsiėmimuose: jis ugdo ne tik kalbinę, sociolingvistinę kompetencijas, bet ir bendrąsias vertybes: savivoką, atvirumą, toleranciją, gebėjimą suprasti kitus ir bendradarbiauti; jį interpretuoja plačiai. Dėl suprantamų priešasčių dėstytojai nepilnai panaudoja kultūrinį diskursą užsienio kalbos mokyme/si. Daroma išvada, kad kultūrinis diskursas turi būti orientuotas ne tiek į etnokultūrinės informacijos įsisavinimą, kiek į besimokančiojo supratimo apie sociokultūrinio gyvenimo įvairovę plėtimą, skatinti domėjimąsi, refleksiją ir komunikaciją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: intercultural competence, awareness, identity, diversity, ethnicity, heritage

Елена Юхмина

Челябинский государственный педагогический университет

пр. Ленина 69, 454080 Челябинск, Россия

e-mail: alen_vitamin@mail.ru

ПРОЦЕССЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Данная статья посвящена исследованию специфики вхождения, освоения и функционирования компьютерных терминов иноязычного происхождения в русском языке. Будет рассмотрена адаптация иноязычных терминов в русском языке на различных языковых уровнях, выявлены основные семантические сдвиги, происходящие при заимствовании терминов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *компьютерные термины, заимствование, семантическая адаптация, метафоризация, метонимизация.*

Развитие языка происходит в соответствии с его внутренними закономерностями и определяется потребностями языковой системы. Появление чего-то нового в жизни общества, как и познание новых предметов и явлений, вызывает необходимость номинации, что влечет за собой образование в языке новых слов и выражений или образование новых значений у ранее существовавших единиц лексики. Пополнение лексического фонда языка осуществляется как за счет внутриязыковых ресурсов (словообразование, семантическое развитие), так и за счет лексического материала другого языка.

В связи с расширяющимися внешнеэкономическими, политическими, социальными и культурными контактами России со странами Евросоюза в лексике русского языка наблюдается большое количество иноязычных заимствований, среди которых особое место принадлежит заимствованиям из английского языка. Процесс компьютеризации различных сфер человеческого общества приводит к тому, что широкий пласт специализированной компьютерной терминологии активно внедряется в словарный состав различных языков мира. Исторически сложилось так, что флагманом мировой компьютеризации стали Соединенные Штаты Америки, что обуславливает формирование компьютерной терминологии на базе английского языка. Сфера информационных технологий является наиболее динамично развивающейся. Компьютер постоянно обновляется и совершенствуется в области программного обеспечения, инструментальных средств, пользовательского интерфейса, что сопровождается появлением новой компьютерной лексики. Компьютерные термины – сравнительно новое явление для русского языка, на отечественном рынке персональные компьютеры появились лишь в середине 80-х годов. Однако процесс освоения компьютерных терминов получает все большее распространение среди широкого круга русскоязычного населения. Это связано с тем, что компьютерные технологии применяются во всех областях человеческой деятельности в сфере обработки, анализа и хранения данных. Эти процессы находят отражение в создании новой компьютерной терминологии и трансформации существующих терминов, а также в активном заимствовании.

Цель данной статьи – рассмотреть процессы семантической адаптации компьютерных терминов иноязычного происхождения в русском языке, так как семантическая адаптация является одним из важнейших условий полного освоения заимствованного слова.

Каждое слово является отражением какого-то отрезка действительности – реальной или мнимой, но вместе с тем и единицей языка, связанной фонетически, грамматически и семантически с другими единицами. Способы выражения лексического

значения в слове создаются длительной речевой практикой людей и становятся элементами языковой системы. Они определяют и характер отражения в языке вновь познаваемых отрезков действительности. Заимствование иноязычных терминов носит системный характер. Компьютерные термины иноязычного происхождения, попадая в русский язык, не остаются в статично неизменном виде, а подчиняются законам заимствующего языка.

В настоящем исследовании под термином «адаптация» (позднелат. *adaptatio* - приспособление) в узком смысле мы понимаем процесс изменения иноязычного слова под влиянием языковой системы языка-реципиента в ходе семантического освоения заимствованного слова, в широком смысле процесс приспособления иноязычного слова к системе заимствующего языка.

Вхождение иноязычного слова в систему принимающего языка сопровождается последовательными изменениями данного слова на всех языковых уровнях. Выделяют следующие основные признаки вхождения слова в систему принимающего языка:

- передача иноязычного слова фонетическими и грамматическими средствами заимствующего языка;
- соотнесение слова с грамматическими классами и категориями заимствующего языка;
- фонетическое и грамматическое освоение иноязычного слова;
- словообразовательная активность слова;
- семантическое освоение, а именно, определенность значения, дифференциализация значений и их оттенков между существовавшими в языке словами и заимствованиями;
- регулярная употребляемость в речи: для слова, не прикрепленного к какой-либо специальной стилистической сфере, – в различных жанрах литературной речи; для термина – устойчивое употребление в той терминологической области, которая его заимствовала, наличие определенных парадигматических и «значимостных» отношений с терминами данного терминологического поля (Крысин 1968, с. 35).

Не все перечисленные признаки являются обязательными для вхождения и функционирования иноязычного слова. Факультативными признаками можно назвать фонетическую и грамматическую ассимиляцию иноязычного слова и его словообразовательную активность. В русском языке существуют и активно употребляются компьютерные термины с нехарактерными для русской фонетики чертами: **джойстик**, **гаджет**, **джингл**, **дайджест** (произношение звуков «дж» характерно для русского языка только на стыке морфем – **отжим**), **тайминг**, **фишинг**, **мониторинг**, **фарминг**, **лофтинг**, **постинг** (сочетание «нг» в конце слова не характерно для русских слов), **адапт[э]р**, **пл[э]йлист**, **тр[э]к**, **инсайд[э]р**, **вью[э]р**, **принт[э]р**, **рид[э]р**, **тон[э]р** (в русском языке перед «е» характерно произношение мягкого согласного), **брандмауер** (сочетание трех гласных букв «ауе» свидетельствует об иноязычном происхождении слова).

Следует заметить, что в теории заимствования отсутствует единая терминология, используемая в описании этапов процесса приспособления или адаптации иноязычного слова в системе принимающего языка (что усложняет получение ясного представления о его сущности). В зависимости от языкового уровня, на котором происходит приспособление иноязычного слова к системе русского языка, мы выделяем следующие этапы освоения иноязычного слова: графическое, фонетическое, семантическое, грамматическое и синтаксическое освоение иноязычного слова.

Графическое освоение иноязычного слова. При графическом освоении иноязычного слова происходит *перекодирование* графической оболочки заимствованного слова, т. е. графический образ иноязычного слова передается с помощью графических средств заимствующего языка. Данный процесс протекает в двух основных направлениях: без графического переоформления и с графическим переоформлением. В первом случае

заимствуется материальная форма слова с иноязычной системой письменности: *web, e-mail, Adobe Photoshop, Windows XP, Adobe Reader*. Во втором случае может происходить:

1). Заимствование материальной формы слова с сохранением его содержания, например, *снифферы* (англ. – sniffers) - анализаторы сетевых пакетов. В данном случае речь идет о транслитерации (под транслитерацией здесь понимается передача графического облика иноязычного слова эквивалентными графемами заимствующего языка без применения дополнительных знаков и букв, не входящих в алфавит этого языка) (Крысин 1968, с. 58). В данном случае в рамках существующих формально-семантических отношений между языковыми знаками можно говорить о том, что условно *означаемое* и *означающее* в языке-источнике и в языке-реципиенте остаются неизменными и тождественными: $A_1=A_2, B_1=B_2$ (identity), где *A* – означаемое (смысл), *B* – означающее (значение). И. А. Мельчук (1968) описывая формально-семантические отношения между лингвистическими знаками, говорит о двусторонней природе языкового знака. Он отмечает, что лингвистический знак состоит из двух компонентов, первый из которых означающее (signified), второй означающее (signifier). Означающее представляет собой внешнюю сторону лингвистического знака, а означаемое - его внутренняя сторона, которая в свою очередь состоит из трех компонентов: семантического, прагматического и синтаксического. И. А. Мельчук принимает следующее тождество значение=семантический компонент=означаемое. Он выделяет 17 возможных формально-семантических отношений между лингвистическими знаками на базе установленных четырех типов отношений: тождественность (=), включение (\subset), пересечение (\cap), отсутствие общей части (\neq). Рассмотрим отношения между лингвистическими знаками в языке-источнике и языке-реципиенте на основе указанных четырех базовых типов отношений.

2). Заимствование материальной формы слова с наполнением данного слова новым содержанием. В процессе заимствования принимающий язык имеет потенциальную возможность заимствовать форму иноязычного слова, но не его содержание. Если рассматривать данный процесс с позиции языкового знака, то *означающее* в языке-источнике и в языке-реципиенте остается условно неизменным, а *означаемое* в языке-реципиенте изменяется, что сопровождается изменением семантического, прагматического и синтаксического компонентов. Графическое оформление языкового знака в обоих языках условно совпадает, а внутреннее содержание не имеет ничего общего: $A_1 \neq A_2, B_1 = B_2$ (insertion/existence of a common part).

3). Заимствование материальной формы слова на основе произношения данного слова в языке-источнике (транскрипция): **upgrade** – апгрейд, **driver** - драйвер, **file** - файл, **interface** – интерфейс. Говоря о формально-семантических отношениях между лингвистическими знаками, можно отметить, что в данном случае наблюдается совпадение семантического компонента в языке-источнике и в принимающем языке и различное графическое оформление, т.е. *означаемое* остается относительно неизменным, а *означающее* изменяется: $A_1 = A_2, B_1 \cap B_2$ (intersection).

4). Заимствование содержания иноязычного слова без сохранения формы слова (семантическое заимствование). В терминах формально-семантических отношений можно говорить о том, что *означаемое* остается условно неизменным, в то время как *означающее* в языке-источнике и языке-реципиенте различаются: $A_1 = A_2, B_1 \neq B_2$ (insertion/existence of a common part).

Передача иноязычного слова графическими средствами заимствующего языка происходит легко, однако в результате графического перекодирования могут образоваться труднопроизносимые сочетания. В дальнейшем в процессе фонетической ассимиляции происходит адаптация данных сочетаний к фонетической системе языка-реципиента. Это проявляется в следующем: оглушение конечных звонких согласных, смягчение согласных перед *e* и т.д.

Фонетическое освоение иноязычного слова или фонетическая *ассимиляция* иноязычного слова в системе русского языка, когда отсутствующие в данной системе звуки заменяются на более близкие в акустическом или в артикуляционном отношении. На передачу компьютерных терминов из английского языка в русский язык влияют следующие факторы: произношение и написание терминов в английском языке, фонетические возможности алфавита русского языка, а также различные опосредованные влияния. Средствами русского алфавита невозможно передать признаки, которые имеют в английском языке фонематическое значение, как, например, английский звук [ŋ] в таких словах, как *lofting* ['loftɪŋ], *timing* ['taɪmɪŋ], в русском языке приблизительно передается при помощи сочетания звуков [нг] - лфтинг, тайминг или звука [н] - фишин (*fishing*). В данном случае мы наблюдаем различие по месту артикуляции. Английский звук [ŋ] – назальный, смычный, *заднеязычный*, велярный, в то время как русский [н] – назальный, смычный, *переднеязычный*, апикальный. Сочетание звуков [нг], где [г] – смычный, заднеязычный, заднее-небный звонкий согласный, также не в полной мере передает особенности произношения английского звука [ŋ].

При фонетической ассимиляции из языка-источника берется звуковой образ лексической единицы и происходит субституция составляющих его звуков. Исследователи выделяют следующие разновидности звуковой субституции:

- *звуковая конвергенция* – регулярная замена двух близких звуков одним (например, передача долгих и кратких гласных в русском языке, где такого различия нет): *engineering* – *инжиниринг*;
- *звуковая дивергенция* – передача одного звука двумя (передача в русском языке придыхательного звука [h] то с помощью *x* – *хакер (hacker)*, то с помощью *г* – *гипертекст (hypertext)*);
- *простая субституция* – передача одного звука языка-источника одним же звуком заимствующего языка: *modem* – *модем*, *spam* – *спам*.

Можно выделить общие тенденции освоения иноязычных заимствований звуковой системой русского языка. Так, согласные, звучащие в конце слова в языке-источнике как звонкие, в русском языке по законам русской фонетики оглушаются. На заимствованные слова распространяется и аканье, т.е. нейтрализация *o* в безударном слоге. В большинстве заимствованных слов согласные, звучавшие в языке-источнике перед *э (e)* твердо, смягчаются по законам нашей фонетики. Итак, отношения между фонетическими системами двух языков не являются симметричными, между ними нет полного совпадения, у каждого языка своя система фонем (Горбачевский А.А. 1978, с.155).

Семантическое освоение иноязычного слова или семантическая *адаптация* иноязычного слова, когда заимствованное слово включается в семантическую систему русского языка путем приобретения синонимов и родо-видовых связей. Приобретение заимствованием семантической самостоятельности подразумевает процесс, состоящий из нескольких этапов. Мы выделяем три основных этапа семантической адаптации компьютерных терминов в русском языке.

На первом этапе происходит проникновение заимствуемого слова в язык-реципиент. Формально это выражается в передаче иноязычного слова фонетическими, графическими средствами принимающего языка. На данном этапе семантическая адаптация иноязычных слов сопровождается лексико-семантической вариативностью, что свидетельствует о том, что значение слова еще не вполне стабилизировалось, что слово недостаточно четко выделяется в ряду семантически близких исконных слов или более ранних заимствований. Вариативность компьютерных терминов проявляется в их лексической и грамматической вариативности.

Лексическая вариативность: а) параллельное употребление старого и нового заимствований (семантические дублиеты): *винчестер* – *жесткий диск*, *монитор* – *дисплей*, *система охлаждения* – *кулер*. б) синонимия старого и нового заимствований (часто

однокоренных, причем новое представляет собой «усечение» более раннего): *демонстрационная версия - демоверсия*. В периоды, когда язык претерпевает изменения, обусловленные экстралингвистическими факторами, речь полна инноваций, конкурирующих между собою, и с традиционно существующими единицами, столкновение и сосуществование дублирующих форм, в частности лексических является неизбежным. Можно предположить, что в дальнейшем один из дублетов вытесняется из речи или происходит семантическая и стилистическая дифференциация тождественных единиц. В настоящее время наблюдается также совместное употребление иноязычного термина и русского слова, причем русское выступает в качестве переводческого эквивалента, пояснения иностранного термина: *мониторинг – контроль, апгрейд – обновление, онлайн – в сети, кейс – корпус, картридер – устройство для чтения карт, инсталляция – установка*.

Грамматическая вариативность – варьирование формы иноязычного слова: неустойчивость рода, числа, звуковой структуры слова, окончаний: *майл-мейл, хард диск – жесткий диск*.

Постепенное обособление слова, автономизация его семантики, связанная с освоением его в системе языка, влечет за собой сужение возможностей для вариативного употребления его в речи; лексические связи данного слова с другими единицами языка становятся более отчетливыми и постоянными (Крысин 1968, с.75).

На втором этапе происходит дифференциация значений заимствования и синонимичных ему исконных слов. Эта дифференциация происходит в собственно семантическом плане, что особенно характерно для заимствований в терминологии, а также в функциональном и стилистическом плане. При этом заимствованное слово включается в родо-видовые отношения, а также получает точное самостоятельное значение. С включением в лексико-семантическую систему и приобретением функциональной характеристики заимствования входят в определенные области лексики, где они получают распространение и условия для регулярного употребления, начинают сочетаться с определенными словами, а также использоваться для образования производных слов: *компьютер – компьютерщик – компьютерный, программа – программист – программный – программировать*.

На третьем этапе освоения заимствованного слова происходят различные семантические сдвиги, развитие словообразовательного гнезда, изменение стилистического ореола слов.

Сужение смыслового диапазона иноязычного слова. Особенностью семантической адаптации заимствований, отмечаемой многими исследователями, является уменьшение смыслового объема заимствуемых слов. Это происходит, потому что многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих значений, и объем значения слова при заимствовании, как правило, сужается. В качестве примера такого сужения значения многозначных слов при заимствовании компьютерных терминов можно привести следующее: **bug** (в английском языке имеет значение также ‘насекомое’, ‘жук’, ‘клоп’, ‘вирус’, ‘микроб’, ‘человек, преследуемый навязчивой идеей’, ‘подслушивающее устройство’, ‘охранная сигнализация’ и др.) в компьютерной терминологии имеет значение программная или аппаратная ошибка (блоха).

В данном случае сужение значения слова происходит за счет его специализации.

Расширение смыслового диапазона иноязычного слова. В процессе заимствования и семантической адаптации английских компьютерных терминов у общеупотребительных слов русского языка могут появиться дополнительные терминологические значения на основе существующих в языке-источнике. Данный процесс наиболее ярко наблюдается в случае заимствования метафоризированных компьютерных терминов. Под метафоризированными терминами мы понимаем термины, которые в языке-источнике были образованы на основе метафорического переноса (перенос по сходству). Метафора является неотъемлемой частью понятийной системы человека, важное свойство его

мышления и эффективное средство пополнения лексики. Роль метафорической номинации в терминообразовании вообще и особенно в создании терминологии новых областей знаний стала общепризнанным фактом. Область компьютерных технологий не является исключением. На основании изучения политической терминологии А. П. Чудинов пришел к выводу, что метафорическое моделирование – это отражающее национальное, социальное и личностное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, фреймов и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной области. По мнению В. В. Петрова, подвергнутый метафоризации субъект включает в себя две составляющие: выражаемую первоначальную основополагающую идею и предполагаемую идею (Петров 1982, с.78). В данном случае мы имеем ввиду когнитивную метафору, которая синтезирует новое понятие. Процесс метафоризации компьютерных терминов происходит не хаотично, а подчиняется некоторым факторам. При анализе природы формирования метафорического значения традиционно выделяется три этапа этого процесса:

- вычленение объекта исследования по некоторым его отличительным признакам, которые составляют первоначальное понятие о данном объекте. При этом слово берется не во всем объеме значений, а вычленяется лишь нужное. Так, например, на первом этапе становления термина *трафик* (англ. traffic – дорожное движение) сходным признаком оказалось именно «движение», и термин *трафик* получил дефиницию - поток данных, передаваемых через цифровой канал;
- концептуализация - формирование понятия объекта исследования под влиянием значения общеупотребительного слова;
- закрепления выбранной единицы номинации за новым понятием и разведение двух семантических планов (отталкивание нового понятия от значения общеупотребительного слова) на том основании, что новый смысл наименования обладает автономной направленностью на действительность. В связи с этим единица номинации приобретает самостоятельную номинативную ценность и становится термином.

Метафоризация в компьютерном тексте – распространенное явление. Возникновение нового значения происходит на основе актуализации различных сем, например:

сема – ‘связь, соединение’: **bridge** n. (англ. – мост) в компьютерной терминологии приобретает значение устройство, соединяющее две сети;

сема – ‘изображение’: **icon** n. (англ. – икона, образ) – элемент графического интерфейса (иконка, значок);

сема – ‘нечто разрушающее, действующее тайно’: **virus** n. (англ. – вирус, бацилла) – компьютерный вирус;

сема – ‘коварство’: **Trojan horse** n. (греч. - Троянский конь) – программа, которая выдает себя за другую программу с целью получения информации;

сема – ‘нечто ползающее’: **spider** n. (англ. – паук) – поисковый агент, ползунок, паук, червяк, гусеница название программного поискового механизма в Web для автоматического выбора всех документов, на которые есть ссылки в первом выбранном документе;

сема – ‘смотреть’: **window** n. (англ. – окно) - окно прямоугольная область на экране дисплея, через которую осуществляется взаимодействие с приложением или его частью.

При описании метафоризированных терминов необходимо охарактеризовать мотивирующие признаки, на основании которых осуществлялся метафорический перенос. Мы выделяем следующие признаки:

- 1) перенос по форме: **mouse** (мышь), **worm** (тире), **net** (сеть); **icon** (иконка, значок).
- 2) перенос по функции: **basket** (корзина), **bridge** (мост), **traffic** (трафик), **backbone** (опора);
- 3) перенос по механизму действия: **Trojan horse** (Троянский конь), **spider** (паук), **virus** (компьютерный вирус);

- 4) перенос по характеру действия: **sleep** (находиться в режиме ожидания);
 5) перенос по сходству размеров: **notebook** (ноутбук), **laptop** (портативный компьютер).
 Метафорические термины, созданные на основе общности указанных признаков, не представляют сложности для понимания, так как их мотивация очевидна.

Значительная часть компьютерных терминов, образованных с помощью метафоризации, может быть отнесена к лексическим единицам, образованным за счет различных областей-доноров. Данные термины представляют собой особый интерес, поскольку анализ источников их происхождения способен не только пролить свет на процесс номинации в рамках компьютерной терминосистемы, но и выявить некоторые закономерности, общие для многих формирующихся терминосистем.

В зависимости от смыслового содержания компьютерных терминов-метафор в языке-источнике можно выделить соответствующие области-доноры:

	Область-донор	Английский язык	Русский язык
Термины - антропоморфизмы	Мир человека	Memory, brain, backbone, family, name, motherboard, hand, head, artificial intelligence.	Память, мозг, опорная сеть, семья, имя, материнская плата, рука, голова, искусственный интеллект
	Мир физических состояний человека	Sleep, attack, play, run, load, jump, trip, speak (er), chat, view, read и др.	Ожидать, атаковать, начинать работу, загружаться
	Мир одежды	Jacket, button, boot, pocket, shoe, hat, cap	Коробка для дискеты, кнопка, загрузка, карман (для карт), башмак (на магнитных дисках), шляпа (название символа)
Социальная жизнь	Мир мифов, праздников, культуры	Trojan horse, Easter egg, icon, picture, script	Троянский конь, пасхальное яйцо, иконка, картинка, сценарий
	Мир биологии и медицины	Virus, injection, germ	Вирус, инъекция, микроб
	Мир точных наук	Task, mark, value, matrix	Задание, знак, оценка, матрица
	Мир транспорта	Bridge, traffic, bus, wheel	Мост, трафик, шина, колесо
	Мир интерьера	Window, mirror, socket, pad, desktop, wall, fork	Окно, зеркало, гнездо, коврик (для мыши), рабочий стол, стена, вилка
	Мир животных и растений	Mouse, bug, worm, spider, CAT, tree, branch, root	Мышь, жучок (аппаратная ошибка), червь (вирус), паук, дерево, ветвь, корень (корневой каталог)
	Мир окружающей среды	Landscape, wave, flow, resource	Ландшафтный режим, волна (колебание), поток (заливка), дерево (каталогов), ресурс

При заимствовании компьютерных терминов-метафор можно выделить следующие процессы, которые происходят в семантике общеупотребительных слов принимающего языка:

- 1) транстерминологизация одного из значений общеупотребительного слова из одного семантического поля в другое, при которой общеупотребительное слово в языке-реципиенте расширяет свое первоначальное значение по аналогии со сходным словом в языке-источнике, например, у лексемы *mouse* (с англ. мышь) на основе метафорического переноса по форме появилось дополнительное значение “a pointing device that functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface”, соответственно в русском языке у лексемы *мышь* (небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длинным хвостом) на основе терминологического значения английского компьютерного термина *mouse* появился новый лексико-семантический вариант “устройство управления курсором”;
- 2) терминологизация/специализация значения словосочетания, например, *desktop* в английском языке и *рабочий стол* в русском языке имеют значение “экранная

интерактивная среда с представленными на экране символами рабочих компонентов пользователя”;

- 3) терминологизация ядерного значения общеупотребительного слова, например, общеупотребительное слово русского языка - *спать (ожидать)* по аналогии с английским *sleep* в компьютерной терминологии используется в своем основном значении «отдыхать, находиться в состоянии бездействия».

Метафоризация является универсальным средством пополнения компьютерной терминосистемы английского языка. С ее помощью создаются новые лексические единицы, обладающие некоторой образностью, ярко выраженной на первом этапе становления термина, но ослабевающей по мере возрастания частотности его употребления. Можно предположить, что дальнейшее развитие компьютерной терминологии будет связано с созданием новых метафор.

Метонимизация наряду с метафоризацией также является одним из вариантов семантического сдвига в заимствованных словах. Метонимизация представляет собой перенос по смежности и является универсальным семантическим процессом, который активно протекает в современном русском языке. Новые значения на базе метонимического переноса могут возникнуть в языке-источнике и заимствоваться языком-реципиентом путем калькирования как, например, разновидность метонимического переноса – антономазия в компьютерной терминологии:

Компьютерный термин	Происхождение	Значение
Macintosh	сорт яблок (McIntosh)	персональный компьютер
Pascal	французский математик, физик, литератор и философ (Blaise Pascal)	язык программирования Паскаль
Dr. Atanasoff's Computer	физик (John Vincent Atanasoff)	компьютер Атанасова
Turing machine	английский математик (Alan Mathison Turing)	машина Тьюринга

Различие метафоры и метонимии сводится к тому, что метафора создает словесный образ, проецируя друг на друга два различных денотативных пространства, тогда как метонимия осуществляет преобразование на основании соположения двух вербальных образов в пределах одного и того же денотативного пространства. Такая разнонаправленность позволила в свое время Р.Якобсону связать метафору с парадигматическими, а метонимию – с синтагматическими механизмами порождения языковых значений и текста (Якобсон 1990, с. 121).

В компьютерном терминопле метонимический перенос можно проиллюстрировать на следующих примерах:

Сходство по функции	browser (browse) – браузер, web-обозреватель, окно просмотра, программа просмотра, driver (drive) – драйвер (программа, контролирующая работу периферийных устройств), server (serve) – главный, управляющий компьютер в локальной сети).
Сходство по действию	hacker (hack) – взломщик компьютерных сетей и программ), subscriber (subscribe) - абонент, подписчик, router (route) - устройство для определения маршрута следования информации в сети, распределитель, session - сеанс работы пользователя с системой.
Перенос наименования с части на целое	processor/microprocessor - процессор/микروпроцессор, byte/gigabyte -байт/гигабайт.

Итак, основой метонимии служат отношения между однородными категориями, где возможны различные ассоциации по смежности.

Этап **грамматической и синтаксической адаптации/интеграции**. Грамматические связи, которые приобретает заимствованное слово в языке, устанавливаются путем включения его в определенную парадигму. Слово приобретает те или иные

грамматические категории, а также синтаксические связи, которые характерны для соответствующего исходного слова.

Рассмотрение проблемы заимствования иноязычных слов в русскую терминологию показывает, что заимствование как способ пополнения специальной лексики для наименования новых понятий, дифференциации и детализации существующих понятий, замены описательных оборотов и устранения омонимии терминов представляет собой постепенный процесс.

Адаптация заимствований в языке-реципиенте является поэтапным многоплановым процессом, в котором мы выделяем этап графического перекодирования, фонетической ассимиляции, семантической адаптации и грамматической интеграции. Однако ведущую роль играет включение заимствования в лексико-семантическую систему принимающего языка.

Литература

- ГОРБАЧЕВСКИЙ, А. А., 1978. Факторы, влияющие на передачу в русском тексте иноязычных собственных имен. *Československá rusistika*, XXIII, с. 155-159.
- ИВИНА, Л. В., 2003. *Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем*. Москва: Академический проект, с.301.
- МЕЛЬЧУК, И. А., 1995. *Русский язык в модели «Смысл-текст»*. Москва – Вена: Языки русской культуры, с. 427.
- МЕЧКОВСКАЯ, Н. Б., 2004. *Семиотика. Язык. Природа. Культура*. Москва: Академия, с. 417.
- КРЫСИН, Л. П., 1968. *Иноязычные слова в современном русском языке*. Москва: Наука, с. 206.
- Лексика современного русского литературного языка*. Под. ред. М. В. Панова, 1968. Москва: Наука, с. 184.
- ЛОТТЕ, Д. С., 1982. *Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов*. Москва: Наука, с.149.
- ПЕТРОВ, В. В., 1982. *Семантика научных терминов*. Новосибирск: Наука, с. 123.
- ЧУДИНОВ, А. П., 2002. Россия в метафорическом зеркале. *Изменяющийся языковой мир*. Пермь.
- ТЕЛИЯ, В. Н., 1988. *Метафора в языке и тексте*. Москва: Наука, с. 145.
- ЯКОБСОН, Р. О., 1990. Два аспекта языка и два типа афотических нарушений. *Теория метафоры*. Москва, с.110.

Elena Yukhmina

Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia

PROCESSES OF SEMANTIC ADAPTATION OF COMPUTER TERMS IN RUSSIAN LANGUAGE (ON THE BASIS OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)

Summary

We aim at studying the peculiarities of borrowing and key traits of assimilation and adaptation of computer terms of English origin in the Russian language. In the given article we distinguish the main levels of computer terms assimilation, reveal the semantic shifts which occur when computer terms are borrowed from English into Russian.

KEY WORDS: computer terms, borrowing, semantic adaptation, metaphorization, metonymization.

Ольга Юшкевич

Институт языка и литературы имени Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси

ул. Сурганова 1/2, 220072 Минск, Беларусь

e-mail: okuh@mail.ru

К ПРОБЛЕМЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛОВ С ГРЕЧЕСКИМИ И ЛАТИНСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена проблеме словообразовательной интерпретации слов с греческими и латинскими компонентами в белорусском языке. Автор обращает внимание на вопросы классификации и описания аффиксоидов. При этом морфемы переходного типа рассматриваются как особые словообразовательные единицы, которые функционируют наряду с корневыми морфемами и аффиксами. С учетом разнообразных подходов к данной проблеме называются основные признаки аффиксоидов и анализируются производные с компонентом -дром. С целью большей доказательности выводы в статье широко используются примеры из других языков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заимствование, компонент греческого и латинского происхождения, аффиксоид, морфемный статус, словообразовательная структура.

В статье ставятся задачи рассмотреть различные подходы к определению морфемного статуса компонентов греческого и латинского происхождения в современном белорусском языке, обратить внимание на способ словообразования слов с такими компонентами, а также на примере производных с элементом -дром показать их специфику.

Развитие белорусского языка во второй половине XX – начале XXI в. в. является чрезвычайно интересным объектом для научного изучения. Это обусловлено тем, что на границе столетий язык как универсальная знаковая система столкнулся с необходимостью активно реагировать не только на принципиально новые условия и характер распространения информации, но и на значительные достижения научно-технического прогресса (Нещименко 2004, с. 85). При этом одной из наиболее важных задач является обеспечение потребностей номинации, поскольку словарный состав языка непрерывно изменяется, непосредственно отображая все новое, что возникает в жизни народа. В сложившейся ситуации вполне закономерным является возникновение большого числа заимствований с греческими и латинскими корнями, поскольку, как отмечают многие исследователи, европейские языки с исконным греко-латинским центром «вследствие исторических экстралингвистических причин являются удачным примером выражения общих понятий цивилизации, сегодня мы имеем дело с интегративными процессами, ведущими к тому, что люди всего мира в своём ежедневном обиходе сталкиваются примерно с одними и теми же понятиями» (Плещинская 2005, с. 26). Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что, как справедливо отмечает В. П. Григорьев, «в процессе заимствования в словарный состав заимствующего языка попадают и укрепляются в нём не только корневые и производные, но и сложные слова других языков» (Григорьев 1959, с. 65). При этом исходное слово претерпевает множество трансформаций (морфологических, семантических, стилистических и других). Для нас, в соответствии с поставленными задачами, наибольший интерес представляют изменения, которые происходят в морфемном составе слова и приводят к возможности неоднозначной словообразовательной интерпретации компонентов греческого и латинского происхождения в современном белорусском языке, а также слова, образованные с помощью этих компонентов.

В настоящее время в лингвистике нет единого мнения относительно морфемного статуса указанных компонентов, несмотря на то, что ученых давно интересует вопрос о словообразовательной структуре заимствований, получивших название «интернациональные сложные слова» (Григорьев 1959).

Сущность проблемы заключается в том, что исследователи по-разному определяют морфемный статус компонентов греческого и латинского происхождения в заимствованных словах. В связи с этим в лингвистике утвердились четыре различные концепции. Ученые предлагают компоненты типа *-граф*, *-фил* и подобные:

- 1) относить к корневым морфемам;
- 2) считать их аффиксами;
- 3) включать в состав аффиксоидов;
- 4) выделять особую группу радикасоидов.

При этом исследователи приводят весомые доводы в поддержку той или иной концепции. Остановимся на них подробнее.

Сторонники первой концепции (В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, К. Л. Ряшенцев и другие) обращают внимание на то, что «ни один из элементов – *-лог*, *-бус*, *-фон*, *-граф*, *-теле-*, *астро-*, *гидро-*, *макро-*, *микро-* и т. п. – не утратил своего лексического значения и используется для образования сложных слов, а не аффиксальных» (Ряшенцев 1976, с. 51). Кроме того, учёные говорят о том, что некоторые из этих иноязычных морфем могут выступать подобно многим русским корневым морфемам в качестве как первой, так и второй корневой морфемы сложных слов, а иногда и в качестве корней аффиксальных слов. Примерами служат следующие группы слов: *патология* и *психопатия*, *автограф*, *библиограф* и *графология*, *графоман*; пример корней аффиксальных слов – *графика*, *психика*, *мания* и другие (Лопатин, Улуханов 1963, с.199). Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что главными аргументами сторонников первой концепции являются следующие: 1) устойчивость лексического значения компонентов иноязычного происхождения; 2) их способность к образованию слов и в качестве первой, и в качестве второй частей сложных слов.

Эти положения критикуют представители второй концепции (В. П. Григорьев, А. И. Моисеев, Н. М. Шанский и другие), которые считают компоненты греческого и латинского происхождения аффиксами. Исследователи ссылаются на то, что еще В. В. Виноградов называл элементы *-фил*, *-лог*, *-фоб* и подобные суффиксами (Виноградов 1972, с. 92). Однако впоследствии ученый пересматривает свои взгляды и описывает перечисленные морфемы как вторые части интернациональных сложных существительных (Григорьев 1959, с. 70). Тем не менее, первоначальные взгляды В. В. Виноградова получили поддержку со стороны многих русистов. Так, В. П. Григорьев обращает внимание на то, что «знаменательность морфем типа *-граф*, *-лог* и т. п. для носителей русского языка оказывается значительно более низкой, чем знаменательность вторых компонентов обычных сложных слов», кроме того учёный подчеркивает, что «точное лексическое значение частей «интернациональных сложных существительных» может быть, как правило, определено лишь по соответствующим двуязычным словарям, а не из самой структуры русского языка» (Григорьев 1959, с. 71). Особо следует отметить точку зрения А. И. Моисеева, который, анализируя слова с первой частью иноязычного происхождения, пришел к выводу, что в отношении их словообразовательной структуры не может быть единого решения, поскольку необходимо учитывать своеобразие отдельных единиц этого ряда. Далее исследователь выделяет три группы первых компонентов заимствований: 1) части слов, совпадающие с отдельно существующими словами (*радио* и *радиоузел*); 2) части слов, существующие не только в составе сложных, но и в составе простых слов (*авианосец* и *авиация*); 3) части, известные только в составе однотипных по структуре, хотя и не ясно – сложных или простых слов (*деци-* в словах *дециметр*, *дециграмм*) (Моисеев 1961, с. 159). Такая классификация позволяет ученому утверждать, что «возможность трактовать слова с

этими частями как сложные убывает от одной группы к другой, а во 2-ой подгруппе 3-й группы (части с абстрактным значением – прим. автора) и вовсе исчезает, так что соответствующие слова следует, вероятно, относить не к сложным, а к простым, а самые части характеризовать как приставки, подобно словам с первой частью *анти-* и т. п.» (Моисеев 1961, с. 159).

Ещё более категоричен в своих высказываниях Н. М. Шанский: «в трактовке соответствующих суффиксов как суффиксоидов сказывается – помимо неучета основного дифференциального признака этой морфемы – игнорирование ее одинаково свободного функционирования в роли корневой и аффиксальной морфемы – также и смешение словообразовательного и этимологического анализ» (Шанский 1970, с. 264). Также исследователь отмечает, что в современном русском языке нет корневых морфем, соотносимых с элементами *-лог*, *-ман*, *-фил*, *-фоб* и др. В таких словах, по мнению Н. М. Шанского, вычлениваются морфемы *-олог*, *-оман*, *-офил*, *-офоб*, являющиеся «чистыми суффиксами» (Шанский 1970, с. 264). Для большей убедительности своих доводов учёные обращаются к самому процессу образования новых слов с помощью компонентов иноязычного происхождения. В частности, В. П. Григорьев считает, что наряду с непосредственными заимствованиями подобные слова могут образовываться путём своеобразного «обратного калькирования» (Григорьев 1959, с. 71). На наш взгляд, образование слов путем «обратного калькирования» является скорее исключением, чем правилом. Более убедительной выглядит другая идея В. П. Григорьева: для того, чтобы проявились словообразовательные возможности компонентов иноязычного происхождения, они должны получить способность к новообразованиям в заимствовавшем их языке (Григорьев 1959, с. 65). Другими словами, продуктивность компонентов иноязычного происхождения тесно связана со способностью вступать в словообразовательные отношения в языке-реципиенте. Таким образом, основными доказательствами того, что компоненты типа *-граф*, *-фил*, *-фоб*, *-ман* и другие являются суффиксами служат следующие: 1) отсутствие лексического значения; 2) утрата связи с соответствующей корневой морфемой.

В основе третьей концепции лежит идея возможного перехода корневых морфем в аффиксальные. Однако эта возможность имеет вероятностный характер и зависит от ряда внутрилингвистических и экстралингвистических причин. Многие ученые указывают на наличие «переходной зоны» между корневыми морфемами и чистыми аффиксами и признают трихотомическое расчленение статуса деривационных формантов на корень – аффиксоид – аффикс (Э. А. Григорян и др.). Тем не менее, при анализе фактического материала исследователи по-разному определяют иерархию критериев и признаков морфем переходного типа. Поэтому, в зависимости от того, какие критерии признаются доминантными, в рамках третьей концепции можно выделить два подхода: качественный и количественный.

Представители качественного подхода (Т. А. Мехович, М. И. Гринберг, Г. С. Чинчлей, А. И. Плещинская и другие) подчеркивают, что компоненты греческого и латинского происхождения, подобно исконным компонентам сложных слов, могут употребляться и в качестве корневой морфемы, хотя и в связанном виде, и в качестве аффиксальной, что характерно для аффиксоидов. Так, Г. С. Чинчлей говорит о том, что «аффиксоиды являются примером нейтрализации признака одноименности: они относятся к категории корня, но выполняют функции аффикса» (Чинчлей 1980, с. 57). При этом исследователь выделяет особую группу двухпозиционных аффиксоидов, или ам(фи)фиксоидов (*филолог*, *логопед*).

А. И. Плещинская, анализируя слова с первыми компонентами *аудио-*, *видео-*, *кино-*, *радио-*, *теле-*, *фото-* в современном русском языке, делает вывод о том, что «все эти структурные элементы на основании их высокой регулярности и усиливающегося абстрактного компонента семантики приобретают характеристики аффиксоидов» (Плещинская 2005, с. 144).

Сторонники количественного подхода (Б. И. Бартков, И. М. Гринберг) для определения морфемного статуса деривационных формантов вводят несколько существенных величин: синхроническая продуктивность (количество новых слов с данным формантом, которые образовались за определенный промежуток времени) и диахроническая продуктивность (суммарное количество слов с данным формантом, которые образовались за все время существования данного словообразовательного типа) (Бартков 1982, с. 119). Определенный интерес представляет попытка сторонников количественного подхода провести классификацию компонентов сложных слов с помощью этих показателей. В результате исследования выяснилось, что типичные префиксы образуют свыше 1000 дериватов, морфемы переходного типа – менее 25 – 300; типичные суффиксы – свыше 150 дериватов, морфемы переходного типа – менее 15 – 150 производных (Бартков 1982). При этом с функциональной точки зрения «любой компонент сложного слова может стать аффиксоидом» (Гринберг 1980, с. 100). Также исследователи обращают внимание на то, что «в процессе образования неологизмов аффиксоиды выступают как готовые строевые элементы в структуре сложных слов» (Гринберг 1980, с. 95). Таким образом, основными доводами в пользу третьей концепции служат следующие: 1) возможность функционирования компонентов греческого и латинского происхождения и в качестве корневой морфемы, и в качестве аффиксальной; 2) большая степень обобщённости значения этих компонентов в сравнении с корневой морфемой, но меньшая в сравнении с аффиксальной.

Четвертая концепция возникла в работах исследователей английского языка (И. А. Потапова, Р. А. Сафин). Р. А. Сафин, анализируя производные с элементами *grapho-* и *-logy* в английском языке, пришел к выводу, что компоненты иноязычного происхождения разительно отличаются от других единиц словообразования и имеют свои специфические черты, важнейшими из которых являются: 1) способность к одновременному сочетанию признаков корневых и аффиксальных морфем; 2) возможность употребления только в связанном виде. Это позволило выделить компоненты иноязычного происхождения в особую группу морфем переходного типа – радикасоидов (Сафин 1974).

Обратимся еще к одному языку – украинскому. В пределах украинистики ученые также выделяют качественный и количественный подходы к определению статуса деривационных формантов. При этом Е. Г. Городенская отмечает, что в украинском языке «большинство заимствованных корней сочетается с несколькими самостоятельными словами, что даёт основание говорить о начальном этапе их аффиксоидизации, остальные продолжают функционировать только в составе композитов» (Городенская 1980, с. 87).

В белорусском языкознании на сегодняшний день нет специальных работ, посвящённых данной проблеме. Существуют только отдельные ссылки в работах отечественных исследователей (Л. М. Шакуна, Н. М. Пригодича и других). Однако, на наш взгляд, наиболее убедительной является третья концепция, поскольку, с точки зрения диахронического подхода, многие аффиксы обнаруживают связь с корневыми морфемами. Поэтому в языке всегда есть элементы переходного характера. В сфере словообразования такими единицами являются аффиксоиды (префиксоиды для первых компонентов сложений и суффиксоиды для вторых компонентов).

Обобщая все вышеизложенное, выделим дифференциальные признаки морфем переходного типа: 1) возможность употребления морфемы и в качестве корневой, и в качестве аффиксальной; 2) большая степень абстрагированности значения морфемы, которая выступает в качестве аффиксоида, по сравнению с корневой; 3) генетическая и семантическая связь морфемы переходного типа с соответствующей корневой морфемой; 4) регулярность воспроизведения в однотипных словах; 5) способность морфемы, которая выступает в качестве аффиксоида, синонимизироваться с аффиксальными морфемами.

Различия во взглядах ученых относительно морфемного статуса компонентов греческого и латинского происхождения обуславливают существование различных терминов для их обозначения: «интернациональные морфемы» (Лопатин, Улуханов 1963, с. 196), «основы иноязычных сложных слов» (Ряшенцев 1976, с. 51), «суффиксы» (Виноградов 1972, с. 92), «интернациональные основы» (Григорьев 1956, с. 48), «аффиксоид» (Городенская 1980, с. 86), «радиксоид» (Сафин 1974, с. 54), «терминоэлемент» (Мехович 1980, с. 167). Последнее определение необходимо пояснить: к «терминоэлементам», с одной стороны, относится любой структурный компонент специального слова – непроизводная и производная основа, аффиксоид, словообразующие аффиксы, отдельные слова в составе сложных терминов и терминологических словосочетаниях, символы. С другой стороны, «классическими терминоэлементами» Т. А. Мехович считает «международный пласт структурных компонентов специальных слов, они удобны со стороны значения тем, что наиболее стандартны, моносемичны и лишены ложных ассоциаций» (Мехович 1980, с. 167).

На наш взгляд, нет необходимости создавать специальный термин для компонентов греческого и латинского происхождения, более целесообразно пользоваться термином «аффиксоид» в значении, зафиксированном в энциклопедии «Русский язык»: «Аффиксоид – компонент сложного или сложносокращённого слова, который повторяется с одним и тем же значением в составе ряда слов и приближается по своим словообразовательным функциям к аффиксу – суффиксу (для последних компонентов сложения) или префиксу (для первых компонентов)» (Лопатин 2003, с. 43). Однако при этом важно учитывать, что в зависимости от происхождения аффиксоиды можно разделить на исконные и заимствованные, к которым и относятся компоненты греческого и латинского происхождения.

Мнения ученых расходятся и в определении количественного состава аффиксоидов иноязычного происхождения. Е. Е. Лисовская обращает внимание на то, что в приложении к «Обратному словарю русского языка» насчитывается 728 префиксоидов и 219 суффиксоидов (Лисовская 1989, с. 37). Среди них значительная часть – компоненты греческого и латинского происхождения. На наш взгляд, эти цифры значительно преувеличены. Обработка сложных слов, имеющих в банке данных научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной лингвистики, созданной на филологическом факультете Белорусского государственного университета, позволила Е. Е. Лисовской составить перечень повторяющихся первых компонентов сложных и сложносокращённых слов и сделать вывод о том, что элементы *кино-, авто-, теле-, электро-, радио-, микро-, фото-, гидро-, псевдо-* являются префиксоидами. Далее Е. Е. Лисовская делает существенное замечание: «По-видимому, иноязычное происхождение элемента в значительной степени способствует его переходу из корневой морфемы в префиксоид» (Лисовская 1989, с. 39).

Представители количественного подхода морфемами переходного типа считают следующие заимствованные элементы: *авто-, алло-, анти-, архи-, вице-, гео-, гипер-, гидро-, контр-, микро-, моно-, мотто-, нео-, обер-, псевдо-, радио-, супер-, теле-, ультра-, фото-, экс-; -лог, -ид, -оид, -цид, -аз(а), -иаз(а), -оз, -оз(а), -фикациj(а), -тек(а), -ол, -дром, -ман, -ин, -трон, -фон, -скоп, -метр, -фикс, -навт, -ит₁, -граф* (Бартков 1982).

К аффиксоидам иноязычного происхождения украинского языка Е. Г. Городенская относит элементы *мікро-, міні-, макро-, максі-, мега-, моно-, біполі-, нео-, палео-, стерео-, пан-, псевдо-, квазі-, авіа-, авто-, агро-, аеро-, біо-, зоо-, гео-, гідро-, радіо-, фото-, електро-, аван-, ендо-, экзо-, інтра-, інфра-, ретро-, теле-; -лог, -граф, -ман, -філ, -фоб, -навт, -метр, -скоп, -дром, -тека* (Городенская 1980). Б. И. Бартков уточняет этот список, дополнив его элементами *анти-, архи-, контр-, суб-, поли-, гіпер-, супер-, ультра-, ізо-, -ізм, -фон, -тор, -фор, -ур(а), -фікс, -ит, -(а, е)нт, -(и, і)ст* (Бартков 1986).

В современном белорусской лингвистике, к сожалению, нет работ, в которых приводился бы полный список морфем переходного типа. По нашим наблюдениям, к суффиксоидам иноязычного происхождения можно отнести следующие компоненты: *-дром*, *-метр*, *-метрыя*, *-візар*, *-план*, *-ман*, *-манія*, *-лаг*, *-логія*, *-тэка*, *-скоп*, *-скапія*, *-філ*, *-філія*, *-граф*, *-графія*, *-фоб*, *-фобія*, *-бус*, *-фон*.

Обратимся к группе производных с компонентом *-дром* (от греческого *dromos* = место для бега).

В «Словаре иноязычных слов», вслед за «Белорусской грамматикой» (1985), он рассматривается как вторая составная часть сложных слов, которая обозначает место для соревнований, испытаний, запуска летательных аппаратов (Булыко 1999, т. 1, с. 427). Употребляется только в постпозиции (*аўтадром*, *цыкладром*) в связанном виде. Всего зафиксировано 13 лексических единиц: *аўтадром*, *аэрадром*, *веладром*, *вертадром*, *гідрааэрадром*, *іпадром*, *касмадром*, *лаксадрома*, *мотадром*, *планерадром*, *ракетадром*, *танкадром*, *цыкладром*.

Все они объединяются в одну группу существительных с общим значением 'место, приспособленное для соревнований, испытания, взлета и посадки летательных аппаратов': *аўтадром*, *аэрадром*, *веладром*, *вертадром*, *гідрааэрадром*, *іпадром*, *касмадром*, *лаксадрома*, *мотадром*, *планерадром*. Например, *іпадром* 'специально оснащенное место для конных скачек и соревнований' (Булыко 1999, с. 545); *мотадром* 'место, приспособленное для соревнований по мотоциклетному спорту и испытания мотоциклов' (Булыко 1999, т. 2, с. 95). *Ракетадром* 'специально оснащенная площадка для испытания и запуска ракет' (Булыко 1999, т. 2, с. 286); *танкадром* 'специально оснащенная территория для испытания танков и для обучения танковых войск' (Булыко 1999, т. 2, с. 454). *Аэрадром* 'место стоянки, взлета, посадки и технического обслуживания самолетов' (Булыко 1999, т. 1, с. 187); *планерадром* 'площадка для взлета и посадки планеров' (Булыко 1999, т. 2, с. 216). В приведенных примерах наблюдается абстрагирование компонента *-дром*. За границами классификации осталась лексема *лаксадрома* 'линия на поверхности Земли, которая пересекает все меридианы под постоянным углом (имеет значение для навигации 1)' (Булыко 1999, т. 1, с. 699).

Слова с компонентом *-дром* могут иметь две части (*аўтадром*, *веладром*, *лаксадрома*, *цыкладром*); три части (*гідрааэрадром*). Еще одной особенностью компонентов греческого и латинского происхождения, как уже отмечалось, является способность образовывать слова в заимствованном их языке. К таким производным в современном белорусском языке относятся следующие: *вертадром*, *танкадром*, *ракетадром*.

Производные с компонентом *-дром* довольно ограничены по семантике и структуре. Это продуктивный словообразовательный тип, о чём свидетельствует многочисленная группа производных. Компонент *-дром* имеет высокую степень абстрагированности, что дает основания рассматривать его как суффиксоид.

Таким образом, анализ фактического материала позволяет утверждать, что компоненты греческого и латинского происхождения необходимо рассматривать как особые единицы словообразования – аффиксоиды, а производные, образованные с их помощью – как аффиксоидные. Характерными чертами названных элементов являются следующие: 1) высокая степень абстрагированности значения компонента в сравнении с корневыми морфемами; 2) возможность функционирования только в связанном виде. Как правило, слова с компонентами греческого и латинского происхождения используются в специальной терминологии, однако многие лексемы прочно вошли в ежедневный обиход носителей языка вместе с теми понятиями, которые они обозначают. Словарный состав белорусского языка активно пополняется неологизмами, включающими компоненты иноязычного происхождения, что свидетельствует об их продуктивности.

Таким образом, компоненты иноязычного происхождения занимают важное место в системе средств белорусского словообразования и требуют дальнейшего изучения.

Литература

БАРТКОВ, Б. И., 1982. Количественное представление деривационной подсистемы и экспериментальный словарь 100 словообразовательных формантов русского языка. *Особенности словообразования в научном стиле и литературной норме*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 114–163.

БАРТКОВ, Б. И., 1986. Дериватография украинского языка и деривативов 100 аффиксов, полуаффиксов и аффиксоидов научного стиля и литературной нормы. *Полуаффиксация в терминологии и литературной норме*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 8–58.

БУЛЬКА, А. М., 1999. *Слоўнік ініцамоўных слоў*: у 2т. Мінск: БелЭн., 2 т.

ВИНОГРАДОВ, В. В., 1972. *Русский язык*. Москва: Высшая. Школа.

ГОРОДЕНСКАЯ, Е. Г., 1980. Аффиксоиды украинского языка. *Проблема статуса деривационных формантов*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 86–94.

ГРИГОРЬЕВ, В. П., 1959. Так называемые интернациональные сложные слова в современном русском языке. *Вопросы языкознания*. № 1, с. 65–78.

ГРИГОРЬЕВ, В. П., 1956. О границах между словосложением и аффиксацией. *Вопросы языкознания*. № 4, с. 38–52.

ГРИНБЕРГ, И. М., 1980. Роль аффиксоидов в образовании неологизмов русского языка. *Проблема статуса деривационных формантов*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 94–103.

ЛИСОВСКАЯ, Е. Е., 1989. О повторяющихся компонентах сложных и сложносокращённых слов. *Вестн. Беларус. дзярж. ун-та*. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. № 2, с. 37–41.

ЛОПАТИН, В. В., 2003. Аффиксоид. *Русский язык*. Энциклопедия под ред. Ю. Н. Караулова. Москва, с. 43.

ЛОПАТИН, В. В.; УЛУХАНОВ, И. С., 1963. О некоторых принципах морфемного анализа слов (К определению сложного слова в современном русском языке). *Известия АН СССР Отделение литературы и языка*. Вып. 3, том 22, с. 190–203.

МЕХОВИЧ, Т. А., 1980. Некоторые особенности структуры медицинских терминов. *Аффиксоиды, полуаффиксы и аффиксы в научном стиле и литературной норме*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 167–173.

МОИСЕЕВ, А. И., 1961. Понятие сложного слова в словарях современного русского языка. *Учёные записки ЛГУ*. № 301. Серия филологических наук. Вып. 60, с. 153–160.

НЕЩИМЕНКО, Г. П., 2004. О некоторых тенденциях в развитии современного славянского словообразования. *Проблемы теоретической и исторической славянской лингвистики: доклад на международной конференции «Камітэце славістаў, Мінск, 2-6 сакавіка 2003 г. НАН Беларусі; навуковы рэдактар А. А. Лукашанец, З. А. Харытончык*. Мінск, с. 85–98.

ПЛЕЩИНСКАЯ, А. И., 2005. Развитие префиксоидного словообразования в русском языке (Электронный ресурс): На материале слов с элементами аудио-, видео-, кино-, радио-, теле-, фото. *Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01*. Москва: РГБ.

РЯШЕНЦЕВ, К. Л., 1976. *Сложные слова и их компоненты в современном русском языке*. Орджоникидзе: изд-во СОГУ.

САФИН, Р. А., 1974. Статус морфем типа grapho- и -logy. *Вопросы терминологии и лингвистической статистики*. Научн. ред. В. В. Гуськова. Воронеж, с. 48–54.

ЧИНЧЛЕЙ, Г. С., 1980. О статусе темных морфем. *Проблема статуса деривационных формантов*. Отв. ред. Б. И. Бартков. Владивосток, с. 54–61.

ШАНСКИЙ, Н. М., 1970. Аффиксоиды в словообразовательной системе современного русского литературного языка. *Исследования по современному русскому языку*. Москва, с. 257–271.

Volha Yushkevich

J. Kolas and J. Kupala Institute of Language and Literature of the NAS of Belarus

THE PROBLEM OF WORD-FORMATIVE INTERPRETATION OF WORDS WITH GREEK AND LATIN COMPONENTS IN MODERN BELARUSIAN LANGUAGE

Summary

The article is devoted to the problem of word-formative interpretation of words with Greek and Latin components in Belarusian language. The author pays attention to the questions of classification and description of affixed. We examine the morphemes of transitive type as special derivative units which function equally with roots and affixes. We specify the basic attributes of affixed and analyze derivatives with a component -*дром*

taking into account various approaches to the given problem. With the purpose of greater validity of our conclusions in the article the examples from other languages are widely used in the article.

KEY WORDS: loan word, a component of the Greek and Latin origin, affixed, the morphemic status, word-formative structure.

Лариса Каминская

Санкт-Петербургский государственный университет
Университетская наб. 11, 199034 Санкт-Петербург, Россия
e-mail: larkam@mail.ru

О НЕКОТОРЫХ АЛБАНО-РУМЫНСКИХ СООТВЕТСТВИЯХ (ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

В статье обсуждается вопрос о статусе ряда общих черт, проявляющихся на фонологическом уровне языковых систем албанского и румынского языков, языков, составляющих ядро балканского языкового союза и включающих наиболее полный репертуар балканизмов. Подробный анализ с привлечением данных исторической фонологии фонологического статуса самого показательного фонетического балканизма – центрального гласного /ə/ позволяет сделать вывод о том, что он представляет собой результат сходных фонетических процессов, происходивших в рассматриваемых языках. Балканская специфика этого гласного подтверждается его фонематизацией – вовлечением безударного конечного [ə] в такую специфически балканскую систему противопоставлений, как оппозиция безартиклевого/артиклевого формы существительного женского рода единственного числа ([ə]- [a] рум сирă – сира, алб. кирë – кира ‘чаша’).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фонетика, фонология, балканская лингвистика.

Ряд общих черт, проявляющихся на фонологическом уровне языковых систем албанского и румынского языков, являются предметом обсуждения в данной статье. Румынский и албанский языки, наряду с болгарским и македонским, составляют, по определению Шаллера, «ядро балканского языкового союза» (Schaller 1975, p.101).

Первым, кто выделил и обобщил инвентарь балканизмов, ввел в научный обиход само понятие «балканская лингвистика», был Кристиан Сандфельд (Sandfeld 1930). Именно на основе положений Сандфельда построил теорию языковых союзов Н. Трубецкой, впоследствии развитую Р. Якобсоном (Якобсон 1995).

Балканизмы, выделенные Сандфельдом, относятся главным образом к области лексики и синтаксиса. Однако приведенный им репертуар лексических балканизмов говорит о высоком уровне адаптации этих лексем в каждом из языков, что указывает и на принципиальную возможность «фонетического перевода», то есть на допустимость структурного единства фонологических систем балканских языков, о чем писала Лекомцева (Лекомцева 1977, с. 244). Это, в свою очередь, дает основание говорить об общей картине балканских языков и на фонологическом уровне.

Несмотря на то, что среди работ, посвященных балканским языкам, фонетические исследования занимают в настоящее время значительное место, приходится констатировать слабую степень изученности фонологических систем этих языков в сопоставительном аспекте. Обоснованным представляется суждение А. В. Десницкой о том, что сравнительно-типологическое изучение фонетических особенностей и фонологических систем балканских языков сделало лишь первые шаги (Десницкая 1979, с. 9).

Дискуссия развертывается по поводу правомерности или неправомерности рассмотрения в качестве балканизмов определенных фонетических явлений, что определяется различными методологическими подходами к проблеме БЯС. Некоторые исследователи отрицают саму возможность существования балканизмов на фонологическом уровне, как не затрагивающем глубинную языковую структуру.

В частности, Х. Бирнбаум рассматривает в качестве истинных балканизмов только общие черты морфолого-синтаксического уровней, не признавая таковых за уровнем фонетики (Birnbbaum 1983, p. 40-56.) П. Ивич считает, что нерегулярные звуковые

соответствия не затрагивают структуры фонологического уровня и поэтому не могут считаться балканизмами (Ivić 1968, p.133-141).

Нам представляется, что сопоставительное описание фонологических систем балканских языков, в частности, албанского и румынского, позволяет перейти от анализа частичных, нерегулярных звуковых соответствий к анализу фонологических корреспонденций системного характера. Это открывает перспективу интерпретации звуковых соответствий как результата глубинных интеграционных процессов, затрагивающих все уровни языковых систем балканских языков.

Примером самого «старого» фонетического балканизма, выделенного еще Миклошичем (Miklosich 1861), может служить наличие в ударной позиции гласного центрального ряда среднего подъема /ə/, засвидетельствованного в албанском, румынском и болгарском языках (графически «ë» в албанском, «ă» в румынском и «ъ» в болгарском языках соответственно).

Таблица 1

Фонема /ə/ в албанском, румынском и болгарском языках

/ə/	в орфографии	примеры	перевод
албанский	ë	mënjë	мать
румынский	ă	măg	яблоко
болгарский	ъ	ъгъл	угол

В существовании самого этого звука [ə] нет ничего специфически балканского, так как он существует и в ряде небалканских языков. Так, А. Аврам отмечает, что гласный, похожий на этот звук, встречается в некоторых западно-романских языках (португальском, каталонском, некоторых диалектах итальянского). Кроме того, соответствующий гласный отмечен в словенском, сербохорватском, македонском диалектах. Однако в этих случаях речь идет, как правило, не о самостоятельной фонеме, реализующейся как в безударной, так и в ударной позициях, а именно о звуке, возникающем в результате редукции (Avram 1966, с. 17-23).

Следует признать, что наличие самостоятельной, устойчивой фонемы /ə/ — довольно редкое явление. Чаще — это не самостоятельная фонема, а гласный, представленный в безударной позиции, позиционно ограниченный, редуцированный.

Относительно рассмотрения этого явления в качестве особой балканской черты существуют различные точки зрения. Так, румынские исследователи при обсуждении вопроса о «балканистичности» /ə/ придерживаются подчас противоположных точек зрения. Росетти считает нейтральный гласный, обладающий одинаковым вокалическим тембром в албанском, румынском и болгарском языках, характерной балканской чертой. Ему возражают Ивич и Петрович (Rosetti 1947, p. 40-47).

В частности, Петрович не считает гласный [ə] общебалканской чертой вокалических систем румынского и албанского языков, отмечая различия между этими гласными на фонологическом уровне. Кроме того, он считает, что, в отличие от албанского, румынский /ə/ является устойчивым гласным. Ему возражает А. Аврам, отмечая, что в румынских диалектах тембр этого звука существенно меняется в зависимости от консонантного окружения (Avram 1966, p. 17-23).

Как бы то ни было, вопрос о причинах возникновения этого гласного на балканской почве в качестве самостоятельной фонемы продолжает обсуждаться. При интерпретации этой фонемы в качестве типично балканского явления исследователи пытаются объяснить её появление субстратом, заимствованием из одного языка в другой или же результатом взаимовлияния. Исследователи стремятся найти подтверждение тому факту, что появление центрального гласного [ə] на балканской почве не является случайным. Однако сложность интерпретации этого явления в качестве специфически

балканской черты заключается в том, что этимологически в каждом из анализируемых языков этот звук имеет разное происхождение и время появления.

Данные исторической фонетики не дают однозначного ответа по поводу причин возникновения этой фонемы в балканских языках (Demiraj 1994, p. 71). Миклошич видел причину появления этого гласного на албанской почве в иллирийском субстрате. Субстратную гипотезу поддерживает ряд исследователей, которые говорят о фракийском или иллирийском субстрате (Росетти), либо о дако-мизийском (Георгиев). Другие исследователи видят в данном явлении результат параллельного, независимого развития фонетических систем балканских языков. В частности, П. Трост считает, что в румынском гласный /ə/ является результатом внутреннего развития языка. Подобное мнение высказывается и относительно соответствующего гласного в албанском языке. Существует и точка зрения, в соответствии с которой это явление можно объяснить влиянием одного языка на другой. Так, Е. Петрович предполагает, что этот гласный может являться результатом славянского влияния.

Что касается хронологии появления и источников происхождения этого гласного в албанском и румынском языках, то данные исторической фонетики дают основания говорить о различных фонетических процессах и условиях появления соответствующего гласного в этих языках.

Основываясь на работах албанских и румынских исследователей (Демирай, Росетти, Сала), основные пути появления соответствующего гласного в албанском и румынском языках, можно схематически свести к следующему (см. табл. 2).

Появление в албанском языке ударного «ё», возникшего в результате эволюции ударных а-, е- перед носовыми -n, -m, -nj, относится к периоду 7 – 8 веков н. э., т. е. до периода славянских заимствований (nĕnĕ, ěmbĕl). Безударный гласный [ə], являющийся конечным гласным основы неартикулированной формы женского рода (baltĕ, lopĕ, nĕnĕ, vajzĕ) представляет собой, по всей видимости, результат редукции конечного долгого и.-е. -ā.

Гласный среднего подъема «я́» в ударной позиции, засвидетельствованный в румынском (общерумынском) в 5-8 веках н. э., может представлять собой результат эволюции гласных -e, -i в позиции перед и после -r и после губных и передних согласных (лат. reum>rău «плохой», ріum>рăr «груша»).

Безударный является результатом редукции безударного -a (лат. casa>casă «дом», capistrum>căpestru «узда»).

Таблица 2

Хронология появления гласного /ə/ в албанском и румынском языках

Язык	Позиция	Период	Процесс
албанский	Ударная	VII – VIII вв. н.э. до периода славянских заимствований	Эволюция ударных а-, е- перед носовыми -n, -m, -nj nĕnĕ, ěmbĕl
	Безударная	До VIII в н.э. до появления ударных	редукция конечного и.-е. -ā baltĕ, lopĕ, nĕnĕ
румынский	Ударная	После VIII в н.э.	Эволюция -e, -i после и перед -r, после губных и передних согласных Лат. reum>rău, ріum>рăr
	Безударная	Период IV – VIII вв. н.э.	Редукция безударного -a Лат. casa>casă capistrum>căpestru

Очевиден параллелизм развития центрального гласного в обоих языках, наглядно проявляющийся в заимствованиях из латыни – [ə]: безударный в обоих языках

происходит из редуцированного, неударного [a]: лат. *camisia* > рум. *cămașă*, алб. *këmishë* «рубашка».

Свидетельством в пользу развития сходных фонетических процессов, идущих в одном направлении в албанском и румынском языках, явилось вовлечение безударного конечного /ə/ в такую специфически балканскую систему противопоставлений, как оппозиция безартиклевая – артикулированная формы существительного женского рода единственного числа.

Именно об этом пишет Т. А. Репина, обсуждая процесс фонематизации безударного «ă»: «В румынском языке создались благоприятные условия для завершения процесса, так как в одной из весьма распространенных позиций – конечном неударном слоге – благодаря появлению постпозитивного слитного артикля ед. числа женского рода возникла морфологическая оппозиция безартиклевая/артикулированная форма» (Репина 2002, с. 69).

Следует отметить, что безударная позиция абсолютного конца слова безартиклевой неартикулированной формы является одной из весьма распространенных позиций как в румынском, так и в албанском языках. В таблице 3 представлены примеры соответствий неартикулированных/артикулированных форм в румынском и албанском языках.

Таблица 3

Неартикулированные/артикулированные формы в румынском и албанском языках

румынский	албанский	перевод
cupă – cupa	cupë – kupa	чаша
dată – data	datë – data	число
mamă – mama	nënë – nëna	мать
fată – fata	vajzë – vajza	девушка
baltă – balta	baltë – balta	болото

Таким образом, балканская специфика гласного /ə/ проявляется и в том, что он представляет собой результат сходных фонетических процессов, и в его специфически балканском поведении (участии в морфонологических процессах).

Комплексное, системное рассмотрение фонетических соответствий, просодических характеристик, анализ явлений дифтонгизации, ротацизма, палатализации, о сходной направленности которых в албанском и румынском языках писала А. В. Десницкая позволит говорить не только об общей языковой картине мира, но и о единой «фонематической картине балканских языков» (Десницкая 1990, с. 38-44).

Литература

ДЕСНИЦКАЯ, А. В., 1979. О современной теории балканистических исследований. *Проблемы синтаксиса языков балканского ареала*. Москва: Наука.

ДЕСНИЦКАЯ, А. В., 1990. О понятии вторичного генетического родства и о его значении для исследования проблем балканистики. *Вопросы языкознания. N 1, Москва: Наука*.

ЛЕКОМЦЕВА, М. И., 1977. К типологии фонологических систем языков балканского полуострова и средиземноморья. *Балканский лингвистический сборник*. Москва: Наука.

РЕПИНА, Т. А., 2002. История румынского языка. Санкт-Петербург: С.-Петерб. ун-т.

ЯКОБСОН, Р. О., 1995. Теории фонологических союзов между языками. *Избранные работы по лингвистике*. Благовещенск.

Actes du Premier Congr. Intern. de linguistes à la Haye .Leiden, 1928.

AVRAM A., 1966. Substance neutre et forme indéterminé. *Cahiers de linguistique théorique et appliquée*.

III.

BIRNBAUM, H. 1983. Tiefen und oberflächenstrukturen balkanlinguistischer Erscheinungen. *Ziele und Wege der Balkanlinguistik*, Berlin.

DEMIRAJ SH., 1994. Gjuhësi ballkanike. Shkup.

IVIĆ, P., 1968. Liens phonologiques entre les langues balkaniques. *Actes du premier congrès international des études balkaniques et sud-est européennes*. VI. Sofia.

MIKLOSICH, FR., 1861. Die Slavischen Elemente im Rumunischen. Wien.

ROSETTI, A. 1947. Mélanges de linguistique et de philology, Bucureșt.

SANDFELD, K., 1930. Linguistique balkanique. Problèmes et resultats. Paris.

SCHALLER, H. W., 1975. Die Balkansprachen. Eine Einführung in die balkanphilologie. Heidelberg.

Larisa Kaminskaya

Saint-Petersburg State University, Russia

ABOUT SEVERAL ALBANIAN-ROMANIAN FONOLOGICAL CORRESPONDENCES

Summary

The article deals with several similarities that are revealed on the phonological level of language systems of the Albanian and the Romanian languages. These two languages can be considered the nuclear of the Balkan language union and have most full repertoire of balkanisms. Detailed analysis using data of historical phonology of the most representative phonetic balkanism – central vowel /ə/ leads to the conclusion that it is the result of similar phonetic processes in languages under consideration. The Balkan peculiarity of this vowel is proved by its phonematisation, i. e. involvement of this unstressed vowel [ə] in such specific Balkan system of oppositions as article/nonarticle opposition of forms of singular nouns of feminine forms ([ə]- [a] rom. cupă – cupa, alb. kupë – kupa – ‘cup’).

KEY WORDS: phonetic, phonology, Balkan linguistics.

Надежда Карлик

Государственная полярная академия

ул. Воронежская 79, 921007 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: nakarlik@mail.ru

СВЕТСКИЙ ДИСКУРС И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Статья «Светский дискурс и современные аспекты его интерпретации» посвящена проблеме реализации жанровых аспектов светского дискурса в новых социально-культурных условиях и различным интерпретациям светского режима коммуникации в современной науке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: светский дискурс, светское общение, светская беседа, коммуникативное сознание, ментальное языковое сознание, светская субкультура, элита.

В последнее десятилетие представляются актуальными не только теоретические разработки раздела науки о речевом воздействии, связанного с общением светским, но и определение возможностей для их практической реализации. Все большее количество людей мыслит себя в соотношении с категорией «свет», все шире становится круг избранных и особенно тех, кто хочет в него попасть.

В ходе проведенного «полевого» исследования представлений о светском дискурсе петербургских студентов трех высших учебных заведений (СПбГУ, Государственной Полярной Академии и Санкт-Петербургской Академии управления и экономики) были получены данные, с анализа которых целесообразным будет начать разговор о месте данного феномена в ментальном языковом сознании.

Раз существует группа людей, которая соотносит себя с категорией «свет», значит, логичным будет предположить, что должно быть и светское общение. В результате анкетирования выяснилось, что в коммуникативном сознании многих носителей языка светское общение как раз и является общением по принадлежности, то есть представителей «света» друг с другом»: на любые темы, в любом месте, в любое время дня и ночи, в любой форме, в какой захочется.

Другой крайностью является вообще отрицание в современном обществе существования соответствующей социальной группы (нет у нас, увы, потомственных аристократов) и на этом основании светского общения.

Рецептивный эксперимент, основанный на исследовании категории «свет» и интересующей нас «светского» вида общения, позволил сделать вывод, что, несмотря на высокочастотность слова «свет» и его слов-спутников в средствах массовой информации, они пока еще не получили в русском языковом сознании определенного содержания.

Высокая коммуникативная релевантность в данном случае не способствовала окончательному формированию концепта, так как сама реальия – светская субкультура – в настоящий момент тоже пока находится в стадии становления.

Концепт «свет» для предшествующих поколений носителей языка имел достаточно сильно выраженный неодобрительный оценочный знак: негативное отношение к культуре дворянского общества, которое было характерно для пролетарских послереволюционных десятилетий, распространилось на все, связанное с понятием «светское». К тому же русская классика, прежде всего те произведения, которые изучались в школе все советские годы, во многом способствовала созданию представлений о светском общении как общении поверхностном и неискреннем. У студентов-нефилологов, участвовавших в эксперименте, видимо, не так близко знакомых с этой литературой, в целом доминирует положительная оценка исследуемых понятий. Лишь несколько человек из числа опрошенных, заявило, что «светское» общение не для них, остальные или признались в

том, что его правила знают и используют, или в том, что желали бы их освоить. Что же касается филологов, то здесь выше процент определений с негативной коннотацией: светская беседа интерпретируется как «искусственная», «неискренняя», «бессмысленная» и «бесцельная».

Неудивительно, что хорошее знание русской классики подспудно влияет на формирование презрительного отношения у молодых людей к светскому общению. В произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя представители высшего общества ведут салонные поверхностные беседы, пустоту и бессмысленность которых авторы особо подчеркивают. Благодаря Л. Н. Толстому, изобразившему салон А. П. Шерер в самом начале «Войны и мира», даже те нерадивые школьники, которые не добрались до следующих глав романа, получили отрицательное представление о том, что собой представляет светская беседа. Для многих толстовское описание оказывается одним из первых в ряду ассоциаций, которые возникают, когда требуется охарактеризовать этот речевой жанр.

В результате анализа субъективных дефиниций были получены следующие данные: «свет», во-первых, определяли через «высшее общество»; также часто встречаются слова и словосочетания «аристократия», «избранные», «сливки общества», «привилегированное общество». Естественно, при таком понимании «света» как общества элитарного – особой касты посвященных и просвещенных, и требования к светскому общению выдвигались в духе лорда Честерфилда: говорить комплименты, проявлять в разговоре остроумие, не затрагивать личных проблем, никого не ругать, не обижать, ни с кем не спорить, не выпячивать свою точку зрения, а лучше вообще ее от всех скрывать, при этом не давая повод быть уличенным во лжи. Студенты, положительно ответившие на вопрос, существует ли светское общество в современной России, при этом затруднились назвать фамилии тех людей, которые в этот круг избранных уже вписались. «Светскую тусовку» представителей шоу-бизнеса, актеров, фигуристов и балерин приводили в качестве пародии на элитарное общество.

Отметим, что большое количество опрошенных синонимом слова «свет» считают такие слова и словосочетания, как «интеллигенция», «культурная среда», «образованная среда», «элита», «богема». В своем определении они руководствуются не происхождением тех, кого они признают принадлежащими к «свету», а представлением о том, что «свет» – это лучшие, наиболее грамотные члены общества, творческие, способные создавать и сохранять культурные ценности. Эта модель светской жизни определяется через элитарность, ее сторонники в качестве маркеров светскости называют не деньги, не популярность и известность, а «высшее образование», «интеллект», «умение красиво и правильно говорить», «внутреннюю чистоту», «честность и справедливость».

Любопытно отметить, как различаются представления о содержании светских бесед и местах их проведения у тех, кто определяет светских людей через их положение в обществе, и тех, кто главным в них считает высокий уровень образования и воспитания. Первые, определяя, кстати, свет как заоблачную высь, далеко расположенную от их повседневных интересов, большое значение придают обстановке. Они утверждают, что она обязательно должна быть уютной и праздничной, располагающей к разговору о пустяках, подчеркивают, что мажорный настрой должен проявляться и на уровне одежды и в довольных, пусть даже наигранно довольных лицах. Вторые, легко представляя членами светского сообщества себя, называют среди мест, располагающих к светскому общению не только театры и музеи, но даже семинары, конференции и симпозиумы. Они не фантазируют на тему, о чем бы я стал говорить, попав на бал, а предлагают темы, распространенные в своей среде: музыка, спорт, в частности, футбол (или же, «что вижу – о том пою»: в театре – о спектакле, в кино – о фильме). Интересно, что популярные в светском обществе и табуированные темы и формы нередко меняются местами в зависимости от того, кто отвечает на вопросы – молодой человек или девушка. Так,

например, первые сплетни единодушно относят в разряд запрещенных, а политику называют в списке допустимых, вторые – наоборот.

Большое разнообразие наблюдается в перечне тем, nereкомендуемых для светского общения. Тот, кто соотносит светские беседы с бально-ресторанной обстановкой, обращает внимание на нежелательность мрачной тематики, проблемной, располагающей к полемике. Не советует говорить на личные темы, о религии, о возрасте присутствующих и их отрицательных качествах, о болезнях. Вписывающие светское общение в контекст научных бесед, позволяющих блеснуть интеллектом, табуируют разговоры на мелкие бытовые темы, о деньгах, а также о том, о чем ничего не знаешь. Обращают внимание на непереносимое присутствие у светских людей чувства такта, которое должно помогать вовремя обнаружить тему неудачную и сменить ее на более приемлемую – о достойном и высоком. Ориентация на высокий стиль соседствует здесь с полным аскетизмом в выборе мест для беседы. Можно светски общаться, почти где угодно, было бы желание и собеседники соответствующего уровня: но только, чтобы не о «пьянках», и не о «недосмотрах». Почти, потому что все участники эксперимента нашли, хотя и не все одинаково удачно, ситуации, в которых светское общение все-таки неприемлемо, и места, в которых оно мало уместно. На первый план были выдвинуты бытовые ситуации, среди которых особо выделены рыбалка, пикник, посиделки у костра, все формы семейных контактов и романтических взаимоотношений, а также общение на базаре, с грузчиками на рынке, с товарищами по камере в тюрьме, в дворовой компании. На втором месте оказались ситуации экстремальные: неудачным для светского общения было признано время военное, неудачной ситуация коммуникаций во время альпинистских восхождений, поездки в транспорте при большом стечении народа, прежде всего в метро. Особое место заняло общение на лекции (варианты: во время пары, на семинаре) и в рюмочной.

Все участники эксперимента единодушно утверждают, что мужчины и женщины одинаково склонны к светскому общению. Расходятся во мнении, насколько хорошо знакомыми в ситуации светского общения должны быть собеседники. Не совпадают и в том, как интерпретировать рабочую обстановку: многие считают, что она вполне располагает к светским разговорам. За пределы светского круга все опрошенные, руководствуясь, правда, разными причинами, выдворили людей малообразованных.

Проблема, с которой столкнулись студенты, отвечавшие на вопросы анкеты о свете и светском обществе, связана с несоответствием образа «света», который формируется СМИ, имеющемуся у большинства из них мифологизированному представлению о jet-set – сливках общества (словообразование, придуманное итальянским писателем А. Моравиа). Люди, которых журналисты представляют как светских львов и львиц, попавшие почти как в поговорку на бал с корабля и из других мест, мало пригодных для получения светских умений и навыков, то есть в буквальном смысле из грязи в князи, ни в поведении, ни в речи не демонстрируют знания этикета и ритуалов, обязательного для дореволюционных дворян-аристократов. Поэтому, раз новый «свет», если можно так выразиться, не светит, то появляется искушение его имя присвоить тем, кто в общении демонстрирует более высокий культурный уровень, то есть интеллигенции. Получается, что светское общение и светский образ жизни оказывается специфическим камуфляжем: люди незнатного происхождения разговаривают, как раньше разговаривали аристократы, а те, кто в силу популярности и имеющихся материальных благ формирует современную субкультуру избранных, прячутся за аристократическим антуражем, полируют поверхность, то есть доводят до совершенства внешность, оставляя при этом речевые изъяны, ужасая ревнителей чистоты русского языка полным незнанием литературных норм. Получается, что в языковом ментальном сознании нет четких ориентиров, позволяющих отделить светское общение от других видов развлекательного, неделового общения.

При этом за последние десятилетие в научной среде сформировалась достаточно явная тенденция рассматривать «светский» жанр как вполне определившийся, с четким набором типичных черт. По большому счету определение «светский» здесь не несет определенной смысловой нагрузки. Можно говорить о его десемантизации: тот, кто этого не учитывает, в итоге начинает интересоваться генеалогическим деревом собеседников, чем сразу нарушает первое жанровое требование – внедряется в личную сферу. С советских времен вопрос о корнях считался неудачной темой для разговора. Времена изменились, а табу осталось: «новое» светское общество тоже эту тему замалчивает, в противном случае пришлось бы исполнять хором еще забытое «Вышли мы все из народа...». Социальный статус для исследователей светского жанра, конечно, роли не играет: во-первых, потому что интерпретируется он в первую очередь как этикетный, а во-вторых, из-за переключения внимания на ситуацию общения, которая становится определяющей и диктует коммуниканту определенный стиль поведения, требует уместных слов. Учитывая тот факт, что учебные пособия не предполагают обучение «светским» правилам игры, в лучшем случае ограничиваясь изучением категорий вежливости, материалом для исследования светского дискурса становятся ситуации из повседневной коммуникации, которые демонстрируют, можно сказать, случайное попадание коммуникантами в общение в те рамки жанра, которые кабинетным путем вывели исследователи. Так, например, объявленная «светской» ролевая игра хозяин-гость может проходить необязательно по правилам шахматной светской партии, с хитрыми ходами, подводными течениями скрытых тем, намеками и интригами, а из-за незнания этих правил превратиться в банальную игру в подкидного дурака. «Светское» легко поддается регламентации в теории, но при этом с трудом обнаруживается на практике. Никак не находится лакмусовая бумажка «светскости» в общении. Видимо, это связано с кармой искусственности светского общения. Игра не интригует, обман, лицедейство отталкивают, оказываются чуждыми русскому коммуникативному сознанию. Этим объясняется и активное несоблюдение правил вежливого общения – особенно со своими у нас принято не церемонится. А так как «чужих» в «своих» принято превращать достаточно быстро, то и светский этап в общении воспринимается как прелюдия к общению душевному или дружескому трепу. С «чужими» у нас принято не разговаривать, а если уж приходится, то сразу идут попытки найти точки соприкосновения: может болеет за тот же клуб, может служил в тех же краях, а может земляк или коллега. При этом опасность «проколоться» и при выборе жанра, и при попытке его смены в общении с людьми мало знакомыми возрастает в несколько раз. Далеко не всегда все заканчивается так же забавно, как в известной песне Тимура Шарова: «Я себе сломал ногу». В ней как раз речь идет о том, как герой попал впросак при попытке вступить в светскую беседу с прекрасной незнакомкой (казалось бы самая типичная ситуация для использования светского жанра): «...Зато мы с Вами – интеллигенты на лицо, поговорим, богиня!!! И сразу: «Как Вам Пикассо? А что насчет Феллини?»// Она мне говорит: «Да, я читала Пикассо, меня так поразил он// Феллини тоже молодцом – прекрасный композитор// А мне сосед мой говорил, что Бельмондо разбился// Ришара скушал крокодил, а Челентано спился»//Но я гляжу – промашку дал: не та у нас беседа// Я ей про высший материал – она мне про соседа...»

Таким образом, при выборе светского жанра общения, как и любого другого, прежде всего следует руководствоваться принципом уместности. При установлении контакта, конечно, следует ограничиваться общими темами, но представление об общих темах может сильно отличаться в зависимости от субкультурной принадлежности собеседника. Видимо поэтому и возникла хрестоматийная тема погоды, что обсуждать ее способен практически каждый, независимо от гендерных признаков, социального статуса и уровня материального благополучия. Важно отметить, что «светский» жанр по-разному понимается и применяется в разных национальных культурах. Для русского коммуникативного сознания существует определенная градация жанров, при которой

характер изменения отношений с собеседником в сторону симпатий и намечающейся дружбы предполагает преодоление светской ступени и переход на качественно более высокий уровень общения. На это обращал внимание воронежский исследователь И. А. Стернин, «русские любят быстро устанавливать доверительные, дружеские отношения с собеседником» (Поют барды 1990, с. 206). Светский этап, таким образом, в отечественной речевой коммуникации воспринимается как промежуточный. Это рождает непонимание при контакте с представителями тех культур, где светское этикетное общение является превалирующим и не терпит никаких подвижек, особенно связанных с внедрением в личную сферу. Наглядным примером разного представления о границах допустимого в статусном общении может служить небольшой отрывок из популярного романа Б. Акунина «Алмазная колесница», в котором автор определяет особенность обсуждать в разговоре с малознакомыми людьми интимные, то есть глубоко личные вопросы их жизни как специфическую чисто русскую черту общительности. В первый же день пребывания в Японии новый дипломатический сотрудник Э. Фандорин советует консулу Доронину, с которым только что познакомился, официально жениться на японской конкубине – «жене» по контракту, а консул перед ним оправдывается, почему это невозможно, объясняя и интимные причины невозможности иметь детей. Статусные отношения и минимальная длительность знакомства вторжение в «сферу сугубой приватности» в соответствии с речевым этикетом делают крайне нежелательными, поэтому консул, хоть и с некоторым опозданием, прерывает свои объяснения: «Что-то мы с вами очень уж по-русски. Для подобных задушевностей требуется либо давняя дружба, либо изрядная доза выпитого, а мы едва знакомы и совершенно трезвы» (Акунин 2003, с.77).

В заключении обратим внимание на то, что набор рекомендуемых и табуированных тем не может быть одинаковым для всех ситуаций. У участников светских мероприятий должно быть особое чутье, позволяющее им быть приятными в общении и не попадать впросак не к месту сказанными фразами. Даже хрестоматийные разговоры о погоде не всегда могут спасти в контексте светского общения. Так, например, в рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Волосы Вероники» главная героиня – девушка из высшего общества оказалась абсолютно не готова к тому, чтобы беседовать с кавалерами на светских приемах как раз потому, что воспринимала светское общение через набор устойчивых стереотипов. Разговор на общие темы, которые воспринимались ею как знак хорошего тона, на самом деле всех от нее отпугивал. «Да ты знаешь, о чем она говорит с кавалерами, – рассказывала матери о неудачах Вероники ее кузина, – о том, как у нас жарко, как сегодня тесно в зале или о том, как на будущий год она поедет учиться в Нью-Йорк – и ни разу, ни разу я не слышала, чтобы она говорила о чем-нибудь другом» (Фицджеральд 2004, с.114). Рассказ как раз построен на контрасте псевдосветского общения Вероники и, на первый взгляд, совсем несветского ее кузины Марджори. Последняя, которая «никогда не хихикала, не пугалась, не попадала впросак», шокировала всех «дерзким, блестящим остроумием», оказалась более востребована на светских приемах, чем первая, которая вела себя в соответствии с правилами и нормами этикета. Знаменательно, что бойкие фразы, легкие и остроумные, оказались при ближайшем рассмотрении частью спектакля, каждый раз тщательно продуманного и отрепетированного Марджори. Помимо разговорных запасов, которыми собиралась делиться с собеседниками, особое внимание она уделяла собственной внешности, считая, что в общении удачная ее презентация не менее, а даже более важна, чем содержание произносимых фраз. «Если девушка хороша собой, она может болтать о чем угодно: о России, пинг-понге, Лиге наций – ей все сойдет с рук» (Фицджеральд 2004, с. 120), – учила она кузину. От Марджори воспринимает Вероника и другие приемы истинно светского общения: изображать живейший восторг, слушая даже самых незавидных кавалеров, показывать, как лестно их внимание, улыбаться, а главное – «строго придерживаться одной темы – вы, я, мы с вами». Тот вариант общения, который подробно

показан в рассказе Фицджеральда, был и для отечественных светских раутов до революции наиболее распространенным. Как правило, в диалоговом режиме светские дамы общались с кавалерами большую часть времени, проводимого на светских мероприятиях. Во-первых, этикет требовал общения с соседом по столу, во-вторых, - с кавалером во время танца. Торжественные застолья советских руководителей с «общими» беседами по инерции повторяются в общении представителей нового «света». Массовый характер развлечений определяет и характер светских бесед: чаще всего он представлен «работой на публику», которую все предпринимает по очереди, светскость проявляется нарочитым пренебрежением приличиями, подчеркнутым несоблюдением речевых норм, бравированием нецензурной лексикой.

Таким образом, игровой характер беседы с «двойным дном», намеками и лавированием между допустимым и недопустимым оказывается доступен далеко не всем: ведь, помимо дара лицедейства, природного, либо благоприобретенного, желательно быть интересным собеседником. Вероника в рассказе Фицджеральда стала пользоваться популярностью на светских балах, когда научилась к месту рассказывать то, что «почерпнула в книгах». Отметим, что и образование само по себе не является гарантией того, что его обладатель окажется непревзойденным мастером светского общения. Поэтому с мнением некоторых исследователей, что вести светские беседы способны только гуманитарно-образованные женщины, вряд ли возможно. Ведь Б.Окуджава не уточнял гендерные особенности адресата и не выдвигал требований в духе анкет о приеме на работу – «уровень образования не ниже среднего», когда призывал: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты – ведь это все любви счастливые моменты» (Стернин 2001, с. 17). Приятной может оказаться беседа людей с абсолютно разным уровнем воспитания и образования, если они правильно поймут правила игры и будут стараться их соблюдать.

Литература

- АКУНИН, Б., 2003. *Алмазная колесница*. Москва: Захаров, т. 2.
Поют барды, 1990. Ленинград: Советский композитор.
СТЕРНИН, И. А., 2001. *Введение в речевое воздействие*. Воронеж: Наука.
ФИЦДЖЕРАЛЬД, Ф. С., 2004. *Волосы Вероники. Сумасшедшее воскресенье*. Санкт-Петербург–Москва: Худ. литература.

Nadezhda Karlik

State Polar Academy of St. Petersburg, Russia

HIGH RELATIONS AND MODERN FORMS OF THEIR INTERPRETATION

The article “High Relations and Modern Forms of Their Interpretation” deals with polite conversation as one of the most traditional etiquette genre in communication and tendencies of its development in modern social and cultural conditions.

KEY WORDS: high relation, modern form of conversation.

Виктория Кузина

Рижская академия педагогики и управления образованием

ул. Калнциема 101-68, Рига, Латвия

e-mail: viktorija.kuzina@rpiva.lv

ЛИНГВОСТАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА (ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Нами было проведено лингвостатистическое исследование частей речи на материале игр детей дошкольного возраста. Специфика текстов игр заключается в употреблении личных местоимений, междометий, существительных с суффиксами уменьшительного значения, которые характерны для разговорной речи. В исследованных текстах обнаружено значительное количество вопросительных, восклицательных и побудительных предложений, а также преобладающее большинство простых предложений (признаки разговорной речи).

Лингвостатистический критерий позволяет глубже исследовать единицы грамматического уровня в текстах игр детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *игры детей, лингвостатистика, частота слова, частотные группы, части речи: глаголы, существительные .*

Данная работа посвящена лингвостатистическому анализу языка игр детей дошкольного возраста, в ней уделяется большое внимание функционированию частей речи. Выбор анализа языка игр детей объясняется участием автора этой статьи в проекте «Исследования детской речи в Латвии: лингвистический, социальный и культурный аспекты», который является одним из проектов в программе государственных исследований. Одна из задач этого проекта заключается в исследовании игр детей, их роли в развитии сенсорной культуры и речи детей.

В педагогической литературе (Elisone 1996; Jonīte 1996 и др.) раскрывается значение игровой деятельности для умственного и речевого развития ребенка, говорится о значении игрового материала для ознакомления детей с окружающим миром, а также о роли игры в создании положительного, эмоционального мира взаимоотношений, взаимопомощи и взаимоуважения как основы совместных действий детей.

Умело руководя игрой, педагог в дошкольном учреждении использует ее как средство умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания (Руководство играми...1986, с. 3). Именно поэтому игра признана ведущим видом детской деятельности в дошкольном возрасте.

Развитию речи детей, достаточному запасу знаний об окружающем мире способствуют различные виды игр: строительные, творческие, словесные, подвижные и др., которые по содержанию лаконичны, выразительны и доступны ребёнку и «вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов» (Игры детей...1997, с. 4).

Следует отметить, что различные виды игр представлены в рассмотренных нами сборниках игр (См: Mana rotaļspēle 1998), которые разработаны для обеспечения полноценного сенсорного развития ребенка и его речи и предназначены для воспитателей детских садов.

Все тексты сборников игр (общее количество игр – 135) были введены в память компьютера. По совокупности указанных текстов установлено, что в них насчитывается 12102 словоупотреблений. Тексты игр, предназначенных для детских садов, представляют небольшую выборку, однако им присуще тематическое своеобразие. В словнике зафиксировано 1249 разных слов. Как известно, для численного выражения соотношения каких-либо показателей в лингвостатистике широко используются

различные индексы, в том числе индекс итерации, который показывает среднюю повторяемость слов в текстах (в текстах игр индекс итерации равен 9.7). При изучении лексики индекс итерации является показателем богатства, разнообразия словника.

Обычно в лингвостатистических исследованиях лексика подразделяется на частотные группы:

- 1) высокочастотная (с индексами частот от 10 до n),
- 2) среднечастотная (с индексами частот от 5 до 9),
- 3) низкочастотная лексика (от 1 до 4).

Если лексику словника, разработанного на материале игр, распределим на названные частотные группы, то получим статистическую структуру словника, которая представлена в табл.1.

Таблица 1

Распределение лексики словника текстов игр

Группы частот	Количество слов (%) в словнике	Количество словоупотреблений (%) в текстах
1 – 4	68.2	16.0
5 – 9	14.4	11.4
10 – 100	16.6	51.2
101 и более	0.8	21.4

Из табл.1 следует, что в низкочастотной группе с индексами от 1 до 4 включительно насчитывается 68.2% от всего перечня слов, однако они разбросаны по текстам игр, словоупотребления в которых составляют 16% от совокупности. Лингводидактически приемлемая группа с индексами частот от 5 до 9 включительно по перечню разных слов составляет 14.4%, а соответствующая доля словоупотреблений в исследованном материале 11.4%. Группы слов с индексами частот 10 – 100, 101 – n представляют статистически достоверную группу лексики, которая, как правило, относится к активному словарю (Korsakas 1998).

По данным таблицы 1, эти частотные группы по количеству разных слов в словнике выражены минимальными числами (17.4%), однако по совокупности словоупотреблений в обследованных текстах относительные числа здесь самые высокие (72.6%). Итак, лингвостатистический анализ лексики игр показал, что наибольшую долю в словнике составляют слова, отмеченные более низкими индексами частот, а меньшую часть – высокочастотная группа лексики, которая составляет ядро словника игр и относится к активному словарю. Высокочастотные единицы текста характеризуются очень большой повторяемостью, а низкочастотная лексика отличается разнообразием, так как обычно в текстах очень редко повторяются одни и те же низкочастотные словоупотребления. Благодаря этим результатам можно получить конкретные перечни лексики с индексами частот – главным признаком повторяемости слов в исследуемых текстах.

Лингвостатистический критерий ориентирует исследователей различных текстов, составителей словарей, авторов учебных пособий, предназначенных как для дошкольных учреждений, так и общеобразовательных школ, учителей – методистов в большей степени опираться на высокочастотную лексику (в том числе часто употребляемые иноязычные слова). Низкочастотные слова (например, *rapno*, *getras*, *fliterītis*) являются признаком пассивного словаря: они должны сопровождаться дополнительным контекстом, чтобы нужное слово, его значение запомнилось. В лингвостатистической литературе (Ю. Корсакас, В. Кузина, И. Лауриненене) указано, что низкочастотная лексика представляет собой самую трудоемкую часть носителей любого языка (в текстах они составляют около 15%).

Используемое нами подразделение лексики игр на частотные группы является весьма эффективным методом при изучении единиц грамматического уровня, т.е. частей речи. Деление слов на части речи, в сущности, является наиболее общим, наиболее древним, но и сейчас незаменимым способом классификации словаря (Якубайтис 1981, 120). Функциональный аспект рассмотрения частей речи делает необходимым привлечение количественных характеристик.

Самое общее представление о соотношении частей речи в текстовой совокупности можно получить, вычислив долю каждой части речи в общем массиве слов (табл. 2). Удельный вес, или доля, изучаемых языковых единиц представляет собой одну из основных статистических характеристик.

Таблица 2

Соотношение употребительности частей речи

Части речи	Доля		Ранг	
	В общем количестве слов	В общем количестве словоупотреблений	По количеству слов	По количеству словоупотреблений
S (сущ.)	46.4	30.2	1	1
V (глагол.)	36.9	23.2	2	2
Adj (прил.)	7.7	6.9	3	6
Adv (наречия)	6.4	7.5	4	4
Pn (местоимения)	0.8	13.5	5	3
Pp (предлоги)	0.5	5.3	6.5	7
Con (союзы)	0.4	7.2	8	5
Pt (частицы)	0.2	4.5	9	8
Num (числит.)	0.5	1.5	6.5	9
Int (междом.)	0.1	0.1	10	10

В таблице 2 для каждой части речи указаны два структурных показателя: один определяет долю части речи в инвентаре разных слов, реализовавшихся в текстах игр, другой – долю в общем числе словоупотреблений. В число существительных включены также имена собственные, например, Jānītis, Nezinītis, Krāsu Rūķis, Leopolds, Vimbo и др. В таблице не отражены аббревиатуры (напр., utt., u.c.), составляющие 0.1% всех слов и словоупотреблений. Как видно из табл. 2, каждая часть речи имеет свой ранг, как по количеству слов, так и по количеству словоупотреблений. Обращает на себя внимание довольно отчетливое разграничение между характеристиками знаменательных и служебных частей речи. Служебные части речи, обладая ограниченным инвентарем, составляют незначительную часть словника (1.1%). Основная часть словника (83.3%) приходится на S, V, образующие ядро всей системы частей речи. В целом система частей речи (см. табл. 2) выглядит следующим образом: иерархически высшее место, как отмечалось выше, принадлежит V и S (причём приоритет принадлежит S), затем идут Adj, Adv, Pn, Num (15.4%), которые занимают второстепенное место среди главных частей речи.

Если обратиться ко второму показателю, т.е. удельному весу частей речи в текстах, то можно отметить иные их соотношения. Служебные части речи составляют 17% (в словнике – 1.1%), V и S – 53.4% (в словнике 83.3%).

Так как в текстах игр и их словнике S (ранг 1) занимают первое место среди других частей речи, начнем с их рассмотрения. Для иллюстрации в кратком списке слов этой части речи (также как в списках других частей речи) будут даны только высокочастотные слова (с индексами частот от 10 до n): *aplis, aplītis, acs, actiņa, attēls, bērnš, bumba, bumbiņa, burts, burtiņš, cipars, elements, figūra, figūriņa, forma, galds, galva, garums, grozs, groziņš, īpašība, kāja, kājiņa, kartīte (kartiņa), klucītis, krāsa, krūzīte, kvadrāts, lācītis, lapiņa, laukums, lauva, lauvēns, lelle, lellīte, lente (lenta), lentīte, lielums, lieta, māja, mājiņa, māmiņa, mamma, mārīte, materiāls, mutīte, muguriņa, ornaments, ovāls, poga, punktiņš, punkts, puse, raksts (ornaments), riņķis, riņķītis, rotaļa, rotaļlieta, rūķis, rūķītis, saulīte, secība, skaits, skaņa, sloksnīte, šallīte, šķīvītis, taisnstūris, taurenītis, tauste, trijstūris, uzdevums, varde, vardīte, vārds, vidus, vieta, zābaciņš, zaķis, zaķītis, ziediņš, zieds, zivs, zivtiņa, zvaigznīte* и др. В этом списке слов имеются названия игрушек и предметов, с которыми ребенок встречается ежедневно, а также названия геометрических фигур. Для обследованных текстов характерна сравнительно высокая частота суффиксов с уменьшительным значением. Благодаря словам с такими суффиксами у детей формируется положительное отношение к окружающему миру.

Из табл. 2 видно, что в исследованных текстах часто употребляются V (ранг 2), например, *aizpogāt, aizsiet, aizvērt, aizvilkt, apģērbt, aplūkot, apskatīt, atpazīt, atrast, atšķirt, būt, griezt, grupēt, ielikt, ievietot, izdomāt, izlikt, izrotāt, izvēlēties, nosaukt, noskaidrot, noteikt, novietot, novilkt, pacelt, padot, paņemt, parādīt, pateikt, pastāstīt, pievienot, sacīt, sagrupēt, sakārtot, sakrist (būt vienādiem), salīdzināt, salikt, sameklēt, saskaitīt, saukt, siet, uzlikt, uzvarēt, uzvilkt, uzzīmēt, varēt, veidot, veikt, zīmēt* и др. Эти глаголы часто употребляются в играх, основанных на интересе детей к действиям с игрушками и предметами, поэтому в этом списке нет глаголов с отрицательной приставкой (они не вдохновляют к действиям детей).

Глаголы и другие части речи обладают набором форм и категорий, каждая из которых может явиться объектом анализа, в том числе статистического. Для исследованных текстов характерно абсолютное большинство действительного залога, а также преобладание:

- 1) форм глаголов повелительного наклонения и т.н. должностовательного наклонения (в латышском языке), наряду со значительной долей изъявительного,
- 2) личных форм,
- 3) форм настоящего времени и значительной доли будущего.

Подробное описание форм и категорий глаголов и других частей речи в статистическом плане предлагается рассмотреть в специальном исследовании.

В текстах игр особое внимание уделяется названиям свойств предметов (цвет, форма, величина, количество, расположение), поэтому в них часто употребляются Adj (ранги – 3 и 6): *apaļš, balts, brūns, ciets, dažāds, dzeltens, gaišs, garš, košs, krāsains, krāšņs, līdزیgs, liels, lillā, mazs, melns, mīksts, oranžs, ovāls, pareizs, pelēks, plats, pretējs, raibs, rozā, tumšs, sarkans, vienāds, violets, zaļš, zils* и др. В этом перечне слов самую выразительную группу образуют Adj, обозначающие цвет.

Благодаря играм, дети знакомятся с так называемыми хроматическими цветами спектра и ахроматическими цветами (Венгер 1988, с. 7), а также получают представление об оттенках и их соответствующих названиях.

Часто употребляемые Adv (ранг 4) в текстах игр являются следующими: *apakšā, atkal, atpakaļ, ātrāk, ātri, augšā, cik, daudz, iekšā, ilgāk, ilgi, kā, kad, kopā, lejā, mazāk, pareizi, priekšā, skaidri, skaļi, skaļāk, stiprāk, stipri, šodien, tā, tad, tagad, tāpat, tikko, tuvāk, tuvu, uzmanīgi, vairāk, vēl, visapkārt, visātrāk, vispirms, visvairāk* и др. Знакомясь с различными свойствами предметов, ребенок запоминает такие слова, как *lejā, priekšā, augšā*, которые связаны с расположением предметов.

К часто употребляемым Pn (ранги 5 и 3) принадлежат такие слова: *cits, jūs, kāds, kas, katrs, kurš, mans, mēs, pats, savs, šis, tāds, tas, tu, viņš, viss* и др. Как известно, личные

местоимения *tu, viņš, mēs, jūs* характерны в разговорной речи. Слова *kas, kurš, kāds* в текстах игр употребляются в основном в вопросительных предложениях.

Детям дошкольного возраста предлагаются игры математического характера, которые дают представление не только о форме, величине, цвете, а также о множестве или количестве предметов, например: *viens, pirmais, divi, otrais, trīs, trešais, maz, daudz*. Во время игр дети осваивают количественные и порядковые Num, а также учатся правильно употреблять Pp (*aiz, virs, līdz, no, pa, pie, starp, uz, zem* и др.), Con (*un, bet, vai, ka, jo* и др.), Pt (*kā, jā, nu, tikai* и др.). Как известно, служебным словам присуща большая текстообразующая способность.

Итак, специфика текстов игр заключается в употреблении местоимений, междометий, существительных с суффиксами уменьшительного значения, характерных для разговорной речи. В исследованных текстах обнаружено значительное количество вопросительных, восклицательных и побудительных предложений, а также преобладающее большинство простых предложений (признаки разговорной речи).

Лингвостатистический критерий позволяют глубже исследовать единицы грамматического уровня на материале игр детей. Он необходим для авторов учебных пособий, учителей - методистов, составителей словарей и др.

Литература

- ВЕНГЕР, А. А.; ПИЛЮГИНА, Э. Г.; ВЕНГЕР, Н. Б., 1988. *Воспитание сенсорной культуры ребенка*. Москва: Просвещение.
- DZINTERE, Dz.; BOŠA, R., 1997. *Rotaļspēles*. Rīga: Mācību apgāds.
- ELISONE, Š.; GREJA, Dž., 1996. *365 radošo spēļu dienas bērniem no 2 gadu vecuma*. Rīga: Pļus.
- Игры детей зарубежных стран и России*, 1997. Санкт-Петербург: МП «Европа».
- ЯКУБАЙТИС, Т. А., 1981. *Части речи и типы текстов*. Рига: Зинатне.
- JONĪTE, V., 1996. *Krāsu un figūru spēles plaknē kā bērnu sensoro spēju attīstītājas*. Rīga: Mācību apgāds.
- KALMANE, A., 2005. *Rotaļāšanās kā zināšanu apguve. Izglītība un Kultūra*. 16.07.2005.
- KORSĀKAS, J., 1998. *Definīciju leksika*. Šiauliai. 321 p.
- LIEĢENIECE, D., 1995. *Rotaļas nozīme bērna pašattīstības sekmēšanā*. Liepāja, u.c.
- OZOLIŅA, E., 1991. *Bērna rotaļas. Izglītība*, nr. 7. Rotaļa. Rīga: Zvaigzn.
- Руководство играми в дошкольных учреждениях*, 1986. Москва: Просвещение.
- Spēles un vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstībai*, 1996. Rīga: Ped. centrs „Eksperiments”.
- См., напр., *Mana rotaļspēle*, 1998. Rīga, с. 197.
- ŠVARCA, B., 1997. *Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm*. Rīga: Sorosa fonds.
- VECMANE, S., 2005. *Spēle – bērna darbs izaugsmei. Izglītība un Kultūra*, 16.07.2005.

Viktorija Kuzina

Rīga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

ANALYSIS OF MORPHOLOGIC UNITS AND THEIR LINGUISTIC STATISTICS (BASED ON TEXTS ABOUT CHILDREN'S GAMES)

Summary

Nowadays a lot of attention is drawn to the children's role-play at pre-primary school in our country and in the world. Role-play promotes the development of the child's sensory abilities and the child's language.

Role-play was chosen to carry out the qualitative quantitative research of the role-play's language.

The result of the role-play lexis lingua-statistical processing revealed the zones of the role-play lexis frequency and, also, the statistical characteristics of the parts of speech. Moreover, it was discovered that the language of the role-play involves the features of the colloquial speech.

KEY WORDS: linguistic statistics, morphologic units, parts of speech, verbs, nouns, frequency of the repetitive usage, frequently-used zones.

Veslav Kuranovič

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva

el. paštas: ukk@hi.vgtu.lt

BENDRAVIMO MOKSLAS KAIP AMŽINOS IŠMINTIES DVASIOS ŠALTINIS

Šiame moksliniame straipsnyje nagrinėjamas bendravimo mokslas, kuris buvo ir tebėra svarbus pedagoginėje aplinkoje. Kas yra bendravimo mokslas ir kas slypi jo gelmėse?

Įsigilinus į mokslinio straipsnio pavadinimą, randame daugybę neatsiejamų sąvokų, kurių visuma būtent ir sudaro bendravimo mokslą. Bendravimo moksle yra pastebimi objektas ir subjektas. Objektas yra studentas, o subjektas yra dėstytojas. Tarp studento ir dėstytojo užsimezga dvasinis ryšys, kurio pagrindas yra tarpusavio supratimo dialogas. Dėstytojas turėtų jausti auditoriją, savo kalba turėtų sugebėti pasiekti studento sielos gilumą ir pajusti tai, ko studentas stokoja. Studento savirealizavimo pagrindas yra atskleisti tikrąsias mokslo vertybes dėstytojo ir studento bendravime ir išsiugdyti pagarbą dėstytojams.

Vilniaus Gedimino technikos universitete dėstant specialybės profesinę kalbą labai svarbu yra remtis didaktinėmis priemonėmis, kurios padėtų geriau studentui įsisavinti studijuojamą dalyką, sužadinti studento smalsumą, kuris jį lydėtų ir baigus universitetą. Dėstytojų dėka tam tikrą gyvenimo akimirką žmogus tampa laiko vaisiumi, kūrybine asmenybe.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: subjektas ir objektas, dvasinis ryšys, tarpusavio supratimo dialogas, didaktika, psichologija, hierarchinė klasifikacija, diskusijų metodas, dėstytojo kalba, paskaitos modelis.

Įvadas

Nuo seniausių laikų daug mokslininkų tiria pedagoginę kalbą. Vienas iš jų buvo Antanas Paplauskas – Ramūnas. Taigi Antanas Paplauskas-Ramūnas išsakė šiuos nepakartojamus žodžius: „Į praeitį tvirtai atsirėmus, reikia visomis jėgomis kurti dinamišką dabartį ir, įleidus giliai šaknis į praeitį bei dabartį ir, visu protu, širdies, valios ir sąžinės dinamizmu gaivalingai, nesulaikomai reikštis ir vulkaniškai veržtis į ateitį (Paplauskas-Ramūnas, 1996, p. 11)

Išgirdę mokslinio straipsnio pavadinimą, pradedame mąstyti apie įvairiausius metodus pedagoginiame darbe, kurie būtų studento savirealizacijos pagrindas pasirinktoje srityje, kurie sužadintų studento smalsumą ir įtvirtintų jo specialybės žinias. Bendravimo moksle būtent subjektas ir objektas vaidina pagrindinį vaidmenį, subjektas yra dėstytojas, o objektas yra studentas. Dėstytojas vaidina pagrindinį vaidmenį studento mokslo gyvenime, nes būtent jis, o ne priemonė, geba geriausiai perduoti neįkainuojamas žinias. Tarpusavio supratimo dialogas tarp studento ir dėstytojo yra labai svarbus įsisavinant žinias. Kiekvienas dėstytojas yra pedagogas ir psichologas, jis geriausiai mato studentų poreikius bei lūkesčius

Straipsnio tikslas yra atskleisti tikrąsias mokslo vertybes dėstytojo ir studento bendravimą, tarpusavio supratimo dialogo užmezgimą, ugdyti pagarbą dėstytojams, atrasti dvasinį ryšį su dėstytoju.

Straipsnio objektas – dėstytojo ir studento bendramokslė veikla, grindžiama tarpusavio supratimo, dialogo užmezgimu ir didaktinių metodų taikymu. Ruošiant mokslinį straipsnį yra svarbu remtis naudinga literatūra. Ji yra šaltinis, iš kur semiamos žinios. Be literatūros tiksliai neatsakysime į straipsnio tikslą ir nepažinsime geriau straipsnio objekto. Literatūra yra kelrodis, kuris mus veda per visą mokslinį darbą ir neleidžia mums nukrypti nuo pasirinkto kelio. Prieš rašant mokslinį straipsnį reikia domėtis mokslinėmis problemomis, tarsi tai būtų gyvenimo dalis, nes tik tada mes galėsime tiksliai rasti išeitį. Apžvelkime trumpai literatūrą, kuria bus bandoma atsakyti į mokslo klausimus. Neatsakysime į jokių mokslo klausimą, jei nesiorientuosime psichologijoje, pedagogikoje ir didaktikoje, būtent šiose disciplinose galima atrasti daug atsakymų, susietų su mokslu ir jo organizavimu.

Pasirinkome kelias knygas, kurios mums padės nuodugniau atskleisti mokslinio straipsnio esmę. Tai būtų tokios knygos kaip: Turėti ar būti (Fromm 2005), Bendravimo psichologija (Želvys 2007), Mokomės mokytis (Richard 1998), Interaktyviojo mokymosi strategijos (Buehl 2004), Aktyvaus mokymosi metodai (Spiro 1998), Mokytis tai atrasti (Gvendstad 1996), Pedagoginė psichologija (Gage 1992).

Tiriamąo darbo analizė

Pradėkime nuo pradžių. Ne veltui žmonės sako, kokia pradžia, tokia ir pabaiga. Pedagoginis darbas nėra lengvas, jis reikalauja daug protinio darbo ir ištvermės. Dažnai girdime žmones kalbant, kad žinios priklauso nuo dėstytojo. Auditorija, kurioje vyksta paskaita, yra tarsi plaukiantis laivas per jūrą, o laivo kapitonas yra dėstytojas. Kokią kryptį pasirinks kapitonas, tokiu keliu ir plauks laivas. Taip pat yra ir universitete. Dėstytojas yra studentų grupės vadovas. Kaip nukreips jis studentus, toks bus mokslas ir tokie bus pasiekti rezultatai. Tačiau rezultatai priklauso ne vien tik nuo dėstytojo. Klaidingai žmonės mano, kad dėstytojas yra visagalis. Rezultatai priklauso nuo tarpusavio dialogo, kuris užmezgamas tarp studentų ir dėstytojo.

Po trumpos įžangos sustokime ties straipsnio pavadinimu – „Bendravimo mokslas kaip amžinos išminties dvasios šaltinis“. Bendravimas su žmonėmis pedagoginėje aplinkoje – tai menas suprasti kitą žmogų ir būti pačiam suprastam. Būtent bendravimo mokslo menui išugdyti reikia žinių, talento, darbo ir kantrybės. Perskaitę vieną, antrą knygą negalime įsigyti nei talento, nei kantrybės, nei sugebėjimo pritaikyti išmokus dalykus. Bendravimo meno galima išmokti tik tada, kai bus dedamos milžiniškos pastangos, kai atsiras vienintelis noras to siekti ir, jei nepritruks kantrybės. Neturime taip pat pamiršti, kad bendravimo moksle dėstytojo kalba vaidina pagrindinį vaidmenį.

Kalba – vienas svarbiausių komunikacijos įrankių. Būtent ji yra sektinas pavyzdys studentams. Kiekvieno dėstytojo pareiga – plėtoti studentų protines galias, skatinti juos mąstyti, analizuoti, užsibrėžti tikslus. Nepamirškime, kad dėstytojo kalba veikia studentų kalbą, mąstymą ir lūkesčius. Kiekvieno studento bendravimas paskaitoje pasireiškia dėmesingumu. Nėra tokių pačių žmonių pasaulyje, kiekvieno žmogaus mąstymas yra skirtingas. Į turėjamą orientuoti studentai gali klausytis paskaitos, girdėti žodžius, suvokti loginę frazių struktūrą bei jų prasmę ir geriausiu atveju, pažodžiui užsirašinėti viską, ką kalba dėstytojas, kad vėliau mintinai iškalėtų konspektą ir išlaikytų egzaminą. Tačiau tokiu atveju paskaitos turinys netampa jų mąstymo sistemos dalimi, nepraplečia ir nepraturtina jos. Tarp studentų ir paskaitų turinio taip ir neužsimezga joks ryšys – jie lieka svetimi vienas kitam, tik kiekvienas studentas įgyja tam tikrą svetimų minčių kolekciją. Studentams, kurių pagrindinis egzistavimo būdas yra turėjimas, nelieka kito tikslo, kaip laikytis to, jie išmoko – arba pasitikėti savo atmintimi, arba akylai saugoti savo konspektus.

Visiškai kitaip žinias įsisavina studentai, pasirinkę buvimą kaip pagrindinį santykį su pasauliu. Pirmiausia jie nepradeda klausyti paskaitų kurso. Apie problemas, kurios buvo gvildenamos per paskaitas, jie jau yra mąstę ir šiuo atžvilgiu, jie turi savo klausimų bei problemų. Jie jau yra gilinęsi į konkrečią temą, ir ji juos domina. Taigi, jie nėra pasyvios žodžių ir minčių talpos, jie klausosi ir girdi, o svarbiausia – gaudo informaciją, jie reaguoja į ją aktyviai ir produktyviai. Tai, ką jie girdi, stimuliuoja jų pačių mąstymą (Fromm 2005, p. 45–47)

Labai svarbu bendraujant turėti kontaktą su studentais. Psichologijos vaidmuo bendraujant turi didelę vertę. Dėstytojas turėtų gerai išmanyti įvairios psichologijos sritis, kad rastų tinkamą kelią, kuris vestų į dialogą ir bendradarbiavimą su sunkumų turinčiais studentais. Dažnai sunkumams kilus, studentas bando daryti įtaką dėstytojams, rodomas nepasitikėjimas, atsiranda abejonės. Reikia daugiau lankstumo, gebėjimo įtikinti, apginti savo nuomonę, nepasiduoti spaudimui. Psichologija pirmiausia padeda geriau pažinti save kaip pedagogą, taip pat ir supančius žmones, nes bendravimo moksle tai yra labai svarbu. Dėstytojas pats turi būti pajutęs, suvokęs, kaip skleidžiasi jo kompetencija ir gebėjimai, tada jam labiau pavyks atskleisti ir savo studentus.

Dėstyto monologinis kalbėjimas sulaukia vien tik nežodinio atgalinio ryšio todėl, norėdamas bendrauti sėkmingai, jis turi gerai suprasti studentų siunčiamus nežodinius signalus, tai yra – jausti auditoriją (Želvys 2007, p. 61).

Daug kalbame apie ateitį, būtent, kokia ji turėtų būti. Rytdienos universitetas – tai universitetas be įtampos, baimės ir stresų. Aplinka, kurioje vyrauja jaukumas ir šiluma, meilė ir pagarba. Bendravimo mokslas negali egzistuoti be sąžiningumo, be abipusės pagarbos. Pagarba žmogui už tai, kad jis yra, kad jis kalba, kad turi savo nuomonę, o ne bando išlikti su skolinta. Pagarba pasirinkimui, pagarba patyrimui, mąstymui, bandymui, idėjai, pasiūlymui, atvirumas.

Per paskaitas mokomės ne tik specialybės – mokomės būti kartu, kalbėtis ir susikalbėti, mokomės tolerancijos, pagarbos, gerumo, pakantumo, ir visa tai sudaro bendravimo mokslą, kuris buvo ir visada lieka svarbus.

Kad bendravimas būtų harmoningas ir naudingas, dėstytojas turi sau iškelti vertybes, kurios jam yra svarbios bendro tikslo pasiekimui. Būtent dėstytojo vertybės – kūrybiškumas, imlumas, lankstumas, pareiškimas, reiklumas sau. Jei dėstytojas ko nors reikalauja iš studento, pirmiausia jis turi būti reiklus pats sau.

Dėstytojas turi būti ne tik dalyko žinovas, dvasios inžinierius, bet ir tarpininkas tarp studento ir žinių srauto. Taigi, dėstytojas turi visą laiką skatinti studentus kuo daugiau dirbti savarankiškai. Medžiaga, kurią reikia išmokyti, pateikiama studentams ne kaip išbaigta, bet taip, jog studentai turėtų ją vienu ar kitu būdu organizuoti ar transformuoti, prieš galėdami ją įtraukti į savo kognityvinę struktūrą. (Grendstad 1996, p. 21). Studentas ką nors sužino ne todėl, kad jam kas nors ką nors pasako, o dėl to, kad jis pats kažką supranta. Dėstytojo tikslas nėra perduoti jam visas mokslines žinias. Svarbu išmokyti jį susirasti tai, ko jam reikia. Būtina, kad studentai tobulėtų savo pastangomis. Svarbų vaidmenį moksle vaidina kritinis mąstymas. Dėstytojas įvairiausiais būdais stengiasi studentams padėti atskirti tai, ką jie moka ir gali, nuo to, ko nemoka ir negali. Studentams dėstytojas tampa ne tik pažymių, bet ir tolesnio mokymosi šaltiniu. Ne dėl pažymio turėtų mokytis studentai, o dėl intelektualinio turto. Dėstytojas turi padėti studentams pamėgti mokymąsi, pajusti vidinį ryšį su mokymo dalykais, taip pat padėti įgyti naujų žinių bei įgūdžių, leidžiančių jiems prasmingai tyrinėti ir paaiškinti mokslo pasaulį.

Kritinis mąstymas – tai gebėjimas įvairiapusiškai analizuoti ir įvertinti situaciją bei mintis, kad būtų pasirenkama protinga ir pagrįsta pozicija (Spivo 1998, p. 7). Gebėjimas kritiškai mąstyti skatina visuomenės atvirumą, tarpusavio supratimą, pagarbą, ryšius tarp studento ir dėstytojo, ugdo studentų gebėjimą klausytis ir garantuoja studentų mokymosi integralumą ir saviraišką.

Vilniaus Gedimino technikos universitete dėstant specialybės profesinę kalbą, labai svarbu yra remtis didaktinėmis priemonėmis. Technikos universiteto dėstytojai stengiasi įvairiausiais metodais kalbą susieti su specialybe, per užsienio kalbos pratybas sudominti studentą specialybe taip, kad jam pačiam norėtųsi mokytis ir būtų įdomu.

Peržvelkime, kaip vyksta specialybės profesinės kalbos paskaita, kaip dėstytojas bando sudominti studentus ir kaip užsimezga bendravimo mokslo ryšys, kuris nesibaigia paskaita, o tęsiasi toliau. Be galo malonu, kai pasibaigia paskaita, o studentai atsisveikindami sako ne „viso gero, dėstytojau“, o iš jų lūpų girdime žodžius „iki kito pasimatymo“. Galima išgirsti, kai per pertrauką studentai kalbasi apie buvusią paskaitą, dalinasi patirtais išpūdžiais ir nekantriai laukia kito susitikimo su dėstytoju. Kad užsimegzėtų nuo pirmųjų paskaitų bendravimo ryšys tarp studentų ir dėstytojo, pirmiausia dėstytojui turėtų padėti kalbos aiškumas ir tikslumas, kuris pasiektų tuos studentus, kurių smalsumas dar nėra pažadintas. Netgi ir tie studentai, kurie yra pasiruošę mokslui, jiems dėstytojo kalbos aiškumas ir tikslumas turėtų būti kaip raktas į mokslo pažinimą. Niekada neturime pamiršti apie tai, kad rišliai išdėstytos mintys pasiekia netgi pasyvius studentus. Iš tiesų, jei per paskaitas studentai nori ko nors išmokyti, jie neturi būti pasyvūs. Paskaitos kritinis aiškinimas yra labai naudingas metodas moksle, būtent šis metodas susijęs su dėstytojo šiluma, humoru, įsijautimu, emocijumu, logika, entuziazmu ir dėmesiu, nekalbant jau apie žinias ir dalyko išmanymą. (Gage 1992, p. 311). Motyvacija paskaitoje yra labai svarbi, nesužadinus studento smalsumo, paskaita praeis veltui. Kiekvienas dėstytojas,

pasinėręs į mokslo pasaulį, pirmiausia turi gerai išmanyti didaktikos valdymo meną. Galima būti savo dalyko srities specialistu, bet nepasiekus studento gilumos, mokymas bus tuščias. Egzistuoja labai daug didaktinių metodų, kuriuos dėstytojai per paskaitas naudoja bendram tikslui pasiekti. Dažnai girdime tokius žodžius: „gera pradžia – pusė darbo“, „pasiūlyčiau pradėti užsiėmimą tokia tvarka“, „studentai, šiandien paskaitos tema tokia ir tokia“, truputį vėliau supažindiname studentus su paskaitos turiniu, ko mokysimės ir jokių būdu neturime pamiršti pateikti paskaitos pradžioje dvi, tris ar net keturias svarbiausias paskaitos mintis arba apibrėžti su paskaitos tema susijusias sąvokas.

Buvo atlikta keletas tyrimų, iš kurių paaiškėjo, kad yra ryšys tarp to, kaip studentas vertina paskaitos tikslo aiškumą ir mokymosi rezultatus. Iš įvairiausių tyrimų matyti, kaip yra svarbu, kad dėstytojas gerai išaiškintų paskaitos tikslą. Jei studentui paaiškinama, kaip išdėstyta paskaitos medžiaga, jiems būna lengviau paskaitą suprasti ir panaudoti. Toks medžiagos pateikimo būdas vadinamas sisteminančiu įvadu. Po trumpos įžangos dėstytojas pereina prie svarbiausios paskaitos dalies – dėstymo. Šioje dalyje perteikiama paskaitos medžiaga, sukuriama jos turinys bei struktūrą atskleidžianti paskaitos forma, stengiamasi studentus sudominti. Geriausių rezultatų sulaukiama tada, kai turinys išdėstomas nuosekliai. Paskaitos tikslas yra bendravimas, o jis tuo efektyvesnis, kuo aiškesnė paskaitos forma, kuo nuoseklesnis dėstymas. Kai kurie mokslininkai paskaitos formavimo būdą vadina hierarchine kvalifikacija. Tuo būdu, kuriant paskaitos struktūrą, įvairi informacija (faktai, sąvokos, principai) pagal tam tikrus požymius grupuojami, tos grupės gauna pavadinimus.

Technikos universiteto dėstytojai stengiasi įvairiausiais metodais kalbą susieti su specialybe, per užsienio kalbos pratybas sudominti studentą specialybe taip, kad jam pačiam norėtųsi mokytis ir būtų įdomu. Užsienio kalbos specialybės paskaitos remiasi įvairiais didaktiniais metodais.

Peržvelkime vieną didaktinį metodą, kuris vadinamas diskusijų metodu. Įsigilinę į šį metodą, pastebėsime, kad diskusijos per užsienio kalbos specialybės paskaitas yra vienas iš prioritetų, kuris sudaro bendravimo mokslą. Diskusijų metodas yra labai naudingas, nes ugdo sugebėjimą kritiškai mąstyti. Jis skatina mokytis pagrįsti savo nuomonę faktai, apibrėžimais, konceptualiomis sąvokomis ir dėsniais. Kitas svarbus šio metodo tikslas – mokyti studentus diskutuoti ir bendrauti. Tik bendraujant, galima išmokti išklausti kitą žmogų, įvertinti jo argumentus, aiškiai suformuluoti savo požiūrį, atsispirti tiek subjektyvioms simpatijoms ar antipatijoms, veikiančioms mūsų mąstymą, tiek norui konformistiškai prisitaikyti. Galima išmokti susitelkti ties svarbia problema ir nepasiduoti emocijoms (Richard 1998, p. 343).

Bendraujant gerai būtų prisiminti tris principus, kuriais remiantis bendravimo mokslas realizuojamas. Pirmiausia – empatija – gebėjimas įsijausti į kito žmogaus vidinę būseną, gyventi jo emocijomis, žvelgti jo akimis į aplinką ir save. Tik reikia atsiminti, jog svarbiausia empatijoje – kito supratimas, jį gerbiant noras jam pagelbėti. Tam tinkamai pasitarnauja autentiškumo principas: nuostata kiekviename bendravimo akte likti savimi, tikruoju „aš“, nesidangstančiu jokiais kaukėmis. Bendravimas tampa lygiavertis, kai neužmirštame ir trečiojo, labai svarbaus, tolerancijos principo: turimas galvoje visuminis kito žmogaus priėmimas, stengiantis pokalbyje jį pasitikti kaip vertą visokeriopos pagarbos subjektą, be išankstinių nuostatų ir prietarų, kad galėtume žmogų girdėti ir pokalbio metu mumyse formuotąsi tapataus kito vaizdas. Taigi, bendravimas moksle atsiskleidžia ne tik kaip malonumo siekimas, bet ir kaip vertybė, praturtinanti abi bendraujančias puses. Pagal mokymo medžiagos išlaikymą atmintyje ir mąstymo operacijų sudėtingumą, taip pat ir pagal nuostatas bei motyvaciją, diskusijų metodas yra pranašesnis už paskaitų metodą, kadangi studentai per diskusijas yra aktyvūs ir gali gauti grįžtamąją informaciją.

Mokymo diskusijų metodų sėkmė priklauso ir nuo dėstytojo asmenybės, jo temperamento. Dėstytojas turi būti guvaus intelekto, kad sugebėtų sekti diskusiją, nepamesdamas minties gijos ties jo vingiais ir peršokimais, nepamiršdamas svarbiausių argumentų, neprarasdamas kantrybės net ir tada, kai ją išlaikyti būna itin nelengva. Dėstytojas turi mokėti išgirsti studentų išsakytas svarbias mintis, išryškinti ir susisteminti jas. Diskusijos

lavina iškalbą ir užsienio specializuotą profesinę kalbą. Bendraudami studentai mokosi aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, teisingai tarti žodžius ir logiškai jungti juos į sakinius, taisyklingai gramatiškai ir įdomiai kalbėti (Buehl 2004, p. 11). Studentai, kurie vien skaito, klauso, rašo, ir atsakinėja, turi per mažai progų kalbėti savo iniciatyva. Grupinėje diskusijoje studentai gali išbandyti savo iškalbingumą, o klausydamiesi, kaip kalba kiti, gali geriau pajusti, kaip tobulinti savo pačių užsienio kalbą. Diskusijų bendravimo metodas, kaip ir kiti mokymo metodai, reikalauja planavimo, kuris turi specifinių bruožų. Nepamirškime, kad tikslų numatymas ir temos pasirinkimas lemia bendravimo mokslo efektyvumą.

Bendravimo mokslas yra grindžiamas tarpusavio supratimo dialogu tarp dėstytojo ir studento. Mes mokomės bendradarbiauti, padedame vienas kitam (ypač tiems, kuriems sunkiau sekasi), giriame ar kritikuojame vieni kitų pastangas, vertiname, kiek kuris prisidėjo prie dialogo. Būtent toks bendravimas skiepija jiems tarpusavio simpatijas, kelia pagarbą. Jei grupėje bus įvairių tautybių studentų, bendra patirtis padės išsklaidyti išankstinį nepasitikėjimą ar net suformuoti palankią nuostatą.

Bendravimo mokslas buvo ir lieka svarbus ateičiai... Norėčiau užbaigti šį straipsnį tokiais žodžiais: Laikas sprunka nuo mūsų kaip sausas jūros smėlis iš rankų, deja, atgal jau nebesugrįžta... Neįkainojama gyvenimo vertė yra laikas ir žmogus, branginkime tai! Tam tikrą gyvenimo akimirką studentas tampa laiko vaisiumi, kūrybine asmenybe.

Išvados

1. Mokslo pasaulyje didaktikos menas yra labai svarbus, siekiant pajusti studentų auditoriją.
2. Dėstytojo kalba yra sektinas pavyzdys studentams.
3. Bendravimo mokslas yra tarpusavio supratimo dialogas.
4. Paskaita – egzistencinis bendravimo būdas, gyvas buvimas – dalyvavimas.
5. Bendravimas niekada nebus veiksmingas, jei jame neatsispindės empatija, autentiškumas ir tolerancija.
6. Universiteto gyvenimas ne tik grindžiamas mokslu, bet ir tarpusavio supratimu, sąžiningumu, mandagumu, pagarba ir malonia šypsena.

Literatūra

- BUEHL, D., 2004. *Interaktyviojo mokymosi strategijos*. Vilnius: Garnelis.
FROMM, E., 2005. *Turėti ar būti*. Kaunas: Verba vera.
GAGE, N. L.; BERTINER, D. C., 1992. *Pedagogical psychology*. Boston: Houghton Mifflin.
PAPLAUSKAS-RAMŪNAS, A., 1996. *Pedagoginiai raštai*. Vilnius: Margi raštai
RICHARD, I., 1998. *Mokomės mokyti*. Vilnius: Margi raštai.
SPIRO, I., 1998. *Aktyvaus mokymosi metodai*. Vilnius: Garnelis.
ŽELVYS, R., 2007. *Bendravimo psichologija*. Vilnius: Margi raštai

Veslav Kuranovič

Vilniaus Gedimino Technical University, Lithuania

THE SCIENCE OF COMMUNICATION AS THE SOURCE OF ETERNAL WISDOM

Summary

The article discusses the issues of didactics, which cause much difficulty for teachers. Every teacher who immerses into the academic world must first of all master the art of didactics. The teacher has to reach the depth of the student's soul and feel what a student lacks. The basis of the student self-realization is to reveal the true values of science in the communication between teachers and students in order to discover inner relations. At Vilnius Gediminas Technical University professional languages are taught. So it is important to use the didactic material. The teachers of Vilnius Gediminas Technical University try to use different methods. They aim to interest their students in their area of study while foreign language teachers are ready not only to improve students language skills but also develop their communicative abilities both in everyday communication and in their special professional

domain. Thanks to mutual understanding and cooperation of the teacher and the student, a person becomes a creative and sophisticated personality.

KEYWORDS: subject, object, spiritual connection, the dialogue of mutual understanding, didacts, psychology, hierarchical classification, the methods of discussion, teacher's speech, the model of lecture.

Гражина Лисовска

Институт неофилологии Поморской академии в Слупске

ул. Славянска 8, 76-200 Слупск, Польша

e-mail: neofilologia@pap.edu.pl

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: СНИЖЕНИЕ РЕЧЕВОГО СТАНДАРТА

В статье предпринята попытка представить важнейшие проблемы, связанные с функционированием российских письменных СМИ в рамках современной публичной коммуникации. Анализ позволяет сделать вывод, что в начале XXI в. происходит усреднение (массовизация) речевого стандарта за счет прежде всего жаргона, разговорных включений, просторечия. Названные элементы объединяются по признаку «сниженность» в сравнении с нейтральным уровнем литературного языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *печатные средства массовой информации, сленг, публицистический стиль, разговорные включения, общий жаргон.*

Каждая эпоха характеризуется своими особенностями развития языка. «Одно лишь сравнение словаря в разные эпохи дает возможность представить характер развития народа» – сказал когда-то французский просветитель-энциклопедист.

В научной литературе неоднократно отмечалась тенденция, связанная с излишним употреблением сниженной лексики и стремлением к огрублению речи в процессе общения (см., напр.: Костомаров 1999, Земская 2000, Нещименко 2001). Эта проблема связана со статусом публицистического текста в современном публичном дискурсе. В связи с этим справедливо мнение И. В. Коробушкина, который отмечает, что «Если в период перестройки язык газетных текстов отличался подвижностью, нестабильностью, что было связано как с экстралингвистической ситуацией, так и с поиском новых форм и средств выражения, то теперь можно говорить об определенной сформированности «нового русского» публицистического стиля» (Коробушкин 2001, с. 260). По сравнению с текстами советских газет в современном публичном дискурсе кардинально изменилась направленность газетных публикаций и коммуникативная установка пишущего, который, с одной стороны, стремится к высказыванию авторской точки зрения и к самовыражению, с другой, как бы, претендует на позиции наилучшей объективности изложения, диалогичности и полемичности. Немаловажное значение имеет и привлечение массового читателя, «аттрактивность» газеты и отдельной статьи, что отражается не только на всей структуре газетного текста, но особенно на лексике, что очень часто выражается в вовлечении в ее круг стилистически сниженных и экспрессивно окрашенных пластов.

Именно этому явлению в современном российском публицистическом дискурсе будет уделено внимание в настоящей статье. Актуальность такого рассмотрения вопроса обусловлено аспектами межъязыковой коммуникации, выражающейся в потребности понимания новых пластов русской лексики, как в контексте перевода, так и в контексте обучения. Для наблюдений над языком публицистики был использован материал газетно-журнальных публикаций за последние 8-9 лет, сознательно оставляя за рамками нашего анализа публичную устную речь радио- и телепередач.

Нельзя не признать, что публицистика стала тем мощным каналом, через который идет вторжение субстандарта в лексикон и тезаурус современной языковой личности. В этом контексте наблюдается отчетливая ориентация в сторону некодифицированных средств и смены нормативной основы печатного текста, в котором совсем не редкими стали не только экспрессивы разговорной речи, но даже грубая, бранная лексика. По словам А.В. Величко «нарочитое употребление жаргонной, вульгарной, сниженной лексики стало непременным условием и критерием «современности» у молодежи»

(Величко 1995, с. 56), для которой доминантной характеристикой общественного бытия является естественное стремление к диалогичности, динамичности и экспрессивности. В этом смысле структура дискурса отражает, как зеркало, социокультурную среду со всей совокупностью принадлежащих ей идей.

Таким образом, формирование стереотипов речевого поведения, системы речевых практик, уже содержащей в себе определенное ценностно-смысловое отношение к миру, происходит в последнее время под влиянием средств массовой информации (далее – СМИ), которые отбросили большинство из привычных для читателя или слушателя нормативных, стилистических и этических ограничений. Не следует, однако, думать, что массовое снижение речевого стандарта – исключительное следствие объективных социальных демографических процессов. Как отмечает В. В. Химик: «резко возросшая популярность низкого – грубого, комического, ненормативного – связана и с особым функциональным потенциалом единиц этой сферы коммуникации, с их особой выразительностью, привлекательностью и доступностью для самого широкого круга носителей русского языка» (Химик 2004, с. 6). Следовательно, современные средства массовой коммуникации являются той средой речевого обитания подавляющего большинства россиян, для которых «чтение газет и журналов, а также просмотр телепередач и пространство Интернета – часто единственная сфера речевой деятельности, в которой для массового носителя языка задаются речевые «эталоны», «нормы», эстетика» (Граудина и др. 1995, с. 85). Поэтому чрезвычайно важным представляется изучение языкового материала печатных текстов, систематизация и описание стихийного притока разговорных включений, прежде всего арготизмов и сленга, также в контексте их возможных разрушительных последствий для российской общенациональной коммуникации.

Функциональные процессы в рамках современного публицистического дискурса, связанные со снижением речевого стандарта, отчетливо проступают в области жаргонной, некодифицированной лексики, включенной в газетный текст.

Проведенный нами анализ показал, что направленность употребления субстандартных единиц заключается в осознанном, преднамеренном использовании «непристойных слов» для выражения, например, особой экспрессии снижения и упрощения речи, для разного рода осуждения или языковой игры и пр., т.е. мотивировано авторской коммуникативно-прагматической установкой. К такому контингенту слов принадлежат: *алкаш* ('алкоголик'), *босота* (синоним слова *братва* – 'преступная группировка'), *перен.* 'бедность, нищета'), *впендюриться* ('влезть во что-то') и многие другие, которые, несомненно, являются наддиалектными, общенациональными, но при этом остаются субстандартными, не входящими в сферу литературного лексикона, хотя и тяготеют к разговорной норме. Отметим и пример из газеты «Известия» (1999), в которой в статье *Самозванные «патриоты» воюют против России*, находим определения *ражая* «патриотка» и *главарь-верзила*, которые соответствуют значению 'крепкий, здоровый' по отношению к просторечному *ражий* и 'высокий, нескладный человек' по определению разговорного слова *верзила*. В проанализированных нами текстах встречаются и просодического характера разговорные включения, ср. напр.: «Кич – бесперспективен, он тупик, куда хозяева жизни, избравшие его как эстетику и способ существования, себя же и загоняют. Да какие хозяева? Тут уместней вульгарное «хозяева» – почувствуйте разницу» («Новая газета» 1999).

По наблюдениям исследователей (напр.: Крысин, Нецименко) активизировалось употребление форм множественного числа с ударными окончаниями у существительных мужского рода. Кроме приводимых разговорных иллюстраций довольно широко применяются в печатных текстах формы из профессиональной среды, ср. к примеру: *взвода* (а также в косвенных падежах: *взводов*, *взводам* и т.д.) – из речи военных, *срока* и *обыска* из речи прокурорских и милицейских работников: «Прокуратура дала санкцию на проведение *обысков* в помещениях обеих фирм» или «Работники «скорой помощи»

сетуют на то, что в иную ночь у них бывает по несколько *вызовов*»; «<...>строителям не дают покоя слабые такелажные *троса*»; «<...>старатели вслух выражают недовольство задержками зарплаты на *приисках*» и даже «<...>писатель Михали Жванецкий признался, что устал стоять под светом *юпитеров*» (из газеты «Невское время», 1999. Цит. по: Крысин 2000, с. 33). Описанное явление свидетельствует о влиянии на литературный язык не только социальных, но и профессиональных жаргонов, профессиональной манеры обращения с языковыми средствами.

Как известно, в современных условиях, основным источником жаргонных манифестаций являются частные жаргонные подсистемы, социальные и профессиональные диалекты. Однако особенно шокирует применение слов криминального жаргона: «Сегодня у нас (т.е. в России – Г. Л.) общественное сознание становится уже не просто даже криминальным, а отороженным, маргинальным», «<...>ни в одном языке мира нет в таком количестве воровского сленга – заметьте, на этом сленге говорят все слои общества», пишет в своей статье Г. П. Нещименко, посвященной динамике речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации (Нещименко 2001, с. 107). О частотности употребления включений из криминального жаргона можно судить на примере нижеследующей газетной статьи, заглавие которой «*Братков*» *разыскивают дома, чтобы посадить на «нары»* вводит нас в определенный ментальный мир. В самом тексте читаются нами такие строки: «И Дания вздрогнула. Здесь впервые столкнулись с *разборками* (‘выяснение отношений путем применения физической силы или оружия’ – Г. Л.) нашей *братвы* (‘преступная группировка’ – Г. Л.)», а также «<...>Таких называют мошенниками, или по-русски *кидалами* (‘обманщиками’ – Г. Л.)» и пр. («Новая газета» 1998). Вопреки сказанному Е. А. Земская формулирует противоположную точку зрения, указывая в частности на фактор выразительности текста: «Если сын говорит матери: *Не наезжай на меня*, используя жаргонизм, или лингвист говорит о каком-либо симпозиуме: *Это была большая лингвистическая тусовка*, то это – шутка, образность, но никак не включение говорящего в воровской мир» (Земская 2000, с. 41).

В ином случае, например, в специальных репортажах или информационных заметках о жизни заключенных в тюрьмах, уголовный жаргон используется для усиления достоверности. Так, в репортаже С. Дюпина *Михаил Ходорковский воспользуется правом на труд*, в подзаголовок вынесен жаргонизм *ходка*, имеющий по словарю жаргонизмов значение ‘судимость с отбыванием наказания в местах лишения свободы’ (толкование дано по: Мокиенко, Никитина 2001). Однако, как справедливо отмечает Е. И. Беглова, в самом тексте слово употребляется в другом значении, не отмеченном в словарях, т.е. ‘проход между нарами в бараке’ (Беглова 2007, с. 73), ср.: «Каждые четверо нар разделены *«ходками»* – небольшими проходами <...>Тех, кто занимает образованный *«ходками»* блок, в колонии называют *«семьей»*. Члены *«семьи»* общаются между собой и поддерживают друг друга как экономически, так и физически» («Ъ», 2005).

Часто специальные субноминации, т.е. криминонимы находят применение в целях характеристики описываемой среды. Так, представляя быт заключенных в Краснокаменской тюрьме, корреспондент употребляет слова из речи людей, связанных с этим местом, например уголовные жаргонизмы, отражающие иерархию заключенных: «Всего в колонии 12 отрядов, состоящих примерно из ста человек каждый. От остальных отличаются только отряды № 7 и № 12. Первый из них состоит из *«авторитетов»* и *«блатных»*. В 12-й входят так называемые *расконвойники*... *«Авторитеты»* живут на первом этаже, *«мужики»* на втором» (цит. по: Беглова 2007, с. 73).

Заметим, что многие слова в статье употреблены без разъяснения, видимо, автор рассчитывает на знания читателя. Итак, *блатные* – это ‘осужденные, принадлежащие к одной из средних прослоек в тюремной иерархии’, *мужики* – ‘простые заключенные в отличие от тюремной элиты’, т.е. *«авторитетов»*, пользующихся непререкаемой

властью, влиянием, *расконвойники* – ‘арестованные заключенные с правом передвижения без конвоя за пределами ИТУ’ (ср. толкование: Ермакова и др. 1999).

Некоторые жаргонизмы анализируемого нами пласта настолько часто используются в СМИ, что уже не требуют специального разъяснения и даже «закавычивания». Они подвергаются социализации, становятся общеизвестными. В этом случае их рассматривают как интержаргон, или «общий жаргон», формулировка которого сводится к следующему: «Под общим жаргоном понимается тот пласт современного русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности образованными носителями русского литературного языка» (Ермакова и др. 1999, с. IV). Значит, общий жаргон – это совокупность ненормативных, но социализованных – общеизвестных или даже общеупотребительных слов, а также фразеологизмов, пополняющих общеэтнический субстандарт, а в ряде случаев и разговорно-литературную речь. Им пользуются, например, бизнесмены, журналисты, политики, общественные деятели, «поп-звезды» и даже писатели. Такие, например, ныне нормативные образования, как *беспредел* (‘беззаконие’), *мент* (очевидно, исходно усечение *полисмен*: *мен* с последующим добавлением *-т*; синоним: *мусор* – ‘милиционер’), *обуть* (‘ограбить, обобрать’), *отмазать* (‘выручить кого-нибудь, часто с помощью денег, ср. *подмазать* – дать взятку’), *кинуть* или *взять на понт* (‘обмануть’), *по благу* (‘возможность совершить что-нибудь в обход закона или правил’), *лох* (‘разиня, потерпевший’), *замочить* (‘убить’), *бабки* или *капуста* (‘деньги’; первоначально только о долларах – из-за их зеленого цвета), *ксива* (‘документ, чаще всего паспорт’; часто ‘поддельность’) и пр. Большинство из вышеприведенных номинаций – это элементы недавнего просторечия, прежде служившие в более узком смысле обозначениями криминальных реалий, теперь – получают развитие в литературном языке.

Эти и подобные слова можно увидеть почти в любом типе газет, как принадлежащих к таким, которые принято называть «желтой» прессой, так и в вполне авторитетных изданиях. Примером может служить жаргонное выражение *поставить на счетчик/включить счетчик*, которое в криминальном мире обозначает: ‘назначить срок выплаты денег, по истечении которого неуплатившему грозит смерть или другое жестокое наказание’. В общем жаргоне смысл этого выражения модифицируется, получая значение: ‘грозить применением санкций; начать ежедневно увеличивать проценты от неуплаченного вовремя долга’, о чем свидетельствует заголовок из газеты «Время»: *Россию ставят на счетчик. Западные лидеры угрожают введением санкций* («Время», 1999).

Нельзя не отметить и использование включений из сленга наркоманов, что, кстати, также говорит о нарастающем, причем «в мирных масштабах, социальном напряжении» (по определению: Нецименко Г. П. 2001, с. 108), ср. напр.: *наркота* (‘наркотик’) с ударенной флексией, *передознуться* (‘принять дозу наркотика’), *вмазаться* (‘принять наркотик’): «Ехала из больницы *вмазанная*» («Новая газета», 1999), *торчать* (‘находиться в состоянии наркотического опьянения, экстаза’), *ширяться* (‘колоть наркотики; употреблять наркотик внутривенно’), *сидеть на колесах* (‘постоянно принимать наркотики’) по аналогии с *сидеть на игле*, т.е. ‘быть наркоманом; иметь наркотическую зависимость’: «Джимми и Джонни давно *на игле*, и один уже довел себя до цирроза печени» («Московский комсомолец, 1999). Показательным кажется и тот факт, что фразеологизм *сесть на иглу* попадая на страницы газет, «обрастает» производными, употребляется в переносном смысле, напр.: «Область села *на дотационную иглу*» или «Нельзя все время *сидеть на игле инвестиций*».

В языке современных СМИ можно обнаружить следы влияния и некоторых других профессиональных и социальных жаргонов. Например, из «языка» спортивных болельщиков в литературный речевой обиход проникли существительные *качалка* в

значении 'спортклуб, где занимаются культуризмом' (произведено от глагола *качать* по образцу разговорных *читалка, курилка*) и *качок* ('человек с развитыми (иногда чрезмерно), хорошо заметными бицепсами'), а также определение *жучки* в значении 'менеджеры, заключающие контракты на переход спортсменов из одного спортивного клуба в другой', ср.: «Спору нет – легионеры нужны. Но, наверное, уже все прекрасно знают, что «жучки» от футбола готовы привезти в Россию кого угодно» («Сов. спорт», 2005). Интересным кажется факт, что в общем жаргоне последний из рассматриваемых арготизмов употребляется с присущим ему презрительным оттенком, характеризуя 'перекупщика, спекулянта' и вообще человека, занимающегося темными делами; из «языка» медиков – *сочетанные травмы, проколоть больному пенициллин* (т.е. 'провести курс лечения пенициллином'), *скоропомощные мероприятия (действия)* и др. (примеры цит. по: Крысин 2000, с. 34); из молодежного сленга – *двинутый* ('сумасшедший, ненормальный, помешанный'), *депрессуха, кумекать* ('понимать, соображать'), *вешать лапшу на уши* ('болтать чепуху; рассказывать небылицы'): «Целый год россиянам вешали лапшу на уши» («Новая газета», 2000), *балдеть* ('находиться в расслабленном, приятном состоянии'), ср.: «<...>новая поросль тут же начала балдеть, оттягивалась не по-детски» («Аргументы и факты», 2000) и др.; из жаргона компьютерщиков распространяются слова: *скачать* – 'списать из Интернета', *распечатать на принтере, геймить*, т.е. 'играть в компьютерную игру' (от англ. *game* – 'игра'), *клава* – 'клавиатура', *бродилка* – от англ. *browser* 'программа просмотра файлов в Интернете', *искалка* – от англ. *searcher*, букв. 'искатель' и пр.

Последний, названный нами жаргон, ввиду поступающего процесса компьютеризации разных сторон человеческой деятельности, становится особо активным по своей коммуникативной роли. Надо отметить и тот существенный факт, что употребление сленговых и жаргонных включений в современных газетных текстах чаще всего обусловлено потребностью привлечь внимание к публикации и в то же время продемонстрировать «лексикон», «доминирующий» в общении людей не только в обиходно-бытовой, но и в публичной сфере» (Беглова 2007, с. 72). Таким образом, они «стремятся максимально приблизиться к уровню потребителя массовой культуры, стараются говорить на его языке и вполне в этом преуспевают» (Химик 2000, с. 248).

Влияние на литературную речь некодифицированных сфер языка – просторечия, социальных и профессиональных жаргонов – наблюдается не только в лексике и фразеологии, но и, например, в словообразовании.

Язык письменных СМИ наглядно иллюстрирует сближение с обыденной речью через использование, типичных для образования форм разговорной речи, номинативных моделей. Проявлением этого можно считать замену описательных конструкций «прилагательное + существительное» более компактными универбатами, т.е. суффиксальными существительными, напр.: «Я объездил несколько *обменников*» ('обменный пункт; пункт обмена валюты'), «*Максималка* равна 160 километров в час» ('максимальная скорость'; «Эхо», 1999), «Всех поразили десятки миллиардов долларов, прокачивавшиеся через «оффшорку» ('оффшорная зона'; «Новая газета» 1999), «В июле прошлого года решили пугнуть тех, кто занижал *усредненную величину* таможенных платежей. Ввели в аэропортах обязательный осмотр всего груза, если «*усредненка*» меньше \$2 за кг» («Новая газета» 1999) и многие другие.

Симптоматичной является также легализация универбатов в печатном тексте, видимо из-за того, что они способствуют не только особенно актуальной тенденции языковой экономии, но и коммуникативной функции «насыщенности» передаваемой информации. Так, нейтральные номинации атрибутивных словосочетаний модели «прилагательное + существительное» все чаще вытесняются суффиксальными универбатами на *-к(а)*, которые без всяких ограничений употребляются даже в заголовках газетных статей, напр.: *Московский проект реконструкции пятиэтажек медленно отмирает* ('пятиэтажный дом'; «Сегодня», 1998). Такому же способу образования слов

подвергаются сочетания *мокрое дело – мокруха* ('убийство'), *бытовое преступление – бытовуха*, *записная книжка – записнуха*, в которых четко выделяется формант *-ух(a)*, придающий дериватам выразительность, экспрессию и некоторый оттенок грубости.

В рассматриваемом аспекте компактного выражения мысли и ограниченности газетной площади репрезентативными кажутся глаголы типа *банкротить*, *ксерить*, *фанерить*, *секретить*, являющиеся выражением действия в его отношении к объекту, названному мотивирующим словом. Следовательно, *банкротить* – это 'проводить, осуществлять банкротство; подвергнуть банкротству', *ксерить* – 'делать ксерокс', «<...>подозревали, что артисты *фанерят*» («Новая газета», 1999), т.е. 'поют под «фанеру» - под фонограмму', и, наконец, *секретить* – каузативный глагол, которого значение определяется парфразой: 'делать секретным, засекречивать'.

Разговорный язык оказывает свое влияние и на активизацию словопроизводства феминативов, в рамках которого наблюдается использование суффиксов: *-ш(a)*, *-их(a)*, но также *-щиц(a)* и *-ин(я)*. Сравни: *молодая дизайнерша*, *интервьюерша*, *девушка-боксерша* (и конкурирующий дериват – *боксерка*), *дискжockeyша*, *предпринимательша* («...подъехала к дому»), *снайперша* (новообразование появившееся в связи с военными действиями в Чечне), *завучиха* («На пороге возникли учитель физкультуры и *завучиха*, запыхавшиеся, как революционные матросы» – «Новая газета» 1999), *детективщица* («удачливая *детективщица*, без агрессивных намерений потеснившая не только «серьезную» прозу, но и мастеровитых работников своего цеха» – «Новая газета» 1999), *фотография* (заголовок очерка о женщине-фотографе), *монархиня* и под. Неуклонное повышение продуктивности словообразовательных типов наименований лиц женского пола связано, несомненно, с активным участием женщин в общественной жизни.

Итак, приток соответствующих новообразований, включающих и окказионализмы, не является новым процессом в развитии русского языка, но впервые с такой силой он проявил себя в публичной коммуникации, в частности в газетно-журнальной публицистике. Примечательно, что аналогичные процессы и конвергентные тенденции к «оразговариванию» и усреднению языкового стандарта наблюдаются, по мнению Л. Б. Никольского, в большинстве языков мира (Никольский 2000, с. 201). Проникновение в язык нелитературных единиц, разговорных включений и прежде всего жаргонизмов, является специфической приметой языкового развития вообще (Нещименко 2001, с. 99). В связи с этим в языке произошло смещение функциональных стилей: резко сузилась сфера высокого и пафосного, а центральное место занял нейтральный стиль речи, в свою очередь потесненный экспрессией разговорных и разговорно-сниженных элементов. Таким образом, язык СМИ, характеризующийся большей открытостью текстов, чем художественная литература, стал нормотворческим фактором, влияющим на уровень языковой культуры. В социальном плане этот переход есть звено вечного процесса приспособления языка к меняющимся условиям жизни, установкам и вкусам общества.

Как показывает проведенное исследование, можно полагать, что язык современной публицистики развивается в рамках традиции русского литературного языка. Основным фактором, способствующим этому процессу, является актуализирование «новаций неформального регистра» и показателем этого является также селективное действие языковой нормы.

Литература

- БЕГЛОВА, Е. И., 2007. Pro et contra: жаргонная лексика в языке современных газет. *Русский язык в школе*, № 5.
- ВЕЛИЧКО, А. В., 1995. О «русскости» русского языка наших дней. *Русская речь*, № 6.
- ГРАУДИНА, Л. К.; ДМИТРИЕВА О. Л.; НОВИКОВА, Н. В.; ШИРЯЕВ, Е. Н., 1995. Мы сохраним тебя, русская речь. Москва.
- ЕРМАКОВА, О. П.; ЗЕМСКАЯ, Е. А.; РОЗИНА Р. И., 1999. Слова, с которыми мы встречались. *Толковый словарь русского общего жаргона*, под общ. руководством РОЗИНОЙ, Р. И., Москва.

ЗЕМСКАЯ, Е. А., 2000. .Активные процессы в русском языке последнего десятилетия XX века. *In: Die Sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Heindelberger Publikationen zur Slavistik. Lingusitische Reiche*, t. 10, red. A. Teutsch, Frankfurt Am Main.

КОРОБУШКИН, И. В., 2001. Русский язык как средство международного общения. Изменения в языке средств массовой информации (на примере текстов газетных статей). *In: Стилистическая система русского языка*. Материалы Международного конгресса, Московский государственный университет, Москва

КОСТОМАРОВ, В. Г., 1999. Языковой вкус эпохи. *Из наблюдений над языковой практикой масс-медиа*. Санкт-Петербург.

КРЫСИН, Л. П., 2000. Русский литературный язык на рубеже веков. *Русская речь*, № 1.

МОКИЕНКО, В. М., НИКИТИНА, Т. Г., 2001. Большой словарь русского жаргона. Санкт-Петербург.

НЕЩИМЕНКО, Г. П., 2001. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: Проблемы. Тенденции развития. Вопросы языкознания, № 1.

НИКОЛЬСКИЙ, Л. Б., 2000. Трансмиссия культуры и ее лингвистические последствия в афро-азиатских странах. *In. Язык как средство трансляции культуры*, Москва .

ХИМИК, В. В., 2000. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. Санкт-Петербург.

ХИМИК, В. В., 2004. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. Санкт-Петербург.

Grazyna Lisovska

Philological Institute of Pomeranian Academy in Slupsk, Poland

ACTIVE PROCESSES IN PRESENT-DAY PUBLICISTIC DISCOURSE

Summary

The article is an attempt to present the most topical issues connected with the functioning of Russian printed mass media within the framework of present-day public communication. The conclusion which can be drawn from the analysis is that the early 21st century is witnessing the lowering of the standard of usage caused by the use of slang, colloquial inclusions and common parlance. The above elements can be grouped together and present an opposition to the neutral layer of the literary language.

KEY WORDS: Printed mass media, public communication, slang, colloquial inclusions, common parlance

Vilma Linkevičiūtė

Vilniaus University Kaunas Faculty of Humanities

Muitinės g. 8, 40353 Kaunas, Lietuva

e-mail: l.vilma@lycos.com

RUTH WODAK 'S DISCOURSE - HISTORICAL METHOD ANALYSIS IN NEWSPAPER ARTICLES

The discourse - historical method is a part of sociolinguistics and text linguistics. This method is based on the theory of text planning with the help of which extralinguistic factors and the intentions of speakers are identified. Text planning theory is concerned with speech situation, the status of participants, time and place, sociological variables and psychological determinants.

Discourse - historical method requires historical and background knowledge. Another concept is importance of interdisciplinary approach. Discourse - historical method discloses reasons for existence of any type of discourse as every discourse has its own history.

KEY WORDS: *Critical Discourse Analysis, discourse – historical method, sociolinguistics, text linguistics*

Critical Discourse Analysis (CDA) is a young and very promising branch of modern science which may be applied to various concepts and phenomena not only in linguistics but in all fields of social life. This method is also highly interdisciplinary, thus it is very helpful in analyzing newspaper articles.

The aim of this article is to present Ruth Wodak's discourse – historical method and to show the importance of background and historical knowledge in analyzing information presented in newspaper articles.

The discourse – historical method is a part of sociolinguistics and text linguistics. 'It uses the theory of linguistic activity to deal with the content and relational level of interviews, rounds of discussion and the like' (Titscher ed 2002, 154). This method is based on the theory of text planning with the help of which extralinguistic factors and the intentions of speakers are identified.

Text planning theory is concerned with speech situation, the status of participants, time and place, sociological variables and psychological determinants. These concepts are crucial in text production, their presence creates the main message of the text, form and content.

Wodak (1990) presents text production scheme where the socio – psychological, cognitive and linguistic dimensions of text production are incorporated.

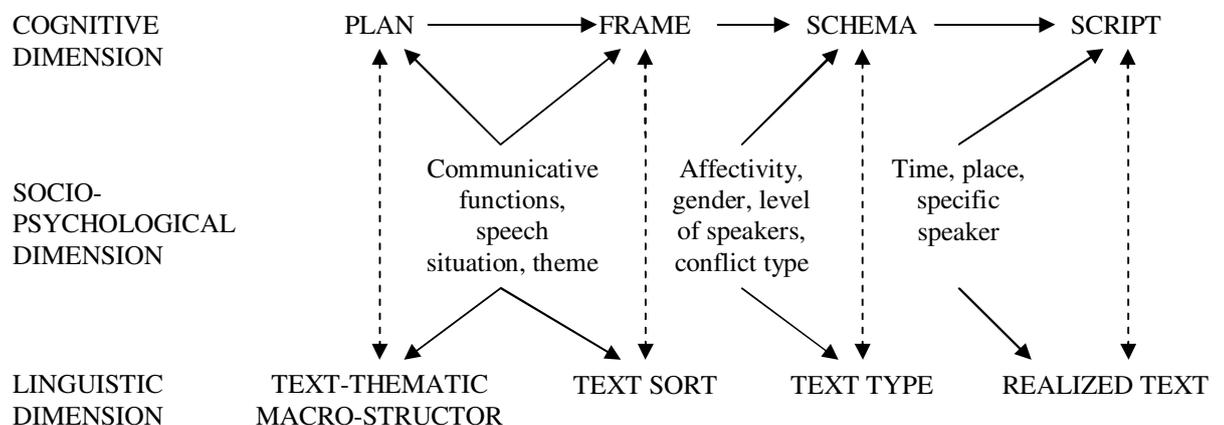


Figure 1. Text planning by Ruth Wodak

The socio - psychological dimension means socialization which includes 'culture, gender and class membership, and speech situation, together with personality or psycho - pathogenesis as individual determinants' (Titscher ed 2002, 155). From this, such particular dimensions as *frames, schemas, scripts* and *plans* are derived. Frames include our general knowledge of some situation. Schema provides patterns for the realization of a situation or a text; plans lead to an intended goal. Scripts determine the role and expected actions of communicators.

There is one notion, which is very closely related to frames, schemas, scripts and plans - it is the notion of strategy. Strategy is similar to plans because its aim is to achieve goals. Wodak ed (2001) define strategy as dependent on subjective assessments and possibilities. It is important to remark that participants while aiming at the goals are not always conscious of these strategies.

Wodak points out that there is no general textual basis valid for both hearers and readers. The differences depend on different construction of the text, social context, interaction between text and context.

In connection to the above mentioned assumptions, Wodak indicates that discourse must be treated as social practice.

The discourse - historical method is based on:

a concept of context which takes into account (a) the immediate, language or text-internal context and the local interactive processes of negotiation and conflict management; (b) the intertextual and interdiscursive relationship between utterances, texts, genres and discourses; (c) the language- external social/ socio- logical variables and institutional frames of a specific 'context of situation' (that is formality, place, time, occasion, groups, roles of participants, and so on); and (d) the broader socio- political and historical context the discursive practices are embedded in and related to, that is to say, the fields of action and the history of the discursive event as well as the history to which the discursive topics are related (Titscher ed 2002, p. 157).

The discourse - historical method as formed by Ruth Wodak consists of three dimensions - 'we - you' - discourse, argumentation strategies/ techniques, forms of linguistic realization. This schema can be applied to the concept of discourses in mass media. It is very helpful and comprehensive for the analysis of news texts, as very often they describe events related to their historical background.

Wodak defines very important concepts for discourse. Firstly, according to Wodak (1990) the scholar should record setting and context especially accurately because discourse can be understood exactly and completely only in its real context.

Secondly, the context should be related with historical events. The name of this method can be derived from the latter statement. This method is the most precise method among all other methods, used in CDA because it deals with history where the inaccuracies are not welcome.

Another concept is importance of interdisciplinary approach. Specialists from other fields but not linguists should read the texts and interpret them according to their subject general knowledge. This happens because specialists of different fields find out many important things related to their profession while reading the text and this information influence their perception of the text. The representatives of various fields perceive and interpret the same text differently, this point of view is very important in CDA.

Finally, texts must be described precisely at all linguistic levels because the analysis must be thorough. Besides, the lack of even one linguistic level makes the analysis incomplete, misleading and uninformative.

For the study of various texts Wodak provides analytical schema which consists of three stages- *we- you- discourse; justification and forms of linguistic realization*. We- you- discourse stage includes categorization and evaluation, justification stage presents argumentation strategies and techniques. Forms of linguistic realization present various linguistic devices, which are used in analysis according to discourse- historical method.

In this research the discourse- historical method analysis has been applied to two different issues- Elections in the USA (2004) and Charity boss kidnap in Iraq, as described in four different British newspapers- The Guardian, The Express, The Independent and The Sun.

The Guardian - 'Bush and Kerry clash on domestic policy' and the Express – 'Bush, Kerry clash in live debate' present Bush and Kerry clash on domestic policy during the election campaign.

The president election campaign took place in autumn of year 2004. There were two main competitors - Bush and Kerry. During the debates Kerry seemed more successful than Bush but, almost to everyone's surprise, Bush became the winner.

The first stage of the analytical schema for the discourse- historical method - we- you- discourse in this case may be transformed into Bush- Kerry- discourse. At this stage both candidates are evaluated. Both British newspapers describe Kerry as a successful candidate and Bush as non- successful - *Early polls suggested that Democrat Mr Kerry was once again the debate winner, after delivering a commanding performance* (The Express); *Instant polls on the debate suggested that the result of the confrontation was another victory for the Democratic candidate, with some news organisations giving Senator Kerry posting a lead of between 1% (on ABC) and 14% (CBS)* (The Guardian).

Besides the Guardian gives the following evaluation – *The two men's stylistic differences were also in evidence: President Bush attempted to engage the audience with jokes which, while they might work on the stump, fell flat with an audience that had agreed to remain silent; Senator Kerry did his best to erase his reputation as a wordy policy wonk by looking directly at the camera to deliver firm, short answers.* The Guardian journalist notices one more detail, which could be added to the negative Bush's portrait- *Although the scowls and visible signs of irritation, so marked in the first debate, were largely absent from President Bush's performance, there were still times when he seemed to cross the thin line between passion and anger. A discussion of the arcane details of social security reform left President Bush frowning and looking annoyed.*

At the argumentation stage both candidates motivate their actions and opinions on various issues.

Kerry blames Bush stating that America is not as safe as before because Bush rushed to war in Iraq, at the same time Bush in justification responds *that America would be safe "if we stay on the offence against the terrorists and if we spread freedom and liberty around the world"* (The Guardian).

The Senator also blames the actual president for losing 1.6 million jobs, Bush does not have any arguments on this issue but for justification he appeals to workers- *"You have more money in your pockets as a result of the tax relief we passed and he (Mr Kerry) opposed"* (The Express).

The Senator Kerry defends his candidacy by promising to *"restore fiscal discipline" and "stand up and fight for the American worker"* (The Express).

Another important issue - abortions- has been discussed by both candidates. Bush is against abortions because he supports laws legitimating reducing the number of abortions. Kerry *said the decision was a choice between "a woman, God and her doctor"* (The Express). According to the evaluations of the issue of abortion Bush became more attractive for older generation and Kerry- for the younger.

In order to attract more votes, Bush tries the last mean - he wants to show that Kerry does not know anything about the middle class life and does not have knowledge in fiscal policy, thus he is not suitable for the presidential post - *Attempting to paint his opponent as a liberal who is out of step with ordinary Americans Mr Bush said: "There's a mainstream of American politics and you sit right on the far left bank."* On tax, Mr Bush accused his challenger *of planning increases on top of the repeal Mr Kerry has announced of tax cuts for those earning more than \$200,000. "There is a tax gap, and guess who usually ends up filling the tax gap? The*

middle class," he said. He added that Mr Kerry's healthcare proposal would cost \$5 trillion over 10 years (The Guardian).

The argumentation of Kerry is that *"This president has taken a \$5.6 trillion surplus and turned it into deficits as far as the eye can see," (The Guardian); "Being lectured by the president on fiscal policy is like Tony Soprano talking to me about law and order in this country." (The Express).*

While discussing the influence of strong women upon the lives of both candidates, Bush mentions his wife Laura and *told how it was "love at first sight" when he met her (The Express).* The most important woman for Kerry is his mother. According to this argumentation, Kerry is more attractive candidate because his moral values are very strong and coincide with moral values of most of the Americans.

Another case of argumentation/ justification for the policies of candidates depicts Bush and Kerry attractively for different groups of people. Kerry bases his policy on love – I think we have a lot more loving of our neighbour to do in this country and on this planet and Bush bases his policy on religion – *"Prayer and religion sustain me. I receive calmness in the storms of the presidency" (The Guardian).* These declarations might have helped the electorate to decide which candidate reflected their background, moral and religious values.

The stage of forms of linguistic realization provides variety of linguistic means by the help of which Bush and Kerry are trying to achieve their goal – to become the president of the USA.

In his speech Bush uses metonymy – *you have more money in your pockets...*(The Express). In this statement, money in pockets stands for the total sum of money that each worker owns. Bush talks about money in pockets because this phrase is more attractive for the middle class society layers and this candidate wants to become closer to this group of voters, as they form the major part of the electorate.

The next case of metonymy – *I went to Washington to solve problems (The Guardian).* Here Washington stands for the White House. Bush again tries to be as informal as possible in order to become more attractive for the electives.

Bush wants to present Kerry as a weak liberal and for this reason he uses comparison - *There's a mainstream in American politics and you sit right on the far left bank (The Express).* He compares Kerry's situation as sitting on the other bank of the river and being a passive observer.

Kerry also uses comparison - as far as the eye can see talking about negatives sides of Bush's policy - *This president has taken a \$5.6 trillion surplus and turned it into deficits as far as the eye can see (The Guardian).*

While talking about fiscal policy, Kerry uses allusion to the movie "The Sopranos"- *Being lectured by the president on fiscal policy is like Tony Soprano talking to me about law and order in this country (The Express).* This allusion helps to emphasize that Bush's remarks are absurd.

For emphasizing his arguments, Kerry also uses repetition - *the right of choice is a constitutional right (The Guardian).* The repetition of *right* indicates that this word is of crucial importance in the statement.

These two articles have been chosen for the investigation of the discourse- historical approach because they are closely related with historical events. These events are not very old, but they have already become history. The main issue discussed by both candidates is the war in Iraq and the horrific events of September 2001. Attitude of both candidates towards these events was very important for the American nation and determined the victory of less attractive candidate Bush because he was for the war against terrorism, which meant war in Iraq.

According to Ruth Wodak, the discourse - historical method requires the interpretation of texts by other subject specialists. Thus, this article has been presented to a businessman, former history teacher, a student in medicine and the unemployed. The businessman analysed the article according to the principles of business and pointed out that he did not agree with Bush's fiscal

policy and methods, thus he would not have voted for Bush. The former history teacher, currently a pensioner said that she would have elected Bush because his life and policy was based on religion and God. These moral values coincided with her own moral values, besides, she remembered Bush's father who had been the president, as well and claimed that she liked him as a personality. The student decided that Kerry was more attractive because his creed was modern, his policy was based on love. The unemployed analysed the text according to his point of view and current situation. The problem of work was very important for this person, thus the loss of 1.6 million jobs seemed to him as unjustifiable mistake. This mistake set the unemployed against Bush.

The other very important issue - kidnap in Iraq was described in three newspapers- The Independent – ‘Charity head kidnapped in Iraq’ (see Appendix 3), The Express – ‘Charity boss kidnapped in Iraq’ (see Appendix 4) and The Sun – ‘Charity chief Iraq kidnap’ (see Appendix 5). The Independent presented the kidnap the most thoroughly from all these newspapers and The Sun - the most concisely.

The kidnap took place on 19 October 2004 in Baghdad, Iraq where the director of CARE International's operation Margaret Hassan was kidnapped. The discourse - historical method requires accurate recording of setting and context thus the pre - history and reasons of this event should be presented. After the tragic events of 11 September 2001, the USA declared war to Iraq and from that moment all the countries that supported America became enemies to the Iraq terrorists. They started kidnapping innocent people and exploding cities of coalition. As a result, Hassan became the victim of a blind terrorist rage, although she has been married to Iraqi.

The traditional we-you- discourse stage could be transformed into Margaret Hassan – Iraq terrorists – discourse. At this stage the victim and the kidnappers are evaluated. Margaret Hassan is a victim, thus, only positive features are attributed to her – *The statement said Hassan had been "providing humanitarian relief to the people of Iraq" for more than 25 years. She was born in Britain but became an Iraqi citizen, is married to an Iraqi and has lived in this country for 30 years* (The Independent). All three newspapers are British, so it is natural that Iraqi terrorists are presented as being negative – *Humanitarian organisations have not been spared from the violence sweeping Iraq. Last year, the Iraq headquarters of the International Committee of the Red Cross was damaged in a vehicle bomb, and many non -governmental organizations have withdraw foreign staff because of the bombings and kidnappings of foreigners* (The Independent); *Insurgents in Iraq have kidnapped more than 150 foreigners in their campaign to drive out coalition forces* (The Express), *Last month, Italian aid workers Simona Torretta and Simona Pari, both 29, were kidnapped from the offices of their aid agency, "Un Ponte Per ..." ("A Bridge To...") in Baghdad. They were released in late September after three weeks in captivity* (The Independent).

This article is distinct from the articles that have been analysed above, there is no justification stage in the articles describing the kidnap issue but the whole material is based on argumentation of Hassan's and CARE's activities and Iraqi terrorists' actions.

The first argument, presented in all the newspapers provides the reader with information and gives the account of what has been done in order to save the charity boss – *As of now we are unaware of the motives for the abduction,"the statement said. "As far as we know, Margaret is unharmed."* (The Independent); *"Needless to say, we are doing whatever we can to secure her release,"the statement added. "But equally, it would be unhelpful for us to comment further at this time. Our overwhelming concern must be for Margaret's safety."* (The Express); *But equally, it would be unhelpful for us to comment further at this time* (The Sun). CARE announced this information and arguments in order to account for Margaret Hassan's search and saving process that has been carried out on the part of the organization. Besides, the information and arguments presented in the articles might have encouraged other people to provide useful information and to help in disenthraling the victim. Paradox but both the kidnappers and the people who tried to save Hassan were Iraqis- *Care Iraq's Baghdad office employs more than 30 staff, all Iraqis* (The Sun).

The next argument is given indirectly by Hassan herself. The newspapers describe her words where she gives reasons why she works in charity organization – *She said the Iraqi people were already living through a terrible emergency and did not have the resources to withstand an additional crisis brought about by military action. In 2002 she visited the Birmingham HQ of the organisation Islamic Relief to talk about the humanitarian situation in Iraq. She spoke about the continuing suffering of the Iraqi people, describing how a formerly prosperous nation had been systematically reduced to poverty* (The Independent). The reasons for choosing such dangerous job reveal the fact that Margaret Hassan has always loved people, cared about them and wanted to change their lives into better ones. She has even left her homeland - Britain in order to help people in need. One more paradox is that she was kidnapped by those for whose rights she has already been fighting for 30 years.

In order to raise the sympathy of the Iraq nation and to ask for help in disenthraling process CARE reasons its performance in Iraq – *CARE International has been active in Iraq since 1991 following the Gulf War and is the only international non-governmental organization to have maintained continuous programs in central and southern Iraq, according to the organization's Web site. "Since 1991, CARE's programs have provided humanitarian assistance to over seven million people - one-third of the Iraqi population," the website said. "CARE programs focus on rebuilding, repairing and maintaining water and sanitation systems and rebuilding and refurbishing hospitals and clinics. Iraq presents special problems for humanitarian relief."* (The Independent). These arguments are very important but nevertheless all the Iraq society layers will support terrorists because of the fear, strong religious relations and the national identity. Humanitarian help of coalition is very important for poor Iraq people but their natives are far more important because Muslims are very united.

The Independent gives an argument against Iraq terrorists – British hostage Kenneth Bigley, who worked as a contractor in Iraq, was beheaded by his captors this month according to a video posted on an Islamist Web site, but his body has not been found. Unfortunately, majority kidnaps result in victim's death. This fact may be the prediction of Hassan's destiny. This argument is given on purpose and the purpose again is to raise sympathy of Iraqis.

The analysed articles differ from those about Bush and Kerry because there only one side presents its arguments but there is no explanation from the part of the other side. That is because the other side- terrorists do not present their arguments in non - Muslim newspapers.

The use of linguistic devices helps to create the full picture of the situation.

There is a case of metonymy – *we are doing whatever we can to secure her release* (The Express). In this statement *we* stands for the whole CARE organization in order to show that employees of this organization were very close with Margaret Hassan and that they identify with her.

The quotation, taken from the organization's statement, presents Mrs Hassan as a personality and describes the nature of her work- *The statement said Hassan had been "providing humanitarian relief to the people of Iraq" for more than 25 years* (The Independent). This quotation is dedicated to the terrorists to inform them that Hassan fought for Iraq rights and that she is not guilty for war.

Use of expression *coalition forces* (The Independent, The Express) is an allusion to the war with terrorism that has emerged because of the events in the USA on 11 September 2001. Coalition was formed in order to fight against terrorism. This allusion conveys idea that coalition, consisting of many members, is stronger than Iraq and that it will be the winner in this war.

There are also cases of comparison - Hassan's experience is compared with the practice of other victims. This comparison covers even two paragraphs – *Last month, Italian aid workers Simona Torretta and Simona Pari, both 29, were kidnapped from the offices of their aid agency, "Un Ponte Per ..." ("A Bridge To...") in Baghdad. They were released in late September after three weeks in captivity.*

British hostage Kenneth Bigley, who was working as a contractor in Iraq, was beheaded by his captors this month according to a video posted on an Islamist Web site, but his body has not been found (The Independent).

The comparison is very important in this case because it presents the methods of terrorists, thus it is supposed that it may raise the resistance on the part of peaceful part of Iraq nation and, as a result, the terrorists might free their victim.

The investigated articles are very appropriate for the discourse historical method because the presented information is directly related to historical events- the war emerged because of the 11 September events, which are already history. Besides, the war itself is alive history, where we can have our page and role.

These articles were read by people of various age groups and fields of interest, but the interpretation did not depend on their education and intelligence. All the interviewees interpreted the text equally- they were against kidnapping. The interpretation of war concept was different in different age groups - old and young people were against war in Iraq and the majority of the middle age group were for war. All these interpretations reflect the moral values and experience of the interviewees.

After thorough investigation, the following conclusions can be made- discourse - historical method by Ruth Wodak requires historical and background knowledge as without it the recipients of discourse may wrongly interpret the provided data. In political debates Wodak's CDA approach enables the journalist to fore one candidate and to lower the other.

Discourse - historical method requires the interpretation of texts by other subject specialists – non – linguists among others, as each subject has its own terminology and specificity, therefore the data presenting some particular field may be analysed correctly only by an expert in that field.

Discourse - historical method discloses reasons for existence of any type of discourse as every discourse has its own history.

References

- BELL, A., 1999. *The Language of News Media*. Blackwell.
- BEAUGRANDE, A. R. (de.), 1996. The Story of Discourse Analysis. In *Teun van Dijk (ed.), Introduction to Discourse Analysis*. London: Sage, p. 35-62.
- BLOMMAERT H., BULCAEN, Ch., 2000. Critical Discourse Analysis. In *Anthropology* 29, p. 447 – 66.
- BROWN, G. and Yule, G., 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Cambridge International Dictionary of English*, 1998. Cambridge University Press.
- CONNEL I., MILLS A., 1985. Text, Discourse and Mass Communication. In *A. T. van Dijk. Discourse and Communication*. New approaches to the analysis of Mass Media communication.
- COULTHARD, M., 1985. *An Introduction to Discourse Analysis*. London: Longman.
- FAIRCLOUGH, N., 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- FAIRCLOUGH, N., 1992. *Discourse and Social Change*. Oxford: Polity Press
- FAIRCLOUGH, N., 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold
- FAIRCLOUGH, N., 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman
- FAIRCLOUGH, N AND WODAK, R., 1997. Critical Discourse Analysis. In *Teun van Dijk Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, vol 2*. London: Sage, p. 258-84.
- FOUCAULT, M., 1972. *The Archeology of Knowledge*. London: Tavistock.
- FOWLER, R. AND KRESS, G., 1979. Critical Linguistics. In *R. Fowler et al., Language and Control*. London: Routledge.
- GRIMES, J., 1975. *The Thread of Discourse*. The Hague: Mouton.
- HALLIDAY, M. A. K., 1970. Language structure and language function. In *J. Lyons (ed.) New Horizons in Linguistics*. Harmondsworth: Penguin.
- HALLIDAY, M. A. K., 1994. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- HAMMERSLEY, M., 1997. On the Foundations of Critical Discourse Analysis. In *Language & Communication*, No. 17 (3), p. 237 – 248.
- JOHNSTONE, B., 2002. *Discourse Analysis*. Blackwell Publishers.
- KRESS, G., 1989. *Linguistic Processes in Sociocultural Practice*. Hong Kong: Oxford University Press.
- MALMKJER, K., 1995. *The Linguistic Encyclopedia*. London: Routledge.
- MILLS, S., 1997. *Discourse*. London: Routledge.

- O'HALLORAN, K., 2003. *Critical Discourse Analysis and Language Cognition*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- TITCHER, S. (ed.), 2002. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: Sage.
- STUBBS, M., 1983. *Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell.
- TOOLAN, M. J., 2001. *A Critical Linguistic Introduction*. USA: Routledge.
- VAN DIJK, A. T., 1985. *Discourse and Communication. New approaches to the Analysis of Mass Media Communication*. Walter de Gruyter.
- VAN DIJK, A. T., 1988. *News as discourse*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- VAN DIJK, A. T., 2001. Critical Discourse Analysis. In *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell
- WIDDOWSON, H. G., 1995. Discourse Analysis: a Critical View. In *Language and Literature, No. 4*, p. 157- 72.
- WODAK, R., 1996. *Disorders of Discourse*. London: Longman.
- WODAK, R. AND MEYER, M., 2001. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage.
- WODAK, R., 2001. Critical Discourse Analysis in Postmodern Societies. In *W. Dressler (ed.), FoliaLinguistica: Acta Societatis Linguisticae Europaeae*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- www.theexpress.co.uk
- www.theguardian.co.uk
- www.theindependent.co.uk
- www.thesun.co.uk
- www.wikipedia.org

Vilma Linkevičiūtė

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

RUTH WODAK ISTORINIO DISKURSO METODO ANALIZĖ LAIKRAŠČIŲ STRAIPSNIUOSE
Santrauka

Istorinis diskurso metodas yra sociolingvistikos ir teksto lingvistikos dalis. Šis metodas paremtas teksto planavimo teorija, kurios pagalba nustatomi ekstralingvistiniai faktoriai ir kalbėtojų ketinimai. Istorinio diskurso metodo analizei reikalingos adresato (skaitytojo) istorinės bei pamatinės žinios. Kitas svarbus šio metodo lygmuo-tarpdisciplininė analizė. Istorinis diskurso metodas atskleidžia kiekvieno diskurso egzistavimo priežastis, nes kiekvienas diskursas turi savo istoriją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kritinė diskurso analizė, istorinis diskurso metodas, sociolingvistika, teksto lingvistika.

Милана Михалевич

*Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
ул. Киселева 34-48б 220002 Минск, Беларусь
e-mail: milana_michalevic@yahoo.com*

НУМЕРАЛЬНЫЙ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК В СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ КОМПОЗИТНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

В статье представлены промежуточные результаты сравнительно-типологического анализа русских и английских композитных предметных наименований, ономаσιологическая структура которых включает нумеральный ономаσιологический признак. Материалом для исследования послужили композитные предметные наименования с нумеральным компонентом, извлеченные из лексикографических источников путем сплошной выборки. В качестве основного типологизирующего параметра предлагается категориальное значение простого (нерасчлененного) ономаσιологического признака (ОП) и реализуемые в русском и английском языках возможности комбинирования нерасчлененных ономаσιологических признаков в рамках составного ОП. В исследованном лексическом материале представлены следующие типы предметных композитных наименований с нумеральным компонентом: нумерально-темпоральный, нумерально-объектный, нумерально-акциональный, нумерально-детерминантный и атрибутивно-нумеральный; в работе сделана попытка выявить национальную специфику каждого типа, а также нумерального ОП в целом в английском и русском словосложении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словосложение, ономаσιологическая категория, ономаσιологическая структура, ономаσιологический признак, ономаσιологический базис, нумеральный ономаσιологический признак, композитное предметное наименование, композит.

Принятые в лингвистике дефиниции сложного слова концентрируются на процессе словосложения как акте производства новых слов, в котором участвует более одной мотивирующей основы, на особенностях морфологической структуры композита либо на внешних признаках цельнооформленности. Отражая различные стороны процесса словосложения, данные определения тем не менее имеют единую природу, являясь структурными по своему характеру. Для сравнительно-типологического языкознания одной из наиболее животрепещущих проблем представляется национальная специфика словосложения, параметры которой впервые были раскрыты в монографии Е. А. Василевской (Василевская 1962, с. 37-58). Структурные особенности композитов вносят необходимый в процессе отбора материала элемент формализации. Не отрицая их роль в качестве организующей составляющей исследования, следует отметить, что структурные характеристики композитных наименований, «технические подробности» участвующих в их создании словообразовательных процессов, на данном этапе развития лингвистики не в состоянии объяснить национально-специфические особенности системы словосложения как отдельного способа объективации структур знания. Рассмотрение композита в рамках принятой в настоящее время антропоцентрической парадигмы исследования как результата вербализации понятийной структуры предполагает обращение к соответствующим параметрам типологизации, выходящим за рамки внешних характеристик сложного слова. Одним из таких параметров является ономаσιологическая структура композита и ее элементы – ономаσιологический базис (ОБ) и ономаσιологический признак (ОП).

Особенности ономаσιологической структуры (ОС) композита определяются сочетанием и смысловым взаимодействием двух и более простых признаков в рамках составного ономаσιологического признака либо смысловым взаимодействием нерасчлененного ономаσιологического признака и эксплицированного ономаσιологического базиса. В качестве основного типологизирующего параметра предлагается категориальное значение простого (нерасчлененного) ономаσιологического признака и реализуемые в языке возможности комбинирования нерасчлененных ономаσιологических признаков в рамках составного ОП.

Как в русском, так и в английском языке состав значимых для соответствующей системы номинации простых ономаσιологических признаков определялся по-разному различными исследователями. Так, П. Штекауэр отмечает, что «как ономаσιологический базис, так и ономаσιологический признак представляют одну из <...> понятийных категорий». К последним он относит ПРЕДМЕТНОСТЬ, ДЕЙСТВИЕ (с подразделением на «действие как таковое» (“*ACTION PROPER*”), «процесс» и «состояние»), КАЧЕСТВО (атрибутивность) и СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО (указание на место, время, способ действия и т.п.) (Štekauer 2006, p. 35). Б. Шиманек выделяет 25 когнитивных категорий, служащих основой для лексической деривации, включая категорию количества (Szymanek 1988, с. 93). Т. Г. Трофимович в исследовании, посвященном старорусской предметной номинации, выделяет как наиболее типичные агентивный, объектный, локативный, посессивный и нумерально-темпоральный признаки (Трофимович 2003, с. 50). А. А. Кожевникова выделяет 8 сложных номинативных типов: акционально-объектный, акционально-субъектный, атрибутивно-субстанциональный, акционально-детерминантный, нумеральный, компаративный, атрибутивно-детерминантный и атрибутивно-объектный. К номинациям нумерального типа исследователь относит композиты, которые «вербализуют глубинную структуру *предмет + количественная характеристика предмета* и выражают количественное ономаσιологическое значение» (Кожевникова 2007, с. 11). Опираясь на результаты анализа языкового материала и опыт предыдущих исследований, можно утверждать, что для композитной предметной номинации в русском и английском языках актуальными являются следующие типы простых ономаσιологических признаков (ОП): объектный, акциональный, качественно-атрибутивный, детерминантный, локативный, посессивный, темпоральный и нумеральный. Роль нумерального ономаσιологического признака в композитной предметной номинации принадлежит к малоизученным вопросам. Ономаσιологический анализ предметных композитов с нумеральным компонентом на материале английского и русского языков до настоящего времени не выполнялся. В данной работе представлены промежуточные результаты сравнительно-типологического анализа русских и английских композитных предметных наименований, ономаσιологическая структура которых включает нумеральный ОП.

Нумеральный ономаσιологический признак соотносится с категориями числа и количества. Число – универсальный концепт, «сущность всех вещей и их отношений» (Маслова 2005, с. 90). Языковую картину мира невозможно представить свободной от количественных характеристик. И тем не менее, если ономаσιологические категории предметности, признаковости и процессуальности рассматриваются как ключевые, базовые понятия, определяющие отношения между компонентами ономаσιологической структуры производного слова, то категория количества, несмотря на свою исключительную значимость в человеческом мышлении и мировосприятии, выступает только в качестве вспомогательной, конкретизирующей категории. Объяснение этому лежит не только в неоднородности слов, входящих в лексико-грамматический разряд числительных, но и в особой номинативной сущности данных единиц языка. По замечанию Т. Г. Трофимович, «они называют числа, абстрактные понятия, абстрактные до такой степени, что можно говорить об их номинативной неполноте» (Трофимович 2003, с. 96).

В рамках композитного предметного наименования ономазиологическая категория количества реализуется в виде нумерального ономазиологического признака, который выступает в роли семантического маркера значимого свойства, положенного в основу номинации предмета. Поскольку в процессе номинации сложного понятия под определенную ономазиологическую категорию подводится более одного значимого свойства именуемого предмета, количественная характеристика, соединяясь со вторым ОП, получает конкретное наполнение. Следует отметить, что не все сложные слова, ОС которых включает нумеральный признак, содержат два семантических маркера. В данное исследование не включались существительные типа *twenty-sixer*, *восемьдесятник*, *шестидесятник*, *пятитысячник* и т. п., образованные от сложных или составных числительных.

Для выражения количественных характеристик в русском и английском языках могут использоваться не только количественные числительные, но и неопределенно-количественные числительные (*мало*, *много*, *much*, *many*), определительные местоимения (*всё*, *all*), прилагательные (*тройной*, *double*), наречия (*twice*, *вдвойне*). Неоднородность лексико-грамматического разряда числительных и способность соотноситься с категориальными пространствами различных частей речи (существительных, прилагательных, наречий), присущая понятию числа (Жаботинская 1992), способствуют тому, что нумеральный компонент в рамках композитных предметных наименований может сочетаться с самыми различными ОП. Реализуемые в английском и русском языках возможности комбинирования ономазиологических признаков позволяют выделить следующие типы предметных композитных наименований с нумеральным компонентом: нумерально-темпоральный, нумерально-объектный, нумерально-акциональный, нумерально-детерминантный, атрибутивно-нумеральный.

Нумерально-темпоральный тип достаточно широко представлен в русском языке, хотя следует отметить, что его продуктивность ограничена внутрилингвистическими причинами: группа наименований отрезков времени представляет собой закрытый ряд. Структура большинства нумерально-темпоральных композитов русского языка представляет собой сочетание указания на количество или порядок при счете и семантического маркера временного отрезка: *шестидневка* ('школьная или рабочая неделя, состоящая из шести рабочих дней'), *восемилетка* ('ребёнок в возрасте восьми лет'), *десятилетка* ('общеобразовательная школа, обучение в которой продолжается десять лет'), *пятиминутка* ('совещание, рассчитанное на пять минут'), *первогодок* ('солдат первого года службы'), *второгодник* ('школьник, оставленный на второй год') и т.п. Ономазиологическая структура таких композитов содержит нумеральный ОП, темпоральный ОП и ономазиологический базис, эксплицированный в виде суффикса. В английском языке такая ономазиологическая структура отсутствует, наиболее близкий аналог представляют собой трехкомпонентные нумерально-темпоральные композиты, в которых ономазиологический базис эксплицирован в виде отдельной основы или слова: *nine-day wonder* 'кратковременная сенсация', *five-day fever* 'окопная лихорадка', *one-day sale* 'однодневная распродажа', *one-night stand* 'однодневная гастроль; «встреча на одну ночь»' и т.п. Вместе с тем в английском языке присутствуют нехарактерные для русского языка композиты с диффузным нумерально-темпоральным компонентом, объединяющим в себе нумеральное и темпоральное значение: семантический маркер количества одновременно используется для указания на время или дату. Данный тип представлен экзоцентрическими композитами без эксплицированного базиса, содержащими два нумеральных маркера или нумеральный и темпоральный маркер (*nine-eleven* '11 сентября 2001 года, день масштабных террористических актов на территории США'; *May Two-Four* 'день Виктории'), композитами с базисом, эксплицированным в виде суффикса (*nine-to-fiver* 'офисный служащий, человек, у которого рабочий день длится с 9 утра до 5 вечера'), и композитами с базисом, эксплицированным в виде полнозначной основы или

слова (*five o'clock shadow* 'вечерняя щетина', *24/7 supermarket* 'круглосуточный супермаркет').

В английском языке широко представлены также композитные термины нумерально-темпорального типа, в частности, относящиеся к терминологическим сферам экономики труда (*nine-day fortnight* 'разновидность системы сжатого рабочего времени, график 9 (дней)/80 (часов)', *5-4-9 schedule* 'разновидность системы сжатого рабочего времени, график 5-4-9'), телекоммуникаций (*one-day backup memory* 'однодневное запоминание', *three-minutes initial period* 'первая тарифная единица', *five-minutes timer* 'хронизатор пяти минут'), физико-математических наук (*five-minute oscillations* 'пятиминутные колебания в атмосфере Солнца') и других областей знания.

Нумерально-объектный тип является самым продуктивным среди всех типов композитов с нумеральным компонентом в русском языке. Композиты данного типа содержат семантический маркер количества или порядка при счете и объекта, к которому относятся данные количественные характеристики. Для русских нумерально-объектных композитов характерна экспликация ономасиологического базиса в виде суффикса. Такая ономасиологическая структура часто встречается в номинации рыб (*четырёхглазка*, *троегубка*, *шестижаберник*), насекомых (*многоножка*, *сороконожка*), растений (*двукрылоплодник*, *трилистник*, *тысячелистник*, *многоцветка*, *многобородник*). К нумерально-объектному типу относятся также наименования некоторых предметов неживой природы: вещей (*одноколка*, *двустволка*, *трезубец*), зданий и строений (*пятистенка*, *девяятиэтажка*), геометрических фигур (*треугольник*, *десятигранник*) и др. Встречаются также композиты без эксплицированного базиса (*троегуб*, *однолист*). В английском языке нумерально-объектный тип представлен как трехкомпонентными эндоцентрическими композитами (*one-man committee* 'комитет, состоящий из одного члена', *one-man band* 'человек-оркестр'), так и экзоцентрическими композитами с базисом, эксплицированным в виде суффикса (*one-decker* 'однопалубное судно', *one-liner* 'короткая шутка'), или без эксплицированного базиса (*allseed* 'многосемянное растение', *twayblade* 'тайник овальнолиственный', *allspice* 'гвоздичное дерево', *one-berry* 'вороний глаз четырёхлиственный', *one-eye* '(груб.) недалекий человек', *ten-spot* 'десятка'). На периферии композитных предметных наименований данного типа находятся такие английские существительные как *five-percenter* 'пятипроцентник', *ten-percenter* 'тот, кто берет 10 процентов за услуги' и др.

Сочетание нумерального и объектного ОП более характерно для русской и английской номинации опосредованных характеристик и чаще встречается в ономасиологической структуре сложных прилагательных, чем в ОС предметных наименований. Применительно к русскому языку это косвенно подтверждается данными словообразовательного анализа: отдельные нумерально-объектные композиты, в особенности наименования предметов неживой природы, являются результатом универбации – семантической конденсации атрибутивно-субстантивного словосочетания (*пятиэтажный дом* → *пятиэтажка*, *двуствольное ружье* → *двустволка*).

Несмотря на относительную продуктивность нумерально-объектного типа, возможности использования данной комбинации ОП в предметной номинации ограничены – как поверхностными экстралингвистическими факторами (максимально допустимыми количественными характеристиками), так и в силу более глубоких причин, например, особенностей лингвистического мировосприятия. Так, в исследовании, посвященном русской концептосфере, В. А. Маслова отмечает, что «в русском языке наиболее активен первый десяток (кроме числа шесть), а также 20, 30, 40 [...], миллион» (Маслова 2004, с. 94). Если число, соответствующее реальным количественным характеристикам называемого предмета, не входит в перечень наиболее активных элементов языкового кода, высока вероятность, что в основу номинации будет положен обобщенный нумеральный признак или вообще другая ономасиологическая категория. Сколько ног у *сороконожки* или листьев у *тысячелистника* на самом деле, не имеет

значения. В случаях, когда здание состоит из 5, 9, 12 этажей, возможны номинации *пятиэтажка*, *девятиэтажка* и *двенадцатиэтажка* (хотя два последних наименования скорее принадлежат сфере речевой окказиональной номинации). Однако здание высотой в 38, 85 или 57 этажей мы все же будем называть *многоэтажкой*, *высоткой* или *небоскребом*, даже если такие архитектурные сооружения станут неотъемлемой частью городского ландшафта.

Нумерально-акциональный тип является непродуктивным для композитной предметной номинации как в русском, так и в английском языке и представлен немногочисленными примерами. В отличие от нумерально-объектного и нумерально-темпорального типа, нумерально-акциональные композиты редко характеризуются способностью к семантической деконденсации. Для выявления нумерально-акционального признака может быть использован ономазиологический анализ с опорой на номинативное суждение (НС) (Трофимович 2003, с. 37), в процессе которого обнаруживается соответствие между семантически маркированной категорией, вербализованной в анализируемом слове, и действием, эксплицированным в НС при помощи глагольной формы. В русском языке в рамках нумерально-акционального типа можно выделить предикативный подтип, НС которого соответствует схеме *'тот, кто сделал/делает что-либо первым/вторым'*: *первопроходец*, *первооткрыватель*, *первопечатник*, *второродящая* и др. Нумеральный компонент при развертывании такого наименования эксплицируется как часть составного сказуемого и в определенной степени содержит также указание на темпоральную характеристику действия. Остальные нумерально-акциональные предметные композиты русского языка, представленные в лексикографических источниках, в основном относятся к спортивной терминологии: *двоеборец*, *единоборство*, *семиборец* и т. п. Ономазиологическая структура таких наименований содержит нумеральный или нумерально-темпоральный ОП, акциональный ОП и ономазиологический базис, эксплицированный в виде суффикса. В английском языке также представлен предикативный подтип с аналогичной структурой (*first-comer* *'пришедший первым'*, *second offender* *'лицо, повторно совершившее преступление'*). Для других нумерально-акциональных композитов английского языка экспликация ономазиологического базиса нехарактерна, исключением является калька с голландского или немецкого языка *nine-killer* *'сорокопун'*. Отдельные примеры английских нумерально-акциональных композитов отличаются высокой степенью идиоматизации, и для корректного воссоздания номинативного суждения необходимо обращаться к данным этимологии: *double bind* *'двойной переплет, трудная ситуация'*, *double take* *'замедленная реакция'*, *ten-strike* *'удар, сбивающий сразу все кегли'*, (а также *'крупный успех'*, *forty winks* *'короткий (послеобеденный) сон'*). В английском языке присутствуют также композиты с обратным порядком компонентом без эксплицированного базиса (акционально-нумеральный подтип): *know-all*, *hold-all*, *carryall*. Такие русские наименования как *малоежка*, *маловер*, *долгожитель*, *всезнайка* принадлежат скорее к детерминантно-акциональному типу, нумеральное значение в них является сопутствующим. Их ономазиологическую структуру можно рассматривать как пример наложения детерминантного ОП (отношения меры и степени) и нумерального ОП.

Атрибутивно-нумеральный тип представлен только в английском языке композитами типа *the Big Five* *'Большая пятерка'*, *Big Four* *'Большая четвёрка'* (*крупнейших коммерческих банков Великобритании*), *Big Three* *'большая тройка'*. В русском языке им соответствуют фразеологизированные сочетания прилагательного и существительного с нумеральным значением. Композитные наименования атрибутивно-нумерального типа в исследованном нами лексическом материале русского языка не представлены.

Нумерально-детерминантный тип также представлен небольшим количеством английских примеров, разнородных по ономазиологической структуре. ОС таких композитов содержит, наряду с нумеральным компонентом, указание на сопутствующее

обстоятельство или предикативную характеристику. Некоторые нумерально-детерминатные предметные композиты характеризуются не очень типичной для наименований с нумеральным компонентом полисемией: *one-off* – 1) *нечто, происходящее только один раз, единичный случай*; 2) *человек, единственный в своём роде, не такой, как все; уникал* 3) *единственное появление актёра на сцене (во время спектакля, представления)* 4) *книга, статья без продолжения*. Данный тип включает как композиты без эксплицированного базиса (*five-a-side* ‘*малый футбол*’, *разновидность игры в футбол в спортивном зале; в каждой команде по пять игроков*), так и композиты с базисом, эксплицированным в виде суффикса (*one-aloner* ‘*совершенно одинокий человек, одиночка*’). В исследованном материале русского языка композиты нумерально-детерминатного типа не представлены.

Отдельно следует отметить характерные для английской предметной номинации композиты с нумеральным компонентом, приближающиеся по своим характеристикам к фразовым композитам: *two-and-a-half ringer* ‘*майор авиации*’, *twelve-wired bird of paradise* ‘*нитчатая райская птица*’, *ten-twenty system* ‘*система регистрации электроэнцефалограммы «десять – двадцать»*’ и др.. Особенностью фразовых композитов является участие целого предложения или развернутого словосочетания в образовании нового слова. В большинстве своем они представляют собой либо свернутые этиологические истории, либо структурно мотивированные речевые композиты ad-hoc. В отличие от акционального или детерминатного ОП, нумеральный компонент чаще эксплицируется во фразовых композитах первого типа. Понимание таких композитов порой требует глубокого знания реалий страны носителей языка и исторического контекста возникновения наименования: *five-and-ten* ‘*магазин товаров повседневного спроса*’ (*когда подобный магазин был впервые создан, все товары там продавались по 5 или 10 центов*), *"Fifty Four Forty or fight* ‘*лозунг, выдвинутый «фракцией войны»*’ («*54-40 или война*») и др.

Особенностью английской предметной номинации является широкое использование смешанных аббревиатур – композитов, в которых нумеральный компонент передается на письме цифровой графемой. Некоторые из этих композитов имеют два варианта графической реализации: *24/7 supermarket* и *twenty-four-eleven supermarket*; *Nine-Eleven* и *9/11*, -- но есть и такие, которые выступают только в сокращенном варианте: *3D graphics* (*3-D graphics*) ‘*трёхмерная графика*’, *80-20 law* ‘*правило 80-20*’. В русском языке такие предметные наименования встречаются только в узкой терминологии: *4 пи счетчик*.

Как в русской, так и в английской номинации нумеральный признак широко представлен в ономазиологической структуре квазикомпозитов (*neoclassical compounds*) – особого типа сложных слов, характеризующегося «*наличием в составе слова как минимум одного радикаида интернационального происхождения и особенностями морфемного членения*» (Клобуков — Гудилова 2005, с. 12): *millipede*, *pentachord*, *megastar*, *мегатонна*, *мультимиллионер* и др..

Таким образом, самыми продуктивными инструментами реализации количественной понятийной отнесенности в предметных композитах английского и русского языков являются нумерально-темпоральный и нумерально-объектный типы композитных предметных наименований. Атрибутивно-нумеральный и нумерально-детерминатный типы представлены в английском языке незначительным числом примеров и отсутствуют в русском языке. Наибольшие расхождения наблюдаются в сфере смешанной аббревиации с использованием цифр. Другие различия обусловлены склонностью русского языка к экспликации ономазиологического базиса, большим разнообразием ономазиологических структур с нумеральным компонентом в английском языке и концептуальными характеристиками номинации, обусловленными особенностями мировосприятия носителей языка. Последний вопрос открывает

перспективу для дальнейших исследований, требующих, на наш взгляд, привлечения не только лексикографических, но и корпусных материалов.

Литература

- ДРОЖАЩИХ, Н. В., 1998. Взаимодействие языковых категорий. *Язык и литература* [Электронный ресурс]. *Language and Literature*, Вып. №5, Режим доступа: <http://frgf.utmn.ru/No5/text1.htm/>, свободный – Загл. с экрана.
- ВАСИЛЕВСКА, Е. А., 1962. *Словосложение в русском языке*. Москва, с. 37-58.
- ЕФРЕМОВА, Т. Ф., 2001. *Новый словарь русского языка*. Толково-словообразовательный. В 2-х т. Москва: Русский язык.
- ЖАБОТИНСКАЯ, С. А., 1992. *Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных: (на материале современного английского языка)*. Москва: Институт языкознания РАН.
- КЛОБУКОВ, Е. В.; ГУДИЛОВА, С. В., 2001. Языковая специфика непроемких сложных слов (квазикомпозитов). *Язык, сознание, коммуникация*. Сб. статей. Москва: МАКС Пресс, вып. 20, с. 12 – 25.
- КОЖЕВНИКОВА, А. А., 2007. Типология сложных слов в языке русской неделовой письменности XI – XVII веков (ономасиологический аспект). *Автореф. дис. ... канд. филол. наук*. Минск.
- КУБРЯКОВА, Е. С., 2005. Типы языковых значений: семантика производного слова. Москва: Наука, с. 10-11.
- МАСЛОВА, В. А., 2003. *Когнитивная лингвистика*. Минск.
- ТРОФИМОВИЧ, Т. Г., 2003. Типы предметных наименований в языке старорусской языковой письменности. *Монография*. Минск.
- СЕД, 2006, *Collins English Dictionary*. 8th Edition. HarperCollins Publishers.
- СДЕ, 2002, *Chambers Dictionary of Etymology*. Edited by R. K. Barnhart. Chambers, New York.
- ШТЕКАУЕР, Р., 2006. Onomasiological Theory of Word-Formation. *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, vol. IX, p. 34-37.
- ШТЕКАУЕР, Р., 1999. Fundamental Principles of an Onomasiological Theory of Word-Formation in English. *Sbornik praci filozofické fakulty Brněnské Univerzity, Studia minora fakultatis Philosophiae Universitatis Brunensis, Brno Studies in English* 25, s. 5.
- СЫМАНЕК, В., 1988. *Categories and categorization in morphology*. Lublin: Katolicki Uniwersitet Lubelski
- СОЕД, 1991. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles: *Revised and edited by C. T. Onions*. Vol. I, II, Oxford: Oxford University Press.

Milana Michalevich

Belarusian State Pedagogical University, Minsk

THE NUMERIC ONOMASIOLOGICAL MARK AS PART OF ONOMASIOLOGICAL STRUCTURE OF RUSSIAN AND ENGLISH COMPOUND NOUNS

Summary

The article presents intermediate results of contrastive typological analysis of Russian and English composite nouns (objective nominations) whose onomasiological structure includes a numeric onomasiological mark. The material researched was drawn from lexicographical data by the way the basic typifying parameter the categorial meaning of a simple onomasiological mark (either determined or determining element) and the combinations of simple OMs within the compound OM that are actualized in the language. The lexical material embraced by the article includes the following types of compound/composite objective nominations with the numeric OM: numeric-temporal, numeric-objective, numeric-actional, numeric-circumstantial and attributive-numeric; the paper represents an attempt to unveil national-specific characteristics of each type and of the numeric OM in general in English and Russian compounding.

KEY WORDS: compounding, onomasiological category, onomasiological structure, onomasiological mark, numeric onomasiological mark, composite objective nomination, nomination of objects, compound (composite) word.

Татьяна Мозжухина

Российский государственный социальный университет

ул. Генерала Тюленева 9-68, 117495 Москва

e-mail: tatyamoz@mail.ru

ЯЗЫКИ КУЛЬТУРЫ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

*«Преувеличен внутренний наш мир
а внешний соответственно уменьшен», -
вот характерный для него язык.*

И. Бродский

*«Искусство не целомудренно, если искусство
целомудренно – это не искусство!»*

П. Пикассо

Статья «Языки культуры: антропологическая ретроспектива» доцента кафедры культурологии и социокультурной деятельности РГСУ, к. ф. н. Мозжухиной Т. В. посвящена различным вариантам изображения человека в пространстве «языков культуры». В статье рассмотрены такие направления в культуре: импрессионизм, кубизм, сюрреализм, неоэкспрессионизм и другие направления (XIX-XX веков). Статья дает представление о визуальной культуре модернизма и постмодернизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст культуры, вторичная моделирующая система, скульптура, живопись, импрессионизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, модернизм, постмодернизм, неоэкспрессионизм.

Значительное место в культурологии занимает универсальное понятие «текста культуры», введенное в научный обиход знаменитым ученым XX века Юрием Михайловичем Лотманом (1922-1993). Спектр научных интересов Юрия Михайловича охватывал такие дисциплины, как литературоведение, искусствоведение, семиотика, культурология.

В концепции Лотмана «текст культуры» рассматривался как текст, обладающий свойствами т.н. «вторичных моделирующих систем», надстраивающихся над «первичными» системами знаков (т.е. естественными языками).

Действительно – по своей сути, как отмечал известный философ культуры XX века М. С. Каган, культура полиглотна и словесный язык не может передать всю полноту содержащейся в ней информации. Среди многочисленных языков культуры одними из самых выразительных являются пластические, «фиксирующий жест в природных материалах» (Каган 1996, с. 288), а именно – живопись и скульптура.

Живопись, со времен возникновения человечества, – искусство достаточно условное, семиотическое. Человек, живший в каменном веке, в т.н. «прометеевскую» эпоху, с точки зрения Карла Ясперса, пытался запечатлеть важные события его жизни в наскальной живописи, изображая людей и животных условными черточками, обозначая абрис пунктирно, скорее геометрически, едва наметив архетипический образ.

Через тысячелетия, уже в двадцатом веке, в живописи возникает очень похожая тенденция – так называемая «граффити». В творчестве западногерманского художника – постмодерниста Ральфа Винклера (р.1939), известного в мировой культуре под псевдонимом «А. Р. Пенк», появляются «наскальные» мотивы.

Пенк сосредотачивал в двухмерном пространстве картин «геометрические и архетипические формы, символы, иероглифы и символические объекты» (Schug 1994, s. 320.), а также математические символы, или логические, эмблематические объекты (небесные светила, орлы, маски, цветы), случайные лица и головы, зачастую непомерно большие, фигуры – (схемы) (Contemporary Artists 1990, p. 739).

Часто живопись Пенка сравнивали со стилем граффити (граффити (от итал. graffiti

– выцарапанный) – древние начертания, надписи бытового характера и рисунки, нацарапанные на стенах зданий, сосудах. (прим.автора)), особенно с американским художником из Нью-Йорка Кейтом Харингом (1959-1990) (Partch 1997, p. 347).

Каждая картина Пенка несет в себе эффект спонтанности виртуальной свободы от какого бы то ни было осознанного намерения, напоминая тем самым стиль Джексона Поллока (т.н. «живопись действия»), который признавался, что не осознает, что он делает, когда он «внутри» своей живописи, и лишь потом он придумывал название картине. (Govan 1989, p. 38).

Фактически, живопись Пенка – это знаковый язык, информация – коммуникация, сведенная до схематичного сообщения.

Пенк после долгих поисков своего собственного стиля в искусстве XX века, выбрал, казалось, простой, а вместе с тем, экстравагантный и оригинальный путь, придя в 1961 году к стилю, напоминающему архаические наскальные рисунки, иероглифы, иногда наполняя картины математическими, лингвистическими, политическими знаками и символами.

Самое удивительное то, что в юности Ральф писал как Рафаэль и Рембрант, однако, Георг Базелиц, друг и коллега Пенка, неэкспрессионист, отмечал, что для истинного признания в искусстве мало владеть классической художественной техникой, для этого необходимо выработать свой собственный, оригинальный стиль.

«Моя тетка, - писал Базелиц, - владела техникой рисунка, как Рафаэль, но ее картины были убоги. У моего друга Пенка была обратная проблема: в 14 лет он мог рисовать как Рафаэль, в 16 – как Рембрант, по крайней мере, в 17 – как Пикассо. Он был вундеркиндом, а теперь перестал быть им. Одаренность может быть и недостатком – Пенку наверняка было труднее пробиться к оригинальным изобразительным находкам» (Baselitz 1987, s. 9 – цит. по: Каталог 1997, с. 59)

Пабло Пикассо и Анри Матисс также виртуозно владели техникой классической живописи, что явствует из их раннего творчества, однако, известность и признание пришли к ним лишь тогда, когда они нашли свой оригинальный путь в искусстве.

Античные статуи отличались строгой гармонией пропорций человеческого тела, скульптура XX века, различных направлений авангарда, оригинальна, порой нестандартна, непропорциональна, фрагментарна и концептуальна одновременно.

Опираясь на античное наследие, в поздний период своего творчества, Майоль (1861-1944), французский скульптор создал многочисленные прекрасные женские образы, олицетворявшие природу («Река», «Помона»), героиню нации («Иль-де-Франс»). Антропоморфизм пластики Майоля наделен особой чувственностью, архитектурной ясностью.

Пластическое творчество Огюста Родена (1840-1917) относится к импрессионизму. Его «Мыслитель», «Ева», «Поцелуй» и другие работы обладают невероятной силой пластического образа, впечатляют чувственностью, позой, драматической мощью внутреннего переживания, аллегоричностью.

Импрессионистическая манера живописного изображения значительно отличается от академической. Импрессионисты писали свои картины на пленэре, для революционной манеры письма импрессионистов было необходимо писать с натуры, чтобы передать ее нюансы, выработать принципиально новый художественный взгляд на изображаемые объекты.

Главным жанром в импрессионизме был пейзаж. Благодаря оригинальной манере письма, французские художники могли передать блики солнца, движение листьев, насыщенность световоздушной среды.

Французские художники – импрессионисты изображали людей, большей частью, в контексте окружающей природы. Таковы, например картины Ренуара (1841-1919) «В саду», «На лугу», «Купание» и др. Импрессионистическая манера письма позволяет зрителю наблюдать за движением благоухающей природы, бликами солнца, движением

воздушной среды, сами тела людей запечатлены в процессе. Обнаженные женские образы Ренуара – купальщицы, например, даже если фигуры статичны, полны внутреннего движения.

В картинах Сезанна (1839-1906), изображающих обнаженные тела после купания, как правило, лишь угадываются очертания человеческих абрисов, тела лишены детализации, впрочем, как и окружающая их природа. Характерная манера мазка Сезанна делает шедевры его творчества неповторимыми.

«Все работы модернистского направления можно рассматривать сквозь призму «мучительной заинтересованности загадкой бытия» (Бенуа)» (Энциклопедия 2002, с. 8)

Группы людей на пленэре изображают Эдуард Мане (1832-1883), Клод Моне (1840-1926), эта тема звучит в одноименных картинах «Завтрак на траве». В картине Сезанна «Завтрак на пленэре» (1869) также затронута данная тема.

Картина «Завтрак на траве» (1863) Мане была воспринята негативно зрителями. Французский художник, вдохновленный мотивами итальянской живописи, в частности, творчеством Джорджоне, изображает в центре композиции обнаженное женское тело в окружении двух одетых мужчин, что, несомненно, производит впечатление, особенно в окружении лесного пейзажа, написанного в темной, насыщенной гамме. В картине практически отсутствуют полутона. Благодаря резким мазкам кисти, картина производит эффект некоторой незаконченности. Эпатаж нового стиля был обусловлен практическим разрывом с академическими традициями живописного изображения.

Одноименная картина Клода Моне (1866) изображает группу отдыхающих на пленэре людей. Женщины в нарядных одеждах, мужчины в элегантных костюмах. Природа изображена Моне в темных тонах, с преобладанием зеленого. На лесной поляне расположились отдыхающие. Складки одежды изображенных людей подчинены движению фигур, свободные позы отдыхающих людей производят эффект релаксации. Манера письма дает возможность зрителю ощутить свет солнца, озаряющего поляну, сквозь трепещущую листву почувствовать движения воздуха и даже свежесть утра. Вся картина наполнена воздухом.

Световые пятна в работах импрессионистов, одновременно аккумулирующие и рассеивающие взгляд зрителя, принципиально противоположны основополагающему академическому принципу рисунка и постепенного перехода от света к тени. В импрессионизме постепенно исчезает четкая фигуративность, очертания как людей, так и элементов пейзажа состоят, как правило, из световых пятен и оттенков, цвет которых зависит от освещения. Все подчинено движению световоздушной среды. Пуантилизм – основа импрессионистической манеры письма. Из палитры импрессионистов практически исчезает черный цвет.

Эстетика академической школы далека от эстетики импрессионистов. В картине Поля Сезанна «Завтрак на пленэре» (1869) особенно заметно несоответствие академическому художественному языку. Фигуры людей непропорциональны, манерны, чувствуется экспрессия мазка мастера.

Изображение людей в урбанистических джунглях также привлекает внимание импрессионистов. Так например, знаменитый бульвар Капуцинок изображен на одноименной картине (1873) Клода Моне в дневные часы, прекрасный солнечный день, когда бульвар многолюден. Ракурс изображения – с высоты многоэтажного здания – сводит изображение многочисленных людей до условно узнаваемых объектов, запечатленных в движении, иногда практически растворяющихся в урбанистических очертаниях. Бульвар в картине Моне наполнен солнечным светом. У зрителя создается впечатление праздника и эффект причастности.

Фактически, импрессионистическая школа открывает новую эпоху мирового искусства – авангард. В основе эстетических взглядов авангарда лежит принципиальная противоположность классическому искусству, начало разрушения целостности, фигуративности изображения, своего апогея достигающее в абстракционизме,

субъективизм, апелляция к внутреннему миру художника и зрителя, новый взгляд на реальность, в конечном счете, обращающийся к ирреальности, наиболее заметный в сюрреализме. Деструктивное начало Авангарда, в конечном счете, предвосхитило таковые тенденции и в других областях культуры – литературе, поэзии, языке.

Римейк мотива завтрака на траве появляется в одноименной картине (1960) позднего творчества родоначальника кубизма – Пабло Пикассо (даже целой серии вариаций на эту тему).

Картина так и называется «Завтрак на траве, подражание Мане». В картине Пикассо в условной кубистической манере, на грани гротеска, изображается обнаженная сидящая женщина и полулежащий одетый мужчина. Также условно изображена природа – деревья, водоем, основной акцент сделан мэтром авангарда на цветовых решениях обозначения природы, с использованием зеленой, голубой и коричневой палитры, без особых цветовых нюансов.

Кубистической манере письма присущ геометризм, впрочем, как и многим направлениям авангарда – супрематизму Малевича, абстракционизму Кандинского, футуризму и другим.

«Задачей своего художественного творчества модернисты считали изображение форм, образованных исключительно по законам искусства и существующих внутри него. Реальность ... «спрятана под покровом видимости» (Ф. Марк)» (Энциклопедия 2002, с. 8)

Изображение человека в кубизме условно. Кубистический художественный язык препарирует фигуру на составляющие – кажется, фигуры состоят из собранных фрагментов. Деструктивность кубизма поразила публику в начале XX века – картина Пикассо «Авиньонские девицы» (1907) произвела революционный эффект в мировой культуре.

«Начальный этап (кубизма)(Т. М.) характеризуется развитием от элементарного разложения фигур на разрозненные единицы на плоскости... до преобладания стереометрических образований, которые оттеснили изображение натуры...» (Энциклопедия 2002, с. 54).

Такова картина Пикассо «Гитарист», например, где в геометрических формах угадывается фигура мужчины, одновременно напоминающая форму гитары.

«На втором этапе появились различные знаки: элементы живописи, графические знаки (ноты, буквы, цифры), обозначения игральных карт и коллажи из разноцветной бумаги, газет, афиш, обоев, представляющие проблемные, сложные отношения между способами отражения реальности...» (Энциклопедия 2002, с. 58).

Продолжение деструкции образов, геометризм, идея разрушения культурных стереотипов присуща футуризму. Художники – футуристы акцентировали урбанизм, техногенные объекты цивилизации, подчеркивая то, что дальнейшее развитие научно-технического прогресса – главное содержание будущего. Намеренный отказ от классических тенденций в искусстве, впрочем, как и от всего культурного наследия прошлого, стремясь заполнить данную образующуюся пустоту новым искусством.

В русском авангарде присутствовал т.н. кубофутуризм. В стиле кубофутуризма работали художники: Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова, Удальцова, Экстер, Богомазов и другие.

Например, на знаменитой картине 1911 года «Велосипедист» Наталия Гончарова (1881-1962), одна из т. н. «амазонок» русского авангарда, запечатлела мужскую фигуру в активном движении, на что указывает сразу несколько ракурсов быстрого движения транспортного средства. Фигура человека обозначена условно, без детализации, с эффектом разложения на фазы движения.

Художники, работавшие в стиле сюрреализма особенно концептуальны. В своих работах они практически достигают «эффекта присутствия» объекта, в частности, человеческого тела, условно обозначая формы человеческого тела как отпечатки,

например, в изображаемой мебели («Сюрреалистическая композиция с незримым персонажем» С. Дали). Человек незримо присутствует в композиции.

«Модернисты отрицают копирование природы, стремясь «изобразить неизобразимое», приподнять завесу над скрытой внутренней духовной сущностью окружающего мира». (Энциклопедия 2002, с. 8).

Сюрреалисты в своем творчестве деструктурировали незыблемые для реального мира понятия – время, пространство, формы человеческого тела, вплоть до фрагментарности, объемы изображаемых объектов, балансируя на грани игры в двухмерном пространстве живописи или в объемном чувственном пластическом исполнении.

В картинах Хоана Миро «Портрет миссис Миллс в 1750» (1929), «Женщина и птица» (1949) женский образ дается условно, в таком же ключе подается и окружающий пейзаж.

В картине «Постоянство памяти» Сальвадора Дали (1931) мягкие циферблаты напоминают человечеству о нелинейности времени.

«Предчувствие гражданской войны в Испании» и «Осенний каннибализм», «Город с ящиками», скульптура «Венера Милосская с ящиками» – С. Дали создал эти произведения в 1936 году – на картинах Дали фрагментирует человеческое тело, вплоть до ужасающих форм, тело также представляется зрителю в виде шкафа с ящиками – варианты сюрреалистического художественного прочтения антропологического контекста.

Картины Дали отражают, практически, социо - политический контекст тридцатых годов в Испании.

«Модернизм отражает социальные, политические и идейные проблемы различных временных эпох, представляя историко-художественную ситуацию...». (Энциклопедия модернизма 2002, с. 8).

Весь авангард XX века практически был нацелен на изменение классического восприятия и понимания искусства, изменение аксиологических ориентиров в эстетике.

Творчество западногерманского художника, инсталлятора, скульптора, Йозефа Бойса, означало наступление новой эры постмодерна.

Для многих система взглядов Бойса – это утопия. Но, несмотря на обвинения в «болтовне о социальной пластике», «атаке на искусство», уничтожении классического понимания искусства, именно творчеству Бойса немецкие исследователи, в частности, Нольте, склонны приписать ответственность за «коллапс Модерна» как системы взглядов, как мироощущения.

«Бойс положил конец Модерну, конец всем традициям в искусстве, и все мы следуем за ним, до самого конца искусства» (Nolte 1991, p. 28-29).

В условиях разделенной Германии XX века к шестидесятым годам созрело новое направление – так например неоэкспрессионизм, ставшее впоследствии частью мировой культуры XX века. Данное направление принадлежит к культуре постмодернизма.

Т.н. «Новые Дикие» Германии не только восстановили утраченный во время нацистской Германии контекст преемственности немецкой культуры, но и подняли немецкое искусство на мировой уровень.

Творчество Георга Базелица (р.1938), Пенка (р.1939), Люперца (р.1941), а также учеников знаменитого Бойса: Кифера (р.1945), Иммендорфа (р.1945) – немецких неоэкспрессионистов, стало золотой страницей мировой культуры. Каждый из художников создал свой неповторимый стиль в искусстве, каждый из них был не только художником, но и скульптором, инсталлятором.

В результате долгого и мучительного поиска парадигмы ирреального восприятия Базелиц, наконец, пришел к переориентации картин на 180 градусов.

Базелиц стремился абстрагироваться от реальности, создав свой живописный мир. Более того, глобально, он пытался достичь такого уровня надпредметности, когда

живописный мир картины кажется лишенным мотива. «Я не нуждаюсь в мотиве, который узнается в картине,» – утверждал художник. (Winter 1985, s. 3043).

Примечательно, что художник рисовал картины в общепринятых координатах, а затем, пока еще не высохла краска, переворачивал их, и стекающие к земле струйки краски преобразовали картину, добавляя романтические аллюзии, что придавало картине дополнительную суггестивность и очарование.

В своих произведениях Маркус Люперц призывает зрителей видеть, скорее, внутреннюю красоту, чем внешнюю, эту красоту необходимо учиться видеть, чувствовать.

Люперц, ректор Дюссельдорфской Академии художеств, знаменит скандалами, основанными на непонимании обывателями эстетической сути искусства постмодернизма.

Так, в 2001 году в немецком городе Аугсбурге общественность не позволила установить двух с половиной метровую бронзовую скульптуру Афродиты, сочтя статую богини любви уродливой, безобразной дилетантской халтурой.

В 2004 году классик постмодернизма создал по заказу администрации австрийского города Зальцбурга, родины Моцарта, статую обнаженного маэстро, который в 2005 году подвергся вандализму.

Его женские образы, действительно, полны, скорее, внутренней красотой, его мужские образы полны энергии, экспрессии.

Работы Пенка, как уже отмечалось в начале статьи, репрезентируют человека достаточно условно, схематично, в духе граффити.

В гротесковой, ироничной манере представляет человека Йорг Иммендорф. Политический подтекст творчества немецкого художника неслучаен, ученик Йозефа Бойса, он продолжает дело учителя, убежденного, что искусство должно изменять мир. Образы политических деятелей – Мао-цзы-дуна, Эриха Хонеккера, Гельмута Шмидта и др. узнаваемы.

Ансельм Кифер – также последователь своего знаменитого учителя. В его творчестве особенное место занимает оригинальная система символов и концептуализм.

В своем творчестве Ансельм Кифер часто обращается к коллажам. Коллаж периода модернизма объединен в единое целое всеохватывающим единообразием техники, он, как правило, создан в одном и том же стиле, одним и тем же материалом, аранжирован как хорошо уравновешенная и продуманная композиция, создающая эффект симультанности, преподнося одну и ту же вещь с разных точек зрения. Постмодернистский коллаж – напротив, не трансформирован в единое целое, «различные фрагменты предметов, собранные на полотне, остаются неизменны» (Ильин 1996, с. 221).

Картина (1986) и одноименная книга (1987) Кифера «Женщины революции» содержит сухоцвет, свинец, стекло, даже «objet trouvé» («objet trouvé» - найденный объект – обыкновенный предмет, найденный художником и включенный в произведение искусства, прим. автора) – предмет садового инвентаря.

Элементы гербария – ландыши, роза (Единственная роза в коллаже репрезентирует Марию Антуанетту, урожденную Габсбург, жену Людовика XVI, она была казнена после свержения монархии во время Великой Французской революции в январе 1773 года на основании суда над королем, осуществленного Национальным конвентом Франции (суда над королем добились якобинцы (прим.автора)) - замещают традиционно ожидаемые женские лица – портреты женщин революции. Цветы на картине обрамлены в свинцовые рамки, страницы книги также выполнены из свинца, на них написаны имена женщин, судьбы которых связаны с революцией.

Репрезентация знаменитых женщин посредством «мрачного символизма сухих цветов» (Fineberg 1991, p. 412) намекает на то, что художник уверен, что в образе цветов бессмертный дух их вернется на землю.

Любопытно, что коллаж содержит садовую лопатку, что, по мнению Марка Розенталя, олицетворяет янь– объект фаллической символики (Rosental 1991, p. 119).

Аналогичную символику можно найти, согласно исследованиям Мирча Элиаде, и у земледельцев Австралии и Азии, «называющих одной морфемой и фаллус и лопату» (Элиаде 1994, с. 104), т.о. завершая концептуальную гармонию природы и цивилизации.

Выбор цветов неслучаен, ведь, как известно – розы очень красивые цветы, но, как правило, имеют шипы, а ландыши, хоть и имеют скромные, но красивые и приятно пахнущие цветы, но в их стеблях и корнях содержится яд (Fineberg 1991, p. 412).

Художник еще раз намекает на бунтарский дух «уранических» женщин, на непобедимость изысканного, но не лишеного ядовитой символики революционного духа.

Т.о., можно отметить, что за период существования в мировой культуре модернизма, постимпрессионизма антропоморфная деструктивность в произведениях художников достигла высокой точки, вплоть до «эффекта присутствия» и концептуализма. Дальнейшие перспективы развития живописи и скульптуры как языков культуры, несомненно, тесно связаны с массовой культурой.

Литература

- BASELITZ, G., 1987. Das Bild hinter der Leinwand ist keine Utopie. *Die Welt*, № 267, 16/11/1987.
Contemporary Artists, 1990. Chicago & London.
FINEBERG, J., 1991. Art since 1940, N.Y.
GOVAN, M., 1989. Meditations on A = B: Romanticism and Representation in New German Painting. *Refigured Painting (The German Image 1960-88) edited by Thomas Krens - Prestel*, N-Y.
NOLTE, J., 1991. Kollaps der Moderne. *Traktat über die letzten Bilder*. München.
PARTCH, S., 1997. Haus der Kunst. *Ein gang durch die Kunstgeschichte von der Höhlenmalerei bis zum graffiti*. München.
ROSENTAL, M., 1991. Anselm Kiefer. Chicago and Philadelphia.
SCHUG, A., 1994. Die Kunst unseres Jahrhunderts. Köln.
WINTER, P., 1985. Vier Wände. *Weltkunst*, München, 15 Okt., N 20.
ИЛЬИН, И., 1996. *Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм*. Москва.
КАГАН, М. С., 1996. *Философия культуры*. Санкт-Петербург.
Каталог Георг Базелиц, 1997. Франкфурт – на – Майне.
Энциклопедия модернизма, 2002. Москва.
ЭЛИАДЕ, М., 1994. *Священное и мирское*. Москва.

Tatyana Mozzukhina

Russian State Social University

LANGUAGES OF CULTURE: ANTHROPOLOGY RETROSPECTIVE

Summary

The article “Languages of Culture: Anthropology Retrospective” tells about different ways of human form representation in art of the 19th and 20th centuries. The article deals with the visual culture of modernism and postmodernism.

KEY WORDS: culture text, second model system, sculpture, art, impressionism, cubism, expressionism, surrealism, modernism, postmodernism, neo-expressionism.

Сергей Мухин

*Московский государственный институт международных отношений МИД России
пр. Вернадского 76, 119454 Москва, Россия
e-mail: s.muhin@inno.mgimo.ru*

ЯЗЫКОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО КАЛЬКИРОВАНИЯ

(на материале английского языка)

В статье рассматриваются языковые факторы, обуславливающие продуктивность калькирования как способа воспроизведения иноязычных словосочетаний в заимствующем языке. Предпринимается попытка анализа функционирования английских фразеологических калек латинского и французского происхождения в художественных текстах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *фразеология, калькирование, фразеологическая калька, заимствование, перевод.*

В лингвистике заимствование как языковое явление традиционно определяется как перенос единицы языка из одной языковой системы в другую. Известно, что при лексическом заимствовании единицы переходят в новую языковую систему и в той или иной степени ассимилируются. В тех случаях, когда заимствованная единица воспроизводится средствами языка-реципиента, считается, что заимствование было осуществлено способом калькирования. Заимствование фразеологизмов также может осуществляться калькированием, то есть построением новой фразеологической единицы с помощью элементов языка-реципиента по структурной и/или семантической модели исходной иноязычной единицы.

Английские фразеологические кальки (ФК), имеющие в качестве этимона соответственные языковые единицы различных языков (в основном французского и латинского происхождения) многочисленны, являют многообразие структурно-семантических и стилистических типов и в количественном отношении составляют значительную часть английской лексико-фразеологической системы.

Одно из самых ранних определений, данных понятию «фразеологическая калька» Шарлем Балли, гласит, что кальки – это *слова и выражения, образованные механически, путем буквального перевода, по образцу выражений, взятых из иностранного языка* (Балли, 1961, с. 78). Калькирование также понималось, как *воспроизведение внутренней формы иностранного слова* (Rosetti 1945, с. 37). И. В. Арнольд также дает схожее, по сути, определение понятию «калька»: *кальки – это слова и выражения, образованные из уже существующего в английском языке материала, но по моделям, взятым из другого языка, путем буквального поморфемного перевода* (Арнольд 1973, с. 250). По определению А. А. Реформатского, кальки – это *заимствованные слова и выражения, когда иноязычный образец переводится по частям средствами своего языка* (Реформатский 1999, с. 142). Данные определения, в основном, относятся к лексическим калькам. Подобным образом определялось и понятие «фразеологическая калька». А. В. Кунин дает следующее определение: *калька – это образование нового фразеологизма путем буквального перевода соответствующей иноязычной языковой единицы*. (Кунин 1996, с. 241). Н. М. Шанский определяет понятие ФК так: *фразеологическая калька – это устойчивое сочетание слов, возникшее в результате пословного перевода иноязычного фразеологизма* (Шанский 1998, с. 116). Весьма схожее определение дается в Большом энциклопедическом словаре Языкознание, согласно которому фразеологические кальки – это *пословный перевод фразеологизма* (Языкознание 1998, с. 211).

Данные весьма близкие определения, безусловно, справедливы, но не исчерпывающи. Следует отметить, что все они сходятся в одном: калькирование

понимается, прежде всего, как перевод, и, с точки зрения теории перевода, это, несомненно, так. В настоящей статье применительно к рассматриваемому языковому материалу принимается точка зрения, согласно которой **фразеологическим калькированием является процесс, в результате которого во фразеологической системе английского языка появляется новый заимствованный фразеологизм, независимо от того, к какому уровню языка относится его этимон в языке-источнике и какова его структура.**

Таким образом, ключевым для идентификации фразеологизма как кальки является факт интеграции заимствуемой единицы во фразеологическую систему принимающего языка. С учетом сказанного, понятие «фразеологическая калька» может быть определено следующим образом: **фразеологическая калька – это устойчивое словосочетание, вошедшее во фразеологическую систему языка в результате воспроизведения значения и структуры иноязычной языковой единицы средствами заимствующего языка и последующей фразеологизации.**

Традиционно различаются прямые заимствования в иноязычной материальной оболочке и кальки. Причем в некоторых случаях и те, и другие существуют в языке-реципиенте параллельно, различаясь в основном выполняемой стилистической функцией. В качестве примера можно привести такие ФК и иноязычные выражения в английском языке, как *affair of honor (affaire d'honneur)* – *дело чести*; *fixed idea (idée fixe)* – *идея фикс*; *the newly rich (nouveaux riches)* – *нубориши*.

Главным предметом, рассматриваемым в настоящей статье, являются языковые факторы, обуславливающие возможность, частотность и, в конечном итоге, продуктивность фразеологического калькирования как одного из способов пополнения лексико-фразеологической системы английского языка. Иными словами, ставится цель определить, под влиянием каких факторов заимствование совершается именно способом фразеологического калькирования.

При самом поверхностном взгляде на совокупность ФК английского языка очевидно, что большинство из них носят ярко выраженный литературный характер. Использование таких единиц характерно, прежде всего, для письменной речи. Более пристальное исследование этимологии данных ФК показывает, что их этимоны являются частью письменной традиции в соответствующих языках. В качестве примера можно предложить следующие ФК французского происхождения:

perfidious Albion < la perfide Albion (коварный Альбион) – перифрастическое прозвище Англии, сама форма которого (а именно такие «книжные» лексемы, как прилагательное *perfide* и существительное *Albion*) свидетельствует о том, что оно появилось в литературной среде. Авторство выражения однозначно не установлено, однако впервые оно встречается в стихотворении маркиза де Ксимена (1726-1817), в котором автор призывает атаковать «коварный Альбион» на море;

to pull the chestnuts out of the fire for smb < tirer les marrons du feu pour qn (таскать каштаны из огня для кого-л.) – образ хитрой обезьяны по имени Бертран, заставлявшей кота Ратона таскать каштаны из огня, стал известным, а впоследствии нарицательным благодаря популярности басен Жана де Лафонтена (1621-1695), который создал этот образ в басне «Обезьяна и Кот» (“Le Singe et le Chat”);

to cultivate one's garden < cultiver son jardin (заниматься своим собственным делом) – заключительная фраза философского романа Вольтера (1694-1778) «Кандид», смысл которой в том, что у каждого человека должна быть своя мера ответственности. Главный герой, познав господство зла в мире и абсурдность мироустройства, находит спасительный компромисс в решении «возделывать свой сад».

Преобладание письменных каналов заимствования ФК столь же наглядно и на примерах библейских фразеологизмов, которые также являются ничем иным, как фразеологическими кальками латинских выражений, поскольку английский текст Библии представляет собой перевод соответствующего латинского текста Вульгаты:

a house divided against itself < domus divisa contra se (раздор между своими, междоусобица) – слова Иисуса Христа, обращенные к обвиняющим его в колдовстве фарисеям (Матфей, XII, 25);

to beat swords into ploughshares < conflare gladios suos in vomeres (перековать мечи на орала) – выражение, обозначающее переход от военных дел к мирному труду в одном из пророчеств Исаяи (Исайя, II, 4);

to dig a pit for smb < foveam fodere (рыть яму кому-л.) – образное выражение Экклезиаста, описывающее злой умысел (Экклезиаст, X, с. 8).

Очевидное сходство структуры приведенных английских ФК и их компонентного состава с соответствующими характеристиками этимонов позволяет сделать вывод, что во всех данных случаях, несомненно, имел место перевод, и каждое из данных выражений проникло в английский язык благодаря усилиям конкретных переводчиков. Закономерен вопрос: каков выбор переводчика в ситуации, когда вероятно появление фразеологической кальки? И что определяет этот выбор?

Перевод фразеологизмов вызывает особую трудность, поскольку основной задачей является нахождение максимально приближенных по образу единиц, каждая из которых при этом, с одной стороны, продолжает быть носителем своей культуры, отражает ее традиции, установки, стереотипы, символы, с другой стороны – выступает в качестве некоего партнера чужой культуры, позволяющего обеспечить адекватное, правильное восприятие и понимание иноязычного образа, отражающего традиции, эталоны, символы иноязычной культуры (Зыкова 2007, с. 130)

При переводе иноязычного словосочетания, особенно связанного, возможно рассмотрение следующих способов его воспроизведения на языке перевода:

- 1) эквивалентным по значению и коннотативным характеристикам исконным фразеологизмом;
- 2) исконным словом, способным наиболее полно выразить значение иноязычного выражения;
- 3) не прибегая к переводу, как таковому, воспроизвести в переводном тексте иноязычную единицу в ее исходной форме без каких-либо изменений;
- 4) воспроизвести иноязычную единицу средствами заимствующего языка дословно, т. е. сделать фразеологическую кальку.

Представляется важным рассмотреть продуктивность каждого из упомянутых способов и факторы, обуславливающие такую продуктивность.

Первый способ, по всей видимости, обеспечивает наиболее адекватный перевод иноязычного выражения, и его можно было бы считать идеальным. Однако далеко не всегда возможно найти исконный фразеологизм, абсолютно соответствующий иноязычному выражению по значению, функционально-стилистическим и эмотивно-экспрессивным характеристикам. Можно даже утверждать, что такое абсолютное соответствие невозможно в принципе, поскольку иноязычный фразеологизм – всегда продукт продолжительного развития в системе другого языка. Таким образом, речь может идти лишь об относительном соответствии фразеологизмов в двух языках. Фразеология того или иного языка по определению является той частью лексикона, где национальный элемент наиболее ярко выражен. Перевод текстов, содержащих идиоматические выражения, представляет особые трудности, которые обусловлены усложненной семантикой единиц фразеологического уровня, их экспрессивно-эмоциональной насыщенностью и яркой национальной спецификой. Такие свойства фразеологизмов, как идиоматичность значения и раздельнооформленность структуры требуют особенной тщательности при подборе эквивалентных фразеологических единиц другого языка, которые должны соответствовать исходным не только по форме и совокупному значению, но и по своей образной основе, экспрессивной насыщенности и стилистической окраске (Сафина 2003, с. 167). Имея дело с иноязычными фразеологизмами, переводчик часто вынужден искать средства передачи обозначаемых

фразеологизмом национально-культурных реалий, а такие средства далеко не всегда присутствуют в языке перевода. В качестве примера можно привести французский фразеологизм *fromage blanc* с компонентом *fromage*, имеющим характерную национально-культурную коннотацию. Данное выражение обозначает типично французские реалии: а) *форменная фуражка с белым верхом*; б) *начальник железнодорожной станции*. Совершенно очевидно, что эквивалента данного выражения в английской фразеологии просто не существует. Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что продуктивность первого способа перевода иноязычных фразеологизмов имеет весьма существенные ограничения.

Второй способ в целом приемлем для передачи значения определенных иноязычных фразеологизмов, в основном глагольных, но чаще всего неадекватен стилистически. Таким способом невозможно адекватно передать образные единицы и почти абсолютно невозможно передать пословицы, поговорки и крылатые выражения. Это особенно наглядно иллюстрируют примеры многочисленных фразеологизмов и предложений латинского происхождения: *in cauda venenum* (*в хвосте яд – о язвительном выпаде в конце речи*); *crambe bis cocta* (*дважды сваренная капуста – о чем-либо надоевшем, повторяющемся*); *qui nimium probat, nihil probat* (*кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает*). В английском языке, как и в любом другом, воспроизведение значения, образа и стилистической окраски данных единиц одним словом невозможно.

Третий способ требует от переводчика наименьших усилий. Другое его достоинство – сохранение в полной мере иноязычного культурно-коннотативного компонента значения, который может служить эффективным стилеобразующим средством. В английском художественном тексте такие иноязычные вкрапления нередко выполняют функцию речевой характеристики персонажа, неся имплицитную информацию о его манерах, образованности и т. д. либо функционируя в специальных терминологических подсистемах, как в следующем примере, где устойчивое словосочетание во французской материальной форме представляет собой юридический термин:

“*She brought, I understand, a considerable dowry?*”

“*A fair dowry. Not more than is usual in my family.*”

“*And this, of course, remains to you, since the marriage is a **fait accompli**?*”

A. Conan Doyle. *The Adventures of the Noble Bachelor*

Однако при определенных преимуществах данного способа воспроизведения иноязычных выражений совершенно очевидно, что его продуктивность также весьма ограничена, поскольку при слишком частом его использовании в процессе перевода иноязычного текста неизбежно встает вопрос об адекватности такого перевода. Переводной текст, избыточный выражениями в иноязычной форме, может вызвать сомнения в компетентности переводчика. Следовательно, данный способ нельзя признать достаточно продуктивным.

Пословный перевод, т. е. фразеологическое калькирование, лишен перечисленных выше ограничений. Иноязычное словосочетание достаточно эффективно может быть воспроизведено покомпонентно лексическими средствами заимствующего языка. Такой способ перевода не знает структурных ограничений. Калькировать возможно как словосочетания с любым частеречным значением, так и предикативные структуры. Таким образом, продуктивность фразеологического калькирования как способа воспроизведения иноязычного словосочетания представляется наиболее высокой по сравнению с другими способами. Данный вывод подкрепляется данными анализа больших идиоматических словарей английского языка, показывающими, что до 5 % фразеологических единиц английского языка представляют собой фразеологические кальки иноязычных

словосочетаний. В то же время анализ художественных текстов на английском языке наглядно демонстрирует активную употребимость ФК. Некоторые из них настолько прочно обосновались в английском языке, что иноязычный компонент их культурно-коннотативного значения практически полностью стерт, и такие единицы не осознаются носителями языка как заимствованные.

Будучи полностью усвоены языком-реципиентом, ФК, в свою очередь, становятся удобным языковым средством перевода иноязычных текстов, поскольку они представляют собой готовый языковой материал для передачи собственных этимологов на языке перевода. Как правило, встретив в тексте оригинала иноязычное словосочетание, которое некогда было калькировано в английский язык, переводчик охотно воспроизводит его с помощью ФК, что подтверждается следующими примерами английских переводов произведений французской литературы (приводятся текст оригинала и перевода):

Déjà la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe.

The old woman had already retired in one corner of the room, behind an old torn blanket suspended by a cord. The little girl followed her to that retreat, reserved for the fair sex.

P. Mérimée. Carmen

Elle demeura surprise, puis faisant "non" de la tête.

- Oh! Ta femme s'en moque bien. C'est quelqu'une de tes maîtresses qui t'aura fait une scène.

She was surprised for a moment, and then, shaking her head, said: "Oh! Your wife would not mind. It was someone else who made a scene over it."

G. Maupassant. Bel ami

Le soir même, le chevalier de Beauvoisis et son ami dirent partout que ce M. Sorel, d'ailleurs un jeune homme parfait, était fils naturel d'un ami intime de marquis de La Mole.

That evening, the Chevalier de Beauvoisis spread the report everywhere that this M. Sorel, who incidentally was a perfectly charming young man, was the natural son of an intimate friend of the Marquis de La Mole.

Stendhal. Le rouge et le noir

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что такие языковые факторы, как структурная и семантическая осложненность устойчивых словосочетаний, их способность в концентрированном виде хранить национально-культурный компонент значения, делают калькирование наиболее продуктивным способом заимствования словосочетаний.

Литература

- ROSETTI, A., 1945-1949. Langue mixte et langues mélangées. *Acta Linguistica*, V. Copenhagen.
- АРНОЛЬД, И. В., 1973. *Лексикология современного английского языка*. Москва: Высшая школа.
- БАЛЛИ, Ш., 1961. *Французская стилистика*. Москва: Иностранная литература.
- ЗЫКОВА, И. В., 2007. Контрастивная фразеология: путь от диалога языков к диалогу культур. *Теория и практика лексикологических исследований*. Вестник МГЛУ. Москва, вып. 532.
- КУНИН, А. В., 1996. *Курс фразеологии современного английского языка*. Москва: Высшая школа.
- РЕФОРМАТСКИЙ, А. А., 1999. *Введение в языковедение*. Москва: Аспект Пресс.
- САФИНА, Р. А., 2003. Факторы межъязыковой эквивалентности фразеологизмов немецкого и русского языков. *Русская и сопоставительная филология*. Сб. науч. тр. Казань: КГУ.
- ШАНСКИЙ, Н. М., 1998. *Фразеология современного русского языка*. С-Петербург: Специальная литература.

Языкознание, 1998. *Большой энциклопедический словарь*. Под ред. В. Н. Ярцевой. Москва: Большая Российская энциклопедия.

Список использованных словарей

КУНИН, А. В., 1998. *Большой англо-русский фразеологический словарь*. Москва: Живой язык.
Новый большой французско-русский фразеологический словарь, 2005. Под ред. ГАКА, В., Г.
Москва: Русский язык медиа.
ДВОРЕЦКИЙ, И. Х., 2000. *Латинско-русский словарь*. Москва: Русский язык.

Список цитированных произведений

CONAN DOYLE, A. *The Adventure of the Noble Bachelor*. The Adventures of Sherlock Holmes.
MAUPASSANT, G., 1900. *Bel ami*. Paris: Ollendorff.
MÉRIMÉE, P., 1962. *Carmen*. Paris: Garnier,.
STENDHAL, 1963. *Le rouge et le noir*. *Chronique du XIX-ème siècle*. Paris: Garnier.

Sergey Mukhin

Moscow State Institute of International Relations, Russia

THE LINGUISTIC FACTORS OF LOAN-TRANSLATION EFFICIENCY IN ENGLISH

Summary

The article deals with linguistic factors determining the efficiency of loan-translation while rendering foreign word combinations into the borrowing language. It attempts to analyze the functions of English idiomatic calques of Latin and French origin in fiction.

KEY WORDS: Phraseology, calque, idiomatic calques, borrowing, translation.

Alvida Neverdauskaitė

Universitāt Vilnius Geisteswissenschaftliche Fakultāt in Kaunas

Muitinės g. 8, Kaunas, Lietuva

e-mail: alvida0223@yahoo.de

JUGENDSPRACHE. BESONDERHEITEN UND VERBREITUNG

In diesem Artikel wird die Jugendsprache als sprachliches Phänomen behandelt, werden Merkmale, Wortbildungsvariationen und ihre Vieldeutigkeit, sowie ihre Verbreitung in diversen Schichten der gegenwärtigen Jugend besprochen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Charakteristiken, Wortbildung und Merkmale der Jugendsprache

- He, was suchst du hier, – hat mich die Kleine angegiftet, als ich in ihrem Garten stand.
 - Dich mal besuchen, Baby, – hab ich gesagt, – wie du wohnst und so. – Und bin in ihr Zimmer eingelaufen. Eine leckere Bude, möchte ich bemerken.
 - Wie kommt ihr zu diesem ausgefetzten Schlösschen, – habe ich die alte Dame später gefragt.
 - Das hatten wir schon immer, du Klugscheißer, – hat sie gezwitschert, – es gehört der Urmi und dem würdigen Greis, den du eben so freundlich auf die Schippe genommen hast.
- Ich bewundere die Kleine, ehrlich. Sie ist lammfromm ihrem Großvater gegenüber. Dann palavern wir los, dass sich der olle Typ nur geduldig unser Geschwafel anhört. Und am Ende sagt die:
- Du hast Recht, alter Vater, der Typ ist irre gut. (J.O. Meier, Eigentlich sind wir gut drauf, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999)

Das angegebene Zitat stellt deutlich die Art und Weise des Ausdrucks dar und ist nicht schwer festzustellen, dass das ein Gespräch zwischen zwei jungen Menschen ist, deren Inhalt nicht jeder Erwachsene verstehen würde. Es handelt sich im gegebenen Fall um die Jugendsprache. Es ist keine Literatursprache, auch keine Standardsprache, sondern eine spezifische Variantenbildung, mit Abweichungen vom neutralen Standard, zugleich aber mit Übereinstimmungen, die Voraussetzung für das Verständnis des Textes sind. Die Abweichungen beziehen sich vor allem auf den Bereich der Lexik und zum Teil der Phraseologie, sowie – daraus ableitbar – auf den Sprachstil.

Sprachwissenschaftler sehen heute Jugendsprache als ein komplexes sprachliches Phänomen. Die Psychologen betonen aber auch, dass die Jugendlichen häufig in zwei „Wertwelten“ leben, die zu einem durch die Eltern und zum anderen durch die Altersgenossen geprägt werden. Diese zwei Wertwelten haben bestimmt einen großen Einfluss auf die Sprache der Jugendlichen. Je nachdem, mit wem sie kommunizieren, wechseln sie von einem Sprachsystem in ein anderes.

Jugendsprache ist der Jargon der Jugend. Jugendliche sprechen anders als Erwachsene, anders als ihre Eltern. Als wesentliche sprachliche Motive und Motivationen erscheinen Abgrenzung und Selbstdefinition (Identitätsfindung). Die verwendeten Ausdrücke unterscheiden sich regional und von Gruppe zu Gruppe oft sehr stark. Die meisten Ausdrücke der Jugendsprache verschwinden nach etwa 10-20 Jahren wieder aus dem Sprachgebrauch. Manches bleibt aber auch erhalten und ist eine Hauptquelle für den allmählichen Sprachwandel.

Wie alle anderen Varietäten der Sprache erfüllen auch die jugendtypischen Besonderheiten eine konkrete Funktion. Sie demonstrieren Gruppensolidarität und rufen dazu auf, streichen Individualität und Identität heraus, dienen der Identitätsfindung und sind verbaler Ausdruck des gemeinsamen Probierens im Prozess der Sozialisation. Die jugendtypische Redeweise artikuliert und unterstreicht gegenseitiges Verständnis und Gemeinsamkeit der Interessen und Wertorientierungen.

In der Jugendsprache gibt es eine Vielzahl konnotierter Ausdrücke (im Zitat unterstrichen):

1. Abweichungen von der neutralen Stilschicht
 - gehoben: die alte Dame, der würdige Greis
 - umgangsspr. lospalavern
 - salopp: angiften, Geschwafel, j-n auf die Schippe nehmen
 - vulgär: Klugscheißer

2. Wörter, die nicht in ihrer eigentlichen Bedeutung verwendet werden
 - einlaufen: auf das Spielfeld kommen, in den Hafen kommen, hier: kommen
 - lecker: wohlschmeckend, hier-schön
 - Baby: Kleinstkind, hier-Anrede für ein junges Mädchen
 - alter Vater: hier-Freund, Gleichaltriger.

3. Ungewöhnliche Kombinationen
 - leckere Bude : lecker(positiv), Bude(pejorativ)
 - ausgefetztes Schlösschen : ausgefetzt(salopp),
Schlösschen(euphemisch)
 - du Klugscheißer : (vulgär)
 - der würdige Greis: (gehoben),
 - den du auf die Schippe genommen hast: (salopp)

4. Nachklappende Satzadverbiale
 - ich bewundere die Kleine, ehrlich

5. Unausgeführte Aufzählungen
 - und so.

6. Einmalbildungen
 - Urmi (für Urgroßmutter)

Die Anmaßung, die jugendliche Sprechweisen als solche darstellen, wird in gewissem Sinne gestützt durch die Gewohnheit, jugendliche Sprechweisen unter den Begriff einer „Jugendsprache“ zusammenzuführen, so wie man z.B. von „Sportsprache“ oder Umgangssprache spricht. Das suggeriert, eine solche Sprechweise sei vergleichbar der Standardsprache mit einer Grammatik, differenziertem Wortschatz und normativer (lautlicher, graphischer und grammatischer) Geltung. Die Jugendsprache ist aber ein fortwährendes Ausweich- und Überholmanöver. Sie setzt die Standardsprache voraus, wandelt sie schöpferisch ab, stereotypisiert sie und pflegt spezifische Formen ihres sprachlichen Spiels. Die Jugendsprache ist also ein spielerisches Sekundärgefüge, das folgende Sprechformen favorisiert:

- eigenwillige Grüße, Anreden und partnerbezeichnungen
- griffige Namen- und Spruchwelten
- flotte Redensarten und stereotype Floskeln
- metaphorische, meistens hyperbolische Sprechweisen
- Repliken mit Entzückungs- und Verdammungswörtern
- Lautwörterkommunikation
- Prosodische Sprachspielereien

All das ist Ausdruck für emotionale, motivationale Einstellungen eines jungen Menschen, denn all das sind auch Merkmale eines Soziolekts. Als charakteristische Merkmale jugendtypischer Sprechweise kann man die folgenden betrachten:

- Es ist gesprochene Sprache, die höchstens einmal in Briefen und E-Mails Jugendlicher untereinander schriftlich fixiert ist. Auch wenn in der neueren Literatur „Jugendjargon“ gebraucht wird, handelt sich um Dialoge oder Monologe Jugendlicher in der Ich-Form, also ebenfalls um die Darstellung gesprochener Sprache.
- Jugendtypische Sprechweise ist expressiv, emotional, subjektiv und dient hauptsächlich dem Ausdruck von Wertungen. Dabei wird die Tendenz zur Verstärkung, Übertreibung, Übercharakterisierung deutlich.
- Es gibt viele Vulgarismen, die von den Jugendlichen, abhängig von ihrer sozialen Herkunft, vom Bildungsgrad und natürlich vom Entwicklungsstand der Persönlichkeit in unterschiedlicher Häufigkeit gebraucht werden.

Eine ganz typische Erscheinung der Sprechweise Jugendlicher ist die Tendenz zur Bildlichkeit. Ausdruck dafür sind Vergleiche, spezielle Metaphern, Hyperbel u.a.

- Typisch für die Jugendsprache und einer ihrer Widersprüche ist Sprachökonomie – die Einwortsätze, z.B. Klasse! Fundamental!
- Mit der Tendenz zur Übertreibung entsteht auch eine gewisse Unbestimmtheit der Semantik. In verschiedenen Regionen wird derselbe Ausdruck völlig widersprüchlich verwendet. Z.B. die Wörter „ätzend“ oder „herb“ werden sowohl zum Ausdruck positiver als auch negativer Wertungen genommen.

Zur Erweiterung des Wortschatzes werden für jugendtypische Sprechweise die gleichen Wortbildungsmuster genutzt wie in der Standardsprache:

- a) Determinativkomposita, die sich durch große Bildhaftigkeit auszeichnen
Fressluke – Mund
- b) Derivation durch Anfügen von Suffixen
Primitivling
- c) Präfigierung, die außerordentlich produktiv ist wie allgemein in der Gegenwartssprache
wegfaulen
- d) Kurzwörter und Abkürzungen (nicht sehr zahlreich)
Assi – Asozialer, Do-do - Doppeldoofer

Das Bedürfnis nach Abwechslung, Reichtum des Ausdrucks, das wohl ein Merkmal der Jugend ist, wird auch in ihrer Sprechweise deutlich. Man kennt umfangreiche Synonymreihen zum Ausdruck der Begeisterung, Freude oder der Verwunderung, Überraschung.

Auch die Anerkennung von Menschen oder die Verachtung gegenüber bestimmten Verhaltensweisen können in einer Vielzahl von Adjektiven, Wortgruppen, Wendungen und vollständigen Sätzen zum Ausdruck gebracht werden.

Es gibt Modewörter oder Einmalbildungen, die mehr oder weniger schnell wieder verschwinden. Meistens können sich die längere Zeit nur diejenigen halten, die eine oder mehrere der folgenden Anforderungen erfüllen:

- die Möglichkeit, in vielen Situationen benutzt zu werden
- Bildlichkeit
- Überspitzung (Über- oder Untertreibung)
- Abweichungen von der Gemeinsprache.

Jugendliche schöpfen aus allen ihnen zugänglichen Quellen:

aus der Standardsprache, aus der Umgangssprache, aus den Dialekten, aus anderen Gruppen- oder Fachsprachen, aus Fremdsprachen, aus der Sprachvielfalt des Dichterischen, wobei die jugendtypische Sprechweise aber doch immer in die Standardsprache eingebettet ist.

Jugendsprache ist experimentell. Vorhandene Wortbedeutungen werden abgewandelt und neue Wortbildungen eingeführt. Sie ist antikonventionell weil sie eingespielte sprachliche Konventionen (z.B. Grüße und Anreden) negiert und neue einführt. Sie ist tendenziell situationalisierend, insofern die Bedeutung der Wörter sich erst in der gemeinsamen Situation „entfaltet“.

Man kann Jugendsprache in funktioneller, struktureller und pragmatischer Hinsicht betrachten, weil sie alle diese drei Dimensionen hat und dazu noch die Dimension der inneren Mehrsprachigkeit kommt. Diesen vier Dimensionen sind vier Begriffe zuzuordnen, die das Wesentliche der Dimension benennen. „Sprachprofilierung“ ist der Begriff, der die Funktion von Jugendsprache benennt, „Jugendton“ ist der Begriff, welcher die besondere Struktur einfängt, „Praxisbezug“ ist der Begriff, der die kommunikative Wirklichkeit dieser Gruppensprache nachzeichnet, hingegen soll es Aufgabe der „Sprachkritik“ sein, diese Gruppensprache auch im Sinne einer Außensicht zu kennzeichnen.

Graphisch hat P. Schlobinski die inhaltlichen Bereiche der Jugendsprache folgendermaßen dargestellt:

<p>SPRACHPROFILIERUNG</p> <p><i>funktionelle Dimension</i></p> <p>Abgrenzung („Ihr“) Identifikation („Wir“) Identität („Ich“)</p>		<p>JUGENDTON</p> <p><i>strukturelle Dimension</i></p> <p>Spruch, (Sprech-)Syntax, Redensart, Wortbildung, Wortschatz, Prosodik, Graphie (antikonventionell, experimentell, situationalisierend, stereotypisierend)</p>
	<p>Jugendsprache</p>	
<p>PRAXISBEZUG</p> <p><i>pragmatische Dimension</i></p> <p>Kommunikative Beziehungen in der Gruppe, Befindlichkeit, „Verbindlichkeit“, Musik, Reizobjekte, Schulwortschatz, weltanschaulicher Wortschatz...</p>		<p>SPRACHKRITIK</p> <p><i>Dimension der inneren Mehrsprachigkeit</i></p> <p>Spielart („Varietät“) des Deutschen</p>

Die wichtigsten Merkmale der Jugendsprache

1. Gesprochene Sprache
2. Expressivität, Emotionalität, Subjektivität → Ausdruck von Wertungen
3. Tendenz zur Übertreibung, Verstärkung
 - in ausdrucksstarken Verben, Adjektiven, Substantiven, Sätzen, Sprüchen
 - in Neubildungen, Einmalbildungen
 - in Vulgarismen
 - in semantischen und syntaktischen Verfremdungen
 - im Gebrauch männlicher Vornamen als Schimpfwörter

- in sprachlichen Ungenauigkeiten (ungewöhnliche Maßangaben, unbeendete Aufzählungen, eine hohe Frequenz von „irgend...“
- 4. Nachgestellte, vorangestellte oder zwischengeschaltete Nomina/Satzadverbiale
- 5. Tendenz zur Bildlichkeit
- 6. Gewollte Unangemessenheit
- 7. Sprachökonomie versus Weitschweifigkeit/Breite der Darstellung (ausgeprägte Synonymie)
- 8. Unbestimmtheit der Semantik
- 9. Gleiche Wortbildungsmuster wie in der Allgemeinsprache: Determinativkomposita, Suffigierung, Präfigierung, Kurzwörter/Abkürzungen
- 10. Besonderheiten im Wortschatz
 - Klangwörter (Lautwörter, Soundwords)
 - Wörter aus anderen Sprachen, besonders Anglizismen
 - Anreden, Spitznamen
 - Schimpfwörter
 - Ungewöhnliche oder semantisch verfremdet gebrauchte Adjektive, Verben, Substantive
 - Vulgarismen
 - Wörter, die Unbestimmtheit ausdrücken
 - Begrüßungs- und Abschiedsformeln
 - Sprüche.

Die Jugendsprache ist sehr bildhaft und emotionell und wird von der Gesellschaft neutral aufgenommen, solange sie nicht in das Vulgäre schleicht. Da das sprachliche Verhalten eine Seite des Gesamtverhaltens der Persönlichkeit ist, kann vulgäre Sprechweise gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Wo die Sprechweise Jugendlicher aber im Rahmen ethisch-moralischer Normen bleibt, originell und phantasievoll vorhandene Muster variiert und in den Grenzen der in Sprachsystem angelegten Möglichkeiten Neues schafft, stellt sie eine Bereicherung der Sprache dar, schützt diese vor Erstarrung und bewahrt ihre Lebendigkeit.

Literatur

- ABEL, J., 2005. Erzählte Identität. Mündliches Erzählen in der neueren deutschen ‚Migranteliteratur‘. In: *Der Deutschunterricht* 2, S. 30-39.
- EHMANN, H. 2001, Voll konkret. Das neueste Lexikon der Jugendsprache. München, Verlag C.H. Beck
- NEULAND, E. (Hrsg.): 2003. Jugendsprache - Jugendliteratur - Jugendkultur: interdisziplinäre Beiträge zu sprachkulturellen Ausdrucksformen Jugendlicher. Frankfurt am Main
- SCHLOBINSKI, P., 2002. Jugendsprache und Jugendkultur. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 14-20. http://www.uni-trier.de/uni/fb2/ldv/ldv_wiki/index.php/Lexem

Alvida Neverdauskaitė

VU Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

JAUNIMO KALBA. YPATYBĖS IR IŠPLITIMAS

Santrauka

Šiandieninė jaunimo kalba vertinama kaip atskiras kalbinis fenomenas, o psichologai tvirtina, kad jaunimas savo kalbinėje veikloje varijuoja tarp dviejų vertybinių pasaulių, kurie labai ryškiai atsispindi jų kalboje ir kuriuos iš vienos pusės formuoja tėvai ir mokykla, iš kitos – bendraamžiai.

Jaunimo kalba (kai kurių kalbininkų vertinama kaip žargonas) keičiasi kas 10-20 metų, kai kuriuos žodžius ar išsireiškimus palikdama bendrinėje kalboje, įtraukiamus į žodynus.

Jaunimo kalba - vienareikšmiškai žodinė kalba, rašytine forma ji pasitaiko tik asmeniniuose laiškuose ir el. žinutėse.

Tai labai ekspresyvi, emocionali bei vaizdinga kalba, kur tas pats žodis gali turėti diametraliai skirtingas reikšmes nuo labai teigiamo iki labai neigiamo.

Jaunimo kalbai būdingi vadinamieji „vieno žodžio sakiniai“, kas norminėje vokiečių kalboje visiškai nebūdinga.

Jaunimo kalboje taip pat labai ryškus utiravimas, kalbinis taupumas, tendencija į vulgarumą, joje daug svetimybių, ypač anglicizmų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žargonas, ryškus utiravimas, kalbinis taupumas.

Надежда Обвинцева

Челябинский государственный педагогический университет

пр. Ленина 69, 454080 Челябинск, Россия

e-mail: obna79@yandex.ru

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГЛАГОЛОВ ОТНОШЕНИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СИНОНИМОВ МИКРОПОЛЯ УБЕЖДЕНИЯ

В статье рассматривается проблема синонимии на примере микрополя убеждения в русском и английском языках. Данное языковое явление представлено с точки зрения нейтрализации синонимов. Анализ случаев взаимозаменяемости синонимов строится на основе компонентного анализа их значения и формального описания позиций, в которых происходит нейтрализация. Делается обобщение о случаях нейтрализации синонимов и о их принадлежности к одному синонимическому ряду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *отношения в лексике, семантическое поле, синонимия, нейтрализация, взаимозаменяемость, глаголы отношения, микрополе убеждения.*

Системный принцип организации языка распространяется на всю его структуру и в частности на лексические единицы, которые вступают между собой в синтагматические и парадигматические отношения. Рассмотрение парадигматических отношений между словами тесно связано с основной проблемой лексической семантики – проблемой описания лексических значений. Именно лексическое значение слова и его описание лежит в основе исследования отношения между словами в рамках отдельных относительно замкнутых групп.

Вся лексика представляет собой совокупность частных систем или подсистем, называемых семантическими полями, внутри которых слова, их значения, связаны отношениями взаимного противопоставления. Эти связи между значениями слов различаются по степени общности. Есть корреляции широкого охвата, но наряду с ними существуют корреляции, специфические для какой-то одной понятийной области. Одним из основных и наиболее общих типов корреляции семантического поля является группа синонимических корреляций, включающая в себя отношения полного или частичного совпадения словесных означаемых. Слова, связанные данным типом корреляции, И. М. Кобозева называет синонимами. (Кобозева 2007, с. 98)

Несмотря на существование, сравнительно большого числа исследований, посвященных раскрытию различных сторон синонимии, до сих пор нет единства взглядов в отношении определения синонимов.

Имеющее длительную традицию учение о синонимах является следствием наблюдений над семантическими связями слов, над тем, что «собственное» значение слова как-то обусловлено его соотношением с другими словами. Д. Н. Шмелев замечает, что в трактовке синонимов часто сказывается в большой степени «сила, так сказать, языковой инерции» (Шмелев 1973, с. 114), подсознательная уверенность, в том, что синонимы – это уже данные исследователю реалии языка, которые подлежат только описанию. Между тем положение о том, что в языке не существует абсолютных синонимов, заставляет воспринимать данную категорию как до некоторой степени условное обозначение таких языковых явлений, которые могут быть истолкованы и названы неодинаково, в зависимости от принятых критериев.

Ю. Д. Апресян, анализируя разные подходы к определению синонимов, делает вывод, что синонимы должны быть определены в чисто семантических терминах. При этом он выводит основные критерии синонимии из каждого подхода к данной проблеме, одним из которых является критерий взаимозаменяемости. (Апресян 1995, с. 216-248)

Критерий взаимозаменяемости известен в двух вариантах — сильном и слабом. В связи со вторым, слабым дистрибутивным критерием синонимичности, заслуживают внимания идеи Дж. Лайонза. Дж. Лайонз предлагает различать а) полную — неполную синонимию (тождество — частичное сходство семантических и эмоционально-экспрессивных свойств синонимов); б) глобальную — локальную синонимию (взаимозаменяемость в любых контекстах — взаимозаменяемость в некоторых контекстах). В результате получается следующая классификация синонимов: 1) полные, глобальные; 2) полные, локальные; 3) неполные, глобальные; 4) неполные, локальные. Интересным свойством этой классификации является то, что в ней воплощена идея независимости совпадения / несовпадения слов по значению, с одной стороны, и их способности / неспособности к взаимозамене в одних и тех же контекстах, с другой (Апресян 1995, с. 216-248)

Д. Н. Шмелев дает следующее определение синонимов — «это слова, несовпадающими семантическими признаками которых являются только те признаки, которые могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях. Чем больше таких позиций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, тем чаще осуществляется их взаимозаменяемость» (Шмелев 1973, с.130). Речь идет только о позиционно обусловленной нейтрализации противопоставления между значениями слов. Сложность семантической структуры слова обнаруживается только как следствие его применения в различных контекстах, в результате чего обнаруживаются и разнообразные соотношения данного слова с другими словами по определенным признакам. Если в различных контекстах эти соотношения видоизменяются, это свидетельствует о том, что отдельные семантические признаки слова неодинаково существенны при его различных употреблениях.

Например, различие между глаголами *агитировать* и *уговаривать* во фразах, вроде «Всех *агитировали* прийти на выборы», «Всех *уговаривали* прийти на выборы» — очевидно. Первый глагол имеет целью убеждения политическую и иную пропаганду, второй — заполучить согласие.

Соответственно можно сказать, например, «Плакаты, *агитирующие* всех вести здоровый образ жизни», но не «Плакаты, *уговаривающие* всех вести здоровый образ жизни», «*агитирующая* бригада», но не «*уговаривающая* бригада».

Однако во фразах «Тетка *агитировала* всех прийти на собрание» и «Тетка *уговаривала* всех прийти на собрание» это различие целей стирается. Следовательно, происходит нейтрализация обусловленного указанным различием противопоставления.

Возможность такой позиционной нейтрализации противопоставления слов по определенному признаку при совпадении у них других семантических признаков и делает их взаимозаменяемыми в определенных контекстах. По мнению Д. Н. Шмелева, такие контексты представляются типизированными и возможность семантической нейтрализации однозначно определяется синтагматическими условиями употребления слова. Поэтому можно говорить о синонимичности соответствующих слов. Соответственно: синонимами являются не слова вообще, а слова в определенных значениях, определяемых типизированными контекстами их употребления (Шмелев 1973, с.132).

Таким образом, чтобы определить, что те или иные слова, толкования которых являются близкими по значению, образуют синонимический ряд, необходимо установить, что существуют семантические позиции, в которых противопоставление этих слов по каким-то признакам нейтрализуется.

Такое разграничение представляется необходимым, так как тематическая близость слов и их толкований не всегда свидетельствует об их взаимозаменяемости. И наоборот, слова, которые лексикографы не рассматривают как синонимы, но имеющие близкие значения и принадлежащие к одной семантической теме, при наличии нейтрализации в определенных семантических контекстах могут являться таковыми.

В данной статье путем анализа взаимосвязей между синонимами микрополя убеждения, мы пытаемся определить степень системности данного микрополя в русском и английском языках, учитывая степень нейтрализации каждой пары элементов, входящих в данную систему.

Семантическое поле отношения включает в себя подполе взаимоотношения, межличностных отношений, социальных отношений и подполе владения. Каждое подполе можно разбить на несколько микрополей. Так, микрополе убеждения является составной частью подполя социальных отношений. В русском языке в данном поле можно выделить четыре синонимических ряда со следующими семантическими доминантами: «убеждать – уверять», «доказывать», «вразумлять», «разубеждать».

Синонимический ряд представляет очень распространенный в лексике вид парадигматических группировок, основанный на уникальном для каждого ряда, но поддающемся обобщению и типизации наборе интегральных и дифференциальных семантических признаков. Выявление составляющих значения членов ряда семантических компонентов (сем) имеет первостепенное значение для исследования структуры синонимического ряда, а также взаимоотношения рядов в лексической системе.

Нами рассмотрен синонимический ряд русского языка с общим значением «убеждать – уверять» в 38 случаях употребления в художественной литературе и словарях и около 50 теоретически возможных проявлениях в речи; и синонимический ряд английского языка с общим значением «persuade – convince» в 43 случаях и около 50 проявлениях соответственно.

Рассмотрим синонимический ряд с общим значением «убеждать – уверять», некоторые лексемы, включенные нами в данный ряд, не входят в словарный ряд, выпадают из него, не считаясь синонимами. В то же время глаголы, не относящиеся к микрополю убеждения, нами не принимались во внимание. Таким образом, синонимический ряд представлен следующим образом: *агитировать – уговаривать – упрашивать – умолять – уламывать – склонять – обрабатывать – подговаривать – подстрекать*.

Одним из достаточно объективных способов компонентного анализа синонимического ряда является опора на словарные дефиниции. Нужно отметить, что являющаяся целью словарного толкования его эквивалентность с толкуемым значением органически связана с синонимией как универсальным свойством языка. Толкование, обобщающее, а иногда и уточняющее данные толковых словарей, строится как описание дифференциальных семантических признаков на фоне общего значения синонимического ряда.

В данном синонимическом ряду можно выявить такие дополнительные компоненты значения, как цель и способ действия. Но, принимая во внимание тот факт, что данное микрополе относится к подполю социальных отношений, в определениях необходимо учитывать социальный статус объекта или тот статус, которым он наделяется субъектом в данной ситуации, при этом также необходимо учитывать волю объекта. Таким образом, появляются еще два дополнительных компонента значения, учитывая которые, мы получаем следующие определения:

Агитировать – убеждать, занимаясь устной и печатной деятельностью, с целью привлечения объекта (которого субъект рассматривает как равного в данной ситуации) на свою сторону.

Уговаривать – убеждать ласково, терпеливо с целью заполучить согласие объекта независимо от его статуса.

Упрашивать – убеждать просьбами, с целью побудить к действию объект, считающийся равным или обладающим более высоким статусом в данной ситуации.

Умолять – убеждать мольбами, просьбами, с целью побудить к действию объект более высокого статуса, подчеркивая значимость данного действия для субъекта.

Уламывать – убеждать с трудом с целью побудить к действию объект независимо от социального статуса, заранее подразумевая, что объект будет не согласен и постарается противостоять влиянию.

Склонять – убеждать мягко, но настойчиво в необходимости какого-нибудь поступка, решения, выгодного для субъекта.

Обрабатывать – убеждать, воздействуя на объект (который чаще всего считается ниже субъекта в каком-то отношении), с целью повлиять в нужном направлении, имеет негативную окраску.

Подговаривать – убеждать, склонять тайно к какому-нибудь поступку объект, который в данной ситуации воспринимается субъектом, как равный.

Подстрекать – убеждать, склоняя к чему-нибудь плохому, неблагоприятному путем угроз, уговора, подкупа и другими способами (чаще всего объекта, который расценивается как обладатель более низкого или равного статуса).

Учитывая эти дополнительные компоненты значения, можно предположить, что при определенных условиях данные слова могут взаимозаменять друг друга в тексте (нейтрализоваться). Главным и наиболее интересным содержанием лингвистической теории нейтрализации является формальное описание позиций (условий), в которых она происходит.

*Заговорщики против Цезаря толкуют о том, что им следует **склонить** на свою сторону и Брута. Н. Добролюбов.*

*Заговорщики против Цезаря толкуют о том, что им следует **агитировать** и Брута.*

В данном контексте мы видим, что глагол *склонить* используется со словосочетанием *на свою сторону*, которое является дополнительным компонентом значения глагола *агитировать*, и таким образом, данный глагол может нейтрализоваться в этом предложении без потери смысловых характеристик.

*Ермолов успел **склонить** шаха к уступкам. Д. Давыдов.*

Глагол *склонить* в этом случае может нейтрализоваться глаголом *уговаривать*, так как здесь речь идет больше о получении согласия объекта и о побуждении к действию. *К уступкам* дополняет глагол *уговаривать* смыслом ‘выгодный для субъекта’. *Ермолов успел уговорить шаха к уступкам*. Мы наблюдаем нейтрализацию даже без потери дополнительных смыслов. Но при замене глаголом *агитировать*, мы теряем дополнительный компонент «необходимость поступка, выгодного для субъекта» и приобретаем лишнюю стилистическую окраску.

Обратившись к нашему синонимическому ряду, мы можем наблюдать, что если контекст обладает дополнительными характеристиками действия, не присущими по определению глаголу – заменителю, но подчеркивающий значение нейтрализованного глагола, то, как правило, все синонимы данного ряда могут взаимозаменять друг друга в тексте (нейтрализоваться). При этом необходимо, конечно, учитывать сочетаемость слов, их синтагматические связи.

*Все знали, что именно его группа пыталась **подговорить** рабочих к забастовке.* Данный глагол может нейтрализоваться в зависимости от ситуации следующими синонимами: *агитировать*, *склонять* (при добавлении в контекст дополнительного значения тайно), *подстрекать* (дополнительный компонент ‘к чему-то плохому’ просматривается в лексеме забастовка).

Глагол *обрабатывать* может выступать нейтраливантом по отношению к данному глаголу только при некоторых структурных изменениях, так как чаще используется с придаточными цели или времени, или без подчиненных членов. *Бригадира долго **обрабатывали**, чтобы заполучить его согласие на это строительство. Всю команду хорошо **обработали** перед тем, как они пошли на голосование. Дело проиграно, их уже **обработали**.*

Опираясь на те же принципы, мы рассматриваем все синонимические ряды этого микрополя, как в русском, так и в английском языке, чтобы на основе сопоставления данных рядов сделать выводы, подчеркнув их особенности в каждом языке.

В английском языке синонимические ряды этого микрополя представлены семантическими доминантами «persuade – convince», «prove», «reason» и «dissuade». При этом отчетливо выделяется в отдельный синонимический ряд группа лексем, тесно связанная с доминантой «persuade – convince», со значением обольщать «lure», в то время как в русском языке, такие лексемы, как *лстить*, *соблазнять*, *обхаживать* нами не рассматриваются в гипонимических отношениях с данной синонимической доминантой и относятся в словаре Л. Г. Бабенко к микрополю глаголов собственно влияния, с базовым глаголом *влиять*. Таким образом, базовый глагол *persuade* в английском языке является гиперонимом для двух синонимических рядов.

Рассмотрим явление нейтрализации в синонимическом ряду, близком по значению синонимическому ряду в русском языке с доминантой «убеждать»: *induce – urge – coax – incline – entreat – beg – beseech – instigate – incite (to) – agitate – admonish – to brainwash – exhort*.

Так как значение данного ряда в обоих языках очень близки, то это позволяет из анализа словарных определений выявить те же компоненты значения, что и в русском языке. При этом также важна роль статуса, который придает субъект объекту.

Induce – to persuade somebody to do something especially something that you think is wrong or stupid / убеждать сделать что-либо, особенно если вы думаете, что это плохо или неправильно

Coax – to gently persuade someone to do something / уговаривать, убеждать мягко

Urge – to persuade someone very strongly about what action or attitude they should take / the doer considers himself to be at higher social stage than his / уговаривать, призывать, настаивать, убеждать кого-либо очень настойчиво что нужно делать, субъект ставит себя в данной ситуации выше объекта по социальной лестнице.

Incline – to persuade someone to behave in a particular way or have a particular opinion, the doer of the action considers his to be at the same social position in the situation / склонять, убеждать кого-то вести себя определенным образом, субъект ставит себя наравне с объектом.

Entreat – to persuade somebody to do something in a way that shows you are worried and serious, formal, the doer of the action admits the interlocutor to be at the higher position in the situation / убеждать кого-либо сделать что-либо, показывая, что вы обеспокоены и серьезны в намерениях, формальное, субъект наделяет объект более высоким социальным статусом.

Incite – to persuade to act in a violent or unlawful manner, doer is the leader of the situation / убеждать, подстрекать к действиям незаконным, неправильным, субъект ставит себя выше объекта.

Instigate – to persuade somebody in a violent or unlawful manner to do something / подстрекать, провоцировать, убеждать кого-либо действовать незаконно, неправильно.

Brainwash – to persuade systemically and so completely as to effect a radical transformation of attitudes and beliefs / обрабатывать, убеждать систематически и таким образом, что в результате происходит изменения мнений и убеждений.

Admonish – earnestly persuade warning of the matter, the doer of the action consider himself to be the leader of the situation / настоятельно убеждать, предостерегая, субъект ставит себя в данной ситуации выше объекта.

Exhort – strongly persuade encouraging someone to do something, the doer of the action consider himself to be the leader of the situation / решительно убеждать, уговаривая кого-либо сделать что-либо.

Необходимо заметить, что в английском языке в большинстве случаев в данном микрополе наибольший акцент в определениях делается на результат действия, а не на

способ. При этом способ имеет часто более конкретный характер, чем в русском: *earnestly persuade warning of the matter; to persuade in a way that shows you are worried and serious; to persuade to act in a violent or unlawful manner*. Следовательно, контекст, в котором можно встретить случаи взаимозаменяемости, должен, либо содержать дополнительное указание не только на цель, но и на способ, либо делать данный компонент незначительным.

He tried to urge/ to incline / to coax her to come with him.

В таком контексте стираются цели действия, но очень важным моментом для того, чтобы в процессе взаимозамены не произошла потеря смыслов, необходимы указания на характер и способ действия.

Взаимозаменяемость синонимов без потери дополнительных смыслов можно наблюдать в таких случаях: *He tried to incline her strongly to come with him. He tried to coax her strongly to come with him. I can't think what induced her to marry him. I can't think what inclined her to marry him.*

В данном случае при взаимозаменяемости происходит нейтрализация компонента значения 'способа и характера действия', так как это неважно говорящему.

More people are agitating for improvements in prison conditions. Глагол *agitate* в данном предложении отражает свою цель в контексте имплицитно, таким образом, в процессе нейтрализации будет играть роль структурный компонент и способ действия. *More people induce / incline for improvements in prison conditions.*

Микрополю убеждения в английском языке присуще явление нейтрализации. Как и в русском языке, почти все члены данного синонимического ряда могут нейтрализоваться в определенном контексте, где имплицитно или эксплицитно присутствует дополнительное указание на один из более важных компонентов в конкретном случае. Как и в русском языке, не все слова представленного синонимического ряда являются словарными синонимами, но проанализированные нами случаи нейтрализации позволяют их отнести к синонимам, руководствуясь двумя основными критериями синонимии, выдвинутыми Д. Н. Шмелевым.

С таких же позиций можно рассмотреть все слова представленных нами синонимических рядов в русском и английском языках и, выделив пары взаимозаменяемых слов в определенных условиях, сделать вывод: слова, принадлежащие к одной семантической группе, близкие по значению, но не рассматривающиеся в словарях как синонимы, могут ими являться (по одному из критериев синонимии), если способны взаимозаменять друг друга, то есть нейтрализоваться. При этом контекст должен обладать дополнительными характеристиками, которые вычлняются при помощи компонентного анализа конкретно взятой группы слов. Чем больше компонентов значения выражено в контексте, тем большее количество слов данного ряда будут вступать в отношения нейтрализации.

Проанализировав взаимосвязи между словами микрополя убеждения в русском и английском языках, учитывая возможные случаи нейтрализации синонимических пар, входящих в данную систему, можно сделать вывод, что данные синонимические ряды очень схожи в обоих языках, как по своей структуре, так и по отношениям внутри нее. Это можно объяснить близостью значения семы данного микрополя в обоих языках, в то время, как роль отдельно взятого компонента значения в каждом языке можно объяснить с точки зрения действия разных вневлигвистических факторов.

Литература

АПРЕСЯН, Ю. Д., 1995. Лексическая семантика. *Избранные труды*. Москва: Языки русской культуры. Т. I.

ГРЕЙМАС, А.-Ж., 2004. Структурная семантика. *Поиск метода*. (Перевод с французского Л. Зиминой). Москва: Академический Проект.

КОБОЗЕВА, И. М., 2007. *Лингвистическая семантика*. Москва: Комкнига.

Русская глагольная лексика: денотативное пространство, 1999. *Монография*. Под общ. ред. БАБЕНКО, Л. Г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.

ТРУБЕЦКОЙ, Н. С., 2000. *Основы фонологии*. (перевод с немецкого языка. А. А. Холодовича). Под ред. С. Д. Кацнельсона. (Серия «Классический учебник»). Москва: Аспект Пресс.

ШМЕЛЕВ, Д. Н., 1973. Проблемы семантического анализа лексики. Москва: Наука.

Nadezda Obvintseva

Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia

**PARADIGMATIC RELATIONS OF VERBS OF ATTITUDE IN RUSSIAN AND ENGLISH
LANGUAGES BY THE EXAMPLE OF NEUTRALIZATION OF SYNONYMS IN THE VERBAL GROUP
FOR PERSUADING AND CONVINCING**

Summary

The article deals with the problem of synonymy by the example of the neutralization of synonyms in the verbal group for persuading and convincing in the Russian and English languages. Analysis of mutual substitution of synonyms is built up on the basis of the component analysis of their meanings and description of positions in which the neutralization occurs.

KEY WORDS: relations in language, semantic field, synonymy, mutual substitution, neutralization, verbal group for persuading and convincing

Наталья Патеичук

Минский государственный лингвистический университет

ул. Захарова 21, Минск, Беларусь

e-mail: patejtschuk@mail.ru

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ: ЕГО СТРУКТУРНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ КОНКРЕТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

В данной работе рассматриваются структурные и содержательные свойства семантического инварианта (преимущественно одной или, реже, нескольких сем, являющихся общими для всех значений многозначного слова). Наиболее часто в качестве связующих выступают семы «форма», «функциональность», «партиципальность», «структура», «локативность» и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многозначное слово, семантический компонент / сема, семантический инвариант.

Свойственная большинству слов естественного языка полисемия, или многозначность, давно является объектом исследовательского интереса учёных. Однако, несмотря на интенсивность проводимых исследований, до сих пор лингвисты задаются вопросом о том, что означает фраза «слово имеет несколько значений» (Kilgariff 1992, p. 125). Определение многозначности слова как соотносённости с одним планом выражения нескольких планов содержания оказывается недостаточным для понимания сущности такой языковой универсалии (Ульман 1970, с. 267), такого конститутивного свойства языка (Никитин 1997, с. 203) как многозначность слова. Вследствие этого, характеризуя семантическую структуру многозначного слова, лингвисты указывают на наличие у составляющих её значений наряду с одинаковой формой выражения **определённой общности содержания** (Виноградов 1947, с. 34; Смирницкий 1956, с. 42; Звегинцев 1957, с. 157-158; Амосова 1957, с. 160; Будагов 1977, с. 20; Nida 1979, p. 150; Palmer 1982, p. 46-48; Новиков 1982, с. 189; Никитин 1988, с. 66-67; Кузнецова 1989, с. 54 и многие другие). Эта общность обеспечивает связь значений, что и отличает многозначное слово от омонимов. Именно проблема семантической общности или семантической связанности значений, благодаря которой сохраняется тождество слова, была и остается основополагающей для понимания сущности полисемии и до сих пор находится в фокусе внимания исследователей для решения разных задач: для определения соотношения и ранжирования значений в семантической структуре слова (И. В. Арнольд, Л. С. Шестопалова, Д. Н. Шмелев, Л. А. Новиков и др.), для определения структурных и содержательных типов связей значений (Л. М. Васильев, Л. В. Кварчелия, Я. Н. Чаварга и др.), для установления наличия или отсутствия семантического инварианта в многозначных словах разной семантики (И. В. Сентенберг, Л. М. Лещева и др.) и т.д.

Как известно, выявление семантической общности значений слова предполагает поиск оснований, послуживших для вторичной номинации лексических единиц, т.е. поиск тех семантических компонентов, благодаря которым одно значение связано отношением выводимости с каким-либо другим (Курилович 2000, с. 244; Ullmann 1973, p. 16-17 и др.). В том случае, когда выявляются семантические компоненты, общие для всех значений многозначного слова, говорят о существовании в них **семантического инварианта** (Ю.Д. Апресян, Л. М. Лещева и др.). Так, например, в лексеме *Löffel* ‘ложка’ (**1. a**) ‘[metallenes] [Ess]gerät, an dessen unterem Stielende eine schalenartige Vertiefung sitzt u. das zur Aufnahme von Suppe, Flüssigkeiten, zur Zubereitung von Speisen o.Ä. verwendet wird’; **b**) (Med.) ‘Kürette [→ *löffelartiges* Instrument zur Ausschabung der Gebärmutter]’; **2.** (Jägerspr.) ‘Ohr von Hase u.

Канинchen')¹, в данной работе устанавливается семантический инвариант, представленный семантическим компонентом «форма». Для выявления семантической связанности или семантической общности значений этого слова, выраженной семантическим компонентом «форма», использовалась замена слова *Kürette*, выражающего одно из вторичных значений (1 b) на его лексикографическую дефиницию '*löffelartiges Instrument zur Ausschabung der Gebärmutter*' и привлечение данных концепта-максимума (в терминологии А. Вежицкой)² при рассмотрении другого вторичного значения (2). В лексикографической дефиниции этого значения не указывается на особенности формы уха зайца или кролика, но мы знаем, что она отличается от формы человеческого уха или уха другого животного (кабана, медведя и др.) и является схожей с формой ложки. Таким образом, выяснение вопроса о наличии или отсутствии семантического инварианта предполагает использование разных методических приёмов: метода компонентного анализа, метода лексических (объяснительных) трансформаций, или метода семантического развертывания отдельных частей дефиниций, разработанного И. В. Арнольд (Арнольд 1966, 1969), и элементов интроспективно-логического метода.

Как показал проведенный анализ семантических структур конкретных многозначных имён существительных, наличие семантического инварианта присуще не всем, а лишь небольшому количеству соответствующих лексических единиц (~11%). В связи с этим настоящее исследование направлено на изучение количественных (структурных) и качественных (содержательных) характеристик выявляемого в исследуемых многозначных именах существительных семантического инварианта.

Материалом для анализа послужили частотные³ многозначные имена существительные современного немецкого языка, в своих исходных значениях представляющие лексико-семантические группы (ЛСГ) «наименования частей тела» (*Wange* 'щека' и др.), «наименования животных» (*Schaf* 'овца'), «наименования артефактов» (*Brett* 'доска', *Dach* 'крыша', *Vorhang* 'занавес' и т.д.) — т.е. класс жёстких десигнаторов. Важной характеристикой данных многозначных лексических единиц является то, что связь значений многозначного слова осуществляется на основе одинаковых сем.

Таким образом, под семантическим инвариантом, или общим значением, в данной работе понимается один или несколько семантических компонентов, которые являются общими для всех значений многозначного слова.

Как показало исследование, **в структурном (количественном) отношении** семантический инвариант может включать как один, так и несколько общих для всех значений многозначного слова семантических компонентов. В зависимости от того, составляют семантический инвариант, например, один, два или более семантических компонентов, можно говорить об однокомпонентном, двух-, трёхкомпонентном и т.д. семантическом инварианте.

В семантических структурах анализируемых многозначных имён существительных были выявлены следующие структурные типы семантического инварианта: однокомпонентный, двух- и трёхкомпонентный. Доминирующим среди установленных структурных типов семантического инварианта оказывается однокомпонентный (65%).

¹ Поскольку как значения, так и оттенки значений соответствующей и других лексических единиц имеют разную денотативную отнесенность и, как отмечается многими лингвистами, принятое в лексикографии разделение семантики слова на значения и их оттенки во многом *условно*, что связано с «диффузностью, нерасчлененностью, неопределенностью и зыбкостью их границ» (ХАРИТОНЧИК 1992, с.64), в данной работе рассматриваются не только значения, но и оттенки значений многозначного слова.

² Под концептом-максимум лексической единицы, мы, вслед за А. Вежицкой, понимаем некую общую сумму знаний об определенном объекте действительности, разделяемую всеми носителями языка, но не всегда полностью отраженную в семантике этой лексической единицы (WIERZBIЦКА, 1985, p. 215).

³ В качестве источника отбора материала был использован словарь *Grundwortschatz Deutsch* под общей редакцией Х.Ойлера /Н.Оehler 1994/, объём которого составляет 2000 основных слов и 3000 идиоматических оборотов с их эквивалентами на пяти других языках.

Одновременно с разными структурными типами семантического инварианта выявляется тенденция к наличию определённого структурного типа для слов разных ЛСГ. Так, для лексем ЛСГ «наименования животных» характерен только однокомпонентный (*Schaf* ‘овца’), для слов «наименования частей тела» характерен только двухкомпонентный семантический инвариант (*Glied* ‘член (тела)’, *Wange* ‘щека’ и др.). Для слов ЛСГ «наименования артефактов» свойственны три структурных типа семантического инварианта, но при этом доминирующим оказывается однокомпонентный семантический инвариант (*Nadel* ‘игла’, *Gewehr* ‘винтовка’, *Waffe* ‘ружьё’, *Kugel* ‘шар’, *Löffel* ‘ложка’ и др.), затем по степени представленности следует двухкомпонентный (*Messer* ‘нож’, *Deckel* ‘крышка’ и др.), значительно реже объединяет значения слов данной семантики трёхкомпонентный семантический инвариант (*Dach* ‘крыша’)⁴ (см. таблицу).

Представленность структурных типов семантического инварианта в словах анализируемых ЛСГ

	наименования животных, %		наименования частей тела, %		наименования артефактов, %	
	+		+		+	
однокомпонентный семантический инвариант	+	100%			+	70,8%
двухкомпонентный семантический инвариант			+	100%	+	25%
трехкомпонентный семантический инвариант					+	4,2%

Учитывая полученные данные о доминирующем структурном типе семантического инварианта, выявляемого в анализируемых словах, а также тот факт, что максимальное число значений, объединяемых в семантической структуре на основе одного семантического компонента, составляет 14 (*Nadel* ‘игла’), можно прийти к выводу о том, что взаимосвязь значений оказывается достаточной даже на основе одного семантического компонента.

Из полученных результатов можно сделать вывод и о том, что для процесса вторичной номинации наиболее важным оказывается не количество семантических компонентов, а их качественные свойства (семантический / содержательный тип).

Семантические компоненты, выступающие в роли семантического инварианта, с точки зрения их содержательных характеристик, как показывает проведенный анализ, коррелируют с типами семантических компонентов, при помощи которых описывается семантика разных классов слов (см. Вежицкая 1985, Пустейовский 1995, Рахилина 1999, Олейник 2001, Ключникова 2001, Ивашкевич 2003 и др.). Однако семантические компоненты, оказывающиеся связующими для всех значений многозначной лексемы, представлены не всеми типами выделяемых семантических компонентов, а только некоторыми из них, а именно, семантическими компонентами «форма», «функциональность», «локативность», «структура» (подразумевается особенность организации, строения объекта), «партитивность», «оценка»⁵.

⁴ Семантическая информация об анализируемых именах существительных получена из Большого 10-томного словаря немецкого языка DUDEN. Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache (2000).

⁵ Семантический компонент «оценка» неоднозначен в своей семантике (см. Арутюнова 1973), о чём свидетельствуют возможности его использования, во-первых, для описания семантики предметных имен (Рахилина 1999, Олейник 2001 и др.), где он выражает особенности оценочного отношения человека к той или иной материальной сущности окружающего мира, указывает на потребительские качества предметов и сугубо утилитарную направленность; во-вторых, для объяснения вторичного использования названий животных, когда в целях вторичной номинации происходит сравнение человека с соответствующим животным, оценка его интеллектуальных способностей, поведения, внешности и т.д. (Арутюнова 1973, Ульман 1973, Землякова 2005, Рубанова 2007 и др.). Рассматриваемый в данной работе семантический компонент «оценка» в качестве семантического инварианта касается слов, в своих исходных значениях представляющий ЛСГ «наименования животных».

Как показывают наблюдения, одни семантические компоненты («оценка», «форма») могут выступать только в качестве однокомпонентного семантического инварианта, другие («партиитивность», «локативность») — только в определенной комбинации, т.е. могут формировать двухкомпонентный или трёхкомпонентный семантический инвариант, третьи («функциональность», «структура») — могут встречаться в разных структурных типах семантического инварианта. Другими словами, одни типы семантических компонентов оказываются достаточными для того, чтобы самостоятельно связывать все значения слова воедино, другие — наоборот, из-за своей недостаточности выступают в качестве семантического инварианта в комбинации с другими семантическими компонентами.

Так, семантический компонент «оценка» оказывается достаточным для объединения значений в семантической структуре слова *Schaf* 'овца' (1. mittelgroßes *Säugetier* mit dickem, wolligem Fell u. beim männlichen Tier oft großen, gewundenen Hörnern, das als Wolle, Fleisch, auch Milch lieferndes Nutztier gehalten wird; 2. a) (ugs.) *gutmütig-einfältiger* Mensch; b) Kosewort, bes. für Kinder) и тем самым формирует однокомпонентный семантический инвариант. Данный семантический компонент входит в одном (первом) значении в круг ассоциаций (устойчивых или языковых, по выражению Д.Н. Шмелева), вызываемых у человека при характеристике поведения животного и человека, в других значениях — в состав дефиниции, и оказывается представленным словами «*gutmütig-einfältig*».

Семантический компонент «форма» объединяет все значения слов *Kugel* 'шар', *Löffel* 'ложка' (см. пример выше) и др. Относительно семантического компонента «форма» следует отметить, что он по параметру достаточности превосходит все другие семы: во-первых, однокомпонентный семантический инвариант, представленный данной семой, является преобладающим в проанализированных словах, и, во-вторых, данная сема может объединять до 14 значений многозначного слова (*Nadel* 'игла').

Семантический компонент «партиитивность» оказывается самостоятельно недостаточным для взаимосвязи всех значений многозначного слова и лишь в сочетании с семантическими компонентами «локативность» (*Wange* 'щека') и «структура» (*Glied* 'член (тела)') формирует двухкомпонентный семантический инвариант, либо в комбинации с семами «локативность» и «функциональность» формирует трёхкомпонентный семантический инвариант (*Dach* 'крыша'). Так, в слове *Wange* 'щека' (1. Backe (1) [→ *Teil des Gesichts links bzw. rechts* von Nase u. Mund]; 2. (Fachspr.) a) paariges, eine *seitliche* Begrenzung von etw. bildendes *Teil*; *Seitenteil*, -wand; b) (Archit.) auf einem ²Kämpfer (1 a) ruhender *seitlicher Teil* eines Gewölbes; c) *seitliche Fläche* des Blattes einer Axt o.Ä.) все значения объединены на основании общих семантических компонентов, относящихся к структуре обозначаемых денотатов, т.е. все значения обозначают некоторую боковую часть того или иного денотата. Объединяющие все значения этого слова семантические компоненты «партиитивность» и «локативность» выражены в указанных лексикографических дефинициях словами «*Teil, Fläche*» и «*seitlicher, links bzw. rechts*». В лексеме *Dach* 'крыша' для всех значений (1. *oberer Abschluss* eines Hauses, eines Gebäudes, der entweder durch eine horizontale Fläche gebildet wird od. durch eine mit Ziegeln od. anderem Material gedeckte [→[zum Schutz] mit etw. Bedeckendem versehen] [Holz]konstruktion, bei der die Flächen in bestimmtem Winkel zueinander stehen; 2. a) *oberer Abschluss* eines Fahrzeugs o.Ä.; b) *oberer Abschluss* eines Zelts o.Ä.; 3. vor Sonne, Regen o.Ä. *schützende* Konstruktion *über* etw.; 4. kurz für Schiebedach [zurückschiebbarer *Teil* im *Verdeck* eines Personenkraftwagens]; 5. (Bergbau) unmittelbar *über* einem Flöz liegende Gesteinsschicht [→ *Schicht* von Gestein (1)]) общими, интегративными семантическими компонентами являются компоненты «партиитивность» (выражен словами *Abschluss* [→*abschließender Teil*], *Teil, Schicht*), «локативность» (*oberer, über*), «функциональность» (выражен в случае эксплицитности словами *schützend* и *gedeckt* [→[zum Schutz] mit etw. Bedeckendem versehen], для других значений информация о

защитной функции объектов вытягивается из концепта-максимум), что позволяет говорить об объединяющем все значения соответствующего слова трёхкомпонентном семантическом инварианте. То, что семантический компонент «*партитивность*» самостоятельно не формирует семантический инвариант, можно объяснить специфичностью данного семантического компонента: данная сема определяет отношение между конкретными объектами действительности как «часть» и «целое», что в свою очередь предполагает обязательное указание на определенное отношение «части» к «целому», а именно, его местоположение в целом или выполняемую им функцию в составе целого. Полученные данные коррелируют с результатами проведенного исследования Ю. Н. Русиной, свидетельствующими о том, что для названий частей различных конкретных объектов действительности преимущественно свойственно взаимодействие семы «*партитивность*» с семантическим компонентом (признаком) «*локативность*», «*функциональность*», «*размер*», «*форма*» и т.д.⁶ (Русина 2007, с. 86-87).

Семантический компонент «*локативность*» формирует семантический инвариант не самостоятельно, а также только в комбинации с другими семами (см. примеры выше).

Семантический компонент «*структура*» может выступать в качестве семантического инварианта как самостоятельно (*Heft* 'тетрадь'), так и в комбинации с семантическим компонентом «*партитивность*» (*Glied* 'член (тела)').

Семантический компонент «*функциональность*» оказывается достаточным для объединения всех значений таких лексем, как *Vorhang* 'занавес', *Waffe* 'ружьё', *Gewehr* 'винтовка' и др. Следует отметить, что сема «*функциональность*» по способности самостоятельно объединять все значения многозначного слова «конкурирует» с семой «*форма*». Данная сема выступает в комбинации с другими семантическими компонентами и тем самым формирует двух- и трёхкомпонентный семантический инвариант. Так, вместе с семой «*локативность*» семантический компонент «*функциональность*» пронизывает все значения слова *Deckel* 'крышка': **1.** *aufklappbarer od. abnehmbarer Verschluss* eines Gefäßes, Behälters, einer Kiste, eines Koffers, Möbelstücks u.Ä.; **2.** *vorderer od. hinterer Teil* des steifen *Umschlags*, in den ein Buch eingebunden ist; **3.** (salopp) *Kopfbedeckung* [etw., womit man *zum Schutz* od. zum Schmuck den Kopf, die Haare bedeckt]. В данном случае общей является информация о защитной функции объектов и их местоположении (сверху, а передняя часть твердой обложки книги — это не что иное, как также верхняя часть книги).

Из рассмотренных выше примеров явствует, что тот или иной содержательный тип семантических компонентов указывает на разные его возможности (самостоятельно или в комбинации с другими семами) участвовать в организации значений в семантической структуре слова.

Возможность таких семантических компонентов как «*форма*», «*оценка*», «*структура*», «*функция*» выступать в качестве семантического инварианта, т.е. являться связующими для всех значений слова, указывает на то, что выражаемой ими информации, характеристики по одному определённом свойству, оказывается достаточно для установления сходства между сравниваемыми объектами и, соответственно, для процесса вторичной номинации в целом. Способность семантических компонентов, наличествующих в исходных значениях многозначных слов, выступать совместно с другими семантическими компонентами в качестве семантического инварианта, думается, можно объяснить комплексным и полимодальным характером познавательного освоения человеком действительности.

В связи с тем, что содержательные типы семантических компонентов, являющиеся общими для всех значений многозначного слова, представлены небольшим количеством, возникает вопрос, почему именно семантические компоненты «*форма*», «*функциональность*», «*локативность*», «*структура*», «*партитивность*» самостоятельно

⁶ Семантические компоненты перечислены по степени убывания их представленности в семантике названий частей различных конкретных объектов.

или в определенной комбинации выступают в качестве семантического инварианта, объединяющего все значения анализируемых лексических единиц.

Определение статуса семантических компонентов, формирующих семантический инвариант, в семантике исходного значения приводит к выводу о том, что данные семантические компоненты являются прототипическими (Э. Рош, Д. Гирертс и др.), т. е. значимыми и необходимыми для понимания сущности объектов. Так, например, семантический компонент «форма» и семантический компонент «функциональность» являются необходимыми для понимания сущности денотатов, обозначаемых исходными значениями слов *Kugel* 'шар', *Bogen* 'дуга' и др., и лексем *Waffe* 'ружьё', *Gewehr* 'винтовка' и т.д. Соответственно, семантический компонент «*партитивность*» — для слов *Wange* 'щека', *Glied* 'член (тела)') и др. В терминологии других авторов прототипические семантические компоненты являются устойчивыми (Sloman, Love, Ahn 1998, p. 190-193, Боярская 1999, с. 47). Наиболее значимые, или прототипические, семантические компоненты (признаки) занимают верхнюю позицию в шкале устойчивости признаков отдельных слов (Sloman, Love, Ahn 1998). Как пишет Л. Е. Боярская, это такие признаки, изменение или удаление которых приводит к полному распаду смысловой структуры лексического значения. Например, семантический компонент «(круглая) форма» может быть как устойчивым, так и не устойчивым. Круглая форма не является устойчивым, неизменным признаком апельсинов: наше представление об апельсине существенно не изменится, если представить, что один из апельсинов несколько иной формы. Однако круглая форма является неизменным, устойчивым признаком колеса, т.к. если колесо не круглое, то это утверждение абсолютно несовместимо с нашим представлением о колесе (Боярская 1999, с. 47). Именно такие свойства денотатов, по мнению автора, чаще становятся основанием для вторичной номинации, и это объясняет их способность выступать в качестве семантического инварианта в структуре определенного количества слов. Следовательно, можно предположить, что в качестве семантического инварианта чаще будет выступать не любой, а наиболее типичный для обозначаемых объектов семантический компонент (т.е. репрезентирующий в семантике их основное свойство, атрибут).

Относительно семантического компонента «оценка», который объединяет значения многозначного слова *Schaf* 'овца', в своём исходном значении принадлежащего к ЛСГ «наименования животных», следует отметить, что этот семантический компонент представляет собой информацию выводимого характера. Но использование данного типа информации для вторичной номинации в значительно большем количестве случаев (Боярская 1999, Землякова 2005, Рубанова 2007 и др.) и способность данной семы выступать в качестве связующей для значений соответствующего слова связано с антропоцентрическим характером мышления человека.

Проведенное исследование подводит к выводу, что в конкретных многозначных именах существительных, в которых присутствует семантический инвариант, взаимосвязь значений может осуществляться преимущественно на основе одного, реже на основе нескольких семантических компонентов. Связующими для значений немецких конкретных субстантивных имён чаще всего выступают семы «форма», «структура», «локативность», «функциональность», «партитивность», «оценка». Определяющим фактором для установления способности того или иного содержательного типа семантического компонента объединять все значения лексической единицы оказывается его информативность и статус в семантике исходного значения слова.

Литература

- АМОСОВА, Н., 1957. К вопросу о лексическом значении слова. Вестник ЛГУ, № 2. Серия истории, языка и литературы. Вып.1, с. 152-168.
- АРУТЮНОВА, Н., 1973. Предложение и смысл. Логико-семантические проблемы. Москва: Наука.

-
- БОЯРСКАЯ, Е., 1999. Когнитивные основы формирования новых значений полисемантических существительных современного английского языка. *Дис. ... канд. филол. наук*: 10.02.04. Москва.
- БУДАГОВ, Р., 1977. *Что такое развитие и совершенствование языка?* Москва: Наука.
- ВИНОГРАДОВ, В., 1947. *Русский язык: (грамматическое учение о слове)*. Москва-Ленинград: Учпедгиз.
- ЗВЕГИНЦЕВ, В., 1957. *Семасиология*. Москва: Изд-во Московского университета.
- КУЗНЕЦОВА, Э., 1989. *Лексикология русского языка*. Москва: Высшая школа.
- КУРИЛОВИЧ, Е., 2000. *Очерки по лингвистике*. Биробиджан: ИП «Тривиум».
- НИКИТИН, М., 1996. Курс лингвистической семантики. Учебное пособие к курсам языкознания, лексикологии и теории грамматики. С-Петербург: Научный центр проблем диалога.
- НИКИТИН, М., 1988. *Основы лингвистической теории значения*. Москва: Высшая школа.
- НОВИКОВ, Л., 1982. *Семантика русского языка*. Москва: Высшая школа.
- РУСИНА, Ю., 2007. Семантика меронимов современного английского языка. *Дис. ... канд. филолог. наук*: 10.02.04. Минск.
- СМИРНЦКИЙ, А., 1956. *Лексикология английского языка*. Москва: Изд-во литературы на иностранном языке.
- УЛЬМАН, С., 1970. Семантические универсалии. *Новое в лингвистике*. Вып. V. Москва: Прогресс.
- KILGARIFF, A., 1992. *Polysemy*. Brighton: University of Sussex.
- NIDA, E., 1979. *Componential Analyses of Meaning*. The Hague-Paris-N-Y: Mouton Publishers.
- PALMER, F., 1982. *Semantics. A New Outline*. Moscow: Vyssaja Skola.
- SLOMAN, S., 1998. Feature centrality and conceptual coherence. S. Sloman, B. Love, W.-K. Ahn *Cognitive science*. Vol. 22 (2).
- ULLMANN, S., 1973. *Meaning and Style*. Collected Papers. Oxford: Basil Blackwell.

Natallia Patsiaichuk

Minsk State Linguistic University, Belarus

SEMANTIC INVARIANT: ITS STRUCTURAL AND SEMANTIC PROPERTIES (BASED ON THE ANALYSIS OF GERMAN CONCRETE POLYSEMANTIC NOUNS)

Summary

This paper discusses structural and semantic properties of semantic invariant (mainly one and rarely several semes which are common to all the meanings of the polysemantic word). The semantic invariant of German highly polysemantic nouns is mainly constituted by the following semes: «form», «structure», «partitive», «locative» etc.

KEY WORDS: polysemantic word, semantic component / seme, semantic invariant.

Ярина Пузыренко

Национальный аграрный университет

ул. Героев Обороны 15, Киев, Украина

e-mail: Yaryna@list.ru

МАСКУЛИНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА АГЕНТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ НОМИНАЦИЮ ЖЕНЩИН

В статье рассматриваются причины маскулинизации - использования для называния женщин названий мужского рода как при наличии коррелятивных названий лиц женского пола, так и при их отсутствии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маскулинизация, агентивно-профессиональные названия лиц женского пола, агентивно-профессиональные названия лиц мужского рода.

В широком понимании термин «маскулинизация» может использоваться во всех случаях заместительного употребления мужского рода (Смольская 1993, 129). В нашей работе под маскулинизацией мы имеем ввиду отдельное ее проявление, которое определим таким образом: маскулинизация – это языковое явление, которое состоит в использовании для называния женщин названий мужского рода как при наличии коррелятивных названий лиц женского пола (далее – НЖ), так и при их отсутствии.

Рассмотрим, напр., оригинал повести Г. Кржижановой-Бриндзовой «Postárik» на словацком языке и украинский и русский переводы. Словацкий язык: «Riaditel'ka skoly a Ernest Hrivko, dedinsky mladenc...» (Kryžanova-Brindzova 1976, с. 144); украинский язык: «Директорка школи и Ернест Гривка – сільський парубок...» (Крижанова-Бриндзова 1986, с. 227); русский язык: «Директор школы – и Эрнест Гривка, деревенский парень...» (Крижанова-Бриндзова 1980, с. 95). В этих примерах речь идет об отношениях влюбленных, и выхваченная из широкого контекста русская фраза может полностью исказить содержание. Так как это получилось в анонсе художественного фильма «Не могу сказать «прощай!»: «Любовний трикутник між водієм вантажівки, бухгалтером і зварником» (СТБ. 18.06.2001). Может сложиться впечатление, что фильм посвящен нетрадиционным отношениям. Тем не менее в нем действуют две женщины — бухгалтерша и водительница — и мужчина-сварщик. Примером недоразумений, к которым приводит явление маскулинизации, может быть сюжетный ход в детективе А. Марининой, где килеру было приказано убить «собственника» (машины), а он вместо мужчины убил женщину, которая случайно села за руль (Маринина 1999, с. 317). Это пример того, как может отличаться индивидуальное восприятие явления маскулинизации.

Явление маскулинизации выделяют чаще всего в языках с развитой категорией рода. Это прежде всего славянские, романские, некоторые германские языки. Кроме того, о наличии маскулинизации, хотя и в меньшей степени, можно говорить также в тех языках, где род является скрытой категорией, тем не менее существуют, хотя бы и нерегулярные коррелятивные отношения между НЖ и названиями лиц мужского рода (далее – НМ), напр. в английской – *author – authoress, poet – poetess*.

Как уже отмечалось выше, проявления маскулинизации имеют разную интенсивность в разных языках. Сопоставление славянских языков с этой точки зрения, проведенное П. Дмитриевым на материале болгарского, польского, русского, сербского, хорватского, словацкого, чешского языков, показало, что сильнее всего маскулинизация проявляется в русском, сербском, хорватском и польском языках, в которых нормативные грамматики не запрещают использования существительных муж. рода для лиц женского пола; довольно широко (несмотря на определенное, в основном декларативное, сопротивление нормативной грамматики) распространена маскулинизация в болгарском языке; меньше всего маскулинизация представлена в чешском и словацком языках, где относительно небольшое количество имеющихся примеров маскулинизации считается

отступлением от нормы (Дмитриев 1986, с. 125).

В украинском языке, так же, как и в других языках, тенденция к маскулинизации является довольно выразительной.

Проведенный нами опрос сотрудниц одного из научно-исследовательских институтов показало, что они чаще всего именуют себя названиями муж. рода, напр. – *инженер*, так же и их чаще всего называют другие лица, и они не хотят, чтобы их называли иначе (Пузыренко 1998). О такой самой тенденции говорит Е. И. Захарова: «Самые женщины, склонны употреблять существительные мужского рода даже в неофициальной обстановке в условиях непринужденного общения, о себе говорят: «Я воспитатель, диспетчер, преподаватель» (Захарова 1992, с. 89-90).

О других примерах маскулинизации, полученные при опросах говорящих, см. в (Пузыренко 2003).

Процессы маскулинизации уже довольно глубоко проявили себя в языке. Поэтому агентивно-профессиональные названия мужского рода как «маскулизмы характеризуются функцией генерализации, поскольку форма мужского рода профессиональной номинации виртуально не ассоциируется с лицом муж. пола: *Рабочий стал инженером, колхозник – агрономом*. Семантико-номинативная (название лица муж. пола: *На этих днях исполняется восемьдесят лет со дня рождения знаменитого певца Чувашии – Педера Хузангая – искреннего друга Украины...*) и семантико-синтаксическая (название лица жен. пола: *Гид объяснила, хотя мы ее не спрашивали*) функции определяются контекстом и зависят от комбинаторики языковых единиц» (Загнитко 1987, с. 6).

О распространении в украинском и русском языках маскулинизации свидетельствуют и такие характерные фрагменты объявлений со специализированных газет. Напр., в газете «Новая работа»: «...приглашает отделочников 3-4 разряда (женщин)»; «требуется пекарь (жен. до 28 лет)»; «...приглашает официантов девушек до 25 лет»; «дворник (мужчина вот 50 лет)»; «упаковщики (мужчины до 40 лет)»; в газете «Работа и не только»: «бармен дев. до 25 лет»; «архіваріус – жінка до 35 років»; «охоронники чоловіки і жінки до 40 років». Как видно из объявлений, формы рода профессионального названия уже не достаточно для обозначения пола работников.

Рассмотрим подробнее подобное приведенным выше объявление на здании театра «Браво» (запись 2003): «Київському драмтеатру «Браво» терміново потрібні: столяр – робітник по будівлі, робітники сцени, світлотехніки, звукотехніки, електрик (чоловіки)». Это объявление примечательно тем, что уточнение о поле работника подается несмотря на то, что указанные профессии являются преимущественно мужскими. Итак, этим подтверждается распространение явления маскулинизации в украинском языке. Кроме того, указание о поле при преимущественно мужских профессиях может быть обусловлено также высоким уровнем безработицы среди женщин, когда они согласны на любую работу.

На обозначение лиц женского пола используются НМ и в социальных диалектах. Напр., в (Ставицька 2003) находим: *агресор 2* – теща (с. 28); *батон 2* – молодая проститутка, *батон 3* – молодая девушка (с. 42); *крокодил* – нехорошая девушка, женщина (с. 152); *протигаз* – некрасивая женщина // некрасивое женское лицо (с. 223); *чубчик (хохолок)* – девочка (с. 294).

Особенности маскулинизации состоят в избирательности ее распространения. Она распространяется неодинаково относительно разных лексико-семантических разрядов названий лиц, и даже в пределах одного разряда к отдельным словам. Ср. употребление слова *батьки* в значении «отец и мать» и только *дід* и *баба*, напр.: «Близькі родичі – **батьки**, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, **дід**, **баба**, внуки...» (Словник термінів 1999, с. 34). Такое употребление распространилось под влиянием русского языка, где слово *родители* означает «отец и мать», ср. составное слово *батько-мати*, которое в электронном словаре (Словники України 2007) квалифицируется как «существительное множественное».

Украинские языковеды обращали внимание на использование для названия женщин существительных мужского рода. Так И. И. Фекета приводил примеры непоследовательного употребления названий на обозначение женщин в печатных изданиях, в частности в Украинской советской энциклопедии (1953-1963), где в одной статье относительно женщины употреблено НМ *деятель*, в другой – НЖ *деятельница*. Вот как объясняет исследователь причины этого явления: «Нерешительность в выборе названий для наименования лиц женского пола в названных случаях есть, очевидно, свидетельством того, что письменная форма языка не свободна от влияния разговорной стихии. Живой язык, когда речь идет о женщинах, стремится использовать отдельные женские названия» (Фекета 1968, с. 189). Сегодня эта мысль требует просмотра. Проведенное нами исследование показало, что именно влиянием деловой речи, а не разговорной вызвана такая непоследовательность употребления в письменной форме украинского языка названий женщин. Больше того, даже в живой разговорной речи существует тенденция к употреблению названий мужского рода на обозначение женщин. И среди многих причин этого одной из основных называют влияние канонів официально-делового стиля (Пономарів 1992, с.145).

Среди основных причин маскулинизации выделяют языковые и внеязыковые. Подробнее причины торможения образования соответствующих НЖ, рассмотрим за аргументацией И. И. Фекеты, который к важнейшим языковым относит: а) *фонетико-структурные особенности образующей основы мужских названий на -нт, -кт, -тр, рг, -лог*; б) *стремление избежать омонимии*; в) *двусмысленность отдельных суффиксов* (ср. *директорка, директорша* – «женщина-директор» и «жена директора»); г) *непродуктивность словообразовательной модели*; к внеязыковым: *использование в роли женских ряда мужских названий, которые имеют давнюю традицию употребления только в муж. роде (вождь, ворог, предок)*; *необразование названий женщин из-за социально-исторических причин (академік, декан)* (Фекета 1969, с.18).

Рассмотрим внимательнее аргументацию исследователя. В пункте «б» сказано, что «отдельные названия женщин в литературном употреблении отсутствуют только потому, что в языке уже существуют такие слова, но с другим значением (пор. *гречка* – «гречневая каша», *электричка* – «электрпоезд», *китайка* – «шелковая ткань», *пілотка* – «головной убор»)». И уже следующим предложением «во избежание омонимии, язык использует для образования соответствующих названий другие средства (пор. *грек* – *гречанка, китаец* – *китайка*)», автор опровергает как предыдущее утверждение, так и вывод пункта «а», где указано, что «образование женских соответствий от названий типа *адент, адъюнкт, арбитр, драматург, биолог* привело бы к громоздкому или непривычному соединению согласных на стыке морфем (пор. *адентка, ад'юнктка, арбітрка, драматуржка, біоложка*)». Но это же примеры образования названий женщин только за одной словообразовательной моделью, в то время как в украинском языке произведен целый ряд их. Проведенное нами экспериментальное исследование подтвердило возможность применения этих моделей. Относительно пункта «в», то омонимия аффиксов присуща флективным языкам. Кроме того, как отмечает сам И. И. Фекета, для наименования женщин по профессии мужа в украинском языке нет специальных названий женского рода. Как правило, такие понятия выражаются описательно (*жена учителя*). Названия женщин по профессии или родом деятельности мужа функционировали в украинском литературном языке в основном до Октября, и сфера их употребления в современном украинском языке ограничена разговорным стилем (Фекета 1969, 15). Говоря о непродуктивности словообразовательной модели (пункт «г»), нужно иметь в виду, что производительность аффиксов – категория историческая, и потому изменчивая. Она может повышаться или падать в зависимости от нужд языка.

К приведенным выше причинам мы прибавляем также *стремление к экономии языковых средств, семантические асимметрии в коррелятивных парах НЖ и НМ*

(«престижность» наименований мужского рода), влияние официально-делового стиля языка, стилистическая окраска НЖ.

Стремление к экономии языковых средств. Подавляющее большинство НЖ, особенно агентивно-профессиональных, имеют более сложную, сравнительно с коррелятивными НМ, словообразовательную структуру, которая выражается прежде всего в большей абсолютной длине слова, напр. укр. *лікар – лікарка*, рус. *учитель – учительница*, англ. *prince – princess (принцесса)*, *abt – abbess (аббатиса)*, *duche – duchess (герцогиня)*, *murder – murderess (женщина-убийца)*, *actor – actress (актриса)*, *director – directrix (директриса)* и т. п.

Приведем характерный пример из монографии, посвященной исследованию сложных слов в детской речи, причем явление маскулинизации там совсем не рассматривается. Девочка возрастом 9 лет и 10 месяцев, узнав, что в ее одежде использован мех и шерсть разных животных сказала о себе: «я *лисомедведеволкокоза*, нет, длинно так, лучше *лисомедведеволкокоз!*» (Харченко, Озерова 1999, с. 25). Примечательно, что в этом случае сократилась одна фонема, которое вылилось в экономию всего лишь одного слога.

Семантические асимметрии в коррелятивных парах НЖ и НМ. «Престижность» наименований мужского рода. В отличие от коррелятивных НМ названия женского рода могут иметь меньше значений, среди которых отсутствуют семы «власти», «определенного социального статуса».

Семантическая асимметрия у словообразовательных коррелятов мужского и женского рода может быть намного большей, когда НЖ приобретают выразительную отрицательную окраску. По этому поводу Д. Камерон отмечает, что «процесс пейоризации можно увидеть в ряде коррелятивных пар мужского и женского рода. В то время как названия мужского рода означают власть, статус, свободу и независимость, женские, которые во многих случаях раньше были параллельными, теперь обозначают ничтожество, зависимость, негативность и пол.

Напр., *bachelor* (позитивность, независимость, половая свобода) противопоставляется *spinster* (отвратительность, сексуальная холодность и фрустрация). В случаях, когда положительные аспекты одинокой жизни начинают ассоциироваться с женщинами, название *spinster* оказалась настолько несоответствующим, что пришлось создать название *bachelor girl*. Другими примерами семантической неэквивалентности есть *governor* (властительный, правитель) и *governess* (бедная женщина, которая присматривает за детьми); *master* (компетентный или властный мужчина) и *mistress* (сексуальная и экономическая зависимость); *tramp* (бездомный мужчина) и *tramp* (женщина-проститутка)» (Cameron 1985, с. 77).

Учитывая преобладающее использование в официально-деловом стиле агентивно-профессиональных НМ, на их стилистическую нейтральность и наличие «престижных» сем в их словообразовательной структуре, а также на действие таких гендерных стереотипов, как второстепенность выполняемой женщинами работы, занятостью женщин на непрестижных должностях, довольно часто именно НМ отдается преимущество в номинации и самономинации женщин. Вспомним хотя бы известные слова А. Ахматовой о нежелании именоваться *поэтессой*, она предпочитала, чтобы ее называли *поэт*.

Престижность мужских наименований наблюдается и вне агентивно-профессиональной номинации. Исследуя женские фамилии в западных говорах грузинского языка: ачарском, гурийском, имерском и в мегрельском и лазском языках, И. В. Мегрелидзе между прочим отмечал, что «в повседневном языке женщин называют девичьей фамилией. Состоящих в браке для предоставления оттенка особой вежливости называют за фамилией мужчины» (Мегрелидзе 1938, с. 152). Кроме того, «добавление к фамилии окончания -*ф* *е* или -*џ* *е* (женский фамильный формант – Я. П.) приобрело кое-что унижительного оттенка, и только желая обидеть какую-то женщину или обращаясь к

ней в шутильной форме, ее называют девичьей фамилией из добавления в конце -ф́е или -ċе» (Мегрелидзе 1938, с. 153).

Влияние официально-делового стиля языка. Как отмечает А. Д. Пономарив: «В официально-деловой речи предпочтение отдается формам мужского рода, даже когда есть женские соответствия в общенародном языке. Ведь в деловом общении подчеркивается не пол человека, а ее служебное и социальное положение: *лаборант* Анна Петренко, *аспирант* Мария Ковальчук, *врач* Елена Мазепа, хотя есть целиком литературные соответствия *лаборантка*, *аспирантка*, *докторша*. Формы с *-ка* нужно употреблять в художественном, публицистическом стиле и, бесспорно, в разговорной речи. Безоговорочное перенесение на эти стили черт официально-делового свидетельствует о недостаточном усвоении языковых норм» (Пономарив 1992, с. 145). В других своих работах А. Д. Пономарив подчеркивает, что подобный названным выше примеры употребления относительно женщин названий мужского рода в средствах массовой информации «противоречат морфолого-стилистическим нормам украинского языка» (Пономарив 1999, с. 164), а относительно употребления в официально-деловой речи НМ относительно женщин отмечает: «здесь, наверное, настало время ломать традицию» (Пономарив 2001, с. 185). По наблюдениям А. К. Смольской, в сербском языке «в официально-деловом стиле оказывается монополия маскулинизмов: названия лиц женского пола по профессии, независимо от того, фиксируется ли в словарях феминный коррелят, используются только в мужском роде, собственное женские профессиональные наименования одиночные» (Смольская 1993, с. 31). Эти же выводы распространяются и на другие южнославянские языки в работе (Озерова 1998, с. 105).

Стилистическая окраска НЖ. Сравнительно с НМ названия женщин чаще имеют стилистическую окраску, которая ограничивает их употребление вне разговорного стиля языка.

Основные «катализаторы» процесса маскулинизации нужно искать прежде всего во внеязыковой плоскости. Можно сказать, что все собственное языковые (как внутренние, так и внешние), а также внеязыковые факторы способные лишь определять самый характер и интенсивность создания агентивно-профессиональных названий женщин. Ведь на структурно-морфологическому (деривационному) равные языки непреодолимых препятствий для образования таких названий нет, а тормозит этот процесс исключительно действие внеязыковых факторов. Относительно НЖ внеязыковые социальные факторы можно квалифицировать как гендерные. В основе проблем в функционировании НЖ в узусе, а также в лексикографической интерпретации НЖ лежит действие гендерных стереотипов.

Примечательно, что понимание влияния гендерного фактора на несуществование НЖ на уровне будничного языкового сознания может привести к казусам. Так, в журнале гендерного направления читаем: «В нашем словаре (в общеязыковых словарях – Я. П.) нет даже женского соответствия таким словам, как «живописец», «график», «скульптор», якобы женщины попадают к этим профессиям лишь в порядке исключения» (Очима жінок 2000, с. 50). Словари украинского языка, напр. СУММ и ОРФ, не фиксируют коррелятивной НЖ к слову *график*, тем не менее в этих же словарях содержится НЖ *скульпторка* и *малярка*. Последняя соотносительная с НМ *маляр*, синонимической из НМ *живописец*.

С одной стороны, маскулинизация может считаться следствием неравноправного положения женщины в обществе, когда небрежение женщин в обществе отображается их «невидимостью» в языке, а с другой, наоборот, неразличение по полу в профессиональной номинации может свидетельствовать о равноправии женщин и мужчин в профессиональной деятельности. Можно сказать, что гендерно ориентированная языковая практика на Западе прошла путь от последовательного

старания внедрять женские корреляты к нейтрализации родовых показателей в профессиональной номинации.

Литература

ДМИТРИЕВ, П. А., 1986. О тенденции маскулинизации в зарубежных славянских языках. *Славянская филология*. Ленинград.: изд-во Ленингр. ун-та, № 5, с. 117-128.

ЗАГНИТКО, А. А., 1987. Соотношение формально-грамматического и семантического содержания в категории рода имен существительных: (на материале современного украинского литературного языка): *Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / АН УССР; Ин-т языкознания им. А. А. Потебни*. Киев.

ЗАХАРОВА, Е. И., 1992. Категория рода. *Ин. Разговорная речь в системе литературных функциональных стилей современного русского литературного языка. Грамматика*. Саратов: изд-во Саратов. ун-та, с. 85-91.

МЕГРЕЛИДЗЕ, И. В., 1938. Женские фамильные окончания в южнокавказских яфетических языках и фольклоре. *Памяти академика Н. Я. Марра (1864 –1934)*. Изд-во АН СССР. Москва – Ленинград, с. 152-181.

МАРИНИНА, А. Б., 1999. *Призрак музыки*. Москва.

Очима жінок, 2000.

ХАРЧЕНКО, В. К.; ОЗЕРОВА, Е. Г., 1999. Сложные слова в детской речи. *Монография*. Белгород: изд-во Белгородского гос. ун-та.

SAMERON, D., 1985. *Feminism and Linguistic Theory*. Macmillan.

КРИЖАНОВА-БРИНДЗОВА, Г., 1980. *Возвращение связного. Повесть, пер. со словацкого Ю. Преснякова*. Москва: Детская литература.

КРИЖАНОВА-БРИНДЗОВА, Г., 1986. *Поштарик*. Повість, пер. із словацької Г. В. Бережної. Киев: Веселка.

KRYŽANOVA-BRINDZOVA, H., 1976. *Postárik sa vráti*. Bratislava: Mladé Letá.

ПУЗИРЕНКО, Я. В., 2003. Семантика суб'єктивного словесного опису агентивно-професійних назв чоловічого і жіночого роду. *Мовознавство*. № 1, с. 77-83.

СТАВИЦЬКА, Л., 2003. *Короткий словник жаргонної лексики української мови*. Містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень. Киев: Критика.

СМОЛЬСКАЯ, А. К., 1993. Развитие именного словообразования в сербохорватском литературном языке (феминативы). *Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.03. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова*. Москва.

ОЗЕРОВА, Н. Г., 1998. Смольська А. К. Формально-семантична взаємодія субстантивних категорій в аспекті функціональної граматики (на матеріалі української, російської, сербської та болгарської мов). *Мовознавство*. № 2-3, с. 97-106.

ПОНОМАРІВ, О. Д., 2001. Іменники жіночогороду в назвах за професіями. *Філософсько-антропологічні студії*. Спецвипуск, с. 183-186.

ПОНОМАРІВ, О. Д., 1999. Діяч і діячка, коеспондент і кореспондентка, лікар і лікарка, поет і поетка, поетеса. *Культура слова: Мовностилістичні поради. Навч. посібник*. Київ.: Либідь, с.164-165.

ПОНОМАРІВ, О. Д., 1992. Стилїстика сучасної української мови. *Підручник*. Київ: Либідь.

ПУЗИРЕНКО, Я. В., 1998. До питання агентивно-професійної номінації осіб жіночої статі. *Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми дослідження мови і речі» 3-5 листопада 1998 р.* Ч. 2, Минск, с. 8-12.

Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України, 1999. Упорядники: БОГАЧОВА, О. В., ВІНОКУРОВ, К. С., КРУСЬ, Ю. І. та ін. Київ..

Словники України., 2007. Український мовно-інформаційний фонд. Версія 3.0. (комп'ютерний диск).

ФЕКЕТА, І. І., 1968. Жіночі особові назви в українській мові (творення і вживання). *Дис... канд. филол. наук: 661*. Ужгород.

ФЕКЕТА, И. И., 1969. Женские личные названия в украинском языке (образование и употребление): *Автореф. дис... канд. филол. наук: 661*. Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Киев.

Yaryna Puzyrenko

National Agrarian University, Ukraine

MASCULINIZATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON AGENTIVE- OCCUPATIONAL NOMINATIONS OF WOMEN

Summary

The article considers the reasons for masculinization – the use of masculine nomina for the nominations of women whenever there are correlative women terms or not.

KEY WORDS: masculinization, agentive-occupational women terms, agentive-occupational masculine terms.

Владислав Просцевичус

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

ул. Рудакова 25, Горловка, Донецкая область, Украина

e-mail: vladis@irismedia.org

ЧЕЛОВЕК ЗВУЧАЩИЙ

Естественный язык рассматривается в статье как эффект удовлетворения человекообразующей потребности в интелесном существовании. Предложена гипотеза, согласно которой каждое высказывание осуществляется в трех перспективах: 1) от автора как субъекта потребности в интелесном существовании; 2) от повествователя как субъекта потребности в интелесном существовании где-то и когда-то и 3) от персонажа как субъекта потребности в интелесности здесь и сейчас.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественный язык; автор; персонаж; повествователь; интелесное существование.

В каждом высказывании участвует потенциал всего языка. «Весь язык» здесь – и вообще, где бы то ни было – не означает, конечно, ни лексикона, ни свода правил, по которым из лексикона продуцируются отдельные высказывания. Целостность языка означает здесь обеспеченную соответствующими ресурсами востребованность к соотносению двух выделенных фрагментов реальности по принципу их взаимоманифестации: каждое высказывание случается в мире в силу исполнения этой меры. А для того, чтобы сработала действенность такого соотносения, *весь язык* необходим в том смысле, что событие отдельного высказывания имеет причину такого же статуса и повод такой же интенсивности, как те, что послужили причиной и поводом возникновения языка как такового – коль скоро о таком событии можно говорить хотя бы гипотетически.

Не входя здесь в обзор существующих взглядов на количество и иерархии потребностей, удовлетворяемых языком, и, соответственно, количество и иерархии т. н. функций языка, мы вводим тезис, основательность которого нам кажется не нуждающейся в подробном обсуждении. Тезис содержит обоснование=объяснение потребности как таковой: всякая потребность указывает на некоторый ущерб целости, изъян в полноте, вообще говоря: *прежде* случившуюся нехватку. Это уточнение представляется нам методологически весьма полезным, поскольку задает гораздо более жесткие рамки для рассуждения. В таком ракурсе событие высказывания – коль скоро оно удовлетворяет некую потребность – предстает событием *естественно-историческим*, а, значит, мы освобождаемся от многих опасностей, связанных с искушениями субъективного произвола как в части вменения неких особых «духовных» потребностей субъекту речи, так и в части неправомерного расширения полномочий языковеда.

Потребность в ближайшем смысле слова представляет собой атрибут биологического существования человека. В этом отношении несомненными потребностями являются, например, потребности в пище и воде. Можно, как будто, предположить, что потребности являются атрибутами всякого телесного существования. Очевидно, однако, что такое предположение нуждается в существенном уточнении: если потребностями в пище и воде обладают, кроме человека, еще и животные и растения, то «представители» неживой, однако, несомненно, телесной природы такими потребностями не обладают. Значит, собственно потребности сопровождают *одушевленное* телесное существование. На этом этапе нашего рассуждения мы удовлетворимся определением «одушевленности» как активности нетелесного происхождения: волевого акта. Как кажется, именно этот признак намечает некорректность аналогии между потребностью в речи и потребностью в пище. В самом деле, мы не можем удовлетворить голод волевым

усилием, тогда как прервать речь или промолчать вполне в наших силах, по крайней мере, теоретически. Кроме того, существует еще одно, на первый взгляд, даже более существенное различие: пить и есть животное (и человек) хочет всегда; организм ни на секунду не перестает нуждаться в воде и еде. Другое дело, что порог чувствительности актуален по отношению и к чувству голода и жажды: мы сознательно обнаруживаем себя в чувстве голода только по прохождении организмом этого порога. С речью, как кажется, дело обстоит иначе. Мы, как будто, не обнаруживаем в нашем словесном существовании аналога перманентной биологической потребности в обмене веществ.

Назревающий внутри аналогии конфликт можно плодотворно исчерпать, сместив акценты. Оставаясь в пределах рабочего сопоставления, мы берем – теперь в качестве опорной для аналогии – потребность в речи и предлагаем рассмотреть природу постулируемой нами *потребности* под знаком конечности претерпевающего ее существа – стало быть, под знаком определяющих эту конечность целей. Атрибутом высказывания (слова) как предполагаемого средства удовлетворения этой потребности является то или иное значение. Функция значения присуща, с нашей точки зрения, и биологическому состоянию одушевленного существа. Голод *значит* для испытывающего его субъекта его – субъекта – собственное существование. Голод «напоминает» ему о *нем же самом, о необходимости* длить свое пребывание в телесной действительности. Речь же – если оценивать ее главную функцию в таком же ракурсе – значит, прежде всего, *другого и другое*: в самом обычном, не метафизически буберианском или бахтинском смысле слова. *Другое* (- *ого*) в интересующем нас здесь смысле точнее всего определить как *отсутствующее* (-*его*) *здесь и сейчас*. Мы утверждаем, таким образом, что означение отсутствующего есть атрибутивная функция человеческой речи, в корне отсекающая от нее «языки» животных и, насколько нам известно, даже растений.

Означение отсутствующего здесь и сейчас – *логически* первичная функция человеческой речи. Однако содержание понятий «другое» и «отсутствующее» нуждается в детализации в контексте конечных целей настоящей работы, если мы хотим – а мы хотим – максимально долго удерживаться в пределах естественно-исторической аналогии потребности в речи и биологических потребностей.

Должно согласиться, что четкость статуса «отсутствующего» – как первичного означаемого – проблематизируется, как только в поле нашего зрения попадает *внутренняя речь*. Если в контексте тривиального общения означение фактически отсутствующего вполне объяснимо тривиальными же задачами коммуникации, то процесс внутренней речи ставят под сомнение основательность предложенного определения главной функции языка (означения отсутствующего). Мы не можем миновать этого обстоятельства еще и – а, точнее говоря, главным образом – по той причине, что внутренняя речь как первичная данность для «Я» деятельности сознания обладает фактически приоритетом по отношению к речи внешней. Этот факт возбуждает вопрос о статусе *другого*, потребностью в существовании которого длится *внутренний* монолог.

Сразу, как кажется, ясно, что такой отсутствующий не может быть локализован во времени и пространстве по той – хотя бы – причине, что внутренняя речь, в отличие от внешней, длится *всегда* – как видим, аналогия с перманентной потребностью в пище оказывается здесь не только подхваченной, но, пожалуй, и значимо развитой. Возникает вопрос о *субъекте* внутренней речи.

Практика языка, взятая во всем ее объеме, предоставляет в распоряжение исследователя примеры высказываний, субъектная принадлежность которых не только не очевидна, но и является предметом оживленного научного обсуждения, в частности, в науке о литературе. История повествовательных форм свидетельствует о том, что в литературе дело обстоит несколько иначе, чем в жизни: внутренняя речь в форме т. н. несобственно-прямой появляется в прозе сравнительно поздно, очевидно в результате каких-то важных процессов в авторском поведении. То есть, в литературной практике

внешняя речь предшествует внутренней. Проникновение в т.н. внутренний мир персонажа происходит, очевидно, тоже в силу определенной потребности, как разрешение некоего конфликта – во всяком случае, нас в настоящей работе интересует только такая перспектива анализа.

Попробуем доказать основательность нашей позиции. В качестве «материала» возьмем два отрывка из романов Л. Н. Толстого: «Война и мир» и «Анна Каренина».

1. «Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что же это за люди? – все думал Ростов, не веря своим глазам. – Неужели французы?». Он смотрел на приближавшихся французов, и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? *Меня*, кого так любят все?» («Война и мир», персонаж – Николай Ростов).

2. «В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! Отчего у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпирающие поля круглой шляпы» («Анна Каренина», персонаж – Анна Каренина).

Вопрос, который мы перед собой ставим: какого рода потребность обусловила авторское внедрение во «внутренний мир» персонажа?

Первое наблюдение состоит в том, что в обоих отрывках мы видим *удивляющихся* персонажей. Удивляется Николай Ростов надвигающейся смерти, удивляется Анна «изнутри» своей нарождающейся любви к Вронскому, чувства, обострившего нелюбовь к мужу. В отрывке из «Войны и мира» изображен персонаж, страшщийся приблизившейся смерти, в отрывке из романа «Анна Каренина» – персонаж, переживающий первую пору любви. Как кажется, состояние (чувство) удивления может послужить в данном случае общим знаменателем, состоянием, корневым по отношению к тем психологическим напряжениям, в которые попадают персонажи.

Поставим вопрос: какова природа удивления? Ближайший ответ на него таков: человек удивляется там и тогда, где и когда нечто оказывается иным, оставаясь (по видимости) прежним. Удивление всегда сопровождает процесс *такого* изменения: нечто *оказалось иным, оставаясь прежним*. Собственно удивление обнаруживает онтологическую коллизию человека как субъекта, способного осознать самотождественность в изменении. Эта онтологическая коллизия дает два психологических рефлекса, два «способа» самообнаружения человека на уровне существования (а не бытия). Если сосредоточиться – аналитически – на желании стать *другим*, атрибутивно свойственным человеку, то мы «получаем» такую характеристику человеческого существования, как любовь. Во фрагменте из романа «Анна Каренина» мы и наблюдаем реализацию такого состояния. Если определяющим взять желание остаться самим собой, то соответствующей характеристикой становится смерть: мы это видим во фрагменте из «Войны и мира».

Удивление, как было сказано, обнаруживает *то же в ином*. Удивление – это, безусловно, один из терминов, в которых может быть описано состояние персонажа. Однако внутри предложенной нами формулы удивления обнаруживается ресурс, позволяющий нам в тех же пределах, в том же состоянии увидеть и описать *автора* высказывания, поскольку деятельность сочинения (воображения), ближайшим образом, – один из способов удовлетворения потребности *стать иным, оставаясь прежним*. Стало быть, *внутри* удивления персонаж непосредственно встречается с автором. **В** удивлении (коль скоро мы выбрали такую психологическую интерпретацию) происходит со-бытие автора и персонажа. Из этого со-бытия (понимаемого здесь как длящееся со-стояние, а не выделенный во времени и пространстве случай) персонажа как бы выпадает в существование, где обнаруживает себя *в* страхе смерти или радости любви: в зависимости

от *собственного* выбора между желанием сохранить себя и желанием стать иным. На уровне бытия, где герой оказывается в не-алиби, наедине с судьей, делящим его существование, завязывается эта коллизия.

Любовь и смерть, таким образом, суть два *эффекта*, возбуждаемых в существовании бытием автора. Страх смерти и радость любви – до(по)казательные формы непосредственного бытия *отсутствующего* в *существовании* автора, поскольку они обозначают пределы самовластности человека.

Главная мысль нашей статьи, та мысль, ради которой она, собственно, и пишется, состоит в том, что человек есть существо звучащее постольку, поскольку речью он удовлетворяет столь же насущную потребность своего существа, сколь и голод. Некоторая трудность для понимания здесь мы видим в том, что такую мысль можно принять за перепев рассуждений о духовных потребностях и пр. Но дело не в этом. Дело в том, что человек может не читать, не писать, не играть на рояле, человек может уморить себя голодом, но не звучать (или – перестать звучать), оказаться вне слова – человек не может.

Важный поворот в нашем рассуждении наметил вопрос о том, каков статус отсутствующего, значимого внутренней речью. Сейчас мы попробуем ясно высказаться по этому поводу. Всякое высказывание возвано к оформлению и, в конечном счете, к звучанию, потребностью в инотелесном существовании. Отсутствующий, значимый внутренней речью – субъект инотелесного существования. Субъекта такой потребности мы называем автором. Крайне важно здесь четко определиться с тем, что разумеется под «инотелесностью». Конечно, не некое монструозное иночленораздельное «образование». Поскольку претерпевание потребности входит в человека в результате некой утраты, мы должны здесь описать событие, повлекшее за собой утрату иного (прежнего) тела. Ближе всего можно объяснить характер этого, человекообразующего события с помощью библейского мифа. Как мы помним, до вкушения плода с запретного дерева первые люди не ведали собственной наготы. Только после нарушения запрета Адам устыдился ее, чем, собственно, и обнаружил свое преступление перед Богом: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос твой я услышал в раю, и убоился, потому что я наг, и скрылся. 11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг?» (Бытие, 3; 9-10).

Иное тело не имеет обескураживающих отличий, подобно тому, как древо познания не имело никаких особых ботанических особенностей по сравнению с деревом жизни. Когда мы говорим об инотелесности, то имеем в виду именно такого свойства отличие. Человек *застает в себе звучащим иное тело* после поступка, направленного на то, чтобы стать, «как Боги» – после нарушения запрета в страсти к самовластности.

Иное «качество» получает не только тело, но и душа. Только после этого поступка человек и находит в себе собственно душу как субъект выбора между желанием стать иным (неточной мыслью распространяемым в «будущее»), и желанием сохранить себя в качестве *этого* «Я» (неточной мыслью «закрепляемым» за *этим* телом).

Предельными состояниями вне творца становятся состояния любви (к человеку) и страх смерти. И то, и другое, равно *недолжные*, жизнеучреждающие состояния. Страх смерти и любовь к человеку – состояния, в которых человек «ставит» себя вне творца, в них он оказывается перед «лицом» нетости своего «Я» как властного в себе субъекта. В этот момент творец подхватывает его, удерживает его в бытии, что мы видели на примере собственно слова – художественного высказывания. Человек «узнает» о бытии творца в удивлении и страхе смерти.

Мы полагаем, что основание защищаемого нами тезиса не пошатнется и в том случае, если мифологические «подпорки» будут отброшены по причине, например, атеистического пуризма.

Нарушение первозапрета – архетипический акт, имеющий воспроизводиться до «конца мира». Акт такого выбора есть акт предпочтения/пренебрежения собственным/ого существованием/ием в пользу/ущерб другого/ому. Это – онтологическое

основание всякого выбора, первичного по отношению к массе других человекодящих актов. Онтогенез завершается после исторически первого акта такого выбора, воспроизводящего, в сущности, всю полноту первоакта нарушения первозапрета.

Недолжность предпочтения собственного существования любому другому входит в человека актом сознания=совести=созвучия и многообразно воспроизводится в исторических фактах морального установлений.

Неточность практически любого движения в отсутствие автора *необходимо* оформляется во внутреннюю речь; конфликт между внутренней и внешней речью обнаруживает неточность практически каждого слова как общепринадлежащего; эта неточность *необходимо* оформляется в речь, организованную отречением от собственности на слово – в художественном высказывании. Самая сложная (соответственно, самая искусственная, нарочитая) из известных к настоящему времени повествовательных форм отсылает нас к истоку речи: мы имеем в виду тот факт, что монолог змия, будучи представленным в форме внутреннего монолога, совпадает по форме с предельным разрешением современной повествовательной техники нашего времени: несобственно-прямой речью. (Если согласиться с тем, что т. н. «поток сознания» – это не более чем изошренная модификация этого разрешения). Мифологический рассказ и литературоведческое наблюдение ограничивают еще одну перспективу, в которой субъект высказывания (в т. ч. – и «поэтического») предстает как отвечающий (высказыванием, высказываясь) *насушной потребности*, а не одной из многих *возможностей* «духовной самореализации» и под. Напомним, что психологическая оправданность такой перспективы нашла, с нашей точки зрения, подтверждение в органической внешней немоте любящего и страшящегося. Внешняя немота «значит» собственно человека, не нуждающегося в высказывании как органе инотелесности, потому что в эти «моменты» он, человек, совпадает с собой как внешним телом.

Всегдашнее пребывание *в* слове «сообщает» человеку о вторичности речи вовне как звучания, прорывающего молчание. Эта вторичность и неточность внешней речи известна человеку сразу и «по себе». Теперь мы с большим, как кажется, основанием повторяем: слово есть способ явления отсутствующего. Слово *значит* отсутствующее здесь и сейчас, в «формах» времени и пространства. С нашей точки зрения, это – предельная дефиниция слова, первичная по отношению ко многим и многим частным и верным лишь в частности. Равным образом слово *значит* и отсутствующего.

В отречении от собственности на слово, в развитой культуре пересказа и перерассказа, иными словами, в многожды подтвержденном алиби в *существовании* длится уникальное «Я» автора. Автор при этом отягощен двоякой заботой: 1) ограждением от вменения всякой возможной вины и 2) сохранением личного участия в существовании. (Ср. не-алиби в *бытии* М. Бахтина). Легко заметить, что равноусердное следование этим тенденциям не то, что не обещает их синтеза в каком-либо из человекообразующих актов, но, скорее, гарантирует постепенное исчерпание всех мыслимых ресурсов самоидентификации «Я» в качестве следующего этим тенденциям одновременно. Иными словами, самотождественность авторского «Я» подтачивается по мере того, как ослабевают достаточность такого ее источника, как гарантированная непричастность к слову повествования: соответственно, алиби в существовании.

Слово, в сущности, «значит» только человека. Сопряжение души и тела можно описать и проще – в обыденном смысле «простоты»: душа значит нечто невидимое, не данное «в ощущениях», отсутствующее в качестве осязаемого элемента существования. Соответственно, словесный «знак» принципиально отличается от знака как корпускулы какой-нибудь «вторичной моделирующей системы» тем, что значит *отсутствующее*. Слово – это знак, значащий (указывающий на...) существование отсутствующего, невидимого, неосязаемого здесь и сейчас = души. Между прочим, самое членораздельность вербального слова, то есть, положение *различия* между «фонемами» – вторичный эффект актуального *отличия* души от тела.

Слово, таким образом, есть знак и средство иного существования. Высказывание не только – и не столько – указывает на отсутствующий «предмет» высказывания, сколько на нетождество высказывающегося субъекта звучащему телу. Вербальное слово удовлетворяет атрибутивной потребности человека в инотелесном существовании. Слово, взятое не с недоступной (для опытного удостоверения) стороны первичного сопряжения, а со стороны «выпавшего» в существование человека есть эффект человеческого присутствия в существовании. Слово – и знак собственно человеческого присутствия в существовании, и средство отстраниться от этого присутствия, интуитивно постигаемого как недолжное, не исконное, по крайней мере. «Художественное высказывание» является предельным случаем удовлетворения «духовной жажды». Совершенно неверно относиться к нему как к приятному, но избыточному доведению к унылости жизни. Столь же неверно искать в нем источник самовмещения внешней ответственности.

Стесняемый природой – человек выпадает в речь. Стесняемый оприродневшей речью – в поэтическое слово. Человек не может не звучать не по причине неких высоких идеалов, в него заложенных и пр., но по той причине, что членораздельное слово – эффект сопряжения души и тела. Человек окончательно одушевляется актом выбора, «включающего» память об инотелесном существовании и собственно память как естественное продолжение этой. Тот факт, что мир еще стоит на своих черепахах, непосредственно удостоверяет, что нужное количество людей делает нужный выбор. Автор художественного высказывания – субъект потребности в инотелесном существовании. Слово указывает на 1) утраченную инотелесность, далее, на 2) отсутствующее как таковое, предметно, во времени и пространстве и, наконец, 3) отсутствующее здесь и сейчас. Только «благодаря» памяти об инотелесности, хранимой сопряжением души и тела, оказывается явленной функция слова – указание на утраченную инотелесность и на *отсутствующее* как таковое.

Vladislav Prostsevichus

Gorlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages, Ukraine

HOMO SONIFEROUS

Summary

The article considers natural language as a result of a satisfaction of the need, formative for a human being, in the alternate corporeal existence. The hypothesis is advanced according to which each utterance occurs in three different perspectives: 1) in the perspective of the author who experiences the need in the alternate corporeal existence; 2) in the perspective of the narrator who experiences the need in the alternate corporeal existence somewhere and sometime; 3) from the character who experiences the need in the alternate corporeal existence here and now.

KEY WORDS: natural language; the author; the character; the narrator; alternate corporeal existence.

Эва Пыртек, Моника Рухала

Высшая государственная профессиональная школа в Новом Сонче

ул. Сташица 1, 33-300 Новы Сонч, Польша

e-mail: epyrtek@poczta.fm

О КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ

В данной статье рассматриваются фразеологизмы с временным значением, содержащие в своем составе названия частей тела (так называемые соматические фразеологизмы). Исследованию подвергаются фразеологические обороты русского и польского языков. Анализ показывает, что соматизмы являются частыми компонентами, участвующими в образовании фразеологизмов. Среди названий частей тела как в русском, так и в польском языках довольно часто употребляются следующие существительные: нога, пята, рука. Исследуемая группа фразеологизмов в речи используется с целью определения интенсивности, скорости движения. Сопоставление соматических фразеологизмов русского и польского языков позволяет сделать вывод, что некоторые обороты являются межъязыковыми эквивалентами, например, выражению в мгновение зеницы (ока) в польском языке соответствует фразеологизм w tgnienie oka.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: время, фразеологическая единица, соматизм, соматические фразеологизмы.

Слова святого Августина: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» (Августин 1998, с. 332) показывают, что время является одним из наиболее сложных для определения понятий. Категория времени уже с давних пор привлекает внимание исследователей из разных областей науки. Феномен времени интересует физиков, философов, психологов, а также лингвистов. Физики стремятся раскрыть тайну времени путем изучения движения небесных тел; философы и психологи внимание сосредотачивают на проблеме восприятия времени человеком. В лингвистике главным объектом исследований является не реальное время, а его отображение посредством языковых средств (Петраш 1982, с. 166). Для лингвистов прежде всего важно то, какими способами и при помощи каких единиц языка измеряется время.

Время, как и пространство, относится к первичным, базовым концептам, на основе которых происходит осмысление всех явлений и сфер человеческой деятельности. Можем сказать, что время предстает «не как некий пассивный признак нашего мира, но как активный деятель, от которого в некоторой степени зависит жизнь отдельных людей и целого мира» (Мамонова 2006, с. 10). Ведь все в жизни каждого человека, независимо от места проживания или национальной принадлежности, связано с понятием времени и истечением времени. Именно время служит важным показателем ритма жизни, темпа человеческой деятельности.

Категорию времени в языковом отношении можно анализировать как минимум с двух сторон: со стороны грамматики и со стороны лексики. В пособиях по грамматике исследование проблемы времени в основном начинается с описания системы временных форм. Надо подчеркнуть, что в отличие от лексических средств, формы времени глагола выражают общие временные отношения. На уровне лексики исследуются разнообразные лексемы с временными приставками, предлоги и устойчивые сочетания, имеющие временную семантику. В данной статье категория времени будет рассматриваться с лексических позиций.

Целью настоящей статьи является анализ фразеологизмов с временным значением в русском и польском языках. Исследованию подвергнутся, конечно, не все

фразеологизмы, определяющие время. Предметом внимания станут фразеологические обороты, содержащие в своем составе названия частей тела, так называемые соматические фразеологизмы.

Русский и польский языки, как и другие языки, богаты разнообразными фразеологизмами. Во фразеологической системе данных языков можем выделить различные группы фразеологизмов с разными значениями, а именно: фразеологизмы со значением пространства, времени, действия, состояния и т.п.

Основной функцией фразеологизмов со значением времени является выражение субъективного, эмоционально-оценочного взгляда на мир. Поэтому фразеологизмы, как правило, построены на метафоре и характеризуются яркой образностью, экспрессивностью и эмоциональностью.

Фразеологизмы с временным значением в своем составе содержат прежде всего компоненты, называющие определенный промежуток времени – век, месяц, год, час, минута и т.п. Значения этих фразеологических оборотов мотивированы значением составляющих их слов. Однако существуют также фразеологизмы, компоненты которых вообще не связаны с временной терминологией. Объединяясь в целое, как фразеологический оборот, они обретают временное значение.

В современном русском и польском языках фразеологизмы со значением времени представлены многочисленными группами. Уже это обстоятельство косвенно свидетельствует о том, что время в жизни человека играет важную роль. Ведь оно способно объединять и разъединять людей, кроме того, является одной из форм постижения окружающего мира и ориентации в нем.

Соматические фразеологизмы являются весьма представительной группой в обоих языках. Они вызывают интерес исследователей, так как части тела и их названия употребляются в языке не только в буквальном смысле, им присущ также и символический характер. Надо подчеркнуть, что используя названия частей тела в переносном значении – в пословицах, поговорках, во фразеологизмах, люди пытаются передать свои мысли, выразить свои чувства. Лексемы с соматическими компонентами довольно активно используются в образовании фразеологических оборотов в обоих языках, так как они непосредственно связаны с восприятием мира, его познанием и вызывают ассоциации с жизнью, чувствами, физической активностью человека. Термин соматический фразеологизм в русском языке первый раз употребил Э. М. Мордкович в конце XX века, в статье *Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов* (Городецкая 2007, с. 13). В польском языкознании вопросом соматической фразеологии впервые занялся А. Красновольский в начале XX века, в работе *Przenośnie towy potocznej – Метафоры в разговорной речи* (Тырпа 2005, с. 31).

Фразеологизмы с временным значением, содержащие в своем составе названия частей тела, употребляются с целью определения интенсивности движения, действия. Среди них можно выделить группу фразеологических оборотов со значением *быстро* и группу фразеологизмов с противоположным значением *медленно*. Анализ начнем с первой группы.

Группа соматических фразеологизмов со значением *быстро* в русском языке представлена 18 примерами (материал извлекался из словарей русского языка). Источниками послужили: *Фразеологический словарь русского литературного языка* под редакцией А. И. Федорова и *Учебный русско-польский фразеологический словарь* А. И. Молоткова, В. Цеслинской). В польском языке группа фразеологизмов с этим же значением является менее численной, насчитывает 11 примеров (объектом исследования стал *Фразеологический словарь польского языка* С. Скорупки). Исследуемая группа содержит обороты, связанные с качеством и интенсивностью движения (бег, ход и т. п.). Так как данные фразеологизмы характеризуют движение, они в основном сочетаются с глаголами движения – *бежать, лететь, мчаться*. Интересным является факт, что в

состав анализируемых фразеологизмов с временным значением входят слова, непосредственно не связанные с понятием времени, а именно, названия частей тела.

Среди названий частей тела, являющихся компонентами фразеологизмов с временным значением, довольно часто как в русском, так и в польском языках используются следующие слова: *нога, пята, рука / noga, pięta, ręka*. Можно предполагать, что это вызвано тем, что при быстром ходе или беге всегда необходимо быстро семенить ногами и махать руками. Наиболее употребительным существительным, называющим часть тела и указывающим на интенсивность движения, является *нога / noga*. В рассматриваемой группе фразеологизмов слово *нога* реализует свое прямое значение, т.е. обозначает «орудие» передвижения человека. Данное существительное появляется в следующих фразеологических оборотах:

(русский язык)

- живой *ногой*
- брать (взять) *ноги* в руки
- кидаться (кинуться) со всех *ног*
- на одной *ноге* (сбегать, сходить, сделать что-либо)
- нажимать на *пятки*
- *ног* под собой не слышать
- одна *нога* здесь, другая там
- со всех *ног* (бежать)
- уносить *ноги*

(польский язык)

- w *nogi*
- *biec na jednej nodze*
- *wziąć nogi za pas*
- *wyciągać nogi*
- *zbierać nogi (pięty)*
- *gubić pięty*

Как видно из примеров, употребление слова *нога* во фразеологических оборотах с временным значением указывает на большую скорость движения. В русском языке интенсивность движения добавочно подчеркивает использование прилагательного *живой*, имеющего значение *резвый, энергичный*. Необходимо отметить, что в обоих языках почти все указанные выше фразеологические обороты сочетаются с глаголами. Стоит обратить внимание на вид глаголов, так как от вида глагола может зависеть значение фразеологизма. Итак, в выражении *wyciągać nogi* употреблен глагол несовершенного вида, указывающий на интенсивность движения. Использование глагола совершенного вида *wyciągnąć* в составе фразеологического оборота *wyciągnąć nogi* имеет совсем другое значение. Фразеологизм *wyciągnąć nogi* применяется в речи в значении *умереть*.

Как уже упоминалось, фразеологизмы в основном строятся на метафоре. Интересным является выражение: *сбегать (сходить) на одной ноге / biec na jednej nodze*. Трудно представить себе человека, который очень быстро, молниеносно бежит (ходит) за чем-либо на одной ноге, так как для того, чтобы человек мог свободно совершать разные действия, ему «нужны» две ноги. Следует также подчеркнуть, что существительное *пятки* чаще употребляется во фразеологизмах польского языка. В выражении *zbierać nogi (pięty)* оно используется наряду со словом *нога*, можно сказать *zbierać nogi* или *zbierać pięty*.

Надо помнить, что *ноги* у язычников-славян считались принадлежностью не только людей, но также демонов. Некоторые русские фразеологизмы с компонентом *нога* имеют негативную окраску. Все черти и демоны в представлении русских были хромыми, в сказках они были беспятными (Городецкая 2007, с. 20). В качестве примера можно

привести фразеологизм *брать (взять) ноги в руки*, который несет негативную окраску. Данное выражение употребляется тогда, когда кто-нибудь сделает что-то плохое, и чтобы уклониться от ответственности, быстро убегает.

Очередным существительным, называющим часть тела и выступающим в составе фразеологических оборотов со значением *быстро*, является слово *рука / ręka*. Группа фразеологизмов с этим компонентом как в русском, так и в польском языках немногочисленна. Она представлена лишь 3 примерами в русском языке и 2 в польском.

Примеры:

(русский язык)

- живой *рукой*
- на скорую *руку* (делать что-либо)
- ноги в *руки*

(польский язык)

- *leci co komu z ręki* (в значении торопиться, делать что-нибудь очень быстро)
- *pali się komu w rękach* (робота pali się w rękach).

В группе фразеологизмов с названиями частей тела, кроме существительных *нога, пята, рука*, появляются также другие слова. К ним относятся: *зеница (око), язык, голова*. Приведем примеры:

(русский язык)

- в мгновение *зеницы (ока)*
- высунув (высуня) *язык* (бегать, убегать)
- сломя *голову* (бежать, мчаться, скакать)

(польский язык)

- w mgnienie *oka*
- *pędzić, lecieć z wywieszonym jęzorem*
- *biec na złamanie karku, biec na łeb*

Приведенные выше фразеологизмы являются межъязыковыми эквивалентами. Интересно отметить, что при образовании выражения *высунув (высуня) язык (pędzić, lecieć z wywieszonym jęzorem* в польском языке) за основу был взят образ собаки, которая, высунув язык, быстро и долго бежит.

Фразеологизм *сломя голову (biec na złamanie karku, biec na łeb* в польском языке) определяет значительную скорость движения, стремительный бег, когда голова начинает ломаться почти на кусочки (конечно, не в буквальном смысле). Следует также подчеркнуть, что данному выражению (*сломя голову*) в польском языке соответствуют два фразеологизма – *biec na złamanie karku* и *biec na łeb*.

Среди вышеуказанных соматических фразеологизмов русского языка особняком стоит оборот *в мгновение зеницы (ока)*, так как в своем составе содержит архаизм – слово церковнославянского происхождения *зеница*.

По ходу анализа были отмечены примеры фразеологических оборотов с названиями частей тела, которые выступают только в русском языке. Они не имеют фразеологических соответствий в польском языке. К ним относятся следующие фразеологизмы:

- ветер свистит в *ушах*
- во все *лопатки* (бежать, мчаться)
- задравши *хвост*

Говорящий, употребляя вышеприведенные фразеологизмы, может разнообразить свою речь. Можно сказать, что ветер свистит в ушах от скорости во время стремительного движения, бега, езды и т.п.

Фразеологизмы с временным значением, содержащие в своем составе названия частей тела, могут определять не только интенсивность движения. Они могут также указывать на то, что субъект совершает действие медленно. В русском языке данная

группа фразеологических оборотов представлена 5 примерами, в польском языке лишь 2 примерами. Следует подчеркнуть, что исследуемая группа выражений является менее объемной, чем группа с противоположным значением *быстро*. Она включает в себя фразеологизмы, которые обозначают очень медленное движение, обусловленное большими трудностями, усталостью, болезнью. Иллюстрируют это следующие примеры: (русский язык)

- едва таскать *ноги*
 - едва волочить *ноги*
 - едва держаться на *ногах*
 - *нога за ногу* (идти, тащиться)
 - с *ноги на ногу* (идти)
- (польский язык)
- *jechać, wlec się noga za nogą*
 - *jak krew z nosa*

Среди названий частей тела в анализируемой группе фразеологических оборотов используются лишь два слова, обозначающие часть тела – *нога* и *нос*. Существительное *нога* выступает как в русском, так и в польском языках. Слово *нос* появляется только в соматических фразеологизмах польского языка. Интересным является фразеологизм *jak krew z nosa*. Соответствующий ему в русском языке оборот *в (через) час по чайной (столовой) ложке* в своем составе не содержит названия части тела.

Проведенный выше анализ позволяет сделать некоторые выводы. Исследованный материал показал, что русский и польский языки богаты разнообразными фразеологизмами, которые называют различные временные явления и понятия. Предметом внимания стали фразеологические обороты со значением времени, содержащие названия частей тела. Выбор данной группы выражений обоснован тем, что во фразеологии огромную роль играет человеческий фактор, так как большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности. Интересно, что в обоих языках на первом месте по фразеобразовательной активности среди названий частей тела оказываются слова, обозначающие *ногу, пяту и руку*. По-видимому, это вызвано тем, что в составе фразеологизмов с временным значением чаще всего выступают глаголы, определяющие какое-либо движение. Существительные *нога, пята, рука* именно символизируют движение, скорость. Кроме слов *нога, пята, рука* в обоих языках выступают и названия других частей тела. Представляет это следующая таблица:

Соматизмы во фразеологизмах русского языка (кроме слов <i>нога, пята, рука</i>)	Соматизмы во фразеологизмах польского языка (кроме слов <i>нога, пята, рука</i>)
зеница (око)	oko
язык	jęzor
голова	kark, łeb
уши	–
лопатки	–
хвост	–
–	nos

Как следует из сопоставления, среди слов, обозначающих части тела, появляются существительные, называющие части тела животных, а точнее собаки. К ним относятся лексемы: *хвост* (фразеологизм *задравши хвост*) и *jęzor* (фразеологизм *pedzić, lecieć z wywieszonym jęzorem*). Надо также подчеркнуть, что части тела и их названия в языке употребляются не только в буквальном смысле – они имеют и символический характер. Говорящий, используя названия частей тела в переносном значении, старается придать речи образность и выразительность.

Итак, можно констатировать, что фразеологизмы с временным значением, компонентами которых являются названия частей тела, употребляются с целью определения интенсивности, скорости движения. В данной группе выражений можно выделить обороты, имеющие противоположное значение: *быстро* – *медленно*. Сравнительный анализ показал, что самой многочисленной как в русском, так и в польском языках является группа фразеологизмов со значением *быстро* (в русском языке она представлена 18 примерами, в польском – 11 примерами). Следует также подчеркнуть, что в русском языке наблюдается значительно большее количество соматических фразеологизмов, чем в польском языке.

Литература

- БИРИХ, К.; МОКИЕНКО, В. М.; СТЕПАНОВА, Л. И., 2005. Русская фразеология. *Историко-этимологический словарь*, Москва.
- ГОРОДЕЦКАЯ, И. Е., 2007. Фразеологизмы-соматизмы в русском и французском языках. АКД, Пятигорск, опубликовано на сайте: http://www.pglu.ru/researches/ref_pdf/Gorodetskaia.pdf (доступно 29.03.2008).
- МАМОНОВА, Ю. А., 2006. Имя время и имя čas в аспекте теории концепта (на материале русского и чешского языков). АКД, Пермь, опубликовано на сайте: <http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EA%EE%ED%F6%E5%EF%F2+%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8> (доступно 29.02.2008).
- МОЛОТКОВ, А. И.; ЦЕСЛИНЬСКА, В., 2001. Учебный русско-польский фразеологический словарь, Москва.
- ПЕТРАШ, Н. В., 1982. О синтаксико-семантическом признаке темпоральности (на материале современного английского языка), *In: Структура и значение предложения*, Москва.
- ФЕДОРОВ, А. И., 2001. Фразеологический словарь русского литературного языка, Москва.
- ШАНСКИЙ, Н. М., 1963. Фразеология современного русского языка. Москва.
- Język a kultura. Czas – język – kultura, 2006. Т. 9, pod red. Dąbrowskiej A. i Nowakowskiej A., Wrocław.
- ROKOSZOWA, J., 1989. Czas a język. O asymetrii reguł językowych, Kraków.
- SKORUPKA, S., 1987. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Т.1, 2, Warszawa.
- ŚW. AUGUSTYN, 1998. Wyznania, tłumaczył Kubiak Z. Kraków.
- TYRPA, A., 2005. Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich, Łask .

Ewa Pyrtek, Monika Ruchała

State Higher Vocational School in Nowy Sącz, Poland

THE CATEGORY OF TENSE IN POLISH AND RUSSIAN SOMATIC PHRASEOLOGISMS

Summary

This article discusses phraseological time expressions that have parts of the body as their components. The analysis focuses on somatic phraseologisms in Polish and Russian. It proves that the parts of the body are very often used in phraseology, which in turn leads to the conclusion that somatisms constitute the most basic vocabulary set in the phraseology of any language. Among the nouns referring to the parts of the body the words *leg*, *heel* and *hand* are most frequently used. The analysed selection of expressions is used in everyday communication for the description of the intensity of a particular action. It is also worth mentioning that majority of somatic phraseologisms collocate with the verbs of movement. The comparison of somatic phraseologisms in Polish and Russian shows that some of the expressions are translation equivalents.

KEY WORDS: time, phraseologism, somatism, somatic phraseologism.

Лариса Рева

Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского

ул. Черниговская 38, 121 Киев, Украина

e-mail: LesyaReva@yandex.ru

ИСТОРИЯ НАРОДА – ИСТОРИЯ ЯЗЫКА, ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ (На примере древней украинской литературы)

*«Язык – душа каждой национальности, ее святыня,
ее самое дорогое сокровище...» (И. Огиенко)*

В статье прослеживается история развития украинского языка в неразрывной связи с историей народа и письменности. Кроме того говорится о проблемах украинского языка на современном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина, история, язык, литература.

Человек рождается и живет в конкретной среде. Он с первых дней сознательной жизни воспринимает понятие своего народа, своей нации, своего этноса. В течение многих поколений каждая нация вырабатывает свои обычаи, язык, нравы, духовность. Обычаи и язык – это элементы, объединяющие отдельных людей в один народ – это один из фундаментов, на которых зиждется духовность нации и этноса вообще. Духовное состояние нации служит определяющим показателем жизнеспособности страны. Без крепких духовных начал, принципов не бывает сильного государства: духовно разрушенное, оно не в состоянии создать мощную экономику, обеспечить достойную общественную жизнь. Духовная культура является тем фактором, с помощью которого этнос не только консолидируется, но и развивается, усиливается и создает прочный этнокод нации, без которого ни один народ не в состоянии самоутвердиться (Скуративський 1992, с. 5-12).

Украинцы свою духовную культуру начали создавать задолго до принятия христианства на Руси. Византия прибавила еще и христианскую культуру, отвечающую менталитету, общественным и духовным потребностям народа. Основа христианской морали – библейские нравственные установки, сформулированные в Старом Завете в виде Десяти Заповедей Божьих, а также в Новом Завете в Нагорной Проповеди Иисуса Христа.

Одним из решающих факторов самобытности украинцев является язык – феномен их духовной культуры. Культурологический потенциал языка объясняется тем, что он отражает важнейшие общественные явления: социальные отношения, обычаи, нравственно-этические и эстетические нормы национального мировоззрения. Как явление национальной культуры, язык представляет достояние интеллектуального, философского и эстетического мышления, это адекватная форма общественных и индивидуальных нравственных принципов. Он – неисчерпаемый источник исследования духовного потенциала украинского народа.

Украинский язык – один из старейших. Как свидетельствуют ученые, по лексическому богатству он не уступает ни одному из европейских языков, а по ритмомелодике с нашим языком может сравниться разве что итальянский. Известный украинский ученый И. Огиенко писал: «В языке — наша старая и новая культура, символ нашего национального признания... И пока живет язык — будет жить и народ, как национальность. Не станет языка — не станет и национальности; он рассеется среди более сильных народов... Вот почему язык имеет такое большое значение в национальном движении. Поэтому и враги наши так старательно бдили, чтобы запретить

прежде всего наш язык, или свести и уничтожить его полностью. «Бо німого, мовляв, попраєш, куди забажаєш» (Огиенко 1930, с. 84).

Все этапы развития литературного языка в Украине тесно связаны между собой. Духовным центром украинской литературы, начиная от 988 г. – принятия христианства, одним из древнейших центров славянства, «стольным градом» высокоразвитого и могущественного государства Киевской Руси, был город Киев. Ему, одному из самых больших центров восточно- славянской цивилизации и столицы древней Руси, заслуженно принадлежит большая роль в становлении и развитии древнерусской культуры, ставшей одним из высочайших достижений мировой цивилизации.

XI – начало XIII ст. – это период первого расцвета киевской культуры. В первой половине XI ст. в киевской литературной среде был создан выдающийся памятник древнерусской литературы – художественно-публицистическое произведение ораторского искусства «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Из книг XI-XII ст. киевской письменной традиции известны Остромирово Евангелие, Изборники Святослава, Мстиславово Евангелие. В 1113 г. Нестор-летописец, служитель Киево-Печерского монастыря, написал «Повесть временных лет» – выдающееся историческое произведение Киевской Руси. Шедевр древнерусской литературы XII ст. – «Слово о полку Игореве». В это же время распространяется оригинальное славянское письмо – кириллица, на котором написаны книжные памятники XI-XIII ст.

Постепенно в Киевском государстве образовались две разновидности письменного языка: славянорусский – на основании взаимодействия церковнославянского и древнерусского литературного языка, и украинский книжный язык, возникший на основе древнерусского языка и ощутительного влияния «живого», «разговорного» языка. «Книжный, литературный язык, язык высшего сословия общества, возник в Киеве и был синтезом разговорной речи киевского городского населения и языка письменности, пришедшего с Болгарии» (Истрин 1922, с. 82).

В 1187 г. впервые зафиксированы в Киевской летописи этнонимы «Украина», «украинский», когда за умершим князем Владимиром Глебовичем «Украина сильно скорбела» (Сліпущко 2007, с. 16).

Нашествие татар, экспансия и господство иностранных завоевателей отрицательно отразились на развитии культуры Украины, прервав ее почти на триста лет. Но, как нельзя убить народ, так нельзя было уничтожить и его культуру.

Древняя украинская письменность развивалась в русле мирового литературного процессе, в тесных взаимосвязях с художественным словом, культурой соседних народов. В этом плане важную роль сыграли византийские и древнеболгарские художественные традиции; благодаря их посредничеству литература Киевской Руси осваивала античный опыт. В последней четверти XIV ст. в украинской литературе одновременно со вторым южнославянским влиянием развивается экспрессивно-эмоциональный стиль, характерный стилистическим новаторством, так называемым «плетением словес».

В результате тесных взаимосвязей с польской культурой наша письменность познакомилась с литературными достижениями западноевропейских народов, освоила новые эстетические концепции, что способствовало расширению идейно-тематических горизонтов, направляющих на поиск новых путей художественного обогащения.

На основании древних традиций, языка, быта, обычаев в XVI – XVII ст. по всему этнографическому пространству Украины формируется новый тип человека, который, несмотря на социальные унижения, искал выход из пут национально-экономического порабощения, стремился развивать собственную национальную культуру. Церковно-религиозное, культурно-национальное и политико-социальное движение возникает как протест против латино-польского давления, особенно после Люблинской унии 1569 г.

Огромнейшей была потребность в богослужебной литературе: она не только защищала православное верование и вообще христианство, а воодушевляла украинский

народ на борьбу, вселяла мужество, веру в святость этой борьбы. В первой половине XVI ст. возникает общественно-политическая и военно-административная организация украинского казачества – Запорожская Сечь. Казачество выполнило возложенную на него историческую миссию, защитило украинский народ от внешней и внутренней агрессии, способствовало развитию нации, утверждению национальной самобытности и самосознания. Однако, следует отметить, что проблема ментальности и духовности, пусть подсознательно, возникала перед украинцами задолго до казачьей эпохи.

В это время окончательно формируется украинская народность со свойственными ей особенностями языка, культуры и быта. На основании диалектных особенностей древнерусских говоров окончательно оформляются и основные черты украинской разговорной речи.

Литературный язык этого времени засвидетельствован церковными текстами, богатой литературой богословских трактатов, полемических произведений, церковно-исторических изысканий, посланий, летописей, хроник, хронографов, житийной литературы, материалами эпистолярного характера, устным народным творчеством. Авторы этих писаний то и дело вынуждены были для обоснования своих взглядов и защиты национально-религиозных прав украинского народа ссылаться на историю, воскрешать исторические традиции предания об украинских великих князьях, о прежней государственности украинской (Чижевський 1994, с. 212). Язык всех этих произведений, в основном, церковнославянский (словенский), используемый в Украине как литературный. Этот язык не был регламентирован никакими специальными документами. Главную роль в его функционировании играла церковь, вокруг которой сосредотачивалась литературная и культурная жизнь. Русский ученый А. Шахматов считал, что этот язык был и устным языком культурнейших слоев населения... «для украинских литераторов славянский язык был также классическим языком — на нем были написаны все памятники письменности, богослужебные книги и все другое литературное наследие прошлых веков и они считали его своим сокровищем...» (Крип'якевич 1992, с. 151). Ревностным защитником славянского языка был И. Вышенский, выдающийся украинский писатель, талантливый публицист XVI- начала XVII в.

Одновременно выходит ряд книг библейского кодекса в переводах на украинско-белорусский язык, бывшим тогда языком государственным. Таким образом, наряду с традиционным в Украине церковнославянским языком, используемым преимущественно в церковно-служебной литературе, применяется книжный украинско-белорусский язык, который был также и языком письменности. Будучи носителями высокоразвитой культуры, составляя большинство населения Великого княжества Литовского, украинцы не только не претерпели ассимиляционного влияния, но и способствовали существенному влиянию на Литву. Об этом свидетельствует общеизвестный факт – Литовский Устав 1588 г., написанный древнеукраинским языком, который фактически был в Великом княжестве Литовском языком государственным.

Во второй половине XVI ст. литературным становится польский язык, а в конце XVI ст. – латынь, в меньшей мере – греческий, украинский народный и русский. В условиях Речи Посполитой теряет свое значение церковнославянский язык, растет роль латыни, которая издавна была в Польше не только языком католической Церкви, духовенства и языком обучения в их школах, им пользовались также при написании правительственных документов, правовых актов.

«Древний церковный язык остается не только богослужебным, он пытается оставаться и языком литературным; но потому, что язык этот все-таки был нам наполовину чужим, широкие массы его не понимали, из-за чего многие украинские писатели начали писать по-польски» (Огієнко 1930, с. 84).

Большое национальное пробуждение конца XVI ст., связанное с первым культурным возрождением, вызвало самые решительные изменения в духовной жизни

нашей Отчизны. По всей ее территории распространяется просветительство, возникают культурно-образовательные очаги. Украина преобразуется в значительное европейское государство. Развитие городов, становление украинского мещанства, влияние Реформации способствовало приближению языка различных жанров к канцелярскому и разговорному.

Конец XVI – XVIII ст. господствующий и определяющий стиль украинской литературы – Барокко. Барокко – одна из самых сложных и в то же время продуктивных эпох в украинской культуре, время расцвета литературы. Для культуры и искусства Барокко характерными были воспитательные функции, которые достигались внутренним напряжением, аффектированной патетикой, этико-дидактическими и нравственными устремлениями художественных концепций, перенасыщенностью литературных произведений стилистическими украшениями, гиперболами. Своеобразие художественно-изобразительного осмысления мира сказалось на жанровом и сюжетно-тематическом разнообразии произведений, а также поиске и подборе средств образности, что отразилось на языке произведений и манере воспроизведения действительности. Писатели культуры Барокко, преодолевая мифологическое начало Ренессанса, используя большое количество иллюстративного материала, пробуждают интерес к истории страны, народу, его героям. Мировоззрение Барокко соединяло религиозность Средневековья с высокими достижениями Ренессанса. Литература Барокко создала на украинской почве свою теорию, нашедшую отражение в курсах поэтики и риторики, изучающихся в то время в украинских школах.¹

Украина в XVI – XVII ст. стояла на самой высокой ступени культурного развития. Но напряженный темп такой деятельности наблюдается только до начала XVIII ст., когда под давлением «царя московского православного» наступает перелом. В конце XVIII ст. украинские земли, принадлежащие Польше, были включены в состав Российской империи. Происходит постепенная русификация Украины. В 1720 г. Московский Синод запретил печатанье книг на украинском языке, а украинские церковнославянские издания приказано было сверять с русскими. В 1754 г. приказ Екатерины II запрещал преподавание на украинском языке в Киево-Могилянской академии.

В каждой эпохе вместе с прогрессом, новыми веяниями наблюдаются и отрицательные факторы. Сегодня они в Украине не только в безграничной коррупции, беспощадном перераспределении собственности, но и в обыденности, равнодушии. Геноцид нравственности коснулся и прекрасного украинского языка. Один из определяющих признаков нации – язык – напичкан массой слов и выражений, чуждых большинству украинцев: спикер, мэр, клабы, топы, шопы, бренды, бигборды.

Очень пассивно формируется национально-культурная и языковая среда. Особенно это чувствуется на Востоке страны, где украинцы еще в прошлом веке попали под влияние русскоязычной среды, в результате чего ослабевала и даже полностью прерывалась связь с языково-этнической общностью. Этим пользуются адепты государственного двуязычия, которые закрывают глаза на русификационные процессы и упадок украинской культуры. Но не все потеряно. Есть история нашей страны, культуры, литературы. Историки давным-давно определили — художественное творческое наследие является достаточно весомым историческим источником для изучения эпохи, которая сложилась (Ключевский 1989, с. 77).

В Украине, как и во всем мире, все острее ощущается активизация внимания к проблемам духовности. Идеал украинца – это гармонически и всесторонне развитый человек с многогранными знаниями, глубоким национальным сознанием, высокими интеллектуально-творческими, духовно-нравственными и эстетическими качествами.

¹ ЗИЗАНІЙ, Л., 1596. Граматика словенска. Вільно. (Перепеч. - Киев, 1980); СМОТРИЦЬКИЙ, М., 1618. Граматика словенська. Вільно; БЕРИНДА, П. Лексикон словенороскій. Киев, 1627 и др.

Их нельзя уничтожить. Душой народа есть украинский язык, посредством которого познается человек, его нравственность, общественные и эстетические идеалы.

Придавая украинскому языку статус государственного, правительство Украины руководствовалось теми принципами, что и другие цивилизованные страны. Решающим стало то, что это язык коренного населения, тысячелетиями проживающего в Украине и сегодня представляющего большинство жителей страны.

История Украины – это история народа, который жил на ее земле во все времена и периоды. Необходимость познания нации возможна только через его духовную культуру.

Украинская духовная культура впитывала многовековые традиции развития своего народа, обогащенного опытом народов близлежащих регионов, усваивая художественные достижения европейского Запада.

Понимание глубинных взаимосвязей языка и этноса позволяет объяснить роль языка как фактора этнической консолидации, поскольку язык – живой организм, неразрывно связанный со всеми сторонами жизни как общества в целом, так и отдельного индивида.

Во II-ой половине 80-х годов в украинском литературоведении все более распространяется мысль о приоритете в искусстве общечеловеческих ценностей, но только на рубеже 80-90-х годов произошел развал идеологически-конъюнктурного соцреализма, который дамочным мечом висел над головами творцов нашей культуры.

Античные мудрецы говорили: «Заговори – и я тебя увижу!» Каким увидит мир украинца – зависит только от наших современников. Нельзя останавливаться на исторических достижениях. Надо стремиться двигаться вперед. В этом решающая роль принадлежит украинской элите, новому поколению с высокими интеллектуально-творческими, духовно-нравственными идеалами, гармонически, всесторонне развитых, с многогранными знаниями, глубокой национальной сознательностью, чувством достоинства, патриотизма, с фантастической энергией, творческим потенциалом, гениальностью, огромным талантом, конкурирующими замыслами и идеями.

Литература

ИСТРИН, В., 1922. *Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI-XIII век)*. Петроград, с. 82.

КЛЮЧЕВСКИЙ, В. О., 1989. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета в июне 1880 г., в день открытия памятника Пушкину. Соч.: в 9 т., т. IX. *Материалы разных лет*. Под ред. В. Янина. Москва: Мысль, с. 77.

КРИП'ЯКЕВИЧ, І., 1992. *Історія України*. Львів: Світ. Вид. 2-е, переробл. і доп., с. 151.

ОГІЄНКО, І., 1930. *Українська літературна мова XVI ст. і Український Крехівський Апостол*. Т.1., Варшава, с. 84.

СКУРАТІВСЬКИЙ, В., 1992. Наш національний феномен. *Берегиня*. № 1, с. 5-12.

СЛІПУШКО, О., 2007. Література Києворуської держави (XI-XIII ст.): Актуальні проблеми сучасних студій. *Слово і час*. № 8, с. 16.

ЧИЖЕВСЬКИЙ, Д., 1994. *Історія української літератури: Від початків до доби реалізму*. Тернопіль: Феміна, с. 212.

Larisa Reva

Vernadsky National Library of Ukraine

THE HISTORY OF NATION — THE HISTORY OF LANGUAGE, THE HISTORY OF THE WRITTEN LANGUAGE

(BASED THE EXAMPLE OF OLD UKRAINIAN LITERATURE).

Summary

The article on the history of the development of the Ukrainian language considered in close interaction with the history of the nation and the written language. The paper also discusses the problems which the Ukrainian language encounters at the current stage of development.

KEY WORDS: Ukrainian, history, language, literature.

Виктория Рыгованова

*Горловский государственный педагогический институт иностранных языков
ул. Рудакова 25, 84626 Горловка Донецкая область, Украина
e-mail: vikatriada@yandex.ru*

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

В статье рассмотрены основные подходы к изучению языковой личности в современном языкознании; систематизированы основные направления и результаты исследования языковой личности; предложено определение статуса языковой личности для интегрированных направлений современной лингвистической теории

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая личность, антропоцентризм, лингвокультурология, лингводидактика.

Современное состояние лингвистики, которое квалифицировано как полипарадигмальное, точнее можно было бы назвать методологично эклектичным. Наличие конкретной (единой) методологии и четкая эпистемическая база – характерная ситуация для середины XX столетия, тогда как для лингвистической теории конца XX – начала XXI столетия естественной является либо канонизация определенной концепции языкового анализа, которая иногда приравнивается к парадигме в рамках той или иной лингвистической школы, либо совмещение эпистемиологических принципов, детерминированное потребностью в комплексном, многовекторном исследовании сложного, часто аномального феномена языка. «Неудивительно, что современная лингвистика в целом не может быть зачислена ни по ведомству естественных, ни по ведомству гуманитарных наук. Относя ее к «наукам о человеке», мы по умолчанию предполагаем, что имеется в виду другое содержание, чем если бы мы, например, говорили о медицине или антропологии» (цит. по (Чурилина 2006, с. 42).

В начале XXI столетия ситуация усугубилась из-за стремления лингвистов к целостному всеединому знанию, из-за понимания того, что объяснение языка невозможно без привлечения научного потенциала разных направлений науки. Процесс поиска смежных теорий разных наук для анализа языка привел к возникновению и развитию интегрированных направлений лингвистики: психолингвистики, когнитивной лингвистики, этнолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии и т. д. Но создание таких основополагающих для современной лингвистической теории направлений зачастую определяло однобокое исследование языковых явлений, ограничение возможности ввода других компонентов для изучения феномена языка, и в целом привело к методологическому эклектизму в лингвистике. Такое состояние стали называть критическим, эпистемиологической смутой, научной революцией, теоретическим переворотом.

Исследователи, определяя современный парадигмальный простор языкознания, называют разные его атрибуты или «принципиальные установки» (термин Е. С. Кубряковой): экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, экспланаторность (Кубрякова 1995). По мнению других лингвистов, «современное лингвистическое мышление определяется принципом антропоцентризма и вытекающими из него принципами экспансионизма, функционализма, экспланаторности, семантикоцентризма» (Попова 2003, с. 75). Таким образом, ведущая роль в языкознании отведена изучению человека в языке, вокруг чего прямо или косвенно сосредоточивается проблематика исследований, проводимых представителями новых синтетических научных дисциплин. «Поиски нового пути развития лингвистики приводят исследователей к наследству античности, поворачивают их «вперед к Гумбольдту», и на первый план выдвигается «великий метод» – антропоцентризм» (Селиванова 2004, с.7).

Объект такой познавательной направленности – живой организм человеческого языка – заставляет лингвистов искать точки пересечения, синтезировать разные научные парадигмы и методы, и, таким образом, дополнять «великий метод» антропоцентризма этноособенностями, культуроцентризмом или корректировать его в зависимости от специфики анализа языка. Именно многовекторностью объекта анализа, которым является язык, постоянно ускользающий от жестких методологических рамок, и объясняется парадигмальный или методологический эклектизм.

В свете такого положения в лингвистической теории актуальной остается проблема построения лингвистической терминологии, на основе которой, без разночтений, можно выработать конкретные выводы и рекомендации, поскольку современная терминологическая база лингвистики характеризуется образностью и метафоричностью в силу междисциплинарного характера современного познания, что, в свою очередь, приводит и к ре-терминологизации, ср.: языковая картина мира, языковая личность, морфемный шов и т. д.

Появление этих понятий обусловлено не только названными выше факторами, а и такими императивами (термин О. А. Корнилова), как: культурологический и лингвистический (Корнилов 2003, с. 77). Суть первого в том, что знакомство с любой культурой, ее изучение может быть неполным, если в поле зрения исследователя не окажется такого компонента, как склад мышления нации, который зафиксирован в национальном языке представителей данной культуры. Соответственно, связь культуры народа и его языка не требует доказательств. «Культуру можно определить как то, ЧТО данное общество делает и думает. Язык же есть то, КАК думают» (Сепир 1993, с. 193). Так, мы проникаем в образ мышления нации, в ее способ видения мира, понимаем особенности менталитета носителей данной культуры и данного языка, только познав план содержания этого языка, тогда как глубинное знакомство с семантикой другой культуры предполагает овладение языковой картиной мира именно этого национального общества как системой его видения мира. Лингвистический императив появления понятий связан с проблемой интерпретации результатов практических исследований по внешнему структурированию семантических полей, с практикой становления идеографических словарей, с необходимостью концептуальной интерпретации систематизированной лексики. Такая интерпретация требует от исследователя определения четких лингвистических позиций. Лингвистика как раз указывает на то, что язык открывает доступ не только к огромной массе информации, содержащейся в описаниях мира, но и к тем феноменам внутри человека, которые связаны с деятельностью высшей нервной системы – сознания и мозга. В этом аспекте лингвистику интересует вопрос о том, в каком виде даны человеку знания о языке и знания языка, как складываются эти знания в целостную модель мира, как она строится и как, в свою очередь, организуясь в особую систему, – картину, – она затем воздействует на нас. Поэтому-то для культуролога и лингвиста создание такого познавательного артефакта (языковая картина мира, языковая личность) является научно и прагматично необходимым.

Такое выделение и изучение каузаторов введения в научный обиход понятий позволит перевести словосочетания «картина мира», «языковая личность» из разряда образных выражений, метафор, которые по воле исследователя могут приобретать разное значение, в категорию терминов. Не останавливаясь подробно на особенностях возникновения и содержания понятий «картина мира», «языковая картина мира», тесно связанных с понятием «языковая личность», обратимся к статусу последнего в языкознании.

Понятие «языковой личности», разработанное В. В. Виноградовым на материале художественной литературы для описания языковой личности автора и персонажа, достаточно хорошо разработано в современной русистике (Ю. Апресян, В. Гак, Ю. Караулов, М. Китайгородская, В. Красных) и украинистике (Ф. Бацевич, А. Огуй, Е.

Селиванова, Л. Ставицкая, Л. Струганец, О. Тарасова, Н. Шумарова). С тем, чтобы разобраться в самых разнообразных определениях, толкованиях, в которых часто те же слова имеют различное содержание, либщ одно и то же значение передается разными словами, предлагаем различать разные подходы, охватывающие множество интерпретаций: 1) лингвокультурологический и лингводидактический; 2) узкий и широкий. Предложенные направления различаются способами описания языковой личности и, соответственно, масштабностью рассматриваемой проблематики. Предложенные нами подходы к изучению языковой личности созвучны с мнением о том, что языковая личность – это многослойная и многокомпонентная парадигма речевых личностей.

Для лингвокультурологии характерным является акцент на собирательный культурно-исторический образ; на личность, существующую в пространстве культуры и отраженную в языке; на национально-культурный прототип носителя языка. В связи с этим предметом исследования становится синтетический образ языковой личности, сформированный множеством воплощений разных индивидов в языке. Поэтому лингвокультурология обращает свое внимание на взаимосвязь «язык – культура – этнос», ставя перед исследователем задачу – изучить воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру. Такой подход позволил языковедам выделить подтип языковой личности – историческую языковую личность, методика исследования которой основана на языковом анализе текстов, созданных одним человеком или различными людьми, и материалов словарей. Подобная реконструкция языковой личности определенной эпохи, по нашему мнению, является несколько однобокой, хотя и трудоемкой. Ведь составление языкового паспорта или же фоторобота языковой личности той или иной эпохи путем выделения ее идиостилистических особенностей опирается на тексты всегда ограниченные жанрово, идейно-тематически, стилистически, а указанные ограничения неизбежно отражаются на облике восстанавливаемой языковой личности. Лексикографический способ воссоздания языковой личности ограничен необходимостью использования статистического метода, который, являясь относительным для целостного моделирования естественного языка, для прикладной лингвистики остается перспективным.

Лингвокультурологический подход, основываясь на структурной организации языковой личности, предложенной Ю. Н. Карауловым, предопределил выделение также различных вариаций языковой личности: многочеловеческая и частночеловеческая личности (В. П. Нерознак), этносемантическая личность (С. Г. Воркачев), русская языковая личность (Ю. Н. Караулов), языковая и речевая личности (Ю. Е. Прохоров, Л. П. Клобукова), эмоциональная языковая личность (В. И. Шаховский).

Таким образом, в лингвокультурном аспекте язык, культура и этнос неразрывно между собой связаны и образуют средостение личности – место сопряжения её физического, духовного и социального Я.

При лингводидактическом подходе в центре внимания оказывается индивид как совокупность речевых способностей, что позволяет рассматривать языковую личность как совокупность ипостасей, в которых индивид воплощается в языке. Такое изучение языковой личности проводится преимущественно в синхронии, поэтому для исследователей в этом аспекте характерно внимание к отношению языковая норма – речевое воплощение. Материальным аналогом для изучения речевой способности является, по определению Ю. Н. Караулова, ассоциативно-вербальная сеть языка, которая выражается в ассоциативном тезаурусе. Собственно линводидактический аспект определения языковой личности положен в основу этого понятия в теории Ю. Н. Караулова, писавшего, что под языковой личностью понимается «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и воспроизведение им речевых произведений, которые различаются а) степенью структурно-языковой

сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» (Караулов 1987, с. 3).

В лингводидактике основными аспектами изучения языковой личности являются ценностный (аксиологический), познавательный (когнитивный) и поведенческий, с обязательной опорой на социолингвистические принципы (Карасик 2004, с. 22). К примеру, на Украине до сих пор остается актуальной лингводидактическая проблема, связанная с аксиологическим аспектом формирования языковой личности, который раскрывает ее ценностно-оценочные ориентации при выборе языка общения, и, к сожалению, такой выбор делается не всегда в пользу украинского языка. Такая ситуация детерминирована тем, что современный ребенок чувствует вокруг себя вакуум родной культуры. И хотя эта проблема выходит за рамки лингвистических, именно лингвистика способна помочь при выборе необходимых и полезных методов формирования языковой личности, изучив ее сущность посредством языка. Ведь теоретико-познавательный аспект языковой личности проявляется именно в понимании ею особенно важной экзистенциальной роли родного языка как основополагающего признака *homo sapiens*, что по силе влияния на всю жизнь человека не отступает перед законами природы (в терминологии Л. Вайсбергера это названо действием языкового закона человечества) (цит. по Мацько 2006, с. 3). Поэтому лингводидактический аспект анализа языковой личности представляется перспективным для влияния на языковую культуру общества посредством развития языковой индивидуальности человека, ведь «языковая индивидуальность выделяет человека как личность, и чем ярче эта личность, тем полнее она отображает языковые качества общества» (Потебня 1993, с. 98).

Широкий подход к изучению языковой личности предполагает, по нашему мнению, понимание подязыковой личностью любого человека, использующего язык. Такой подход дает возможность а) изучать человека в аспекте социальной психологии посредством рассмотрения дискурсивной модели личности для конструирования ее как совокупного множества «Я»; б) объединять идеи психоанализа и литературоведения, при котором литературное произведение предстает как результат синтеза сознательных и бессознательных процессов личности; в) развивать методику нейролингвистического программирования, опираясь на знания о языке и человеке. Иными словами, возможная парадигма последующих методик изучения языковой личности связана с использованием исходных данных, накопленных в лингвистике, что соответствует понятию «языковая», и персонологии, что соответствует понятию «личность» в биноме «языковая личность».

Узкого подход к изучению языковой личности мы понимаем как лингвистическую интерпретацию понятия «языковая личность», имеющего различный категориальный статус в зависимости от уровня языкового анализа. Так, а) в лингвистической генологии, которая является разделом коммуникативной лингвистики, языковой личности отводится статус категории внешнего влияния на коммуникацию и речевые жанры; б) в теории коммуникативных актов, языковая личность со всеми присущими ей социальными, психологическими, когнитивными, мировоззренческими особенностями является компонентом коммуникативного акта; в) в лингвопрагматике, языковая личность представлена как категория персонализации, определяемая как актуализация говорящим коммуникативной соотнесенности участников речевой ситуации, выражаемая разноуровневыми экспликаторами персональности в рамках существующих для данной лингвокультуры норм и конвенций; г) в функциональной грамматике языковая личность воплощена в функционально-семантической категории авторизации, посредством которой авторизируется высказывание и пропозиция относительно субъекта речи и мысли в теории модальной рамки высказывания и в неклассических (оценочных) модальных логиках.

Обобщая предложенную ретроспекцию изучения языковой личности в современных лингвистических аспектах, заметим, что попытка определить, какая из предложенных моделей описания является корректной, бессмысленно, все они являются

эквивалентными способами осмысления человека в пространстве языка, у каждой есть свои преимущества и свои недостатки. Но при изучении многоаспектного, многогранного феномена языковой личности необходим комплексный подход к ее анализу с учетом квалификационных признаков: собственно лингвистического, лингвокультурологического, лингводидактического, поскольку каждый из них соотносится с уровнями языковой личности, предложенными Ю. Н. Карауловым (лексиконом, семантиконом, прагматиконом). Соответственно человек предстает как подмастерье, который должен овладеть языковыми ресурсами для описания самого себя. Исследователь должен заново рефлексировать и анализировать то, что изначально приобреталось бессознательно. Определяя статус языковой личности в языкознании, мы предлагаем определить ее как категорию, имеющую внутреннюю (ядро-периферийную) структуру и внешние признаки реализации. Четкое определение типа такой категории (функционально-коммуникативная, когнитивная и т. д.), является перспективным для антропологически ориентированного языкознания.

Литература

- Актуальные проблемы современной лингвистики. 2006. *Учеб пособие*. Сост.. ЧУРИЛИНА, Л. Н Москва: Флинта: Наука.
- БАЦЕВИЧ, Ф. С., 2006. Вступ до лінгвістичної генології. *Навчальний посібник*. Киев: Видавничий центр «Академія».
- ВОРКАЧЕВ, С. Г. 2001. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании. *Филологические науки*, № 1, с. 64-72.
- ДЕМЬЯНКОВ, В. З., 1992. Личность, индивидуальность и субъективность в языке и речи. «Я», «субъект», «индивид» в парадигмах современного языкознания. Москва: ИНИОН РАН, с. 9-34.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н., 1987. *Русский язык и языковая личность*. Москва.
- КАРАСИК, В., 2004. *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Москва.
- КОРНИЛОВ, О. А. 2003. *Языковые картины мира как производные национальных менталитетов*. Москва: ЧеРо.
- КУБРЯКОВА, Е. С., 1995. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа). *Язык и наука конца XX века*. Москва.
- МАЦЬКО, Л., 2006. Аспекти мовної особистості у перспекції педагогічного дискурсу. *Дивослово*, № 7. с. 2-4.
- ПОПОВА, Е. А., 2003. Человек как основополагающая величина современного языкознания. *Филологические науки*, № 3, с. 69-77.
- ПОТЕБНЯ, А., 1993. *Мысль и язык*. Киев.
- СЕЛІВАНОВА, О. О., 2006. *Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія*. Полтава: Довкілля.
- СЕЛІВАНОВА, О. О., 2004. Нариси з української фразеології (психологічний та етнокультурний аспекти). *Монографія*. К.-Черкаси: Брама.
- СЕПИР, Э., 1993. *Избранные труды по языкознанию и культурологии*. Москва.

Viktoria Rydovanova

Horlivka State Teacher's Training Institute of Foreign Languages, Ukraine

LANGUAGE PERSONALITY IN MODERN LINGUISTIC THEORIES

Summary

Principal approaches to the analysis of the language personality in modern linguistics have been viewed; particular results achieved in this field have been systemized; the status definition of the language personality for interdisciplinary oriented linguistic theories has been done.

KEY WORDS: language personality, anthropocentric linguistic, linguistic culturology, linguistic didactics.

Ieva Rudzinska

Latvian Academy of Sport Education

Brivibas gatve 333, Riga LV-1006, Latvia

e-mail: ieva.rudzinska@inbox.lv

BASIC CHARACTERISTICS OF QUALITY SYSTEM FOR ESP COURSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The article highlights the development of quality assurance system for ESP study courses in Latvian HEIs (higher education institutions), using separate subject quality evaluation system developed for school accreditation, and consisting of teacher and student activities, and the assessment of students' achievements. The system has been improved by adding language skill development activities, students' mental activities in study process, students' well-being in study process and the ideas from Total Quality Management, including resource management, aim setting and results evaluation. The quality of ESP study course has been evaluated by questioning 257 Latvian higher education institutions students from all types of Latvian HEIs. The results show which language learning activities are more and which less practiced, which language teaching methods are not widely applied, which students learning activities are more and which less practiced, and which teaching activities are considered as being most important, and what factors determine teacher as being a good language specialist, good pedagogue and good manager of students' learning.

KEY WORDS: language skills development, ESP (English for Special Purposes), TQM (total quality management).

Introduction

To survive in contemporary economic situation, higher education institutions need to possess high intrinsic quality. Quality has to be assured in all important aspects of institutions work, which are outlined by institutions themselves, as well as determined by environment, in which the institution operates.

The ideas of quality assurance worked out for the whole institution and study Program can be applied also to developing quality system in the framework of one study course, in our case, English for Special Purposes or ESP.

The *aim*: work out the quality assurance system in ESP study course in higher education institutions, apply this system in analyzing the quality of ESP study course in several Latvian HEIs (higher education institutions), finding their main benefits and drawbacks.

Theoretical basis used for the development of the quality system

In the management of higher education institutions usually is used the quality system developed specially for education by Netherlands Institute of Quality – EFQM (European Association for Quality Assurance in Higher Education 2005), which is based on the ideas of TQM – total quality management. This system consists of 9 parts, concerning the strategy development, resources of higher education institution, the processes leading to obtaining the desired results and the results themselves.

Latvian Ministry of Education has developed a system for evaluating the quality of study process at secondary schools, which consists of 3 main parts (See: www.akreditacija.lv):

1. Students activities
2. Teacher work
3. Assessment of students achievements.

The criteria for evaluating the quality of the mentioned aspects are the variety of actions, as well as relevance of activities to fostering individual development, i.e. their individualization. In ICC Conference 2004, held in Riga, specialist from Latvian Ministry of Education Evija Papule

analyzed the results of applying this quality system to the instruction of foreign languages at Latvian schools. She stated that in Latvian schools the quality of instruction and learning (teachers' and students' activities) is very high: teachers use different language teaching methods, different forms of activities, absorbing activities, connect studies with real life and other subjects, students enjoy the classes, learn about other nations and better understand their own, etc.), but the greatest concern is about the testing, which is somehow does not foster studying and is not relevant to the needs of individual students.

Let us consider these parts in more detail.

1. Student activities in language learning consist of skill (reading, listening, writing and speaking) development. Kramsch and other authors stress the necessity to use authentic materials, he says that students need authentic materials, representing global culture, which should be acquired through different context (Kramsch 1993).

In the Announcement, which International Commission for education of the 21st century has given to UNESCO (Announcement 2001, p.158) is mentioned new kind of reading, which is an ability to 'move in the sea of knowledge'. Helping to acquire such kind of reading skills, teachers will be teaching students not only to learn, but also to find, connect and evaluate facts and information.

Acquiring speaking skill, it is necessary to develop both monological and dialogical skill, which has already been pointed out by Pasov (Pasovs 1987) and separately described also in the European Common Framework for language Learning, Teaching and assessment (in Latvian translation: Kaltigina 2002).

From writing development activities Pasov (Pasovs 1987) recommends to use letter writing, description of separate events, articles for newspapers or magazines (Pasovs 1987). Dudley-Evans and John (Dudley-Evans and John 1998) pay special attention to the acquiring of the writing process, they advise to teach writing both as product and process.

Considering the development of listening skills, Buck (Buck 2001) and Rost outline problems connected with listening texts, which teachers usually have to develop themselves, using audio, video and TV recordings. Such texts are a challenge for students to understand the language how it is used by native speakers, so Rost advises to prepare authentic texts themselves.

2. Teachers' activities in leading students' learning process are connected with choosing adequate language teaching methods, using different forms of study work organization, connecting studies with real life, a. o. Among the new methods, which are still finding their place in foreign language teaching one should mention CLIL – content and language simultaneous teaching (CLIL/EMILE 2002), which develops student's intercultural competence, gives possibility to use language as it is studied, and even is able to attract more male students to language studies. Therefore this method is highly advisable to be used in HEIs, and we have included it in the list of language teaching methods recommended for HEIs.

3. Bahman and Knight (Bahman and Knight 1998) acknowledge that contemporary tool for assessment of students' achievement and leading of students' learning is Portfolio assessment (Bahman and Knight, 1998). Combe and Barlow (Combe, Barlow 2004) stress the following peculiarities of portfolio assessment:

- It focuses on students' work documenting in the course of time, not on student's comparison among themselves.
- Emphasis is laid on students' strong, not weak sides.
- Students' learning styles are taken into account.

- Assessment is authentic, because it is based on activities, which show progress. Therefore Portfolio assessment is included in the list of kinds of assessment, which are advisable in HEIs too.

4. Additional important factors to be included in ESP course quality management system.

4.1. Teachers' and students' activities during study process on the inner, mental level.

These processes have been investigated by Blūma from the University of Latvia. She found out that the questioned lecturers (234) considered that (Blūma 2004) teaching is mainly giving of knowledge (68 p.c.), etc., and only 1 respondent acknowledged that it is cooperation between a lecturer and a student, the lecturer should help the student to learn. Learning in its turn is mostly acquiring, receiving information (63.4 p.c.), acquiring skills (19.5 p.c.), etc., and developing thinking (2.4 p.c.).

The answers show that 'lecturers do not understand the basics of teaching or learning' (Blūma 2004, p. 55). The same refers to teachers' activities in study process. They give, explain, interpret new information: 36.5 p.c. Students in study process follow the ideas of the lecturer (17.07 p.c.). The researcher makes conclusions that lecturers do not understand what is learning, therefore cannot lead it. She is sure that lecturers do not need so much new knowledge in pedagogy about how to use their rich repertoire of pedagogic methods, but such personal aspects as attitudes (towards students, their learning and lecturers' learning, and to changes), self-development (ability to delegate responsibility, creativity, ability to accept the student as center, self-evaluation, professional values (Blūma 2004, p. 57).

Further Blūma expresses her belief that the lecturers can think, reflect and evaluate, but they must also be ready to seek and provide opportunities for supporting students and developing individual achievement, which is possible, if the teacher becomes manager of students' learning (Ibid.).

4.2. Students' well-being during study process

Danish psychologist Hans Henrik Knoop (Knoop, <http://forskning.dpu.dk/>) has investigated optimal learning environment. He expresses the belief of psychologists that people learn the best, if they find themselves in pleasant physical and social atmosphere, in which they are adequately challenged with content that has a meaningful perspective.

In education it means that 'we should create pleasant pedagogical environments where we enjoy being, and where we aim for some higher purpose together'. Strong emotional experience also helps to remember better and longer. In other words, 'educational aims should stimulate learning and creativity, if we want to succeed in fulfilling them'.

4.3. The aims and results of quality management.

Total quality management system consists of aims, resources, processes and results. Students' and teachers' activities, and students' well-being are connected with study process, aims, resources, and results we have included in the new system separately.

The development of the new quality system:

Taken into account the ideas of total quality management, new developments about students' inner mental processes during study process, and students' well being during study process, we have improved the quality system proposed by Latvian Ministry of Education, by adding four new blocks.

The new quality system consists of 7 blocks:

1. Aim setting.
2. Students work in developing 4 language skills (reading, listening, and in different settings of their work (group work, pair work, etc.).
3. Students' well-being during the classes
4. Students' mental activities.

5. Teachers' work.
6. Assessment of students' achievements.
7. Resources of the study course, quality assurance procedures and some results of quality assurance.

The sample: we applied the formed system to the analysis of the quality of ESP study course in 12 Latvian higher education institutions representing all main types of the given institutions (state university type HEIs, state non-university type HEIs, private non-university type HEIs, altogether 257 Latvian higher education institutions students).

Data analysis: The mentioned 7 aspects of quality assurance in ESP study course were analyzed with the help of students' questionnaire, consisting of:

1. Block 1: 6 statements + 1 free question, to 4 of them there were only 2 responses (Yes/No), to 2 – six responses corresponding to different levels of students' level in foreign language). Answers to free answer question were coded.

2. Block 2: 5 statements (reading-translation and speaking activities), 4 statements (writing and listening activities). In response to the statements the students were offered only two choices: Yes and No in order to find out whether the students use the stated activities or not, and afterwards we formed new variables (rt0, w0, s0, l0), by summing up all "Yes" answers about corresponding activities.

3. Block 3: 4 statements, which were followed by 4 point Likert scale (totally agree, agree, disagree, and completely disagree).

4. Block 4: 26 Yes/No statements + 2 free answer questions (who and/or what helps you in the study process, what is your most useful learning experience). In order to group the activities of students and find out the most characteristic ones, the answers to 26 Yes/No statements results were analyzed with the help of factor analysis. Free answers were coded.

5. Block 5: 19 statements followed by 4-point Likert scale (totally agree, agree, disagree, and completely disagree). In order to group the activities of students and find out the most characteristic ones, the answers were analyzed with the help of factor analysis.

6. Block 6: 6 Yes/No statements in order to find out whether the students practiced the given forms of assessment or not, and afterwards by summing up all Yes answers was formed new variables (as0).

7. Block 7: 14 4-point Likert scale statements + 2 free answer questions. In order to group the activities of students and find out the most characteristic ones, the answers to 14 statements were analyzed with the help of factor analysis. Free answers were coded.

Results and analysis

The data were analyzed with the help of SPSS 15 program. We will present in detail results about language skills developing activities (Block 2), students' mental activities (Block 3), teachers' activities (Block 4), resources of the study course, quality assurance procedures and some results of quality assurance (Block 7).

1. Language skills developing activities.

1.1. Reliability statistics

To find out, whether the data are valid, we calculated reliability statistics for items: rt0, w0, l0, s0. The results are reflected in Table 1.

Table 1

Reliability statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,693	4

Results: since the value of Cronbach's Alpha is, 693, the reliability of the given items can be estimated as satisfactory.

1.2. To find out, whether the data are distributed normally, we performed Kolmogorov-Smirnov Test. The results are reflected in Table 2.

Table 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	rt0	w0	s0	l0
N	257	254	255	253
Normal Parameters(a,b)				
Mean	3,93	2,45	3,76	1,54
St.dev	1,326	1,418	1,208	1,301
Kolmogorov-Smirnov Z		2,309	3,226	3,352
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000

The results testify that the data are distributed normally.

1.3. In order to investigate how tight are the correlations between the sums of different 4 language skills developing activities, we estimated Pearson's correlations. The results are reflected in Table 3.

Table 3

Correlations

		rt0	w0	s0	l0
t0	Pearson Correlation	1	,312(**)	,250(**)	,271(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	257	254	255	253
0	Pearson Correlation	,312(**)	1	,450(**)	,467(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	254	254	253	251
0	Pearson Correlation	,250(**)	,450(**)	1	,427(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	255	253	255	253
0	Pearson Correlation	,271(**)	,467(**)	,427(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	253	251	253	253

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

The results testify that there is medium strong correlation between the summative activities used for developing all 4 language skills, the strongest correlation being between the sum of listening skills and writing skills (0,467), and between the sum of activities developing speaking and writing skills. Since the 4 skills are different, they refer to different channels and modes (productive, receptive), medium strong correlation is acceptable.

1.4. The difference in the variety of different language skills developing activities.

1.4.1. University type state HEIs and non-university type state HEIs.

We compared means with T tests for 2 independent samples. The results are reflected in Table 4.

Table 4

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means				
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
		Lo wer	Upper	Lower	Upper	Lo wer
t0	Equal variances assumed	,625	,108	,222	-,329	,546
0	Equal variances assumed	,000	-,852	,206	-1,259	-,444
0	Equal variances assumed	,000	-1,322	,160	-1,638	1,006
0	Equal variances assumed	,000	-1,391	,194	-1,775	1,007

Results: the diversity of writing, speaking and listening activities practiced at non-university type higher education institutions is higher than in university type state HEIs (significance level 99%).

1.4.2. The difference in the diversity of 4 language skills developing activities in non-university type state higher education institutions and non-university type private HEIs.

Results: the diversity of reading activities practiced at non-university type state higher education institutions is higher than in non-university type private HEIs (significance level 95%).

The diversity of speaking activities practiced at non-university type private HEIs is higher than in non-university type state higher education institutions (significance level 95%).

The diversity of listening activities practiced at non-university type state higher education institutions is higher than in non-university type private HEIs (significance level 99%).

Thus in non-university type private institution students speak more than in non-university type state institutions, but in non-university type state institutions they listen and read more than in non-university type private institution.

1.4.3. The difference in the diversity of 4 language skills developing activities in non-university type state HEIs and non-university type private HEIs.

Results: the diversity of writing, speaking and listening activities practiced at non-university type state higher education institutions is higher than in non-university type private HEIs (significance level 95%), only the diversity of reading activities is not much significantly different).

2. Students' mental activities.

2.1. Reliability analysis.

Table 5

Reliability statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,724	28

Conclusions: since reliability is 72%, it can be considered as satisfactory.

2.2. Correlations.

Correlations between different student mental activities are significant at 0.01 or 0,05 level, there are only some activities, which do not correlate. Due to satisfactory level of correlation, factor analysis can be used.

2.3. Factor analysis.

Table 6

Rotated Component Matrix(a)

	Component				
	1	2	3	4	5
11	,706				
10	,638				
8	,523				
25	,514				
9	,512				
14	,511				
13	,472				
12	,444				
5					
1					
16		,659			
21		,633			
2		,526			
4		,500			
6		,466			
23		,418			
27			,658		
24			,642		
26			,610		
20			,445		
22				,619	
7				,574	
15				,407	
3					
19					,632
					,572

18					
17					,422

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 7 iterations.

Factor 1– higher level intellectual activities - T11: explain facts, events, phenomena, T10: compare, T8: describe pictures, situations and phenomena, T25: learn to use reference literature, T9: connect new information with already known, T14: express hypothesis about possible situations and results, T13: use the acquired knowledge in novel situations, T12: analyze.

Factor 2 – connection with practice, expression of one’s opinion: T16: use new knowledge in practice, T21: use skills in situations, which will be at work, T2: remember structures (e. g., grammar rules), T4: follow the ideas of teacher, T6: read study material and notes, T23: express my views, opinion.

Factor 3 – cooperation with other students: T27: learn from other students, T24: listen to others, T26: learn to cooperate, T20: develop skills (reading, listening, speaking, writing) – with less weight.

Factor 4 – evaluate given information, critical thinking - T22: evaluate, if something is worth learning, T7: take notes, T15: understand information.

Factor 5 – try to perfect myself - T19: try to acquire basics (opposite, with “-“sign), T18: try to acquire everything, T17: study individually.

Conclusions: mental activities students are engaged in ESP study course can be divided into 5 factor groups - higher level intellectual activities (the highest weight has T11: explaining facts, events, phenomena); connection with practice, expression of one’s opinion (most important T16 - use new knowledge in practice), cooperation with other students (most important T27 - learning from other students, evaluate given information, critical thinking (most important T22 - evaluating, if something is worth learning, trying to perfect oneself (the highest weight T18 - try to acquire everything).

3. Teachers’ activities.

3.1. Reliability analysis.

Table 7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,835	19

Conclusions: Since reliability is 84%, it can be considered as high.

3.2. Correlations between different teachers’ activities.

Usually activities correlate at significance level of 0.01 or 0.05, and do not correlate only with three or four activities (from 19). Only Tt3 (paying special attention to basics of subject) does not correlate with 7 other activities, and Tt19 (content and language simultaneous teaching) does not correlate with 12 other activities. Since correlations are sufficiently tight, we can perform factor analysis.

3.3. Factor analysis.

Table 8

Rotated Component Matrix(a)

	Component				
	1	2	3	4	5
tt14	,806				
tt13	,676				
tt15	,585				
tt5	,488				
tt8	,485			,400	
tt4	,443	,421			
tt3		,688			
tt7		,640			
tt11		,576			,417
tt6		,563		,430	
tt12		,441			
tt17			,795		
tt18			,682		
tt16	,453		,520		
tt19			,424		
tt2				,823	
tt1				,682	
tt9					,829
tt10					,686

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a Rotation converged in 8 iterations.

Factor 1 – student involvement: TT14: encourage students to participate in different activities, TT13: create good atmosphere in the classroom, TT15: promote cooperation, TT5: share experience, TT8: consult students, TT4: promote students learning process.

Factor 2 – get students interested in the essence of the subject, its basis: TT3: pay special attention to the explanation of basics of the subject, TT7: evaluate students' knowledge, TT11: motivate students to learn, TT6: raise students' interest, TT12: challenge the students, TT4: promote students learning process.

Factor 3 – adjusting to different levels and learning styles: TT17: use different tasks for different levels, TT18: use different tasks for different learning styles, TT16: create learning promoting atmosphere, TT19: teach language and other subject simultaneously.

Factor 4 – explanation of new information: TT2: explain, interpret new information, TT1: give new information, TT8: consult students

Factor 5 – connection with future profession: TT9: show how to use information, TT10: connect studies with future profession, TT11: motivate the students to learn.

Matrix is complicated, and factors TT4, TT8, TT11 and TT16 fall in several groups.

Results: in students' opinion the most important teachers' actions in developing students communicative competence are students involvement, getting students interested in the essence of the subject, adjusting teaching to different levels and learning styles, explanation of new information and connection of teaching with future profession.

4. Resources of the study course, quality assurance procedures and some results of quality assurance.

4.1. Reliability analysis

Table 9

Reliability statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,758	15

Results: reliability is 76p.c., which is satisfactory.

4.2. Correlations

Results: quality assurance procedures mostly correlate with each other either on significance level 0.01 or 0.05, and do not correlate with two from 15 items. Item ae9 – availability of libraries and computer rooms, and ae7, ae8 – the scope of literature and computers - do not correlate with more than 2 other activities of quality assurance.

Conclusions:

Ae3 (The students ability to perform successfully communicative tasks they have set before them) correlates with

- The teacher giving regular feedback
- The teacher being good leader of students' learning process
- The students learning being well managed

Ae11 (Teacher being good subject specialist) correlates with ae1(study course is connected with real life), ae2 (in study course there are many situations, where knowledge can be used), ae5 (students can get marks answering what has been covered in classes), ae6 (teacher sets high requirements), ae12 (teacher is good pedagogue), ae13 (teacher is good manager of students' learning), ev1 (students learning is well managed) at significance level of 0.01, and with ae4 (teacher regularly informs me about pluses and minuses of my learning at significance level 0.05.

Ae12 (Teacher being good pedagogue) correlates with ae1, ae2, ae4, ae5, ae12, ae13, ae0, ev1 at significance level of 0.01. Conclusion: "Teacher being good pedagogue" correlates with "teacher regularly informs me about pluses and minuses of my learning" at higher level of significance than "Teacher being good subject specialist".

Ae13 (Teacher being good leader of students' learning process) correlates with ae1, ae2, ae4, ae5, ae6, ae10 (study environment promotes learning), ae11, ae12, ae0, ev1 at significance level of 0.01, and with ae3, ae8 (the scope of literature in library is satisfactory, ae9 (library and computer labs are available to students) at significance level of 0.05. Conclusion: if the teacher is good manager of students' learning, he/she has achieved that the students study in comfortable environment, the scope of literature in library is satisfactory, and library and computer labs are available to students.

4.3. Factor analysis

Table 10

Rotated Component Matrix(a)

	Component				
	1	2	3	4	5
e12	,848				
e13	,808				
e11	,776				
v1	,702				
e2		,816			

e1		83	,6		
e4		32	,5		
e7			63	,7	
e10			71	,6	
e8			69	,6	
e9			40	,6	
e3				41	,8
e6					26

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a. Rotation converged in 5 iterations.

Group 1: the role of teacher in quality management - ae12 (teacher is good pedagogue), ae13 (teacher is good students' learning process manager), ae11 (teacher knows subject well), ev1 (students learning is well managed),

Group 2: intrinsic characteristics of students' learning management, – ae2 (in study course there are enough situation, where I can use my knowledge and skills), ae1 (study course corresponds to real life needs), ae4 (the teacher regularly informs me about + and – of my studying).

Group 3: resources and study environment - ae7 (the condition and number of study rooms is satisfactory), ae10 (study environment promotes learning, ae8 (the scope of literature in library is satisfactory), ae9 (library and computer rooms are readily available to students).

Group 4: some results of study process, obtained communicative competence – ae3 (I can successfully perform communicative tasks, which I have set for myself).

Group 5: high requirements set by teachers – ae6 (teacher sets high requirements).

Conclusions: the developed system helped us to get some insights about the quality of students learning management in ESP study course in Latvian HEIs: identify most often used language skill development activities in different types of HEIs, as well as group most characteristic teacher and student activities during study process and find their relative importance, and finally find correlations between teacher being good language specialist, good pedagogue and good students' learning management with activities determining these qualities.

References

- Announcement, which International Commission for education of the 21st century has given to UNESCO.* 2001
- BLŪMA, D., 2004. Teaching as Management of Student Learning, *In: Education and Management in Latvia*, 2(24), Riga: University of Latvia, p. 46-59.
- BUCK, G., 2001. *Assessing Listening*. Cambridge University Press.
- CLIL/EMILE, 2002. *The European Dimension – Action, Trends and Foresight Potential*. Cambridge University Press.
- DUDLEY-EVANS, T. and JOHN, M.J., 1998. *Developments in English for Specific Purposes*. Cambridge University Press.
- ENQA announcement about standards and guidelines for Quality Assurance in Higher Education, European Association for Quality Assurance in Higher Education*, 2005.
- KALTIGINA, M.; KULAČKOVSKA, A.; BLUSANOVIČA, I., VAZNE, I., 2002. *Svešvalodu prasmju līmeņi (The levels of foreign language according to European Common Framework of Language Learning, Teaching and Testing)*, Rīga.
- KNOOP, M., <http://forskning.dpu.dk/>

KRAMSCH, M., 1993. *Context and Culture in Language Teaching*, Oxford University Press,
PASOVŠ, A., 1987. *Svešvalodas stunda skolā*, (The lesson of foreign language at school), Rīga,,: Zvaigzne.

Иева Рудзинска

Латвийская академия педагогики спорта

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ КУРСА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Резюме

Статья посвящена развитию системы обеспечения качества для курса английского языка в специальных латвийских учреждениях высшего образования (УВО). Эта система используется для школьной аккредитации отдельных предметов, и состоит из оценки преподавательской и студенческой деятельности. Качество курса английского языка было оценено, путем опроса 257 латвийских учащихся всех типов учреждений высшего образования.

Результаты исследования показывали какие навыки речи студентов развиты недостаточно, какие методы преподавания языка мало применимы, какие средства обучения рассматриваются студентами важными и какие факторы определяют преподавателя, как хорошего специалиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: английский язык в Специальных Целях, развитие навыков речи, TQM (Тотальное Управление качеством).

Jūratė Ruzaitė

Vytautas Magnus University

Donelaicio g. 8, LT-44248 Kaunas, Lithuania

e-mail: j.ruzaitė@hmf.vdu.lt

RELATING COGNITIVE LINGUISTICS AND SOCIOLINGUISTICS

The present paper aims to show how a combination of sociolinguistics and cognitive linguistics can be effectively applied in language studies. The paper focuses mainly on how metaphoric language can be investigated in different text types from an integrated theoretical and methodological socio-cognitive approach. The analysis suggests in what ways variation across registers and change across time can be important in relation to metaphor and other related issues. The analysis also demonstrates that multiple modes of communication closely interact and therefore should be taken into account when analysing texts. The comparison of metaphoric language use in advertising and a news article suggests that metaphors are used for different purposes in different texts. Thus not only language communities use language differently, but there also exists intra-cultural variation among speech communities. Finally, the paper demonstrates that corpus data can provide some important socio-cultural information, which can help to approach metaphors from a broader perspective.

KEY WORDS: cognitive linguistics, sociolinguistics, metaphor studies, language change and variation, multimodality.

1. Introduction

Modern linguistics is marked by an increasing rejection of orthodox divisions between different perspectives. Many approaches are constantly being reinterpreted and have become highly heterogeneous; different linguistic fields are gradually merging by flexibly combining the theoretical perspectives and methodological principles of different approaches. Rigid conventional divisions often limit an investigation by oversimplifying the concept of communication and do not suffice for modern linguistic research, which frequently aims now to encompass multiple layers of communication. Communication is often seen as being inextricable from the participants of a speech act and the physical settings where it is used. Therefore, I will argue in this paper that a combination of sociolinguistics (SL) and cognitive linguistics (CL) would be rewarding for multiple reasons.

SL and CL are very vast and varied approaches and cannot be defined strictly in one way. Broadly speaking, SL can be defined as a linguistic approach that typically studies how language is influenced by different aspects of society, including cultural norms, expectations, and context. CL is an approach that typically studies the relation between language, culture and cognition; it focuses on language as an instrument for organizing, processing and conveying information. At the surface level, the terms themselves suggest a different focus of the two approaches: *sociolinguistics* suggests that the main focus in this approach is on social factors, whereas *cognitive linguistics* suggests that the main focus is on cognition. Despite these differences, the two approaches share a number of common features and intersect to a certain extent. Thus I will try to show to what extent the two approaches are similar and how they *have been* or *can be* integrated.

CL and SL are fundamentally related since they often take into account the same aspects of language and communication, though they often treat them differently; such aspects are:

- meaning flexibility (cf. Lakoff and Johnson 1980, Hymes 1974);
- continuity as opposed to discreteness (cf. Rosch 1975, 1977, 1978; Meyerhoff 2001; Taylor 2003; Croft and Cruse 2004);
- society and culture, shared knowledge/cognition (e.g. Lakoff and Johnson 1980, 1999; Kövecses 2005; Yu 1999, 2002; Langacker 1987; Clausner and Croft 1999, Taylor 2003: 90; Potter and te Molder 2005, Edwards 1997; Bloomfield 1933; Gumperz 1971: 114-128;

Labov 1972, Hymes 1974, Hudson 1980, Fasold 1984, Wardhaugh 1986, Montgomery 1995, Mesthrie et al. 2000, Romaine 2000; Trudgill 2000, and others);

- social and political issues (ideology and power).

Many aspects of language and communication, however, have been traditionally approached from a single non-integrative perspective. The present paper will focus on how the two approaches can be integrated to study metaphoric language with regard to variation and change; these aspects have been mainly analysed within the framework of one approach, SL or CL. I will first overview how these aspects have been studied until recently to show how the gap between the two approaches can be bridged. In the results section, I will provide two examples of how a combination of SL and CL can be applied in the analysis of authentic data.

2. Metaphor in relation to social and political issues

The most recent studies of metaphor in different discourse types show that the gap between CL and SL is gradually being bridged by merging the two approaches. The need to do this has been expressed recently by some cognitive linguists, for instance, Knott, Sanders and Oberland (2001), Östman (2005: 121), Kövecses (2005), Croft and Cruse (2004, p. 329). Socio-cognitive linguistic research is still scarce but some examples of how CL can successfully supplement social discourse studies can be found in:

- persuasive power of metaphor in political discourse (Charteris-Black 2005);
- metaphor in political discourse (British and German) (Musolff 2004);
- French discourse markers (Jayez and Rossari 2001);
- definiteness (Epstein 1999, Brizuela 1999);
- cognitive effects of shell nouns (Schmid 1999);
- pronominal references in narratives (Emmot 1999);
- scientists' use of metaphors (Liebert 1997);
- iconographic references to politicians (Hawkins 1997);
- conceptual metaphors in English, Dutch and French economic discourse (Boers and Demecheleer 1997);
- advertising effects explained by referring to metaphoric processes (Forceville 1995).

The interrelation of CL and SL is most commonly applied in investigations that use cognitive metaphor theory together with the sociolinguistic theory of ideology; I will briefly discuss some examples of such research to show what results such analyses can yield. What is important is that such research is practically applicable in dealing with real-world issues.

El Refaie (2001), for example, demonstrates that cognitive metaphor theory can be successfully applied on a socio-political dimension. Her study shows that Austrian newspaper reports metaphorically represent refugees as water, criminals, or as an invading army. Similarly, without referring explicitly to the cognitive framework, a very recent study of Baker and McEnery (2005) shows that refugees are typically framed as packages, invaders, pests or water in newspaper language. Inevitably, when represented through such metaphors, refugees are framed highly negatively.

An interesting combination of different approaches is the investigation of Kitis and Milapides (1997), who treat metaphors in newspaper discourse as (1) a cohesive device, (2) a persuasive device (also cf. Thomas et al. 2004), and (3) a means of constructing ideology. Metaphors used in a newspaper article under their investigation activate the reader's knowledge of a particular frame and create certain expectations (e.g. through emotionally charged metaphors, Greece is consistently represented as a mythological personality that is aggressive and suppressive in relation to Macedonia).

The investigations of Mark Johnson and George Lakoff demonstrate how conceptual metaphors can signal ideologies of political groups. Johnson in his book *Moral Imagination* (1993) and Lakoff in *Moral Politics* (1996) discuss what moral systems exist in society and the political world by analysing the conceptual metaphors pervading everyday language. For instance, G. Lakoff (1996, also 1995 and 2004) observes that Liberals can be consistently

characterised by the metaphor of THE NURTURANT PARENT, whereas Conservatives are seen as THE STRICT FATHER, the nation being conceptualised as FAMILY. It has to be mentioned here that this model has been tested on empirical data by Cienki (2005), who studies television debates between Alan Gore and George Bush. An important observation that Cienki (2005) makes is that the metaphors of THE NURTURANT PARENT and THE STRICT FATHER are relatively seldom expressed verbally, but they become most evident when studying another modality, namely, the speakers' gestures.

In his response to the Iraq war, Lakoff (2004, 2005) comments on the lexis chosen by the US politicians to refer to the war. He shows how the appropriate selection of terms can frame the events in Iraq in a politically useful way. Different words like *war*, *crime*, *terror*, *struggle* evoke different frames (also Lakoff 2004) that ascribe different roles and powers to politicians and the president. As Lakoff (2005) observes, when the term *war* is replaced by the word *struggle* ('*global struggle against violent extremism*') to describe the events in Iraq, this may have an effect on the public attitude to the issue.

Koller (2004) uses metaphors as a starting point for her CDA analysis of women's representations in business journals where women are framed through the prevailing metaphor BUSINESS WOMEN ARE WARRIORS. Such a metaphor 'foregrounds the aggressive aspect of business discourse and practice' (Koller 2004: 13). Interestingly, the other metaphors applied to describe businesswomen such as MONARCHS, CAREGIVERS, CAPTAINS, WILD ANIMALS or HARD OBJECTS are considerably less frequent.

To generalise, studies of public discourse carried out by sociolinguists and cognitive linguists in different countries clearly show that the use of metaphors is principally a social and political issue. On the one hand, as Lakoff (1995) points out, conceptual metaphors 'have enormous social consequences, and they shape [our] understanding of our everyday world'. On the other hand, the choice of metaphors is often predetermined by social factors and thus can be extended to social issues like ideology. In this way, the CL theoretical framework grounds the interpretations of empirical data and social phenomena. The extended perception of metaphor accommodates the needs of a multilayered investigation.

3. Variation

Both approaches admit variation primarily by acknowledging that meaning is not rigid and is context dependent. However, variation is treated differently in the two approaches. CL focuses mainly on the cross-linguistic and cross-cultural variation of metaphors (e.g. Cienki 1999, Emanatian 1999, Yu 1999, Hiraga 1999, Goddard 2003). Kövecses (2005) is among the few who consider variation of metaphors within a language and, what is important, relates it to different discourses. He touches upon the use of metaphors in advertisements, movies, and cartoons where linguistic metaphors interact with their non-linguistic realizations. He also relates metaphor to politics and morality as well as social practices.

Sociolinguists treat variation from a much broader perspective. As they stress, speakers have a variety of linguistic **choices** at their disposal which are especially important in meaning making and text comprehension (e.g. Labov 1972: 188, Halliday 1978, Fasold 1984, Stiller 1998, Coulmas 2005). Since there exist lexical, grammatical, syntactic and phonological options, variation is an inevitable phenomenon, but what is important is that it is predetermined largely by social factors. Such factors include social stratification, sex, age, culture, language change, communicative functions, identity issues, and political reasons (Coulmas 2005, Wardhaugh 1988). As Trudgill says, choice is very often 'based on social and political rather than linguistic factors' (2000: 3).

It can be stated that variation is important in both SL and CL, but the two approaches attack it from different perspectives. Cognitive linguists typically focus on cross-linguistic variation. Sociolinguists, meanwhile, study both intra-linguistic and cross-linguistic variation on very different social dimensions.

4. Change

Change in CL is extremely rarely focused on. To my knowledge, change is explicitly referred to only by Stearns (1994) in his book *American Cool: Constructing a Twentieth-Century*

Emotional Style and Kövecses in his most recent book *Metaphor in Culture: Universality and Variation* (2005).

Sociolinguistics strongly emphasises constant fluctuation of word meaning and usage. It relates language change and lack of stability to social factors. Sociolinguists study variation on a variety of dimensions. For example, they distinguish between ‘change from above’ and ‘change from below’ (Romaine 2000). Change is also studied in relation to gender differences, speakers’ age and social ideology (for an overview, see Romaine 2000, p. 144-165, Wardhaugh 1986, p.187-210, Mesthrie et al. 2000, p.114-147). Another important area related to language change is the speakers’ attitude to certain linguistic features (Trudgill 2000), which can predetermine dialect changes; for example, prestige markers start prevailing, whereas stigmatised features start disappearing.

5. Results

The present analysis focuses on two examples of texts with visuals, i.e. an advertisement and an article in a magazine. These texts have been selected to demonstrate how different levels of verbal and non-verbal communication interact in texts and how those levels can be approached from an integrative theoretical and methodological framework.

5.1. Verbal and non-verbal persuasion strategies: A case-study of an advertisement

The advertisement under investigation (see Appendix 1) is based on an integration of text and visuals, which are equally important when creating the overall message. Both verbal and non-verbal means of expression are used to develop a novel metaphor.

The verbal imagery of business, represented here as a shovel, is visualised by the picture of a simple spade. The non-verbal information is supported verbally by employing a novel metaphor, BUSINESS IS A SHOVEL; see Appendix 1 and examples (1) and (2):

(1) We’ll get to work to simplify ... your complex operation and turn it into an efficient, reliable, and cost effective tool that works.

(2) Because if your business needs to dig a little deeper, think of us as your shovel.

Such imagery is possibly grounded on the idiomatic expression *call a spade a spade* (‘to speak about things in a direct and honest way (even though it may be impolite)’ (*Longman Dictionary of Contemporary English* 2003)). The simplicity of a spade as an object is further emphasized by the syntactic simplicity of the sentences used in the advertisement; the four most important sentences in block letters are simple sentences that follow the SV pattern (e.g. *Shovels don’t wish.*)

Thus the message of this advertisement is created through an interaction of different levels which include:

- simple syntactic patterns (SV patterns),
- lexical simplicity,
- orthography (the first four sentences are all in block letters),
- the image of a very simple spade.

In addition, the lexical and syntactic simplicity resembles spoken English, which decreases the level of formality.

5.2. Metaphor in relation to newspaper language and ideology

A short analysis of the advertisement presented in Appendix 1 has shown how a novel metaphor can be developed both verbally and non-verbally. The present section will focus on how an existing metaphor is developed in a news article and how it can be related to ideological issues (see Appendix 2, which presents the first page of the article). In the article, which discusses the issues related to the concept of privacy in China, text dominates but it is also strongly supported by visuals.

In this article, privacy is metaphorised in several ways: (1) A DESIRABLE GOAL (as in example (3)), A VALUABLE POSSESSION (as in examples (4-5)), and A TERRITORY (as in examples (6-7)).

- (3) The long march to privacy.
- (4) Privacy is gaining currency.

- (5) Privacy has not traditionally been valued in China.
- (6) Some policemen balked at a perceived invasion of their privacy.
- (7) His bosses were “intruding too much into my private life”.

Such a verbal representation of privacy is supported by an ironic picture of a girl in her private room who is being watched by omnipresent eyes of secret observers.

The metaphoric model of privacy is thus created through an interaction of different levels, which include:

- a metaphoric headline (*The long march to privacy*);
- an ironic picture (cf. the ironic introductory sentence above the picture);
- the metaphors in the article.

Hence both verbally and non-verbally the abstract concept of privacy (which is important here ideologically) is metaphorised as a private territory that should not be intruded into.

It is important to note that privacy in China is seen here through the prism of western culture since privacy is described by applying the metaphoric language commonly used in Anglo-Saxon discourse. This can be supported by corpus data, which provide some important socio-cultural information relevant to the present analysis. Collocations of *privacy* have been obtained from the British National Corpus (BNC), which consists of 100 million words and provides a very evident picture of how privacy is typically metaphorised in English.

All in all, the word *privacy* occurs 1,030 times in the BNC (accessed at <http://corpus.byu.edu/bnc/>). The most typical collocational patterns in which it occurs demonstrate that the metaphor PRIVACY IS A TERRITORY dominates. The collocates that show the prevalence of this metaphor are presented in Table 1. Table 1 provides the frequency of each collocate and the Mutual Information (MI) score, which shows how strong the relations between collocates are (if the score is higher than 3.0, the semantic bonding between the two collocates is strong).

Table 1

Collocations of privacy (BNC)

Collocate	Frequency	MI Score
invaded	17	5.63
Intrusion	11	5.50
invade	7	5.49
intruding	5	6.24
intrusions	5	5.93
seclusion	5	5.83
intrude	5	5.73
invades	2	6.28

As Table 1 demonstrates, the most typical collocates include different forms of *intrude* and *invade*. All these collocates form a strong relationship with the noun *privacy*. The data strongly suggest that in English privacy is typically metaphorised as an enclosed territory.

Some revealing data have been obtained from the American corpus of *Time* magazine (accessed at <http://corpus.byu.edu/time/>), which consists of 100 million words and more than 275,000 articles from 1923 to present. The historical development of the word *privacy* shows how the concept gained its importance through time (see Table 2) and how it was metaphorised in different time periods (see Table 3).

Table 2

Frequency of privacy (in Time magazine)

Decade	Frequency	Decade	Frequency
1920s		1970s	
1930s		1980s	
1940s		1990s	
1950s		2000s	
1960s			

Table 2 shows that the issue of privacy was rarely discussed in the magazine until the 1940s, and gained exceptional importance only after 1960 (esp. in the 1990s).

As the collocates of *privacy* presented in Table 3 demonstrate, different forms of *invade* and *invasion* are the most frequent collocates of *privacy* that were used in different periods.

Table 3

Collocates of privacy (in Time magazine)

	1940s	1950s	1960s	1970s	1980s
Invasion	6	9	34	29	
Invasions			8	8	2
Invade			6		
Invaded					4
Total:	6	9	48	37	6

The metaphor of privacy as a territory seems to have been introduced in the journalistic style in the 1940s, but became most widespread in the 1960s. The corpus data show that the metaphoric descriptions of privacy as an intruded territory are most recurrent in the 1960s (48 occurrences in total).

To sum up, this short analysis of metaphoric language used in two different text types has shown that a combination of different theoretical and methodological frameworks can yield a variety of results and can allow for a broader perspective on those results. This paper has investigated how novel and ordinary metaphors are developed both verbally and non-verbally by applying the perspective of multimodality. Multiple modes of communication, as the analysis demonstrates, closely interact and help to produce the persuasive effect of a text. The comparison of metaphoric language use in an advertisement and a news article suggests that metaphors may be used for different purposes in different texts. In advertising they function primarily as a persuasive strategy, whereas in the journalistic style metaphors are ideologically loaded. Thus not only *language* communities use language differently, but also there exists intra-cultural variation among *speech* communities (advertisers and journalists in this case). Another dimension that proved to be important in the present study is the historical development. Corpus data, which can provide some important socio-cultural insights, show that there is variation with regard to the use of metaphors not only across registers but also across time.

4. Concluding remarks and future prospects

SL and CL analyses go beyond the practice of theorising about language; they extend linguistic observations to non-linguistic spheres. The result is usually a broader picture/model of communication that involves such aspects as frames, categorisation, social markers, the physical environment, and social and cultural values. However, a more systematic combination of the two approaches could yield even more revealing observations about communication.

CL commonly limits its focus to cultural differences and cultural communities. So far CL has been mainly focusing on '*language* communities' rather than '*speech* communities'. Cultural differences are undoubtedly important and revealing, but it would certainly be very rewarding to incorporate more social factors in the cognitive linguistics framework. Culture is a very broad notion and too heterogeneous; there is an immense intra-cultural variation that has to be accounted for. To do that, smaller communities should be taken into consideration to see how their cognition is unique. Such smaller communities are professional communities, certain age groups, religious communities, different genders or any other communities that may have shared cognition and shared verbal activities.

So far, cognitive linguists have been attempting to produce a coherent picture of metaphoric thinking by looking for universal metaphors; thus for a long time the goal of cognitive linguists has been to look for similarities. Sociolinguists, in contrast, treat language as a highly variable and complex phenomenon and emphasise this complexity; thus they primarily look for variation, not for universality. In order to broaden its scope, CL should become socio-

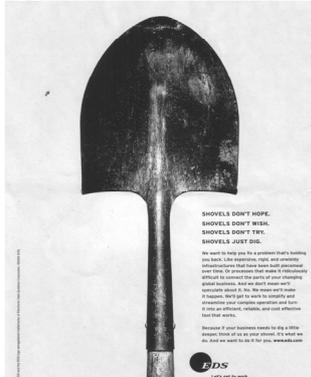
cognitive by introducing such dimensions as regional dimension, gender, age, style, diachronic, individual dimension, power and ideology, etc.

To study human thinking, CL should also more extensively go beyond metaphorical language. Choice of linguistic structures and words in general, even if they are not used metaphorically, can be revealing when studying the relation between language and thinking. As Thomas et al. observe, '[w]ords can signal strongly our attitudes to fundamental things... Which word is chosen may also affect people's perception of the world, and of themselves' (2004: 4). When studying the relation between language and thinking, non-metaphoric language is just as important as metaphoric language because words very often have different associations and those associations can signal speakers' attitudes and values.

In addition, an efficient linguistic framework should incorporate the principles of multimodality, which is being more frequently applied in SL. Multimodality allows us to take into account how different modes of communication interact. Such modes include different perception-channels: visual, auditive and tactile; thus verbal communication is seen as inextricably related to body language, visuals, setting, and other linguistic and semiotic resources.

SL is valuable for CL as a way of making cognitive theory more practically applicable, whereas CL can be rewarding for SL as a theoretical foundation that can support and supplement the interpretation of the empirical data. CL is still too much preoccupied with *what* is said without taking into consideration *how* and *when* it is said, though all these aspects should be equally important. CL in combination with SL can increase public awareness about stereotypes, ideological manipulations and other important issues. CL should contribute to a theory of language that goes beyond cognition and cultural variation and it has the potential to do it. Its framework is very important since it correlates language, culture and thought (for a discussion of the importance of uniting the two, see Agar 1997: 466); but in addition, it should also unite language and social factors.

Appendix 1. An advertisement of the EDS company (*The Economist*, Dec 10-16 2005. Vol. 377)



Appendix 2

<http://www.economist.com/world/asia/>

The long march to privacy

Jan 12th 2006 | BEIJING
From The Economist print edition

Gradually, China's people are acquiring the right to be left alone—as long as they keep quiet about politics, of course



IT IS surely telling that the characters that make up *yinsi*, the Chinese word for “privacy”, carry the connotations of illicit secrets and selfish, conspiratorial behaviour. The notion of privacy has not traditionally been valued in China, and proof of that is on display everywhere. The country's public lavatories are often open-plan affairs where locals unabashedly squat elbow-to-elbow as they tend to their business. In hospitals, modesty is often thrown to the wind as treatments are carried out in full view of milling crowds. In the most casual of social interactions, complete strangers think nothing of asking each other details—about their salary, weight and so on—that most westerners would not share even with close friends.

Despite all this, there are signs that the concept of privacy is gaining currency. Echoing the debates now common in western societies, many in China are beginning to bristle at the intrusiveness of nosy employers, data-mining marketers and ubiquitous security cameras.

References

- BAKER, P.; MCENERY, T., 2005. A corpus-based approach to discourses of refugees and asylum seekers in Un and newspaper texts. *Journal of Language and Politics* 4/2, p. 197-226.
- BLOOMFIELD, L., 1933. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- BOERS, F.; DEMECHELEER, M., 1997. A few metaphorical models in (Western) economic discourse. In Liebert et al. (eds.), p. 115-129.
- BRIZUELA, M., 1999. The selection of definite expressions in Spanish. In K. Van Hoek et al. (eds.), p. 75-90.
- CHARTERIS-BLACK, J., 2005. *Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor*. New York: Palgrave Macmillan.
- CHEN, YUEN-CHING M., 2002. The space in identity: A cognitivist approach to “outsider” discourses. In A. Duszak (ed.), p. 87-109.
- CIENKI, A., 1999. In R.W. Gibbs and G.J. Steen (eds.), p. 189-203.
- CIENKI, A., 2005. Metaphor in the “Strict Father” and “Nurturant Parent” cognitive models: Theoretical issues raised in an empirical study. *Cognitive Linguistics*, 16-2, p. 279-312.
- CLAUSNER, TIMOTHY C; CROFT W., 1999. Domains and image schemas. *Cognitive Linguistics* 10/1, p. 1-31.
- COULMAS, F., 2005. *Sociolinguistics: The Study of Speaker's Choices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- COULMAS, F. (ed.), 1997. *The Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell.
- CROFT, W.; CRUSE, D. A., 2004. *Cognitive Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- EDWARDS, D., 1997. *Discourse and Cognition*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- EL REFAIE, E., 2001. Metaphors we discriminate by: Naturalised themes in Austrian newspaper articles about asylum seekers. *Journal of Sociolinguistics* 5/3, p. 352-371.
- EMANATIAN, M., 1999. Congruence by degree: On the relation between metaphor and cultural models. In R.W. Gibbs and G.J. Steen (eds.), p. 205-218.
- EMMOT, C., 1999. Embodied in a constructed world: Narrative processing and anaphora. In K. Van Hoek et al. (eds.), p. 5-27.
- EPSTEIN, R., 1999. Roles, frames and definiteness. In van Hoek, K. et al. (eds.), p. 53-74.
- FASOLD, R., 1984. *The Sociolinguistics of Society: Introduction to Sociolinguistics*. Vol. 1. New York: Basil Blackwell.
- FORCEVILLE, C., 1995. *Pictorial Metaphor in Advertising*. London: Routledge.
- GODDARD, C., 2003. Thinking across languages and cultures: Six dimensions of variation. *Cognitive Linguistics* 14/3, p. 109-140.
- GUMPERZ, J. J., 1971. *Language in Social Groups*. Stanford: Stanford University Press.
- HALLIDAY, M. A. K., 1978. *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. London: Edward Arnold.
- HAWKINS, B. W., 1997. The social dimension of a cognitive grammar. In W.-A. Liebert et al. (eds.), p. 21-36.
- HIRAGA, M. K., 1999. DEFERENCE as DISTANCE: Metaphorical base of honorific verb construction in Japanese. In M.K. Hiraga et al. (eds.), p. 47-68.

- HIRAGA, M. K.; SINHA, C.; WILCOX, S. (eds.), 1999. *Cultural, Psychological and Typological Issues in Cognitive Linguistics*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- HOLLAND, D.; QUINN, N. (eds.), 1987. *Cultural Models in Language and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HUDSON, R. A., 1980. *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HYMES, D., 1974. *Foundation in Sociolinguistics: an Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- JAYEZ, J.; ROSSARI, C., 2001. The discourse-level sensitivity of consequence discourse markers in French. *Cognitive Linguistics* 12/3, p. 275-290.
- JOHNSON, M., 1993. *Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics*. Chicago: University of Chicago Press.
- KAY, P., 1987. Linguistic competence and folk theories of language: two English hedges. In D. Holland and N. Quinn (eds.), p. 67-77.
- KITIS, E.; MILAPIDES, M., 1997. Read it and believe it: How metaphor constructs ideology in news discourse. A case study. *Journal of Pragmatics* 28, p. 557-590.
- KNOTT, A.; SANDERS, T.; OBERLANDER, J., 2001. Levels of representation in discourse relations. *Cognitive Linguistics* 12/3, p. 197-209.
- KOLLER, V., 2004. Businesswomen and war metaphors: 'Possessive, jealous and pugnacious'?. *Journal of Sociolinguistics* 8/1, p. 3-22.
- KÖVECSES, Z., 2005. *Metaphor in Culture: Universality and Variation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LABOV, W., 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- LAKOFF, G., 1972. *Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts*. Göteborg.
- LAKOFF, G., 1987. *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago/London: University of Chicago Press.
- LAKOFF, G., 1995. Metaphor, morality, and politics, or why Conservatives have left Liberals in the dust. <http://www.wvcd.org/issues/Lakoff.html>. Accessed 12.01.2006.
- LAKOFF, G., 1996. *Moral politics: What conservatives know that liberals don't*. Chicago: University of Chicago Press.
- LAKOFF, G., 2004. *Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate*. Vermont: Chelsea Green Publishing.
- LAKOFF, G., 2005. War on terror, rest in peace. <http://www.alternet.org/story/23810>. Accessed 12.01.2006.
- LAKOFF, G.; JOHNSON, M., 1980. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- LAKOFF, G.; JOHNSON, M., 1999. *Philosophy in the Flesh*. New York: Basic Books.
- LAKOFF, G.; JOHNSON, M., 2002. Why cognitive linguistics requires embodied realism. *Cognitive Linguistics* 13/3, p. 245-263.
- LAKOFF, G.; KÖVECSES, Z., 1987. The cognitive model of anger in American English. In D. Holland and N. Quinn (eds.), p. 195-221.
- LANGACKER, R., 1987. *Foundations of Cognitive Grammar. Vol I: Theoretical Prerequisites*. Stanford: Stanford University Press.
- LANGACKER, R. W., 2002. Theory, method, and description in cognitive grammar: A case study. In B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Turewicz (eds.), p. 13-40.
- LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, B.; TUREWICZ, K. (eds.), 2002. *Cognitive Linguistics Today*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- LIEBERT, W., 1997. Stop making sense! In Liebert et al. (eds.), p. 149-183.
- LIEBERT, W.; REDEKER, G.; WAUGH, L. (eds.), 1997. *Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- MACHIN, D.; VAN LEEUWEN, T., 2003. Global schemas and local discourses in *Cosmopolitan*. *Journal of Sociolinguistics* 7/4, p. 493-512.
- MEYERHOFF, M., 2001. Dynamics of differentiation: On psychology of language variation. In N. Coupland, S. Sarangi and C. N. Candlin (eds.), p. 61-87.
- MESTHRIE, R.; SWANN, J.; DEUMERT, A.; LEAP, W. L., 2000. *Introducing Sociolinguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- MONTGOMERY, M., 1995. *An Introduction to Language and Society*. 2nd ed. London and New York: Routledge.
- MUSOLFF, A., 2004. *Metaphor in Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe*. New York: Palgrave Macmillan.
- ÖSTMAN, J., 2005. Construction discourse: A prolegomenon. In J.-O. Östman and M. Fried (eds.), p. 121-144.
- ÖSTMAN, J.; FRIED, M. (eds.), 2005. *Construction Grammars*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- POTTER, J.; TE MOLDER, H., 2005. Talking cognition and making the terrain'. In J. Potter and H. te Molder (eds.), p. 1-54.

- POTTER, J.; TE MOLDER, H. (eds.), 2005. *Conversation and cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ROMAINE, S., 2000. *Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- ROSCH, E., 1975. Cognitive reference points'. *Cognitive Psychology* 7, p. 532-547.
- ROSCH, E., 1977. Classification of real-world objects: Origins and representations in cognition'. In P.N. Johnson-Laird and P.C. Wason (eds.), p. 212-222.
- ROSCH, E., 1978. Principles of categorization'. In Rosch, E. and B. Lloyd (eds.), p. 28-49.
- ROSCH, E.; LLOYD, B. B. (eds.), 1978. *Cognition and Categorization*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
- SCHMID, H., 1999. Cognitive effects of shell nouns'. In K. Van Hoek et al. (eds.), p. 111-132.
- STEARNS, P. N., 1994. *American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style*. New York: New York University Press.
- STILLAR, G. F., 1998. *Analyzing Everyday Texts: Discourse, Rhetoric and Social Perspectives*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- TAYLOR, J. R., 2003. *Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- THOMAS, L.; WAREING, S.; SINGH, I.; PECCEI, J. S.; THORNBORROW, J.; JONES, J., 2004. *Language, Society and Power*. 2nd ed. London and New York: Routledge.
- TRUDGILL, P., 2000. *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*. 4th ed. London: Penguin Books.
- VAN HOEK, K.; KIBRIK, A. A.; NOORDMAN, L. (eds.), 1999. *Discourse Studies in Cognitive Linguistics: Selected Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- WARDHAUGH, R., 1988. *An introduction to sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell.
- YU, N., 1999. Spatial conceptualization of time in Chinese. In M.K. Hiraga et al. (eds.), p. 69-86.
- YU, N., 2002. Chinese metaphors of thinking. *Cognitive Linguistics* 14-2/3, p. 141-165.

Jūratė Ruzaitė

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

SOCIO-KOGNITYVINĖ PERSPEKTYVA KALBŲ STUDIJOSE

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra parodyti, kaip galima derinti sociolingvistikos ir kognityvinės lingvistikos teorinius ir metodologinius principus atliekant skirtingų tekstų tyrimus. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas metaforinei kalbai ir jos vartosenai skirtinguose tekstų tipuose taikant socio-kognityvinę perspektyvą. Tyrimu siekiama parodyti, kaip metaforos vartoseną lemia registras, o taip pat kaip ji kinta priklausomai nuo istorinio periodo. Tyrimas taip pat atskleidžia, kaip tekste sąveikauja kalbiniai aspektai ir nekalbinės priemonės. Metaforos vartosenos ypatumai skirtinguose tekstų tipuose išryškėja lyginant reklaminį tekstą ir žurnalo straipsnį. Tyrimo išryškėję skirtumai rodo, jog egzistuoja ne tik tarpkalbiniai, bet ir tarpžanriniai skirtumai toje pačioje kalboje. Iš straipsnyje pateikiamos tekstų analizės galima matyti, kad svarbią socio-kultūrinę informaciją galima gauti apdorojant iš tekstynų gautus duomenis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kognityvinė lingvistika, sociolingvistika, metafora, multimodalumas, žanrai, kalbos raida.

Sigita Stankevičienė

Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Vilnius in Kaunas

Muitinės g. 12, LT-3000 Kaunas, Lietuva

e-mail: sigita.stankeviciene@khf.stud.vu.lt

AUSDRUCKSFORMEN DIREKTIVER SPRECHAKTE IM AUFGABENSPEKTRUM DER CHEMIE: EINE KONTRASTIVE ANALYSE

Im vorliegenden Beitrag werden Ausdrucksformen direktiver Sprechakte unter interlingualem Aspekt erforscht. Das Ziel besteht in der Herausarbeitung eventueller Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede bei Aufgabenstellungen im Deutschen und Litauischen, um eventuelle Schwierigkeiten beim Übersetzen feststellen bzw. Hilfestellungen für Deutschlernende zur Verfügung stellen zu können.

Den Untersuchungskorpus bilden Aufgabentexte in den Lehrmaterialien der Chemie. Der Untersuchung liegt der Auffassung zugrunde, dass Aufgabentexte als Texte mit appellativer Funktion zu qualifizieren sind. Dementsprechend ist eine hohe Dichte von Direktiva zu erwarten. Formulierungsfreiheit ist hier eingeschränkt, weil Aufgabentexte an bestimmte Textsortenkonventionen gebunden sind, die von Sprache zu Sprache variieren können.

Ergebnisse der kontrastiven Analyse zeigen, dass Direktiva in deutschen und litauischen Aufgabentexten der Chemie auf vergleichbare sprachliche Strukturen aufbauen, so dass mehrere Überschneidungen bzw. weniger Divergenzen festgestellt werden können.

SCHLÜSSELWÖRTER: Sprechakt, Direktiva, appellative Textfunktion, Ausdrucksform, kontrastive Analyse

Einleitendes

Dem vorliegenden Beitrag liegt die Auffassung zugrunde, dass Sprechakttypen als interkulturelle Konstanten gelten, d. h. sie sind universell und existieren in allen natürlichen Sprachen, es unterscheiden lediglich sprachliche Mittel zum Vollzug des jeweiligen Sprechakts: den Sprachträgern, die einen bestimmten Sprechakt vollziehen wollen, stehen mehrere potentielle Ausdrucksmittel im jeweiligen Sprachsystem (*langue*) zur Verfügung, wobei sie auf bestimmte Ausdruckformen häufiger oder seltener zurückgreifen, sie bevorzugen oder vermeiden können. Sprachverwendung in einer kommunikativen Situation ist jederzeit mit Selektion verbunden: der Sprecher greift aus dem Inventar sprachlicher Mittel diejenigen heraus, die er für seine Äußerung als am besten geeignet betrachtet (Čepaitienė, 2007). Bei der Analyse der Ausdruckformen zum Vollzug eines bestimmten Sprechakttyps ist demzufolge sehr wichtig, Situationsfaktoren, Gebrauchsfrequenz gewisser Formen und ihre Wahl determinierende Faktoren u. Ä. zu berücksichtigen.

Sprechakttypen sind ein häufiges Objekt kontrastiver (intralingualer bzw. interlingualer) Untersuchungen. Da Sprechakttyp als Tertium Comparationis betrachtet werden kann, können Äußerungen einer kontrastiven funktionalen Analyse (Chesterman, 1998) unterzogen werden: eine Äußerung in der Sprache A ist einer Äußerung in der Sprache B pragmatisch äquivalent, wenn beide unter entsprechenden Bedingungen zum Vollzug desselben Sprechakttyps dienen (gleiche kommunikative Funktion besitzen).

Ziel und Aufgaben der Untersuchung

Gegenstand dieses Beitrags sind die Ergebnisse einer interlingual-kontrastiven Untersuchung von Aufgabentexten des Fachs Chemie auf die sprachliche Realisierung der in ihnen enthaltenen direktiven Sprechakte. Es wird aufgezeigt, welche der sprachlichen Mittel, die das deutsche bzw. litauische Sprachsystem (*langue*) grundsätzlich zur Realisierung von Direktiva zur Verfügung stellt, in den analysierten Aufgabentexten tatsächlich verwendet werden.

Ziel der Analyse bestand demzufolge darin, die Ausdrucksformen zum Vollzug der Direktiva in deutschen und litauischen Aufgabentexten festzustellen und zu vergleichen. Die Analyse gliederte sich in einige Phasen:

- Vergleich der Gebrauchsfrequenz einzelner Ausdrucksformen und Feststellung determinierender Faktoren;
- Bestimmung der zusammenfallenden Ausdrucksformen, d. h. welche Äußerungsformen sind für beide zu vergleichende Sprachen gemeinsam;
- Bestimmung der divergierenden Ausdrucksformen, d. h. nur für eine Sprache typisch.

Den Untersuchungskorpus bilden 400 Belege (je 200 für Deutsch und Litauisch), die manuell aus Textstichproben ausgezählt wurden. In Anlehnung an (Göpferich 1995, s. 69) wurde als Sprechakt jeweils ein Hauptsatz mit allen von ihm abhängigen Gliedsätzen und gliedsatzwertigen Konstruktionen gewertet, wenngleich Sprechaktgrenzen nicht grundsätzlich mit Satzgrenzen zusammenfallen.

Die Belege entstammen jeweils fünf zufällig gewählten Quellen. Dabei handelt es sich um Lehrbücher oder Lehrmaterialien, die zwischen 2001 und 2007 erschienen sind. Für die Analyse wurde Textstichproben gebildet. Es wurden die Aufgabentexte gewählt, die nach Brinker (2005) den appellativen (didaktisch-instruktiven) Texten zuzuordnen sind: Aufgaben, Übungen, Versuchsanleitungen, Lösungsbeispiele u. ä.

Theoretischer Hintergrund

Der Differenzierung der Sprechakte wurde weitgehend Searles Sprechaktklassifikation zugrunde gelegt. Anhand der drei Hauptkriterien Illokutionszweck (*illocutionary point*), Entsprechungsrichtung (*direction of fit*) und ausgedrückte Aufrichtigkeitsbedingung (*expressed sincerity condition*) unterscheidet er folgende fünf Sprechaktklassen (zitiert nach Cruse, 2004): Repräsentativa (*representatives*), Direktiva (*directives*), Kommissiva (*commissives*), Expressiva (*expressives*) und Deklarationen (*declarations*).

Bei den Direktiva handelt es sich um illokutionäre Sprechakte, bei denen der Sender seinen Empfänger veranlasst, eine Handlung auszuführen, wobei er seine Absicht explizit oder implizit zum Ausdruck bringen kann (Lyons 1996). Beim Vollzug eines direktiven Sprechakts wird das Verhalten des Empfängers beeinflusst, er ist gezwungen auf die Äußerung zu reagieren und irgendeine Handlung auszuführen.

Direktiva lassen sich in aggressive Direktiva wie Verbot, Befehl, Anweisung, Verpflichtung u. ä. (dabei besteht der Sender auf die Ausführung der Handlung durch den Empfänger) und höfliche Direktiva wie Bitte, Empfehlung, Vorschlag, Erlauben u. ä. (dabei ist vom Adressaten selbst zu entscheiden, den Willen des Adressanten auszuführen) gliedern (Gudavičienė 2006). Göpferich (Göpferich 1996, s. 67) unterscheidet folgende Subkategorien der Direktiva:

- Anweisen und sein negatives Pendant Verboten (unbedingt notwendige Handlungen). Zu dieser Kategorie rechnet sie auch Fragen (als Aufforderungen zu antworten) und Übungsanweisungen;
- Empfehlen und sein negatives Pendant Abraten (nicht notwendige, sondern nur vorteilhafte Handlungen);
- Erlauben (Antonym von Verboten; der Sender billigt eine Handlung des Empfängers);
- Sprechakte des Freistellens (Für-nicht-nötig-Erklärens) (nicht notwendige Handlungen).

Der Einfachheit halber wurde für die eigene Untersuchung die Klassifikation Göpferichs gewählt.

Sprachliche Mittel zum Vollzug direktiver Sprechakte

Zweck aller Direktiva besteht darin, den Adressaten zu einer Handlung zu veranlassen. Der Adressant bringt seinen Willen mit Hilfe von spezifischen sprachlichen Mitteln zum Ausdruck – direkt oder indirekt. Für alle Direktive ist appellative Funktion kennzeichnend. Am

häufigsten werden direktive Sprechakte mit imperativischen Sätzen realisiert und sind in diesem Fall leicht erkennbar. Es kommt aber auch vor, dass auch Aussagesätze appellative Funktion besitzen.

Direktiva sind demzufolge explizit oder implizit realisierbar. Bei direkten illokutionären Sprechakten handelt es sich um Äußerungen, deren illokutionäre Kraft durch performative Verben (Vollzugsverben) in der 1. Person realisiert wird. Bei indirekten illokutionären Akten besteht ein gewisser Unterschied zwischen der propositionalen und Sprechachtbedeutung (Gudavičienė 2006).

Bei der Analyse der Ausdrucksformen der Direktiva sind sehr unterschiedliche syntaktische, morphologische und lexikalische Mittel feststellbar, so dass Anwendbarkeit eines einheitlichen Klassifizierungskriteriums ausgeschlossen ist. Der vorliegenden Untersuchung liegt die im Hinblick auf ein anderes Sprachenpaar ergänzte Klassifikation Göpferichs (1996), die sprachliche Mittel zum Vollzug der Direktiva anhand grammatischer oder semantischer Kriterien in drei Kategorien unterteilt: Handlungszuweisungen, deontische Hinweise und Performative. Ausdrucksformen der Direktiva im Litauischen sind bei Gudavičienė (2006) beschrieben, wobei sie sich vorwiegend auf explizite Formulierungen beschränkt.

Unter dem Begriff „Handlungszuweisungen“ fasst man alle syntaktisch als Imperativsätze zu analysierenden Äußerungen. Die direktive Illokution wird hier durch eine der folgenden grammatischen Formen des Verbs, das die auszuführende Handlung beschreibt, zum Ausdruck gebracht: a) der Modus (meist der Imperativ, selten der Konjunktiv I), b) imperativischer Infinitiv. Dass die verbale Kategorie „Modus“ im engen Zusammenhang mit bestimmten Sprechaktklassen steht, ist nicht zu bezweifeln. Holvoet und Judžentis (2004) heben Imperativ als den Modus hervor, deren Bezug zur Sprechaktklasse Direktiva offensichtlich sei. Den Autoren zufolge seien Indikativ und Imperativ pragmatisch markierte Glieder der Modalitätssysteme (Abb. 1.). Das Verhältnis zwischen Indikativ und Imperativ sei asymmetrisch: der Indikativ als unmarkiertes Glied wird auch in den Sätzen gebraucht, die keinen Assertionsstatus haben, der Imperativ dagegen nur zum Ausdruck deontischer Modalität. Direktiva sind somit auch mit indikativischen Formen realisierbar.

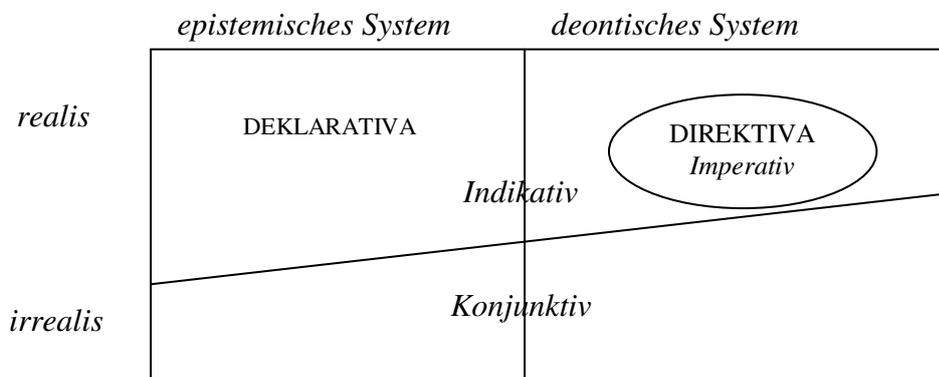


Abb. 1. System der Modi (Holvoet und Judžentis, 2004)

Unter die Kategorie „deontische Hinweise“ fallen die Äußerungen, die für den Leser bestehende Notwendigkeit und Obligationen zum Ausdruck bringen. Charakteristisch für Äußerungsformen dieser Kategorie sind Modalverben und Konstruktionen wie '*sein+zu+Infinitiv*'.

Der Kategorie „Performative“ sind alle Äußerungsformen mit einem performativen Verb (1. Person, Sg./Pl., Präs. Ind.) oder einer performativen Wendung im weitesten Sinne zuzurechnen.

Alle Äußerungsformen, die keiner der o. g. Kategorien zugehören, jedoch zum Vollzug direktiver Sprechakte dienen, sind in der Kategorie „Sonstige“ zusammengefasst. Sie variieren von Sprache zu Sprache.

Auf eine Differenzierung zwischen direkten und indirekten Sprechakten wurde verzichtet.

Ergebnisse der Untersuchung

In didaktisch-instruktiven Texten des Fachs Chemie enthaltene Direktiva können folgenden Subklassen zugeordnet werden: Anweisungen, Instruktionen, Übungsanweisungen, Lösungsanweisungen, seltener Verbote.

In den analysierten Texten wurden direktive Sprechakte mit Imperativen, deontischen Prädikaten und sonstigen Mitteln realisiert. Performative fehlen grundsätzlich, was auf Unpersönlichkeit des wissenschaftlichen Funktionalstils zurückzuführen ist.

Die Gebrauchsfrequenz einzelner Mittel im Deutschen und Litauischen ist den Tabelle 1 und 2 zu entnehmen. Obwohl die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, lassen sich einige Tendenzen beobachten. Wie auch zu erwarten war, werden imperativische Formen zum Vollzug der Direktiva in beiden Sprachen am häufigsten gebraucht (prototypische Ausdrucksform). Da Sicherheit im Chemielabor eine große Rolle spielt, sind in Versuchsanleitungen auch viele deontische Prädikate zu finden, die Verbote und strenge Anweisungen beinhalten.

Tabelle 1

Häufigkeit der Äußerungsformen für Direktiva im Deutschen

	Zahl der Belege (Anteil in %)
Handlungszuweisungen	
Imperativ (2 Pers. Pl.)	36 (18 %)
Imperativischer Infinitiv	38 (19 %)
<i>Man</i> +Konjunktiv 1	3 (1,5 %)
Deontische Hinweise	
<i>Müssen / sollen</i>	14 (7%)
<i>Sein + zu + Infinitiv</i>	16 (8 %)
<i>Dürfen</i> (mit Negation), <i>verboten sein</i>	5 (2,5 %)
<i>Es ist erforderlich / notwendig etc.)</i>	2 (1 %)
Sonstige	
Fragesatz	21 (10,5 %)
Indikativ Präs. Passiv	52 (26 %)
Indefinitpronomen <i>man</i> + Ind. Präs.	13 (6,5 %)
<i>insgesamt</i>	200 (100 %)

Tabelle 2

Häufigkeit der Äußerungsformen für Direktiva im Litauischen

	Zahl der Belege (Anteil in %)
Handlungszuweisungen	
Imperativ (2 Pers. Pl.)	65 (32,5 %)
Imperativischer Infinitiv	5 (2,5 %)
Deontische Hinweise	
<i>Privalėti, turėti, reikėti</i>	11 (5,5 %)
<i>Neleisti, drausti, negalėti, galėti tik ...</i>	13 (6,5 %)
<i>(Yra) būtina / privalu</i>	9 (4,5 %)
Sonstige	
Fragesatz	24 (12 %)
Indikativ Präs. Passiv	57 (28,5 %)
Indikativ Präs. Aktiv (1. Pers. Pl.)	16 (8 %)
<i>insgesamt</i>	200 (100 %)

Selektion der Äußerungsformen für Direktiva ist stark an Textsortenkonventionen im jeweiligen Fachbereich gebunden. Man nehme als Beispiel deutsche und litauische Versuchsanleitungen. Hier dominieren Passivformen (im Deutschen auch mit Passiv konkurrierende unpersönliche Ausdruckformen, beispielsweise *man*-Konstruktionen), obwohl imperativische Sätze hier durchaus möglich wären.

Die Auflistung der Äußerungsformen in den Tabellen zeigt, dass mehrere Ausdrucksformen in beiden Sprachen verwendet werden. Es gibt weniger Differenzen, als man es erwarten könnte.

Zusammenfallende Äußerungsformen

Sowohl in litauischen als auch in deutschen Aufgabentexten wird nur die Höflichkeitsform des Imperativs gebraucht:

(1) *Nach Beendigung der Reaktion **bestimmen Sie** den pH-Wert der zurückbleibenden Lösung.*

(2) ***Pagaminkite** 200 ml 0,15 N H₂SO₄ iš 50,33 % sieros rūgšties, kurios $\rho = 1,4 \text{ g cm}^{-3}$.*

Der imperativische Infinitiv wird ebenfalls in beiden Sprachen verwendet:

(3) *Die Lösungen in den Kanister für „Andere Säuren“ **geben**.*

(4) *Rūgščių, šarmų ir brangių medžiagų liekanas **supilti** į specialius indus, rankas gerai **nusiplauti** su muilu.*

Als ökonomische Form konkurriert der imperativische Infinitiv im Deutschen mit Imperativ, wovon auch fast gleiche Belegzahl zeugt. Insbesondere in Sicherheitshinweisen sind diese knappen Formulierungen zu finden und gelten als konventionell. Mit nur 5 Belegen (2,5 %) stellt imperativischer Infinitiv im Litauischen jedoch eher Ausnahme als Regelfall dar.

In der Kategorie „deontische Prädikate“ lassen sich viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sprachen finden. Zum Ausdruck der Notwendigkeit bzw. Obligationen dienen aktivische und passivische Formen der Verben *müssen, sollen* vs. *privalėti, turėti, reikėti*:

(5) *Der gesamte Versuch **muss** unter dem Abzug durchgeführt werden.*

(6) *Arme und Beine **sollen** durch die Kleidung bedeckt sein.*

(7) *Tam studentas **turi** mokėti darbą liečiančią teorinę paskaitų kurso dalį, parašyti, reakcijų lygtis, atsakyti į klausimus ir išspręsti uždavinius.*

(8) *Jis **privalo** vykdyti dėstytojų ir kitų katedros darbuotojų nurodymus, mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems.*

(9) *Šildant mėgintuvėlį su skysčiu, jo atvirąjį galą **reikia** nukreipti nuo savęs ir bendradarbių, nes užviręs skystis iš mėgintuvėlio gali išstikšti.*

Notwendigkeit kann in beiden Sprachen auch adjektivisch ausgedrückt werden (dt. *erforderlich, notwendig*, lt. *privalu, būtina*):

(10) *Bei Versuchen im Reagenzglas **ist es erforderlich** Reagenzlösungen tropfenweise zuzusetzen.*

(11) *Rūgščių, šarmų ir brangių medžiagų liekanas **privalu** pilti į specialiai tam skirtus indus su neutralizuojančiomis medžiagomis, bet ne į kriaukles.*

Verbote werden in beiden Sprachen durch bestimmte Verben im Aktiv oder Passiv realisiert (dt. *nicht dürfen, verboten sein*, lt. *neleisti, drausti, negalėti*):

(12) *Gefäße (Reagenzgläser u. ä.), die gefährliche oder stinkende Stoffe enthalten, **dürfen nicht** durch den Raum getragen werden.*

(13) *Ant laboratorinio stalo darbo metu **gali būti tik** būtini reagentai, reikiami įrenginiai ir darbų sąsiuvinis. Nuo gretimo stalo imti reagentų **negalima**.*

(14) *Koncentruotas ir nuodingas medžiagas bei jų tirpalus **draudžiama** siurbti pipete.*

Auch Fragesätze sind als Direktiva zu interpretieren, weil die Aufgabe durch Umformung jederzeit expliziert werden kann:

(15) ***Kokią** masę vandens ir 25 % H₂SO₄ tirpalo reikia sunaudoti 250 g 10 % tirpalo paruošti? >> **Apskaičiuokite**, kokią masę vandens ir 25 % H₂SO₄ tirpalo reikia sunaudoti 250 g 10 % tirpalo paruošti.*

(16) *Wie ist das unterschiedliche Verhalten der beiden Farbstoffe bei dieser Extraktion zu erklären? >> Erklären Sie das unterschiedliche Verhalten der beiden Farbstoffe bei dieser Extraktion.*

Wie bereits erwähnt, ist Passiv Präsens (3 Per. Sg./Pl.) dominierende Ausdrucksform der Direktiva sowohl in litauischen als auch in deutschen Versuchsanleitungen:

(17) *Beim Erreichen dieser Temperatur wird der Brenner abgestellt und der Temperaturverlauf noch solange weiter verfolgt, bis (...)*

(18) *Pipetė įmerkiama į tirpalą ir lūpomis tirpalas įsiurbiamas virš brūkšnio.*

Beim Passiv wird der Handlungsträger nicht erwähnt, so dass die auszuführende Handlung an erste Stelle rückt. Diese Äußerungen sind aber auch in imperativische Sätze umformbar: *Beim Erreichen dieser Temperatur stellen Sie den Brenner ab (...); įmerkite pipetę į tirpalą (...).*

Divergierende Äußerungsformen

Im Deutschen stehen einige sprachliche Mittel zur Verfügung, die es im Litauischen aus sprachstrukturellen Gründen nicht gibt. Es handelt sich dabei zumeist um syntaktische Synonyme der bereits besprochenen Ausdrucksformen.

Mit imperativischer Funktion wird in deutschen appellativen Texten das Indefinitpronomen *man* mit Konjunktiv I gebraucht:

(19) *Man gebe ein kleines Stück Lithium Metall in Wasser.*

Es handelt sich dabei um eine seltene Form des Imperativs, die in bestimmten Textsorten, beispielsweise Kochrezepten, gebraucht wird. Höhere Verwendungshäufig sind auch in fachlichen Textsorten zu erwarten, wovon auch drei Verwendungsbeispiele im Untersuchungsmaterial zeugen.

Die deutsche Konstruktion „*sein+zu+Infinitiv*“ steht in Konkurrenz mit Modalverben und dient ebenfalls als deontischer Hinweis:

(20) *Natriumfluorid ist mit äußerster Vorsicht und nur im Abzug zu handhaben, (...).*

Als Alternative zum Passiv werden *man*-Konstruktionen zum Vollzug der Direktiva gebraucht:

(21) *Man deckt dann die brennende Spirale mit einem 250 ml Becherglas soweit ab, dass (...).*

Im Untersuchungsmaterial wurde eine litauische Ausdrucksform der Direktiva gefunden, die im Deutschen zwar zur Verfügung steht, aber nicht in dieser Funktion verwendet wird. In litauischen Lösungsanleitungen wurde 16mal 1. Person Indikativ Präsens Aktiv festgestellt. Die Aufgabe wird gewöhnlich im Imperativ oder als Fragesatz formuliert und die Lösungsanleitung immer in der ersten Person Plural:

(22) *Apskaičiuokite 62 % sieros rūgšties tirpalo molinę koncentraciją.*

Sprendimas. 1.5 lentelėje **randame** tirpalo tankį: (...). 1 l 62 % sieros rūgšties tirpalo masė yra 1520 g. **Apskaičiuojame** grynos sieros rūgšties kiekį l šio tirpalo: (...).

Diese litauische Form scheint in der Textsorte konventionell zu sein. In dieser Textsorte lässt sich ein kooperatives Verhältnis zwischen dem Adressanten und Adressaten feststellen, als ob die Aufgabe gemeinsam gelöst würde. In analogen deutschen Texten dominiert dagegen unpersönliche Ausdrucksweise – Passiv oder sein Ersatz.

Schlussfolgerungen

Anhand der Ergebnisse der kontrastiven Analyse lassen sich folgende Schlussfolgerungen formulieren:

- Sowohl in litauischen als auch in deutschen Aufgabentexten der Chemie werden konventionelle Ausdrucksformen zum Vollzug der direktiven Sprechakte verwendet.
- Durch Gegenüberstellung der sprachlichen Mittel konnte festgestellt werden, dass die meisten Ausdrucksformen der Direktiva zusammenfallen, wobei geringere oder größere Unterschiede in der Verwendungshäufigkeit feststellbar sind.
- Als prototypische Ausdrucksform der Direktiva in Aufgabentexten beider Sprachen ist höflicher Imperativ einzustufen.

- Selektion der Ausdruckformen hängt stark von Textsortenkonventionen ab, die streng eingehalten werden.
- Ergebnisse der kontrastiven Analyse sind vielfach in der Übersetzungsdidaktik und -praxis anwendbar. Angesichts der unterschiedlichen Verwendungshäufigkeit des imperativischen Infinitivs im Deutschen und Litauischen ist es zu empfehlen, den deutschen imperativischen Infinitiv mit der litauischen Höflichkeitsform wiederzugeben und umgekehrt.
- Kontrastierung der Textsortenkonventionen der deutschen und litauischen Lösungsanleitungen bietet andere Übersetzungslösungen für deutsche Sätze im Passiv.

Literatur

- BRINKER, K., 2005. *Linguistische Textanalyse*. Berlin: Erich Schmidt.
- CHESTERMAN, A., 1998. *Contrastive Functional Analysis*. Amsterdam. Philadelphia. John Benjamins Publishing Co.
- CRUSE, A., 2004. *Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford University Press.
- ČEPAITIENĖ, G., 2007. *Lietuvių kalbos etiketas: semantika ir pragmatika*. Šiauliai. ŠU leidykla.
- GÖPFERICH, S., 1996. Direktive Sprechakte im Textsortenspektrum der Kraftfahrzeugtechnik: Konventionen im Deutschen und im Englischen. In: *Fachliche Textsorten: Komponenten – Relationen – Strategien* / H. Kalverkamper, K.-D. Baumann (Hrsg.). Forum für Fachsprachenforschung. Tübingen: Narr, s. 65-99.
- GUDAVIČIENĖ, E., 2006. Direktyvai kaip ilokucinių aktų rūšis. *Lituanistika*. T. 67. Nr. 3., p. 60-68.
- HOLVOET, A.; JUDŽENTIS, A., 2004. Nuosakos kategorijos struktūra. *Gramatinių kategorijų tyrimai: straipsnių rinkinys*. Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius. Lietuvių kalbos instituto leidykla, p. 77-104.
- LYONS, J., 1996. *Linguistic semantics*. An Introduction. Cambridge University Press.

Sigita Stankevičienė

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

DIREKTYVŲ RAIŠKA CHEMIJOS UŽDUOČIŲ TEKSTUOSE: GRETINAMOJI ANALIZĖ

Šiame straipsnyje pristatomi gretinamosios direktyvų raiškos chemijos užduočių tekstuose analizės rezultatai. Tikslas – nustatyti, kokios raiškos formos yra būdingos lietuvių ir vokiečių kalba parengtų užduočių formuluotėms, kuo skiriasi direktyvumo raiška šiuose abiejų kalbų didaktiniuose-instrukciniuose tekstuose. Gretinamosios analizės rezultatus siekiama pritaikyti vertimo didaktikos, taip pat vokiečių kalbos kaip svetimiosios mokymo reikmėms.

Tiriamąją medžiagą sudaro iš užduočių tekstai, surinkti iš chemijos mokomųjų leidinių. Tekstai analizei parinkti, remiantis samprata, kad užduotys – didaktiniai-instrukciniai tekstai, turintys apeliacinę funkciją, todėl juose tikėtinas didesnis šnekos akto tipo – direktyvų – vartojimo dažnis. Be to, rašant šio tipo tekstus neišvengiamai tenka laikytis teksto žanro normų, kurios įvairiose kalbose gali skirtis.

Gretinamosios analizės rezultatai rodo, kad direktyvų raiška vokiškuose ir lietuviškuose užduočių tekstuose yra gana panaši: dažniau vartojamos panašios kalbinės struktūros, nei skirtingos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: šnekos aktas, direktyvai, apeliacinė funkcija, raiška, gretinamoji analizė.

Solveiga Sušinskienė

Šiaulių University

Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai, Lietuva

e-mail: solveigas@gmail.com

NOMINALIZATIONS AS EXPLICIT/IMPLICIT COHESION DEVICES IN ENGLISH POLITICAL TEXTS

Politics and language are two related entities. Nominalization is a micro-structural item of the political discourse. The focus of the present paper is on the verb-based nominalizations as explicit/implicit cohesion devices in 100 top speeches of American rhetoric. There are two patterns of cohesive devices used in political speeches: nominalizations occurring with explicit underlying propositions and nominalizations occurring with implicit underlying propositions. Thus nominalizations contribute to language economy and cohesion of the texts. They play an important role in the organization of the political texts.

KEY WORDS: nominalization, cohesion, proposition, explicit, implicit, anaphora, cataphora.

Introductory observations

Over the last sixty years there has been a considerable interest in the study of the relation between language and politics. Political discourse has been described as ‘a complex study of human activity’ (Chilton and Shäffner 1997, p. 207). To put in other terms, politics cannot be guided without language. The study of political discourse covers a broad range of subject matters: ‘bilateral and multilateral treaties, speeches made during electioneering campaign or at a congress of a political party, a contribution of a member of parliament to a parliamentary debate, editorial or commentaries in newspapers, a press conference with the politician, or a politician’s memoirs’ (Shäffner 1996, p. 202). Politics like all spheres of social activity has its own particular language. This language plays a crucial role in realizing political values, ideas and political acts. Beard (Beard 2000, p. 18) argues that ‘analyzing the language of a political text, therefore, it is important to look at the way the language reflects the ideological position of those who have created it, and how the ideological position of the readers will affect their response too’. In the emergence of political thought language is not just a means of gained knowledge – it is also a means of arriving at new knowledge. This is where nominalization as a micro-structural item of the political discourse comes into view.

The focus of the present paper is on the explicit/implicit cohesion of verb-based nominalizations. Firstly, an attempt will be made to root nominalizations within the framework of text cohesive devices. In what follows, the contribution of nominalizations to the explicit/implicit cohesion of English political texts will be discussed. The aim of the present paper is to explore the verb-based nominalizations as explicit and implicit cohesion devices in political speeches. The analysis is based on 100 top speeches of American rhetoric. The top 100 speeches is a substantial database of full text transcriptions of the 100 most significant American political speeches of the 20th century, according to the list compiled by professors Stephen E. Lucas and Martin J. Medhurst. The list was determined in a nationwide survey of 137 communication scholars. The speeches were rated following two criteria: rhetorical artistry and historical impact. There were no restrictions on the genres or topics of speeches. Furthermore, a speech did not need to have been presented in the United States, but the speaker had to be the U.S. resident.

The verb-based nominalization is generally defined as a process by which the verb is converted into the corresponding noun. The nominalizations used in the corpus were derived in three ways: 1) by the use of ‘material’ suffixes, such as *-age*, *-al*, *-ance/-ence*, *-(e)ry*, *-ion/-sion/-tion/-ation*, *-ing*, *-ment*, *-sis*, *-ure*, *-th* (e.g. *to discuss* – *discussion*, *to develop* – *development*, *to depart* – *departure*, *to die* – *death*, etc.), 2) by the use of ‘zero’ suffixes (e.g. *to use* – *use*, *to talk*

– *talk, to answer – answer*, etc.), 3) other derivations (e.g. *to choose – choice, to lose – loss, to speak – speech*, etc.).

Nominalizations are a feature of much written English: they contribute to language economy and cohesion of the text. In political texts, nominalizations demonstrate preconstructed, already existing notions and ideas. Famous politicians usually deliver persuasive speeches. As noted by Beard (Beard 1997, p. 17-21), ‘it is a skill to appeal to the emotions of the listener in a way that feels natural to the audience’ Nominalization is attracting increasing interest, together with a stronger focus of non-literal texts. Being a form of condensation of information, nominalization is a very economical means of packing information and consequently frequently used in formal and impersonal prose of media news reports, bureaucratic and political speeches. Due to the imposed time limit of the speeches such texts are concise and succinct.

Coherence and cohesion of the political texts

The text is a unit of functionally integrated sentences. At the deep level, the text is a unit of functionally integrated propositions, which are linguistically realized as clauses and, consequently, those clauses are realized in the text as sentences. Sentences are the final stage of the process. Thus functionally, the text is similar to the sentence: it is the largest unit of communication. Similar to the sentence, the text consists of three levels: semantic (logical), syntactic, and informational-pragmatic. The semantico-syntactic level is the deep level of the text and the informational-pragmatic level is its surface level. At the semantico-syntactic level, the text is composed of propositions while at the informational-pragmatic level, the text is composed of sentences. The sentence is a building block of the text. However, the text is not a simple collection of sentences. The sentences used in the text are integrated logically-semanticly and informationally-pragmatically. The logico-semantic and informational-pragmatic integration is the coherence of the text and the realization of the coherence by linguistic means is the cohesion of the text. Thus the text has both: coherence and cohesion.

The cohesion of the text is generally realized by linguistic devices which help the reader or listener to grasp the logico-semantic ties better. Consider the following text:

1. *Whether it is while playing with our children in the park, or washing clothes in a river, or taking a break at the office water cooler, we come together and talk about our aspirations and concern. And time again, **our talk** turns to our children and our families* (Hillary Rodham Clinton, Address to the U.N. Fourth World Conference on Women “Women’s Rights Are Human Rights”, delivered September 5 1995, Beijing, China).

The sentences of the above text are integrated or mutually connected, the connection being effected through meaning, the processes of *talking*, which in the text-opening sentence is realized by the finite form *talk* and in the text-developing sentence is realized by the nominalization of the verb *talk*, *our talk*. Consider one more example:

2. *Our **choice**? Full participation in a democratic government, or more abandonment and neglect. And so this night, we choose not a false sense of independence, not our capacity to survive and endure. Tonight we choose interdependency, and our capacity to act and unite for the greater good* (Jesse Jackson, Speech to the Democratic National Convention “Common Ground and Common Sense”, delivered July 20, 1988, Atlanta, Ga).

In the above example, the connection is effected through the process of choosing, which in the text-opening sentence is realized by the nominalization *choice* and in the text-developing sentences is realized by the finite form *choose*. These texts present a clear illustration of the way

a connected text is produced. The text can be conceived of a linear process whereby part of the meaning of the text-opening or text-developing sentences are realized in the text-developing or text-opening sentences: *to talk* → *talk*, *choice* → *to choose*. At the deep level, sentences including nominalization present two propositions: one embedded in another: the proposition that includes the nominalization is the matrix proposition. For example:

3. *We just need to go around to these stores, and to these massive industries in our country, and say, God sent us by here, to say to you that you're not treating his children right. And we've come by here to ask you to make the first item on your agenda **fair treatment**, where God's children are concerned* (Martin Luther King, Jr, 've Been to the Mountaintop' delivered April 3, 1968, Mason Temple, Memphis, Tennessee).

On a surface structure level, the sentence relations between the text-sentences must be realized using appropriate structural signals. These signals form four groups: 1) grammatical; 2) lexico-grammatical; 3) lexico-syntactic and 4) lexical. As all the signals are responsible for the cohesion of the text sentences, Valeika (Valeika 1985, p. 73-102) renames them as grammatical, lexico-grammatical, lexico-syntactic and lexical cohesion. Grammatical cohesive devices include substitution, ellipsis and word order; lexico-grammatical cohesives include articles, pronouns, conjunctives, conjunctive adjectives, particles, modal words, quantifiers, nominalizations; lexico-syntactic cohesives include periphrasis, parenthesis and lexical cohesives include lexical repetition, synonyms, antonyms, general nouns, hyponyms, paronyms, converses (Cf. Halliday and Hasan, 1976). As can be seen, nominalizations are only one part of the relatively large group of the cohesive devices. However, in political discourse nominalizations as cohesive devices play a significant role.

Nominalizations used in the corpus present two categories: trite and non-trite. Trite nominalizations are nominalizations which are no longer conceived as products of active derivational processes. Thus, to cite Downing and Locke (Downing and Locke 1992, p. 149), 'it would be awkward, for instance, to analyze *war* every time we came across the word as a metaphorical interpretation of 'nations using arms to fight each other', in which a whole situation is nominalized under an institutionalized term 'war''. Non-trite nominalizations are products of active derivational processes. Unsimilar to the former, they may appear in the text preceded by the respective underlying propositions ('unpackers'). I argue 'may appear' since, motivated by the principle of language economy, the speaker may 'by-pass' the underlying proposition and concentrate on its product only. This use of nominalizations was found to be much more common than the use of nominalizations preceded or followed by their respective underlying propositions. For instance:

4. *In considering the **requirements** for the **rehabilitation** of Europe, the physical **loss** of life, the visible **destruction** of cities, factories, mines, and railroads was correctly estimated, but it has become obvious during recent months that this visible **destruction** was probably less serious than the **dislocation** of the entire fabric of European economy* (George C. Marshall, "The Marshall Plan", delivered June 5, 1947, Cambridge, Mass.).
5. *Your **imagination** and your initiative and your indignation will determine whether we build a society where **progress** is the servant of our needs, or a society where old values and new visions are buried under unbridled **growth*** (Lyndon Baines Johnson, 'The Great Society' delivered May 22, 1964, Ann Arbor, Mich.).

The disadvantage of such texts is that semantically they are more opaque and, consequently, more difficult to interpret. The general principle underlying the choice of an actual pattern seems to be the easiness of 'unpacking'. The analysis of the corpus has

demonstrated that the underlying proposition (i.e. the congruent form) was not used when the nominalization presented more or less familiar structure, i.e. nominalization whose meaning can be understood without recourse to its congruent form. As for the second type of usage, the underlying proposition occurred as a kind of introduction. Consider:

6. *Now every American has a right to disagree with the President of the United States and to express publicly that disagreement* (Spiro Theodore Agnew, 'Television News Coverage' delivered 13 November, 1969, Des Moines, Iowa).

As can be seen in the example above, the word-combination *that disagreement* presents the nominalization of the preceding proposition *Now every American has a right to disagree with the President of the United States...*. The word-combination produced so 'serves as a bridge between the propositions. In other words, it establishes a semantic link between them: part of the meaning of the preceding proposition is 'implanted' in the succeeding proposition' (Valeika and Buitkienė 2004, p. 56). It will be obvious that the speaker could have by-passed the congruent form and used the nominalization *disagreement*. However, he opted for a less economical but more transparent realization of ideas. It will be noted that the absence of the underlying proposition cannot be treated as a cohesive gap in the text. In reading or hearing such a text, the person fills the gap by having recourse to the underlying proposition. Such being the case, we can speak of two-level cohesiveness: deep and surface, or implicit and explicit. Deep-level cohesiveness may not be realized to the full in the surface structure.

The Contribution of Verb-Based Nominalizations to the Explicit and Implicit Cohesion of the Political Texts

Generally speaking, the nominalizations contribute to the logico-semantic cohesion. 'The process of composing is not simple, but at some stage it emerges as the very practical matter of putting one word after another, one sentence after another. Words and sentences must be produced in some kind of sequence that leads the thought of the reader. Each word or sentence relates in some way to what has preceded and points to what is to follow' (Gorrel and Laird 1972, p. 54). Typically we begin with a general statement which is then followed by sentences that respond to the general statement, i.e. we move from general information to specific information. This kind of text, or a supraphrasal unity, is referred to as synthetic. Consider:

7. [a] *Now how is this network determined?* [b] *A small group of men, numbering perhaps no more than a dozen anchormen, commentators, and executive producers, settle upon the 20 minutes or so of film and commentary that's to reach the public.* [c] ***This selection*** *is made from the 90 to 180 minutes that may be available* (Spiro Theodore Agnew, 'Television News Coverage', delivered November 13, 1969, Des Moines, Iowa).

Sentences [a] and [b] present the general statement; sentence [c] is a specifying response to it. All three sentences are sense-related.

Nominalizations participate in two types of cohesion: 1) general and 2) specific. In the case of general cohesion, nominalization occurs in the title of a text. The source (the underlying proposition) is placed somewhere in the text. The nominalization does not connect one proposition to another. Yet it has the effect of organizing the succeeding proposition into a supraphrasal unity. Consider:

8. *The **Struggle** for Human Rights*
We know the patterns of totalitarianism – the single political party, the control of schools, press, radio, the arts, the sciences, and the church to support autocratic

authority; these are the age-old patterns against which men have struggled for three thousand years (Eleanor Roosevelt, 'The Struggle for Human Rights', delivered September 28, 1948, Paris, France).

Sometimes, the source verb was found even in the final sentence of the text. For example:

9. *1992 Republication National Convention Address*
*"A **Whisper** of AIDS"*
Then, their children and yours may not need to whisper it at all. (Mary Fisher, Speech to the Republican National Convention 'A Whisper of AIDS', delivered August 19, 1992, Houston, Tex.).

In the case of specific cohesion, the nominalization is preceded or followed by the respective proposition. Consider:

10. *The acceptance of this faith requires a lifelong struggle to understand it more fully and to live it more truly, to translate truth into experience, to practice as well as to believe. That's not easy: applying religious **belief** to everyday life often presents difficult challenges (Mario Matthew Cuomo, 'Religious Belief and Public Morality', delivered September 13, 1984, Notre dame, Ind.).*
11. *When there is a **talk** of violence, let us stand up and talk against it (Bill Clinton, Speech at the Prayer Service for Victims of the Oklahoma City Bombing, delivered April, 23, 1995, Oklahoma City, Okla.).*

The use of the two patterns of cohesion significantly contributes to the general coherence of the political discourse. Whether the stretches of a text include or not include underlying propositions, the presence of nominalization is generally conceived of as a text-unifying factor: the person automatically establishes a link between the nominalization (an element of the surface structure) and the underlying proposition (the deep structure of the nominalization). Thus both patterns are cohesive: nominalizations occurring with explicit underlying propositions and nominalizations occurring with implicit underlying propositions. Consider the examples with explicit and implicit nominalizations, respectively:

12. *This was the country that offered **hope**. This was the place where dreams could come true, not just economic dreams, but dreams of freedom, justice, and equality. We all need to hope that our dreams can come true (Elizabeth Glaser, Speech at the Democratic national Convention "AIDS: A Personal Story", delivered July 14, 1992, New York, N.Y.).*
13. *And then, of course, the joint **decision** of the United states and NATO to intervene in Kosovo and save those victims, those refugees, those who were uprooted by a man, whom I believe that because of his crimes, should be charged with crimes against humanity (Elie Wiesel, "The Perils of Indifference", delivered April 12, 1999, Washington, DC).*

Being relatively independent of their underlying propositions, nominalizations of the second type (i.e. nominalizations with implicit propositions) enjoyed greater pragmatic freedom than nominalizations with an explicit source.

The use of nominalization is a manifestation of a more general reference process where the underlying proposition is the antecedent and the nominalized proposition is the anaphora. The anaphoric nominalization typically follows its antecedent; however, cases of a reversal of the antecedent-anaphora pattern (cataphora, or anticipatory (prospective) anaphora) were also found. Cf.:

Explicit anaphoric cohesion

14. *During four futile years, the administration which we shall replace, has distorted and lost that vision. It has talked and talked and talked and talked the words of freedom, but it has failed and failed and failed in the works of freedom. Now, **failures** cement the wall of shame in Berlin. **Failures** blot the sands of shame at the Bay of Pigs. **Failures** mark the slow death of freedom in Laos. **Failures** infest the jungles of Vietnam. And **failures** haunt the houses of our once great alliances and undermine the greatest bulwark ever erected by free nations – the NATO community (Barry Goldwater, Speech Accepting the Republican Presidential Nomination “Extremism in the Defense of Liberty is No Vice”, delivered July 16, 1964, San Francisco, Calif.).*

Explicit cataphoric cohesion

15. *Such **assistance**, I am convinced, must not be on a piecemeal basis, as various crises develop. Any **assistance** that this Government may render in the future should provide a cure rather than a mere palliative. Any government that is willing to assist in the task of recovery will find full cooperation, I am sure, on the part of United States Government (George C. Marshall, “The Marshall Plan”, delivered June 5, 1947, Cambridge, Mass).*

As it has already been said, nominalizations with an implicit underlying proposition are more convenient since such nominalizations, being unbounded by the co-text, enjoy freedom than nominalizations with an explicit source. It is interesting as well as important to observe that the expected form of nominalization may not appear in the text at all, its place being taken by such words as *this statement, this claim, this belief, this assumption, this fact*, etc., by words capable of embodying the information of the underlying proposition as a whole. Consider:

16. *Strangely enough, I would turn to the Almighty, and say, ‘If you allow me to live just a few years in the second half of the 20th century, I will be happy.’ Now that’s a strange **statement** to make, because the world is all messed up (Martin Luther King, Jr, ‘ve Been to the Mountaintop’ delivered April 3, 1968, Mason Temple, Memphis, Tennessee).*
17. *In 1859 Lincoln said that the Republican Party believed in the man and the dollar, but that in case of conflict it believed in the man before the dollar. This is the proper **relation** which should exist between the two (William Jennings Bryan, Speech Accepting the Democratic Presidential Nomination ‘Against Imperialism’ delivered August 8, 1900, Indianapolis, Ind.).*

Concluding remarks

Nominalizations serve as one of the lexico-grammatical ways of linking up sentences when they form a cohesive tie with its source. Within the framework of lexico-grammatical cohesion, every lexical item may function as a cohesive element. However, not all nominalizations had their explicit source in the political texts examined. The motivation for the occurrence of such nominalizations was language economy. Even such nominalizations were cohesive, which suggests that cohesion involves two layers: deep and surface. The absence of an explicit verbal source is interpreted by the reader/listener as a device of economy: the missing verbal source is restored in thought whenever the text is read. If such nominalizations were not conceived of as cohesive, difficulties would arise in the conception as a coherent structure and, consequently, the reader/listener would have difficulty in understanding such a text.

The analysis of the textual functions of the nominalizations used in the corpus showed that the text, similar to the sentence, is endowed with two types of structure: deep (semantic) and surface. At the deep level, nominalizations are represented as respective propositions; at the

surface level, the propositions the nominalizations derive from, may be realized or may not be realized. The low incidence of realized propositions demonstrates a relatively wide discrepancy between the deep and the surface structure of the text; at the same time it demonstrates an economical use of language resources: the deep text, or the pre-text, physically presents a larger unit and, consequently, a more explicit unit than the surface text.

Nominalizations participated in two types of cohesion: general and specific. Nominalizations were sometimes used in the title of a text; the source (the underlying proposition) was placed further in the text. Such nominalization did not connect one sentence to another. Yet, it had the effect of organizing the text-sentences into a supraphrasal unit.

Nominalizations played a significant role in producing the text. Two types of nominalizations were used: nominalizations with an explicit underlying source (proposition) and nominalizations with an implicit underlying source (proposition). The textual function of nominalization is to serve as a link between the underlying proposition and the proposition including nominalization. Serving as a link between the propositions (realized as text sentences), nominalizations occurred in two types of reference: anaphoric and cataphoric.

As can be seen, the verb-based nominalizations play an important role in the organization of the political texts: they significantly increase the general volume of information in an economical way and contribute to the semantic cohesion of the text.

References

- BEARD, A., 2000. *The Language of Politics*. Great Britain: Routledge.
- DOWNING, A. & LOCKE, P., 1992. *A University Course in English Grammar*. London: Prentice Hall, Inc.
- GORREL, R. & LAIRD, C., 1972. *Modern English Handbook*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- HALLIDAY, M.A.K. & HASAN, R., 1976. *Cohesion in English*. London: Longman.
- SHÄFFNER, Ch., 1996. *Editorial: Political Speeches and Discourse Analysis*. Available from <http://www.multilingual-matters.net> Access time 22 April 2008.
- VALEIKA, L., 1985. *An Introductory Course in Semantic Syntax*. Vilnius: Vilnius Pedagogical University Press.
- VALEIKA, L. & J. BUITKIENĖ, J., 2004. *An Introductory Course in Theoretical Syntax*. Vilnius: Vilnius Pedagogical University Press.

Sources

American Rhetoric. Top 100 speeches. Available from <http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html>

Solveiga Sušinskienė

Šiaulių Universitetas, Lietuva

NOMINALIZACIJOS KAIP EKSPLICITINĖS/IMPLICITINĖS RIŠLUMO PRIEMONĖS ANGLŲ KALBOS POLITINIUOSE TEKSTUOSE

Santrauka

Straipsnio tikslas – išnagrinėti veiksmažodinių nominalizacijų tekstines funkcijas. Dėmesys sutelkiamas į logines-semantines nominalizacijų funkcijas anglų kalbos politiniame diskurse. Darbe remiamasi pavyzdžiais, kurie rinkti iš žymių Amerikos politikų kalbų. Tekstas – tai funkcionaliai integruoti sakiniai. Šių sakinių integracija yra trejopa: loginė-semantinė, struktūrinė ir informacinė-pragmatinė. Loginė-semantinė ir informacinė-pragmatinė integracija yra teksto koherencija, kuri realizuojama pasitelkus lingvistines priemones. Šis reiškinys vadinamas teksto kohezija (rišlumu). Į tekstą įeinantys sakiniai turi būti integruoti struktūriškai: lingvistinės priemonės privalo skaitytoju padėti geriau išvėlyti loginius ryšius. Teksto kohezija realizuojama keturių kategorijų priemonėmis: gramatinėmis, leksinėmis-gramatinėmis, leksinėmis-sintaksinėmis ir leksinėmis. Nominalizacija yra vienas iš leksinių-gramatinių kohezijos tipų. Ji suteikia galimybę sutrumpinti tekstą ir padaryti jį veiksmingesnį. Nominalizacijos funkcionuoja su eksplicitine ir implicitine pamatine propozicija. Išanalizavus nominalizacijų tekstines funkcijas nustatyta, kad tekstas, kaip ir sakiny, sudarytas iš dviejų struktūrų: giliosios (semantinės) ir paviršinės. Giliojoje struktūroje nominalizacijoms atstovauja propozicijos. Paviršinėje struktūroje, t.y. tekste, propozicijos, iš kurių kildinamos nominalizacijos, gali būti realizuojamos arba nerealizuojamos. Be to, šis faktas rodo, kad kalbos ištekliai vartojami ekonomiškai: su giliaja struktūra siejamas tekstas yra fiziškai didesnis ir dėl to

eksplicitiškesnis vienetas negu paviršinis tekstas. Ištyrus veiksmažodines nominalizacijas minėtais aspektais galima daryti išvadą, kad jos yra itin svarbios kuriant politinį tekstą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI nominalizacija, kohezija, propozicija, eksplicitinė, implicitinė, anafora, katafora.

Liisa Tainio

University of Helsinki

P.O.Box 9, 00014 University of Helsinki, Finland

e-mail: liisa.tainio@helsinki.fi

Aurelija Novelskaitė

Institute for Social Research

Muitinės g. 8, 44280 Kaunas, Lithuania

e-mail: novelskaite@ktl.mii.lt

**WOMEN'S LANGUAGE IN WOMEN'S WORLD:
MASCULINE VS. FEMININE SELF-REFERENCES IN THE INTERVIEWS WITH
LITHUANIAN FEMALE SCIENTISTS**

The paper is based on the analysis of everyday Lithuanian language use, and more specifically, the ways female scientists refer to themselves in Lithuanian. The starting point of the analysis is the observation that the female scientists refer to themselves also in masculine terms in the first person singular (e.g. Aš dirbau technologu 'I worked as a technologist (masc.)'). The data are interviews with Lithuanian female scientists. They are collected in sociological research projects that are based on a series of semi-structured interviews with women scientists from social, medical, and physical and technological fields of science. The method to be applied is feminist critical discourse analysis. In 13 randomly selected interviews with women scientists, we identified 367 direct self-references in the first person singular. The amount of 65 (17,7%) of them was grammatically formed in masculine gender. The findings do not reveal any strong tendencies of masculine gender forms use in Lithuanian women scientists' language. However, some inclinations to use masculine forms in the descriptions of women's profession and status related features were noticed. The findings, which convey a necessity of deeper investigation of the phenomena in the Lithuanian language, are also discussed in the context of studies on other languages, such as Russian and Polish.

KEY WORDS: *Lithuanian, language use, grammatical gender, self-references, women scientists*

Introduction

Since the very beginning of the 1990s, Lithuanian academic community¹ has been increasingly feminized. For example, women's proportion among the researchers who defended dissertations (i.e. acquired PhD) in Lithuania in different years has increased from 33% in the very end of the 1980s to 59% in 2003 (Novelskaitė 2003; Novelskaitė & Jurėnienė 2005). In 2006, 51% of Lithuanian researchers and 46% of researchers who had scientific degrees (PhD) were women (Moterys ir vyrai Lietuvoje 2006 2007, p. 48), and the amount of female scientists in academic community was among the highest in the European Union (Lithuania was the second after Latvia; *She Figures 2006* 2006, p. 72). However, the degree of feminization varies in different fields of science. Nevertheless, what is common to all fields is that women scientists reach the highest levels of academic hierarchies in very scant numbers. Only 12% of professors and only 15% of doctors habilitatus were women in Lithuania in 2006 (*Moterys ir vyrai Lietuvoje 2006 2007*, p. 48). In academic bureaucratic positions the situation is similar: despite 47% of university staff were women in 2006, they composed only 11% at Universities' Councils and 16% at Senates. No woman has ever been a university rector in Lithuania, although there were three (out from 23 in total, 13 %) women heads of the state research institutes in Lithuania in 2005 (Novelskaitė & Jurėnienė 2005).

¹ The terms "academic community" and "scientific community" will be used interchangeably as synonymous terms because in Lithuania it would be too difficult to separate them. That is, most of researchers also are engaged in teaching; all lecturers, docents, and professors have to be engaged in some research related activities as requirements for teaching positions at universities are based on applicant's records, based on her/his achievements in theoretical and/or empirical research.

Empirical investigations suggest that the alterations of gender proportions among scientists is an outcome of decreased status of scientific work in general (Taljūnaitė & Žvinklienė 2002). Men's retreat from the field is leaving space for women (Novelskaitė 2003). Furthermore, the studies document the dominance of a traditional patriarchal culture in Lithuanian academic establishments by describing practices that discriminate women and make it difficult for them to reach the highest academic posts (Žiliūkaitė 2006, Novelskaitė 2003, 2006) and support them to give priority to the traditional role of a mother and a wife (Purvaneckienė 2006). Women scientists seem to be aware of the subtle power hierarchies in the academy, those including also the power hierarchies of gender (Novelskaite 2006). In all communities of practice, thus also in the academic worlds of Lithuania, the hierarchies of gender are routinely exercised in everyday social practices, and the structural permanencies of gender inequality and the gendered expectations influence the everyday interactions (Lazar 2005, Wodak 2005).

Since women's integration in the labour market also elsewhere than in the academy has been successful in the last decades, the investigation of gender-based division of power and practices of gender discrimination in the public spheres and work-places has increased (see, for example, Wodak, 2005; Holmes, 2005; in the academy, see Husu, 2001; Fogelberg et al., 2002). It has been suggested that, for instance, gender stereotyping may become a "self-fulfilling prophesy" (Cameron 2003, p. 463) and together with gender-related social attitudes it may result on having a negative influence on the (female) professionals' self-efficacy and thus in their professional development and success (Thimm et al 2003, p. 529). The overt forms of gender discrimination including, for example, exclusionary gate-keeping social practices, are exercised in order to maintain the prevailing power structure (Lazar 2005; Husu 2001). However, the overt forms of discrimination are easily observable and therefore also more easily recognized and resisted. In addition to the overt forms, there are subtle, covert and seemingly innocuous forms of discrimination that are dispersed throughout the communities of practices, and that are substantively discursive in nature (Lazar 2005, p. 9). These subtle and hidden forms of gender discrimination are more difficult to identify and recognize and thus also more difficult to challenge and resist; they include, for example, lack of encouragement, sexist joking, and belittling of women (Husu 2001, p. 10-11). Even more often the subtle forms of discrimination are manifested in language use in certain vocabulary, phrases, syntactic choices, or even interactional practices, that are frequent in such extent that they have become naturalized, that is, self-evident and matter-of-fact choices of language users (Fairclough 1989, p. 75). The naturalization of certain ideology is hidden in the structures of language, and usually it remains covert for language users, but it is still analysable in the language use.

In this paper we analyse language use of some Lithuanian female scientists in order to better understand the practices through which the scientists deal with the prevailing power hierarchies and gender ideology that seem to exist in the academy. We are interested in the ways in which the scientist see and categorize themselves in the networks of academic community, and more specifically, how they refer to themselves while talking about their lives in the academic world. In our analysis, we explore in detail the female scientists' use of the grammatical options in Lithuanian language to refer to oneself in first person singular ('I') in ways that include the reference to speaker's gender. The starting point for the analysis was the observation that sometimes the female scientists refer to themselves in terms of masculine gender.

Our paper is a brief contribution to the Hogan-Brun and Ramonienė's (2005) call for detailed qualitative analysis of Lithuanian language use (p. 360). It follows the qualitative analyses of spoken Lithuanian from gender perspective presented earlier, for example, in Masaitienė (2004) about gender differences in spoken interaction; in Bijeikienė and Utkā (2006) about gender-specific features in parliamentary discourse; and in Savickienė and Kalėdaitė (2007) on the role of gender in child's language acquisition.

Materials and methods

In this paper we analyse data collected in three sociological research projects. The projects were conducted in the fields of medical², social³, and physical and technological⁴ sciences in Lithuania. Semi-structured interviews were used as data collection methods in all three projects. Despite interview schedules were different in the studies, in all cases the interviewees, who were selected using snow-ball sampling method, were encouraged to rise new themes or to develop further suggested themes on gender orders in their organizations, on professional career issues, scientific work, and alike. All interviews were conducted in Lithuanian, and transcribed verbatim.

As the method of analysis we use feminist critical discourse analysis (Lazar 2005). In defining discourse analysis (DA) we follow Potter (2004) who sees DA as method for analysing text and talk as social practices that always reveal “the way versions of the world, the society, events and inner psychological worlds, that are produced in discourse” (p. 202). DA offers us a range of tools and strategies for analysing actual, contextual uses of language; the main principle is to make available for the recipient the analytic decisions that the researchers have used (Potter 2004, Lazar 2005). Critical discourse analysis (CDA) is a form of DA that sees its aim as to concentrate on political and emancipatory issues; the analysts of CDA explore the various forms of inequalities manifested in discourses in order to encourage social change (Fairclough 1989). Feminist CDA investigates especially the interrelations of gender and power, in order to deconstruct the prevailing, unequal gender ideologies (Lazar 2005). However, as analysts we are well aware of the complex relation between the micro and the macro, that is, language use and manifold social structures (Potter 2004, p. 203), and we are not eager to jump to too far-reaching conclusions in our analysis of the few interviews with Lithuanian female scientists.

Specifically, for picking up the masculine self-references of female scientists we analysed 13 interviews with women representatives of three fields of science (together about 12 hours of talk). Our corpus consists of 2 interviews with social scientists, 4 interviews with women from physical and technological sciences, and 7 interviews with medical scientists. These interviews were randomly selected for the analysis presented in this paper.

Grammatical gender in the Lithuanian language

As well known, Lithuanian belongs to the Baltic branch of the Indo-European language family; it is said to be the oldest living Indo-European language (Hogan-Brun & Ramonienė, 2005; Savickienė & Kaledaitė, 2005). Like many Indo-European languages, Lithuanian is a so called “gender language” (Hellinger & Bussmann 2001, Kaledaitė 1995). That means, for example, that the nouns in Lithuanian are divided into two classes: masculine and feminine. Although in general the gender of the nouns is purely grammatical, it nevertheless sometimes has a semantic relationship to the actual sex of the persons (or animals), for instance, *mótina* ‘mother’ is of feminine gender, *tévas* ‘father’ is of masculine one (Tekorienė 1990, p. 21-22). In addition, some nouns have both masculine and feminine forms, such as *mókytojas* ‘male teacher’ and *mókytoja* ‘female teacher’ (Tekorienė 1990, p. 22). The grammatical gender of the noun affects the syntactical choices in language use; for example, adjectives, participles, pronouns and numerals are compatible with the nouns in gender, number, and case. There are also two pronouns for the third person, *jìs, jìe* ‘he, they (masc.)’ and *jì, jós* ‘she, they (fem.)’. These pronouns are used to the reference of both persons and things, and the choice is determined by the gender of the person or the noun (Tekorienė, 1990, p. 12).⁵

² Research project *Women Physicians in Post-Soviet Society*, (N=36) conducted in 2005, in collaboration with prof. E. Riska of University of Helsinki, funded by Finnish Academy.

³ Research project *Woman’s Success: Family, Employment, Career*, (N=7) conducted in 2002 in collaboration with Youth Career Centre, VMU, KTU, and funded by ALF.

⁴ FP6 project Baltic states network “Women in Sciences and High Technology” (BASNET) sociological research “Career of Women in Science and High Technology in Baltic States”, (N=23) conducted 2006.

⁵ One of the features of Lithuanian gender marking is available in a family name system: a woman’s surname is a derivative of man’s surname (i.e. father’s or husband’s) with adding a suffix to it. The surname in Lithuanian thus reveals the marital status of a woman (Kaledaitė 1995, p. 65). For example, the surname *Novèlskaitė* denotes that she is *Novèlskas’s* daughter and she is unmarried (traditionally, woman’s surname changes after marriage as she obtains her

It is quite common in the studies on the grammatical aspects of language and gender to analyse the gender marking in the third person. However, from the point of view of language user's identity, it seems relevant to analyse also the representation of gender marking in language user's self-references (Cameron 1998, p. 962). In Lithuanian, first person pronoun in singular is the same: namely *aš*, regardless of the gender of the 'I'. However, in certain syntactic environments, the gender of 'I' is revealed through, for example, noun, adjective, or participle. For instance, if the 'I' wants to tell that s/he is Lithuanian, s/he has to choose between two possibilities: *aš lietuvė* 'I am a female Lithuanian' or *aš lietūvis* 'I am a male Lithuanian'. Consequently, the similar pattern applies, for example, to adjectives (e.g. *esù liūdnà* 'I am sad (female)' and *esù liūdnas* 'I am sad (male)') with the exception of the use of the neuter adjectives in certain impersonal constructions (e.g. *mán šalta* 'I am cold', Dambriūnas et al 1966, p. 97). In addition, the use of other than 'simple' verb tenses (the present tense, the simple preterit, the frequentative past and the future tense) requires the use of participles; for instance, if 'I' wants to say that s/he has worked, s/he has to choose between two choices depending of her/his sex: *aš esù dirbusi* (female) or *aš esù dirbęs* (male) (Dambriūnas et al 1966, 104). Since most of the verb tenses are formed with the help of the participles, the marking of gender is not very unusual even in the first person singular in Lithuanian.

“Cross-gendered” self-references in language use

Although there are other languages similar to Lithuanian in respect to gender marking in the first person singular, this phenomenon is, at least to our knowledge, not very widely studied. Livia (1997) demonstrates how first-person narrators in French can linguistically resist the conventional gender arrangement and play with gender (dis)agreement in the language use; her data are films, plays and literature where women refer to themselves in masculine terms and vice versa. Hall (2002) analyses “unnatural” gender in Hindi, namely the language use of hijras, India's “third sex”. Hijras are born and brought up as boys, but as adults they choose the identity that is neither male nor female. When hijras talk about their past they refer to themselves in male terms, but when they talk about present or future circumstances, they refer to themselves in female terms, unless they want to emphasize some point while feeling angry or upset; then they choose a masculine self-reference (p. 149). Hall mentions also (p. 160) that in India some public female figures have chosen to refer to themselves in the masculine first-person in order to convey positive implications. Also Tobin (Tobin 2001, p. 187) reports on studies on the female Japanese high-school girls' deliberate choices to refer to themselves in first person by using a linguistic form that is expected to be used only by boys. Japanese girls use masculine forms in order to get more prestige while competing with boys. Several researchers have pointed out that in Russian⁶ and Polish, in those two gender-languages that are considered to have had an impact on modern Lithuanian language uses (Hogan-Brun & Ramoniene 2005), language users refer frequently to women in masculine gender terms especially in the third person singular forms (Doleschal & Schmid 2001; Koniuszaniec & Błaszowska 2003). Since the feminine forms of occupational terms usually carry derogatory meanings in Russian and to some extent also in Polish, they are consciously avoided; this leads language users to mix masculine and feminine forms in utterances and texts and thus cause gender disagreement in grammatical level (Doleschal & Schmid 2001). Doleschal and Schmid (2001, p. 262-263) show that also in Russian, women sometimes refer to themselves in masculine gender terms, especially in official contexts, since the feminine nouns may imply sexual connotations.

In the Lithuanian language use we have found a study that takes up the phenomenon of “cross-gendered” self-references. In their analysis of language acquisition of two 1-2 year old girls Rūta and Monika, Savickienė and Kalėdaitė (2007) report that Monika used both masculine and feminine self-references in her conversation. That is, she referred to herself both with feminine and

husband's surname). *Novėlskas's* wife's (and *Novėlskaitė's* mother's) surname is *Novėlskienė*. Polish has a similar kind of structure in their family name system (Koniuszaniec & Błaszowska, 2003).

⁶ It would be useful to note, that in the Russian language the names of feminine professionals and practitioners are constructed by adding suffixes to masculine forms of nouns (e.g. *traktorist* (masc.) – *traktoristka* (fem.), *poet* (masc.) – *poetessa* (fem.)). The feminine suffixes convey derogatory meanings to some extent (Doleschal & Schmid, 2001).

masculine diminutive forms derived from her first name. This practice was probably adopted from the girls' mothers who addressed both of the girls not only by their names but also both with masculine and feminine diminutives forms of the names. Masculine forms in both female and male references are used also in other languages as a mark of affectionate language (Corbett, 1991). For example, in Hebrew not only children but also adult women can refer to themselves in masculine forms in intimate conversations, during "pillow talk", as Tobin describes the context (2001, p. 186). In these environments, masculine forms have positive connotations in contrast to feminine forms that in many languages have derogatory connotations (Doleschal & Schmid 2001, Tobin 2001). Lithuanian seems not to fully share this kind of asymmetry.

Masculine self-references by female scientists

In our study we focus on Lithuanian adult women's language use in terms of grammatical gender in self-references in interview-talk. To our knowledge, there are yet no studies exploring this phenomenon. In our data, we found 65 utterances where women-scientists referred to themselves in masculine gender. Indeed, frequency of the references varied in separate interviews. For example, one of selected social scientists referred to herself 9 times in masculine terms and 34 times in feminine terms. Another representative of social sciences referred to herself 6 times in masculine terms in contrast to 61 references in feminine terms. In the interviews with medical scientists 2-4 masculine references were found in each interview, in addition to 3-28 feminine self-references; in the interviews with female physical and technological scientists the self references in masculine gender terms were 2-4 and in feminine terms 9-23. Thus, on average, nearly each fifth of the women's self-references (i.e. 17,7% of all 367 first person singular utterances which were found in the interviews) are formed in masculine terms.

In the interviews we found three different syntactical formats where women referred to themselves in masculine terms: 'I am + NOUN (masc.)', 'I am + ADJECTIVE (masc.)' and 'I am + NUMERAL (masc.)'. The first format ('I am + NOUN (masc.)') was the most frequent one. Usually the nouns used in these utterances characterize women's profession or position⁷:

Ex. 1.S,W2 Iš karto, pvz., parengiamuosiuose kursuose teko dėstyti. Tik **baigusiai**. O, reiškia, o-o-o dirbau, pradžioj, laborantu, paskui - asistentu ir t.t.

At once, for example, I had to teach at preliminary courses. **After my graduation**. And, and, and initially I worked as laboratory assistant, later – as an assistant and so on.

Ex.2. S&HT, N3 I: O kas Jūsų veikloj būtent patinka Jums?

R: Nu ką reiškia; aš dirbau technologu. Tai darbas kai tu darai medžiagą, darai naują medžiagą ir tai visada įdomu.

I: And what do you especially like among your [professional] activities?

R: Well, what does it mean; I was working as a technologist. This is a work where you are creating a material, creating a new material, and that is always interesting.

Ex.3. M,N2 I: O tada chirurgu? Kodėl būtent chirurgu? Kodėl būtent chirurgija?

R: Todėl, kad buvo etatas toksai. Nes terapinio nebuvo. Nu taip, pradėjau chirurgu.

I: And then, surgeon, why surgeon? Why surgery?

R: Because, there was such a position - - Because there was no therapeutic [work]. Well, so, I started as a surgeon.

In the first example the feminine form of laborantu and asistentu would have been *laborante*, *asistente*; in the second the feminine form of technologu would have been *technologe*. In these extracts the female scientists refer to their professional history as working in the places where most of their colleagues are men. It is worth mentioning that in the example 3 the masculine noun is

⁷ In examples, M refers to female medical scientists, S refers to female social scientists, S&HT refers to female representatives of physical and technological sciences; the masculine forms are underlined and the feminine forms are in **bold**; interviewer's questions are in *italics*.

part of the interviewer's language use. As such, it is an example of the language women tend to use while referring to certain professions. In the example 3, the interviewee picks up the masculine form and uses it as referring to herself. However, the similar (masculine) definitions of woman's professional status appear in the interviewee's answers also after gender-neutral questions, as can be seen in examples 1 and 2, and in example 4:

Ex. 4. *M,N33* *I: Dabar jūsu pareigos čia?*

R: Čia aš kol kas dirbu **eiline gydytoja**. Ta prasme esu daktaras, apsigyneš, ir dirbu kol kas **eiline gydytoja**. Pagal sutartį skaitau paskaitas ir t.t, tačiau aš dar N Universitete - kur esu **lektorė**, va, ir ir na perspektyvoje bus matyt.

I: And your position here now?

R: Here I am working as a **common physician** still. I mean, I am a doctor, who defended [degree in science], and I am working as a **common physician** still. I have a contract to give lectures - -, and so on, beside this, I am a **lecturer** at N University, well, and the future, we will see what the future brings.

In addition to the relative variety of masculine and feminine forms, example 4 suggests an illustration of how social context can be reflected in the language. In her language use the scientist reflects the existing gender order: a common physician is considered as a female post, and in contrast to this, the doctor of science is a man. It might be useful to note here, that about 70% of medical doctors in Lithuania in 2004 were women (Riska & Novelskaitė 2008, p. 223). However, the academic degree is a direct indicator of one's career possibilities in medicine (Novelskaitė 2007). Similar kinds of grammatical reflections of social reality (i.e. hierarchical gender structures) in language use are illustrated also in the interviews of women in other fields of science. Next extract is an example of self-references in the interview with a female scientist in the physical and technological sciences.

Ex. 5. *S&HT, N7 I: Kaip paskui judėjo ta [mokslinės karjeros] kreivė?*

R: Šiaip [esu] **chemikė**. <...> Dabar kai grįžau į universitetą 1991, tai turbūt kokius metus **inžiniere** dirbau, bet čia dar ne mokslinis etatas. Paskui pasidariau turbūt mokslo **darbuotoja**, paskui **asistentė**-mokslo **darbuotoja**, **docentė**-mokslo **darbuotoja** po puse etato va šitaip. <...>

I: O kaip Jus vertintumėte bendrai skaidrumą lėšų tyrimams paskirstymo, galimybių dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir konferencijose skaidrumą savo institucijoje?

R: Turbūt neblogai vertinčiau, turbūt neblogai, nes nežinau tiksliai kaip tai viskas daroma. <...> Čia per Tarybos posėdį - na aš nesu Tarybos narys, tai visų dalykų taip gerai nežinau.

I: How was moving your [scientific] career curve later?

R: I am a **chemist**. <...> Then I came back to university in 1991, I worked as an **engineer** for a year or so, but it was not a scientific position. Later, probably, I became a **researcher**, later – **an assistant researcher, docent- researcher**, on a basis of part time positions, in this way.

I: And how would you evaluate transparency of distribution of funding for research, possibilities to participate in international projects and conferences at your institution?

R: Probably my evaluation would not be bad, because I don't know how everything is done exactly. <...> everything is done during [research institute] Council meeting – well, I am not a member of Council, thus, I don not know all matters so well.

Both examples 4 and 5 suggest, that the tendency of female scientists is to talk about themselves with feminine self-references while describing themselves in the lower hierarchical positions; when they talk about themselves in the higher hierarchical positions, the masculine self-references are more frequently used. This tendency has been pointed out also in Polish. Koniuszaniec and Błaszowska (2003, p. 268) suggest that in Polish “masculine forms are often preferred by women themselves, as many consider them to be more prestigious”. However, more examples of similar kind are needed in order to make more strongly based conclusions about this phenomenon in Lithuanian. Nevertheless, one of our observations is that it is quite common for female Lithuanian scientists to refer to themselves in masculine terms while talking about themselves as professionals. Such language patterns are infiltrated by formal language where masculine grammatical forms are used more often. However, we found some examples, where women scientists are talking about

themselves in masculine terms also while describing their characteristics that are not straightforwardly connected to their academic careers.

Ex. 6. *S, N1* R: ... bet muzikinių gebėjimų neturiu. Tai esu muzikos variantojas, bet ne kūrėjas. Bet variantojas, labai mėgstu, labai mėgstu muziką.

R: ... but I do not have musical abilities. Then I am a consumer of music, but not a creator. But a consumer, I like very, like very much music.

Ex. 7. *M, N2* I: *Pirmiausiai, kodėl pasirinkote mediciną?*

R: Čia toks klausimas. Nu kaip pasakyti? Nuo pat mokyklos laikų, studijos laikų aš turėjau tokią nuodėmklausio arba išklausytojo: pas mane eidavo draugės. Su draugėm šnekėdavom.

I: *First of all, why have you chosen medicine?*

R: Wow. What a question. What to say? Since my school years, and later during the university studies, I have had some qualities of a confessor or a listener. (Female) friends used to visit me, and we used to talk.

In these examples, it is thus difficult to find motivation for the masculine forms in self-references, especially in the example 7 where the scientist is referring to qualities that are stereotypically held as feminine (i.e. to be listener of someone's problems).

The other formats of masculine gender-references that we found in our data are those formed with adjectives ('I am + ADJECTIVE') and cardinal numerals (I am + NUMERAL'). In such environments these linguistic categories are syntactically similar to each other; they both, for example, agree with gender. In the next example the female scientist refers to herself as the only professional in the field in her family (with a numeral 'first').

Ex. 8. *M, N17* I: *O Jūsų giminėj buvo gydytojų?*

R: Ne, pirmas aš. Aš pirmas.

I: *Were there any physicians among your relatives?*

R: No, I was the first one. I was the first.

In the next example the scientist describes her character as being active, with two adjectives. At first, she first refers to herself in feminine terms (*aktyvi*), then with an adjective in masculine form (*ekstravertas*), and then once again with a feminine adjective (*aktyvi*).

Ex. 9. *S, N1* I: *O mokykloje, kiek jūs buvote aktyvi?*

Labai **aktyvi**. Aplamai, aš esu labai stiprus ekstravertas. Ir aš **aktyvi** nuo pačios, vadinkime, turbūt, gimimo dienos.

I: *And at [secondary] school, how active were you?*

R: Very **active**. In general, I am a very strong extravert. And I [have been] **active** since, let us say, maybe, from the day of my birth.

In Lithuanian, the gender of the generic noun for 'human being' is masculine. This is not uncommon in Indo-European languages. However, in our data we found examples that show the ambiguousness of using this noun, *žmogus*, in female speaker's language use. The example 7 illustrates this.

Ex. 10. *S&HT, N3*: I: *O kodėl pasirinkote fizikės specialybę?*

R: Nežinau (*galvoja*). Man vienodai sekėsi visi mokslai, bet tada aš norėjau į biofiziką stoti, bet bet tada nebuvo kur dirbti baigus biofiziką. O aš žmogus pragmatiška ir žiūrėjau ar turėsiu ką daryti **baigus** mokslus. <...>

I: *Tai vienu žodžiu nebuvo taip, kad ištekėjote ir visi aplinkiniai sakydavo, kad mokslinei karjerai jau galas?*

R: Nieko aš negalvojau. Aš žmogus pareigingas ir aš - - jai buvo trys mėnesiai, vyras įsidarbino pamaininį darbą dirbti ir aš pusė dienos dirbau tenai. Man tiesiog truko ir pinigų.

I: And why did you choose specialty of physicist?

R: I do not know (thinking). I was good in all sciences, but I wanted to go for biophysics, but there were not possible working places after graduation in biophysics. And I am **pragmatic person** [human being] and looked what I will have to do **after graduation**. <...>

I: In short, it was not like you got married and all people around had been saying, it is an end for career in science?

R: I was not thinking about anything. I am a **responsible person** [human being] and I - - she [daughter] was three months old, husband got a shift work and I was working a half of a day there. I just lacked for money.

In her first answer the scientist refers to herself as *žmogus pragmatiška* ('human being, masc.' + 'pragmatic, fem.'). If the reference would have been grammatically correct the form of the adjective should have been in masculine form (*pragmatiškas*). However, in her utterance the speaker has selected the feminine form of the adjective which is correct in terms of the gender of the actual subject, the woman herself. Nevertheless, in her second answer, the form of the adjective is correct, from the point of view of the grammar, namely *žmogus pareigingas* ('human being, masc.' + 'responsible, masc.'). As a consequence, the self-reference is semantically incorrect, though grammatically correct. The phenomenon is similar to forms of language use in Polish newspapers; there it is quite common to refer to known female subjects both with masculine and feminine references even in the same utterance (Koniuszaniec & Błaszowska 2003, p. 270-274). Similarly to the preceding example, the self-references are ambiguous in the sense that the gender of the references may vary even in the same answer. The next example demonstrates this:

Ex. 11. S, W1 kad aš esu [specifinės srities] **tyrinėtojas**, o mes svarstom [specifines, su mano veikla tiesiogiai susijusias] problemas <...> Nes aš buvau **vienintelė** [tam tikros srities] **tyrinėtoja**. Tai labai dažnai tai būdavo kaip įkyrios musės baidymas.

that I am **researcher** [in particular field of science], and that we are discussing [specific] problems <...> Because I was **the only researcher** [in the particular field of science]. It has being like shooping of obsessive fly.

It is worth mentioning that in Example 11, she refers to herself in the present tense in masculine terms and in the past in feminine terms. There the feminine gender is logical; if she was the only one, there was only one (female) researcher. Nevertheless, the variation of feminine and masculine forms may be seen as revealing something about the ambiguity the scientists meet while acting as successful agents in their academic fields. One of the medical scientists reports her experiences in this way:

Ex. 12. M, N5. Tai tu čia, reiškia, tai tu čia dirbdamas esi belytė asmenybė. Aš čia, pavyzdžiui, nesijaučiu **moteriške**, tiesiog aš jaučiuosi **belyte asmenybe**. Esu **daktaras** ir viskas.

So, you, here, it means, while you are working here, you are a sexless person. I, here, for example, I did not perceive myself as a **woman**, here I am just a **sexless person**. I am a **medical doctor**, and that's all.

Interestingly, the scientist sees herself and other colleagues as professional agents whose sex is of no relevance, and ends up in referring to herself as *daktaras*, (male) doctor. It might be suggested that the prevailing organizational culture is reflected on here because the reference of the professional status is again in a masculine form. In many languages the generic references to human actors are formed in masculine terms, in so called generic masculines (Hellinger & Bussman, 2001). Although generic masculines should refer both to male and female agents, it has been demonstrated in many studies that they still carry in their semantics the tendency to be interpreted as referring more to men than to women (see e.g. Eckert & McConnell-Ginet, 2004). It has also been shown that this does not make the gender of the persons as irrelevant but women more invisible in the language (ibid.). This observation seems to be in disagreement with the female scientist's own explanation.

Discussion

In this brief paper we have studied a phenomenon of Lithuanian female speakers' self-references formed in masculine gender terms. Our data consists of female scientists' interviews

about their careers and academic survival in the Lithuanian academic community which is still today considered as rather patriarchal (Novelskaite 2003, 2006). We found out that 17,7% of the self-references in this data we formed in masculine terms. This seems to suggest that the phenomenon is not unusual in modern language use, at least in the language use of women. Most of the utterances we found were formed with nouns in a masculine form ('I am + noun (masc.)'). In most of the cases the nouns were occupational terms and described the woman as a professional agent. However, there were also other kinds of examples, those where the utterances were formed with an adjective or a cardinal numeral in a masculine form. These utterances did not necessarily refer to the woman's professional status.

The frequencies of the masculine gender-references in female speakers' language use seem to suggest some ambiguities in Lithuanian language use. Although grammatically the references to female subjects are to be formed in feminine terms, the language use of today seems to suggest also other tendencies. Studies on Russian and Polish show that feminine occupational terms are avoided especially in official contexts in order to avoid the derogatory meanings they convey (Doleschal & Schmid 2001; Koniuszaniec & Błaszowska 2003). Corbett (Corbett 1991, p. 322-323) argues that gender switch is used in wide range of languages to mark status and to show respect (or lack of respect) as well as affection. In our examples of women's self-references in Lithuanian could be analysed at least in terms of status marking and respect. The everyday uses of Lithuanian language could be a reflection of the more formal genres of language used in official language. There the language use has to be "genderless", which means that only masculine forms are used in generic references. On the other hand, at least some officials, especially women, try consciously to control the male gender references to women in their language use (Novelskaite, personal information). The same tendency has been noted in Russian (Doleschal & Schmid 2001, p. 260). This reveals that at least some of the subtle forms of gender discrimination, manifested in the language use, are recognized and resisted. However, if Lithuanian language users choose to favor masculine forms instead of using both masculine and feminine forms, they risk choosing a language pattern that hides and covers female agents. In some languages the tendency in language planning is to avoid the masculine generics, developed in language use for historical reasons, and move on to gender neutral ones (Tainio 2006), but in some others, for example in German, French, Polish and Spanish, women have tried to influence the language planning in order to make women more visible in the language use by establishing new patterns of feminization of vocabulary and grammar (Pauwels 1998).

Our data consist of interviews with female Lithuanian scientists. According to Novelskaite (2006) the Lithuanian female scientists seem to follow three main strategies in their academic communities, namely those of independent initiator, dependent follower, and contended stayer. These strategies are not exclusionary; the same person uses different strategies in different periods of her career; and they may vary in different fields of science. However, these strategies require strong self-confidence and positive self-image. This may also be reflected in their language use. However, in order to make conclusions about the relation between their language use and their socio-cultural position in the academic community, we should do much more research on the language use and especially on self-references marked with gender. First, studies on this phenomenon in different situations and contexts are needed. Second, the focus of the analysis should be widened up. In our data we found several examples of language use in the generic second person format. These references are not direct self-references but in their context they can be considered as self-references, such as in the example 12: "Tai tu čia, reiškia, tai tu čia dirbdamas esi **belytė asmenybė**" 'So, you, here, it means, while you are working (masc.) here, you are a **sexless person** (fem.)'. In our data, the examples in generic (second singular) person are formed either in feminine or in masculine terms although the reference seems to include the female speaker herself. In addition to generic (second person singular) references it would be useful to analyse also references to other people (the third person) and the references in first and second person plural. It is necessary to find out the tendencies more widely, both in terms of variety of contexts and in terms of the grammatical features.

However, our data shows that women agents in the Lithuanian academic communities seem to vary their self-references between the feminine and the masculine ones. Although there does not seem to be any clear cut tendencies or explanations of the choices on these grammatical options, in our analysis we suggested some interpretations of the contexts where variation was found. For instance, some of the women also used feminine forms while talking about themselves in the lower academic positions and chose the masculine gender while talking about themselves in the higher positions. This evokes some hypothetical interpretations from the point of view of feminist critical discourse analysis. Some of the interviewed women confessed that, for example, “when you are not working [as a professional in formal organization], you have a feeling, that you simply do not exist there, at all” (M, N33) and that “if a man speaks - as I'd say, in a heavy voice - - he is of greater value than a woman” (S, N1). The use of masculine forms in self-references seem to reveal women's unconscious efforts to emphasize their status in the organization or in the academic society. These tiny elements of language use may be seen as examples of sexist language: they can be interpreted as reflecting the prevailing gender order in the society.

References

- BIJEIKIENĖ, V. & UTKA, A., 2006. Gender-specific features in Lithuanian parliamentary discourse: an interdisciplinary sociolinguistic and corpus-based study. *SKY Journal of Linguistics* 19, p. 63-99.
- CAMERON, D., 1998. *Gender, language, and discourse: a review essay*. *Signs* 23 (4), p. 945-973.
- CAMERON, D., 2003. Gender and language ideologies. In: J. Holmes & M. Meyerhoff (eds) *The handbook of language and gender*. Malden (USA, Mass.): Blackwell, p. 447-467.
- CORBETT, G., 1991. *Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DAMBRIŪNAS, L.; KLIMAS, A. S & SCHMALSTIEG, W. R., 1966. *Introduction to modern Lithuanian*. New York: Franciscan Fathers.
- DOLESCHAL, U. & SCHMID, S., 2001. Doing Gender in Russian: Structure and perspective. In: M. Hellinger & H. Bussman (eds.) *Gender Across Languages*, Vol I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 253-282.
- ECKERT, P. & MCCONNELL-GINET, S., 2003. *Language and gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FAIRCLOUGH, N., 1989. *Language and power*. London/New York: Longman.
- FOGELBERG, P., HEARN, J., HUSU, L. & MANKKINEN, T. (Eds.), 2002. *Hard work in the academy. Research and interventions on gender inequalities in higher education*. Helsinki: Helsinki University Press.
- HALL, K., 2002. “Unnatural” gender in Hindi. In: M. Hellinger & H. Bussman (eds.) *Gender Across Languages*, Vol II. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 133-162.
- HELLINGER, M. & BUSSMAN, H., 2001. Gender across languages. The linguistic representation of women and men. In: M. Hellinger & H. Bussman (eds.) *Gender Across Languages*, Vol I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 1-25.
- HOGAN-BRUN, G. & RAMONIENĖ, M., 2005. *The language situation in Lithuania*. *Journal of Baltic Studies*, XXXVI (3), p. 345-365.
- HOLMES, J., 2005. Power and discourse at work: is gender relevant? In: M. M. Lazar (ed.) *Feminist critical discourse analysis. Gender, power and ideology in discourse*. Malden (USA, Mass.): Blackwell Publishing, p. 31-60.
- HUSU, L., 2001. *Sexism, support and survival in academia*. Academic women and hidden discrimination in Finland. *Social Psychological Studies* 6. University of Helsinki.
- KALEDAITĖ, V., 1995. *Language and gender in Lithuania, the overall situation in the field*. *Nordlyd* 23, p. 62-70.
- KONIUSZANIES, G. & BŁASKOWSKA, H., 2003. Language and gender in Polish. In: M. Hellinger & H. Bussman (eds.) *Gender Across Languages*, Vol III. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 287-310.
- LAZAR, M. M., 2005. Politicizing gender in discourse: feminist critical discourse analysis as political perspective and praxis. In: M. M. Lazar (ed.) *Feminist critical discourse analysis. Gender, power and ideology in discourse*. New York: Palgrave, p. 1-28.
- LIVIA, A., 1997. Disloyal to masculinity: Linguistic gender and liminal identity in French. In: A. Livia & K. Hall (eds.) *Queerly phrased. Language, gender, and sexuality*. New York/Oxford: Oxford University Press, p. 439-368.
- MASAITIENĖ, D., 2004. Gender differences in spoken interaction: a contrastive study of English and Lithuanian. *Socialiniai mokslai* 1 (43), p. 93-100.
- Moterys ir vyrai Lietuvoje 2006*. 2007. Vilnius: Statistics Lithuania, , ISSN 1648-052X
- NOVELSKAITĖ, A. 2007. Gender (dis)advantages in highly feminized environment: convolutions of women's and men's academic careers in post-Soviet medicine. *5th European Conference on Gender Equality in Higher Education*. Book of abstracts. p.37. <http://www2.hu-berlin.de/eq-berlin2007/Book%20of%20Abstracts.pdf>

NOVELSKAITĖ, A., 2006. The glass ceilings, the sticky floors or...? Women's strategies of (ill) success in Lithuanian academic/scientific community. Materials of Conference "Science policies meet reality: gender, women and youth in science in Central and Eastern Europe", Prague, <http://www.ccc-wys.org/prilohy/9c7776d3/Novelskaite.pdf?PHPSESSID=6da1c546f30d3ec4207c724214d5b0be>

NOVELSKAITĖ, A., 2003. Women's role and status in Lithuanian scientific community: do they change? / The 5th European Feminist Research Conference *Gender and Power in the New Europe*. Sweden: Lund University. http://www.iiav.nl/epublications/2003/Gender_and_power/5thfeminist/paper_329.pdf

NOVELSKAITĖ, A. & JURĖNIENĖ, V., 2005. Moterys Lietuvos mokslo bendruomenėje 2000-2004 m. (Women in Lithuanian scientific community in 2000-2004, in Lithuanian), *The 4th Lithuanian women congress*, symposium "Women and Science", Vilnius. Unpublished materials.

PAUWELS, A., 1998. Women changing language. London & New York: Longman.

POTTER, J., 2004. Discourse analysis as a way of analysing naturally occurring talk. In: D. Silverman (ed), *Qualitative research. Theory, method and practice*. 2. edition. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications, p. 200-221.

PURVANECKIENĖ, G., 2006. Women in science: work-family balance. The project BASNET. Materials of Conference "Science policies meet reality: gender, women and youth in science in Central and Eastern Europe", Prague, <http://www.ccc-wys.org/prilohy/9c7776d3/Purvaneckiene.pdf?PHPSESSID=6da1c546f30d3ec4207c724214d5b0be>

RISKA, E. & NOVELSKAITĖ, A. 2008. Professionals in transition: physicians' careers, migration and gender in a post-Soviet era / Ellen Kuhlmann, Mike Saks, eds., *Rethinking professional governance: International directions in health care*. Bristol: Policy Press, p. 217-130.

SAVICKIENĖ, I. & KALEDAITĖ, V., 2005. Cultural and linguistic diversity of the Baltic states in a new Europe. *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 26 (5), p. 442-452.

SAVICKIENĖ, I. & KALEDAITĖ, V., 2007. The role of a child's language acquisition. *Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat* 3, p. 285-297.

She Figures 2006. Women and Science. Statistics and Indicators. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, ISBN 92-79-01566-4.

TAINIO, L., 2006. Gender in Finnish language use: equal, unequal and/or queer? In: *WEBFU [Wiener Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik]* <http://webfu.univie.ac.at/texte/tainio.pdf>

TALJŪNAITĖ, M. & ŽVINKLIENĖ, A., 2002. Akademinė karjera lyčių lygybės požiūriu. Vilnius:

TEKORIENĖ, D., 1990. *Lithuanian. Basic grammar and conversation*. Kaunas: Spindulys.

THIMM, C., KOCH, S. C. & SCHEY, S., 2003. Communicating gendered professional identity: competence, cooperation, and conflict in the workplace. In: *J. Holmes & M. Meyerhoff (eds) The handbook of language and gender*. Malden (USA, Mass.): Blackwell, p. 528-549.

TOBIN, Y., 2001. Gender switch in Modern Hebrew. In: *M. Hellinger & H. Bussman (eds.) Gender Across Languages*, Vol I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, p. 177-198.

WODAK, R., 2005. Gender mainstreaming and the European Union: interdisciplinary, gender studies and CDA. In: *M. M. Lazar (ed.) Feminist critical discourse analysis. Gender, power and ideology in discourse*. Malden (USA, Mass.): Blackwell Publishing, p. 90-113.

ŽILIUKAITĖ, R., 2006. Women's participation in decision-making in science: the project BASNET Materials of Conference "Science policies meet reality: gender, women and youth in science in Central and Eastern Europe", Prague, <http://www.ccc-wys.org/prilohy/9c7776d3/Ziliukaite.pdf?PHPSESSID=6da1c546f30d3ec4207c724214d5b0be>

Liisa Tainio

Helsinki universitetas, Suomija

Aurelija Novelskaitė

Vilniaus universitetas, Lietuva

MOTERŲ KALBA VYRIŠKAME PASAULYJE: MOTERIŠKOSIOS IR VYRIŠKOSIOS GIMINĖS ĮVARDIJIMAS NURODANT SAVE INTERVIU SU LIETUVOS MOTERIMIS MOKSLININKĖMIS

Santrauka

Straipsnyje analizuojami vyriškosios ir moteriškosios giminės įvardijimo ypatumai kasdienėje lietuvių kalboje. Analizės dėmesio centre – kasdienė lietuvių moterų mokslininkių kalba, moterų kalboje atsirandanti vyriška gramatinė kategorija nurodant tiesiogiai save vienaskaitos pirmuoju asmeniu (pvz., „aš esu mokslininkas“). Analizuojamos tekstinės medžiagos šaltinis – keli sociologiniai tyrimų projektai, kuriuos vykdant buvo atlikti pusiau struktūruoti interviu su Lietuvos mokslininkėmis, dirbančiomis socialinių, medicinos bei fizinių ir technologijos mokslų srityse. Atlikus feministinę kritinę diskurso analizę su trylika atsitiktinai atrinktų moterų, atrastos 367 tiesioginės nuorodos į save, išreikštos vienaskaitos pirmuoju asmeniu. Iš jų 65 (17,7%) yra vyriškosios giminės formos. Šios studijos rezultatai neįrodo, kad egzistuoja aiški vyriškosios giminės nuorodos vartojimo tendencija kasdienėje moterų mokslininkių kalboje. Tačiau rezultatai atskleidžia moterų polinkį vartoti vyriškosios giminės žodžius, kai siekiama apibūdinti dalykus, susijusius su profesija ar tam tikru statusu. Studijos rezultatai, nurodantys gilesnių čia analizuoto reiškinio tyrimų poreikį, aptariami panašių rusų ir lenkų kalbos tyrimų kontekste.

Olesia Tatarovskaja

L'viv national university

ул. Университетская 1, 79000 Львов, Украина

e-mail: olesia.tatarovska@ukrpost.ua

NEGATIVE POLARITY IDIOMS IN MODERN ENGLISH

The article deals with the negative polarity idioms (NPIDs). A dataset of 550 entries was compiled. On the one hand, my intention was to come up with a complete and exhaustive glossary of all the NPIDs existing in modern English. But, on the other hand, it was deemed advisable to restrict this preliminary analysis of NPIDs only to a high representative sample.

KEY WORDS: *negative polarity idioms, positive polarity idioms, register, semantic category, type of negative, clause, constituent.*

This article examines the nature of negative polarity idioms (henceforward NPIDs), that is, idiomatic constructions which, because of their nature, always occur in the negative form and express a negative meaning. A dataset with 550 entries of these expressions was compiled. They were selected from general and specialized dictionaries as well as from several phrase and grammar books. They were then classified according to the type of negation expressed (clause or constituent negation), syntactic pattern, meaning and social language variety where they occurred. In spite of the problems and limitations found, it is shown that NPIDs can be described and systemized. The article concludes by highlighting the importance of negative polarity idioms as a central area within the general English polarity system.

In the last few years considerable attention has been paid to the system of negation (Tottie 1991, p. 124; Acquaviva 1992, p. 89; Haegeman 1993, 1995, p. 14; Progovac 1992, 1994, p. 36-42). However, NPIDs, that is, idiomatic constructions which, because of their nature, always occur in the negative form and express a negative meaning (i.e. *Rome was built in one day*) have generally been neglected. Jespersen (1917) devotes some pages to NPIDs, but he is more interested in explaining their meaning and emphasizing their intensifying character than in analyzing them in great depth. Bolinger (1977), on his part, shows that there are important restrictions in the use of *not*-negation and *no*-negation in idiomatic constructions, with a high preference for *no*-negation. Some years later Tottie (1991) confirms Bolinger's hypothesis; her quantitative analysis, however, does not go any further than this. Bosque (1980) includes a brief study of some of these expressions in Spanish, but he is especially concerned with coming up with serious proposal which may provide a sound explanation for idiomatic constructions within a general theory of transformational linguistics.

It is my objective then to concentrate specifically on idioms with negative polarity and to examine them in close detail both from a semantic and a syntactic perspective. In earlier research on negation, I pointed out the existence of a fairly large number of NPIDs as defined above, that is, expressions that are always constructed in the negative form. This means that their positive counterparts are either very rarely used or do not seem to fulfill their communicative purpose. This is the case, for example, with example (1):

(1) Butter wouldn't melt in his mouth.

According to the system of polarity, (1) is undoubtedly negative; it is in fact a clear instance of sentence or clause negation, because the scope of negation extends over the whole clause and meets all the systematic requirements to be considered as such (Klima 1964, p. 46-49). In additions to that, the meaning conveyed is also negative. Its transformation to positive (*Butter would melt in his mouth*) is grammatically possible – no rules are broken – but is never used like that, at least in general standard English.

Apparently, the existence of NPIDs is not exclusive to English but common to some other languages, such as Spanish, French, German, Portuguese, Italian, and Ukrainian and so on.

It is important to mention, however, that the majority of idioms may show both positive and negative polarity:

- (3a) It's raining cats and dogs.
- (3b) It's not raining cats and dogs.
- (4a) Peter beat about the bush the other day.
- (4b) Peter didn't beat about the bush the other day.

In spite of this, it is true that some idiomatic expressions show only positive polarity, that is, they are positive polarity idioms (PPIDs) in contrast to the already defined NPIDs:

- (5a) I could kick myself.
- (5b) I couldn't kick myself.
- (6a) He has a way with children.
- (6b) He hasn't a way with children.

In some cases, the distinction between NPIDs and PPIDs is not clear-cut; that is, there is sometimes no correspondence between the syntactic structure of the idiomatic construction and the meaning expressed by it:

- (7) There is nothing to it.
- (8) Don't say that you're going for a walk in this wretched weather!
- (9) I couldn't agree more.
- (10) Don't tell me they are not home yet!

Examples (7) – (10) are syntactically negative, but the meaning implied is clearly positive. In fact (7) and (8) are similar to intensifying affirmatives. The opposite case, that is idiomatic forms which are syntactically positive although semantically negative, can also be found, but seem to be fewer in number:

- (11) It's too good to be true.
- (12) It all turned out very badly.
- (13) Don't put all your eggs in one basket.

The expressions analyzed in the survey were selected from general and specialized dictionaries, *Cambridge Dictionary (CAMD)*, *Cambridge Word Selector (CAMWS)*, *Collins Cobuild English Dictionary (CCD)*, *Collins Cobuild Dictionary of Idioms (CCDI)*, *Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE)*, *Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (ODCIE)*, *Partridge's Dictionary of Slang and Unconventional English (DSUE)*, *The Penguin Dictionary of English Idioms (PDEI)* та *Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms*.

Once the NPIDs were singled out and compiled, a data-base was devised that contained all the key features criterial for their study and classification. These properties can be studied as follows:

- a) *Source*. Here the dictionary, or any of the other reference works from which the NPID entry had been extracted, was stated.
- b) *Type of negation expressed*: clause or constituent negation. Within clause negation, a further distinction was made, when possible, between *not negation* and *no negation* instances.
- c) *Syntactic pattern\structure*. This was represented by categories such as NP, VP, AdjP, AdvP, clause (henceforth, cl.), infinitive (henceforth, inf.), etc.
- d) *Meaning*. A careful explanation of each of these expressions was provided.
- e) *Semantic category*. NPIDs were classified according to a series of labels as explained below on the section devoted to the semantic features of NPIDs.
- f) *Register*. In most cases, the reference sources used mentioned the kind of context where the NPIDs occurred. Where necessary, this information was contrasted and complemented without informal questionnaires administered to native speakers of English, who were asked about the degree of formality of the lexical constructions studied.

- g) *Example(s)*. One instance, at least, of each expression was collected. It was sometimes necessary to leave room for more than one single example, as some of the units surveyed presented different syntactic structures.

As regards the syntactic features of these idiomatic phrases, I started by classifying them according to the type of negation expressed. A distinction was first made between clause and sentence negation and local, subclause or constituent negation; secondly, within clause negation, a contrast was drawn between *no negation* (section a in Table 1) and *not negation* (b in Table 1). As discussed in the literature on the subject (see in particular Tottie 1991, Chapters 6 and 7), there is a series of obligatory morpho-syntactic, paradigmatic and contextual constraints that condition a certain type of negation over the other. However, there are also cases where both types of negation may be perfectly possible (c in Table 1) and even cases where the selection of one of these two negation types is not governed by any applicable factor (d in Table 1).

Table 1

NPIDs classified according to the type of negation conveyed

Type of negative	N
Clause negation	532
<i>a no negation</i>	116
<i>b not negation</i>	73
<i>c both no and not negation</i>	16
<i>d does not apply</i>	327
Constituent\Subclause negation	18

The predominance of *no negation* over *not negation* in the NPIDs under analysis clearly confirms previous studies (Bolinger 1977, p. 21; Tottie 1991, p. 103), and it may support the hypothesis that the selection of this variable could be related to the notion of register or, to be more precise, to the degree of formality of the language being used. Therefore, the use of *no negation* would be linked, in principle, with more informal varieties than *not negation*. Nonetheless, further research should be conducted to confirm this finding.

The idiomatic and lexicalized status of NPIDs is reflected, at the syntactic level, in the fact that the great majority of them can be defined in terms of a few, fixed syntactic patterns. Thus, nine main paradigms were identified. The elements in brackets in the following structures denote that they are either not obligatory or exclusive. This means that several combinations of units may be found within that same construction type. Three examples of each type are given as illustrations:

I. NP + VP (*have*) + *not* + (*got*) + (NP) \ (inf.cl.) \ (PP)

(14) I haven't got a clue. (NP + VP + (*have got*) + *not* + NP)

(15) The council didn't have a leg to stand on. (NP + *not* + VP (*have*) + NP)

(16) He hadn't a bean. (NP + VP (*have*) + *not* + NP)

II. NP + *not* + VP (lexical verb) + (NP) + (PP) + (...-ing) \ (inf.cl.) \ (wh.cl.) \ (PP)

\ (AdvP)

(17) I don't know him from Adam. (NP + *not* + VP + NP + PP)

(18) The theory doesn't hold water. (NP + *not* + VP + NP)

(19) Money doesn't grow on trees. (NP + *not* + VP + PP)

III. (NP) \ (CI) + *be* + *not/no* + (AdjP) \ (NP) \ (PP) \ (wh.cl.) \ (AdvP) \ (PP)

(20) She is no great shakes. (NP + VP (*be*) + *not* + NP)

(21) As a director, he is not in the same street as Mr. Brown. (NP + VP (*be*) + *not* + PP)

(22) It's no chicken feed. (NP + VP (*be*) + *not* + NP)

IV. *Not* + VP + (NP) \ (PP) \ (CI)

(23) Don't put all your eggs in one basket. (*Not* + VP + NP + PP)

(24) Don't pile on the agony. (*Not* + VP + PP)

(25) Don't cross a bridge until you come to it. (*Not* + VP + NP + Cl)

V. *There* + VP (be) + *no/not* + (NP) \ (PP) \ (-ing cl.)

(26) There's no smoke without fire. (*There* + VP (be) + *not* + NP + PP)

(27) There's no shortcut to success. (*There* + VP (be) + *not* + NP)

(28) There's no fool like an old fool. (*There* + VP (be) + *not* + NP + PP)

VI. NP + VP (mod. (*Will*) + *not* + Vb) + (NP) \ (PP)

(29) He/She won't bite you. (NP + (VP (*will*) + *not* + Vb) + NP)

(30) That argument will cut no ice with me. (NP + (VP (*will*) + *not* + Vb) + NP + PP)

(31) You will not make old bones. (NP + (VP (*will*) + *not* + Vb) + NP)

VII. NP + VP (mod. (*would*) + *not* + Vb) + (NP) \ (AdjP) \ (PP) \ inf. cl.

(32) I wouldn't want to be in his shoes. (NP + VP (*would*) + *not* + Vb) + Inf. cl.)

(33) He would not hurt a fly. (NP + VP (*would*) + *not* + Vb) + NP)

(34) They wouldn't lift a finger to help you. (NP + VP (*would*) + *not* + Vb) + NP + Inf.

cl.)

VIII. NP + VP (mod. (*can*) + *not* + Vb) + (NP) \ (PP) \ (NP)

(35) You can't get a word in edgeways. (NP + VP (*can*) + *not* + Vb) + NP \ PP)

(36) I can't stomach him. (NP + (VP (*can*) + *not* + Vb) + NP)

(37) You can't teach an old dog new tricks. (NP + (VP (*can*) + *not* + Vb) + NP + NP)

IX. NP + VP (mod. (*could*) + *not* + Vb) + (NP) \ (AdvP) \ (PP) \ (-ing)

(38) I couldn't care less. (NP + (VP (*could*) + *not* + Vb) + NP)

(39) You could not see them for the dust. (NP + (VP (*could*) + *not* + Vb) + NP + PP)

(40) She couldn't believe her eyes when she saw what happened on the bus. (NP + (VP (*could*) + *not* + Vb) + NP)

In fact, these nine patterns can even be reduced to six, since, in the last four, the distinctive element is a modal verb, notably, *will*, *would*, *can* or *could*. This means, then, that the last four structures could be easily made into a single group.

In terms of frequency, pattern II seems to be the most common, followed by III with the verb *to be* as central element. NPIDs introduced by existential *there*-constructions are the least frequent ones.

Table 2 shows the frequency of the different syntactic patterns of the NPIDs identified. A miscellaneous group labeled "Other" has been included to accommodate those idiomatic expressions which did not follow a specific pattern or showed a high complexity.

Table 2

Frequency of sentence negation patterns

Type of negative	N
I (<i>have</i> + <i>not</i>)	54
II (NP + <i>not</i> + lexical verb)	124
III (<i>be</i> + <i>not</i>)	112
IV (<i>not</i> + Vb)	51
V (existential <i>there</i> constructions)	38
VI (modal verb)	107
VII Other	46

Furthermore, it is important to mention 125 examples, that is, 22.5 per cent of the total, were found to have an intensifying or emphatic function. This communicative value of negation is very rarely mentioned in the literature discussed so far. Most of the previous emphatic structures can be classified under patterns I and II:

(41) There's no point in his entering for that scholarship; *he hasn't a cat-in-hell's chance*

of gaining it. (NP + VP (*have*) + *not* + NP)

(42) “*I haven’t got the foggiest idea* what you are talking about”. (NP + VP (*have*) + *not* + NP)

(43) When she was told that her father was dying, *she never turned a hair*. (NP + *not* + VP + NP)

In contrast, 15 NPIDs, that is, about 2.7 per cent of the total contained a passive structure.

(44) „Most people favour one or the other party”. *I wouldn’t be seen dead in a ditch with either of them*”.

The low number of passives may be related to the fact that the majority of NPIDs recorded were connected with speech, the medium of expression where the frequency of passives is scarce (Svartvik 1966, p. 49; Biber 1991, p. 109-111). Furthermore, passive constructions are more common in formal language, and, as will be shown below, a small proportion of the NPIDs studied could be classified as such.

Apart from this, some of the NPIDs expressed a certain degree of comparison or contrast between two ideas. Quite frequently, those semantic notions were expressed at the syntactic level by means of a comparative or antithetical construction. Such comparative construction occurred on twenty-occasions; that is, they constitute four per cent of the total.

(45) What is one to do? *One must not be more royalist than the king*.

Finally, seventeen instances (3.9 per cent) containing parallelistic structures were also found. The majority of these consist in two syntactic units which are fully or partially contrasted. Consider (46):

(46) It’s not what you do, it’s the way that you do it.

This divergence can be reduced to two directives and, in some cases, alternatives or options are presented by means of *neither* or *nor*. The two examples that follow illustrate the two phenomena just describes:

(47) Waste not, want not.

(48) Neither a borrower nor a lender be, for a loan oft loses both itself and friend.

In this respect, NPIDs share certain formal features with other types of idioms, sayings, catchphrases, proverbial expressions and gnomic utterances in general, as they often exhibit rhetorical devices like parallelism, antithesis, use of full or partial rhyme.

As mentioned above (cf Table 1), only 18 examples of NPIDs were found to show constituent negation. Broadly speaking, the frequency of constituent negation in modern English is significantly lower than that of clause negation. This may be explained by the fact that the occurrence of this negative type is restricted to cases of affixal negation (*disagree*, *moneyless*, *untrue*) and to a reduced set of negated syntactic structures, namely content disjuncts, gradable adverbs and prepositional phrases (“Not surprisingly, they did not tell the truth”, “They work not far from us”, “It was a house with no lights on”).

The peculiar syntactic nature of these constructions is probably responsible for the even lower number of local negatives reported in the study. Furthermore, it is necessary to point out that some of the examples below, such as (51), (53) and (55), may be considered marginal as regards degree of idiomacity. According to Fernando and Flavell (1981), these expressions should be analysed as *semi-opaque*, *restricted collocations* or *semi-idioms*, as they combine one constituent with a transferred meaning and one with a literal meaning. On this occasion four main paradigm were identified:

I – *no\not* + PP

(49) This tale comes near to being a masterpiece. *Not for nothing* was the author a sometime winner of the grand Prix de la Nouvelle.

(50) They are getting married, and *not before time*.

II – *no\not* + NP

(51) He did it in *no time*.

(52) “We got him *not a moment too soon*,” the surgeon told me, “the appendix was **badly**

perforated.

(53) Under no circumstances, would we prepare to contemplate *no-go areas* in the United States.

III – not + inf.

(54) Peggy showed off her new dancing steps and Walter, *not to be outdone* in a matter of entertaining visitors, his prowess at handstands, cartwheels and backward somersaults.

IV – not + AdvP

(55) “Surely Jenny wouldn’t lie over a trifle like that.” “*Not much* she wouldn’t. Lying’s second nature to her.”

V – морфологічне \ афіксальне заперечення: іменник + суфікс

(56) I’m afraid he’s dull, *colourless* man.

(57) Ordinary people are at the mercy of *faceless* bureaucrats.

Table 3

Number of times constituent negation patterns of NPIDs occur

Syntactic pattern	N
<i>no</i> \not + PP	7
<i>no</i> \not + NP	6
morphological negation	3
<i>no</i> \not + inf.	1
<i>no</i> \not + AdvP	1

As can be seen from the above table, the syntactic pattern (+ PP) is the most common followed by (+ NP). Examples of morphological negation are recorded only on three occasions, two of them involving suffixation (*-less*) and one prefixation (*un-*).

To conclude, I hope to have demonstrated the importance and interest of NPIDs. No doubt, these expressions constitute a central area within the negative polarity system of English and, quite probably, of most languages. In spite of all the limitations and problems observed, it is possible to describe and systemize NPIDs from syntactic and semantic perspective. However, further work should be conducted to get deeper into the analysis of the syntactic patterns identified as well as to improve the typology of semantic categories distinguished here. The pragmatic value of these lexical units, as well as translation difficulties they may occasion to an average learner of English, will also deserve closer attention.

References

- ACQUAVIVA, P., 1992. The Representation of Negative Quantifiers. *Rivista di Linguistica* 4 p. 319-381.
- BIBER, D., 1991. *Variation across Speech and Writing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BOLINGER, D., 1977. *Meaning and Form*. London: Longman.
- CRUSE, D., 1986. *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FAUCONNIER, G., 1975. Polarity and Scale Principles. *CLS* 11, p. 353-75.
- FERNANDO, Ch. and FLAVELL, R., 1981. On Idiom. Critical Views and Perspectives. In R.H. Hartman (ed). *Exeter Linguistic Studies*. Vol. 5, 1-94. ed. Exeter: University of Exeter: Exeter.
- HAEGEMAN, L., 1993. Introduction: The Syntax of Sentential Negation. *Rivista di Linguistica* 5\2 p. 183-214.
- HAEGEMAN, L., 1995. *The Syntax of Negation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JESPERSEN, O., *Negation in English and Other Languages*. De Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historik-Filologiske Meddeleler I, 5. Copenhagen. Reprinted in 1962 in *Selected Writings of Otto Jespersen*. London: Allen and Unwin.
- KLIMA, E., 1964, Negation in English. In J. A. Fodor and J. J. Katz (eds) *The Structure of Language*, 246-323. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- PALACIOS, I., 1995. Some Notes on the Use and Meaning of Negation in Contemporary Written English. *Atlantis* 17 1\2, p. 207-227.

PROGOVAC, L., 1992. Negative Polarity: A Semantico-Syntactic Approach. *Lingua* 86\4, p. 271-299.

PROGOVAC, L., 1994. *Negative and Positive Polarity*. Cambridge: Cambridge University Press.

SVARTVIK, J., 1966. *On Voice in the English Verb*. The Hague: Mouton.

TOTTIE, G., 1991. *Negation in English Speech and Writing*. San Diego, London: Academic Press.

Олеся Татаровская

Львовский национальный университет им. И. Франко, Украина

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИДИОМЫ ПОЛЯРНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

Статья изучает идиомы с негативной полярностью (ИНП). Была составлена подборка данных с 550 единиц. С одной стороны, целью было представить полный перечень ИНП существующих в современном английском языке. Но, с другой стороны, очень важно сократить список ИНП к самым распространенным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идиомы с негативной полярностью, идиомы с позитивной полярностью, регистр, семантическая категория, тип негации, часть сложного предложения, составляющая часть.

Дарья Тер-Минасова

Московский государственный институт международных отношений МИИД РФ,
пр. Вернадского 76, 119454 Москва, Россия
e-mail: dariter-minasova@mail.ru

ИМИДЖ МОНАРХИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИДИОМАТИКИ – СВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Имидж, рассматриваемый в контексте института монархии, представляет собой несомненный интерес, поскольку, с одной стороны, речь идет о явлении XX-XXI века, а с другой стороны, имидж рассматривается на примере одного из древнейших институтов власти, который является неотъемлемой частью культуры Великобритании. Среди всех языковых средств, участвующих в формировании имиджа, интересна роль идиоматики языка, поскольку идиомы по своему происхождению тесно связаны с условиями места и времени, с каким-либо событием. Важным для понимания имиджа является стремление идиоматики передать эмоционально-экспрессивную оценку разных жизненных явлений, а также способность выявлять достоинства и недостатки изучаемого предмета/явления, которые особо ценятся либо осуждаются в обществе. Интересна связь идиоматических выражений и стереотипов, существующих о монархии Великобритании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имидж, идиоматика, монархия, культура, стереотип.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. В этом коротком латинском изречении содержится непоколебимая истина. Действительно, все в мире находится в постоянном приспособлении к обстоятельствам, времени, эпохе. Безусловно, некоторые жизненные реалии по своей форме остаются без видимых изменений, но в то же время они получают новое восприятие и трактовку через призму современности.

Имидж, рассматриваемый в контексте института монархии, представляет собой несомненный интерес, поскольку, с одной стороны, речь идет о новом современном явлении, появившемся и получившем развитие в XX веке с появлением нового направления в науке – Связей с общественностью / Public Relations. С другой стороны, имидж рассматривается на примере одного из древнейших институтов власти со своими устоявшимися традициями и стереотипами, который является неотъемлемой частью культуры Великобритании.

О связи языка и культуры существует большое количество трудов. В частности, С. Г. Тер-Минасова говорит о том, что язык – это зеркало культуры, в котором отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира (Тер-Минасова С. 2000, с. 14). Также язык определяется ею как «сокровищница, кладовая, копилка культуры», «передатчик, носитель культуры», «орудие культуры», «свидетель культуры» (Тер-Минасова С. 2007, с. 17)

Сравнение языка с зеркалом правомерно, поскольку в нем (языке) действительно отражается окружающий нас мир, а за каждым словом стоит предмет или явление реального мира. Положение о том, что язык является свидетелем культуры можно считать основополагающим постулатом, поскольку язык может как подтвердить, так и опровергнуть сведения, существующие о том или ином предмете/явлении. С его помощью становится ясно, какой имидж монархии существовал в тот или иной исторический период; он также иллюстрирует отношение народа к своему монарху.

Среди всех языковых средств, рассматриваемых в контексте формирования имиджа монархии, (средства массовой информации – главным образом печатные издания,

анекдоты, эпиграммы и другие сатирически произведения) особо следует выделить роль идиом, цитат и афоризмов, пословиц и поговорок, чьей целью является выявление достоинств и недостатков института монархии, которые особо ценятся либо, наоборот, осуждаются в английском обществе.

В идиоматике языка хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам и их культурам. Интерес к идиоматике обусловлен также и тем, что по своему происхождению она тесно связана с условиями места и времени или с каким-либо событием. Иначе говоря, такие сочетания в каждом языке индивидуальны и своеобразны. Они в сжатой и емкой форме выражают наиболее важные для людей идеи. Именно поэтому идиомы в целом и пословицы в частности утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что все ими сказанное – подлинно. Они отражают национальную культуру, поскольку описывают определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, исторические события и многое другое. «Любой афоризм (пословица, крылатое выражение, лозунг, формула) прежде всего фиксирует коллективный опыт людей. Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с образом жизни и с мыслями множества людей, – такое изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век» (Верещагин, Костомаров 1976, с. 68).

Во время подбора материала для данного исследования была выявлена и подтверждена взаимосвязь идиоматики, являющейся одним из средств выражения имиджа, и стереотипа – немаловажного компонента культуры, под которым понимается «привычное, но не всегда достоверное представление о явлении, лице или предмете, наполненное пристрастиями или неприязнью, опасениями или желаниями, сложившееся под влиянием эмоций, социальных условий, предшествующего опыта, практических целей и интересов человека» (Тер-Минасова Д. 2007, с.44).

Имидж является сложившимся в массовом сознании и имеющим характер стереотипа эмоционально окрашенным обликом предмета без строго неизменных характеристик, потому что у каждой целевой группы имеется своя специфика восприятия, свои установки и эталоны-стереотипы. Следовательно, изучение имиджа должно осуществляться в контексте образов, стереотипов и традиций, существующих об изучаемом предмете.

В пословицах, идиомах и цитатах явственно прослеживаются следующие стереотипы, существующие в обществе относительно английской монархии: 1) якобы «богоизбранность» монарха и его отношение к религии; 2) могущество и власть, которыми обладает правитель; 3) несметные богатства короля и доступные ему блага; 4) «вечная» монархия; 5) льстивость подданных.

Рассмотрев идиоматические выражения, имеющие отношение к монархии Великобритании, стало возможным сгруппировать выявленные единицы следующим образом, в том числе сообразно существующим стереотипам.

Такое качество монархии как могущество и богатство нашло подтверждение в следующих примерах:

- Kings have long arms/hands, many ears and many eyes.

У королей длинные руки, много ушей и глаз. Предположительно, смысл этой пословицы заключается в том, что король всегда все про всех знает, что его невозможно обмануть и от него нельзя никуда скрыться.

- The King of the castle

Хозяин положения, человек, имеющий власть, деньги и влияние.

- King's entreaties are commands

Просьба короля – это приказ. Никто не может осмелиться нарушить монарший приказ.

- «Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping-stone to greatness.»

Известная ведущая ток-шоу на американском телевидении Опра Уинфри призывает думать по-королевски, так как королева никогда не боится оступиться. По мнению ведущей, провал – это всего лишь ступенька к величию.

Языковые единицы, акцентирующие наше внимание на якобы богоизбранности монарха, его отличии от простых смертных и на его превосходстве над остальными людьми составили следующую группу:

- The Faith Defender

Защитник веры. В данном случае следует отметить следующую исторически-сложившуюся реалию английской монархии: будучи главой англиканской церкви, английские монархи не могут брать в жены/мужья представителей других религий (в особенности католиков). ‘Defender of the Faith’ – это один из титулов английского монарха со времен Генриха VIII, присвоенный ему в 1521 году за его книгу против Мартина Лютера.

- God save the King/Queen!

Боже, храни короля/королеву!

- The King never dies.

Король бессмертен.

- God gives not Kings the style of God in vaine, // For on his throne his scepter do they sway; // And as their subjects ought them to obey, // So kings should feare and serve their god againe. –

Яков I в сонете, посвященном своему сыну, Принцу Генриху, говорил, что короли не напрасно награждены сходством с Богом, поскольку исполняют на земле его волю. Король учил своего сына, что короли должны слушаться и бояться Бога точно так же, как их самих боятся их подданные.

- A royal pardon // King's pardon

Королевское прощение, амнистия // королевское помилование. Мы предполагаем, что трактовать эту пословицу следует следующим образом – только монарх настолько могуществен, чтобы судить и выносить оправдательный приговор

- Royal blood

«Голубая кровь», аристократическое происхождение

- You should be a King of your word.

Дал слово – держи. Пословица подразумевает, что король не нарушает данное им слово.

- The King's word is more than another man's oath.

Слово короля больше, чем клятва простого человека. Скрытый смысл этой пословицы в том, что слову короля всегда надо верить

- Punctuality is the politeness of princes.

Точность – вежливость королей

- A King's face should give grace.

Лицо короля должно быть привлекательно

- To queen it over

Разыгрывать из себя начальницу

- Queen's weather

Отличная (королевская) погода. Пословица появилась и закрепились в языке благодаря королеве Виктории, чье появление на публике всегда сопровождалось хорошей погодой.

- «A subject and a sovereign are clean different things». –

Карл I, правивший с 1600 по 1649 год, подтверждает укоренившееся в сознании людей мнение, что между королем и подданным лежит большая пропасть.

- The King can do no wrong.

Король не может быть не прав.

- «That the King can do no wrong is a necessary and fundamental principle of the English Constitution».

Отто фон Бисмарк в своем выступлении в Прусском парламенте предположил, что утверждение «Король не может быть не прав» является необходимым коренным положением английской конституции.

К третьей группе отнесены такие идиоматические выражения, где указываются блага, доступные королю и о которых мечтают его подданные:

- To live like a king.

Жить как король.

- Kingdom come

Рай

- A King's ransom

Королевский выкуп. Имеется в виду крупная сумма денег, которой обладал только монарх.

- Royal road

Самый легкий путь к достижению чего-либо, не требующий никаких усилий.

- Queen's weather

Отличная (королевская) погода

В четвертой смысловой группе рассматривается такой свойственный королям порок как лицемерие.

- A King loves the treason but hates the traitor.

Король любит предательства, но ненавидит предателя.

- It shall be done when the King comes to Wogan.

Это будет сделано, когда король приедет в Воган. Воган – маленькая деревушка, которую вряд ли когда-либо посетит король. Аналогом этой пословицы можно считать русскую пословицу «когда рак на горе свистнет», то есть никогда.

- Now the King drinks for Hamlet

Крылатая фраза из «Гамлета», для выражения лицемерия. [У. Шекспир, «Гамлет»]

- Heaven is above all yet; there sits a judge // That no king can corrupt.

Над миром небо есть. Там судия, Он неподкупен и для королей. [У. Шекспир, «Генрих VIII»]

- «Everyone likes flattery, and when you come to Royalty? You should lay it on with a trowel»

Бенджамин Дизраэли, английский премьер-министр времен королевы Виктории, считал, что лесть любят все, однако общаясь с королевской семьей, необходима грубая лесть. Имидж «вечной» монархии тоже нашел свое подтверждение в языке – в данном случае имеет место следующая концепция: правитель существует вне времени, но меняется его личность:

- The King is dead. Long live the King!

Король умер. Да здравствует король!

- The King never dies.

Король бессмертен.

Следующие контексты дают отрицательную оценку институту монархии, отмечая недостатки монархии и указывая на то, что намерения монархов не настолько чисты и благонравны:

- The King can make a knight, but not a gentleman.

Король может сделать человека рыцарем, но не джентельменом.

- In the country/kingdom of the blind, the one-eyed man is king.

В стране слепых и кривой – король. Возможно, эта пословица справедлива в отношении непопулярных в народе монархов.

- King's keys

Орудия взлома, применявшиеся по приказу короля.

- For want of a nail the Kingdom was lost.

Из-за гвоздя пропало королевство.

- It shall be done when the King comes to Wogan.

Это будет сделано, когда король приедет в Воган – никогда.

- A merry monarch

Веселый король. Крайне негативное высказывание о скандальном монархе.

- Kings have long arms/hands, many ears and many eyes.

У королей длинные руки, много ушей и глаз.

- The King reigns, but does not govern.

Отто фон Бисмарк соглашается с положением о том, что король правит, но не управляет, что может являться доказательством того, что английская монархия давно перестала выполнять свои правительственные функции.

- «A prince without letters is a Pilot without eyes».

Английский драматург, поэт и актер XVI века Б. Джонсон заметил, что принц, не знающий грамоты, это то же самое, что слепой кормчий. Таким способом поэт обличал малограмотность наследных принцев. Данная фраза имеет очень схожий смысл с другим высказыванием, принадлежащим члену действующей королевской семьи: несколько веков спустя в одной из речей Герцог Эдинбургский процитировал Генриха I, заявив, что необразованный король ничем не лучше коронованного осла:

- «An uneducated king is no better than the crowned ass».

Два идиоматических выражения не вошли ни в одну из вышеуказанных групп. Несмотря на это, они заслуживают не меньше внимания, чем остальные:

- Kingdoms divided soon fall.

Королевства, разделенные на части, скоро падут. Важность этой пословицы, на наш взгляд, заключается в том, что здесь делается акцент на целостности монархии, на необходимости сохранить королевство и избежать раздробленности. В противном случае война между его частями погубит их всех.

- Like King, like people

Каков король, такой и народ.

Итак, для выполнения поставленной задачи языковой материал представлен в нескольких смысловых группах. Тем не менее, распределение идиоматических выражений по этим группам достаточно условно, поскольку некоторые идиомы, пословицы и цитаты могут одновременно принадлежать к нескольким группам. Например, «Kings have long arms, many ears and many eyes» отнесена как к теме могущества короля, так и к выражениям, критикующим монарха и дающим отрицательную оценку институту монархии в целом. Пословица Queen's weather может

принадлежать к категориям богоизбранности монархии либо благам; *The King never dies* иллюстрирует богоизбранность монарха и идею «вечной» монархии; *It shall be done when the King comes to Wogan* говорит о лицемерии и укрепляет отрицательный имидж.

Количество идиом, пословиц и цитат, отражающих положительную или отрицательную оценку тех или иных характерных черт института монархии можно считать показателем отношения к нему народа; они являются подтверждением некоторых утверждений и стереотипов о монархии.

Из приведенных выше примеров следует, что язык как прославляет, так и обесславливает монархию, дает ей как положительную, так и отрицательную оценку. С одной стороны, он отмечает и критикует власть короля/королевы и их превосходство над другими людьми. С другой стороны, хорошо известна фраза «Боже, храни короля/королеву». Она является первой строчкой гимна Великобритании, в котором отражается восприятие англичанами своего монарха как сильного, благородного, величавого и понимающего одновременно: *'God save our gracious Queen! / Long live our noble Queen! / Long live the Queen! / Send her victorious, / Happy and glorious, / Long to reign over us, / God save the Queen.'*

В результате анализа приведенных выше примеров можно говорить о том, что посредством идиоматических выражений имидж монархии более разнообразно и богато представлен в положительном ключе, нежели чем в отрицательном. Из проанализированных тридцати девяти (39) высказываний двадцать три (23) являются положительными, двенадцать (12) отрицательными и четыре (4) нами отнесено к смешанному типу.

Вплоть до середины XX века считалось, что «легче критиковать бога, чем короля». Вывод, к которому мы пришли после анализа «королевской» идиоматики говорит о том, что она тесно связана с культурой, образом жизни и менталитетом англичан, для которых понятия «монархия» и «Англия» на протяжении многих веков являются неразделимыми.

Литература

- ВЕРЕЩАГИН, Е. М.; КОСТОМАРОВ, В. Г., 1976. *Язык и культура*. Москва: Русский Язык.
 РЕФОРМАТСКИЙ, А. А., 1996. *Введение в языковедение*. Москва: Наука.
Словарь русских пословиц и поговорок, 1967. Москва: Советская Энциклопедия.
 ТЕР-МИНАСОВА, Д. И., 2007. Имидж института монархии Великобритании. *Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии*. Москва.
 ТЕР-МИНАСОВА, С. Г., 2000. *Язык и межкультурная коммуникация*. Москва: Слово.
 ТЕР-МИНАСОВА, С. Г., 2007. *Война и мир языков и культур*. Москва: АСТ: Астрель: Хранитель.

Daria Ter-Minasova

Moscow State Institute of International Relations, Russia

IMAGE OF THE MONARCHY THROUGH IDIOMS: LINKING LANGUAGE AND CULTURE

Summary

The monarchy of Great Britain and its current image are of a particular interest, therefore, on the one hand the article discusses 'image' – the notion of the XX-XXI centuries. On the other hand, the analysis of the paper focuses on the image of the monarchy – one of the oldest institutions which is part of the British culture. One of the major parts in image-building is given to idiomatic phrases as idioms require some background knowledge, information, or experience, in order to be used within a certain culture. Idioms can therefore be considered a part of the culture. As cultures are typically localized, idioms are useful for that local context. The way attitude to monarchy is shown through idioms give a chance to see the emotional assessment given to it, the strong and weak points of the monarchs, that did find reflection in the language. The link between idiomatic expressions and stereotypes that exist on the monarchy of Great Britain is also worth studying.

KEY WORDS: Image, idioms, monarchy, culture, stereotypes.

Анна Васильева

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
ул. Советская 18, Минск, Республика Беларусь
e-mail: katavasija@mail.ru

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ/НЕДОСТОВЕРНОСТИ

Проведен анализ основных подходов к определению критериев достоверности вербальной информации, имеющие место в рамках аналитической философии, теории аргументации и теории массовых коммуникаций. Рассматривается ряд психолингвистических закономерностей формирования механизмов доверия к слову. Сделана попытка выделить общие критерии оценки информации с точки зрения ее достоверности / недостоверности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, достоверность, истинность, доверие.

Объем знаний, накопленных человечеством, увеличивается в геометрической прогрессии; по последним данным, он удваивается каждые пять лет. В такой ситуации человек физически не может самостоятельно охватить всю информацию, касающуюся даже сферы его профессиональной деятельности, не говоря уже о сведениях более общего плана; все большее количество явлений окружающей действительности познается нами с помощью «посредников», в роли которых выступают самые разнообразные источники информации. Закономерно возникает проблема доверия – к адресанту, к самим данным, к их частной интерпретации. Несмотря на то, что соотношение истины и не-истины на протяжении тысячелетий занимало сознание мыслителей, критерии достоверности вербальной информации в том или ином виде затрагивались лишь в рамках аналитической философии, теории массовых коммуникаций, а в лингвистике – в теории аргументации, причем этот вопрос практически всегда находился на периферии основного круга проблем. Что характерно, практически не рассматривались ситуации повседневного общения, хотя отдельные попытки их анализа имеют место. В то же время наработки философов и ученых дают своего рода ключ к пониманию механизмов доверия к слову – произнесенному либо записанному, прозвучавшему в рамках повседневного общения либо научного дискурса.

Представители различных школ **аналитической философии** (АФ) уделяют основное внимание поиску критериев истинности высказывания, тем самым переводя проблему в область логики (чаще всего формальной). В рамках АФ истина рассматривается не как субстанциональная сущность, принцип мироустройства и т.п., но как истина в концепции значения – т.е. *такое свойство обоснованных убеждений (или других носителей истинности), благодаря которому мы знаем их значение* [Блинов и др.]. В настоящее время сложился ряд теорий истины в приведенном выше понимании, базирующихся на традиционных философских подходах, но в то же время включающих собственно лингвистический компонент.

- **Корреспондентная (классическая) теория истины:** предложение истинно, если и только если оно соответствует фактам (действительности). При всей дискуссионности вопросов о природе «соответствия» и степени адекватности вербальной передачи «фактов» отмечается, что в силу самой грамматической структуры большим правдоподобием отличаются предложения, в которых «*носитель истины имеет форму категорического подтверждающего утверждения относительно некоторого такого события или ситуации*» (Блинов и др.). Сущность соответствия в различных вариантах теории проясняется либо посредством метафоры отражения (зеркала), либо через понятие референции.

- **Дефляционные теории истины (дисквотационная, минималистская, просентенциальная)** основываются на разграничении реального и вербального значения слова «истина» и опираются на принцип эквивалентности правой и левой части Т-предложений (за исключением просентенциальной теории, в которой термин истины не рассматривается как предикат).

- **Прагматическая теория истины** ставит истинность «идеи» – носителя истинности в зависимость от качества реализации ее функций. Один из основных постулатов теории заключается в следующем: безусловно истинным является высказывание, с которым согласились бы все люди, обладающие адекватным опытом.

- **Ревизионная теория истины** рассматривает последнюю как циркулярное понятие и использует идею последовательного приближения либо опровержения утверждений, претендующих на истинность, проясняя этот процесс с помощью математических операций.

- **Релятивистская теория истины** предполагает наличие «посредника» между миром и языковыми выражениями; в роли этого «посредника» могут выступать промежуточные источники информации, концептуальные схемы, историческая или культурная ситуация и т.п. Решение относительно истинности / ложности высказывания принимается с учетом действующей для данного высказывания системы координат, в том числе способов и средств выражения мысли, существующих в конкретном языке.

- **Когерентная теория истины** утверждает, что мера истинности высказывания определяется его ролью и местом в некоторой концептуальной системе; в данном случае речь идет о непротиворечивой связанности определенного высказывания с *n*-ным числом других высказываний и суждений относительно того же самого предмета.

Следует отметить, что все перечисленные выше теории содержат ряд спорных моментов, в силу чего ни одна из них не может претендовать на универсальность. Этим объясняется тот факт, что в чистом виде они практически не встречаются даже в философских построениях. В практической деятельности, как отмечают сами авторы, человек для установления истинности либо ложности высказываний одновременно оперирует критериями, составляющими базу разных теорий.

Несмотря на то, что понятие достоверности информации не рассматривается в рамках АФ напрямую, многие идеи представителей течения тем или иным образом затрагивают эту проблему. Так, Б. Рассел предлагает с помощью формальных логических операций конструировать не данные непосредственно сущности из определенных наборов чувственных данных, причем основным инструментом разграничения возможного и невозможного служит «чувство реальности», основывающееся на представлениях познающего субъекта об окружающем мире. Одним из наиболее существенных достижений английского мыслителя являются концепция двух типов знания (по знакомству и по описанию), теория типов и связанная с ней теория удовлетворительного символизма, согласно которым классы высказываний образуют непроницаемую иерархическую структуру; для каждого из классов фиксируются свои средства выражения и типы символов, указывающих на соответствующее значение («*вы всегда можете прийти к вещи, на которую нацелены, только посредством надлежащего типа символов, достигающего ее подходящим способом*» (Рассел 2007, с. 205)).

Людвиг Витгенштейн актуализирует собственно лингвистический аспект логического анализа; в свете его концепции логика как знание особого типа не призвана говорить о реальности; ее задача – показать структурные взаимосвязи знаковой системы. Представления об истинности и ложности у Витгенштейна связаны с понятием «элементарного предложения» (ЭП), не включающего другие предложения в качестве элементов и безразличного по отношению к аналогам в плане истинности / ложности. Приоритетными при характеристике элементарного предложения становятся синтаксические отношения, позволяющие, в частности, ввести понятия «логического места», определенного логическими свойствами конкретного ЭП, и «логического

пространства» как совокупности всех ЭП, их конструкций и связей, в которые они могут вступать. ЭП как проявление логической формы есть факт – онтологическим эквивалентом ЭП является *«состояние дел»*. Коррелятами действительности реально существующих предметов выступают их имена, специфика использования которых обусловлена субстанцией мира. Обращение к опыту как инструменту верификации, следовательно, становится вовсе ненужным и даже бессмысленным: *«для того, чтобы элементарное предложение было истинным, оно прежде всего должно быть способно к истинности* [т. е. все его конститuentы должны быть функционально объяснимыми и оправданными с помощью синтаксических категорий – А.В.], *и это все, что затрагивает логику»* (Витгенштейн 1998, с. 37). Витгенштейн принимает корреспондентский тезис о том, что истина и ложь характеризуют связь предложения с действительностью, но при этом вводит понятие репрезентативного *«образа действительности»*, элементы которого соотносятся друг с другом определенным способом; количество, качество, способ и структура связей элементов образа должны соответствовать аналогичным параметрам отображаемого. В отличие от индифферентного объекта, образ может быть правильным или ложным.

С именем Л. Витгенштейна также связывают идею верификации – учета обстоятельств, при которых предложение было бы безусловно истинным, как отправного пункта оценки. Тезис широко разрабатывался представителями Венского кружка, однако, несмотря на многочисленные дискуссии по этому вопросу, мыслители так и не пришли к единому пониманию термина. Как правило, в качестве верификационного критерия принимался эмпирический критерий значения (М. Шлик выделяет также логическую возможность верификации и связывает истинность предложения с установлением точного значения его элементов), также трактуемый весьма неоднозначно. Пытаясь перевести проблему в практический план, Р. Карнап вводит понятие подтверждения как ступенчатого процесса последовательного уточнения знания семантической характеристики элемента определенного языка, обладающего точной синтаксической и семантической конструкцией; также Р. Карнапу принадлежит описание структуры знания о мире и разработка принципов экспликации.

На обусловленность наших представлений о мире понятийным аппаратом конкретного языка указывает и К. Айдукевич (Львовско-Варшавская школа АФ). Хотя в целом предлагаемая им концепция радикального конвенционализма по ряду причин не может претендовать на объективность, в то же время нельзя отрицать имманентное существование определенной договоренности относительно значения слов и грамматических конструкций, правомочность выделения правил языка, при нарушении которых ни одно высказывание не может считаться истинным. К. Айдукевич среди *«правил смысла»* выделяет аксиоматические (их отрицание одновременно означает отрицание общепринятых значений слов и конструкций), дедуктивные (признание определенного значения за предложением – компонентом логической пары или цепочки предполагает признание определенного значения за другим (другими) компонентами пары / цепочки), эмпирические (определенным данным соответствуют определенные традиционно принятые способы выражения) (Философия и логика Львовско-Варшавской школы 1999, с. 322-325). Философ впервые указывает на приращение значения предложения посредством интенции высказывания (теория интенциональных значений). К другим значимым для нас идеям, выдвинутым представителями Львовско-Варшавской школы, относятся введение возможности как третьего истинностного значения и ограничение поля применения понятия правдоподобия лишь формулами со свободными переменными (Я. Лукасевич), разработка представлений о метаязыке (А. Тарский).

Генетически связанная с аналитической философией **теория аргументации** отстраняется от вопросов истинности либо ложности высказывания и обращается к изучению закономерностей снятия противоречий в коммуникативном процессе. Элементарной единицей аргументативного рассуждения выступает не суждение или

высказывание, а речевой акт, несущий некоторое пропозициональное содержание – продукт диалога и обладающий определенной иллокутивной силой (Мигунов 2004, с. 202, 209). *«Убедить другого в истинности некоторого положения означает, прежде всего, либо продемонстрировать его очевидность для другого, либо обосновать это положение с помощью других положений, в истинности которых собеседник не сомневается. Другими словами, задача аргументации состоит в том, чтобы обосновать это положение для нас, сделать его истинным для нас»* (Мигунов 2004, с. 99; выделено мной – А. В.). В традиции, связанной еще с трудами Аристотеля, выделяются три вида способов убеждения в истинности посылок и, соответственно, вытекающих из них следствий: те, которые зависят от «нравственного характера говорящего» (иными словами, отталкиваются от существующего в подсознании адресата образа адресанта); те, которые определяются настроением адресата (связаны с подсудной симпатией слушателя к содержанию речи, спровоцированной с помощью специальных приемов); те, которые прямо связаны с характером собственно речи (собственно аргументация) (Приводится по: Демьянков, 2003). Отмечается стремление многих авторов вывести универсальные правила аргументации в целом и продуктивной аргументации в частности, охватывающие все аспекты построения и функционирования аргументативного дискурса.

Поскольку в основе аргументации как таковой лежит не только исходное противоречие между информационными образами адресанта и адресата, но и потенциальная возможность достижения консенсуса, проблема фальсификации данных подменяется проблемой фундаментального непонимания. Вслед за Ф. Ван Емереном (Амстердамская школа аргументации), который отмечает, что в основе разногласий участников дискуссии нередко лежит неверное понимание адресатом интенции исходной посылки, С. Джейкобс и С. Джексон, говоря о прогрессивном дискурсе, подчеркивают, что *«участники разговора (впрочем, как и участники любых других форм речевой коммуникации как устной, так и письменной, за исключением очевидных ситуаций, предполагают, что говорящий не будет совершать бессмысленных, излишних или неискренних действий. Поэтому, когда слушающий считает, что говорящий знает (и знает, что слушающий знает, что он это знает), что предварительные условия (preparatory conditions) или условия искренности (sincerity conditions) для конкретного речевого акта не выполнены, он будет предполагать, что говорящий совершил другой речевой акт»* (Важнейшие концепции теории аргументации 2006, с. 202-203). О коммуникативной рациональности и коммуникативной природе истины говорит Ю. Хабермас (Франкфуртская лингвистическая школа), делая акцент на значительной роли интуитивного в процессе оценки суждений.

В поле зрения исследователей, работающих в русле **теории массовых коммуникаций**, а также разработчиков **PR-технологий** различной сферы применения, также попадают закономерности процесса убеждения адресата информации в истинности предлагаемых ему сведений. Однако тут, в отличие от рассмотренных выше подходов, возможность фальсификации данных не элиминируется из проблемной сферы. Средства массовой информации изначально ориентированы прежде всего на реципиента как носителя обыденного (коллективного) сознания, характеризующегося природно-наивным подходом к оценке явлений действительности, традиционностью, ослабленностью либо отсутствием авторской интерпретации субъективно незначимых данных, социальным и психологическим синкретизмом (Мирошников 2004, с. 23). Поскольку лакуны рационального мышления, вызванные недостатком знаний о том или ином сегменте бытия, заполняются фундаментальным мифом, репрезентированным посредством *sacrum*, либо мифологизированным научным знанием (Hrebenda 1998, с. 57), убеждение в достоверности данных базируется на мифологических матрицах и, соответственно, на подключении механизмов «массовой памяти». В психологии массовых коммуникаций сложился ряд теорий, позволяющих уяснить, на чем базируется повышенное по сравнению с иными источниками воздействие СМИ (прежде всего телевидения) на

общественное сознание; как выясняется, степень проявления ожидаемого эффекта напрямую связана с реализацией классических поведенческих реакций, включенностью эмоциональной сферы, а также ряда особенностей восприятия и переработки информации (Харрис 2001). Кроме того, ньюсмейкеры и политтехнологи в своей деятельности применяют ряд специфических приемов, позволяющих представить исходные данные в нужном свете, – иными словами, непротиворечиво вписать их в картину мира типичного представителя целевой аудитории и систему его ожиданий; в частности, С. Кара-Мурза, говоря о механизмах дезориентации общественного мнения с помощью СМИ, указывает такие приемы, как умолчание, внедрение ложных понятий, ложные концепции, ложное обоснование измерений, замалчивание намерений и проектов, создание мифов (Кара-Мурза 2002, с. 234). Большое количество работ, посвященных феномену гейткиперства, достаточно четко обрисовывают процедурные аспекты работы системы отбора и обработки информации, которая будет вынесена на суд слушателя / зрителя / читателя.

На основании анализа имеющихся в нашем распоряжении теоретических работ, личных наблюдений, а также опыта работы в печатных СМИ мы можем предложить собственные критерии оценки вербальной информации с точки зрения ее достоверности / недостоверности.

Отправным пунктом оценки любой информации как точной, сомнительной либо не заслуживающей доверия является ее позиционирование. Наличие ярко выраженной установки на достоверность приведенных сведений (официальные данные, утилитарные сообщения, свидетельства очевидцев и т. п.) способствует повышению эпистемологического статуса сообщения, между тем как заведомо субъективная версия событий, художественная или полухудожественная обработка фактов, слухи, сплетни и т.д. изначально воспринимаются адресатом как не вполне аутентичное отображение действительности.

Кроме того, весьма значимым фактором является интенция сообщения. *«Там, где истинность или ложность суждения имеют прагматическое значение, психологические причины второстепенны. Там, где истинность или ложность суждения являются следствием социальной ситуации общения, эти причины выступают на первый план»* (Винокур 1993, с. 136). В контексте информативного речевого поведения имеет место повышенная требовательность к достоверности сведений, что обусловлено ориентацией на сотрудничество как основу продуктивной коммуникации и практической деятельности. В силу этого искажение данных расценивается крайне негативно и самым отрицательным образом сказывается на репутации адресанта (Васильева 2008, с. 228). В контексте фатического речевого поведения *«собственно информативные задачи становятся вторичными, а коннотативный план может приобретать абсолютную ценность»* (Винокур 1993, с. 137). В итоге отношение к фактической точности сообщения становится значительно менее критичным. Правда и ложь в данном контексте рассматриваются как комплементарные сущности, а ценность высказывания определяется степенью его соответствия ожиданиям адресата (Васильева 2008, с. 228). Несоответствие интенциональной направленности речевого поведения адресанта и адресата / адресатов нередко становится причиной неадекватной оценки достоверности сообщения.

Как известно, для традиционного сознания новости как информационный феномен обладают пониженной ценностью в сравнении с общеизвестными фактами; *«до всеобщего сведения в общине доводятся только “старости”, т.е. то, что случилось давным-давно, в легендарные времена и приобрело освященный временем статус незыблемого культурного образца. Чтобы стать предметом всеобщего интереса, только что происшедшее событие должно быть исправлено и улучшено в соответствии с мифологической матрицей и тем самым перенесено из времени в вечность»* (Дьякова – Трахтенберг 1999). Как показывают исследования психологов, залогом доверия со стороны адресата является оптимальный баланс известного и неизвестного. Данные, выступающие как дополнение уже знакомых адресату и безусловно точных (либо

считающихся таковыми) фактов, в большинстве случаев оцениваются не столь критично, как абсолютно новая информация, не имеющая под собой когнитивной базы. Степень доверия к предлагаемым данным резко возрастает, если имеет место однонаправленное воздействие нескольких источников информации. В этом случае новые сведения органически входят в структуру разнообразных мифов общественного и индивидуального сознания, принимая активное участие в формировании «псевдо-окружающей среды» субъекта исторического процесса. «Поскольку существует взаимодействие между стандартным вариантом интерпретации и вариантом, принятым в настоящее время, то именно принятые и циркулирующие в настоящее время интерпретации влияют на поведение людей» (Липпман 2004, с. 116).

В то же время необходимо учитывать степень осведомленности адресата в той области, к которой относятся предлагаемые ему факты, наличие у него альтернативных источников информации, в том числе вспомогательной, и навыков специального анализа. В данном случае сразу же возникает вопрос о компетентности адресанта; если последняя ничем не подтверждается, а грубые логические или содержательные ошибки позволяют сделать вывод о ее отсутствии, под сомнение, как правило, ставятся все данные, исходящие из этого источника.

Напротив, высокая степень авторитетности каждого из источников и возможность верификации сведений, наличие ссылок, документальных либо иных свидетельств усиливают «эффект достоверности». Для неспециалиста, как правило, непринципиально, имеется ли доступ к этим данным у него лично – значима сама возможность потенциального подтверждения либо опровержения. Особо следует отметить, что на качество оценки информации с точки зрения достоверности / недостоверности оказывает влияние фактор временной либо пространственной отстраненности. Сведения, относящиеся к отдаленному прошлому или событиям, значительно отнесенным от адресата в пространственном отношении, как правило, с трудом поддаются верификации, либо ее возможность полностью исключена. В силу своей заведомой непроверяемости такие данные вызывают закономерное сомнение в соответствии действительности ее истолкованию. Однако этот фактор является вспомогательным: если предлагаемая реципиенту информация в целом вписывается в его картину мира, временная / пространственная отстраненность событий не играет существенной роли в общей оценке.

Как несложно заметить, в процессе оценки информации немаловажную роль играет ее предсказуемость, в известной мере контаминирующая с когнитивными и коммуникативными ожиданиями адресата. В данном случае в зависимости от культурных ориентаций общества могут иметь место два варианта. Как указывает Л. Поелуева, *«эволюционные неровности создаются диалектическими переходами от периодов активной индивидуализации сознания, осваивающего новые уровни социальной организации, к периодам активной массовизации сознания, закрепляющего новые формы социального опыта и в то же время строго оберегающего условные познавательные границы, выход за которые угрожает видовой и групповой целостности и безопасности»* (Поелуева 2003, с. 11). В периоды стабильности новые данные, подающиеся как достоверные, скорее будут признаны таковыми, если они в максимальной степени отвечают тому упрощенному представлению о мире, которое сложилось у реципиента, – иными словами, базируются на мифологической матрице. В переходные периоды (нередко сопровождающиеся социальными потрясениями и всегда – разочарованием в основных положениях идеологии предыдущего этапа), наоборот, востребованными становятся «протестные» данные, предлагающие совершенно иное видение мира; «альтернативная» информация, в свою очередь, активно участвует в формировании новой мифологической матрицы.

Резюмируя все вышесказанное, мы выделяем следующие параметры оценки информации с точки зрения ее достоверности / недостоверности:

- эпистемологический статус сообщения;

- интенция сообщения;
- субъективная значимость информации;
- соблюдение / несоблюдение внутренней логики изложения, наличие / отсутствие содержательных пробелов;
- уровень осведомленности участников коммуникации по данной проблеме;
- соотношение известного и неизвестного, наличие / отсутствие у реципиента возможности верификации данных;
- степень согласованности информации, поступающей из разных источников, авторитетность каждого из них;
- коммуникативный статус адресата и адресанта, соответствие их культурных и субкультурных ориентаций;
- соответствие предлагаемой информации когнитивным и коммуникативным ожиданиям адресата, в частности, его индивидуальной картине мира.

Конечная оценка представляет собой интегративное образование; соблюдение лишь одного или нескольких требований в определенной мере влияет на конечные выводы, но лишь выполнение всех перечисленных ниже условий обеспечивает значимую меру успеха. Нельзя также недооценивать роль экстралингвистических факторов, которые очень часто оказывают существенное влияние на процесс адекватного восприятия высказанных тезисов.

Литература

- AJDUKIEWICZ, K., 1985. *Język i poznanie* (wybor pism z lat 1920-1963). Т. I—II. Warszawa.
- HREBENDA, S., 1998. *Mityczne aspekty ideologii. Między realizmem a utopią. Świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanie pokoju i demokracji na przełomie XX I XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania*. Katowice: wydawnictwo uniwersytetu śląskiego, s. 54-64.
- БЛИНОВ, А. К.; ЛАДОВ, В. А.; ЛЕБЕДЕВ, М. В. *Аналитическая философия* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://culture.niv.ru/doc/philosophy/philosophy-analytic/099.htm>
- Важнейшие концепции теории аргументации*, 2006. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ.
- ВАСИЛЬЕВА, А. Н., 2008. Отражение представлений о достоверности/недостоверности информации в русской паремииологии (на материале словаря В. И. Даля «Пословицы русского народа»). *Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы*. Материалы МНК г. Минск, 20-21 марта 2008: В 2-х частях. Часть 1. Минск: БГПУ, с. 227-229.
- ВИНОКУР, Т. Г., 1998. *Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения*. Москва: Наука.
- ВИТГЕНШТЕЙН, Л. *Дневники 1914-1916*. С прил. «Заметок по логике» (1913) и «Заметок, продиктованных Муру» (1914). Томск: Водолей.
- ДЕМЬЯНКОВ, В. З. *Аргументирующий дискурс в общении* (по материалам зарубежной лингвистики) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.infolex.ru/P029.htm>
- ДЬЯКОВА, Е. Г.; ТРАХТЕНБЕРГ, А. Д., 1999. *Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ основных теоретических подходов*. Екатеринбург, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://elenakosilova.narod.ru/studia2/masskult.htm>
- ЗНАКОВ, В. В., 1999. *Психология понимания правды*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- КАРА-МУРЗА, С., 2002. *Идеология и мать ее наука*. Москва: Алгоритм.
- ЛИПШМАН, У., 2004. *Общественное мнение*. Москва: ин-т фонда «Общественное мнение».
- МИГУНОВ, А. И., 2004. Теория аргументации как логико-прагматическое исследование аргументативной коммуникации. *Коммуникация и образование*. Сборник статей. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, с. 198-215.
- МИРОШНИКОВ, Ю. И., 2000. *Аксиологическая концепция социокультурной коммуникации: Автореф. дисс... доктора философских наук*. Екатеринбург..
- ПОЕЛУЕВА, Л. А., 2005. *Массовая информация в культурной парадигме переходного периода: Автореф. дисс... доктора философских наук*. Саранск.
- РАССЕЛ, Б., 2007. *Избранные труды*. Новосибирск: Сибирское университетское издательство.
- Философия и логика Львовско-Варшавской школы*, 1998. Серия «Научная философия». Москва: Росспэн.
- ХАРРИС, Р., 2002. *Психология массовых коммуникаций*. 4-е международное издание. Санкт-Петербург: изд. дом «Нева»; Москва: Олма-пресс.

Byelorussian State Pedagogical University Named after M. Tank

**THE ESTIMATION CRITERIA OF VERBAL INFORMATION FROM THE POINT OF VIEW OF ITS
RELIABILITY / UNRELIABILITY.**

Summary

The article covers the basic approaches to the definition of criteria of verbal information reliability within analytical philosophy, the theory of argumentation and the theory of mass communication. It considers a number of psycholinguistic laws of the formation of trust to a word. An attempt is made to allocate some general criteria of the estimation of information from the point of view of its reliability/unreliability.

KEY WORDS: information, reliability, validity, trust.

Dovilė Vengalienė

Vilniaus University

Muitinės g. 8, 40353 Kaunas, Lietuva

e-mail: dovile.veng@gmail.com

BLENDING IN IRONIC REFERENCES TO LITHUANIA IN NEWS HEADLINES

The article discusses the types of blending structures involved in creating ironic headlines referring to Lithuania. To express a critical evaluative attitude towards the country the ironist employs a variety of structures, some of which have become conventionalized and may serve as a template for creating novel blends.

KEY WORDS: irony, blends, input spaces, incompatibility, clash, ironic shift of meaning, conventionalization.

Being a specific figure of speech, irony has often been discussed by theorists, critics, and linguists (N. Knox 1973, W. Booth 1969, D. Willson 1994, J. Kreutel 2003, L. Hucheson 1996, D. Muecke 1969, R. Giora 2002, H. Kotthoff 2000, S. Stewart 1989 and many others) and the question “why do we use irony?” has been asked hundreds of times. However no adequate answer has been given yet. The theory of Fauconnier and Turner might provide a new approach for investigating this question and novel ways to answering it.

While applying the theory of blending to irony we are given the insight into the problem no other theory has ever given. Blending as a multiple operation of cognitive capacities of a man looks at irony from a different perspective. We are not to process the literal level of the utterance, which is later rejected; we are not in search of the most salient meaning or perform a variety of other operations suggested by different approaches to irony. What happens here is the blending of all the associations, the associative fields all of which contribute to the final meaning; the ironist blends the reality, the desired state of affairs, the evaluative attitude or criticism, the common background knowledge, and the belief that the audience will understand the irony.

This article aims to analyze the ironic blends in Lithuania’s mass media focusing on the cases of auto-irony directed towards the country as a whole. Headlines are regarded as one of the most important parts of a news article which are both informative and loaded emotionally. They also have to express some critical evaluative attitude towards the issue under review. One of the numerous effective ways for headlines to attain their aim is to employ irony.

The analysis of news headlines taken from Lithuanian website delfi.lt shows the variety and the complexity of blending operations involved in irony creation. The effort has been made to collect ironic headlines referring to the name of the country (Lithuania) and to categorize them on the basis of the structure. The categorization has been based on the types proposed by Fauconnier and Turner in their major work “The way we think”.

Nearly twenty thousand headlines have been examined (from 2000 January to 2007 December) on delfi.lt website. 250 headlines of the website were found ironic and 10 headlines directed the irony towards the country as a whole. All the investigated headlines fall into several categories that present a number of cognitive patterns peculiar for ironic utterances. In ironic headlines Lithuania is addressed using periphrases of various types. They offer an interesting scope of blending types, and give the reader insight into how we see the country. One of the most interesting ironic blends is presented by the headline „Lithuania-Mary’s Land“.

- *Lithuania – Mary’s Land/Sodom and Gomorra in Mary’s Land/The Public Relations in Mary’s Land*

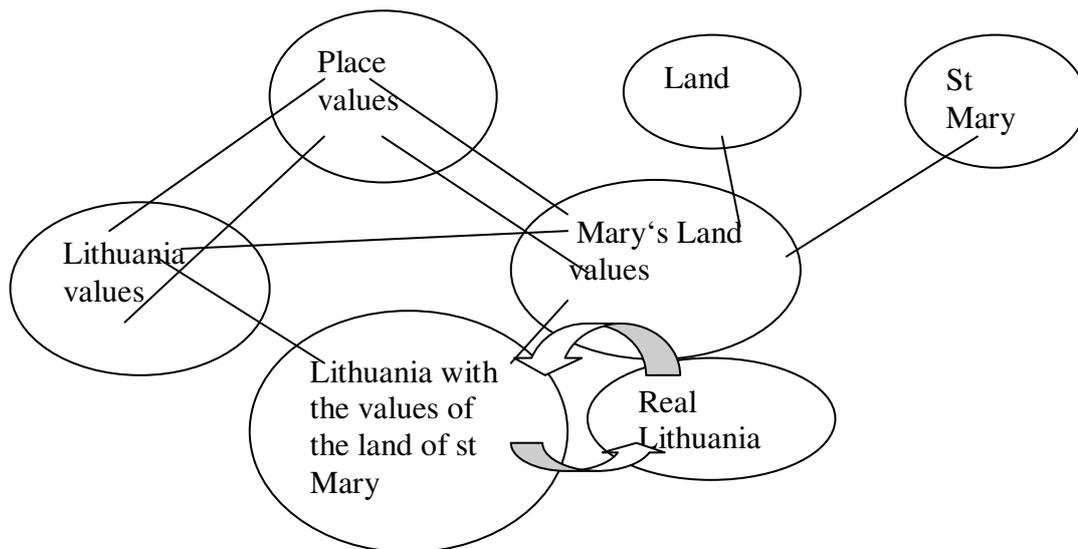
A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, (3rd edition (Chicago: University of Chicago Press, 2000), states that Mary of Nazareth is one of

the most highly venerated saints in both the Catholic and the Eastern Orthodox Churches. She is venerated as the ever-virgin Mother of God who was specially favored by God's grace (Catholics hold that she was conceived without original sin) and who, when her earthly life had been completed, was assumed bodily into Heaven.

There is definitely no irony inherent in the name of St. Mary. Many place-names include reference to St. Mary all over the world: in the USA (St. Mary's, Alaska, St. Marys, Georgia, St. Maries, Idaho, St. Marys, Iowa, St. Marys, Kansas, St. Mary's City, Maryland, Saint Mary's County, Maryland, St. Marys, Ohio, St. Marys, Pennsylvania, St. Marys, West Virginia), in Canada (St. Marys, Ontario, St. Mary's, Newfoundland and Labrador, in Avalon (electoral district), St. Mary's, Nova Scotia), in the UK (St. Mary's, Isles of Scilly, one of the Isles of Scilly, St. Mary's, Hampshire, a district in the city of Southampton), in France (Saintes-Maries-de-la-Mer, a town in the Camargue) etc.

The situation with Lithuania in regard to the usage of the reference to St. Mary is of special interest. The ironic meaning of the headline is considered the most salient meaning now. But to trace the development of the blend one should look back a little bit to the recent historic events in Lithuania. In the years of Atgimimas the same utterance was being said with pride and had no irony in it at all. Yet, with the years of disappointment the literal meaning has already disappeared and now only the emergent ironic meaning can be called the most salient meaning. On the basis of this so well known saying the following formations in headlines have been made: "Sodom and Gomorra in Mary's Land", "The Public Relations in Mary's Land". The mechanism of the blend can be explained with the following scheme:

Scheme 1



As it has been mentioned above, the name of Mary if taken separately (out of context) does not carry any ironic meaning in itself. On the contrary the counterfactual itself (Mary's land) if taken out of the context of Lithuania presents an idea of sacredness. The name of the country if taken separately is not ironic either. Yet while taken together the parts have the emergent structure – they have the ironic meaning which arises as a result of the incompatibility of component elements.

The above given headline brings about an example of a complex mirror network. Both input spaces share the same organizing frame (of a country). In the first input we see Lithuania and in the second input we see the Mary's Land. Mary's Land itself is a mega blend, where the features associated with the name of St Mary are carried to a location, which is not a real place but rather a vision. The Input Space of St. Mary has such input elements as a saint; a person; piety; divinity; care; protection; patronage.

Land is a very abstract input space which might be regarded as providing slots for the elements of the input space “Mary”; Land may be seen as a blend of the following: location, administrative unit; country; governance; inhabitants; culture etc.

In the mega blend of “Mary’s Land” Land is understood as container of the features provided by the blend of Mary. This mega blend serves as a separate input space for the “Lithuania – Mary’s Land” blend.

The country structures of both input spaces with their basic values are transferred into generic space. Lithuania relying on our background knowledge is generally (and with disappointment as Lithuanians tend to underestimate themselves and the country) seen as a country where the values are low, the crime rate is high, and people care more about money and power than about God. The Input Space two – Mary’s Land, – (an imaginary, ideal land) implies quite a different set of values, the main of which would be religiousness, honesty, no crime etc. Thus in the blend we encounter a clash: the blend of Lithuania and Mary’s Land as a single entity strikes us as odd. As Turner and Fauconnier state, “*far from being impeded by this pervasive feature of incompatibility in conceptualization, blending draws some of its power from being able to operate over incompatible spaces*” (Fauconnier & Turner, 2005, p. 87). This causes an ironic shift of the meaning, which brings about the idea that the author wants to express his/her negative evaluative attitude and that the values of Lithuania should be looked at critically. As it has been mentioned above the ironic meaning of the blend is transferred to the other component parts of the blend. Here the ironic overstatement (praise) based on the analogy, carries out the function of reinforcement.

To understand the blend two scenarios should be built: the one where we see a counterfactual of the Mary’s Land and the other where we see Lithuania nowadays. The script of the blend in this case includes a desired outcome, and at the same time expresses disappointment that the performance did not match the desired state. Omission of “St” in the headline hits at irony.

The blend is further elaborated in a number of ironic headlines. If irony is only a hint in “The Public Relations in Mary’s Land” it becomes overt in “Sodom and Gomorra Mary’s Land”, where the clash between the opposite, negative and positive, poles is evident.

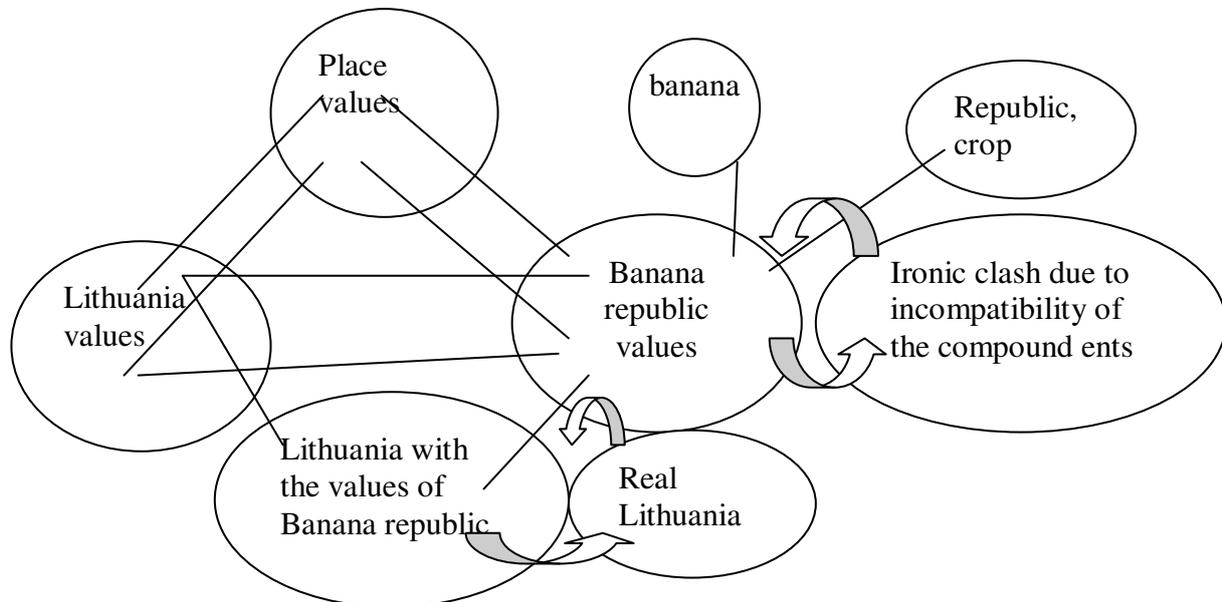
The blend is frequently used in a number of articles using the readymade blend as an obvious counterpart of Lithuania. Similarly, the blend frequently stands for the country name in articles’ comments when the speaker intends to express negative evaluative attitude ironically (sarcastically).

- *Lithuania – the banana republic*

According to Wikipedia, “*Banana republic is a term used for a small, often Latin American, Caribbean or African country that is politically unstable, dependent on limited agriculture, and ruled by a small, self-elected, wealthy and corrupt clique. In most cases they have kept the government structures that were modeled after the colonial Spanish ruling clique, with a small, largely leisure class on the top and a large, poorly educated and poorly paid working class*“. The term was coined by O. Henry an American humorist and short story writer, in reference to Honduras. "Republic" in his time was often a euphemism for a dictatorship, while "banana" implied an easy reliance on basic agriculture and backwardness in the development of modern industrial technology.

The given headline to some extent follows the structure of the earlier cited headline. However it has a double clash due to the incompatibility of the input spaces and the ironic shift of meaning happens twice as seen in scheme No. 2.

The blend is an instance of a mirror network. Both of the input spaces are framed by a concept of country. The input space 2 is a mega blend itself, as it has two input spaces with a



variety of possible compound elements. “Banana” means something more than the fruit, and “republic” means something other than the political entity. Banana: 1) politically repressed, third world, “southern” + 2) not serious, comic, silly-looking + 3) tropical (based on geographical/climatic factors) + 4) the representative fruit. Republic: 1) country, +2) people, +3) government. Putting all that together, we get an emergent, derogatory meaning that certainly is not inherent in either of the inputs. This derogatory ironic meaning of the blended space “banana republic” comes as a part of input space 2, while constructing “Lithuania – the banana republic” blend. Thus irony is inherent in the input space 2 and is further transferred to the other spaces of the blend.

In “Lithuania – the banana republic” blend we are given an interesting example of selective projection: an element in one input without a counterpart in the other gets projected to the blend. Relying on the background knowledge, it should be mentioned that the element of major product of agriculture of African countries has a „ghost“ counterpart in the first input space as Lithuanians’ love for bananas has often been ridiculed. Yet the focus of the blend is not on the similarities in food preferences; rather the food preferences dictate the implication that there should be other similarities as well. Even for the reader who is not familiar with the conventionalised blend „Banana republic“ the construction of the blend is relatively uncomplicated while relying on background knowledge. Bananas are supposed to be the main food in Africa, and in popular believe Africa is an uneducated, illiterate, poor, economically weak country with vague perspectives. As bananas are ridiculed to be the main food of Lithuanians a further implication follows that other elements in Input Space 2 should have counterparts in Input space 1; The qualities ascribed to Africa are ascribed to Lithuania as well, though Lithuania is neither illiterate nor as weak economically as certain African countries are believed to be. Thus, in the blend, one’s critical ironical evaluative attitude is expressed. The emergent structure arises in the blend that is not copied there directly from any input. According to Turner and Fauconnier, we rarely realize the extent of background knowledge and structure

that we bring into a blend unconsciously. Blends recruit great ranges of such background meaning.

The blend in the “Lithuania – the republic of bananas” counterfactual is completely fantastic but, in context, is not noticed as unusual.

- *Lithuania – the kebab country/ Lithuania – cheburek Land*

The headlines present similar networks to the previous one. An assumption may be made that the „banana republic“ blend has served as a template for creating these two novel blends. If in „banana republic“ blend the focus was on the analogy with Latin American, Caribbean or African country, in „kebab country“ the analogy is drawn with some Asian countries, again implying the negative features similar to the above mentioned. Instead of the main crop of the country – the best known traditional dish metonymically stands for the country. Kebab is one of the national foods of Asia countries. Similarly, cheburek is a traditional dish of Crimea Tatars and Balkan nations. In the blend „Lithuania-cheburek Land“, Lithuania is compared to the mentioned nations, which are referred to metonymically.

Seana Coulson and Todd Oakley in their “Blending basics“, draw attention to the fact that „elements in one mental space often have counterparts in other spaces, an important component of mental space theory involves establishing mappings between elements and relations in different spaces“(Coulson 2001, p.177). According to the authors these mappings can be based on „a number of different sorts of relations, including identity, similarity, analogy, and pragmatic functions based on metonymy, synecdoche, and representation“ (Coulson 2001, p.177). In the case of these particular headlines we see a pragmatic function based on metonymy – to avoid the direct mention of the country, only a small part is given as standing for the whole country. This also serves a downgrading function as the part chosen to stand for the whole country is ridiculously unimportant (you can easily imagine a country without any kebabs); and this is done deliberately. This deliberate choice of the „part“ (metonymic representation) reveals the speakers downgrading attitude; had it been some essential representative feature, the blend would have lost its irony.

The blend has a mirror mega network with the focus on the main food of the countries without mentioning the name of the countries directly. In understanding the blend we have to construct a counterfactual where Lithuania is a country of kebabs or chebureks. As Turner and Fauconnier put it “conceptualization always has counterfactuality available and typically uses it as a basic resource” (Turner&Fauconnier 2005, p. 87)

- *The Land of Miracles: The dream of Gediminas/ The Land of Miracles: the lad and the dragon*

The above given headlines present an example of a megablend. The Land of Miracles is a mega blend which is further integrated into the blend with Lithuania (the implied input space of the blend), and further incorporated into the blend containing either elements of folk tales or some historic realia and historic figures (which in fact are separate blends as they clearly have implied counterparts in the input spaces coming from the present day political life). As we move throughout the megablend the frames become more and more complex and perform greater compressions. Unconnected elements such as tales, land, miracles, Duke Gediminas and Gediminas Kirkilas, political battles, present Lithuania, and Lithuania of the 14th century end up integrated into a single emergent frame. The complexity of the blend does not hamper the understanding of the message. On the contrary, the complex mega blend gives an instant insight into the matter and reveals the ironic evaluative attitude of the writer.

- *Lithuania – the leader of indifference to its citizens/Lithuania – Europe’s vice champion in drinking*

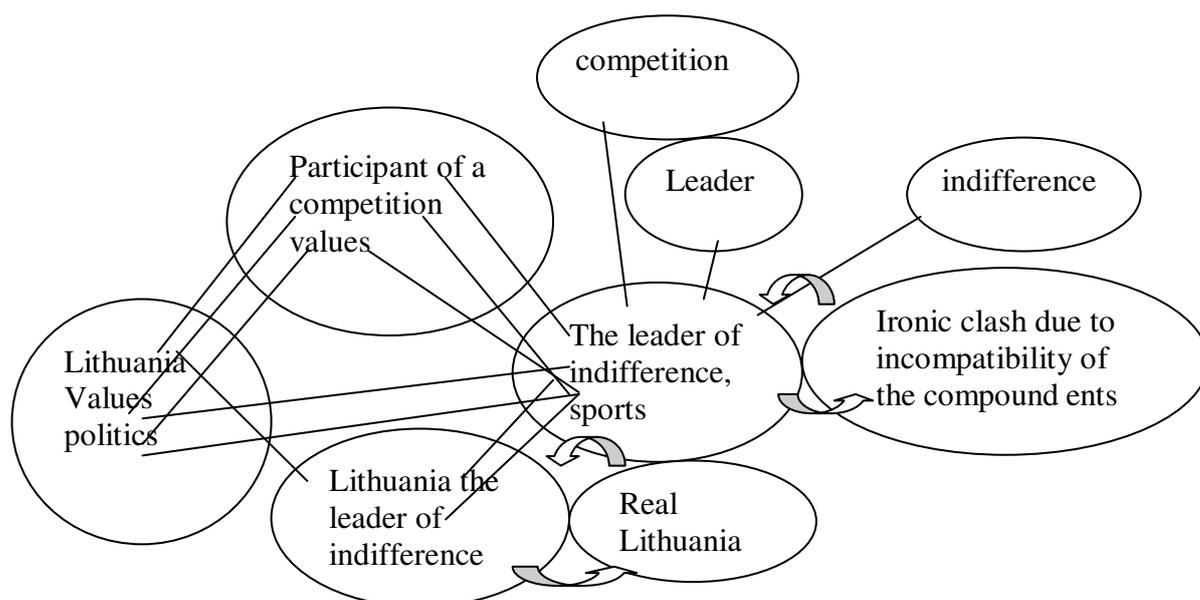
These examples present quite a different blend, the clash here has to do with the positive meaning of leadership employed to express a negative attitude. In the blend Lithuania is presented as a leader, however the leader is blended with a negative field of indifference or drinking. Thus Lithuania occupying the position of a leader is presented in negative light. All

these blends belong to a mega blend of a single scope network type. The input spaces have different organizing frames, one of which is projected to organize the blend. The defining property of the blend is that its organizing frame is an extension of the organizing frame of one of the inputs but not the other. The scenario of participants competing in a sport event of drinking, or indifference gives a vibrant, compact frame to use in compressing our understanding of the extent a certain activity has taken. The mega blend has two major input spaces where Space 1 is politics, and Space 2 – sports; Space 2 is a blend itself and has its own input spaces: Leadership and Indifference. Leadership is something to strive for while indifference is something to be avoided. Thus they clash on a central element. Blending works effectively over this clash to produce the blended space where being a leader becomes a negative feature as the competition takes place in an undesirable field. The blend has a complex structure which is presented in Scheme No 3.

Scheme 3

This type of blends has a resemblance to conventional metaphors, with target and source relations. Here Input 1 space can be seen as a target and Input 2 can be seen as a source.

The majority of ironic blends referring to Lithuania employ either mirror or single scope networks. In the blends one of the input spaces (usually Lithuania) is often only implied. The incompatibility of the component elements of the blend results in ironic shift of meaning. Some of the blends have a double ironic shift of meaning due to the complexity of the whole structure. Yet, complexity of the blending structure is never a barrier to understanding; on the



contrary – complex blending networks give an immediate insight into complex matters.

Literature

COULSON, S., 2001. *Semantic Leaps: frame shifting and conceptual blending in meaning construction*. Cambridge: Cambridge University Press.

DANKERS, F. W., et al., 2000. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature*. Chicago: University of Chicago Press.

FAUCONNIER, G. & TURNER, M., 2005. *The way we think: conceptual blending and the mind's hidden complexities*. Basic Books, New York.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Dovilė Vengalienė

Vilniaus universitetas, Lietuva

BLENDINGAS IRONIŠKOSE UŽUOMINOSE APIE LIETUVĄ NAUJIENŲ ANTRAŠTĖSE

Santrauka

Straipsnyje, remiantis G. Fauconnier ir M. Turnerio teorija, aptariami blendingo struktūrų tipai randami ironiškose naujienų antraštėse, nagrinėjant išskirtinai tas antraštes, kuriose kalbama apie Lietuvą. Nežiūrint to, jog sudėtinga blendingo struktūra apima daugybę erdvių ir prasmės kūrimo procesų, conceptualusis blendingas suteikia galimybę skaitytojui akimirksniu suvokti ironišką žurnalisto vertinimą. Tam tikros blendingo struktūros bėgant laikui tampa konvencionaliomis bei pasitarnauja kaip modelis kuriant naujus blendus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ironija, blendingas, erdvės, ironiškas reikšmės perkėlimas, konvencionalizacija.

LITERATŪROS TEORIJA, ISTORIJA IR METODOLOGIJA
THE THEORY OF THE LITERATURE, HISTORY AND METHODOLOGY
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Ольга Андреевских

*Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова,
ул. Алексеевская 33-3, 60305 Нижний Новгород, Россия
e-mail: o.s.andreyevskikh@rambler.ru*

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ В. ВУЛФ «РОДЖЕР ФРАЙ»: К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРА

Статья посвящена анализу литературной биографии Вирджинии Вулф «Роджер Фрай». В статье исследуются особенности создания образа художника, главного героя произведения, а также жанровые характеристики биографии, раскрывающие новаторство писательницы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизм, жанр, биография, образ, герой, сонатная форма, полифония.

Литературная биография «Роджер Фрай» (Roger Fry 1940) занимает важное место в творческом наследии писательницы. В этом произведении ей удается мастерски реформировать жанровый канон биографии, используя музыкальные приемы в построении сюжета и в создании образа главного героя.

На протяжении всей жизни Вулф последовательно изучает и модернизирует жанр биографии. Теоретические взгляды на эту проблему она излагает в эссе «Новая биография» (The New Biography, 1927) и «Искусство биографии» (The Art of Biography, 1939). По ее мнению, сложность задачи биографа в том, чтобы соединить «гранитную» непоколебимую реальность, правду факта, и неуловимую душу героя, которая неизбежно оказывается «радужной» правдой вымысла (Woolf 1968, с. 229-230). Также писательница уверена, что существующий взгляд на биографию как на исторический документ, а не как на художественное произведение, неверен. Именно биограф обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы достоверно изобразить внутреннюю, духовную жизнь персонажа, то есть, выполнить ту функцию, которую традиционно приписывают роману. Однако жанровые каноны биографии нуждаются в эволюции.

Такую эволюцию можно проследить на примере биографических произведений Вулф – «Орландо» (Orlando 1928), «Флаш» (Flush 1933), «Роджер Фрай». Каждое из них в буквальном смысле подчинено образу главного героя, именно специфика героя влияет на выбор эстетических средств и приемов автора. Поскольку Роджер Фрай (1866-1934) – близкий друг писательницы, ей было необходимо избежать субъективности и достичь достоверного и объективного изображения. С этой целью Вулф прибегает к музыке. В сюжетном плане она обращается к сонатной форме, а с целью максимальной объективности использует прием полифонии.

Прежде чем приступить к анализу жанровых характеристик произведения, важно очертить особенности эстетических взглядов Роджера Фрая с тем, чтобы лучше понять психологическую и творческую природу главного героя произведения. В эссе 1919-го года «Зрение художника» (The Artist's Vision) знаменитый искусствовед выделяет четыре типа зрения, среди них – творческое (the creative vision), беспристрастное зрение художника. Для того чтобы овладеть им, необходимо отстранение от всех мыслей, идей, впечатлений, которые может вызвать внешний облик предмета. Предметы как таковые исчезают, в центре внимания находятся не отдельные объекты, а их текстура. «Текстура» - один из излюбленных терминов Фрая для обозначения самой материи, сути искусства в целом или

отдельной взятой картины. Текстура – это то, из чего «соткано» произведение; то, как сплетаются линии и соединятся цвета под кистью художника. Текстура, объем, отношение тонов – это, в целом, форма наравне с ее значением. Те же критерии он применял и к литературному произведению. Как отмечает Дэвид Даулинг (Dowling 1985, с. 17), к 1915-му году Роджер Фрай приходит к мысли о существовании «словесного изобразительного искусства». Предполагая, что при помощи слов можно также «писать» картины, он сравнивает поэзию Малларме с кубизмом и характеризует ее как словесную живопись. Фрай убежден, что совершенство формы может зависеть от совершенства содержания, в чем, по его представлению, состоит сходство литературы и изобразительного искусства.

Вирджиния Вулф поддержала и приняла теорию Фрая о природе зрительных образов и изобразительного искусства. Более того, в эссе 1925-го года «Картины» (Pictures) она рассуждает о том, что для Англии начала 20-го века главенствующий тип искусства – живопись: если бы даже были уничтожены все образцы современной живописи, можно было бы составить объективное представление о полотнах Матисса, Сезанна, Пикассо, основываясь на одних только произведениях Пруста (Woolf 1948, с. 173-176). Размышляя о возможности проникновения законов живописи в литературу, Вулф приходит к выводу, что влияние этих видов искусств друг на друга остается благоприятным, только пока каждый из них сохраняет свою истинную природу. Это означает, что картина, которая отличается излишней повествовательностью, которая скорее рассказывает историю, нежели создает зрительные образы, так же плоха, как и книга, которая грешит излишними описаниями в ущерб идеям, мотивам, чувствам и эмоциям. Вулф также откликается и на представление Фрая о текстуре произведения как одном из критериев его анализа, понимая под структурой сюжет произведения, а под текстурой смысловой центр произведения – его художественную форму.

Поскольку эстетические взгляды Фрая имели для Вулф столь важное значение, замысел ее состоял в том, чтобы раскрыть образ Роджера Фрая не только и не столько как уникальную разностороннюю личность, а как реформатора, человека, навсегда изменившего отношение к современной живописи в Англии. В одном из писем того периода писательница признается, что выбрала музыку как организующее начало в работе над книгой: *«Это странно, так как я в целом не очень музыкальна, но я всегда представляю книги как музыку, прежде чем их написать. И это в большей степени относится к биографии Роджера: передо мной была такая масса деталей, что единственный способ, каким я могла их соединить в одно целое, был разбить их на темы. Я действительно старалась обозначить их в первой главе, затем дать их в развитии и вариациях, а потом свести их вместе и закончить возвращением к первой теме в последней главе»* (“It’s odd, for I’m not regularly musical, but I always think of my books as music before I write them. And especially with the life of Roger, - there was such a mass of details that the only way I could hold it together was by abstracting them into themes. I did try to state them in the first chapter, and then to bring in developments and variations, and then to make them all heard together and end up by bringing the first theme in the last chapter”). (Leave the Letters till We Are Dead 1980, с. 426). Применение такой техники построения сюжета также помогает Вулф найти новое в авторской точке зрения на героя биографии, дабы избежать и восторженного отношения, и «поучительности». Именно для этого писательница старается и выстроить биографию по законам полифонии, так, чтобы разные «голоса», то есть точки зрения на героя, переплетались, создавая объемный образ Роджера Фрая. Как пишет Вулф в дневнике, ей хотелось осветить разные этапы жизни Фрая при помощи нескольких рассказчиков, а затем свести воедино эти точки зрения в авторском голосе (Woolf 1982, с. 258). Вулф достигает такого эффекта при помощи многочисленных цитат из писем, дневников, мемуаров современников и друзей Фрая, а также при помощи выдержек из автобиографической прозы, переписки и критических работ самого героя.

Определения музыкальных приемов, к которым прибегает Вулф – сонатной формы и полифонии – позволят убедиться при дальнейшем анализе текста, что замысел

писательницы был успешно претворен в жизнь, и что ей действительно удалось выстроить биографию по законам музыкального произведения. Полифония – вид многоголосия, отличающийся самостоятельностью взаимодействующих мелодий (Юцевич 1988, с. 142). Самостоятельность и равная ценность мелодий – ключевой аспект полифонии, который, как было сказано выше, соблюдается в произведении.

Для сонатной формы характерно наличие двух или трех частей и присутствие двух или более основных тем, контрастных по характеру (Юцевич 1988, с. 173). Как правило, в структуре сонатной формы существуют такие разделы как экспозиция, где вступают основные темы, разработка (развитие тем) и реприза (возвращение основных тем). Иногда экспозиции предшествует вступление, предвосхищающее появление основных тем, а после репризы иногда может следовать кода – обобщение развития основных тем. Основные темы могут также перемежаться второстепенными эпизодами. Экспозиция и реприза, как правило, содержат один тематический материал, но если для экспозиции характерна «борьба» тем, то для репризы – их «примирение». Важно отметить, что главной и обязательной характеристикой сонатной формы является именно тематическое развитие. Анализ текста биографии, предпринятый в данной статье, имеет своей целью доказать, что именно такие структурные характеристики присутствуют в литературной биографии «Роджер Фрай». В рамках данной статьи хотелось бы остановиться подробнее на сюжетных особенностях биографии.

Произведение состоит из 11 глав: «Детство: Школа» (Childhood: School), «Кембридж» (Cambridge), «Лондон: Италия: Париж» (London: Italy: Paris), «Челси: Женидьба» (Chelsea: Marriage), «Работа» (Work), «Америка» (America), «Постимпрессионисты» (The Post-Impressionists), «Омега» (The Omega), «Военные годы» (The War Years), «Видение и дизайн» (Vision and Design), «Трансформации» (Transformations). Уже в первой главе вводятся две основные темы произведения. Прежде всего, это тема внутреннего конфликта героя, связанного с противоречием между его квакерским религиозным воспитанием и стремлением к творческой свободе. Другая важная тема биографии – талант Роджера к постоянному росту, обучению и умение встречать людей, общение с которыми дает новый толчок его творческому развитию. Первая глава представляет собой экспозицию главных тем. Книга открывается предисловием (вступление), написанным сестрой Роджера, Марджери Фрай (Margery Fry), а завершается примечанием – речью по случаю кончины Фрая, принадлежащей художнику, имя которого не упоминается (кода).

В главе «Детство: Школа» Вулф дает краткую историю рода Фраев, акцентируя внимание читателей на том факте, что восемь поколений этой фамилии, начиная с 1663-го года, принадлежали к религиозной общине квакеров. Писательница упоминает о том, что традиционно члены рода подвергались гонениям из-за их веры, и подчеркивает, что сама природа их религиозных воззрений способствовала достижению квакерами значительных профессиональных успехов, особенно в сфере бизнеса. Историческая необходимость бороться против общественного мнения сформировала определенный характер, стоический, но и косный одновременно. В дальнейшем Вулф проиллюстрирует, какую роль эта особенность сыграет в жизни Фрая, как в нем будет проявляться квакерское упрямство в достижении собственных целей и в защите собственных взглядов и неуверенность в своих силах как художника, вызванная именно этим строгим, косным религиозным воспитанием. С детства Роджеру внушали мысль о том, что люди без постоянной занятости представляют собой если не угрозу, то позор общества. Отец Роджера, сэр Эдвард Фрай, не скрывал своего презрения к людям, перебивавшимся случайными заработками – к ним относились и люди искусства. Будучи ребенком, Фрай не вполне сочувствовал такой позиции отца. В этой же главе Вулф пишет и о первой судьбоносной встрече в жизни Фрая, с которой его отдаление от семьи только ускорилося. В колледже Клифтон Роджер встречает нескладного странного мальчика, впоследствии

ставшего известным философом, – Джона Эллиса МакТаггарта (John Ellis McTaggart). Дружба эта оказала на юного Роджера поистине важное воздействие, потому что Мак Таггарт уже тогда был атеистом и материалистом, что казалось невероятным Фраю, выросшему в строго религиозной семье. Как подчеркивает писательница, *«он, больше, чем кто-либо из клифтонских учителей, способствовал развитию Роджера Фрая. Он заставлял его думать самостоятельно и давал возможность задавать бесчисленные вопросы о тех вещах, о которых до той поры спрашивать было нельзя»* (“*he was stimulating Fry as none of the Clifton masters stimulated him. He was making him think for himself and suggesting the possibility of asking innumerable questions about things hitherto unquestionable*”) (Woolf 1940, с. 40).

Начиная со второй главы «Кембридж» Вулф последовательно развивает главные темы произведения. Она пишет о *«множестве новых друзей, новых идей, новых зрительных впечатлений»* (“*the multiplicity of new friends, new ideas, new sights*”) (Woolf 1940, с. 45). Также писательница выделяет и тот факт, что в университете склонность героя к живописи становится более очевидной. В Кембридже Фрай открывает в себе художника: *«казалось, будто его глаза, всегда ищущие красоту повсюду, но ранее отвлекавшиеся на чуждые ей предметы, в Кембридже полностью открылись изумительной прелести видимого мира»* (“*It seemed as if his eyes always on the watch for beauty but hitherto often distracted by alien objects had opened fully in Cambridge to the astonishing loveliness of the visible world*”) (Woolf 1940, с. 45). Его поражают и здания, столь отличные от клифтонских домов из известняка, и удивительные вида заката солнца, и то, как падает свет на равнины, и как ивы меняют цвет, и вид на реку, и серые здания колледжей на другом берегу. На велосипеде он исследует болотистые низины и маленькие деревеньки Кембриджа. Результаты таких поездок – эскизы церковных окон и арок. Фрай не только приобретает новое видение мира, но, что еще более важно, продолжает учиться свободомыслию и самостоятельности мышления. В компании новых друзей, составляющих студенческое общество «Апостолы», он обсуждает вопросы политики, религии, морали, философии. Постепенно, однако, Фрая начинает беспокоить разбросанность его интересов. Здесь судьба приводит ему на помощь профессора Джона Хенри Мидлтона (John Henry Middleton), который не только советует ему просить разрешения отца заниматься живописью, но и настоятельно рекомендует учиться этой профессии серьезно.

В главе «Лондон: Италия: Париж» Вирджиния Вулф показывает, как продолжает усугубляться конфликт между Фраем и его семьей и как герой совершает первые шаги по направлению к своей цели стать художником. В 1891-м году, пробыв некоторое время после Кембриджа дома, Фрай приходит к выводу, что разногласия между ним и семьей непреодолимы, и сбегает от «удушающей» атмосферы Лондона в Италию. В одном из писем того периода он говорил: *«как трудно для меня избегать и педантичного отстаивания своих прав, с одной стороны, и бесчестной уступчивости, с другой стороны, особенно потому, что я не могу применить мой обычный девиз «меня это ни капли не волнует, когда речь идет о том, что моя семья думает обо мне»* (“*how difficult I feel it to steer clear of priggish self-assertion on the one hand and dishonest compliance on the other, especially as I cannot quite make my usual motto of Don't care a damn apply to the opinion that my people have of me*”) (Woolf 1940, с. 65). Внутренний конфликт Фрая между амбициями художника и «глубоким восхищением» (profound admiration), которое он испытывал к отцу, в итоге все же завершается бегством героя из отцовского дома. Роджер начинает всерьез изучать живопись, хотя он и не уверен, что профессия художника даст ему возможность зарабатывать на жизнь достаточно, чтобы не зависеть от отца.

Поездка в Италию представляет собой существенную перемену в жизни Фрая. Это перемена от тумана и сырости к чистым краскам и четки контурам (clear colours and sharp outlines), от гипсовых копий в музеях и фотографий к оригиналам статуй, зданий и картин. Но, по мнению Вулф, это, прежде всего, была перемена «от компромисса и послушания к

независимости и уверенности» (“from compromise and obedience to independence and certainty”) (Woolf 1940, с. 66). Италия для Роджера – это солнечный свет (sunlight), божественные (divine) города и здания, бесконечная идиллия (perpetual idyll). Он проводит дни, рассматривая полотна итальянских мастеров, знакомится с другими британскими путешественниками. В некоторых ситуациях квакерское воспитание дает о себе знать: например, одно новое знакомство приводит его в замешательство. Несмотря на то, что молодой человек относится к нему с симпатией, некоторые его взгляды шокируют Фрая настолько, что он называет его в письмах «порнографическим» (pornographic). В то же время пребывание в Италии дает ему возможность приблизиться к простому люду – то есть совершить нечто невообразимое и постыдное для семьи Фраев. Однако Роджер в простом населении видит культуру, уходящую корнями в глубь веков, цивилизованность, способность воспринимать прекрасное.

После поездки в Италию атмосфера Лондона – и в родном доме, и студии Эпплгарт (Applegarth), где он учился живописи, – кажется Роджеру еще более невыносимой. В 1892-м году он уезжает во Францию, чтобы учиться в академии Жюлиан. Здесь вновь квакерское и творческое сознание вступают в противоречие. Фрай с радостью погружается в беззаботный мир студентов, но, будучи пуританином, не одобряет их божемную жизнь. Даже работы Сезанна в тот момент не производят на него глубокого впечатления – *«современная живопись должна была пробиться через квакерское воспитание, через научное образование, через Кембридж и Кембриджские беседы о морали и философии, и, наконец, через, интенсивное изучение итальянских мастеров, прежде чем оказать влияние на него»* (“Modern painting had to strike through a Quaker upbringing, through a scientific education; through Cambridge and Cambridge talk of morals and philosophy, and finally through an intensive study of the Italian masters before it reached him”) (Woolf 1940, с. 80).

В главе «Челси: Женитьба» Вулф вновь прослеживает в специфике формировании эстетических взглядов Фрая черты квакерского воспитания. Она пишет об обсуждениях различных вопросов искусства, в которых герой принимает участие во время дружеских встреч, и отмечает, что «было два Роджера Фрая; один, которого в Кембридже учили размышлять и который мог отстаивать свою позицию в споре... и другой, который все еще был зачастую возмущен тем, что он называл *«неистовым и ярким духом богемы»*, который был очень робок в присутствии художников, и который смутно ощущал, что, если бы он мог рисовать, он бы рисовал иначе, нежели художники его поколения» (“there were two Roger Frys; on who had been trained at Cambridge to reason and was quite able to hold his own position..., and another who was still inclined to be shocked by what he called ‘rampant and flamboyant Bohemianism...’, who was very diffident in the presence of painters, and who felt vaguely that if he could paint he would paint differently from the artists of his own generation”) (Woolf 1940, с. 86). Писательница развивает мысль об уникальности творческого мышления Фрая и пишет о том, что он мог как полностью открываться новым впечатлениям и идеям, так и быстро, порой кардинально менять собственное мнение, если эти идеи не выдержали проверки последующими размышлениями. По мнению Вулф, эта комбинация почти детской открытости, связанной с неуверенностью в себе, и стремления все подвергать разумному осмыслению, перенятого от отца, была отличительной чертой Фрая как критика и творческого человека.

Пятую и шестую главы биографии («Работа» и «Америка») можно считать кульминацией развития главных тем произведения. Именно здесь описаны два события, позволивших Фраю и обрести уверенность в своих способностях, и определить вектор собственного эстетического развития. В 1906-м году на выставке в Новой галерее в Лондоне Фрай видит и отмечает работы Сезанна – в поисках ориентиров в искусстве именно Сезанн сыграет для него впоследствии ключевую роль. В этот же период жизни героя судьба сводит его с Пьерпонт Морганом (Pierpont Morgan), миллионером,

владельцем огромной коллекции полотен и одним из попечителей музея Метрополитен в Нью-Йорке. Морган вызывает Фрая в Америку, предлагая занять пост директора. Работа в музее, а также тот факт, что в Америке на тот момент он, благодаря своим критическим статьям, является своего рода знаменитостью, помогают Роджеру впервые ощутить себя профессионалом, уважаемым критиком и специалистом по изобразительному искусству. Для него эта страна в буквальном смысле становится страной возможностей. Однако, несмотря на положительный опыт, и здесь квакерское воспитание дает о себе знать. Порой Фраю кажется, что штаты – это варварская страна с непомерной властью денег, где творится много несправедливости: *«квакер в нем – если его ненависть к претенциозности и показному поведению следует отнести именно на счет его квакерских корней – был шокирован»* (“*The Quaker in him, if his hatred of pretence and ostentation is to be attributed to that ancestral presence, was shocked*”) (Woolf 1940, с. 139). Со временем эта особенность американской культуры становится для Роджера тяжким бременем. Он не умеет скрывать собственное мнение, не может подчиняться воле и решению человека «с кошельком», Моргана, и оставляет пост директора.

Тем не менее, американские эпизоды действительно являются переломными в судьбе Фрая, и последующие главы показывают, как меняется теперь его сознание и отношение к искусству. По возвращении в Англию это уже опытный и уважаемый на родине профессионал, разбирающийся не только в картинах, но и в том, как заставить музеи и галереи прислушиваться к своему мнению. В главе «Постимпрессионисты» Вулф пишет о том, как, начиная с 1906-го года, Фрай все больше интересуется Сезанном и в целом современным французским искусством. Став инициатором выставки современных художников, Фрай получает приглашение от дирекции галереи Графтон и в ноябре 1910-го года организует выставку «Мане и постимпрессионисты». Реакцию публики писательница характеризует как *«припадки гнева и смеха»* (“*paroxysms of rage and laughter*”) (Woolf 1940, с. 153). И Сезанн, и Гоген, и Ван Гог, и Пикассо, и Синьяк приводили зрителей в одинаковое бешенство: *«Картины были возмутительными, анархичными, детскими. Они были оскорблением британской публике, а человек, который был ответственен за это, был или дураком, или самозванцем, или мошенником»* (“*The pictures were outrageous, anarchistic and childish. They were an insult to the British public and the man who was responsible for the insult was either a fool, an impostor or a knave*”) (Woolf 1940, с. 154). Но Фрай не боится рисковать репутацией, которая так дорого ему стоила, не страшится реакции общества. Со свойственным ему квакерским упрямством и приобретенной за годы работы уверенностью в собственном мнении он реагирует на критику абсолютно спокойно. Вулф подчеркивает, что без предшествующих лет внутренней борьбы, сомнений и неудач Фрай вряд ли был бы так последователен в своих планах реформировать вкусы британской публики. Эта непоколебимость, к тому же, делает искусствоведа на тот момент духовным лидером в глазах малоизвестных начинающих художников Британии. Продолжая развивать тему взаимодействия и конфликта «квакера и новатора» в Роджере Фрае, писательница подчеркивает и следующий факт. С самого детства презрение к простому народу и уважение к людям, основанное лишь на их положении в обществе, были для Роджера неприемлемым – поэтому в свое время ему так и понравилась Италия с ее демократическими нравами. Теперь же реакция общественности на работы постимпрессионистов приводит его к мысли о том, что образованные слои общества вообще не заслуживают его уважения. Как отмечает Вулф, во всей этой шумихе Фрая злило только отношение образованных людей – тех, кто посещал его лекции, слушал его мнение о работах старых мастеров, а сейчас отверг и предал его.

Первая выставка постимпрессионистов, организованная Фраем, является не только вершиной его деятельности как критика и искусствоведа, но и событием, позволившим ему поверить в собственные творческие силы: *«она освободила его от того препятствия, которое стояло на его пути как художника... она произошла для него в правильный*

психологический момент» (“It freed him from some obstacle that had stood in his way as a painter... It came to him... at the right psychological moment”) (Woolf 1940, с. 161). Главу «Омега» Вулф начинает такими словами: *«много из того, что Роджер Фрай считал невозможным в 1892-м году, казались ему возможными в 1913-м» (“Many of the things that Roger Fry had thought impossible in 1892 seemed to him possible in 1913”)*. (Woolf 1940, с. 182). По сути, восьмая глава и последующие две – это иллюстрация того, каким стал Роджер Фрай в результате долгой и уникальной эволюции. Если раньше Фрай бывал робок и неуверен в себе, то сейчас он полон сил и смелости для осуществления планов. В июле 1913-го года он открывает мастерскую «Омега» на площади Фицрой Сквер. Задача этой мастерской – обеспечить работой и средствами к существованию молодых художников-новаторов, сплотившихся вокруг Фрая, и замысел героя оказался успешным: мастерская начинает приносить доход и даже выживает в годы первой мировой войны. По мнению Вулф, пережить войну Фраю вновь помогает именно двойственность его натуры. Писательница цитирует слова самого героя о том, что жизнь и искусство – это два разных ритма, и утверждает, что и в жизни самого Роджера было два ритма: *«была жизнь, проходящая в суете, отвлеченно от искусства; но была также и спокойная жизнь. После визитов, телефонных звонков, модных леди, просящих совета по поводу покрывал для их спален, он возвращался в студию на Фицрой Стрит, чтобы любоваться Джотто, посмотреть на полотно Буффалмакко и отметить, «Это следующий шаг, который я намерен сделать»» (“there were two rhythms in his own life. There was the hurried and distracted life; but there was also the still life. With callers coming, the telephone ringing, and fashionable ladies asking advice about their bedspreads, he went back to the studio at Fitzroy Street to contemplate Giotto, to look at a picture by Buffalmacco, and to remark ‘That’s the next step I’m aiming at’”)* (Woolf 1940, с. 214). Умение соединить семейную предприимчивость и постоянное развитие собственного таланта, собственной эстетики – то, что позволяет Фраю добиваться все больших успехов и преодолеть вновь и вновь встающие на его пути трудности. После войны наступает не очень благоприятное время для бизнеса, у мастерской появляются долги, и Роджер принимает трудное решение продать «Омегу». Однако на смену идее с мастерской довольно быстро приходит новое дело. Чувствуя себя не раздавленным, а свободным, герой отправляется во Францию, где посещает дом Сезанна и знакомится с четой Шарлем и Мари Морон (Charles and Marie Maugon). Здесь писательница вновь подчеркивает, что, как и предыдущие важные встречи героя, это знакомство становится значимо для него, прежде всего как художника. Новые впечатления вдохновляют его на создание своего главного искусствоведческого труда – книги «Видение и дизайн» (Vision and Design, 1924), работе над которой посвящена десятая глава биографии. Параллельно Фрай, сколько может, уделяет времени и сил собственным полотнам и переводам Малларме в сотрудничестве с Шарлем Морон. Как подчеркивает Вулф, *«Малларме и Сезанн были его покровительствующими святыми» (“Mallarme stood with Cezanne among his patron saints”)* (Woolf 1940, с. 239). По мнению Вулф, этот контекст способствовал тому, что создание книги позволило герою не только высказать собственные взгляды на искусство и эстетику, но и продолжить движение в направлении собственной творческой свободы. В конце главы писательница заявляет, что для достижения этой внутренней свободы наконец сделано все необходимое: *«казалось, баланс был найден – баланс между эмоциями и интеллектом, между Видением и Дизайном» (“a balance seemed to have been arrived at – a balance between the emotions and the intellect, between Vision and Design”)* (Woolf 1940, с. 245).

Последняя глава неслучайно названа «Трансформации». По замыслу автора, заключительная глава, структурно соответствующая репризе в сонатной форме, должна вновь сводить главные темы произведения, но не контрастируя, и примиряя их. «Трансформации» - заглавие, которое Фрай выбрал для собственного сборника эссе, и, как уверена Вулф, это наиболее подходящее слово для того, чтобы описать последние десять

лет жизни героя. Эти годы – период перемен и экспериментов. Иллюстрацией к тому, какова позиция Фрая по отношению к живописному искусству, могут служить слова самого художника, цитируемые Вулф: *«Когда я был молод, я думал, что итальянские мастера уловили то, что я считал правильной техникой... В то время я действительно верил, что есть верный и неверный способ создавать картины. Я честно признаюсь, что поменял мнение. Теперь я больше не думаю, что существует верный или неверный способ, но любой возможный способ. Каждый художник должен создать свой метод выражения через его художественные средства, и нет одного пути, правильного или неправильного. Но каждый способ верен, когда он выражает идею, которая есть в сознании художника»* (“*When I was a young man I thought the Italian masters had got hold of what I considered the right technique... At that time I really believed that there was a right way of painting and a wrong way of painting. I honestly confess that I have changed my mind. Now I no longer think that there is a right way or a wrong way of painting, but every possible way. Every artist has to create his own method of expression in his medium, and there is no one way, right or wrong. But every method is right when it is expressive throughout the idea in the artist’s mind*”) (Woolf 1940, с. 250). Писательница рассказывает об успехе и признании Фрая как лектора и критика. Автор биографии скрупулезно описывает все, что интересовало героя в те годы в области литературы, живописи, культуры, приводя обширные цитаты из его писем и статей. Несмотря на то, что его собственные полотна так и не приобретают той известности, которую он, может быть, для них желал, он продолжает заниматься творчеством и получает удовольствие от того, что нашел свой метод, свой способ выражения эстетической идеи. Он полон планов и идей – вплоть до последнего дня, когда, 9-го сентября 1934-го года он уходит из жизни в результате сердечного приступа и после долгой мучительной болезни. Как подчеркивает Вулф, до самой смерти Фрай остается таким же любознательным и скромным, сомневающимся в себе, каким он был в детстве. Уникальная комбинация деловых и творческих качеств помогла ему стать самым влиятельным критиком современности, но пристальное внимание к творческим судьбам других, к процессу развития британского искусства отвлекали его от собственного творчества и, в совокупности с природной неуверенностью, помешало раскрыть свои возможности полностью. Однако уходит из жизни он в гармонии с собой, окруженный любящими друзьями, оставив глубокий след в судьбах многих современников.

Можно сделать вывод о том, что жанровые и прежде всего структурные особенности биографии связаны непосредственно со спецификой главного героя произведения. Необычность построения сюжета обусловила тот факт, что произведение обвиняли в наукообразности и сухости. Например, Леонард Вулф, супруг писательницы, считал, что биография скучна и перенасыщена цитатами (King 1995, с. 591). Обилие цитат из писем и мемуаров современников и ссылок на разнообразные критические работы Фрая, за которыми авторский голос и авторская точка зрения на героя становятся практически неразличимыми, приводят к тому, что отрицалась сама принадлежность произведения к жанру литературной биографии. Например, Н. И. Бушманова (Бушманова 1989, с. 13) пишет о том, что «Роджер Фрай» - крупное развернутое эссе. Тем не менее, более верной представляется мысль о том, что «наукообразность», обилие «голосов» и точек зрения на героя, а также детальное исследование эстетической программы героя, ее эволюции – это жанровые характеристики модернистской биографии, в которой, как это доказывает творческое наследие Вулф, все, вплоть до особенностей сюжета, точки зрения, тематического содержания, подчинено главному герою, человеку, художнику.

Литература

- БУШМАНОВА, Н.И., 1989. Литературная эссеистика В. Вулф. *Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук*. Москва.
 ЮЦЕВИЧ, Ю.Е., 1988. *Словарь музыкальных терминов*. Киев.
 DOWLING, David, 1985. *Bloomsbury Aesthetics and the Novels of Forster and Woolf*. London.

- FRY, Roger, 1947. *Vision and Design*. New York.
KING, James. 1995. *Virginia Woolf*. London.
Leave the Letters till We Are Dead, 1980. *The Letters of Virginia Woolf*. Vol. 6: 1936-1941. London.
The Diary of Virginia WOOLF., 1982. *Edited by Anne Olivier Bell*. Vol. 4. 1931-1935. London.
WOOLF, Virginia, 1968. *Collected Essays*. Vol. 4. London.
WOOLF, Virginia. 1940. *Roger Fry, a biography*. New York.
WOOLF, Virginia. 1948. *The Moment and Other Essays*. New York.

Olga Andreyevskikh

Linguistic University of Nizhny Novgorod, Russia

THE IMAGE OF THE CHARACTER IN VIRGINIA WOOLF'S LITERARY BIOGRAPHY "ROGER FRY": TO THE PROBLEM OF GENRE

Summary

The article is devoted to the analysis of Virginia Woolf's biography "Roger Fry" (1940). The author studies the peculiarities of Woolf's methods in creating the image of protagonist, as well as the specific genre characteristics of Woolf's modernist biography. The author devotes close attention to the plot of the biography. Due to the fact that Virginia Woolf tries to imitate the structure of a sonata in her literary biography, she manages to reform the genre itself and to achieve objectivity and sincerity in creating the image of Roger Fry in her work. Woolf organizes the biographical details into themes and then contrasts and develops them according to the musical laws. Thus, Virginia Woolf creates a new type of biography – a modernist biography. In this type of biography, the whole structure and the methods themselves are influenced by the chosen character. Since Fry in Woolf's view is the person who reformed the world of British painting and whose life was sacrificed to art, she tries to create a book which would be both true and artful.

KEY WORDS: modernism, genre, biography, character, image, sonata, polyphony.

Аркадий Чевтаев

Государственная полярная академия

ул. Воронежская, 79192007 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: achevtaev@yandex.ru

СЛЕД И. БРОДСКОГО В «РОЖДЕСТВЕННОЙ ПОЭМЕ» СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ

В настоящей статье рассматривается влияние поэтики И. Бродского на структурно-семантическую организацию «Рождественской поэмы» С. Кековой. Анализ данного произведения позволяет констатировать наличие в нем ряда следов присутствия поэтического мира И. Бродского, наиболее явно проявляющихся в способах репрезентации лирического субъекта, придании статуса иконического знака художественному дискурсу и идеологическом утверждении языка как единственной возможности преодоления разрушающего действия времени. Сопоставление онтологических представлений, реализуемых в творчестве поэтов, показывает, что осмысление события Рождества в их произведениях характеризуется концептуальными расхождениями. В поэзии И. Бродского Рождество мыслится точкой отсчета, определяющей новый вектор линейного движения времени. В поэме С. Кековой евангельское событие предстает как начало перехода от существования в циклическом времени к бытию в вечности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: апокриф, время, лирический субъект, поэзия, повествование, пространство, Рождество, христианство.

До настоящего времени рассмотрение поэтического мира Светланы Кековой в основном ограничивается областью литературной критики, и собственно научные исследования поэтики ее творчества практически отсутствуют. Исключение составляют работы В. И. Догалаковой и Е. А. Ивановой, в которых предприняты первые попытки систематического описания художественной системы поэта. Тем не менее, оригинальное видение мира, ориентированность на традиции предшествующей русской литературы и принципиальный диалог с ней, присущие поэзии С. Кековой, вызывают необходимость детального изучения художественной концепции ее творчества.

В основе поэтического универсума Светланы Кековой находится рефлексивное переосмысление опыта мировой культуры, формирующее и определяющее аксиологическую систему ее лирического субъекта. В одном из своих интервью С. Кекова высказывает мысль, что «человек – в свернутом виде – переживает всю историю человечества, и поэтому... очень важно соприкосновение с разными культурами и типами культур» (Кекова 2002, с. 212). Действительно, взаимодействие различных культурно-исторических, мифологических и религиозных моделей оказывается одним из основных принципов смыслообразования в художественном мире поэта. Однако приоритетным ценностно-смысловым ориентиром в поэзии С. Кековой является христианская религия и культура, через призму которой осмысляются прочие типы культур. По мнению Е. А. Ивановой, ряд противоречий, обнаруживаемых в семантической организации произведений С. Кековой, связан с тем, что в «творчестве христианского поэта большую роль играют поэтические образы, относящиеся к нехристианской, главным образом восточной, культурной традиции» (Иванова 2004, с. 128). Соглашаясь с этим суждением, все же следует признать, что именно библейско-христианская система ценностей в творчестве поэта является универсальным кодом, обеспечивающим концептуальную целостность художественного универсума.

Для понимания логики внутреннего развития поэтического мира С. Кековой принципиальное значение носит творчество целого ряда русских поэтов, среди которых особое место занимают К. Случевский, И. Анненский, О. Мандельштам, А. Ахматова, Н. Заболоцкий (изучением его поэзии С. Кекова занимается в своей литературоведческой

ипостаси). Отдельно следует сказать о поэзии И. Бродского, влияние которой на художественный мир, создаваемый в ее произведениях, во многом проявляется через целую систему притяжений и отталкиваний и в первую очередь касается онтологических представлений.

В данной работе нами предпринята попытка рассмотреть индексы присутствия художественного мира И. Бродского в «Рождественской поэме» С. Кековой, написанной в 1996 году и представляющей собой рефлексивное осмысление Рождества как одной из центральных доминант христианской культуры. Не ставя сейчас перед собой задачи представить полный анализ поэмы, вступающий в диалогические отношения с различными контекстами русской и мировой литератур, мы сосредоточим внимание на тех аспектах структурно-семантической организации текста, которые так или иначе соотносятся с поэзией И. Бродского. Как видно, уже само название произведения С. Кековой коррелирует с его «рождественскими» стихотворениями, создававшимися поэтом на протяжении всего творческого пути и образующими обширный поэтический цикл.

Итак, текст «Рождественской поэмы» С. Кековой состоит из восемнадцати глав, образующих сюжетно-композиционное единство, во-первых, за счет четко заданной рефлексии лирического субъекта, а во-вторых, посредством организации знаковой системы. Осмысление евангельских событий здесь носит ярко выраженный неортодоксальный характер, отсылающий к гностическим апокрифам раннего христианства. На это указывает эпитафия к поэме, взятый из апокрифического текста, дошедшего до нас во II кодексе Наг-Хаммади и известного под названием «Книга Фомы Атлета»: «Горе вам из-за колеса, которое вращается в мыслях ваших» (Кекова 1996, с. 93). Само произведение строится как своего рода поэтический апокриф. Лирический субъект здесь предстает в качестве «ролевого» героя: повествование в тексте моделируется как высказывание от лица Спасителя, обращающегося к человечеству, и одной из основных оппозиций в поэме оказывается со-противопоставление знания и неведения, имеющее принципиальное значение для гностических учений.

В первой главе изображается мир, лишенный духовного света и погруженный в страдания:

*Взрывающий пространство грохот,
и хохот, и орлиный клекот
волны на водной глади дня,
борьба, рыдание и рокот,
с минувшим чашу накрень,
в грядущее замкнут меня* (Кекова 1996, с. 93)

Описывая языческий мир, лирический субъект констатирует безрадостность его существования: «Пустых камней смещая груды, / идут сосуды на сосуды, / и снизу раздается звон, / и сверху застывает он / тебя врасплох, как стон Иуды, / которому дано узнать / в одном лице жену и мать» (Кекова 1996, с. 93). Включение в текст библейской символики посредством метафорического обозначения человека через сосуд (ср.: «Что же, если Бог, желая показать гнев, явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к гибели, дабы вместе явить могущество славы Своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе» (Рим 9, с. 22-23)) акцентирует духовную опустошенность земного мира, погруженного в хаос. Здесь нивелированы различия между пространственными «верхом» и «низом» («и снизу раздается звон, / и сверху застывает он») и действует циклическое время, образующее замкнутый круг бытия («с минувшим чашу накрень, / в грядущее замкнут меня»).

Раздвоение лирического субъекта на «я» («в грядущее замкнут меня») и обобщенно-личное «ты» («тебя задержат на земле», «и сверху застывает он / тебя

врасплох») способствует образованию внутреннего диалога, который ведет говорящий с самим собой.

В подобном замещении лирического «я» личным местоимением 2-го лица с обобщенно-личным значением явно заметно влияние И. Бродского, в поэзии которого обращение к инклюзивному адресату, является одним из ведущих способов авторепрезентации субъекта. Так, в стихотворении «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере...» (1989), тоже посвященном рождественским событиям, лирический субъект И. Бродского моделирует ситуацию взгляда извне: «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере, / используй, чтоб холод почувствовать, щели / в полу, чтоб почувствовать голод – посуду, / а что до пустыни, пустыня повсюду» (Бродский 2001, IV, с. 70). Адресуя высказывание прежде всего самому себе, он создает эффект выхода за пределы темпоральной обусловленности и акцентирует причастную непричастность своего «я» изображаемому миру. В поэме С. Кековой такой механизм экспликация лирического субъекта также призван объективировать «я» во внеположной ему реальности, однако целью такого раздвоения инстанции говорящего является не устранение своего «я» из диэгесиса, а акцентирование ценностно-смысловых характеристик его фигуры: надмирность, обусловленная божественной природой Спасителя, и причастность земному миру, заданная принятием человеческого облика. В последующих главах эта включенность в общий бытийный поток, в которой четко просматривается отступление от канонического понимания жизни Христа, реализуется через использование личного местоимения множественного числа: «...в тех городах провинциальных, / где жили некогда и мы / под тесной скорлупою тьмы» (гл. 3) (Кекова 1996, с. 94), «Нас часто мучит эпос смерти» (гл. 6) (Кекова 1996, с. 94), «Нас всех подстерегает вера / потоком, падающим ниц...» (гл. 8) (Кекова 1996, с. 95), «Да, есть вне нас миры иные...» (гл. 14) (Кекова 1996, с. 96).

Порождаемая в первой главе семантика круга оказывается смысловой доминантой поэмы в целом. Круговое движение мироздания как источник человеческих страданий заявлены уже в эпиграфе, слова которого в апокрифическом «Евангелие от Фомы» приписываются Спасителю. Художественные знаки «круг», «колесо», «вращение» здесь становятся основой композиционного строения текста, и в их семантических значениях превалирует трагизм земного существования до события Рождества. Это же монотонное движение по кругу распространяется на само высказывание о мире, в котором еще не родился Спаситель:

*Но вот в горниле очищенья,
избрав тебя орудьем мщенья,
судьба в десницу вложит меч,
приложит крест к губам, и речь
начнет свое круговращенье,
свой нескончаемый мотив,
навек разум помутит* (Кекова 1996, с. 93).

Как видно, речевой акт здесь мыслится существующим отдельно от порождающего его субъекта, выступая в качестве саморазвивающейся субстанции. В таком представлении о речи как надличностном субстрате также просматривается след поэтической онтологии И. Бродского, в основе которой находится идея способности языка самостоятельно порождать бытие и определять вектор его развития: «Поэт – орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас... Если бы я начал создавать какую бы то ни было теологию, я думаю, это была бы теология языка. Именно в этом смысле слово для меня – это нечто священное» (Бродский 2000, с. 235). В произведении С. Кековой акцент на божественной природе языка, утверждаемой И. Бродским, усиливается за счет того, что указание на самоценность слова вкладывается в уста Спасителя.

В последующих главах «Рождественской поэмы» «круговращенье» речи приобретает свойства иконического знака, что является характерной чертой поэтики И. Бродского начала 1960-х гг. и также связано с идеологемой независимости речевого высказывания от лирического субъекта. В таких его произведениях, как поэмы «Гость» (1961), «Зофья» (1962), «Холмы» (1962), стихотворения «В тот вечер возле нашего огня» (1962), «Ты поскачешь во мраке...» (1962), «Исаак и Авраам» (1963) происходит постоянное повторение структурных элементов в процессе наррации, что создает эффект непримечательности лирического субъекта к повествовательному акту. Повторы акцентируют стремление нарратора нейтрализовать не только свое участие в повествуемой реальности, но и отграничить свое «я» от самого высказывания. Так, в поэме «Зофья», которая косвенно связана с тематикой Рождества (действие в ней происходит в Рождественский Сочельник), на всех уровнях текстовой организации – от фонетического до идейно-тематического – осуществляется перманентное возвращение к уже изложенным событиям, повтор деталей, использование анафор, параллелизма синтаксических конструкций:

*Я штору отстранив, взглянул в окно:
кружился снег, но не было темно,
кружился над сугробами фонарь,
нетронутый маячил календарь,
маячил вдалеке безглавый Спас,
часы внизу показывали час* (Бродский 2001, с. 152-153).

Такой принцип построения поэмы способствует превращению текста в иконический знак «маятник», который эксплицируется в финальных строфах: «Раскачивался маятник в холмах, / раскачивался в полдень и впотьмах, / раскачивался девочкой в окне, / раскачивался мальчиком во сне...» (Бродский 2001, с. 166).

В поэме С. Кековой также присутствует знак «маятник», получающий значение непрерывного движения: «В его просторной костюмерной / как маятник работой мерной / раскачивает вкривь и вкось / эпохи сломанную ось – / гример и парикмахер скверный / облепят рисовой мукой / парик под левую руку» (Кекова 1996, с. 94). «Круговращенье» речи здесь создается за счет повторения одних и тех же художественных знаков, вариативно сочетаемых на синтагматической оси текста: «...стакан граненый на столе / солонка, яблоко в золе, / расколотый орех мускатный, / взывая к первобытной мгле, / тебя задержат на земле» (гл. 1) – «...зачем свисают зеркала / в пустой стакан с кофейной гущей / и в яблоке живет зола / и в лабиринте райской кущи / чужая сыплется мука, / из новогоднего кулька» (гл. 3) – «...тот, кто по правилам игры / письмом со сломанной печатью / лежит на письменном столе / подобно яблоку в золе» (гл. 14). Такой повтор создает эффект самостоятельного вращения высказывания вокруг одной той же мысли, стягивая семантические значения различных художественных элементов к единому смысловому центру поэмы – кругу, символизирующему циклическое, замкнутое время. Это движение по кругу реализуется через основные оппозиции, посредством которых строится текст: «тьма - свет», «пустота – наполнение», «слепота – прозрение».

Событийный ряд, представленный в центральной части «Рождественской поэме» (со второй по пятнадцатую главы), составляют ситуации, предшествующие Рождеству Спасителя и являющиеся знаменем его пришествия в мир:

*И вот, нащупывая тростью
пустую землю впереди,
идет слепой игральной костью
с чудесным знаком на груди,
и случай шепчет мне: «Иди
колодой карт за нищим следом.
Твой жребий ясен, путь неведом* (гл. 2) (Кекова 1996, с. 93);

*А взявший посох homo dei,
беспомощен, и глух, и нем,
идет по пыльной Иудее
в печальный город Вифлеем,
и в небесах туман редет,
и волосы его седеют,
и снег летит на провода,
как Вифлеемская звезда* (гл. 14) (Кекова 1996, с. 96).

В качестве Богочеловека лирический субъект занимает позицию всеведения, рассказывая о событиях предшествующих его Рождению и упоминая об основных вехах своей земной жизни: сорокадневном пребывании в пустыне, искушении дьяволом («А путь ко мне лежит сквозь морок, / и не четырнадцать, а сорок / огромных стосвечевых ламп / терзают худосочный ямб / под запах апельсиновых корок – / и вот уже повержен ворог / во мрак, и некому помочь / ему в рождественскую ночь» (гл. 5) (Кекова 1996, с. 94)), четырнадцати стояниях крестного пути на Голгофу, Распятии («где ворон бьется головой / о деревянное растение / затем, что свет моих очей / зажег четырнадцать свечей», (гл. 4) (Кекова 1996, с. 94)). Здесь же реализуется оппозиция «время – вечность»: занимая «точку зрения», находящуюся за пределами темпоральной обусловленности, он повествует и о значении и результате своего жертвенного предназначения, изображая принципиально иной, неевангельский пространственно-временной континуум: «И, вправив в перстенок мизинец, / опальный граф и декабрист, / аристократ и разночинец, / национал-социалист, / и православный, и католик / летят во тьму, резвясь до коллик, / и снег сверкает, серебрист» (гл. 12) (Кекова 1996, с. 96). Включение в поэму модели человеческих отношений, отсылающей культурно-историческому контексту России XIX–XX вв., актуализирует возвращение христианской цивилизации к языческой форме существования («...а в центре Франсуа Виллон / стоит у входа в Вавилон – / Петра Великого творенье») и тем самым показывает, что люди не поняли жертвенного смысла Распятия Христа.

Однако, несмотря на столь широкий событийный ряд, включаемый в «Рождественскую поэму» различными способами, в ней практически отсутствует изображение самого Рождества: «точка зрения» нарратора сфокусирована на происходящем до и после этого события, и доминирующим смыслом повествования становится ожидание появления Спасителя в мире. В этом обнаруживается принципиальное различие произведения С. Кековой и «рождественских» стихотворений И. Бродского, у которого, как правило, универсум изображается уже после рождение Младенца.

Следует отметить, что это различие подтверждается и несходством в произведениях двух поэтов семантики художественных знаков, определяющих спектр евангельских реалий. У И. Бродского основными знаками, моделирующими ситуацию Рождества в различных стихотворениях «рождественского» цикла, являются «пустыня, песок, ветер, пещера, снег, звезда, костер, волхвы, младенец», и «центр всегда один – младенец, все остальные реалии меняют свое положение в зависимости от угла зрения поэта-наблюдателя» (Ащеулова 2002, с. 209). Все эти знаки связаны с уже свершившимся фактом Рождества. В поэме С. Кековой они возникают как предощущение этого события. Например, у И. Бродского центральным художественным знаком, определяющим ценностно-смысловое отношение лирического субъекта к уже свершившемуся Рождеству, является Вифлеемская звезда: «Волхвы пришли. Младенец крепко спал. / Звезда светила ярко с небосвода» («Рождество 1963» (1964)) (Бродский 2001, II, с. 20), «Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, / на лежащего в яслях ребенка, издали, / из глубины Вселенной, с другого ее конца, / звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца» («Рождественская звезда» (1987)) (Бродский 2001, IV, с. 10), «Звезда от других отличалась

/ сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним, / способностью дальнего смешивать с ближним» («Не важно, что было вокруг, и не важно...» (1990) (Бродский 2001, IV, с. 81). В «Рождественской поэме» С. Кековой «звезда» актуализирует не свершившееся, а грядущее событие: «...звезда слепых и нерожденных / теряет свет, и плоть, и вес, / и, посылая излученье, / она свое предназначенье / исполнит...».

Подобные концептуальные расхождения И. Бродского и С. Кековой обусловлены различиями в понимании евангельской ситуации в аспекте ее универсального онтологического значения. Так, в поэтическом универсуме И. Бродского утверждается концепция линейного времени (Куллэ 1998, с. 97-105), и Рождество предстает в качестве того абсолютного события, которое придает человеческому существованию Смысл и позволяет преодолеть тотальное действие времени как неизбежного сползания в пустоту. В одной из своих бесед с П. Вайлем И. Бродский говорит о своем восприятии рождественских событий: «Прежде всего это праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени... Существует категория – «до нашей эры», то есть «до Рождества Христова». Что включается в это «до»? Не только... цезарь Август или его предшественники, но обнимается как бы все время, включает в себя геологические периоды и уходит тем концом практически в астрономию» (Бродский 2000, с. 557-558). Таким образом, Рождество в его художественной концепции оказывается напрямую связанным с реонтологизацией времени, приобретающего четкий вектор движения за счет новой точки отсчета.

Структурной особенностью, объединяющей почти все стихотворения И. Бродского, посвященные непосредственно рождественским событиям, является то, что повествование в них ведется с «точки зрения» экзегетического нарратора, дистанцирующего себя во времени от изображаемой ситуации. Это придает повествуемой истории объективный характер, и личностное эмоциональное переживание Рождества повествователем дается имплицитно (через факт самого высказывания об этом событии): «Спаситель родился / в лютую стужу. / В пустыне пылали костры» («Рождество 1963 года» (1964)) (Бродский 2001, I, 282), «В холодную пору, в местности, привычной скорей к жару, / чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, / младенец родился в пещере, чтоб мир спасти» («Рождественская звезда» (1987)) (Бродский 2001, IV, с. 10), «В заматаемой снегом / пещере, своей не предчувствуя роли, / младенец дремал в золотом ореоле / волос...» («Бегство в Египет» (1988)) (Бродский 2001, с. 43). Поэтому в его стихотворениях Рождество предстает единичным Событием, определившим дальнейшее существование мира, хотя и мыслится ежегодно переживаемым человеком в литургическом цикле (Ср. суждение о П. А. Флоренского: «Иисус Христос родился раз, это событие единично, а служба праздника повторяется каждый год... Это событие – и сверхвременное, и в то же время принадлежит известному историческому моменту. В праздник мы начинаем видеть иную действительность, просвечивающую сквозь нашу эмпирию» (Флоренский 2000, с. 389-390)).

В поэме С. Кековой все события изображаются синхронно высказыванию о них: знамения, Рождество, земной путь Христа мыслятся вне конкретного времени, как происходящие всегда. Циклическое время язычников сменяется не линейным движением времени, а вечностью, в которой идеологически находится лирический субъект (Спаситель) и которую отныне обретает человек: «Где я среди пустых гортаней / стирая смерти каблуки, / роняю жизни девять граней / в сосуды, полные муки...» (Кекова 1996, с. 97). Именно поэтому здесь в концентрированном виде рассказывается обо всем земном пути Спасителя:

*Зависит все от освещения:
калейдоскопом кинопроб
от Рождества через Крещение
до положения во гроб*

*проходит жизнь, и тьма былого
воскреснет только в свете слова* (Кекова 1996, с. 97).

Как видно, в концепции С. Кековой актуализируется традиционное для христианства представление о том, что в событии Рождества уже заложены грядущее Распятие и Воскресение Христа, то есть рождественский хронотоп оказывается соотношенным с пасхальной семантикой. В этом также просматривается отличие «Рождественской поэмы» от художественного мира И. Бродского.

Как отмечает И. А. Есаулов, «если в западной традиции можно усмотреть акцент на Рождество..., то в традиции Восточной Церкви празднование Воскресения остается главным праздником не только в конфессиональном, но и в общекультурном плане» (Есаулов 2002, с. 52). В этом отношении христианские представления С. Кековой действительно в большей степени ориентированы на православную традицию, тогда как И. Бродский тяготеет к европейскому, или скорее к общехристианскому пониманию Нового Завета (Ср.: «Традиция празднования Рождества куда более разветвленная и разработанная в Римской Церкви, нежели в православной. Так что для меня нет вопроса – «их» это или «не их». Там, где все началось, с того все и начинается» (Бродский 2000, с. 560)). Верификация категории времени, находящаяся в центре его художественной рефлексии, подчиняет себе и восприятие библейских событий. Этим можно объяснить практически полное нивелирование Пасхи в поэтическом мире И. Бродского. В подавляющем большинстве его произведений, так или иначе связанных с евангельскими сюжетами, Спаситель изображается Младенцем. Только в стихотворении «Натюрморт» Христос, отвечающий Богородице, предстает в момент распятия на кресте: «Он говорит в ответ: / – Мертвый или живой, / разницы, жено, нет. / Сын или Бог, я твой» (Бродский 2001, II, с. 425).

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, поэма С. Кековой является своего рода апокрифом, и неортодоксальность интерпретации библейских событий в ней проявляется в том, что фигура Спасителя оказывается амбивалентной по отношению к категориям знания и неведения. Сообщая о своем жертвенном предназначении и итоге своего земного пути, лирический субъект указывает на то, что ему неизвестно, кто должен появиться на свет в рождественскую ночь. Это неведение выражается через риторические вопросы, которые задает Христос в финальных главах поэмы: «Но кто глазное дно утробы / собою занял, как зрачком, / и смотрит каждой клеткой, чтобы / уже не вспомнить ни о ком / там, вдалеке, в зеркальном гроте, / в объятьях материнской плоти, / связавшей губы молоком?» (гл. 15); «И кто в рождественскую вьюгу / кричит подобием креста, / что каждому такому кругу / отверзнет кто-нибудь уста?» (гл. 18) (Кекова 1996, с. 97).

Отметим, что мотив незнания отчасти реализуется и в последнем «рождественском» стихотворении И. Бродского «Бегство в Египет» (II) (1995): «Звезда глядела через порог. / Единственным среди них, кто мог / знать, что взгляд ее означал, / был младенец; но он молчал» (Бегство в Египет (II)) (Бродский 2001, IV, с. 203). Как справедливо указывают А. Ю. Сергеева-Клятис и О. А. Лекманов: «Младенец «мог знать», что означает взгляд звезды («звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца»), а мог и не знать. Причем в случае незнания он входит в число таких же обычных людей, как Мария и Иосиф. Молчание Младенца оставляет финал стихотворения открытым. Ведь «основной механизм Рождества» действует только в том случае, если Младенец это Христос» (Сергеева-Клятис, Лекманов 2002, с. 38-39). Однако незнание истины у И. Бродского касается уровня компетенции экзегетического нарратора, наблюдающего Младенца извне, тогда как в поэме С. Кековой неведение характеризует самого Спасителя, априорно мыслимого в качестве всеведущей инстанции не только на уровне структуры повествования, но, прежде всего, с позиции его онтологического статуса, выходящего за пределы данного текста и соотносимого с христианским контекстом вообще.

Представляется, что утверждение неопределенности, связанной с рождением Спасителя, в поэме С. Кековой обусловлено переносом акцентов с факта Рождества на то, что оно собой знаменует. В финальной, восемнадцатой, главе смысловая заданность рождественской ночи раскрывается через последующее событие Воскресения, которое мыслится преодолением небытия посредством Слова («...и тьма былого / воскреснет только в свете слова»). Христос предстает в качестве Логоса, отменяющего безысходную замкнутость времени и дарующего миру вечность: «И все, что бедно и неловко / внизу, и сверху, и вокруг, / темно, как светомаскировка, / но собрано в единый круг» (Кекова 1996, с. 97). Здесь в семантике круга на первый план выводится значение целостности и полноты бытия, освещенного / освященного Словом. Прошлое, настоящее и будущее оказываются уравновешены константами земного пути Спасителя («от Рождества через Крещение / до положения во гроб / проходит жизнь»), и предощущение рождественского чуда, являющееся основой художественной рефлексии в поэме, экстраполируется на рождение любого человека, бытие которого отныне ознаменовано очищающим действием Слова, придающему миру смысл и отменяющего дурную бесконечность кругового движения времени:

*Все то, что ждет рожденья ныне,
для слога будет рождено,
в разбитом вдребезги кувшине
забродит светлое вино* (Кекова 1996, с. 97).

Итак, признание Слова в качестве единственного способа обретения ценностно-смысловой определенности бытия и преодоления разрушающего воздействия времени в «Рождественской поэме» С. Кековой очевидно является переосмыслением представлений И. Бродского о языке как инобытийной форме присутствия человека в мире, перманентно поглощаемом энтропией времени (ср.: «От всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи» (Бродский И. 2001, III, 143)). Так как у И. Бродского язык абсолютизируется в качестве саморазвивающейся субстанции, его обусловленность христианской аксиологией носит в большей степени опосредованный характер. В свою очередь в поэме С. Кековой Слово приобретает качество онтологической универсалии только в свете спасительной жертвы Христа, и именно евангельские события в своем неделимом единстве позволяют человеку преодолеть небытие посредством языка, смысловое наполнение которого обеспечивается фактом Рождества Спасителя.

Художественные концепции И. Бродского и С. Кековой вступают в своеобразный диалог, порождаемый различиями в восприятии христианской системы ценностей. Осмысление евангельского сюжета в «рождественских» стихотворениях И. Бродского определяются его онтологическими представлениями о времени как линейном развитии мироздания, и поэтому на первый план в событии Рождества выводится семантика точки отсчета, определяющей новый вектор существования в темпорально обусловленном мире. В поэме С. Кековой, напротив, утверждается изначальное присутствие в рождественской ситуации всего дальнейшего пути Христа, и это событие мыслится как начало перехода из замкнутости циклического времени в вечность, где повторяемость ситуаций носит осмысленный характер, заданный жертвенностью Спасителя, одухотворяющей речь и представляющей ее в качестве ценностной константы человеческого мира.

Литература

- АЩЕУЛОВА. И. В., 2002. «Рождественский цикл» в поэзии И. Бродского. *Проблемы литературных жанров*. Ч. 2, Томск.
 БРОДСКИЙ, И., 2000. *Большая книга интервью*. Москва.
 БРОДСКИЙ, И. 2001. *Сочинения Иосифа Бродского*. В VII-ми томах. Санкт-Петербург.
 ДОГАЛАКОВА, В. И., 2001. Метрический репертуар Светланы Кековой (к вопросу о стиховой культуре конца XX века). *Диалог культур: XXI век*. Балашов.

-
- ЕСАУЛОВ, И. А., 2002. *Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак)*. Тверь.
- ИВАНОВА, Е. А., 2004. «На семи холмах»: пространство города и мир природы в поэзии Светланы Кековой. *Мир России в зеркале новейшей художественной литературы*. Саратов.
- КЕКОВА, С., 2002. А стихи – тонкая материя... *Вопросы литературы*. Вып. 2. Москва.
- КЕКОВА, С., 1996. *Рождественская поэма*. Вавилон: Вестник молодой литературы. Вып. 4 (20). Москва.
- КУЛЛЭ, В., 1998. «Поэтический дневник» И. Бродского 1961 года (Формирование линейной концепции времени). *Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба*. Санкт-Петербург.
- СЕРГЕЕВА-КЛЯТИС, А. Ю.; ЛЕКМАНОВ, О. А., 2002. «Рождественские стихи» Иосифа Бродского. Тверь.
- ФЛОРЕНСКИЙ, П. А., 2000. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания. *Сочинения*. В 4-х томах, т. 3 (2). Москва.

Arkady Chevtaev

St. Petersburg State Polar Academy, Russia

TRACES OF JOSEPH BRODSKY'S POETRY IN *CHRISTMAS POEM* BY SVETLANA KEKOVA

Summary

This article examines the influence of Joseph Brodsky's poetics on the structural-semantic organisation of *Christmas poem* by Svetlana Kekova. The analysis of this masterpiece leads to the discernment of a number of traces of Brodsky's poetic world that become most apparent in the ways of representation of the lyrical subject, granting the status of iconic sign to artistic discourse and the ideological affirmation of language as the only chance of overcoming the destructive effect of time. The comparison of ontological notions present in the creative work of poets shows that the interpretation of the event of Christmas in their works is characterised by conceptual divergences. In Brodsky's poetry, Christmas is seen as the starting point of reference that defines the new vector of linear motion of time. In Kekova's poem, the evangelical event is shown as the beginning of transition from existence in cyclical time to existence in eternity.

KEY WORDS: apocryphal story, Christianity, Christmas, lyrical subject, narrative, poetry, space, time.

Наталия Даиновича

Даугавпилсский Университет

Vienības iela 13, 5410 Daudavpils, Latvia

e-mail: natalija.dainovica@du.lv

«ЖИЛА НА РЕЙНЕ ФЕЯ...» ПО ПОВОДУ 2-ОЙ РЕДАКЦИИ БАЛЛАДЫ К. БРЕНТАНО

Баллада К. Брентано «Лорелея» – одно из самых известных его произведений. Судьба и образ Лорелеи – неотъемлемая составляющая романтизма, тип страстной демонической красавицы, обреченной на гибель. Анализ 2-ой редакции баллады дается в широком контексте жизни и творчества К. Брентано.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: романтизм, страдание, поэт, любовная лирика, *Lureley*

Clemens Brentano (1778 – 1842) – один из самых значительных (если не самый значительный) представителей 2-го поколения немецких романтиков, «гейдельбургцев» (гейдельбергского романтизма), чрезвычайно одаренная личность, мятежный, мятущийся, «сверх меры чувствительный» (Аверинцев 1996, с. 227) немецкий лирик и прозаик. Всем хорошо знаком гейневский образ Лорелеи (*“Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“*). Однако творцом истории о волшебнице-фее, околдовывающей своей красотой мужчин, является Клеменс Брентано.

Топоним *Lureley* относился до Брентано к скале с эхом на Рейне. *Lore* происходит от *rhein. lureln, summen/rauschen, Lay* значит *Fels* (скала) (Minaty 1988, с.11). Известно одно из первых упоминаний о звучащей скале *in dem Lurlenberge* (13-й век), о ней же пишет К. Цельтис в дистихе (1502 г.) .

Стихотворение *“Zu Bacharach am Rheine”* («Жила на Рейне фея...» (Пер. Топорова В., in: Дмитриев 1984, с. 474-477; Рассказов 1999, с. 164-167) стало символом немецкой романтической лирики.

Живущая в селенье Бахарах на берегу Рейна прекрасная волшебница влечет к себе любовными чарами всех мужчин в округе. Но чары обольщенья в тягость Лорелее, жизнь ей опостылела. Чтобы освободиться от колдовской силы и не губить тех, кто увидит ее и встретится с ней взглядом (а ее прекрасный образ пленил даже епископа), она готова на смерть:

Мои глаза как пламя.

Рука – волшебный жезл.

Бросай же деву в пламя!

Ломай над нею жезл.

Die Augen sind zwei Flammen,

Mein Arm ein Zauberstab,-

O, legt' mich in die Flammen!

O, brechet mir den Stab!

Что же побуждает несчастную к такому отчаянию? Хартвиг Шульц приводит следующее психологическое обоснование (Schultz 2003, с. 6). Покинутая своим неверным возлюбленным, Лорелея разочаровалась в любви и мстит мужчинам. Испытав горькую обиду и позор, она признается, что больше никого не любит.

Как неоднократно подчеркивалось исследователями творчества Брентано, поэт был романтическим Дон Жуаном «...без дерзости., в любви не столько повелитель, сколько проситель..., чаще обиженный» (Берковский 2001, с. 319).

В юности – это фантазер, часто погруженный в собственные грезы, живой, впечатлительный, непоседливый подросток, не проявляющий особого интереса к делам торговой фирмы отца. Он рано умел сочинять стихи и, помогая однажды в отцовской конторе во Франкфурте, вложил в конверт с важным деловым письмом карикатуру, снабдив ее насмешливыми стихотворными строками. Разразившийся в связи с этим скандал подтвердил несостоятельность Клеменса в ведении торговых дел отца. Учеба в университете города Галле ознаменовалась стихотворениями, которые он присылал в

письмах своим сестрам, а годы учебы в Йенском университете (1798-1799), где 20-летний юноша намеревался заниматься медициной, ввели Клеменса в круг йенских романтиков.

«Формула жизни» (Березина 2005), которую исповедуют герои поэта, разработана как в штудируемых им трудах йенских романтиков, так и в его переписке с восторженной единомышленницей - сестрой Беттиной (Bettine von Arnim (1785-1859)): жизнь – это «бесконечное томление, странствие, искание мистического счастья, которое разрешается в единственной, настоящей, романтической любви успокоением духа и просветлением окружающего мира» (Жирмунский В. М.). «Они, Клеменс и Беттина...похожи на двоих детей...Жизнь чудесна с самого раннего часа...Человеку позволено быть самим собой. Все ему принадлежит, всюду он званый и желанный...У Беттины и Клеменса происходит как бы роман с самой жизнью...» (Берковский 2001, с. 320).

Ни Людвиг Тик, ни Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, ни Август Вильгельм и Фридрих Шлегели не относятся серьезно к студенту медицины, влюбившемуся в жену профессора Йенского университета Фридриха Эрнста Мери - поэтессу Софи Мери (Sophie Mereau (1770-1806)). Последовавший в 1801 году развод Софи с мужем и ее венчание в ноябре 1803 года с Клеменсом в церкви Марбурга - это события, благодаря которым Brentano стал центром внимания и объектом осуждения всего литературного бомонда. На Ф. Шлегеля, Л. Тика, Доротею, жену Ф. Шлегеля (с 1804 г.), Каролину, жену А. В. Шлегеля (с 1803 г.-жена Ф. В. Шеллинга), неприятно действует гиперболизм, с которым юный Brentano усваивает их идеи. Л. Тик высмеивает Клеменса Brentano в сатире «Der neue Herkules am Scheideweg».

В 1799 году Ф. Шлегель опубликовал роман «Люцинда» («Lucinde»), о котором в своей «Романтической школе» («Die Romantische Schule») Генрих Гейне с иронией писал: «Die Mutter Gottes mag es dem Verfasser verzeihen, daß er dieses Buch geschrieben; nimmermehr verzeihen es ihm die Musen» (Heine 1979, с. 200). Первую часть романа «Годви, или Каменное изваяние матери» (1801-1802) Brentano пишет в соответствии с идеями своих учителей как «апофеотику чувственного любовного безумия», «упоеание свободой любви, эротикой», как «некое языческое переживание жизни» (Федоров 1988).

В 19-м и даже в 20-м веке общепризнанным в брентановедении считалось противоречие между Brentano – романтиком и поздним Brentano - автором религиозных прозаических произведений, считавшегося потерянным для литературы. Однако благодаря исследованиям В. Фрювальда и Х. М. Энценсбергера была открыта поздняя, «авангардистская» лирика позднего Brentano. Черная магия брентановских строк обескураживающе современна, считал С. С. Аверинцев. Читая их, понимаешь, почему к Brentano тянулись сюрреалисты. Другими словами, Brentano заглянул в бездну, пропасть, но не упал в нее. «Бедный Клеменс» страшился своего воображения, как беса, и то брал на себя риск жить с бесом, то пытался с переменным успехом заклясть беса экзорцизмами...». Он был одним из тех, «кто первым пророчески ощутил возможность пустоты.., он отчаянным напряжением стремился уйти от этой возможности к твердым данностям традиции, будь то традиция фольклора или традиция догмата...» (Аверинцев 1996, с. 306).

Жанр баллады широко распространен в литературе начала 19 века. Баллада, восходя к народнопоэтической традиции, отличается пристрастием к таинственному, необъяснимому, к ужасам разного рода.

Эротику и религиозность в жизни и творчестве К. Brentano Габриэле Брандстеттер рассматривает на примере модели «Verführung und Bekehrung» («соблазнение и обращение») и «Versuchung und Erlösung» («искушение и спасение»). Однако баллада раннего Brentano «Zu Bacharach am Rheine» представляет собой модель «соблазнение - попытка обращения – смерть».

Прекрасная Лорелея так околдовала епископа, что осудить ее он уже не может: «И если жезл преломим, Назначив приговор, То сердце мы разломим На муку и позор!» («...Den Stab kann ich nicht brechen, Du schöne Lore Lay! Es wurde dann zerbrechen Mein

eigen Herz entzwei!”). Во 2-ой, поздней, редакции, которую можно условно обозначить Lureley-Fassung, в отличие от первой, Lore Lay - или Godwi – Fassung (1800-1801г.), такое отношение епископа мотивировано тем, что он был возлюбленным Лорелеи. В поэтике грехопадения Brentano любовь (страсть) и смерть соединены как разрушительные стихии.

Романтизм явил собой художественную культуру антинормативного. Критерием художественности стала оригинальность – смелость разрушения стереотипов художественного мышления. Заявленная было христианская тема („*Der Bischof ließ sie laden, „Herr Bischof., ...um Erbarmen Für mich den lieben Gott!“* “*sterben wie ein Christ*”) превращается в антихристианскую. Заключение в монастырь равносильно смертному приговору («*Du sollst ein Nönnchen werden, .Bereite dich auf Erden Zu deines Todes Reis!*“).

Богоборческий романтизм, представителем которого невольно оказывается автор «Лорелеи», с неприязнью относится к монастырю. Профанация евангельской темы *Христос и грешница* (Лорелея не становится на путь добродетели с христианской точки зрения) представляется вполне логичной в контексте несоблюдения современниками Brentano этических евангельских идеалов. Да и епископ, поручая трем рыцарям сопровождать героиню в монастырь – к месту тюремного заключения, действует не совсем, скажем, как пастырь добрый, отпускающий с миром и в мир несчастную женщину, напутствуя ее: «Иди и не греши!».

Не будем останавливаться на проблеме церковной власти или насилия (как можно перевести «*kirchliche Gewalt*» (Mayer 2003, с. 287)). Романтическая героиня внешне смиряется перед неизбежностью этой власти и даже требует казни как единственного выхода: «Я доле жить не смею, Я не желаю жить! За то, что гибель сею (Пер. Топорова В., In: Дмитриев 1984, с. 475) (в оригинале «Я никого больше не люблю»), Вели меня казнить» (“*Ich darf nicht länger leben, Ich liebe keinen mehr, - Den Tod sollt Ihr mir geben, Drum kam ich zu Euch her!*“ (Brentano 2005, с. 50). Она бросает вызов не только епископу, но и самому Богу!

Баллада “Lore Lay” начинается с творения Brentano мифа о сверхъестественных, волшебных-эротических силах Лорелеи. Это мир чародейства и магии, которому пытается противостоять епископ, вступающий в диалог с волшебницей (4-я строфа). Строфы 5-16 демонстрируют движение сюжета от начала «встречи» к ее катастрофическому завершению.

В 11-й строфе настоящее время Präsens в диалоге сменяется прошедшим Perfekt. Речь идет о том, что ее бросил любимый, это история любви Лорелеи: “...*Hat sich von mir gewandt, Ist fort von mir gezogen...*” («*Меня покинул милый, Бежал невесть куда*»). Глубоко уважаемый и талантливый переводчик В. Топоров не стал бы, видимо, переводить “*Fort in ein fremdes Land*” как «*невесть куда*», если бы руководствовался 2-ой редакцией баллады (Hoof 2002, с.130), включающей следующие, отсутствующие в 1-й редакции, строфы:

<i>Es fuhr mit Kreuz und Fahne</i>	<i>Daß er das Schwert gelassen,</i>
<i>Das Schifflin an das Land,</i>	<i>Dem Zauber zu entgehn,</i>
<i>Der Bischof saß im Kahne,</i>	<i>Daß er zum Kreuz tät fassen,</i>
<i>Sie hat ihn wohl erkannt.</i>	<i>Das konnt' sie nicht verstehn.</i>

Эти строфы важны для характеристики модели «*соблазн – смерть*». Оказывается, героиня покинута не как несчастная жертва, а как объект губительной страсти и колдовства, спастись от которой можно лишь обратившись к Богу. Что и сделал возлюбленный героини, сменив меч рыцаря на крест духовного лица. *Schiffer* 1-ой редакции и *Priester* во второй – предстают как объекты авторского моделирования. Первый вариант характерен для студенческой йенской молодости поэта, второй свидетельствует о преобладающей религиозной доминанте в сознании Brentano.

Dämon Sexus (Mayer 2003) приводит чародейку к гибели (22 строфа 1-й редакции и 23 строфа во второй, Lureley-Fassung), которой завершается диалог с рыцарями, сопровождающими Лорелею в монастырь. Романтическая «тотальная» любовь (Schultz 2003, с. 8), любовь-отчаяние, любовь, близкая к безумию, – часто встречающаяся тема мировой литературы. Вспомним Офелию из шекспировского Гамлета, которая монастырю предпочла самоубийство.

Страдающим, безутешным в постигшем его горе - смерти жены при родах третьего ребенка (за три года брака – три смерти новорожденных) в октябре 1806 г., предстает Клеменс в письмах к Ахиму фон Арниму (Achim von Arnim(1781-1831)). В августе 1807 г. Brentano венчается с 16-летней Аугустой Бусман (Auguste Bußmann (1791-1832), брак с которой соответствовал законам романтического жанра. Он длился менее двух лет, может быть, еще и потому, что Brentano раздражало «романтическое» поведение жены. Здесь имели место неоднократные попытки самоубийства, завершившиеся смертью Аугусты в водах Майна уже много лет спустя после официального развода супругов (Enzensberger 1996, с.237) в декабре 1814 г. (она покончила собой в апреле 1832 года, будучи супругой и имея в новом официальном браке троих детей).

Многое из того, что написал Brentano, оказывалось своего рода пророчеством. Так и строки *«она любит любовью, невыразимой словами, но ее любовь еще находится в плену плоти, и она очистится от нее, когда пройдет через страдания»* (Brentano 2003, с. 32) вполне применимы как ключ к пониманию жизни не только самого Brentano, но и многих художников слова разных стран и эпох.

Сборник народных немецких песен *“Des Knaben Wunderhorn”* («Волшебный рог мальчика»), опубликованный Brentano и Ахимом фон Арнимом в Гейдельберге в 1806-1808 г.г., имел первостепенное значение для немецкой поэзии начала 19-го века. Гете опубликовал в январе 1806 года подробную одобрительную рецензию на 1-й том антологии в *«Jenaische Allgemeine Literaturzeitung»*. Позднее в сборник была включена и баллада «Лорелея».

Немецкие баллады 18-19 веков это – стихотворения в духе старых народных эпических песен. Понятие баллады включает в себя и *народные повествовательные песни с драматическим развитием сюжета* (Гугнин 1983, с.11). Песенность немецкой поэзии Гейне считал великим новшеством немецкой культуры.

Гейдельбергских романтиков интересуют традиционные ценности и представления национальной культуры. Братья Якоб и Вильгельм Гримм записывают и издают в 1812-1815 г.г. «Детские и семейные сказки». Широко известным прозаическим произведением Brentano стала «Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» (*“Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl”*(1817)). Основная идея этой повести заключается в представлениях восьмидесятивосьмилетней крестьянки о том, что честь надо воздавать не людям, а Богу. Эта крестьянка – прообраз монахини из Дюльмена (Dülmen) Анны Катарини Эммерик (Anna Katharina Emmerick (1774 – 1824). У ее постели Brentano проведет 6 лет (1818-1824), записывая ее видения, на основе которых будут написаны «Жизнь Пресвятой Девы Марии» («Das Leben der heiligen Jungfrau Maria»)¹, «Годы учительства Иисуса» («Lehrjahre Jesu»), «Крестные муки Господа Бога Иисуса Христа» («Das bittere Leiden unsers Herrn Jesu Christi»). Последняя книга, вышедшая анонимно в 1833/34 году, окажется одной из самых востребованных современниками. В 1842 г. – году смерти автора, скромно называвшего себя всего лишь писцом (Schreiber), фиксирующим размышления Анны Катарини Эммерик, было опубликовано уже шестое издание книги.² Brentano же как автора «Крестных мук» германистика откроет только в 20-м веке.

¹ Книга, подготовленная к печати еще при жизни автора, вышла в свет только в 1852 году.

² Книга «Крестные муки Господа Бога Иисуса Христа. Размышления святой монахини августинского монастыря Анны Катарини Эммерик в записи Клеменса Brentano» явилась поворотным пунктом в противостоянии между христианской и светской культурой в первой трети 19-го века.

Еще до встречи осенью 1816 с Луизой Хензель (Luise Hensel (1798 – 1876)) Brentano уже оставлял для чтения своим хорошим знакомым манускрипт «Романсов о розарии» («*Romanzen vom Rosenkranz*»). Черная поэтика этих «Романсов» характеризуется инцестуальными мотивами – связи инстинкта и чувства переплетаются в сюжете произведения, так и не завершеного до конца, с родственными связями. Однако ярким свидетельством размежевания между йенским и гейдельбергским романтизмом можно считать следующий кульминационный момент поэмы: защиты от зла, почти овладевшего миром, автор ищет в ниспосланных свыше духовных силах.

Каждую неделю тесный круг друзей и знакомых собирается в берлинском *Maikäfer* – клубе (*Maikäferklub*), гостиной, названной так по фамилии ее хозяина герра Мая (Mai). Это в основном участники освободительных войн с Наполеоном, которых интересует патриотическая романтически-христианская поэзия нового пиетического движения. В 1811 году А. фон Арним основал «*Christlich-Deutsche Tischgesellschaft*», («Христианско-немецкое застольное общество»), в которое, помимо Brentano, входили первый ректор Берлинского университета И. Г. Фихте, Й. фон Эйхендорфф, Г. фон Клейст, А. фон Шамиссо, Ф. де Ла Мотт Фуке, К. Ф. фон Савиньи. С 1816 г. обществом руководил Brentano и братья Э. и Л. Герлах.

Любовь к принадлежащей кругу пиетистов поэтессе Луизе Хензель -женщине, которая была младше 38-летнего Brentano на 20 лет, выводит поэта из очередного духовного кризиса, грозившего обернуться катастрофой. Об этом напоминают стихотворения «*Frühlingsschrei eines Knechtes aus der Tiefe*» и „*Lied von der Wüste*“. Эти стихи – своеобразная отправная точка, с которой начинается религиозное обращение Brentano, возвращение к католицизму, вере своих предков. Как и другие романтики, Фридрих Шлегель, глашатай «чувственно-сверхчувственной» любви, также приходит к церкви.

«*Frühlingsschrei*» – «Весенний вопль раба Божьего из глубины», своеобразное переложение 129-го псалма («Из глубины взываю к Тебе, Господи» (130-й в лютеранской Библии, Luther-Bibel) («*Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir*»)), написано весной 1816 года. Библейская мистическая метафорика воды 68-го псалма (69-й в лютеранской Библии) («Спаси меня, Боже: ибо воды дошли до души моей.., я вошел во глубину вод...Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина..») напоминает о себе в следующих строках стихотворения: 1-ой (*Abgrund*), 5 –ой (*Brunnen*), 6 –ой (*Schacht*), 16 –ой (*Tiefe*). Данная смысловая цепочка, начинающаяся в 1-й строфе и пронизывающая всё стихотворение, завершается в Апокалипсисе (Откр. 9, 1) «кладязем бездны» («*Brunnen des Abgrunds*»): «*Я увидел звезду, падающую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладязь бездны*». Метафора «колодец греха» («*Brunnen der Sünde*») традиционна для пиетизма. Brentano создает в тексте причинную связь между «потопом страха», вырастающего из глубины собственного «я», и библейским потопом, который интерпретируется поэтом как потоп греха. Сознание вины так велико, что у грешника текут слезы Богооставленности и раскаяния (Frühwald 2004, с. 437). Библейская образность – главный источник сюжетов данных стихотворений.

Строки 55-56 („*Herr, o Herr! Ich treib's nicht länger, Schlage deinen Regenbogen*“) восходит к Кн. Бытия 9, 13 («Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамение завета между Мною и между землею» («*Meinen Bogen hab ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen Mir und der Erde*».)

Два голоса, звучащие в стихотворении, воссоздают акустику диалога. Во-первых, это голос - вопль греховного сознания и отчаяния, и, во-вторых, голос, плачущий о грехах, вопль, жаждущий милости и спасения. Радуга/*Regenbogen*, как знак семицветного света и небесное явление, рождающееся из солнечного света и воды, противостоит метафоре воды, знаменующей собой бездну. Библейская радуга – знак примирения, знак завета, союза, который заключил Бог со своим творением - человеком.

Об источнике света (*des Lichtes Quelle*) просит, о свете вопиет раб Божий в последней строфе стихотворения. И такой источник дается автору в реальной жизни. Солнечным лучиком³ назовет поэт свою возлюбленную, ее стихи будет хранить, удивляясь тому, что находит в них ответы на мучающие его вопросы.

В мае 1818 года в дневнике Луизы появляется запись: «...Ты хотел бы на мне жениться...Союз с Тобой, полагаю, не стал бы для меня препятствием на пути следования за Господом, если Он меня призвет вновь...»(Grus 2003, с.145). Луиза не стала женой Brentano, однако одним из многих их совместных духовных плодов стал вышедший из печати в марте 1829 года «Духовный букет» стихотворений («Der geistliche Blumenstrauß»).

Нельзя не назвать имя еще одной женщины – Эмилии Линдер (Emilie Linder (1797-1867)) – музы позднего Brentano. Одаренная художница, написавшая прекрасный портрет Brentano, адресат его любовной лирики мюнхенского периода (с 1833 года), также не став женой поэта, оставалась до самой его смерти любящим, знающим и понимающим другом (Gruber 2003, с. 216).

Отказавшись от раннеромантического гедонизма, Brentano приходит к христианской системе ценностей. Путь к Богу, по которому стремился идти поэт, был очень непростым, извилистым, ведущим часто в совершенно противоположную сторону. Кончина его – отнюдь не тихое усупение. Страстное призывание Господа слышалось из комнаты в Ашаффенбурге (Dellers 1960, с.114), где 28 июля 1842 г. скончался чувствовавший себя грешным скитальцем, всецело предавшимся милости Божьей, создатель *Лорелеи*.

А кончина Аугусты, во 2-м замужестве фрау Эрманн, десятью годами ранее, 17 апреля 1832 г., во вторник Страстной седмицы, свидетельствовала о том, что неоднократные попытки самоубийства бывшей жены Клеменса не были пустыми угрозами. Брак Brentano с Аугустой был очень непродолжительным, а процесс развода длился годы. Слепая, безрассудная любовь Аугусты к детям не нравилась ее второму мужу, банкиру Иоганну Аугусту Эрманну. В роковой день речь между супругами зашла о воспитании детей. Если Аугуста не станет разумнее обращаться с детьми, их придется отдать в пансион, - сказал супруг (Schultz 2000, с. 225). Аугуста притихла и стала проявлять преувеличенную заботу о здоровье мужа, предлагая принять лекарство. Это вывело из себя г-на Эрманна, и он, прервав домашнюю трапезу, уехал обедать в английский двор. До позднего вечера металась Аугуста по Франкфурту и его окрестностям в своем одноконном экипаже, загнав лошадь (Enzensberger 1996, с. 247). Вернулась домой, сделала необходимые распоряжения и вновь бросилась в ночь, в темноту, в приток Рейна Майн, на берегах которого расположен Франкфурт, подобно тому, как это сделала Лорелея, героиня баллады К. Brentano.

Литература

- АВЕРИНЦЕВ, С. С., 1996. *Поэты*. Москва.
БЕРЕЗИНА, А. Г., 2005. *История западноевропейской литературы XIX века*. Москва-Санкт-Петербург.
БЕРКОВСКИЙ, Н. Я., 2001. *Романтизм в Германии*. Санкт-Петербург: Азбука-классика.
Библия, 1989. Издательство Б. Геце и Институт перевода Библии.
БРЕНТАНО, К., 2003. *Размышления Анны Катарини Эммерик*. Санкт-Петербург: Инапресс.
ГУГНИН, А. А., 1983. Немецкая народная баллада. *Сборник*. Москва: Радуга.
ДМИТРИЕВ, А., 1984. (Сост.). *Немецкая поэзия 19 века*. Москва: Радуга, с.474-477.
РАССКАЗОВ, Ю. С., 1999. (Ред.). *Западная поэзия конца XVIII - начала XIX веков*. Москва: Лабиринт.

³ Точнее «солнечным зайчиком» (“...bist du ...ein Lichtfleckchen, das ein Engel mit seinem spiegelnden Schilde aus der innersten reinsten Himmelssonne mir an der dunklen Kerkerwand tanzen lässt...” (Grus, с.143)).

- ФЕДОРОВ, Ф. П., 1988. *Романтический художественный мир: пространство и время*. Рига: Звайгзне.
- BRANDSTETTER, Gabriele, 1986. *Erotik und Religiosität. Zur Lyrik Clemens Brentanos*: München.
- BRENTANO, C., 2005. *Gedichte. Hrsg. von H. Schultz*. Stuttgart: Reclam.
- DELLERS, Walter, 1960. *Clemens Brentano. Der Versuch eines kindlichen Lebens*. Basel.
- Deutsche Literatur in Schlaglichtern.*, 1990. Hrg. von B. Balzer und V. Mertens. *Meyers Lexikonverlag*. Mannheim/Wien/Zürich .
- DIE, Bibel, 1970. *Württembergische Bibelanstalt*. Stuttgart.
- ENZENSBERGER, H. M., 1971. *Brentanos Poetik*. München.
- Enzensberger Hans Magnus*, 1996. Requiem für eine romantische Frau. *Insel Verlag*. Frankfurt am Main und Leipzig.
- FRÜHWALD, Wolfgang, 2004. *Der Bergmann in der Seele Schacht' . In: Gedichte und Interpretationen. Klassik und Romantik*. Stuttgart.
- GRUBER, Sabina Claudia, 2003. *Denn meine Seele liebt, die ihre lässt sich lieben, In: Auf Dornen oder Rosen hingesunken? Eros und Poesie bei Clemens Brentano*. Berlin.
- GRUS, Michael, 2003. *Clemens Brentano und Luise Hensel – eine Vormundschaftsangelegenheit, In : Auf Dornen oder Rosen hingesunken? Eros und Poesie bei Clemens Brentano*. Berlin.
- HEINE, H., 1979. *Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Die romantische Schule, In: Heine H. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke*. Hrsg. von M. Windfuhr. Bd. 8,1. Hamburg.
- HOOF, H. J., 2002. (Hg.). *Deutsche Balladen. Piper*. München Zürich, s. 127-131.
- MAYER, Mathias, 2003. *Klassik und Romantik. In: Geschichte der deutschen Lyrik*. Stuttgart: Reclam.
- MINATY, Wolfgang, 1988. *Die Lore Lay. Gedichte Prosa Bilder*. Ein Lesebuch. Frankfurt a.M.
- SCHULTZ, Hartwig, 2000. *Schwarzer Schmetterling*. Berlin: Verlag.
- SCHULTZ, Hartwig., 2003. *Verzweiflung an der Liebe in der Liebe. Die Liebeslyrik des jungen Brentano. In: Auf Dornen oder Rosen hingesunken? Eros und Poesie bei Clemens Brentano*. Berlin.

Natalija Dainovica

Daugavpils University, Latvia

CONCERNING THE SECOND EDITION OF THE BALLAD “ZU BACHARACH AM RHEINE...”

Summary

The article deals with the well-known ballad “Zu Bacharach am Rheine...” which tells about the enchantress Lyreley. C. Brentano (1778-1842) – a prominent representative of the second generation of the German romanticists - has created the story about her. A broad context of the poet's life and creative work provided allows to trace the link between the second edition of the ballad and the further creation of Brentano and the fate of A. Bufmann. Auguste Bufmann (1791-1832) is called «einzig wirkliche Romantikerin» (Enzensberger H.M.) - “the only one real romanticist-woman” in the German literary studies.

KEY WORDS: Romanticism, suffering, poet, love poetry, Lureley.

Петр Ганцаж

Институт неофилологии Поморской академии в Слупске

ul. Slavianska 8, 76-200 Slupsk, Polska

e-mail: neofilologia@pap.edu.pl

ПАРАДОКСЫ СВОБОДЫ В ПОВЕСТИ В. ГРОССМАНА «ВСЕ ТЕЧЕТ»

В статье рассматривается категория свободы в художественно-философских взглядах В. С. Гроссмана. Анализируется одна из последних его повестей «Все течет», представляющая собой своего рода сжатый итог моральных и художественных исканий писателя. Выросшее из «философии здравого суждения» гроссмановское понимание свободы рассматривается в контексте общего философского наследия.

Свобода – это одна из основных ценностей XX века, его *idee fixe*, и парадоксом этого времени является тот факт, что никогда прежде эта идея не испытывала такой переоценки, не подвергалась такому извращению. Свобода и насилие слились в XX веке в некое единство. Во имя свободы одновременно совершались и самые зверские преступления, и героические подвиги. Кризис коснулся также многих других неотъемлемых философских понятий: Истины, Бытия, Самоидентификации.

Категория свободы, воспринимаемая как основная ценность для каждого человеческого существа, является фундаментом литературных рассуждений Василия Семеновича Гроссмана. Как в русской, так и в польской литературоведческой рефлексии автора *Треблинского ада* иногда называли философом или писателем-философом, но чаще все же подчеркивали, что профессионально философией Гроссман не занимался. Анатолий Бочаров в своей монографии *Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба* пишет: «В его архиве мне не встретились упоминания о прочитанных философских трудах, а в его книгах нет сколько-нибудь заметных следов последовательных философских штудий. Он был, пожалуй, из плеяды тех советских писателей, которые руководствовались не отрешенными истинами философов, не чьими-то идеально выстроенными системами (...), а своими раздумьями о происшедшем и происходящем – то, что я определил как *философию здравого суждения*» (Бочаров 1990, с. 343). В связи с этим в интерпретационных попытках гроссмановской концепции свободы Бочаров предлагает «обратную связь»: от синтетических взглядов, замечаний, наблюдений на тему сути добра и зла, смысла человеческого существования, взаимоотношений государство – человеческая единица, свободы и тоталитаризма к целостной и достаточно непротиворечивой системе, выведенной изнутри, а не авторски аннексированной¹. Еще в диалогии *Жизнь и судьба* свобода явилась объектом литературно-интеллектуального проникновения Гроссмана; говорили о ней одновременно и многочисленные персонажи, и рассказчик, во второй части относительно четко отождествляемый с самим автором. Кристина Петжицка-Бохосевич отмечает, что «ключевые для гроссмановской философии понятия появляются сразу, буквально с первой страницы романа, в драматическом монологе рассказчика, который описывает и комментирует бесчеловечную монотонность застройки гитлеровского концлагеря. Следовательно, начало произведения шокирует: жить, говорить и размышлять о жизни и ее смысле писатель заставляет героев, запертых в зоне антижизни. Парадокс как литературный прием является в романе основным средством»² (Pietrzycka-Bohosiewicz 1996, с. 88). В русской литературной критике отмечен факт неоднозначного авторского толкования понятия свободы, бессвязность взглядов писателя, расхождения в декларациях рассказчика, отождествляемого с автором, или асерторических персонажей и объективном смысле, проявляющемся в запутанных

¹ См.: БОЧАРОВ, А., 1990. *Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба.*, Москва, с. 345.

² Все цитаты приводятся в переводе автора статьи.

человеческих судьбах, поступках, облике, поведении. Литературные критики уже неоднократно отмечали, что в философии Гроссмана свобода тождественна жизни. Писатель ставит между ними знак равенства, приписывая им идентичные атрибуты: они первоначальные, биологические, врожденные и инстинктивные для человеческого существа. Человеческое бытие писатель отождествляет со свободой.

В романе *Жизнь и судьба* читаем: «Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь – это свобода, и поэтому умирание есть постепенное уничтожение свободы: сперва ослабляется сознание, затем оно меркнет; процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжают, – совершается кровообращение, дыхание, обмен веществ. Но это неотвратимое отступление в сторону рабства – сознание угасло, огонь свободы угас» (Гроссман 1990, с. 419).

Из гроссмановского уравнения «Жизнь – это Свобода» можно вывести другое: «Смерть – это Рабство». Следовательно, жизнь в понимании Гроссмана является высочайшей ценностью. И, возможно, именно поэтому только немногие персонажи автора *Треблинского ада* отказываются от жизни, до конца соблюдая верность своим идеалам. Может показаться, что мысль: «кто выживет, свободным будет, а кто умрет – свободу обретет»³, в светском, атеистическом понимании Гроссмана по идее невозможна. Эта концепция была лишена мировоззренческих колебаний, влияний христианской эсхатологии. Из двух драматически крайних проявлений свободы, сформулированных по принципу: «to live free or die» и «живи, даже если ты поработен», автору *Треблинского ада*, естественно, ближе второй взгляд на свободу. Веслава Ольбрых, автор польской монографии о жизни и творчестве писателя, в главе, посвященной диалогии *Жизнь и судьба*, констатирует: «Несомненно, значительным фактом является то, что персонажей, отчетливо не вписывающихся в принципы тоталитарного режима, нарушающих их, у Гроссмана почти нет, а те немногочисленные, которые есть, действуют по особым принципам. Государство, взамен на отказ от свободы, обещает возможность сохранения жизни. А жизнь в мире персонажей романа Гроссмана является высочайшей ценностью, отождествляемой в высказываниях рассказчика со свободой. В этом заключается некоторая несовместимость авторской концепции Гроссмана: (...) рассказчик, олицетворенный с писателем, ставит вопрос о судьбе человечества, о его будущем. Его личный ответ многозначен, так как, считая стремление к свободе непреодолимой силой, он все-таки замечает трагическую истину, заключающуюся в том, что тоталитаризм нашел способ сломить людей, и, в крайних случаях, они отказывались от свободы: если они выбирали жизнь, то только ценой порабощения; если смерть, то это был не свободный выбор, а следствие террора...» (Olbrzych 2004, с. 162-163). Однако это не только «несовместимость авторской концепции Гроссмана», как пишет упомянутый выше автор монографии, но одна из извечных апорий свободы. Это парадокс, который поколения «времен презрения и ненависти» испытывают особенно остро, и который, несомненно, способствует включению проблемы свободы в круг так называемых «проклятых вопросов».

По мнению французского писателя и философа Жана-Поль Сартра, одного из выдающихся представителей современного экзистенциализма, ровесника Гроссмана, человека, обремененного похожим багажом военных испытаний, свобода принадлежит к самой структуре бытия для себя. Свобода – это структура существования человека. В этом смысле мы обречены на свободу. Мы не можем избрать свободу или ее не избрать; мы свободны в силу того, что мы являемся мыслящими. Следовательно, сознание существует как отношение к себе и к миру. Примечательно, что у Гроссмана существование человека также идентифицируется с сознанием: «[...] сперва ослабляется

³ Слова польской патриотической песни *Варшавянка 1831*.

сознание, [...] процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжают, [...] сознание угасло, огонь свободы угас» (Гроссман 1989, с. 39).

Неслучайно этот тезис будет неоднократно повторен в повести *Все течет*, своего рода авторском резюме приведенных ранее на страницах диалогии *Жизнь и судьба*, рефлексий на тему тоталитарной системы, в прощальном аккорде, являющемся окончательным расчетом Гроссмана с миром и самим собой. Тридцатилетние мучения Ивана Григорьевича начинаются, когда его отчисляют из университета и отправляют в ссылку в Семипалатинскую область за слова «свобода есть благо, равное жизни [...], ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству» (Гроссман 1989, с. 42).

За проповедование свободы, за то, что домогался ее в советском обществе, обществе якобы свободном, так как оно еще не попало за колючую проволоку, этой свободы человек и лишается. Это юношеское, универсальное понимание свободы состоит в том, что человек является свободным по отношению к тем или иным силам, явлениям, вещам. Эту свободу уже давно философы называли отрицательной, т.е. сопротивляющейся возможной зависимости. Отрицательной, т.к. принято считать, что человеческое существо никогда не должно быть поставлено в такие обстоятельства, из которых вынуждено будет освободиться. Человечество эти зависимости признает, но и осознает факт, что по крайней мере в некоторых обстоятельствах может им сопротивляться. Сопротивляться, прежде всего, двум самым мощным силам: природе и истории, т.е., как писал Хайдеггер, нашему миру. По мнению Рене Декарта, это самая низкая ступень свободы, доступная человеку. В беседе с Анной Сергеевной Иван Григорьевич признает: «Я раньше думал, что свобода – это свобода слова, печати, совести. Но свобода, она вся жизнь всех людей – она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь продавай его и не продавай, и слесарь, и сталевар, и художник живи, работай, как хочешь, а не как велют тебе. А свободы нет и у тех, кто пишет книги, и у тех, кто сеет хлеб и шьет сапоги» (Гроссман 1989, с. 62).

Свобода проявляется здесь в своем простейшем виде – полной экспрессии личности: можно думать, не опасаясь страха перед цензурой, говорить то, что думаешь, делиться своими мыслями с другими, читать то, что хочешь, питать чувства и не опасаться их проявлять, жить и работать согласно своей воле. Персонаж у Гроссмана отдает себе отчет в том, что в обществе с эмоциональностью связывают определенные надежды, но также запреты и требования. Суть его сомнений относительно свободы не сводится к тому, нужны ли они, так как он вполне уверен, что нужны. Существенным является вопрос, каким образом они осуществляются. В абсолютной, анархистской свободе он не нуждается. Индивидуальное никогда здесь не восстает против коллективного. Свободный человек, по Гроссману, это вовсе не отчужденный человек. Автор *Треблинского ада*, «всемирно ратуя за свободу человека, всячески отстаивая силу собственной души, никогда не писал о свободе личности. Свобода как свойство человеческой жизни не была в его народноцентрических воззрениях свободой отдельной, отчужденной личности. Речь у него шла о свободе народа, обеспечивающей свободу каждому человеку. Очень точно улавливал он разницу между утверждениями: «только свободные личности создают свободный народ» и «только свободный народ рождает свободную личность». Именно народноцентрическая, идущая от революционных, коллективистских идеалов, а не экзистенциалистская, замкнутая на индивидууме философия составляла нерв его монолога» (Бочаров 1990, с. 238). Таким образом, свободы личности не подавляет объективное общественное принуждение, не исключает ее (свободы – П.Г.) понимание того, что необходимо.

Следовательно, отрицательная свобода представляется нам непринужденностью, свободной от необязательного воздействия извне (*vis ex terna*). Ее суть сводится к возможности выбора между взаимоисключающими (противоположными) альтернативами (*liberum arbitrium*). Примечательно, что даже и в этом, казалось бы, исключительно

отрицательном понимании свободы, Гроссман пытается найти некоторый положительный ее аспект. Именно поэтому свобода вступает в неотъемлемую связь с рабством, она настолько зависима от всего того, что ее ограничивает и подавляет, что является синонимом выражения «быть собой».

Слова Ивана Григорьевича, мотивированные личным опытом⁴, влекут за собой послание положительной свободы, из которой следует, что мы свободны к действию (что-то делать), к попытке чего-то достичь, чем-то пользоваться. Еще Рене Декарт утверждал, что чем больше проявлений положительной свободы, тем меньше аспектов свободы отрицательной. Однако последняя из них является *conditio sine qua non* первой.

Размышления главного героя в повести *Все течет*, а также комментарии рассказчика, отождествляемого с автором, порождают мысль о том, что свобода должна быть глубоко «укоренена» в человеческом бытии, что она является неотъемлемой его частью. Если бы эта свобода была отделена от человека, пытался ли бы он бороться против подавляющих ее ограничений, стремился ли бы он столь усердно к освобождению от разных проявлений принуждения, от порабощения? Спрашивается, предпринимал ли бы он вообще различные действия, руководствуясь лишь собственным умом, своей жадой? На основе выше сказанного можно констатировать факт, что свобода – на этот раз безо всяких дополнительных определений – является просто сутью нашего существования, бытия любой индивидуальной человеческой единицы.

Гроссмановскую идентичность свободы и бытия человека по отношению к лишь декларативным и неоднократно противоречивым высказываниям и мыслям Ивана Григорьевича подтверждают, как можно полагать, переживания людей, подвергнувшихся репрессиям, находящихся в неволе, страдающих от жестоких лагерных условий, либо попросту подчиненных воле других, чужих, врагов. Именно тогда осознают они существование своей внутренней свободы, к которой никто не имеет доступа, и которой, пока они живы, никто у них не может отнять. Ограничение физической свободы не только не ограничивает проявлений духовной свободы заключенного, но парадоксально ее усиливает, расширяет ее диапазон. Так, ограниченное пространство тюремной или лагерной камеры, как и необъятная территория колымской тайги, в одинаковой степени усиливают, конденсируют духовные потенции человека. Пространственная антиномия в условиях тоталитаризма является иллюзорной; везде можно сохранить духовную независимость, физическую «несвободу» побороть духовной независимостью. Таковую же парадоксальную ситуацию, в которой традиционные понятия, определяющие оппозицию «свобода – несвобода», подвергаются переоценке, представил А. Солженицын в романе *В круге первом*. Ее автобиографическое объяснение приведено в интервью, проведенном Дзоцефом Пирсом, автором биографии писателя, в котором читаем: «После долгих лет сплошных мучений в тюремных камерах и лагерях [Солженицын – П. Г.] осознал, насколько весомую роль в дальнейшей жизни и личностном развитии сыграли арест и ссылки. Он, как ни странно, научился некоторой благодарности за ГУЛАГ, подчеркнув, что, наряду с военной службой, столь же важным событием в его жизни были аресты. В своих размышлениях он даже пришел к выводу, что это второй, самый «знаменательный момент в его жизни». Объяснил он это следующим образом: «Оказался переломным (момент – П. Г.), так как предоставил мне возможность всестороннего осмотра советской действительности, в отличие от однобокой оценки, которой я придерживался до ареста». Солженицын неоднократно повторял, что самой великой потерей, которую он понес в молодости, было угасание привитого ему в детстве «христианского духа». «Охватывает меня ужас от мысли, какой пустой оказалась бы моя жизнь, если бы не арестовали меня. Тюрьма мне все вернула» (Pearce 2004, с. 63). И далее его размышления на повторяемую

⁴ Слова являются результатом его рефлексии над рассказом Мордана, также бывшего зека, осужденного по 58-ой статье в 1936 году.

до бесконечности формулировку ГУЛАГа, относительно личных данных: «Фамилия! ... Я Звездный скиталец! Мое тело в оковах, но душа – им не подчиняется» (Pearce 2004, с. 77). Похоже, и на страницах повести Гроссмана мы можем найти людей, парадоксально свободных в неволе, и поработанных на свободе. Сосед Ивана Григорьевича по лагерным нарам, царский генерал артиллерии решительно заявляет: «Никуда я из лагеря не пойду – тепло, люди знакомые, кто даст сахару кусок, кто из посылки пирожка» (Гроссман 1989, с. 59). Для таких стариков, с которыми Ивану Григорьевичу доводилось встречаться неоднократно, лагерь стал семейным домом. Это не только эффект неприспособленности к новой советской действительности, к непонятным и трагическим реалиям общественно-политической и экономической жизни, но это также сознание, что за колючей проволокой лагерей или другой – недостижимой по территориальным соображениям – границей, могли они безопасно хранить «в обызвествленных глубинах своих сердец воспоминание о сиянии царскосельских люстр, о зимнем солнце Ниццы; другие помнили Менделеева, приходившего по-соседски пить чай в их семью, молодого Блока, вспоминали Скрябина и Репина; третьи хранили во все еще теплом пепле память о Плеханове, Гершуни, Тригони, о друзьях великого Желябова» (Гроссман 1989, с. 59). Лагерь, как ни парадоксально, явится здесь единственно возможным в условиях тоталитарной системы анклавом свободы. Когда Жан Поль Сартр пишет, что никогда не чувствовал себя более свободным, чем когда он был во время немецкой оккупации заперт в лагере для военнопленных, то также следует понимать, что, хоть физически человека поработить очень легко, но, пока он жив, внутренне человек всегда может оставаться свободным⁵

С другой стороны, герой парадоксально испытывает иную ситуацию: «Живя в лагере, Иван Григорьевич постоянно видел естественное стремление людей вырваться за проволоку. Вернуться к женам и детям. Но на воле он иногда встречал отпущенных из лагеря людей. Их покорное лицемерие, их страх перед собственной мыслью, их ужас перед новым арестом были так всеобъемлюще велики, что эти люди казались прочней арестованными, чем в пору принуд.работ» (Гроссман 1989, с. 65). Но и в ситуации трагической беспомощности, невозможности спасти Анну Сергеевну, он также находит некоторое облегчение, утешение в боли, вспоминая проведенные в тюрьмах и лагерях годы.

Примечательно, что Гроссман, певец и сторонник свободы, популяризирует свои взгляды с помощью своеобразного литературного антитезиса. Веслава Ольбрых заключает, что «в мире Гроссмана свободы нет и быть не может. Постоянно повторяющимся мотивом в очередных главах дилогии *Жизнь и судьба* является ироническая, зловеще и трагически звучащая фраза «у нас зря не сажают» (Olbrych 2004, с. 193). В дальнейшем В. Ольбрых утверждает, что в повести *Все течет* ни разу не встречается одна из наиболее характерных, вбивающихся в память фраз дилогии: «у нас невинных не сажают». Таким образом, стоит заметить, что синонимическая фраза-лозунг «зря не сажают» будет все-таки вновь призвана Гроссманом в этом произведении и, к тому же, в важный момент раздумий главного героя с соседями по лагерным нарам (Гроссман 1989, с. 64).

Как уже упомянуто, в гроссмановской галерее персонажей мы сможем найти лишь немногих из тех, кто не подвергся бы деградирующему нажиму супертеррора, ярких противников тоталитарных порядков, людей, поплатившихся за это собственной жизнью. В выборе-конфликте между свободой и безопасностью преобладающее большинство его

⁵ Сартр никогда не отрицал существования лагерей. В одном из своих комментариев даже отважно признавал, что в советских лагерях находится около 10 миллионов людей. И, не смотря на это, никогда не решился официально осудить СССР. Правда, он никогда не являлся членом ФКП, но особенно сблизился с ней в годы 1952-53 – апогея послевоенного сталинского террора. Навсегда останется тайной души Сартра, как экзистенциалист, для которого высшей ценностью являлись человек и его свобода, мог признавать существование лагерей и в то же время поддерживать СССР.

персонажей отказывается от свободы в обмен на гарантию безопасности, и так поступают неоднократно в отнюдь не крайнем положении. Американский психолог Абрахам Харольд Маслоу, автор иерархической концепции структуры потребностей, своеобразно обосновал эту литературную визию, подчеркивая, что: «нужды в безопасности могут стать в общественной жизни крайне необходимыми, если только окажутся под угрозой закон, правопорядок или власть. Можно надеяться, что в случае большинства людей угроза хаоса или нигилизма повлечет за собой регрессию от всяких высших потребностей к более доминирующим нуждам в безопасности. Очень распространенной, чуть ли не ожидаемой реакцией является (тогда - П.Г.) легкое одобрение диктатуры или военного закона». И хотя в условиях тотально порабощенного общества любой выбор обременен трагизмом, но, согласно с Гроссмановским уравнением, жизнь сама по себе является высшей ценностью.

В философии две категории, два процесса извечно чуть ли не сакральны: правда и ее поиски, а также свобода и забота о ней. Философ, или кто-то философствующий, должен иметь хотя бы в некоторой степени представленную проблему свободы, должен постоянно припоминать о ее значении в жизни отдельного человека и общества, помогать ее в случае угрозы или ограничения. Творчество Гроссмана, особенно его прощальную повесть, пронизывает простая, но великая, авторская идея: «жизнь – это свобода». В своей «доморощенной» концепции писатель, опираясь на здравое суждение о мире, жизненный опыт, интуитивно разгадывал идею свободы, нередко в ее наиболее тонком, парадоксальном проявлении. Это позволяет назвать автора повести «*Все течет*» философом свободы.

Литература

- БОЧАРОВ, А., 1990. *Василий Гроссман. Жизнь. Творчество. Судьба*. Москва: Советский писатель.
- PIETRZYCKA-BOHOSIEWICZ, K., 1996. *Wasilij Grossman. W poszukiwaniu prawdy*, B: Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, ред. L. Suchanek. Kraków: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN.
- ГРОССМАН, В., 1990. *Жизнь и судьба*. Москва: Высшая школа.
- OLBRYCH, W., 2004. *Wasilij Grossman. Dramat humanisty w świecie cywilizacji totalitarnej*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
- COPLESTON, F., 2006. *Historia filozofii. Od Maine de Birana do Sartre'a*, т. 9, przekł. B. Chwedeńczuk. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX.
- ГРОССМАН, В., 1989. *Все течет. Октябрь*, № 6.
- KARTEZJUSZ, 2005. *Medytacje o filozofii pierwszej*, przekł. Jan Hartman, Kraków.
- PEARCE, J., 2004. *Sołżenicyn. Dusza na wygnaniu*, przekł. W. Fladziński. Warszawa: Prószyński i S-ka.
- MASLOW, A., 2006, *Motywacja i osobowość*, przekł. J. Radzki. Warszawa: PWN.

Piotr Gancarz

Slupsk Institute , Poland

PARADOXES OF FREEDOM IN W. GROSSMAN'S *FLOWING ALL OVER*

Summary

The article considers freedom as a fundamental category in the system of W. Grossman's philosophical and literary views. The author analyses one of the writer's latest stories which sums up his quest of moral and artistic values. W. Grossman's understanding of freedom which is derived from "the philosophy of sound judgments" is dealt with in the context of common philosophical legacy.

KEY WORDS: category of freedom, personal freedom, philosophical understanding of freedom, life-freedom.

Izolda Genienė

Vilnius Pedagogical University
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, Lietuva
e-mail: gen.i@vpu.lt

INTERTEXTUALITY: THE TRADITIONAL AND POSTMODERNIST VIEWS

The present paper deals with the problem of meaning, influences and imitations in the traditional literary trends and movements (Romantic, realist, modernist) and the differences in the treatment of meaning in poststructuralist and postmodernist theories of intertextuality. Intertextuality is closely linked with imitation and influence which are connected with controversial epistemological and psychological approaches to the understanding of textual meaning, textuality and the appearance of simulacra.

KEY WORDS: *intertextuality, textuality, dialogism, heteroglosia, origin, imitation, simulacrum.*

The traditional notion of intertextuality imitations and influences

The idea of texts imitating each other, quoting and borrowing from one another, has been discussed since ancient times, and was traditionally understood as learning from their predecessors and adopting their technique. Horace counselled writers to follow tradition, Longinus considered imitation to be sublime. In the fourth century imitation and influence were also understood as power which earlier writers passed on as tradition. This kind of thinking persisted from the Medieval Ages up to the eighteenth century. The American literary theorist H. R. Elam, writing about imitation and influence (NPEPP 1993, p. 605) points out that already Romantics began to re-read earlier critical texts in terms of struggle between learning and imitation on the one hand, and between the sublime and the original power of genius, on the other. R. Haven in *Imitation of Milton in English Poetry* (1922) “traces the eighteenth and nineteenth centuries indebtedness to Milton by meticulous inventory of repetitions and echoes of Milton’s style. Haven refers, for instance, to Wordsworth’s poems about Milton as well as to his conscious stylistic borrowings from Milton, including his lofty diction and “organ tone” (quoted from Elam 1997, p. 605).

A good illustration of Milton’s influence on Wordsworth is the poem *London* (1802), where the poet addresses Milton not as the author of *Paradise Lost* but as a champion of liberty calling for free speech during Cromwell’s dictatorship. Following the poet’s elevated style and diction, Wordsworth yearns to revive the Miltonian tradition and power:

*Milton! Thou shouldst be living at this hour,
England has need of thee; she is a fen
Of stagnant waters: altar, sword, and pen,
Fireside, the heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness.*

Long ago established influences and re-echoing among texts in the world of literature were multiple, complicated, explicit and implicit. The traditional criticism works at all levels of a literary work – at the genre, character, theme, and situation level as well as at the linguistic level of cited collocations and utterances. Some literary characters have become metonymies (cases of antonomasia) and symbols for human properties: Don Juan and Don Quixote travel internationally through literatures and cultures and have become common names even in the everyday language communication. The users of language often forget about the origin of such names – fictional or real. Servant’s as the author of *Don Quixote* is well known but who cares, except academics, who or what were the precursors of this novel and story! A writer(creator) of

a literary work has a wide range of images or sources to choose from and draws on facts from life, history, literature, culture and, above all, from imagination.

H. R. Elam outlines the following agents and features determining the traditional notion of imitation and influence: 1) the earlier poet is a “source”, a foundation not open to question; 2) imitation and influence may be conscious and explicit; 3) imitation and influence establish links with philosophy and psychoanalysis; 4) imitation is powerful and beneficial as it holds the promise of further investigation. On the one hand, these thoughts on influence rest on the traditional view of literary history and criticism based on a stable context with determinate cause and effect relations: literary connections are considered to have a definite origin – straightforward, determinable and chronological (NPEPP, p. 605). Such an approach holds the view of the definiteness, stability and identity of the author and the autonomy of the text. On the other hand, philosophy and psychoanalysis go beyond the textual relations to the perception of the origin and changeability of human, historical and cultural contexts.

The traditional view on intertextual links has been referred to as ‘relationship’ or ‘influences’ or even imitations of texts. Works of literature are built from systems, codes and traditions established by previous works of literature. The act of writing and reading plunges us into a network of textual relations.

The Poststructuralist and Postmodernist Concept of Intertextuality

The term textuality (“texts speak among themselves”) has emerged as key concepts of poststructuralism and postmodernism. The terms were introduced in opposition to the traditional formalist and structuralist understanding that relations between texts can be considered as direct and determined. The term ‘intertextuality’ derived from the Latin “intertexto” which means “intermingling while wearing”. (The term ‘texture’ metaphorically signifies the palpable, tangible details inscribed in the poetic text; see Elam, NPHPT 1994).

The Poststructuralist notion of intertextuality emerged in the late 1960s in the wakening of new developments in human sciences and technology and in the context of turbulent social and political movements. Quite a number of Western, especially French, and avant-gardism, mostly leftist, intellectuals were trying to apply theories and methodologies of various sciences to study literature and language.

Adolphe Haberer writes that it was a heyday of theorists, the years of transition from Structuralism to Post structuralism (not clearly distinguished from what later came to be known as Postmodernism) with also Jacques Derrida, Louis Althusser, Michael Foucault all at work when all forms of authority were challenged (and sometimes equated) – the Government, de Gaulle, God, tradition, capitalism, reason, the reigning doxa, the Establishment, the Author, the Sorbonne mandarins, the police, etc. (Derrida 2007, p. 56-57).

This period was marked by fast-developing post-Saussurean linguistics (Roman Jakobson, Emil Benveniste), post-Freudian psychoanalysis (Jacques Lacan), anthropology (Claude Lévi Strauss), semiotics (Roland Barthes, A. J. Germans).

Graham Allen writes, that the basis upon which many approaches to intertextuality are developed takes us back to Saussure’s notion of the differential sign. “The linguistic sign is, after Saussure, a non-unitary, non-stable, relational unit the understanding of which leads us out into the vast network of relations of similarity and difference, which constitutes the synchronic system of language. If this is true of linguistic signs in general, then, as many structuralisms after Saussure have argued, it is doubly true of the literary sign. Authors of literary works do not just select words from a language system, they select plots, generic features, aspects of character, images, ways of narrating, even phrases and sentences from previous literary texts and from the literary tradition. If we imagine the literary tradition as a synchronic system itself, then the literary author becomes a figure working with at least two systems, those of language in general and the literary system in particular. As Barthes and others have argued, even apparently

'realist' texts generate their meaning out of their relation to literary and cultural systems, rather than out of any direct representation of the physical world" (Barthes 2000, p. 12-13). The Further development of this theory in post-Saussurean linguistics denied the meaning of the sign created by the duality of the signifier and the signified: the notion of meaning as something stable was replaced by the monistic role of a sliding, shifting signifier. Meaning could no longer be viewed as a finished product; it was conceived in the process of production, "in the making", in a constant flux.

The Poststructuralist notion of intertextuality is associated with the name of Julia Kristeva, who introduced the term in 1967 in her article 'Bakhtine, le mot, le dialogue, le roman'.

In fact, Bakhtinian theory of dialogicity pre-dated the Poststructuralist and Postmodernist theory of intertextuality. Bakhtin has modified the Saussurean idea of unity of interaction between the signifier and signified. Though Saussure also, questioned the direct relationship between the signifier and the signified, and postulated the arbitrariness of their relationship, however, it was the duality of the linguistic sign that, according to him, ensured meaning of words. Bakhtin maintained that each word faces an anti-word, and has only a fleeting stability. (Piegl-Gro 2007, p. 12-14).

For Bakhtin, in opposition to Saussure, language - speech represents a unity an interaction and manifestation of verbal faculties. The scholar maintains that abstract linguistics of Saussure strips language of its dialogic nature which includes ideological, social and subject-addressed aspects (Bakhtin/Volosinov 1986, p. 95) and loses sight of the social specificity of language and confines it to something as abstract as a lexicon or a dictionary. Simon Dentith, a recent scholar of Bakhtin, writes, that "Dictionaries are the graveyards of language" (Bakhtin 1995, p. 24; in Allen 2000, p. 18). Literature, too, is of a dialogical character. Dialogism does not literally mean the dialogues between characters. Every character in the dialogic novel has specific features and in some senses unique personality, which involves that character's world-view, typical mode of speech, ideological social positioning (Bakhtin 1984, p. 53; Allen 2000, p. 19-30). According to Kristeva, Bakhtin has created a dynamic model of textual analysis (op. cit. p. 438-465; see also Melnikova 2006, p. 307).

It must be acknowledged that the language philosopher Derrida's theory of deconstruction was also one of main precursors of intertextuality. It was brought to America in the 1960s and was firmly established and further developed in the collective Yale manifesto *Deconstruction and Criticism* (1979) by Paul de Man and other theorists. Stating that there is no stability between the signifier and the signified, the deconstructivists (as did later intertextualists) denied the unity of a literary work and postulated its self-subversion and self-deconstruction.

Thus intertextuality is a text's dependence on prior words, concepts, connotations, codes, conventions, unconscious practices and texts. Every text is an intertext that borrows, knowingly or not, from the immense archives of previous culture.

Barthes remains one of the most articulate of all writers on the concept of intertextuality (op.cit. p. 61). Barthes views the problem in differences between text and work which he treats as the signifier and the signified in terms of stability and security. Distinguishing between text and work (as the signifier and the signified), Barthes asserts that work is a finished computable object which can occupy a physical space, whereas text is a methodological field. The initial physical space of the imitation or an influenced work tries to grasp the transcendental feature of its predecessor. Though potentially unleashed in some works, the text is in no sense the property of those works. A work is held in the hand, the text in language ('Theory of the Text' 1981, p. 39). Barthes here combines Kristeva's, Bakhtin's and, partly, Derrida's views. He considers the text radically plural. Plural not only in the sense of ambiguity, but in terms of its accomplishment of "the very plural of meaning" (Barthes 1977, p. 159). To have several meanings is merely to exhibit an ambiguity, when each meaning involved in the ambiguity is identifiable. The plural meaning of the text involves the play of the signifiers, always leading on

to other the signifiers, and the 'trace' (Derrida's term) of the signifying chains which disrupt and infinitely defer the meaning of each signifier. The Derridean theory of deconstruction is closely connected with the intertextuality. In a discourse, states Derrida, a sign bears the trace of those words which precede or follow it in a sentence so that its meaning is not self-contained and has no metaphysical presence. The meaning of the word is always on the move because it is always somewhere else. 'In absence of the transcendental signified extends the domain of signification indefinitely' (In *Critical Theory* 1989, p. 85). A conclusion can be drawn that an infinite play of signs is inherent to a permanent creative process, whose condition and the result of existence in intertextuality. Thus the recognition of intertextuality recognizes, ipso facto, the creation and recreation of a chain of new meanings and images which by the way of constant traces and imitation of the former signifiers creates new metaphors and metonymies, new meanings and images. The primary image is subverted and deconstructed. James Engell writes (in *NPEPP*, p. 573) that already the theory of structuralism has offered affinities with the imaginative, intellectual reconstruction of reality, the creation of 'the simulacrum'. Thus simulacrum is not an imitation of reality – it acquires the role of substitution of reality, if even ameliorated or distorted.

Derrida states that on cognition is hidden in the tension of truth and untruth, and that the simulacrum is a deconstructed sign. For example, he states that a woman cannot be described in forms of cognition. There is no truth about the woman, because the bottomless repudiation and reversion of truth about her, this 'un-truth', is, in fact, the truth. The woman is the name of this un-truth of the truth. (Derrida in Kerimov 1996, p. 375).

A simulacrum should not be mixed with an imitation (copy). Plato believed that the truth should be objective, whereas the poststructuralists maintained that the truth is created only in the discourse. It (the simulacrum of truth) fully emancipates itself from the referent. The truth, states Derrida, strips itself into a plural forms of nakedness, and reaches the human only in one of dimensions of its discursive practice (Derrida, in Kerimov 1996, p. 379).

In the chain and play of signification and the flow of discourse, the fluctuating meaning is found in 'a go-between' traces of earlier signifieds (words, utterances, in the changeable masks and roles of characters). Derrida together with other poststructuralists has worked out an unlinear, multidimensional way of philosophizing about literature and culture, which is in a constant flux and change, and is apt to create imitations and simulacra.

The problem of intertextuality involves the discussion about textual origin. Poststructuralist critics suggest that the absence of the textual origin, which punctuates a history of texts, is stretching from Plato to the present. The philosopher Giambattista Vico (1668-1744) asks how human beings first began to think humanly. The text dealing with the origins enacts the problematic for which it seeks to account. Vico's response to the question it poses is that thought begins in metaphor. The first human beings begin to think humanly when, in response to fear they create the world out of themselves and assign the names of gods to it. This is the 'imaginative metaphysics' born of ignorance and fear and needing no authority other than its own creation. Vico traces later 'rational metaphysics' which emphasizes learning and which he describes as a fall from the first. The Rational metaphysics recognizes the tropological nature of those origins and the groundlessness of all understanding (PHPT, Elam 1994, p.132). The Poststructuralists understand intertextuality as a changeable context in the flow of production of texts, i.e. a process of play of the signifiers bearing traces of earlier signifieds without any identifiable etymology.

The theorist Harold Bloom (1975) referring to Vico, agrees that origins can be imagined and they create an allusion of originality. This results in the metaleptic process of self-begetting, where the effect becomes more important than the cause. Speaking in philosophical terms of Nietzsche's 'forgetting' (and Freud's 'repression') leads away from the world of real causes and events into the area of 'phantasy'. The forgetting of earlier sources annihilates hypothetically the original meaning, and the creation of simulacra is focused only on 'surface' imitation of objects.

The result of 'forgetting' - imitations and influences - should be distinguished from simulacra. The first approach is based on the original work by the 'paternal' image trying to retain its metaphorical spiritual essence, whereas simulacra tries to substitute the artificial, false for the paternal 'original' images. (e.g. The use of traditional cultural images, the Sphinx, or the Eiffel Tower, for merely entertainment at places such as Disney World or Las Vegas casinos), neglecting and losing the transcendental, metaphysical gist of the influencing objects.

The French historian and philosopher Gilles Deleuze defines a simulacrum as a sign which denies both the original (thing) and the copy (imitation), bearing resemblance/identity with each other. Simulacrum is a sign, a mask, behind which there is one more and one more mask, and which are all in constant decentred wandering circle (Deleuze 1993, p.55). According to Deleuze, modernity lives in the world of simulacra.

The conception of Jean Baudrillard is even more radical – he rejects any correspondence between the sign and reality: reality is devoured by unreality (Baudrillard 1992, p. 67).

Postmodernist literature metaphorically presents the condition of people living in the world of simulacra. The Extreme postmodernist writers only metaphorically transposed the reader into a desert of unreality. The writers felt that simple realism was no longer an up-to-date way in which to write. For example, Raymond Carver's bizarre situation in his *Cathedral* (1983) speaks of simulations and substitutions of reality. In the story, a blind man, helped by his former girl-friend (now a married woman), 'watches' a TV programme about famous cathedrals and gets interested in the frescoes, statues and the interiors. Seeing, nothing in fact he creates a simulation of images in his mind. The visual blindness corresponds to the narrator's (the host's) 'mental blindness', showing his lack of knowledge and inability to say anything informative about the cathedrals. What they talk about is a simulation of truth which precedes and replaces the reality, because both onlookers do not understand what they see, as, in fact, it is only a desert of truth. (The term of *desert of truth* was used by Baudrillard in his metaphor of map; the map simulates only itself, because it is only a substitution for territory (Baudrillard 2002, p. 13; in Žukauskaitė 2006, p. 7)).

Postmodernist writing in Anglophone literature seems to be approaching the end of its existence. The Meso-Modern condition, having lasted for about fifty years, has raised very controversial critical attitudes concerning very talented works to flatness of meaningless language games. The productive feature of the poststructuralist and postmodernist movement, however, is that it invigorated discussions round theory, reason and scepticism, reality and imagination promising a fruitful further debate.

References

- ALLEN, G., 2005. Intertextuality. London and New York, Routledge.
BAKHTIN, M., 1984. Problems of Dostoyevsky's Poetics. Minneapolis.
BEAUDRILLARD, J., 1992. The Illusion of the End. Stanford University Press, Stanford, California.
BUTLER, Ch., 2002. Postmodernism. Oxford.
DERRIDA, J., 1989. Structure, Sign and Play in the Course of Human Sciences. *Critical Theory Since 1965*. University Press of Florida.
ELAM, H. R., 1993. Imitation. In: *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton.
ELAM, H. R., 1994. Textuality, *The New Princeton Handbook of Poetic Terms*, Princeton.
HABER, A., 2007. Intertextuality in Theory and Practice. *Literatūra*, 49(5). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 54.
KERIMOV, T., 1996. Simulacrum. *Filosovsĵij slovar*, (Russ.), Moscow.
PJEGE-GRO, N., 2007. Vvedenije v teoriju intertekstualnosti. Moscow.

Izolda Genienė

Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva

INTERTEKSTUALUMAS: TRADICINIAI IR POSTMODERNISTINIAI POŽIŪRIAI
Santrauka

Straipsnyje apžvelgiami reikšmės, imitacijos, literatūriniai įtakų klausimai aukštesnėse tradicinėse retorikos teorijose ir poststruktūralizmo bei postmodernizmo srovėse, kurios išsigalėjo po praeito šimtmečio 60-ųjų metų. Šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas poststruktūralizmo ir postmodernizmo kryptims, išskėlusioms intertekstualumą kaip vieną svarbiausių literatūros interpretacijos ir kritikos reiškinių. Reikšmės analizės centras – signifikanto ir signifikato santykiai, kuriuos po F. Sosiuro įvairiai traktavo ir plėtojo M. Bachtinas, J. Kristeva, J. Derrida ir kiti literatūros ir filosofijos teoretikai. Straipsnyje dėmesys telkiamas į ženklo reikšmės nepastovumą ir nuolatinę kaitą kaip į vieną iš pagrindinių kūrinio interpretacijos savybių, sąlygojančių kūrinio interpretaciją. Intertekstualumo teorija siejama su simuliakro sąvoka.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: intertekstualumas, tekstualumas, dialogiškumas, heteroglosia, kilmė, imitacija, simuliakras.

Агнешка Голубиовска-Сухорска

Университет Казимира Великого в Быдгоще

ul. Grabowa 2-85, Bydgoszcz, Polska

e-mail: a.golebiowska@suchorscy.pl

НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В СОВРЕМЕННОМ АНЕКДОТЕ

Цель исследования состоит в выявлении способов реализации прецедентных сказочных высказываний в русскоязычных анекдотах. Материалом исследования послужили найденные в Рунете и содержащие прецедентные высказывания анекдоты. В качестве объекта изучения взяты прецедентные высказывания из сказок как одной из составляющих национально-культурной специфики русскоязычного фольклорного дискурса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анекдот, сказка, прецедентный феномен, постфольклор, городской фольклор, комизм, текстовая реминисценция, варьирование семантики, буквальность, многозначность

Проблема межтекстовых взаимодействий привлекала внимание исследователей из разных областей науки. Первым автором, применившим термин "интертекстуальность" (от лат. *intertexto* – вплетать в ткань) для описания феномена межтекстовых отношений была Ю. Кристева (Спиридовский 2006, с. 161). В 1986 г. Ю. Н. Караулов ввел в научный обиход понятие *прецедентный текст*, обозначая им частный и наиболее яркий случай интертекстуальности (Караулов 1986, с. 105-126). В настоящее время проблема прецедентного феномена активно разрабатывается прежде всего в рамках лингвокогнитивного подхода (Гудков 1999, 2003; Красных 1997, 2002). Одновременно существует ряд работ, в которых рассматриваемое явление выступает под другим названием. Например, А. Е. Супрун и Г. Г. Слышкин анализируют так называемые текстовые реминисценции (Супрун 1995, Слышкин 2000). С точки зрения теории интертекстуальности явления, близкие феномену прецедентности, изучали, например, С. В. Гусева (Гусева 2004) и А. В. Кремнева (Кремнева 1999). Традиционная фольклористика, как замечает К. А. Богданов, «пока еще пасует перед «фольклорной действительностью» «прецедентных» текстов современной нам повседневности» (Богданов 2008). Фольклористами, среди прочего, разрабатывался и такой тип интертекстуальных отношений в традиционном фольклоре как пародирование. Например, Б. Путилов анализировал случаи комического имитирования былин из сборника исторических песен Кирши Данилова (Путилов 2003, с. 225-236). Пародии выражали явно ироническое, скептическое отношение к классической эпике. Прецедентные феномены в области современных фольклорных текстов привлекали внимание прежде всего лингвистов. Г. Г. Слышкин в монографии «От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе» изложил результаты исследования текстовых реминисценций на материале русского городского смехового фольклора, предполагая, что «прецедентные тексты – это пародируемые и высмеиваемые тексты» (Слышкин 2000, с. 53). Виды интертекстуальных отсылок в жанре комического дискурса, на материале современного анекдота, исследовали также языковеды Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев (Шмелева, Шмелев 2005, 2006). В данной статье на материале сетевых анекдотов будут рассматриваться особенности реализации прецедентных феноменов из русских народных сказок. Орфография и грамматика всех приведенных текстов анекдотов сохраняются в таком виде, в каком они были опубликованы на веб-страницах.

Под прецедентными текстами понимаются общеизвестные устойчивые и узуальные выражения, составляющие компонент культуры народа. Это хранители общеизвестных знаний, представлений и мнений. Будучи семиотически и психологически

значимыми, они соединяют прошлое и настоящее, пробуждают в сознании адресата процесс узнавания закодированного за прецедентным текстом смысла. Прецедентные тексты постоянно воспроизводятся, а их знание предполагается само собой разумеющимся. По мнению Ю. Н. Караулова, состав корпуса русских текстов такого типа формируется в основном из авторских и фольклорных произведений, из русской, советской и мировой классики (Караулов 1987, с. 106). Сказочные прецедентные феномены причисляются к феноменам, определяемым как национально-прецедентные, т.е. передающие особенности мировосприятия, культуры, характера народа. Они известны любому представителю определенного лингвокультурного сообщества и составляют немалую группу претекстов. Большое количество отсылок к сказкам, как можно предполагать, обусловлено многократным чтением или просмотром текста сказки и высокой дидактической значимостью текстов для воспитания детей. Сказка, как проявление народной культуры, содержит в себе свойственные для каждого этноса сюжеты, образы и ситуации, что находит выражение в именах действующих лиц, названиях животных и растений, месте действия, в самобытных традиционных языковых формах. Как замечает В. В. Химик, «в традиционном русском фольклоре нет прямого аналога классического анекдота, но, несомненно, есть его жанровые и содержательные предшественники. Это бытовая сказка с ее типовыми композиционными моделями, характерными персонажами и сатирическими мотивами, бывальщина - устный рассказ о достоверных событиях из опыта говорящего, (...) байка - не всегда правдоподобная, но занятная, забавная история с определенным сюжетом». Это также, по всей вероятности, частушка и народный театр (Химик 2002, с. 17). Раньше анекдоты передавались из уст в уста или фиксировались в записных книжках, письмах, дневниках. В оценке Е. Курганова, тогда «циркулировал анекдот весьма активно, но было много всяческих препон, которые сдерживали, затрудняли необыкновенную мобильность жанра. И только теперь, благодаря Интернету, доступ к анекдоту необычайно ускорился и упростился. Характер распространения анекдотов наконец-то стал соответствовать природе жанра» (Курганов 2001, с. 9).

Прецедентные феномены функционируют и актуализируются в тексте в виде различных реминисценций, служащих средством апелляции к общеизвестным концептам. Д. Б. Гудков (Гудков 1998, с. 82) выделил четыре типа прецедентных феноменов: прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентная ситуация. Г. Г. Слышкин, в свою очередь, назвал пять основных инструментов интертекстуальности. Как виды обращения к претексту он выделил: упоминание, прямую цитацию, квазичитацию, аллюзию и продолжение (Слышкин 2000, с. 38). Также в современных русских анекдотах исследователи Е. Я. и А. Д. Шмелевы выделили четыре типа интертекстуальных отсылок: цитаты (в том числе видоизмененные), «точечные отсылки», отсылки к сюжетному ходу или мотиву и отсылки к невербальным семиотическим объектам (Шмелева, Шмелев 2006). Учитывая отсутствие единой классификации интертекстуальных отношений, нам приходится опираться на все перечисленные типологии.

Минимальным фрагментом сказочного претекста, который может включаться в текст анекдота, является, по типологии Е. Я. и А. Д. Шмелевых, «точечная отсылка», т.е. одно слово, которым чаще всего являются имена собственные персонажей сказки. Использование «точечной отсылки» сопровождается обычно и другими отсылками к первоисточнику, например к свойствам персонажа, деталям его внешнего облика, языковой маске. За каждым прецедентным именем стоит своя уникальная система ассоциаций, вызываемых этим именем в сознании носителей языка. Большой популярностью пользуются анекдоты с отсылкой к внешнему виду персонажа сказки. Например, прецедентное имя заглавного героя народной сказки **Колобок** (*Народные...* 1984, № 36) апеллирует в анекдотах-реципиентах к его особому телосложению, т.е. к

форме небольшого круглого хлебца. В фокусе внимания оказывается шаровидность героя, следствием которой является отсутствие конечностей, а также выделенных шеи и туловища. Смеховой эффект достигается выбором ситуаций, в которых названные части тела необходимы:

- *Едет Колобок на Мерседесе от бабушки с бабушкой.*
- *Постой, но ведь у него ни рук, ни ног нет. Чем же он управляет?*
- *Да хрен его знает. Ну, допустим - банком...*

Колобок вышел из бани, а голову помыть забыл.

Комический эффект создается также путём сопоставления шаровидного Колобка с объектами, сходными по форме, но связанными с современным культурным контекстом:

Апельсин – это Колобок с целлюлитом!

А ведь первый смайл - это колобок!

Под коннотацией прецедентного имени **Горыныч** понимаются дистинктивные черты представителя злого начала в русских былинах и сказках, вбирающего в себя и сходные образы Змея Тугарина, Огненного Змея, просто Змея (напр.: *Народные...* 1985, № 271; 1984, № 125). Горыныч – это дракон с 3, 6, 9 или 12 головами. В анекдотах о нём чаще всего обыгрывается тема количества голов, а вследствие этого также языков. Комизм заключается, например, в варьировании семантики прецедентного текста путём актуализации двойного смысла слов. В контексте анекдота первичный смысл слова *язык*, т.е. 'орган, участвующий в образовании звуков речи', пересекается со значением 'система словесного выражения мыслей на данном языке', благодаря чему Горыныч оказывается полиглотом:

- *Сколькими языками владеете?*
- *Тремя.*
- *Фамилия?*
- *Горыныч.*

Подъехал Илья Муромец к камню, прочитал на нем надпись и заплакал. Ибо было там начертано: "Здесь покоится Змей Горыныч. Он был рожден, чтобы летать, имел пламенное сердце и, к тому же, владел тремя языками".

Во втором анекдоте применяется особый приём порождения комизма - одновременная апелляция к концептам двух прецедентных текстов – сказки и быliny.

Ассоциативная связь между претекстами строится не только на приеме «точечной отсылки» в виде имен персонажей, но также на отсылке к мотиву камня на распутье дорог и на использовании синонимического значения слов *голова* и *ум*. Возможно также использование в качестве прецедентных текстов сказки и народной поговорки. Для анекдотов о Змее Горыныче продуктивной оказывается поговорка *Один ум - хорошо, а два - лучше*:

Один ум - хорошо.

А три - это уже Змей Горыныч!

«Можно было, конечно, еще поболтать» - думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца, - "но одна голова хорошо, а две лучше".

Имя **Кошья Бессмертного** является ассоциативным стимулом, оживляющим в сознании носителя русского языка образ сказочного похитителя невест. Упоминание его имени вызывает ассоциации не с внешним видом, а местонахождением кощеевой смерти. Согласно сказочному описанию, смерть Кошья спрятана на кончике иглы, находящейся в яйце, яйцо скрыто в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук висит на дубе, дуб растёт на острове. Кошья умрет только тогда, когда будет сломана эта игла. В анекдотах-реципиентах смех вызывает нетипичная для сказки причина смерти, например, острая кишечная инфекция, распространяемая посредством куриных яиц, или самоубийство Кошья, осложненное противником:

*Кошья очень боялся сальмонеллёза.
Он так и говорил: «Смерть моя в яйце!»*

*Решил Кошья Бессмертный покончить жизнь самоубийством. Узнал о том Илья-Муромец, да и спрятал Кошьево яйцо со смертью в контейнере с куриными яйцами.
Пусть помучается, Ирод поганый.*

Слишком легкая смерть для Кошья, подумал Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку... пускай колбасит.

Среди анекдотов с «точечной отсылкой» к имени и смерти Кошья преобладают тексты, в которых комический эффект основывается на приеме актуализации разных значений слова *яйцо*. Апелляция к имени Кошья актуализирует в памяти адресата сказочное значение 'птичья половая клетка, заключенная в скорлупу'. Однако контекст анекдота разрушает это представление, ставя в фокусе внимания значение 'парная мужская половая железа':

- Слышь, Кошья, в одном твоём лице собрана такая прорва гадости...
- Ты поживи с иголкой в яйце, тоже не запрыгаешь от радости...

Приходит Кошья Бессмертный к врачу. Врач:

- На что жалуетесь?

Кошья:

- На вашего ассистента Ивана Царевича!

- За что?

- Да эта сволочь вместо диагноза "камни в почках" написал "иголка в яйцах"!

- Почему у Кошья Бессмертного не было детей?

- У него всего одно яйцо, и то за тридцать земель!

Сражается Иван Царевич с Кошьяем Бессмертным.

- Все равно ты меня не одолеешь, - кричит Кошья, - у меня смерть в яйце! Уа-а, да не в том!

В анекдотах, содержащих отсылку к мотивам или сюжету прецедентной сказки, решающую роль играет содержательное сходство элементов текста-донора и текста-реципиента. Как вид текстовой реминисценции иногда используется прием аллюзии. Заимствованный мотив присутствует в анекдоте имплицитно, т. е. отсутствует явная ссылка на источник цитирования, нет имен персонажей. Одним из объектом такого

способа высмеивания оказывается мотив превращения царевны в лягушку (*Народные...* 1985, № 267, 269):

- *А я, вот, женился недавно. На лягушке. Так вот, ударилась она оземь и обернулась прекрасной царевной.*
- *Блондинка?*
- *Ага.*
- *Красивая?*
- *Ага.*
- *Умная?*
- *Да как сказать. Слишком сильно ударилась.*

Удар о землю, который в сказках способствует снятию колдовства, в анекдоте оказывается слишком сильным и приводит к сотрясению мозга и понижению интеллектуальных способностей красавицы.

Анекдоты с отсылкой к мотиву сказочных превращений могут строиться на приеме двойной апелляции, например, к народной сказке и к современной анти-поговорке: *Жил да был Иван-царевич, была у него Царевна-лягушка. Вечером она была писаной красавицей, а утром опять превращалась в зеленую уродину. И никакого здесь чуда не было, просто к вечеру Иван-царевич так напивался!!!*

Сказочная перемена облика объясняется анти-поговоркой, согласно которой *Некрасивых женщин не бывает – бывает мало водки* (Walter., Mokienko 2002, с. 62). Новая мотивировка лишает прототип волшебства.

Прецедентный мотив может также помещаться в контекст современной культуры, в свете которого получает неожиданную, и поэтому комическую трактовку, например: **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

Куплю партию стрел класса «Земля-болото». Срочно! Иван-царевич

Типичный мотив сказок о Царевне-лягушке – женитьба царевича в результате гадания на стрелах, представляется виде объявления о покупке Иваном-царевичем военного оборудования. Столкновение двух одновременных и разнолокализованных контекстов, рассматриваемых как возможные миры, приводит к смеховому эффекту.

Рассматривая Е. Я. и А. Д. Шмелевыми цитатные отсылки в анекдотах, надо учитывать факт, что для внутрифольклорных преобразований характерна вариативность текста-донора и текста-реципиента. Как замечает Б. Путилов, «вариативность – одно из самых очевидных, ярко выраженных, постоянных качеств фольклора. (...) Парадокс фольклорной вариативности состоит в том, что хотя любой зафиксированный текст эмпирически может быть возведен к некоему своему предшественнику-,источнику», на самом деле текст этот (...) есть вариант типа, получившего (...) разнообразную вариативную реализацию» (Путилов 2003, с. 201, 203). Древний сказочник при каждом исполнении текста вольно или невольно что-то в нем менял, а следующий исполнитель по-своему передавал содержание. Сегодня категория устности не является доминирующей для фольклорной коммуникации, однако вариативность остается неизменной. Всякое произведение фольклорного творчества, в том числе традиционная сказка и сетевой анекдот, имеет множество вариантов. Поэтому под термином *цитатная отсылка* предполагается подразумевать не дословное воспроизведение языковой личностью части фольклорного претекста, а отрывок, сохранившийся в памяти цитирующего в варианте, позволяющем адресату опознать источник отсылки.

Очень продуктивным способом порождения смехового эффекта в анекдотах, воспроизводивших типичные сказочные формулы, оказывается прием рациональной интерпретации событий. Сказочного Колобка делала узнаваемым, кроме упомянутой выше внешней характеристики, также языковая маска. Благодаря песенке, в которой излагалась вся последовательность действий, вызвавших появление героя на свет,

Колобок оказывался неуязвимым и защищенным от прожорливых зверей. Песенка была по сути дела «текстом творения», который, согласно народным представлениям, сам по себе имеет магическую оберегающую силу. Добавленная к песенке просьба Колобка-героя анекдота, лишила «текст творения» магической силы. Защитить Колобка от смерти мог только его отвратительный вкус:

Сказка «Колобок»:

- Не ешь меня, медведь. Меня по сусекам мели, по амбарам скребли - короче пыль, грязь, стекло, бычки.

Смех в анекдоте с цитатной отсылкой вызывает также рациональная оценка скрытия смерти Кощея в яйце и последствий помещения утки в зайце:

Смерть Кащея в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке!

Большой частотностью отсылок характеризуется в анекдотах мотив удара о землю, который в сказках способствует превращениям (напр.: *Народные...* 1984 № 140, 1985, № № 209, 222, 236, 270). В анекдотах, вследствие рационального подхода, удар приводит к кровоизлиянию в головной мозг и потери сознания:

Вышла Василиса Прекрасная в чисто поле, взмахнула трижды руками, перевернулась через себя, ударились о землю... да тут же и померла, сердешная, от сотрясения мозга.

Вышла Василиса - прекрасная в поле.

*Три раза поклонилась,
десять раз перекувырнулась
и отключилась.*

Вышла Василиса Премудрая в поле, хлопнула в ладоши 3 раза, ударилось лбом о землю один раз, 8 раз перекувырнулась и отрубилась.

Сигналом смехового отношения в анекдотах с цитатной отсылкой является также рассудочная трактовка волшебства и чудесных явлений. Например, благодаря словам, добавленным к типичной сказочной формуле, причиной волшебства Василисы оказывается не магия, а наркотики:

Кудесница была Василиса.

*Махнет правым рукавом - озеро,
махнет левым - лебеди по озеру плывут,
махнет еще грамм 200 - начинаются галлюцинации посложнее....*

Вышла Василиса-прекрасная в чисто-поле, два раза топнула, три раза подпрыгнула, через себя перекувырнулась, ударились о землю и.....ВЫРУБИЛАСЬ! Больше не будет Василиса курить травку с Лысой горы.

Отдельную группу среди анекдотов с отсылкой к сказочным мотивам составляют тексты, *riant* которых составляет каламбур, построенный на столкновении омонимов или полисемии. Иногда анекдот повторяет верно фрагмент сказки, а сигналом смехового отношения служит многозначность слов в самом конце высказывания:

Иван-Царевич пришёл к Бабе Яге и говорит:

- *Баба Яга! Помоги мне найти Василису Прекрасную!*
- *Вот тебе, Иванушка, волшебный клубочек, завязывай с девками!*

Употребление глагола «завязывать» обусловлено появлением клубка – типичного сказочного подарка Бабы-яги, выполняющего роль оберега-путеводителя по чужому миру. Однако актуализация значения ‘устанавливать, начинать какие-либо отношения’ заменяет храброго царевича в мужчину, у которого проблемы в контактах с женщинами. Последняя строка лишает сказочный отрывок волшебного контекста.

Частым приемом создания анекдота является добавление или замена фольклорного компонента с целью лишить прецедентный отрывок того метафорического смысла, который он имеет в сказке и выявить его исходный тривиальный смысл, например:

Пришло время Царю-батюшке сыновей женить. Дал он каждому по луку со стрелой и вывел в чистое поле. Пустил стрелу старший сын. Упала стрела на княжьем дворе и женился он на княжне. Пустил стрелу средний сын. Упала стрела на боярском дворе и женился он на боярыне. Пустил стрелу младшенький Иван-дурак. Залетела стрела чёрт знает куда.

Так и женился он «по залёту».

Поводом женитьбы оказывается не судьба, а неожиданная беременность. Смеховой эффект усиливается употреблением выражения «по залёту», однокоренного с глаголом «летать», описывающим движение стрелы по воздуху.

Игра слов в следующем примере, отсылающем к сказке *Курочка (Народные...1984, № № 70, 71)*, построен на омонимии двух слов - *снести* и *яичко*:

Снесла курочка ряба дедушке яичко. Начисто!!!

Совпадение слов *снести* и *яичко* в написании при полном различии их значений выявляет добавление к типичной сказочной фразе наречия *начисто*. Благодаря ему адресат узнает, что в анекдоте курица не снесла, т.е. не отложила яйцо, а уничтожила дедушке половую железу.

Полисемия является источником комизма в следующем анекдоте:

Скакал Иван-царевич три дня и три ночи... Скакал, скакал...пока скакалку не отобрали!

Адресат легко опознает не только имя героя (в других вариантах появляется Илья Муромец), но и типичные для сказок временные категории - *три дня и три ночи*. Игра слов строится на многозначности глагола *скакать*. В сказке актуализируется смысл ‘кататься быстро вскачь на лошади’, в анекдоте же актуализируется значение ‘прыгать’. Сопоставление героя, спасающего в сказке миропорядок, с детской скакалкой, создает комический эффект.

Особый интерес представляет тип текстовой реминисценции определяемый Г. Г. Слышкиным как *продолжение* (Слышкин 2000). Основой таких отсылок является описание событий, добавленных к сюжету сказки, хронологически предшествующих или следующих после окончания текста-источника. Прецедентные феномены этого типа ярко показывают, как стереотипы массовой и популярной культуры формируют предпочтения носителей языка, приводя между прочим к сюжетным трансформациям. В анекдоте соединяются элементы сказки и потребительской культуры, например:

Испекла бабка Колобок и говорит ему:

- *Только в «Макдональдс» не ходи, а то сосиску в попу засунут.*

Возбужденный колобок, чем-то напоминает Чупа-Чупс.

«Соль» таких анекдотов составляет столкновение двух разновременных и разнолокализованных контекстов, поскольку современный фольклор - это, по словам К. Богданова, «коллаж, монтаж образов, стереотипов, формул, пришедших из различных письменных, устных, визуальных источников информации» (Богданов 2008). Ярким примером такого совмещения служат анекдоты, в которых пересекаются мир сказки с миром поп-музыки и киноискусства, например:

Катится Колобок в желудку Лисы, и вспоминает, как он там оказался:

-Ну так ласково подошла..., сказала «муси-пуси»... , «я горю я вся во вкусе»..., «я просто тебя съем», но чтобы В ЭТОМ смысле!

Понимание анекдота предполагает знание не только содержания претекста сказки, но и песни русской поп-звезды Кати Лель (2004 г.) под заглавием *Муси Пуси*. В следующем анекдоте сказка о жене-лягушке ставится в ряду комедий Александра Рогожкина из цикла *Особенности национальной ...* (1995-2003 гг.):

Вышел старший сын во чисто поле и пустил стрелу. Попала стрела к жабе. Пустил стрелу и средний сын. Попала стрела к жабе. Младший сын пустил стрелу. И опять к жабе. Смотрите на ОРТ новый фильм «Особенности национальной женитьбы».

Несмотря на смеховую направленность, такое перемещение мотива женитьбы на лягушке можно считать свидетельством понимания сказки как актуального зеркала специфики национальной культуры.

Ряд анекдотов вводит с сюжет сказки события, благодаря которым претекст выясняет явления современной действительности. Такую юмористическую трактовку можно определить как псевдоэтнологическую, например:

Оказывается, футбол придумал дедушка, который всё-таки догнал убежавшего колобка.

Однажды колобок сделал себе харакири. Так появился гамбургер.

Поймал Иван-дурак в проруби щуку. Та ему:

- Отпусти ты меня, Иван, и любое твоё желание по щучьему велению, по моему хотению будет исполнено!

Обрадовался Ванюха, кинул щуку обратно в прорубь и говорит:

- Хочу знать, не слезая с печи, все что в мире творится за лесами-загорами, за морями-окиянами. Хочу под музыку балдеть, на голых девок день и ночь пялиться, с заморскими дураками переписываться и все новые анекдоты про Царя-батюшку первому в мире узнавать!

Так Иван-дурак стал первым на Руси пользователем Интернета.

Жила-была скатерть-самобранка. Была она хоть и сварливая, но щедрая. И счастье ей улыбнулось - повсватался к ней ковер-самолет, да такой красавец - ну просто орел!

Сыграли они свадьбу и стали жить-поживать. И народилось у них много-премного маленьких дочек.

Были они беленькие - в маму, и крылатенькие - в папу. И назвали их прокладками.

Во всех случаях применения сказки в качестве прецедентного текста источником комизма служит несоответствие между первичным, известным носителю языка

содержанием прецедентного высказывания и общим смыслом анекдота. Знания, закодированные в прецедентных высказываниях, национально детерминированы, стереотипны и хорошо известны представителям русского лингвокультурного сообщества. Виртуальный смеховой дискурс подвержен либерализации, выражающейся в вульгаризации, переворачиванию, принижению или профанации определенной, культурно-обусловленной ценности. Исследователю постфольклора приходится учитывать многообразие информационных составляющих современной культуры, а также отличия источников распространения и формы рецепции прецедентных текстов по сравнению с традиционным фольклором. Универсальность фольклорной сказки составляет фон, на котором особенно наглядно предстают различия в традиционном и современном мировосприятии. Прецедентные высказывания в сетевых анекдотах отражают специфику актуальной культурной ситуации, так как в процессе своего формирования анекдоты вбирают в себя и перерабатывают не только сказочные, но все возможные прецедентные феномены. Соединение в анекдотах народной сказки и потребительской культуры свидетельствует о том, что верификации подвергаются не только традиционные ценности, но также новые, предлагаемые современным миром. Поэтому, как замечают Е. Я. и А. Д. Шмелевы, анекдот сам постепенно переходит в разряд прецедентных текстов, которые служат источником появления крылатых слов и паремий, позволяющих выражать критическое отношение к действительности (Шмелева, Шмелев 2005).

Литература

- АРХИПОВА, А.С., 2007. *Ролевые структуры детских анекдотов*, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/folklore/arhipova5.htm>, - Дата доступа: 5.12.2007 г.
- БОГДАНОВ, К. А., 2008. *Прецедентные тексты в современном фольклоре*, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov1.htm>, - Дата доступа: 07.04.2008 г.
- БРИЛЕВА И. С., ГУДКОВ, Д. Б., ЗАХАРЕНКО, И. В., КРАСНЫХ, В. В., 2004. Русское культурное пространство. *Лингвокультурологический словарь*, Москва.
- ГУДКОВ, Д. Б., 1998. Прецедентное имя в когнитивной базе современного русского языка (результаты эксперимента). *Ин. Язык, сознание, коммуникация*. Сборник статей, отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов, Вып. 4. Москва.
- ГУСЕВА, С. В., 2004. Семантика интертекстом «сильных» нелитературных текстов как отражение лингвокультурного сознания языковой личности (на материале эпистолярных текстов А.П.Чехова), *Ин: Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы*, под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Казань, с. 215-216.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н., 1986. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности. *Ин: Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ*, Москва 1986, с. 105-126.
- КОСТОМАРОВ, В. Г.; БУРВИКОВА, Н. Д. 1994. Как тексты становятся прецедентными. *Русский язык за рубежом*, 1994, № 1.
- КРАСНЫХ В. В., 1997. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации. В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, Д. Б. Багаева. *Вестник МГУ*. Сер. 9, Филология, 1997, № 3.
- КРЕМНЕВА, А. В., 1999. Функционирование библейского мифа как прецедентного текста. На материале произведений Джона Стейнбека. *Дис. ... канд. филол. наук*: 10.02.19, Барнаул.
- КУРГАНОВ, Е., 2001. *Похвальное слово анекдоту*. Санкт-Петербург.
- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах*, 1984-1985, подгот. Л. Г. Багар и Н. В. Новиков, Москва.
- НАХИМОВА, Е. А., 2007. *Прецедентные имена в массовой коммуникации*. Екатеринбург. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm>, - Дата доступа: 13.03.2008 г.
- Прецедентные имена в языковом сознании и дискурсе, 1999. *Ин: Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ*. Братислава, 1999: доклады и сообщения российских ученых, Москва.
- Теория и практика межкультурной коммуникации*, 2003. Москва.
- ПУТИЛОВ, Б. Н., 2003. Фольклор и народная культура. *Ин tetorium*, Санкт-Петербург.
- Русский язык и языковая личность*. 1987. Москва.

Русский анекдот в двадцать первом веке: трансформации речевого жанра. 2005 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/Shmelevy/Shmelevy.pdf>, - Дата доступа: 20.04.2008 г.

СЛЫШКИН, Г. Г., 2000. *От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе*, Москва.

СПИРИДОВСКИЙ, О. В., 2006. Интертекстуальность президентского дискурса в США, Германии и Австрии, *In: Политическая лингвистика*, Вып. 20, Екатеринбург, с. 161-169.

СУПРУН, А. Е., 1995. Текстовые реминисценции как языковое явление. *Вопросы языкознания*, № 6, с. 17-29.

ХИМИК, В. В., 2002. Анекдот как уникальное явление русской речевой культуры, *In: Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г.*, Санкт-Петербург, с.17-31.

ШМЕЛЕВА, Е. Я.; ШМЕЛЕВ, А. Д., 2006. Интертекстуальные фрагменты в современном русском анекдоте. *Материалы международной конференции «Диалог 2006»*, [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.dialog-1.ru/dialog2006/materials/html/Shmeleva.htm>, - Дата доступа: 20.03.2007.

WALTER, H., МОКИЕНКО, V., 2002. *Wörterbuch russischer Anti-Sprichwörter*, Greifswald.

Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. 2002, Москва.

Анекдоты найденные на сайтах:

<http://www.anekdot.ru/>
<http://www.kostyor.ru/kostyor11/umor11.html>
http://tainik.ru/anekdot_skazki_01.html
<http://anekdot.gala.net/?cat=1&offset=2>
<http://zhurnal.lib.ru/d/demonstudent/help-1.shtml>
<http://www.aneks.ru>
http://ira-zoo.narod.ru/C/pro_kolob.htm :
<http://anekdots.smeha.net/>
<http://leechers.ru/Posts/View/29457>
<http://tipok.ru/jok-cat-7-page-154.html>
<http://www.hellass.com/fairytales/>
<http://www.hellass.com/2007/04/kikimora.php>
<http://www.neemagoo.ru/anekdots1.php?list=12&team=15>
<http://anekmonstr.ru/?cat=8&paged=13>
<http://fun.deport.ru/anekdot/category14.html>
<http://www.Oka.ru/137.html>
<http://infomir.org.ua/Anekdot/?categ=27>
<http://www.mockva.ru/gate.html?name=Anekdot&go=tale>

Дата доступа ко всем ресурсам: 15.01.2007 г. - 20.04.2008 г.

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

FOLK FABLE AS A PRECEDENTIAL TEXT IN CONTEMPORARY JOKES

Summary

The purpose of the article is to present the methods of presidential texts realization existing in contemporary jokes in canonic and modified form. Among others, the effect of humor is achieved by lateralization of metaphors, phrase logical collocations, up-dating the polysemy of a presidential text, modifying the plot being the point of reference of a joke. The analysis is based on the jokes published on the Russian part of the Internet. The subject of the analysis included presidential texts from traditional Russian fables that constitute one of the elements judging the culture specific character of each nation.

KEY WORDS: joke (jest), fable, presidential text, folklore, humor, reminiscence, modification of semantics

Виктор Хрулев

Башкирский государственный университет

ул. Р. Зорге 25-6, 450059 Уфа, Башкортостан, Россия

e-mail: filolog@newmail.ru

ПОЭТИКА СНОВИДЕНИЙ В ПРОЗЕ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА (ОТ «БАРСУКОВ» К «ПИРАМИДЕ»)

Символика в прозе Л. Леонова служит инструментом художественного мышления писателя. Она помогает раскрыть тайны души, характеризует сущность персонажей, отношения внешнего и внутреннего, слова и действия. Традиции Ф. Достоевского проявляются у Л. Леонова в пристальном интересе к внутренней жизни человека, в использовании сновидений в символическом плане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леонид Леонов, поэтика, проза, сновидения.

В русской литературе существует устойчивая традиция использования снов в художественных целях. Чаще всего они выполняют несколько функций. В изобразительном плане дополняют и корректируют дневной мир персонажа, в психологическом – выявляют потаенные стороны чувств и сознания. Символическая роль их в том, чтобы указать на результаты и перспективы человеческого пути. В сюжетном плане сны могут предварять развитие событий или существенно влиять на их ход. В прозе Л. Леонова сновидения предстают тонким элементом поэтики, выявляющим одну из граней художественного мышления писателя.

I

Как реалист XX века, опирающийся на культуру прошлого и современности, Л. Леонов не мог обойти сложившуюся традицию, но претворяет ее в соответствии со своим «косвенным» способом отображения действительности. Использование сновидений отличается сдержанностью и целенаправленностью. Писатель словно сознательно избегает внешней живописности, интенсивного психологического воздействия, добивается предельной емкости изображения. Уже в раннем творчестве сны входят в его произведения, помогают рельефнее выразить художественный замысел. В рассказах 20-х годов («Бубновый валет», «Темная вода», «Деревянная королева», «Валина кукла») они приобретают *символическое* значение, служат второй реальностью, в которой видна мечта персонажей о необыкновенной и яркой жизни. Одновременно в этих рассказах чувствуется стремление к философскому взгляду на жизнь. Сновидения в раннем творчестве явились освоением прежней традиции, опробованием ее в новых условиях. Но уже в «**Барсуках**» Леонов отходит от условно-символического изображения, углубляет способ осмысления действительности. Писатель склоняется к строгому реализму с о п о р е д о в а н н ы м отражением времени, к анализу человеческих аспектов новой истории.

В повестях и романах 20-х годов сны дополняют изображенную картину, переключают внимание на новые детали, подтверждают то, что мы уже знаем о героях. Само содержание снов не вычленяется из привычного мира забот и мечтаний. В романе «**Соть**» ночные видения Увадьева продолжают его дневные дела и мысли. Громоздкие образы отражают силу и слабость Увадьева, одержимость идеей и технократическую узость мышления. Сны выявляют дистанцию, пролегающую между ним и более образованными товарищами по делу.

В дальнейшем усиливается *психологическая* роль снов. Они выявляют внутренние переживания персонажей, в зримой форме представляют их желания и намерения. Сон Половинкина («Барсуки») передает его любовное томление и предваряет отношения с Анной Брыкиной. Сны бывшего монаха Вассиана («Соть») отражают сумятицу сознания, сомнение в том, «истине ли служил он в течение двадцати лет жизни» (Леонов 1982, IV, с. 90).

Сны сопутствуют персонажам в наиболее тревожное время, когда обострены сознание и чувства. В этом состоянии они выявляют новые грани внутренней жизни и отношений персонажей. В романе «**Скутаревский**» Матвей Черимов, считающий себя специалистом по снам, стрижет свою знаменитую бороду, а ночью, по старой памяти, видит сон, который отражает решительный поворот в его жизни, раздумье о прожитых годах. Отрезанная борода, как знак прошлого, наталкивает на мысль о неизбежности развития: «... все отправлялось в переплав: жизнь, старый банный котел, золотые портреты царей, – и вот уже самого его ополаскивало жаром из приближающейся домны» (Леонов 1982, V, с.123).

В романе «**Дорога на Океан**» описан сон Лизы Похвистневой, мечтающей об актерской карьере. Увлеченная судьбой Марии Стюарт, Лиза хочет проникнуть в атмосферу гибели героини, настраивает себя на эту тему перед сном. В ночных видениях актриса видит, как везут отрубленную голову Марии в бочонке со спиртом. Вслед за тем происходит переход от трагической сцены к будничным ассоциациям жизни. Сон обнажает дистанцию между претензиями Лизы и мещанской сутью ее характера, творческой бесплодностью.

В психологическом плане сон передает то, что невозможно или нежелательно сказать персонажам, в чем они не разобрались еще в самих себе. Он выявляет противоречивость чувств и состояний, изменчивость отношений, несоответствие внешнего внутреннему. Так, в романе «**Барсуки**» отчуждение Насти от Семена Рахлеева и чувство вины перед ним за любовные отношения с Жибандой персонифицированы во сне. Насте снится, что Семен «дан ей в мужья» (Леонов 1982, II, с. 243) и нельзя отказаться. Отрешенность Семена, страх Насти перед ним переданы через бесчувственность любимого человека, через возглас со стороны («Так ведь он убит!»), и острую тревогу за него. Обида на Семена проявляется и в том, что Настя отказывается встретиться с ним, продолжает жить с Жибандой, хотя желает только Семена. Сумятица ее чувств и привязанностей отражена во сне.

Часто сны, передающие желания персонажей, предваряют их реальное воплощение, обнажают неоднозначные переживания героев. В романе «**Дорога на Океан**» Лиза, согласившись на совместную поездку с Куриловым, надеется с его помощью выйти из своего бесперспективного положения. Ей снится, что в купе среди ночи появляется Курилов. «Он нагибается к ней и сонную, теплую, в одной рубашке, легко поднимает на самых кончиках пальцев, чтобы пронести через глубокий снег. «Ведь мы не делаем ничего дурного», – шепотом спрашивает Лиза. Но она остерегается сказать ему, что за тонкой перегородкой подслушивает каждое их движение муж» (Леонов 1982, VI, с. 290). Сон Лизы отражает жажду праздничной жизни и одновременно выявляет расчетливость действий героини, в результате чего даже благие намерения обретают оттенок пошлости.

Сны, сопутствующие жизни человека, рожают веру в *пророческую* способность их. Следуя народно-поэтической традиции, Леонов вводит в повествование видения, предвещающие развитие событий и отношений героев. Так, сон служит единственным объяснением несчастья, происшедшего с Маврой в рассказе «Темная вода». Он становится знаком ее судьбы. Пророчеством оказывается и сон Семена Рахлеева («Барсуки») после крестьянского мятежа.

Сон как бы предупреждает его, что непосредственная угроза исходит от брата и встреча их станет для него вынесением приговора. Во сне бежит он от погони и не может оглянуться назад. «Оглянуться – значило увидеть и удовлетворить мучительное незнание об этом, главном. Оглянуться – значило умереть» (Леонов 1982, II, с. 187). Здесь возникает мотив запрета и расплаты за его нарушение, напоминающий легенду о жене Лота. Чтобы взглянуть на родное пепелище, жена Лота нарушает запрет, оборачивается и превращается в соляной столп. Во сне Семен Рахлеев также оглядывается, чтобы решить

мучительный для него вопрос. Он видит сперва «полуистлевшее в памяти лицо брата Павла и потом два коротких огня» (Леонов 1982, II, с.187). В этом сне важен не только мотив расплаты, исходящей от брата, но и выбор, который делает герой. Он не отказывается от тайны, восстанавливает память о родстве даже ценой своей жизни.

Сновидение, предвещающее катастрофу на строительстве, фигурирует в романе «Соть». Автор констатирует, что ночью «всем снилось ... дикое яблоко, но каждому в различном виде» (Леонов 1982, IV, с. 190). Ночные тревоги на следующий день подтверждаются.

В романе «Дорога на Океан» сны трансформируются в фантастические видения, которые занимают важное место в произведении. По существу – это целые главы, раскрывающие представления о будущем, отражающие философскую тему романа. Видения Курилова позволяют глубже понять характер героя, полнее представить его духовный мир. Детское впечатление об Океане как символу могучего и прекрасного движения перерастает со временем в зрелую мечту о будущем.

В творчестве 50-х годов сновидения приобретают большую идейно-конструктивную роль, наполняются философскими ассоциациями. В роман «Русский лес» введен сон Поли, вскрывающий политическую двуличность Грацианского, его способность быть советским профессором и одновременно тайным соратником фашистов. Сон подчеркивает мимикрию Грацианского, умение обмануть всех и сохранить особое положение в любых обстоятельствах. Сон подводит девушку к «страшному открытию» (Леонов 1982, IX, с. 329), которое она не в силах принять, от которого стремится оттолкнуться. Чтобы придти к мысли о связи фашизма и безнаказанного насилия, процветающего в советской действительности 30-40-х годов, необходимы были смелость и прозорливость художника. В подтексте это сопоставление указывает на общие признаки тоталитарного общества, на атмосферу страха и лицемерия.

Предельной емкости и отточенности сновидения достигают в повести «**Evgenia Ivanovna**». Они становятся тонким средством постижения «диалектики души» и ее тайны. В повести сны представляют исповедальные откровения героини на разных жизненных этапах. В произведении говорится о трех сновидениях и одно лишь упоминается в самом начале. Оно связано с пребыванием героев в Константинополе, где Евгения Ивановна брошена мужем на произвол судьбы. Однако обида и безысходность не убивают привязанность к мужу: «И даже во снах той поры Жене все мечталось в могилу к мужу» (Леонов 1982, VIII, с.131). Правда, это признание корректируется уточнением: «... но, значит, не шибко мечталось, если целых три года пришлось добираться, прежде чем оказалась на ее краю» (Леонов 1982, VIII, с.131). Сила жизни противостоит отчаянию, и героиня проявляет необходимую жизнеспособность. Но вместе с тем автор оттеняет и незрелость ее представлений.

Три сна открывают противоречивость внутреннего состояния героини, борьбу между привязанностью к Стратонову и желанием освободиться от него. Первый сон свидетельствует о смятении ее чувств и неспособности погасить память о муже. По содержанию он лаконичен: «У калитки уже стоит, не уходит, еще не посторонний, однако нежелательный теперь человек, то плачущий, то пьяный, то с рукой на перевязи, разный, и мешает, мучит, не сводит глаз с колечка волос на затылке у Евгении Ивановны, куда при жизни так любил целовать» (Леонов 1982, VIII, с. 140). В этом сне героиня стремится увидеть Стратонова в неприглядном виде. Но память подсказывает ей детали, вызывающие жалость и сочувствие к нему. Поэтому героиня еще не в состоянии порвать с мужем. Она понимает, что прожитые с ним месяцы были самыми счастливыми в ее жизни.

Первый сон выявляет и другой аспект – глубокую привязанность Евгении Ивановны к родине. Она выражена в приметах степного городка и родного дома. Малая родина влечет и образами прошлого, находящимися за пределами сна: «родительские могилки», «крик грачей», старые акации и т.д. Есть в этом сне и ироническая

корректировка автора, которая поднимается над сочувствием к героине и предлагает с высоты истории оценить ее положение. Писатель напоминает, что история безжалостна к заблуждениям человека и персонажам предстоит платить за свой выбор по полному счету.

Второй сон появляется в момент, когда наступало выздоровление от прошлого, и символизирует отречение Евгении Ивановны от бывшего мужа. Она видит его на дне пересохшего ручья в ущелье где-то на границе с Россией, хочет удостовериться, что он убит, ищет полагающихся на мертвом дырочек от пуль. Тогда раскрывается, что Стратонов не убит вовсе, а наоборот, «лежит и холодно, безжалостно подсматривает за бывшей женой из-под приспущенного дрожащего века...» (Леонов 1982, VIII, с.144). В ужасе она бросается к Пикерингу в поисках защиты и тепла. Сон углубляет противоречивость ее желаний, готовность переступить через привязанность к Стратонову. Он вскрывает противоборство отчужденности и совестливости, жалости и решимости порвать с прошлым.

Сон – не только выражение внутренних противоречий, но и в известной мере способ решения их. Он помогает героине осмыслить свое положение, сделать выбор. Ее приход к Пикерингу вызван не только внутренним побуждением, но и реакцией на Стратонова и его властью над нею. В то же время ее устроенность с Пикерингом не исчерпывает тему прошлого. Напротив, избавление от забот о завтрашнем дне и хлебе дает ей внутреннюю свободу, возможность глубже понять все, что происходит с ней.

В третьем сне – воспоминание о былом противостоит нынешнему положению героини и в известной мере обесценивает ее благополучие. Евгения Ивановна понимает, что роль счастливой избранницы для нее не подходит. Состояние ее полно драматизма. В ней жива еще любовь к Стратонову, и встреча с ним дает толчок ее чувству и памяти о былом. Она радуется молодости, ощущению того, что «вечность впереди лежала нерастраченной» (Леонов 1982, VIII, с.157). Героиня забавляется тем, «как расплывается ее супруг в стрельчатом световом пятне» (Леонов 1982, VIII, с.157). А потом четко представляет, «что в нижнем этаже прямо под нею, с папироской в зубах лежит на тахте Стратонов и нагло смотрит на нее, нагую, сквозь ковер, простыни и потолок» (Леонов 1982, VIII, с.157). В этом видении проявляется влечение к Стратонову, которое будет тревожить ее и в последующую ночь. Ощущение близости бывшего мужа побуждает идти навстречу ему. Автор иронически замечает: «...только сном и можно было отбиться от него: так и сделала» (Леонов 1982, VIII, с.157).

Последняя часть сна напоминает о счастье, которым они обладали: «... обнял всем существом, живой и без недостатков... И так плотно у них перемешалось все, что нельзя стало распознать, где кончается один и начиналась другая...» (Леонов 1982, VIII, с.157). Память о любовном единении со Стратоновым перенесена в настоящее: автор избирает глагол «стало» вместо «было», подчеркивая скрытое желание героини. Радость и страх быть обнаруженной в своих мыслях сублимируются в образе праздничной толпы, которая оказывается свидетелем отношений, но притворно не замечает происходящего. Расширение спальни до размеров площади вносит новый оттенок в сон: альковные дела не исчерпывают отношения со Стратоновым. Евгению Ивановну и Стратонова связывает общность исторических испытаний, которой нет в отношениях с англичанином. Несчастные дети России прошли через кровь, унижение и нищету. Это объединяет их столь сильно, что превращает личную судьбу каждого в часть их общей судьбы. Итоговая деталь сна – превращение кровати в катафалк – это образ погубленного счастья, а затем и самой жизни. Эта символика раскрывается сообщением о будущем героини: «... ей предстояло умереть весною следующего года» (Леонов 1982, VIII, с. 195).

В этом сне чувство героини к Стратонову достигает кульминации и гаснет. Последующее общение с ним развеивает ее иллюзии, открывает растоптанность и обезличенность человека, которого она любила. Горестная участь Стратонова ей очевидна. Но не менее ясна и собственная безысходность: исчерпано ее прошлое, закрыта

дорога назад, но и будущее без родины для нее неприемлемо. Нравственная цельность героини не позволила пойти на компромисс и предрешила трагический финал.

Итак, сновидения претерпевают в прозе Леонова эволюцию от частного эпизодического использования до важного инструментария, роль которого не может быть заменена ничем иным. Они выполняют психологическую и символическую функции, а в романе «Пирамида» приобретают провидческое назначение.

II

Литературные истоки и традиции снов у Л. Леонова уходят в классику XIX века и прежде всего к творчеству Ф. М. Достоевского. Великий писатель открыл бездны человеческой души и сознания, увлек в пожизненный диалог о кардинальных вопросах человека и бытия. Осмысление духовных исканий Достоевского вызывает у Леонова преклонение перед гениальностью художника, Леонов проецирует выводы Достоевского на развитие современности и цивилизации в целом. Неутешительные итоги XX века позволяют ему в 60-90-е годы на новом уровне оценить пророчества классика, с доверием отнестись к его трагическим раздумьям («Бегство мистера Мак-Кинли», «Пирамида»). И если в киноповести писатель рассматривал крах цивилизации как некое допущение, то в «Пирамиде» выражена солидарность с худшими опасениями Достоевского.

Литературные *параллели* и *ассоциации* связывают произведения Леонова с романом Достоевского «Преступление и наказание». Сон Раскольников о забитой лошади является толчком для развернутого изображения в романе «**Вор**» циничной забавы Заварихина. Во сне Раскольника предстает жестокая сцена: пьяный парень Миколка забивает маленькую крестьянскую лошадь, неспособную вытянуть большую телегу. Насилие над беззащитным животным воспринимается как утрата человеческого облика. У Леонова ситуация дана в более изощренном виде. Перед нами низость потехи крестьянского парня, входящего в силу. Молодой торгаш везет за город Таню на роскошном рысаке. По пути он оскорбляет старика-извозчика, втягивает его в соревнование и расчетливо добивается, чтобы тот загнал свою клячу.

Эпизод, развернутый с глубоким психологизмом и подробностью, производит тяжелое впечатление. «Дурное молодечество» Заварихина демонстрирует презрение к слабому, готовность утвердить свою силу любым способом. Подтверждением его жестокости служит и равнодушие к пьяному птицелову, заснувшему на ледяной земле, и то, как он выбрасывает на навоз предназначенный Тане букетик: «Заварихин даже не вспомнил, откуда взялась в его кармане эта мокрая, склизкая трава» (Леонов 1982, III, с. 248-249).

Сцена с загубленной лошадей в романе «Вор» вскрывает ожесточенность Николки на людей («Нет, не уважаю я людишек» (Леонов 1982, II, с. 244)), беспощадность его самоутверждения, которая приведет к гибели Тани, а затем и к краху его самого. Существенно и то, какую роль играет эпизод с забитой лошадей в развитии героя. У Достоевского он знаменует ужас Раскольника перед планируемым убийством, нравственное сопротивление ему. У Леонова Николка предстает как сформировавшийся делец, открывший Тане жестокие правила своего мира, готовый ради наживы попать в себе совесть и доброту.

В романе «Вор» Леонов использует мотив жертвы, являющейся убийце в бреду или в болезненном состоянии. У Достоевского Раскольников видит квартирную хозяйку, которую избивает помощник надзирателя. Сцена, представленная в страшных подробностях, является видением, вызванным психологическим напряжением героя. В романе «Вор» Векшин безжалостно отрубает руку поручику и с того времени она преследует его в самых неожиданных ситуациях. Образ этот напоминает о вине Векшина, о разрушении личности, совершающей насилие. Но особенно ярко этот мотив звучит в «странном эпизоде», случившемся с героем в поезде. Больной Векшин видит бредовый сон, в котором является мать поручика и напоминает о своем горе. Она просит дозволения заглянуть в глаза Векшину, чтобы увидеть в них своего сына. О жестокости Митьки

напоминает и обращение женщины, вызывающее ассоциацию с отрубленной рукой: «Так мне сквозняком надуло, вся рука по самое плечо отваливается» (Леонов 1982, III, с. 420). Сон этот призван смягчить суровую оценку персонажа указанием на его тайное мученичество. Одновременно он свидетельствует и о неотвратимости морального возмездия за жестокость.

Сновидения могут стать и поводом для с ю ж е т н о г о развития произведения или отдельных его частей. По мнению югославского ученого М. Йовановича, отправным пунктом киноповести **«Бегство мистера Мак-Кинли»** послужили некоторые моменты последнего сна Раскольниковва вплоть до его заключительной идеи (навеянной, как содержание всего сна, Евангелием от Матфея и Откровением Иоанна Богослова) о спасении только «чистых и избранных» (Йованович 1981, с. 45-57). Пародийное переосмысление ситуации Раскольниковва в «Бегстве мистера Мак-Кинли» начинается, по мысли исследователя, с того момента, когда герой должен решить, как ему устроить свою личную жизнь в эпохе проектируемого «объявления войны» и проходит через все произведение (Станишич 1987, с. 294-295).

Леонов по-своему переосмысляет эсхатологическую идею Достоевского, мысль о том, что XIX век – канун светопреставления, преддверие величайших социальных катаклизмов. Леонов видит в этой идее высокое пророчество гения. XX век представляется ему переходным этапом, за которым должно наступить качественное обновление мышления и поведения человека на планете. Чувство взрывчатости бытия, особой уплотненности времени пронизывает многие произведения писателя, рождает тревогу за грядущее развитие. Отсюда близость гуманистических позиций Достоевского и Леонова в использовании общих тем.

Так, мотив бредового сна Раскольниковва, увиденного в тюремной больнице, использован Леоновым в трагической версии будущего, представленной в романе (**«Пирамида»**). Писатель наделяет свою героиню Дуню Лоскутову способностью видеть будущее и на этой основе варьирует поэтический прием Достоевского. Раскольниковву грезится в бреду, будто весь мир поражен нравственной язвой, вызванной трихинами, вселяющимися в тела людей. Микроскопические существа, одаренные умом и волей, делают людей одержимыми в своих идеях, побуждают убивать друг друга в бессмысленной злобе. Описание людского безумия заканчивается в романе горестным признанием: «Все и все погибало» (Достоевский 1957, V, с. 271). Философская символика этой картины определена: «Отказ от общих критериев истины, от сверхличного морального единства ведет к гибели человечества» (Назиров 1982, с. 144), – считает Р. Назиров. По мысли исследователя, Достоевский отталкивался от рассказа В.Ф. Одоевского «Город без имени», но «неизмеримо расширил картину гибели человечества от моровой язвы несогласия» (Назиров 1982, с. 144).

Греза Раскольниковва выражена в лаконичной форме воспоминания. У Леонова эта идея развернута обстоятельно и подробно. Картина мировой бойни в «Пирамиде» как бы наблюдается с космической высоты. С беспощадной иронией писатель показывает, «триумфальное шествие к звездам», осуществляемое прямым и коротким путем. Если Ф. М. Достоевский связывает грядущую катастрофу с природой капитализма, то Л. Леонов видит ее в природе самого человека, в утрате гуманистических ориентиров, во взаимной ожесточенности. С поразительной убедительностью показана логика безумия, охватившего мир, процесс перерастания политической нетерпимости в военный конфликт. Человечество, зашедшее в тупик научно-технического прогресса, уподобляется эпохе мезозоя с ее чудовищно развитой защитной системой хищников. Если у Ф. М. Достоевского вселенский мор происходил ради того, чтобы остались только чистые, предназначенные начать новый род людской и новую жизнь, то у Л. Леонова человечество не оставляет себе никаких надежд. Гибнет не только цивилизация, но и жизнь на Земле.

В «Пирамиде» символом безрассудства людей становится погребальная эпитафия, найденная на земле: «Здесь согреваются земные боги, раздавленные собственным могуществом». Бесстрашие мысли художника, горечь иронии и объективность повествования придают этой картине глубину и эмоциональную силу. Писатель стремится мобилизовать разум и чувства современников на противодействие ядерному Апокалипсису.

Итак, Л. Леонов продолжает традицию классиков, развивая ее сообразно своей творческой индивидуальности. Его не увлекают стихия подсознательного, магия запредельного, открывающая простор неуправляемым чувствам. Как реалист, склонный к емкому мышлению, он строго отбирает поэтические средства, твердо удерживает сновидения в границах художественной целесообразности. По сравнению с Ф. М. Достоевским Л. Леонов более рационален и сдержан. Он выборочно использует возможности, которые открывают сны и предчувствия, освещает лишь то, что соответствует цели и развитию его героя. Осваивая прежний художественный опыт, добивается более компактной формы поэтического мышления. Писателя влекут тайны жизни и бытия, но он стремится понять их, доверяя сознанию, способности его отразить объективную реальность без абсолютизации подсознательной сферы.

Сновидения введены в поэтическую систему Л. Леонова, в жанр философско-психологической прозы, соотношены с принципом логарифмирования материала. Отсюда сдержанность и лаконизм их употребления. Они служат инструментом художественного мышления, способом проникновения в «диалектику души» и ее тайны, характеризуют сущность персонажей, отношения внутреннего и внешнего, слова и действия.

Литература

- ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М., 1957. Собр. соч.: в 9-ти т. Москва. Т. 5.
См.: ЙОВАНОВИЧ, М., 1981, «Ситуация Раскольниковова» и ее отголоски в русской советской прозе. *Сборник за лингвистику*. Бр. 21.
ЛЕОНОВ, Л., 1982-1984. Собр. соч.: в 10-ти т. Т. IV. Москва. (Сноски на это издание даны с указанием тома латинскими цифрами).
НАЗИРОВ, Р. Г., 1982. *Творческие принципы Ф. М. Достоевского*. Саратов.
См.: Комментарий этой статьи в работе: СТАНИШИЧ, И., 1987. Леонид Леонов в Югославии. *Творческая индивидуальность и литературный процесс*. Москва.

Victor Chrulev

Bashkir State University, Russia

POETRY OF DREAMS IN LEONID LEONOV'S PROSE (FROM *BARSUKI TO PYRAMIDE*)

Summary

Symbolism in Leonid Leonov's prose acts as an instrument for the writer's artistic thinking. It helps to bring into the open mysteries of a soul, characterizes the essence of heroes, outer and inner interrelations between outer and inner worlds, word and action. Fyodor Dostoyevsky's tradition manifests itself in an intent interest for inner human world and symbolic use of dreams.

KEY WORDS: Leonid Leonov, poetry, prose, dreams.

Татьяна Киевицкая

*Институт языка и литературы им. Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси
ул. Сурганова ½, Минск, Беларусь
e-mail: takie_filfak@yahoo.com*

ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИ В ПРОЗЕ К. ЧОРНОГО

Работа Т. Киевицкой посвящена одной из репрезентаций женщины в произведениях белорусского писателя 20 века Кузьмы Чорного. Автор выявляет философию матери, созданную прозаиком в художественном пространстве романов. Анализируются образы как ранних, так и поздних произведений К. Чорного. Определяется связь материнской семьи женских персонажей и солнечного света, подчеркивается позитивность образа, его исключительная роль в микрокосме героев. Особое внимание уделяется роману «Млечный путь».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мать, женский персонаж, семантика образа, гармония.

Образ матери во все времена и в каждой культуре имел сократельный смысл. В искусстве он был и по сей день остается универсальным хранителем и конденсатором культурных смыслов. Наверное, каждый писатель стремится – сознательно или подсознательно – ввести в художественное пространство своих произведений данный образ, наделяя его своими, особенными чертами и своей, индивидуально-авторской философией.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют в данном аспекте концепции классических авторов, которые создают ценностно-мировоззренческие векторы в художественных национальных пространствах и вводят в культурный текст героинь, воплощающих женственность и материнство.

Целью данной работы является определение роли и семантической наполненности образа матери в прозаическом наследии белорусского прозаика первой половины двадцатого века Кузьмы Чорного (1900-1944). Для этого будут проанализированы наиболее значимые, на наш взгляд, женские персонажи его романов (с точки зрения материнской семантики в структуре образа), выявлена их роль в концепции произведения, а также в философии прозаика в целом. Речь пойдет в первую очередь о героинях первого романа К. Чорного «Сестра» (1927) и поздних произведений – романа «Млечный путь» (1944) и неоконченной повести «Скипьевский лес» (1944).

Интерес для нас представляют не только образы, формально отнесенные в семантическое поле «мать» по признаку наличия детей. Мы в первую очередь говорим о понимании функции матери К. Чорным и её роли в микрокосме героев, а значит и о проекции вектора материнства на образы девочек-подростков и героинь, не имеющих детей, – то есть о матерях потенциальных, о тех, на кого проецируется образ Девы Марии, а значит и поклонение со стороны других и трепетное почитание Великой матери.

Показательным является и тот факт, что мать может выступать у Чорного в образе анонимной героини, безымянной женщины, что возводит эти образы на уровень обобщения, типа, символа. Мать у писателя – персонаж достаточно традиционный, это в первую очередь деревенская женщина (даже в случае городской тематики – сестру Радиона Тивунчика из романа «Сестра» трудно представить в галерее литературных горожанок; то, что она живет в большом городе, Минске, не изменяет её сути). Поэтому парадигма материнского образа достаточно ограничена: мы не найдем здесь интеллектуалки, женщины с тонким

литературным вкусом, ведьмы, театралки, актрисы и т. д. и т. п., но тем большим смыслом наполняется женский образ в философии автора.

Образ женщины играет особую роль в позднем романе Кузьмы Чорного «Млечный путь». Здесь следует говорить, в первую очередь, о стержневом персонаже – девочке-подростке Ганусе Семага, его функциях в художественном пространстве романа и семантике; во-вторых, об образе матери в исповедях героев-мужчин; и в-третьих, о Надежде Семага и Вере (которые, по сути, выступают олицетворением надежды и веры вообще). Подчеркнем особо, что Гануся связана с последними близкородственными связями: она дочь Надежды и племянница Веры. Нам же она видится своеобразной «наследницей», транслятором надежды и веры в микрокосмы других героев.

Следует отметить, что в своем произведении Кузьма Чорный наделяет будущее женскими чертами (Гануся ассоциируется с завтрашним днём), также как и прошлое: воспоминания героев-мужчин неприменно связываются с матерями (как это следует из рассказов студента Ярмалицкого и Ганусинога отца Николая Семаги). Мать и прошлое неразделимы, сведены в целое. Обобщённый образ матери в исповедях героев, как отмечает в своей работе Л. Карпова, «вырастает до символа измученной Отчизны, которая познала безвыходность и безверье, насилие и издевательства пришельцев разных времен» (Карпова 2007, с. 73).

Интересным, на наш взгляд, является и сведение концепта матери и надежды, ведь Надежда, по сюжету, имеет двоих детей – близняшек Ганусю и Марину. С одной стороны, мать и есть надежда; с другой – она дарит надежду на продолжение жизни.

Женщины в романе умирают. Надежду (как мы отмечали, имя есть указатель на надежду вообще) убивает война. И таким образом начинается безнадежность («Теперь Надеждина могила стала огромной. Она вся пылала огнём» (Чорный 1972, с. 214-215); «Надежда тлела в огне, скованная камнем...» (Чорный 1972, с. 215)). Но Чорный оставляет героям веру (в данном случае это сестра Семаги, Вера, имя которой мы соотносим с верой вообще). Надежда на лучшее рождается тогда, когда к Марине возвращается зрение («весна дает человеку силы» (Чорный 1972, с. 216)), но опять же – Марина умирает. Оставляет ли автор хоть какую-то надежду для героев (или для читателя?)? Ответим на это немного позднее.

Гануся Семага символизирует веру в завтрашний день, у героев она вызывает мысли про нерожденных детей молодых солдат и пленных (таких, как студент Ярмалицкий) и рожденных, настоящих – тех родителей, которых забрала война (таких, как немец в романе). И с другой стороны, это женщина-мать (но не в буквальном смысле, конечно, а как обладательница теплоты и чистоты, что всегда ассоциируется в первую очередь с материнством). Глядя на неё, мужчины вспоминают про своих матерей как про «самое дорогое, что есть у человека» (Чорный 1972, с. 218).

В памяти Ярмалицкого живет образ задумчивой матери, часто вспоминавшей о его погибшем отце. Со временем она становилась всё медлительнее и молчаливее. Она жила заботой о том, чтобы не отстать в уже новой реальности от остальных и построить себе и сыну дом. Теперь он вспоминает запах её рук, волос, её тепло, ласку и поцелуй на прощание. Мать – это всё, что осталось там, далеко, это маленькая Вселенная с шестью вязами, домом на пять окон и будущим, которое забрала война. Ярмалицкий надеется, что сможет вернуть себе свою Вселенную, а вместе с ней к нему вернётся мать, уже не молодая, но старость её он уважит. Только бы вернуть.

А Николай Семяга говорит о величии своей матери, о том, как переживала она за судьбу своих детей после смерти мужа, как изменилась она во времена польской оккупации девятнадцатого года.

Как ни молода Гануся, взгляд её наполнен каким-то особым смыслом, жизненной мудростью. Поэтому взгляды остальных и прикованы к ней.

Показательно, что самое ответственное дело – поджог полного немцев дома – выполняет именно она, Гануся. Таким образом, механизм воздействия на читателя построен здесь на сочетании физической незрелости героини, материнской семантики и значимости поступков.

Один из критиков, Ю. Потолков, вообще говорит про Ганусю как проявление архетипа Великой Матери (Потолков 2003). По Е. Мелетинскому (Мелетинский 1994), Великая мать имеет отношение к Космосу и хаосу (и в романе образ Гануси связывается, с одной стороны, с надеждой на гармонию – мирную жизнь, и с другой – с хаосом войны), к творческому началу (так, Гануся вдохновляет героев на исповеди, одним своим присутствием помогает выйти их глубинным желаниям и мыслям на поверхность), к смерти и возрождению (Гануся хоронит свою умершую сестру – в определенном смысле своего двойника, ведь они с Мариной близнецы; Гануся поджигает дом с немцами, но в конце концов «возрождается» вместе с остальными в Осиповичских лесах). Именно в лесах рождается надежда – спасение. Эта надежда – и есть Гануся. Чорный указывает на это не явственно, но оговаривается, что взгляд, глаза Гануси становятся похожими на глаза её матери, то есть Надежды.

Как пишет И. Воюш, «девочка-подросток показана автором как представительница времени будущего во времени настоящем, как потенциальная мать потомков белорусского народа. Такие персонажи, как Олечка Невада или Гануся Семага – это переосмысленный писателем-христианином библейский образ Мадонны, Девы Марии» (Воюш 2004, с. 8).

И та же Олечка Невада из романа «Поиски будущего» также конденсирует в себе черты матери. Её образ, как и Ганусин, построен на сочетании физической незрелости и вынужденном «материнстве» (мы говорим о её роли в собственном доме, о том, что главная её черта – забота обо всех, по сути, материнская забота). Оставшись без родителей, она вынуждена сама вести хозяйство и заботится о себе, а после и о появившемся в её доме Кастусе. Она как бы становится на место своей матери, вынуждена играть её роль. Но, в отличие от Гануси Семага, Олечка Невада в художественном пространстве романа «Поиски будущего» позднее реализует себя как мать де-факто. Её дочь Лиза растет в необыкновенной атмосфере родительской заботы, ведь Олечка, играя в мать, научилась быть ею. Часто, говоря о своей дочери, она произносит «мы», что указывает на восприятие себя и ребенка как единого целого. Но война, какой-то Великий злодей, как говорит Чорный, разрушает эту гармонию семьи и материнства, ломает судьбу Лизаветы, а посредством неё – и судьбу самой Ольги.

Возвращаясь к роману «Млечный путь», следует отметить, что упомянутый выше архетип Великой матери проявляется и в самом Млечном пути (если вспомнить, что, согласно мифу, это пролитое молоко из груди богини Геры). «Млечный путь в романе Кузьмы Чорного, – добавляет Ю. Потолков, – метафора мирного времени, любви, материнской ласки. Он – антитеза кровавому пути войны» (Потолков 2003, с. 22-23]. Таким образом, Мать (не конкретный образ, а как определенная философема) неразрывно связан с мирной гармоничной жизнью, спокойствием и уверенностью.

Архетип Великой матери проецируется и на образ Мани из первого романа Кузьмы Чорного «Сестра» (подчеркнем особо, что, как и Олечка Невада и Гануся Семага, формально Маня Ирмалевич не является матерью, у неё ещё нет своей семьи). В первую очередь это проявляется в восприятии Вати Брониславца, испытывавшего к ней некое трепетное чувство, любовь, но не страсть (вот как определяет его видение Мани сам Чорный: «Она была великой и мученицей» (Чорный 1973, с. 99); «Она стояла перед ним недостижимая и великая

тоскою и радостью» (Чорный 1973, с. 100)). А когда Маня уже появляется в Минске, её образ «освещается» автором дневным светом, подчеркиваются черты радости и усталости на её лице (такой портрет близок к иконописной традиции). Таким образом, «великость» и «светлость» входят в семантику образа. В Минске Маня чувствует себя возвышенно, в ней зарождается «сильное желание сестры и матери» (Чорный 1973, с. 117) – обнять всех и быть с ними, заботиться о них.

Материнская семантика в данном образе выражается как раз в этом стремлении к заботе, а также в необычайном уважении со стороны героев из ближайшего круга. Другой аспект – «сестра» – определен стремлением героини к близости, родственности, женской слабости, потребностью в защите.

Сон дополняет созданный вокруг Мани ореол мадонны – в этом сне появляется ребенок, о котором, как кажется Мане, она должно заботиться больше, чем о других, – это Антя, Манина двоюродная сестра. Слышится птичий гомон, и над всем и во всем – солнце. Этот сон отсылает нас к иконописным изображениям Мадонны с младенцем.

Напомним, что встреча Вати с Маней на Антином хуторе также связывается с солнечным светом, ибо приносит ему «восхищение солнечным днём» (Чорный 1973, с. 240-241). Таким образом определяется установка автора на связь «Маня-солнце-свет». На наш взгляд, эта связь держится именно на «материнской семе» в данном образе. К тому же Маня в подсознании Вати Брониславца, который влюблён в нее, связывается с образом матери: она говорит просто, честно, коротко, так, как «когда-то мать говорила» (Чорный 1973, с. 241).

В разговоре Мани с двоюродным братом Казимером и Абрамом Ватасоном Чорный подчеркивает её мягкий *материнский* голос. Это теплота делает почти невозможное – убивает холодность между Казимером и Боней и возвращает им дружескую близость: «И провели они тот вечер тихо и радостно. В тот вечер как бы тем далёким хутором веяло на них» (Чорный 1973, с. 281). И даже поцелуй Манин на прощание – материнский («Она схватила руками голову его [Вати] и поцеловала в лоб» (Чорный 1973, с. 281)).

Мать в философии романов Чорного – это олицетворение порядка в мире хаоса. Поэтому и смерть матери ощущается Маней как нарушение мира хутора, а значит – и всего её микрокосма. Смерть же своей матери её двоюродный брат Казимер Ирмалевич воспринял несколько иначе. Мать была для него островком надежды, защищенности, куда можно было сбежать с ненавистного дядиного хутора, но это было лишь временное спасение. Сразу он не ощущает остро потери, но после, «чем дальше, тем больше и больше всякие происшествия, события, мелочи, бывшие раньше, выплывали наверх, и тогда смерть матери обретала характер какого-то великого перелома» (Чорный 1973, с. 19).

Значительно более «земной», чем Манин, является образ сестры Родиона Тивунчика – достаточно типичный образ для белорусской литературы. Её забота – в многочисленных мелких делах и незаметных для других событиях. Трагедия этой женщины – в судьбе её детей: старшего сына убил младший, «так вот материнское сердце на куски разрывается» (Чорный 1973, с. 110). В конце концов, она остаётся одна (младший сын уезжает в Польшу), и мать измучена тем, что «хочется и нужно любить детей своих, да не может этого» (Чорный 1973, с. 110). Жизнь её протекает незаметно, но сердце её открыто для любви и заботы о ближних. И смерть её остаётся такой же незаметной.

И с этим образом связаны покой, мир и гармония, что является смысловым стержнем философии матери в произведениях К. Чорного («Простая и славная женщина эта мир и покой приносила с собой» (Чорный 1973, с. 195)). Разговор с ней оставляет в сердце Мани «тихость и покой в настроении» (Чорный 1973 с. 195).

Ещё одна женщина-мать в художественном пространстве романа – Антя. Это олицетворение силы, деревенской простоты, но в первую очередь – света (опять же связь с иконописью). На что обращает внимание автор, «приведя» Маню на Антин хутор, так это на

то, что лицо последней светится; улыбка её сравнивается с солнечным росистым утром, а лицо – с чистым солнцем.

В своей повести «Лявон Бушмар» Кузьма Чорный отмечает, как меняется его героиня, когда в ней зарождается новая жизнь. Материнство творит чудеса и изменяет характер и привычки «игривой» Галены: ей уже не скучно на хуторе Бушмара, у неё исчезает потребность бегать в деревню к людям, ибо теперь её общение интровертировано. Она часто сама себе улыбается – тихо, умиротворено, совсем не так, как раньше, когда улыбалась мимолетной улыбкою, которая так привлекала и заставляла останавливаться всех парней и удерживала мужа в доме.

Совсем по-другому Кузьма Чорный подходит к образу матери в своей неоконченной повести «Скипьевский лес». Образ Магдалены Прибытковской подан достаточно юмористично, но при этом сохранена позиция неизменного уважения и любви к женщине-матери.

У Магдалены и её мужа, Мартина, трое детей. Героиня носит в себе «извечное чувство каждой женщины», как говорит К.Чорный, – особенную умиленность младшим из детей. «Годы, – утверждает автор, – доводят это чувство до наивысшего подъёма. Первые дети есть признак молодости женщины. Последний ребенок есть признак зрелости перед старостью» (Чорный 1972, с. 418)

Когда к старшей дочери, Анне, приезжают сваты, Магдалена почти безумно переживает это событие: её дочь теперь уже не дома, а в гостях. Анна уже давно спит, а Магдалена, лёжа рядом, всё шепчет, вспоминает свою молодость и детство дочери: «всё великое и значимое, и малое и незначительное, но что жило в чуткой душе матери, которая взрастила свою дочь» (Чорный 1973, с. 427).

Когда Анна вышла замуж и уже ходила беременная, «Магдалена просто как не рвалась на части. Не такую она имела натуру, чтобы хоть на мгновение спустить с глаз дом и хозяйство. И к Анне каждый день душа её рвалась. И жаждала она быть всё время близко при своём Кастусе [сыне – Т.К.]. У неё хватало ног на то чтобы пешком, если не попадалась машина в дорогу, сколько раз ходить к Анне» (Чорный 1973, с. 433).

В эпизоде, когда она наконец приезжает к Анне, после того как дочка уже родила, автор подчеркивает, что «это был тот момент, когда Магдалена очень ясно ощутила, что забота о детях не уменьшилась, а превращается в что-то большее, всеобъемлющее» (Чорный 1973, с. 436-437).

Таким образом, жизненная философия Магдалены как матери основана в первую очередь на жертве собственного «я» на благо своих детей. Чем больше исчезает для неё «я», тем больше она чувствует зависимость, необходимость в заботе о близких, помощи детям.

Устами друга семьи Прибытковских, Николая Разважника, автор даёт характеристику Магдалене, которая бежит то к Анне в Перевоз, то к Галене и мужу в Перебродье, чтобы прочитать письмо от сына: «Если бы пришлось, то она может вытерпеть заботу обо всём мире » (Чорный 1973, с. 438). И хоть он и посмеивается над Магдаленой, но она на самом деле наполнена какой-то «счастливой добротой».

Образ заботливой матери не оставляет Константина в первые дни войны («Незабываемые картинки того, что было, с великой силой предстают перед ним. Вечно хлопотливая мать появлялась в его мыслях» (Чорный 1973, с. 445)).

Характерно однако, что образ матери-Мадонны необязательно вписывается Чорным в контекст счастливой семьи (минисоциума) или даже взаимной любви и уважения с отцом. Сема семейной, социальной гармонии не вплетается автором в структуру образа как константная составляющая.

По сути, этот же подход выражен и в фольклоре, где разным социальным ролям женщины приписывается разная коннотация (вспомним пословицы *Жонка для свету, цешча для прывету, а матка радней усяго свету. Любяць жонку здаровую, а сястру багатую* и т.д.). Жена и мать в фольклорной традиции – образы совершенно различные. Мать – это источник комфорта или надежда на внутренний комфорт, это опыт, источник жизненной мудрости; жена же часто выступает в образе разрушительницы гармонии, провокатора, совершает глупые, нелогичные поступки.

Ещё один персонаж, на который, на наш взгляд, следует обратить особое внимание в свете данной проблемы, это Матвеиха из раннего романа «Земля». Из-за тяжелого ежедневного труда и постоянных избиений мужа мать Юрки забывает о себе; здоровье её подорвано, но к доктору она не идёт, ведь «она ж дурная, – говорит Юрка, – не хочет бросить работу» (Чорный 1973, с. 340), сама мелет в жернах. Матвеиха – мученица.

«Визитной карточкой» для данного образа (как и для образа матери вообще), на наш взгляд, может стать эпизод, когда, вернувшись с крестин, она садится в пороге с детьми (подчеркнём особенно, что садится она, как говорит автор, на «солнечный порог»): «Юрка сел возле материнских ног на калени. Мать начала гладить по головам девочек. Младшая забралась ей на колени. Старшая подвинулась ближе» (Чорный 1973, с. 350). Глаза Матвеихи наполнены слезами, и только Юрка почти физически ощущает боль матери, предчувствует скорый конец, а значит и катастрофу своей маленькой детской Вселенной. А его матери всего тридцать восемь. Но образ этот – своего рода обобщение (нет конкретного имени, героиня определяется как жена Матвея и мать Юрки). Это достаточно типичный, а поэтому узнаваемый персонаж белорусской классической литературы, поэтому имя здесь не имеет значения.

Во всех рассмотренных нами случаях мы не видим показа деструктивной роли матери, её гиперопеки или полной отстранённости от ребёнка, что приводит к развитию комплексов у последнего. Часто мать влияет на поведение и мировоззрение героев дистанционно (например, в случаях, когда герои действуют уже после смерти своих матерей, однако постоянно помнят о ней и рефлексируют).

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что, образ матери играет в художественном пространстве произведений писателя особую, смыслообразующую роль. Вместе с другими образами-символами (такими как дерево, дорога, земля, перекресток) он становится конденсатором глубинных смыслов, выходит на метауровень. Мать связывается в прозе Кузьмы Чорного с прошлым, воспоминаниями про родную землю и родной дом (семантические составляющие «прошлое» и «родное»), а также с умиленностью, заботой и поддержкой (семантические составляющие «ласка» и «забота»). Но в то же время в семантике образа отсутствует сема «семейный порядок, мир», скорее прослеживается связь с внутренней гармонией и спокойствием героев. В значительной степени мать связана с болью – болью физической (болезни от тяжелого труда, родов, побоев) и моральной (за сломанные судьбы своих детей).

Мать для героев – это мера всех чувств, мера жизни, выражение общечеловеческого, ценностный ориентир в художественном пространстве произведений Кузьмы Чорного. Смерть матери отождествляется с катастрофой в микрокосмосе личности, великим переломом, внутренним хаосом.

Сама мать – это воплощение защищенности, моральной поддержки, начало начал, связующий элемент в системе *семья-личность*, отправная точка в жизненных путях героев. Мать – это эмоциональная теплота, внимание; это солнце, которое освещает мир действующих персонажей, а солнце извечно воспринималось людьми как нечто божественное, неземное, высокое; как источник жизни на земле. Отсюда и ореол мадонны вокруг матерей в романах писателя.

Семантический вектор образа у Чорного направлен в сторону позитивного, традиционного осмысления, а также иконописных портретов. Солнце и свет являются существенными аспектами в понимании философии матери, созданной Чорным.

Литература

ВОЮШ, І. Д., 2004. Трансфармацыя вобраза жанчыны ў беларускай прозе XX стагоддзя. *Аўтарэф. дыс. 10.01.01 – беларуская літаратура*. Мінск: БДУ.

КАРПАВА, Л. У., 2007. Ангываенны раман Кузьмы Чорнага «Млечны шлях»: прыёмы псіхалагічнага нападзення вобразаў. *In: Л. У. Карпава. Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф.* (Мінск, 27 красавіка 2005 г.). Мінск: БДУ, с. 69-74.

МЕЛЕТИНСКИЙ, Е. М., 1994. *О литературных архетипах*. Москва: Российский гуманитарный университет, с. 136.

ПАТАЛІКОЎ, Ю., 2003. Топас чалавека пакаяннага: *Раман “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага і сучасная яму літаратура*. Роднае слова, № 10, с. 20–23.

ЧОРНЫ, К., 1973. Збор твораў у 8 т. К. Чорны. Т. 3, Мінск: Мастацкая літаратура.

ЧОРНЫ, К., 1972. Збор твораў у васьмі тамах К. Чорны. Том 6. Мінск: Мастацкая літаратура.

Tatsiana Kiyavitskaya

Language and Literature Yakub Kolas and Yanka Kupala Institute,
National Academy of Sciences of Belarus

PHILOSOPHY OF MOTHER IN KUZMA CHORNY'S PROSE

Summary

The article of T. Kiyavitskaya is dedicated to one of the woman representation in the works of Belarusian author of the XX century - Kuzma Chorny. The author brings out the philosophy of mother created by the writer in his art novel space. The figures of early and late Chorny's works are analyzed. The connection of mother seme of female figures and sunny light is established; also, the positiveness of the figure, and its exceptional role in hero microcosm is emphasized. A special attention is devoted to the novel "The Miky way".

KEY WORDS: mother, female personage, figure semantics, harmony.

Иван Кутняк

*Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко
ул. И. Франко 24; 82100 Дрогобыч, Львовская обл., Украина
e-mail: fillgalja@rambler.ru*

ДОМИНАНТЫ УКРАИНСКОЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ

В статье проанализированы философские взгляды и гуманистические идеалы Григория Сковороды – представителя украинской национальной философской мысли; определены доминантные линии мировоззренческой ментальности в его философии; рассмотрено учение украинского философа о материи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доминантные линии, ментальность, антеизм, экзистенциальность, кордоцентризм, макрокосмос, микрокосмос, экзистенциальный плюрализм, монистический, бытие, диалектика, квинтэссенция, символический мир, Библия, гуманистические идеалы.

Григорий Сковорода – ярчайший представитель украинской национальной философской мысли. Его творчество во многом было обусловлено предшествующими достижениями в этой области и, вместе с тем, определило дальнейшие пути развития украинской философии (П. Юркевич, В. Винниченко, Д. Чижевский и т.п.). Философия для Г. Сковороды – это квинтэссенция самой жизни, поэтому главным в человеке он считал не столько его «теоретические» познавательные способности, сколько эмоционально-волевое состояние его духа, сердце, из которого вырастает и мысль, и чувство. Эта черта роднит философа как с многими давними и современными ему мистиками, так и с более поздними мыслителями, прежде всего с представителями «философии жизни» и экзистенциализма. Характерная черта для философской позиции Г. Сковороды – это широкое использование языка образов, символов, а не четких рационалистических понятий, которым не под силу глубокое раскрытие сущности философской и жизненной истины (Греченко 2002, с. 375-376).

Определяя предмет философии, Г. Сковорода утверждает, что она – жизнь. Философствовать – значит «находиться в одиночестве с самим собой», именно на самопознание должен направлять человек свою жизнь; как собственную мать можно найти дома, так и свое счастье человек приобретает в себе. Цель человеческой жизни – это «внутренний мир», «радость сердца», «прочность души», «веселость сердца». Именно они суть завершение всего добра и высочайшего блага для всех, в том числе и для философов.

Подобно Сократу, Г. Сковорода утверждал: «познай себя», «взгляни на себя». Экзистенциальное расположение духа философской позиции Г. Сковороды выразительно демонстрирует язык его творчества, язык образов, символов, а не четких, установившихся понятий. Показателем в этом плане является особый интерес Г. Сковороды к символической экзегетике александрийской школы (Ориген, Климентий Александрийский), к символике средневекового неоплатонизма, восточных проповедников церкви и украинских полемистов. В связи с этим философия Г. Сковороды является во многом близкой к немецкой мистической диалектике XIV-XVI ст., поскольку обе выходили из общих источников (Бичко 1994, с. 247-248).

Реальность, по мнению Г. Сковороды, не монистическое (идеальное или материальное) бытие, она – гармоническое взаимодействие трех миров: макрокосмоса, большого мира, в котором «живе все породжене»; микрокосмоса, или человека, это «світик, світочок», глубиной своей не уступающий большому миру, а в некотором смысле даже охватывающий последний; символического мира, или Библии. Каждый из

трех миров соответственно являет собой единство двух «натур»: «видимой», «внешней», «теневой» и «невидимой», «внутренней», «светлой».

Макрокосмос в своей «видимой» ипостаси видится как естественный мир осязаемых вещей и явлений, как материя, но на самом деле есть лишь «пустою видимістю», «місцем», «нікчемністю», «тінню» настоящей, но невидимой его «натуры» – Бога. Макрокосмос единый, но единство его специфическое: это «двоє в одному і одне із двох». «Натура» «нерозривна», но вместе с тем «незілляна», то есть Бог является не природой, а ее «джерелом», «світлом», «сонцем». Существование материи является «корелятом» существования Бога, и в этом смысл ее вечности – «матерія вічна» («*materia aeterna est*»). Тем не менее эта вечность – функция вечности божественного бытия, «тінню» которого есть бытие материальное (Греченко 2002, с. 376). «Поки є яблуня, – разъясняет эту мысль Г. Сковорода, – доти з нею і тінь її. Тінь, себто містечко, що його закриває від сонця яблуня. Але дерево вічності завше зеленіє, і тінь його ані часом, ані місцем не є обмежена. Світ оцей і всі світи ... є то тінь Божа. Вона зникає частинно, не стоїть постійно і в різні форми перетворюється вид, ніколи не відділяючись від свого живого дерева» (Сковорода 1983)

Итак, Г. Сковорода признал материю вечной и тем самым отмежевал себя от теории библейского креационизма, которой, с теми или иными отличиями в формулировках, придерживались и Филон, и Ориген, и Августин. Склоняясь в своих утверждениях о вечности материи к материалистической и монистической концепции, он разлагал эти понятия на их противоположности. Определяя материю как негацию, как пустоту, отсутствие, «лишение» всех реальных определений, Г. Сковорода, как отмечает В.Петров, противопоставляет материю форме (идее, виду, образу): материя и форма – это два противоположных естества. Отсюда вывод: материя безвидна и бесформенна, она есть «безобразная грязь» (Петров 2004, с. 591). В своей ирреальности и пустоте, в своем отсутствии меры, числа и границы материя необходима, она необходима как то, что «принимает виды». Она, по глубокому убеждению Г. Сковороды, делает невидимое видимым.

Так же и микрокосмос (т.е. человек) есть единство двух «натур»: «эмпирической» (внешней, телесной) и «внутренней» (настоящей, «истинной»). «Эмпирический» человек, равно как и материя, есть «тьень», «тьма», «тление». «*Ти сновид твоєї дійсності Людини. Ти – риза, а вона – тіло. Ти – привид, а вона у тобі – правда*», «*ти – ніщо, а вона у тобі – істота, ти – бруд, а вона – твоя краса*». Тем не менее микрокосмос не просто сосуществует с макрокосмосом, пассивно воссоздавая его структуру. Человек (микрокосмос) является активным моментом в гармоническом взаимодействии с большим миром (макрокосмосом), так как естество «внутреннего» человека есть Бог. Поэтому сократовский призыв Г.Сковороды «**познай себя**» означает призыв познать Бога. Таким образом, «антитетический» характер философской позиции Г. Сковороды, о котором говорят исследователи его творчества, обозначает, в сущности, диалектичность его позиции.

Человек для Г. Сковороды, по справедливому замечанию М. Возняка, есть ключ ко всем отгадкам жизни: «*Людина – це маленький світик, і так тяжко пізнати її міць, як тяжко у всесвітній машині знайти основу*» (Возняк 1994, с. 88). Кто познает себя, тот поймет Бога, ибо «*справжня людина і Бог – це те саме*». «*Глибоке серце, зрозуміле тільки одному Богові, це не що інше, як необмежена безодня наших думок, просто сказати, душа, це є справжня істота (истое существо) й суца справжність (иста), й сама есенція, й наше зерно й міць (сила), і в ній тільки міститься рідне буття й наше життя, а без неї ми є мертвою тінню*» (Возняк 1994). Поэтому полезно только такое знание, которое увеличивает ценность бытия и повышает качество существования. Мы «*змірили море, землю, повітря, небеса й занепокоїли нутро землі задля металів, розмежували планети, дошукалися гір, рік, міст на місяці, знайшли незчисленне множество невідомих*

світів, будуємо незрозумілі машини, записуємо безодні, завертаємо назад і притягаємо водні течії, робимо щодня нові досвіди», а наша душевная бездна все-таки не заполняется науками, жадность познания не успокаивается, а только возрастает. Чем больше мы занимаемся математикой, медициной, физикой, механикой, музыкой, тем сильнее испепеляет наше сердце голод и жадность, так как все науки – это лишь служанки при господине, а настоящей госпожой является духовная жизнь. Не жизнь для науки, а наука для жизни, но только духовной. И здесь, подчеркивает М. Возняк, Г. Сковорода сделал предостережение, которое в чем-то напоминает предостережение И Вишенского, если принять во внимание время и обстоятельства а именно: *«Я не ганю наук і хвалю найпоследніше ремесло; одно те заслуговує на догану, що, покладаючись на них, занедбуємо найвищу науку, до якої всякому часові, краєві й людині, полові й вікові відчинені двері тому, що щастя усім без вибору потрібне, а цього, крім неї, не можна сказати про жодну науку»* (Возняк 1994, с. 88).

Тем не менее диалектика Г. Сковороды не является объективной в гегелевском (а тем более в энгельсовском) понимании. Это, скорее всего, экзистенциальная диалектика, исходным пунктом которой является (может и неосознаваемо для самого Г. Сковороды) знаменитая сократовская «ирония». Это диалектика того типа, который уже в XX ст. Мы находим у основателя немецкого экзистенциализма М. Хайдеггера (идея человека как «*висвітлювання*» бытия человеческой духовностью, как «*світлового отвору*» в бытии). Эта идея, в сущности, воссоздает одну из центральных идей Г. Сковороды: «*нерозривність*» и вместе с тем «*незілляність*» природы и человека, сущностью которых является Бог.

Г. Сковорода размышляет в типично экзистенциальной манере, изображая разнообразие материально-телесных проявлений «внутреннего» («невидимого») Человека: *«Стань, як хочеш, на рівному місці і накажи поставити навколо себе сто дзеркал вінцем. Тоді побачиш, що єдиний тілесний свій бовван володіє сотнею видів, що від нього одного залежать. А як тільки забарати усі дзеркала, зараз усі копії заховаються у своїм початку, або оригіналі, ніби гілля у зерні своєму. Одначе тілесний наш бовван і сам є лише тінь дійсної Людини. Це створіння, мов мавпа, зображує своїм лицедійним чином повсякчасно існуючу силу і божество тієї Людини, якої усі наші боввани є лише ніби дзеркалоподібні тіні, які то з'являються, то зникають»* (Сковорода 1983)

Сходную ситуацию предлагает через двести лет Сартр в пьесе «Запертая дверь». Исходя из толкования человеческого бытия (экзистенции) как постоянного отражения его чувственно-предметных проявлений, Сартр вместе с тем делает акцент на стремлении человека упрочить свое существование, остановить бесконечное течение энергии, негации предметного бытия, придать своему существованию статус «*твердості*», «*солідності*», «*буття чимось*». Стремление «*бути чимось*» (а я могу приобрести постоянство, «*зовнішності*» существования только в глазах других людей) побуждает одного из героев «Запертой двери» «*утвердити*» себя в своем зеркальном отображении. *«У моїй спальні, – говорит он, – було шість великих дзеркал, я постійно міг спостерігати себе в одному з них... я бачив себе таким, яким мене бачили інші люди, і це постійно тверезило мене»* (Sartre 1947, с. 136).

Самопознание как познание своего божественного естества толкуется Г. Сковородой не в гносеологическом, а главным образом в этико-эстетическом плане. Поэтому образ мифологического Нарцисса толкуется Г. Сковородой как символ Человека (один из основных диалогов Г. Сковороды так и называется: «*Наркісс. Разглагол в том: Узнай себя*»), который любит не просто себя, а Бога в себе. Отсюда толкование Человека как «*безодні*», а «*безднею*» является «*серце*» (Сковорода 1983, с. 120).

Экзистенциальный плюрализм Г. Сковороды раскрывается как принципиально кордоцентрический. *«Голова усього в людині є серце людське. Воно ж і є сама дійсна в людині Людина, а усе інше є зокілля...»*; *«Серце є корінь життя і обитель вогню і*

любові»; *Глибоке серце є не що інше, як думок наших безмежних безодня – дійсне єство і істотна дійсність і сама есенція – і зерно наше і сила, в якій тільки і полягає рідне життя і буття наше, а без неї є мертва тінь»; «Серце – чисте зерно, що проросло і небеса і землю, дзеркало, яке уміщує в собі і живо змальовує усе створіння вічними красами, твердь, що утвердила мудрістю своєю дивні небеса, рука, що тримає в собі коло земне і порох нашої плоті» (Сковорода 1983, с. 121).*

Итак, большой мир (макрокосмос) и Человек (микрокосмос) находятся в состоянии гармонического взаимодействия. Но гармония эта устанавливается не сама по себе, не автоматически, в своей основе она имеет творческую жизненную инициативу человека. Тем не менее существует не единственный способ гармонизации взаимоотношений Человека с миром, таких возможных (и различных) способов много, и каждый может отыскать свой, соответствующий («сродный») своей неповторимости и уникальности, способ жизни в мире. Но непосредственно эти способы репрезентированы Человеку символически. Между макрокосмосом и микрокосмосом существует посредник, третий мир, мир символов – Библия. И здесь, как и в первом и втором мирах, тоже вырисовываются две «натуры» – «видима» (предметная образность символа) и «невидима» (смысл, «розыифровка» смысла символа).

Рассматриваемая со стороны «видимой» своей «натуры», разъясняет Г. Сковорода в трактате «Икона Алквіадская», *«Біблія є брехня і шал Божий не тому, щоб вона брехні нас учила, але тільки у брехні викарбувала сліди й шляхи, що повзучий розум наш возводять до піднесеної правди».* В Библии «в цих брехнях, як у лушпинні, закрилося сім'я істини». Итак, путь к «невидимой» натуре третьего мира лежит через «розыифровку» символов природы «видимой». «Розыифровка» эта, тем не менее, не является сугубо теоретической работой, она охватывает всю сферу человеческой жизнедеятельности, поскольку требует умения видеть за обманчивой внешностью жизненных реалий их настоящий (духовный – этический, эстетический и т.п.) смысл (Бичко 1994, с. 250-251). Поэтому философия толкуется Г. Сковородой как сущность самой жизни, а не какая-то абстрактная теория или схема. *«Філософія або любов до мудрості, –* подчеркивает Г. Сковорода, *– скеровує усе коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, якого голові всього. Коли дух веселий, думки спокійні, серце мирне, – то й усе світле, щасливе, блаженне. Оце є філософія».* (Сковорода 1983).

Библия имеет посредственное значение для философского сознания Г. Сковороды. Нельзя объяснять этого одним влиянием проповедников церкви, так как Сковороду тянула к Библии какая-то непреодолимая тайная сила. У Сковороды *«є три світи: перший – це загальний і мешкальний світ, де живе все, що народилося. Цей світ складається з незчисленних світів і це є великий світ. Інші два – це часткові й малі світи. Перший мікрокосм, або світик, світець, або чоловік. Другий світ символічний, або Біблія. В мешкальному світі сонце є його оком і око ж є сонцем. А що сонце це голова, то не дивно, що чоловік названий мікрокосмом або маленьким світом. А Біблія – це символічний світ тому, що в ній зібрані фігури небесних, земних і підземельних створінь, що були монументами, які ведуть нашу думку в розуміння вічної Природи, втаємниченої в тлінній, як рисунок у своїх барвах»* (Сковорода 1983). Любой из трех миров состоит из материи и формы. Человек есть началом и концом Библии, но человек внутренний, вечный, нетленный. О внутреннем человеке нельзя говорить на языке схематического усмотрения, только языком символического, второго ума. Внутренний человек это не наше внешнее тело, это наша мысль. Любовь тянет внешнего человека к Богу. В этой науке о любви как о силе, которая тянет внутреннего человека к его вечной идее, видит Эрн своеобразный и глубокий синтез Платоновского восприятия Библии. Таким же синтезом является учение Сковороды о внутреннем человеке, поэтому Эрн называет Г. Сковороду христианским платоником, что приближает его к той большой платоновской

традиции в христианстве, которую заслоняет множество больших учителей церкви и христианских мыслителей. Внутреннего человека Г. Сковорода сделал единицей философской меры, и этой мерой он меряет мир, историю, Библию и Бога (Возняк 1994, с. 89).

В этой экзистенциальной ориентированности сквородинской мысли не на узко рационалистические, сциентизированные философские горизонты, а на все жизненные человеческие мысли и чувства, соображения и эмоции, на соотношение абстрактного и образно-символического украинский историк философии Д. Чижевский видит индивидуальную неповторимость философской позиции Г. Сковороды. Отмечая близость сквородинского способа философствования к сократовскому (в литературе нередко встречаем оценку Г. Сковороды как «украинского Сократа»), Чижевский вместе с тем предостерегает от отождествления этих способов. Точнее было бы сравнение Сковороды не с Сократом, а с досократиками, поскольку они, в отличие от Сократа, искали уточнения не терминов, а понятий-образов: «води», «вогню», «повітря» и т.п.. Ведь, продолжает Д. Чижевский, каждый символ у Сковороды не имеет твердого «певно-усталеного, різко-обмеженого значення, а має певну множинність значень, межі значності яких почасти суміжні, почасти перехрещуються, почасти цілком різні» (Чижевський 1988, с. 39).

«Розшифровка» символики третьего мира имеет целью найти соответствующий («сродний», в понимании Сковороды) способ гармонических взаимоотношений с миром. Успех такого поиска и верный выбор жизненного пути («сродної праці») дает счастливую жизнь. Главный источник всех бед человеческих – «несродність» (неумение или нежелание творческого поиска «сродної праці»). «Ори землю або носи зброю, – призывает Г. Сковорода, – роби купецьку справу або художество твоє. Роби те, для чого народжений...»; «Щасливий, хто з'єднав свою приватну справу із загальною. Сіє є істинне життя». Философские взгляды и гуманистические идеалы Г. Сковороды отразились и в его поэтическом творчестве. Сходные мысли находим в сборниках Г.Сковороды «Сад божественных пісней» (Сковорода 1983, с.34), «Басні Харківськія» (Сковорода 1983, с. 86) и в трактате «Разговор, называемый алфавит, или букварь мира» (Сковорода 1983, с. 200) и др. В них Г. Сковорода пропагандировал высокие моральные качества человека, призывал добывать знания и поощрять за добрые дела. Яркую картину тогдашней реальности нарисовал он в знаменитом стихе «Всякому городу нрав и права», слова которого позднее И.Котляревский вложил в уста Возного в пьесе «Наталка Полтавка» (Греченко 2002, с. 377).

У каждого человека свой уникальный и неповторимый способ «сродності» с миром, природой, родным краем. Индивидуальный характер «сродності» и вместе с тем возможность для всех «сродної» работы, как и жизнь в мире, проявляет себя в идее «нерівної рівності». «Бог, – пишет Г.Сковорода, – багатому подібний фонтанові, що заповнює різні за обсягом посудини. Над фонтаном напис: нерівна усім рівність. Ллються з різних рурок різні токи в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менший посуд менше має, але в тому є рівний більшому, що однаково є повний». В концепции «сродної праці» и производной от нее идеи «нерівної рівності» проявляется антеизм философии Г. Сковороды.

Этические взгляды Г. Сковороды базируются также на самопознании, окончательная цель которого – «мистецтво життя». Человек может найти счастье через самопознание. Для этого нужно «жити за натурою», не искажать естественное, удовлетворяться малым. Высочайшим осознанием этого есть «вдячність» как определенный ценностный уровень человеческого бытия, которое распространяется на Бога, родителей, благодетелей. Смысловая последовательность такова: признательность – благочестивость – самоудовлетворение. Задача воспитания – сохранить здоровье и научить признательности. Совершенство человека, основываясь на «мистецтві життя», преодолевает вульгарную привязанность к предметному миру и дает возможность

ощутить разнообразие и богатство бытия, раскрыть вечную общечеловеческую основу собственного бытия (Скотный 2005, с. 208).

В мире Г. Сковороды интересует его двойственность, интересуют две природы – видимая и невидимая. Последняя есть Бог, который *«в дереві є справжнім деревом, у траві травою, у музиці музикою, в домі домом, у наших земнім тілі є новим тілом або, краще, його головою»*. А что такое Бог? *«Найвища істота не має властивого собі імені»* – отвечает Сковорода. *«У давніх називається Бог Всесвітнім Розумом. Він же мав у них різні імена, наприклад Природа, Буття речей, Вічність, Час, Необхідність, Доля. А у християн помітніші такі його імена: Дух, Господь, Царь, Отець, Розум, Правда»*. Два последних имени казались Сковороде более существенными, чем другие, хотя иногда он отдавал предпочтение названиям Природа и Любовь. Бог есть Природа, это все, что родится и существует в мировой машине, и вездесущая сила, которая все одухотворяет; Бог – Любовь, так как в понятие любви вкладываем понимания единства. Бог – это начало всего. Началом называем то, что не имело ничего перед собою, а все, что рождается и умирает, не может быть началом. Начало и конец – это то же самое, что Бог или вечность, так как она, как кольцо, в каждой своей точке имеет начало и конец. Из взглядов на Бога, мир и человека вытекают мысли Г. Сковороды о счастье.

Григорий Сковорода постулирует реформационно-прогностические идеи практической философии. Каждый человек имеет право на счастье. Достижение счастья зависит от самого человека, ведь самопознание подводит субъекта к самоосознанию своей уникальности. Индивид знает свои возможности и способности, которые следует развивать, чтобы выяснить, какой работой он будет заниматься с удовольствием. Счастье – в гармоничности стремлений человека и его реальных возможностей. А компонентами настоящего счастья являются самопознание, истина и сродственный труд, взятые в своем единстве (Діденко 2004, с. 75).

Исходным пунктом мыслей Г. Сковороды о счастье можно считать слова Григория из диалога о душевном покое: *«Ти зі своїми забаганками подібний до верби, що бажає бути в однім часі й дубом, і кленом, і липою, і березою, і хвигою, і маслиною, і дактилем, і рожею, і рутою, сонцем і місяцем»*. Противоречивые желания являются препятствием в постижении счастья. Все мы несчастливы, но счастье для всех возможно, близко и легкодоступно. Счастье не в богатстве и не в здоровье, *«ні у визначнім уряді, ні в тілесних талантах, ні в гарнім краї, ні в славнім віці, ні у високих науках, ні в багатих достатках»*. Оно везде и нигде. Оно подобно солнечному сиянию, надо только открыть вход ему в свою душу. Оно живет во внутреннем спокойствии нашего сердца, а покой – в согласии с Богом.

Врожденность – это тайно написанный божий закон. *«Який солодкий труд, коли він природжений, з якою веселістю гонить за зайцем швидка собака! Яке захоплення, як вона отримає гасло до ловів! Скільки має приємності бджола, збираючи мед! За мед умертвляють її, але вона не перестане трудитися. Солодкий для неї, як мед, і солодший від меду труд. Для нього вона народилася»* (Сковорода 1983). Есть люди, родившиеся для живописи, архитектуры, медицины, но есть также люди, родившиеся для жизни среди книг. *«Хто шпетить і насилує всякий обов'язок?»* – спрашивает Сковорода и отвечает: *«Неприродженість. Хто вмертвлює науки й мистецтва? Неприродженість. Хто знеславив священничий і чернечий стан? Неприродженість. Вона є отрутою й убійником кожному стану. Вчителю, йду за тобою. Йди краще ори землю або носи зброю, займайся купецькою справою або своїм майстерством. Роби те, до чого ти народжений!»* (Сковорода, 1983) Кто не прислушается к тайному голосу своей природы, тот грешит очень тяжело против Святого Духа.

Таким образом, в философии Г. Сковороды доминантные линии украинской мировоззренческой ментальности – антеизм (*«сродність»* Человеку всего мира), экзистенциальность (ориентированность на неповторимое в своей *«окремінності»*)

человеческое существование, плюралистичность и вместе с тем диалогическая гармоничность реальности), кордоцентризм («сердце – всему голова») – впервые приобретают классическую форму проявления. Украинская философия вступает в свою классическую пору.

Г. Сковорода, отмечает В. Скотный, – основатель классической украинской философии. Вместе с тем он повлиял на формирование философской мысли в России. Большинство русских историков философии (А. Введенский, В. Эрн, Э. Радлов, М. Лосский) прямо называют Г.Сковороду «родоначальником русской философии» (Скотный 2005, с. 208-209). Величие Г. Сковороды состоит и в том, что он соединил в себе философа, мудреца, учителя жизни с философским образом жизни.

Литература

- ВОЗНЯК, М. С., 1994. Філософія Сковороди. *In: Історія української літератури*. Львів: Світ, с. 87-92.
- ГРЕЧЕНКО, В.; ЧЕРНЫЙ, І.; КУШНЕРУК, В.; РЕЖКО, В., 2002. Історія світової та української культури. *Підручник для вищих закладів освіти*. Київ: Літера ЛТД.
- ДІДЕНКО, Лариса, 2004. Дуалістичний вимір людини в українській філософії XVIII сторіччя (за поглядами Г.Кониського та Г.Сковороди). *Філософська думка*. № 3. с. 65-76.
- БИЧКО, І. В.; ТАБАЧКОВСЬКИЙ, В .Г.; ГОРАК, Г. І. та ін, 1994. Класична доба української філософії. *In: Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник*. Київ.: «Либідь», с. 246-252.
- ПЕТРОВ, Віктор, 2004. До характеристики філософського світогляду Сковороди. *Хроніка*. Вип. 39-40, т..2, с.587-603.
- SARTRE, J.P., 1947. Huis – clos. *Theatre*. Paris.
- СКОВОРОДА, Григорій., 1983. *Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи*. Київ: Наукова думка.
- СКОТНИЙ, Валерій, 2005. Філософія. *Історичний і систематичний курс*. Київ: Знання України.
- ЧИЖЕВСЬКИЙ, Д., 1988. *Нариси історії філософії на Україні*. Мюнхен, с. 39.

Ivan Kutniak

Drogobych University, Ukraine

THE DOMINATING IDEAS OF THE UKRAINIAN WORLD-VIEW MENTALITY IN HRYHORIY SKOVORODA'S PHILOSOPHICAL HERITAGE

Summary

The article investigates philosophical views and humanistic ideals of H. Skovoroda, the representative of the Ukrainian national philosophical conception; the predominating tendencies of the world-view mentality in his philosophical views are defined; the Ukrainian philosophers' study about Mother is emphasized.

KEY WORDS: predominating tendencies, mentality, atheism, existentiality, cord centrism, macro space, existential pluralism, monistic, being, dialectics, quintessence, symbolic world, the Bible, humanistic ideals.

Inga Litvinavičienė

Vytauto Didžiojo universitetas

Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas, Lietuva

e-mail: ilitvinaviciene@yahoo.fr

M. PRUSTAS. PRAEITIES FENOMENOLOGIJA

Straipsnyje nagrinėjama M. Prusto kūrybai būdinga praeitis fenomenologija, jos reikšmingumas bei prisiminimus iššaukiantys veiksniai tokie kaip autobiografinė faktologija, intucija, atpažinimas, valinga ir nevalinga atmintis. Praeities pažadinimas atsiskleidžia kaip būdas pasauliui suprasti, jo esmiškumui atskleisti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: praeities dimensija, autobiografiškumas, intucija, atpažinimas, laisvųjų asociacijų žaismė, valinga ir nevalinga atmintis.

Marselis Prustas (1871- 1922) dažnai laikomas vienintelio romano „Prarasto laiko beieškant“, kurį pradėjo rašyti jau būdamas 35 metų amžiaus, ir kurį sudaro 7 tomai (šis kūrinys dar vadinamas romanų ciklu „Prarasto laiko beieškant“) autoriumi. Pirmasis tomas - „Svano pusėje“ – išėjo 1913 metais, antrasis – „Žydinčių merginų pavėsyje“ – 1918 m. (apdovanotas Gonkūrų premija). Vėliau pasirodė „Germantų pusė“ (1920), „Sodoma ir Gomora“ (1922) ir, jau išėję po rašytojo mirties, „Kalinė“, (1923), „Dingusi Albertina“ (1925), „Atrastas laikas“ (1927) (Prustas, 1987-1989). Šios knygos, vadinamos autobiografinė išpažintimi, psichologine analize, socialiniu aprašomojo laikmečio dokumentu ar poetine kronika, visų pirma galėtų būti apibūdintos kaip „*vaikai, užgimę ne iš vidudienio ar žmogiško tauškėjimo, bet iš prietemų ir tylos*“ (Robert, 1991, 27), kadangi jose atrandame M. Prustui būdingą kontempliatyvų požiūrį į save ir pasaulį, tikrą kūrybinę gelmę, kuri atsiskleidžia individualios žmogaus sąmonės tyrinėjimuose. Neįgdamas objektyvų tikrovės pažinimą, rašytojas tarsi skelbia vienintelę tiesą, kuri yra kiekvieno žmogaus subjektyviai išgyventa tiesa.

Tad jo aprašoma tikrovė- individualios psichikos atspindys, kuris gali nuolat keistis, priklausomai nuo gaunamų impulsų ir išpūdžių. Prustiškoji psichika atsiskleidžia kaip labai sudėtinga, mobili, nuolat kintanti tarytum registruojanti visus joje atsispindinčius Laiko virpesius. Skirtingai nuo daugelio kitų rašytojų M. Prustą nepaprastai domino Laiko tema, jo tekėjimas, kuris banaliame kasdieniškame gyvenime paprastai nejaučiamas. Norėdamas perteikti šį subtilų Laiko kūną, kuris taip pat gali būti suvokiamas tik individualiai, rašytojas pasirinko atitinkamą stilistinę raišką, ilgus tarsi tekančius ar į begalybę tįstančius sakinius, galinčius perteikti individualios sąmonės sudėtingumą bei laikiškumą: „*Sulėtintas pasakojimas, ilgiausi periodai leidžia pajusti ne tik konkrečių laiko trukmę, bet ir pačius sąmonėje vykstančius procesus*“ (Baužytė-Čepinskienė 1979, p. 383).

Prancūzų tyrinėtoja J. Kristeva prustiškąjį laiką vadina „jautriuojū“ laiku, (Kristeva 1994, p. 10), norėdama pabrėžti ne tik nepaprastai subtilų laiko užrašėjimą, jam suteikiamą galią sutraukti milžiniškas užmaršties skraistes, bet ir galimybę per jį atskleisti sudėtingiausius žmogaus sąmonės postūmus, išgirsti sielos muziką. Šio jautrumo dėka rašytojo sąmonė atsiveria kaip nepaprastai kūrybiška, neįtikėtinai jautri jį supančiam pasauliui, kuris kūryboje dažniausiai atsiskleidžia kaip prarastas pasaulis. Pats M. Prustas jautrumui teikė išskirtinį dėmesį. Jo nuomone, kiekvienas iš prigimties jautrus žmogus, net ir neturintis vaizduotės, galėtų parašyti puikių romanų. O genijų rašytojas apibrėžė kaip tiesiog labai jautrią ir vaizduote apdovanotą būtybę (Kristeva 1994, p. 278).

Daugelis kritikų kūrybinį laiką įprasminimą, atrandamą M. Prusto puslapiuose, siejo su A. Bergsono sąmonės tęstinumo teorija, postuluojančia sąmonės nenutrūkstamumą bei intucijos svarbą. Iš tikrųjų M. Prustas klausėsi profesoriaus paskaitų Sorbonoje, buvo skaitęs jo darbus, kurie jam padarė nemažą įtaką. Tačiau skirtingai nuo Bergsono, M. Prustas neigė „melodingąjį tęstinumą“ (Poulet 1964, p. 397) ir labiau buvo linkęs aprašinėti atskirus laiko momentus,

chronologiškai tarpusavyje nesusijusius, netikėtai išnirusius iš praeities. Kaip teigia kritikas G. Poulet, M. Prustui praeitį prikelti labai sunku, tam reikia ypatingų akimirkų, o Bergsonui tai lengvas ir lėtas slydimas į praeitį. (ibid)

Aptarinėjant Laiko tematiką M. Prusto kūryboje būtina pabrėžti, kad ji daugiausia orientuota į vieną jo aspektą- “prarastąjį”, jau praėjusį laiką, kurį akcentuoja ir romanų ciklo paratekstas. V. Bikulčius pastebi, kad “nesuklysimė pasakę, kad romanų ciklas “Prarasto laiko beieškant”- kūrinys apie praeitį” (Bikulčius 2004, p. 417).

Ši praeities dimensija, mėginimas ją atgaivinti, pasitelkus asmeninius prisiminimus, kurie užrašinėjami naudojant asmeninį įvardį “aš” bei vardą “Marselis” (jis paminėtas keletą kartų) leidžia rašytojo kūrybą priskirti prie autobiografinių kūrinių kategorijos. Knygose besiskleidžiantys nugyvento gyvenimo fragmentai, su tam tikromis išlygomis, padeda geriau suprasti ir Marselio Prusto kūrybinį savitumą.

Nors esė “ Prieš Sainte- Beuve’ą”, išleistoje tik po rašytojo mirties, M. Prustas sukritikavo Sainte- Beuve’o “biografinį” metodą (ibid), teigiantį, kad menininko kūrybą geriausiai paaiškina jo biografija (M. Prusto nuomone, jokia biografija negalinti paaiškinti talento paslapties, kuri ir yra lemiamas kūrybos determinantas), vis dėlto kai kurios M. Prusto gyvenimo aplinkybės neabejotinai paveikė ir jo kaip menininko individualybę.

Būdamas 9 metų amžiaus, būsimasis rašytojas susirgo astma ir visą likusį gyvenimą galynėjosi su šia liga, kuri kamavo priepuoliais ir vertė paklusti jos nustatytai tvarkai. Priverstas daug laiko praleisti lovoje, mažasis Marselis įprato žaisti vaizduotės diktuojamus žaidimus, vėliau pasinerti į ilgus apmąstymus, gyventi kontempliacinį gyvenimą, kuriam peno dažnai teikė viena ar kita kasdienybės detalė, kontempliacijoje apsigaubianti dvasiniu apvalkalu, kurį vėliau rašytojas mėgins perteikti kūryboje. G. Baužytės- Čepinskienės nuomone, “šitos ypatingos gyvenimo sąlygos buvo itin palankios ilgoms meditacijoms [...] Jos išugdė būsimajam rašytojui intensyvią psichinę veiklą, kurią jis ir pasirinko meninio tyrinėjimo objektu” (Baužytės-Čepinskienės 1979, p. 380).

Leisdamasis į dažnai kontempliacinę kelionę po savo praeitį, autorius ne tik ieško ankstesniojo savęs, bet ir, kaip tai būdinga autobiografinėi literatūrai, iš naujo kuria save rašydamas literatūrinį tekstą, pasitelkęs atmintį bei vaizduotę (Lejeune 1975).

Savo kūrybiniuose puslapiuose M. Prustas atskleidžia skaitytojui praeityje patirtus įspūdžius, pasakoja apie vietas, kuriose gyveno, žmones, kuriuos sutiko. Pasakotojo “aš” tampa vienijančia jungtimi, susiejančia labai plačią, į praeitį nukreiptą, gyvenimiškąją medžiagą, kuri be šio “aš” galėtų atrodyti padrika, nes susidedanti iš atskirų momentų, o kartais ir pernelyg nukrypstanti į vieną kurį personažą (pvz. Svaną). Nepaisant tokių nukrypimų, romanų cikle atrandame autobiografiniams kūriniams būdingą nuoseklų naratoriaus tapsmą, atitinkantį paties M. Prusto brandos trajektoriją, kai iš mažo nervingo berniuko, negalinčio užmigti be mamos pabučiavimo, bijančio tamsos, jis išauga į jauną estetą, besilankantį aukštuomenės salonuose ir puoselėjantį kūrybines ambicijas.

Tačiau neabejotinas didžiojo kūrinio autobiografiškumas (romanuose atsispindinti “aš” gyvenimo medžiaga), yra tuo pat metu ir sąlygiškas, jei jam taikytume “autobiografijos” kaip žanro etiketę, kadangi rašytoją domino ne tiek gyvenimo įvykiai, kiek jame atrandami įspūdžiai, be to, kartais autodiegezinis “aš” (Genette 1972, p. 253) pavirsta naratoriumi-liudininku, pasakojime naudojančiu įvardžio “jis” formą ir pasakojančiu apie “kito” gyvenimą (pvz. “Svano pusės” dalis “ Svano” meilė”), tad nesilaikoma autobiografinės triados buvimo reikalavimo, taikytino autobiografijos kaip žanro nustatymui. Kai kurie personažai taip pat yra išgalvoti (pvz. Albertina romane “Dingusi Albertina”) arba M. Prusto vaizduotės perkeisti. Skirtingai nuo mums įprastų autobiografijų, besikoncentruojančių į tikrovišką nugyvento gyvenimo atkūrimą, M. Prusto vaizduotė jo romanuose teka pernelyg laisvai ir nevaržomai. Kalbėdamas apie personažų kūrimo koncepciją rašytojas netgi teigė, kad “*nėra nė vieno, kuriame, atminties įkvėpti, neatsispindėtų kokių šešiasdešimties matytų žmonių ar tai grimasa ar tai monoklis*” (Kristeva 1994, p. 175). Taigi dažniausiai iš daugybės matytų žmonių jis kuria literatūrinės būtybes kaip savo vaizduotės tvarinius.

Šie tvariniai, kaip ir pats naratorius, dažniausiai veikia praeityje, kurią siekiama susigražinti ir atgaivinti kūrybos pagalba. Praeitis yra neabejotinai svarbiausioji M. Prusto kūrybinių laiko dimensija, didžioji vertybė, veikianti kaip priešprieša dabarčiai, dažnai suvokiamai kaip savotiška nebūties būseną, kai „aš“ jau nebėra tasai, kuris buvo anksčiau. Rašytojo kūrybos tyrinėtojas G. Poulet teigia, kad M. Prusto vaizduojamas žmogus jaučiasi nuolat kamuojamas nerimo, kurį jam kelia nuolatinis „aš“ tapsmas kitu „aš“, rašytojo apibūdinamas kaip mirtis (Poulet 1964, p. 371). Kaip tik todėl, kad dabartis nuolat paženklinta šia jaučiama mirtimi, o ateitis tėra niūrios ir niekuo nepateisinamos dabarties projekcija, M. Prustas gręžiasi į praeitį, kuri jau įvykusi, tad nebekelianti grėsmės ir kurioje rašytojas atranda gyvenimo žavesį bei spalvas. M. Prusto kūryboje praeitis tarsi pateisina žmogaus buvimą pasaulyje, suteikia jam prasmę. Leisdamasis į kelionę po praeitį, ieškodamas prarasto laiko, rašytojas tarsi siekia atrasti paties gyvenimo esmę, slypinčią po daiktų ir reiškinių netvariais pavidalais. Kartais šios pastangos atrodo bergždžios, mažai vaisingos arba beveik pavykusios kaip pasakymuose „beveik laimė“ (bendrai M. Prustas linkęs akcentuoti tarsi tarpines, niuansuotas „aš“ psichologines būsenas), kartais, labai retai, jas apvainikuoja sėkmė, kai, atrodo, atsiskleidžia neįtikėtinais platus ir svaiginančiai stiprus pojūčių spektras kaip tame epizode apie biskvitinio pyragaičio madlenos valgyką:

„Ji liepė atnešti man vieną tų nedidelių ir putlių biskvitinių pyragaičių, kurie atrodo nulieti rantytose moliuskų geldutėse. Ir netrukus, prislėgtas niūrių dienos įspūdžių ir nelinksmo rytojaus perspektyvos, aš mašinaliai pakėliau prie lūpų šaukštelį arbatos su įmerktu pyragaičio gabalėliu. Bet vos tik arbatos gurkšnis su pyragaičio trupiniais palietė gomurį, aš krūptelėjau ir suklausau- manyje vyko kažkas nepaprasto. Užliejo neapsakomas malonumas, su niekuo nesusijęs, be aiškios priežasties. Nuo jo visos gyvenimo staigmenos man tapo nesvarbios, o smūgiai- neskaudūs, jo trumpumas – nerealus; tas malonumas veikė mane taip, kaip veikia meilė, jis pripildė mane brangios substancijos: ar gal veikiau ta substancija buvo ne manyje, ji buvo manimi. Nebesijaučiau menkas, atsitiktinis, mirtingas. Iš kur galėjo ateiti į mane šis galingas džiaugsmas? Jutau, kad jis syji su arbatos ir pyragaičio skoniu, tačiau be galo pranoksta jį ir, matyt, nėra tos pačios prigimties.“ (Prustas 1979, p. 41)

Šis patirtos palaimos pojūtis proto tyrinėjimų pastangomis galiausiai atskleidžia savo paslaptį („Ir staiga prisiminimas atgijo“ (ibid, p. 42)) – vaikystės fragmentą, kai teta Leoni jį vaišindavo liepžiedžių arbata ir pyragėliu. Tačiau M. Prusto prisiminimas nėra banalus prisiminimas apie konkrečius vietą ir laiką: jis tampa visos vaikystės, tviskančios spalvomis, kvapais ir skoniais, metafora: „...visa, kas turi kontūrus, kas yra apčiuopiama, - miestas ir sodai – išplaukė iš mano arbatos puodelio“ (ibid, p. 43). Atgaivintas prisiminimas tarytum atskleidžia ir tikrąją prustiškojo skonio bei kvapo esmę, tikrąją jų paskirtį, slypinčią šioje praeities reminiscencijoje:

„Tačiau kai išmiršta būtybės, sudūla daiktai ir nieko iš tolimos praeities nebelieka, skonis ir kvapas, trapesni, bet gyvybingesni, patvaresni ir ištikimesni, ne tokie materialūs, dar ilgai – tartum vėlės – mena, laukia, tikisi ant visa ko griuvėsių, vieni nepalūždami, neša ant beveik neapčiuopiama savo lašelio milžinišką prisiminimo rūmą“ (ibid).

Asociacijų principu panašų prisiminimą padovanojanti atmintis turi beveik antgamtiską galią. Kritiko G. Poulet teigimu, ją būtų galima pavadinti Dievo malone, per kurią artėjama į Išgelbėjimą: „Prisiminimas pavirsta tarsi pagalba iš aukščiau, kuri gali išplėsti iš nebūties“ (Poulet 1964, p. 372). Šiuo atveju atmintis ne tik gali paneigti nebūtį, bet ir tapti prielaida transcendentiniam išgyvenimui, kuriame Laikas nustoja egzistavęs, stoja tyła, pajuntama amžinybė. Ėjimas į Išgelbėjimą – tai buvimas belaikiškoje erdvėje, kurioje laikinumo procesai nustoja veikę. Tokiu buvimu už laiko dvelkia nuostabiau M. Prusto prisiminimai. Tačiau, kaip jau minėta, panašios būsenos labai retos, naratorius jų ilgisi, kartais veltui mėgina iššaukti: „Reikalauju, kad protas vėl įsitemptų ir pabandytų dar kartą sugražinti tą nesugaunamą įspūdį“ (Prustas 1979, p. 42). Aprašytieji momentai atskleidžia tam tikrą M. Prustui būdingą paradoksą:

kūryba siekiama susigražinti prabėgusį laiką, tačiau praeities esmė geriausiai atsiskleidžia tada, kai jis išnyksta.

Kelionė po praeitį neišivaizduojama be atminties veikimo, padovanojančio vieną ar kitą prisiminimą. Atmintis M. Prusto kūrybiniuose puslapiuose gali būti “žmogiška” arba fragmentuota, reikalaujančia valios pastangų, racionalia, arba tam tikra prasme antgamtiška, užklumpančia netikėtai, tarsi netyčia, be valios pastangų kaip valgant biskvitinį pyragaitį. Šių dviejų atminties tipų, valingosios ir nevalingosios, pasireiškimu, kartais samplaika, galima paaiškinti daugybę romanuose atrandamų neišbaigtų, netikėtai nutrūkusių, tinkamai neatskleistų, lyg iki galo nepagimdytų, prisiminimų, kuriems tarytum pritrūko dvasinės energijos, tarsi amžinybė atsisakė juos padovanoti.

Nors daugelio kritikų nuomone, M. Prusto kūrybinis savitumas, jo genialus žavesys, verčiantis mus pamilti praeitį, slypi kaip tik šioje nevalingoje, tai yra spontaniškoje ir nenuspėjamoje atmintyje, kurios laisvas tekėjimas kuria prisiminimo vaizdą tarsi kinų tapyboje ištirpdantį Laiką, vis dėlto prustiškoji atmintis kartais gali būti apibūdinama ir kaip psichologinė, su emocinėmis būsenomis susijusi atmintis, taip pat galinti atgaivinti seniai pamirštą sielos melodiją. Tačiau būtų klaidinga M. Prustą laikyti tipiškai suprantamu psichologiniu autoriumi, kurio kūryboje viskas yra paaiškinama ir turi savo priežastį, kadangi tylos arba kontempliatyvosios amžinybės išgyvenimai, kurie perteikiami rašytojo puslapiuose, paneigia žmogiškąją priežastingumą ir tarsi sutrauko psichologinius ryšius. Fragmentas apie madlenos valgymą negali būti suprantamas vien psichologiškai, nes ir pats naratorius gerai nesupranta, kodėl jis tapo toks laimingas: “*Vėl imu svarstyti, kas toji niekad nepatirta būseną, neturinti jokio logiško pagrindo, tiktai aiškų palaimos ir realumo pojūtį, prieš kurį nublanksta visa kita*” (Prustas 1994, p. 41).

Toks gilus prisiminimo išgyvenimas reiškia iš praeities sugrįžusį gilų įspūdį, kuris jau tuomet, “kitados”, “praeities dabartyje” taip pat turėjo būti pakankamai gilus, kontempliatyvus. Tam, kad prisiminimas sugrįžtų su tokia neįtikėtina jėga, jis turėjo būti stipriai emociškai išgyventas, palikti pėdsaką. Taigi romanuose prustiškoji dabartis kartais taip pat atsiskleidžia kaip prasminga, o ne tik niūri ir bevaisė, primenanti mirtį ar naktį. Tokia patirtis tarsi patvirtina kontempliacinį rašytojo gyvenimo būdą, dabarties momento intensyvumą. Tačiau neįtikėtinas emocinis prisiminimo stiprumas, be abejonės, susijęs ir su kūrybinėmis menininko galiomis, rašymo momento M. Prusto vaizduote bei intuicija. Šis kūrybinis potencialas, atsiskleidžiantis rašymo metu, taip pat kartais užpildo aprašomo prisiminimo “spragas”, kurios galėtų būti apibūdintos ne tik kaip atminties spragos, bet ir kaip nepakankamas dvasinis jau apnešto dulkėmis prisiminimo intensyvumas, kuris, jį iš naujo išgyvenant dabartyje, įgauna nepaprastos gyvybinės energijos, dvasinės pulsacijos, šitaip tarsi praturtinamas.

Prustiškieji prisiminimai dažniausiai nėra psichologiškai analizuojami, o pajaučiami ir išgyvenami intuityviai. Aplinka, daiktai, žmonės yra intuityviai priimami, (arba jų intuityviai ilgimasi) arba atmetami. Pavyzdžiui, M. Prusto antrininkas Svanas jaučia instinktyvų pasibjaurėjimą aukštuomenės vyrų monokliais, kurie romane tarsi tampa viena iš diduomenės ydų metaforų. Pats pasakotojas teigia, kad racionaliomis proto pastangomis praeities neįmanoma prikelti: “...praeitis slypi ten, kur nepasiekia proto galia” (ibid, p. 40). Prisiminimo išgyvenimo metu intuicija kartu su vaizduote viską tarsi susintetina, apjungia dabartį ir praeitį, dabartinį ir buvusįjį “aš”, kurie pavirsta vienu nedalomu junginiu, padovanojančiu naują įspūdį. Greičiausiai intuicija galima paaiškinti tuos paslaptinius ryšius, būdingus prustiškajai kūrybai, kurie užsimezga tarp individo sąmonės ir objekto: intuityviai pasirinktas tas, o ne kitas objektas perkeliamas į sąmonę ir čia, praradęs dalį savo savasties, pavirsta sąmonės dalimi, pačiu individu, kuris, subjektyviai išgyvendamas prisiminimą, mėgina atspėti jo giliają prasmę, diktuojamą tos pačios intuicijos. Pavyzdžiui, poetiškoje romano “Svano pusėje” pabaigoje galima justi intuityvų naratoriaus suvokimą, kad viskas negrįžtamai ir visiems laikams pasikeitė: “*Mano pažįstamos tikrovės nebebuvo. ... Alėja tapo kita*” (ibid, p. 378). *Vaikščiodamas po tas pačias Bulonės miško vietas, naratorius tarsi jas atmeta, atsisako priimti, kaip intuityviai atsisakoma priimti visa kitiška dabartis, kadangi “praradome galią suteikti*

realumo naujiems daiktams” (ibid, p. 377) ir galbūt intuityviai jos kratomės, nesąmoningai kabindamiesi į fetišistiškai išgyvenamą praeitį, nes ji vienintelė galinti sugražinti prarastojo “aš” išpūdžius.

Šiame intuityviajame praeities pažinime, jos prakalbinime, reikšmingą vietą užima “laisvųjų asociacijų” žaismė, kuria remiasi nevalingosios atminties mechanizmas bei “atpažinimo” veiksmas (Poulet 1964).

Pagal laisvųjų asociacijų principą bet koks daiktas, detalė ar praeities išgyvenimas gali staiga iškilti, jei gauna reikiamą dvasinį postūmį, kurį gali iššaukti atitinkamai susiklosčiusios, net ir labai banalios aplinkybės, konkretūs laikas ar vieta, tam tikra naratoriaus būseną, beveik niekada iš anksto nenuspėjama. Materialus daiktas, detalė, išpūdis gali padovanoti arba nepadovanoti prisiminimo, kadangi, M. Prusto nuomone, dvasios judėjimas nenuspėjamas.

Prustiškajame pasaulyje labai svarbus ir “atpažinimo” momentas, praplečiantis laisvųjų asociacijų metodą. Atpažinti reiškia identifikuoti, nes kai atpažįsti, prisimeni, ką jautei konkrečiame praeities momente. Atpažinimas automatiškai nukelia į praeitį. Taip chrizantemos perkelia Svaną į ypatingą būseną, atgaivina meilės pradžių Odetei, netikėtai sugražindamos vieną ar kitą išpūdį, patirto jausmo spalvą; katlėjų žiedai primena pirmąją jų naktį ir virsta slaptąja išimylėjų kalba, reiškiančia seksualinį suartėjimą. Sukrečiantis meilės jausmas atgyja, Svanui išgirdus Ventejo sonatos fragmentą, o jo meilė išiplieskia atpažinus Siksto koplyčios Botičelio freskoje atvaizduotos Mozės žmonos Zeforos veidą Odetėje.

Nors M. Prustas, žaisdamas magiškuosius ritualus su praeitimi (“laisvosios asociacijos” – “atpažinimas” – “tyla” – “amžinybė”) mėgina iššifruoti subjektyvųjį jos laiką, vis dėlto romanuose svarbus ne pats laikas, o iš jo išlaisvinti įvairūs pavidalai bei jų savasties esmė. Prustiška kelionė po laiką tarsi atidaro tas “Tūkstančio ir vienos nakties vazas” (šios pasakos laikomos viena iš rašytoją veikusių įtakų) ir paskleidžia savo slėpingąjį pavidalų bei esmių įvairovę. J. Kristeva teigia, kad iš tikrųjų M. Prustas ieško ne Laiko, o Pasaulio kūno, kurio dalimi ir pats jaučiasi (Kristeva 1994, p. 208).

Praeities tyrinėjimuose atrastas “pasaulio kūnas“ rašytojo kūryboje dažnai atsiskleidžia kaip persmelktas meile, kurią, kritikės nuomone, gali sužadinti tik “jautrusis“ laikas, jautrus ir subtilus visa ko regėjimas. Jautrumas aplinkiniam grožiui, vaizduote atmieštas pozityvusis pasakotojo smalsumas, besiskverbiantis į matomus objektus, atveria supančio pasaulio turtingumą, subtiliuosius jo atspalvius arba trapumą. Netgi vadinamasis blogis (negatyvūs personažų ir reiškinių aspektai) nors ir perteiktas ironiškai, atrodo apgaubtas laiko išgryninto reliatyvumo aura, kurioje nebėra pykčio ar nuoskaudų. Žmogiškų emocijų konfigūracijos dažniausiai skleidžiasi atlaidžios tarsi viską suprantančios išminties šviesoje. Nuo senatvės ir pernelyg uždaro gyvenimo nukvaišusi tetulė Leoni kelia ne pasibjaurėjimą, o geraširdišką šypsnį: “[...] jos(tetos) veide išžiūrėdavome nesavanaudišką meilę žmonijai, lipšnią pagarbą aukštesniosioms klasėms, kurią geriausiuose jos širdies kampeliuose kurstė viltis gauti naujametinių dovanų” (Prustas 1979, p. 48).

Skaitytoją labiausiai ir užburia ši meilė gyvenimui, sklindanti iš M. Prusto parašytų eilučių ir iš praeities slėpinių išlaisvinanti gyvenimo žavesį:

“Takas gaudė nuo gudobelių kvapo. Gyvatvorė atrodė tartum eilė koplyčių, kurių nebematyti pro gudobelių puokštes, sukrautas kaip ant altorių; po jomis, lyg perėjusi pro vitražą, saulė guldė ant žemės šviesos kvadratėlius; gudobelių kvapas sklido toks aksomiškas ir tokios aiškios formos, kad aš jaučiausi stovįs priešais Marijos altorių, o žiedai, tokie pat puošnūs, kaip ir ten, atsainiai laikė žėrinčius savo kuokelių bukietus, tas plonytes spinduliais sklindančias “liepsnojančios” gotikos nervūras, primenančias azūrinę sakyklos rampą ar vitražo tinklą, o čia išsiskleidusias sodriu žemuogės žiedų baltumu” (ibid, p. 123).

Literatūra

BAUŽYTĖ- ČEPINSKIENĖ, G., 1979. Marselis Prustas. In *Marselis Prustas, Prarasto laiko beiškant*, vertė Aldona Merkytė, Vilnius: Vaga.

-
- BIKULČIUS, V., 2004. Prarasto laiko katedra. In *Marselis Prustas, Prarasto laiko beiėškant*, vertė Aldona Merkytė, Vilnius: Vaga.
- GENETTE, G., 1972. *Figures III*. Paris: Editions du Seuil.
- KRISTEVA, J., 1994. *Le temps sensible*, Paris: Gallimard,
- LEJEUNE, Ph, 1975. *Le Pacte autobiographique*. Paris: Seuil.
- PETIT ROBERT, 1991. *Dictionnaire de culture générale*, rédaction dirigée par Alain Rey, Dictionnaires Le Robert.
- POULET, G., 1964. *Etudes sur le temps humain. Nr.4*, Paris: Librairie Plon.
- PRUSTAS, M., 1979. *Prarasto laiko beiėškant*, vertė Aldona Merkytė. Vilnius: Vaga.
- PROUST, M., 1987-1989. *A la recherche du temps perdu*, édition publiée sous la direction de J.- Tadié, Bibliothèque de la Pléiade, 4 vol.

Inga Litvinavičienė

Vytautas Magnus University, Lithuania

THE PHENOMENOLOGY OF THE PAST IN MARCEL PROUST'S FICTION

Summary

The present article analyzes the phenomenology of the past in M. Proust's fiction. This phenomenology is strongly related to the concept of Time as the expression of the individual consciousness and intuition. According to J. Kristeva, time in Proust fiction helps to reveal the subtlest workings of the soul and understand the secret essence of things and phenomena. The unveiling of the secret of time becomes the means to reveal the secrets of the universe. The search of lost time is related to the autobiographical perspective as the narrator searches for his self in it. Memory and the quality of "pastness" are the most important dimensions for Proust as they carry the meaning of life in themselves. The article analyzes the attempts of the proustian narrator to revive the lost time through the play of free association and inter-play between conscious and unconscious memory.

KEY WORDS: phenomenology of the past, time, autobiography, intuition, conscious and unconscious memory, free association, recognition.

Галина Нефагина

Поморская академия в Слупске

ул. Славяньска 6, 76-200 Слупск, Польша

e-mail: Nefgl@mail.ru

ОПЕРА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР РОМАНА Л. ГИРШОВИЧА «ВИЙ», ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ Ф.ШУБЕРТА НА СЛОВА Н.ГОГОЛЯ

В статье с точки зрения жанровых модификаций анализируется роман писателя третьей волны эмиграции Л. Гиршовича. Профессиональный скрипач, он строит свои литературные произведения по законам музыкальных жанров. Роман носит игровой характер, о чем говорит несоответствие заявленного в названии жанрового определения и реальной жанровой структуры. Избранная форма произведения тесно связана с ироническим разрушением героико-романтического дискурса, характерного для советской литературы о войне. Л. Гиршович пытается создать неидеологизированное представление о жизни на оккупированной территории, но сам материал сопротивляется этой утопической попытке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маргинальные жанры, опера, музыкальная тема, условность, декорации, цитатность, автокомментарий, смешение жанров.

В современной русской литературе жанр превратился из явления канонического в маргинальное. В творчестве писателей XXI века практически невозможно найти чистую жанровую форму романа, повести, рассказа. Они существуют обязательно с каким-то «довеском», часто превращающим то, что поименовано, например, романом, в нечто, трудно определяемое с точки зрения жанра. Современные жанровые модификации обусловлены не столько факторами литературной действительности (жанровой эволюцией, синтезом, имманентными законами литературного развития), сколько внелитературными моментами: социокультурной ситуацией, массовыми потребностями, стремлением автора к оригинальности. В литературе происходит не естественный жанровый синтез, а синестезия, то есть выход за жанровые пределы произведения с обретением не свойственных ему от жанровой природы возможностей смежных видов искусства или даже разных искусств. Известны формы филологического романа (мемуары литературоведа, пронизанные литературной критикой – А. Генис «Довлатов и окрестности», В. Новиков «Роман с языком», А. Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» и др.), компьютерного (виртуальная реальность и поведение человека по законам компьютерных игр – В. Пелевин «Принц Госплана», В. Бурцев «Алмазные нервы», С. Лукьяненко «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала», А. Тюрин и А. Щеголев «Сеть»), киноромана (перевод кино – и телесюжетов на язык художественной прозы – А. Слаповский «Участок», А. Белов «Бригада»), винтажный роман (римейк чистых форм, привязанных к определенному времени – Б. Акунин с проектом шпионского, фантастического, детского образцовых романов), роман-шарж, роман-эссе и др. Внелитературным импульсом к появлению новых непредвиденных форм и субжанров иногда является первая профессия автора произведения. Так, автор «Вия» Леонид Гиршович, писатель третьей волны эмиграции, профессиональный скрипач, и его литературное творчество выткано по музыкальной канве.

Л. Гиршович окончил Ленинградскую консерваторию, работал в оркестре Ленинградской филармонии, в 1974 г. эмигрировал в Израиль, а с 1979 г. живет в Германии. По собственному признанию, как писатель сложился в эмиграции, где начал публиковать свои рассказы с 1976 года. Почти во всех его произведениях – «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999), «Суббота навсегда» (2001) – музыка либо объект или мотив изображения, либо структурообразующий

элемент. При этом нельзя говорить о музыкальности как наличии звуковой гармонии в его прозе. Музыкальное образование автора отражается в использовании писателем форм и приемов музыкальных жанров в литературной практике. Особый интерес в этом плане представляет роман ««Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» (2005).

Известно, что вокальный цикл – это группа романсов или песен, объединенных общей тематикой. Почему «Вий», почему слова Гоголя, объяснить достаточно просто. Место действия Украина, точнее, оккупированный немцами Киев, отсылает к Гоголю, и, в некоторой мере, к его более позднему наследнику М. Булгакову (оккупированный то немцами, то Петлюрой, то большевиками Киев в «Белой гвардии»). Возникает и переключка с мандельштамовским Киевом-Виём («Как по улицам Киева-Вия...», написанном в 1937 году о событиях 1919 года), где

*Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки,*

а в романе Л. Гиршовича где еще и «гробы с мертвыми панночками летали по воздуху» (Гиршович Л. 2005, с. 103) в воображении испуганной героини пианистки Валечки.

«Слова Гоголя» – это и цитаты из «Тараса Бульбы», и либретто М. Старицкого, и бытовые, но маскирующиеся под избранно-интеллигентские разговоры об опере «Тарас Бульба», в которых «Гоголь. Этот genius loci одновременно является и гением величайшей из литератур. Да что там! Это левиафан всего мирового океана словесности» (Гиршович 2005, с. 159). Гоголь проглядывает то упоминанием старосветских помещиков, то истории о том, как поссорились из-за пустяка два закадычных друга, то фразой или персонажем «Ревизора» или «Мертвых душ». Гоголевские ассоциации связаны и с именем одной из героинь Л. Гиршовича восемнадцатилетней Паней, которую называют прекрасной панной, панночкой, хотя она имеет очень мало сходства с ведьмой-панночкой из «Вия». Гоголевский дискурс запретной любви-предательства к врагу (Андрей – польская панна) очевиден в истории отношений Пани и немецкого солдата Ансельма.

«Слова» Гоголя, равно принадлежащего русской и украинской культуре, – это прямое указание на реальную национальную принадлежность персонажей романа, на ментальную и вербальную основу «цикла». Но что важнее в вокальном цикле — слова или музыка? Если слова принадлежат жителям оккупированного города, то музыка диктуется оккупантами? И почему тогда музыка Шуберта, а не музыкального избранника рейха Вагнера? Л. Гиршович не пытается задавать загадки сфинкса. В тексте достаточно просто и логично объясняется, что «Вагнер – лишь аляповатая декорация того, чем немцы обязаны Шуберту» (Гиршович 2005, с. 97). В музыке Шуберта наиболее ярко отразился немецкий дух как тесное сплетение романтики и простых житейских ценностей. Шуберт является любимым композитором немецкого главы города Ансельми, который записал в своем дневнике: «Светлое одиночество в смерти, зимний путь солдата – перед этим меркнет зарево Валгаллы. И как бы рыцарственно-суров ни был хор пилигримов, только скорбный мажор «Липы» действительно затмевает десять заповедей» (Гиршович 2005, с. 97). Если принять во внимание, что немецкий романтизм привел в конечном счете к появлению идеи сверхчеловека, практической реализацией которой занялись фашисты, то романтическая музыка Шуберта была предтечей «Гибели богов». И в таком ракурсе «вокальный цикл» именно Шуберта понятен.

Л. Гиршович – писатель «странных сближений». Немецкий офицер Ансельми, лопухий солдат Ансельм, герой рассказа Пани Ансельм (уж не разные ли ипостаси одного и того же романтического героя, берущего начало из Ансельма романтической новеллы Э. Гофмана «Золотой горшок» и вырастающего – или вырождающегося? – в ницшеанско-вагнеровского сверхчеловека) вдохновляются «Липой» Шуберта. Слова О. Мандельштама «Нам с Шубертом–голубою не страшно умереть» повторяются несколько раз, вероятно, как отсылка к героико-романтической интенции вокальных циклов

композитора. Но почему Шубертом спасается и автор, который появляется как действующее лицо только в самом конце произведения? «Не объяснить, что значила для меня эта песня о липе. Все это время я спасался Шубертом, не потому, что с Шубертом не страшно умирать – хотя это тоже. Но с ним не страшно жить. Даже когда жизнь чернее смерти. Львовское гетто. Мой зимний путь» (Гиршович 2005, с. 327-328). Значит ли это, что музыка выше идеологии? И что искусство не повинно в доведении романтической идеи человека-героя, стремящегося к свободе, до сверхчеловека, свободного до абсурда античеловечности? Романтический порыв к свободе духа обернулся закабалением или уничтожением других, не достойных, по понятиям нацистов, свободы. «Предстояло переболеть всеми формами романтизма, чтобы на последней его стадии все повторилось в виде жуткой гримасы» (Гиршович 2005, с. 257).

Жанр вокального цикла требует воплощения одной темы. Роман Л. Гиршовича включает несколько проблемно-тематических узлов. Это жизнь обывателей в оккупированном городе, любовь между врагами (сюжет Ромео и Джульетты с некоторыми существенными поправками), сервильность или сопротивление искусства, роль искусства в сохранении нации, романтизм личного порыва и антигуманность свободы для избранных, добро и зло в планетарном масштабе и в субъективном понимании и др. Большое количество персонажей-солистов тоже не характерно для обозначенного в заглавии произведения жанра. И совсем не свойственны вокальному циклу обращение к истории музыки, комментирование, цитатность. Логичнее предположить, что роман «Вий», вокальный цикл...» Л. Гиршовича представляет собой литературную оперу (как симфонии А. Белого), чему существует немало доказательств.

Прежде всего, «Вий» – это жанр, построенный на условности и игровой основе, а известно, что из всех жанров искусства опера самый условный. Условным выглядит оккупированный Киев, в котором почти ничего не происходит, что прямо говорило бы о войне. Город служит своего рода декорацией, задником в оперном театре Л. Гиршовича. Он мелькнет то уютным зеленым двориком, в котором по утрам умывается из ковшика юная красавица Паня Лиходеева, то звездно-золотыми куполами церковки, то развалинами водонапорной башни, где спрятались после комического нападения на редакцию украинской коллаборационистской газеты якобы комсомольцы, перепутавшие бутылки с горилкой и с горючей смесью. Автор не преминул по этому поводу съязвить: «Чем самим-то выпить, давай пугать. Ну, точно комсомольцы» (Гиршович 2005, с. 20). Упомянутая церковка оказывается важной декорацией, описанной как в оперном либретто. «Это церковь, как чеховское ружье: рано или поздно выстрелит. На первых же страницах мы видим из окна редакции синий в золотых звездах инжир ее купола. И далее она упоминается постоянно, то при ней «пункт роздачи», то там в хоре пела «славу людей твоих Израила» бабка с Подола, к которой непонятным образом вели следы Гайдабуры» (Гиршович 2005, с. 191). Киев именно задник, фон. Действие же разворачивается в декорациях то редакции, то квартиры кого-то из персонажей, то — в основном — в театре оперы, или, как иронично называет ее автор, Великой Оперы. В декорациях почти отсутствуют явные приметы войны. Только намеки, вроде большой грузовой платформы вместо трамвая или нескольких солдат с автоматами у здания редакции, позволяют определить, что время действия – период немецкой оккупации.

Персонажи обладают каждый своим лицом как театральной маской, легко узнаваемы, но почти лишены психологизма. Внутренние страсти и борения всегда находят, как это и происходит в опере, внешнее музыкально-вербальное воплощение. В опере герои выражают свои эмоции в ариях и ансамблях (дуэтах, трио, квартетах). Действующие лица имеют устойчивые характеристики, будто прочитываемые по либретто. Кстати, либретто в опере — это не пьеса, это совершенно иная, условная сущность, сопровождающая музыкальную ткань произведения. Оно как бы очерчивает основные сюжетные линии, точнее, смыслы, и это суть смыслы конгениальные

музыкальным идеям, заложенным в партитуре. Л. Гиршович выделяет несколько сюжетных линий: пианистка Валечка – Лозинин, Валечка – певец Гайдабура, Валечка – Паня, Паня – лопухий солдат Ансельм, и эти линии образуют дуэты. Отдельные арии принадлежат писателю Февру и дирижеру Велькой Оперы, а прежде цирковому капельмейстеру Мюнстеру.

Сущность оперы есть пение, высшие моменты драмы находят отражение в формах арии, которая подобна монологу, дуэта – близкого диалогу, в трио обычно выражаются противоречивые чувства одного из персонажей по отношению к двум другим действующим лицам. Одним из главных персонажей оперы Л. Гиршовича является аккомпаниатор, пианистка Валя Лиходеева. Валечка очень женственное, довольно легкомысленное существо, притягивающее к себе мужчин и не очень сопротивляющееся их домоганиям. Она исполнительница многочисленных ариозо и дуэтов, главным содержанием которых являются заботы о сохранении привлекательности, о судьбе дочери. Это тип маленького человека, которого не интересуют победы или поражения никакой из сторон, безразлично, чья власть в городе. «Валя была честна: русских презирала, немцев ненавидела. Но ей не были даны крылья, чтобы улететь. И оставался Валечке польский вариант: и вашим и нашим за копейку спляшем» (Гиршович 2005, с. 253). Дочери она говорит: «Все зависит от тебя. Нет власти, которая отдает предпочтение уродливым женщинам перед красивыми» (Гиршович 2005, с. 53). Ей важны только ее желания и потребности. Но у каждого оперного героя должна быть своя интрига. Главный режиссер театра Лозинин шантажирует Валечку знанием того, что отцом Пани является Мейерхольд. Страх за жизнь дочери, рожденной от знаменитого еврея, хотя и уничтоженного большевиками, но все еще представляющего опасность, заставляет ее обратиться к подпольщикам, которые требуют от нее убийства не только Лозинина, но и штадткомиссара Киева Ансельми. Эпизод покушения на Ансельми предстает в духе оперы: яркие костюмы действующих лиц, напряженное ариозо Валечки, динамичность событий — выстрел, героический порыв молодого Ансельма, театральное падение обогрванного кровью генерала, бегство и самоубийство Валечки.

Столь же театральной предстает и партия Лозинина, «глубоко параноидальной личности с ярко выраженными сексопатологическими отклонениями» (Гиршович 2005, с. 136). В оккупированном Киеве Лозинин стал главрежем Велькой Оперы, но разочаровался в немцах как в культурной нации. Ощущая себя патрицием, он вынужден быть слугою, потрафлять вкусам новых хозяев жизни. «Он жаждал припасть к святому источнику, полный уверенности, что найдет понимание, — и он его нашел: бочка варенья и мешок печенья. Лижи и служи» (Гиршович 2005, с. 23). Лозинин создает проекты новых постановок, один другого экзотичней. «Тарас Бульба» в его интерпретации «инсценирован с учетом завоеваний национал-социалистической революции», а при необходимости можно из него и антисемитскую оперу сделать (Гиршович 2005, с. 42). «Фиделио» Бетховена он «актуализирует», перенося действие из средневековья в франкистскую Испанию, но когда ему запрещают так ставить оперу, он тут же Испанию заменяет сумасшедшим домом, в котором коммунисты держат политических. Если победит советская армия, то он готов представить остросоциальную оперу «Борис Годунов», в которую, подобно современным режиссерам, Лозинин предполагает ввести образы Ленина, царской семьи, восставших матросов. «В финале оперы на заваленной грудой трупов сцене в живых остается один лишь юродивый — олицетворенная Россия. Поэтому, кроме цепей и вериг, на нем еще сарафан и кокошник. И когда тоненьким голоском поет он: «Плачь, плачь, русский люд...», то ярким светом вспыхивает правительственная ложа с сидящими в глубине Сталиным, Ворошиловым, Молотовым» (Гиршович 2005, с. 194). Либретто демонстрирует готовность Лозинина служить любой власти. Он актер, влюбленный в свои желания и слабости. Уверенный, что «в человеке не может быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (Гиршович 2005, с. 29), Лозинин раз и навсегда выбрал одежду. Он изощреннейший гурман не только в еде, но и

в сексуальных фантазиях, исполнения которых добивается любой ценой. Кульминацией линии Лозинина является дуэт с Валечкой, которая заманивает его к подпольщикам, чтобы убить. Это очень динамичная картина, которая завершается театральным — оперным — самоубийством главрежа. Сцена панихиды напоминает «декорации к третьему акту «Ивана Сусанина» <...>. Вместо поляков <...> кругом теснилась киевская общественность» (Гиршович 2005, с. 280).

Каждый из персонажей романа не тождествен самому себе. Каждый исполняет какую-то роль. Именно роль представлена в ариях и ансамблях. Скрытая же от зрителя натура становится понятной из хоров. Так, основа характера Лозинина, кажется, выпевается хором: честь, месть, сладострастье, гордыня. «И честь, и скромность, и отвага — все это логарифмы гордости. Различие в одном: отвага ни в коем разе не обернется трусостью; скромность обнаглеет в защиту кого угодно, только не самой себя; бесчестных же поступков, совершенных по причине поруганной чести, извините, не счесть» (Гиршович 2005, с. 229). Оказывается, что все внешне столь благородные черты в поведении героя лишь театральные образы.

В опере важную роль играют речитативы и хоры, в которых объясняются происходящие события. Они являются средством донесения до публики сюжета, развития действия. У Л. Гиршовича мелодизированная декламация, основанная на естественных речевых интонациях, каковой является речитатив, позволяет полнее раскрыть то обстановку действия, то внутренние импульсы, двигающие персонажами, то придает иронический модус происходящему. Функции речитатива выполняет, например, описание состояния Мюнстера а преддверие исполнения 9 симфонии Бетховена или рассуждения о действиях оккупантов после покушения на Ансельми. Как речитатив можно воспринимать сообщение Верховного командования германской армии о разгроме армии Паулюса под Сталинградом, вслед за которым сразу же следует отрывок из патристического советского стихотворения: «Они умерли, чтобы Германия могла жить. Вопреки лживой большевистской пропаганде, их подвиг будет служить примером для грядущих поколений. Дивизии шестой армии формируются в настоящее время в новом составе.

*Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь»* (Гиршович 2005, с. 317).

Этот фрагмент демонстрирует принципиальное неразличение идеологизированных стилей и вплетается в основную музыкальную тему.

То хор, то отдельный персонаж постоянно напоминают, что все происходящее условно, что это театр. Полковник в охране редакции выглядит, как «стилизированный Тарас Бульба», «Гурьян, сам декоратор, вдруг сделался декорацией чего-то, вдруг оказался нарисованным» (Гиршович 2005, с. 33). Театральными персонажами предстают директор оперного театра Майнцер и новый дирижер Мюнстер, разыгрывающий в театре грозного монстра, а дома, в семье, выступающий в амплуа «шут гороховый». На фото, подаренном Валечке великим режиссером, красноречиво темнеет надпись: «Все прочее — театр», а это прочее — вся последующая ее жизнь. То один, то другой эпизод представляются Пани как опера, а окружающие ее люди словно персонажи из афишки оперной программки. Молчание окружающих по поводу исчезновения Гурьяна уподобляется молчанию хора. «Сто раз справедливо, что трагедия — это когда гибнет хор, а не герой. Но когда гибнет герой, а хор этого даже не замечает — тут уж черная дыра, спектакль попросту отменяется» (Гиршович 2005, с. 192).

Опера состоит из множества номеров, каждый из которых можно исполнить отдельно, если только это не сквозные линии. Роман Л. Гиршовича тоже может быть разбит на отдельные номера, имеющие свой лейтмотив, свой музыкальный жанр. Так, картина свидания Пани и Ансельма ложится на мелодию сентиментальной песенки или

пасторали. Линия Мюнстера напоминает военный марш, переходящий в цирковой выход. Штадткомиссару Ансельми соответствует немецкая романтико-патриотическая «Стража на Рейне», переплетающаяся с Шубертом.

Основная музыкальная тема в романе – это трактовка Великой Отечественной войны как борьбы двух зол. Не добра (советской страны) со злом (фашистскими захватчиками), а именно равных зол. Писатель пытается создать условный безоценочный мир, где люди просто живут, не решая проблемы добра и зла, предательства, преступления и наказания, где не существует понятия патриотизма. Как справедливо отметила Ф. Гримберг, в современной литературе о войне стало чуть ли не хорошим тоном разрушать традиционный гуманистический дискурс, согласно которому «оккупация — это всегда плохо, против оккупантов надо бороться... Разумеется, соблазнительно все это нарушить, разрушить и на место разрушенного водрузить что-нибудь новое, какой-нибудь всеобщий гуманизм, к примеру» (Гримберг 2006, с. 47). И тогда можно оправдать штадткомиссара Ансельми, который ведь сам не убивал, напротив, любя музыку, способствовал функционированию Киевской оперы; можно понять Скоробогатовых-Лозининых, Февров, которые служили новому режиму не всегда по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств, или Валечек и Панечек, которым просто хотелось жить и, желательно, хорошо. Можно, не принимая сталинизм и его пропаганду, поиздеваться над бабушками-партизанками и комсомольцами-подпольщиками, которые принуждают Валечку стать убийцей немца; можно поставить историю в сослагательное наклонение, убеждая, что не будь террористических актов против оккупантов, не было бы и массовых казней. Однако материал сопротивляется. Персонажи ведут свои партии, но «словно бы повисают в некотором пространстве безвыборности, то есть налево пойдешь – подпольщиком станешь, советской власти присягнешь; направо пойдешь – предателем сделаешься, которого сами же оккупанты и будут презирать. И главное, никакого пути прямо не видать!» (Гримберг 2006, с. 49).

Тема обуславливает среду изображения, тех, кого во Франции называли коллаборационистами, в России – пособниками фашистов. Артисты и служащие оперного театра, сотрудники украинской и русской газет пьют, едят, любят, интригуют в каком-то пространстве, будто вынужденном из ужасов войны. «Каждый из них знал только свой ход» (Гиршович Л. 2005, с. 13). Они безразличны к происходящему на фронтах. Для них нет разницы, киевские ли подпольщики устраивают взрыв (описанный весьма язвительно) в редакции газеты или немцы (кстати, слово «фашист» всего дважды встречается на страницах романа: пытающийся нарушить традиционный дискурс писатель уходит от идеологических концептов) акцию по захвату заложников. Эпизодическая борьба с оккупантами предстает вовсе не в героическом свете, а сами борцы вызывают только отвращение, как физическое, так и моральное, ибо они не честны, способны оставить соратников у врага, насильственно втягивают в борьбу женщин. Если возникает в тексте пафосное «Земля горела под ногами оккупантов», то тут же выливается иронический ушат воды: «Это мальчишки поджигали осевший тополиный пух» (Гиршович 2005, с. 11). Немцы выглядят гораздо симпатичнее и как-то человечнее. Так что же, писатель разделяет идеологическое безразличие своих персонажей? Отрицает полностью традиционный дискурс?

Л. Гиршович предугадывает возможную читательскую реакцию: «Неприятие произведения по принципиально-идейным соображениям – по существу, идейно-нравственным – не способствует росту личных симпатий у читателя к автору. И будь ты даже самый гостеприимный человек на свете, а автор – твой гость, особой симфонии между вами не возникнет» (Гиршович 2005, с. 74). Писатель разумно устраняется из собственного текста. Л. Гиршович неоднократно напоминает, что «все – немножко кукольный театр в прозе», что эпизоды идут, как в оперной программке, что его персонажи – оперные герои. В опере автор как бы отсутствует: существует музыка и музыканты, дирижер, артисты, декорации, но автора нет. Л. Гиршович заявляет «Автор

не отражается в этих зеркалах, а те, в которых бы отражался, – перебиты. Не во что ему больше смотреться, не в ком больше себя узнавать. Что называется, автор умер» (Гиршович 2005, с. 212). По словам критика А. Урицкого, «автору-еврею неуютно в этом городе с разбитой «жидивськой мордой», ему неуютно в собственном тексте, ему не с кем себя отождествить, не с кем откровенно поговорить, и этим неудобством-неуютом он объясняет некоторые особенности своей книги» (Урицкий 2006, с. 129). Значит, самому автору не может быть безразлично, кому принадлежит город. И автор все же отражается хотя бы в крохотном осколке. Он не говорит, он проговаривается или использует игру слов, чтобы таким образом выявить свое отношение. Вот сообщается, что в дарницком лагере возвели Храм на Крови, но умный читатель понимает, что речь идет о храме на крови, реальной крови заключенных. Или в буфете Лозинина «за стеклянной дверцей виднелось несколько горлышек, залитых сургучом, словно это был подвал гестапо» (Гиршович 2005, с. 39), а «Валечкины пальцы с кровавыми крапинками на концах, как у допрашиваемых в гестапо» (Гиршович 2005, с. 112), и читатель ясно представляет зверские пытки в фашистском гестапо. Трудно автору уйти от традиционного дискурса, даже создавая оперный мир.

Точки над *i* расставляются в авторских комментариях. Прием самокомментария, авторской рефлексии играет у Л. Гиршовича роль перевода безоценочного постмодернистского регистра условной партитуры в иной регистр – реалистический и исторический.

Комментарии, с одной стороны, разрушают условность оперы, поскольку соотносят многие реалии произведения с действительностью. Так, некоторые персонажи имеют реальные прототипы, раскрываемые в комментариях (поэтесса Пидвода – вернувшаяся из эмиграции Олеся Телига, Томас Минцлова – Томас Венцлова, отец Лаврентий – киевский священник Алексей, Раиса Яновская – Раиса Окипная и т.д.), или носят фамилии реально существовавших людей (Гайдабура, Скоробогатов). Безоценочная в тексте, картина вызывает вполне определенную оценку, будучи соотнесенной с примечаниями. Так, Л. Гиршович описывает гурманский стол Лозинина: «Кальтес бюффэ: макрель под соусом сациви, лобио из белой фасоли, обержинии по-тифлисски. Ну, зелень, белый сыр, маринованный чеснок. Потом по тарелочке харчо, Дарья разольет в серебряную посуду. И основное блюдо – спесиалитэ де ла мезон: цыплята табака. Десерт простенький, но со вкусом: холодный кисель из отборных полтавских черешен» (Гиршович 2005, с. 24). А в комментариях сообщает, что в период оккупации Киева «в сорок первом — сорок третьем годах немецкое командование в дарницком лагере уморило голодом до семидесяти тысяч красноармейцев» (Гиршович 2005, с. 336). Естественно, отношение и к персонажу, и к «общегуманистической» идее радикально меняется.

С другой стороны, продолжая игру, писатель отмечает, что «автор связан правилами игры и не может взять на себя роль комментатора, обнажающего некий подспудный смысловой пласт» (Гиршович 2005, с. 329). Он, как режиссер в разработке постановки, проясняет лишь некоторые места по своему усмотрению, иногда раскрывая приемы и механизм игры.

Оперное действие развивается внутри оркестрового обрамления. Оркестровые увертюры, прелюдии подготавливают оперного зрителя к восприятию спектакля, хотя тематически не связаны с оперой. Роль такой увертюры в романе Л. Гиршовича играют приводимые сведения о самовоспламенении людей, природа которого неизвестна и никто не знает, как с этим бороться. Оркестровая партия движет действие вперед, звучанием заполняет лакуны либретто. У Л. Гиршовича оркестровая партия состоит из литературных и музыкальных цитат, которые плотно заполняют пространство текста. Основными источниками литературного цитирования являются произведения Н. Гоголя, «Белая гвардия» М. Булгакова, «Пятеро» В. Жаботинского, «Дар», «Лолита», «Ада» В.

Набокова, «Волшебная гора» Т. Манна, «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофмана, поэзия Ф. Тютчева, И. Бродского, О. Мандельштама, К. Симонова. Текст наполнен музыкой Бетховена, Шуберта, Штрауса, Листа, Вагнера, Чайковского, Шостаковича. Все это образует интеллектуальное многослойное пространство, столь же сложное, как оперная музыка.

«Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя» Л. Гиршовича — произведение, построенное по законам и принципам оперы. Такая форма позволила писателю создать условную картину жизни оккупированного Киева, не подчиняясь стереотипам, прямо не оценивая происходящее, и все же давая читателям возможность за внешней «оперностью» увидеть жестокое и страшное время.

Литература

- ГИРШОВИЧ, Л., 2005. *«Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя*. Москва.
ГРИМБЕРГ, Ф., 2006. «Добро» и «зло»: искривление мифа. *Критическая масса*, № 1.
УРИЦКИЙ, А., 2006. *Оправдание музыки*. НЛО, с. 79.

Galina Nefagina

Akademia Pomorska Slupsk, Poland

OPERA AS THE LITERARY GENRE IN L. GIRSHOVICH'S NOVEL "VIJ", VOCAL CYCLE OF SHUBERT ON WORDS BY GOGOL

Summary

The article analyses the novel written by the writer of the third wave of emigration L. Girshovich from the point of view of genre updating. The professional violinist creates his literary works under the laws of musical genres. The novel bears game characteristics which are revealed via discrepancy between the genre definition and the real genre structure. The selected form of product is closely connected with ironical destruction of a romantic discourse typical of the Soviet literature about war. L. Girshovich tries to create non ideological representation about life on an occupied territory, though the material itself resists to this utopian attempt.

KEY WORDS: marginal genres, opera, musical theme, convention, scenery, quotation, the auto comment, mixture of genres.

Elina Naujokaitienė

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas

Ladygos 1-32, 08235 Vilnius, Lietuva

e-mail: enaujokaitiene@zebra.lt

ARCHETIPINIS MODERNIZMO POETAS CHARLES BAUDELAIRE IR POSTKOLONIALIZMAS

Straipsnyje svarstomas teorinis Charles'io Baudelaire'o konceptas bizarre (keistas, kitoniškas, svetimas, įdomus, išimtinis, romantiškas), susijęs su poeto turėta komiško samprata menų srityje, jo ypač vertinta. Istorinėje tapyboje, rašydamas meno kitikos tekstus, modernusis archetipinis poetas mėgino atrasti poetinį elementą ir sulieti jį su komišku. Kolektyvinės pasąmonės modernizmas verbalinių, plastinių, vizualinių menų istorijoje asocijuojasi su nesąmoninga grupine kūryba, art nouveau, ekspresionizmu, fovizmu, naujuoju romantizmu, simbolizmu, impresionizmu, siurrealizmu. Straipsnyje atidžiau išsižūrima į Baudelaire'o ryšius su simbolizmu ir siurrealizmu. Baudelaire'o sarkazmo, splyno, įtūžio, pasibodėjimo, pasišlykštėjimo teorijos lyginamos su Edgardo Allano Poe romantine infernaline triksteriška poetika, saturniška dekadentiška Verlaine'o poezijos nuotaika, „Contes Cruelles“ autoriaus Villiers de L'Isle –Adam antiprogresistiniais satyriniais aristokratiniais mažosios prozos fragmentais, Paulo Forto geografinių folklorinių baladžių, kuriose jaučiamas siurrealistiškojo dérision stygius, sublimacija ir variacija. Atrandama Baudelaire'o istorinio modernizmo sąsają su postkolonijinėmis literatūromis. Svarstomi tokie teoriniai klausimai kaip abstrakčiosios ornamentikos pasirinkimas simbolizme, atsisakant humanizmo tradicijų, egzotinės atmosferos ir tradicijų diglosiška sąveika posovietinėje/pokolonijinėje literatūrų erdvėje. Rūpi dirstelėti ir į aukšto lygio nacionalinės kalbos kodo (prancūzų scenos ir rašytinio teksto kalba) sąveika su vitališkąja mįslingumo tradicija, simbolizuojama italų Da Vinčio kodekso medžiagos. Baudelaire'o sąsaja su siurrealizmu lietuviakalbėje literatūrologijoje ypač menkai tetyrinėta. Šios studijos apmatai ir siekiama nors šiek tiek kompensuoti tokios rūšies lyginamosios literatūrologijos stygių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: archetipas, modernus, siurrealizmas, postkolonijinis, nykus, tulžingas, saturniškas, nekompleksuotas dekadentiškas juokas, aristokratiškas antiprogresizmas, mokslo evoliucija, elitinės kultūros modernizavimas, mėlynos varlės, Mėlynojo riterio simboliai, noktiurniška kaukė.

Vargšų akys (splendeurs inachevés)

Charles'io Pierre'o Baudelaire'o (1821-1867) kūryboje galima atrasti kažką, kas daro jį artimą Dantei. Tas pats modernumas, neviltis, blogis, pasidarygėjimas. Jules Barbey d'Aureville teigia, kad Baudelaire'o raštuose daug kas iš Dantes tekstų. Pasak Leono Bloy, Baudelaire'as buvęs „komplikuotas piktžodžiautojas“ („un blasphémateur compliqué“), nenuolankus ir maištingas, baisus ir nusivylęs, kartais meldęsis tam, kad savo nuodingus ginklus atgręžtų ir prieš save. Michelio Tourneux teigimu, savo pasirinkimu ir interesais Baudelaire'as romantikas, bet jo pagrindai – klasikinė literatūra (būdamas bakalauras buvo apdovanotas už gerą lotynų kalbos mokėjimą). Visą gyvenimą Baudelaire'as siekė perfekcionizmo, visuomet buvo savimi nepatenkintas ir nusivylęs. Jo poezijoje įsitvirtinęs morbidiškumo kultas leido jam per nukrypimus pasiekti didžiausio visiškai literatūrinio rafinuotumo. Magiškos Baudelaire'o gėlės pražydo tolimų civilizacijų šiltnamiuose. Šių gėlių galantiški nuodai („Les Mystères galantes“, 1844) prasiskverbė į visų kultūrų aukšąjį elitinį modernizmą. Kartu su traktatais apie juoką ir pagoniška mokykla, vokiečių operos apologetika, dirbitnio rojaus pašlovinimu ir gotikinės Edgardo Allano Poe novelistikos poetiškomis prancūziškais interpretacijomis („De l'essence du rire“, 1855, „Du Vin et du Haschisch“, 1851, „L'École paienne“, 1852) šis poetas kaip joks kitas

tapo archetipiniu modernizmo atstovu. Jis sugebėjo džiaugsmingai puoselėti isteriją ir kartu žvelgti į ją su pasibaisėjimu.

Teoriniai veikalai, skirti modernizmo problemoms, fundamentalia laiko Baudelaire'o figūrą. Modernizmo kontekste (simbolizmas) apie Baudelaire'ą rašoma šiuose darbuose: Gerald Froidevaux „Baudelaire, représentation et modernité“ (1989), Antoine Compagnon „Les Cinq paradoxes de la modernité“ (1990), Pierre Brunel „Baudelaire et le „puis des magies“, six essais sur Baudelaire et la poésie moderne“ (2003). Estetinė modernizmo sąvoka, taikoma makroperiodui, ganėtinai dvilypė. Ji taikoma originalioms viduramžių, renesanso, naujųjų laikų asmenybėms (Dante, Shakespeare'as, vokiečių romantikai). Baudelaire'as – poetas ir meno kritikas, susijęs su svarstomomis meno filosofijos, estetikos pabaigos, fatališko grožio problemomis. Svarstant Baudelaire'ą vartojami terminai *inconscient esthétique* (estetinis nesąmoningumas), *l'absolue littéraire* (literatūrinis absoliutas). Anksčiau Schopenhaueris, o vėliau Nietzsche atsisakė baigiančių išblukti estetinių teorijų ir pasirinko apoloniškumo bei dionisiškumo meninį poliariškumą. Šiuolaikinė prancūzų filosofo Deleuze'o metafizika yra antireprezentacinio pobūdžio. Viduramžių rankraščiai, žvelgiant į juos šiuolaikinėje šviesoje, atrodo tarsi ironiškos ir keistos, fantastiškos (*drôlatiques*) „marginalijos“. Baudelaire'o literatūrinis diskursas atrodo tradicinis ir kartu modernus. Apie tai daug rašyta prancūzų kalba. Tačiau tebejaučiama literatūrinių sintezių apie Baudelaire'ą, parašytų lietuviškai, stoka. Savo straipsniu kaip tik ir bandysiu šiek tiek užpildyti tokią spragą. Nauja mano straipsnyje tai, jog Baudelaire'as analizuojamas modernaus archetipinio poeto estetikos struktūros aspektu.

Les dames riant au faucon (moteriška Baudelaire'o plunksna)

Charles'is Baudelaire'as laikomas novatorišku ir provokuojančiu poetu visame pasaulyje. Jo subtili išvaizda, pavojingas jo poezijos skleidžiamas kvapas kai kuriuos poetus privertė galvoti, kad jis Dievas (Rimbaud rašė: „le vrai Dieu“ – „tikras Dievas“), o surrealistai pripažino jį ne tik kaip dekadentiškos linijos atstovą (Huysmans) bei simbolistų mokytoją (Ghil, Moréas), bet ir kaip surrealistinį poetą (Bretonas: „le premier surréaliste“ – „pirmasis surrealistas“). Antroji poeto motinos santuoka Baudelaire'ui buvo tikra gyvenimo tragedija – jis buvo priverstas pasibaisėti įsitvirtinusiomis buržuazine disciplina ir morale bei religija. Dėl jam inkriminuojamos kaltės – kelių poezijos pasažų – poetas ėmėsi atkirčio: parašė pamfleto „Vargšė Belgija“. Kaip ir anglų romantikas Thomas de Quincey jis kentėjo nuo nepakeliamo galvos skausmo – „galvos reumatizmo“ – ir vartojo opiumą. Kaip tikras modernistas buvo pasinėręs į prakeiktą ir platoniską meilę, mėgavosi uždraustu geidulingumu (homoseksualumas, sadistiniai malonumai). Ekstazę ir malonumus, kaip ir Jėzus Kristus, jis bandė atrasti buržuazinėje moralėje.

Tamsusis romantizmas, klasikinė aleksandrino faktūra, Dievas-Šėtonas, „supuvę lubos“ („plafon pourri“ – *Spleen*), niekšiški vorai, rezgą tinklus virš mūsų protų – visa tai susipina pagiežos, *spleeno* poetikoje. Virš Baudelaire'o poezijos iškelta šiurpą kelianti Išgaščio – *Angoisse* – juoda vėliava, ženklinanti klajojančią dvasią, tėvynę praradusį herojų: „Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées/ Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux“. („*Spleen*“). Eilėraštyje „*Bénédiction*“ („Palaiminimas“) poetas rašo, kad romantikas visada arčiau Dievo – jis gyvena žmogiškosios bendruomenės marginalijose.

Laikui bėgant kinta Baudelaire'o stilius: „Mažosiose poemose proza“ jis atsisako ankstesnės *blogio gėlių* magijos, pasirenka sugestyvią pesimistišką kalbą. Savitas ir Baudelaire'o meno kritikos stilius. Jo tekstai, skirti Ingrui ir Delacroix, parašyti kaip eiliuotos ir prozinės fantazijos, kur dažnas Korsaro-Šėtono įvaizdis. Baudelaire'o raštuose dominuoja katalikiškos tendencijos ir aristokratiškas skonis, bet kai kurios jo poemos pelnė pasmerkimą, už jas sumokėta triguba bauda. Tai: „Lesbos“ („Lesbietės“), „Femmes damnées“ („Pasmerktos moterys“), „Le Léthé“ („Letė“), „Á celle qui est trop gaie“ („Skiriama tai, kuri buvo per daug linksma“), „Les Bijoux“ („Papuošalai“), „Les Métamorphoses du vampire“ („Vampyro metamorfozės“). „Modernioji tapyba“, „Mylimos moters katekizmas“, „Lesbietės“ – meno kritiko plunksnai prisikiriami Baudelaire'o tekstai. Vieną iš parodų analizių Baudelaire'as įvardija kaip „Žaisliuko moralę“ („Morale du joujou“, 1859 metų *Salonas*). Jo kūryboje nelengva atskirti

akademizmą, mistifikaciją, kuklumą ir padorumą, akibrokštą, geidulingumą, nebūties prabangą. Šeši Baudelaire'o eilėraščiai, darę žalą viešajai moralei, iš „Blogio gėlių“ buvo pašalinti.

Tais pačiais metais teisminį skandalą sukėlė ir Gustave'o Flaubert'o garsusis romanas „Ponia Bovari“. Ta proga Baudelaire'as rašė apie Flaubert'ą. Jis pastebėjo, kad šis rašytojas turi „seną sielą“, jis priklauso vėluojantiems autoriams, bet turi paradoksalaus žavesio. Teisminę procedūrą Baudelaire'as pavadino „knygos holokaustu“. Jo nuomone, ir nekankinama knyga visuomenėje būtų sukėlus tokį patį pagyvėjimą. Baudelaire'as kritikuoja kupiūruotas Flaubert'o publikacijas, netekusias bet kokios harmonijos. Beje, jis pastebi, kad liūdesys, pasidygėjimas, istoriškumas, groteskas, siaubingumas -- būdingi Flaubert'o stilistikai. Tačiau iškalbos viešoji erdvė ne tokia jau beribė – entuziazmo biudžetas nuolatos mažėja. Nervinga, tapybiška, subtilų, tikslų stilių, pasak Baudelaire'o, niokoja realistinis banalumas. Beje, provincializmas nėra toks jau patrauklus dinaminio teksto kūrėjui, kuris rinktųsi analizę ir logiką. Baudelaire'as išvelgia slaptas skandalingojo Flaubert'o romano savybes: Bovari likusi dzeusiška androgine, o po provincializmo šydu Flaubert'as paslėpęs lyrizmą ir ironiją, būdingus šventojo Antano gundymo temai (Flaubert'o virtuoziškumą išvelgti pajėgūs tik poetai bei filosofai)... Ponia Bovari Baudelaire'ui rodosi apdovanota vyriškomis savybėmis, tai savotiška minotaurizuota, likantropiška moteris. Flaubert'ui pavyksta perteikti buržuazinės fikcijos pandemonišką vienatvę, nabukodonosoriškos puotos atmosferą. Moralė autoriaus nėra sutelkiama jokiam personažui, o išvadas galima pasidaryti iš išvadų. Beje, pati Ponia Bovari yra vienintelis herojus, apdovanotas herojui būdingu gracingumu. „Ponios Bovari“ buržuazinė fikcija Baudelaire'ui atrodo ganėtinai moderni, o joje vaizduojama moteris -- intelektualė.

Moterys vaisių ir obeliskų galvomis

Buržuazijos įsitvirtinimą Prancūzijoje XIX a. atspindi ir poezija. Baudelaire'o patėvio Aupicko atveju – tai karjera nuo pulkininko iki generolo ir Prancūzijos ambasadoriaus Konstantinopolyje, Londone, Madride. Charles'io Baudelaire'o eilėraščiuose dominuoja vaizduotė užvaldęs kylantis judesys – vertikalė, simbolizuojanti dvasingumą. Tai gali būti angelas, menininko mistiškumas ir genialumas. Ši tema oponuoja „degančio lūpų pergamento“, „mirtinų nuodų“ (*miasmes morbides*) įvaizdžiams, žemės ir kritimo į nebūtį temai. Splynas (tulžis) ir laikas atspindi kovą tarp idealo ir melancholijos. Ši tema sujungia visą *Fleur du mal* („Blogio gėlių“) poetiką. Beje, rinkinys sumanytas kaip poetiniai meno kritikos eskizai ir pradžioje vadinosi „Lesbes“, vėliau gavo pavadinimą „Limbai“, o tik dar vėliau – „Blogio gėlės“. Angeliškos vertikalės įvaizdžius papildė miesto, vyno, pasipriešinimo ir galutinės kelionės (mirties) tematika. Už šių tipiška romantinės stilstikos apmatų ryškėja būsimieji simbolizmo bruožai. „Korespondencijose“ atsispindi ne vien analogiškų percepcijų deskripcija. Kartu tai -- paslaptina sistema, apimanti pojūčius ir sielą – tai, ką gebėjo suprasti poetas. Parfumerija ir paryžietiška prieblanda atskleidžia pojūčių sferą, kurioje slypi morbidiško išgaščio nuojauta. Ekstazė ir pasibaisėjimas, vyraujantys Baudelaire'o kūrybiniame kelyje, daro jį prestižiniu moderniu poetu, rašiusiu laikotarpiu, kuris apima simbolizmą ir siurrealizmą. Baudelaire'o bičiuliais buvo Th. de Banville'is, G. Levassesseuras, Jules'is Buissonas, Emile'is Deroj. Fatališka moteriškumo ir dirbtinumo tema, liguista įtampa, ekscentriški pokštai, tokie kaip hašišas ir vynas, suteikia Baudelaire'ui galimybę verbališkai, žodžiu kurti estetinius atitikmenis, multiplikuoti savąjį „aš“.

Gyvendamas kaip *dandys* bei estetas, Baudelaire'as iššvaistė nemažai pinigų, įsigijo ekscentriškų, brangių meno kūrinių. Dažnai lankėsi pas Theophilą Gautier, abu „susigiminiavo“ dėl potraukio prie hašišo. Toliau ėmėsi meno kritikos, nes trūko pragyventi iš literatūros. Daugiausia Baudelaire'as skyrė laiko Edgaro Poe vertimams, kurio tekstuose regėjo tą patį kenčiančios sielos atvaizdą. Kitas Baudelaire'o pasirinkimas – anuomet naujas mažosios poemos proza žanras. Tokio prozinio poetiško rašymo modelį Baudelaire'as atrado Aloysius Bertrand'o (1807-1841) kūryboje. Pomirtinis rinkinys apie magišką naktį („Gaspard de la nuit“, 1842) suderina lyrikos ir naracijos ypatybes, būdingas hugoistiniam romantizmui. Daug kas į poeziją perkeliama iš tapybos – Rembrandto ir Callot. Tai dėmesys „keistumui“ („bizarre“), kurį

Baudelaire'as vertino labiausiai, beje *bizarre* labai paveikė siurrealistinę poetiką. Tai, kas menuose keista ir komiška, Baudelaire'ο buvo sujungta su tuo, kas modernu. Siurnatūralistinis istoriškai poetinis tapybinis modernus viduramžiškumas Baudelaire'ο tekstuose priminė efemeriškas madas, judrų Paryžiaus gyvenimą, drąsius tapybinius modernisto Monet eksperimentus...

Goinfrerie (maisto be delikatesų kultas) ir ladinė panacėja

Modernumo ir modernizmo konceptas siejasi su amžių sąvartomis: patogumo dėlei besimokantiems lengviau suvokti meno istorijos raidą per ankstesnių šimtmečių sandūras. Baudelaire'as rašė XIX a., bet jo stilsitika artima 1900 metams, kurie tikrai reiškė kažką naujo. Atsirado poetika, kuriai pavyko apeiti aristokratiško efemeriško *art nouveau* stilių, kuris buvo snobiškas ir dvelkė estetizmu. Radosi ekspresionizmas su savo atšaka fovizmu (*fauvisme*) Prancūzijoje ir Vokietijoje: dailėje. Žurnalo *Der blaue Reiter* grupė vienijo europinę estetinę, mintį, kreipė ta pačia linkme. Ekspresionizmui atstovaujantys jauni žmonės turėjo bendrą *art nouveau* paveldą (nenatūralistiniai, dekoratyvūs raštai). *Art nouveau* būdingas šiek tiek lėkštokas buržuazinio vidutiniškumo skonis. Matisse'as savo drobėse pratęsė bodlerišką „prabangos, ramybės ir geismingumo“ poetinę filosofiją. Modernusis humanizmas siekė aprėpti laukinį šėlsmą, ekspresionistinį deformuojantį riksmą. Polinkis į abstraktumą leidžia išryškėti nonfiguratyviam žmogiškumo aspektui.

Baudelaire'ο rašymo maniera įkvėpė prancūzų simbolistus, daug reikšmės archetipinis modernizmo poetas turėjo „simbolistų princui“ Paului Fort'ui (1872-1960). Fort'as lankėsi *café Voltaire*, bendrame simbolistų kvartale. 1890 m. jis įsteigė „menų teatrą“ ir žurnalą „le Livre d'art“ („Meno Knyga“). Jo santuokos liudininkais buvo Mallarmé ir Verlaine'as. Jo rašymo registras apima fantaziją bei grynąją poeziją. Prancūziškų baladžių intonacijos artimos simbolistinėms. Jis prikelia Villono XV a. įamžintą pustrufę. Fort'as atmeta pernelyg koduotą XIX a. prancūzų baladės struktūrą, bet išsaugo jos istorinę tematiką. Tobulai rimuoti aleksandrinai limituoja įkvėpimą. Verbalinė Fort'ο kūryba apima visą moderniosios prancūzų poezijos kodeksą, visus jo registrus: nūnai nepopuliarių prancūzų provincijų geografizmą ir folklorizmą, rableistinę inspiraciją, „mėlynosios varlės“ poetiką („grenouille bleu“). Prancūzų literatūrologas C. Gambotti įsitikinęs, jog simbolistų naivi ramybė apėmė visą poetinį entuziazmą, bet neautorizavo paniekinamo juokavimo (siurrealistinio *dérision*).

Baudelaire'ο modernumo, vaizduotės, romantiškumo ir amžinumo samprata artima teoriniams Karlo Gustavo Jungo postulatams, sapno ir archetipo bei vaizdinio deskripcijai. „Vaizdiniai, sukurti sapnuose, yra kur kas turtingesni ir gyvesni nei sąvokos ir patyrimai, kurie yra jų atitikmenys gyvenime. Viena priešasčių yra ta, kad sapne šios sąvokos gali išreikšti savo sąšamoninę reikšmę. Savo sąšmoningose mintyse mes neperžengiame racionalių teiginių ribų – teiginių, kurie daug mažiau spalvingi, nes mes apvalėme juos nuo daugelio psichinių asociacijų“. (3, 33). Siurrealistinė sapno psichoanalitinė poetika tik pratęsia modernius romantikų ir modernizmo eksperimentatorių atradimus. André Bretonas „Siurrealizmo manifeste“ griežtai kritkavo realistinį pozityvizmą, tokius realybės tyrimus, kurie užsisklendžia personažų, vietos ir situacijų aprašymuose. Bretonas tvirtino, kad realybės vizija yra subjektyvi, o mes esame priversti galvoti ir tikėti, kad realybė vienareikšmiška. Informatyvusis realistinis romanas, pasak Bretono, nieko nepasako apie žmogų. Jei bloga poezija tėra paprasčiausia mistifikacija, tai romano žanras apskritai yra mina realybės lauke. Bretonas rašo: „... les impératifs stérilisants de la logique ignorent le désir polymorphe qui, cependant, organise toute la vie secrète de l'homme“ („...sterilizuonatyvūs logikos imperatyvai ignoruoja polimorfišką geismą, kuris vis dėlto slapčia struktūruoja visą nematomą žmogaus gyvenimą.“, (1, 38.) Šiuolaikinio prancūzų siurrealizmo viršūnė – Julieno Gracqo tekstai.

Vargšas pasaulis prie sienos (pauvre monde sur la mur)

Baudelaire'ο alegoriniai sielos peizažai turi bendra su modernistinės tapybos neoplasticizmu. Neoplastinėje tapyboje medis gali būti mėlynas, realybė natūrali arba abstrakti. Mondriano sąšamonės metamorfozės giminingos bodleriškoms. Nyderlandų dailės teoretikas Mondrianas (Piet Mondriaam, Pieter, 1872-1944) atkreipė dėmesį į tai, kas mene trapu ir lankstu.

Peizažuose vyraujančia padaro asmeninę spalvų gamą – violetinę, kreminę, pilką. Jis sugebėjo suderinti teosofines ir simbolistines meno tendencijas. Savo estetinėms abstrakcijoms, geometrinėms peizažinėms kompozicijoms dailininkas suteikė etinį matmenį.

Kitas Baudelaire'ui artimas priešingybių aljanso pavyzdys – prancūzų simbolistas Paulis Verlaine'as (1844-1896). Šis poetas pradėjo publikuoti savo poeziją žurnale „La Revue de progrès moral“, kuris vėliau buvo sustabdytas dėl žalos religinei moralei. Verlaine'o „Gwynplaine“ kompleksas (Hugo žmogus, kuris juokiasi) apčiuopiamas ir vėlesnėje jo poezijoje („Ballade en l'honneur de Louise Michel“); čia ryškėja ironiškas komunariškų kompromisų lėkštumas. Savo saturniško sukirpimo eiles Verlaine'as rašo derindamasis prie ilgalaikės Baudelaire'o tradicijos („Le livre saturnien, orgiaque et mélancolique“). *Melancholiška, saturniška* knyga sustiprina ambivalentiško poetinio kalbėjimo perspektyvą, siejamą tiek su Düreriu, tiek su Edgardo Allano Poe *Nevermor*. Baudelaire'o komiškumo ir *bizarre* kultas turi visas splyniškos inspiracijos žymes Verlaine'o poezijoje. Modernizmo melancholijos/komiškumo žyme paženklintoje Verlaine'o poezijoje įvyksta apmaudžios skyrybos tarp Veiksmo ir Svajonės, Harmonijos ir Jėgos. Noktiurniška Verlaine'o kaukė („masque nocturne“), iš kurios jis pats pasišaipto, primena Nervalio ir Gautier rašymo manierą. Saturno urnų ir mėnesienos įvaizdžiai be jokios abejonės antologiškai, žymintys romantiškai užvualiųotą proto aiškumą. Komiškumas, noktiurniškumas – jų išvirkščioji pusė – pagieža ir haliucinacijų karštinė (*cafard*). Neveltui knygos apie Baudelaire'ą (*La Seconde esthétique de Baudelaire*, 1986) autorė Martine Bercot pastebi, kad noktiurniška paties Baudelaire'o poezija išnaudoja visai kitokias poezijos galias ir idėjas nei magiškų literačių, merginų menininkių metafora. („Si Baudelaire tient si manifestement son livre pour fini, c'est aussi qu'il a d'autres projets, dont l'un, baptisé dès avril 1857 *Poèmes nocturnes*, l'orienté vers l'exploration d'une autre idée et d'un autre pouvoir de la poésie“). (2, 22) Asonansų akumuliacijos ir lipogramos, garsų asambliažai Verlaine'o tekstuose – podraug su „plepiais“ skliaustais ir klastos **Itaka**. Verlaine'as tulžingai pašiepia savuosius „bežodžius romansus“ („les romances sans paroles“), plėtodamas hugoistinio romantinio „besijuokiančio žmogaus“ kompleksą. Ne vien karikatūrose sutinkamas oksimoroniškas nesantaikos sutaikymas. Rašymo modeliu tampa „galantiškų švenčių“ stilizuota išmintis (*la sagesse*). Liūdnoji „Išmintis“ – ne kas kita kaip „melas“, grimu nupiešta vaikystė, vienintelis belaisvio malonumas, skausmingas atostogavimas. Claudelis buvo įstikinęs, kad Verlaine'o pomėgis žongliruoti sugadina net geriausius jo eilėraščius. Pamaldžiausias Verlaine'o tonas atrodo nenuoširdus, o jis pats atvirai „laimina“ net tai, kas su religija neturi nieko bendra. Sunkiai sveria ir antikiniai bei viduramžiški paveikslai jo eilėse. Šiek tiek dar jaudina alegorijų grožis bei vandens virpesiai pasikartojančiuose refrenuose iš serijos „Mon Dieu m'a dit“ („Mano Dievas tarė man“). Ar Verlaine'as svajoja apie kaukę, plaukdamas į Sodomą ir Gomorą? Šiam poetui kur kas atimesnė tapybinė Watteau kaukė, fantastiško persirengimo simuliakras. It parodijos moljeriško *Précieusité* stiliumi nuskamba visos dainos vienai Jai, kuri, suprantama, -- anonimas. Juokinga Verlaine'o rimtis ir rimtas komiškumas rodo ypatingą jo vietą artistizmo istorijoje.

Mėnulis ir kaprizai, sušvelninantys širdį (ammolir le coeur)

Verlaine'ui buvo vis viena vieta, kurioje jis gali būti sukompromituotas arba susikompromituoti. Tad stvėrėsi bet kokio „dekadizmo“, gaivindamas dekadentiškas fantazijas. Būtent Verlaine'ui priklauso žodžiai: „Je suis l'Empire à la fin de la décadence“ („Aš pats esu dekadanso saulėlydžio Imperija“). Sonetų parodijos rodo Verlaine'ą esant ne ką kitą kaip juokingą dekadanso vėliavnešį, kuris dar mėgaujasi nerūpestingais akrostichais. Satirikoniškasis Verlaine'o geidulingumas, pridengtas meilės vergovės apsiaustu, buvo rimtai įvertintas Verlaine'o amžininkų, ypač muzikų. Greitai Verlaine'o poezija tampa pianinu atliekamomis elegijomis, praradusiomis bet kokį tapybinį elementą. Poetiška *Dichterliebe* dar nenumitinta, ir kai kur dar turi visas grynojo lyrizmo dovanas. Kaimo valkata ir burtininkas, modernusis Verlaine'as, nepateko į Prancūzų akademiją, bet duris jam atvėrė poezijos Principatas. Verlaine'as išverstas net į vengrų bei japonų kalbas, ir tik paradoksas gali pateisinti

tokį nepaaiškinamą jo tekstų paplitimą. Pusiau skandalingas „prakeiktasis“ (kaip ir Rimbaud bei Poe) net poezijos rinkinių tekstuose kankinamas prozinio vidutinybių tiko.

Bodleriškos ironijos analogas atrandamas Villiers de l'Isle Adam (1838-1889) „Baisiose pasakose“, primenančiose ir Edgardo Poe stilių. Antai novelėje „Machne á gloire“ („Šlovės mašina“) (1883) šlovė vaizduojama kaip vieno barono išradimas, primenantis rožės krūmą, savaimė auginantį rožes. Garsaus fiziko aparatas tiekia garbę, ją fabrikuoja, pagimdo. Visa tai – organišku ir neišvengiamu būdu. Tik nereikia jos trokšti: nes norima pabėgti, ir tai jus persekioja“ („Elle vous en couvre. N'en voulu-on pas avoir: l'on veut s'enfuir, et cela vous poursuit“) (p.100). Mat esama negianalių dramatinių autorių, kurie pavydziai, prieš rūšies valią, geidžia Shakespeare'o mirtų, Skribo akantijų, Goethes palmių ir Molière'o laurų. Sublimuotas šlovės mechanizmas yra fizinė priemonė, turinti intelektualinę tikslą, uždavinį. Šlovės mašina pajėgi pašiepti ir net išjuokti pačias sakraliausias tradicijas. Garbės mechanizmas primena dūmus ir garą. Tik kilmingas poetas atsakytų, jog Garbė – tai vardas, kuris pražįsta atmintyje. „Garbės ir Pinigų“ („L'Honneur et l'Argent“) autorius, vaisingas dramaturgas, komplikotas Scribe'o protas bei gundančiai genialus dramaturgas priverstų nusišypsoti mūsų tėvus. Jo autorizuota plunksna sveria kaip auksas. Šio rašytojo tekstų skaitytojais taip pat pajėgūs suvokti Komunikatyvias Ašaras, tabokinių Girgždėjimą, tylias Ašaras, Pavojus, Karūnas, Įsitikinimus, Moralines Tendencijas. Tačiau dar kai kuo abejoja. Paskutinį Meno žodį taria intervertiškų vaidmenų Publika. Tik Šlovė – ši gyva statula – oficialiai gali konstatuoti vertę to, ką publika išgirsta. Garbės dramaturgija vieninga kaip Ašarojimai ir Skausmas. Villier de l'Isle Adam, kaip „Tūkstantis ir Vienos nakties“ burtininkas nori žinoti, kas gi senus žibintus nori pakeisti naujais. Tik Daugumos Dvasia įstengia sankcionuoti bei ratifikuoti neapdorotą Mašinos šlovę. Nesvarbu, ar autorius atstovauja visiškam Nukvailėjimui ar yra kurčias kaip puodas, vis viena tai tikras triumfas.

Košerinės durys, prašant perkelti kur nors kitur (des portes cochères)

Villiers de L'Isle-Adame'as kilęs iš garsingos ir senos giminės, bjaurisi šiuolaikiniu mokslu ir kuria tekstus, kuriuose svajonės grindžiamos logika. Baudelaire'o supažindintas su Poe kūryba, jis įrodo savo mistinį idealizmą. Plačioji publika visiškai nežino jo filosofinio romano „Izidė“ bei dramų „Ellen“ ir „Morgana“. Spauldoje publikuotos romantinės Villiers pasakos pasižymi neramiu humoru, egzaltuoja spiritualumą ir svajonės pergales. Villiers bendravo su Mallarmé, pripažintas kaip vienas simbolizmo pirmtakų. Mirė jis vienišas ir išdidus, nepelnęs nei šlovės nei fortūnos, kuriems manė esąs sutvertas. Emfatiškas Villier stilius prieštarauja kaip šviesa tamsai, kaip svaja bendros prasmės migloms.

Ne tik sovietinis, bet carinis kolonializmas Lietuvoje paliko literatūrinių pėdsakų. Jau „Aušros“, ir „Varpo“ laikais Žemaitė pastebėjo, kad lenkai lietuvius laiko savo valdiniais. Nepriklausomybė siejosi su suverenia raštija. Žemaitė rašė lietuviškai. Kalbiniai kontaktai su rusų kalba, tarpusavio poveikis ir kontaktų interferencija lietuvių išsivijos literatūroje reiškėsi polinkiu į vakarietišką modernizmą. Literatūros Lankuose (1952) Buenos Airėse publikavę lietuvių literatai Julius Kaupas, Antanas Škėma nebuvo kaip obuoliu nosine ūkvedžio per galvą trenkti už nepaklusnumą klebonui literatai, bet savarankiškos ir spalvingos bei originalios asmenybės. Apie bodlerišką blogį jie rašė pasitelkdami mergelės –tulpės, geidžiančios glamonės, įvaizdžius. Senas moteris lygino su aguonomis. Su varžovais susidorodavo nusamdę žudikus jugoslavus. Vakaruose lietuvių poetai ir prozininkai siekė išlaikyti ryšius su Vakarų Europos literatūrinėmis tradicijomis. Mylène Farmeur ir dabar dainuoja jaunimui – *plus grandir*. Vadinasi, nebeaugti geležinės uždangos ar gulagų sistemoje, kur kapitalo sąlygomis *clown* gali pasirodyti tik kaip *Pierrot* migruojančios kultūros kontekste (*chic, passe-partout, valser, abricot, amour, mètre, bijou*). Tokios europinės edukacijos perspektyvos (*établissement scolaire en Union européenne*). Algirdas Landsbergis apie knygžmogius rašo vaikystės kolonijinių prekių krautuvės, finikietiško brangiųjų prieskonių ir balsų „šiurenimo“ kontekste. Daug kur išnyra ir kazanoviškas Friedricho Hoelderlino įvaizdis. Kaip germaniška nostalgija. Jei Žemaitė savo kūrinuose turbūt tik tris kartus pamini Paryžių, tai straiptinyje nagrinėjama Baudelaire'o įtaka post ir pliuralizmo laiku gerokai stipresnė.

Heroiška mirtis ir virvė (ekstravagantiškos bufonados ir *le divin-le surnaturel*)

Dekolonizacijos periodo literatūroms būdinga tam tikra sociologinė determinacija, istorinis pavidalas ir politinė orientacija, bet pirmiausia pati literatūra privalo išsaugoti literatūrinės savo savybes. Prancūzų rašymo modelis tartum fundamentinė humanistinė vertybė grindžia egzotinio žavesio postkolonijines literatūras (Alžyras), kur tradicinės visuomenės vertybės tragiškai netekusios ankstesnių savo vietų. Aptariant literatūrinę erdvę aiškėja, kad tarkim simbolizmas buvo linkęs atsakyti humanizmo ir suartėjo su ornamentų stilistika. Egzotiniu gali būti tikras prancūzų rašytojas, gimęs tropinėje prancūzų kolonijų gamtoje (Saint - John Perso pavyzdys). Tokie globalizuoti poetai kartu yra ir ten ir čia (ir pasaulyje , ir nacionalinėje literatūroje). Kuo tai ne pamišėliškos Foucault švytuoklės pavyzdys? (Umberto Eco apie „klaidžiojančias“, klaidingas interpretacijas rašo savo semiotiniame eseistiniame romane „Fuko švytuoklė“). Moderniosios literatūros nesąmoningumo, sąmonės ir komiškumo zonos rodo praetis persekiojamą Europos didmiesčių literatūrą, liguistai betransmutuojančią ir virstančią įsivaizduojama visata, universumu. Modernioji literatūra stengiasi kompensuoti savo grimzdimą į bedugnę, nusistverdama architektūrinių Viduramžių pastatų formų. Dauguma europinio elito darbuojasi modernios architektūros biuruose, tačiau gyvena senamiesčiuose arba pilyse. Euforinis Pascal Bruckner postkolonializmas. Artaud, Bataille, Beckett pajėgia sukurti naują kalbą ir pratęsti estetinės įveikos, rezistencijos, trukmės literatūrinę liniją. Rašytojai neretai labai ilgai priešinasi vien tam, kad galų gale pasakytų tai, ką jie iš tikrųjų nori pasakyti (Michel Del Castillo), todėl patį rašymo procesą įmanoma suvokti ne kaip autoterapinį, bet kaip autodestruktyvų. Rašymą, išreiškiantį tiek dvilypio ir dvilyčio Fausto, tiek Medūzos juoką (Hélène Cixous). Autorius neretai virsta pasakišku personažu, savo paties sukurtų personažų atspindžiu. Baudelaire'o blogis ir vyriškumas be abejo yra tragiškas. Modernieji poetai lieka skolingi savo pirmtakams, o dramaturgai niekad nenurimsta po teorinių diskursų armatūra ir neturi kur pabėgti nuo aktorių ekshibicionizmo. Reikia beveik rytietiško muzikalumo ir matematikos, kad išgirstum tai, ko neįmanoma pavadinti. Simbolistų sceninės kontraindikacijos, laimei, nesuniokoja pačių rašytinių tekstų kalbos. Prancūzų teatro „Mona Liza“, besišypsanti ir nesuvokiama, laukia savo valandos. Jos žvilgsnis pasiekia mus turbūt iš tų vidinių labirintų, kai sustojęs pasaulis veržiasi gyventi toliau net ir užminuotuose laukuose. Yra pastebėta, kad jei poezijos vietoje lieka vien jausmų teatras, vadinasi, jau yra dėl ko susimąstyti (Donatas Sauka apie Salomėja Nėrį). Kita vertus, kuriant dabarties istoriją, paprastai pristinga prabangos „atpirkti“ visą praetį. Matyt neatsitiktinai vaižgantiškos tradicijos realistė Petronėlė Orintaitė (1905-1999), lietuvių rašytoja, emigravusi į Ameriką, pastebi, kad gyvastingas amerikinis modernumas stokoja vakarietiškos tradicijų prabangos, gyvenama daugiau šia diena. Piktas šios autorės patriotizmas/šovinizmas jau kritikuotas dogmatinių pažiūrų lietuvių išeivijos kritiko Algirdo Tito Antanaičio. O prabangą, pasak šios autorės, matyt suteikia vien senatvė: neberekia rivalizuoti, papildomai lankstytis prieš trilinkas ir keturlinkas kilmingas pavardes, kaip paprastam dvasininkui, o ne kaip teologui be vyresnybės priekaištų, galima bendrauti su žmonėmis. Ir ryšių tada netrūksta (Iš Orintaitės, kurią remia leidėjas Kazys Barėnas, dienoraščio)...Bodleriško antifeminizmo, antilesbietškumo kontekste galima klausti, remiantis net ir Orintaitės pavyzdžiu, ar religijos yra intelektualių moterų priešininkės, ar įmanomos lygios lyčių teisės, pagarba kito asmens kūnui. Per religijų skliaustus į platesnes sferas patenka tokios fundamentalios sąvokos kaip „nekaltybė“. Nors šią sąvoką įmanoma taikyti ir priešingai lyčiai bei vartoti kitame kalbos lygmenyje – „politinė nekaltybė“, jos praradimas bei susigrąžinimas arba suskliausti naminio ezoteriškumo skliaustais. Politikos studentai studijuoja lyčių metafiziką. Baudelaire'o eilėraštyje „L'Héautontimorouménos“ rašoma, kad „belsti“ galima be pykčio ir neapykantos taip kaip Mozė uolą. Raudos primena būgnus, akordus dieviškojoje simfonijoje. Įgelti ir kitam ir sau pačiam gali tik viską ryjanti Ironija. Moteris megera (megera -- agresyvi, pikta, blogos nuotaikos moteris) lyg į veidrodį žvelgia į juodus nuodus. Baudelaire'as – savo paties širdies vampyras („Je suis de mon coeur le vampire“). Lietuvių literatūrologijos tradicijoje esama požiūrio į „blogio gėles“ kaip į KGB prižiūrimų jaunų autorių kūrybą. (Rita Tūtlytė apie

Juožą Keliuotį) Turbūt tai jau ne vieša paslaptis. Rašant šį straipsnį bandyta remtis tekstocentrine nuostata, perskaityti tik patį Baudelaire'o tekstą, atmetant visa tai, kas trukdo dirbti, prisimenant universitetinę istoriją, jog dėstytojai – tai beveik vienuoliai, o universitetas -- beveik Ordinas.... Šio mokslinio straipsnio išvadų šaltiniai – du fundamentalūs leidiniai – Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English. Edited by Eugene Benson, and L.W. Conolly. 1994 bei Cult Criminals: The Newgate Novels (1830-47). Ed by Juliet John. Routledge, 1997, „European Identities. Studies on Integration, Identity and Nationhood“ Ed. By Marija Makikalli, Anne Korhonen and Reijo Virtanen. 1997. „Liberation Theologies, Postmodernity, and the America“. Ed by David Batstone, Eduardo Medieta, Lois Ann Lorenten...

Literatūra

BARTOLI-ANGLARD, Véronique, 1989. *Le surréalisme*. Paris: Nathan.

BERCOT, Martine, 2003. Des Fleurs du Mal au Spleen de Paris. *Magazine littéraire*. N 418 mars.

JUNGAS, Karlas Gustavas, 1994. *Žvelgiant į pasąmonę*. Iš anglų kalbos vertė Jūratė Musteikytė. Vilnius:

Taura.

Elina Naujokaitienė

Vytautas Magnus University, Lithuania

CHARLES BAUDELAIRE: THE MODERN ARCHETYPICAL POET AND POST-COLONIALISM

Summary

The article tackles the topic of subconsciousness, as well as subculture and literature. The notions “tragedy”, “comicality”, “ideal”, “curiosity”, “poetics” and “modernity” are employed. Modernism is viewed through the prism of post-colonialism (in the area of literature there is a post-Soviet space). Baudelaire renovated aristocratic and refined elitism (the atmosphere of Vienna and New York). Such model is widespread all over the world. By making use of the comparative method, in the article Baudelaire is placed among Poe, Verlaine, Paul Frot, and Villiers de L'Isle Adam. The author goes deep into Baudelaire's symbolism and French ethnographic surrealism. Baudelaire is also compared to Julien Gracq. The style of Baudelaire puts ironic emphasis on the thematic of evil, it treats the aesthetic of evil in literature and music in a subtle and refined manner (Jean Genet). Instead of improving the style of his texts, Baudelaire takes a stroll in nature or frequents literary cafés, where he converses, often shockingly, with various people. Baudelaire is connected not only with Manet, but also with Wagnerism, he defends the condemned Poe's romanticism and the royal road of silence/voice. The defensive stance of Baudelaire can be a lesson, an allegory and a parable. Alfonsas Nyka-Niliūnas, a Lithuanian exile and a francophone, was interested in works of Baudelaire. The intimate style of Baudelaire makes him close to contemporary Lithuanian poets.

KEY WORDS: archetype, modernity, surrealism, post-colonialism, spleen, aristocratic antiprogress, scientific evolution, expressionist, divine/satanic nocturnal masque.

Янина Петрашкевич

Варшавский университет

Краковское Предместье 26/28, 00-325 Варшава, Польша

e-mail: yanka7@gmail.com

РЕЛИГИОЗНО – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА В РОМАНЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ»

В центре внимания романа Петербург – проблема человека, рассматриваемая автором на примере определенного индивидуума. Личность и индивидуальность зависят от эпохи, главное содержание которой – катастрофичность и ожидание перемен; от подсознательной жизни, «мозговая игра» которой способна разрушить не только личность, но цивилизацию и культуру. Человеческая душа, раздвоенная и противоборствующая, ищет нравственной опоры и спасения в образе Христа.

Мотив двойничества, выражающий общественное настроение, проявляется в раздвоении сознания, в театрализации и маскарадных мотивах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личность, индивидуум, противоречия, двойственность, маска, антиномия, подсознание, множественность, иллюзорность.

Андрей Белый назвал свой роман «Петербург» знаком изучений конвульсий русского буржуазного общества (Белый 1994, с. 472). Хотя проблема взаимоотношений коллектива и индивидуума существовала на протяжении всего творческого пути писателя, произведение явилось религиозно – философской лабораторией осмысления микро- и макро- космоса. В своих теоритических произведениях Белый подчеркивает, что отличие формулы индивидуума от формулы личности, а души рассуждающей от души самосознающей он осознавал всю жизнь (Белый 1994, с. 421), обращая внимание на то, что сложная и запутанная проблема индивидуальности должна проявляться в методах (Белый 1994, с. 185). Общество же, по Белому, является знаком насилия и остановки роста индивидуальной жизни (Белый 1994, с. 422). Противоречие между обществом и личностью постоянно усиливаются, «... индивидуальное сознание оказывается в зависимости от классовых противоречий нашей эпохи...» (Белый 1994, с. 217). Автор «*Петербурга*» пишет: «Так стал я с отрочества убежденным индивидуалистом, что для меня сперва непосредственно, а потом и логически значило: социал – индивидуалистом, ибо индивидуум – социальное целое (церковь, община – ассоциация), а общество – индивидуально в своем «общем»...» (Белый 1994, с. 421). Идея многообразия и комплексности индивидуума, указывает Белый, заняла определенное место также в его теории символизма (Белый 1994, с. 420).

Учение Ницше о личности писатель рассматривает как мораль, объяснимую в свете ценностей теории символизма (Белый 1994, с. 182); «...сверхчеловек просто – индивидуальное «Я», как сверхличность; мы все – «сверхличны...» (Белый 1994, с. 429). Ницше для Белого - мудрец, собственная мудрость для которого - источник печали, цель которой – сберечь и защитить собственное своеобразие от окружающего его однообразия, сохранить завоеванное им право на неповторимую индивидуальность. Он воспринимает Ницше как «нового человека», отрицателя старого «быта», как личность, оказавшую влияние на европейскую культуру.

Обращение Белого к вопросам индивидуализма и личности приобретает особое значение в связи с обращением писателя к вопросам пересоздания культуры и человека, так как культура возможна только там, где «...наблюдается рост индивидуализма...» (Белый 1994, с. 21) и где последняя цель культуры, по утверждению Белого, «...пересоздание человечества...» (Белый 1994, с. 23). Исследования писателя в области

природы человека находят отклик в произведениях Николая Бердяева, пишущего о том, что «Учение о человеке есть прежде всего учение о личности. Истинная антропология должна быть персоналистичной. И вот основной вопрос – как понять отношения между личностью и индивидуализмом, между персонализмом и индивидуализмом? Индивидуум есть категория натуралистическо – биологическая. Личность же есть категория религиозно – духовная» (Бердяев 1993, с. 63).

В центре внимания романа «Петербург» – заброшенная личность, ввергнутая в кризисную ситуацию начала века, переживающая коллизии, тревоги и надежды, предчувствия хаоса и желание стабильности, стремящаяся к выживанию, к вечному поиску истины и счастья. Роман – концентрация различных сознаний и их состояний, в которых раскрывается внутренний мир героев. Автор подводит читателя к критической жизненной ситуации каждого из персонажей произведения. Признаками душевного состояния у Дудкина являются тревога, скука, одиночество и неуверенность в завтрашнем дне. Потребность в общении с внешним миром осуществляется при помощи галлюцинаций, снов и видений, служащих вестниками из мира реальности. Покоя нет, остался только риск решения, который также не гарантирует успеха. Александр Иванович уверен, что его болезнью заражено все общество: «...странное имя болезни той мне пока неизвестно, а вот признаки знаю отлично: безотчетность тоски, галлюцинации, страхи, водка, курение: от водки – частая и тупая боль в голове; наконец, особое спинномозговое чувство: оно мучает по утрам. А вы думаете, это я один болен? Как бы не так: и вы, Николай Аполлонович, - и вы – больны тоже. Больны - почти все» (Белый 1999, с.185).

Идеально показано в романе трагическое положение индивидуального «я». В «Петербурге» нет ни одного положительного героя. Во встречах персонажей – непонимание и желание остаться наедине. Все существует отдельно и лишь готовящийся террористический акт как-то их связывает. Столкновения героев редки, и то происходят поневоле. Каждый живет в иллюзорном расплывчатом мире то ли бытия, то ли сознания, без четко очерченных границ перехода. Напряженное развитие конфликта происходит от недоговоренности. Трагизм положения усиливается от индивидуальных страданий.

Николай Аблеухов страдает от любви, эгоизма, боязни теракта, раздвоенности чувства к отцу, от безысходности происходящего, от метания в Красном домино. Аблеухов–старший – от непонятных отношений с женой и сыном, от своей «циркулярной» жизни.

В произведении преобладает трагизм противоречий. Доминирующий в романе конфликт отца и сына носит двоякий характер. С одной стороны – история запланированного убийства отца сыном. С другой – сложные отношения, переплетение любви – ненависти, похоть сына и отца. В своем чувстве Николай не одинок. Отец думает о том, родной ли это сын ему? Ведь только «настоящий ублюдок» может вытворять такое (речь идет о домино Николая Аполлоновича) (Белый 1999, с. 339). Сенатор думает о своем сыне, что он негодяй (Белый 1999, с. 406). И в то же время Аблеухов – усталый старик, заботливый и внимательный к сыну, переживающий трагедию непонимания и отчуждения с Николаем.

Двойственность человеческого существования, выражающая общее настроение эпохи, проявляется в театрализации и маскарадных мотивах романа.

Антиномия маска / лицо выступает как конфликт между сознанием и подсознанием, где маска олицетворяет сокрытие смысла и подсознание, соединяющее человека с иными мирами. У масок Белого особое отношение к внешнему и к видимому. Это обусловлено тем, что маска – это и есть внешний облик, но скрывающий нечто истинное и реальное. Здесь уместно вспомнить личное отношение писателя, надевавшего маску и ходившего в ней в тяжелые годы, к маскам. Об этом пишет Бугаева в своих *Воспоминаниях*. «Потребность надеть маску шла из очень большой глубины, из сложного, смутного чувства, которого тогда Б. Н. еще не умел определить. Прежде всего ему хотелось закрыться, защитить себя от любопытных непрошенных взглядов. Маской он

как бы ставил барьер между собой и окружающими, бесцеремонное внимание которых порой было тягостно. Б. Н. слишком был не похож на других и становился невольно предметом для их наблюдений. В спокойном состоянии он этого не замечал или шутливо отмахивался. Но когда личная жизнь обострялась и все становилось мучительным, тогда каждое прикосновение извне ранило больно; и он инстинктивно искал себе словно защиты в этом внешнем кусочке материи. С другой стороны, маска была в нем ответом на безнадежное чувство, охватившее его после неоднократных, горячих попыток найти настоящих друзей, открыть им себя, и их увидеть открытыми. Когда этого не случилось и, пережив первое чувство боли, он стал размышлять о причинах, то увидел, что случай с ним «не случаен», что в нем скрыто более общее и роковое: разобщенность людей» (Бугаева 2001, с. 159). В романе практически нет людей, все человеческие лица в масках. Каждый отдельный персонаж задан как набор масок и как реальное лицо. В исследуемом нами романе масками лицемерия, связанными с психологическим приспособлением героя к определенным жизненным ситуациям, более всех наделен Николай Аполлонович Аблеухов. Этот прием позволил автору раскрыть внутренний мир сына Аполлона Аполлоновича. На протяжении всего романа перед читателем проходит множество перевоплощений младшего Аблеухова. Андрей Белый в произведении различает внешнюю и внутреннюю функцию масок. Внешняя – эта та маска, которую одевает на себя Николай – масочка с черной кружевной бородкой пышного ярко – красного домино. Одевший ее превращается в неведомого и тоскующего демона пространства (Белый 1999, с.105). Эта форма маски видна и узнаваема. В романе она присуща только сыну Аполлона Аполлоновича (кроме участников костюмированного бала). Гораздо важнее функция внутренняя, и только ей уделяет внимание Белый в своем произведении. Здесь набор масок Николая Аблеухова огромен.

-«Красавец», - постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича.

-«Античная маска...»

-«Аполлон Бельведерский»

-«Красавец...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем.

-«Эта бледность лица...»

-«Этот мраморный профиль...»

-«Божественно...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили друг другу.

Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:

-«Уродище...» (Белый 1999, с. 108).

Продолжая исследовать внутреннюю функцию масок в романе, обратимся к исследованию Игоря Сухих. «Надевая халат, блестящий молодой человек превращается в восточного человека. Облачившись в заказанное красное домино, он видит в зеркале тоскующего демона пространства» (Сухих 1994, с. 11)

Прозреваемая дамами ипостась «урода» трансформируется в разных сценах в лягушонка, паука, шута, цыпленка, юркую обезьянку, гадину, толстобрюхого паука. Для террориста Дудкина Николай Аполлонович – мешковатый выродок и развитой схоласт. Отцу отпрыск представляется убудком, отъявленным негодяем, старообразным и уродливым юношей.

Но и второй – божественный – образ героя не забыт и не раз отыгрывается в фабуле. «Словом, были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый», - шутит Дудкин. В седьмой главе раскаявшийся герой воображает себя в позе распятого Христа. В восьмой главе из привычного облика вдруг «сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лица, подобного иконописному. Лицо героя то превращается в серию кривляющихся масок, то возвышается до богоподобного лица» (Сухих 1999, с. 12).

В «Петербурге» только дан намек на начало преображения жизни, происходящего в глубине человеческого сердца. Возникающие между героями романа минуты взаимопонимания, сострадания, любви, а также способность некоторых персонажей к внутреннему выбору не есть еще окончательное преображение человеческой природы, а всего лишь обещание его. Для того, чтобы в человеке возобладала его светлая сущность, необходима постоянная борьба за свое «я», начало которой положено в судьбах героев произведения Белого встречей с Христом, подразумеваемым под образом «печального и длинного», приходящего к героям в тяжелые для них минуты и помогающего по-новому увидеть свет и понять свое место в жизни. Белый считает, что мир настолько погряз в грехах, что Христос сам смиренно пришел в него, чтобы спасти: «Вы вот все от меня отрекаетесь: я за вами хожу...» (Белый 1999, с. 578). Характерно, что Христос приходит не к каждому действующему лицу в произведении, а только к Николаю Аблеухову, Софье Лихутиной и к Александру Дудкину. Именно на их примере Белый показывает путь к спасению через Христа.

Только три раза появляется образ «печального и длинного» на страницах романа. Николай Аполлонович после Страшного Суда приходит к мысли, что он негодяй, отцеубийца и обманщик. Его мысли представляют собой маячущие «иглистые кусочки», в подсознании возникает образ какого-то безличного месива, «...в душе его неожиданно лопнуло что-то (так лопается водородом надутая кукла на дряблые куски целлулоида, из которого фабрикуют баллоны): он, - вздрогнув, откинувшись, вырвавшись – побежал, сам не зная куда, потому что – именно: в это время открылось: - автор плана – то он... Он – отъявленный негодяй!...» (Белый 1999, с. 573).

Нагнетает обстановку описание природы, данное повествователем: накрапывающий дождик, дымновеющая мокрота, плавающие в дыме проспекты, сухая мертвизна тротуаров... Как предвестник приходящего Христа к прислонившемуся к витрине Николаю приходят образы с детства: гувернанткина тень, читающая под лампой, Аполлон Аполлонович, обучающий сына французскому контредансу. Голос детства ассоциируется с голосом журавлей. Автор предлагает читателю воспоминания младшего Аблеухова и курлыканье журавлей над городом как подготовку к пришествию Христа. „Будто кто-то печальный, кого Николай Аполлонович еще ни разу не видывал, вкруг души его очертил благой проникающий круг и вступил в его душу; стал душу пронизывать светлый свет его глаз. Николай Аполлонович вздрогнул; раздалось что-то, бывшее в душе его сжатым; в необъятность теперь оно уходило легко; да, тут была необъятность, которая говорила нетрепетно:

- «Вы все меня гоните!...»

-«Что, что, что?» - попытался расслышать тот голос и Николай Аполлонович; необъятность же говорила нетрепетно:

-«Я за всеми вами хожу...» (Белый 1999, с. 578).

Николай не знает, кого он встретил, но его обуревают чувства – подойти к этому образу, прикоснуться к нему, плакать от счастья, пасть перед ним ниц и просить успокоения.

Автор романа не только показывает образ Христа, воплощающего нравственность – всепрощающего и всепонимающего, приходящего к людям в тяжелейшие минуты их жизни, он предвещает в романе его Второе Пришествие и Страшный Суд, времени которых никто не знает : «...ответ будет после – через час, через год, через пять, а пожалуй, и более – через сто, через тысячу лет; но ответ – будет! А теперь печальный и длинный, никогда не виданный в снах, но оказавшийся всего – навсегда незнакомцем, но незнакомцем неспроста, а, так сказать, незнакомцем загадочным – просто печальный и длинный на него поглядит и приложит палец к устам. Не глядя, не останавливаясь, он пойдет там по слякоти...

«И в слякоти скроется... Но настанет день. Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, - те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в

закоулке) в минуты смертельной опасности, те, которые о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность – все, все они встретятся!

Этой радости встречи у них не отнимет никто» (Белый 1999, с. 581).

Описание Страшного Суда и последующее свидание Николая с Христом являются в романе кульминацией. Именно в этих моментах происходит духовное перерождение сына сенатора, и он начинает понимать тяжесть задуманного преступления.

Трагическое положение индивидуального «я» показано в романе на фоне катастрофичности и мотива тревоги. Предчувствия гибели связано с мотивом толпы, ассоциирующейся в романе с «многоножкой», «толпами зыбких теней» и «многотысячным роем людским», способными раздавить и смять человека, втянуть в себя как личность.

В основе человеческой деятельности лежит подсознание, показанное автором как накал страстей и огромные бури, направляющие человека в разные стороны. Человек совмещает в себе «я» – внутреннее, незнаное и непонятное, и «я» внешнее. Свидетельствует об этом бред Николая над «сардинницей ужасного происхождения». «Лишившийся тела, все же он чувствовал тело: некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием, и «я», оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного: предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями: силлогизмы вокруг этих костей завернулись жесткими сухожилиями; содержание же логической деятельности обросло и мясом и кожей; так «я» Николая Аполлоновича снова явило телесный свой образ, хоть и не было телом; и в этом н е – т е л е (в разорвавшемся «я») открылось чуждое «я»: это «я» пробежало с Сатурна и вернулось к Сатурну» (Белый 1999, с. 444).

Повествование «Петербург» составлено на основе психологических наблюдений, философского рассуждения и экзистенциалистического подхода к человеческому существованию. Множество интерпретаций романа подчеркивает множественность человеческого «я». Каждая внешняя деталь в произведении имеет свои внутренние корни. Восприятие происходящего соотносится с элементами минувшего и предчувствиями будущего. Явления, мысли, лица, наслаивающиеся одно на другое и управляемые мыслью и ассоциацией памяти автора, показаны на фоне основной темы романа «нереальности реального мира», определяющей существование и сущность человека, его одиночество, тревогу и бунт, иллюзорность реального мира, в котором нет места счастью, душевному покою и созиданию.

Литература

- БЕЛЫЙ, А., 1994. Кризис сознания и Генрик Ибсен. *In: Символизм как миропонимание*, Москва.
 БЕЛЫЙ, А., 1999. *Петербург*. Санкт–Петербург.
 БЕЛЫЙ, А., 1994. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. *In: Символизм как миропонимание*, Москва.
 БЕЛЫЙ, А., 1994. Фридрих Ницше. *In: Символизм как миропонимание*, Москва.
 БЕЛЫЙ, А., 1994. Проблемы культуры. *In: Символизм как миропонимание*, Москва.
 БЕРДЯЕВ, Н., 1993. *О назначении человека*. Москва.
 БУГАЕВА, К. Н., 2001. *Воспоминания об Андрее Белом*. Санкт–Петербург.
 СУХИХ, И., 1994. Прыжок над историей. *In: А. Белый, Петербург*, Санкт–Петербург.

Yanina Petrashkevich

Varshava Universite, Poland

THE RELIGIOUS AND PHYLOSOPHICAL ASPECT OF THE WORLD AND MAN IN THE NOVEL ANDRIEJA BIELEGO *PETERSBURG*

Summary

In Petersburg novel the author brings to the foreground problem, his personality, individuality and lost in religious and philosophical sphere as well as in everyday situations.

In life people put on different masks, play roles so well that they do not know where the play finishes and where life begins. In connection with the crisis of faith, the man cannot be himself, lives according to general values and does not have his own morality.

The existential aspect of humanity interweave with religion and philosophy.

In the article I try to examine the world and the man in a religious and philosophical way.

KEY WORDS: personality, individualism, subconsciousness, contradictions, mask.

Олег Перов

Вильнюсский Университет

Muitinės g. 8, 42433 Kaunas, Lietuva

e-mail: kodex333@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ В. РОЗАНОВА: ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ.

В данной статье представлены результаты рассмотрения наиболее важных особенностей стиля русского писателя и философа – Василия Розанова. Особое внимание уделяется принципу случайных записей, которые отражают процесс мышления в его первичной форме. В результате разработан особый жанр - мысли. Это индивидуально – афористичный стиль. А также – форма оригинальной русской философии – сплав мыслей и проблем: от интимно – личных до общественных и религиозных. Именно эта стилистическая и смысловая противоречивость, интимность и цинизм – формируют оригинальный собственный стиль, который создаёт личную философию как новый способ восприятия действительности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальный стиль; философские и эстетические интенции; случайные записи; особый жанр; модель сознания; чувственный образ; литературная провокация; парадокс; интимность и цинизм; новая философия.

Своеобразие писательской манеры, воплощение индивидуального стиля и его органичное совмещение с внутренними философскими, религиозными, эстетическими интенциями автора – это проблема, которая всегда находится в центре внимания. Особенно, если сам писатель многими современниками причислен к маргиналам, представителями Церкви – к ересиархам, а власти поглядывают на него с подозрением. Русский писатель Василий Розанов являлся и до сих пор представляется одной из самых странных, причудливых, загадочных фигур в русской литературе и культуре рубежа XIX-XX веков. И появление его знаменитой трилогии – Уединённое (1912) и Опавшие листья (короб первый - в 1913 и короб второй – в 1915 годах) вызвало интерес и недоумение (и возмущение) у читателей, взрыв ярости у цензуры (возбудившей судебное преследование автора за нарушение нравственности) и сильнейшее раздражение Церкви. Своими писаниями Розанов умудрился раскачать, задеть, практически, всех.

Вряд ли, то что он создал, можно отнести к определённом литературному жанру (в устоявшемся, научном понимании). В основе этого находится принцип случайных записей, заметок для себя, они хаотичны, эклектичны, но отражают непосредственный процесс мышления в его первозданности. Что автор и определяет уже в первых строках Уединённого (по ходу дела сразу же ссорясь с читателем):

Шумит ветер в полночь и несёт листья. Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, почувства.

Ах, добрый читатель, я уже давно пишу без читателя, - просто потому, что нравится... не церемонюсь я с тобой, - можешь и ты не церемониться со мной.

- К чёрту...

К чёрту! (Розанов 1990, с. 22)

Эта трилогия находится за пределами того, что можно назвать литературой в традиционном понимании. Отсутствие логики построения и приоритет самого процесса мышления в данном случае важнее любой системы или догмы. Это невозможно определить в точки зрения литературных форм, которые устоялись давно. Это не исповедь и не дневник. А определения предлагались разные: от романа с нечётко выраженной новеллой (по В. Шкловскому) до лирико-философских заметок (по А. Гулыге).

Творческое устремление Розанова, которое можно назвать одним из основных, заключается в сильном акцентировании своего сугубо-индивидуального стиля. Это достигается при помощи ссылки на общую тенденцию, ту, из-за которой нивелируется значение труда писателя. Имеется в виду доступность возможности печататься.

Как будто этот проклятый Гуттенберг облизал своим медным языком всех писателей и они все обездушались в печати, потеряли лицо, характер. Моё я только в рукописях, да и я всякого другого писателя (Розанов 1990, с. 24).

Поэтому недаром после заглавия *Уединённого* у него идёт примечание – *почти на правах рукописи*.

А поиск, исследование новых способов отражения действительности приводит к выводу, что нужна иная форма для реализации своих соображений. Можно предположить, что был разработан особый жанр – *мысли*. Сама мысль очень часто рождается в сознании как нечто аморфное, расплывчатое. Происходит проникновение в ткань какого-то понятия, проблемы и – посыпались осколки, обломки, ещё только элементы мыслей. Самое важное – успеть их зафиксировать, записать как есть. И довольно часто – на том, что попадаете первым под руку.

Понимание того, что сознательно-афористичный стиль давно известен, сложен для создания и, в большом количестве – тяжёл, вязок для восприятия, приводит к тому выводу, что оригинальность – в естественности. Следовательно, форма бытования мысли подразумевает то, что надо избежать литературности, мысль должна быть чёткой, острой, без лишних наслоений слов. Общее понятие Литература Розанов безапелляционно осуждает за недостаток, нехватку смысла.

Литература вся празднословие. Почти вся... Исключений убийственно мало. (Розанов 1990, с. 38).

А непрерывное течение, столкновение, переплетение мыслей приводит к противоречивости, но в этом отпечаток личности самого Розанова, что и отмечали исследователи.

Один из крупнейших мыслителей русских, он не скрывал своей антипатии к делу мысли, к науке. Выдающийся стилист, он испытывал определённую неприязнь к искусству слова, религиозный человек, не страшился богохульства, моралист, выступал против нравственности (Гулыга 1992, с. 3).

Розанов может ошибаться, искажать факты, которые приводит в своих сочинениях, отзываться о многом несправедливо, едко, цинично, но разумно ли будет заниматься поиском ошибок, изобличать автора, говорить о его предубеждённости, пристрастности, эстетическом экстремизме. Эта манера письма затрудняет, почти что исключает применение традиционных принципов и норм эстетики и морали по отношению к его взглядам. Необходим другой подход, вне определенной логической системы, без попыток подвергнуть ткань произведения аналитической систематизации. Розанову, особенно в рецензиях на *Уединённое*, часто приписывали демонизм, но при этом не замечали главного – интимности. И заключается она, в частности, в поиске и запечатлении мгновений. Тех мгновений, которые в индивидуальном восприятии, прочувствовании – стоят много.

Благодари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай. Смысл не в Вечном., смысл в Мгновениях. Мгновения-то вечны, а Вечное – только обстановка для них (Розанов 1990, с. 369).

Важно увидеть эти мгновения в своей жизни, в жизни близких. Есть центр – это Я и те, кто дорог мне, по ком я чувствую боль. Всё остальное по разным орбитам вращается вокруг этого. Так и должно быть, если говорить об определённом внутреннем кодексе, уставе, преобладающем моменте сознания.

Что ты всё думаешь о себе. Ты бы подумал о людях. Не хочется. (Розанов 1990, с. 73).

Проблема, которую необходимо разрешить, заключается в поиске ответа на вопрос: почему Розанов – писатель, а не философ, богослов, публицист.

Его трудно назвать создателем сложных, логически-стройных метафизических сооружений, философия здесь существует как мысль, поиск правды, она воплощена в искусстве слова. То есть, философскую догму заменяет не художественный образ (как это часто бывает во многих произведениях русской литературы), а модель сознания самого автора, его личное отношение к самым разнообразным вопросам и даже – бытовые обстоятельства. И этот образ – чувственнее, зримее, тоньше – он реальнее и физиологичнее.

Философия говорит о вечных, непреходящих проблемах. Розанов показывает то, как найти Вечное в Повседневном.

Вовсе не беллетрист по роду своих писаний он является, однако, оригинальным стилистом; отрицатель общепринятых этических принципов, он создал, тем не менее, целое религиозно-нравственное учение, не только по содержанию, но и по форме... (Голлербах 1998, с. 798).

Особый эффект воздействия его произведениям придаёт сплав писательского и человеческого. Поэтому каждая мысль предельно-конкретна, физиологична, насыщена индивидуальным содержанием. Дистанции между писателем и человеком не существует. Эту личность надо рассматривать изнутри, ведь тип сознания, получивший своё отражение в такой форме не может быть исследован с помощью эстетических, психологических категорий, этических принципов. Возможно применить определённую систему к тому тексту, где одни отрывки поражают и привлекают своей теплотой, открытостью, интимностью, а другие могут вызвать почти что физиологическое отвращение. Возможно, это один из немногих типов художественности, где красота речи непосредственно связана с её парадоксальностью, нелогичностью. Возможным следствием этого является своеобразное (по сути – нетерпимое, отрицательное) отношение современной писателю критики к его сочинениям.

Корректный критик издали посматривал на розановщину, как на свалку какого-то разнокалиберного сырья и опускал руки перед невозможностью сведения его к единству. А так как критика только и умеет делать, что сводить к единству, то Розанов и остался в заштатных писателях (Мочульский 1995, с. 388).

Разнокалиберное сырьё является соединением многих элементов, говоря обобщённо, человеческого бытия. Точнее, бытия самого Розанова. Это самобытная русская философия. Особенность её заключается в том, что она развивалась прежде всего в литературе (в отличие от Западной Европы, где философия дано бы отдельной данностью, устоявшейся системой со своими законами и принципами).

Многие факты из творчества писателя, фрагменты из его произведений подводят к выводу-оксюмору: ненависть к литературе, неприятие её и сильнейшее, страстное желание записать каждую мысль были характерны, органичны для Розанова. Эта обречённость на вечное высказывание, выговаривание, она приятна, сладостна до приторности, иногда до отвращения. Есть непреодолимое желание, потребность всё вынести напоказ, точнее, рассказать, поведать о своём явно, открыто. Отсюда и этот стыд за собственное безволие. Но это закономерно.

Гипертрофия одного из элементов душевной жизни возможна лишь при условии ослабления одного из других элементов. Вот почему у многих гениальных людей ослаблена воля (при повышенной внутренней сосредоточенности) (Голлербах, 1998, с.803).

Индивидуальность Розанова выражалась в крайней, экстремальной форме. У него была масса житейских неприятностей, наличие глубоких внутренних антиномий в характере, поэтому для него была свойственна такая слабость, как недостаток силы воли.

И то, что раньше в литературе было неуместно, а именно: неряшливость, домашность, интимность – выступает на передний план. Представлены приёмы, которые

эффектно контрастировали с приглаженностью, причёсанностью, регламентированностью литературы, понятием народности и общественности в ней. С её (не всегда уместным) смехом и иронией.

*Когда рвалось железо и люди при Цусиме, литературочка вся хихикала:
Дан ранг капитана – определить высоту мачты* (Розанов 1990, с. 267).

Смех не может убить. Смех может только придавить. И терпение одолеет всякий смех (Розанов 1990, с. 43).

Однако, во главу угла надо ставить то, что организует, объединяет содержание суждений Розанова в особую форму. Это Стиль. Вопрос о его сущности довольно сложен. В. Шкловский применил слово оксимерон (заострённый, колющий осколок (древнегреч.)). На самом деле, основные произведения Розанова напоминают словесную пыль, частицы какого-то твёрдого материала. Одно и то же суждение может утверждаться и отрицаться. Одна и та же мысль в неодинаковых контекстах, ситуациях – будто вспыхивает разными цветами спектра.

В удивительном хаосмосе розановского творчества, где хаоса гораздо больше, чем космоса, мы наблюдаем самое трудное и таинственное из всего, что представляет собой для философа так называемые мировые загадки: первичное зарождение и соединение форм – морфогенезис (Ильин 1983, с. 410).

Розанов не пытается затевать игру с образованным читателем. Это отрицание читателя имеет, возможно, не литературную, а идейную мотивацию. Надо устранить инерцию восприятия текста, холодность, равнодушие. Нужен читатель не доверчивый и благодарный, а разъярённый, выведенный из себя литературным, эстетическим экстремизмом автора.

Необходимо изменить классическое представление о писателе, нарушить его идеалистический образ, потенциально возвышенные и благообразный вид. Пусть сначала предстанет человек, а потом писатель.

*С выпученными глазами и облизывающийся – вот Я.
Некрасиво?*

Что делать (Розанов 1990, с. 206).

Не только личные откровения, но и внеморальные, антиобщественные мысли принесли Розанову славу писателя безответственного, непристойного.

Да, если семя – грязь, то, конечно, он запачкал её. Грязь ли?

Семя яблока есть яблоко, семя пшеницы есть пшеница. Так он дал ей человека. Так почему же говорят – это грязь и он запачкал её. Не понимаю. (Розанов 1990, с. 179).

Или – созидайте дух, созидайте дух, созидайте дух! Смотрите, он весь рассыпался...

(на Загородном пр., веч. Кругом проститутки) (Розанов 1990, с. 47).

Но это его стиль, творящий новую эстетику. Здесь нет благоговейного отношения к литературе. Поэтому писатель без стеснения сообщает о собственном к ней отношении. Высказывание в некоторой степени физиологично, в нём выдержан общий фон домашности.

Литературу я чувствую, как штаны. Так же близко и вообще как своё. Их бережёшь, ценишь, всегда в них (постоянно пишу). Но что же с ними церемониться????!!! (Розанов 1990, с. 172).

Сила сочинений Розанова, вызов общепринятому, заключавшийся в них, заставляли задуматься о его сопоставлении с крупнейшими мыслителями рубежа веков. Д. С. Мережковский, с которым Розанов был хорошо знаком впервые применил к нему определение русский Ницше. В своей книге Жизнь и творчество Л. Толстого и Достоевского он говорит:

Когда этот мыслитель, при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше... будет понят, то он окажется явлением едва ли не более

грозным, требующим большего внимания со стороны Церкви, чем Л. Толстой... (Голлербах 1998, с. 799).

Однако сам Розанов был мало знаком с учением Ницше и это определение не находил удачным. Данное сравнение приведено с целью сравнения сверхличного (в смысле – глубинного, особо личного, интимного) в Розанове. Его творчество внешне разрозненно и хаотично, но внутренне собрано и сконцентрировано, обладает определённой целостностью. Чтобы понять это – надо увидеть лицо Розанова в его темах, в его стиле. Его сочинения построены на принципе непосредственного созерцания, которым проникнуто его мышление.

Важно запутанное, иррациональное, хаотическое, но своё бытие и бытие своих близких. Именно это запечатлено в сжатых и образных отрывках *Уединённого* и *Опавших листьев*. Чтобы осознать и почувствовать дух мелочей прелестных и прекрасных (М. Кузмин), который отражает мироощущение Розанова, необходимо читать не один раз и обращать особое внимание на отдельные *опавшие листья* (о писательстве, о своих сочинениях, о смерти). Писатель на всём протяжении трилогии часто говорит о тоне, в каком она написана, о целях её.

Новое – тон, опять – манускриптов, до Гутенберга, для себя. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не был в силах преодолеть Гутенберга.

Моя почти таинственная действительная уединённость смогла это. (ночь) (Розанов 1990, с. 144).

Есть закономерный для него переход от внешнего к внутреннему, Но какой внимательностью, пронизательностью нужно обладать, чтобы в лавине мелочей, будничных, каждодневных событий увидеть *другое*. И станет понятно, что автор заметок, написанных *за нумизматикой* или *на обороте транспаранта, на улице* и даже *на подошве туфли (во время купания)* – мыслитель в полном значении этого слова.

Тут в конце концов та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно, внимательно и страстно, что вообще, кроме этого, ничего не слышу... (Розанов 1990, с. 145).

Для преодоления линейного, последовательного нужно придумать своё, новое, И это новое можно самому же, как это сделал Розанов, и обозначить. Это *рукописность души*. Розанова обвиняли в двусмысленности, цинизме, ереси, во многом. Но пророк для себя не может быть всегда прав.

Удивительно, как я удеывался с ложью. Она никогда не мучала меня. И по странному мотиву: А какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем обязан говорить свои настоящие мысли (Розанов 1990, с. 162).

Этой рукописностью, отчасти, объясняется прихотливое своеобразие стиля Розанова, его якобы полное саморазоблачение и самообнажение. В этом, как уже упоминалось выше, отсутствие решительности и слабость воли. Можно предположить своеобразные просвет языческого сознания – покорность року, предназначению.

*Это – странная потеря своей воли над собою, - над своими поступками, выбором деятельности, должности. никогда в жизни я не делал **выбора**, никогда в этом смысле не колебался. Я входил в дверь, где было тихо или было благодарно... По этим двум мотивам всё же я думаю, что я был добрый человек: Бог за это многое мне простит* (Розанов 1990, с. 63).

Нужна новая форма мироощущения и объяснения событий, происходящих в собственной жизни. Алогичный, иррациональный подход к объяснению действительности исключает следование общепринятым правилам приличий и даже морали. От этого и демонстративно-шокирующие высказывания:

Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа была выпущена на белый свет, и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй по морали.

Но я ей скажу: гуляй как сама знаешь. А вечером пойдёшь к Богу (Розанов 1990, с. 77).

Читатель, который, к удивлению Салтыкова-Щедрина, *не читает, а почитывает* литературные произведения, с одной стороны, вполне понятен. Потому – *что пошло, то и пошло* (по выражению Мережковского). Необходимо организовать, построить форму, которая разломает представление о привычном, обыденном, создать стиль совмещающий знание и наивность, изощрённую, тонкую художественность и непереносимую грубость, жёсткий цинизм. Именно эта несоразмерность чувств и мыслей порождает новое отношение к миру в общем, и, в частности, к искусству, к литературе, к читателю.

Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в употребительном смысле), и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое моё слово есть священное слово.

-Да как высмеете? – кричит возмущённый читатель.

Да вот так и смею, - смеюсь ему в ответ я (Розанов 1990, с. 61).

В мыслях писателя достаточно сопоставлений, сравнений, которые могли повергнуть в изумление того, кто воспринимает, вывести его из себя. Он нарушает каноны и многие вещи высказывает в провокационной форме.

Моя кухонная (прих. – расх.) книжка стоит Писем Тургенева к Виардо. Это – другое, но это такая же ось мира и, в сущности, такая же поэзия (Розанов 1990, с. 127).

Или –

Все женские учебные заведения готовят в удачном случае монахинь, в неудачном – проституток. Жена и мать в голову не приходят (Розанов 1990, с. 126).

И на самом деле, зачем писать о приличном, выдержанном, моральном, если в каждом сидит человек из подполья. Не стоит заниматься игрой в цивилизацию и литературу (литературность?) и создавать эстетическую видимость. Следовательно, можно предположить, что делать с апологетами прекрасного и эстетически завершённого в литературе, которые так тщательно обходят выгребные ямы (запрещённые темы).

Вообще драть за волосы писателей очень подходящая вещь. Они же дети: только чванливые и за 40 лет

Центр – жизнь, материк её. А писатели – золотые рыбки; или плотва, играющая около берега его. Не передвигать же материк в зависимости от движения хвостов золотых рыбок. (Утром после чтения газет) (Розанов 1990, с. 121-122).

Для творчества, полноты, сосредоточения необходимо уединение. В социуме есть определённые установки, а главное – величины, авторитеты. Но перелом внутри себя и перелом в современной литературе (по Розанову) состоит в приближении к мелочи, детали. Кроме того, человек не должен забывать о том, что он живёт не только *среди*, но и оставлять возможность жить и чувствовать *для одного себя*.

Общество, окружающие убавляют душу, а не прибавляют.

Прибавляет только теснейшая и редкая симпатия, душа в душу и один ум.

И её ищи. А толпы бегай или осторожно обходи её (Розанов 1990, с. 88).

Розанов говорит об интимном и нежном, что отражается в форме. Это, с его точки зрения, противостоит холоду, рациональности, собранности и расчетливости в человеке и жизни вообще. Понятия уюта и тепла важны для него и этим обусловлены выступления против многого.

Нежная то идея и переживёт железные идеи. Порвутся рельсы, переломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечною разлукою – это никогда не порвётся, не испортится.

Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно – паутина. Истинное железо – слёзы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, - одно благородное. (Розанов 1990, с. 140-141).

Однако, Розанов воспринимается не через это, а как анархист от литературы, экстремист от эстетики, террорист по мировоззрению на моральные устои. И рассматривали чаще всего то, что наиболее оскорбляло чувства, резало слух.

Всякий оплодотворяющий девушку совершает то, что нужно (канон Розанова). Церковь сказала нет. Я её показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература. Если кто будет говорить мне похвальное слово над раскрытою могилою, то я вылезу из гроба и дам ему пощёчину (Розанов 1990, с. 348, 349, 86).

Но именно в этой стилистической смысловой противоречивости, интимности и цинизме; сочетании мимолётного и вечного формируется оригинальный собственный стиль, который образует личную философию, как новый способ восприятия действительности.

Литература

- РОЗАНОВ, В. В., 1990. *Уединённое*. Москва.
 ГОЛЛЕРБАХ, Э. Ф., 1998. Розанов В. В. Жизнь и творчество. *Уединённое*. Москва.
 ГУЛЫГА, А. В., 1992. Как мучительно трудно быть русским. *Опавшие листья*. Москва.
 ИЛЬИН, И. А., 1983. *История искусства и эстетики*. Москва.
 МОЧУЛЬСКИЙ, К. Н., 1995. Заметки о Розанове. *Pro et contra*. Санкт-Петербург.

Oleg Perov

Vilniaus University, Lithuania

PECULIARITIES OF V. ROZANOV STYLE: LITERARY PROVOCATION OR NEW PHILOSOPHY

Summary

This article presents the main result of investigation V. Rozanov's style. Special attention was spared to the principle of accidental notes, which show the process of reflection in his initial form. As a result was created the particular genre – minds. This is an individual – aphoristically style. We can say, that it's something like a form of original Russian philosophy – combination of social, religious minds and private, intimaes senses. That's why this contrast can create original own style, which form a new philosophy as a very special mode of life.

KEY WORDS: individual style; philosophic and aesthetic intentions; accidental notes; special genre; model of consciousness; susceptible image; literature provocation; paradox; intimacy and cynicism; new philosophy.

Оксана Почапская

Каменец-Подольский национальный университет

ул. Ив. Огиенко 61, 32300 Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина

e-mail: lizard8@rambler.ru

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ УКРАИНСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКОЙ 1917-1921 гг.

В статье рассматривается проблема восприятия человека и его роли в обществе украинской сатирической публицистикой 1917-1921 г. г. Анализируя сатирические выступления в украинских периодических изданиях, автор выстраивает иерархию этапов развития человеческого самовосприятия и формирует «человековосприимчивую» концепцию, продуцируемую в сатирической печати 1917-1921 г. г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сатирическая публицистика, восприятие, самовосприятие, человек.

В украинской истории, которую, как справедливо отмечает В. Винниченко, нужно читать «с бромом», на протяжении столетий не находилось более национально сознательной силы, чем писатели, которые решились на свой страх и риск заполнять пробелы национальной культуры за счет своего таланта, который бросался на растерзание ради грандиозной цели – спасения родного народа, отодвинутого на маргинес реальности. В их жизненно оправданной полифункциональности следует видеть интуитивно выраженный ответ на жестокий вызов окружающей среды (Ковалив 2007, с. 55).

Временное правительство рухнуло 7 ноября 1917 года – начался распад империи. Как ярко и точно подметил в 1970 г. В. Шкловский, представление под названием «Россия» закончилось; каждый спешил одеть свой плащ и цилиндр (Shklovskii 1970, с. 122). У нерусских национальностей появилась возможность посоревноваться за свою независимость и собственное государство. В Украине, в отличие от других регионов, эта цель имела рьяных поклонников; тут сразу после падения царского режима возникли острые и кровавые конфликты за политическую власть среди разнообразных местных и иностранных военно-политических сил.

Период национальной революции 1917 г. и следующий за ним период национально-освободительных соревнований 1917-1921 гг. вошел в историю украинского народа как один из ключевых моментов, который навсегда закрепил его право быть нацией, а также определил основные пути развития Украины. Именно в этот период украинская периодика начала заполнять отобранную у нее Россией (Эмский указ, Валувевский циркуляр) информационную среду: «начали тиражироваться ежедневные газеты «Нова Рада» (под редакцией А. Никовского), «Робітнича газета» (под редакцией В. Винниченка), «Народна воля» (под редакцией М. Шрага)» (Ковалив 2007, с. 56) и др. Фактически, из шести изданий, выходящих в печать накануне революции, количество их названий увеличилось почти в 20 раз и насчитывало, по неполным данным, около 110 газет и журналов (см. также. Животко 1999, с. 220). В основном это были издания национально-патриотического характера. Что же касается периодичности, то явное преимущество было за газетами и журналами, которые выходили в свет от одного до четырех-пяти раз в неделю. Следует отметить, что возникновение украиноязычной журналистики в XX веке стало возможным именно благодаря утверждению 24 ноября 1905 года «Временных правил о печати». Этот закон отменял действие предыдущей цензуры на газеты, а значит, и снимал запрет на украинскую периодическую печать. Но при всей, существующей на тот момент свободе украинской печати, свобода слова оставалась довольно спорным явлением. Поэтому редакционный коллектив почти каждой газеты большую ставку делает именно на сатирическую публицистику.

Украинская сатирическая публицистика входит в круг научных интересов многих исследователей периодической печати: О. Кузнецовой (Кузнецова О., 2003), А. Капелюшного (Капелюшний 1990), А. Тепляшиной (Тепляшина 2004), И. Крупского (Крупський 1995) и др. При этом следует отметить, что сатирическая публицистика изучалась в основном с точки зрения ее значимости в отражении исторических событий 1917-1921 гг., а также в контексте ее влияния на развитие национального самосознания украинского народа. Человек (и как категория физиологическая, и как категория философская) рассматривался постольку, поскольку его рассмотрение было важным для развития указанных нами тем. Мы считаем, что особенности изображения, а, значит, и восприятия человека сатирической публицистикой – один из важнейших факторов исторического развития нации в целом, поскольку смех, в основе которого лежит здоровая самокритика, свидетельствует о том, что его хозяин полностью осознал свои недостатки и намерен их искоренить – то есть самосовершенствоваться.

В нашем исследовании мы отталкиваемся от понимания того, что, как человек воспринимает себе подобных, так он воспринимает и себя, и, соответственно, как человек воспринимает себя, так он воспринимает и тот социум, в котором находится. Этот момент объясняется тем, что человек воспринимает окружающий мир, исходя из собственного опыта. Кроме того, одним из основных моментов нашего исследования есть рассмотрение человека целостно, в двух его проекциях – физиологической (материальной) и духовной (нематериальной) – а также, его поведенческих стратегий в том социально-политическом пространстве, в которое он был помещен, независимо от его желания/нежелания.

Следует также отметить, что в конце XIX – первой четверти XX вв. как в искусстве так и в литературе неотъемлемой частью параболического художественного мышления, что сформировалось под влиянием кризиса рационализма и утверждения концептуально-символических форм, стал миф. Модернизм, который развивался в этот период, теснее всего контактировал именно с мифологией. «Эта его черта, – как отмечал Я. Полищук в статье «Поліфункціональність міфу в поезії модернізму», – стала одной из основных черт философии модерна, мировоззрения творца и ментальности реципиента, а также кодификации того социально-коммуникативного пространства, которое их объединяет» (Полищук 2001, с. 35). При этом модернизм по-своему реализует три основные функции таких отношений: мифологизацию, ремифологизацию и демифологизацию (далее мы рассмотрим отражение этих функций в сатирической публицистике).

В периодических изданиях Надднепрянской Украины 1917-1921 гг. все эти три функции нашли свое отражение и применение. Такая популярность философии модернизма в работе периодических изданий объясняется ее популярностью и актуальностью во всех слоях населения.

Газетная сатира (особенно та, которая создается и печатается в революционный период) ориентируется, в первую очередь, на так называемого «среднего» читателя – то есть человека «народного», далекого от университетского образования. Цель, которую в таком случае преследует сатирик, – указать на недостатки одной системы и максимально приблизить к восприятию другой. Сатирики 1917-1921 гг. так же неуклонно следовали этому «неписаному закону». Поэтому их выступления на страницах газет и журналов пестрят простонародной лексикой, диалектизмами и обычными грамматическими ошибками. Последнее объясняется тем, что, во-первых, в жанре сатирической публицистики очень часто пробовали себя малограмотные люди с незаконченным начальным или средним образованием, а во-вторых, очень часто, пытаясь «замаскироваться» либо показать свою близость к «простому» народу, маститые писатели сознательно допускали ошибки в тексте.

Образ человека в надднепрянской (Надднепрянщиной в 1917-1921 гг. считали почти всю территорию современной Украины, а точнее – Киевскую, Подольскую, Волынскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую

и Таврийскую губернии) периодической печати 1917-1921 гг. использовался, как правило, для решения двух задач: во-первых (это более применимо к национальной периодике), для утверждения в сознании украинского народа понимания того, что он – нация, а значит, имеет полное право строить собственное государство на собственной земле; во-вторых (это характерно после 1920 г.), – с целью нивелирования национально идентифицирующего фактора и развития комплекса младшего брата (по отношению к «большому братскому народу России») у представителей украинства.

На протяжении 1917-1921 гг. образ украинского человека прошел своеобразный эволюционный процесс. Началось его развитие, как и развитие общества в целом, с этапа мифологизации. Именно этот период стал ярким отражением одной из функций отношений между творцом, реципиентом и социумом – функции мифологизации (когда миф становится не просто видением жизни, а способом мышления, стремлением подтянуть реальность под сам миф, объяснить ее с помощью мифа).

На этой стадии для образа украинского человека было характерно умение перевоплощаться, а также принадлежность к миру фантастического, неосознанного, необъяснимого. Как и для каждого человеческого индивидуума, для него было характерно существование «коллективного подсознательного». То есть человек имел силу, чувствовал свое право на существование и собственное государство, но он не пользовался этой силой пока экстремальная ситуация, в которую он случайно попал, не затянулась на десятилетия.

На этом этапе еще не прослеживается четкой славянско-братской (под крылом старшего брата) политики. С одной стороны, это объясняется отсутствием какого-либо влияния большевистского течения на территории Украины (до 1921 г. всего лишь, по разным статистическим данным, 5-7% украинцев поддалось влиянию большевистской военно-политической силы), а с другой – тем, что хаос, который воцарился после расстрела царской семьи, дал возможность национально и демократично настроенным силам выйти на политическую арену.

Например, в фельетоне «Сказка-быль» (Подольская мысль, 1918b, с. 4) весь украинский народ был воплощен в образе одного человека – могучего (былинного) богатыря, который на протяжении многих лет пребывал в рабстве: «Кто въ Бога вѣровалъ и не вѣровалъ – обижалъ его; силу его использовали люди малые, карлики земные. До седьмого пота загоняли его, на себѣ работать заставляючи...» (Подольская мысль 1918b, с. 4). Но однажды его терпению пришел конец, и он разорвал оковы.

То есть на этапе мифологизации сатирическая публицистика воспринимает украинского человека как существо могучее, былинное. На наш взгляд, такое восприятие было продиктовано скорее исторической потребностью, нежели реальным состоянием вещей. С одной стороны, после революции в России (низвержения династии Романовых) и, как следствия, национальной революции в Украине, украинская интеллигенция пребывала в эйфории от сознания того, что первый шаг к национальной общности сделан, а с другой – она не могла не осознавать, что народ, у которого ломают привычный жизненный уклад, у которого отнимают какие-то жизненные позиции и идеалы, будет непременно искать нового поводыря и создавать новые идеалы, по которым он сможет жить дальше. Именно поэтому создается несколько преувеличенный образ, в котором типизируется весь украинский народ.

Что касается роли человека в обществе, то следует отметить, что она никак не намечается. Сатирическая публицистика продуцирует человека как вещь в себе – человека, свободного от цепей и от социума. Причем, от социума он избавился, разорвав цепи, которыми долгое время был опутан. То есть между цепями и социумом мы можем поставить своеобразный знак равенства: по сути, социум на этапе мифологизации воспринимался сатириками как нечто сковывающее развитие человека. А потому основное задание человека – освободиться от социума и сфокусироваться на саморазвитии.

Следующим этапом развития образа человека стало своеобразное одиночество и индивидуализация. Он стал логичным продолжением этапа мифологизации: после того, как человек освободился от общества, он (закономерно) начал искать себя. Отсюда – уединение и индивидуализация. Отталкиваясь от коллективного подсознательного, человек пытается найти в себе что-то специфическое, свое.

Именно этот этап становится отличной иллюстрацией ко второй функции отношений между творцом, реципиентом и социумом – функции ремифологизации. То есть человек, осознав несостоятельность мифа, по которому он жил, пытается интерпретировать его, создает новые объяснения тем моментам, которые имеют двойственный смысл, – «поет старую песню на новый лад».

Главным героем сатирических жанров становится интеллектуально развитый человек (акцент с силы перемещается на интеллект), который боится «светлого будущего», что несет с собой большевизм.

Например, в фельетоне «Мне снилось...» (Подольская мысль 1918а, с. 4) главным героем выступает журналист, который после тяжелого рабочего дня пришел в собственную (довольно бедную) квартирку, поужинал, прилег на диван, уснул и увидел сон об обещанном коммунистическом строе: «Будто бы не было войны, не было революции. Хлѣбъ стоить 4 коп., масло 30 коп., яйца-пара ни коп... Электрическая станция работает... и подает энергию не только для освещения, но и для технических надобностей..., газетные сотрудники шикарно одѣтые и обутые заглядывают смѣло во всѣ уголки общественной жизни и т. д.» (Подольская мысль 1918а, с. 4). И все вокруг улыбаются. На первый взгляд, жизнь и правда прекрасна. Но дальше журналисту снится, что вдруг среди белого дня за ним приезжает милиция с сообщением о том, что его должны арестовать и расстрелять, не вдаваясь в подробности без соблюдения процессуальных норм. А все (внимание акцентируется на близких и родственниках) продолжают улыбаться, даже не пытаясь его защитить.

Проснувшись, журналист делает вывод, что от такого «коммунизма» следует бежать как можно дальше.

Характерным для этого этапа было также развитие темы большевистского намерения утвердить свой строй:

*«Тих стріляю, тих — в тюрму,
Тих нанизую на штик.
Треба ж дати всьому лад,
Бо на те я большевик»* (Реп'яхи 1918а, с. 12);

Или:
*«Тихий вечір. Стрілянина,
Брязкіт скла, нелюдський крик:
Пречудова картина,
А художник — большевик»* (Реп'яхи 1918b, с. 10).

В этот период (в основном в периодических изданиях большевистской направленности) так же встречаем тот же образ интеллектуального человека, но с точностью до наоборот — он восхищается идеями, которые несут с собой большевики.

Такая полярность в восприятии человеком самого себя объясняется полярностью и полифонизмом политических идей и течений, а также, полным отсутствием длительного лидерства какой-нибудь политической силы. Частая смена военно-политических сил и, соответственно, идеологических направленностей привела в конечном итоге к тому, что в отдаленных от центра регионах существовало по несколько органов управления — свой у каждой национальной общины.

Роль человека в обществе в этот период сатирическая публицистика также определяет двойственно, зависимо от ее политической направленности: построение, с одной стороны, глубоко национального социума, а с другой — глобализация уже

существующего общества и создание единого могучего сверхгосударства (которым в последствии стал СССР).

Третьим и завершающим этапом эволюции образа человека в украинской сатирической публицистике 1917-1921 гг. стал этап «перекрестка»: в центре — рассказчик-интеллектуал, который столкнулся с глазу на глаз со «светлым будущим» (правда, оно оказалось далеко не «светлым»), а сил для выхода из него уже не осталось. Такая «перекрестковость» в эволюции самовосприятия отразилась и на жанровой специфике: если предыдущие два этапа характеризовались использованием больших или средних сатирическо-публицистических жанров (памфлетов, фельетонов, сатирических рассказов и очерков), то тут широкое распространение получили в основном малые формы (пословицы, поговорки, гномы, инвективы и т. д.).

Например: *«Говорил большак «мануфактура»,
И соврал — собачья шкура»* (Селянська громада 1919, с. 4);
«Была коммуна, а на деле — кому на, а кому и нет» (Трудова громада, 1918, с. 3) и т. д.

Большой популярностью на этом этапе пользовались карикатуры. Например, во втором номере журнала «Будяк» за 1918 г. встречаем карикатуру «Його величність Микола III Ленін». Тут пролетарский вождь — В. И. Ульянов — изображен перед горой человеческих черепов. А сатирический комментарий под рисунком гласит:

*«І народ мій слухняний і покірний
В ногах моїх од щастя шкїрить зуби...»* (Будяк 1918, с. 7).

Очень болезненным для героя в этот период оказалось то, что понятия «быть честным» и «быть дураком» стали абсолютными синонимами, а говорить правду значило подписать себе собственноручно смертельный приговор (в физическом или духовном плане, причем, духовная смерть была для героя гораздо тяжелее, чем физическая).

Следует также обратить внимание, что на этом этапе эволюции восприятия человека сатирической публицистикой удовлетворения от победы коммунизма практически не прослеживается. Объясняется этот факт тем, что большевистская печать считала сатиру слишком «низким» жанром для того, чтобы с ее помощью можно было утверждать свою идеологию, — с этой целью использовалась, как правило, так называемая «чистая» публицистика.

Интересно на этом этапе сатирическая публицистика выстраивает поведенческую модель человека. Если предыдущие два этапа характеризовались свободным выбором поведенческих стратегий, то тут мы видим четкую линию, направленную в сторону отрицания коммунистической двойственной морали. Очень часто (особенно в печатных изданиях так называемой периферии) встречаются сатирическо-публицистические материалы под заглавиями «Коммунистическое чистилище — это перед входом в социалистический рай?» (Подольская мысль 1920, с. 2-3), «Охота на народных учителей» (Село 1919, с. 23-24) и др., что свидетельствует о том, что основной социальной ролью украинского человека в этот период сатирики видели военно-политическую и духовную деятельность, направленную на развал большевистской «машины».

Этот, третий этап, стал своеобразной иллюстрацией к последней функции отношений между творцом, реципиентом и социумом — к функции демифологизации: миф и реальность настолько контрастны, что человек пытается воспринимать реальность такой, какая она есть, без украшений и домыслов, без ложных интерпретаций и отрицания существования необъяснимых фактов и явлений.

Десятилетием позже знаменитый украинский футурист Михайль Семенко, выводя теорию искусства вообще и коммунистического искусства в частности, писал: «Мы являемся участниками мирового процесса деструкции и стоим на грани гигантской интеграции, которой суждено построить вторую дугу в истории искусства для грядущих тысячелетий» (Семенко 1930, с. 10). Но общеизвестным фактом является то, что процесс деструкции, как и любой другой процесс, не возникает из ниоткуда — только цепь идейно

(даже идеологически) связанных между собой событий, со своими собственными причинно-следственными связями можно назвать процессом. Развал, о котором ведет речь М. Семенко, начался вместе с развалом монархического строя. И, соответственно, описанные нами этапы «эволюции» восприятия человека сатирической публицистикой 1917-1921 гг. все вместе составляют первый этап развития деструкции в искусстве и общественном сознании.

Таким образом, мы видим, что эволюция восприятия человека сатирической публицистикой прошла три этапа – мифологизации, индивидуализации, а также этап «перекрестка». Основная их особенность заключалась в принципе «дезоптимизации»: если на первой стадии народ – это богатырь, который имеет силу и смелость разорвать оковы, то на третьей — это разочарованный индивидуум, у которого нет сил и, самое главное, желаний что-либо менять. Каждый этап, за исключением первого, имел четкое очертание социальной роли человека. Параллельно к процессу «дезоптимизации», возрастала ролевая нагрузка человека в социуме: если на этапах мифологизации и индивидуализации сатирики «разрешали» человеку самоуглубляться, искать себя, выстраивать свои жизненные приоритеты, то на этапе «перекрестка», они взвалили на человека обязанность согласовывать свои личностные жизненные интересы и приоритеты с борьбой против коммунистического строя и его двойственной морали.

Вместе с тем, на всех трех этапах человек фактически был воплощением мощи, интеллекта и морали – всех тех качеств, которые поднимают его над всеми народами мира. Такая националистическая гиперболизация служила отличной поддержкой и вдохновителем украинских национальных сил, которые пытались освободить Украину из-под коммунистического ига и построить независимое суверенное государство.

Литература

- БУДЯК, 1918. *Його величність Микола III*. Ленін. к. № 2, с. 7.
- КАПЕЛЮШНИЙ, А. О., 1990. *Виникнення і розвиток української радянської сатиричної публіцистики*. Киев: НМК ВО.
- КОВАЛІВ Ю., 2007. Українська література періоду національно-визвольних змагань (Фрагмент з історії української літератури ХХ ст.). *Неопалима купина*. № 3-4, с. 55-96.
- Подольская мысль, 1920. *Коммунистическое чистилище — это перед входом в социалистический рай?*, 17 мая, с. 2-3.
- КРУПСЬКИЙ І., 1995. *Національно-патріотична журналістика України (друга половина ХІХ — перша чверть ХХ століття)*. Львів.
- КУЗНЕЦОВА О. Д., 2003. *Засоби й форми сатири та гумору в українській пресі*. Львів: Видавничий центр університету ім. Івана Франка.
- Подольская мысль, 1918а. *Мнї снилось...* (маленькій фейлетонь). 1918, № 7, с. 4.
- Подольская мысль, 1918б. *Сказка-быль (маленькій фейлктонь)*. № 6, с. 4.
- ПОЛЩУК Я., 2001. Полі функціональність міфу в поезії модернізму. *Слово і Час*. 2001, № 2, с. 35-45.
- Реп'яхи, 1918а. Сповідь. *Реп'яхи*. 1918, № 1, с. 12.
- Реп'яхи, 1918б. Наші приятелі. *Реп'яхи*. № 2, с. 10.
- Село, 1919. *Охота на народних учителіей*. 1919, № 17-18, с. 23-24.
- Селянська громада, 1919. *Приповідки і приповістки*. 19 червня 1919, с. 4.
- СЕМЕНКО, М., 1930. Пан футуризм. *Семафор в майбутнє. Апарат панфутуристів*. Травень (№ 1), с. 10-12.
- Трудова громада, 1918. Приповідки та приповістки. *Трудова громада*. 20 квітня 1918, с. 3.
- ТЕПЛЯШИНА А. М., 2004. Сатирические жанры современной публицистики. *Учебное пособие*. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- SHKLOVSKII, V. B., 1970. *A Sentimental Journey: Memoirs, 1917-1920*. Trans. Richard Sheldon. Ithaca. New York.

Oksana Pochapska

Kamyanets-Podilsky National University, Ukraine

**THE PECULIARITIES OF PERCEPTION OF THE MAN AND HIS ROLE IN SOCIETY BY
UKRAINIAN SATIRICAL PUBLICISM OF 1917-1921.**

Summary

In the article the problem of perception of man and his role in society by the Ukrainian satirical publicism of 1917-1921st is examined. Analyzing satiric appearances in the Ukrainian magazines and newspapers, the author lines up the hierarchy of stages of development of human self-perception and forms the «man-perceptive» conception, which was produced in the satiric press of 1917-1921st.

KEY WORDS: satirical publicism, perception, self-perception, man.

Татьяна Пудова

Академия Поморская в Слупске

ul. Słowiańska, 6 m. Słupsk 76-200, Polska

e-mail: tpudova@rambler.ru

ГОГОЛЕВСКИЙ ДИСКУРС В ПРОЗЕ ОЛЕГА ПОСТНОВА

В статье анализируется роман О. Постнова «Страх», перекликающийся с гоголевской «Страшной мезью». Их объединяет общая тема – кровная вражда и родовое проклятие. Обращаясь к творчеству Гоголя, автор раскрывает внутренний мир главного героя, которого мучают неразрешимые проблемы, во многом предопределенные роком, судьбой. Статья фокусируется на проблеме страха, его экзистенциальной природе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гоголевский текст, современная проза, страх, предопределение.

Гоголевский текст оказался востребован современной прозой неслучайно. Гоголь и сегодня остается современным, потому что главная тема его творчества – «человек вообще», не привязанная к какой-то конкретной исторической эпохе. Естественно, свои бессмертные, вечные художественные типы и образы он создавал на современном ему материале, но по существу они оказались универсальными. Розанов обвинял Гоголя в создании мертвых «восковых фигур», но именно это стало главным достоинством: неживую гоголевскую «восковую фигуру» легко наполнить современным материалом (Розанов 1989, с. 163).

Художественное зрение Гоголя обращено на изнанку жизни, на ее отрицательные стороны, за это многие считали писателя обличителем существующей действительности, ее пороков. Если бы это утверждение было справедливо, то вместе с уходом этой действительности в прошлое, ушел бы в небытие и гоголевский мир. Чего на самом деле не произошло ни в жизни, ни в литературе. Это также доказывает универсальный характер созданного гением Гоголя художественного мира: «током несется неумирающий автор сквозь телеграфные столбы поколений». (Белый 1934, с. 39)

Современная литература не осталась равнодушна и к «загадке» личности Гоголя. Его тайна по-прежнему интригует, заставляя переосмысливать гоголевское творчество. Каждое поколение по-новому прочитывает Гоголя, создавая собственные интерпретации, характерные для данного времени.

Олег Постнов, писатель из Новосибирска, филолог по образованию, тонкий стилист, не скрывает своего интереса к Гоголю и того факта, что во многом его мировоззрение складывалось под влиянием писателя. В своем творчестве Постнов старается приблизиться к Гоголю, но это, по его же словам, «всегда заканчивается неудачей». Писатель пытается по-своему разгадать «загадку» своего гениального предшественника.

Гоголевский текст прочитывается в двух его книгах: сборнике рассказов «Поцелуй Арлекина» и романе «Страх». «Поцелуй Арлекина» отсылает к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и петербургским повестям. «Страх» сосредоточен, в основном, вокруг украинской темы.

Обе книги написаны от лица мнимого автора, подобно «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Этот прием романтизма и сентиментализма был широко распространен в первой половине XIX века и был использован Гоголем после провала поэмы «Ганс Кюхельгартен», чтобы скрыться под вымышленным именем в страхе перед возможной неудачей. Постнов использует этот же прием как игровой. Как и у Гоголя, обе книги Постнова наполнены мистикой и фантазмагорией.

Петербург обрисован Постновым в гоголевской традиции. «Нева расстилалась передо мной, и город казался затопленным до краев невиданным наводнением. Одни шпили торчали наружу... У подножья веселого дома перед черной Невой все складывалось в странный узор. Скоро стало казаться, что я иду по дну океана, что затонувший город этот совсем не тот, но что он тоже знаком мне, и я могу дышать и бродить между зданий...» (Постнов 2002, с. 23-24). Постнов смотрит на Петербург, как и Гоголь, взглядом приезжего: «Как всякий новичок в Петербурге, я вспомнил Достоевского и Гоголя, их безумие» (Постнов 2002, с. 27). Фантасмагория Петербурга раскрывается через призму гоголевских образов. Если нос может соскочить с лица майора Ковалева и зажить отдельной жизнью, то почему девушка, продавщица из Пассажа, не может быть человеком-оборотнем и превращаться в крысу?

Стилизация и литературная игра – вот основные творческие приемы Постнова. Поэтому вполне уместными выглядят слова и обороты, употребляемые классической русской литературой XIX века («командировка» – «казенная надобность», «еда» – «новая снедь», «окна» – «кабинет в два света»; написание слова «чорт» через «о»). Мистика и фантасмагория являются отличной платформой для игр. И Постнов не скупится на многочисленные намеки и аллюзии. В то же время фантастика ему необходима, чтобы подчеркнуть тенденцию к разрушению границ традиционной действительности. Гоголевские образы подходят для этого лучше других. Таким образом, фантастика и мистика в его произведениях используются не как цель, а как средство для создания перехода в параллельное пространство.

«Это очень манерная, демонстративно цитатная проза. Словесная и смысловая вязь романа сплетается в столь густой клубок человеческих взаимопересечений, что зачастую трудно отыскать и определить их «начала и концы». Жизнь реальная и сновидческая, сегодняшняя и потомственно-родовая, деревенская и городская, московская и киевская, русская и американская создают причудливый и сложный узор его текста. Его формирует и множество литературных аллюзий» (Данилкин 2002).

В «Поцелуе Арлекина» гоголевский текст лишь обозначен, затронут вскользь, как бы предвосхищая свое присутствие в романе «Страх», где он проступает явно и занимает в книге определяющее место.

Ключи к основной теме романа «Страх» находятся в различных его составляющих: в названии, эпиграфе о двойственной природе страха, обращении к мировой литературе, в том числе, к творчеству и личности Н. Гоголя. Но это не тот тип страха (страх как эмоциональная вспышка), который вызывает ужас читателей; скорее, природа страха, описанного в романе, заставляет задуматься над смыслом жизни, над влиянием рока, предопределенности на судьбу человека.

Постнов использует рамочную композицию, роман заключен в своеобразные скобки: на первых страницах мы встречаемся с названием «Страшной мести» Гоголя, а заканчивается роман теми же словами, какими заканчивается и гоголевская повесть: «в старину случившемся деле» (Гоголь 1981, с. 160; Постнов 2001, с. 283). Таким образом, тема «Страшной мести» – кровная вражда и родовое проклятие – становится темой романа «Страх». «Страх» перекликается с произведениями Гоголя, относящимся в первую очередь к первому, «романтическому», периоду его творчества («Майская ночь или Утопленница», «Вий», «Страшная месть»).

Эпиграф из Кьеркегора заставляет осмыслить чувство страха на ином, более глубоком уровне: у датского философа Кьеркегора была постыдная и страшная тайна, которую он ни разу не обозначил в своих текстах, «но это именно она оказалась осмысленной на философско-экзистенциальном уровне как проблема Необходимости (или, что почти то же самое, необходимой Случайности), как проблема Рока, как проблема страха и ужаса перед законами природы, которые человек не волен выбирать» (Аверин 2005, с. 173). Именно на философско-экзистенциальном уровне художественно воплощается проблема страха в романе Постнова. Автор как бы соединяет воедино

Кьеркегора, Гоголя и главного героя романа, который в определенной степени является alter ego автора, а объединяет их именно чувство страха, вызванное какой-то травмой, полученной в детстве или в юности. Именно там, считает Постнов, нужно искать начало разгадки «гоголевской» тайны. Поэтому гоголевский текст присутствует в той части романа, которая написана от имени главного героя К***, чья психика готова воспринимать мир через гоголевские образы. «Второй принадлежит перу Тони, он много короче, чем первый, и представляет собой скорее композиционную ценность противовеса: опровергая мистическую подоплеку судьбы К***, он «возвращает» читателя к реальности» (Глухов 2003).

Автор использует гоголевские образы и мотивы для осмысления психологии страха. Во-первых, это гоголевское пространство. Действие романа развивается в украинской деревне, Киеве, Москве и Америке. Украинская деревня, находящаяся недалеко от речки Диканьки, наводит на аллюзию с географическим пространством «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Киев – место действия гоголевского «Вия», Москва и Америка – своеобразная антитеза близким Гоголю местам. Во-вторых, это старшие представители двух враждующих родов: дед героя и старуха-ведьма. Дом деда напоминает заброшенный панский дом из «Майской ночи». Встреча с главной героиней происходит в майскую ночь. «Страх» населен призраками, русалками, проклятиями, колдовством, внезапными превращениями, необыкновенными совпадениями. Постнов широко использует образы гоголевских русалок, ведьм, колдунов, иногда наделяя их отдельными, взятыми у Гоголя, чертами, иногда эта характеристика выражена точной, но не закавыченной гоголевской цитатой. Так главная героиня воспринимается героем русалкой из гоголевского «Вия» и автор цитирует Гоголя: «Тоня любила вдруг опрокинуться на спину, словно русалка из «Вия», «...и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали по краям своей эластически-нежной окружностью»...» (Постнов 2001, с. 42). Уже это сравнение позволяет предположить мистический характер отношений главных героев. Цитата из Гоголя позволяет, с одной стороны, более точно передать смысл происходящего, с другой стороны, углубляет и усложняет образ, приобретающий многослойность. Постновскую ведьму можно поставить в один ряд с демоническими персонажами Гоголя. Она так же, как и у Гоголя, неприязненно встречает героя. И Постнов особое внимание уделяет ее взгляду, употребляя для этого гоголевское слово *вперить*: «Сама она сидела тут же, на корточках, высоко задрав голые грязные колени и буравя нас взглядом... она вовсе не двигалась...старуха вдруг вперила в меня взгляд, так что я сразу вспотел» (Постнов, 2001 с. 31). Внучка обладает таким же взглядом: «вдруг, вперив в меня исподлобья взгляд, очень пристальный» (Постнов 2001 с. 39). Этот пристальный взгляд является принадлежностью демонических персонажей. «Открытые глаза – это не просто физическая способность зрения, это знак дьявольской гордыни, желание приоткрыть тайну, ведомую лишь Богу, это зрение, пораженное грехом» (Эпштейн 1996).

Отношения героев обусловлены родовыми отношениями, кровной враждой и родовой мстью: в романе дети наследуют проклятье предков. Как и в «Страшной мести», история ненависти и проклятия двух семей своими корнями уходит в прошлое, о котором в доме героя предпочитают не упоминать. Но прошлое не дает о себе забыть, становится определяющим в жизни главного героя. «Мне жаль К***, его напрасную любовь и его веру, как у моей бабки, в наследственность зла. Как будто нет ничего важнее в жизни человека, чем забота о тех, кого нет, кого никогда не будет, об их мертвых обидах, давно ушедших прочь. Словно нечего предпринять, кроме мести, и можно лишь бояться и ждать, и думать, понуря голову и потеряв ум, об их глупом, давно забытом, пустом и в сущности никому не нужном, в старину случившемся деле» (Постнов 2001, с. 283).

Еще живы старшие представители враждующих родов: дед героя и старуха-ведьма, Тонина бабушка. Дед хранит прошлое семьи в тайне, никогда о нем не говорит, мальчик

узнает о случившемся из обрывков разговоров, расспросов у старшей двоюродной сестры. Мальчику начинает являться мара, Женщина в Белом, которая приводит его в испуг, оставляющий след в его душе и психике на всю жизнь. Мара приоткрывает ему дверь в другую, потустороннюю реальность. Постепенно он учится жить в новом состоянии, в двух реальностях одновременно, переставая понимать, какая из реальностей настоящая.

В семье Тони, наоборот, из прошлого тайны не делают, девочка посвящена в эту тайну, а бабушка передает ей свои колдовские умения и заговоры. В итоге оба, и мальчик, и девочка, становятся орудиями родовой мести, не осознавая этого.

Родовая месть страшна тем, что она не приносит победу никакой из враждующих сторон, приводя к разрушению и гибели оба рода. Так, в романе мы становимся свидетелями нескольких смертей. Сначала умирает Тонина бабушка, чья смерть и черная свадьба явились толчком к изменению сознания К***; затем умирают родители мальчика, сначала отец, затем после тяжелой болезни, мать; умирает и Тонина мать. Дед героя еще жив, но видно его постепенное угасание, физическое и психическое разрушение. У главных героев нет детей. Тенденция угасания обоих родов неминуемо должна завершиться и смертью главных героев. Что в конце концов и происходит: Тоня умирает от СПИДа, К*** кончает самоубийством.

В возрасте 12 лет К***, безмянный главный герой романа, первый раз встречается с главной героиней, девочкой Тоней. Это сложный период в развитии человека, когда каждое происходящее событие оставляет в душе неизгладимый след и во многом определяет всю последующую жизнь, особенно в психологическом и душевном плане. К*** встречается с необычной девочкой в лунную майскую ночь, поведение девочки не похоже на поведение других детей, это его завораживает. Смерть бабки и необычный обряд черной свадьбы, в которых он невольно принял непосредственное участие, совпавший с подростковой сексуальной инициацией, переворачивают всю его душу, нарушают нормальное психическое развитие. События той ночи произвели настолько сильное впечатление, что его психика попросту не выдержала: «и снова все мешалось в уме и в глазах, и приходили ломкие мысли. Узор на обоях гадко двоился, двоился и дед, весь мир двоился: нельзя было понять, ночь или день» (Постнов 2001, с. 62). Спасением оказался уход в болезнь, во время которой его продолжало посещать привидение – Женщина в Белом. Тем самым она как бы приоткрывала ему дверь в иную реальность. Ту реальность, которая становится для него главной и основной.

Рок, судьба выбирают своей жертвой К***, а орудием мести Антонину. История их необычных отношений, кажущихся случайными встреч становится для героя смыслом жизни, все остальное перестает иметь для него значение, он становится одержим этой девочкой, так похожей и на гоголевскую русалку, и на панночку в то же самое время. Его психика раздваивается: одновременно он пребывает в двух реальностях, сон и явь перемешаны и существуют одномоментно. Причем явь отнюдь не является основной реальностью, скорее она носит чисто физиологический характер, физическое тело нужно герою только как вместилище его больной психики. После пережитого в детстве шока в его жизни все перевернулось, поменялось местами. Каждая встреча с Тоней заканчивалась болезнью, можно сказать, что болезнь была способом сохранить себя. Переживания детства обусловили его образ жизни, как своеобразный уход от реальности. Его профессией становятся книги и переводы. Постоянная смена сексуальных партнеров и нежелание выстраивать какие-то прочные отношения может рассматриваться как уход от ответственности в реальной жизни.

В романе происходят постоянные переходы из одной реальности в другую. Очень часто герой не может понять, где сон, а где явь. «Мне вдруг почудилось, что я не бегу, а иду, к тому же не по той аллее, – но никакой другой, я знал, тут не могло **быть**. Однако я не был уверен, что это *вообще* аллея. Мне казалось, вокруг лес, черные стволы стояли стеной по сторонам меня, словно я шел просекой. Взглянув вверх, я увидел над головой

крупные золотые звезды; странные, незнакомые мне созвездия слагались из них. Но это был лишь миг – и вновь под ногой шуршал песок, а впереди были окна усадьбы» (Постнов 2001, с. 53). Герой не всегда осознает, что с ним случается в реальной жизни, а что во сне. «Я и впрямь не знаю, где именно была явь – тогда, той ночью, а что затем добавил к ней сон» (Постнов 2001, с. 57). Такое пограничное состояние его психики определяло и его отношение к реальному миру, который для него был всю жизнь безынтересен и вторичен. «Припоминаю взрослых и сверстников, с которыми проводил изредка время, однако они никак не нарушают моего одиночества, того внутреннего и сосредоточенного уединения, к которому я себя приучил. Их как бы нет: я только знаю, что они были, но не вижу их» (Постнов 2001, с. 18). Совершенно иначе он воспринимает иную реальностью, которую и считает главной. Родовое проклятие упало на благодатную почву, родовая месть в данном случае не могла остаться не реализованной.

Как проклятия, так и умения их накладывать передаются по наследству. Старуха-ведьма передает все свои знания и умения внучке, которая после ее смерти сама становится ведьмой. В ночь похорон старухи по старинным преданиям должна произойти черная свадьба: старуха была девственницей. Юный герой, мальчик 11 лет, становится ее мужем, но тут же происходит замена, ее место занимает внучка-ведьма, герой становится ее мужем, попадая под власть ее чар. Подобная замена, только с обратным знаком, происходит и раньше, когда из лодки К*** увидел страшную старуху возле костра. При приближении старуха превратилась в девочку. «Я привстал – и альбом иллюзий вдруг вновь сыграл со мной свою шутку. У огня сидела девочка» (Постнов 2001, с. 37). Подобные превращения есть и у Гоголя с отцом Катерины в «Страшной мести», когда казак преображается в колдуна: «нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак – старик» (Гоголь 1981, с. 127).

Следующие шесть лет жизни до очередной встречи с Антониной оставляют его равнодушным к обычным интересам его сверстников, к реальной жизни, зато сны лишают его покоя. «Я плохо помнил, что видел, грезя; однако все чаще просыпался с чувством не то утраты, не то томления по тому, что могло бы быть – где-то там, когда-то, - но чего не было здесь; я, впрочем, и сам не знал, что это такое <...> Но был мир – зеленоватый, призрачный, очень цепкий мир сна (впоследствии лишь бессонница ослабила его хватку), по утрам не желающий долго покидать меня» (Постнов 2001, с. 68). Сон становится той реальностью, в которой он и живет по-настоящему. «Я никогда, ни на одну минуту и ни за что не согласился бы признать, пусть даже в виде гипотезы, что история моей *второй*, призрачной жизни есть всего только болезнь» (Постнов 2001, с. 90).

Мистикой веет и от их последней встречи в Киеве, когда герой случайно (случайно ли?) встречает Тоню в сопровождении молодого человека, который предлагает ему купить девушку. Как позже мы узнаем из объяснений Антонины, она при помощи ведьминых травок загадала встретить своего мужа, человека небедного, у которого можно было взять деньги для выплаты карточного долга. Но вместо мужа она встречает героя романа, о котором даже не думала и не вспоминала, но, как оказалось, узы проклятия и черная свадьба связали их крепко. У героя есть при себе нужная сумма денег, Антонина оказывается проданной.

После всех этих встреч герой все больше и больше верит в проклятие. Что это: судьба, рок? Московская жизнь воспринимается им как пресный заменитель настоящей. «И чем дальше, тем больше я убеждался, что сама моя московская жизнь со всей ее пресной плотью есть лишь пустая закваска, нечто вроде той ширмы, или экрана, которым на сцене отгораживают скучный дивертисмент от невидимых зрителю важных приготовлений» (Постнов 2001, с. 116). «Зеленоватый мир сновидений» врывается в реальную жизнь: он начинает видеть мертвецов на улицах города.

После отъезда Тони в Америку (Америка воспринималась во времена Гоголя как *тот свет*), после смерти матери судьба его складывается так, что он также эмигрирует в Америку. В этом ему помогают тоже как будто потусторонние силы, несущие его навстречу его судьбе, при его почти полной отстраненности. Эти силы «принадлежат, конечно, к тому подклассу служебных духов, которые, сделав возложенное на них дело (обычно частное, но непростое), бесшумно и беззаботно затем исчезают, махнув напоследок крылом». (Постнов 2001, с. 194) Как гоголевский Вакула на черте слетал в Петербург за черевичками, так К*** без труда и усилий удается получить американскую визу, быстро и дорого продать московскую квартиру, деньги от продажи которой будут удачно вложены в Америке, начать пусть и одинокую, но вполне благополучную жизнь на новом месте. Казалось, что с прошлым все нити разорваны, с ним больше ничего уже не связывает. Но прошлое находит его и за океаном: они снова встречаются с Тоней. Их встреча происходит на юге Америки, куда они оба специально прилетают из разных городов. Кажется, цель этой встречи предельно ясна, но Тоня снова ведет себя загадочно. Неудовлетворенный встречей герой возвращается домой, его настроение ухудшается. Загадка Тони по-прежнему не дает ему покоя. Через какое-то время в газете он находит некролог о смерти Тони, в котором указывается причина ее смерти. Во многом становится понятным ее поведение во время их последней встречи. Но ее смерть ясно показывает, что теперь *без нее* он уже не может оставаться на этом свете: «Я – наверное – не мог жить с нею. Но без нее подавно не могу» (Постнов 2001, с. 265). Именно смерть героини становится страшной мезьью, причем Постнов делает переакцентировку со слова «мезья» на слово «страшный». «Я нарочно переставил смысловый акцент, ведь когда мы говорим: «Страшная мезья» Гоголя, – мы невольно делаем акцент на слове «мезья». А у меня герой говорит: «Неужели она поступила так? Страшная мезья. Не хочу в это верить». То есть, я перенес эмоциональное, смысловое ударение на «страшную» часть «Страшной мезьи» (Из интервью М. Фраю).

То, что для Антонины было только игрой, для К*** становится смыслом жизни. Его уход в другую реальность – это страх перед действительностью. Страх, пережитый в детстве, страх перед Марой и старухой-ведьмой, вполне объяснимый, превращается во всеохватывающий. К***, став взрослым, перестает бояться Мару и зеленоватый мир, но его все больше страшит жизнь реальная: страх становится экзистенциальным. Каждый по-своему решает проблему взаимоотношений с реальностью, для К*** первостепенной становится именно другая реальность. Этот факт доказывается не только всей жизнью героя, но и его решением уйти из жизни. Пока жива была Тоня (пусть они и не встречались, подолгу не виделись, но были связаны тайными нитями), он был еще привязан к жизни. После ее смерти нить оборвалась – для него жизнь реальная теряет смысл окончательно, зато зеленоватый мир все сильнее окутывает его. Его существование превращается в поиск возможности ухода из этого мира. Если раньше зеленоватый мир приходил к нему только по ночам, то теперь он видит представителей зеленоватого мира, умершие души и днем, среди живых людей. Именно они указывают ему путь к Антонине, по ту сторону Черты. В невозможности существования без этой странной девочки, которую он даже не любил, и заключалась страшная родовая мезья. Они оба стали марионетками в руках рока, их жизни были предопределены родовым проклятием. Именно они стали конечными звеньями в бесконечной цепи родовой вражды. Они не оставили потомства, а значит, и возможности для продолжения страшной мезьи.

В романе «Страх» показан процесс возникновения чувства страха, который оставляет неизгладимый след на психике героя. В итоге – раздвоенная, не сложившаяся жизнь К***, превратившаяся в поиск чего-то неуловимого, что могло бы расставить все на свои места. Но кровная вражда столь же разрушительно повлияла и на жизнь Тони, которая тоже оказалась «не состоявшейся».

Конечно, можно отнести к роману «Страх» как к «довольно тривиальной истории мальчика с университетским дипломом, вплотную соприкоснувшегося — из-за

превратностей жизни, из-за собственных странных пристрастий — с грязью и гадостью, которые обильно выплеснулись на поверхность, когда в начале 90-х годов свершался наш неуклюжий поворот к новому социальному состоянию, к «открытому обществу» (Зверев 2002.). Но, по-моему, это поверхностный взгляд, который за «тривиальностью» сюжета не видит драму молодых героев романа. Обилие аллюзий, реминисценций, цитат позволяет «расслоить» текст, понять, что проблемы, волнующие человека, берут свое начало в прошлом. И «загадка» Гоголя интересна сегодня именно потому, что она отражается в психике современного человека. Таким образом, прошлое и настоящее представляют собой единый процесс, взаимосвязанный и взаимообусловленный.

Наблюдая за историей К***, опираясь на гоголевский текст, автор хотел разобраться и в «загадке» Гоголя. Скорее всего, в его детстве или юности произошло нечто, что определило его дальнейшую судьбу. Именно в детстве следует искать причину его страха перед жизнью и боязнью потерь, безбрачия, одиночества, бездомности, сексуального воздержания. Сублимация сексуальной энергии, превращение ее в творческую, а также особое видение действительности стали той платформой, на которой Гоголь построил свою жизнь и творчество.

Литература

- АВЕРИН, Б., 2005. Страх прямого высказывания. *Семиотика страха*. Сб. статей. Москва.
 БЕЛЫЙ, А., 1934. *Мастерство Гоголя*. Москва.
 ГЛУХОВ, А., 2003. *Смежная область «Страха»*. <http://www.proza.ru:8004/editor/issue.html>
 ГОГОЛЬ, Н., В., 1981. *Вечера на хуторе близ Диканьки*. Минск.
 ДАНИЛКИН, Л., 2002. *Олег Постнов «Страх»*. <http://msk.afisha.ru/books/book/>
 ЗВЕРЕВ, А., 2002. Зеленые игры. *Новый мир*, № 9. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/9/zver.html
Мистический реализм и интеллектуальное хулиганство. (Интервью с Олегом Постновым). <http://www.simglass.ru/op.htm>
 ПОСТНОВ, О. 2002. *Поцелуй Арлекина*. Москва.
 ПОСТНОВ, О. 2001. *Страх*. Санкт-Петербург.
 РОЗАНОВ, В. 1989. *Мысли о литературе*. Москва.
 ЭПШТЕЙН, М., 1996. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя. *Новое литературное обозрение*, № 19, с. 129-147.

Tatiana Pudowa

Akademia Pomorska Słupsk Institute Neofilologi, Poland

GOGOL'S DISCOURSE IN O. POSTNOV'S PROSE.

Summary

The article analyses the novel "Fear" written by O. Postnov. This novel and Gogol's "Terrible revenge" is united with the general theme – a blood enmity and a patrimonial damnation. Addressing to Gogol's creativity and his biography, the author opens the private world of the protagonist which is mainly predetermined by a destiny. The article is focused on a problem of fear, fate and predetermination.

KEY WORDS: the Gogol test, modern prose, fear, predetermination.

Jūratė Radavičiūtė

Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities

Muitinės g. 8, 50343 Kaunas, Lietuva

e-mail: jura.te@hotmail.com

THE MIMIC MEN OF SALMAN RUSHDIE'S *MIDNIGHT'S CHILDREN*

*This study deals with the problem of mimicry in the formation of post-colonial identity. Investigating into the perception of mimicry as proposed by H. Bhabha, the article proposes a different attitude to the concept based on the interpretation of S. Rushdie's **Midnight's Children**.*

KEY WORDS: *post-colonial, identity, mimicry, metonymy.*

The question of identity has been tackled by most of the prominent figures in postcolonial studies. However, the most significant contribution has been made by two of them: Franz Fanon and Homi Bhabha. Fanon's *Black Skin, White Masks* and *The Wretched of the Earth* served as an inspiration for Bhabha's *The Location of Culture*, where the concept of mimicry as applied to postcolonial identity is extensively discussed. This article aims at reviewing Bhabha's theory of the mimic man and interpreting S. Rushdie's novel *Midnight's Children* in terms of this concept.

As both Fanon and Bhabha rely on contemporary psychiatry, especially Jacques Lacan, discussing the question of identity, it seems to be important to define the concept of mimicry in terms of psychiatry. J. Lacan suggests that

mimicry reveals something in so far as it is distinct from what might be called an itself that is behind... It is not a question of harmonizing with the background, but against a mottled background, of becoming mottled...(Bhabha 2007, p.121)

Thus, he implies that mimicry is a certain pattern of behavior that enables a person to survive rather than adapt and become a part of a specific environment or a social situation. This way of surviving transforms the personality to the point of no return, to "becoming mottled."

Discussing the concept of mimicry in a postcolonial context, Homi Bhabha traces its roots in the very nature of the colonial policy. He notices the ambivalence in the attempts to maintain a civilizing mission and a disbelief in the feasibility of this mission. Bhabha points out that the mission is, in fact, driven by "the desire for a reformed, recognizable Other, as a subject of a difference that is almost the same, but not quite". What enables this desire to be put in practice is the influence of the colonial system on a colonized country as such. Benedict Anderson in *Imagined Communities* (Anderson 1991) explains that a colonized country is a construct of the colonizers: its boundaries, language, history, religion are defined by the colonizers, its past is rewritten, modified and adapted to the needs of the newcomers. In many cases, for example, in the case of India, the colonized country is wholly a construct of the colonizers as it did not exist as such before the colonization. In order to survive in such conditions, a native of a colonized area has no alternative but accept the rules of the colonizers.

Regarding the identity, the colonial produces a westernized native who possesses the knowledge and skills needed to work for the system but poses a threat the same system and so has to be controlled and supervised. According to Anderson, the control is maintained by introducing certain restrictions which do not allow, for instance, a native person to be promoted to a post outside his native country, or, as Bhabha puts it, "to be Anglicized is emphatically not to be English." Elaborating further on the identity of such a westernized person, Bhabha implies

that he has no content, only elements of two discourses: native and western, and names him a mimic man, a man who is unable to harmonize with the environment, but tries to survive.

Bhabha mentions metonymy as the main strategy of both survival and control. Two discourses merge “alienating the modality and normality” of both of them and highlighting the importance of certain features and qualities while the rest is overlooked or completely ignored. Regarding postcolonial literature, one writer excels at the use of metonymy in his works; it is Salman Rushdie. Gibreel Farishta’s sulphuric smell, Saladin Chamcha’s one thousand voices, Saleem Sinai’s nose- every protagonist of his novels has a quality or a feature which predestines their lives.

The dominant series of metonymies in *Midnight’s Children* represents human body and its functions; they dominate people’s destinies at different levels: societal, family and personal; although these levels do not exist independently from each other: all of them are related and dependent, in a case of each individual producing a different effect. One of central metonymies that functions at a societal level, an umbilical cord, stands for the person’s life in general and is reflected in the houses and cities they live

The city of Karachi proved my point; clearly constructed on top of entirely unsuitable cords, it was full of deformed houses. the stunted hunchback children of deficient lifelines, houses growing mysteriously blind, with no visible windows, houses which looked like radios or air-conditioners or jail-cells...(Rushdie 2006, p. 429)

What can be significant at a large scale is relevant for individuals as well. When Saleem Sinai’s family decides to build their own house and bury the baby’s cord below the foundation, they doom their house as the cord does not represent their child as no-one can be certain of its origin- if it belongs to Saleem who is not their child although he was brought up by the family or it belongs to their son who was raised in a strangers’ family. Thus, it either belongs to somebody that is a part of the family though being a stranger or to a stranger who by accident has become their family member. The confusing origins of the cord affect the house: “although the foundations were dug very deep, they would not prevent the house from falling down before we ever lived in it.” (Rushdie 2006, p. 429).

Another kind of metonymies functions at a family level. A central family of *Midnight’s Children* is Aadam Aziz’s, and the metonymy that unites the family members is nose. Each person that belongs to or is somehow related to the family has a nose reflecting his/her personality or destiny

On Aadam Aziz, the nose assumed a patriarchal aspect. On my mother, it looked noble and a little long-suffering; on my aunt Emerald, snobbish; on my aunt Alia, intellectual; on my uncle Hanif it was the organ of an unsuccessful genius; my uncle Mustafa made it a second-rater’s sniffer; the Brass Monkey escaped it completely; but on me- on me, it was something else again (Rushdie 2006, p.10)

An implication of some kind of mystery regarding Saleem’s nose in the description invokes a possibility of a different level of unity than a simple family bond. Saleem’s French origins through his nose relate him to Aadam Aziz more closely than any other family member, as they share the same values and make similar judgments regarding societal transformations. In this respect, Saleem and Aadam Aziz’s noses function as a representation of a certain background, in this case, European, that distinguishes them from others. However, this function is hardly compatible with Bhabha’s suggested interpretation of a metonymic nature of post-colonial

identity as the choice of this bodily metonymy would not be immediately associated with the features typically attributed to the whites and suggests a different way of interpretation of the Indian-European bond. In this novel, nose is more associated with inner qualities rather than physical appearance. Returning to the description of the family, nose is mentioned along with such qualities as nobility, genius, snobbishness, etc., and the size of the organ increases depending on the relevance and positivity of these qualities: uncle Mustafa cannot boast about the size of his nose and at the same time his persona is common, dull, or to use Rushdie's words "second-rate"; while on Saleem's face, the nose acquires enormous dimensions, his role in the novel is also a central one.

Nose tends to transform due to different circumstances, adapting to the changes and helping its owners out as well as developing with them. This feature is particularly obvious in the case of Saleem Sinai. He is born with a huge nose which proves to be completely useless: "it should...have been a superlative breather; a smeller without an answer...instead it was permanently bunged-up, and as useless as a wooden sikh-kabab." (Rushdie 2006, p. 214). The nose regains its power to smell only when Saleem moves to Pakistan where he is isolated from his midnight's children and unable to use his magic powers. As the narrator puts it- "Saleem invaded Pakistan armed only with a hypersensitive nose... capable of smelling sadness and joy, of sniffing out intelligence and stupidity..." (Rushdie 2006, p. 421). The final transformation of Saleem's nose occurs due to his being sent to the army by his revengeful adopted sister. In the army, he is completely alienated from anything that is important for him; consequently, the nose and its biological function to smell begins to dominate his whole personality and Saleem turns into a man-dog. He stops talking, so his story is conveyed by the soldiers of his unit

'He can follow any trail on earth!'- 'Through water, baba, across rocks! Such a tracker, you never saw!'- 'And he can't feel a thing! That's right! Numb, I swear; head-to-feet numb! You touch him, he wouldn't know- only by smell he knows you're there!' (Rushdie 2006, p. 486).

The functions that Saleem's nose acquires depend on many factors: his maturity (as a child he is not capable of using the powers of his nose, he only suffers from its distinctiveness), living place (living in Bombay, he is surrounded by the environment that is natural to him; therefore, the powers of the nose are supplemented with the magic of the city, its atmosphere and people and are not just physical, while in Pakistan, the country that lacks magic, physical attributes of the nose prevail) and the people he encounters (finding out his mother's secret opens up his abilities to interact with other midnight's children through his nose; the betrayal of his adopted sister paralyzes all his human abilities reducing him to a man-dog who is only capable of sniffing and tracking). At the family level, nose as a metonymy acquires a transformational quality that reveals or highlights the features that become dominant in a character's individuality, reflecting the changes that s/he undergoes at a specific period of his /her life due to the influence of the closest people.

The novel also contains metonymies which are revealed at the level of individual characters. One of the most often used- hair- is dominant of the characters who being significant for Saleem tend to bring destruction to his life: Brass Monkey with her flaming red hair sends Saleem to the army, William Methwold with a seductive center-parting of his fake hair leaves a pregnant Indian woman behind, Indira Gandhi or Widow with her black and white hair and a center-parting dooms midnight's children to failure.

A number of other metonymies are associated with such secondary characters as Mian Abdullah (voice), Mumtaz Sinai (black skin), Zafar Zulfikar (uncontrollable peeing). Voice as a metonymy deserves more attention and analysis as in contrast to other individual metonymies it is associated with a certain positivity although with a shade of inevitability and despair. In respect to Mian Abdullah, his voice brings him fame and honour as it supplemented with high morality and strong values. However, these rewards appear to last shortly: he is hunted down by

assassins and murdered. A dramatic description of his death is focused on the incredible powers of his voice which although do not save him, make the end of his life memorable:

The Hummingbird's hum became higher. Higher and higher, yara, and the assassins' eyes became wide as their members made tents under their robes. Then- Allah, then!- the knives began to sing and Abdullah sang louder, humming high-high like he'd never hummed before.... But now Abdullah's humming rose out of the range of our human ears...(Rushdie 2006, p. 58).

Brass Monkey also possesses a distinctive voice and at the point of her life when it starts dominant over the power of her red hair, she acquires fame and respect. Nevertheless, her voice does not make her successful long: after a period of fame, she is forced to hide and locks herself in a nunnery, disappearing for good.

Regarding the central metonymy of the novel- nose, it must be mentioned that certain contexts that it is mentioned in deserve a closer analysis as their significance is established at different levels. Nose is first introduced at the very beginning of the novel, and all network of connection is presented in the portrayal of Aadam Aziz. He is introduced as the owner of the nose which

1. "is comparable only to the trunk of the elephant-headed god Ganesh";
2. "established incontrovertibly his right to be a patriarch";
3. had "nostrils flaring, curvaceous as dancers. Between them swells the nose's triumphal arch...sweeping his upper lip";
4. is so distinctive that, according to the boatman Tai, "Mughal Emperors would have given their right hand s for noses like that one." (Rushdie 2006, p. 9).

If the patriarchal quality of the nose has been mentioned earlier, discussing the distinctiveness of the nose as a family feature, other connections should be traced further. The reference to nose as an inheritance from Mughal Emperors is extended to two secondary characters of the novel- Ahmed Sinai and Emerald Zulfikar- who are driven by the desire of power and wealth. Ahmed Sinai invents his Mughal predecessors to impress an Englishman: "Mughal blood, as a matter of fact...Wrong side of the blanket, of course; but Mughal, certainly." (Rushdie 2006, p.152). Moreover, he invents a family curse to strengthen the effect, the deed, which later on determines the family destiny- as if some magic words were pronounced in the conversation, which triggered some mechanism and initiated a process of change, fatal for the family.

Mughal ancestors have a dual importance to Ahmed as they signify money and respectability. In respect to the Englishman Methwold, Mughal's name helps Ahmed to gain certain confidence. This function of nose is closest to a traditional role of metonymy in the relations between colonizers and the colonized: Methwold due to his European background is granted nobility without questioning if it is real; while Indian Ahmed has to invent a quality that would overweight his Indian decent so that ho could reach out to the position that the Englishman holds. This imaginary identity works in a different way from what Ahmed expects. His son is replaced by Methwold's illegitimate son in hospital; thus, he has to bring him up not being aware about the fact.

In the case of Emerald Zulfikar, the Mughal heritage drives her into the marriage to General Zulfikar, a to-be-leader of Pakistan, whose ambitions before this marriage are restricted to a fantasy of "owning a large modern house with a bath beside his bed." (Rushdie 2006, p.70). Emerald's ambitions transform her life just like Ahmed Sinai's imaginary ancestors. She inspires her husband to become a high-flier, but fails as his wife to give birth to a "decent successor", which ruins his self-confidence as well as chances to become a true leader.

The mythological reference to god Ganesh relates three protagonists of the story: Aadam Aziz, Saleem Sinai and Aadam Sinai. If Aadam Aziz's nose is compared to the trunk of Ganesh, as well as Saleem Sinai's, Aadam Sinai is the person whom "elephantiasis attached...in the ears instead of the nose." (Rushdie 2006, p. 587). What is more, their names are intertwined and indicate their bonds with European as well as Muslim cultures. In the Indian mythology, "the elephant is a symbol of the human potential to become enlightened." (Hemenway 2007, p. 74) A quest for spiritual revelation unites the lives of these three protagonists.

Aadam Aziz attempts to harmonize two cultural heritages- European and Muslim. His story starts when he returns from Europe to Kashmir and tries to adapt and live in a traditional Muslim community but remain faithful to his European education. In the novel, his life is often paralleled with a story of the Blue Krishna, to whom he is also related through his blue eyes (Eaton, 1998) narrates the story of Krishna as an example of the flexibility of Hinduism to adapt to the outside changes by incorporating them in its mythology. Thus, after the colonization had taken place, both Indians and English used Krishna as an intermediary between the religions: traditional and acceptable for Indians and closest by his qualities to Jesus Christ. Aadam Aziz attempts to accomplish Krishna's mission to unite different religions. If his mission fails at the level of his household, his personal quest for spiritual unity is completed: at the end of his days, he sees a vision of Jesus Christ, leaves his home and family on Christmas Day and travels to Kashmir where he completes his journey in a holy Muslim place.

His grandchild Saleem Sinai inherits the same mixed European-Indian heritage: born from a British nobleman to an Indian woman, he is replaced by a nurse in hospital and is brought up by a Muslim family. In contrast to Aadam Aziz, Saleem uses the potential of his distinguished nose: he acquires a gift of telepathy, communicates with other midnight's children, reads people's minds, and gets to know human nature by smelling people's odours. Being the only midnight's child able to reach out for all of them, he sees himself as a leader that is capable of uniting different castes and religions that the children belong to under one vision. Nevertheless, he achieves his spiritual enlightenment only when he is isolated from the family and friends. Pain and sufferings block his memories and confusions converting him into Buddha, the one "who-achieved-enlightenment-under-the-bodhi-tree." Unlike Aadam Aziz, Saleem is reborn: his mission is not completed as there is no one to transfer his inheritance to.

Aadam Sinai, Saleem's adopted son and Aadam Aziz's great-grandchild, is a successor of the mythological heritage: he completes Ganesh's image by adding elephantine ears to his trunk. His story is closest to the original story of Ganesh: when Parvati gives birth to him, his father Shiva deserts the family, unwilling to take such responsibility. Where Aadam Sinai's story starts, Saleem's story ends: just like his adopted grandfather, he begins to disintegrate leaving space for a new quest to be completed.

On the whole, the portrayal of mimic men in Salman Rushdie's *Midnight's Children* reveals the complicity of the process of mimicry. It is not just a strategy for survival, it is also a basis for human relations that determine the nature of these relations. Although Saleem's nose is mistaken for a family feature, when the truth is revealed, the fact of adoption does not isolate him from the family since the Aziz's family feature is predetermined by the grandfather's mixed Indian-European background just as Saleem's nose is. This cultural bond appears to be stronger and longer-lasting than family bond as namely Saleem is predestined to save and bring up Aziz's great-grand child. In Bhabha's interpretation, mimicry acquires a negative connotation if applied to post-colonial identity as it is devoid of essence. In Rushdie's novel, in addition to a traditional usage of metonymy in a post-colonial context, metonymic features open up new spaces for living and establishing relationship with the outside world as they become the essence of the identity.

References

- ANDERSON, B., 1991. *Imagined Communities*. London and New York: Verso.
BHABHA, H., 2007. *The Location of Culture*. London: Routledge.

HEMENWAY, P., 2007. *Hindu Gods*. Hilversum: Evergreen.

EATON, R. M., 1998. *India's Islamic Tradition 711-1750*. Oxford University Press.

RUSHDIE, S., 2006. *Midnight's Children*. London: Vintage Books.

Jūratė Radavičiūtė

Vilniaus universitetas Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva

ŽMONĖS-IMITATORIAI S. RUSHDIE ROMANE VIDURNAKČIO VAIKAI

Santrauka

Mimikrijos terminas psichiatrijoje apibūdina žmogaus polinkį susitapatinti su aplinka, netampant jos dalimi, o pasislepiant joje. Pokolonijinėje literatūros teorijoje M. Fanon ir H. Bhabha pritaikė šį terminą nagrinėdami kolonijinio žmogaus sąvastį ir santykį su aplinka. Ši straipsnis analizuoja S. Rushdie romaną *Vidurnakčio vaikai* mimikrijos interpretacijos kontekste, siekiant atskleisti kokios meninės priemonės padeda sukurti žmogaus-imitatoriaus portretą bei kokiomis savybėmis šis žmogus pasižymi S. Rushdie sukurtame pasaulyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pokolonijinė literatūra, mimikrija, metonimija

Ольга Скачкова

Международная высшая школа практической психологии

ул. Бруньюниеку 65, Рига, Латвия

e-mail: olga_skackova@inbox.lv

В. НАБОКОВ – КОММЕНТАТОР И СОАВТОР А. ПУШКИНА («БЛЕДНОЕ ПЛАМЯ» И «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»)

В статье исследуются принципы работы В. Набокова над комментарием к роману А. Пушкина «Евгений Онегин», а именно – пределы свободы, определенные для себя Набоковым. Поскольку одновременно с работой над «Комментарием» Набоков писал роман «Бледное Пламя», состоящий собственно из поэмы Д. Шейда и комментария, написанного к ней после смерти поэта другом и коллегой, русским эмигрантом Боткиным, параллельное чтение этих двух произведений Набокова позволяет сделать ряд существенных наблюдений, дополняющих тему «Набоков и Пушкин».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автор, комментарий, пародия, композиция, интертекстуальный диалог.

Перевод «Евгения Онегина» и комментарий к нему Набоков писал на протяжении 1950 – 1964 г. г. Еще не закончив эту работу, он принялся за роман «Бледное пламя» (“Pale Fire”), опубликовав его в 1962 г. Первое впечатление от романа было ошеломляющим: и те, кому он резко не понравился,¹ и те, кто сочли его «одним из величайших художественных творений нашего столетия» (Маккарти 2000, с. 360), согласились в том, что новая книга Набокова – вещь небывалая. Затем, когда спустя 2 года вышел набоковский перевод «ЕО», внимательные читатели догадались, что экстравагантная форма «Бледного пламени» и его загадочное содержание – неожиданный результат работы над пушкинским романом.

Как и «набоковский Пушкин», «БП» состоит из поэмы и комментария к ней. Эти две части связаны между собою отнюдь не традиционным образом, а логикой безумия. Поэма написана американским поэтом Джоном Шейдом, чей талант давно признан,² а свойства души делают его «человеком на все времена»: Шейд добр, снисходителен и пребывает, по-видимому, в гармонии с миром. Его комментатор, профессор Кинбот, русский эмигрант, гомосексуалист и сумасшедший, совершенно разобщен с жизнью в ее привычных формах. Шейд оказывается единственным, кто готов выслушивать больные

¹ Peden W. Inverted Commentary on Four Cants//Saturday Review.1962.Vol.45.26 May.P.30. Уильям Пиден полагал, что виртуозная изобретательность набоковского романа наводит на читателя скуку, воздвигая между ним и автором непреодолимые преграды. Так как Набоков отказывается от диалога, его книга может быть интересна лишь специалистам, наслаждающимся виртуозной техникой. Cloyne G. Jesting Footnotes Tell a Story//NYTBR.1962.May 27.P. 1-18. Джордж Клойн высказывал сходные мнения, полагая, что Набоков так упоен своим словесным мастерством и созданием совершенной пародии, что забывает о нуждах читателя, которого его снобистская холодность отталкивает. Hight G. To the Sound of Hollow Laughter//Horizon.1962.Vol.4.#6.P. 89-90. Гилберт Хайет, более тонкий критик, верно определил место нового романа в ряду набоковских шедевров, связав «БП» с «Лолитой» и «Истинной жизнью Себастьяна Найта». Но и он не захотел скрыть недоумения по поводу подчеркнутой искусственности персонажей и событий, препятствующих эмоциональному вовлечению читателя в этот странный художественный мир. Handley G. To Die in English //Northwest Review.1963.Vol.6.# 3.P. 29 -30. Джек Хэндли высказал банальную мысль, которая витала в воздухе середины 20-го века: роман Набокова – очередная, и опять неудачная, попытка создать итоговый роман – аналог художественного космоса. Toynbee Ph. Nabokov's concundrum//Observer. 1962. November 11.P.24.

Макдональд Д. Оцененное мастерство, или Месть доктора Кинбота....(см. Литература).

² Мнения англоязычных критиков о поэтических достоинствах поэмы Шейда или вполне благосклонное (например, М. Маккарти, Ф. Кермоуда, Л. А. Фидлера) или восторженное (см. Н. Деннис, Э. Бердвес).

фантазии Кинбота, поэтому от него-то и ждет спасения – материализации своего бреда – несчастный чудак.

Реальность беспощадна к Кинботу, хотя ее облик вполне идилличен. Бездомный профессор временно осел в некоей местности под названием Нью Вай, величественные, но окультуренные пейзажи которой вмещают университет и горстку преподавательских особняков. Все здесь дышит пристойностью и глубоким уважением к тому занятию, которому предаются обитатели этой Американской Аркадии – «служению науке». В толпе коллег, нелестно описываемых Кинботом, мелькают знакомые по роману «Пнин» академические типажи, а сам милейший Пнин возникает в облике гротескного «перфекциониста», замучившего сотрудников своей кафедры придирками – такова особенность авторского зрения **в этой книге**, автор которой – Кинбот – не может мимикрировать настолько, чтобы заслужить уважение профессорских жен. Впрочем, он к этому и не стремится, потому что в какой-то момент своего неизвестного читателю прошлого он «догадался», что он – король-изгнанник, последний из рода монархов Зембли, преследуемый убийцами.³ Такое открытие, как известно со времен Поприщина, может на какое-то время примирить с ускользающей действительностью.

Поэма Шейда, как надеялся его навязчивый сосед и комментатор, должна рассказать истинную историю – не профессора Кинбота, и уж, конечно, не русского беглеца без прошлого и будущего, Боткина, а историю чудесного спасения зембланского короля, Карла Возлюбленного. Однако оказалось, что Шейд писал о другом: о птице, разбившейся о стекло зимнего сада (*«Я тень, я свиристель, убитый влет/ Подложной синью, взятой в переплет/ Окна...»*),⁴ о женщине-птице («ласточке»), ставшей его женой; о тех фрагментах большого мира, из которых он складывал свой мир, сохраняя разум и учась быть счастливым. Кинбот не хочет мириться с тем, что стихи растут из такого сора: *«Я начал читать... Я с рычанием пронесился через поэму. Как пробегает разъяренный наследник завещание старого плута. Куда подевались зубчатые стены моего закатного замка? Где Прекрасная Зембла? Где хребты ее гор? Где долгая дрожь в тумане? А мои милостивые мальчики в цвету, а радуга витражей, а палладины Черной Розы и вся моя дивная повесть? Ничего этого не было!...О, как выразить мою муку! Взамен чудесной, буйной романтики – что получил я? Автобиографическое, отчетливо аппалачское, довольно старомодное повествование в новопоповском просодическом стиле, ...лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронизжет поэму, позволив ей пережить время»* (Набоков 1999, с. 530).

Вместо истории зембланских королей Шейд написал о самоубийстве своей несчастной дочери-толстушки. Кинбот – Боткин тем больше ненавидит эту девочку, что ее маргинальность напоминает его собственное прошлое, от которого он теперь избавился, отдавшись во власть безумия. Что ж, если Шейд предпочел писать о заросшем тиной озерке, в которое бросилась замученная отвращением к себе жалкая девчонка, то Кинбот сам расскажет о царственном мальчике, бродящем по мраморным розам дворцовых полов. Он напишет комментарий к поэме Шейда и «разгадает», по праву духовного родства, то, чего не сказал Шейд – не сумел или не посмел (боясь своего «домашнего цензора» – жены).

И вот «свиристель» 1-й строки поэмы сначала благонаравно комментируется как художественный образ, затем как, собственно, представитель пернатых..., но затем слово «переводится» на зембланский язык и тут уже Кинбот волен говорить о Карле

³ О происхождении названия этой вымышленной страны, не раз тревожившей воображение Набокова, см.: Meyer, P., Find What the Sailor Has Hidden. Wesleyan University Press, 1988.

Barton Johnson. D. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Ardis, 1985.

⁴ Роман «Бледное пламя» цитируется по след. изданию: Владимир Набоков. Пнин. Рассказы. Бледное пламя. Санкт-Петербург, 1999.

Возлюбленном, чей герб украшен похожей птичкой. Так, всего в три хода, он совершает превращение скучной реалистической поэмы в таинственно-пленительный шифр. Впрочем, Кинбот редко дает себе труд хоть как-то мотивировать зембланские отступления. Он настолько одержим темой, что способен увидеть намек во всем: например, невинное деепричастие «грея» читается им как намек на убийцу, преследующего короля, Джеймса де Грея. Кинбот «...убедил себя, что поэма Шейда – его поэма и что ее нельзя понять (типичная мания комментаторов) без его примечаний» (Маккарти 2000, с. 350).

Насколько эта мания владела Набоковым – комментатором Пушкина? И не Пушкин ли подсказал ему ту форму, которая так озадачивает при чтении набоковского «кентавра» (так назвал «Бледное пламя» Дуайт Макдональд (Макдональд 2000, с.363)) и комментария к роману в стихах? Ведь полный текст «Евгения Онегина» состоит из 8 глав, авторских примечаний и «Путешествия Онегина», и соотношение поэтической части с прозаическими, как отмечалось рядом исследователей,⁵ носит весьма специфический характер: Пушкин не столько комментирует свой текст, сколько дезориентирует читателя и иронизирует над ним. Так примечание к XLII строфе 1 главы «ЕО» («*Хоть, может быть, иная дама/ Толкует Сея и Бентама,/ Но вообще их разговор/ Несносный, хоть невинный вздор;/ К тому ж они так непорочны,/ Так величавы, так умны,/ Так благочестия полны,/ Так осмотрительны, так точны,/ Так неприступны для мужчин,/ Что вид их уж рождает сплин.*») ⁶ (Пушкин 1964, с. 27) вызывает определенные сомнения в искренности автора, а то и вовсе сбивает с толку: «*Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам.*

(Пушкин 1964, с. 192) К XLII строфе IV главы («*Мальчишек радостный народ/ Коньками звучно режет лед*») (Пушкин 1964, с. 93-94) прилагается следующее примечание: «*Это значит, – замечает один из наших критиков, – что мальчишки катаются на коньках. Справедливо.*» (Пушкин 1964, с. 195.)

Издавательский тон автора, испытавшего на себе тупоумие и предубежденность критики и профессиональных ценителей, становится все более заметным по мере того, как роман Пушкина развивается в нетрадиционном направлении, и поэтому в примечании к XX строфе 5 главы («*Мое! – сказал Евгений грозно,/ И шайка вся сокрылась вдруг;/ Осталась во тьме морозной/ Младая дева с ним сам-друг;/ Онегин тихо увлекает/ Татьяну в угол и слагает/ Ее на шаткую скамью/ И клонит голову свою/ К ней на плечо...*») (Пушкин 1964, с.108). Пушкин насмешливо замечает: «*Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность*» (Пушкин 1964, с. 195), чем, разумеется, не уменьшает, а увеличивает «соблазн» своих строк.

Следуя его примеру, Набоков написал совсем не академический комментарий к чужому тексту, а комментарий, вступающий с текстом в диалог. Пропорции получились примерно такие же, как в «БП»: 1 четверть книги занята переводом «ЕО», а 3 четверти – рефлексией по поводу пушкинского романа. Она принимает, порою, такие формы, что приводит в замешательство даже опытных читателей.

Комментарий написан «*тоном терпеливого патрицианского спокойствия*», полагает один (Рикс 2000, с. 383). Да нет же, он лишь служит средством для демонстрации причуд личного вкуса комментатора и «...то и дело превращается в какое-

⁵ См. работы: ГРОМБАХ, С. И., 1974. Примечания Пушкина к «Евгению Онегину». *Известия АН СССР: Серия литературы и языка*, т. XXXI11, вып. 3, с. 222-233.

ЛОТМАН, Ю. М., 1973. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина. *Пушкинский сборник*. Псков, с. 36-54.

ЧУМАКОВ, Ю. Н., 1970. Состав художественного текста «Евгения Онегина». *Пушкин и его современники*. Псков: ПГПИ, с. 20-33.

⁶ «Евгений Онегин» цитируется по след. изданию: ПУШКИН, А. С., 1964. Евгений Онегин. Драматические произведения. *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти томах*. Изд. Третье, т. 5. Москва.

то родео на деревянных лошадках», возражает другой (Конквест 2000, с. 385). Главное свойство этого комментария – «отсутствие здравого смысла», – раздраженно суммирует бывший друг и коллега Набокова Э. Уилсон (Уилсон 2000, с. 389).

Очевидно, Набоков совсем не стремился дать образец здравого смысла и академичности, вступая в сотрудничество с Пушкиным. (Даже Уилсон, написавший наиболее резкую рецензию на набоковский труд, не отрицал, что тот имеет право на это: «Мне всегда казалось, что Набоков – один из тех русских писателей, чье мастерство во многом сходно пушкинскому» (Уилсон 2000, с. 389).

Набоков сообщает читателям своего комментария множество лишних сведений, увлекаясь своего рода «ностальгической ботаникой»: он не жалеет места, объясняя, какая именно ягода из растущих в Америке называется в России «брусникой» („*Brusnika is Vaccinium vitis-idaea Linn., the red bilberry – the „red whorts” of northern England, the lingon of Sweden, the Preisselbeere of Germany, and the airelle punctuee of French botanistst – which grows in northern pine forests and in the mountains. ..In America it is termed „mountain cranberry”... and „lowbush cranberry”,... which leads to hopeless confusion with American forms of true cranberry...*”)⁷; (Nabokov 1990, p. 324-326); что за разновидность акации могла расти в саду Лариных ...да и в садах других усадеб, особенно в окрестностях Петербурга; Набоков посвящает пять страниц (Nabokov 1990, p.198-203) описанию всех ручьев, речек и потоков, текущих по землям Лариных, Ленских, Онегиных. Читатель пушкинского романа не припомнит этих подробностей, что и не удивительно: Пушкин, неоднократно отмечает Набоков, вовсе не знаток природы, как Тургенев или Толстой, его картины – изящно адаптированные клише. (Nabokov 1990, p. 204). Все эти излишества дают Уилсону право высказать ироническое недоумение по поводу того, что в комментарии нет научного описания медведя из сна Татьяны (Уилсон 2000, с. 389). Между тем, чтение этих страниц комментария доставляет большое удовольствие тому, кто обратился к нему не только за полезными сведениями, но и в надежде стать на некоторое время собеседником Набокова. Пушкин – не самый плохой повод для подобной беседы.

«Литературные долги» Пушкина – еще одна любимая тема Набокова. Он рассказывает о книгах, упомянутых в романе, о тех, которые читал Пушкин, мог читать, не читал и даже не мог бы прочитать, потому что они были написаны после его смерти. Все эти книги подробно характеризуются, хотя считать их источниками в строгом смысле нельзя. Набоков уверяет, впрочем, не очень настойчиво, что это необходимо для того, чтобы выстроить логику литературной эволюции. Гораздо более правдоподобным представляется, что Набоков не может устоять перед соблазном вместить в этот наиболее «литературоведческий» труд всю свою эрудицию, а заодно и *удовлетворить «свое инстинктивное стремление поиздеваться над авторитетами»* (Уилсон 2000, с. 390): назвать комедию Фонвизина «примитивной», а «Красное и черное» Стендаля – «*сильно переоцененным романом*» (Nabokov 1990, p. 90), «напыщенным» – корнелевского «Сида» (Nabokov 1990, p.83) и «*невыносимо скучной*» – «Юлию» Руссо (Nabokov 1990, p. 339). Заметим, что высказывания такого рода совсем не в стиле Пушкина и пушкинской эпохи, когда полагали, что умеренность суждений свидетельствует о хорошем воспитании. В примечаниях Пушкина к «ЕО» читаем: «*Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов*», «*Густав де Линар – герой прелестной повести баронессы Крюднер*», «*Мельмот – гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar – известный роман Карла Нодье*» (Пушкин 1964, с.194). В набоковском комментарии эта мелкая литературная

⁷ Комментарий цитируется по след. изданию: Aleksandr Pushkin. Eugene Onegin. A Novel in Verse. Translated by Vladimir Nabokov. Paperback Edition in Two Volumes. Volume II. Commentary and Index. Bollingen Series LXXII. Princeton University Press. {1990}

братия не заслуживает даже хорошего пинка, приберегаемого для Сервантеса, Т. Манна, Э. Бальзака, Ф. Достоевского.

Набоков совсем непринужденно располагает в тексте «ЕО», выбирая из него темы лично интересные. Так, хотя он весьма низкого мнения о поэтическом даровании Рылеева, Набоков посвящает почти три страницы рассказу о том, как Рылеев провел несколько недель в мае 1820 года, а именно – в родовом имении Батово в окрестностях Петербурга. Чем интересна эта деревенька пушкинским читателям? Возможно, ничем, но набоковским не мешает узнать, что некогда Батово принадлежало деду автора комментария и располагалось к востоку от другого имения, Рожественно, о котором будет рассказано в его автобиографической книге «Speak, Memory!». (Nabokov 1990, p. 432-434).

Безотносительно к тексту Пушкина Набоков замечает в конце 5 главы: *"It is amusing to examine what live Byron was doing while Pushkin's creature danced, dreamed, died"* – и приводит выдержки из дневника Байрона от 12–14 января 1821 г. Этот пассаж дает комментатору возможность задумчиво заметить: *"This will probably remain the classical case of life's playing up to art."* (Nabokov 1990, p. 546). Определенно, это поведение соавтора.

Набоков считает поиск прототипов бесполезным занятием, пригодным только для скучных профессоров вроде Бродского и Чижевского (авторов комментариев, предшествовавших набоковскому). Поэтому он отвергает предложенные пушкинистами кандидатуры..., но только для того, чтобы предложить свои! Он не утруждает себя доказательствами, когда говорит, что М. Н. Раевская не могла быть той девочкой, игравшей с волнами, которой посвящены знаменитые строфы 1 главы «ЕО» («Я помню море пред грозой:/ Как я завидовал волнам,/ Бегущим бурной чередой/ С любовью лечь к ее ногам!..») (Пушкин 1964, с. 24). Возможно, причина здесь в том, что Набоков находит ее мемуары *"...remarkably banal and naive"* (Nabokov 1990, p.121). Его антипатия к Раевской-Волконской увлекает его так далеко, что он отказывается признавать и то, что ей посвящена «Полтава», хотя это обстоятельство никогда не вызывало сомнений у пушкинистов. Он неохотно отмечает, что в черновиках посвящения, «якобы», находятся строфы, указывающие на Волконскую, но он не может лично свериться с черновиком, находящимся в России, а потому больше склонен доверять своему вкусу (Nabokov 1990, p.124). Его любимица – Е. К. Воронцова, неизменно сопровождаемая эпитетами «pretty», «elegant», и поэтому только ее ножки имеют право оставить след в набоковском комментарии (Nabokov 1990, p.129-130). Блестящая Нина Воронская, «Клеопатра Невы», из 8 главы «ЕО» не может быть списана с А. Ф. Закревской – эта дама тоже заслужила неодобрение Набокова. Он бы предпочел считать прототипом Е. М. Завадовскую, хотя оснований для этого у него не больше, чем у поклонников Закревской. (Nabokov 1990, p.175).⁸

Примеры такого рода можно множить, но надо ли им удивляться, наблюдая за тем, как строго Набоков следит за хронологией романа, уличая беспечного Пушкина в неточности? Например: 12 января 1821 года, день имени Татьяны, пришелся на среду, а не на субботу! (Nabokov 1990, p. 485). Художественный смысл этой поправки ускользает от озадаченного читателя.

Набоков дополняет список книг, читаемых Онегиным зимой 1824 года, потому что Пушкин проявил здесь небрежность, характеризуя типичный выбор светского модника. (*"We shall also note that Pushkin omitted to give his hero to read, in the winter of 1824-25, the two foreign books that were most avidly read that season, the controversial „Memoires de*

⁸ См. историю данного вопроса в: ЛОТМАН, Ю. М., 1980. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Ленинград., с. 352-353.

Joseph Fouche, duc d'Otrante „... and „ Les Conversations de Lord Byron”...” (Nabokov 1990, p. 217).

Наконец, он мог бы с большим тщанием указать место Лариных в среде московской знати! За него это делает Набоков и, проследив маршрут возка, в котором через весь город проезжает Татьяна с матерью, приходит к удивительным выводам: Прасковья Ларина в девичестве могла быть княжной Щербацкой. (Nabokov 1990, p. 298). Именно так, не Оболенской или Мещерской, а Щербацкой (напомним, что никаких фамилий родственников Лариных в романе Пушкина нет), потому что тогда, вероятно, Долли и Китти Щербацкие из «Анны Карениной» (любимого романа Набокова) приходятся ей внучатыми племянницами или чем-то подобным. Так открываются головокружительные перспективы «расширения» пушкинского романа.

Набокову не хочется соглашаться со всевозможными белинскими и их последователями – русскими либеральными интеллигентами – в том, что касается решения Татьяны остаться верной своему долгу. Вопреки Пушкину, он высказывает предположение, что отношения Онегина и Татьяны еще не окончены. Его раздражают безвкусные восторги по поводу поступка Татьяны, и он вступает в спор как бы от имени того, кому известны потаенные замыслы Пушкина: *“Ninety-nine per cent of the amorphous mass of comments produced with monstrous fluency by the ... (ideological critique) that has been worrying Pushkin’s novel for more than a hundred years is devoted to passionately patriotic eulogies of Tatiana’s virtue. This, cry the enthusiastic journalists of the Belinski-Dostoevski-Sidorov type, is our pure, frank, responsible, altruistic, heroic Russian woman. Actually, the French, English, and German women of Tatiana’s favorite novels were quite as fervid and virtuous as she; even more so... I deem it necessary to point out that her answer to Onegin does not at all ring with such dignified finality as commentators have supposed it to do.”* (Nabokov 1990, p. 241).

Набоков нередко вспоминает о своих предшественниках, Бродском и Чижевском, и всегда для того, чтобы упрекнуть их в невежестве, неточности, глупости⁹. Между тем, его комментарий тоже не свободен от фактических ошибок и редакторской небрежности. Так, А. Гершенкрон заметил сразу три ошибки в одном примечании, посвященном Очакову и неверно указанную страницу цитаты из Ювенала (Гершенкрон 2000, с. 408). Множество дельных замечаний, касающихся фактической стороны комментария, содержится в статье Э. Уилсона (Уилсон 2000, с. 387-392).

Имена русских пушкинистов появляются на страницах набоковской книги только в тех случаях, когда он вынужден ссылаться на их наблюдения над недоступными ему рукописями. Ревнивая и раздраженная интонация комментария к «ЕО» удивительным образом похожа на тон, в котором отзывается Кинбот об «ученых», желающих узурпировать его уникальное право быть истолкователем поэмы Шейда. Жена, «домашняя» антикарлика», препятствует их встречам, подобно тому, как коммунистический режим не дает Набокову доступа к живому пушкинскому наследию.

Как и Кинбот, Набоков не претендует на то, чтобы его считали «своим» обитатели университетских аудиторий; он отделяет себя от этой среды, навязанной ему обстоятельствами, своим «царственным» художественным даром, а Кинбот – богатством своей «царственной» природы. Они оба – король-беглец и художник-изгнанник – выбирают себе в собеседники гения и чувствуют себя в его обществе непринужденно, почти наравных.

⁹ «Если при чтении Комментария к чувству восхищения и благодарности к автору примешивается растущее раздражение, причину следует искать в авторском же несдерживаемом гневе, в недостатке у него великодушия, в его предубеждениях и странностях, противоречиях и анахронизмах... Он сердит на все» (Гершенкрон 200, с. 406 ; см. Литература).

Все эти наблюдения по поводу сходства двух комментаторов отнюдь не произвольны, так как Набоков сам дал в руки своих критиков материал для подобных сравнений. Опубликовав «БП» раньше, чем была закончена работа над переводом и комментарием «ЕО», он с усмешкой подтолкнул читателей к таким выводам: «Да он же совсем с ума сошел от самомнения! Он поправляет Пушкина!» Что ж, он и не скрывает, что написал свою книгу в соавторстве с Пушкиным – разве плохо получилось?

Литература

- BARTON JOHNSON, D., 1985. *Worlds in Regression. Some Novels of Vladimir Nabokov*. Ann Arbor, Ardis.
- BURGESS, A., 1962. Nabokov Masquerad. *Yorkshire Post*. November. 15, p. 4.
- BURGESS, A., 1965. Pushkin & Kinbote. *Encounter*. Vol. 24 # 5 (May), p. 74-78.
- ДЕННИС, Н., 2000. Таковую бабочку трудно классифицировать. *Классик без ретуши*. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Москва.
- CLOYNE, G., 1962. Jestng Footnotes Tell a Story. *NYTBR*. May 27, p. 1-18.
- ФИДЛЕР, Л. А., 2000. Живучесть Вавилона. *Классик без...*, с. 370-372.
- ГЕРШЕНКРОН, А., 2000. Рукотворный памятник. *Классик без...*, с. 396-416.
- ГРОМБАХ, С. И., 1974. Примечания Пушкина к «Евгению Онегину». *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. Т. XXXI11, вып.3, с. 222-233.
- HIGHET, G., 1962. To the Sound of Hollow Laughter. *Horizon*. Vol. 4. 6, p. 89-90.
- HANDLEY, J., 1963. To Die in English. *Northwest Review*. Vol. 6. 3, p. 29-30.
- КОНКВЕСТ, Р., 2000. Набоковский «Евгений Онегин». *Классик без...* с. 385-387.
- ЛОТМАН, Ю. М., 1973. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина. *Пушкинский сборник*. Псков, с. 36-54.
- ЛОТМАН, Ю. М., 1980 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». *Комментарий*. Ленинград.
- МАКДОНАЛЬД, Д., 2000. Оцененное мастерство, или Месть доктора Кинбота. *Классик без...*, с. 361-364.
- МАККАРТИ, М., 2000. Гром среди ясного неба. *Классик без...*, с. 349 -361.
- PEDEN, W., 1962. Inverted Commentary on Four Cantos. *Saturday Review*. Vol.45. 26 May, p. 30.
- РИКС, К., 2000. Набоковский Пушкин. *Классик без...*, с. 382-385.
- ТОЕЕ, Ph., 1962. Nabokov's conundrum. *Observer*. November 11, p. 24.
- УИЛСОН, Э., 2000. Странная история с Пушкиным и Набоковым.. *Классик без...*, с. 387-392.
- ЧУМАКОВ, Ю. Н., 1970. Состав художественного текста «Евгения Онегина». *Пушкин и его современники*. Псков: ПГПИ, с. 20-33.

Olga Skachkova

International High School of Practical Psychology, Latvia

NABOKOV – PUSHKIN'S COMMENTATOR AND CO-AUTHOR (PALE FIRE AND EUGENE ONEGIN)

The article is devoted to the principles of commenting applied by Nabokov to Pushkin's novel "Eugene Onegin", that is – to the bounds of the commentator's freedom determined by him. As Nabokov was writing along with the "Commentary" the novel "Pale Fire", which consists of a long poem written by John Shade and a commentary to it, written after the author's death by his friend and colleague, Russian emigrant Botkin, parallel reading of these two works by Nabokov has resulted in some significant observations on the theme "Nabokov and Pushkin".

KEY WORDS: author, commentary, parody, composition, intertextual dialog.

Valentina Talerko

Daugavpils Universitāte

Vienibas iela 13, LV-5400 Daugavpils, Latvia

e-mail: vfk@du.lv

DAS WELTBILD FRÜHER NOVELLEN VON TH. STORM

Im Vortrag werden einige Besonderheiten von frühen literarischen Werken des deutschen Novellisten Th. Storm (19. Jahrhundert) analysiert. Es werden strukturelle Raum-Zeit-Besonderheiten der Novellenwelt erörtert, die Innen- und Außenweltbeziehungen, sowie ihre wichtigen Komponenten erforscht. Der Vortrag fußt auf drei frühen Novellen von Th. Storm, dabei werden auch Vergleiche mit der weltberühmten Novelle „Immensee“ gezogen. Durchgehende Motive, gemeinsame Symbole und wichtige Gestalten in frühen Novellen haben die weitere Entwicklung des Schriftstellers wesentlich beeinflusst.

SCHLÜSSELWÖRTER: Novelle, Raum, Zeit, Haupthelden, Komponente, Symbol, Motiv.

Th. Storm wird ziemlich oft als „Modedichter der bürgerlichen Ästhetik genannt“ (Balzer 1990, s. 313), dabei wird besonders betont, dass er seinen Stoff in erster Linie in der Verbindung von Mensch und Natur suchte. Diese Naturverbindung „entspricht der heimatlichen Situation, auf die Storm zeitlebens fixiert bleibt, was seine Grenzen ebenso bedingt wie seine Größe“ (Balzer 1990, s. 313). Wie die weitere Forschung offenbart, hat die Natur nicht immer eine der wichtigsten Rollen in seinem Schaffen gespielt. In seinen frühen Novellen sucht Th. Storm nach seiner eigenen Ausdrucksweise, nach seinem eigenen Darstellungsstil.

Traditionell wird es angenommen, dass die erste Novelle von Th. Storm „Immensee“ ist, dabei vergisst man, dass es bis „Immensee“ noch drei kleinere Novellen gab, und nämlich die Novellen „Marthe und ihre Uhr“ (1847), „Im Saal“ (1848) und „Posthuma“ (1849). Die nächsten Werke, die 1849 entstanden sind, aber erst 1850 veröffentlicht wurden, sind das Märchen „Der kleine Häwelmann“ und die Novelle „Immensee“, die ihren Autor berühmt gemacht hat.

In allen zu analysierenden Novellen sind die Erinnerungen der Haupthelden zu der wichtigsten Autorenmethode geworden. In der Novelle „Marthe und ihre Uhr“ erinnert sich die Hauptheldin an die Weihnachtsabende, die in ihrem Leben die bestimmende Rolle gespielt haben. Marthe lebt sehr einsam, zum einzigen Gesprächspartner wird allmählich eine alte Uhr, die noch in der Kindheit vom Vater aus Amsterdam gebracht wurde. Durch ihr Ticken und Schlagen regelt die Uhr das ganze Leben der alten Frau. Die Welt der Novelle „Marthe und ihre Uhr“ ist eine geschlossene, enge Welt eines einsamen älteren Menschen. Der Raum wird allmählich durch den Wechsel der Begriffe „Haus“, „Zimmer“ zu den Begriffen „Sessel“, „Bett“ enger. Eine besondere Bedeutung hat für den Autor der Lehnstuhl, der ein durchgehendes Motiv der Versöhnung mit dem Schicksal bildet. In der Novelle „Marthe und ihre Uhr“ ist dieser Lehnstuhl das Symbol des Alters. Mit der Zeit bekommen die Wörter „Lehnstuhl“, „Bett“ in Erwartung des unvermeidlich kommenden Todes einen symbolischen Inhalt. Marthe verlässt nie den Zimmerraum, die einzige Andeutung an die äußere Welt ist das Fenster, dessen Glasscheibe als eine unsichtbare, aber unüberwindliche Grenze zwischen der Marthes Welt und der Außenwelt verstanden wird. Die Tür bekommt einen nicht geringeren symbolischen Inhalt in der Novelle schon auch durch das Fehlen der Tür: aus der Marthes Welt gibt es keinen Ausgang. Die äußere Welt ist für Marthe fremd, sie fühlt sich zu Weihnachten nicht glücklich, im Unterschied zu Ich-Erzähler oder Marthes Schwester mit dem Neffen. „Ach“, sagte sie, „seit meine Mutter gestern vor zehn Jahren in diesem Bett starb, bin ich am Weihnachtsabend nicht ausgegangen“ (Storm 1999, s. 41).

In den frühen Novellen von Th. Storm erfolgt eine deutliche Oppositionenteilung: Morgen – Nacht ist für die Novelle „Marthe und ihre Uhr“ bestimmend. In der Nacht hört Marthe die Uhr ticken, sie hat Angst vor der Nacht und vor der alles wissenden Uhr. Die Nacht ist in den frühen Novellen von Th. Storm nie wolkig, man sieht immer das helle Mondlicht. Der Mondschein

erinnert in der Regel an das Reich der Toten, bringt das Element der Mystik. In der Novelle „Marthe und ihre Uhr“ scheint die Uhr lebendig zu werden, sie beginnt mit Marthe zu sprechen, sie deformiert sich im Raum, verändert ihre Größe und Funktionen. Die Novelle bekommt im Ganzen einen geheimnisvollen, fast mystischen Charakter.

Der Weihnachtsabend, ein fröhliches Fest, an dem am gedeckten Tisch die ganze Familie zusammen kommt, hat eine lange Tradition in der deutschen Literatur, um die Einsamkeit der handelnden Person zu betonen, als Beispiel dient Werther aus dem berühmten Roman von J.W. Goethe. Das erste Mal erwähnt Werther mit keinem Wort das Fest, er berichtet nur über Unannehmlichkeiten in seinem Dienst, am nächsten Weihnachtsabend stirbt er. Das Motiv der Einsamkeit, das sich zu Weihnachten konzentriert, ist eines der Lieblingsmotive von Th.Storm. Marthe hasst Weihnachtsabende, sie rufen in ihr die angenehmen Kindheitserinnerungen hervor, aber sie erinnert sich auch deutlich an den Tod ihrer Mutter an einem Weihnachtsabend vor zehn Jahren.

In der Novelle „Marthe und ihre Uhr“ existiert nicht die Zeit nach Weihnachten in der Kindheit und bis zum Tod der Mutter. Den Zeitrythmus gibt die Uhr an, die misst nicht gleichmäßig Sekunden und Minuten, sondern sie schaltet verschiedene Zeitebenen um. „Ja, da warnte es auf elf – und ein anderer Weihnachtsabend tauchte in Marthens Erinnerung auf, ach! Ein ganz anderer; viele, viele Jahre später!“ (Storm 1999, s. 43) Und später im Text: „Auch jetzt schlug sie elf – aber leise, wie aus weiter, weiter Ferne.“ (Storm 1999, s.44) Die Uhr erfüllt auf solche Weise die Funktion eines Schalters, der verschiedene Zeitebenen im Gedächtnis des Menschen aktiv macht.

In der Novelle „Im Saal“ ist die von Familienereignissen berichtende alte Großmutter zur Erinnerungsträgerin geworden. Der Autor stellt die Erinnerungen seiner Helden dar, so dass man unwillkürlich ihre Frische, klare Farben, winzige Kleinigkeiten in Worten der handelnden Personen bewundert. Ereignisse, an die sich die handelnden Personen erinnern, waren am Wichtigsten in ihrem Leben, und bleiben deshalb in ihrem Gedächtnis unvergesslich. Th.Storm lässt zuerst ältere Frauen sich erinnern (Marthe, die alte Großmutter in der Novelle „Im Saal“), sie haben ihr langes Leben hinter sich und denken an den nahen Tod.

In der Novelle „Im Saal“ ist der innere Raum der Novelle auch durch den Saal begrenzt, darin sind Familienmitglieder zur Kindertaufe zusammen gekommen. In dieser Novelle wird eine Tür erwähnt, aber diese Tür führt praktisch in die Vergangenheit, in jene Zeit, als es an Stelle von diesem Saal einen kleinen Ziergarten gab, der von der ganzen Außenwelt abgegrenzt war. Die ganze Novelle wird von den Gegenüberstellungen konstruiert, von denen eine die Opposition „Saal“ und „Nicht-Saal“, d.h. „früher“ und „heute“ bildet. Die Helden der Novelle sind auch in ihrem Raum, ähnlich Marthe, geschlossen, aber in der Familie werden politische und gesellschaftliche Veränderungen besprochen, zwar nur im Vergleich mit „alten, guten Zeiten“: „Es war damals freilich noch eine stille, bescheidene Zeit; wir wollten noch nicht alles besser wissen als die Majestäten und ihre Minister [...]“ (Storm 1999, s. 50).

Für frühe Novellen von Th.Storm sind folgende Konstituenten der Innenwelt charakteristisch: Fenster, Tür, Treppe, einige Möbelstücke. Ohne Zweifel sind sie am engsten mit der allgemeinen Vorstellung von Haus, dem menschlichen Wohnplatz verbunden. Das Fenster in den Novellen „Marthe und ihre Uhr“ und „Im Saal“ erfüllt anscheinend die Funktion eines symbolischen Hindernisses, das das Leben hinter dem Fenster, aber nicht das Durchdringen in dieses Leben bezeichnet. Das Fenster mit Glasscheiben in Barbaras Kindheit bedeutete den Blick in eine paradiesische Ecke eines gepflegten Ziergartens, Hoffnung, Ruhe, Befriedigung. Die fensterlose Tür bedeutet viele Jahre später auch die Vernichtung dieses Paradieses und auch den Verlust jenes Zustandes der Wärme, Sonnenscheines und stiller Freude, die bei den Erinnerungen an „alte Zeiten“ entstehen.

Garten / Wald ist die Welt voll von Vogelstimmen, die Welt der Freiheit, klarer Farben und Laute. Der Mensch fühlt sich in dieser Welt für Gefühle und Schöpfungskraft frei, diese Tatsache ist den Novellen von Th.Storm und der Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ von E.Mörke gemeinsam. Marthe sieht hinter ihrem Fenster fliegende Schwalben, aber sie verlässt ihr

Haus nicht. In der Novelle „Im Saal“ hat der Iritsch zutraulich im gemütlichen Barbaras Garten sein Nest gemacht.

Die Helden in frühen Novellen von Th.Storm wohnen in der Regel oben. Das zeugt vor allem davon, dass der Autor für seine literarischen Helden die Vertreter des Bürgertums ausgewählt hat, die eine soziale Zwischenstellung haben. Eine kleine Treppe mit drei Stufen („Im Saal“) grenzt die idyllische Ecke eines Hausgartens von dem restlichen Haus ab, sie verbindet die menschliche Steinwelt und Rückkehr zur Natur, Kindheit und Natürlichkeit. Die Stadt ist für alle Helden früher Novellen von Th.Storm fremd. In der Novelle „Im Saal“ werden mit der Stadt Emotionen der Entfremdung verbunden: Alles ist ungewohnt, nicht so wie in der vertrauten Hauswelt, die durch den Garten und den Steinzaun begrenzt wird.

Noch eine wichtige Gegenüberstellung bildet die Opposition „Sommer – Winter“, alles Positive wird deutlich mit dem Sommer vereingit, der Zeit des Blühens, der Wärme und des Lichts. Im Winter sieht man durch die gefrorenen Fensterscheiben den wunderschönen Ziergarten nicht, das Leben bleibt darin still.

Das Motiv des Abends wird auch zu einem der durchgehenden Motive im Schaffen von Th.Storm. In der Novelle „Im Saal“ schafft der Abend eine gemütliche Familienatmosphäre, die für die Erzählung der Großmutter von frühen Zeiten passt. In diesem Moment stehen sich die Familienmitglieder besonders nah.

Die Entwicklung der Zeit in der Novelle „Im Saal“ (in der Erzählung der Großmutter) unterscheidet sich von der Darstellung der Zeit in der Novelle „Marthe und ihre Uhr“. Diese Entwicklung erinnert an das Schaukeln auf den Gedächtniswellen, von älteren Erinnerungen zu den späteren Erinnerungen, und zurück: „So war es einmal an einem Augustnachmittage, als dein Großvater die kleine Gartentreppe herabkam; aber dazumalen war er noch weit vom Großvater entfernt. – Ich sehe es noch vor meinen alten Augen, wie er mit schlankem Tritt auf deinen Uhrgroßvater zuging. [...] In der Schaukel vor der Laube saß ein achtjähriges Mädchen...“ (Storm 1999, s. 47).

Zur Lieblingsgestalt von Th.Storm wird allmählich die Gestalt eines Mädchens, eines jungen, unschuldigen Wesens. Dieses Mädchen hat lockige, auf der Sonne leuchtende Haare, es ist immer gehorsam, brav und ordentlich.

Der Hauptheld der Novelle „Posthuma“ kehrt in seinen Erinnerungen zu seiner verstorbenen Geliebten zurück. Ihren Tod empfindet er sehr tief und erinnert sich an ihr letztes Treffen. Man kann die Veränderung des Helden, der in seinen Erinnerungen lebt, verfolgen: von älteren Frauen (Marthe, alte Großmutter) über einen ziemlich jungen Mann (in „Posthuma“) zum alten Reinhard in der Novelle „Immensee“. In der Novelle „Posthuma“ verzichtet der Autor auf direkte Erinnerungen der Haupthelden im Gespräch mit dem Ich-Erzähler oder anderen Gesprächspartnern. In dieser Novelle, so wie in „Immensee“, sind die Haupthelden – Männer – wegen verschiedener Gründe einsam geblieben, sie vermeiden Gespräche mit anderen Menschen in ihrer Umgebung. Der Held aus „Posthuma“ wartet auf die Nacht, um auf den Friedhof zu gehen, er will nicht die Stadteinwohner treffen; Reinhard in „Immensee“ redet nicht mit Brigitte über Elisabeth. Die Einsamkeit des Haupthelden aus „Posthuma“ und von Reinhard (in „Immensee“) wird verschiedenartig empfunden: überspannt – tragische Einsamkeit im ersten Fall und helle, zärtliche Erinnerungen von Reinhard. Vom äußeren Emotionsausdruck durch den Blumenkranz, der über das schwarze Kreuz gehängt wird, konzentriert der Autor die Aufmerksamkeit des Lesers auf die inneren Erlebnisse von Reinhard in „Immensee“. Ablösung der leidenden Frau durch den Mann ruft tieferes Mitleiden des Lesers hervor.

Die Novelle „Posthuma“ hat eine kompliziertere Struktur im Bezug auf den modellierten Raum. In dieser Novelle kommen einige Raumtypen vor. Erstens ist das das Zimmer des Haupthelden, das „oben in den hohen Zimmern eines großen Hauses“ (<http://gutenberg.spiegel.de>) liegt. Wenn der Hauptheld nach unten geht, kommt er aus der Welt lebendiger Menschen zuerst in die Welt der Stadtschatten, dann in die Welt des Friedhofs. Zweitens ist das die Welt der Stadt, die nicht von Leuten, sondern von Schatten bewohnt ist. Diese Welt hat für den Haupthelden nur am

späten Abend oder nachts eine Bedeutung. Drittens assoziiert der Leser den Raum des Friedhofes mit der stimmlosen Welt, in der Novelle bekommt der Friedhof seine Laute und Bewegung. Wenn der Hauptheld nachts auf den Friedhof kommt, empfindet er sich lebend. Alle drei Raumtypen sind geschlossen, in jedem gibt es seine Regeln, die das Benehmen der Haupthelden bestimmen. In der Novelle „Posthuma“ sieht der Hauptheld hinter dem Fenster das für ihn fremde Außenleben, in dem er Menschen nicht unterscheidet. Die Welt der Stadt, die von Schatten bewohnt ist, wird eher als ein mittlerer Raum zwischen seinem Zimmer und dem Friedhof verstanden. Wenn der Hauptheld in „Posthuma“ die Tür aufmacht, kommt er in eine unreelle Welt seiner eigenen Träume.

Diese innere Geschlossenheit bedeutet für einige Literaturforscher „für lange Jahre nicht Zeichen von Zeitflucht, wohl aber Produkt der bewußten Beschränkung und Isolierung“ in der „kleinen Welt der Heimat“ (Balzer 1990, s.313). Aber die Welt der Heimat kommt in diesen Novellen noch nicht im vollen Maße zum Vorschein.

Das schon erwähnte Motiv der Versöhnung mit dem Schicksal findet auch in dieser Novelle seine Darstellung. Wie auch Marthe in „Marthe und ihre Uhr“ sitzt der Hauptheld der Novelle „Posthuma“ in einem Lehnstuhl und wartet auf den Ausbruch der Nacht. Er wird nur dann aktiv, wenn alles draußen still wird.

Der Begriff „Garten“ wird für den Autor zu einem der wichtigsten. Damit sind die glücklichsten Momente im Leben von den Hauptpersonen verbunden: Treffpunkt („Posthuma“) und Bekanntschaftsort („Im Saal“), in diesen Novellen bestimmt „der Garten“ die weitere Handlungsentwicklung. Die Welt des Gartens bewohnen glückliche singende Vögel, die auch den Menschen fröhlich und sorgenlos machen. Anders wirkt in dieser Hinsicht die Novelle „Posthuma“, in der die Vögelstimmen durch den Grillengesang auf dem Friedhof und das namenlose „feine Singen in den Lüften“ (<http://gutenberg.spiegel.de>) in der Nacht ersetzt werden, was das Einsamkeitsgefühl eines lebendigen Menschen in der Welt der Toten hervorruft.

In „Posthuma“ wohnt der Hauptheld in einem großen Haus, „die gegenüberstehende Wand des Seitenflügels“ (<http://gutenberg.spiegel.de>) begrenzt die Aussicht in die Umgebung, er sucht nach der Freiheit für seine Emotionen und findet sie auf dem Friedhof. Er sieht in dieser Stadt nur Schatten, die Schritte produzieren. (Lautlose Schatten bewohnen den Friedhof, der einzige vorbeigehende Mensch ist der Wächter, aber auch er wird als ein unentbehrlicher Teil des Friedhofs wahr genommen).

Wenn die dargestellte Tageszeit analysiert wird, kann man feststellen, dass es den Tag für den Haupthelden in der Novelle „Posthuma“ nicht gibt, er erwacht erst in der Nacht wieder zum Leben. Der Held aus „Posthuma“ hat sich mit seiner Geliebten abends in der Dunkelheit getroffen und wollte unbemerkt in den Umarmungen eines einfachen Mädchens bleiben. Der Hauptheld will sich nicht mit dem Tod seiner Geliebten abfinden, der Mondstrahl soll nicht auf ihr Grab fallen. In „Posthuma“ verlängert sich die Zeit in der Beschreibung des letzten Treffens, diese Szene dauert fast so lange, wie sie in der Wirklichkeit gedauert hätte. „Im alltäglichen Erzählen folgt die Geschichte mehr oder weniger der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. Demgegenüber verfügt der literarische Erzähler ungleich freier und artistischer über die Zeitachse...“ (Brackert 1996, s. 65).

In der Novelle „Immensee“ wird die Fähigkeit zur Überwindung der Grenzen zwischen der Innen- und Außenwelt zu einer der Hauptcharakteristiken von Reinhard und Elisabeth. Elisabeth überquert nie die Grenzen der Innenwelt allein. Ihre Welt bilden die „beschränkten Zimmer“, dann der Gartensaal auf dem Hof Immensee. Die Verletzung der Innenweltverschlossenheit ist vor allem mit Reinhard verbunden: er bringt Elisabeth in den Wald und aufs Feld, er fährt in die Stadt zum Studium usw. Für Elisabeth ist der Begriff „Weg“ fremd, mit Reinhard wird dieses Wort acht Mal gebraucht, wenn Elisabeth einsam nur einmal den Weg nach Hause zurück geht.

In einer der Szenen der Novelle „Immensee“ füttert Elisabeth den Kanarienvogel im Käfig, der Vergleich Vogel / Elisabeth – Käfig / Hof ist in diesem Fall klar. Als Reinhard begreift, dass er und Elisabeth sich immer noch lieben, kommt er auf der Suche nach dem Ausgang aus dieser schwierigen Situation ans Fenster.

Eine riesige Zahl von Türen in „Immensee“ macht den Eindruck des Labyrinths, in dem nur eine Tür den richtigen Ausgang bedeutet. (Diesen Eindruck macht auch der Weg des alten Reinhards, als er nach dem Spaziergang zurück kommt) Den richtigen Ausgang aus dieser Situation hat Reinhard erst am Ende der Novelle gefunden, er geht zur Tür, die den Ausgang aus dem Labyrinth der Menschenbeziehungen in die große, weite Welt bedeutet.

Reinhards Weg in „Immensee“ stellt eine Überwindung von Auf- und Abstiegen dar. Als er aus dem Ratskeller geht, steigt er zuerst in die festliche Stadt die Treppe hoch, dann in sein Zimmer, indem er sich in die Erinnerungen an die glückliche Kindheit und die erste Liebe vertieft. Später geht Reinhard wieder in die Richtung des Kellers, aber die Treppe nach unten wird als Verrat, als der Weg in die Hölle verstanden. Verlockungen wie die aufgehende Tür und das Singen des Zigeunermädchens üben auf ihn keine Wirkung aus. Am Ende der Novelle geht vor ihm mit dem Sonnenaufgang die ganze große Welt auf: „Er sah nicht rückwärts; er wanderte rasch hinaus; und mehr und mehr versank hinter ihm das stille Gehöft, und vor ihm auf stieg die große weite Welt“ (Storm 1999, s. 37).

Die Innenausstattung der Zimmer spielt nur in der späteren Novelle „Immensee“ eine bedeutende Rolle, wo die Wörter „Schrank“, „beschränkte Zimmer“ einen begrenzten, verengten Raum schaffen, in dem es den spielenden Kindern zu eng ist. In „Immensee“ erinnert sich Reinhard im Lehnstuhl, der auch oben erwähnt wurde, an Elisabeth und begreift, dass man die Zeit nicht zurück holen kann.

In „Immensee“ hat der Garten / Wald eine wichtigere Funktion als in früheren Novellen; damit wird die Vorstellung von „Kreativität“ vereinigt. Im Garten dichtet Reinhard sein erstes Gedicht über die Waldkönigin, im Garten liest er die von ihm gesammelten Volkslieder, d.h. Schaffen, Kreativität nach der Idee des Autors sind im engen Raum des Zimmers oder der Steinstadt unvorstellbar.

Reinhard und Elisabeth hören im Wald vor Reinhards Abreise zum Studium den Vogelgesang. Später wird der Vogel im Käfig mit Elisabeths Gestalt assoziiert und als Unfreiheit und Gebundenheit empfunden. Nach dem Besuch der Wasserlilie in Immensee will Reinhard die Nachtigall hören, aber er hört das Klopfen seines eigenen Herzens.

„Immensee“ offenbart das Neue im Bild der Stadt: die Stadt gibt für Reinhard Ausbildungsmöglichkeiten. Negative Konnotationen werden in der Beurteilung überflüssiger Freiheiten, Vergnügungsanstalten, „freien“ Studentenlebens usw. zum Ausdruck gebracht. Das romantische Leben eines Wanderers und Volkdichtungssammlers endet in einem gewöhnlichen Stadthaus: „Hier war es heimlich und still; die eine Wand war fast mir Repositorien und Bücherschränken bedeckt; an der andern hingen Bilder von Menschen und Gegenden; vor einem Tische mit grüner Decke, auf dem einzelne aufgeschlagene Bücher umherlagen, stand ein schwerfälliger Lehnstuhl mit rotem Sammetkissen“ (Storm 1999, s. 3).

Die Oppositionen „Tag“ – „Nacht“, „Morgen“ – „Abend“, „Sommer“ – „Winter“, „Frühling“ – „Herbst“ werden besonders in „Immensee“ deutlich. Erstens verbindet sich die Beschreibung der Kindheit von Elisabeth und Reinhard mit der Frühlingsstimmung, der Autor stellt die Lebensfreude der Kinder dar. Der alte Reinhard kommt müde und endlos einsam nach dem Spaziergang „an einem Spätherbstnachmittage“ nach Hause zurück. Der sonnige Frühling und fröhlicher Sommer erfüllen die Darstellungen gemeinsamer Spaziergänge der Haupthelden im Wald und auch ihres Treffens zur Osternzeit, als Reinhard aus der Universität in seine Heimat gekommen ist. Besonders krass wird Reinhards Einsamkeit im Winter zu Weihnachten in der Stadt verstanden. Zweitens werden die oben erwähnten Morgen in der Kindheit und der Abend im Alter als gegenseitige Projektionen wahr genommen. Der letzte Morgen auf dem Hof „Immensee“ wird zum Anfang des Neuen und Befreiung vom Alten. Der Tag ist eine offene Welt, die man deutlich sehen, hören, spüren und begreifen kann. Die Nacht spielt in diesem Fall die Rolle eines lexikalischen und kontextuellen Antonyms.

Wie es schon erörtert wurde, überwiegt in allen frühen Novellen von Th.Storm die Abend-Nacht-Zeit. „Immensee“ bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Helle, fröhliche Augenblicke sind von der Morgen- und Tageszeit untrennbar. Reinhard sieht Elisabeth in seinen Erinnerungen in einem weißen Kleid oder mit einem „rotseidenen Tüchelchen“. Die gemeinsame helle und rührend-traurige Stimmung ganzer Novelle schaffen Erinnerungen, in denen es fast immer das Licht gibt. Spät am Abend, fast in der Nacht besucht Reinhard die Wasserlilie, die Elisabeth im weißen Kleid symbolisiert. Der Abend ist eine notwendige Bedingung für die Erinnerungen an die Geliebte für den Haupthelden aus „Posthuma“ und den alten Reinhard.

Reinhard fühlt in der Stadt zu Weihnachten besonders scharf seine Trennung von der Heimat. Obwohl er diesen Abend mit seinen Studienfreunden im Ratskeller beginnt, empfindet er keine richtige Heiterkeit. Als er nach Hause eilt, um die Geschenke von der Mutter und Elisabeth zu schauen, gerät er in die grelle und laute Welt der festlichen Stadt, in der er sich völlig fremd fühlt. Der Geruch der Hauskuchen in seinem Zimmer schafft für ihn die Illusion des Elternhauses.

Wie es schon bemerkt wurde, entwickelt sich die Zeit in den Novellen von Th.Storm unterschiedlich. Das Rahmenprinzip in der Konstruktion von zwei Novellen, „Posthuma“ und „Immensee“, erlaubt aus der Gegenwartswelt in die Erinnerungswelt sich zu bewegen, dabei wird die Aufmerksamkeit nur auf die wichtigsten Momente konzentriert.

Der Mond spielt die Rolle des Wegweisers in Reinhard's Erinnerungswelt: „...und wie der helle Streif langsam weiterrückte, folgten die Augen des Mannes unwillkürlich“ (Storm 1999, s. 4). Das Gedächtnis zieht hervor und beleuchtet in Gedanken die wichtigsten Momente seines Lebens.

Frühere Novellen von Th.Storm kann man als eine richtige Werkstatt eines Künstlers einschätzen, der die Veränderungen im gesellschaftlichen Leben, Kultur und Weltanschauung der Leute beobachtet und widerspiegelt.

- Zu den Hauptkomponenten des Kunstraums werden Elemente der Hauswelt, wie: Zimmer, Tür, Fenster, Treppe.
- In den Novellen werden durchgehende Motive benutzt: die Versöhnung mit dem Schicksal, nostalgische Erinnerungen „an das Alte und Gute“, Einsamkeit, Verliebtheit.
- Garten / Wald sind der Ort für den Ausdruck der Gefühle und Kreativität.
- Die Gestalt der Stadt verändert sich, sie verbindet positive und negative Charakteristiken, aber der Stadtraum bleibt für die Haupthelden überwiegend fremd.
- Deutliche Gegenüberstellungen erfüllen die sujetbildende Funktion und teilen die Welt in das Gute und Schlechte, das Eigene und Fremde.
- Die Handlung spielt überwiegend in der Abend- oder Nachtzeit, was auch zur Trennung in die reelle Welt und Fantasiewelt führt.
- Der Hauptheld der Novelle, der von seinem Leben berichtet, entwickelt sich allmählich von einer älteren Frau zum älteren Mann und verändert dadurch die ganze Atmosphäre des Erzählens.
- Zahlreiche Symbole (Vogel, Mondschein, Uhr usw.) bekommen oft neue zusätzliche Bedeutungen.

Literatur

- BALZER, B., 1990. *Deutsche Literatur in Schlaglichtern*. Mannheim, Wien, Zürich: Meyers Lexikonverl.
BRACKERT, H., 1996. *Literaturwissenschaft*. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt Taschenbuch Verlag,
STORM, Th., 1999. *Immensee und andere Novellen*. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH.
<http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2796&kapitel=3&cHash=1ca47107f0posthuma>

Valentina Talerko

Daugavpils University, Latvia

OUTLOOK IN Th. STORM'S EARLY NOVELLAS

Summary

Some peculiarities of the early literature works by the German writer of novellas Th. Storm (the XIXth century) are analyzed in the report. Both the structural features of temporal and spatial relations and relations of inner and outer space are studied, as well as their important components. The report is based on the three early novellas by Th. Storm at the same time comparisons with the famous novella „Immensee” are made. Continuous motives, common symbols and important images in the early novellas substantially influenced the further development of the author.

KEY WORDS: a novel, space, time, the main character, components, symbol, motive.

Беата Трояновска

Университет Казимира Великого в Быдгоше

ul. Grabowa 2, Bydgoszcz, Polska

e-mail: betrojan@wp.pl

КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ ДОРОГИ В РАССКАЗЕ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА «ПУГАЛО»

В статье делается попытка показать функционирующие в рассказе Николая Лескова «Пугало» две культурные модели дороги. Первая из них ссылается на народно-мифологическую традицию и представляет путь как реальный пространственный мотив. Автор статьи пытается в сюжетном плане произведения найти аналогии этой архетипической модели пути, представить трансформации данной символики в лесковском рассказе. Далее мотив пути рассматривается как метафора человеческой жизни, в рамках христианской традиции. Доминирующую роль играет праздник Рождества Христова, благодаря которому, как подсказывает Лесков, человек может отыскать утраченное единство с миром и пойти «Божьим путем».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурные модели дороги, народно-мифологическая традиция, реальный элемент пространства, сфера «профанум», христианская традиция, дорога как жизненный путь

Мотив пути в творчестве Николая Лескова играет особую роль, потому что одновременно вызывает ряд разных конотаций, которые ссылаются на архетипические модели как европейской так и русской культуры. Нас прежде всего интересует значение слова «путь» в русском языке, которое является многозначным. Во-первых, оно может обозначать «то, же, что дорога», во-вторых, «место, линию в пространстве, где происходит передвижение, сообщение», дальше «железнодорожную колею, линию», а также «путешествие», «направление, маршрут» (Ожегов 1984, с. 550).

Таким образом, суть пути – это движение, перемещение в пространстве и времени. Мотив пути в литературе может быть воспринят как реальный пространственный элемент. Путь обладает также, учитывая русские условия, и другими признаками: *./.../ дорога – неотъемлемый элемент русской этнической картины мира и русского национального менталитета* (Николаев 2002, с. 60).

Причем понятие пути не только в литературе и искусстве, но и в повседневной жизни метафоризируется. Достаточно вспомнить такие выражения как «жизненный путь», «идти своей дорогой», «сойти с своего пути», «становиться поперек дороги [пути]» или «уступить дорогу» (Тихонов 2005, с. 238).

В творчестве Лескова находим многие примеры представления пути в функции реального пространственного мотива как метафорического восприятия дороги, как жизни человека вообще. Нашей целью является показать лесковские художественные приемы реализации мотива пути в рассказе «Пугало» (1885), опираясь на русские культурные архетипы. Попытаемся доказать, в чем состоит их «русский характер».

Рассказ «Пугало», учитывая его повествовательный план является своего рода историей передаваемой мальчиком-повествователем. Это он рассказывает о судьбе Селивана – местного пугала, описывает суждения здешних людей о нем, а позже свои впечатления от встреч с Селиваном. Благодаря этой сказовой форме повествование рассказа в целом открывает динамику оценочных категорий относящихся к герою. Именно на основании этих высказываний персонажей можно определить их способ мышления, который основывается на культурных началах.

Герой-повествователь описывает свои разговоры со старым мельником, дедом Ильей, который открывает перед мальчиком мир народных поверий и легенд. Его истории о домовом, водяном, кикиморе и лешем как о злых существах, которых можно встретить

на пути, вызывают у него сильные впечатления и кажутся вполне вероятными. Дядя Илья является в данном случае не только объектом изображения, но и говорящим изображающим субъектом. Его высказывания носят характер сказа. Когда Илья впервые рассказывает мальчику о Селиване, обращает внимание на отличие Селивана от других, на его склонность к злу, которая проявляется заметна уже в его внешнем виде:

./.../ всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице красная метинка, как огонь, – а это никогда даром не ставится (Лесков 1958, с.10). Это родимое пятно на лице Селивана старый мельник воспринимает как знак от Бога, который таким образом предостерегает людей от опасности. История Селивана переданная Ильей, основывается на выборочной информации, сплетнях и народных фантазиях. Во время встреч старый мельник проводит героя для повествователя своеобразный «курс демонологии», в котором сам Селиван имущественность, в которой он живет, отождествляются с нечистой силой:

От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами... Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что то жил где-то далеко у Селиванова двора... (Лесков 1958, с.7).

Упомянутое в этой цитате жильё Селивана – заброшенный двор, когда-то выполняющий функцию постоянного двора, он получил его в аренду от купца, которому в прошлом Селиван спас жизнь во время пути. Селиван поселился там с больной сиротой, дочерью умершего палача и называл ее своей женой. Каждый год за возможность проживания во дворе сначала купцу, а потом его наследникам он должен был платить определенную сумму денег и обязательство это всегда выполнял. Местные люди удивлялись этому и объясняли этот факт связью Селивана с дьяволом:

./.../ Селиван знался с нечистой силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки... Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто (Лесков 1958, с.14-15).

Эти представления о «дьявольских» связях Селивана дополняет и образ самого постоянного двора расположенного «на разновилье», откуда одна дорога ведет в Киев, а другая – в Фатеж. Развилка дорог по народным преданиям особо опасное место, а человек стоящий на распутье должен совершить жизненный выбор - он на стороне добра или зла. Селиванов двор в восприятии живущих рядом людей является символом зла и смерти. Этот двор грязный, заброшенный, холодный, «открыт настежь», в котором нет мебели, а судьба гостей ночующих в нем – неизвестна. Такая характеристика постоянного двора позволяет вписать его в мотивику пути. Он стоит в оппозиции к мотиву дома, который ассоциируется с порядком, безопасностью, прочностью и пристанищем для человека (Kopaliński 1990, s. 69). Стоит отметить факт, что в данном произведении происходит своеобразная трансформация архетипической модели дома. Исследовательница русского фольклора, Т. Щепанская обратила внимание на то, что в рамках русской культуры выступают два комплекса: «дома» и «пути», семантика которых противопоставляется друг другу (Щепанская 1992, с. 28). У Лескова Селиванов двор переходит из позиции «дома» на позицию «пути», что позволяет целое пространство, в котором живет Селиван, воспринимать как чужой, опасный и губительный для другого человека мир.

В местных рассказах о Селиване находим также сходства с другими аспектами архетипической модели пути. Особо важным кажется здесь и сам путник, который вступая на дорогу может встретиться со злом. В такой ситуации, как отмечает Т. Щепанская, путник должен совершить выбор: или убежать от зла, обычно представленного в виде дьявола и принять «позицию дома», или перейти на сторону дьявола и таким способом остаться на «позиции пути» (Щепанская 1992, с.114).

Такая отрицательная символика пути, в которой встерчаемый путником незнакомый человек ассоциируется со злом опирается на народно-мифологическую традицию. Именно там путь воспринимается как пространство опасное и враждебное для путешествующего человека. Также и в русской былинной традиции дорога, которая должна обеспечить единство мира, соединить эпическую столицу с остальной Русью – становится местом сосредоточения хаотических сил (Николаев 2002, с. 63). О. Николаев отмечает факт, что в архаической мифологической картине мира дорога – это показатель связности, освоенности, упорядоченности Космоса (Николаев 2002, с. 62). На эпико-героической стадии развития мифологии основная функция героя заключалась в очищении им дороги от занявших ее чудовищ. В русской народной былинной традиции мотив очищения дороги связан прежде всего с образом Ильи Муромца. Героев-рассказчиков в рассказе «Пугало» Лескова можно бы воспринять как наследников этого былинного героя, которые «очищают» дорогу от дьявольских, сверхъестественных существ. Селивана, героя лесковского рассказа люди считают представителем «позиции пути» и видят в нем нечистую силу, которая наделяет его способностью превращаться в разных животных, а также в предметы. Согласно славянской мифологии такие черты характерны как для «лешего», так и любого «оборотня» (Вагурина 1990, с.140-141). Эти два мифологических представления вписываются в символику пути, причем оборотень:

!.../ обыкновенно показывается в сумерки и ночью; с диким воем и неудержимую быстротой мчится он, перекидываясь в кошку, собаку, сову, петуха или камень, бросается под ноги путнику и перебегает ему дорогу; нередко он подкатывается клубником, снежную глыбою, копною сена (Вагурина 1990, с.180).

Интересно, что эти воображения становятся актуальными и в рассказе «Пугало». В передаваемых друг другу «дорожных случаях» люди описывают Селивана в виде оборотня. В одной из таких местных историй появляется следующий образ внушающего общий страх героя:

!.../ Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть, при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий облик и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы (Лесков 1958, с. 17).

Далее в рассказе приводятся многочисленные примеры «колдовских возможностей» Селивана. Например, недалеко от жилья Селивана башмачник Иван, опасаясь за свою жизнь, внезапно кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Иван был убежден, что:

Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван обратился в толстый верстевый столб (Лесков 1958, с.17).

Другие жители деревни уверяли в том, что видели Селивана также в виде кабана и красного петуха. Идущий со свадьбы кузнец Савелий треснул дубиной Селивана обратившегося кабаном по храпе, так, что тот больше не поднимался. И как рассказывал кузнец Савелий дальше, тот приняв опять человеческий вид смотрел на него с крыльца своего двора как-то страшно и недружелюбно. Встреча эта произвела на путнике ужасное впечатление и не прошла бесследно:

!.../ у кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасая единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема (Лесков 1958, с.19).

Истории народных сказителей обнаруживают самые существенные черты русского народа: склонность к гиперболизации в описании других лиц, буйное воображение, попытку понять непонятное и страшное при помощи русской демонологии или по своей личной выдумке, пренебрежительное отношение к фактам. Описания встреч с Селиваном, данные представителями народа, замедлены, насыщены ненужными деталями, хаотичны, нехронологичны, выборочны, фантастичны. Их конструкция и способ описания Селивана во многом по стилю близких к древнерусской литературе (по принципу некой

схематичности). Все местные люди определяют Селивана как лешего. Модифицируя народную мифологию для своих потребностей, они включают старые модели (образ лешего как оборотня) в настоящее. Представленные выше события открывают мир народных суеверий, глубоко дремлющих в русском народе, и показывают, как страх во время путешествия лишает русского крестьянина возможности мыслить трезво и рационально. Визуализация зла, исходящая из архетипической модели пути, в какой-то степени способствует объяснению непонятного и опасного пространства дороги.

Особое внимание следует уделить герою-повествователю. Лесков открывает перед читателем двойственную натуру мальчика, на воспитание и мировоззрение которого влияют легенды здешних крестьян, дворянская среда, а от роду дана ему «детская наивность», и вера в добро. Эту внутреннюю борьбу героя-повествователя писатель показывает именно через его сложные отношения с Селиваном. Сначала мальчик знает Селивана только на основании местных легенд и сказок. Но в воображении и в снах Селиван является ему всегда добрым человеком:

Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии (Лесков 1958, с. 21).

Мальчик в своих сновидениях представляет Селивана даже настоящим другом, но днем его опасается. Эта внутренняя борьба двух разных точек зрения на Селивана мучает героя и кончается сном, в котором Селиван в виде рыжей крысы пробирается в его дом и причиняет зло домочадцам. Переломным моментом в произведении является первая встреча «пугающего всех» мужчины с молодым героем. Однажды мальчик, дрожа от страха, вместе с другими детьми отправляется на поиски Селивана. Дорога оказывается очень трудной; дети лишаются коня, телеги, забывают дороги назад. Селиван, встретивший их случайно в лесу оказывается их спасителем и приносит на собственных плечах домой под проливным дождем. Он оказывается добрым и вежливым человеком. Но вместо благодарности его ждет очередная беда. Испуганным и утомленным долгим путем детям казалось, что на горе, в Селивановом лесу похоронена молодая женщина. Подозрение падает на Селивана. Поэтому:

.../ обыскивали, осматривали весь его лес, и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов, виденной нами убитой женщины, тоже никаких не осталось (Лесков 1958, с. 36).

Здесь особо актуализируется начинающая рассказ поговорка «У страха большие глаза». Всеобщая боязнь, страх во время пути становятся для детей невыносимыми и создают в их подсознании выдуманную историю об убитой женщине. В данном случае в детском мышлении возрождаются архетипические представления пути как пространства смерти. Для русского национального менталитета характерно соотношение мотивасмерти и пути. Причем герой-повествователь в обвинениях Селивана в убийстве незнакомой женщины играет второстепенную роль. Но с тех пор меняется его отношение к Селивану и к «легендам» народа о лесном Пугале.

Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но, смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распростирали о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом (Лесков 1958, с. 34).

После этого происшествия родители отправляют своего сына (героя-повествователя) на учебу в «благородный пансион», где он постоянно хвастается в своем знакомстве с Селиваном. Мальчику приходится однако встретиться с «лесным пугалом» очередной раз. Накануне Рождества Христова он отправляется вместе с тетушкой из Орла

в родное имение. Метель препятствует им в пути, и они, находясь в безвыходной ситуации, решают заночевать в Селивановом дворе. В путниках возрождается прежний страх перед Селиваном:

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке (Лесков 1958, с. 44).

Но они счастливо просыпаются ранним утром и отправляются в путь, забывая взять тетушкину шкатулку с большой суммой денег. Приехав домой, они рассказывают об оставленном багаже. Все домачадцы и гости убеждены в злых намерениях Селивана. Однако он, несмотря на сильный мороз, приносит нетронутую шкатулку. Этот поступок Селивана изменяет бытовавшее мнение о нем, а всем Селивановым тайнам находится логическое объяснение. Вдруг все узнают в нем доброго и честного человека, и как рассказывает герой-повествователь:

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановившись у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки (Лесков 1958, с. 51). Стоит отметить факт, что рождение «нового Селивана» имеет место в важный для христианской церкви праздник Рождества Христова. Это дает герою надежду на новую, лучшую жизнь. Вместе со сменой отношения окружающей среды к нему и жилью Селивана приобретает признаки настоящего дома, ассоциируется с безопасностью, разговорами путников за чаем, приготовлением еды. И хотя Селиван, живший до сих пор в крайней нищете, не хочет принимать никаких подарков, он произносит наконец следующие слова:

- На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать...пошел доход...щи варили...Нас не боятся как прежде боялись (Лесков 1958, с. 50).

Селиван почувствовал облегчение по поводу изменившегося отношения к нему его восприятия обществом. Наконец его доброта, вежливость, честность и истинная любовь к ближнему были понятны. Причем Селивана стоит причислить к лесковским праведникам, которые в повседневной жизни выполняют христианские заповеди.

Отец Ефим, первый учитель религии героя-повествователя узнав историю Селивана обращает внимание мальчика на его роль в разоблачении дурных представлений о Пугале:

Ты очень счастлив: твоя душа в день Рождества была как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которую окутывало твое воображение-пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть (Лесков 1958, с. 52).

Из этой цитаты следует, что христианская вера, в данном случае – Рождество Христово – помогла родиться правде о другом человеке, преодолеть суеверия и ментальные стереотипы, дремлющие в русском народе. Этот христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме в данной ситуации становится праздником в честь рождения нового ближнего – Селивана, победы правды над фальшью.

В христианской символике «дорога», или «тропинка» в метафорическом значении упоминаются только в Псалтыре более двадцати раз и обладают разными значениями (Forstner 1990, s. 89). Согласно одному из них, жизненный путь человека на Земле часто отождествляется с Божьими заповедями. В начале Псалма 119 читаем:

Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого /.../ Долго жила душа моя с ненавидящимися мир (Пс 119, 1-2, 6).

Псалом в целом является как бы песней, которая сопутствует человеку на жизненном пути, намеченном Богом. Странствующий по Земле человек пропитан Божьими законами и готов реализовать их на практике (Forstner 1990, s. 90). Приведенный

выше отрывок из Псалма 119 легко отнести к жизненному пути героя рассказа Лескова – Селивану. Он всю жизнь воплощает в жизнь Божьи заповеди идя «правильным», Божьим путем, но губит его ненависть и ложь ближних. Библейское восприятие «пути» как веры в Яхве явно ощутимо в Ветхом Завете. Но указанное в Новом Завете Рождество Христово, на которое обращает внимание Лесков, помогает преодолеть греховность человека. Как один из важнейших праздников в церковном литургическом календаре Рождество провозглашает веру в спасение человека, дает шанс на новую жизнь. Новозаветное понимание «пути» ассоциируется с «дорогой» и вместе с тем с «христианством» (Forsnter 1990, s. 90). Эту мысль отыскиваем в Деяниях апостолов. Например, в Евангелии от Луки дорога является «путем мира»:

Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги ваши на путь мира (Лесков 1958, с. 79). В словах апостола Луки звучит надежда на возможность изменения человеческих поступков на земле и восстановление Божьего мира и Божьей правды еще в земном пространстве.

Это произведение следует причислить к циклу святочных рассказов Лескова, в которых праздник Рождества Христова становится временем предназначенным для того, чтобы вернуть герою его единство с окружающим миром.

Литература

Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. 1992. Москва: Библейские общества.

ВАГУРИНА, Л., 1998. *Славянская мифология*. Москва.

КОРАЛИŃSKI, W., 1990. *Słownik symboli*. Warszawa.

ЛЕСКОВ, Н. С., 1958. *Собрание сочинений в одиннадцати томах*. Т. VIII. Москва.

НИКОЛАЕВ, О. Р., 2002. Фольклорная символика дороги и поэзия А. С. Пушкина. *In* *Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве*. В честь Натальи Михайловны Герасимовой. Санкт-Петербург, с. 60-77.

ОЖЕГОВ, С. И., 1984. *Словарь русского языка*. Москва.

ТИХОНОВ, А. Н., 2005. *Комплексный словарь русского языка*. Москва.

ЩЕПАНСКАЯ, Т. Б., 1992. Культура дороги на Русском Севере. Странник. *In: Русский север. Ареалы и культурные традиции*. Ред. БЕРНШТАМ, Г. А.; ЧИСТОВ, К. В. Санкт-Петербург, с. 102- 114.

FORSNTER, D., 1990. *Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł.* W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa.

Beata Trojanowska

Kazimierz Wielki University Bydgoszcz, Poland

CULTURAL MODELS OF THE ROAD IN THE SHORT STORY *SELIVAN, THE BOGEYMAN* BY NIKOLAI LESKOV

Summary

The article is an attempt at presenting two cultural models of the road in the short story “Selivan, the bogeyman” by Nikolai Leskov. The first one is based on the folk and myth tradition, and it considers the road as a real spatial feature. In Leskov’s text the reader comes across the archetypal understanding of the road as a space hostile and dangerous to the travelling Russian. One may find characteristic indicators of the presented model of the road – namely the road as the realm of the profane; and some of these indicators are fright, unpredictability of the future, belief in the existence of physical forms of evil which the human can meet on the road he or she follows, and death. The Russians’ attitude towards the protagonist of the short story Selivan reflects how deeply rooted the folk and myth tradition was in the mentality of the late 19th century people.

The second equally important model of the road presented by Leskov is influenced by the Christian tradition, and particularly by religious festivals, as Christmas helps Selivan to be reborn in the eyes of other people, and regain his unity with the surrounding world. In this case, we understand the road as a metaphor for the human life, a beginning of a new stage of the earthly existence but in communion not only with God but also with people. The character/narrator of the work has a special role, through specific narration (skaz) he combines these two cultural models of the road. “Selivan, the bogeyman” must be counted among Leskov’s Christmas stories, where Christian values eventually triumph over the attitudinal superstitions of folk and myth origin.

KEY WORDS: cultural models of the road, folk and myth tradition, road as a real spatial feature, the profane, Christian tradition, metaphoric understanding of the road as human life, ordeals of way in the Nicolay Leskov's story.

Юлия Шевчук

Башкирский государственный университет

ул. Цюрупы 84-76, 450077 Уфа, Башкортостан, Россия

e-mail: julyshvchuk@yandex.ru

ОБРАЗ ГАМЛЕТА В ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» (А. БЛОК, А. АХМАТОВА, М. ЦВЕТАЕВА)

В статье рассматривается проблема осмысления трагедии В. Шекспира «Гамлет» в русской литературе XX века. Гамлетовские типы появляются преимущественно в поэзии, реже в прозе. Шекспировские герои существуют в контексте темы любовной и социально-философской. Авторами сделан особый акцент на образе Офелии, женская драма которой выявляет узловые противоречия эпохи. Диалог с английским классиком явился для русских поэтов одним из способов выражения страхов и надежд катастрофического века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ Гамлета, образ Офелии, А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, шекспировские мотивы, трагический пафос.

Гамлет – самый востребованный шекспировский герой в русской культуре. Возникло даже понятие «русский гамлетизм», история которого насчитывает свыше полутора столетий. Россия прочитывала английскую трагедию 1601 года в разные эпохи неодинаково, пристально анализируя философский, политический, лирический смыслы произведения. Первое упоминание имени Шекспира в отечественной печати относится к 1748 году (Левин 1965а, с. 196-198). Гамлет на журнальных страницах появился раньше, в 1731 году (журнал «Зритель»), в переводной статье. Анонимный русский переводчик решил, что Гамлет и Отелло – авторы «комедий», притом латинские (Левин 1965а, с. 198). В начале XIX века широкая публика в России знала творчество Шекспира еще довольно плохо, однако русские романтики уже видели в датском принце воплощение рефлексии, конфликт мысли и воли, разлад с жизнью и порыв борьбы со злом (Левин 1965в; Левин 1988). Следует учитывать особое истолкование образа Гамлета А. Пушкиным и М. Лермонтовым. Разойдясь с общепринятой интерпретацией современников, они не считали основой характера Гамлета слабость воли, неспособность к действию. Он бездействует потому, что не находит достойного поприща. В этом смысле «гамлетовский элемент» можно увидеть и в Онегине, и в Печорине (Алексеев 1965; Лотман 1996).

Во второй половине XIX века Гамлета окончательно сблизили с типом «лишнего человека». Отношение к нему двойственное. Эпоха предъявила главное обвинение – отсутствие действия и его результата. В качестве главного обвинителя выступил в 1860 году И. Тургенев, выпустивший статью «Гамлет и Дон-Кихот». В ней шекспировский герой в целом получил негативную характеристику за то, что «никуда не идет». Признанный всеми художник дал типу «Гамлет» следующие характеристики: герой постоянно наблюдает за собой, знает все свои недостатки, презирает их, во всем сомневается. «Дон-Кихот» действует. Статья И. Тургенева подогрела споры и оценки конца XIX века. Но сегодня очевидно, что магистральный путь развития русской литературы связан скорее с пушкинским и лермонтовским типом. Наш национальный герой – духовный скиталец, бунтарь, чудак, босяк или чудик – вечно задает себе неразрешимые вопросы, как-то: «в чем смысл жизни?», «что делать?», «кто виноват?». Сомневается он чаще, чем действует. Следовательно, «раскрученность» образа Гамлета в литературе XX века не была недоразумением.

В прошлом столетии шекспировского героя перестали упрекать в бездействии, он ассоциировался с истинным мужеством и стоицизмом в страшном мире. Время революций и двух мировых войн, тоталитарный режим лишили человека возможности

сопротивляться обстоятельствам, активно преобразуя мир. Внешней несвободе противопоставили свободу внутреннюю. Действием становится мысль, принципиальная нравственная позиция. Гамлета в отечественной литературе XX века можно назвать интеллектуальным героем. С шекспировскими образами связывали тему спасительной, но несостоявшейся любви; судьбы интеллигенции; художника в тоталитарном государстве; размышления о конфликте человека и истории. Если в русской литературе XIX века гамлетовские типы появлялись преимущественно в прозе и драматургии (А. Грибоедов, М. Лермонтов, И. Тургенев, Ф. Достоевский, А. Чехов), то в минувшем столетии они перешли в поэзию (А. Блок, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, В. Высоцкий и др.).

Поэты «серебряного века» нередко использовали «маски» Гамлета и Офелии в произведениях *о любви*. В отличие от шекспировского героя, который отрекается любя из-за того, что в мире не осталось никаких ценностей, нет и верности, русские Гамлеты видят в любви спасение, высокий смысл жизни. Таков Гамлет А. Блока. Образ психологически разработан, тогда как Офелия – только одна из многочисленных ликов Вечной Женственности, она сущность идеальная, философски условная. Одной из причин появления в ранней лирике А. Блока шекспировских «масок» стала реальная ситуация.

Стихотворения «Есть в дикой роще у оврага...» (1898), «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене...» (1898), «Офелия в цветах, в уборе...» (1898), «Песня Офелии» (1899), «Прошедших лет немеркнувшим сияньем...» (1900) А. Блок посвятил Л. Менделеевой. В развитии их отношений важную роль сыграл любительский спектакль, состоявшийся 1 августа 1898 года. Были представлены сцены из «Гамлета», где Блок исполнял роль Гамлета, а Менделеева – Офелии. Так в юношеском творчестве поэта появляются вариации на темы и мотивы трагедии Шекспира. Из шекспировской пьесы Блок заимствует имена собственные, любовную коллизию и некоторые «знаки», связанные с Офелией (цветы, пение девушки). Она приближена к образу нереальному (Идеал, Муза). С женщиной соотнесен мотив святости и недостижимости, что заставляет задуматься над философской системой В. Соловьева. Гамлет в ранних стихах Блока – герой романтического мироощущения.

*Я видел принца над потоком,
В его глазах была печаль*

(«Офелия в цветах, в уборе...») (Блок 1970, с. 423).

Блоковский Гамлет – молодой и страстный поэт, наслаждающийся красотой и игрой Офелии-актрисы. Ее смерть на сцене вдохновляет художника, становится для него творческим стимулом, почти мистическим экстазом. Блок разворачивает метафору творчества в следующих строках:

*Ты умерла, вся в розовом сияньи,
С цветами на груди, с цветами на кудрях,
А я стоял в твоём благоуханьи,
С цветами на груди, на голове, в руках...*

(«Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене...») (Блок 1970, с. 8).

Все выше перечисленные произведения, кроме «Офелия в цветах, в уборе...», А. Блок в 1916 году объединил в цикл «Ante lucem» («До света»), предваряющий цикл любовных стихотворений «Стихи о Прекрасной Даме». В Офелии угадываются черты далекого идеала.

Накануне первой мировой войны, в 1914 году, А. Блок создает иной образ Гамлета в стихотворении «Я – Гамлет. Холодеет кровь...». Поэт продолжает тему любви, однако теперь он делает акцент не столько на любовной драме, сколько на столкновении героя с «холодом жизни». Иносказательно звучат социальные мотивы страшного мира. «Шекспировский текст» стихотворения А. Блоку подсказывает в жизни и в искусстве важный конфликт «человек – история». Лирический герой не теряет веры в Идеал.

*Я – Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,*

*И в сердце – первая любовь
Жива – к единственной на свете.*

Говоря о смерти возлюбленной, Гамлет размышляет над ее причинами («жизни холода»).

*Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю
Клинок отравленным заколот* (Блок 1970, с. 288).

В первой строфе сочетание слов «холодеет кровь» означает внутреннее состояние лирического героя, «жизни холода» во второй строфе – это то, что можно назвать действительностью, историей, эпохой. Все свидетельствует о господстве смерти в мире и в человеке. Жизнь есть смерть. Люди походят на мертвецов – это шекспировский мотив. В стихотворении Блока не жизнь является антитезой смерти, а любовь («любовь жива»).

Итак, образ Гамлета в лирике А. Блока, восторженного юноши и ироничного скептика, позволяет проследить эволюцию мироощущения поэта, в разные периоды творчества стремящегося к символизации образа.

Шекспировские образы и мотивы появляются в стихотворениях любовной тематики у А. Ахматовой («Читая “Гамлета”», 1909) и М. Цветаевой («Офелия – в защиту королевы...», 1923; «Диалог Гамлета с совестью», 1923). Осмысление героев и ситуаций у них различно. А. Ахматова отметила в шекспировской истории мотив страдания женщины от любви к сильному духом и нравом мужчине. В истории важен момент вечного повторенья: так было в судьбе Офелии и Гамлета, так будет и во веки веков. Любовь в стихотворении осмыслена как «поединок роковой», в котором, судя по всему, любящая женщина не уступает избраннику в силе. М. Цветаева пишет не столько о том, что произошло в пьесе, сколько о том, как к этому относится лирическая героиня. Главными героями ее стихотворений становятся Страсть и Совесть.

«Читая “Гамлета”» А. Ахматовой – миницикл, состоящий из двух стихотворений: «У кладбища направо пылил пустырь...», «И как будто по ошибке...». У произведения важно само название, образованное из деепричастия «читая» и имени собственного. По смыслу данная синтаксическая конструкция является неполной: не хватает глагола, означающего действие главное (деепричастный оборот выражает в предложении только действие, дополнительное к основному). Заголовок цикла возможно интерпретировать следующим образом: текст шекспировского произведения – только стимул, А. Ахматовой он осмысливается как некий «путь» постижения закономерностей человеческого существования. Предпринята попытка (уже в самом названии) выйти за пределы трагедии «Гамлет», а быть может, за рамки искусства вообще.

Исследователи ахматовского творчества не раз писали о специфике ее ранних стихотворений. Так, В. Жирмунский важнейшей особенностью поэтики А. Ахматовой считает «эпиграмматичность» – умение обобщать и выражать обобщение в краткой словесной формуле. Б. Эйхенбаум основной структурный принцип ахматовской поэтики видит в лаконизме формы и содержания. В. Виноградов отмечал символичность ее образа (Жирмунский 1977; Эйхенбаум 1986; Виноградов 1976). Шекспировские аллюзии и реминисценции в «Читая “Гамлета”» придают образу особую смысловую насыщенность, стихотворение звучит как афоризм. Первая часть – ситуация разлуки, конец любви.

*У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака...»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, –
Пусть струится она сто веков подряд*

Горностаевой мантией с плеч (Ахматова 1997, т. 1, с. 24).

Авторское стремление к обобщению эксплицировано в последних двух строках стихотворения. Ситуация разлуки воспринимается как символическая. Кладбище, пустырь, река – «знаки», получающие бытийное толкование у Ахматовой через Шекспира. Они являются приметами тщетной, пустой и бессмысленной жизни без любви. А это уже ахматовская интерпретация. Примечательно, что в первом стихотворении цикла поэтом описана разлука, а только во втором – момент рождения в девичьем сердце чистого чувства. При этом слова Гамлета («Ее любил я; сорок тысяч братьев / Всем множеством своей любви со мною / Не уравнились бы». Пер. М. Лозинского. Ак. 5. Сц. 1) А. Ахматова «искажает» ровно в тысячу раз и вкладывает их в уста Офелии, любовь которой земна и реальна.

*И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты...»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор...
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер* (Ахматова 1997, т. 1, с. 24).

Подобная инверсия, по нашему мнению, предпринимается для того, чтобы провести идею: главными в любовном романе являются моменты рождения чувства и его конца, и так происходит всегда, у всех, в искусстве и жизни. В цикле А. Ахматовой сначала описан конец, а затем – вновь начало. Любовь будет повторяться в мире до бесконечности – между Гамлетом и Офелией, между другим героем и другой героиней. А. Ахматова объективна в своем обобщении.

В творчестве М. Цветаевой в связи с образом датского принца появляется мотив судилища. Шекспировского героя судит Автор. Гамлет – обвиняемый, Офелия – свидетель, защита и обвинитель одновременно. Даже совесть, которая могла бы быть на стороне героя, выступает против него. Мотив нравственной виновности Гамлета в смерти Офелии не является развитым у Шекспира, потому что главный герой «трагически виновен» (Гегель) за подлость мироздания. Самоубийство Офелии на этом фоне – одно из проявлений гнилости жизненных основ. Это до глубины души возмущает М. Цветаеву, исключительно субъективно осмысляющую шекспировский текст.

Цветаевский Гамлет, как и ахматовский, лишен политического, исторического пространства, но не абсолютно. В стихотворении «Офелия – в защиту королевы...» поэт пишет:

*Принц Гамлет! Довольно червивую залежь
Тревожить... На розы взгляни!* (Цветаева 2004, с. 593).

Уже в первых строках важнейшей характеристикой Гамлета становится намек на его борьбу за нравственность. Однако это не мешает автору обвинять лирического героя, потому что виновность/невиновность должна определяться другим. Шекспировских и нешекспировских героев М. Цветаева делит на два «лагеря» – приговоренные и оправданные. Понятия «любовь» и «нравственность» во многих ситуациях, включая гамлетовскую, противопоставляются. Автор судит героев за выбор, который они делают. Оправданными оказываются те, кто выбирает любовь (Офелия, королева Гертруда, Федра), виноваты – кто ее не выбирает (Гамлет, Ипполит). М. Цветаева лишает датского принца права быть судьей жизни, потому что он «девственник», женоненавистник, не знающий страсти.

*Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным – суд
Над страстью. Тяжеле виновная – Федра:
О ней и поныне поют.*

*И будут! – А Вы с Вашей примесью мела
И тлена... С костями злословь,
Принц Гамлет! Не Вашего разума дело
Судить воспаленную кровь* (Цветаева 2004, с. 593).

Поэт прославляет миг страсти, который может быть ярче и сильнее всего на свете. Такой миг равен вечности. Сила его велика («Сквозь плиты – / Ввысь – в опочивальню – и всласть!»). Поэтому Гамлету оправдания не будет никогда. Отношение к нему поэта настолько же личное, насколько было личным к Пушкину: с «Вы» автор в порыве сбивается на «ты». Подобное понимание превосходства любви над долгом обнаруживается и в других стихотворениях М. Цветаевой, не имеющих отношения к образу Гамлета. Любовь лирической героини заслуживает наказания у позорного столба, суда («Пригвождена...», 1920; «Вчера еще в глаза глядел...», 1920), но поэт оправдывает любящую.

*Как мало мне позорного столба!
Что если б знамя мне доверил полк,
И вдруг бы ты предстал перед глазами –
С другим в руке – окаменев как столб,
Моя рука бы выпустила знамя...* (Цветаева 2004, с. 678).

*Детоубийцей на суду
Стою – немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»* (Цветаева 2004, с. 681).

В стихотворении «Диалог Гамлета с совестью» М. Цветаева переводит драму шекспировского героя вновь в план любовный: автор обыгрывает гамлетовское признание в своем чувстве к уже умершей Офелии. В произведении постепенно возникает противопоставление любви братской и плотской. Спасительной признается последняя. Цветаевская интерпретация гамлетовской темы отличается особой экспрессией. При помощи повторов и градации поэту удается передать неотступные муки совести героя. Лейтмотивом стихотворения является образ утонувшей, но неуспокоенной и на том свете Офелии («На дне она, где ил...»). Гамлет и в финале озадачен вопросом, была ли это истинная любовь.

*На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на причечных бревнах...
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч...
– Меньше
Все ж, чем один любовник.*

*На дне она, где ил.
– Но я ее –
(недоуменно)
– любил??* (Цветаева 2004, с. 619).

Итак, в русской поэзии первой трети XX в. образ Гамлета прежде всего оказывается связанным с темой любовной, однако герой А. Блока осознает враждебность мира и предвидит близость и неотвратимость конца жизни. К 1940-м годам история наполнила шекспировских героев более зловещим смыслом, осложнила проблематику, актуализировала политический и философский планы трагедии. Ко времени написания А. Ахматовой цикла «В сороковом году» (1940), Б. Пастернаком стихотворения «Гамлет» (1946) и лирического романа «Доктор Живаго» (1945-55) Россия пережила мировые

войны, сталинские репрессии. С Гамлетом и Офелией теперь созвучна тема *духовного противостояния эпохе*. Возникает тенденция героизации Гамлета, причем героическое несет ярко выраженные черты христианского подвижничества (Гамлет – Христос). В ахматовском гамлетизме, в отличие от пастернаковского, важное место отведено Офелии.

К 1930-м годам А. Ахматова «отделила» лирический текст Шекспира от социально-исторического, пристально изучая последний. Она считала, что «Макбет» и «Гамлет» – произведения одного человека, но не того, который писал «Ромео и Джульетту». А. Ахматова, пережившая «серебряный век», переводила «Макбета», собиралась комментировать «Гамлета» (Рецептер 1987, с. 201). Именно трагедии интересовали поэта, особенно в момент, когда (14 июня 1940) был оккупирован немецкими войсками Париж, начинаются бомбардировки и обстрелы английских городов. Тогда А. Ахматова пишет стихотворения «Август 1940», «Лондонцам», в них образ эпохи дается крупным планом, хоть все и переживается автором предельно лично. Л. Чуковская записала в дневнике о стихотворении «Август 1940»: «Не знаю, придется ли оно по душе поклонникам ее женской Музы, но мне оно представляется гениальным. Стон из глубины души, как выдох: "Лева!" Она услышала горе всего мира.

– Какие там теперь разлуки! – сказала мне Анна Андреевна о Франции, о Париже.

Что бы ни происходило с ней или возле нее – крупное или мелкое, – она всегда сквозь свои заботы слышит страну и мир» (Чуковская 1997, т. 1, с. 171).

Своеобразие ахматовских стихотворений заключается в следующем: европейское зло одновременно описывается и как конкретно-историческое (фашизм), и как разрушающая сила естественно текущего времени. Последний смысл достигается не без помощи использования шекспировских образов, аллюзий и реминисценций (Фоменко 1999). В стихотворении «Август 1940» главный герой – Офелия, однако мотив смертельной тишины, который обыгрывается в тексте, восходит к последним словам умирающего Гамлета: «Дальше – тишина». Произведение посвящено теме времени в его историческом и философском значениях.

*Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Кративе, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.*

Так вот – над погибшим Парижем

Такая теперь тишина (Ахматова 1997, т. 1, с. 204).

Эпоху погребают, как Офелию. «Псалом не звучит», потому что она самоубийца. В этом образе можно угадать ахматовскую мысль: настал момент смены эпох, начало второй мировой только ускорило этот процесс, но не послужило причиной. Самое страшное, что одна эпоха сменяет другую незаметно, в «тишине». Не успеешь оглянуться, а в мире уже совсем другая эра. Могильщики (образы восходят к шекспировским – акт 5, сц. 1) работают бесстрастно, «лихо», они и есть время. А. Ахматова видит историю такой же беспощадной к человеку, какой она предстает в «Медном всаднике» А. Пушкина. Человечество будет «удобрением» во все времена. Еще одним страшным моментом смены

эпох, по А. Ахматовой, является то, что новое время слишком скоро перестает признавать старое. Не дай Бог человеку оказаться на временном сломе (сын не признает матери, внук отвернется). Ахматовскому поколению выпало переживать подобный момент дважды – в начале века, когда нагрянула первая мировая, революции, и в середине – во время столкновения России с Германией.

Гамлет среди других шекспировских героев появляется в стихотворении «Лондонцам». При этом поэт утверждает, что XX век показал – трагедии Шекспира наивны по сравнению с жизнью. У английского драматурга 23 драмы, а время пишет 24-ю, еще более страшную. Современников А. Ахматова сравнивает с Гамлетом, Цезарем, Лиром, нынешнее поколение получило от судьбы даже не трагические, а ужасные испытания.

*Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лиры
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, –
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!* (Ахматова 1997, т. 1, с. 205).

Ахматовскому поколению досталась жизнь, которую не отразила ни одна литература в мире, даже Шекспир. Поэт размышлял: «Шекспировские драмы – все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли – мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею» (Чуковская 1997, т. 2, с. 189). Трагедии Шекспира и его герои осмысляются теперь как образцы «наивного», «искусственного» трагизма, а для мира на пороге второй войны трагизм неотделим от ужасного. Образ современного Гамлета в стихотворении «Лондонцам» – это образ героя, не способного на какое-либо действие не в силу собственной нерешительности, а из-за подавляющих исторических обстоятельств.

Пастернаковский гамлетизм имеет несколько форм выражения: неповторимый образ создан в переводе (в 1938 – 1939 гг. поэт переводит «Гамлета» Шекспира на русский язык), в прозе («Доктор Живаго») и в поэзии («Гамлет»). Живаго – Гамлет становится символом целой эпохи и оставшейся в живых русской интеллигенции. С годом написания пастернаковского «Гамлета» (1946) совпало начало работы Ю. Домбровского над циклом новелл о Шекспире «Смуглая леди» (опубл. в 1969). Объектом внимания писателя становится тема непонятого эпохой художника. К мудрости Шекспир пришел постепенно, преодолевая суетливую реальность. Помудрев, он страшно устал и отяжелел. Именно мудростью, доставшейся ценой тяжких страданий, объясняет Ю. Домбровский тяжесть и одышку Гамлета. Путь к свободе духа в век деспотии открывается через трагедию.

Исследователями отмечена тенденция: после Б. Пастернака поэты все чаще перестают отождествлять себя с шекспировскими персонажами, обычно говоря о них в 3-м лице или обращаясь на «ты» и осовременивая их (Бельская 1996, с. 13). В столкновении с режимом (сталинским, брежневским) Гамлет изображен в стихотворениях Б. Слуцкого («Гамлет этого поколения»), Ю. Айхенвальда («Гамлет в 1937 году», 1961), Н. Коржавина («Гамлет», 1966). Образы, созданные А. Кушнером («Нет, не одно, а два лица», 1969) и В. Высоцким («Мой Гамлет», 1972), показали Гамлета тоскующим о своей общности с людьми; месть принца осмысливается как его падение, как насилие и пролитие крови, а не как борение с несправедливостью и победа над злом. Явно снижены шекспировские образы у А. Вознесенского («Песня Офелии», 1957), Ю. Мориц («Ты, Гамлет, спишь!..»,

1979), Э. Котляр («Гамлет»). Офелия наделяется чертами безумно уставшей от быта женщины (А. Вознесенский). Гамлет состарился, Ю. Мориц приходит к выводу, что мрачная жизнь старика хуже, чем гибель в расцвете лет. Окончательное сведение с пьедестала шекспировского героя произошло в конце века, Гамлет предстал в облике подвыпившего оратора, читающего знаменитый монолог «Быть или не быть?» в московском метро (Э. Котляр).

Трагическое с начала XX века «обживает» лирику. Так, образ Гамлета получил яркое воплощение в стихотворениях – А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой и др. Поступком героя стала его мысль, именно она предстала как действие, не способное сокрушить внешние обстоятельства, даже повлиять на них, но антиномичное по своей природе, интенсивное. Статическая композиция образов и мотивов в лирике (т.е. основанная не на временной последовательности событий, а на последовательности логических связей мысли или психологических ассоциаций чувства) заострила внутреннюю трагедию внешне бездействующего героя.

Литература

- АЛЕКСЕЕВ, М., 1965. А.С. Пушкин. *Шекспир и русская культура*. Под ред. М. П. Алексева. Москва-Ленинград: Наука, с. 162-200.
- АХМАТОВА, А., 1997. Собр. соч. в 2 т. Москва: из-во Цитадель.
- БЕЛЬСКАЯ, Л., 1996. «Русские Гамлеты» в поэзии XX в. *Русская речь*, № 4, Москва, с. 13-17.
- БЛОК, А., 1970. Избранные произведения. Ленинград: Лениздат.
- ВИНОГРАДОВ, В., 1976. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). *Виноградов В.В. Поэтика русской литературы*. Избранные труды. Москва: Наука, с. 369-459.
- ЖИРМУНСКИЙ, В., 1977. Преодолевшие символизм. *Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика*. Ленинград: Наука, с. 106-134.
- ЛЕВИН, Ю., 1965а. О первом упоминании пьес Шекспира в русской печати. *Русская литература*, № 1, Ленинград: Наука, с. 196-198.
- ЛЕВИН, Ю., 1965в. Русский романтизм. *Шекспир и русская культура*. Под ред. М. П. Алексева. Москва-Ленинград: Наука, с. 201-315.
- ЛЕВИН, Ю., 1988. Шекспир и русская литература XIX века. Ленинград: Наука.
- ЛОТМАН, Ю., 1996. Лермонтов. Две реминисценции из «Гамлета». *О поэтах и поэзии*. Санкт-Петербург: Искусство, с. 543-545.
- РЕЦЕПТЕР, В., 1987. «Это для тебя на всю жизнь» (А. Ахматова и «шекспировский вопрос»). *Вопросы литературы*, № 3, Москва, с. 201-211.
- ФОМЕНКО, И., 1999. Функция цитаты в лирическом цикле (шекспировские цитаты в цикле А. Ахматовой «В сороковом году»). *XX век. Литература. Стиль*, вып. 4, Екатеринбург: из-во Уральского университета, с. 100-105.
- ЦВЕТАЕВА, М., 2004. *Книги стихов*. Москва: Эллис Лак.
- ЧУКОВСКАЯ, Л., 1997. *Записки об Анне Ахматовой*. Т. 1, 2, Москва: Согласие.
- ЭЙХЕНБАУМ, Б., 1986. Анна Ахматова. Опыт анализа. *О прозе. О поэзии*. Сб. статей. Ленинград: Художественная литература, с. 374-440.

Julia Shevchuk

Bashkir State University, Russia,

THE IMAGE OF HAMLET IN THE POETRY OF THE SILVER AGE (ALEXANDER BLOK, ANNA AKHMATOVA, MARINA TSVETAEVA)

Summary

The article examines the problem of interpretation of Shakespeare tragedy «Hamlet» in Russian literature of the 20th century. Hamlet – like types appear mainly in poetry, rarely in prose. Shakespearian characters exist in the context of love, social and philosophical theme. The authors accentuate the image of Ophelia, whose womanlike drama exposes the main contradictions of the epoch. Russian poets used the conversation with the classical English poet as the way of expression of fears and hopes of the disastrous century.

KEY WORDS: the image of Hamlet, the image of Ophelia, Alexander Blok, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Shakespearian motives, tragic pathos.

Зейнеп Зафер

Университет “Гази”

Do Gol Caddesi 25/16, Tandogan, Ankara, Turkey

e-mail: zkelesh@yahoo.com

ВИКТОР ПЕЛЕВИН В ТУРЦИИ ¹

В этой работе дана краткая характеристика истории художественного перевода в Турции. В основе истории перевода рассматриваются все изданные в нашей стране произведения современного русского писателя-постмодерниста Виктора Пелевина. Заостряется внимание на допущенных во время перевода существенных недостатках, рассмотрены причины допущенных ошибок. Цель данной работы – довести до специалистов информацию об изданных в Турции книгах Виктора Пелевина, которые невозможно найти на русских сайтах Интернета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турецкий язык, русский язык, перевод, русская литература, Виктор Пелевин, транскрипция.

Перевод является самым важным средством, с помощью которого люди знакомятся с другими культурами и расширяют свой кругозор. За достаточно длительный исторический период на турецкий язык делались переводы с китайского, индийского, персидского, арабского, греческого и других языков.

До провозглашения Танзимата (1839), что означает «реорганизация» или «реформа», османская интеллигенция очень редко обращается к другим (далеким или близким) культурам, потому что до этого она обычно черпает все из арабских или персидских источников. Почти все историки турецкой литературы считают 1839 год годом начала знакомства турецких читателей с западными классиками. В этом году впервые публикуются два перевода с французского языка. Первый – сборник стихов французских поэтов, переведенный Ибрахимом Шинаси. Второй перевод, содержащий философские диалоги, принадлежит Мюниф Паша.

В связи с тем, что французский язык является главным средством общения Османской империи с европейским миром, османская интеллигенция тоже использует этот язык. Поэтому французский представляет собой язык-посредник и мост, связывающий османское общество с западной культурой и литературой не только в период Танзимата, но и после, даже в третьей четверти XX века, то есть до периода, когда английский язык становится главным средством общения с миром турецкого реципиента (Garipet 1999, с. 105-108). Турецкий читатель познакомился со многими западноевропейскими и русскими писателями, сначала читая их произведения на французском языке.

Тесные взаимоотношения между Турцией и Россией, начавшиеся со второй половины XV века, продолжаются и по сей день. В связи с этим можно говорить об определенном взаимовлиянии двух народов. Существует большая разница между двумя языками, так как турецкий язык принадлежит к урало-алтайской группе языков. Вместе с тем разное вероисповедание турецкого и русского народа, различные культуры, советский период в истории России – все это является важным фактором, затрудняющим процесс перевода с русского на турецкий язык.

Переведенные на турецкий язык первые книги о России – исторические, они помогали османскому обществу знакомиться со своими соседями. Впервые турецкий

¹ Доклад подготовлен в рамках исследовательского проекта “Русская литература XX века” с материальной поддержкой со стороны БАПа (BAP-Bilimsel Araştırma Projesi-Научно исследовательский проект) Университета “Гази”.

читатель получил возможность познакомиться с русской классической литературой, в переводе на родной язык, спустя 25 лет после опубликования первых художественных произведений вышеупомянутых французских авторов. В 1883/1884² году комедия Грибоедова “Горе от ума” была переведена непосредственно с русского на турецкий Мехмед Мурад и издана под заглавием “Akıldan Belâ”³ («Акылдан Беля»). В. А. Гордлевский считает, что младотурок из Дагестана Мехмед Мурад выбирает это произведение потому, что он считает недостатком увлечение османского общества всем французским после провозглашения Танзимата (Гордлевский 1961, с. 463). Окончив русскую школу, Мехмед Мурад хорошо владел русским языком, но после данного перевода он больше не занимался переводческой деятельностью.

После этого в османской периодической печати появляются переводы русских поэтов, но в данной работе мы хотим заострить внимание на втором переводчике, который сыграл большую роль в популяризации русской классической литературы в турецком языке⁴. Выпускница Восточного факультета Казанского университета, Ольга Сергеевна Лебедева поставила перед собой цель сблизить русскую и турецкую литературу. В 1881 г. она в первый раз приезжает в Стамбул с переводом произведений Пушкина и планом на будущее. В ее планы входило предложить османской власти издание данных переводов. Но в свой первый приезд она не успела реализовать свои намерения (Белова 1999, с. 391). О. С. Лебедева приезжает в Стамбул на второй раз в конце 1890 г. по приглашению крупного турецкого издателя и писателя Ахмед Мидхад, с которым она познакомилась в 1889 году на VIII-ом конгрессе востоковедов в Стокгольме. Переведенная Лебедевой на турецкий язык повесть А. С. Пушкина «Метель», названная “Kar Fırtınası” («Кар Фыртынасы»), в 1890 г. выходит в газете «Терджуман-ы Хакикат» (“Tercüman-ı Hakikat”) в нескольких частях. А в 1892 (1307) г. произведение печатается отдельным изданием⁵. Печатающаяся в той же газете, но вышедшая по частям, поэма Лермонтова «Демон» (“İblis”), в 1892 году печатается отдельным изданием⁶. Роман Льва Николаевича Толстого «Семейное счастье» (“Familiya Saadeti”), переведенный Лебедевой, в 1893/1894 (1309) г-х также выходит отдельным изданием⁷. До этого он печатается по частям в газете «Терджуман-ы Хакикат». В 1892/1893 г-х выходит отдельным изданием повесть Пушкина «Пиковая дама» (“Kâğıt Oyunu” – «Карточная игра») ⁸. Поэма «Бахчисарайский фонтан» – тоже издается, но год и место публикации не указаны. Лебедевой были переведены также несколько рассказов Л. Н. Толстого: «Ильяс», «Два гусара», «Смерть Ивана Ильича» и «Чем люди живы». В газете «Терджуман-ы Хакикат» печатаются написанные Лебедевой монографии о жизни и творчестве Пушкина, статья о Толстом, а в 1895 г. - история русской литературы объемом 132 страницы - “Rus Edebiyatı”⁹ («Рус Едебияты» - «Русская литература») ¹⁰.

Турецкие переводчики продолжили дело, начатое Лебедевой. Но многие из них делали переводы с французского языка. С 1884 года по 1923 год, год провозглашения Турецкой Республики, издано 16 книг с переводами русских классиков (в газетах также

² Из-за различия в летоисчислении, если в издание не указан месяц, то определить год сложно. Поэтому принято указывать два года.

³ Gribojedov, Akıldan Belâ. Rus Edebiyatı, komediya, 4 perde, Murad M., İstanbul, 1883/1884 (1300).

⁴ Более подробно об этом смотри в работах: Gariper C., Rusça’dan Türkçe’ye Yapılan İlk Edebî Tercüme Üzerinde Bir Araştırma: Manzum Tercüme, İlmî Araştırmalar/ Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, No 7, İstanbul 1999; Олджай Т. Русская литература в Турции, ВІСНИК Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, № 595, Харків 2003.

⁵ Pouchkine, Kar Fırtınası, Çev. De Lebedef, Gülnar Olga, İstanbul 1891/ 1892 (1307).

⁶ Tolstoy, İblis. Madam Gülnar O. Dölebedef, İstanbul 1892/1893 (1308).

⁷ Kont Tolstoy, Familiya saadeti, çev. De Lebedef, Gülnar Olga, İstanbul 1893/1894 (1309).

⁸ Puşkin, Kâğıt Oyunu (Puşkin’dan tercüme). İstanbul 1892/1893 (1308).

⁹ M-me Gülnar de Lebedev, Rus Edebiyatı, İstanbul 1895/1896 (1311).

¹⁰ Более подробно об этом см.: Олджай Т. Русская литература в Турции, ВІСНИК Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, № 595, Харків 2003.

было опубликовано множество произведений). Кроме того, с 1923 года по 1939 год было выпущено 35 книг переводов. В 1930-ые годы в Турции наблюдается повышенный интерес к русской литературе. Надо подчеркнуть, что переводческая деятельность в исследуемые периоды не была планомерной и качественной. Выбор писателей и произведений осуществляется по личному выбору издателей или переводчиков. Большинство книг переводится с западных языков, существуют пропуски и ошибки. Часто не упоминается язык-посредник.

Благодаря начатой М. К. Ататюрком (1881-1938) программе сближения Турции с западноевропейскими культурами, в 40-ые годы в стране наблюдается усиление переводческой деятельности. Первый конгресс по печати, состоявшийся под эгидой Министерства национального просвещения в мае 1939 г., имел огромное значение в превращении переводов художественной литературы в организованную государственную политику. Известный турецкий поэт, писатель и переводчик Хасан Али Юджель (1897-1961), министр просвещения с 1938 г., в своем докладе подчеркивает огромное значение «(...) знакомства республиканской Турции с классическими и современными произведениями западной культуры и мысли (...)» (Yucel 1939, s. 7.). В ответ на этот призыв создается «Переводческая комиссия» “Tercüme Heyeti” («Терджуме Хеети»), которая в начале 1940 года назначает «Языковые комиссии», одной из которых является «Комиссия по русской литературе». Она готовит план о переводах и изданиях классиков русской литературы. Во время Второй мировой войны (1939-1945), которая прямо и косвенно отрицательно влияла на культурную жизнь всего мира, вышеуказанная переводческая деятельность в Турции оценивается К. А. Беловой как «гражданский подвиг» (Белова 1999, с. 395).

С 1940 года по 1966 год под эгидой Министерства национального просвещения Турции в переводе издается 1120 произведений мировой литературы, собранных в 1247-и томах. Среди них 75 (в 88-и томах) являются произведениями русской литературы. По количеству изданий мировой литературной классики на турецкий язык в исследуемый период русская литература занимает пятое место после французской, немецкой, греческой и английской. Качество некоторых из этих переводов так высоко, что и сегодня читатели отдают предпочтение им. Это был период, когда турецкому реципиенту было предложено самое большое количество произведений русской классики, переведенной непосредственно с русского языка. Кроме того, в частных издательствах также издавались произведения некоторых русских классиков¹¹, часть которых была переведена с европейских языков-посредников.

Здесь непременно нужно заметить, что турецкий реципиент имел возможность знакомиться со множеством произведений русских авторов, которые были запрещены в Советской России и в других социалистических странах. Как пример можно привести несколько книг. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» (“Doktor Jivago”), который сразу после присуждения автору Нобелевской премии был переведен на турецкий язык и издан в конце 1958¹² г. После этого до 1999 г. он был переведен еще четыре раза и множество раз переиздан¹³. Роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита” в переводе Аыдын Емеч в первый раз был издан в 1969 году под названием “Usta ile Margarita” («Уста иле Маргарита») ¹⁴. Антиутопия Е. Замятина «Мы» была переведена Фюсун Тюлек и издана в 1988 г. под заглавием “Biz” («Биз») ¹⁵. Среди запрещенных в Советский период русских

¹¹ Более подробно об этом см.: Олджай Т. К вопросу истории переводов русской литературы в Турции (1923-1960 гг.), ВІСНИК Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, № 631, Харків 2004.

¹² PASTERNAK, B. 1958. Doktor Jivago, Türkçesi M. Kenan Kan, Karaveli Yayınları, İstanbul

¹³ Более подробно об этом см.: ЗАФЕР, З., 2006. «Судьба 17 части романа Бориса Пастернака 'Доктор Живаго'», Болгарская русистика, №1-2, София, с. 137-147.

¹⁴ BULGAKOV, M., 1969. Usta ile Margarita, çev. Aydın Emeç, E Yayınları. İstanbul.

¹⁵ ZAMYATIN, Ye., 1988. Biz, çev. Füsün Tülek, Ayrıntı Yayınevi. İstanbul.

писателей особенно популярен был А. Солженицын. В 1965 г. издаётся два перевода повести «Один день Ивана Денисовича», один из которых издаётся вместе с рассказом «Для пользы дела»¹⁶; в 1968 г. – «В круге первом»¹⁷, в 1970 г. – «Раковый корпус»¹⁸, в 1972 г. – «Август четырнадцатого»¹⁹ и, в одном сборнике, рассказы «Случай на станции Кочетовка» и «Матренин двор»²⁰. В 1974 г. одной книгой издаются «Письмо вождям Советского Союза» и статья «Жить не по лжи!»²¹. В 1974-1975-ых г. г. издается «Архипелаг ГУЛАГ» (в 3 томах)²², а в 1976 г. – «Ленин в Цюрихе»²³. Следует подчеркнуть, что многие из этих произведений были переведены разными переводчиками и переизданы несколько раз. Среди них больше всего раз была переиздана повесть «Один день Ивана Денисовича». Из вышеуказанных произведений Солженицына только три было переведено непосредственно с русского языка.

По словам А. Гениса Виктор Пелевин – «(...) самый популярный в России и на Западе прозаик нового поколения(...)» (Генис 1999, с. 82). Он является и самым популярным русским постмодернистом в Турции. Многие из его книг за короткий срок были предложены турецкому реципиенту значимыми издательствами. В Турции, кроме произведений Виктора Пелевина, в 2004 г. крупное издательство «Джем» (“Сем”) издаёт сборник новелл Сергея Довлатова «Чемодан» (“Bavul” – «Бавл») в переводе (язык – посредник не указан) Фарук Юнлютюрк²⁴.

В 2001 г. в первый раз турецкому читателю представилась возможность познакомиться с творчеством В. Пелевина. В переводе Тунджай Угурлу издательством “Dost” («Дост») на читательский рынок была выпущена третья книга русского автора «Жизнь насекомых» (“Böceklerin Yaşamı” – «Боджеклерин Яшамы»). Это единственный перевод Тунджай Угурлу, и в нём чувствуется неопытность. В произведении указано, что перевод сделан с русского, но переводчик, видимо, плохо владеет русским языком. Он явно пользуется английским переводом, что заметно по передаче нескольких русских собственных имен на турецкий язык.

Транскрипция стремится сохранить «чужое» посредством «своего». Как известно, в языках, которые используют латиницу, принято сохранение оригинального написания имен. Это правило действует и в турецком языке, но не в языках, которые используют другие алфавиты. В таком случае переводчик должен передать все имена в транскрипции, имея в виду их произношение на русском языке. Но в некоторых местах наблюдается несознательное допущение ошибки.

Так, в переводе на страницах данной книги имя Виктора Пелевина записано английскими буквами, например “VIKTOR PELEVIN” (Pelevin 2001, s. 4), а не как должно быть “VİKTOR PELEVİN. Имя Иосифа Бродского записано на латинице как “Joseph Brodsky” (Pelevin 2001, s. 8), а не как - “İosif Brodski”, Иван как “Ivan” (Pelevin 2001, s. 177), вместо “İvan”. Русское название произведения также написано на английском – “Jizn nassekomukh” (Pelevin 2001, s. 4), вместо правильной турецкой транскрипции “Jizn

¹⁶ SOLJENITSIN, A., 1965; İvan Denisoviç'in Hayatında Bir Gün. Dava Uğruna, çav. Zeyyet Özalpsan (издательство не указано), İstanbul Soljenitsin A., İvan Denisoviç'in Bir Günü, çev. Niyazi Dalyancı, İstanbul 1965.

¹⁷ SOLJENITSIN, A., 1968. İlk Çember, Türkçesi Hasan Aslan, E Yayınevi, İstanbul

¹⁸ SOLJENITSIN, A., 1970. Kanser Koşuşu, çev. Özay Süsoy, Gönül Suveren, Altın Kitaplar, İstanbul.

¹⁹ SOLJENITSIN, A., 1972. Ağustos 1914: Düğüm (10-21 Ağustos), Türkçesi Leyla Soykut, Hürriyet Yayınları, İstanbul

²⁰ SOLJENITSIN, A., 1972. Koçetovka İstasyonu'nda Bir Olay ve Matriyona'nın Evi, Rusçadan çev. Mehmet Özgül, Varlık Yayınları, İstanbul

²¹ SOLJENITSIN, A., 1974. Sovyet Liderlerine Açık Mektup (Eylül 1973); Yalanla Yaşamayın (Şubat 1974), Rusçadan çev. İsmet Giritli, Nebioğlu Yayınevi. İstanbul

²² SOLJENITSIN, A., 1975. Gulag Takım Adaları (1918-1956), I. Cilt, Rusçadan çeviren Selim Taygan, Nebioğlu Yayın Evi, İstanbul 1974.; Soljenitsin A., Gulag Takım Adaları (1918-1956), II, III. Cilt, Rusçadan çeviren Selim Taygan, Nebioğlu Yayınevi. İstanbul

²³ SOLJENITSIN, A., 1976. Lenin Zürich'te, Kervan Yayınları. İstanbul.

²⁴ DOVLATOV, Sergej, 2004. Bavul, çev. Faruk Ünlütürk, Cem Yayınevi. İstanbul.

nasekomiñ». Кроме того, названия журналов «Знамя» и «Новый мир» транскрибированы без опоры на нормы правописания турецкого языка, на английский манер - “Znamia” и “Novy Mir” (Pelevin 2001, s. 2). Тунджай Угурлу допустил ошибки в передаче географических названий и терминов, также под влиянием английского перевода. Например, город Астрахань он записал как “Astrakhan” вместо “Astrahan” (Pelevin 2001, s. 109), а термин «маршал» передал в английском варианте как “Marshall”, не используя турецкое соответствие “Marşal” (Pelevin 2001, s. 103). В целом текст на турецком языке читается легко, не было обнаружено буквализма на синтаксическом уровне. Надо заметить, что переводчик дает всего 31 сноску, что для такого постмодернистского текста явно недостаточно.

Незамеченный русской критикой первый сборник рассказов В. Пелевина «Синий фонарь» (1991), получивший Малую Букеровскую премию в 1992 г., издается на турецком языке в 2002 г. под названием “Mavi Fener” «Мави фенер»). Сборник издается в издательстве, принадлежащем одному из самых больших турецких банков (İş Bankası) и содержит рассказы: «Вести из Непала» (“Nepal’dan Haberler” – «Непал’дан Хаберлер»), «Хрустальный мир» (“Kristal Dünya” – «Кристал Дюня»), «Муттельшпиль» (“Oyunun Ortası” – «Оюнун Ортасы»), «Ника» (“Nika” – «Ника»), «Жизнь и приключения сарая номер XII» (“Kulübe No XII’nin Hayatı ve Maceraları” – «Кулюбе № XII’нин Хаяты ве Маджералары»), «Синий фонарь» (“Mavi Fener” – «Мави Фенер»), «Бубен Верхнего Мира» (“Yukarı Dünyanın Tefi” – «Юкары Дюнянын Тефи») и повесть «Затворник и шестипалый» (“Münzevi ile Altıparmak” – «Мюнзеви иле Алтыпармак»). Перевод с английского сделал Саваш Кылыч. Английский перевод, которым он пользуется, издан в 1994 г. под названием “The Blue Lantern”.

Саваш Кылыч успешно использует все богатства турецкого языка, так что не чувствуется искусственности в построении предложений, но в некоторых местах все же допущены некоторые ошибки при переводе, которые, как нам кажется, возникли от использования английского текста. И здесь, подобно рассмотренному выше переводу, мы отмечаем неправильное транскрибирование собственных имен. Ограничусь несколькими примерами: имя “Александр” передано в английской транскрипции как “Alexander” вместо “Aleksandr” (Pelevin 2002, s. 70), «Вероника» как “Veronica” (Pelevin 2002, s. 97) вместо “Veronika”, а имя «Нели» как “Nelli” вместо “Neli” (Pelevin 2002, s.124-125) и т. д. Один из главных недостатков перевода состоит в том, что, кроме двух сносок в рассказе «Ника», нигде сносок больше нет. Таким образом, многие реалии, связанные с советским периодом и 90-ыми годами, остаются неясными турецкому читателю, имеющему весьма ограниченные фоновые знания.

В том же году упоминаемое издательство выпускает роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» под название “Buda’nın Serçe Parmağı” («Буданын Серче Пармагы»), которое является буквальным переводом на турецкий с английского “Budha’s Little Finger”, а на русский может быть переведено как «Мизинец Буды». Перевод с английского принадлежит Бюлент Орал Доган, но не указывается язык-посредник. Нам становится ясно, что данный перевод выполнен с английского, по названию произведения и английской транскрипции некоторых собственных имен. Например, «Жербунов» передан в английской транскрипции как “Zerbunov” (Pelevin 2002, s. 40), а не - “Jerbunov”, «Кавабата» записанна с “w” - “Kawabata” (Pelevin 2002, s. 179) вместо правильного “Kavabata”. Нет никаких ссылок, поэтому для турецкого реципиента остаются неясными многие реалии.

В 2003 г. вышеупомянутое издательство “Dost” («Дост») издаёт книгу Виктора Пелевина под названием «Омон Ра» (“Omon Ra”), включающую в себя одноименную повесть и повесть «Желтая стрела» “Sarı Ok” «Сары Ок»); переводчик с английского - Барлас Чевикус. Конечно, и тут не указан язык и название английского текста, с которого сделан перевод. Дается только агентство, от которого получено право на перевод. Из

краткой информации о переводчике мы узнаем, что это уже не первый его перевод с английского. Уже с первой страницы повести «Омон Ра» бросаются в глаза неправильно транскрибированные русские имена. Вместо «Вавилен» использовано неестественное для турецкого – “Babylon” (Pelevin 2003, s. 8), а «Омка» дано с английского – “Ommy” (Pelevin 2003, s. 9). Даны всего 7 объяснений в ссылках. А без необходимых объяснений турецким читателям трудно понять пародийную игру с текстами официальной культуры, потому что им не известна коммунистическая идеология. Даже общеизвестная аббревиатура «СССР» даётся как сокращение с английского “USSR” вместо турецкого “SSCB”.

То же самое наблюдается и на первых страницах «Желтой стрелы» (имя «Андрей» транскрибируется не как “Andrey”, а как “Andrei” (Pelevin 2003, s. 141), “Sergeyevic” - “Sergeievich” (Pelevin 2003, s. 144)). Встречаются ошибки в транскрибировании топонимики и терминов. В этой повести переводчиком дается всего 3 ссылки. Несмотря на то, что Барлас Чевикус является автором еще и многих других переводов с английского, причина подобных ошибок заключается в отсутствии владения русским языком и в недостаточном фоновом знании.

Роман GENERASION “II” издан в 2004 г. в переводе Бюлент Орал Доган под названием “Homo Zapiens”. Переводчик предпочел назвать произведение В. Пелевина по названию одной из глав романа. Но он не дает никакого объяснения читателям о значении и смысле понятия “Homo Zapiens”, представляющем собой кодовое обозначение виртуального субъекта. Из сравнения с оригиналом видно, что, по сравнению с романом «Чапаев и Пустота» (“Buda'nın Serçe Parmağı”), Бюлент Орал Доган во втором переводе допускает больше пропусков и ошибок, несмотря на то, что у него уже есть некоторый опыт в переводе языка и стиля Виктора Пелевина. Разумеется, совсем не легко через язык-посредник передать все слоганы в телерекламах, которые Виктор Пелевин так мастерски сотворил. Указанные выше примеры неправильной транскрипции замечены и в этом переводе.

Произведение современного русского писателя-постмодерниста Виктора Пелевина «Шлем ужаса» издано у нас в 2007 г. в переводе Дилек Шендил. Перевод выполнен с английского издания “The Helmet of Horror”, и название дано в точном переводе с русского языка как “Dehşet Miğferi” («Дехшет Мигфери»). Дилек Шендил является автором многих других переводов с английского, но в данной работе все же наблюдаются различные ошибки и неточности в транскрибировании собственных имён.

Итак, с 2001 по 2007 год на турецкий язык были переведены и изданы 6 книг известного современного русского постмодерниста Виктора Пелевина. Из них только одна книга была переведена с русского, а остальные переводились через язык-посредник (английский язык). Из всего вышесказанного становится ясно, что, если раньше турецкие издательства и переводчики следили за развитием русской литературы прежде всего через французский язык, и именно он являлся языком-посредником в переводе на турецкий, то позднее в качестве языков –посредников добавились немецкий и английский языки. Сегодня, чтобы следить за развитием современной русской литературы, издатели и переводчики Турции обращаются к книжному рынку Запада, прежде всего в англоговорящих странах. Только специалисты, окончившие отделение русского языка и литературы, работают с оригинальными русскими текстами, но они не осмеливаются переводить такие трудные произведения постмодернистской литературы, как произведения Виктора Пелевина, требующие богатых фоновых знаний, исследований и большого труда. Такие серьезные переводчики хорошо понимают, насколько нелегко передать смысловую многозначность постмодернистского текста, требующего объяснений даже для многих русских читателей. В результате двойного перевода происходит отдаление от текста-подлинника, которое приводит к совсем другому значению в тексте. Кроме того, появляются ошибки при передаче фразеологизмов.

Перевод русской литературы посредством европейских языков-посредников зависит не только от недостаточного количества знающих русский язык переводчиков. Самой главной причиной является коммерческая политика издательств, для которых имеет значение не качество художественного перевода, а доход от продажи издания²⁵. Иногда, даже не упоминая соответствующего языка, издательства печатают и предлагают на рынке переводы с какого-либо языка-посредника. Исключение составляют переводы под эгидой Министерства национального просвещения Турции и работы некоторых современных переводчиков-специалистов. К сожалению, данная ситуация не меняется и сегодня. Мы не имеем в виду запрещённые в Советской России и издававшиеся только на Западе произведения, о которых уже говорили.

Вопрос о передаче индивидуального своеобразия подлинника на другой язык является одним из самых основных вопросов художественного перевода. Передача реалий литературного текста представляет собой трудное испытание для турецких переводчиков. Возможность воспроизведения смысловой многоплановости зависит от приёмов перевода и мастерства переводчиков, от изобретательности в использовании образных словосочетаний данного языка. Но этого едва ли можно достигнуть, когда в переводе используется язык-посредник и переводом занимается неопытный переводчик, чья цель не эстетическая, а прагматическая. Многие теоретики перевода говорят о наличии в каждом языке большой группы лексики, которая по отношению к другому языку обладает характеристикой безэквивалентности (Федоров 1968, с. 160-168; Рецкер 1974, с. 10-11; Верещагин, Костомаров 1983, с. 56-64; Флорин 1986, с. 181-198; Влахов, Флорин 1990, с. 24-26 и др.). По классификации Влахова и Флорина к безэквивалентной лексике относятся реалии, антропонимы и топонимы, обращения, фразеологизмы, пословицы и поговорки, междометия, диалекты и жаргоны, термины, собственные имена (Влахов; Флорин 1990, с. 25-26), а по классификации Верещагина и Костомарова – советизмы, слова нового быта, наименования предметов и явления традиционного быта, историзмы, лексика фразеологических единиц, слова из фольклора и слова нерусского происхождения (Верещагин, Костомаров 1983, с. 60-64).

Передача этой лексики особенно трудна для наших переводчиков, которые переводят реалии и другую безэквивалентную лексику буквально и не считают нужным объяснять их турецкому читателю. Так, например, реалия “новые русские” переводится буквально как “*yenî Ruslar*” (Pelevin 2002, s. 58, 255).

Большая часть советизмов (Верещагин, Костомаров 1983, с. 60-61; Влахов, Флорин 1990, с. 118-124), которые одни авторы определяют как реалии, а другие - как безэквивалентную лексику, трудно переводится на турецкий язык, потому что она отражает несуществующую в Турции политическую и экономическую систему социалистического периода бывшего СССР, в связи с чем фоновые знания турецкого реципиента в данной области довольно ограничены. Например, “пионерский лагерь” переводится буквально как “*öncü kampı*” (Pelevin 2001, s. 49; Pelevin 2004, s. 8) без каких-либо объяснений, а массовый турецкий реципиент не знает, что кроется за этим названием. Аббревиатура «ЧК» тоже является реалией для турецкого реципиента, потому что и полная ее передача не дает представления о функции ЧК. Но переводчик считает достаточным просто написать по-турецки “*Çeka*” (Pelevin 2002, s. 40,43), без какого-либо объяснения. Реципиент опирается на свою культуру и фоновые знания, но ему обязательно необходимо понять описанные в произведении и присущие другому народу традиции, обычаи, художественные образы. Переводчик должен быть тем человеком, который будет помогать читателю. Ибо одна из целей перевода – сделать из «чужого» максимально «свое».

²⁵ Некачественные переводы зависят и от низкой оплачиваемости труда переводчиков, которые, чтобы заработать деньги, переводят быстро и некачественно.

Только овладев искусством передачи синонимов в принимающем языке можно верно отразить все тона и полтона, все семантические оттенки лексических единиц. Только таким образом обеспечивается сохранение стиля и экспрессивности художественного произведения-оригинала. Но в указанных выше переводах литературных текстов Виктора Пелевина это не было достигнуто. И чаще всего переводчики допускают ошибки в результате буквального понимания или незнания.

Но, несмотря на недостатки и недочеты в переводах, благодаря работе упомянутых переводчиков, произведения Виктора Пелевина приобрели большую популярность в Турции. Этот писатель занимает важное место в аспирантских программах Турецких университетов, где преподаётся русский постмодернизм. Аспирантам нравятся его произведения, и они с удовольствием обсуждают их.

Литература

- БЕЛОВА, К. А., 1999. Из истории переводов Пушкина в Турции. *Пушкин и мир Востока*. Москва.
- ВЕРЕЩАГИН, Е. М.; КОСТОМАРОВ, В. Г., 1983. Язык и культура. *Лингвострановедения в преподавании русского языка как иностранного*, 3-е изд., перер. и дополн., Москва.
- ВЛАХОВ, С., ФЛЮРИН, С., 1990. *Непереводимото в превода*. София.
- GARİPER, C., 1999. RUSÇA'DAN Türkçe'ye Yapılan İlk Edebî Tercüme Üzerinde Bir Araştırma. *Manzum Tercüme*. İlmî Araştırmalar No 7, İstanbul.
- ГЕНИС, А., 1999. Иван Петрович умер. *Статьи и расследования. Новое литературное обозрение*, Москва.
- ГОРДЛЕВСКИЙ, В. А., 1961. Чехов в Турции. *Избранные сочинения*. Том 2, Москва.
- PELEVİN, V., 2001. *Böceklerin Yaşamı*. Rusçadan çeviren Tuncay Uğurlu, Dost Kitabevi, Ankara.
- PELEVİN, V., 2002. *Buda'nın Serçe Parmığı*. Çeviren Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- PELEVİN, V., 2007. *Dehşet Miğferi*. Çeviren Dilek Şendil, Merkez Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
- PELEVİN, V., 2002. *Mavi Fener*. Çeviren Savaş Kılıç, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- PELEVİN, V., 2003. *Omon Ra*. Çeviren Çevikuş, Dost Kitabevi, Ankara.
- PELEVİN, V., 2004. *Homo Zapiens*. Çeviren Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- РЕЦКЕР, Я. И., 1974. *Теория перевода и переводческая практика*. Москва.
- ФЕДОРОВ, А. В., 1968. Основы общей теории перевода. *Лингвистический очерк*. 3-е изд. перер. и дополн., Москва.
- ФЛЮРИН, С., 1986. *Реалиите в превода от и на английски език*. София.
- YUCEL, H. A., 1939. *Birinci Türk Neşriyat Kongresi Açılışında Sayın Başvekili ile Maarif Vekili Tarafından Söylenen Nutuklar*, Ankara.

Zeynep Zafer

Gazi University, Turkey

VIKTOR PELEVIN IN TURKEY

Summary

This study aims at presenting a brief history of literary translation from Russian into Turkish. Viktor Pelevin is a contemporary Russian postmodern author and his works that have been published in Turkey are enumerated while presenting the history of translation. The focus is on the shortcomings of the translations; the reasons of the mistakes that have been made are analysed. The report also aims at presenting a complete list of the books by Viktor Pelevin, that have been published in Turkey, and the reference to which cannot be found on web pages.

KEY WORDS: Turkish, Russian, Translation, Russian Literature, Viktor Pelevin, transcript.

Ingrida Eglė Žindžiuvienė

Vytauto Didžiojo universitetas

K. Donelaičio g. 52-615, LT-44244 Kaunas, Lietuva

e-mail: i.zindziuviene@hmf.vdu.lt

LATE POSTMODERNISM IN AMERICAN FICTION

The paper discusses the features of Postmodernism in American literature and analyses different forms of it. The main issues of the discussion are grounded on the logics of the term “Postmodernism” from the twenty-first century perspective. The article presents insights into the features of postmodernism in Kurt Vonnegut’s novel “Timequake” (1997), which demonstrates the major tendencies of late Postmodernism in American fiction: neo-realism, absurdity, fragmentation, intertextuality and others.

KEY WORDS: *postmodernism, neo-realism, pessimistic prophecy, absurdity, multiculturalism, intertextuality, humanism.*

Timequake (1997) is Kurt Vonnegut’s (1922 – 2007) last novel, in which the author summarizes his life experience, educates his readers and discusses the future of the Earth. After the publication of this novel, although having announced the end of his literary career, Vonnegut continued to write articles and essays until his death on the 11th of April 2007. During the last decade of his literary career, Kurt Vonnegut focuses on the same points: he considers the future of his country and the world, discussing a great variety of themes. Autobiographical facts appear alongside the author’s contemplation on wars, technology, art or politics. Because of the futurist topics, Kurt Vonnegut has often been wrongly labelled a science-fiction writer a fact rejected by the author himself in many of the novels, interviews and essays. However, the same variety of the topics, peculiar fragmented narrative style and intertextuality demonstrate the postmodernist features in Kurt Vonnegut’s works. The central issue of the discussion is the postmodernist features, grounded on the analysis of the picture of the contemporary world in Kurt Vonnegut’s last novel *Timequake*, in which the author remains apprehensive of the negative changes in the world and invites the readers to search for the meaning of life, to foresee the causes of the events and to strengthen human relationship. In this way, Kurt Vonnegut educates his readers in the mood of humanism and faith in people. In his deep concern over the future of humanity, Kurt Vonnegut crosses the boundaries of one country and becomes rather a citizen of the world.

In *Timequake* (1997), Kurt Vonnegut summarizes his life experience, world heritage, and, as usual, dwells on different topics, the prevailing mood being not only humorous and satirical but also sad and apprehensive. The author teaches a new understanding of the old values, and encourages the readers to reconsider their lives in a postmodern world. *Timequake* can be regarded as the author’s inner monologue that allows the reader to see what lies at the bottom of his mind and heart through the discussion of subjects regarding the author’s personal life or the surrounding environment.

In the light of post-modernism, Kurt Vonnegut appears a true representative of this literary trend, often ascribed to “high postmodernists” (Green 2005, p. 25). One of the most noticeable attributes of postmodern literature appears to be the philosophical nature of such fiction in terms of the present state of the world. The French philosopher and literary theorist Jean-Francois Lyotard claims that a postmodern writer speaks of the present reality from the position of a philosopher (Lyotard 1993, p. 46). This position is unique, as Daina Miniotaitė states, since “in postmodern philosophy the world and reality are understood as chaotic, relative, undefined, unstable, as accumulations of split cultures, or interpretations, which are created by language, social, ideological, and cultural discourses” (Miniotaitė 2007, p. 7). In addition, Linda Hutcheon emphasizes that while confronting relevant issues, postmodernists

do not seek to present final answers or insinuate themselves into their reader's confidence: instead, they tend to pose questions and to encourage the reader to concentrate on his/her personal beliefs and values (Hutcheon 1988, p. 42-45). According to Steven Connor, postmodern fiction is "modestly engaged in experiencing the world, overcoming or modifying the disorder of appearances through a generous absorption in them" (Connor 1997, p. 123).

Postmodern writers pay a great deal of attention to the inner changes observed in an individual. Lyotard points out that in the past there was a strong belief in humanity's progress that "developments made in the arts, technology, knowledge, and freedoms would benefit humanity as a whole" (Lyotard 1993, p. 48). However, according to Lyotard, this progress did not answer human hopes and made individuals less enthusiastic about it, since it became dependent on science and technology, and failed to satisfy such fundamental needs as security, identity and happiness (*ibid.*, p. 49).

Another significant characteristic of postmodern literature is the attempt to convey relevant issues of the present day world. For example, John Lye refers to such themes as the threat of the nuclear war, the deteriorating state of our planet and the rise of consumer society (Lye 2002, 1). Moreover, it can be claimed that postmodern writers perform the role of the critics who are anxious to expose the negative sides of contemporary society. As a rule, this type of criticism contains a great deal of pessimism. Lye assumes that pessimism arises owing to the fact that "life is lived in a world with no transcendent warrant, nothing to guarantee or to underwrite our being as meaningful moral creatures" (Lye 2002, p.2). However, Lye also notes that this dismal image of the modern-day world is presented by avoiding seriousness and by using wit, parody, black humor, playfulness and irony (Lye 2002, p. 2). According to Ihab Hassan, irony and playfulness prove to be useful when there is no cardinal principle or paradigm, but there is a strong desire to find truth and clarity (Hassan 1992, p. 197).

The writer's contemplation of the relationship between mankind and history or, in Emory Elliott's term, "self-reflexivity", is another distinctive aspect of American postmodernist fiction (Elliott 2006, p. 445). Postmodern writers reflect on their own status in the world, on their experience and survey historical developments. Jean-Francois Lyotard notes that the Western history of the twenty-first century saw bloodshed and atrocities and failed to discover some "positive orientation that would open up a new perspective" (Lyotard 1993, p. 48-49). It can be claimed that by taking these facts into consideration, postmodern writers form their opinion about history accordingly. Linda Hutcheon points out that when they return and re-think the past, postmodernists tend to be ironic and critical rather than nostalgic and sentimental (Hutcheon 1988, p. 4). More over, Hutcheon emphasizes that their reassessment of history has nothing in common with a desire to revive "the past as a time of simpler or more worthy values" (Hutcheon 1988, p. 230). According to Hutcheon, postmodern writers reconsider history in order to see whether the past experience is of some value and whether it can be given a new meaning (Hutcheon 1988, p. 24-39). Following Hutcheon, it is possible to state that "challenging and questioning are positive values (even if solutions to problems are not offered), for the knowledge derived from such inquiry may be the only possible condition of change" (Hutcheon 1988, p. 8). In this way, postmodern writers confront the past by thinking about the present and the future state of the world (Hutcheon 1988, p. 19). Some writers tend to pose "What if?"-type questions and only state problems without searching for possible solutions.

In addition to its tendency to acquire of philosophical nature and to describe relevant realia of the present day world, postmodern fiction also deals with absurdity. Will Slocombe believes that it plays a major role in postmodern literature, since through the revelation of preposterous situations writers are capable of challenging the existing knowledge of the world (Slocombe 2007, p. 215). Daina Miniotaitė notices that when it comes to absurd scenes, "postmodern literature tends to depict characters who are stalled and at a loss, who

are devoid of any clearly defined character to stimulate action” (Miniotaitė 2007, p. 70). Furthermore, Slocombe claims that it is possible to divide postmodern absurdity into the absurd perspective and the absurd situation (Slocombe 2007, p. 214). When the world is presented in a way that is unlikely to occur in reality, it is dealt with the absurd perspective, whereas, when the depicted world with its irrational events is reminiscent of the real one and is distorted in an amusing way, so that the reader would be able to reconsider his/her own perceptions, it has to do with the absurd situation (Slocombe 2007, p. 214).

In *The Parameters of Postmodernism* (1993), Nicholas Zurbrugg presents the following phases of postmodernism (Zurbrugg 163): catastrophe theory and absurd creativity (1930s-1950s), substantial experimentation (1950s-1970s), and prophetic pessimism/optimism (1970s-1990s). According to Nicholas Zurbrugg, “the third, final, and present phase of postmodernism may be defined in terms of the tension between apocalyptic theories [...], apocalyptic fiction [...] and the more optimistic aspirations” (Zurbrugg 1993, p. 163). However, there is a stronger tendency towards the apocalyptic interpretations than the optimistic ones.

Another significant feature of postmodern literature is “narrative fragmentation” (Elliott 2006, p. 445). According to Francis Heylighen, human beings are surrounded by diverse cultures, religions, ideologies, styles and fashions, which provide them with many options rather than one model that could correspond to their needs; thus a tendency can be observed to select those ideas, beliefs, attitudes, codes, guidelines and rules of behavior that seem most attractive (Heylighen 1999, p. 4). Heylighen observes that the main problem concerning this issue is that although these attitudes and rules appear to be compelling, they have nothing in common and fail to make coherent whole, therefore they do not yield satisfaction and individuals cease to be confident of anything (Heylighen, *ibid.*). In David Bohm’s opinion, “fragmentary thinking is giving rise to a reality that is constantly breaking up into disorderly, disharmonious, and destructive partial activities” (Bohm 1992, p. 390). Eventually, fragmentation produces indeterminacy, and the postmodern inclination to disconnect means that fragments are the only reliable source.

Since its first introduction in the late 1960s by Julia Kristeva, the term “intertextuality” has strengthened its position as one of the aspects denoting postmodernity. Although, as Graham Allen observes, the term possesses a potential for misuse (as, for example, its reference to intentional allusion, overt or covert, to citation or quotation of previous literary texts, it still retains its mosaic, absorptive and transformative aspect (Allen 2005, p. 1). In 1986, Julia Kristeva presented a description of a three-dimensional textual space by pointing out three “coordinates of dialogue”: the writing subject, the addressee (or ideal reader), and exterior texts (Kristeva 1986). Gerard Genette (1992 and 1997) proposed the term “transtextuality” as a more inclusive term than “intertextuality.” According to Genette, the defining features of intertextuality might include the following: reflexivity (how reflexive or self-conscious the use of intertextuality seems to be); alteration; explicitness; scale of adoption; structural unboundedness (to what extent the text is presented or understood as part of or tied to a larger structure). These aspects demand the “mobilization of the recipient’s imagination” (Pier 2006, p. 2; translation mine). Thus, the essence of transtextuality lies in interpretative relations, explorative connections and configurative affects. As Michael Worton and Judith Still observe, intertextuality presupposes that “a text [...] cannot exist as a hermetic or self-sufficient whole, and so does not function as a closed system” (Worton and Still 1990, p. 1). The concept covers all different forms of the relation of a given text to other texts, since no literary text is read in a cultural vacuum (Vitoux 1998, p. 105).

It can be observed that while reflecting on the condition of the present world and the individual’s inner changes, postmodern writers tend to occupy the philosopher’s position in order to engage their reader in the process of challenging conventional attitudes. In

postmodern fiction it becomes significant to portray realia surrounding the contemporary society and to take the critic's position in order to point out the drawbacks of certain phenomena, such as the negative side of the latest technologies or the negative events of Western history. Another attribute of postmodern fiction involves the use of preposterous situations, thereby questioning the past and confronting established injustices. Postmodern writers also employ fragmentation and intertextual relationships that provide an opportunity to discuss different personalities or ideas.

Thus, Kurt Vonnegut's paradoxical juxtaposition of different ideas (very often surrealistic ones) within a novel or even within a single paragraph, diverse method of narrative and "hybrid creativity" (Zurbrugg 1993, p. 54) are the representative features of late postmodernism in American fiction. The challenging picture of the world, which is a chaotic collection of fragmentary pieces, invites the Vonnegut reader to start playing the game of putting those pieces together in order to understand the text, which is only a replica of the chaotic and paradoxical surrounding world.

As a constant educator, Kurt Vonnegut challenges his readers to new discoveries and personal victories. Taking up the role of an ironic commentator and critic or philosopher, the author starts up a "cultural conversation" with his readers (Green 2005, p. 33). However, according to Emory Elliott, such fiction "demands the reader's total concentration and intense engagement" (Elliott 2006, p. 445). The readers ought to be well-informed on political, historical and cultural events; they should be aware of the world geographical and ecological issues and have, at least, a basic knowledge of the world literary heritage. The Vonnegut reader should be accustomed with the terms of art and music and be well-orientated in the present world of modern technology. In addition, the Vonnegut reader must have read at least several of the author's works. For example, in *Timequake*, the author often refers to his earlier novels and collections of short fiction (*Slaughterhouse-Five*, *The Sirens of Titan*, *Canary in a Cathouse*, *Mother Night*, *Bluebeard* and others).

It might also appear that the writer educates his readers, inviting them to expand their knowledge on different issues. The author never accomplishes this straightforwardly and openly. Instead, he presents his short, laconic commentaries on multiple topics and introduces the names of famous people or remembers certain events. Being a cosmopolitan writer, Kurt Vonnegut does not limit himself to discussion of different issues within the boundaries of one country: the author analyzes such global problems as ecology, peace, human rights, human health, etc, and presents a picture of his native country within the global view of the world. However, it is apparent that Kurt Vonnegut is particularly concerned about the future development of the American nation in the view of other nations of the world. Often he does that rather spontaneously and in fragments; however, he clearly has one specific purpose: to involve his readers in a never-ending dialogue – a dialogue with the author and with themselves and their consciousness. However, Kurt Vonnegut invites the reader to analyze the essence of human life and a person's position in the world, to be aware of the fragility of the world and the preservation of our planet. This puts a meaningful accent on Vonnegut's "fictional puzzles" and invites the readers to search for the answers themselves.

The main idea of Kurt Vonnegut's novel *Timequake* is life being thrown back ten years and then being forced to relive those ten years. The line between fact and fiction is very slight, as this novel resembles a neo-realistic autobiographical collage. The title of the novel invites the reader to emerge into a time-travel, which is Kurt Vonnegut's typical invitation addressed to the public. In this way, the author challenges his readers "to question everything: their society, themselves, and the [text] they are reading" (Elliott 2006, p. 445). Vonnegut discusses a great variety of different issues, speaks openly and warmly of his family members, both living and dead, and offers his comments on different topics, expressing his deep concern with the future of mankind and human relationship. In *Timequake* Kurt Vonnegut manipulates time and transfers the action from February 13th, 2001 to February 17th, 1991. Due to this, all the characters are compelled to relive the same events they

experienced during the decade without free will. An exception is made only to Kilgore Trout, the author's *alter ego*, who is aware of what is happening, accepts the situation and notices when free will sets in, while other characters lose their vigilance because of the repeated failures and mistakes experienced amid the rerun period. In this way, the writer develops his personal philosophy on the individual's relationship with the past and present. However, at the same time, the novel is not merely about fictional characters and invented settings. Here the author is also a character, who is constantly teaching, teasing and inviting the reader to conform to the pre-set rules of the game.

The author starts the novel with a discussion of Ernest Hemingway's "long short story" (Vonnegut 1998, xi) - "The Old Man and the Sea". The author remembers the time when the story appeared and this becomes the first sign that the novel is going to be of an autobiographical character. All of a sudden, Kurt Vonnegut returns to the present moment when he finds himself writing a novel "which did not work, which had no point, which had never wanted to be written in the first place" (Vonnegut 1998, xi-xii). Referring to Ernest Hemingway's short story, Kurt Vonnegut compares his own novel to "[his] great big fish, which stunk so, was entitled *Timequake*" (Vonnegut 1998, xii), and likens the process of writing to "a stew made from its best parts mixed with thoughts and experiences" (*ibid.*). The author admits that he has enjoyed life so far and now is producing another piece of work, i.e. *Timequake*. Gradually, the writer's intentions become clear: the author introduces the idea of a timequake and wants the readers to re-live again the last ten years of their lives after a timequake hits and the readers are taken back to a different place and moment of time ten years ago.

The readers are invited to experience a decade of self-doubt, because they have to re-live the last ten years of their lives exactly as they had done before, but without free will, experiencing the same mistakes and the same jokes:

[...] a sudden glitch in the space-time continuum, made everybody and everything do exactly what they'd done during a past decade, for good or ill, a second time. It was déjà vu that wouldn't quit for ten long years. You couldn't complain about life's being nothing but old stuff, or ask if just you were going nuts or if everybody was going nuts. (Vonnegut 1998, xii)

Thus, the author puts a challenge to the readers to re-experience the events of the past and to analyze human emotions and feelings when one is unable to change the sequence of events, because history cannot be changed or rewritten.

Kurt Vonnegut's *Timequake*, as most of his other works, contains a lot of biographical elements. Referring to postmodernist writers, Emory Elliott observes that often "the author is also a character" (Elliott 2006, p. 445). Indulging into "verbal playfulness, self-reflexivity and self-mocking," the author creates the "reality" of fiction, which in many cases coincides with the "true" reality (Elliott 2006, p. 445). Kurt Vonnegut tells jokes, narrates his family history, suggests several new amendments to the Constitution and, in all possible ways, discusses the state of the world. Although the timequake moves the action ten years backwards, sometimes the action gets back as far as 1945. The reader finds many references not only to global events but to the author's earlier novels and short stories.

It is possible to interpret *Timequake* as the author's literary last will: telling about different events of his life, describing his nearest relatives, the author keeps returning to the theme of life and death. Kurt Vonnegut points out "that a plausible mission of artists is to make people appreciate being alive at least a little bit" (Vonnegut 1998, p. 1), while "the most highly evolved Earthling creatures find being alive embarrassing or much worse" (*ibid.*). In this way, the novel is the author's testament to the readers to love and appreciate life. The theme of life and death becomes the main theme of the novel.

Different themes encountered in Kurt Vonnegut's other works, such as war-crime guilt (*Mother Night*), absurdity of modern life, lack of generosity and humanism (*Player Piano*), anti-war ideas (*Slaughterhouse-Five*), ecology and racism (*Breakfast of Champions*), the atom bomb ("Happy Birthday, Wanda June") and many others are all there in *Timequake*. The author discusses Chernobyl catastrophe, the Hiroshima and Nagasaki tragedy, the problem of the ozone layer, remembers personal experiences from World War Two, questions Darwin's theory, describes Vietnam War, engages in polemics on socialism and communism, retells some extracts from the Bible, refers to Greek mythology, and discusses questions of art and music. Amidst all this, the author tells the story of his life, speaks of his family and friends, and analyses his literary career.

It is typical of postmodern writers to reconsider history in order to determine whether the past experience possesses value and acquires additional meaning from the present time perspective. The same can be claimed about Kurt Vonnegut's approach to history. In *Timequake* the author addresses some notorious developments that took place during the Second World War, namely the use of the atomic bomb, the bombardment of the Japanese cities and the participation of American soldiers in certain military operations. Generally, Vonnegut considers any war absurd, and directs his attention to absurdity in order to reveal things that stand behind the accepted norm, view or situation and to criticize humanity for failing to arrive at a proper decision in crucial situations. However, in *Timequake* Vonnegut also employs humor and irony to reassess the past from the present, to criticize inappropriate actions and to emphasize absurdity.

Kurt Vonnegut is aware of the many limitations of man's free will, and does not deny that the limitations sometimes become so severe as to close off the possibility of free will completely. However, in *Timequake*, the author challenges the readers to consider their actions and morals in the light of the new concept of existence by means of reliving the last ten years. Only Kilgore Trout, the pathetic, ineffective and unappreciated satirist says: "I didn't need a timequake to teach me being alive was a crock of shit. I already knew that from my childhood and crucifixes and history books" (Vonnegut 1998, p. 93). This phrase could be forgiven if the reader remembers the nihilistic vision of the world and the future of mankind in some of Kurt Vonnegut's earlier works. The author might have felt uneasy about such straightforward nihilism, because to counterweight this attitude he quotes his uncle's words: "[...] when things were really going well we should be sure to notice it" (Vonnegut 1998, p. 12). The author explains this further:

[...] *he was talking about simple occasions, not great victories: maybe drinking lemonade on a hot afternoon in the shade or smelling the aroma of a nearby bakery, or fishing and not caring if we catch anything or not, or hearing somebody all alone playing a piano really well in the house next door.*
(Vonnegut 1998, p. 12)

This extract might remind the reader of Thornton Wilder's humanistic understanding and appreciation of a unique moment. Moreover, there are a few intertextual references (both direct and indirect) to Thornton Wilder's play "Our Town": for example, the author admits, "I wish I'd written *Our Town*. I wish I'd invented Rollerblades" (Vonnegut 1998, p. 42), as though comparing two major things important to different generations, and calls "Our Town" "as sweet a play as can ever be" (Vonnegut 1998, p. 130). In order to emphasize the importance of the rerun of events, Kurt Vonnegut asks a rhetorical question, quoting Wilder: "Oh, earth, you're too wonderful for anybody to realize you [...]. Do any human beings ever realize life while they live it? – every, every minute?" (Vonnegut 1998, p. 21). As though finally evaluating the drastic changes in the world, the author sadly admits the incorrigible harm of the time flow: "Old beer in new bottles. Old jokes in new people" (Vonnegut 1998, p. 148). The author searches for eternal values that do not change when everything around

has been changing: “You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is still a sigh” (Vonnegut 1998, p. 188). Finally, Kurt Vonnegut arrives at the conclusion in his long search for something that does not experience the same changes as everything else, and puts it in Kilgore Trout’s words:

Your awareness...That is a new quality in the Universe, which exists only because there are human beings. Physicists from now on, when pondering the secrets of the Cosmos, factor in not only energy and matter and time, but something very new and beautiful, which is human awareness... I have thought of a better word than awareness. Let us call it soul. (Vonnegut 1998, p. 213–214; emphasis in the original)

Vonnegut points out the fact that in the contemporary society a human being fails to find some meaning and ceases to consider life as something valuable and worth living.

Thus, the author achieves his goal because the readers start pondering the problems of reconsidering themselves and their way of life starting from the very minute of reading *Timequake*, not waiting for the big shock to happen. The author thinks that people have become insensitive to everything that goes on in the world, and to each other. That is why people need something unusual to happen to make them get rid of their robot-like passivity and to start living again. In this way, *Timequake* gives a chance to the readers to re-evaluate themselves and, probably, set new aims in life.

Conclusions

Timequake, which, as Kurt Vonnegut claimed, was his last novel, resembles memoirs intermingled with social commentaries and extracts from fiction. Kurt Vonnegut looks back on his life, marriages, family and friends, and the state of our modern world, describing the incredible stupidity and self-destructive tendencies of mankind at present. *Timequake* demonstrates the prevailing features of postmodern fiction, namely the philosophical contemplation of existential issues, the critical evaluation of contemporary realia, the revelation of absurdity, or narrative fragmentation, intertextuality and others. The novel *Timequake* might be considered a collection of humanistic ideas: the author discusses such themes as the preservation of our planet, man’s purpose in the world, psychic and physical health, or human relationships. Moreover, Kurt Vonnegut gives thought-provoking criticism of our modern world and teaches what has to be done in order to make life better.

Timequake does not follow the sequence of narration that many readers are accustomed to or expect. In fact, there is not much told about what happened during those ten years of the timequake. The reader of *Timequake* is invited to play a game with the author, the rules of the game being set, naturally, by the author himself. The recurrent theme of this novel is the writer’s clambake of 2001, a rerun in time between 2001 and 1991. After the timequake, the world wakes up from the ten years on automatic pilot. All themes become so mixed up that it is the reader who needs an automatic pilot, too, in order not to get lost among the abundant details. However, one must have in mind the changed readers of the twenty-first century, and their developed interests and expectations. Kurt Vonnegut’s way of writing is a natural thing to the present-day reader who is accustomed to the rapid flow and the abrupt change of events. The author’s last works contain many facts and episodes from his other novels, so the writer takes up the role of an educator, developing his readers’ comprehensive skills and broadening their outlook on different issues.

In *Timequake*, the writer reveals his individual treatment of life and his perception of a human being reflecting on the most important existential questions. Kurt Vonnegut reconsiders history in order to view particular past events from the present time perspective. It is also important to note that the writer’s perception of the world as being chaotic corresponds to the prevailing attitude in postmodern philosophy where the world and reality are treated as something chaotic, relative, undefined and unstable.

As is typical of postmodern writers, Kurt Vonnegut reveals absurdity and shows that it emerges from inappropriate decisions, actions or thoughts. The writer employs preposterous situations in order to confront injustices, to criticize humanity and to reassess the past. However, instead of being preoccupied solely with a pessimistic and dismal picture of certain things, Vonnegut presents absurd situations with irony and humor, which proves to be helpful in discussing serious matters.

As a representative of late postmodernism in American fiction Kurt Vonnegut adheres to the philosopher's position: like many postmodern writers, he contemplates life and tries to understand it; however, in the end, demonstrates a pessimistic evaluation of the universe. The writer notes that there is a tendency to be unsatisfied with one's existence and to see no meaning or value in life and wonders why individuals find themselves in a desperate condition. According to Vonnegut, if a person wants to escape such circumstances, he/she has to search for some firm foundation, to value life and to retain faith and hope.

However, Vonnegut does not provide a specific model of a happy and meaningful life and urges his reader to embark on the quest for his/her own model. Eventually, Vonnegut addresses such questions as the individual's security, stability, vulnerability, confidence and self-respect, many of which appear to be at the centre of attention in postmodern literature. The writer emphasizes the importance of the relationship between a separate human being and society, since it becomes one of the main factors defining the individual's effective functioning in this world. In this way, taking up the role of a philosopher, a critic, an educator, a humorist, a humanist, and exposing the negative features of humanity, Kurt Vonnegut leaves a message to the reader, challenging conventional order, confronting injustices, finding some firm foundation to rely on, seeking the meaning of life and happiness, valuing life, and retaining hope and faith.

References

- ALLEN, G., 2006. Intertextuality.. *The Literary Encyclopedia*. 24 January 2005. The Literary Dictionary Company. <<http://www.litencyc.com/php/topics.php?rec=true&UID=1229>> 30 September 2006
- BOHM, D., 1992. Postmodern Science and a Postmodern World. *The Postmodern Reader*. Ed. Charles Jencks. New York: Academy Editions London/St Martin's Press, p. 383-391.
- CONNOR, S., 1997. *Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary*. London: Blackwell Publishers,
- ELLIOTT, E., 2006. Society and the Novel in the Twentieth-century America. *In The Cambridge Companion to Modern American Culture*. Ed. Christopher Bigsby. Cambridge: Cambridge University Press, p. 430-449.
- GENETTE, G., 1992. *The Architext: An Introduction*. Transl. Jane E. Lewin. Berkeley: University of California Press.
- GENETTE, G., 1997. *Paratexts: Thresholds of Interpretation*. Transl. Jane E. Lewin. New York: Cambridge University Press.
- GREEN, J., 2005. *Late Postmodernism: American Fiction at the Millennium*. New York: Palgrave Macmillan.
- HASSAN, I., 1992. Pluralism in Postmodern Perspective. *The Postmodern Reader*. Ed. Charles Jencks. New York: Academy Editions London/St Martin's Press, p. 196-207.
- HEYLIGHEN, F. *Postmodern Fragmentation*. July 22, 1999. 30 January 2008. <<http://pespmc1.vub.ac.be/POMOFRAG.html>>
- HUTCHEON, L., 1988. *A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction*. New York: Routledge.
- KRISTEVA, J., 1986. Word, Dialogue and Novel. *In Toril Moi, ed. The Kristeva Reader*. New York: Columbia University Press.
- LYE, J., 2007. *Some Attributes of Post-Modernist Literature*. 4 December 2002. 8 February 2007. <<http://www.brocku.ca/english/courses/2F55/post-mod-attrib.html>>
- LYOTARD, J. F., 1993. Answering the Question: What is Postmodernism? *Postmodernism: A Reader*. Ed. Thomas Docherty. New York: Harvester Wheatsheaf, p. 38-46.
- LYOTARD, J. F., 1993. Note on the Meaning of 'Post'. *Postmodernism: A Reader*. Ed. Thomas Docherty. New York: Harvester Wheatsheaf, p. 47-50.
- MINIOTAITĖ, D., 2007. *Postmodern American Literature: Theory, Fiction, Drama*. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.
- PIER, J. 2006. Entretien avec Gérard Genette: La métalepse. De la figure à la fiction.

<<http://www.vox-petica.org/entretiens/genette.html>> 11 November 2006.

SLOCOMBE, W., 2003. *Postmodern Nihilism: Theory and Literature*. Aberystwyth: University of Wales., 10 February 2007. <<http://cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/267>>

VITOUX, P., 1998. The Classical Subtext in Lawrence Norfolk's Lemprière's Dictionary. *Etudes Britanniques Contemporaines* (15). Montpellier: Presses universitaires de Montpellier, p. 103-115.

VONNEGUT, K., 1998. *Timequake*. London: Vintage.

WORTON, M. and STILL, J., 1990. *Eds. Intertextuality: Theories and Practices*. Manchester: Manchester University Press.

ZURBRUGG, N., 1993. *The Parameters of Postmodernism*. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Ingrida Eglė Žindžiuvienė

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

VĒLYVĀSIS POSTMODERNIZMAS AMERIKIEČIŲ LITERATŪROJE

Summary

Straipsnyje analizuojamos vėlyvojo postmodernizmo apraiškos JAV literatūroje. Postmodernizmo sąvoka apibrėžiama vadovaujantis XXI-ojo amžiaus samprata bei gvildenant postmodernizmo formas. Vėlyvojo postmodernizmo apraiškų ieškoma įžymaus amerikiečių rašytojo Kurto Voneguto (Kurt Vonnegut) (1922 – 2007) paskutiniame romane *Timequake* (1997) (liet. „Laiko drebėjimas“). Šiame romane atsiskleidžia pagrindinės vėlyvojo postmodernizmo amerikiečių literatūroje tendencijos: neorealizmas, pesimistinis pasaulio paveikslas, fragmentiškumas, tarptekstiniai ryšiai, absurdiškumas. Humanistiniai apmąstymai, rūpestis dėl žmonijos ateities, pacifistinės mintys – tai bruožai išskiriantys Kurtą Vonegutą iš vėlyvojo postmodernizmo atstovų amerikiečių literatūroj

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: postmodernizmas, neorealizmas, fragmentiškumas, absurdiškumas, tarptekstiniai ryšiai, humanizmas.

DIDAKTIKOS TYRIMAI INVESTIGATIONS INTO DIDACTICS ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инна Бойкене, Надежда Шевелева
Шяуляйский университет
Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai, Lietuva
e-mail: gudavicius@hu.su.lt

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ

В статье рассматривается вопрос об одной из актуальных тем обучения иностранному языку – использовании страноведческого материала, а именно малой её части – фольклора. Овладение коммуникативной компетенцией на иностранном языке невозможно без привлечения культурологического компонента. Изучение страноведческого материала наряду со средствами языка не только позволяет эффективно вовлечь учащихся в процесс познания культуры другой страны, но и знакомит их с общечеловеческими ценностями, предоставляя огромные возможности для обеспечения мотивации в обучении. Слова – это не просто названия предметов или явлений, а кусочек реальности, присущий только данному народу. Одно и то же понятие может иметь разные формы выражения в разных культурах, особенно это заметно при изучении фольклорных жанров. Язык фольклора – ценнейший исторический источник, который даёт возможность не только обогатить словарь школьника новыми словами, но и создаёт условия для познания особенностей национального характера, воспитывает интерес к изучаемому языку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страноведческий материал, фольклорные жанры, контрольный эксперимент, социокультурная компетенция.

Одной из ключевых компетенций, формируемых при обучении иностранным языкам, является межкультурная компетенция, связанная с жизнью в многокультурном обществе. Страноведческий материал, изучаемый на уроках иностранного языка, создаёт условия для формирования умений воспринимать культуру другого народа с пониманием, терпимостью, с желанием понять и увидеть факты действительности глазами носителей языка. Изучение культуры другой страны наряду со средствами языка не только позволяет эффективно вовлечь учащихся в изучение и сравнение двух культур, познакомить их с общечеловеческими ценностями, но и предоставляет возможности для обеспечения познавательной мотивации в обучении. Поэтому изучение фольклорных жанров в последние годы всё более широко включается в процесс обучения русскому языку как иностранному. Понимание произведения устного народного творчества обеспечивается не только знанием культурного контекста, но и чётким представлением учёта специфических условий бытования русского фольклора в Литве (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai, 2003). Вышеназванные проблемы и будут обсуждаться в данной статье.

Учитывая, что основной сферой деятельности учащихся является учебно-познавательная, на первый план выдвигаются проблемы повышения активности именно в этой области. Оптимальным вариантом, обеспечивающим интенсивное развитие языковой личности в учебных условиях, станет такая речевая ситуация, которая будет отвечать следующим требованиям:

— познавательные задачи направлены на личность школьника, его реальные потребности в знакомстве с культурой другой страны;

— материал подбирается с учётом рациональной последовательности: от более лёгких жанров фольклора к более сложным;

— система речевых ситуаций, связанных с изучением устного народного творчества, ведёт к формированию творческого мышления, гибкости ума, любознательности.

На занятиях иностранного языка, при изучении различных жанров фольклора, учебная цель обычно отходит на второй план, уступая место коммуникативной. Работа с различным фольклорным материалом должна вестись не в виде искусственного учебного говорения, обусловленного необходимостью выполнять отвлечённые задания учителя, а в виде естественного акта, направленного на удовлетворение потребности в познании норм поведения и системы ценностей людей иной культуры, в углублении знаний об изучаемом предмете.

Методика изучения фольклорных текстов специфична, так как в них с помощью художественного слова отображена совершенно иная культурно-историческая реальность, нежели та, что известна школьникам, изучающим русский язык как иностранный.

В научно-методических трудах многих учёных (Л. Выготский, В. Дмитриева, О. Кага и др.) вопросу изучения фольклора уделяется довольно много внимания. Основная часть этой литературы посвящена дидактике обучения русскому языку как родному. В то же время научно-методической литературы, посвящённой исследованию культурологического аспекта фольклора в обучении русскому языку как иностранному, намного меньше.

Чтобы определить реальное состояние изучаемой проблемы в школьной практике, мы в октябре-ноябре 2006 года провели *контрольный опрос* по теме «Устное народное творчество» в десятых классах города Шяуляй. В опросе принимало участие 60 учащихся.

Школьникам была предложена русская народная сказка «Сивка-Бурка».

Учащиеся должны были выполнить следующие задания:

- Пересказать происходящее от имени младшего брата Ивана;
- Словесно описать Сивку-Бурку, рассказать, какие краски при этом использовали бы;
- Найти сказочные слова и выражения;
- Сочинить загадки о героях сказки.

Из всех опрошенных учащихся с заданием на определение «сказочных» слов справилось 30% учеников, не смогли справиться с заданием 70%. Творчески пересказать текст смогли лишь 20% учащихся.

Задание на сочинение загадок вызвало у десятиклассников особый интерес, но, к сожалению, его выполнило лишь 32,5 % учеников. Большинство из них не смогли выделить основные черты героев и детали изображаемых предметов.

Со словесным иллюстрированием справилось 15% учащихся, не справилось 80% учеников.

Контрольный опрос показал, что таким видом работы, как сочинение загадок, владеют 32,5% опрошенных учащихся, работой над выразительными средствами языка – 30%, творческим пересказом – 20%, словесным иллюстрированием – 15 %.

Для определения уровня и источников знания разновидностей русского фольклора (пословиц, поговорок, сказок, загадок) у учащихся десятых классов, нами была использована *анкета-опросник*.

Выбор контингента испытуемых был не случаен. Учащиеся десятого класса заканчивают основную школу обучения и по уровню их знаний можно определить влияние процесса обучения на усвоение произведений устного народного творчества. И в анкете, и в тестах были использованы лишь сказки, пословицы, поговорки, загадки, то есть те произведения, которые в основном встречаются в учебных пособиях.

При ответе на вопрос: «*Какими словами начинаются сказки?*» – основная масса испытуемых ответила: «Жили-были». Вышеназванный ответ на вопрос дали 87,5% учащихся. Подобное начало сказки присутствует во многих сказках, помещённых в учебниках русского языка. Сказки, начинающиеся со слов «В некотором царстве, в некотором государстве» и «Давным-давно», тоже знают немало учеников (соответственно 65% и 77,5%).

При ответе на вопрос: «*Какими словами заканчиваются сказки?*» большинство учащихся дали ответ: «И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» (62,5%). Можно предположить, что учащиеся знают такую концовку, так как она имеется и в родном языке „Ir aš ten buvau, alų, midų gėriau, per barzdą varvėjo burnoj neturėjau“. Среди других концовок учениками были названы следующие: «Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец» (60%), «А кто слушал – молодец» (55%), «Стали жить-поживать, да добра наживать» (17,5%), «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» (5%). Можно предположить, что источником знания таких концовок послужили экранизированные сказки и книги. Показатель неправильных ответов составляет 17,5%, а не ответивших на вопрос вообще – 12,5%.

Результаты ответов на вопрос: «*Какие пословицы вы знаете? Напишите*» показали низкий уровень знаний этого фольклорного жанра. Многие учащиеся допускали неточности, производя замену тех слов, которых не помнили. Из-за этого пословицы теряли свою яркость и выразительность. Наибольшей популярностью у учеников пользовалась пословица «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (62,5%). Некоторые пословицы, названные учениками, помещены в школьных учебниках. Среди таких были следующие: «Повторение – мать учения» (60%), «Что посеешь, то и пожнёшь» (45%), «Любишь кататься, люби и саночки возить» (42,5%), «Сделал дело, гуляй смело» (35%). Основная масса учеников назвала по одной пословице. Неправильные ответы дали 12,5% школьников.

В задании «*Закончите пословицы*» ученикам было предложено закончить восемь наиболее известных и употребляемых пословиц. Удачнее всего получились концовки у пословиц: «Тише едешь, дальше будешь» (100%), «Труд человека кормит, а лень портит» (75%), «Встречай по одежде, провожай по уму» (60%) и «Век живи, век учись» (47,5%). Тем не менее 12,5% школьников ответили неправильно. В числе предложенных пословиц только две упоминались в учебнике для десятого класса: «Встречай по одежде, провожай по уму», «Труд человека кормит, а лень портит». Среди опрошенных 47,5% учащихся правильно написали конец к одной пословице, 15% – к двум, 10% – к трём остальные 27,5% ответили неправильно. Многие респонденты сами придумали концовку пословиц, не обращая внимание на их смысл.

Для задания «*Напишите начало пословиц*» было предложено шесть наиболее известных пословиц. Лучше всего справились с пословицей «Ученье – свет, а неученье тьма» (22,5%). Может быть потому, что данная пословица имеется в учебнике для 9-ого класса. Небольшой процент учащихся вспомнил пословицу «Не спеши языком, а торопись делом» (5%). Остальные учащиеся записали неправильный ответ, или не знали ответа вообще (соответственно 87,5% и 22,5%).

Задание «*Какие знаете загадки? Напишите*» выявило следующую осведомленность учащихся в этом вопросе. Всего учениками было упомянуто 8 загадок. По тематике это загадки о явлениях природы, о животных, об овощах, деревьях, инструментах, человеке. Большинство учеников назвали по одной загадке. «Зимой белый – летом серый», «На новый год ей каждый рад, хотя колюч ее наряд» и «Две сестрички через одну горку не могут встретиться» назвали по 12,5% учеников. Среди всех упомянутых загадок основная масса – народные, несколько – литературных. Мы предполагаем, что некоторые загадки сочинили сами исследуемые, так как в сборниках загадок подобные варианты не обнаружены (например, «Зимой и летом зеленый»

(крокодил), «Снаружи зеленый, внутри коричневый, потом белый» (каштан), «В одной дыре пять дырок» (перчатка)).

Приступая к работе над темой статьи, мы исходили из того, что сочинение сказок, обучение иллюстрированию, творческому пересказу, инсценированию и экранизации при анализе произведений устного народного творчества будет способствовать развитию креативных способностей учащихся, таких как: фантазия, воображение, умение словесно оформлять собственные мысли, творческое видение предмета, умение образно воспринимать предметы и явления, воссоздавать художественные образы литературного произведения, проникать в авторское видение мира, выражать в слове свои впечатления и своё отношение к окружающему миру, познавать культуру другой страны.

Методика исследования

Общие положения разработанной нами методики заключаются в следующем. Во-первых, характер и полнота восприятия литературного произведения во многом определяется конкретно-чувственным опытом читателя и его умением воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому тексту. Во-вторых, развитие опыта творческой деятельности и опыта направленного эмоционально-чувственного отношения к действительности, включение в процесс обучения различных приёмов и способов творческой деятельности школьников помогает им полно и всесторонне воспринимать произведение устного народного творчества на основе актуализации собственных творческих способностей. В-третьих, применение нашей методики направлено на:

1. Развитие творческих умений и навыков учащихся при работе с текстом: формирование умения воссоздать художественные образы литературного произведения, развитие творческого и воссоздающего воображения учеников.
2. Развитие у учащихся способности воссоздавать образы по словесному описанию, сопоставлять при чтении реальные и образные представления и добиваться их взаимосвязи.
3. Обучение школьников чувствовать и понимать фольклорные произведения, их образный язык, выразительные средства, создающие художественный образ, развитие образного мышления учащегося.
4. Расширение и обогащение конкретно-чувственного опыта ученика в процессе восприятия им окружающего мира и формирование у него эмоционально-нравственной отзывчивости, т.е. развитие способности полноценно воспринимать произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, правильно воспринимать реалии другой культуры.
5. Обеспечение достаточно глубокого понимания произведений различных жанров устного народного творчества и активное формирование умений работать с различными видами текстов.
6. Создание собственных литературных текстов: дописывание или «досказывание» известного сюжета или его изменение при введении новых героев, необычных предметов, изменение сюжетных линий повествования.
7. Развитие интереса к литературному творчеству, творчеству литовского и русского народа, формирование чуткого отношения к культурным различиям.

Результаты исследования. Выводы.

Для оценки эффективности разработанных нами методических приёмов, используемых для развития у школьников способности воспринимать красоту окружающего мира, воображения, фантазии, умения выразить в слове свои впечатления, своё видение предметов и явлений окружающей действительности, способности выделять языковые средства для создания целостного художественного образа, был организован

обучающий эксперимент, во время которого применялись такие виды творческих работ, как сочинение загадок, творческий пересказ, экранизация, инсценирование, сочинение начала сказки, сочинение рассказа по пословице.

Эксперимент проводился в 10-х классах средних школ Клайпеды, Шяуляй. При подсчёте результатов за 100% бралось общее количество учеников, участвовавших в эксперименте. Необходимо обратить внимание на то, что экспериментальный класс был один (27 учеников), а контрольных – два (40 учеников).

В результате обучающего эксперимента ученики 10-а (экспериментального) класса средней школы «Ажуолино» г. Клайпеды достигли более высоких показателей при выполнении заданий. В экспериментальном классе при сочинении загадок задание выполнили 23 (85,2%) учащихся, а в контрольных – 16 (40%) учеников. С творческим пересказом в экспериментальных классах справилось 24 (88,8%), а в контрольных – 21 (52,5%) ученик. Инсценировать и сыграть побасенку в экспериментальном классе смогли 26 (96,2%), а в контрольных – 24 (60%) школьника. При воображаемой экранизации небылицы в экспериментальных классах справились с заданием 20 (74,1%), а в контрольных – 19 (47,5%) всех учащихся. А при воображаемой экранизации русской народной песни в контрольных – 23 (57,5%), в экспериментальных 22 (81,5%) ученика. Начало сказки смогли сочинить 25 (92,6%) учащихся экспериментального класса и всего лишь 22 (55%) ученика контрольных классов. По предложенной пословице рассказ сочинили 24 (88,8%) человека из экспериментального класса и 30 (75%) учащихся контрольных классов.

Следует отметить, что при констатирующем эксперименте уровень успеваемости учеников 10а и 10б классов средней школы «Ромувос» г. Шяуляй был выше уровня успеваемости экспериментальных классов средней школы «Ажуолино» г. Клайпеды. После применения разработанной нами методики уровень успеваемости учащихся экспериментального класса значительно повысился, что позволяет судить об эффективности предложенных нами методических рекомендаций.

Анализ результатов показал, что хорошо продуманная методика обучения школьников различным видам творческих работ при анализе произведений русского народного творчества с целью развития их креативных способностей приводит к более высоким результатам уроков, на которых она будет применена, более высокому уровню знаний, умений и навыков учащихся.

Эксперимент показал, что такие виды работ, как сочинение, иллюстрирование, творческий пересказ, инсценирование, экранизация вполне доступны ученикам 10-х классов, а их применение ведёт к развитию различных креативных способностей. Большой объём и последовательность изложения материала, богатство словарного запаса, а также образное мышление и творческие способности – всё это говорит о том, что ученики способны не просто высказывать свои мысли, впечатления о прочитанном, но и выражать их более образно, выразительно, полно, понимать особенности произведения устного народного творчества.

Сводная таблица результатов обучающего эксперимента

№ п/п	Виды работ	Количество учеников, справившихся с заданием		%	
		Эксперимен- тальный класс	Контро- льные классы	Эксперимен- тальный класс	Контрольные классы
1.	Сочинение загадок	23	16	85,2%	40%
2.	Творческий пересказ побасенки	24	21	88,8%	52,5%
3.	Инсценирование побасенки	26	24	96,2%	60%
4.	Воображаемая экранизация	20	19	74,1%	47,5%

	небылицы				
5.	Воображаемая экранизация русской народной песни	22	23	81,5%	57,5%
6.	Сочинение начала сказки	25	22	92,6%	55%
7.	Сочинение рассказа по пословице	24	30	88,8%	75%

Итак, анализ результатов исследования положения школьной практики и обучающего эксперимента показал невысокий уровень знания учащимися сказок, пословиц, поговорок и загадок. Все ученики во время эксперимента отметили, что любят читать разные по содержанию и тематике книги. Однако, судя по результатам анкетирования, в данном случае книга не является ведущим источником знания учениками произведений устного народного творчества. Видимо, учителям русского языка необходимо обратить внимание на дополнительную и более разнообразную работу с произведениями устного народного творчества, так как за этими произведениями стоит национальная коммуникативная культура и культурные стереотипы русского народа. Отсюда вытекает острая необходимость работать над формированием у учащихся социокультурной компетенции и соответствующей коммуникативно-речевой компетенции при анализе произведений русского фольклора. Это, думаем, поможет: а) лучше познать русские народные обычаи и культуру; б) быть терпимым к другой культуре; в) уважать и интересоваться ею как источником знаний культурных стереотипов и ситуаций для адаптации к другому обществу; г) усвоить нормы речевого этикета и т.д.

Литература

- АКИШИНА, А. А.; КАГА, О. Е., 2005. *Учимся учить*. Для преподавателя русского языка как иностранного. Москва.
- БРАЗАУСКЕНЕ, Е., ВОЛОШИНА, И., 2001. *Русский язык (5)*. Каунас.
- ВАСИЛЕНКО, Е. И.; ДОБРОВОЛЬСКАЯ, В. В., 2003. *Методические задачи по русскому языку как иностранному*. Москва.
- ВЫГОТСКИЙ, Л. С., 1999. *Воображение и творчество в детском возрасте*. Москва.
- ДМИТРИЕВА, В. Г., 005. *Развитие творческих способностей*. Москва.
- КОМАРОВА, Т. С., 2003. *Детское художественное творчество. Методические рекомендации по развитию художественно-творческих способностей детей*. Москва.
- НИЩЕВА, Н. В., 2000. *Развивающие сказки. Цикл занятий по коррекции лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя речи, а также развитию связной речи у учащихся*. Санкт-Петербург.
- Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai*. Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. 2003, Vilnius.

Ina Boikienė, Nadežda Ševeliova
Šiauliai University, Lithuania

ON THE ISSUE OF USING OF MATERIAL ON COUNTRY STUDIES IN TEACHING A FOREIGN (RUSSIAN) LANGUAGE

Summary

The presented article deals with the issue of one of the most relevant issue of teaching a foreign language – using of material on country studies, in particular, folklore. Mastery of the communicative competency of a foreign language is impossible without involvement of the cultural component. Learning of material on country studies, besides linguistic means, allows not only effective involvement of learners into the process of acquaintance with culture of another country, but also presenting them common human values while providing opportunities for gaining motivation for learning. Words are not only names for items or phenomena; they are a piece of reality attributed to a certain nation. The same notion can obtain different forms of expression in different cultures; especially it is obvious in learning folklore genres. The language of folklore is the most precious source of history; it provides opportunities not only for enrichment of pupil's vocabulary by new words, but also provides conditions for perception of peculiarities of the national character, promotes interest in the language being learnt.

KEY WORDS: material on country studies, folklore genres, control experiment, socio-cultural competency.

Зоя Лукашья

Барановичский государственный университет

ул. Войкова 21, 225404 Барановичи, Брестская область, Беларусь

e-mail: barsu@brest.by; zyluk@mail.ru

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ТЕЗАУРУСА В РЕЖИМЕ СОВМЕСТНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрыты возможности использования тезауруса как средства развития когнитивных способностей студентов в процессе их профессиональной подготовки. Исследования автора убеждают, что компонент дидактического комплекса «тезаурус» наиболее полно реализует свои функции в режиме совместно-распределенной деятельности участников учебного процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *тезаурус, когнитивные способности студентов, совместно-распределенная деятельность участников учебного процесса.*

Проблема понимания информации является междисциплинарной. Интерес к тезаурусу – это еще одно проявление объективных связей между дидактикой и логикой. Дидактика не может обойтись без изучения логических (рациональных.) основ познания в процессе обучения. Оперирование предметными и тематическими тезаурусами помогает обучающимся перестать быть «вместилищем» абсолютно безразличных для них сведений. Сам процесс составления тезаурусов является продуктивно-творческим, так как раскрывает умения обучающихся творчески мыслить. Вопрос оперирования понятиями в форме тезауруса в процессе преподавания профессиональных дисциплин в настоящее время изучен недостаточно.

Проблема понимания, доступности учебного материала непосредственно связана с проблемой коммуникации (Сохор 1974, с. 172). Работа с тезаурусом является средством коммуникации теории и практики.

Обучение – это информационное взаимодействие. Общей функциональной единицей всех форм информационного взаимодействия является сообщение-передача информации в том или ином коде с целью вызвать у ее получателя определенный отклик. Информацию как таковую от текстовой информации отличает ее принадлежность конкретному автору или коллективу авторов. С целью адекватного понимания авторской информации необходимо распознать язык, на котором передается сообщение, авторскую мотивацию. Авторский текст анализируется, а затем в сознании понимающего синтезируется целостный смысл сообщения через использование актуализированных текстом языковых знаков и тех грамматических, структурно-логических средств их связи, которые были задействованы в тексте его создателем.

Постоянно общаясь в учебном процессе, студент осмысливает и репродуцирует (не только для себя, но и для других) как себя (так или иначе интерпретируемое), так и свое знание (представление) об отношениях предметов и явлений. Добываемые данные перерабатываются на разных уровнях личностного сознания, превращаясь в глубинные и поверхностные мыслительные структуры. Стимулируемые ситуациями, возникающими в учебном процессе, личности как носители сознания, а значит, и мыслительных структур (впечатлений, знаний и связывающих их отношений – идей) стремятся эксплицировать их, сделать достоянием других, видя в этом основу для самовыражения и самоутверждения; для достижения определенных целей. Следствием такого стремления становится актуализация названных мыслительных структур в информационном общении, в рамках которого они приобретают иную ценность, становясь достоянием других.

Учебное общение выступает как сменяемые друг друга учебно-педагогические ситуации, в содержание которых входят акты порождения и интерпретации сообщения.

Учебно-педагогическая ситуация – это открытая система, совокупность условий и обстоятельств, в которые активным образом включены педагог и обучающийся как субъекты учебной деятельности.

В известном смысле ситуация выступает как «субъективная, личностно и деятельно опосредованная концептуализация объективных взаимодействий человека со средой его жизнедеятельности», как «способ организации субъектом явлений внешнего мира» (Якунин 1988, с.15-17). В особенностях понимания объективного смысла ситуации проявляют себя индивидуальные качества субъекта, который своими последующими действиями и поведением изменяет ситуацию и свое место в ней, и, таким образом, является фактором дальнейшего развития ситуации.

Порождение информации, отвечающей целям учебно-педагогической деятельности, как и ее адекватная интерпретация, в немалой степени обусловлены типом организации языкового сознания участников коммуникации, их перцептивной готовностью, т. е. подготовленностью к адекватному восприятию и интерпретации сообщений, где понятия выступают совершаемыми над ними мотивированными и целенаправленными операциями.

Информация в учебном процессе не циркулирует сама по себе, абстрактно от ее носителей – педагогов, студентов. Речь идет об образовании знаний и смысла в сознании общающихся, их индивидуальных и социальных контекстах возникновения и воспроизведения смысла.

Порождение и интерпретация сообщения, текста, учебного материала могут быть рассмотрены как звенья единого континуума деятельностей на «полюсе субъекта» – в плане перехода от трансформируемого психическим образом субъектного продукта в продукт объективный (новый текст, порой с другой концепцией). Постоянное воспроизведение значений связано с «процессами, совершающимися в головах конкретных индивидов», составляющими «внутренний механизм» их передачи от поколения к поколению и условие их «обогащения посредством индивидуальных вкладов» (Леонтьев 1975, с.136).

Возникновение вторичной информативности текста («побочная» информация) – закономерно. Вторичная информативность текста вне первичной, т.е. извлечение существенной информации не сверх, а вместо главного может быть в контексте изучаемой проблемы, непониманием логических выражений, синтаксических конструкций, логических структур и т. д. Данное явление нередко присутствует у студентов в учебно-исследовательской работе. Изучая определенную проблему, по исходному условию они отвлекаются от конкретных коммуникативно-познавательных целей авторов отдельных текстов, за исключением тех случаев, когда эти цели оказываются в русле гипотезы проводимого эксперимента. Организация сообщения с адекватной интерпретацией обучающимися коммуникативного намерения автора делает его информативным и эффективным.

Эффективность текстового сообщения зависит от выбранных языковых средств общения. Те лингвистические средства, которые способствуют адекватной интерпретации текста, принято считать прагматически релевантными. Особое значение для адекватного понимания и интерпретации сообщений и текстов (письменных или устных) имеет общность кода, языка и системы знаний, которыми пользуются участники педагогического процесса.

Готовность к адекватному истолкованию текстов и сообщений определяется тезаурусом, представляющим собой общую систему значений, которой придерживаются педагоги и обучающиеся. В связи с этим тезаурус общающихся всегда содержит общие и специфические элементы. Преобладание в тезаурусе специфических для данной учебной группы или отдельного обучающегося значений может привести к искажению смысла передаваемого сообщения или полному непониманию устного или письменного текста. В то же время это является исходной педагогической ситуацией для формирования

определенных знаний. Данные положения учтены нами при создании дидактического комплекса учебной дисциплины «Методика трудового обучения» и, в частности, при разработке компонента «тезаурус».

Рассматривая управление познавательной деятельностью обучающихся как коммуникативный процесс сообщений, нужно отметить, что он является непрерывными актами порождения и интерпретации научных и учебных текстов и обмена этими текстами между участниками педагогического процесса. При анализе текста главным является не столько то, что и как говорится, сколько, зачем и почему говорится в той или иной форме. Текст не сводим к средствам и способам его исполнения. В тексте реализуется коммуникативное намерение, замысел, цели общения. В связи с этим разрабатываются способы его формирования и выражения.

Развитие способности выделять коммуникативное намерение (цель) автора подразумевает формирование специальной мотивации профессиональной деятельности. Происходит формирование новых мотивов деятельности с опорой на имеющиеся мотивы, что, в свою очередь, позволит рефлексировать авторскую мотивацию текстового сообщения.

Ю. Н. Кулюткин указывает, что рефлексивные процессы, т.е. процессы взаимного отображения в системе «педагог – обучающийся», являются необходимым условием для организации взаимодействия, коммуникации и взаимопонимания между участниками учебного процесса (Кулюткин 1990, с.11–13). Рефлексивные процессы в информационном взаимодействии не только отображают, но и активно влияют на осознание деятельности, тем самым развивая ее. Практические наработки в данном направлении позволяют нам утверждать, что наиболее продуктивно реализуются рефлексивные процессы информационного взаимодействия в режиме совместного распределения деятельности участниками учебного процесса (в т.ч. педагога, на паритетных началах).

Совместно-распределенная деятельность (СРД) участников учебного процесса предполагает особый тип взаимоотношений и взаимодействий между ними, при котором индивидуализация обучения как условие выявления и учета личных дарований и способностей каждого соединяется с реализацией групповых форм обучения. Она гарантирует создание такой учебной атмосферы, в которой преподаватель своими действиями побуждает студентов к ответным осознанным действиям, помогающим последним вырастить, оформить, окультивировать потребности, нормы, способности; подготовиться к деятельности наиболее оптимальным, эффективным путем, т. е. профессионально.

Активизация учебно-познавательной деятельности, поднятая на уровень творческих процессов, более всего выражает преобразующий характер деятельности. Ее творческая сущность всегда связана с привнесением нового, с изменением стереотипа действий, условий деятельности. Удовлетворение учебной деятельностью ее участников благоприятно влияет и на мотивы, и на способы учения, и на расположенность обучающихся к общению с преподавателем и между собой, на создание благополучных отношений в деятельности, содействует преобразующему характеру учебно-познавательной деятельности и в объективно- и в субъективно-личностном плане.

Деятельность каждого студента в режиме ее совместного распределения связана с деятельностью других студентов. Таким образом, осуществляется обмен опытом деятельности, ее видами, способами, благодаря чему происходит значительное обогащение деятельности каждого. Сравнение своих способов деятельности со способами деятельности других заставляет студента пристальней всматриваться в свои возможности. Преобразование научной информации в учебный предмет предполагает переход или перевод ее в систему значений (тезаурус), общую для преподавателей и студентов.

Тезаурус представляет собой словарь дескрипторов, базовых, ключевых понятий по предмету, разделу, теме и, следовательно, является носителем наиболее значимой для обучающихся информации. Дескриптор по своей сути полностью отбрасывает такие

явления как многозначность и синонимия. Преподавателю всегда следует учитывать исходный тезаурус студентов как меру их готовности к правильному восприятию и пониманию научных и учебных текстов.

В педагогике рассматривается вопрос о тезаурусе как понятийном аппарате обучающегося. При этом четко разграничивается «тезаурус личности» и «учебный тезаурус». Процесс отбора и структурирования учебного материала рассматривается как процесс построения учебного тезауруса. Работа с понятиями, на наш взгляд, является одним из этапов создания предметных и тематических тезаурусов. Составление тезаурусов по предметно-тематическим указателям, поиск материала по уже имеющемуся информационному тезаурусу, разрешение проблемных когнитивных ситуаций с помощью тезаурусов способствует превращению студента из пассивного созерцательного поглотителя научной информации, в преобразователя изучаемого материала. Для него главным является не сумма усвоенных истин, а развитие творческого интеллекта, гибкого мышления (Пидкасистый 1993, с. 270).

Мы разделяем мнение А. А. Мирошниченко о том, что рассмотрение процесса отбора и структурирования учебного материала как процесса построения учебного тезауруса является перспективным. Учебный тезаурус способен решить задачи оптимального структурирования, планирования учебного материала, а также обоснования оценки знаний и умений учащихся. Тезаурус относится рядом авторов к числу систем, способных быстро видоизменяться, что позволит его легко адаптировать к изменениям внешней среды. Перспективность построения тезауруса – «ориентация на человеческий фактор» (Мирошниченко 1994, с. 140).

Сам процесс составления модели учебного тезауруса, включающий в себя как анализ соответствующего отрезка учебного материала, вычленение не лежащих на поверхности связей между его элементами (дескрипторами), так и синтезирование его элементов в единое целое, оказывается весьма полезным для понимания деятельности студентов в процессе обучения.

Культура специалиста является интеллектуальным показателем творческого начала его поведения и деятельности. Тезаурус личности характеризует ее познавательную емкость, интеллектуальный потенциал (Крылова 1990, с. 16).

А. М. Сохор, говоря о логической структуре учебного материала, характеризует условия развития личностного тезауруса. Простое (но доброкачественное, сознательное) усвоение знаний полагает считать приращением пассивной части тезауруса. Умственное развитие одновременным приращением его активной части. Формальное запоминание сведений к приращению не ведет. Полноту тезауруса (т.е. полный запас сведений) определить практически достаточно сложно. (Сохор 1974, с. 147).

В развитии тезауруса личности существенная роль, на наш взгляд, отводится процессу построения учебного тезауруса, главной задачей которого и является дополнение понятийно-психологического тезауруса личности. Чем активнее и осознаннее включается обучающийся в процесс построения учебного тезауруса, тем быстрее идет процесс формирования, развития тезауруса личности.

Использование тезаурусов в процессе изучения методики трудового обучения приводит к тому, что у студентов развивается умение пользоваться системами символов и знаков, строить значащие формы высказывания, разделять и классифицировать их значения. Мы можем говорить об этом потому, что к знакам относятся не только схемы, чертежи, учебные карты и т.д., но и различные языковые формы, к числу этих форм принадлежат и научные понятия, которые в качестве основного звена, дескриптора, входят в тезаурус.

Знаки-понятия материализуют мысленные образы и операции, делают более продуктивным, наглядным мышление. В познавательной деятельности обучающихся знаки – понятия выступают в функции орудий, посредством которых мысленно преобразуется объект соответственно поставленной цели. Студент одновременно

воздействует на самого себя, усваивая знания и методы деятельности, развивая и тренируя свои способности.

Средства умственных действий, представленные как «мысли о мыслях», для правильного изложения и представления, как преподавателем, так и студентом, должны быть облечены в определенную форму.

Традиционно выделяют две формы представления умственных действий:

- вербализация – с помощью средств коммуникации;
- материализация – в виде абстрактных символов: графиков, таблиц, схем, диаграмм, опорных конспектов.

Форма изложения изучаемого материала в виде тезауруса, на наш взгляд, представляет одно из средств материализации. Тезаурус – это такое дидактическое средство, в котором находит свое отражение и материальное, и идеальное «начало».

Невозможно рассматривать тезаурус только как материальное или только как идеальное средство. Стимулирование интереса и внимания обучающихся, осуществление практических действий – характеризуют тезаурус как материальное средство. Трактовка его как идеального средства связана с пониманием материала, логикой рассуждения, развитием интеллекта.

Информационную модель тезауруса можно превратить в дидактическое средство, которое на разных этапах обучения может служить и средством преподавания, и средством учения. Тезаурус, характеризуя роль определенного раздела в общей структуре темы, или роль темы – в структуре предметного курса, позволяет установить удельный вес данного отрезка учебного материала относительно более широкого контекста. Структурная формула тезауруса позволяет выявить относительную доступность того или иного отрезка учебного материала. Недоступность изучения какой-то темы вызывает необходимость разнообразить стиль изложения материала.

Опираясь на составленные обучающимися тематические и предметные тезаурусы, педагог может классифицировать как ошибки обучающихся (это могут быть и ошибки логического характера, устанавливающие связи между дескрипторами.), так и типы задач по степени трудности, предлагаемые им при оперировании тезаурусом.

На основе моделирования учебного материала в виде тезауруса можно исследовать не только ту информацию, которую обучающиеся должны получить в ходе изучения темы, раздела, предмета и т.д., но и ту, которую они фактически уже получили. Открывается возможность использования учебного тезауруса как формы компактного отражения знаний по предмету. Нам и он используется в качестве метода контроля глубины и спектра знаний технологической направленности в контексте предполагаемой профессиональной деятельности будущего учителя труда и технологии.

Процесс составления модели учебного тезауруса включает в себя анализ соответствующего отрезка учебного материала, вычленение не лежащих на поверхности связей между его элементами (дескрипторами), синтезирование его элементов в единое целое. Работа с тезаурусом является средством коммуникации теории и практики. Работа над учебным материалом по составлению тезауруса в процессе обучения – это целая цепь переформулирований, выражающих выявление нового содержания, изменение понятийных характеристик. Данное обстоятельство в полной мере используется нами в процессе преподавания учебной дисциплины при разработке уровневых проблемных заданий. Работа с тезаурусом открывает новые возможности преподавателю для конструирования нетрадиционных средств обучения.

Владение понятиями подразумевает целый ряд операций: узнавание и определение понятий, раскрытие объема понятий, раскрытие содержания понятий, установление логических связей между понятиями, характеристика действий, вытекающих из содержания понятия. Работа по составлению предметного и тематического тезауруса предполагает выполнение всех этих операций. Выбор дескриптора для тезауруса невозможно осуществить без определения понятия; определение объема и содержания

понятия позволяют выделить выше и ниже стоящие термины, что соответствует структурным компонентам тезауруса.

Создавая тезаурус по определенной теме, предмету, студенты выделяют самостоятельно логическое основание, которое позволит определить, какая существует между дескрипторами связь: иерархическая или ассоциативная.

В процессе работы с тезаурусом студенты получают необходимые сведения по основам наук, которые представлены в определенной системе. Самостоятельно составленный студентом тезаурус – результат осознанного определения объема своих знаний, логически грамотного структурирования учебного материала, факт проявления степени сформированности умений оперировать своими знаниями в учебных и практических ситуациях.

Работа с тезаурусом позволяет формировать «абстрактное» знание, развивает умение оперировать понятиями, имеющимися знаниями, правильно использовать их в решении жизненных задач. В процессе работы с тезаурусом происходит развитие личности студента, в первую очередь, развитие мышления, таких интеллектуальных умений, как умение анализировать, сравнивать, классифицировать, умение переносить знания в различные ситуации, умение выделить цель и способ своей деятельности, оценить результаты своей деятельности.

При работе студентов с готовыми тезаурусами у них пробуждаются мотивы поисковой деятельности. При самостоятельной работе по составлению тезауруса – мотивы поиска дескрипторов, логических связей между ними. Усложнение структуры учебного тезауруса ведет к изменениям в тезаурусе личности. Чем активнее и осознаннее включается обучающийся в процесс построения учебного тезауруса, тем быстрее идет процесс формирования, развития тезауруса личности.

К перечисленным выше возможностям работы с тезаурусом можно также еще добавить активизирующую функцию тезауруса в процессе познания и возможность использования компьютера для отработки некоторых операций с тезаурусом.

Учитывая содержательный момент взаимодействия, мы рассматриваем его как организацию совместно-распределенной деятельности. Конкретной формой включения взаимодействия в контекст деятельности является рассмотрение его как формы организации последней. Конкретное содержание форм организации совместной деятельности определяется соотношением индивидуальных «вкладов» участников в общий процесс групповой деятельности. Своеобразная характеристика их действий вытекает из содержания понятий, включенных ими в разработанный тезаурус по теме или проблеме.

Литература

- КРЫЛОВА, Н. Б., 1990. Формирование культуры будущего специалиста. *Методическое пособие*, Москва: Высшая школа.
- КУЛЮТКИН, Ю. Н., (ред.), 1990. Мышление учителя. *Личностные механизмы и понятийный аппарат*. Москва: Педагогика.
- ЛЕОНТЬЕВ, А. Н., 1975. *Деятельность. Сознание. Личность*. Москва: Политиздат.
- МИРОШНИЧЕНКО, А. А., 1994. Информационно-семантическое структурирование учебного материала. *Дис. ...канд. пед наук: 13.00.01*. Ижевск.
- ПИДКАСИСТЫЙ, П. И., (ред.), 1993. *Организация самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения*. Киев.
- СОХОП, А. Н., 1974. *Логические структуры учебного материала*. Москва: Педагогика.
- ЯКУНИН, В. А., 1988. *Обучение как процесс управления*. Ленинград: издательство ЛГУ.

Zoya Lukashenia

Baranovich University, Belarus

**THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COGNITIVE ABILITIES BY MEANS OF THESAURUS
IN THE PROCESS OF COMMON-DISTRIBUTED ACTIVITY**

Summary

In this article possibilities of use of the thesaurus as development means students' cognitive abilities of students in the course of their vocational training are opened. Research conducted the author proves that the component of a didactic complex "thesaurus" most fully realizes the functions in a mode of the in common-distributed activity of participants of educational process.

KEY WORDS: Thesaurus, cognitive abilities of students, common-distributed activity of educational process participants.

Юрий Машошин, Сигита Силарая

Академия полиции Латвии

Burtnieku iela 36a-50, Rīga, Latvija

e-mail: jurima@inbox.lv

ОТРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Для формирования профессионализма юриста важны не только жизненный и трудовой опыт, но и начальный этап становления – учеба. Именно поэтому необходимы любые обоснованные предложения, направленные на оптимизацию учебного процесса и повышение его результативности. Одним из наиболее сложных и важных вопросов педагогической психологии и практической педагогической деятельности является обеспечение активности учебного внимания слушателей. Вместе с тем, умение концентрировать внимание, длительно поддерживать его достаточный уровень, при необходимости быстро переключать и использовать все возможные виды и функции внимания является одним из обязательных признаков достигнутого уровня профессиональной зрелости юриста. Автор на основе 30-ти летнего опыта преподавания юридических дисциплин рассматривает методы развития профессионального внимания будущих юристов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподавание, юридические науки, свойства личности, функции внимания, формы внимания, интерактивность, проблемность.

Современное общество требует от выпускников высших учебных заведений не просто способностей к быстрому реагированию на изменения в условиях обстановки (в жизни, в производстве, в науке), а наличия определенных, достаточно сформировавшихся навыков такого реагирования. Профессионализм юриста складывается, как известно, из производственного и жизненного опыта, но крайне значим и начальный этап становления, каковым является учеба в вузе. Поэтому так важны любые мероприятия по повышению оптимальности учебного процесса, в том числе, и за счет улучшения внимания студентов. Оновная цель – показать возможные формы и методы совершенствования внимания учащихся при преподавании юридических дисциплин. Эти формы и методы при творческом подходе могут быть задействованы при изучении и иных учебных курсов.

Общие положения

По мнению авторов традиционные формы и методы обучения слабо сочетаются с требованиями, стоящими перед высшей школой – вооружение выпускников желанием и навыками креативного мышления, умением владеть различными видами и функциями внимания, стремлением постоянно пополнять и обновлять свои знания. Наиболее часто используемая объяснительно-иллюстративная форма обучения с этим требованием окружающей действительности уже не справляется. Недостаточно и организации учебного процесса с элементами проблемности, поскольку коэффициент полезного действия при этом также невысок из-за большой траты учебного времени на использование и развитие чисто репродуктивной формы мышления у студентов. Последняя же порождает в студенческой среде настроения иждивенчества и конформизма, что никак не способствует прогрессу в какой бы то ни было области общественной жизни. Авторами, совместно с доктором социологии В. Волковым, было проведено пилот-исследование в нескольких высших учебных заведениях Латвии с целью выяснить, как студенты гуманитарных факультетов

оценивают эффективность различных форм освоения знаний. Одним из результатов исследования являются данные, что из всех применяемых учащимися источников информации наиболее предпочитаемыми были конспекты (85%), затем – интернет (81%) и лишь затем – учебная литература (67%). Это означает имеющуюся и культивируемую склонность к рафинированным, «задиктованным» знаниям или, образно говоря, к «диетической» информации. Сказанное представлено на схемах 1 и 2.

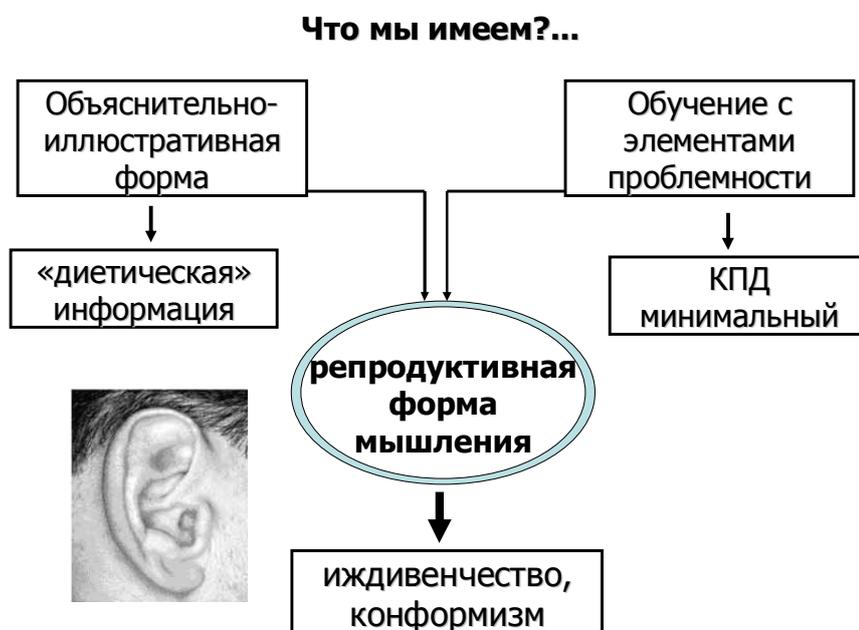


Схема 1. Современное состояние преподавания

Вопрос о необходимости ухода от тривиальных форм обучения (лекция, семинар, практическое занятие) и разработке принципиально новых методик организации учебы и преподавания, к полному переходу к активным формам учебного процесса стоит весьма и весьма остро. Безусловно, это очень не просто и с позиций педагогики, и с позиций психологии, поскольку, как правильно отмечал Милдред Коллинз, определенный стресс при подготовке к учебным занятиям, проводимым в активной форме испытывают и преподаватели и студенты (Collins Mildred 1969, с. 80). Однако, обеспечение максимального внимания учащихся на занятиях, путем замены их пассивного присутствия на активное участие в действе, это не что иное, как актуальное и настоятельное требование, продиктованное временем и обществом. Тем более, что большую часть материала, преподносимого «с умным видом» преподавателями на лекциях, студенты с не меньшей пользой для себя могут прочитать самостоятельно, вне аудитории, правильно используя рекомендованные и найденные самостоятельно различные источники информации. Достаточно часто выдаваемый на лекциях материал страдает недостатком аналитики в угоду информативности. Если же преподавателю очень хочется донести именно свою точку зрения, свое видение преподаваемого предмета, то это можно сделать через подготовленные им заранее для самостоятельной работы студентов учебные пособия.

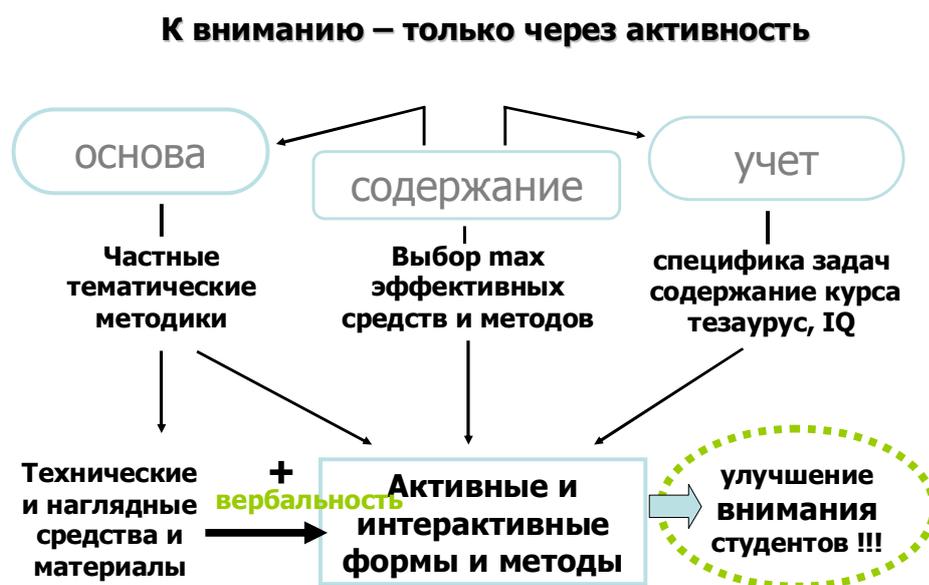


Схема 2. Рабочий этап осуществления преподавания

Место внимания в учебной деятельности

Проблема внимания традиционно считается одной из самых важных и сложных в общей психологии. Из исторических определений понятия «внимание» наиболее известно определение, автором которого является Уильям Джеймс: "Каждый знает, что такое внимание. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто из того, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими, и является условием, располагающим реальной противоположностью в том спутанном, сумеречном и расплывленном сознании, которое по-французски называют *distraction*, а по-немецки – *Zerstreutheit* (James 1890)¹. В наши дни внимание определяется, в частности, как «сосредоточенность и направленность активности человека на что-либо, имеющее то или иное значение для него». (Петровский, Ярошевский 2001, с. 228). В наши задачи не входит обсуждение дискуссии о полноте и точности психологических дефиниций, которых достаточно много, но следует отметить, что проблемы, связанные с вниманием, не менее важны и в прикладной, педагогической психологии, а также в практической педагогической деятельности.

На обучаемость слушателей непосредственно влияют способность и степень саморегуляции ими устойчивости и распределения своего внимания. Но этот навык оказывается не всегда развитым у слушателей к моменту поступления их в высшую школу. Можно сказать, что он не является необходимо-обязательным звеном их тезауруса (обученность). Этот факт легко объясняется тем, что в педагогической литературе, посвященной высшему образованию, «вниманию уделяется крайне мало внимания». Можно ли признать удовлетворительным, что, к примеру, в современном (действующем) учебнике

¹ <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

для вузов «Психология и педагогика» при изложении более чем на 50 страницах сути и особенностей познавательных психических процессов (восприятия, мышления, памяти) феномен внимания полностью игнорируется. Авторы книги, очевидно, посчитали, что такой фразы как «Восприятие в то же время всегда в большей или меньшей степени *связано* также с мышлением, памятью, вниманием, *направляется* мотивацией и *имеет* определенную эмоциональную окраску» (Реан, Бордовская, Разум 2002, с. 53) вполне достаточно. Аналогичное отношение к вниманию в книгах «Педагогическая психология» (Зимняя 1997), «Педагогическая психология» (Казанская 2003) и во многих других психолого-педагогических изданиях. К сожалению приходится констатировать, что вопросы внимания в психологии и дидактики высшей школы существуют весьма независимо, «не мешая друг другу», в отличие от проблем мотивации, компетенции и многих других.

Опираясь на структуру психической организации человека, рассмотрение феномена внимания в учебной деятельности возможно как:

процесса (или стороны какого-либо психического процесса: сенсорное, интеллектуальное внимание),
состояния (например, состояние сосредоточенности)
свойства личности (внимательность).

Из функций учебного внимания в педагогике наиболее важными являются такие как:

- **отбор** значимых, релевантных, т.е. соответствующих потребностям, учебной деятельности воздействий, касающихся восприятия и осмысления объекта познания
- **торможение** несущественных, побочных воздействий, не относящихся к изучаемому объекту
- **удержание** учебной деятельности (сохранение в сознании изучаемого образа) до тех пор, пока не будет достигнута цель познания
- **регуляция и контроль** протекания учебной деятельности.

Положительные результаты учебы обеспечиваются задействованием максимально возможного количества различных видов внимания:

В зависимости от используемого анализатора это, в первую очередь, слуховое и зрительное, но, в зависимости от учебной ситуации возможны и иные, например, обонятельное или осязательное.

Внимание может быть эмоциональным и интеллектуальным. В этой связи необходимо подчеркнуть важность гендерного подхода при использовании этих видов внимания для повышения эффективности учебной деятельности.

По степени контролируемости сознанием различают произвольное, произвольное, послепроизвольное внимание, характеризуемое следующими признаками:

1) **непроизвольное** – пассивное, само собой возникающее, вызванное действием сильного, контрастного или нового, неожиданного раздражителя, например, приходом преподавателя в аудиторию в сопровождении лица в полицейской форме или демонстрацией слайдов с видами смертной казни при изучении конституционного или уголовного права;

2) **произвольное** – активное, волевое, сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. Оно требует значительных волевых (физических и умственных) усилий для поддержания и поэтому приводит к достаточно быстрому утомлению. Оно наиболее часто необходимо учащимся при традиционных формах обучения, если, например, преподаватель, не в силах отказаться от «средневекового» чтения лекций, чуть ли не задиктовывает положения статей того или иного юридического документа;

3) **послепроизвольное** – вызывается через вхождение в учебную деятельность и возникающий в связи с этим интерес к производимой работе, в результате длительное время сохраняется целенаправленность, снимается напряжение, и человек не устает, хотя

Этот выбор из множества раздражителей только некоторых носит название **избирательности** внимания. Её параметры, определяющие успешность учебного внимания, следующие:

1) количественный - скорость осуществления учащимся выбора познаваемого объекта из множества других. В юриспруденции это может быть выбор статьи Уголовного Закона, соответствующей данному юридическому событию.

2) качественный – точность, т. е. степень соответствия результатов выбора исходной учебной задаче, например определение состава квалифицирующих признаков, соответствующих тяжести совершенного деяния.

1. Устойчивость внимания – это способность учащегося не отклоняться от направленности сознания и сохранять сосредоточенность на объекте познания. Устойчивость характеризуется временем сохранения направленности и сосредоточенности психической активности без существенного отклонения от исходного уровня. Поскольку необходимыми условиями устойчивости учебного внимания являются многообразие впечатлений и разнообразие выполняемых действий, подкрепленных наличием интереса к исследуемому объекту, то становится понятна гносеологическая роль преподавателя в обеспечении успешности процесса учебного познания. Следует отметить, что проведенные рядом исследователей эксперименты указали на преимущество женщин по отношению к мужчинам по избирательности и устойчивости внимания (Бендас 2005, с.174).

2. Отвлекаемость – свойство, противоположное устойчивости, выражающееся в периодическом ослаблении внимания учащегося к конкретному объекту познавательной деятельности, что объясняется непрерывной сменой процессов физиологического возбуждения и торможения в коре головного мозга. Умелое использование отвлекаемости позволяет сохранять нужную устойчивость внимания в течение длительного времени. Если к тому же преподавателю удастся это сделать, не выходя за рамки учебного предмета (но с учетом обязательного использования межпредметных связей), то это несомненный показатель его педагогического мастерства.

3. Концентрация учебного внимания – способность слушателей сохранять сосредоточенность на изучаемом объекте при наличии посторонних внутренних и внешних раздражителей. Оценку концентрации внимания производят по степени интенсивности помех. Чем меньше круг объектов внимания, тем, как правило, выше его концентрация. Сосредоточение на объекте обеспечивает углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, вносит ясность в представления человека о том или ином предмете. Однако так происходит не всегда, т.е. данное условие является необходимым, но не достаточным.

4. Распределение учебного внимания свидетельствует о возможности учащегося направлять и сосредоточивать внимание на нескольких достаточно независимых объектах познания одновременно. Его характеристики могут быть получены в результате сопоставления длительности правильного выполнения одной изолированной задачи и выполнения этой же задачи совместно с другими (двумя или более) задачами. Навык так называемой «пучковости» является врожденным, однако повышение степени его развития у учащихся несомненно является одной из важных задач педагогической деятельности.

5. Переключение учебного внимания представляет собой перемещение его направленности и сосредоточенности с одного изучаемого объекта на другой или с одного вида познавательной деятельности на другую. Развитость способности к переключению внимания определяется по степени трудности его осуществления и количественно выражается скоростью перехода внимания слушателя от одного объекта познания к другому. Установлено, что скорость переключения внимания зависит:

1) от свойств (особенностей) изучаемого объекта. В частности, различное оформление слайдов при их одинаковой содержательной стороне заметно влияет на переключаемость внимания.

2) от характера деятельности с объектом познания учащегося и педагога. Так, при изучении тактики осмотра места происшествия, если студент смотрит на совершаемые преподавателем действия со стороны, переключаемость внимания невысока. Если же ему самому необходимо выполнить целый ряд действий по организационному и методическому обеспечению осмотра, картина совершенно иная.

3) от индивидуальных особенностей учащегося, а именно:

— свойств нервной системы. У лиц, характеризующихся подвижной нервной системой, быстрым переходом от возбуждения к торможению и обратно (холерики), переключение внимания осуществляется легче и наоборот (флегматики, меланхолики);

— социально-личностных свойств: активности жизненной позиции и заинтересованности в процессе познания, уровня и направленности их учебной мотивации, степени имеющейся компетенции и т. д.

Все рассмотренные характеристики внимания представляют функциональное единство, т. е. проявляются одномоментно и не существуют изолированно, так же как в целом внимание представляет собой динамическую сторону познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти) и проявляется лишь совместно с ними. Это предьявляет необходимость рассматривать вопросы совершенствования учебного внимания в контексте с другими сторонами учебной и преподавательской деятельности, такими как обеспечение активности слушателей, интегрированной подачи знаний, осуществление проблемности в обучении и другими.

Преподавание юридических дисциплин

При преподавании юридических наук гражданской и криминальной сферы необходимо учитывать:

— их разноплановое содержание и специфику решаемых учебных задач;

— обязательность обеспечения интегрированного подхода с опорой на общие дидактические принципы преподавания (схема 4).

Данный подход приводит к необходимости использования системы разнообразных методов и форм учебной работы, и в первую очередь таких, которые «приковывают» внимание студента, позволяют ему в процессе учебы максимально выразить свои положительные индивидуальные и личностные качества. Перед преподавателем стоит много учебно-методических задач и, главная – заинтересовать студента, направить процесс функционирования всех видов его учебного внимания в нужное русло, в обеспечение понимания изучаемого предмета и совершенствование аккумулирования приобретаемых знаний.

Дидактической особенностью вводно-обзорных лекций по юридическим дисциплинам является:

- необходимость не только ознакомить студентов со структурой, системой и содержанием предстоящих учебных курсов, но также, на основе положений юридической методологии, показать и объяснить познавательные приемы, общие, специальные и частные методы изучения специфики и взаимосвязи отдельных разделов, цели, которые планируется достичь на промежуточных этапах обучения и к концу данных курсов;

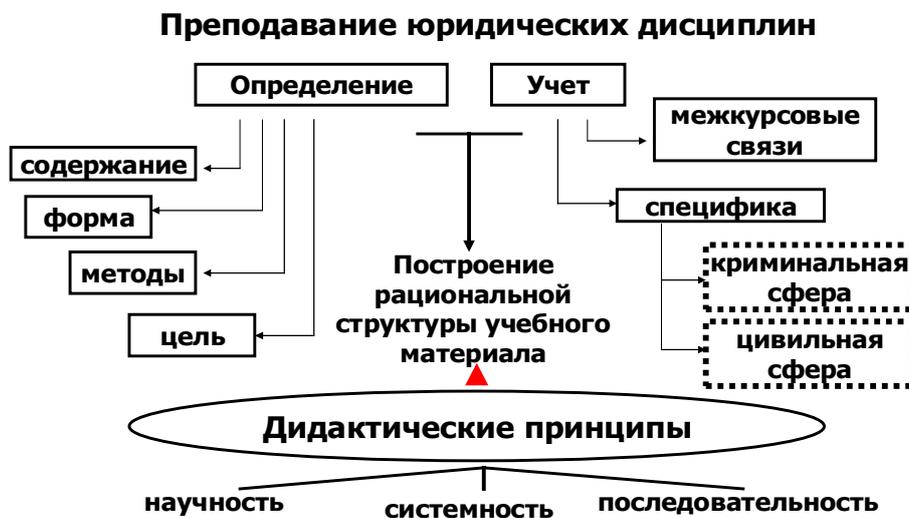


Схема 4. Содержание преподавания юридических дисциплин

- содержание предстоящих курсов обрисовывается, опираясь на оперативно-следственную и судебную практику, на юдикатуру, которые объясняются с использованием примеров различного вида: исторических, практических, теоретических, анекдотичных, на сообразительность, «антипримеров» и т.д. Тем самым задействуется и сенсорное, и интеллектуальное внимание, используется непроизвольное внимание, подпитываемое естественным и искусственно создаваемым любопытством учащихся, перерастающим в их любознательность, поддерживается на необходимом уровне, а значит тренируется, произвольное внимание, плавно переходящее в послепроизвольное;
- при объяснении методологической базы «своей» науки, преподавателю необходимо организовать дискуссию о сути используемых в ней юридических определений, взаимосвязей, терминов. Тем самым, с одной стороны, достигается концентрация учебного внимания, без чего участие в дискуссии невозможно (задействуется, как говорят психологи, нужная доминанта), а с другой - осуществляется тренировка распределения и переключения внимания слушателей из-за необходимости держать под контролем все высказывания своих коллег и сопоставлять их со своей точкой зрения по обсуждаемому вопросу;
- при указании на обязательные, по мнению преподавателя, и возможные (желательные) источники информации по предстоящему учебному курсу следует задействовать в комплексе слуховое и зрительное внимание слушателей, обратив его на важность работы по самостоятельному расширению предлагаемого перечня. Как уже отмечалось, специфика юридических дисциплин заключается в том, что требуется использовать информацию, почерпнутую как из теоретических источников, так и из материалов оперативно-следственной практики и юдикатуры;
- важным моментом при рекомендации источников информации является конкретное разъяснение методов учебно-исследовательской деятельности:

правил работы с юридической литературой, алгоритмов задействования поисковых систем интернет-сети, способов собирания эмпирических данных из различных информативных источников, методикой изучения уголовных, гражданских дел и отдельных нормативно-правовых документов. Такое изначальное пояснение позволит студентам «не сидеть над велосипедом, а изобретать мотоцикл».

Каждое учебное занятие, посвященное изучению юридических наук криминального или гражданского цикла, представляет собой модель образа действий в конкретной ситуации и, тем самым, обеспечивает возможность использования интерактивного образования. Данный вид организации учебного процесса обеспечивает повышенное устойчивое произвольное и послепроизвольное внимание учащихся. Преподаватель имеет возможность использовать в педагогических целях непосредственную связь учебных занятий с реальной жизнью, с практикой работы правоохранительных и правоприменительных органов. Практические занятия представляют собой поле для ролевых и деловых игр, для проработки ситуативных заданий. В то же время от преподавателя требуется способствовать преодолению «неинтересных», рутинных моментов, умение возбудить и использовать непроизвольное внимание за счет задействования эмоциональных факторов – максимально внести в учебный материал эмоциональную насыщенность.

Выполнение заданий отдельными микрогруппами по 2-4 человека позволяет добиваться развития у учащихся общего (группового) и индивидуального внимания, являющихся неотъемлемой частью навыков межличностного и профессионального общения будущих юристов. На занятиях используются интерактивные цепочки не только типа «преподаватель – студенты», но и «студент – студент», «студенты – студенты». Обязательность формулирования и постановки вопросов выступающим коллегам из других микрогрупп или высказывания (доказывания) своего мнения, обеспечиваемая ненавязчивым, но жестким контролем со стороны преподавателя (особенно в начале курса), приводит студентов к необходимости находиться в состоянии постоянной направленности и сосредоточенности сознания. Тем самым, без дополнительной траты времени и усилий осуществляется тренировка и оттачивание различных видов внимания: сенсорного (зрительного, слухового), интеллектуального внимания и его функций: концентрации, устойчивости, переключаемости. Постепенно такое состояние направленности сознания начинает восприниматься студентами как должное и не вызывает необходимости отвлечения внимания на его поддержание.

При преподавании юридических дисциплин требуемая проблемность обучения обеспечивается, в частности, либо необходимостью подготовки конкретного правового документа (договора, протокола, постановления), либо исследованием реального или виртуального преступного деяния (уголовного преступления, уголовного или административного проступка, гражданско-правового деликта), т. е. путем создания учебно-конфликтных и проблемных ситуаций. Их специфика состоит в том, что они характеризуются, как отмечал М. В. Салтевский, не только функциональной и содержательными сторонами, но и психологической (мотивационной), создающей у обучаемого любознательность и интерес к самостоятельному познанию нового (Салтевский 1979, с. 22). Наличие проблемы приводит студентов в состояние затруднения, преодолеваемого с помощью целенаправленной поисковой деятельности, невозможной без одновременной отработки концентрации и устойчивости произвольного внимания. Такая отработка сочетается у студентов с развитием в себе способности творческого (продуктивного) мышления, являющегося следствием применения проблемно-задачного метода, не позволяющего обходиться чисто репродуктивными навыками и «полувниманием». Приобретаемые таким образом знания и умения, в том числе и по

управлению своим вниманием, имеют прочный, креативный характер, так как опираются на необходимость применять их к конкретным и реальным уголовно-правовым или гражданско-правовым ситуациям, лежащим в основе практических заданий (Машошин, Ковалева 2005, с. 6).

Коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненного (решенного) задания, требующее постоянного переключения внимания, логично дополняет работу, проделанную студентами при домашней подготовке к занятию. С помощью такого обсуждения процесс познания дополняется практическим действием, облегчающим и оттачивающим произвольное сосредоточение внимания. Студенты экспериментируют в выражении интересов противоборствующих сторон, например, истца и ответчика, в различных конфликтных и проблемных правоотношениях. Их участие в таких комплексных видах учебной деятельности, как решение сложных юридических казусов, анализ уголовных и гражданских дел, составление нормативно-правовых документов, проведение оперативных и процессуальных действий позволяет эффективно совершенствовать произвольное внимание.

Условия, облегчающие произвольное сосредоточение внимания:

- включение в познание практического действия (например, сопровождение чтения конспектированием облегчает удержание внимания на содержании научной книги);
- оптимальное психическое состояние учащегося (устомление и эмоциональное возбуждение ослабляют сосредоточенность).

Тренировочный характер организации учебного процесса, ориентированный на приближенность к практической деятельности обеспечивает существенные преобразования характеристик внимания будущих юристов, способствует интенсивному развитию его свойств: увеличивается объем и глубина (концентрация) внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения.

Результатом рассмотренных педагогических приемов, методов и форм, при их творческом применении в учебном процессе будет в конечном итоге выработка у выпускников развитого разнопланового внимания, умение самостоятельно его организовывать, управлять им, что является одним из необходимых профессиональных качеств юриста и важным условием как успешности изучения вопросов юриспруденции, так и ее практического применения.

Литература

- COLLINS, M., 1969. *Students into Teachers. Experiences of Probationers in Schools*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- БАХИН, В.; МАШОШИН, Ю., 2004. Дидактика в криминалистике. *Raksti. XI*. Rīga: LPA.
- БЕНДАС, Г.В., 2005. *Гендерная психология*. Санкт-Петербург: Питер.
- ВОЛЧЕЦКАЯ, Т., 2000. Ситуационный подход в обучении криминалистике. *Вестник криминалистики*. Вып.1. Москва.
- ГУСИНСКИЙ, Э. Н.; ТУРЧАНИНОВА, Ю. И., 2003. *Введение в философию образования*. Москва: Логос.
- ЗИМНЯЯ, И. А., 1997. *Педагогическая психология*. Учеб. пособие. Ростов- на-Дону: Феникс.
- КАЗАНСКАЯ, В. Г., 2003. *Педагогическая психология*. Учеб. пособие. Санкт-Петербург: Питер.
- МАКЛАКОВ, А. Г., 2000. *Общая психология*. Санкт-Петербург: Питер.
- МАШОШИН Ю., 2003. Студент юридического вуза как субъект учебного процесса. *Raksti, Nr.10*, Rīga: LPA.
- MAŠOŠINS, J.; KOVAČOVA, T., 2005. *Civiltiesību vispārīgā daļa. Uzdevumu krājums*. Daugavpils: Saule.
- ПЕТРОВСКИЙ, А. В.; ЯРОШЕВСКИЙ, М. Г., 2001. *Психология*. Москва: Академия.
- РЕАН, А. А.; БОРДОВСКАЯ, Н. В.; РАЗУМ, С. И., 2002. *Психология и педагогика*. Санкт-Петербург: Питер.

САЛТЕВСКИЙ, М. В., 1979. Проблемное обучение и структура курса криминалистики. *Дидактические вопросы криминалистики*. Под ред. Н. А. Селиванова. Москва: ВИИПиРМПП, с. 21-25.

СТАТКУС, В., 2000. Некоторые проблемы подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений. *Вестник криминалистики*. Вып.1, Москва.

Jurij Mashoshin, Sigita Silaraja

Police Academy of Latvia

TECHNIQUES OF IMPROVING ATTENTION IN THE PROCESS OF TEACHING LEGAL SCIENCE

Summary

One of the most important and complex problems of pedagogical psychology traditionally is a problem of attention. The legal and criminology sciences are subject of University teaching. The beginning of formation of a professional starts at University and continues by obtaining necessary experience. This is the reason why any techniques for the increasing of optimization of the teaching process are so important. One of the aspects of teaching and learning process is connected with attention. The skill of controlling and managing your professional attention is mandatory skill for a lawyer. The main goal of the article is to find techniques of increasing attention of students in the process of studying legal sciences.

KEY WORDS: teaching, legal science, criminology, characteristics of individual, attention, interactivity.

Egidijus Mažintas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Šv. Stepono g. 3-5a, Vilnius, Lietuva

e-mail: mazint3@gmail.com

VAIKAS KALBOS ERDVĖJE: MOKSLEIVIŲ GLOBALINIO REPERTUARINIO LAVINIMO DRAMATURGIJA

Globalizacija palietė vaikų repertuarinį ugdymą, kuris susietas su balsiniu, vokalinio lavinimu. Vis daugiau moksleivių ruošiami dainuoti angliška repertuarą, nesuprasdami tos kalbos, o tai kenkia jaunų moksleivių etninio tautinio mokymo kryptims. Šiame straipsnyje analizuojami kai kurie vaikų vokalinio ugdymo ypatumai, globalizacinės anglų kalbos erdvėje. Manome, kad vokalo pedagogai turėtų išmanyti ugdytinių dvasines, fizines bei vokales galimybes bei ypatumus. Svarbų vaidmenį vaidina pedagoginė kompetencija. Nepakanka ir asmeninės atlikėjiškos pedagogo meninės patirties. „Dainavimas yra pirma mokslas, tik menas. Bet ne atvirksčiai“, – sakydavo ilgametis LMTA Dainavimo katedros vedėjas profesorius Zenonas Paulauskas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: globalizacija, angliškas repertuaras, kalbos erdvė, moksleiviai, ankstyvas vokalinis ugdymas, emociniai, psichologiniai krūviai, vaikų chorai ir konkursai, balsinio aparato pervargimas, balso pastatymas.

Problema matoma tame, kad Lietuvos švietimo sistemoje, t.y. mokyklose, choruose, neformalaus ugdymo būreliuose vaikų balsai remiantis svetimu daugiausia anglų kalba paremtu repertuaru, ugdomi neteisingai. Mokytojai nepakankamai pasirengę vaikų vokalo pedagogikoje. Vaikų choruose ir respublikiniuose vaikų dainavimo konkursuose su neteisingai parenkamu repertuaru žalojami talentingų vaikų gamtiniai bei vokaliniai sugebėjimai. Pernelyg apkraunamas trapus balsinis aparatas ne tik sunkiais repertuaro vokaliniais kūriniais, bet ir fizinais, emociniais ir psichologiniais krūviais, bei įtampa.

Svarbiausias vaidmuo vokaliniam ugdyme mokyklose tenka muzikos mokytojui, kurio patirtis ugdamas vaikų balsinius dainavimus yra prasta. Pedagogo gebėjimai atpažinti net menkiausias kiekvieno vaiko vokalinio kūrybiškumo apraiškas, jas plėtoti, – svarbus šiuolaikinės pedagogikos uždavinys (Balčytis 2003, p. 4). Nuo mokytojo gebėjimo įtraukti vaikus į choro, vokalinio ansamblio veiklą, mokytis dainuoti priklauso vaiko noras tobulėti. Nuo pedagoginio pasirengimo ir meistriskumo, gebėjimo išvelgti mokinio asmenybę, priklauso šios sudėtingos vokalinio meno pedagogikos srities aktualumas augančiam vaikui.

Organizuojant vokalinę-muzikinę kūrybinę veiklą jaunesniajame mokykliniame amžiuje ypač aktualūs pedagoginiai gebėjimai pamokose diegti tai, kas svarbiausia – suteikti vokalinės technikos pagrindus ir sutelkti vaikų dėmesį skatinant išmokyti pagrindines lietuvių liaudies dainavimo subtilybes bei kvėpavimo, dainavimo technikos bei retorikos dalykus. Balso formavimo kompetencijos dažniausiai stokoja Lietuvos pedagogai todėl, kad ne vienodas jų profesionaliai nemokyti dainuoti, nepažįsta balso aparato, nesuvokia balso formavimo subtilybių. Kaip teko konstatuoti analizuojant muzikos mokytojų pasirengimo praeitį jų rengimo programoje nebuvo profesionalaus dainavimo įgūdžių lavinimo užsiėmimų.

Dažniausia daugumos pedagogų vokalinio ugdymo kryptis, – pasiekti respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso finalą ir parsivežti vadinamojo prestižinio konkurso laureato vardą. Toks pripažinimas atveria kelią periferijos mokytojui gauti kolegų pripažinimą, arba pelnyti aukštesnes pedagogines kvalifikacijas, bet neišmokyti vaiką teisingai dainuoti solo ir chore. T. y., formuoti jų vokalą.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, apklausa.

Objektas. Šiuolaikinio pedagogo meninio kalbinio ugdymo kompetencijų kaita.

Temos aktualumas. Vaikų ikimokyklinėse įstaigose bei pradinėse klasėse grupei pedagogų, kuriems patikėtas tikrai gana sudėtingas vokalinis ugdymas, yra dažnai nepajėgūs tinkamai suformuoti mažojo dainininko balso. Pedagogams trūksta ne tik patirties, bet ir vokalinio meno pagrindų, mokslinės literatūros, skurdi asmeninė kūrybinė patirtis. Todėl tai tampa rimta pedagogine ir psichologine augančių piliečių rengimo problema. Dažnai pažeidžiamos jaunųjų ugdytinių teisės, sveikata, o, anot filosofo K.Stoškaus, ir „vaikų fasadinės kultūros formavimas“. Galima priminti žymaus lietuvių operos dainininko, trijų tarptautinių, bei kitokių konkursų laureato, Niujorko „Metropolitan“ operos solisto, vokalinės pedagogikos prof. Vaclovo Daunoro žodžius: „blogos vaikų – būsimųjų dainininkų laureatų ruošimo technologijos talentingus vaikus, potencialių konkursų laureatus paverčia talentų kapinynais“¹.

Dainavimas ansamblyje, chore vaikams yra ypatingas malonumas, padedantis išlaikyti gerą nuotaiką, duoda puikią galimybę tobulėti. Jei sekasi garbingai atstovauti mokyklą, miestą konkursuose bei renginiuose, atsiranda pasididžiavimo kūrybos rezultatais jausmas. Tačiau vokalinį ugdymą stimuliuojant svetimu repertuaru per daug, forsuojuant, atsiranda tam tikri neigiami organizmo pakitimai. Teigčiau, kad yra penki svarbiausi vokalinio ugdymo krūvio komponentai: 1. intensyvumas, 2. apimtis, 3. trukmė, 4. repetavimo dažnis, 5. kartojimas. Pedagogai žino, kad kartais suaugusiųjų ir vaikų vokalinei formai tobulinti vartojami tam tikri vaistai, kurie ne tik laikinai suaktyvina sveikatą, aktyvina gerklų skambumą, bet kartu ir stimuliuoja. Išplėtotą farmacijos pramonę ir jos gaminių reklama gundo būsimuosius dainininkus, bei jų pedagogus sirguliuojant tęsti repeticijas, įvairiais vaistais bei medikamentais nuo gerklės skausmo, persišaldymo, gerinti balso skambėjimą. Pagal obertonų skaičių vaikų balsai yra skurdesni kaip suaugusiųjų, tačiau turi sidabrinį tembrą ir lengvumą, kas suteikia jų balsams skambumą ir lakumą. Skambūs ir akustiškai malonūs balsai kokybiškai susieti su vaikų balsinio aparato anatominių-fiziologinių ypatumų skirtybėmis, kurios yra augančiame ir nuolat besikeičiančiame organizme. Vaikų gerklos yra aukštesnėje padėtyje. Jos 2-2,5 karto mažesnės nei suaugusių žmonių. Todėl vaikiškos gerklos pasižymi elastingumu ir tamprumu, paslankumu. Gerklų raumenys yra silpni. Tik po penkerių metų atsiranda specifinių vokalinių raumenų simptomai. Iki 9-10 metų visų vaikų balselių klostės nesusiglaudžia visame diapazone, dažniausiai yra dainuojama falsetu arba mikstu. Tai yra ypač kenksminga, apie tai kalba be mažų išimčių beveik visi vokalinių knygų autoriai. Tokio amžiaus vaikiški balsai turi maždaug vienodą diapazoną (apie pirmą oktavą). Jauniesiems dainininkams varžantis konkursuose, apžiūrose, labai nervinamasi. Širdies, balso stygų, ryklės ir kitų gyvybiškai svarbių organų funkcijos gali sutrikti. Taip, beje, dažnai ir nutinka.

Tačiau vokalinis ugdymas mokykloje prasideda su vaikais, kuriems dar nėra išplėtos fizinės, intelektualinės, moralinės, kūrybinės, bei dvasinės galios. kiekvienas moksleivis vokalinio ugdymo metu turėtus natūralius vokalius išpročius keičia arba įgyja naujus refleksus. refleksiniai simptomai atsispindi nervinėje sistemoje. Refleksai laike pastovūs ir standartizuojami tampa išpročiais. Vokalinių pratimų eiga tampa sistema, kurioje matyti nesubrendusio organizmo pažeidimai. Todėl tokie vaikai tampa neteisingų nervinių atakų židiniai. Apie tai rašė reflektinės teorijos tėvas prof. I. M. Sečenovas ir Nobelio premijos laureatas prof. I. P. Pavlovas.

Už malonumą dainuoti svetimą repertuarą, nesuvokiant kalbos subtilybių, nesuprantant esmės, kartais labai brangiai sumokama. Prisiminkime, kaip sovietmečiu mažamečiai vaikai „Dainų dainelės“ konkurse turėjo dainuoti vieną sovietinio kompozitoriaus kūrinį (rusų kalba) o kitą gimtąją kalba. Tada žiūrovai stebėjosi, kad vaikai nesuprasdami rusų kalbos dainuoja jiems svetimą kūrinį. Šiandiena globalizacijos įtakoje dainavimas anglų kalba lydimas valdininkišku *komentaru*: „mes einame į Europą, privalome mokėti anglų kalbą“. Kaip diegti tautinės mokyklos idealus

¹ iš pokalbių su prof. V.Daunoru. 1989 m. spalio 1 d.

šiandiena mes turime mokytis iš Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos šalių meninio ugdymo sistemų, parentų tautiniu, patriotiniu savo gimtosios kalbos, tradijų ir papročių puoselėjimu. Skatinant pedagogų rengimą, daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Europos, mokyklų, švietimo sistemų apskritai siekis atspindi naujus reikalavimus, kuriuos švietimu kelia dabarties iššūkiai. visuomenė laukia, kad mokykla imtųsi misijos parengti jaunąją kartą gyvenimui itin sparčios kaitos sąlygomis ir, padėtų asmeniui įgyti kompetenciją, kuri būtina žiniomis savo veiklą grindžiančios visuomenės nariui. Savo gerovės viltis šalys vis labiau sieja su tautiniu švietimu, kuriam keliamas uždavinys – ugdyti žmogaus nusiteikimą ir gebėjimą nuolat mokytis, tobulinti turimą kompetenciją, puoselėti socialinę bei pilietinę kultūrą, reikalingą pažinti ne tik savąją, bet ir kitas, greta gyvenančias tautų kultūras. Būtina plėtoti ir asmenybės gebėjimus, kurių reikia profesinei veiklai, vykstančiai ekonomikos ir darbo rinkos globalizacijos aplinkybėms.

Nuo to, kaip vystomi vaikų vokaliniai duomenys, priklauso kokiu darbo režimu repetuojama mutacijos periodu. Kokie mutacinio amžiaus pradžios ir trukmės nustatymo orientyrai? Vaikystės mutacijos periode turėti vokalinių užsiėmimų ypač kenksminga. Todėl labai svarbi pedagogo intuicija nustatant šį pavojingą laikotarpį.

Suaugusio žmogaus balsinių duomenų bazėje galime apčiuopti vaikystėje vykusios vokalinio ugdymo krypties vaisius-dažnai labai abejotinus. Iš „Dainų dainelės“, „Ažuoliuko“ arba „Liepaitės“ dainuojančių vaikų renkami vaikai tolesnėms profesinėms studijoms. Po mutacijos vaiko balsas įgauna kitą pobūdį, ir čia atsiliepia bet kokia net nežymi pedagogo vaikui skiepjamų vokalinių pratybų koreliacija. labai svarbu atkreipti dėmesį į vaikų tembrinius kokybės duomenis, tačiau vyraujančiu tembro kokybės kriterijumi tampa choriniai motyvaciniai sindromai, niveliuojantys balsinius duomenis ir juos unifikuojantys. Tačiau stebimas paradoksas, – vaikai iki mutacijos neturėję vokalinių ugdymo patirčių, visiškai nesimokę muzikos, turi nepalyginamai aukštesnę vokalinio lavinimo perspektyvą. Apie tai labai gerai būtų žinoti vokalinio ugdymo pedagogams.

Vaikų vokalinio ugdymo paralelės. Lietuvoje skirtingai nuo kitų šalių, yra ruošiami dainavimo ir muzikos pedagogai, kurių studijos apima keletą metų (Rinkevičius 2002, p. 302-303) Teigčiau, kad vokalo ugdymu užsiimančių pedagogų kompetencijų pažinimui, studijoms ir specializacijai per mažai Lietuvoje skiriama valandų. Buvusių socialistinių šalių bendrojo lavinimo mokykloms pedagogų rengimo programos tikslas ir turinys: balso formavimo, šio proceso teorinis pagrindimas, liaudies muzika, kompiuterinė muzika (fakultatyvinis dalykas). Dainavimo ir muzikos mokytojų rengimo programa koreguojama atsižvelgiant į mokinių poreikius ir pokyčius visuomenėje. Bet ir ten rengiant mokytojus svarbiausiomis laikomos naujos specialybės (bažnytinės muzikos, mokytojų – dirigentų rengimas), nukreiptos į bendrąją kultūros sklaidą. Anglijoje ir Velse (Didžioji Britanija) visos mokyklos, kuriose vyksta vaikų meninis ugdymas, tame tarpe ir vokalinis, nurodomos kaip maintained schools (išlaikomos mokyklos). Mokyklos, įsteigtos privačių struktūrų, apima voluntary controlled schools (savanoriškai remiamas mokyklas). Įsteigtas katalikų ir anglikonų bažnyčios labai kontroliuojamos. Siekiama, kad svetimų kultūrų elementai nebepatektų į meninio ugdymo sektorius. Šios abi kategorijos „savanoriškai“ įtrauktos į „išlaikomą“ sektorių, kuris remiamas valstybinių fondų. Šiaurės Airijoje maintained schools (dažniausiai įsteigtos katalikų bažnyčios), voluntary grammar schools (savanoriškos mokslo pradmenų mokyklos) ir grant-maintained integrated schools (subsidijuojamos integruojamojo lavinimo mokyklos) laikomos valstybinio sektoriaus dalimi ir finansuojamos departamento (šiaurės Airijoje). Pabandykite visų išvardytų tipų mokyklose diegti svetimų kalbų ir kultūrų elementus, tiesiog nors ir pabrėžiama mokyklų autonomija, bet kosmopolitiškumo apraiškų, kaip beje ir JAV mokyklose, jūs ir su žiburiu nerosite. Atitinkami administraciniai organai Europos Sąjungoje (pouvoir organisateur, schultrager, inrichtende macht ar schoolbestuur), valdomas subsidijuojamojo privataus švietimo sektoriaus mokyklas Belgijoje yra taip pat kontroliuojamos, kad dominuotų savos kultūros ir tradicijų vaikų meninis auklėjimas. Olandijoje mokyklas dažniausiai valdo privačios struktūros, susidedančios iš

jas įsteigusių asociacijų ar fondų administracinių tarybų. Už valstybinį švietimo sektorių atsakingos savivaldybės arba, tiksliau sakant, speciali vietinių savivaldybių atstovų ar asociacijų kolegija. Terminu bevoegd gezag nurodoma už mokyklos moksleivių meninį ugdymą atsakingą valdžią. Nežiūrint ar tai būtų valstybinė ar privati struktūra. Antai Prancūzijoje tik 20% žemesniojo vidurinio lavinimo pakopų mokinių lanko enseignement prive sous contrat (kontaktinio privataus švietimo) mokyklas, o pradinėje pakopoje šis skaičius siekia 15 procentų. Danijoje subsidijuojamas privačias mokyklas lanko apie 12 procentų mokinių. Ispanijoje subsidijuojamo privataus švietimo dalis sudaro maždaug 30 procentų. Jis apima vadinamuosius centros concertados, mokyklas, kurios veikia privatinės teisės tvarka ir yra remiamos valstybinių fondų. Italijoje parificate (oficialiai pripažintos) mokyklas iš dalies finansuojamas valstybinių fondų, lanko apytikriai 10 procentų mokinių. Privačios mokyklos gali sau leisti platesnius meninio ugdymo programas, nei valstybinių administracinių organų kontroliuojamos mokyklos, bet atvirkščiai, būtent privatūs sponsorai ir verslo struktūros daugiausiai nori, kad jų išlaikomų mokyklų tinklų auklėtiniai būtų susiję su gimtosios kalbos ir kultūros dominavimo strategijomis, jau nekalbant apie valstybės kontroliuojamas mokyklas. Kitose šalyse, kaip Graikijoje, Škotijoje mokinių subsidijuojamų ir lankančių privačias mokyklas yra mažiau kaip 10 procentų, tačiau nesutiksime ten kosmopolitiškų meninio vaikų auklėjimo apraiškų. Tuo galėsime įsitikinti šiais metais stebėdami nacionalinio lygio tautiniais ir etnoso elementais paruoštą grandiozinę 2008 metų Pekino vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijas. Prisiminkime 2004 metų Atėnų olimpinės vasaros žaidynes, kuriose dominavo tautinės atninės koncepcijos. Įsivaizduokime, jei europinio lygio varžybos vyktų Lietuvoje, renginio scenarijuje lietuvių kalbai vargu ar būtų skirta vietos, visi atlikėjai – dideli ir maži atliktų, šoktų ir dainuotų svetimų valstybių kūrinius, kalbomis, kurių prasmės (ypač mažesnieji atlikėjai) nesuvoktų ir nesuprastų.

Lietuvos pedagogų nuostatos vystant vaikų vokalą. Vaikų dainavimo menas reikalauja atitinkamų vokalinių techninių įgūdžių. Lietuvoje keletą publikacijų yra paskelbę R. Kašponis, B. Mačikėnienė, A. Visockienė, E. Balčytis, A. Bajarčius, A. Darafėjienė. Vokaliniai pratimai formuoja dainininko balsą, kvėpavimą, tarimą, intonaciją, vidinę klausą. Kokie uždaviniai laukia vaikų lavinamų Lietuvos mokyklose? Pirmoje klasėje siūloma dainuoti daineles, kurių melodijų garsai išsidėstę nuosekliai, vyrauja sekundų ir tercijų vingiai. Antros klasės mokiniams skirtų dainų melodijos vingresnės, jau reikia sudainuoti platesnės apimties kvartos, kvintos šuolius. natūraliai įjungti į melodiją šie intervalai ją pagyvina, padaro įdomesnę, pirmojoje klasėje dainuotos melodijos čia papildoma 3/4 ir 6/8 metro dainos. Svarbiausia vokalinio mokymo sąlyga: „Dainuokit gražiai“. Kaip tai padaryti, deja, nesakoma. Kaip „pastatyti balsą“ ir pagaliau, koku kvėpavimu dainuoti moksleiviams kompozitorių kūrinius, jei balse vietoje trijų rezonatorių daugiausia skamba vos galvinis rezonatorius. Vaikų vokalinio balso technikos įvaldymo atžvilgiu šalies pedagogikoje yra „balta dėmė“.

„Svarbi choro vokalinės kultūros sąlyga yra choro tembras“ (Dumbliauskaitė 1986, p. 64), rašo L. Dumbliauskaitė. Vaiko balso tembro struktūra, kaip ir balso aparato anatomija bei fiziologija, turi atitinkamas psichologines, bei anatomines specifines vaikų sandaros ypatumus bei prielaidas. Tam būtina medicininė (foniatinė), anatomijos, fizikos ir kitų mokslų pažinimo kūrybinė ir praktinė patirtis. Vaikų balso tembrai būna skirtingi – apvalūs, plokšti, minkšti, aštrūs, balsų spalvos – tamsios, šviesios, pilkos, vaikiško balso skambesio skonis – rūgštūs, saldūs, neskanūs, tačiau juos taisyti taip pat reikia žinių, kurių šiandien kaip ir mokslinių tyrinėjimų trūksta. Nors vaikų vokalinio garso charakteristikos gali būti apibūdinamos kaip „aštrios, aksominės, sodrios“, – tai subjektyvios charakteristikos. Tačiau jos pajungiamos vienodinti unifikuojant vaikų balso tembrus, charakteristikas tam, kad pasiekti vaikų chorinio skambesio kanoniškam stereotipiniams tembriniams variantams. Ar tai ne balso aparato prievartavimas jaunuosius ugdytinius verčiant atlikti emociškai ir muzikiniai sudėtingus klasikinius kūrinius? Meniniams

uždaviniams pasitelkiami menkai arba nepakankamai ištyrinėti ir vokališkai neįvaldyti vaikiški balsai. Viena iš svarbiausių vaikų balsų apsaugos priemonė yra minimalizuoti vaikų kolektyvuose, jų solinėse programose vokalinį užsienietiškąjį (džiazo, roko, šlagerių) repertuarą ir vystyti jį lietuvių liaudies, paprastų, nesudėtingų, emociškai taurių ir siužetiniais vingiais neapsunkintų dainų erdvėse. vaikų balso apsaugos rekomendacijos pedagogams, kuriems patikėtas vaikų vokalinis ugdymas galėtų būti sekančios:

- higienos taisyklių paisymas balsingų vaikų kasdieniniame mokymosi ir laisvalaikio dienų režimuose;
- teisingų vokalinį įgūdžių lavinimas;
- būtinas kompetentingas vokalinį priemonių ugdymo komplektas visų muzikinių užsiėmimų metu.4. ypatingas stebėjimas ir ugdymas vaikų turinčių ypatingus vokalinius-muzikinius duomenis.

Netgi iš prigimties turintiems balsus, būtina lavinti ne tik vokalą, bet ir kalbą, – pabrėždavo akademikas K. Stanislavskis „Vokalo pedagogai dažnai susiduria su nukrypusiais nuo normų balsais: silpnais, forsuotais, rėkiančiais, užslėgtais, gerkliniais, drebančiais, siūbuojančiais, uždariais, įtemptais, monotoniškais- taip juos galima apibūdinti [...] pagrindinės neteisingo dainavimo priežastys – kalbinio kvėpavimo defektai, arba gerklės vokalo raumenų įtampa. teisingai vystyti balsą galima tik po to, kai išlaisvės kalbinio kvėpavimo fonacinė raumenų veikla“ (Stanislavskis, 1956, p. 69-78).

Atlikdamas vokalinį kūrinį mokinys simboliu – gestu, judesiu, mimika, laikysena, artikuliacija ir vokalu išmoksta nusakyti savo santykį su kūriniu, jeigu jis gana nesudėtingas. išsakyti dainoje slypinčius išgyvenimus, nuostatas, perduoti nerimą, švelnumą, liūdesį, išdidumą, patriotiškumą. lavėjant vaiko žodinės komunikacijos raiškai, formuojamos, tikslinamos ir tobulinamos struktūrinės, stilistinės ar socialinės kalbos priemonių variacijos, kurias vaikai naudoja kasdieniniame bendravime. Gyvendamas vaikas mokosi bendrauti, kalbėdamas išmoksta ir dainuoti. „Jauni balsai labai greitai pavargsta, todėl rekomenduojama su pradedančiais dirbti vaikais ne daugiau kaip 10 minučių pratybas, darant po 5-10 minučių pertraukas. vokalinės ištvermė kiekvieno iš vaikų yra skirtinga. vaikas pervargsta nerviškai, nes reikia įtempti dėmesį, susikaupti, klausyti, ir vykdyti nurodymus“ (Менабени 1987, с. 86). Viršutinės natas kaip do-1 vaikai dainuoja sunkiai. vokalinio auklėjimo samprata įvairi. Dažniausiai ugdymo praktikoje ji siejama su neigiamomis emocijomis, nematomais prisiminimais, draudimais pamokymais, nemaloniais prisiminimais – draudimais pamokymais, prievarta, smurtu, moraliniu pažeminimu ir pan. auklėjimas-nepopuliarus žodis. Su prievartiniu auklėjimu dažniausiai siejamas gabių muzikai vaikų „dygliuotas“ kelias „per kančias į žvaigždes“. „Nenuostabu, kad taip suprantamas auklėjimas nepriimtinas demokratinėje visuomenėje taigi ir mokykloje, į humanizmo idealus orientuotoje pedagogikoje, nes prievartinis auklėjimas pažeidžia laisvę ir aktyvią žmogaus prigimtį. Pasakysiu daugiau toks auklėjimas grindžiamas mokymas neretai sunaikina ne vieną talentą, neleidžia suvežėti daugelio vaikų kūrybiniam sugebėjimams“ (Савкова 1968, с. 14).

„Dainavimu, galima žmogų išgydyti, bet galima jį ir suluošinti“ – sakė prof. V. Daunoras. Svarbiausia ir yra tai, kad „dainavimas, muzikos intonacijos ypatingai veikia žmogaus jausmus, taurina sielą, nuramina kylančią psichinę įtampą, suteikia jėgų, naujų minčių, džiugina“. Pedagogui vokalistui ypač svarbus kūrybiškas darbas ugdant mokinių vokalinius gebėjimus. „Šiame bare nepakankamas ir dainavimo patirtis. Šioje srityje būtini visapusiškos žinios, intuityva. Dogmatiškas amatininkiškas vokalinį įgūdžių ugdymas trukdo atsiskleisti kūrybiniam mokinių gebėjimams“, – rašo žymus dainininkas ir pedagogas G. Panofka savo knygoje „Dainavimo menas“, Iš gero vokalo pedagogo reikalaujama „ne tik pastabumo, intuityvos, kurie padėtų atsiskleisti

geriausioms mokinių vokalinėms savybėms, bet ir suvokti savo mokinių charakterių ir vystymosi kelias, kuriuo reikėtų vesti kiekvieną iš jų².

Išvados

1. Daugumai iš vaikų tenka dainuoti ansambliuose, chorinio dirigavimo klasėse anglų kalba repertuarą, iliustruojant vokalinę eilutę mokantis vokalinio kūrinio. Namų ruošos muzikiniai užsiėmimai taip pat susieti su dainavimu. Tuo būdu ankstyvoje vaikystėje vaikai globalinio anglų kalbos ugdymo erdvėje yra ypač apkrauti dideliais vokaliniais krūviais.

2. Vaikai nepajėgia suprasti jų vokaliniais aparatams kylančios grėsmės. Trapus vaiko balsas būdamas įtemptame vokalinio ugdymo režime atsiduria pavojingos psichologinės ir fiziologinės įtampos lauke. Čia reikalingos ypatingos vokalinio pedagogo geranoriškos priežiūros.

4. Šeimoje vaikai mokosi danuoti klausydami tėvų, senelių dainavimų, individualiai bendraudami su artimaisiais. Iš jų perima liaudiško dainavimo modelius, žodžių tarimą, perpranta įvairiomis intonacijomis liaudies dainose esančius išgyvenimus ir nuotakų subtilybes, kurios dirbtinai transformuojamos jau dirbant su vokalo pedagogais.

5. Mokyklose pakankamo vokalinio lygio siekiama lavinant pagal programas, mokyklinius vadovėlius, pasitelkiant muzikos mokytojus, kad supažindinti ugdytinius su vokalinio mokslo savybėmis ir meno pagrindais.

6. Gerai išlavėjusi gimtoji lietuvių kalba, kaip ir vokalinio kūrinio studijavimas skatina intelektualinę, socialinę ir emocinę vaiko raidą. Ji ugdytiniams leidžia perimti kultūrinės vertybes, tautos pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį, jeigu dainuojama ir studijuojama lietuvių liaudies daina. Gerai išmokta gimtoji kalba ir dainavimas lengviau padeda mokytis kitų kalbų.

7. Vokaliųjų sugebėjimų ugdymas ne tik padeda atkurti senąją lietuvių kultūrą, bet ir įtraukia jaunimą, vaikus į šiuolaikinį tautinį procesą ir toliau jį plėtoja.

Literatūra

BALČYTIS, E., 2003. Muzika 10 klasei. Kaunas, p. 4.

RINKEVIČIUS, Z., 2002. Muzikinis mąstymas ir jo ugdymas mokykloje. Klaipėda, p. 302-303.

DUBLIAUSKAITĖ, L., 1986. Choro kultūra. Vilnius, p. 64.

STANISLAVSKIS, K., 1956. Aktoriaus saviruoša. Vilnius:Mintis, p. 69-78.

МЕНАБЕНИ, А., 1987. Методика обучения сольному пению. Москва, с. 86.

САВКОВА, 1968. Как сделать голос сценический. Москва, с. 14.

L'arte del canto. Vademecum del cante. Teoria e pratica per tutte le voci de E. Panofca. 1853, op.81, Milano: F.Lucca, p. 3.

Egidijus Mažintas

Vilnius pedagogical university, Lithuania

y

THE CHILD IN THE SPACE OF LANGUAGE: DRAMATURGY OF THE SCHOOL CHILDREN CONGLOBALATION REPERTOIRE TRAINING

Summary

Many singing teachers do not teach children or believe that children should be left to sing on their own "natural instinct". That is an old fashioned point of view. However, most vocal training for singing is based in English language, and children should not be encouraged to sound like adult opera singers, either. It is correct to say, then, that vocal technique teachers who know how to work with children in a variety of musical styles are few and far between. Choral Directors may be helpful, but again, caution here is worthwhile. Choral Directors are often musicians before they are singers and some have little or no vocal background. Choruses do not generally worry about the development of an individual child's voice, but are often concerned with the "choral sound" or the sound of a "section" or "voice part". The

² L'arte del canto. Vademecum del cante. Teoria e pratica per tutte le voci de E.Panofca, op.81, Milano, F.Lucca, 1853, p. 3.

vocal education in secondary schools, choruses and vocal competitions of Lithuania is so unsatisfactory and wrongly directed that in many cases it ruins the perspectives of really gifted talents. As a rule teachers are inadequately prepared for the vocal education of children and therefore they frequently overburden and overstrain the fragile vocal apparatus of children. Working with children requires special expertise, as children's voice can be trained, although not as "little adults". The same singing teachers apply, but they are modified to meet to the needs of children. Children who like to singing should be encouraged to do so. Children who are copying what they hear on shows like "American Idol" need to be guided to make sure they are not just yelling. Children who hear only pop music on the radio would benefit from being guided to hear many different kinds of music.

KEY WORDS: English repertoire, language space, pupils, earlier vocal training, emotional loading, weariness of the voice device, voice training.

Jelena Kipure

Universität Daugavpils

Vienības iela 13, LV-5401Daugavpils, Latvia

e-mail: vlv@inbox.lv

DIE ENTWICKLUNG DER SPRACHKOMPETENZ VON DEUTSCHSTUDIERENDEN AUS DER TEXTDIDAKTISCHEN PERSPEKTIVE

In dem vorliegenden Beitrag setzt sich die Autorin mit der Begriffsbestimmung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden und mit der Möglichkeit, diese im fortgeschrittenen DaF-Unterricht zu entwickeln, auseinander. In ihrer Definition der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden geht die Autorin von der allgemein angenommenen Begriffsbestimmung der fremdsprachlichen Kompetenz aus, indem sie die Besonderheiten des universitären DaF-Unterrichts berücksichtigt. Dabei werden sechs Komponenten bestimmt, die die erwähnte Sprachkompetenz beinhalten. Im zweiten Teil des Beitrags handelt es sich um den Einsatz der authentischen deutschen Sachtexte bei der Entwicklung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden, denn diese Art von Texten können als besonders geeignete Lehr- und Lerneinheit für dieses Ziel angesehen werden. Um dies zu begründen, analysiert die Autorin die linguistische, informative und didaktisch-methodische Basis der authentischen deutschen Sachtexte.

SCHLÜSSELWÖRTER: fremdsprachliche Kompetenz, Sprachkompetenz der Deutschstudierenden, authentische deutsche Sachtexte, linguistische Basis der Sachtexte, informative Basis der Sachtexte, didaktisch-methodische Basis der Sachtexte.

Eine der Streitfragen der modernen Fremdsprachendidaktik/-methodik ist das Problem der Zielbestimmung des Fremdsprachenlernens: Es steht fest, dass die Vermittlungs- und Aneignungsprozesse auf die ganzheitliche Wahrnehmung der Sprache sowie des ganzen Weltbildes gerichtet sind. Die Analyse der heutigen methodischen Ansätze und Schwerpunktsetzungen des Fremdsprachenunterrichts (im Weiteren: FU) lässt behaupten, dass immer noch eine einheitliche Meinung über dieses Problem fehlt. Das Gemeinsame, das in allen bestehenden Lehr- und Lernkonzeptionen vorkommt, ist die Entwicklung einer Kompetenz.

Den Begriff „Kompetenz“ kann man unter dem Gesichtspunkt verschiedener Bezugswissenschaften betrachten. In der Psychologie verbindet man die Kompetenz mit Kenntnissen und der Fertigkeit, diese anzuwenden (vgl. Breslavs 1999; Гейвин 2003). In der Pädagogik wird die Kompetenz als „nötige Kenntnisse, professionelle Erfahrung, Sachverstand auf einem bestimmten Gebiet und die Fertigkeit, die Kenntnisse und die Erfahrung in einer konkreten Tätigkeit anzuwenden“ (Beļickis 2000, s. 83) definiert. Aus der sprachwissenschaftlichen Sicht wird der Begriff „Kompetenz“ als die „Summe aller sprachlichen Fähigkeiten, die ein Muttersprachler besitzt“ (Drosdowski 1996, s. 866) interpretiert. In der modernen Fremdsprachendidaktik/-methodik bekommt der Begriff „Kompetenz“ eine neue, umfassendere Bedeutung: Dies wird einerseits durch erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten charakterisiert, andererseits zeigt sich darin der Subjekt, d.h., der Fremdsprachenlerner, sein Handeln und Motive. Laiveniece (2003) definiert den Begriff „Kompetenz“ aus der didaktischen Sicht folgenderweise: „Die Kompetenz ist das qualitative Niveau der Anwendung von Fertigkeiten, das sich endlos vervollkommen kann und das der Schüler im aktiven Handeln erreicht, indem er zweckmäßig, systematisch und bewusst übt und seine Fähigkeiten, Erfahrung und Wertesystem anwendet, die er während und außerhalb des Lehr- und Lernprozesses erworben hat“ (Laiveniece 2003, s. 106). Eine besondere Aufmerksamkeit erregt in dieser Definition die Behauptung, dass die Herausbildung einer Kompetenz ein fortlaufender Prozess ist, der die Entwicklung von Lerntechniken und das lebenslange Lernen mit einbezieht.

Dem Wesen und der Struktur der fremdsprachlichen Kompetenz liegt die Gesamtheit von verschiedenartigen Komponenten zugrunde, in der sich der Inhalt des fremdsprachlichen Lehr- und Lernprozesses widerspiegelt. Man geht davon aus, dass man den FU als ein Ganzes betrachtet, das aus verschiedenen Komponenten besteht. Dabei werden alle Aspekte mit einbegriffen, die zwischen Wissensvermittlung (d.h., das Sprachsystem) und Fähigkeitsentwicklung (d.h., die Sprachtätigkeiten) liegen. „Jede Fremdsprache besitzt mehrere innerliche Reserven für Integration, die bis in die jüngste Zeit nicht genügend ausgenutzt wurden. (...) Die Aufgabe des Sprachvermittlers ist es, solche sprachlichen Erscheinungen aufzudecken, die nicht isoliert, sondern im engen Zusammenhang miteinander beigebracht werden sollten“ (Mordašova 2000, s. 169). Es wird versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Wissen über die Sprache als System und der Beherrschung der Sprache in der Theorie und Praxis des FU zu finden.

Aus der Analyse einiger Ansichten über das Wesen der fremdsprachlichen Kompetenz (Duszenko 1994; Šilss 1998; Гальскова 2000) ergibt sich, dass dank der raschen Entwicklung der Fremdsprachendidaktik/-methodik das Verständnis des Begriffs „fremdsprachliche Kompetenz“ in der heutigen Gesellschaft eine holistische Form angenommen hat. Dies ist nicht mehr vom allgemeinen pädagogischen Prozess zu trennen. Das Wesen der fremdsprachlichen Kompetenz offenbart sich in ihrer Multifunktionalität und Korrelation mit sprachwissenschaftlichen und pädagogisch-psychologischen Erkenntnissen. Das Wesen und die Struktur der fremdsprachlichen Kompetenz bilden nicht nur die Komponenten eines konkreten Sprachsystems, sondern auch die Fertigkeiten, Fähigkeiten und emotional-motivationale Verhältnisse der Fremdsprachenlerner. Das Verständnis der fremdsprachlichen Kompetenz beeinflussen solche Faktoren wie die konkrete Sprache und die Besonderheiten ihres Systems, die Spezifik der Lehr- und Lernumgebung, die Verwirklichung des allgemeinen Lehr- und Lernprozesses.

Was das Deutschstudium betrifft, also den DaF-Unterricht mit fortgeschrittenen Lernern, hat die Sprachkompetenz der Deutschstudierenden keine insgesamt anerkannte Bezeichnung und eindeutige Interpretation im modernen Studienprozess. Die oben erwähnte Analyse mehrerer Ansichten über das Wesen der fremdsprachlichen Kompetenz lässt schlussfolgern, dass sie in erster Linie den allgemeinen FU und seine Ziele widerspiegeln, wobei sie einen konkreten Lernbereich und die Lehr- und Lernumgebung nicht hervorheben oder sich vorwiegend auf den schulischen Unterricht orientieren. Die analysierten Ansichten schaffen aber eine Grundlage für die Erforschung und Herausbildung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden. Zu Grunde der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden liegen die Gesamtheit von mehreren Komponenten, der prozessuale Aspekt und der Student, der in diesem Prozess dominiert. Beim Definieren der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden werden die Zielorientierung und die Spezifik des Studienprogramms im DaF-Unterricht sowie die Realisation des allgemeinen Lehr- und Lernprozesses besonders berücksichtigt. Unter anderem seien erwähnt:

- die Aneignung eines großen Umfangs vom allgemeinen Wissen;
- die Aneignung eines großen Umfangs von linguistischen Kenntnissen;
- die Aneignung der landeskundlichen Kenntnisse;
- die hohen Anforderungen an das Sprachniveau der Deutschstudierenden;
- die hohen Anforderungen an den praktischen Gebrauch der angeeigneten Kenntnisse;
- die Aneignung der Formen der wissenschaftlichen Tätigkeit;
- Berufsorientierung;
- die Realisation des akademischen Studienprogramms nach mehreren Kursen und Sprachaspekten;
- die sprachliche Basis und die Grundlagen der praktischen Lerntätigkeit, die die Studenten noch im schulischen DaF-Unterricht erworben haben;
- die psychischen Besonderheiten der Studierenden;

- die Besonderheiten der Informationsverarbeitung im Lernprozess;
- das persönliche Bewusstwerden des Deutschlernens, die Herausbildung des Wertsystems der Deutschstudierenden, das Bewusstwerden eigener Identität.

In Berücksichtigung der erwähnten Zielorientierung und der Spezifik des Studienprogramms im DaF-Unterricht sowie der Realisation des allgemeinen Lehr- und Lernprozesses kann in Bezug auf die Sprachkompetenz der Deutschstudierenden Folgendes angenommen werden: *Die Sprachkompetenz der Deutschstudierenden schließt die Gesamtheit von Kenntnissen, Fertigkeiten und emotional-motivationalen Verhältnissen sowie den Grad ihrer Aneignung ein, die nötig ist, um auf Deutsch zu kommunizieren wie auch sich in diesem Bereich auszubilden und zu realisieren.*

Die angebotene Formulierung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden offenbart den aspektreichen Inhalt des Deutschstudiums und sein integratives bzw. ganzheitliches Wesen. Der Integration werden nicht nur einzelne Aspekte des Deutschen, sondern auch alle Aspekte des deutschsprachigen Lern- und Studienprozesses unterworfen. In diesem Fall bilden die Sprachkompetenz der Deutschstudierenden sechs Komponenten, die gleichzeitig die Kriterien der Entwicklung der Sprachkompetenz sind:

1. Wortschatz / Kenntnis der Lexik:
 - der Umfang des Wortschatzes;
 - der Gebrauch der Synonyme/Antonyme, Idiome, stehender Redensarten, Wortfamilien u.a.;
 - das Anwenden der Mehrdeutigkeit der Wörter;
 - die Verwendung der Fachlexik;
 - der Wortschatz verschiedener Sprachregister;
2. Sprachwissen / Sprachkomponenten:
 - linguistische Kenntnisse;
 - die Aneignung einzelner Sprachaspekte (Grammatik, Phonetik, Stilistik, Rechtschreibung, Textanalyse u.a.);
3. Allgemeines Wissen / Sachwissen / Landeskunde:
 - der Umfang der Weltkenntnisse;
 - das Bewusstmachen der Notwendigkeit der Vervollkommnung vom allgemeinen Wissen;
 - die Fertigkeit, die allgemeine / landeskundliche Information zu interpretieren, eigene Gedanken darüber zu äußern, sie auf die Realien seines Landes und seiner Kultur zu beziehen;
4. Sprachgebrauch / Fertigkeit, sich zu äußern:
 - die Fertigkeit, die deutsche Sprache in der verbalen Kommunikation zu gebrauchen;
 - die Fertigkeit, die Sprachkenntnisse vielseitig und kreativ zu gebrauchen;
 - die Fertigkeit, verbale Sprachmittel entsprechend der Sprachsituation zu verwenden;
 - die Fertigkeit, eigene Ansichten darzulegen und zu argumentieren sowie eigene Gedanken logisch zu strukturieren;
5. Selbststudium:
 - die Selbstständigkeit, Autonomie des Studenten;
 - der Erwerb der Lernstrategien;
 - die Fertigkeit, die wissenschaftliche Tätigkeit auszuüben;

- die Fertigkeit, eigene Studienziele, die Wichtigkeit der sprachlichen / allgemeinen / landeskundlichen Information, die nötigen Verfahren der Informationsbeschaffung zu bestimmen;
 - die Fertigkeit, verschiedene Informationsquellen zu gebrauchen;
6. Affektive Komponente:
- die positive Studienerfahrung;
 - die Motivation des Deutscherwerbs;
 - der Wunsch, Deutsch zu studieren und zu gebrauchen;
 - emotionale Einschätzung der im Deutschstudium verwendeten Lehr- und Lernmethoden.

Also, die erwähnten Komponenten und das einheitliche Wesen der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden ermöglichen, den universitären DaF-Unterricht integrativ und ganzheitlich zu organisieren, denn es wird in diesem Fall versucht, das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Ebenen des Integrationsprinzips zu realisieren, d.h., interdisziplinäre Integration, Integration im Rahmen eines Faches und interne Integration der Kenntnisse (d.h., die Integration der Kenntnisse mithilfe von mentalen Verarbeitungsprozessen, die von den Lernenden vollzogen wird).

Da in der beschriebenen Sprachkompetenz der Deutschstudierenden das Selbststudium und die Selbstrealisation der Studenten als eine der Besonderheiten des Studienprozesses sowie die Entwicklung der positiven Erlebnisse im universitären DaF-Unterricht hervorgehoben werden, bekommt der Student als Subjekt eine dominierende Rolle in der mentalen Integration und Aneignung von Sprachkomponenten und allgemeinen / landeskundlichen Informationen. Es ist nötig, eine angemessene Lehr- und Lerneinheit zu finden und ausgehend davon die entsprechenden Grundsätze zu erarbeiten, die eine integrative Entwicklung der beschriebenen Sprachkompetenz im universitären DaF-Unterricht sichern könnten.

In diesem Zusammenhang möchte man den didaktischen Wert der authentischen deutschen Sachtexte betonen, denn in ihrer linguistischen, inhaltlichen (d.h., informativen) und didaktisch-methodischen Basis realisiert sich der reiche Inhalt der behandelten Sprachkompetenz.

Unter dem Begriff „Sachtexte“ werden in der modernen Fremdsprachendidaktik/-methodik nichtliterarische, authentische, vorwiegend inhaltliche Informationen vermittelnde Texte verstanden, die vor allem über aktuelle Ereignisse bzw. Sachverhalte der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Technik, Kunst berichten und die in allen Informationsmedien bzw. -quellen zu finden sind. Sachtexte, die in erster Linie faktenreich, klar und überschaubar sind, wirken realitätsbezogen, nüchtern und informierend (vgl. Edelhoff 1985; Stocker 1987; Neuner & Hunfeld 1993; Kühn 2001). Es ist hervorzuheben, die didaktische Anwendung der authentischen deutschen Sachtexte muss anderen Didaktisierungsprinzipien untergeordnet werden, denn die authentischen deutschen Sachtexte werden nicht als Lehrmaterial geschrieben und haben ihre sprach- und inhaltsbezogenen Besonderheiten. Sie nehmen keine Rücksicht auf den Leistungsstand von Lernenden, weil sie von Muttersprachlern für Muttersprachler produziert wurden, ohne dass dabei an ihren Einsatz im DaF-Unterricht sowie an ihre Einbeziehung in die Entwicklung der Sprachkompetenz von fortgeschrittenen Deutschlernern gedacht wurde. In Hinsicht auf die Lehr- und Lernziele des DaF-Unterrichts liefern Sachtexte Material z.B. für das Grammatik- oder Phonetiklernen, aber keine fertigen Grammatik- oder Phonetikübungen. Es ist also recht schwer, ihnen ausreichend Beispiele für die Darstellung der Grammatik und die dazu gehörenden Übungen zu entnehmen (Eichheim 2001). Dabei dienen authentische Sachtexte teilweise anderen didaktischen Zwecken als zum Beispiel literarische Texte, und man muss mit ihnen im Unterricht anders umgehen.

Dank ihrer Multifunktionalität können authentische deutsche Sachtexte eine besondere Position in der Entwicklung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden einnehmen, denn die

unterrichtliche Arbeit mit Texten dieser Art erlaubt ein breites Spektrum von Lehr- und Lernzielen und ihre Realisierung. Deshalb eignen sich solche Texte besonders gut für die Entwicklung des fremdsprachlichen Könnens und für die Erweiterung des Wissens über das aktuelle Geschehen in der Welt und im Zielsprachenland. Für fortgeschrittene Deutschlerner bilden authentische Sachtexte den größten Teil des Sprachlernmaterials. Im Studienprozess können sie als die Basis für die selbstständige Lerntätigkeit der Studenten wie auch für ihre analytische, deskriptive und kreative Textproduktion verwendet werden. Die Multifunktionalität der Sachtexte macht sie für die Organisation einer integrativen Textarbeit besonders attraktiv, denn die linguistischen und didaktischen Möglichkeiten dieser Art von Texten sichern die ganzheitliche Aneignung aller Komponenten der Sprachkompetenz und demzufolge die effektive Vervollkommnung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden.

Nach der didaktischen Vorbereitung der authentischen deutschen Sachtexte werden sie für die Entwicklung der Sprachkompetenz von Deutschstudierenden besonders geeignet, denn in der Struktur der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden, die oben bestimmt worden ist, sind gut die Komponenten zu sehen, die das linguistische, informative und didaktisch-methodische Potenzial der deutschen Sachtexte beinhalten. So z.B. solchen Komponenten der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden wie „Wortschatz/Kennntnis der Lexik“ und „Sprachwissen /Sprachkomponenten“ entspricht die linguistische Basis der deutschen Sachtexte, das Wesen der Komponente „Allgemeines Wissen/Sachwissen/Landeskunde“ offenbart sich in der informativen Basis dieser Texte, der didaktische Gebrauch der Sachtexte sichert aber die Einbeziehung der pragmatischen Komponenten („Sprachgebrauch/Fertigkeit, sich zu äußern“, „Selbststudium“) und der emotionalen Komponente der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden in den universitären DaF-Unterricht:

a) Linguistische Basis der deutschen Sachtexte:

Die Eignung der authentischen deutschen Sachtexte für die Entwicklung der Sprachkompetenz von Deutschstudierenden liegt in ihrem sprachlichen als auch thematischen Komplexitätsgrad begründet. Für Deutschstudierende bilden Sachtexte den größten Teil des Sprachlernmaterials, denn die Sachtexte sind komplexe, oft längere Texte und überfordern nicht selten die aktiven Sprachkenntnisse der Lernenden. Vereinfacht werden sollten sie aber nicht. Es ist methodisch völlig legitim, denn als Deutschlerner und Ausländer werden sie immer wieder in Situationen kommen, in denen sie mit Texten konfrontiert werden, die komplexer und sprachlich differenzierter formuliert sind als die Texte, die sie selbst produzieren können. So bieten authentische Sachtexte reiches Material nicht nur für die produktiven, öfters auch für die rezeptiven Kenntnisse der fortgeschrittenen Deutschstudierenden in verschiedenen Bereichen an. Der sprachliche Komplexitätsgrad der Sachtexte wird besonders durch drei Aspekte deutlich, d.h., durch die syntaktische, grammatische, semantische bzw. lexikalische Ebene (z.B. der Gebrauch bestimmter syntaktischer und grammatischer Formen und Konstruktionen sowie standardsprachlicher Wendungen, die Alltags- oder Gemeinsprache, das häufige Vorkommen von Fachlexik und Terminologie, Polysemie und Synonymie der Wörter, Wortabkürzungen u.a.) (vgl. Polenz 1988; Munsberg 1994; Fluck 2001; Kühn 2001).

b) Informative Basis der deutschen Sachtexte:

Durch ihre inhaltlichen und sprachlichen Informationen spiegeln authentische Sachtexte gesellschaftliche Prozesse, gesellschaftliches Denken und Entwicklungsstand wider. Der systematische Einsatz von authentischen Sachtexten im FU trägt zur Förderung des allgemeinen und landeskundlichen Wissens bei, das besonders im Fortgeschrittenenunterricht einen Schwerpunkt bildet. Die Inhalte der Sachtexte sind dazu da, die Studierenden auf der sprachlichen wie auch auf der Inhaltsebene immer wieder zu irritieren, zu beunruhigen, zu Fragen anzuregen, ihre Empathiefähigkeit herauszufordern, so dass sie auch immer wieder ihre eigenen Vorstellungen, Erfahrungen, Kenntnisse und Kreativität hinzuziehen. Die Inhalte von Sachtexten lassen Platz für

die subjektive Welt des fremdsprachigen Lesers. Viele sachbezogene Textsorten (z.B. Bericht, Kommentar, Brief, Bildunterschrift, Karikatur, Flugblätter, Interview, Rede, Reportage) sind subjektiv geprägt, wobei die Autoren ihre Intentionen nicht direkt ausdrücken. Auf diese Weise erfüllen Sachtexte eine kommunikative Funktion, die sich aus dem Handeln des Produzierenden und dem Reagieren des Rezipienten ergibt. Der fremdsprachige Leser arbeitet nicht nur mit der Oberfläche des Sachtextes, sondern denkt weiter über die Grenzen des Textes hinaus. Die Studierenden, die unmittelbar am gesellschaftlichen Leben beteiligt sind, projizieren die behandelten Informationen auf sich und auf die Ereignisse, die um sie herum stattfinden. Deshalb werden die Textinformationen durch die persönliche Erfahrung erweitert (vgl. Pörings & Schmitz 1999). Das verhindert gleichzeitig eine formale und oberflächliche Bewertung der inhaltlichen Aussagen und die Behandlung eines Textes „an sich und für sich“. Durch ihre Inhalte und vermittelten Informationen beleben authentische Sachtexte verschiedene Affekte im Fremdsprachenlerner, wie etwa Überraschung, Ärger, Schuldgefühl, Scham, Irritation, Freude, Trauer, Aha-Erlebnisse, Spannung, Angst, Hoffnung, Furcht, Wut, Erleichterung, Spaß, Befriedigung usw. (vgl. Stölting 1987; Krumm & Mummert 2001), d.h., die Sachtexte verlangen die persönliche Stellungnahme der Studierenden zum im Text aufgeworfenen Problem oder zu Textinhalten und -informationen, das Erkennen der Absichten des Autors, der Erfahrung und den Interessen der Studierenden entsprechende Informationen. Dies agiert als Voraussetzung für kommunikative Aufgabenstellungen und kommunikative Textarbeit im universitären DaF-Unterricht. Dabei können Affekte durch eine motivationsfördernde Textarbeit aktiviert werden, indem die Studierenden Freude, Überraschung, Enttäuschung, Spaß, etc. während der Erfüllung von Aufgaben erleben.

c) Didaktisch-methodische Basis der deutschen Sachtexte:

Die unterrichtliche Anwendung der deutschen Sachtexte offenbart vielfältige didaktisch-methodische Möglichkeiten bei der Entwicklung der Lernfertigkeit und persönlicher Fähigkeiten der Studierenden. Im Studienprozess ermöglicht das Wissen der textsortenspezifischen Merkmale der authentischen deutschen Sachtexte, die Arbeit von der Textrezeption bis zur Textproduktion zu realisieren. Die Aufgabenstellungen, die das selbstständige Textproduzieren fördern, beruhen auf dem Verständnis und der Interpretation der Textinformationen. Unter Berücksichtigung des integrativen Wesens der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden setzt die didaktische Anwendung der Sachtexte die Phasen von der Textwahrnehmung bis zur selbstständigen Textproduktion voraus. Die unterrichtliche Textarbeit lässt Verfahren finden, die die aktive und interaktive Beteiligung der Studenten herausfordern. Aufgrund der sprachlichen und inhaltlichen Informationen von Sachtexten ist es möglich, eine Typologie von Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträgen für die universitäre fremdsprachliche Textarbeit zusammenzustellen, deren Vorbereitung und Durchführung (mit abschließender Präsentation) eine selbstständige bzw. kooperative Beschäftigung mit Texten, Sprache und Informationskomplexen in der Zielsprache voraussetzt. Die zur selbstständigen Textproduktion führenden Aufgabenstellungen basieren auf dem Verständnis und auf der eigenen Interpretation der im Text vorhandenen Informationen (z.B. „Formuliert das Thema des Textes!“, „Formuliert den Hauptgedanken des Textes!“, „Bestimmt die Schlüsselwörter!“, „Begründet die Wichtigkeit der hervorgehobenen Ausdrücke!“, „Stellt die Gliederung des Textes zusammen!“, „Beschreibt das Bild!“, „Worüber sprechen die auf dem Bild dargestellten Personen?“ etc.).

Die unterrichtliche Arbeit mit authentischen deutschen Sachtexten lässt die im Studienprozess erwünschte Symbiose – Lesen und Lernen - erzielen. Das studierende Lesen ist in erster Linie das informative Lesen, das den fortgeschrittenen Fremdsprachenlernern die Möglichkeit gibt, sich mit den inhaltsbezogenen wie auch mit den sprachlichen Informationen auseinander zu setzen. Während der Textarbeit erlauben die Texte dieser Art einen handlungsorientierten Ansatz, ermöglichen verschiedene Manipulationen, bieten für die Studenten im Alltag nützliche

Informationen und sprachliche Mittel, tragen zum Erwerb nötiger Lerntechniken und Fertigkeiten bei.

Die Analyse der linguistischen, inhaltlichen und didaktisch-methodischen Basis der authentischen deutschen Sachtexte lässt also schlussfolgern, dass diese Kategorie von Texten das reiche interdisziplinäre Lernpotenzial offenbart und als didaktisches Mittel bei der Entwicklung der Sprachkompetenz von Deutschstudierenden erfolgreich eingesetzt werden kann. Die systematische Arbeit mit Sachtexten ermöglicht die integrative Aneignung verschiedenartiger Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhältnismuster, was den Inhalt der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden widerspiegelt. Dabei empfiehlt es sich, folgende Grundsätze bei der didaktischen Vorbereitung der authentischen Sachtexte zu berücksichtigen:

- Zu Grunde der Entwicklung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden liegt der kreative und aktive Studienprozess, in dem authentische deutsche Sachtexte als Lehr- und Lernstoff verwendet werden;
- Textarbeit ist durch eine intensive und interdisziplinär integrative Behandlung des Textes gekennzeichnet;
- Große Aufmerksamkeit wird der Förderung des sprachlichen Wissens der Studierenden gewidmet. Deshalb ist die systematische Arbeit an der sprachbezogenen Seite des Textes ein obligatorischer Teil der Textarbeit;
- Die Spracharbeit vollzieht sich kreativ, durch schöpferische, handlungsorientierte und interaktiv-kommunikative Aufgabenstellungen;
- Die Entnahme, Verarbeitung und Speicherung der anzueignenden Informationen wird durch das aktive, selbstständige Handeln der Studierenden optimiert, indem die Studenten im Unterricht nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Planer, Gestalter und Leiter agieren. Dabei wird von einer Verknüpfung von Emotionen und Kognition ausgegangen;
- Universitäre Textarbeit erscheint als offenes Unterrichtsgeschehen, in dem der Unterrichtende nur als Organisator und Konsultant wirkt und die Studierenden intensiv ihre Sprachkompetenz entwickeln und Lernerfahrung erwerben.

Literatur

- BEĻICKIS, I.; BLŪMA, D.; KOĶE, T.; MARKUS, D.; SKUJIŅA, V.; ŠALME, A., 2000. *Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca*. Rīga: Zvaigzne ABC.
- BRESLAVS, G. (red.); AIVARS, J.; ARŠAVSKIS, V.; EGLĪTIS, I.; IGOŅINS, D.; PAŅKOVA, J.; RENGĒ, V.; SEBRE, S.; VOITKĀNE, S., 1999. *Psiholoģijas vārdnīca*. Rīga: Mācību grāmata.
- DROSDOWSKI, G. mit der Dudenredaktion (bearb.), 1996. Duden Deutsches Universalwörterbuch. 3. Auflage. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.
- DUSZENKO, M., 1994. *Lehrwerkanalyse*. Berlin/ München/ Leipzig/ Wien/ Zürich/ New York: Langenscheidt.
- EDELHOFF, Chr. (Hrsg.), 1985. *Authentische Texte im Deutschunterricht*. Einführung und Unterrichtsmodelle. München: Max Hueber Verlag.
- EICHHEIM, H., 2001. Der Originaltext als Ausgangspunkt von Lernmaterial für Anfänger. XII Internationale Deutschlehrertagung, 2001. <http://www.idt.-2001.ch>. 30.08.2001.
- FLUCK H.-R., 2001. Geistes- und sozialwissenschaftliche Fachtexte. In: Helbig, G.; Götze, L.; Henrici, G.; Krumm, H.-J. (Hrsg.) *Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband*. Berlin/New York: Walter de Gruyter, S. 544-549.
- KRUMM, H.-J.; MUMMERT, I., 2001. Textarbeit. In: Helbig, G.; Götze, L.; Henrici, G.; Krumm, H.-J. (Hrsg.) *Deutsch als Fremdsprache. Das internationale Handbuch. 2. Halbband*. Berlin/New York: Walter de Gruyter, s. 942-954.
- KÜHN, P., 2001. Auswahlkriterien für Fach- und Sachtexte im Deutschunterricht. In: Helbig, G.; Götze, L.; Henrici, G.; Krumm, H.-J. (Hrsg.) *Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband*. Berlin/New York: Walter de Gruyter, s. 1262-1272.

- LAIVENIECE, D., 2003. *Valodas mācības pusaudzīm*. Rīga: RaKa.
- MORDAŠOVA, J., 2000. Ganzheitliches Lernen – was ist das? In: *Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību startautiskās zinātniskās konferences materiāli*. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, s. 169-170.
- MUNSBERG, K., 1994. Fachsprachen. In: *HENRICI, G.; REIMER, C. mit Arbeitsgruppe (Hrsg.) . Einführung in die Didaktik des Unterrichts DaF mit Videobeispielen*. Bielefeld, Jena, s. 300-329.
- NEUNER, G.; HUNFELD, H., 1993. *Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts*. Eine Einführung. Berlin: Langenscheidt.
- POLENZ, P., 1988. *Deutsche Satzsemantik: Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens*. 2. Auflage. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
- PÖRINGS, R.; SCHMITZ, U. (Hrsg.), 1999. *Sprache und Sprachwissenschaft: eine kognitiv orientierte Einführung*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- STOCKER, K. (Hrsg.), 1987. *Taschenlexikon der Literatur- und Sprachdidaktik*. Frankfurt am Main: Scriptor Verlag.
- STÖLTING, W., 1987. Affektive Faktoren im Fremdspracherwerb. In: *Apeltauer, E. (Hrsg.) Gesteuerter Zwetspracherwerb. Voraussetzungen und Konsequenzen für den Unterricht*. München: Max Hueber Verlag. s. 99-110.
- ŠĪLSS, Dž., 1998. *Komunikācija svešvalodu mācīšanā*. Rīga: VAGA.
- ГАЛЬСКОБА, Н., 2000. *Современная методика обучения иностранным языкам*. Москва: АРКТИ.
- ГЕЙВИН, Х., 2003. *Когнитивная психология*. Москва– Санкт-Петербург: Питер.

Jelena Kipure

Daugavpils University, Latvia

**THE DEVELOPMENT OF STUDENTS` COMPETENCE IN GERMAN LANGUAGE
FROM THE PERSPECTIVE OF THE TEXT DIDACTICS**

Summary

The author of this article deals with the definition of students` competence in the German language and with the opportunity to develop it at university with German language studies. The offered definition of students` competence in German language is based on the didactical interpretation of the common foreign language competence; incidentally the author of the article pays special attention to the particularities of the university German language studies and determines 6 components of the mentioned competence. In the second part of this article the use of the authentic German non-literary mass-media texts in the development of students` competence in the German language is considered, as this kind of texts can be especially appropriate for this purpose. To demonstrate this, the author of the article analyses the linguistic, informative and methodological basis of the authentic German non-literary mass-media texts.

KEY WORDS: foreign language competence, students` competence in German language, authentic German non-literary mass-media texts, linguistic basis of the authentic German non-literary mass-media texts, informative basis of the authentic German non-literary mass-media texts, methodological basis of the authentic German non-literary mass-media texts

Asija Kovtun

Vytauto Didžiojo universitetas

K. Donelaičio g. 58, 50042 Kaunas, Lietuva

e-mail: Asija.Kovtun@hmf.vdu.lt

MYKOLAS BANEVIČIUS – VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DĚSTYTOJAS: “UŽMIRŠTAS SIUŽETAS”

Mykolo Banevičiaus (1883–1963) veikla Lietuvos universitete gali būti nagrinėjama kaip emigranto, bandančio prasiskverbti į nacionalinį mokslą, modelis. Banevičius pasirinko slavistiką kaip jam artimiausią ir natūraliausią nišą. Lietuvos universitete Banevičius dėstė rusų kalbą ir keletą kursų, skirtų rusų klasikinei literatūrai. Didžiąją Banevičiaus publicistikos dalį sudaro straipsniai apie rusų ir lietuvių literatūrą. Kai kurie Banevičiaus straipsni teiginiai ir šiandien įdomūs kaip XX amžiaus rusų literatūrinio proceso realizacija ir kaip unikalus rusų literatūros Lietuvoje recepcijos epizodas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: *universitetas, Lietuva, rusų literatūra, emigracija, recepcija.*

Rusų emigracijos istorija tarpukario Kaune ilgą laiką buvo “prarastu siužetu” ir istorikams, ir rusų identiteto Lietuvoje tyrinėtojams. Emigracijos problema paliečia politinę, socialinę ir kultūrinę valstybės erdvę bei individo arba socialinės grupės patirtį. Šis siužetas reikalauja dėmesio kaip savaime įdomus reiškinys ir kaip veiksnys, lemiantis ypatingą komunikacijos atvejį: viena vertus, emigrantą priėmusios šalies poveikį jo kultūrai, kita vertus – emigranto indėlį į tos šalies kultūrinę situaciją. Emigracijos reiškinys senas kaip pasaulis – tremtiniai nuo neatmenamų laikų ieškodavo prieglaudos “Babilono upėse”. Jau Dante Alighieri savo raštuose užjautė tuos, kurie savo tėvynę tegali sapnuoti. Akademinė rusų emigrantų mokslinė veikla Lietuvos universitete – kol kas deramai neįvertintas ir tebelaukiantis dėmesio diskursas.

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, tarpukariu stiprėja nacionalinė mokykla ir akademinė bendruomenė. Moksliniai pasiekimai bei atradimai sulaukia vis didesnio socialinio rezonanso. Jie suvokiami kaip svarbūs nacionalinio valstybinio vystymosi atributai. Lietuvos universiteto humanitarai, atsižvelgdami į savo tyrimų objekto prigimtį, aktyviai formavo nacionalinio mokslo problematiką, o intelektualai bei universiteto profesūra kartu buvo ir valstybės ideologijos kūrėjai bei sergėtojai. Humanitarinių mokslų kontekste neakcentuojamas kitų kultūrų ir kultūrinių grupių svetimumas Lietuvos mokslui, nei VDU studentų, nei dėstytojų tarpe ksenofobinių nuotaikų nebūta. Nuo pat universiteto įsikūrimo 1920 metais, jame studijuoja rusų jaunimas, dėsto rusų kilmės mokslininkai, likimo valia patekę į Lietuvą. Svetimtaučių dėstytojų nebuvo daug, beveik visi jie – humanitarai, Sankt-Peterburgo universiteto auklėtiniai ir šiai institucijai būdingo liberalaus nacionalizmo tradicijų sekėjai. Toji liberalizmo atmaina susiformavo rusų filosofinės religinės minties kontekste ir pabrėžė Rusijos vaidmenį pasaulinėje istorijoje bei kultūriniame procese. Tad šis liberalizmo tipas tiesiogiai siejamas su „rusiškąja idėja“. Jos įgyvendino garantu turėjo tapti kultūros elitas, politinėje praktikoje pasisakantis už liberalias idėjas ir besilaikantis konservatyvios ideologijos. Kultūrinio identiteto stiprinimas ir humanistinis, nesmurtinis, su religiniais principais sutampantis “rusiškosios idėjos” įgyvendinimas – liberaliojo nacionalizmo ypatumas (Бердяев 1990)

Lietuvos universitetinei aplinkai priklausiusių rusų humanitarų visuomeninė pozicija ir veikalai leidžia kalbėti apie liberalųjį nacionalizmą kaip integracijos į Lietuvos kultūrą pagrindą. Mokslininkai emigrantai tačiau į Lietuvos akademinę bendruomenę ne visada integravosi lengvai ir neskausmingai. Kartais jiems buvo sunku įveikti kalbos barjerą, o Lietuvos universitete profesorius praėjus trejiems metams jau privalėjo dėstyti lietuviškai. Be to, rusų kilmės emigrantai stengėsi išlaikyti savo tautinį identitetą ir naujoje aplinkoje. Iš Rusijos emigravusių mokslininkų Lietuvos universitete buvo nedaug. Į Lietuvą jie patekdavo skirtingais keliais. Dažniausiai tokį pretendentą Vytauto Didžiojo universitetui pristatydavo asmeniškai jį pažinoję

lietuviai arba rekomenduodavo Sankt-Peterburgo universitetas. Lietuvoje nebuvo sąlygų formuoti grupiniam rusų mokslininkų identitetui (kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, Čekijoje arba Prancūzijoje). Individuali integracija į svetimą nacionalinį mokslinį kontekstą tuo tarpu priklausė nuo asmeninės mokslininko emigranto karjeros. Filosofas ir viduramžių specialistas Levas Karsavinas (1882–1952) ir filosofas Vosilius Sezemanas (1884–1963) savo mokslinių interesų su rusiška tematika beveik nesiejo ir orientavosi į tarptautinį mokslinį kontekstą. Jų mokslinė karjera Lietuvos universitete buvo itin sėkminga.

Mykolo Banevičiaus (1883–1963) veikla Lietuvos universitete gali būti nagrinėjama kaip emigranto, bandančio prasiskverbti į nacionalinį mokslą, modelis. Banevičius pasirinko slavistiką kaip jam artimiausią ir natūraliausią nišą. Nors tarpukario Lietuvos humanitarinių mokslų erdvėje universalumo siekis gana sudėtingai sąveikavo su tautiniu lokalumu, humanitaras emigrantas matė galimybę atsiskleisti būtent šioje srityje. „Rusiška idėja“ ir jos tematizavimas buvo Lietuvos universiteto mokslinių diskursų periferijoje. Lietuviškas mokslo metodologijas 1920–1930 metais formavo Vakarų Europos mokslas, o rusiškajame kontekste lietuvius domino nebent ideologinės ir istoriografinės charakteristikos. Mokslinių ir intelektualinių tradicijų transferas iš Rusijos tuo laikotarpiu buvo beveik neįmanomas.

Banevičius gimė 1883 m. lapkričio 20 d. (gruodžio 2 d.) Caricino gubernijoje, Vodianoje kaime. Tikroji jo pavardė – Michailas Florovičius Podšibiakinas (Vincas Krėvė-Mickevičius savo laiškuose vadina jį Floričiumi).¹ Baigęs gimnaziją Baku mieste, jis studijavo teisę Sankt-Peterburgo universitete. Baigęs studijas, sugrįžo į Bakų, kur gimnazijoje dėstė rusų kalbą ir literatūrą, bendradarbiavo vietinėje spaudoje, dalyvavo kadetų partijos veikloje.

Karū su Banevičiumi Baku gimnazijoje dirbo ir Krėvė. 1920 metais, Raudonajai armijai artėjant prie Baku, Krėvė, tapęs Lietuvos konsulu Azerbaidžiane, išrūpino Podšibiakinui pasą svetimu vardu ir padėjo persikelti į Lietuvą. Tiesa, iš pradžių Podšibiakinas mėgino įsitaisyti Berlyne arba Paryžiuje, tačiau 1921 m. jis vis dėlto apsigyvena Kaune. Nemokėdamas lietuvių kalbos, Podšibiakinas-Banevičius iš pradžių vertėsi privačiomis pamokomis, o vėliau ėmė dėstyti rusų kalbą Aukštesniojoje komercinėje mokykloje. Gyvendamas Kaune, jis irgi susilaukė Krėvės paramos: tuo metu pastarasis jau profesoriavo Lietuvos universitete, o nuo 1925 iki 1936 m. užėmė Humanitarinių mokslų fakulteto dekaną pareigas.

Nuo 1924 m. Podšibiakinas-Banevičius dėstė Lietuvos universitete rusų kalbą ir literatūrą. Pagal savo naujuosius dokumentus jis buvo vadinamas Mykolu Banevičiumi, gimusiu 1884 m. rugpjūčio 14 d. Telšiuose. Taip jis pristatomas ir universiteto apyskaitose. Čia nurodoma, kad 1910 m. jis yra baigęs Sankt-Peterburgo universiteto Filologijos fakultetą, o 1912 m. – teisės fakultetą. 1934 m. Lietuviškoje enciklopedijoje jis pristatomas kaip Mykolas Banevičius, gimęs 1884 m. rugsėjo 29 d. (LE 1934, p. 1092). Tie patys duomenys pateikiami ir po Antrojo pasaulinio karo JAV išleistoje Lietuvių enciklopedijoje (LE 1954, p. 159).

Lietuvos universitete Banevičius dėstė rusų kalbą ir keletą kursų, skirtų rusų klasikinei literatūrai – I. Turgenevui, V. Korolenko, L. Tolstojui, A. Puškinui. Jis skaitė ir atskirą kursą apie proletarų literatūrą Sovietinėje Rusijoje. 1926 ir 1927 metais Banevičius kartu su universiteto studentais lankėsi Paryžiuje. Kaip liudija pokarinio tyrimo medžiaga, ten jis susitiko su kadetų partijos veikėju bei laikraščio „*Atgimimas*“ («*Возрождение*») redaktoriumi J. Semenovu (vėliau su juo susirašinėjo), taip pat su laikraščio „*Paskutinės naujienos*“ («*Последние новости*») bendradarbiu I. Demidovu ir su P. Gronskiu, savo buvusiu kolega Lietuvos universitete. Čia 1923–1927 metais P. Gronskas dėstė visuotinę istoriją, tačiau neįveikęs lietuvių kalbos barjero iš Lietuvos pasitraukė į Prahą.

¹ Skurdus Mykolo Banevičiaus biografiniai duomenys yra publikacijose: ŽUKAS, V. 1981. Dėl pseudonimo A. Kemšis, *Literatūra ir kalba*, kn. XVII: KRĖVĖ-MICKEVIČIUS, V., Vilnius: Vaga, p. 546-551; V. VANAGAS, 1987., *Lietuvių rašytojų sąvadas*. Vilnius: Vaga, p. 142, 397, 439; VANAGAS., V., 2001. *Lietuvių literatūros enciklopedija*, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, p. 49; VANAGAS- BANEVIČIUS, V., 2002. *Visuotinė lietuvių enciklopedija*. T. II: Arktis – Beketas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, p. 604; A. P. 195. *Draugo Stalino šmeižikas*, Knygnešys, 1991, nr. 5 (341), p. 36-39.

1940 m. uždarius Lietuvos universitetą, Banevičius dėstė Meninių amatų mokykloje, Žemės ūkio akademijoje, vėliau – vidurinėje mokykloje. 1951 m. gruodį jis buvo suimtas NKVD ir apkaltintas tuo, kad deramai neįvertino Stalino pasiūlytos rusų kalbos dėstymo metodikos vidurinėse mokyklose. Teismas pripažino Banevičių kaltu ir už dalyvavimą kontrrevoliucinėje bei antitarybinėje veikloje. 1953 metų vasario mėnesį jis nuteistas 10 metų kalėjimo su turto konfiskacija ir teisių atėmimu penkeriems metams. Banevičius kalėjo Maciukų lageryje netoli Šilutės (Lietuva) ir Kurske. Peržiūrėjus bylą, 1955-ųjų liepos mėnesį jis buvo paleistas į laisvę. Banevičius mirė 1963 m. kovo 10 d. Kaune, ten ir palaidotas.

Atvykęs į Lietuvą ir patyręs, koks provincialus Kauno rusų gyvenimas, Banevičius iš pradžių jautėsi nusivylęs. Rusų inteligentas, Sankt-Peterburgo universiteto auklėtinis, adoruojantis rusų literatūrą, emigracijoje bando ją paversti ne tik savo profesija, bet ir likimu. Jis užima rusų inteligento-švietėjo poziciją ir lietuvių bei rusų kalbomis įvairiuose periodiniuose leidiniuose spausdina rusų literatūrai skirtus straipsnius, vaikiškas knygas, studijas apie įvairias pasaulio šalis, jų ekonominę ir politinę padėtį. Banevičiaus interesų ratas buvo labai platus, o jo straipsniai, skirti įvairioms kultūros ir gyvenimo problemoms, buvo poleminių pobūdžio.

Tai buvo gana populiarūs rusų emigrantų pozicija. Jie, dažniausia negalėdami realizuoti savęs politikoje bei visuomeniniame gyvenime, tapdavo savotiškais gimtosios šalies ekspertais kultūros, politikos ir ekonomikos srityse. Rusų inteligentai nedvejojami pasitelkė spaudą kaip saviraiškos priemonę. Visuomeniški ir aktyvūs, tikintys rašytinio žodžio galia, jie nuolat pasisako spaudoje. Jų straipsnių tematika labai įvairi, pozicija kritiška, tikslai deklaratyvūs ir itin aiškūs. Tekstuose istoriniu bei teoriniu požiūriu analizuojami kultūriniai Rusijos ir Europos įvykiai.

Didžiąją Banevičiaus publicistikos dalį sudaro straipsniai apie rusų ir lietuvių literatūrą. Savo studijas lietuvių kalba Banevičius spausdino filologiniame universiteto žurnale „*Darbai ir dienos*“ bei periodinėje spaudoje – žurnaluose „*Skaitymai*“, „*Vairas*“, „*Pradai ir žygiai*“. Jis atsiliepia į svarbiausius 1920–1930 m. rusų literatūrinio gyvenimo įvykius. 1927 m. vienas po kito pasirodė jo straipsniai-nekrologai, skirti rusų rašytojams P. Arcibaševui (Banevičius 1927) ir F. Sologubui (Banevičius 1927).

Pedagogas ir visuomenininkas Banevičius garsėjo kaip puikus lektorius ir, kaip liudija jo amžnininkai, paskaitas skaitė įkvepiančiai. Dirbdamas Lietuvos universitete, Banevičius parengė knygą apie A. Puškiną. Didžioji studijos dalis buvo pavadinta „Caras ir poetas“ ir išspausdinta žurnale „*Darbai ir dienos*“ (1934, t. 3). Knyga susilaukė gana prieštaringų vertinimų. Lietuvoje buvo aktyviai paminėtos ir 100-osios Puškino mirties metinės. Banevičius ta proga pasakė kalbą Lietuvos universiteto studentams, kalbos tekstas buvo išspausdintas „*Darbuose ir dienose*“, 1937, t. 4 (Sideravičius 1985). Minint Puškino jubiliejų, Banevičius skaitė pranešimus įvairioms auditorijoms ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose. „Puikų, griežtai mokslinį“ pranešimą tema „Už ką pasaulis gerbia Puškiną“ jis perskaitė minėjime Marijampolėje (M. 1937). 1937 metais stačiatikių leidinys „*Lietuvos stačiatikių eparchijos balsas*“ («*Голос Литовской православной епархии*») paskelbė didelės apimties Banevičiaus straipsnį „Puškino palikimas“, kuris buvo perspausdintas savaitraštyje „*Naujos dienos*“ («*Новые дни*»).

1930 m. pirmajame žurnalo „*Darbai ir dienos*“ numeryje pasirodė Banevičiaus straipsnis „Proletarų literatūra Tarybų Rusijoje“. Tai išpūdingas 116 puslapių veikalas, ir šiandien įdomus kaip anuometinio rusų mokslo refleksija apie sovietinę literatūrą. Lietuvių literatūros kritika tuo laikotarpiu tik formavosi ir stiprėjo, jos tradicijos kūrėsi kitų, kai kuriais aspektais turtingesnę patirtį turinčių kultūrų, poveikyje. Savo veikaluose Banevičius pasitelkė rusų akademinę tradiciją ir patirtį, įgytą Sankt-Peterburgo universitete. Kartu čia atsispindi ir 1930 metų tarybinio literatūros mokslo problemos ir prieštaravimai. Banevičius atidžiai stebėjo rusų literatūros vystymąsi, o savo straipsnio išangoje atsakingai nurodė ypatingą jo rašymo aplinkybę: „Dėl darbo sąlygų čia duodamasis raštas negali turėti išsemiamo pilnumo pretenzijų“ (Banevičius 1930, p. 125). Banevičiaus straipsnį vis dėlto galima apibūdinti kaip unikalų reiškinį. Stebina jo pateiktų literatūrinių kontekstų amplitudė: čia figūruoja ir garsūs XX a. rusų romanai, ir tragiško likimo kūriniai, sugrįžę į literatūrą tik XX a. 2-ojoje pusėje, ir vienadieniai didesnės meninės

vertės neturėję kūrinėliai. Be to, Banevičiui buvo žinoma didžioji dauguma knygų ir straipsnių, išleistų Sovietų Rusijoje 1927-1930 m. Ši aplinkybė dar kartą patvirtina Nepriklausomos Lietuvos kultūros atvirumo koncepciją.

Naujausios knygos rusų pasiekdavo Kauną skirtingais keliais. 1921 m. Kaune buvo įkurtas kooperatyvas „Spaudos fondas“ (Laisvės al. 62), kuriam ilgą laiką vadovavo Balys Žygelis. Fondo leidybinė veikla buvo labai aktyvi. Kauną ir visą šalį jis aprūpindavo knygomis, vadovėliais, mokyklinėmis priemonėmis ir t. t. Fondui priklausė leidykla, prekybos tinklas ir fabrikas. Didelis Fondo nuopelnas buvo knygų iš įvairių kalbų (taip pat ir iš rusų kalbos) vertimai ir leidyba. Fondui priklausė tarp inteligentų labai populiarus knygynas „Mokslas“ (Laisvės al., 62). Jis platino knygas, populiarino rusų kalbą ir Kaune atstovavo Maskvos „Tarptautinei knygai“. Rusiškų knygų skyrius buvo turtingas, o per knygyną buvo galima užsisakyti reikiamas knygas tiesiai iš Maskvos. Knygų vertimais ir leidyba rūpinosi ir Švietimo ministerija bei Vytauto Didžiojo universitetas. Dalis knygų rusų kalba į Kauną patekdavo per VOKS (Всесоюзное общество культурных связей), kuris buvo įkurtas 1925 m. Maskvoje. Per šią organizaciją Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka buvo papildyta rusų klasika, tarybinėmis knygomis ir periodika.

Straipsnio „Proletarų literatūra Tarybų Rusijoje“ įžanginiame žodyje Banevičius apibrėžia tyrimo objektą – tai proletarų literatūra. Ši sąvoka sujungia visa tai, kas sukurta „per dešimt komunistų valdžios metų“. Autorius nepretenduoja į mokslinį pilnumą, bet stengiasi apibrėžti gigantišką literatūrinį eksperimentą, vykstantį Lietuvos kaimynystėje. Nuolat ir gana tiesmukiškai jis pabrėžia, kad kritika ir istorija Rusijoje tapo marksistinės pakraipos rašytojų monopolium. Sovietinės Rusijos kritika esą apsiriboja vienos ar kitos Lenino minties aiškinimu, tad literatūros mokslo srityje nebeliko tikros mokslinės arba kritinės minties. Banevičius griežtai vertina savo buvusios tėvynės ideologinę bei mokslinę situaciją. Autorius su nepasitenkinimu rašo: „*Nėra tokio klausimo, kuriam nagrinėti būtų parašytas bent kiek įmanomas moksliskai objektyvus straipsnis. O ką kalbėti apie knygas ir monografijas – tokių visai nėra*“ (Banevičius 1930, p. 195).

Banevičius savo tyrimo metodą laiko formalistiniu, svarbiausiu jo kriterijumi laikydamas meniškumą, skirtingai nuo „sociologinio metodo ir marksistinio paaiškinimo“, kuriais naudojasi proletarų literatūra: „*Šis rašinys skiriamas pavaizduoti Rusijos proletarų literatūros keliams, t. y. dešimties metų komunistinės valdžios pastangoms sukurti viešpataujančios darbininkų klasės literatūrą, suproletarinti visą rusų literatūrą, paversti ją proletariato tarnaitę, padaryti ją komunizmo idėjų ir idealų liudininku*“ (Banevičius 1930, p. 195).

Rusų formalistai 1920–1930 m. literatūros kūrinio turinį vadina kategorija „už estetikos ribų“, kultūrinio, istorinio bei psichologinio metodo sritimi. Meniniame tekste jie matė tik rafinuotą formą ir deformaciją. Jiems, kaip žinia, svarbiausia buvo ne medžiaga, o priemonė, t. y. medžiagos organizacijos metodai. Banevičius vis dėlto nesiremia formalistų teoriniais veikalais, o jo metodą vargu ar galima pavadinti grynai formalistiniu, kadangi savo studijoje jis bando analizuoti tiek medžiagą, tiek formą. Stebėtinai solidžiam literatūros sąrašui, kuriuo užbaigiamas straipsnis, daug sociologinę kritiką atstovų (V. V. Ermilovas, B. P. Polonskis, A. K. Voronskis, P. S. Koganas ir t.t.), tačiau formalistų pavardžių, kaip antai V. Šklovskis ir kiti, kurie buvo žinomi Sovietų Rusijoje dar 1920 m., literatūros sąrašui nėra.

Tokių leidinių kaip „Svajotojo užrašai“ («Записки мечтателя») ir „Menų namai“ («Дом искусств») laikysenoje Banevičius išvelgia dvasinę opoziciją revoliucijai, pritaria jai ir rašo apie tai su gilia užuojauta. Minimas J. Zamiatino straipsnis „Aš bijau“, kuriame kalbama apie rusų literatūros žlugimą. Banevičius teigia suprantąs, kad literatūra kartais priversta atiduoti duoklę laikui, čia pat paminėdamas žurnalą „Meninis žodis“ («Художественное слово»), deklaravusį savo artimumą „komunistinio gyvenimo idealams“. Almanachą „Eršketrožė“ («Шиповник») tuo tarpu Banevičius charakterizuoja kaip „pagal aplinkybes“ dvasinę opoziciją bedieviškam materializmui ir viduramžiškai komunizmo barbarybei. Jis išvalgiai pastebi, kad Maskvos spaudos namai (1920 m.) bandė suvienyti skirtingų politinių pažiūrų žmones ir tuo pačiu primesti jiems tam tikrą politinį pasaulėvaizdį nereikalaujant didesnių išpareigojimų.

Politinių ir socialinių problemų analizė pareikalavo sociologinio žvilgsnio bei statistinių metodų. Banevičius, turintis juristo išsilavinimą, mėgsta faktus ir skaičius. Jis pateikia duomenis apie Rusijos liaudies ūkio rekonstrukciją, švietimą, biudžetą rubliniu ekvivalentu, kuris lyginamas su kitais Europos šalių ekonomikos rodikliais. Proletarinė literatūra vertinama iš politinių pozicijų: autorius remiasi L. Trockio veikalais, apeliuoja į N. Bucharino autoritetą. Analizuojama Naujoji Ekonominė Politika (НЭП), jos poveikis šalies ekonomikai ir švietimui. Ekonominiai ir politiniai ekskursai autorių nutolina nuo įvade nurodyto formalistinės analizės metodo.

Be įvadinio žodžio, straipsnį sudaro tokie skyriai: „Rusų literatūros sutemos“, „Futuristai“, „Serapiono broliai“, „Proletkultas“, „Kalvė“, „Spalis“, „Napostovstvo“, „Apie proletarinę literatūrą“, „Apie proletarinį rašytoją“, „Atsigręžimas į klasiką“, „Kalnakelis“, „Proletarinių rašytojų organizacija“, „Proletarinių literatūrinių grupių likimas“, „Komunistinės partijos politika literatūros klausimais“, „Po Centro Komiteto (CK) rezoliucijos“, „Proletarinė poezija“, „Bendra praėjusio dešimtmečio prozos apžvalga“.

Trumpai apžvelgęs rusų literatūros „sutemas“ – laikus, kai vieni rašytojai emigravo, o kiti pasitraukė iš literatūros, Banevičius plačiau aptaria futurizmą ir „Serapiono brolių“ literatūrinės grupės veiklą. Į diskursą iš karto įtraukiama ir proletarų literatūra: minimos tokios grupės kaip „Proletkultas“, „Kalvė“, „Spalis“, „Sargyboje“, „Kalnakelis“ ir kt. Jas autorius charakterizuoja negailestingai: apie „Serapiono brolius“ sako, esą „*Visa tai iki juokingumo naivu ir kuklu*“ (Banevičius 1930, p. 136), apie futuristus mano, kad „*Sveiko galvojimo čia labai maža, bet kairumo, revoliucingumo net per daug, todėl ir nenuostabu, kad futuristu šūkis rado gyviausią atbalsį tarp tų, kurie turėjo kokių nors sąskaitų su buržuaziniu menu*“ (Banevičius 1930, p. 134). Banevičiaus poziciją proletarų literatūros atžvilgiu puikiai atspindi jo iššarmė apie grupę „Na postu“: „*Jeigu proletarų rašytojai, supratę savo dvasios skurdą, būtų nuoširdžiai kreipęsi į klasikus ir rimtai būtų pasimokę, rezultatai, nors ne taip veikiai, bet būtų buvę geri*“ (Banevičius 1930, p. 166).

Banevičiaus straipsnyje tačiau neginčytinai pirmąja vertinimų ir apibūdinimų laisvė. Kritikas profesionaliai analizuoja poetų proletarų – Gerasimovo, Kirilovo, Radovo, Sadofievo – kūrybą, atkreipdamas dėmesį į jų emocinį neraštingumą, individualios sąmonės, intelekto, motyvų susiaurinimą. Analizuodamas atskirus kūrinius, autorius padaro išvadą, kad tokią pasaulėjautą deklaruojanti „proletaro poeto ranka niekuomet nesukurs M. Lermontovo eilutės „В небесах торжественно и чудно“. „*Neigdamas dangų, susipratęs proletaras nežino nei angelų, nei demonų, ir Lermontovo eilės jam skamba laukiniškai*“ (Banevičius 1930, p. 196).

Įdomūs Banevičiaus samprotavimai apie naujuosius proletariato dievus – Rubka, Čekanka, Kliepka (šių žodžių-simbolių Banevičius į lietuvių kalbą neverčia). Jis pastebėjo, kad visi žodžiai, eilėraštyje parašyti didžiąja raide, tampa paslaptiniais, mistiškais, „sudievintais“ ir įgauna „tarnavimo be maldos“ atspalvį. Argi Partija, Rytoj, Sovnarkomas arba Čeka nepanašūs į dievus? Subtilus autoriaus pastebėjimas apie sovietinę prozą tebėra aktualus ir šiuolaikiniam literatūros mokslui: „*kas pagaliau pasidarė, kad sovietinėje Rusijoje ne Gogolis rašo apie Akacijų Akakievičių, bet pats Bašmačkinas, nustūmęs į šalį Gogolį, griebėsi nors ką nors parašyti apie save*“ (Banevičius 1930, p. 201).

Lietuvos skaitytojui pristatydamas tarybinę prozą, Banevičius remiamasi ir formaliosios analizės principais. Antai, nagrinėjant D. Furmanovo romaną „Čiapajevs“, deformacija minima kaip meninės kūrinio organizacijos principas. Tačiau šis metodas nėra priimtinas tyrinėtojiui. Jis daro išvadą: „Tai ne meno kūrinys, bet išstisęs anatomijos teatras, pilnas bepročių žmonių“. Būtina pastebėti, kad Banevičius savo straipsnyje pristato gana platų prozinių kūrinių kontekstą: minimi tiek romanai, tiek smulkioji proza – apysakos, apybraižos, apsakymai. Jis duoda nuorodas į 1924–1928 m. žurnalus, cituoja anuometinius tarybinius literatūros kritikus – G. Gorbačiova, V. Polonskį ir kt. Tyrinėtojas pateikia ilgas citatas, kai kuriuos tekstus verčia į lietuvių kalbą.

Banevičiaus veikale atrandame nemažai taiklių įžvalgų apie 1920 m. tarybinės rusų literatūros procesą. Tačiau studijoje pasitaiko ir specifinių momentų, būdingų tikrai menininkui

emigrantui: tarytum nepasitikėdamas savimi, autorius nuolat įrodinėja lojalumą naujai tėvynei. Itin entuziastingai rašydamas apie komunistų partijos politiką literatūros atžvilgiu, Banevičius nukrypsta nuo paties literatūros proceso ir ima gilintis į politinę situaciją. Įdėmiai nagrinėjama CK RKP (b) 1925 m. rezoliucija, pajuodintu šriftu išryškinamos autoriaus nuomone itin svarbios jos vietos. Rezoliucijoje skelbiamos idėjos buvo ir tebėra aktualios aiškinant anuometinę literatūros situaciją – mat šiuo potvarkiu suteikiama bent šiokia tokia laisvė ne proletarinių pažiūrų rašytojams.

Atskiros Banevičiaus studijos dalys parašytos itin nuoširdžiai. Autorius rašo apie jam artimą kultūrą, skaudančia širdimi kalba apie kai kurių proletarų rašytojų reakciją į rezoliuciją, cituoja V. Šklovskį, B. Pilniaką, A. Veresajevą („Ta pagrindinė liga – dabartinio rašytojo meniško sąžiningumo neturėjimas“). Banevičiaus išvada griežta: menininkui Tarybų Sąjungoje uždėtas antsnukis, neleidžiantis net kvėpuoti.

Visgi pasitaiko, kad straipsnio autorius ir pats griebiasi proletarų kritikos priemonių. Literatūrologinė proletarų kūrybinių analizė papildoma sarkastiškomis autoriaus pastabomis, kaip antai: „*Ir tokiems tatau klausytojams, tais laikais dar pusalkiams, nekūrentuose butuose buržuaziniai „specai“ kartu su Bogdanovu ir Ko skaito lekcijas apie Gėtę, Witmaną, ugdo teoretiškuosius pagrindus..*“ (Banevičius 1930, p. 145). Beje, straipsnis ir užbaigiamas proletaro diskusijų dvasia: „*Ji [literatūra – A. K.] patikėjo savo providencine misija kurti, nežiūrėdama ankstyvesnės kultūros, atsisakiusi savo senolių palikimo, pati savo jėgomis – mažosios klasės kultūriškai atsilikusioje šalyje. Aišku, kad pretenzijos buvo neįvykdomos ir jos galėjo tik suban krutyti*“ (Banevičius 1930, p. 240). Šioje vietoje autorius, cituodamas literatūros kritiką Vardiną, ironizuoja klasinių vertinimų primityvumą. Tad tyrinėtojo stiliuje atsispindi proletariškas įtūžis, ir galbūt čia reiškiasi vienas svarbiausių emigranto jausmų – nostalgija kažkada gyvavusiam arba įsivaizduotam praeities „aukso amžiui“. Tas liūdesys neretai stimuliuoja mitus apie laimingą praeitį ir lemia nesugebėjimą realybę vertinti objektyviai.

Ypatinę dėmesį reikėtų atkreipti į lietuvių kalbą, kuria parašytas straipsnis apie rusų literatūrą. Tarpukariu mokslinė lietuvių kalbos leksika formavosi veikiamą kitų šalių diskursų, nes kaip ir visa Lietuvos kultūra, lietuvių kalba buvo atvira struktūra. Vystantis humanitarinei minčiai, iškilo būtinybė aktyviai ieškoti naujų formų, kaldinti reikalingus terminus remiantis sava tradicija bei mokantis iš svetimos patirties. Banevičiui irgi iškilo sudėtinga užduotis sukurti naują, lietuvių filologijai ir kritikai tinkamą leksiką, sugebėsią apibūdinti rusų tarybinės literatūros reiškinius. Kai kuriuos pavadinimus jis išverčia į lietuvių kalbą iš rusų kalbos ir vartoja juos tik lietuviškai (pavyzdžiui, „Kalvė“, „Spalis“, „Kalnakelis“ ir kt.). Banevičius išvertė ir žurnalo pavadinimą – „Sargyboje“ («На посту»), tačiau literatūrinio reiškinių pavadinimą transkribuoja rusiškai, užrašydamas lietuviškomis raidėmis („napostovstvo“), tik retkarčiais pavartodamas savo paties sukurtą naujadarą „sargybizmas“. Analogiškai nuo „Kalnakelis“ («Перевал») Banevičius sukuria žodį „kalkakeliečiai“ («Перевальцы»). Daug naujų žodžių nukaldinta remiantis rusišku darybos modeliu – pasaulėžvalga, užbaiga, tautiškumas; kartais rusiški žodžiai apiforminami morfologiškai – „lefovcai“, „napostovcai“, „rabkorai“, „selkorai“. Kai kurie pavadinimai rašomi abejomis kalbomis, rusiškai ir lietuviškai (pavyzdžiui, pavadinimai „Svajotojų užrašai“ ir «Записки мечтателей»; „Spaudos namai“ ir «Дом печати»; „Kairysis frontas“ ir «Левый фронт»). Kai kuriuose rusiškuose pavadinimuose išlaikyta kirilica: «Шиповник», «Художественное слово», «Пощечина общественному вкусу». Tekste pasitaiko tokių nelygumų: „Pavaduoti „Svajotojų užrašus“ 1921 metais išeina „Дом искусств...“ (kalbama apie žurnalo pavadinimo pakeitimą).

Kai kur straipsnyje prastai atlikta korektūra. Pavyzdžiui, rašoma „Cvetajevas“, t. y. poetės Marinos Cvetajevos pavardė lietuviškame tekste pateikiama kaip vyriška. Kitu atveju kalbama apie Panterovo romaną „Bruski“, nors tikroji autoriaus pavardė – Panferovas. Kūrinių pavadinimai tai verčiami į lietuvių kalbą (pavyzdžiui, „Paskui Tveriakas davė romaną - „Perdalijimas“, „L. Grabaris išleido apysaką „Ant plytų“ ir t. t.), tai neverčiami (pavyzdžiui, S. Esenino «Москва кабацкая») ir rašomi lotyniškais raidėmis (pavyzdžiui, Liaško „Domennaja

peč”, Grabar „V Lachudrinom pereulke”). Poezija cituojama originalo kalba ir spausdinama kirilica; tik kartais eilės verčiamos į lietuvių kalbą.

Taigi šiame ir kituose savo straipsniuose Banevičiaus stengiasi išlaikyti tradicinį literatūros analizės metodą, kurio pagrindus įgijo studijuodamas Sankt-Peterburgo universitete. Tęsdamas rusų akademinės literatūrologijos tradicijas, autorius didelį dėmesį skiria teksto analizei, apžvelgia platų 1920 metų rusų literatūros kontekstą, perteikia tuo laiko diskusijas, žurnalų bei literatūros kritikos pozicijas. Jis tęsia rusų mokslo tradicijas ir bando išlaikyti objektyvumą, būti bešališku.

Kartais tyrinėtoji pritrūksta filologinės nuojautos, jis pasiduoda emocijoms, kaip mokslininkas nesugebėdamas atsiriboti nuo nagrinėjamų įvykių. Tačiau Banevičiaus straipsniai verti pagarbos ir todėl, kad ne itin palankiu rusų kultūrai laikotarpiu jis stengiasi supažindinti Lietuvą su naujaisiais rusų literatūros reiškiniiais. Kai kurie Banevičiaus straipsnio teiginiai ir šiandien įdomūs kaip XX amžiaus rusų literatūrinio proceso realizacija ir kaip unikalūs rusų literatūros Lietuvoje receptijos epizodas.

Literatūra

- BANEVIČIUS, M.; ARCIBAŠEVAS, M.P., 1927. *Pradai ir Žygiai*. № 1(9), p. 36 – 39.
BANEVIČIUS, M., 1927. Fiodor Sologub. *Pradai ir žygiai*. № 3-4 (11-12), p. 59-60.
BANEVIČIUS, M., 1930. Proletarų literatūra Tarybų Rusijoje. *Darbai ir dienos*. T. I, Kaunas.
Lietuvių enciklopedija, 1954. T.2, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, , p. 169
Lietuviškoji enciklopedija, 1934. Atsilėlis – Batoras. Kaunas: Spaudos fondas, t. II, skl. 1092.
SIDERAVIČIUS, R., 1985, Lietuvių puškinistikos raida iki tarybinių laikotarpiu. *Literatūra ir kalba* < kn. XVIII: *Literatūriniai ryšiai*, Vilnius: Vaga, p. 29-30.;
СИДЕРАВИЧУС, Р., 1999. А.С. Пушкин и Литва. Вильнюс: Петро ofsetas, с. 77- 73.
Spaudos fondas. 1963. *Lietuvių enciklopedija*. T. 28, Boston, p. 347.
БЕРДЯЕВ, Н. А., 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва: Наука.
Пушкинский вечер в Мариамполе. *Новые дни*, 1937, № 9(50), 26 февраля, p. 4; Л., Пушкинские дни в Мариамполе, Новые дни, 1937, № 11 (52), 12 марта, p. 5.

Asija Kovtun

Vytautas Magnus University, Lithuania

MYKOLAS BANEVIČIUS, A TUTOR AT VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY: “THE FORGOTTEN STORY”

Summary

The activity of Mykolas Banevičius (1883-1963) at University of Lithuania may be treated as a model of the attempts of an emigrant to leave a trace in the national science. Banevičius selected Slavonic studies as a niche which would be most relevant and natural for him. At University of Lithuania he taught Russian language as well as several courses on Russian classical literature. A major part of his publicist writings consists of articles on Russian and Lithuanian literature. Some claims of Banevičius’s articles are still evoking interest, especially if treated as the establishment of Russian literary process of the 20th century or a unique episode of the reception of Russian literature in Lithuania.

KEY WORDS: university, Lithuania, Russian literature, emigration, reception.

Татьяна Потемкина

Центр общего среднего образования ФГУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки РФ

ул. Черняховского 9, Москва, Россия

e-mail: potemkinatv@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

В статье рассматриваются особенности речи учителя. Главное внимание уделяется речевому поведению учителя и вопросам его профессионализации. Речевое поведение учителя включает следующие компоненты: речевые стратегии, речевые ситуации, речевые тактики. Речевые стратегии учителя должны быть кооперативные. Это достаточно сложно, поскольку отношения между учителем и учащимися во многом конфликтны. Это требует от учителя постоянного совершенствования. Таким образом, профессионализация речевого поведения учителя происходит на протяжении всей его профессиональной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речевое поведение учителя, профессионализация.

Процесс профессионального становления требует от современного человека постоянной работы по самоопределению и построению себя как профессионала.

Существует несколько периодов профессионализации: выбор профессии, освоение содержания, правил и норм профессии, формирование и осознание себя как профессионала, обогащение профессионального опыта за счет личного вклада.

В профессиональной подготовке педагогов в настоящее время выделяют несколько этапов:

- диагностики способностей к освоению профессии (профориентационная деятельность);
- освоение профессии в учреждениях профессионального образования;
- профессиональная реализация, основанная на развитии, совершенствовании навыков специалиста в период профессиональной деятельности.

Представленная периодизация достаточно условно соотнесена с конкретными промежутками времени, ориентированными на отдельные этапы. Так, этап освоения профессии не всегда совпадает с периодом обучения в профессиональном учреждении, а охватывает иногда до 5 лет и более профессиональной деятельности.

Профессиональное развитие педагога связывают с направлениями его предметной, психологической и речевой подготовки. При этом коммуникативная направленность профессии речевую подготовку педагога ставит на одно из первых мест.

Работа по профессионализации речи педагога осуществляется в нескольких направлениях: освоение педагогической риторики (А. М. Михальская и др.), развитие коммуникативной культуры, коммуникативной компетентности (В. Ф. Жеребкина, и др.), овладение профессионально-речевой образованностью (А. А. Евтюгина, Л. П. Лунева, О. Б. и др.), освоение жанров педагогической речи (О. В. Гордеева, Н. Д. Десяева и др.), формирование профессионального речевого поведения (О. А. Иванова, Г. А. Никитина и др.). Все названные направления находятся во взаимосвязи, поскольку основаны на комплексе коммуникативных действий, отражающих задачи педагогического общения. Так, например, речевые действия педагога обусловлены и стратегиями его речевого поведения, и особенностями речевого жанра, заданного учебной ситуацией, и уровнем его речевой культуры.

Интерес к речевому поведению учителя возник не случайно и обусловлен, с одной стороны, появлением коммуникативной лингвистики, которая вычленила речевое поведение как объект исследования, обосновала его составляющие компоненты и пути изучения этих компонентов (Т. Г. Винокур и др.), с другой стороны, возникновением

одного из направлений психологии, занимающегося вопросами профессионального поведения и профессиональной реализации человека.

Профессионализация речевого поведения учителя как проблема изучена недостаточно. Несмотря на то, что в целом ряде лингвистических исследований речевое поведение учителя выступает в качестве объекта изучения, вопрос определения речевых средств, характерных для речевого поведения учителя, анализ процесса освоения профессионально важных для учителя способов речевого взаимодействия, заданных педагогической коммуникацией, а также проблема диагностики речевого поведения учителя до настоящего времени наименее изучены.

Под речевым поведением понимают «совокупность речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемых закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления языковой деятельности» (Винокур 2007, с.12).

Речевое поведение учителя представляет собой систему речевых поступков, заданных условиями профессиональной деятельности речевых ситуациях. В контексте взаимодействия *учитель—ученик* к таким в речевым ситуациям относятся ситуация предъявления и обмена информацией, побуждение учащихся к диалогическому взаимодействию, речевая рефлексия на речевые поступки учащихся и т. д.

Основной задачей формирования речевого поведения учителя является уяснение иллокутивной функции речевого акта при построении взаимодействия *учитель—ученик*. Выразителем данной функции в структуре речевого поведения являются речевые стратегии и тактики, которые значительно отличаются от стратегий и тактик тех коммуникантов, которые находятся вне институционального дискурса. Педагогический дискурс является институциональным по всем признакам. Известно, что институциональный дискурс отчасти ограничивает речевую свободу коммуникантов, поскольку «адресатом и/или адресантом выступают общественные институты, или человек, чья роль предопределена его статусом представителя такого института; он же ограничивает и набор ситуации общения (Шевченко, Морозова 2005, с.156). Учитель как коммуникант совершает такие речевые поступки, которые отличаются высокой степенью императивности. Несмотря на широкие возможности речи учителя, выбор его речевых средств все-таки ограничен. Это и ограничения при выборе просодических средств (темп, тембр, сила голоса, интонация), и ограничения в использовании лексических средств (к примеру, существуют установки к выбору обращений или лексическому оформлению порицаний), при отборе терминологической лексики и т.д. Названные условия связаны с педагогическим взаимодействием учителя и учащихся преимущественно в рамках урока, поэтому в центре внимания находятся используемые в педагогической практике учителя речевые стратегий и тактик.

Речевое поведение учителя характеризуется как специфическими речевыми стратегиями (объясняющая, контролирующая, содействующая (О. А. Каратанова)), так и речевыми стратегиями, преследующими традиционные цели эффективной речевой коммуникации (стратегия вежливости (О. А. Иванова)).

Одной из задач речевого поведения учителя является избегание коммуникативных конфликтов, создающих препятствие во взаимодействии учителя с учащимися в условиях учебной ситуации.

Учебную ситуацию можно рассматривать как разновидность социальной ситуации, для которой характерны коммуникативные условия, продиктованные задачами обучения и воспитания:

- *позиции адресанта и адресата*. В качестве адресанта выступает учитель, адресата – учащийся. Обмен ролями практически невозможен, в отличие от коммуникативных отношений в других условиях (например, с одноклассниками, родственниками и т.п.), где такой обмен закономерен.

- *мотивация вступления в коммуникативный акт.* Учитель готовится заранее, прогнозирует результат, при встрече с учащимися эмоционально настраивается. Ведущим мотивом является стремление получить результат профессиональной деятельности в виде освоенных учащимися знаний, новых умений и т. д. Учащиеся не всегда готовы к такому взаимодействию. У значительного числа учащихся мотивация к обучению крайне низкая. Они не ориентированы на результат обучения. Стратегия избегания коммуникативного контакта с учителем или его игнорирование является демонстрацией нежелания взаимодействовать.

Следует отметить, что в речевом общении учителя с учащимися изначально заложен некий коммуникативный конфликт, поскольку речевая ситуация урока предполагает неравенство прав коммуникантов. Здесь и неравенство социального партнерства (взрослый – ребенок), и официальные условия общения (разный статус: учитель – ученик), и степень информационной осведомленности (учитель знает содержание своего предмета – учащийся это содержание только осваивает), и положение участников коммуникативной ситуации (учитель (один) – класс (группа)) и т.д. Некоторые исследователи речевого поведения учителя (Е. В. Красноперова) считают, что речевое поведение учителя всегда содержит речевую агрессию, и, следовательно, педагогический дискурс без речевой агрессии невозможен.

На уроке учитель выполняет роль коммуникативного лидера. И от того, насколько для учителя очевиден коммуникативный конфликт, зависит и выбор его педагогического стиля (авторитарный, демократический), и соответственно выбор речевых стратегий.

Профессионализация речи учителя – сложный процесс, поскольку обусловлен с одной стороны спецификой профессионального поведения, с другой, внутренней потребностью коммуниканта (учителя) менять привычные для него в обиходе коммуникативные установки, выстраивать коммуникативные стратегии, осваивать специфические способы речевого взаимодействия, ограниченные педагогическим дискурсом.

Выделим мотивы, побуждающие учителя принимать решения в направлении освоения и совершенствования профессионального речевого поведения:

- соответствовать профессиональному статусу;
- потребность в карьерном росте;
- изменение траектории профессионального развития, связанного с освоением смежной специальности или с освоением дополнительных функциональных обязанностей;
- стремление сохранить свои позиции в профессии, свой статус, имидж и т.п.

Рассматривая каждый этап профессионализации речи, соотнесем их с мотивацией.

Одним из путей профессионализации речевого поведения является ранняя диагностика коммуникативных способностей. Возможна ли такая диагностика в период осуществления профессионального выбора? Известно, что все профориентационные тесты в большей степени направлены на самооценку профессиональных способностей. Уже в период социализации в школе учащиеся способны оценить свои коммуникативные предпочтения. Моделирование ситуации в тесте ориентирует школьников на выбор той социальной роли, которая для них кажется желательной или более понятной. При этом не все старшеклассники соотносят свои представления о профессии с типом профессионального поведения. Ориентиром в выборе является идеальный результат деятельности представителя той или иной профессии. Так, например, выбор экономической специальности соотносят с возможностью заработать много денег, педагогические профессии выбирают, ориентируясь на потребность управлять людьми. В связи с этим очевидно, что вычлняемый в процессе профессионализации период предпрофессиональной подготовки не может быть соотнесен с периодом диагностики способностей к освоению профессионального речевого поведения.

Этап профессионализации поведения связывают с обучением будущего учителя в учебном заведении. Именно в вузе происходит профессиональное самоопределение специалиста: освоение профессиональных умений, выявление важных для профессии личностных качеств (эмотивность, коммуникабельность и др).

Во время обучения в вузе (или колледже) проводится анализ коммуникативных способностей учителя, вырабатываются навыки речевого поведения и т. д. Этот этап характеризуется включенностью студентов в процесс взаимодействия *учитель—ученик*. Так, в этот период будущий учитель отбирает те способы речевого взаимодействия, которые основаны на существующих у него коммуникативных способностях и позволяют ему начать профессиональную деятельность.

Сложным процессом является выбор необходимых речевых действий в рамках речевого поступка, обусловленного заданной педагогической ситуацией. Отсутствие универсальных речевых формул затрудняет принятие решения. Поэтому любую ситуацию, требующую нестандартного решения, студенты-практиканты, как правило, разрешают через запрет на вступление в коммуникативный контакт («Сидите тихо», «не кричите», «хватит задавать вопросы», «закончим этот разговор» и т.д.). Такое речевое поведение можно назвать защитным. Оно приводит к выбору авторитарного стиля, что, как известно, значительно упрощает взаимодействие учителя с учащимися. Но при этом тормозит речевое и интеллектуальное развитие детей.

Таким образом, несмотря на то, что обучение в вузе должно способствовать формированию профессиональных умений в направлении освоения правил профессионального речевого поведения, овладения эффективными методами психологического речевого воздействия и взаимодействия, на осмысление результатов речевого поведения (Г. А. Никитина), практика показывает, что вуз лишь ориентирует студента на выбор речевых стратегий, указывает на необходимость перестройки обыденного поведения на профессиональное, предлагает ряд решений профессиональных коммуникативных задач.

Важной составляющей процесса освоения профессионального поведения является осознание того, что «отсутствие специальной подготовки к профессиональному речевому поведению (использование языка в предлагаемых обстоятельствах) не позволяет учителю в полной мере реализовать даже хорошо продуманную, методически грамотно спланированную деятельность (Смольянова 1998, с. 2). Происходит ли такое осознание необходимости освоения профессионального речевого поведения? Да, происходит. Выявленные речевые затруднения студентов связывают как с выбором речевой стратегии, так и с выбором речевых средств для реализации заданной стратегии. Ключевыми для будущих педагогов при взаимодействии с учащимися являются вопросы: а) с какой целью учитель вступает в контакт с учащимися и б) какие речевые средства необходимо использовать для достижения этой цели? Данные вопросы относятся к вопросам профессионального речевого поведения. Также опросы студентов показывают, что самым действенным обучающим моментом для них является включение в процесс урока в роли учителя. Ведущим методом обучения для них является моделирование педагогической ситуации. В условиях вуза (колледжа) такое обучение возможно. Однако до 40% выпускников профессиональных педагогических учреждений недовольны своей речевой подготовкой и считают её недостаточной для самостоятельной работы в школе.

Наименее изучен процесс профессионализации речи в период постдипломного профессионального развития. Это связано со следующими факторами:

- неразработанностью эффективных диагностик, выявляющих речевые проблемы учителей (особенно в зрелом возрасте) в связи с закрытостью учителя как субъекта исследования, нежеланием лишиться раз подвергать себя оценке, влияющей на его профессиональный статус;
- существующими условиями системы повышения квалификации учителя: небольшой период обучения (72—144 уч. ч.), в течение которого сложно

отследить и оценить происходящие в дальнейшей профессиональной деятельности учителя изменения и связать эти изменения с содержанием обучения;

- отсутствие в школах (других учреждениях образования) профессиональных педагогов, способных проследить профессиональное развитие учителя.

Отличительной особенностью данного этапа является уже сформированный тип профессионального речевого поведения. Опираясь на существующие исследования профессионального речевого развития учителя (Л. П. Лунева, Н. В. Михальцева и др.), следует отметить, что в зрелом возрасте происходит изменение мотивации в профессионализации речевого поведения. Обычно она связана с потребностью к освоению защитного поведения, которое нередко сопровождается деструктивными проявлениями (манипуляцией, речевой агрессией, профессиональной деформацией и т. д.). Защитное речевое поведение возникает, как правило, у представителей коммуникативных профессий. Причиной является профессиональная необходимость постоянно находиться в процессе общения с людьми. Очевидно, что процесс профессионализации речевого поведения учителя в зрелом возрасте проходит в других условиях. Чаще всего определяющим фактором этих условий является профессиональный кризис, в процессе которого и происходит пересмотр речевого поведения.

В заключение следует сказать о том, что профессионализация речевого поведения учителя – это отдельная проблема как психолингвистики, так и профессионального педагогического образования в целом. До настоящего времени отсутствует целостное изучение профессионализации речевого поведения как непрерывного процесса, недостаточно разработанными являются методы освоения речевого поведения.

Литература

ВИНОКУР, Т. Г., 2007. Говорящий и слушающий. *Варианты речевого поведения*. Москва: издательство ЛКИ.

ГОРДЕЕВА, О. В. 2003. Проблемная учебная лекция в профессиональной речи учителя русского языка и литературы. *Автореферат дисс. канд. пед. наук*. Ярославль.

ДЕСЯЕВА, Н. Д., 2004. Профессиональная речь учителя в ситуации национально-русского двуязычия. Саранск.

ЕВТЮГИНА, А. А., 2007. Формирование профессионально-речевой образованности студентов педагогических вузов. *Автореферат дисс. д-ра пед. наук*. Н. Новгород.

ЖЕРЕБКИНА, В. Ф., 2001. Формирование педагогической коммуникативной компетентности будущего учителя. *Автореферат дисс. канд. пед. наук* Волгоград.

ИВАНОВА, О. А., 2003. Речевые стратегии как средство взаимопонимания субъектов педагогического процесса. *Автореферат дисс. канд. пед. наук*. Пермь.

КАРАТАНОВА, О. А., 2003. Лингвистические релевантные нарушения педагогического дискурса. *Автореф. дисс. канд. филол. наук*. Волгоград.

ЛУНЕВА, Л. П., 2004. Совершенствование профессионально-речевой культуры преподавателя в системе повышения квалификации. *Автореф. дисс. пед. н.* Москва.

МИХАЛЬСКАЯ, А. К., 1997. *Педагогическая риторика: история и теория*: Учебное пособие. Москва.

МИХАЛЬЦЕВА, Н. В., 2005. Проявление синдрома психического выгорания в процессе профессионализации учителя в зависимости от возраста и стажа работы. *Автореф. дисс. к. психол. н.* Казань.

НИКИТИНА, Г. А., 2004. Формирование речевого поведения будущих учителей. *Автореф. дисс. канд. пед. наук*. Саратов.

СМОЛЬЯНОВА, Т. Г., 1998. *Речь учителя русского языка в учебно-методических ситуациях*. Москва.

ШЕВЧЕНКО, И. С.; МОРОЗОВА, Е. И. 2005. Проблемы типологии дискурса. Безуглая Л. Р., Бондаренко Е. В., Донец П. М., Мартынюк А. П., Морозова Е. И., Пасынок В. Г., Пихтовникова Л. С., Солощук Л. В., Фролова И. Е., Швачко С. А., Шевченко И. С. In *Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен*. Монография. Под общ. ред. Шевченко И. С. Перевод с укр. Харьков: Константа, с. 154-157.

Tatiana Potemkina

Institute Education Development the Department of Education and Science Russia

Summary

In this article special characteristics of teacher's speech are considered. The professional speech behavior of a teacher is given a special attention. The speech behavior of a teacher depends on several factors: speech strategy, speech situation, and speech tactics. The speech strategies of a teacher must be cooperative. It is a difficult thing, because relations between a teacher and pupils are contradictory. A teacher masters professional speech behavior throughout his life: the pedagogical training at university ends the word at school.

KEY WORDS: teacher's speech , speech behavior, professional

Dina Strong

University of Latvia

Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1011, Latvia

e-mail: dinastrong@one.lv

ERASMUS STUDENTS' LANGUAGE LEARNING EXPERIENCES THROUGH THE PRISM OF SLA THEORIES

Much of the earlier research has claimed that immersion in the TL is invaluable to the SLA and the degree of contact with the TL speakers is the key factor in acquiring the sociolinguistic and sociocultural knowledge. The aim of this study was to investigate how much communication takes place outside the L2 classroom with the TL (Target Language) speakers, how this interaction is socially constructed and how learners respond to these constructs to use, resist or create the opportunities to practice their L2. This is a new, underresearched and undervalued field of study in Latvia. Unlike in the rest of Europe, Applied Linguistics was recognized as an independent branch of Linguistics by the University of Latvia only in 2000. This paper was inspired by the range of research in other countries on the linguistic experiences of foreign students in the study abroad contexts and recurring discussions of Latvian as an L2 instructors facing many challenges of teaching their L1 to foreign under-/postgraduate students. The primary source of data for this empirical qualitative study was obtained from the interviews with the Erasmus exchange students, which focused on their daily experiences in Latvia. The data was analyzed across different sites in which each student had opportunities to practice Latvian and meet the Latvians. This approach provides a deep understanding of how language practices function in different sites, with different interlocutors and the way students' experience changes across time, offering different opportunities and putting constraints on the practice of the TL.

KEY WORDS: ERASMUS exchange students, SLA (Second Language Acquisition) theories, TL (Target Language), student mobility, acculturation, TL community, L2(second language), L1(first language.)

In the past, travelling for study was a priority of the well-to-do, usually the sons of the wealthy aristocracy. Today, triggered by a variety of factors, ranging from the accessibility of travel and cultural interaction to the political changes and economic need, study abroad has become a promptly evolving phenomenon. Byram and Feng (2006) claim that travelling has become a major part of life for many young people of university age. Travelling for academic purposes for these students represents an extension to the travelling for pleasure that at least the western European youths are accustomed to from early childhood onwards. The EU policies encourage young people to live and study in other member states. It is inherent that the "cultural capital" acquired from studying abroad is invaluable, thus by offering "the extra dimension" to the educational experience, it is likely for the international relations to improve.

In Latvia, Erasmus programme has become accessible since Latvia joined the EU in May 2004. Hence, for Latvia, Erasmus is a relatively new experience, leaving a lot to explore and learn from. Every year about 300 exchange students come to study at the University of Latvia – the major university in Latvia. For many exchange students the main reason for coming to Latvia on an exchange program was their wish to stand out from the majority of their peers, who "normally would rather choose to go to the safe and familiar Western European Countries, such as Spain, France, Germany, the UK etc."(U. from Austria). The majority of the interviewees perceived Latvia as being different from the "normal European countries", comprising something that was associated with "enigmatic", "different", "post-Soviet" experience for them.

Being away from their homes, the European students are immersed into linguistically, culturally, academically different environment, they have to find ways to understand and deal with both other exchange students from different countries as well as the locals. Even though,

the students on Erasmus exchange and the locals in the host country are all “European neighbours”, the differences between them that are revealed in the course of the stay abroad are substantial. Thus, it is hardly surprising, that Erasmus program offers a rich data for sociolinguistic research. Over the last decade there appeared some profound research on student mobility, language learning and identity. Some of the most prominent works in this area are: Murphy-Lejeune (2002), Papatsiba (2006), Dervin (2007). These seminal works have motivated my own research.

In my study I look at the ways identities are presented in the narratives of Erasmus students. Part of this research investigates why Erasmus students confront difficulties acquiring the Latvian language. Based on the theories of SLA, Discourse Analysis, Narrative and Identity studies, I have conducted an empirical ethnographic research where I analyzed the corpus of 25 interviews with exchange/Erasmus students. I recorded and transcribed the interviews with 11 male and 14 female Erasmus/exchange students, which took place between September and December 2007, at the University of Latvia. The interviewees came from Europe (Poland, Germany, France, Austria, Portugal and Hungary) and took courses of Humanities or Social Sciences at the University of Latvia. All of them spoke three (including their mother tongue) or more languages fluently. One of these languages in all cases was English. The students were in their twenties and were enrolled on an undergraduate or a postgraduate course at the University of Latvia. All of them were intending to stay in Latvia for one (5 months) or two (10 months) terms. All of the students followed an intensive Latvian course upon their arrival and continued with two weekly sessions of Latvian as an L2 from the start of the academic year.

Context of the Study:

When trying to understand the experience of Erasmus students' in Latvia, it is important to consider the specific context of their stay in the country. Erasmus students have a fixed date when they arrive in Latvia and when they have to return to their home countries. Normally, they are young people without family responsibilities and stay at the university provided accommodation together with other Erasmus/ exchange students. This is the common practice at the University of Latvia that the exchange students' accommodation is located on one floor of the building and usually they are paired up with another exchange student, most of the time their compatriot. It is unusual for the exchange students in Latvia to rent a flat of their own as it is costly, especially in the capital. The courses exchange students take at the university are more often than not the ones specially designed for them and run in English as a lingua franca. As a rule, not having sufficient command of the local language exchange students are unable to follow the subjects that are not in English or another foreign language that they are proficient in/ that is their mother tongue (e.g., German, French, etc.). The University of Latvia offers the courses of Latvian as an L2 to all of the exchange/international students. Mostly, the students choose to attend these courses, even though they are not compulsory. The majority of exchange students do not work, as they are enrolled on full time courses and they have little time left to devote to work. Moreover, all foreign citizens require a work permit if they wish to apply for a job in Latvia, which would take a long time and tedious paperwork to obtain. All of these factors described here have a major impact on the exchange students' experiences and their opportunities to meet the locals and practice their language outside the classroom.

From the interviews that I have conducted with the Erasmus students, the following issues testifying the sense of isolation from the local community and artificiality of their conditions in the host country have emerged. Erasmus students perceived their life on Erasmus course, as “not like a real life”, “bubble”, “strange mix”, “life on a boat” “all partying”. They felt that what they experienced here would not happen if they were simply living abroad on their own. They felt that everything was “pre-determined” from the first day. Starting from their accommodations, where they were initially separated from the local students by being “exiled” to live on one floor only with other exchange students, while other floors were “exclusively

reserved for the locals”. The exchange students who inquired about sharing a room with the local students, were told that “their laptops and valuables would be stolen” – which initially created a negative representation of the locals, whom the students had not even met at the start of the term. In some previous research on student mobility, the exchange students have been referred to as “Erasmus tribes” (Dervin and Dirba 2006) or “peg communities” (*ibid.*) – the temporary communities, which are formed only for the limited periods of time – for the lengths of their stay in the foreign country, which is particularly relevant in the case of exchange students. When the stay comes to an end, the “peg communities” lose their original value. Being “fenced off from the locals”, it was only natural that many students felt “Erasmus is like my family and friends over here”. Being separated from the locals, Erasmus students resorted to those, who were, albeit from different countries, in a similar situation and could share and understand each other’s experiences.

The majority of the students stated that their lifestyles were different in Riga, than what they were like back home. In Riga, they often went to discos, and threw parties at the students’ accommodation that lasted until dawn. Also, they were very keen on traveling and exploring the country. Most of the students even traveled to the neighboring Sweden, Estonia and Lithuania together with other exchange students on trips specially organized by the ESN (European Student Network) or just in groups together with other exchange students. The students got what Papatsiba (2006) referred to as “travel bulimia” – the rush to travel, to explore, to discover the new. Some of them admitted having made the decision to live and study abroad, they had overcome a fear of traveling on their own and being in an unfamiliar environment, thus many of them felt overjoyed and wished to travel near and far, whatever they could afford.

Sadly, though the Erasmus students who were interviewed admitted that while they experienced certain exhilaration at the beginning of their stay, later on, as the novelty wore off, they were left feeling disappointed and frustrated. They did not (as they aspired prior to their arrival) assimilate, meet many locals or achieve linguistic fluency in Latvian, at least not to the extent they had hoped for. Moreover, many students felt tired of the “loose/superficial relationships” they had established and were dissatisfied with the academic level of the studies offered by the local university and as a result their academic achievement. The “constant feeling of being an outsider” – not belonging, not being part of the life in the host country left them wondering about the return to their “real” homes, families and friends. This physical and psychological segregation of exchange students in most cases caused them to make generalizations and resort to auto and heterostereotypes, based on minimal information, when talking about the locals. They blamed the locals for “being too cold, too reserved, too busy with themselves” for not having collaborated in realizing the high aspirations of the exchange students.

Erasmus students as L2 language learners and SLA theories revisited:

Having considered the context within which the experience of Erasmus students is embedded, the focus on the existing SLA theories helps to understand why it is that the majority of exchange students in this research only acquired the local language at the level of a phrase book. Here, some of the most prominent SLA theories will be looked at against the outcomes of my research. The SLA theorists have strived to conceptualize the relation between the language learner and the social environment. In the meantime, they have neglected *the role of power* in social interactions between the L2 learners and the target language speakers. Many theorists, such as Ellis (1997), Krashen (1981), Schumann (1986) and Stern (1983) in their theories of “a good language learner” took the standpoint that learners can choose the conditions for interaction with the target language group and that motivation determines learner’s access to the target language community. The current research opposes this view, by claiming that the exchange students enter Latvia, where everything is already predetermined for them by the locals – their accommodation reserved for foreign students, the modules that are specially designed for them,

even the social events that are organized specially for the exchange students by the ESN (most of whom are former Erasmus students) and none of these instances involve interaction with the locals. Therefore, it would be wrong to assume that Erasmus students alone choose the conditions for the interaction with the locals, instead these conditions seem to be predetermined for them without taking into consideration the possibilities for interaction between the exchange students and the TL community. Within the context of exchange students these are the locals who act as gatekeepers and choose the conditions for interaction.

According to Spolsky (1989) *the more the learner is exposed to and gets to practice the target language, the more proficient they will become*. This will give the learner an opportunity to analyze the language, to practice with its sounds and develop the grammatical and pragmatic structures of the target language. Spolsky discriminates between the natural, informal environment for learning versus the formal environment of the classroom. It appears from this research that the exchange students are “absent-present” in the country of their temporary residence. Not being noticeable in the society, they are not the focus of the media attention; their position differs greatly from that of the immigrants. Unlike the latter, the exchange students do not have a “negative image” (Agar 1991) in the host country. Yet the locals, who have already their established social networks, are reluctant to accept these new “members” as their “new friends”, who are in the country only for a limited period of time. The communication of Erasmus students with the locals is limited to the interaction with the university staff, the bus drivers, shop assistants and the caretakers at the halls of residence. In most cases, the interaction is restricted to the “initially predetermined” set phrases, which do not require high levels of proficiency and could be left to rely on the expressions from the phrasebook, internalized by the students. Surely, these kinds of conversations in the “natural environment” did not allow the learners to engage in the negotiation of meaning with the locals, which, according to the SLA theorists is a crucial factor in language acquisition.

Moreover, highly influential in the field of SLA has been Schumann's (1986) *Acculturation Model* which has repeatedly appeared in many recognized publications on SLA theory (see Brown 1997; Larsen-Freeman and Long 1991; Ellis. 1997; Norton 2000). Schumann's *Acculturation Model* was developed in order to find explanations to the phenomenon of L2 acquisition by adults. The theory claims, wherever there is resemblance between the target language group and the L2 learners, “the social distance” between them will be the smallest, which therefore will facilitate the process of acculturation of the L2 speakers into the target language group as well as facilitate the language learning. Whenever there is great social distance between the two groups, there will be little acculturation taking place and it is likely that the L2 learner will not be able to become a proficient speaker of the target language. The model assumes that ‘SLA is just one aspect of acculturation, however, the degree to which the learner acculturates to the TL group will control the degree to which he acquires the 2L’ (1986, p.34). Schumann also claims that if the acculturation does not take place, the instruction in the 2L will not be of any use to the language learner.

Exchange students in my study, though mostly willing, were unable to “acculturate” in the host country – they got an “outsider's” perspective on the “insiders’ group”. They made false generalizations and resorted to stereotyping based on scarce facts and observations, as a way to explicate their disillusionment both with other exchange students and the locals. The students seemed to realize the importance of learning the local language in order to “acculturate”. However, it seems to create a vicious circle, where neither language learning nor “acculturation” are possible. The culture-related “social distance or proximity” are not exactly relevant in the case of exchange students, because it is not what plays a role in their being unable to assimilate. It is the segregation imposed on them by the locals, which, as the students feel, is one of the factors that does not allow them to integrate, closely connected with the students’ lack of preparation for dealing with “foreignness”. A possible explanation to the way Erasmus students /newcomers are positioned in society is taken up by Lave and Wenger (Lave and Wenger 1991. p. 100) working within the anthropological framework. They claim that many newcomers when

they enter a new “community of practice” expect to have access to the central practices of that community in all its different forms. However, this is not unproblematic, since “to become a full member of the community of practice requires access to a wide range of ongoing activities, old-timers, and other members of the community; and to information, resources and opportunities for participation.” The way Erasmus students are positioned in their “temporary community of practice” does not allow them such access to the old-timers, required information and resources that are available to other members of the local community. That is why, the students in my study often felt more comfortable in company of other Erasmus students than among the locals. The students admitted that they were not a part of the local “life”, as they were restricted by their linguistic skills in what they could do, who they could meet and what conversations they could take part in.

Furthermore, *motivation* is often considered to be an important prerequisite for successful SLA and integration in the host country. The most prominent theory of motivation is that of Gardner and Lambert (1972), which introduced the notions of *instrumental* and *integrative motivation*. Integrative motivation reveals the learner’s desire to take part in the target culture and identify with the people who speak that language. Thus, the more the student approves of the target culture and seeks out the opportunities to practice the language, the more successful they will be. Instrumental motivation stands for the utilitarian desire to learn the L2 in order to get education in that language or a good employment and so on. Gardner and Lambert (1972) also recognize the possibility of ‘intellectual’ or ‘manipulative’ motivations. They claim that L2 motivation should not be understood as a forced choice between the two types of motivation. Both types of motivation are equally important and may be simultaneously guiding the learner.

Some of the students in my study chose to come to Latvia specially to improve their Latvian that they had learned at their home universities or from their previous experience working in Latvia. Other students were determined to learn Latvian out of “linguistic exoticism”. “When I tell my friends that I speak Latvian, they will think I’m cool, not many people speak Latvian and it’s amazing to be one of those who does” (K. from Poland). Some people felt that learning Latvian was a part of living in the country and paying respect to its people. Unfortunately, most of the students became demotivated with learning Latvian somewhat quickly, when it turned out that Latvian was not an easy language to learn in a short period of time and it would be still very long (certainly longer than the length of their stay) until they could actually engage in a meaningful conversation with the locals. By the end of their stay in Latvia, a rare few could boast having become fluent in the local language or having acquired a lot of friends among the native speakers. However, they were unable to practice outside the classroom as much as they wished to – not only because they were not motivated enough but because they struggled to express what they wanted, which challenged their desire to speak. Norton (2000) provides what seems to be an insightful explanation to such discrepancies. She claims that sometimes “a person’s desire to learn and practice a language may co-exist in complex and contradictory ways”. The learner’s motivation can be shaped by the situations and the interlocutors the learner encounters. Therefore, such learner characteristics as being motivated or unmotivated are initially social constructs and may change over time and space and may even coexist in intricate ways in a single person. A tentative conclusion following Norton’s claim is that the students’ motivation was in a constant state of flux and depended on the contexts they were in and the sociocultural roles of their interlocutors.

A prevailing variable in the more recent studies of student mobility and SLA appeared to be the *previous experience* of the language learners. Coleman (1998) concluded that it was likely that the more proficient students with previous experience of living or/and studying abroad were better prepared both linguistically and culturally to benefit from interactions with the host community. One of the students in my study (G. from Austria), who had traveled and lived abroad for long periods of time and was able to master the local languages, had a noticeably different experience with regard to learning both Latvian and Russian and as a result became more acculturated in the host country than the majority of the interviewees. From the start, he

did not wish to be associated with the “Erasmus tribes” and was determined to find work in Latvia, where he could regularly meet the locals and practice his Latvian that he learned during the formal instructions at the university. As a part of his course he could do a teaching placement at a Latvian secondary school, which contributed tremendously to his learning about the “in-group”, who he interacted with on daily basis. His increased linguistic proficiency was also recognized by the University that placed him in the advanced group of Latvian as an L2. Being a part of the community of Latvian teachers and students he had many occasions where he took the initiative to speak and received positive encouragement and support from his students and colleagues at the Latvian secondary school, who fostered his attempts to practice the Latvian language. By the end of his stay in Latvia G. was able to engage in discussions of professional issues with his colleagues at the Latvian secondary school. In the case of G., initially, it was his effort that got him into contact with the locals, but these were the locals, who approved and accepted him as a “legitimate speaker” (Bourdieu 1991) by granting him the permission of entry into their “in-group” (*ibid.*). It was G.’s previous experience of learning the local languages while traveling and living abroad, the effort that G. put into learning Latvian and the possibility that the locals granted to G. to speak Latvian in a natural environment, which together contributed to his successful SLA.

Conclusion:

Language learners alone are not always free to choose the conditions under which they can practice, speak and learn an L2. Within the context of study abroad, the locals are in charge of organizing the exchange students’ environment, which determines how much the students will/will not be exposed to the locals. Such variables as motivation to learn another language, learner’s personality traits (e.g., introverted or extroverted), learner’s age, attitude towards the target language group, previous experience of other cultures and languages ensure how motivated or not the L2 learner is as well as how successful they are in acculturating. However, all of the existing SLA theories take “adult immigrant” as their subject, while the exchange students should be viewed within an entirely different framework. A different approach has to be applied to conceptualize their experiences and their specific language learning situation. As the number of mobile students in Europe increases, there is a growing need to understand their particular experiences within the host community as well as the way they take or resist the opportunities to learn and practice the local language(-s).

There are several factors that affect the positioning of Erasmus students within the host country, that are only characteristic of their particular status as temporary visitors. Being “absent-present” in the host country determines their perceptions of the locals, other Erasmus students and themselves. The excitement that is characteristic of the initial stages of residence abroad tends to result in dissatisfaction with themselves and disillusionment with the ambitions that did not materialize. The current research shows that even though the majority of students were unable to acculturate into the host environment and learn the local language fluently, this is not always determined by the locals and the “settings” that they create for the exchange students. It is possible to break free from the vicious circle. The success, in this case was determined by the student’s own determination, previous experience of living and studying abroad facilitated by the admittance and support on behalf of the locals. There was only one of the exchange students in this research, who was able to find a way to combine the studies and work placement in the host country and thus make the best of his experience in Latvia socially, linguistically and culturally. Only few others were able to reach out beyond the Erasmus “peg community”, and make lasting contacts with the locals.

Nevertheless, it would be wrong to conclude that those students who did not come into close contact with the host community or learn the local language did not gain anything from their experience abroad. On the contrary, the richness that the intercultural experience offers through interactions with other exchange students is priceless. Given that the initial expectations,

aims and the preparation for dealing with “foreignness” varied from student to student, consequently varied their final learning outcomes (linguistic, cultural, and social). This research suggests, that in order to help the exchange students gain maximum benefit from their exchange program, the receiving university should provide more opportunities for the exchange students to meet the locals both in and outside the university (e.g., shared accommodation; locals and exchange students in sessions (wherever possible), social events for locals and exchange students, employment opportunities, etc.) in combination with a support course for the exchange students, that should deal with such issues as the exchange students’ status in the host country; whether or not it is necessary for a foreigner to meet the locals; what the imaginary ideas of exchange students/locals are, how to avoid stereotyping, how to avoid exoticising others and other cultures; why is it so difficult to learn and practice an L2. The increased awareness of these issues should help the students dispose of the unnecessary pressure of the “impossible” goals and strive for what and how much of the L2 they can realistically learn during their stay abroad as well as help the students to take the initiative to seek/ find / create opportunities for the interaction with the TL speakers.

References

- AGAR, M., 1991. *The biculture in bilingual, Language and Society*, 20, Cambridge: Cambridge University Press, p. 167-181.
- BOURDIEU, P., 1991. *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity.
- BROWN, S., 1997. Making your lectures more interesting. *Academic Development*. 3(1), p. 123-129.
- BYRAM and FENG, 2006. *Living and Studying Abroad: Research and Practice*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- COLEMAN, J.A., 1998. Evolving intercultural perceptions among university language learners in Europe. In Byram, M. and Fleming, M. *Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 45-71
- DERVIN, F. & M. DIRBA, 2006. On Liquid Interculturality. Finnish and Latvian student teachers’ perceptions of intercultural competence. In Pietilä, P., Lintunen, P. & Järvinen, H.-M. (eds). *Language Learners of Today*. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisu n:o 64.
- ELLIS, R., 1997. *SLA Research and Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- DERVIN, F., 2007. Masquarades estudiantines finlandaises. *Langues Modernes* (1).
- GARDNER, R. and LAMBERT, W., 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Rowley, MA: Newbury House.
- KRASHEN, S., 1981. *Second Language Acquisition and Second Language Learning*, Pergamon, Oxford
- LARSEN-FREEMAN, D. and LONG., M. H., 1991 *An Introduction to Second Language Acquisition Research*. New York: Longman.
- LAVE, J. and WENGER, E. , 1991. *Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge: University of Cambridge Press.
- MURPHY-LEJEUNE, E. , 2002. Student Mobility and Narrative in Europe. *The New Strangers*. London: Routledge.
- NORTON, B., 2000. *Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change*. Harlow: Longman.
- PAPATSIBA, V., 2006. Erasmus mobility and experiences of cultural distance or proximity. In BYRAM, M. and FENG, A. (Eds), *Living and Studying Abroad: Research and Practice*. Multilingual Matters, p. 108-133.
- SCHUMANN, J. H., 1986. Research on the acculturation model for second language acquisition. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 7(5), p. 379-392.
- SPOLSKY, B., 1989. *Conditions for Second Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.
- STERN, H., 1983. *Fundamental Concepts of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

Дина Стронг

Латвийский университет

ОПЫТ ЭРАЗМУС В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЙ SLA (ИЗУЧЕНИЕ ВТОРОГО ЯЗЫКА)

Резюме

Предыдущие исследования по изучению иностранного языка констатировали, что изучение языка и максимум контакта с носителями этого языка необходимо для приобретения социолингвистических и социокультурных навыков. Цель данного исследования – понять как часто учащиеся общаются с

носителями языка, и что препятствует их общению. Данное исследование критикует некоторые существующие теории по изучению иностранного языка, т. к. они не принимают во внимание обстановку, в котором находятся иностранные студенты, и которая стимулирует изучение и использование иностранного языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ERASMUS программа по обмену студентов, SLA (теории по изучению второго языка), подвижность/ мобильность студентов, адаптация, среда носителей языка, родной язык, иностранный язык.